This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

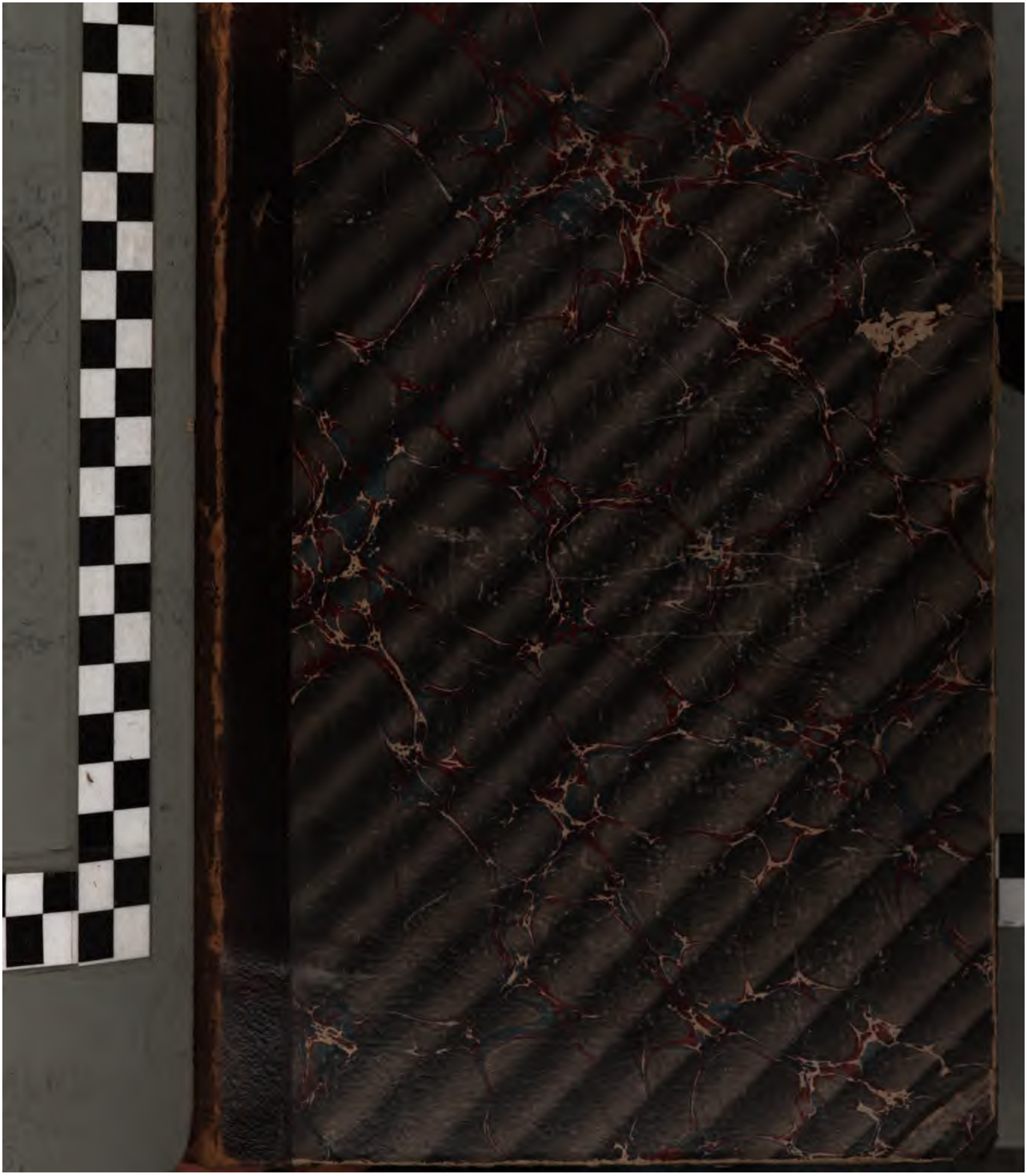
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`



600033795X

2229 d 73

9099

BIBLIOTHECA BODLEIANA

P. C. & C. P.

Дворцовая типография. С.-Петербургъ, 10 декабря 1881 г. Экспедиція изготовленія государственныхъ бумагъ.

дозволено

04
Б-67

СОЧИНЕНІЯ

Г. Е. БЛАГОСВѢТЛОВА

СЪ ПОРТРЕТОМЪ И ФАКСИМИЛЕ АВТОРА

и

предисловіемъ Н. В. Шелгунова

Изданіе Е. А. Благосвѣтловой

Р. С. Ф. С. Р.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія Е. А. Благосвѣтловой, Надеждинская, 39
1882

BODLEIAN
27 JAN 960
LIBRARY

СОДЕРЖАНІЕ.

стр.

Григорій Евлампіевичъ Благосвѣтловъ. (Біографическій очеркъ). I

I.

Иринархъ Ивановичъ Введенскій. (Біографическій очеркъ). 3

II.

По поводу воскресныхъ школъ. 37
О значеніи университетовъ въ системѣ народнаго воспитанія 41
Кто съ нами? 63
На что намъ нужны женщины? 73
Женскій трудъ и вознагражденіе его 85
Политическая экономія для богатыхъ 118
Страна живыхъ контрастовъ. 129
Политическіе предразсудки 143
Токвиль и его политическая доктрина 158

III.

Историческая школа Бокля 175
Кольберъ и его система 229
Тюрго 264
Значеніе парижскаго университета. 325
Имперія декабрьской ночи 359
Ораторская дѣятельность Маколэ. 390
Маколэ — историкъ 412
Надежды Италіи 425
Реформа Италіи, какъ понималъ ее Монтанелли 447
Гарибальди. (Очеркъ). 497

*

IV.

стр.
Ученое самообольщеніе 509
Москва и Новгородъ 520
Одинъ изъ нашихъ государственныхъ дѣятелей 539

V.

Изъ путешествія по Швейцаріи 569

ГРИГОРІЙ ЕВЛАМПІЕВИЧЪ

БЛАГОСВѢТЛОВЪ.

(Біографическій очеркъ).

Личная жизнь Благосвѣтлова не будетъ служить матеріаломъ для настоящаго очерка. Не буду говорить я о Благосвѣтловѣ и отъ себя, примѣшивая къ характеристикѣ мои личныя на него воззрѣнія. У меня сохринились письма Благосвѣтлова ко мнѣ за 12 лѣтъ и они-то и будутъ моимъ главнымъ матеріаломъ. Въ этихъ письмахъ Благосвѣтловъ обрисовываетъ самъ себя настолько полно, что всякая другая характеристика едва-ли можетъ быть полнѣе. Къ Благосвѣтлову, болѣе чѣмъ къ кому-либо, слѣдуетъ примѣнить правило—„судите человѣка по его совѣсти". Иная оцѣнка Благосвѣтлова была-бы несправедливой. При оцѣнкѣ его при жизни всегда говорила только одна сторона. Теперь изъ писемъ Благосвѣтлова вы услышите другую сторону, услышите отъ самого Благосвѣтлова, какъ онъ думалъ, какъ страдалъ, какъ чувствовалъ, услышите отъ него, какъ ломала его жизнь, та самая жизнь, на борьбу съ которой онъ выступилъ гордо, смѣло и самоувѣренно, явившись борцомъ за права отдѣльной личности.

Благосвѣтловъ — чистый продуктъ 60 годовъ; онъ одинъ изъ послѣднихъ могикановъ этого времени полнаго жизни, блеска и порыва, выставившаго массу людей идейныхъ, талантливыхъ, съ характеромъ. Энергическій, твердый, настойчивый до упрямства, стремительный и въ то же время сдержанный, несламывающійся и подъ конецъ все-таки сломленный жизнію — Благосвѣтловъ яв-

ляется, можетъ быть, однимъ изъ самыхъ типическихъ представителей своего времени.

Въ то время всѣ птицы пѣли одну пѣсню—пѣсню освобожденія и въ этой общей пѣснѣ фальшивыхъ нотъ не слышалось. Освобожденіе крестьянъ было, въ сущности, освобожденіемъ личности, поэтому волна крестьянскаго освобожденія захватила всѣхъ — и каждый пѣлъ пѣсню личной свободы, каждый захотѣлъ дохнуть личнымъ счастьемъ. Въ порывѣ всеобщаго воодушевленія свободой и стремленія къ независимости глупые захотѣли сдѣлаться умными, „кисейныя барышни“ — работницами, дѣти—освободиться отъ власти родителей, ученики — отъ власти учителей, подчиненные — отъ власти начальниковъ, даже въ войско проникла эта „пѣснь личной свободы“, такъ-что для возстановленія дисциплины потребовались чрезвычайныя мѣры.

Писаревъ явился пророкомъ молодаго поколѣнія, хотѣвшаго начать новую жизнь, и творцемъ кодекса личнаго счастья „свободной личности“. Въ моментъ 60-хъ годовъ душевный составъ „свободной личности“ не былъ еще ясенъ и только въ настоящее время онъ подвергнутъ анализу въ спорѣ объ интеллигенціи, народѣ и буржуазіи.

Благосвѣтловъ принадлежалъ къ группѣ людей, во главѣ которыхъ сталъ Писаревъ. Поэтому-то Писаревъ былъ возможенъ въ „Русскомъ Словѣ“, которое издавалъ Благосвѣтловъ, но не нашелъ себѣ мѣста въ „Современникѣ“, который редактировали Добролюбовъ и др.

Какъ представитель личнаго начала, Благосвѣтловъ высоко ставилъ значеніе личности, ея развитіе, ея права, ея свободу. Даже общее благо онъ ставилъ въ зависимость отъ личнаго счастья и возможности всесторонняго развитія личности. Въ статьѣ о значеніи университетовъ, (а статья эта писана имъ въ 1861 году), онъ говоритъ: „Отнимите у человѣка способность чувствовать необходимость соціальной связи съ другими, подобными ему, существами, и онъ обратился-бы въ жалкаго одиночнаго скота; но, чтобы пробудить въ немъ эту способность, недостаточно собрать огромную кучу людей въ одну гражданскую сферу, заставить ихъ говорить однимъ языкомъ, вѣрить одной вѣрой, считать своимъ отечествомъ Францію, или Турцію,—нѣтъ, этого мало; такими свойствами можетъ отличаться всякая полукочевая орда, не имѣющая прочной общественной связи. Въ основаніи соціальныхъ инстинктовъ лежитъ глубокое сознаніе того или другаго принципа, равно

полезнаго всѣмъ, такъ-что каждый индивидуумъ стремится къ нему настолько, насколько сознаетъ его выгоду и чувствуетъ себя безопаснымъ и свободнымъ подъ этой защитой. Безъ этого чувства нѣтъ побужденія къ ассоціаціи и нѣтъ надобности стѣснять свою личную волю. *Идти врознь, но независимо, гораздо удобнѣе, чѣмъ напрасно давить себя въ табунѣ*".

Разбирая ученіе Овэна о значеніе личности, Благосвѣтловъ высказываетъ слѣдующее: „Такимъ образомъ, представить себѣ человѣка, не руководимаго личнымъ эгоизмомъ во всѣхъ его намѣреніяхъ и поступкахъ, то же самое, что представить себѣ живое существо, способное дышать безъ воздуха. Безсознательно и инстинктивно шло человѣчество къ осуществленію этого величайшаго принципа".

Личное чувство было развито въ Благосвѣтловѣ, пожалуй, даже сильнѣе, чѣмъ въ Писаревѣ. Впрочемъ, не дѣлая сравненій, можно сказать, что Благосвѣтловъ и Писаревъ, явившись представителями идеи личности, были достаточно послѣдовательны, чтобы не дать повода упрекнуть себя въ противорѣчіяхъ.

Приведу одинъ очень характерный фактъ.

Въ іюнѣ 1867 года, я получилъ отъ Писарева письмо, въ которомъ онъ, между прочимъ, говоритъ: „Теперь я пишу къ вамъ, чтобы сообщить вамъ извѣстіе, которое, по всей вѣроятности, будетъ вамъ очень непріятно и, можетъ быть, значительно уронитъ меня въ вашихъ глазахъ. Я разошелся съ тѣмъ журналомъ, въ которомъ мы съ вами работали, и, долженъ вамъ признаться, что разошелся не изъ-за принциповъ, и даже не изъ-за денегъ, а просто изъ-за личныхъ неудовольствій съ Г. Е. Онъ поступилъ невѣжливо съ одною изъ моихъ родственницъ, отказался извиниться, когда я этого потребовалъ отъ него, и тутъ же замѣтилъ мнѣ, что, если отношенія мои къ журналу могутъ поколебаться отъ каждой мелочи, то этими отношеніями нечего и дорожить. У меня уже заранѣе было рѣшено, что если Г. Е. не извинится, я покончу съ нимъ всякія отношенія. Когда я увидѣлъ изъ его словъ, что онъ считаетъ себя за олицетвореніе журнала, и смотритъ на своихъ главныхъ сотрудниковъ, какъ на наемныхъ работниковъ, которыхъ въ одну минуту можно замѣнить новымъ комплектомъ поденьщиковъ, тогда я немедленно раскланялся съ нимъ, принявши мѣры къ обезпеченію того долга, который остался на мнѣ. Эта исторія произошла въ послѣднихъ числахъ мая. Такъ какъ я не имѣю возможности содержать въ Петербургѣ цѣлое семейство, то моя

мать и младшая сестра въ началѣ іюня уѣхали въ деревню, а я остался; ищу себѣ переводной работы и веду студенческую жизнь. Теперешній адресъ мой: На Малой Таврической, д. № 23, кв. № 2. Вы, можетъ быть, скажете, Николай Васильевичъ, что изъ любви къ идеѣ мнѣ слѣдовало бы уступить и уклониться отъ разрыва. Можетъ быть, это дѣйствительно было бы болѣе достойно серьезнаго общественнаго дѣятеля. Но я признаюсь вамъ, что я на это не способенъ. Я рѣшительно не могу, да и не хочу сдѣлаться настолько рабомъ какой бы то ни было идеи, чтобы отказаться для нея отъ своихъ личныхъ интересовъ, желаній и страстей. Я глубокій эгоистъ не только по убѣжденію, но и по природѣ".

Не помню, что я писалъ Благосвѣтлову, но вотъ его отвѣтъ: „Вы пишете мнѣ, чтобъ я подалъ ему первый руку примиренія; я охотно и даже съ удовольствіемъ сдѣлалъ бы это, но я пересталъ его уважать... Не знаю, въ какомъ видѣ передана вамъ наша размолвка... Дѣло было такъ: я поставилъ въ объявленіи между извѣстными вамъ лицами имя М. В.,—поставилъ на томъ основаніи, что она участвовала въ „Русскомъ Словѣ" и изъявила желаніе участвовать въ „Дѣлѣ". Кажется, въ этомъ вины еще нѣтъ особенной. На это воспослѣдовалъ вопросъ г-жи..., какимъ образомъ редакція смѣетъ распоряжаться ея именемъ. Отвѣтилъ я, что вѣдь сама же она упрашивала редакцію дать ей работу въ „Дѣлѣ", прибавивъ при этомъ, что „Дѣло" опредѣляется только тремя именами. Затѣмъ явился Писаревъ и потребовалъ отъ меня, чтобъ я ѣхалъ къ М. В. извиняться, или онъ оставитъ журналъ. Такимъ отношеніемъ къ органу, успѣхомъ котораго больше всѣхъ слѣдовало бы дорожить именно Писареву, такой взглядъ на свою общественную дѣятельность, мнѣ показался до такой степени мелкимъ и узкимъ, что я разомъ почувствовалъ всю гадость современнаго русскаго человѣка. Извиниться не бѣда, даже въ томъ, въ чемъ не чувствуешь никакой вины, но я вѣдь знаю дворянскія замашки моего пріятеля... Пошлякъ я былъ бы въ своихъ собственныхъ глазахъ, еслибъ позволилъ хотя одинъ шагъ сдѣлать ради такихъ отношеній. Я завтра же могу оставить свою общественную дѣятельность, я не боюсь бѣдности и въ этомъ моя большая сила, но не могу унизиться до пошлости"...

Подъ вліяніемъ того же негодующаго чувства Благосвѣтловъ писалъ мнѣ 10 іюля: „Печальная новость! Писаревъ утонулъ, т. е. утопился въ душевно-разстроенномъ состояніи. Великая потеря,

если бы Писаревъ сдѣлался прежнимъ Писаревымъ; но если нѣтъ,— то слава Богу. Онъ умеръ уже давно, какъ умственный дѣятель, т. е. умеръ въ концѣ прошлаго года. Я знаю, что эта скверная новость непріятно отзовется въ вашемъ сердцѣ, какъ она отозвалась въ моемъ. Но будемъ вѣрить, что люди умираютъ, а идеи, честныя и хорошія идеи, живутъ. Ужасно жалко Писарева!"

Но вотъ тѣло Писарева привезено въ Петербургъ и послѣ похоронъ Благосвѣтловъ мнѣ пишетъ: „Сегодня похоронили Писарева. Свинцовый гробъ его, около сорока пудовъ, несли до самой могилы верстъ пять молодые люди и даже молодыя дамы помогали. Человѣкъ двѣсти шло за гробомъ и я радовался, что кружокъ умныхъ и честныхъ людей понемногу ростетъ. При похоронахъ Добролюбова, несмотря на то, что они были въ ноябрѣ, т. е. при полномъ сборѣ людей, понимающихъ его, я видѣлъ не болѣе 50 человѣкъ. Послѣ нѣсколькихъ словъ, сказанныхъ мною надъ могилой Писарева, двѣ дамы, заливаясь слезами, бросились на его могилу и стали цѣловать ее. Я дольше не могъ говорить и самъ заплакалъ". „Сочувствіе къ покойному,— пишетъ мнѣ Благосвѣтловъ въ другомъ письмѣ,—выразилось въ такомъ задушевномъ сожалѣніи, что на похоронахъ Добролюбова, котораго гробъ и я несъ, не было и половины той искренней горести, какую я тутъ видѣлъ. Вершками и крупицами, но подростаетъ доброе и честное поколѣніе. Это фактъ. Когда я надъ гробомъ Писарева сказалъ, что въ казематѣ, среди смрадныхъ стѣнъ крѣпости, въ безвыходномъ уединеніи, онъ проповѣдывалъ свою честную идею, что онъ шелъ прямо, не оглядываясь ни назадъ, ни впередъ, къ своей цѣли, — все, что было на могилѣ, заплакало навзрыдъ... Не Писаревъ нуженъ мнѣ былъ въ эту минуту, а его дѣятельность, его мысль, и это было понято многими. Схоронили его близь Добролюбова и Бѣлинскаго; подписка была открыта въ память его для стипендіи, а не памятника — и это гораздо лучше всякаго мавзолея. И безъ памятника не потеряется его могила, а это все, что и нужно. Собрано было на могилѣ рублей 700 и, авось, цифра достигнетъ того итога, какой нуженъ хоть для уплаты двухъ матрикулъ двумъ бѣднымъ студентамъ".

Разрывъ съ Писаревымъ не обошелся Благосвѣтлову легко; впослѣдствіи ему не разъ случалось разрывать съ людьми, но этотъ первый ударъ былъ для него слишкомъ силенъ и неожиданъ, и еще долго отзывался болью въ его душѣ и вызывалъ горькое чувство. Почти черезъ годъ послѣ смерти Писарева, Благосвѣтловъ

писалъ мнѣ: „Многое вы узнаете отъ Л. П. и, вѣроятно, согласитесь съ тѣмъ, что причина разъединенія лежитъ не во мнѣ, а въ духѣ времени, въ томъ болѣзненномъ настроеніи общества, которое всегда предшествовало большимъ его кризисамъ. Прежде, чѣмъ разыгрываются великія страсти, долго борются и кипятъ мелкія; прежде, чѣмъ общественныя интересы выступаютъ на сцену, личные управляютъ всѣмъ. Я въ этомъ вижу ту отвратительную кашу, которая происходитъ въ нашей журналистикѣ. И Писаревъ утонулъ въ этой кашѣ, и З. обкушался ею. Я подалъ бы всегда руку примиренія своему злѣйшему врагу ради общаго хорошаго дѣла, но безполезно. Достаточно какой нибудь сплетни, чтобы опять разъединить и поссорить. Плохо наше молодое поколѣніе, но вѣдь гнилое сѣмя предшествуетъ здоровому и свѣжему ростку. Грустно было читать въ вашихъ письмахъ сомнѣнія насчетъ „Дѣла". Умерло не оно, а его молодая и вымершая часть. Ничего дурнаго я не вижу въ этомъ. И пусть мертвое умираетъ. Это только заставляетъ насъ употребить побольше энергіи и дѣятельности. Пока не перебродитъ новое вино, мѣхи должны быть сохранены. И я рѣшился до послѣдняго издыханія оставаться на своей бреши; по крайней мѣрѣ, я послѣдній упаду. Прошу васъ объ одномъ:—помочь мнѣ и поддержать меня. Время раскроетъ многое и оправдаетъ многое".

Долго не успокоивалось горькое чувство въ Благосвѣтловѣ, долго сочилась его душевная рана и всякій разъ, какъ онъ чувствовалъ боль, онъ на нее жаловался. „Мы переживаемъ время,—писалъ онъ въ августѣ 1867 года: — когда люди, какъ металлъ, пробуются на двойномъ огнѣ. Если выдержатъ пробу, значитъ всегда будутъ хороши, а не выдержатъ — чортъ съ ними, значитъ дрянь. А сколько ихъ, выдержавшихъ эту пробу? И гдѣ они, эти выдержавшіе? Ихъ нѣтъ съ нами, и вотъ почему въ нашемъ крошечномъ, микроскопическомъ кружкѣ должны быть возстановлены самыя искреннія и чистыя отношенія. Мы не должны щадить другъ друга, если этого требуетъ взаимная польза и общее дѣло".

Съ именемъ Писарева у Благосвѣтлова были связаны самыя свѣтлыя и дорогія воспоминанія. „У меня не было на землѣ лучшихъ нравственныхъ симпатій, какъ къ нему (Писареву),—писалъ Благосвѣтловъ въ 1870 году: — и ужь я-то, стоявшій такъ близко къ самому процессу этого хрустальнаго ума, могъ понимать и цѣнить эту силу"... Въ томъ же году Благосвѣтловъ задумалъ писать воспоминанія о Писаревѣ и, сообщая мнѣ объ

этомъ, говоритъ: „Это исторія всего поколѣнія Писарева, изъ котораго онъ былъ лучшій. Жалко, что придется многаго не договорить... да и жизнь-то его была арестантская, съ которой трудно справиться въ литературномъ очеркѣ. А личность его, какъ умственнаго дѣятеля, вся въ борьбѣ и преданности своему дѣлу. О, какъ онъ былъ выше всей этой заносчивой дряни, которая его щипала!“

Благосвѣтлову приходилось разрывать со многими людьми, но разрывъ съ Писаревымъ, былъ для него самымъ тяжелымъ разрывомъ. Ему было больно, обидно и досадно, что вся эта исторія разыгралась такимъ образомъ, но уступки онъ сдѣлать былъ не въ состояніи: это было не въ его характерѣ. Затѣмъ одна за другою наносились новыя раны его гордому чувству, его вѣрѣ въ свои собственныя силы и его руководящій принципъ не выдержалъ этой пробы на „двойномъ огнѣ“. Благосвѣтловъ замыкался все больше и больше и все сильнѣе и сильнѣе чувствовалъ свое одиночество.

Случай въ жизни русскаго литератора играетъ чуть ли не главную роль. Всѣ мы готовимся къ чему-то другому, а литераторами дѣлаемся случайно. То же повторилось и съ Благосвѣтловымъ.

Г. Е. Благосвѣтловъ былъ сыномъ полковаго священника и родился въ Ставрополѣ кавказскомъ въ 1824 г. Окончивъ курсъ въ духовномъ училищѣ, онъ поступилъ въ саратовскую семинарію, а по окончаніи семинаріи перешелъ въ с.-петербургскую медико-хирургическую академію и затѣмъ въ с.-петербургскій университетъ по юридическому факультету. Такимъ образомъ, онъ готовился вовсе не для литературной дороги.

Окончивъ курсъ въ университетѣ, Благосвѣтловъ поступилъ преподавателемъ русскаго языка и словесности въ военно-учебныя заведенія. Здѣсь онъ скоро привлекъ къ себѣ симпатіи учениковъ и, какъ способный учитель, обратилъ на себя вниманіе начальника штаба военно-учебныхъ заведеній Я. И. Ростовцева. Не смотря на все это, преподавательская карьера скоро ускользнула изъ-подъ ногъ Благосвѣтлова.

Наступилъ 1855 годъ и памятное 18 февраля. Благосвѣтловъ былъ въ это время учителемъ въ Пажескомъ корпусѣ. На одномъ изъ уроковъ, Благосвѣтловъ задалъ ученикамъ написать сочиненіе, предоставивъ выборъ темъ имъ самимъ. Одинъ изъ пажей С. написалъ похвальное слово умершему императору и, конечно, былъ не въ состояніи справиться съ такою широкою и трудною темой. Благосвѣтловъ это ему замѣтилъ, а пажъ понялъ замѣчаніе иначе и, неизвѣстно, въ какомъ видѣ онъ передалъ всю эту исторію

дядѣ своему генералу Дуббельту, завѣдывавшему III-мъ отдѣленіемъ, — но въ концѣ концовъ Благосвѣтлову предложили оставить занятія въ военно-учебныхъ заведеніяхъ.

Впрочемъ, онъ скоро нашелъ себѣ подобные же уроки въ Павловскомъ институтѣ, состоявшемъ подъ покровительствомъ великой княгини Елены Павловны. Инспекторомъ института былъ въ то время Е. А. П—ъ, человѣкъ всесторонне образованный, которымъ Елена Павловна очень дорожила. П—ъ очень поддерживалъ Благосвѣтлова, но и здѣсь вліяніе генерала Дуббельта оказалось сильнѣе и Благосвѣтловъ долженъ былъ оставить и это мѣсто. Тогда онъ сталъ проситься за границу и, получивъ разрѣшеніе, уѣхалъ въ 1857 г. въ Англію. Здѣсь онъ сблизился съ Герценомъ и училъ его дѣтей, затѣмъ переѣхалъ въ Парижъ и слушалъ лекціи въ Сорбоннѣ. Къ этому же періоду относится и знакомство Благосвѣтлова съ графомъ Кушелевымъ, тогдашнимъ издателемъ „Русскаго Слова".

Въ это же время жилъ въ Парижѣ Я. П. Полонскій, приглашенный Кушелевымъ редактировать „Русское Слово", и набиралъ сотрудниковъ. Кто-то сказалъ Полонскому, что въ Латинскомъ кварталѣ живетъ очень способный молодой человѣкъ и что у него есть готовая, хорошая статья. Я. П. отправился въ Латинскій кварталъ и въ одной изъ бѣдныхъ мансардъ нашелъ молодаго человѣка, который произвелъ на него очень хорошее впечатлѣніе, а у молодого человѣка дѣйствительно оказалась готовая статья. Этимъ молодымъ человѣкомъ былъ Благосвѣтловъ, а статьею— „Значеніе Парижскаго Университета". Статья была напечатана въ „Русскомъ Словѣ", въ январьской книжкѣ 1859 года. Узнавъ о бѣдственномъ положеніи Благосвѣтлова, Кушелевъ сейчасъ же прислалъ ему чекъ на 1,000 франковъ.

Я. П. Полонскій редактировалъ „Русское Слово" не долго. Послѣ него редакція перешла къ А. Хмѣльницкому, человѣку совершенно неспособному вести порядочный журналъ. Въ то время какъ подъ вліяніемъ идеи „освобожденія" каждый жилъ и просилъ жизни, А. Хмѣльницкій вмѣсто руководящихъ статей выпускалъ книжки листовъ въ пятьдесятъ, наполненныя скучнѣйшими статьями по спеціальнымъ вопросамъ, или изслѣдованіями объ историческихъ памятникахъ. Такой редакторъ, конечно, не могъ удержаться и гр. Кушелевъ пригласилъ Благосвѣтлова. Это было въ половинѣ 1860 года.

Въ томъ же 1860 году Писаревъ принесъ въ „Русское Слово" свою первую статью и сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ журнала.

„Русское Слово“ редакціи Благосвѣтлова не сразу выступило во всеоружіи, какъ Минерва, оно получило опредѣленную физіономію и обнаружило свое вліяніе постепенно и гораздо позже.

Благосвѣтловъ, какъ крайній западникъ, получившій свое политическое крещеніе въ Англіи и во Франціи, думалъ сначала проводить политическія и историческія идеи и знакомить читателей съ главными поворотными событіями въ исторіи Франціи. Но русскіе „жгучіе“ вопросы не позволили журналу удержаться на подобной программѣ. Новые сотрудники внесли новыя стремленія, а затѣмъ Писаревъ, выступившій съ своей неотразимой діалектикой и всепобѣждающей аргументаціей, деспотически овладѣлъ умами молодежи, частью разрушая старое и ниспровергая авторитеты и заблужденія, а частію указывая на спасительный выходъ въ реализмѣ и естествознаніи. Писаревъ не могъ не испугать общественнаго мнѣнія своею рѣзкостью и вотъ „Русскому Слову“, вмѣстѣ съ „Современникомъ“ были приписаны послѣдствія, въ которыхъ они однако были неповинны. Послѣ пожара Щукина двора въ 1862 году „Русское Слово“ и „Современникъ“ были пріостановлены на полгода. Вслѣдъ за этой остановкой гр. Кушелеву посовѣтовали оставить изданіе журнала, его компрометирующаго, и Кушелевъ передалъ Благосвѣтлову свои издательскія права.

Я очень жалѣю, что не сохранилъ переписки съ Благосвѣтловымъ съ 1864 по 1866 годъ. Послѣ 4 апрѣля 1866 года я его письма сжегъ. Въ нихъ были очень интересныя данныя о „Русскомъ Словѣ“ и его внутренней жизни въ его лучшую и кипучую пору и, слѣдовательно, о наиболѣе свѣтломъ періодѣ редакторской дѣятельности Благосвѣтлова.

Въ 1866 году „Русское Слово“ было запрещено по Высочайшему повелѣнію на второй январьской книжкѣ. Чтобы удовлетворить подписчиковъ, Благосвѣтловъ задумалъ издать сборникъ „Лучъ“. Первый томъ „Луча“ выпустить Благосвѣтлову удалось, а второй былъ остановленъ и подлежалъ преданію суду, но суду преданъ не былъ. Конечно, судъ не нашелъ бы въ немъ ничего противузаконнаго. Благосвѣтловъ писалъ мнѣ, что содержаніе втораго тома было такъ тщательно пересмотрѣно, „что сама цензура не знала, къ чему привязаться“, но „Лучъ“ задержали за то, что въ немъ оказались тѣ же сотрудники, которые были и въ „Русскомъ Словѣ“. „По этому одному вы можете судить,—пишетъ Благосвѣтловъ,—какъ душно въ нашемъ воздухѣ, хотя теперь и въ половину сдѣлалось легче, чѣмъ за два мѣсяца прежде. Что бу-

детъ дальше съ литературой, — никто не знаетъ, но теперь такъ тяжело, что я не помню хуже времени".

Разбирая причины этого тяжелаго состоянія журналистики, Благосвѣтловъ замѣчаетъ: „Какъ прежде, такъ и теперь скажу, что мы сами виноваты во многомъ, лишивъ общество честныхъ органовъ нашей печати. Оптимизмъ завелъ насъ слишкомъ далеко, надо мѣрить наше общество его собственнымъ аршиномъ; это великій и глупый bambino, которому еще не подъ силу свѣтлыя и честныя идеи. Bambino требуетъ рѣпы и чесноку, а ему подносятъ разныя тропическія пряности".

Вотъ съ этой-то поправкой Благосвѣтловъ и задумалъ вмѣсто „Русскаго Слова" создать журналъ „Дѣло". Въ іюнѣ 1866 года Благосвѣтловъ мнѣ писалъ: „Теперь я размышляю о томъ, какъ бы удовлетворить подписчиковъ „Русскаго Слова". Лучшимъ средствомъ удовлетворенія я считаю сойдтись съ новымъ журналомъ „Дѣло", и сойдтись такъ, чтобы оно издавалось на прежнихъ основаніяхъ „Русскаго Слова". Еще не окончены мои условія по этому соглашенію, но я думаю, что мы всѣ устроимся въ этомъ журналѣ со временемъ. Я напишу вамъ подробно, когда кончится дѣло". Въ случаѣ если-бы „соглашеніе" съ „Дѣломъ" неудалось, Благосвѣтловъ предлагалъ мнѣ вступить съ нимъ и Писаревымъ „въ товарищество по изданію книгъ".

Но „соглашеніе" состоялось и черезъ двѣ недѣли Благосвѣтловъ мнѣ писалъ: „Спѣшу извѣстить васъ, что открывается ежемѣсячный журналъ „Дѣло", который вполнѣ замѣнитъ „Русское Слово". Въ первыхъ числахъ августа обѣщали выпустить первую книжку".

„Дѣло", писалъ Благосвѣтловъ,—журналъ подцензурный и, слѣдовательно, прочный. Впослѣдствіи я объясню вамъ долю моего участія въ этомъ изданіи, а теперь могу поручиться, что журналъ будетъ честный, хотя и безцвѣтный на первое время. Чтобы не подвергнуть „Дѣло" мелкимъ подозрѣніямъ со стороны его солидарности съ „Русскимъ Словомъ", я совѣтую редактору дать журналу серьезный характеръ, отзывающійся наукой, но безъ всякихъ неудобоваримостей, а солидный и честный органъ. Все дѣло у насъ въ формѣ; ни одной рѣзкой выходки, ни одного рѣзкаго порадокса, и „Дѣло" пойдетъ въ люди. „Дѣлу" пока достаточно быть не глупымъ журналомъ, а умнымъ оно всегда успѣетъ быть. Обстоятельства такъ круты, что надо волей-неволей сообразоваться съ ними. Рескриптъ опредѣлилъ наше журнальное положеніе по край-

ней мѣрѣ на полгода. Время сотретъ рѣзкія черты подозрѣній и оправдаетъ литературу отъ тѣхъ нареканій, которымъ она подвергалась—въ этомъ я глубоко убѣжденъ, но пока рекомендую вамъ, ради сохраненія честной мысли, полнѣйшую осторожность. Теперь все выдается за соціализмъ. Хотя „Дѣло“ и подцензурный журналъ, но вѣдь вы знаете, что цензура не спасаетъ отъ преслѣдованій. Будьте хитры, какъ змій, и невинны, какъ голубь; это послѣднее наше испытаніе и намъ нужно перенести его твердо и благоразумно. Хлопотъ у меня бездна и я измученъ, какъ собака, или, говоря изящнѣе, какъ матросъ, выброшенный въ открытое море послѣ крушенія корабля“.

Этотъ періодъ былъ самый трудный въ жизни Благосвѣтлова, а по нѣкоторымъ послѣдствіямъ даже роковой. Скопилась цѣлая масса самыхъ тяжелыхъ и непредвидѣнныхъ случайностей, которыя нужно было устранить, преодолѣть, примирить. Къ довершенію всего Благосвѣтловъ по политическому подозрѣнію былъ арестованъ и заключенъ въ крѣпость. Заключеніе, правда, продолжалось недѣли три, но тѣмъ не менѣе Благосвѣтловъ имѣлъ полное основаніе сравнивать свое положеніе съ положеніемъ матроса, у котораго пробили въ лодкѣ дно. „Вода течетъ, лодка опускается ко дну и мнѣ,—пишетъ Благосвѣтловъ—приходится въ одно и то же время затыкать дыру и выливать воду. Эта аллегорія переводится на простой языкъ такъ: мнѣ закрыли журналъ, велѣли закрыть книжный магазинъ и передать типографію лицу благонадежному“... „Повѣрите ли,—говоритъ дальше Благосвѣтловъ:—что я на свободѣ чувствую себя не лучше крѣпости. Скверные нервы не даютъ ни минуты покоя, потому-что каждый день несетъ новыя тяжелыя впечатлѣнія. Удивляешься, что за каменная природа человѣкъ; кажется, давно пора бы лопнуть хилому механизму жизни, анъ нѣтъ — онъ стоитъ и жаждетъ не покоя, а дѣятельности. Но дѣятельность-то становится не подъ силу; ужь слишкомъ много навалило хлопотъ и непріятностей. Одна мораль—если родишься въ Россіи и сунешься на писательское поприще съ честными желаніями, — проси мать слѣпить тебя изъ гранита и чугуна. Мать моя озаботилась въ этомъ отношеніи. Спасибо ей, родимой!“

Въ каждомъ письмѣ Благосвѣтловъ сообщалъ что нибудь новое о препятствіяхъ и затрудненіяхъ, которыя ему приходилось преодолѣвать. Только въ цѣлой своей совокупности онѣ даютъ понятіе о той борьбѣ, которую онъ выносилъ. Можетъ быть, по сво-

ему впечатлительному характеру Благосвѣтловъ бралъ все глубже и больнѣе, но вѣдь я пишу о Благосвѣтловѣ и, слѣдовательно, долженъ говорить, какъ чувствовалъ онъ, а не кто-нибудь другой.

Первая книжка „Дѣла" должна была выйти 20-го августа, а между тѣмъ она не могла появиться ранѣе начала сентября; это очень тревожило и раздражало Благосвѣтлова. До 4-го сентября было набрано 48 листовъ и изъ нихъ 22 запрещено; еще больше безпокоило его, что ему не позволяли объявить, что „Дѣломъ" будутъ удовлетворены подписчики запрещеннаго „Русскаго Слова". Въ то же время было замѣчено редактору, что „Дѣло" можетъ отправиться по слѣдамъ „Русскаго Слова" въ вѣчность. „Это было сказано не въ видѣ угрозы,—пишетъ Благосвѣтловъ,—а факта, который нужно было отвести всевозможными усиліями; все это, разумѣется, достается кровью всѣмъ намъ, но что же дѣлать".

Все это ужасно утомляло Благосвѣтлова; подчасъ у него совсѣмъ опускались руки и въ такія минуты онъ писалъ: „Долженъ вамъ откровенно сказать, что я усталъ до истощенія силъ; чувствую, что еще хватитъ головы и энергіи, чтобы бороться, но что это за борьба?.. Борьба глухая и пассивная, вы не видите ни врага, ни оружія... жизнь уходитъ на мелкія состязанія, а результата никакого"... И въ томъ же письмѣ онъ продолжаетъ, что бросить дѣло нельзя, но что нужно искать средствъ „идти не лбомъ противъ стѣны", онъ совѣтуетъ „удалиться пока въ тихую область исторіи и естественныхъ наукъ, а политическихъ и экономическихъ вопросовъ пока не трогать. Полунамеки и намеки не по силамъ нашей публикѣ и потому все, что по серьезнѣе, должно быть припрятано на черный день... Вотъ мое мнѣніе, почерпнутое изъ 22 листовъ, совершенно запрещенныхъ для первой книжки „Дѣла",—пишетъ Благосвѣтловъ.

Причину строгихъ отношеній къ „Дѣлу" Благосвѣтловъ объяснялъ тѣмъ, что подозрѣвали въ новомъ журналѣ участіе прежнихъ сотрудниковъ „Русскаго Слова". Чтобы замаскировать это участіе, которому, впрочемъ, едва ли придавали такое значеніе, Благосвѣтловъ проситъ меня мои письма лично къ нему посылать по одному адресу, а рукописи и письма по дѣламъ журнала—въ главную контору „Дѣла". Благосвѣтлову даже казалось, что ему грозитъ высылка изъ Петербурга, и онъ постоянно находился въ томительномъ, лихорадочномъ состояніи, пока ему, наконецъ, не удалось убѣдиться, что задуманный имъ журналъ укрѣ-

пился и можетъ имѣть будущее. Въ одномъ изъ подобныхъ состояній, онъ, въ концѣ ноября 1866 г., мнѣ писалъ: „Вотъ ужь пятнадцатую ночь, какъ я не сплю нормальнымъ человѣческимъ сномъ; забудусь и проснусь. Напряженіе нервовъ доходитъ до изумительной тонкости. Припоминая прошлое, я вижу его въ образахъ до мельчайшихъ подробностей; соображая будущее, я предугадывалъ, что будетъ завтра и послѣ-завтра. Малѣйшая непріятность, грозящая въ будущемъ, чувствуется мной заранѣе. Одеревенѣлость людей, которыхъ я вижу, та счастливая одеревенѣлость, которая блаженствуетъ, если сыта и самодовольна, раздражаетъ меня, какъ самый сильный наркотикъ. Думается много, ужасно много, но эти тяжелыя мысли, какъ безплодный грузъ, ложатся камнемъ на мозгъ и на всю нервную механику. И за всѣмъ тѣмъ, это состояніе нельзя назвать болѣзненнымъ. Энергія и силы чувствуются въ здоровомъ состояніи. Но объ этомъ не стоило бы и говорить, если-бы это было только мое личное настроеніе. Нѣтъ, я вижу и другихъ въ такомъ же положеніи. Я убѣжденъ, что это общій органическій переломъ эпохи, болѣе или менѣе отражающійся на всемъ чувствующемъ. Я вижу изъ вашего послѣдующаго письма, что и вы раздражены, что и вы не спокойны. Отчего это? Отчего тысячи людей чувствуютъ, что имъ тяжело, но объяснить причины этого гнета никто не можетъ удовлетворительно. Дряблыя натуришки впадаютъ обыкновенно въ мистицизмъ въ такія эпохи; сильныя натуры или ломятся пополамъ, или дѣлаютъ добрыя и честныя дѣла, которыми потомъ можно похвалиться“.

Въ душѣ Благосвѣтлова свершались постоянные приливы и отливы, т. е. упадокъ и подъемъ духа, смотря по тому, поднимался, или падалъ цензурный барометръ и трудно, или менѣе трудно проходили книжки. Въ концѣ 1866 года, Благосвѣтловъ мнѣ писалъ: „Насчетъ моего участія въ „Дѣлѣ“ немного успокоились и это дало нѣкоторый отдыхъ журналу; но все еще держатъ его между жизнью и смертью“.

Впослѣдствіи, однако, цензурное вѣдомство совсѣмъ примирилось съ существованіемъ „Дѣла“ и, какъ писалъ мнѣ разъ Благосвѣтловъ (это было уже въ 1871 году) на категорически поставленный вопросъ, будетъ ли терпимо „Дѣло“, Благосвѣтлову дали такой отвѣтъ: „Правительству нуженъ такой органъ, если не для настоящаго времени, то для будущаго; запретить его оно вовсе не желаетъ и не думаетъ, но хочетъ отнять у него то вліяніе, которое оно пріобрѣло. Въ политическомъ отношеніи

„Дѣло“ считается безвреднымъ, въ соціальномъ—неблагонамѣреннымъ, и противъ этого-то и борется цензура“.

Это было сказано Благосвѣтлову во время завѣдыванія цензурой генераломъ Шидловскимъ. Назначеніе Шидловскаго заставило дрогнуть Благосвѣтлова и онъ, было успокоившійся за „Дѣло“, снова заволновался и заметался. При первомъ же слухѣ о назначеніи генерала Шидловскаго, Благосвѣтловъ писалъ мнѣ: „ходятъ зловѣщіе слухи и пресса запугана, если можно только еще больше запугать ее“. И дѣйствительно, энергическій генералъ Шидловскій взялся за печать круто и рѣшительно. Извѣщая меня о назначеніи ген. Шидловскаго, Благосвѣтловъ писалъ: „Шидловскій еще никакъ не высказался, только грозитъ и грозитъ; о немъ говорятъ, какъ о человѣкѣ не глупомъ... По симпатіямъ онъ тянетъ къ „Вѣсти“; совѣтуютъ быть осторожнымъ на первое время, пока не выскажется. Говорятъ, что ему прямо сказано такъ: политика намъ не страшна, но надо соблюсти нравственность... На „Дѣлѣ“, конечно, отзовется больше всего энергія цензуры, но какъ ни слаба моя вѣра въ хорошее, какъ ни усталъ я нравственно, все же есть во мнѣ капля теплой крови и я убѣжденъ, что никакія энергіи не остановятъ жизнь, никакія противорѣчія не прекратятъ даннаго движенія... Одно жалко, что вносится много горя и неудовольствія въ душу нашего мыслящаго меньшинства, разрушается много индивидуальнаго спокойствія. Но развѣ когда-нибудь что-нибудь доброе покупалось дешево?.. Надо какъ нибудь переживать трудное время, пожалуй, въ науку придется уйдти“.

Послѣ личныхъ объясненій редактора „Дѣла“ съ ген. Шидловскимъ, Благосвѣтловъ мнѣ писалъ: „Если редакція „Дѣла“ дастъ слово избѣгать вопросовъ о бракѣ, о собственности и вопросовъ религіозныхъ, то онъ, Шидловскій, находитъ существованіе журнала возможнымъ. Дѣлать нечего, надо пока идти по тому краешку, который отводятъ“.

Недѣли черезъ двѣ Благосвѣтловъ даже находилъ въ ген. Шидловскомъ хорошія стороны. Онъ писалъ, что это человѣкъ прямой, не чиновникъ, что онъ производитъ на всѣхъ хорошее впечатлѣніе и „Дѣло“ идетъ при немъ лучше. Между тѣмъ, Шидловскій обѣщалъ освободить „Дѣло“ отъ предварительной цензуры. „Вообще не такъ страшенъ чортъ, какъ его рисуютъ“. Это писалъ мнѣ Благосвѣтловъ 16 октября 1870 года, а 6 мая 1871, т. е. черезъ полгода, онъ писалъ, что на „Дѣло“ воздвигнуто новое гоненіе, въ особенности преслѣдуетъ Шидловскій экономическіе воп-

росы. Перечисляя цѣлый рядъ статей, которыя были остановлены или запрещены, Благосвѣтловъ прибавляетъ: „Изъ этого видно, что Шидловскій намѣревается истребить все, что касается экономическаго вопроса; цензура, разумѣется, усердствуетъ изо всѣхъ силъ и потому на время устраните этотъ вопросъ въ вашихъ статьяхъ“.

Въ концѣ сентября 1871 г. Благосвѣтловъ пишетъ: „Ужасный мѣсяцъ для „Дѣла“; я буквально шестую ночь не сплю; посылаю одну рукопись за другой въ типографію и все запрещаютъ... Двѣнадцать статей запрещено для одной книжки; хотѣлъ жаловаться въ сенатъ: это небывалое и въ высшей степени несправедливое свирѣпство... Когда выйдетъ девятая книжка, не знаю; какой она будетъ? Дохлой! Чего требуютъ, никакъ не разберешь?.. Если готовите что для десятой книжки, готовьте чисто литературное: это еще пропускаютъ, о малѣйшей перемѣнѣ къ лучшему увѣдомлю васъ... раздраженъ ужасно, зло беретъ на всѣхъ“.

Причина строгости объяснялась нечаевскимъ дѣломъ и Благосвѣтловъ рекомендовалъ мнѣ уйдти въ область исторіи и естествознанія, т. е. въ ту норку, въ которую приходилось всегда прятаться, когда нельзя было говорить о современныхъ дѣлахъ. Благосвѣтловъ былъ очень раздраженъ, но особеннымъ образомъ. „Я не опускаю рукъ,—писалъ онъ мнѣ:—скрѣпилъ зубы; я, физически больной, выздоровѣлъ и выросъ. Дѣло идетъ очевидно о томъ, сломится ли наша честная журналистика подъ этимъ ударомъ, или нѣтъ; нѣтъ, значитъ жить ей долго; упадетъ—радость врагамъ ея“...

„Сегодня, въ ночь,—писалъ Благосвѣтловъ 1 октября 1871 г.:—есть надежда вытащить первую книжку; еле дышетъ. Положеніе журнала, конечно, озабочиваетъ васъ и я разъясню вамъ его. Доносъ „Зари“ и раздраженіе Шидловскаго сначала заставили насъ думать, что рѣшено задушить „Дѣло“; впродолженіи двухъ недѣль не выдали ни одной статьи: — все запрещалось подъ разными предлогами; этого мало, поставили редакціи непремѣннымъ условіемъ всѣ статьи набирать цѣликомъ. Такъ, если романъ 40 печатныхъ листовъ безъ конца, то нельзя представить начала. Кромѣ того, сдѣлали запросъ, на какомъ основаніи Благосвѣтловъ издаетъ журналъ; все это поставило предо мной вопросъ, не хотятъ ли, избѣгая скандала, выморить „Дѣло“. Чтобы разрѣшить вопросъ, Благосвѣтловъ и отправился къ товарищу министра внутреннихъ дѣлъ (министръ былъ за границей) и получилъ тотъ успокоительный отвѣтъ, о которомъ я уже сказалъ. Это ли объясненіе, или

другія причины, но цензура внезапно стала легче и Благосвѣтловъ опять ожилъ. Въ особенности его успокоило то, что на главный вопросъ, т. е. допускается ли существованіе „Дѣла", онъ получилъ прямой отвѣтъ. „Это все, что я желалъ знать,—пишетъ Благосвѣтловъ. — Что же до ихъ давленія, то я ихъ нѣжностями не избалованъ"...

Но въ томъ же письмѣ чувствуется уже и другая нотка; нотка скорбная, болевая. Благосвѣтловъ пишетъ, что отдыхъ нравственный и физическій ему нуженъ, и первый даже болѣе, чѣмъ второй... Впрочемъ, чувство утомленія сказывалось въ немъ, пожалуй, и ранѣе. „Не кончилась ли наша дѣятельность, не измѣняютъ ли наши силы, вѣдь трудно это чувствовать самому... Лучше смерть, чѣмъ упадокъ умственной энергіи и нравственная дряблость; я боюсь представить себя ни на что не годнымъ старикомъ, человѣкомъ лишнимъ среди живыхъ и дѣятельныхъ. А между тѣмъ, пересматривая все пережитое, все передуманное и перечувствованное, становится ясно, что удары и царапины по самымъ чувствительнымъ нервамъ не проходятъ даромъ... Но мнѣ нельзя еще отдыхать, я не могу оставить дѣло, чтобы не испортить его. Но нѣтъ, я вѣрю, что дѣло наше не погибнетъ напрасно. Мы нужны еще и пусть хоть одинъ останется цѣлъ и бодръ въ нашемъ разбитомъ строѣ, то и тогда великая побѣда будетъ выиграна, а выиграть ее надо, иначе весь порохъ и пули потрачены даромъ. Идея безъ результата, идея, оставленная на полъ дорогѣ — мертворожденная идея... Лучше смерть, чѣмъ сонъ".

Благосвѣтлова никогда не покидала мысль выйдти изъ подъ цензуры. Сначала онъ думалъ, что существованіе „Дѣла" подъ цензурою будетъ обезпеченнѣе; но когда оказалась масса трудностей, непосильныхъ одному человѣку, Благосвѣтловъ сталъ просить объ освобожденіи „Дѣла" изъ подъ цензуры—и не разъ просилъ объ этомъ, но ему не разрѣшали. Въ октябрѣ 1868 года онъ мнѣ писалъ, что если бы журналъ могъ дышать такъ, какъ дышалъ лѣтомъ, то можно было бы мириться съ горемъ, но нельзя поручиться ни за одинъ мѣсяцъ и что единственно ради разнообразія и правильнаго выхода книжекъ, нужно бы выйдти изъ подъ цензуры. Въ 1870 году онъ мнѣ опять пишетъ: „Всѣ мои заботы и думы направлены теперь на одну точку:—освободиться отъ предварительной цензуры; въ этомъ:—„быть или не быть" „Дѣла"; если его не выпустятъ изъ подъ цензуры къ концу года, то оно сдѣлается орудіемъ пытки для всѣхъ работающихъ въ немъ; есть надежда, что его вы-

пустятъ, и эта надежда поддерживаетъ надорванную энергію. Для 3 книжки запрещено 28 листовъ разныхъ статей".

Цензурныя строгости Благосвѣтловъ приписывалъ частью и тому, что онъ называлъ „доносами". Еще по выходѣ первой книжки, графъ Толстой, какъ писалъ мнѣ тогда Благосвѣтловъ, заявилъ, что „Дѣло" есть продолженіе „Русскаго Слова" и, слѣдовательно, журналъ вредный. „Начались передряги, возникло чуть не цѣлое слѣдствіе, осмотрѣли типографію, допытывались, будто бы, чьи рукописи набираются,—писалъ Благосвѣтловъ:—и одно только подаетъ слабую надежду на существованіе „Дѣла", что въ Главномъ Управленіи по дѣламъ печати есть нѣсколько человѣкъ за журналъ, но есть и противъ него". Вы, конечно, можете представить теперь легко, что долженъ былъ переживать этотъ нервный человѣкъ, какія у него должны были быть ночи и дни. Въ особенности тревожно дѣйствовало на Благосвѣтлова неблагопріятное отношеніе къ „Дѣлу" графа Толстого, который запретилъ даже выписывать „Дѣло" въ библіотеки учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія. Пожалуй, не меньше огорчалъ Благосвѣтлова и Катковъ. Онъ нѣсколько разъ указывалъ на „Дѣло" и статья его въ 1870 году особенно встревожила Благосвѣтлова. По поводу ея Благосвѣтловъ писалъ: „Ударъ Каткова прошелъ мимо, благодаря тому, что его ненавидитъ высшая петербургская бюрократія (?). Но ударъ отразился на журналѣ съ другой стороны. Сила доноса Каткова извѣстна многимъ и потому послѣ статьи его многіе считали „Дѣло" похороненнымъ". „На первыхъ порахъ,—пишетъ Благосвѣтловъ:—мы собрались всѣ купѣ (т. е. редакція) и съ грустью стали думать о нашемъ положеніи. Рѣшили немедленно просить объ освобожденіи „Дѣла" отъ предварительной цензуры: умирать, такъ умирать не въ болотѣ". Министръ, къ которому обратился редакторъ, не подалъ ни надежды на выпускъ изъ подъ цензуры, но и не отказалъ прямо. „Это обыкновенная манера генерала Тимашева", прибавляетъ Благосвѣтловъ. Въ особенности огорчила Благосвѣтлова статья Каткова тѣмъ, что, какъ показалось ему, она повліяла на подписку. „Послѣ статьи Каткова съ подпиской на „Дѣло" произошло сильное паденіе фондовъ. Всѣ думали, что черный воронъ каркнулъ надъ готовящимся трупомъ „Дѣла"... Но карканье зловѣщей птицы пронеслось, впечатлѣніе ослабло и подписка снова поддержала журналъ. Съ третьей книжки вдругъ пошло лучше... это поистинѣ удивительно для меня,—замѣчаетъ Благосвѣтловъ:—послѣ того гнета, который выноситъ „Дѣло".

Въ томъ же 70 году Благосвѣтловъ пишетъ: „Туча есть! Графъ Толстой заявилъ, что, пока литература будетъ своевольничать, воспитаніе по классической программѣ не будетъ достигать цѣли". Это обвиненіе печати въ то же время было косвеннымъ обвиненіемъ и цензурнаго вѣдомства и послужило поводомъ къ увольненію „мягкаго" Похвиснева и къ назначенію „энергическаго" Шидловскаго".

Но самымъ труднымъ временемъ для Благосвѣтлова было управленіе М. Н. Лонгинова. При Лонгиновѣ, между прочимъ, состоялось распоряженіе, по которому статьи должны были разрѣшаться безъ всякихъ помарокъ, а, если въ статьѣ оказывалась хотя одна мысль, не удобная для печати, то должна была запрещаться вся статья цѣликомъ. „Вы знаете мое терпѣніе и мою находчивость въ трудныхъ обстоятельствахъ,—писалъ Благосвѣтловъ,—но я опустилъ руки. Все, что можно было сдѣлать со стороны внѣшняго вліянія, мною сдѣлано; еще одинъ путь остался — и я попробую его надняхъ. Если и тутъ не выгоритъ, — пропало „Дѣло"... Чего отъ насъ требуютъ, мы не добьемся, говорятъ одно:—чтобы „Дѣло" не походило на прежнее „Дѣло". Что значитъ это? Какъ это сдѣлать? Ничего не объясняютъ и никакого указанія не даютъ. Конечно, можно было бы пережить кое-какъ мѣсяца два или три, давая безцвѣтныя книжки, кое-какіе сборники статей, не имѣющихъ ни направленія, ни единства идей, но ничего не хотятъ говорить, тѣмъ менѣе помочь. Есть люди и въ цензурѣ за насъ, но Лонгиновъ не изъ тѣхъ, которые слушаютъ".

Благосвѣтловъ писалъ мнѣ, что будто бы Лонгиновъ сказалъ, что февральскую книжку „Дѣла" выпуститъ въ ноябрѣ. Если это было и не совсѣмъ такъ, то во всякомъ случаѣ „Дѣлу" пришлось переживать очень трудное время и въ каждомъ письмѣ Благосвѣтловъ жалуется на невыносимую трудность его положенія. Опять онъ указываетъ, какихъ вопросовъ касаться, какихъ не касаться, проситъ не писать объ артеляхъ, о женскомъ вопросѣ, совѣтуетъ напустить учености, серьезнѣйшаго тона. Въ одномъ письмѣ даже проситъ придать „Внутреннему обозрѣнію" чисто спеціальный характеръ и писать о промышленности, земледѣліи, объ акціонерныхъ компаніяхъ и т. д. „Ухъ, какъ опротивѣло все,—пишетъ Благосвѣтловъ: — только у насъ и можетъ быть до такой степени омерзительно, что боишься за себя и за другихъ". Даже изъ Парижа, куда лѣтомъ 1874 года ѣздилъ Благосвѣтловъ, онъ пишетъ все о томъ же и высказываетъ свои боязни за судьбу „Дѣла".

И этотъ девятый валъ отхлынулъ, какъ и другіе, и „Дѣлу“ опять стало легче. Насколько измучился Благосвѣтловъ и опустились у него руки, можно видѣть изъ того, что онъ хотѣлъ продать журналъ. Но продать „Дѣло“, т. е. разстаться съ своимъ дѣтищемъ, было для Благосвѣтлова выше силъ. Охотники, конечно, нашлись, нѣкоторыя лица даже вступили съ Благосвѣтловымъ въ переговоры и, разумѣется, эти переговоры не приводили ни къ чему. Правда, послѣ М. Н. Лонгинова стало настолько легче, что Благосвѣтловъ пробовалъ даже просить оффиціальнаго признанія его редакторомъ и ему это обѣщали, хотя и не разрѣшали. При Н. С. Абазѣ Благосвѣтловъ попытался еще разъ просить объ освобожденіи изъ-подъ цензуры, но получилъ рѣшительный отказъ.

О Благосвѣтловѣ, какъ о редакторѣ, ходило много не совсѣмъ точныхъ мнѣній. Разсказывали, напр., о его, будто бы, безцеремонномъ обращеніи со статьями. Дѣйствительно, онъ дѣлалъ иногда въ статьи вставки и не всѣ изъ подобныхъ вставокъ можно оправдать, но иногда, а можетъ быть и въ большинствѣ случаевъ, вставки дѣлались, чтобы смягчить статью и легче провести ее черезъ цензуру; дѣлались измѣненія, чтобы сдѣлать статью „читабельнѣе“, или уничтожить противорѣчія, нѣкоторыя вставки дѣлались даже по желанію цензоровъ. Бывали случаи, когда Благосвѣтловъ высылалъ мнѣ цензорскія корректуры для того, чтобы я могъ сообразить, что не допускается цензурой, и вмѣстѣ съ цензорской корректурой присылалъ еще оттиски, чтобъ исправить и выгладить статью, соображаясь съ цензорскими исключеніями. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда онъ самъ что-нибудь вносилъ въ корректуру, онъ обыкновенно сообщалъ мнѣ объ этомъ и изъ всѣхъ случаевъ я только помню одинъ, когда онъ приставилъ къ мой статьѣ „голову“ и съ этой приставкой я настолько не согласился, что у насъ возникла „спеціальная“ переписка.

Конечно, въ тѣхъ случаяхъ, когда авторы не были на лицо, или поправки дѣлались ничтожныя, или же являлись статьи недостаточно опытныхъ писателей, Благосвѣтловъ распоряжался болѣе рѣшительно, и пользовался довольно смѣло своей редакторскою властью; но онъ это дѣлалъ по принципу, дѣлалъ потому, что смотрѣлъ очень серьезно на редакторскую обязанность. Благосвѣтловъ постоянно говорилъ, что нельзя же русскому журналу, издаваемому для русскихъ читателей, давать статьи, написанныя тарабарскимъ языкомъ. Благосвѣтловъ требовалъ отъ статей литературнаго изложенія и въ этомъ, конечно, онъ былъ правъ: его ужасно

сердила неграмотность нашихъ писателей. Въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно вспоминалъ Писарева, этого дѣйствительнаго мастера блестящаго и увлекательнаго изложенія. Замѣчу отъ себя, что очень немногіе изъ писателей, даже старые и опытные, пишутъ такъ, чтобъ не требовались поправки. Что же касается до писателей молодыхъ, то на изложеніе они уже давно не обращаютъ вниманія. Стилистика, какъ искусство формы, теперь все болѣе и болѣе изчезаетъ. О новыхъ публицистахъ въ большинствѣ случаевъ можно сказать тоже, что говорилъ Благосвѣтловъ о Щаповѣ: „это честный человѣкъ, но недаровитый, и пишетъ, точно медвѣдь сучья ломаетъ".

„Я думаю,—пишетъ мнѣ въ другой разъ Благосвѣтловъ:—что вы иронически улыбнулись, когда я въ одномъ письмѣ сказалъ, что критику нашихъ беллетристовъ нужно даже извѣстное художество. Это сущая правда. Когда вы хотите похоронить извѣстную партію, вы сражаетесь съ ней ея же оружіемъ. Вы берете отъ нея лучшее и раскрываете ея худшее. Это законъ всѣхъ нравственныхъ великихъ побѣдъ. Отчего наши молодые беллетристы плохи и читаются мало? Оттого, что они вообразили, что романъ можно писать, какъ канцелярскую бумагу, какъ критическую статью, какъ опись бѣлья, отдаваемаго прачкѣ. Будь они художники, подобно Тургеневу, ихъ идеи давно-бы прошли въ публику и похоронили бы Тургенева. Вотъ въ какомъ смыслѣ я сказалъ. И пока молодое поколѣніе будетъ пачкать свои идеи и не возьметъ у писателей 40-хъ годовъ ихъ изящной формы, ихъ образности, ихъ мастерства литературнаго, которое чувствовалъ только одинъ Писаревъ, новыя идеи будутъ влачить свое существованіе плачевнымъ образомъ. Ихъ будутъ уважать, но не будутъ читать. Писаревъ весь состоялъ изъ чужихъ идей, но онъ выражалъ ихъ такъ, что онѣ казались и часто были его идеями, его произведеніемъ".

По поводу авторской обидчивости Благосвѣтловъ писалъ: „И сколько хлопотъ съ этимъ филистерствомъ для редакціи; если вы у одного сократили слово *ибо*,—онъ оретъ, что его исказили, если вы сгладили противорѣчіе у другаго,—онъ оретъ, что вы лишили его ученой невинности, и вотъ вамъ легіоны глупыхъ враговъ, съ глупымъ самолюбіемъ и пустыми амбиціями. Извольте все это соглашать, ѣздить отъ одного къ другому, упрашивать и дурака, и умнаго въ одинъ день, въ одинъ часъ". Благосвѣтловъ говорилъ, что на его исправленія обижаются только дураки и въ тоже время они бываютъ очень рады, когда статья ихъ является въ публику въ чистомъ, умытомъ видѣ. У Благосвѣтлова было такое недовѣріе къ

грамотности нашихъ писателей, что онъ бывалъ даже недоволенъ, если соредакторы приносили къ нему рукописи безъ поправокъ; непоправленную рукопись онъ всегда перечитывалъ въ корректурѣ.

Благосвѣтловъ ужасно много работалъ. „Вѣдь я черный работникъ,—писалъ онъ мнѣ,—мнѣ дорога каждая минута и каждая минута у меня занята; я одинъ вездѣ и во всемъ, я читаю и корректуры и рукописи, я исправляю ихъ, я отвѣчаю даже на письма по конторѣ, я веду переговоры съ сотрудниками, адресующимися въ редакцію каждый день, я считаю и разсылаю, я самъ часто работаю въ типографіи и, просиживая до 6 часовъ утра, а вставая въ 10, я все еще не успѣваю всего сдѣлать". Конечно, онъ могъ бы работать меньше, если бы больше довѣрялъ людямъ; но этого-то въ немъ и не было.

Въ одной изъ моихъ статей вмѣсто словъ: „когда Австрію побѣдили подъ Садовой" набрали: „когда Австрія побѣдила подъ Садовой". Ошибка, конечно, не особенно важная, чтобъ о ней стоило разговаривать, но тѣмъ не менѣе Благосвѣтловъ мнѣ писалъ:—„вотъ что значитъ быть больнымъ, когда приходится везти въ корню. На испанскій престолъ легче было найти короля, чѣмъ у насъ хорошаго корректора, оттого то въ число обязанностей всѣхъ редакторовъ входитъ самая пріятная обязанность,—часовъ 40 въ мѣсяцъ отдавать чтенію подписныхъ листовъ".

Литературныя отношенія очень томили и утомляли Благосвѣтлова. И дѣйствительно, ни отъ чего не устаешь такъ, какъ отъ людей, а Благосвѣтлову, при его воспріимчивой и нервной натурѣ, люди были особенно тяжелы. По поводу одного вопроса, который я ему сдѣлалъ, онъ мнѣ писалъ: „Вѣдь эти нюни и ихъ неискренность опротивѣли мнѣ до омерзѣнія, до величайшей боли. Повѣрите-ли, что приходится говорить одно, а думать другое,—до того все измельчало, все изолгалось. Вы, конечно, не забыли той низкой сцены, которую разыгралъ N... Вѣдь я увѣренъ, что эта свинья за 100 руб. настрочитъ какую угодно филиппику желѣзнодорожному тузу, а вѣдь эта свинья не одна въ нашемъ околодкѣ. Ихъ надо пронимать каленымъ желѣзомъ. — Странно сказать, но я при всѣхъ моихъ недостаткахъ имѣлъ одно достоинство — говорить откровенно и не щадить глупостей, а теперь начинаю бояться, начинаю молчать и лицемѣрить тамъ, гдѣ прежде просто ругался. Это вліяніе той гнили, которая незамѣтно въѣдается отъ этихъ нюней". Въ другомъ письмѣ онъ пишетъ: „Я понимаю смыслъ людей партіи только въ сферѣ интересовъ крупныхъ

и вовсе не понимаю мелкихъ женскихъ и дѣтскихъ симпатій ради того, что Ивану хочется слышать похвалу отъ Петра, а Петру отъ Ивана. Чего стоитъ, то и надо говорить". Это правило стоило Благосвѣтлову того, что многіе изъ сотрудниковъ, особенно беллетристы, оставили „Дѣло".

Какъ журналистъ, Благосвѣтловъ имѣлъ многія, неоцѣненныя достоинства, и онъ отлично понималъ, чѣмъ обезпечивается успѣхъ изданія. „Положимъ,—писалъ онъ мнѣ:—что мы выиграемъ въ солидности фактовъ, въ основательности мнѣній, если поручимъ Костомарову разбирать исторію Соловьева, Пыпину—Домострой, Кавелину—гражданскіе законы, Прыжову—оружіе Грановитой палаты; но чортъ-ли въ этой солидности? Вѣдь это будетъ концертъ изъ кострюль, сковородъ, ухватовъ и кухонной посуды, это будетъ ученая окрошка, приготовленная на филистерскомъ бульонѣ, это будетъ то, что противно моей душѣ и головѣ хуже всякаго рвотнаго".

И Благосвѣтловъ очень послѣдовательно примѣнялъ это воззрѣніе, послѣдовательно до того, что создалъ себѣ репутацію человѣка, не умѣющаго ладить съ людьми. По поводу тургеневскаго „Дыма" онъ мнѣ писалъ: „Разъ сдѣланная пакость не должна искупаться прошлымъ; историческое безпристрастіе въ дѣлѣ защиты извѣстныхъ идей никуда не годится. Исторіей можно оправдать всякаго пакостника и обстоятельствами можно извинить всякаго К., но эта христіанская мѣрка при настоящемъ положеніи русской литературы повела бы къ примиренію со всѣми доносчиками и дураками... У Тургенева нельзя отнять ни чуткости, ни отказать ему въ уваженіи къ литературѣ и, однакожъ, онъ пошелъ въ ряды пошляковъ, чтобъ вредить людямъ честнымъ. Такъ ли поступаютъ искренніе писатели, поддерживалъ-ли Бѣлинскій Погодина, или Ч. К.—На такихъ людяхъ, какъ Л. Толстой или Тургеневъ, надо критикѣ давать самые назидательные уроки другимъ, виляющимъ, чтобы не было повадно. Безъ этого никогда литература не выйдетъ изъ своего казеннаго стойла, гдѣ всякій хожалый можетъ пріобрѣтать себѣ славу честнаго, русскаго писателя".

У Благосвѣтлова былъ тонкій, проницательный, критическій взглядъ и онъ рѣдко ошибался въ свойствахъ и особенностяхъ таланта вообще, а новыхъ сотрудниковъ въ особенности. Я могъ бы привести много примѣровъ его критической безошибочности, но мнѣ пришлось бы говорить о живыхъ людяхъ: Благосвѣтловъ же мягко выражаться не умѣлъ. Приведу одинъ его отзывъ, имѣющій болѣе общій характеръ. „Вообще я рекомендовалъ бы Б. въ

интересахъ его работъ и журнала не горячиться. Въ этомъ вся бѣда нашей пишущей братіи. Идею цензура не трогаетъ, но лирическіе знаки восклицаній ужасно урѣзываетъ. Посовѣтуйте ему и направьте его на путь истинный. Беллетристика ему рѣшительно не везетъ и онъ взялся не за свое дѣло. У насъ обыкновенно думаютъ, что если человѣкъ ни на что неспособенъ, то онъ способенъ писать повѣсти и романы. Это ошибочно. Беллетристу—хорошему беллетристу, надо быть не только мыслящимъ человѣкомъ, но и знатокомъ человѣческаго сердца и, ужь простите за рутину!—художникомъ въ технической отдѣлкѣ своихъ идей и образовъ. А у Б. ни того, ни другаго нѣтъ. Поэтому напрасно онъ бросаетъ свои умственныя сокровища на каменистую почву".

Придавая особенное значеніе критическому отдѣлу, Благосвѣтловъ говорилъ, что критика—хлѣбъ насущный для нашихъ читателей, какъ они ни увлечены, повидимому, фельетономъ. „Если для англичанина или француза нѣтъ литературы безъ политики, то для насъ сиволапыхъ нѣтъ литературы безъ критики". Понятно поэтому, что Благосвѣтловъ не могъ забыть утраты Писарева, и первое время думалъ распредѣлить критическій отдѣлъ между нѣсколькими сотрудниками. Вполнѣ этого ему, однако, не удалось по той простой причинѣ, что наша критическая мысль ушла въ другую сторону—и Писаревъ остался незамѣненнымъ.

Въ послѣднее время Благосвѣтловъ начиналъ понимать, что „Дѣло", въ его прежнемъ видѣ, оставаться не можетъ. Еще въ концѣ 1875 года онъ мнѣ писалъ: „Не знаю, удастся ли мнѣ выполнить свой планъ, но я попытаюсь на будущій годъ сократить беллетристическій отдѣлъ и дать серьезному отдѣлу больше простора, а то мы ни рыба, ни мясо... Хотѣлось бы обновиться хоть немного, а то начинаю чувствовать, что между любимой моей дѣятельностью и мною ничего *нравственнаго* нѣтъ. И грустно, и гадко... а впрочемъ, все зависитъ отъ Бога и отъ цензуры".

Но усталость и разстроенное здоровье брали свое; къ этому присоединились еще мелочи тѣхъ раздражающихъ и разъединяющихъ личныхъ отношеній къ сотрудникамъ и къ соредакторамъ, устранить которыхъ Благосвѣтловъ не столько не желалъ, сколько не могъ по своему личному характеру. Все это начинало отражаться на „Дѣлѣ" и обновленіе журнала, необходимость котораго Благосвѣтловъ такъ чувствовалъ, совершить ему не удалось. Смерть уже стучалась въ его дверь.

Не смотря на желѣзное сложеніе, Благосвѣтловъ очень скоро

разрушилъ свое здоровье. Едва ли былъ другой человѣкъ, который бы бралъ все такъ близко и глубоко. Благосвѣтловъ переживалъ все вчетверо сильнѣе, чѣмъ другіе, и вчетверо перегоралъ скорѣе. Нѣсколько поддерживали его поѣздки за границу, которыя онъ предпринималъ почти каждое лѣто. Но смертельная болѣзнь давно уже разъѣдала этотъ желѣзный организмъ и спасти его не могли даже лучшіе врачи Вѣны, Берлина и Гейдельберга. Можетъ быть, Благосвѣтловъ умеръ бы не такъ рано, еслибъ оставилъ „Дѣло", но это-то и было невозможно: кто разъ вступилъ на журнальный путь, тотъ съ него уже не сойдетъ. Сколько разъ Благосвѣтловъ хотѣлъ бросить „Дѣло", хотѣлъ даже продать журналъ,— и не бросилъ и не продалъ. „Я завтра готовъ бросить это поприще, гдѣ за мѣдный грошъ всякій негодяй можетъ осыпать грязью; я брошу его съ чувствомъ величайшаго удовольствія, потому, что и силы падаютъ и нравственныя связи, одна за другой, обрываются". Это писалъ мнѣ Благосвѣтловъ въ февралѣ 1869 года. Послѣ этого прошло еще одиннадцать лѣтъ—и силъ у Благосвѣтлова стало меньше, и порванныхъ связей прибавилось, и умственное и нравственное одиночество становилось все тяжелѣе и томительнѣе; но Благосвѣтловъ уже не говорилъ, что „броситъ это поприще, гдѣ за мѣдный грошъ всякій негодяй можетъ осыпать грязью", точно, чѣмъ больше уходило силъ, чѣмъ меньше сохранялось связей, тѣмъ дороже становилась жизнь. И все крѣпче привязывался этотъ разбитый, больной, почти всѣми покинутый человѣкъ къ „Дѣлу", съ которымъ были связаны его лучшія надежды, самыя свѣтлыя воспоминанія и лучшія нравственныя связи съ лучшими людьми былаго времени.

Благосвѣтловъ былъ крайнимъ западникомъ. Свое умственное развитіе онъ получилъ въ Англіи и во Франціи, куда уѣхалъ сейчасъ-же послѣ увольненія его изъ учебнаго вѣдомства. Въ Англіи поразила его сила общественнаго мнѣнія и вліяніе его на правительственныя сферы, во Франціи—весь складъ политической жизни, кипучій политическій темпераментъ народа, громадный запасъ силъ умственныхъ, нравственныхъ и матеріальныхъ. Англія производила на Благосвѣтлова больше головное впечатлѣніе, Францію-же онъ любилъ сердцемъ и къ ней склонялись всѣ его симпатіи. Когда нѣмцы свершили нашествіе на Францію, Благосвѣтловъ принималъ несчастіе Франціи также близко къ сердцу, какъ если-бы нѣмцы свершили нашествіе на его собственное отечество. Но онъ страдалъ особеннымъ образомъ, да и радовался тоже особенно. Онъ

болѣлъ за раззореніе, которое выноситъ Франція, за страшное истребленіе лучшихъ силъ страны, погибавшихъ на поляхъ Гравелотта, и въ то же время радовался, что Франція несетъ наказаніе за наполеоновскій режимъ, который она у себя допустила. Благосвѣтловъ предвидѣлъ исходъ борьбы и радовался не меньше настоящаго француза перемѣнѣ правительства. И все это понятно. Слушая лекціи въ Сорбоннѣ, живя въ Латинскомъ кварталѣ, Благосвѣтловъ жилъ впервые живыми ощущеніями общественныхъ интересовъ, а это чувство не умираетъ. Зато, какъ онъ и радовался, когда Франція вышла изъ борьбы съ нѣмцами побѣдительницей въ нравственномъ и матеріальномъ смыслѣ. Въ августѣ мѣсяцѣ 1874 года онъ мнѣ писалъ изъ Парижа: „Какъ стыдно стало мнѣ, когда я всмотрѣлся въ Парижъ поближе. Какое право мы, сѣрые мужики, имѣемъ относиться свысока къ Франціи? Какъ ни безобразно ея настоящее правительство, но все-же эта нація— великая нація. Генія ея не отняла прусская сволочь. Ея раны не только затянулись, исчезли, но, что всего замѣчательнѣе,—я нашелъ Парижъ лучше и великолѣпнѣе, чѣмъ онъ былъ прежде. В. Гюго правъ: онъ неуязвимъ, онъ безсмертенъ. Столько жизни, столько ума и столько блеска, что невольно удивляешься, откуда все это берется. Повидимому, труда не видно, а онъ кипитъ въ колоссальныхъ размѣрахъ. Вчера я былъ въ Сорбоннѣ на раздачѣ призовъ студентамъ лицея. Надо было видѣть, какъ все было обставлено изящно, умно и блистательно. Тысячъ до 6 посторонней публики, да на дворѣ ожидало тысячъ до двухъ. Въ виду этой толпы, въ виду огромной трибуны, наполненной журналистами, которые сегодня сообщатъ, кто получитъ призъ, пріятно явиться хорошему студенту. Есть и Толстые здѣсь, пожалуй еще похуже,—но общественное мнѣніе не съ ними. Кажется, это поколѣніе, эти умные юноши, поправятъ дѣло своихъ отцовъ. Прусскій ударъ для Франціи былъ тѣмъ-же, чѣмъ севастопольскій — для насъ, съ той разницей, что мы не спимъ только тогда, когда намъ больно; боль прекратилась и мы опять заснули. Французскіе нервы другого сорта“.

Франціи обязанъ Благосвѣтловъ первымъ пробужденіемъ въ немъ общественныхъ чувствъ и ей-же онъ обязанъ своимъ политическимъ сознаніемъ. Понятно, что страна эта была для него дорогою. Политическимъ девизомъ Благосвѣтлова было — свободный человѣкъ въ свободномъ государствѣ. Это его исходная точка, какъ человѣка, какъ писателя и какъ редактора. Въ Благосвѣт-

ловѣ никогда не было умственной узости. Отъ этого „Русское Слово“ и „Дѣло“ давали всегда большой просторъ личнымъ мнѣніямъ, не исключая даже парадоксальныхъ. Подобный-же просторъ мысли давалъ и „Современникъ“, органъ крайне западный по направленію въ смыслѣ того-же политическаго принципа, котораго держался и Благосвѣтловъ. Послѣдующее народническое и патріотическое направленіе, явившееся въ русской журналистикѣ, очень съузило горизонтъ мысли; оно понизило умственное требованіе до того, что прежнимъ идеаламъ уже не оказывалось мѣста и русское общественное сознаніе отъ этого очень много проиграло. Какъ реакція этому временному уклоненію, должно необходимо явиться вновь тяготѣніе къ умственнымъ интересамъ Европы, ибо всякое замыканіе въ самихъ себя насъ подвигало не впередъ, а назадъ. Благосвѣтловъ отлично понималъ это. Въ 1877 году онъ мнѣ писалъ изъ Гамбурга: „Только нужно нѣсколько верстъ отъѣхать отъ нашей границы, чтобы видѣть, въ какой безъисходной лужѣ мы купаемся. Да, каждый шагъ европейскаго развитія отодвигаетъ насъ назадъ на такой-же шагъ, потому что мы стоимъ, а тутъ идутъ. Этого мало, что мы потеряли свои главные рынки въ Европѣ. Мы потеряемъ всякое экономическое значеніе для нея и будемъ той шестой частью свѣта Краевскаго, которая ни Европа, ни Азія. О, еслибы... патріотизмъ Суворинныхъ направился въ эту сторону, какъ-бы онъ былъ полезенъ намъ... Отчего всякое территоріальное пріобрѣтеніе дѣлается для насъ въ тягость, ложится новой обузой на нашъ бѣдный бюджетъ. Оттого, что мы не умѣемъ справиться и съ тѣмъ, что пріобрѣлъ намъ Рюрикъ; оттого, что наши культурныя силы равняются нулю, оттого, наконецъ, что фатальная сила претъ насъ въ разныя стороны, отвлекая наше вниманіе и силы отъ внутренняго развитія“.

И вотъ этому-то внутреннему развитію и пробужденію общественнаго сознанія Благосвѣтловъ служилъ и хотѣлъ служить какъ редакторъ и какъ писатель. Человѣкъ по преимуществу политическій, онъ по своимъ симпатіямъ, по умственному складу и по образованію держался преимущественно политической почвы и, какъ я уже сказалъ, въ первое время своего редакторства въ „Русскомъ Словѣ“ хотѣлъ дать журналу преимущественно политическое направленіе. Но такое направленіе подъ напоромъ экономическихъ вопросовъ, конечно, не могло удержаться.

Трудно гадать, какая роль въ жизни выпала бы на долю Благосвѣтлова, если бы случайность не играла въ его жизни такой ро-

ковой роли. Кончивъ университетъ, онъ посвящаетъ себя воспитательной дѣятельности, но въ самомъ началѣ ея случай становится ему поперегъ и онъ уѣзжаетъ заграницу докончить свое образованіе. Тамъ, такой же случай сближаетъ его съ графомъ Кушелевымъ. Новый случай заставляетъ графа Кушелева отказаться отъ издательства „Русскаго Слова“ и Кушелевъ передаетъ журналъ и типографію Благосвѣтлову. Такимъ образомъ, простое сцѣпленіе обстоятельствъ превращаетъ Благосвѣтлова изъ преподавателя русской словесности въ редактора-издателя. Не столько мыслитель, сколько человѣкъ сильнаго, упорнаго характера, Благосвѣтловъ направляетъ теперь всю свою энергію на редакторскую и издательскую дѣятельность.

Нужно, однако, думать, что, если бы первый случай не заставилъ Благосвѣтлова оставить каѳедру, онъ могъ бы сдѣлаться очень хорошимъ профессоромъ. Благосвѣтловъ говорилъ гораздо лучше, чѣмъ писалъ, и въ его энергической, образной и цвѣтистой рѣчи съ оттѣнкомъ ироніи чувствовалась обаятельная, а подчасъ и неотразимая сила. Этими обстоятельствами, конечно, и слѣдуетъ объяснить, что Благосвѣтловъ не составилъ себѣ имени, какъ писатель.

Первые его литературные труды имѣли преимущественно историко-литературный и частью критическій характеръ, въ нихъ чувствуется не журналистъ, а словесникъ. Такими статьями его были „Историческій очеркъ русскаго прозаическаго романа“, напечатанный въ 1856 году въ „Сынѣ Отечества“ и „Взглядъ на русскую критику“, напечатанный въ томъ же году въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Затѣмъ въ 1857 году онъ напечаталъ въ „Общезанимательномъ Вѣстникѣ“: „Современное направленіе русской литературы“, „Иринархъ Ивановичъ Введенскій“, „Часы моего досуга“ и въ 1858 году „Послѣдняя комедія Эмиля Ожье“. Въ „Русскомъ Словѣ“ онъ выступилъ въ 1859 году статьею „Значеніе парижскаго университета“ и затѣмъ вся его дѣятельность принадлежитъ „Русскому Слову“ и „Дѣлу“. Въ теченіи ровно десяти лѣтъ Благосвѣтловъ работалъ для редактируемыхъ имъ журналовъ, какъ всякій другой постоянный сотрудникъ. За это время онъ написалъ болѣе пятидесяти статей по всевозможнымъ вопросамъ, большею частью по поводу вновь выходившихъ книгъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ. Большая часть этихъ статей и вошла въ настоящій томъ.

Съ 1870 года литературная дѣятельность Благосвѣтлова начинаетъ упадать и за эти десять лѣтъ онъ написалъ только четы-

надцать статей и изъ нихъ лишь одна большая: о женскомъ трудѣ. Остальныя—или библіографическія, или полемическія.

Благосвѣтловъ писалъ и стихи. Такъ, въ 1864 году былъ напечатанъ въ „Русскомъ Словѣ“ переводъ его изъ Леопарди „На развалинахъ Помпеи“ и изъ Томаса Мура „Послѣдній поцѣлуй“.

Послѣдней статьей его была статья „Романистъ, попавшій не въ свои сани“, (въ сотрудничествѣ съ другимъ лицомъ), напечатанная въ сентябрьской книжкѣ „Дѣла“ 1880 г., а 7 ноября того же года Благосвѣтлова уже не стало.

Н. Шелгуновъ.

I

ИРИНАРХЪ ИВАНОВИЧЪ ВВЕДЕНСКІЙ.

(Біографическій очеркъ).

Наука имѣетъ свою судьбу, своихъ борцовъ и мучениковъ. Избранные дѣятели ея, обыкновенно, проходятъ земное поприще безъ шума и блеска, безъ розъ и рукоплесканій. Въ тиши кабинетной жизни, среди тяжелыхъ трудовъ, часто подъ гнетомъ нуждъ и лишеній, они собираютъ богатства для всемірнаго добра и пользы. Все, что есть на землѣ истинно-прекраснаго и высокаго, все это, по общему закону, суждено было человѣку взять съ бою, купить цѣной необыкновенныхъ усилій и жертвъ. Подъ вліяніемъ этого рокового закона слагалась исторія умственнаго прогресса у всѣхъ народовъ...

Въ литературѣ молодой, незрѣлой, когда народная жизнь еще не успѣла принять ее въ свои нѣдра, скрѣпить съ ней братскаго союза, писателю всегда принадлежитъ болѣе или менѣе страдательная роль. Работая на невоздѣланномъ полѣ, онъ неизбѣжно встрѣчается съ безчисленнымъ множествомъ систематическихъ и случайныхъ препятствій; недостатокъ матеріальныхъ средствъ къ образованію, двусмысленное и часто оскорбительное положеніе автора въ обществѣ, отсутствіе душевнаго спокойствія, столь необходимаго для умственной дѣятельности, раболѣпное служеніе постороннимъ цѣлямъ, зависимость отъ произвольныхъ мнѣній шаткой критики, все это составляетъ камень преткновенія для возникающей науки. Но этого мало; прибавьте къ этому зависть, клевету, столкновеніе мелкихъ самолюбій, толпу литературныхъ промышленниковъ, у которыхъ совѣсть не дрогнетъ подписать себѣ чужой кровью патентъ на извѣстность и богатство, и вы составите, если не полное, то приблизительно-вѣрное понятіе о томъ, какъ трудно, на первый разъ самымъ высокимъ дарованіямъ пролагать себѣ, сквозь эти темныя ущелья,

прямую дорогу. Въ этомъ житейскомъ омутѣ, безъ сомнѣнія, много гибнетъ попусту растраченныхъ силъ и способностей, несправедливо униженныхъ авторитетовъ, и рѣдкій талантъ выноситъ отсюда свой вѣнецъ безъ пятна и порока. Поэтому первыя попытки просвѣщенія, по обыкновенію, сопровождаются колебаніемъ направленій, непостоянствомъ въ убѣжденіяхъ и быстрой смѣной одного ученія другимъ.

Всѣ эти обстоятельства, столь тѣсно связанныя съ восходомъ народнаго образованія, оставили извѣстную долю вліянія и въ нашей литературѣ: она богата талантами, но бѣдна внутренними силами, въ ней много благородныхъ стремленій, но мало практическихъ результатовъ. „Мы всѣ родимся оригиналами, а умираемъ копіями", замѣтилъ одинъ англійскій поэтъ, и это замѣчаніе не далеко падаетъ отъ лучшихъ нашихъ писателей: имъ часто не доставало нравственной и почти всегда матеріальной независимости, безъ которой духовная жизнь, обыкновенно, бываетъ лишена оригинальнаго характера.

Выходя, бо́льшею частію, изъ рядовъ бѣдныхъ сословій, русскіе писатели принуждены были грудью отстаивать каждый шагъ умственнаго развитія. Многіе изъ нихъ, не имѣя никакихъ средствъ для первоначальнаго образованія, сами собой одолѣвали тотъ путь, который ведетъ человѣка къ нравственному совершенству отъ пониманія азбуки и до высшихъ степеней человѣческаго вѣдѣнія. На этомъ единственномъ пути, гдѣ нѣтъ мѣста родословнымъ гербамъ и внѣшнимъ отличіямъ, подъ однимъ и тѣмъ-же знаменемъ встрѣчаются графъ и мѣщанинъ, сынъ купца и бѣднаго армейскаго офицера, воспитанникъ лучшаго европейскаго университета и ученикъ дьячка или французскаго цирюльника. Въ любознательности русскаго человѣка, доказанной разительными примѣрами, нельзя сомнѣваться. Пробуждался ли русскій геній въ сибирскихъ тундрахъ или воронежскихъ степяхъ, онъ всегда и вездѣ былъ одушевленъ пламенной любовью къ наукѣ. Къ сожалѣнію, не всегда одинаково благопріятныя обстоятельства содѣйствуютъ его развитію и дѣятельности. Конечно, отъ аристократическаго кабинета до академическихъ креселъ переходъ легкій; но отъ рыбачьей хижины до Болоньской академіи, какъ, напримѣръ, шелъ Ломоносовъ, переходъ трудный, исполинскій. Юноша, окруженный обильными средствами, можетъ въ десять лѣтъ обогатить себя такими познаніями, для пріобрѣтенія которыхъ бѣднякъ, съ тѣмъ-же самымъ талантомъ, долженъ употребить вдвое болѣе трудовъ и времени. Пушкинъ на 24 году жизни могъ читать иностранныхъ писателей на трехъ языкахъ въ оригиналѣ, а Кольцовъ на 34 году отъ рожденія не умѣлъ правильно писать на своемъ родномъ языкѣ. Восемьнадцати-лѣтній Жуковскій поставилъ свое имя въ ряду замѣчательныхъ русскихъ писателей, а Н. А. Полевой въ томъ-же возрастѣ только могъ дойдти до сознанія всей нелѣпости своего первоначальнаго самообученія, и за купеческой конторкой началъ снова переучиваться.

Всѣ эти, повидимому, ничтожныя, на самомъ-же дѣлѣ очень важныя обстоятельства, столь неразлучныя съ развитіемъ умственныхъ способностей и съ успѣхами литературныхъ работъ, могутъ возвести посредственный талантъ на высоту славы и погасить истинный геній въ безсильной борьбѣ съ неизбѣжными условіями жизни...

Если писатель при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ совершилъ свое дѣло, онъ исполнилъ долгъ разумнаго существа и честнаго гражданина; въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Мы невольно преклоняемся передъ талантомъ его, какъ передъ таинственной и высшей силой; но въ то-же время не должны забывать, что этому таланту свѣтило счастіе на той дорогѣ, на которой, быть можетъ, суждено многимъ бродить ощупью и совершенно затеряться. Гораздо большимъ уваженіемъ и сочувствіемъ мы готовы почтить тѣхъ дѣятелей, которые служили наукѣ вѣрой и правдой, какъ честный солдатъ служитъ на полѣ битвы своему отечеству. Никакія препятствія, съ которыми имъ суждено было бороться, не могли заставить ихъ измѣнить своему призванію. Положимъ, что они не сдѣлали многаго, что̀ могли-бы сдѣлать при болѣе счастливыхъ обстоятельствахъ; но всякая заслуга ихъ, какъ бы она маловажна ни была, для насъ драгоцѣнна: одно ихъ стремленіе уже имѣетъ неоспоримое право на наше вниманіе...

„Жизнь моя, пишетъ И. И. Введенскій въ своей автобіографіи ,— была безпрерывной борьбой съ несчастіями, и если радость освѣщала мой темный путь на одно мгновеніе, вслѣдъ за ней я непремѣнно долженъ былъ ожидать новой бури, сокрушавшей самыя лучшія мои надежды“.

Такъ говорилъ, на зарѣ своей жизни, двадцатилѣтній юноша, заслоненный отъ свѣта стѣнами московской духовной академіи. Черезъ девятьнадцать лѣтъ, за два года до смерти, когда одинокій странникъ тосковалъ въ столицѣ Франціи о своемъ отечествѣ и о потерѣ любимаго сына, онъ повторилъ ту-же жалобу: „Боже мой! да когда-же будетъ конецъ моимъ страданіямъ? Неужели я осужденъ навсегда видѣть преждевременную кончину своихъ дѣтей? Прочь всѣ мои мечты; долой всѣ мои надежды!“

Въ этихъ жалобахъ слышится стонъ человѣка не малодушнаго и разочарованнаго, но полнаго силъ и энергіи. Въ нихъ таится глубокій смыслъ жизни, которая тянулась отъ колыбели до гроба среди безпрерывныхъ тревогъ, неудачъ и страданій.

Введенскій родился въ 1813 году, 21-го ноября, въ городѣ Петровскѣ, Саратовской губерніи, въ одномъ изъ темныхъ угловъ приволжскаго края. Отецъ Введенскаго былъ бѣдный сельскій священникъ. Окруженный многочисленной семьей, онъ съ утра до вечера хлопоталъ о насущномъ кускѣ хлѣба.

Первоначальное воспитаніе Введенскій получилъ подъ непосредственнымъ руководствомъ своего родителя. Даровитый мальчикъ на седьмомъ году возраста бѣгло читалъ церковно-славянскія книги и, по приказанію отца, отправлялъ въ церкви обязанность дьячка. „Мое младенчество, говоритъ покойный авторъ,—протекло довольно оригинально. Добрый отецъ мой, нѣжно меня любившій, составилъ себѣ странную систему воспитанія, по которой мнѣ престрого были запрещены всякія игры, всякія удовольствія, необходимыя для ребенка. Я росъ одинокимъ посреди своихъ сестеръ, и младенчество мое протекло безъ всякихъ впечатлѣній. Поэтому я почти ничего не помню до шести лѣтъ. При огненномъ воображеніи, полученномъ отъ природы, я вовсе, одноко-жъ, не имѣлъ игривости, свойственной дѣтямъ... Какая-то странная задумчивость, вовсе несвойственная ребенку, была во мнѣ отличительной чертой. Словомъ, я былъ ребенокъ-философъ. И это обстоятельство чрезвычайно радовало моихъ родителей, особенно мать, которая не могла нахвалиться степенностью своего сына. Учить меня начали четырехъ лѣтъ, и я не помню себя безграмотнымъ".

Это холодное воспитаніе, безъ сомнѣнія, не могло содѣйствовать стройному развитію умственныхъ силъ ребенка, въ особенности его эстетическаго чувства. За всѣмъ тѣмъ, оно имѣло свою хорошую, нравственную сторону, сравнительно съ воспитаніемъ другихъ дѣтей, бросаемыхъ прямо изъ колыбели на руки иностранцевъ, Богъ знаетъ, откуда заброшенныхъ на русскую землю. Положимъ, что маленькій „поповичъ" не научился съ раннихъ лѣтъ лепетать на французскомъ языкѣ, не могъ усвоить десяти тысячъ китайскихъ церемоній, но эта потеря еще не велика... За то въ воспитаніи Введенскаго заключалось много другихъ преимуществъ. Онъ вскормленъ былъ грудью своей матери; его убаюкивали въ колыбели звуки родного слова; первымъ воспитателемъ его является отецъ, „нѣжно любившій своего сына", и тамъ, гдѣ не доставало искусства, довершала свое дѣло природа.

Мѣстоположеніе села Жукова, гдѣ воспитывался Введенскій, было чудесное. Отецъ его былъ трудолюбивый и домовитый хозяинъ; у него были свои собственныя нивы, пчельникъ и сѣнокосы. Недалеко отъ его дома, окруженнаго садикомъ, струилась быстрая рѣчка; на одномъ берегу ея возвышался лѣсъ; на другомъ тянулись свѣтлыя поля, покрытыя богатой жатвой. Среди этой природы свободно расцвѣтала младенческая жизнь Введенскаго; въ послѣдствіи, покидая душную школу, онъ съ восторгомъ проводилъ здѣсь веселые каникулы: раздѣлялъ полевыя работы съ своимъ отцомъ, любилъ бродить по лѣсу, уединяться на пчельникѣ, ловить рыбу, купаться и объѣзжать молодыхъ лошадей.

Само собою разумѣется, что онъ не понималъ естественныхъ красотъ окружающаго его міра; но природа оставалась вѣрна своему назначенію.

Она, безъ его вѣдома, сообщала воспріимчивой душѣ любознательнаго мальчика все богатство своихъ впечатлѣній, не тѣхъ ложно-искусственныхъ впечатлѣній, подъ вліяніемъ которыхъ, бо́льшею частію, просыпается духовная жизнь столичнаго дитяти, нѣтъ, впечатлѣній живыхъ, сильныхъ, полныхъ мысли и значенія. Изъ этого чистаго источника онъ почерпалъ первыя понятія о нравственности и уваженіи къ труду человѣка. Гдѣ все вокругъ его дышало любовью, отъ ранней пѣсни жаворонка и до поздняго сельскаго хоровода, тамъ онъ учился чувствовать и любить. Вотъ гдѣ образовалось то горячее сердце, которое не могли охладить ни годы, ни житейское горе, и которое такъ искренно сочувствовало всему честному и справедливому. Едва исполнилось Иринарху восемь лѣтъ, его вырвали изъ теплыхъ материнскихъ объятій и повезли въ пензенское духовное училище. „Никогда не забуду, говоритъ онъ, — тѣхъ горючихъ слезъ, которыя проливала мать при первой разлукѣ со мной". Дѣйствительно, переходъ отъ домашняго быта къ школьному образу жизни вообще представляетъ рѣзкую перемѣну для малолѣтнихъ дѣтей; тѣмъ болѣе долженъ былъ чувствовать это Введенскій. Онъ вдругъ разставался съ семействомъ, гдѣ его лелѣяли, какъ единственнаго сына; онъ покидалъ за собой воспоминанія веселаго дѣтства, тотъ міръ, къ которому онъ былъ привязанъ всѣми нервами своего молодого сердца. Ласки матери, полное раздолье удовольствій среди сельскихъ полей — все это исчезало для него сновидѣніемъ съ той минуты, когда онъ переступилъ за порогъ школы. Здѣсь другая картина рисовалась его воображенію — чужіе люди, суровая школьная дисциплина и розги — эта ultima ratio пензенскаго педагога...

Новый питомецъ поступилъ во второй классъ уѣзднаго училища. Невыгодное обстоятельство для Введенскаго, на первый разъ, состояло въ томъ, что онъ явился въ половинѣ учебнаго курса, т. е. въ первыхъ числахъ января. Но пусть онъ самъ разскажетъ намъ о первыхъ дняхъ своего школьнаго ученія. „Когда я началъ посѣщать классы, настоящіе мои товарищи ужь далеко зашли въ грамматикѣ, именно до глаголовъ, а я не имѣлъ о ней никакого понятія. Порядокъ вещей требовалъ, чтобы я хоть сколько-нибудь ознакомился съ частями рѣчи, предшествующими глаголу; но ничего не бывало: меня прямо заставили учить: я есмь, ты еси, онъ есть и т. д. Разумѣется, это было для меня тарабарской грамотой, въ которой я не понималъ ни одной буквы; но этого и не требовали. Къ концу года я могъ отъ доски до доски, не пропуская ни одного слова, читать наизусть грамматику Меморскаго, которую я, однако-жъ, понималъ столько-же, сколько и до поступленія въ школу; но мнѣ сказали, что я совершенный знатокъ въ грамматическомъ искусствѣ, и перевели въ слѣдующій классъ. Такъ-же безтолково изучалъ я законъ Божій и ариѳметику. Въ мое время служилъ руководствомъ пространный катихизисъ Платона. Какъ сейчасъ помню, какъ я въ дока-

зательство бытія Божія, читалъ: „если-бы *Матерь* міра сего вѣчна была“ и проч.. За такое чтеніе я схватилъ отъ своего учителя оплеуху. — Какъ-же надобно читать? — *Матерія* міра. — А что такое матерія міра? — Не твое дѣло; читай, какъ написано.

Какъ-бы то ни было, Введенскій, черезъ полгода, перешелъ, въ числѣ первыхъ учениковъ, въ третій классъ. Здѣсь ему приходилось начать многіе предметы съ азбуки. Латинскій и греческій языки стояли въ головѣ преподаванія. Впрочемъ, вся работа ученика исключительно опиралась на память, а Введенскій обладалъ превосходной памятью. Благодаря механизму этой способности, онъ въ первую-же треть сталъ первымъ ученикомъ въ числѣ своихъ товарищей. „Въ первый годъ, пишетъ онъ (начиная съ 3-го класса и до послѣдняго въ каждомъ отдѣленіи воспитанникъ долженъ былъ пробыть два года), — я отлично „вызубрилъ“ латинскую грамматику до неправильныхъ глаголовъ и кончилъ склоненія греческаго языка. Древнеклассическіе языки казались мнѣ въ то время такой премудростью, для постиженія которой мало цѣлой жизни человѣческой, — и я едва-ли ошибался... Сколько могу судить теперь, дѣйствительно, столѣтія мало, чтобъ изучить какой-нибудь изъ древнихъ языковъ по той методѣ, которую употреблялъ нашъ преподаватель. Въ мое время переводили съ латинскаго на русскій извѣстныя сто четыре священныя исторіи. Въ продолженіи двухъ лѣтъ мы дошли, кажется, до IV главы. Учитель латини былъ человѣкъ очень набожный; онъ выпускалъ нѣкоторыя слова, казавшіяся ему предосудительными въ этой книгѣ. Разумѣется, подобные выпуски ничѣмъ не замѣнялись“.

Первые два года пребыванія въ пензенскомъ училищѣ, Введенскій жилъ на вольной квартирѣ. Вмѣстѣ съ нимъ одиннадцать мальчиковъ занимали двѣ небольшія комнаты; у нихъ былъ общій столъ, за которымъ они обѣдали, а по вечерамъ, при свѣтѣ одной сальной свѣчи, садились въ кружокъ и занимались. Отецъ не упускалъ изъ вида судьбы своего сына. На третій годъ онъ помѣстилъ его въ училищную бурсу, вѣроятно, съ тою цѣлью, чтобъ поселить его поближе къ классамъ. Описаніе бурсы, въ которой Введенскому суждено было прожить около года, сохранилось въ его собственныхъ запискахъ: „Представьте себѣ огромную комнату, отчасти похожую на конюшню. Посреди ея длинная доска, которой концы утверждены въ отверстіяхъ, сдѣланныхъ въ стѣнахъ — это столъ. На немъ полуиспеченный картофель, грамматика Меморскаго, соль, ариѳметика, лапоть, ведро съ водой, нотный октоихъ, черствая корка хлѣба и подъ ней тетрадь, связанная для классныхъ упражненій. По угламъ широкія нары вмѣсто кроватей. На нихъ три или четыре войлока, связанные въ кучу и нѣсколько отодвинутые отъ стѣнъ, чтобы предохранить ихъ отъ вліянія воды, въ изобиліи текущей со стѣнъ въ зимнее время; подлѣ этой кучи: халаты, картузы, ку-

шаки и пр. и пр. На полу разбросаны бабки, покрытыя кучами сора. Эта комната служила и залой для домашнихъ занятій и спальнею для дѣтей. Запахъ въ комнатѣ удушливый, которымъ безъ привычки трудно дышать... Но вотъ раздался звонокъ, и голодные бурсаки стремглавъ пустились на кухню, которая замѣняетъ имъ столовую. Зимой очень часто случается иному мальчику за неимѣніемъ обуви или второпяхъ проскакать по снѣжному двору на своей собственной подошвѣ. Столовая... но о столовой можно и не говорить. Я и теперь не могу вспомнить безъ особеннаго отвращенія объ этомъ житьѣ-бытьѣ, тѣмъ болѣе, что я еще такъ недавно оставилъ чистенькій родительскій домикъ, добрую мать и пр. и пр."

Почти цѣлый годъ этой горемычной жизни между дѣтьми крайне бѣдныхъ родителей и круглыми сиротами провелъ Введенскій. Къ концу учебнаго года отецъ поспѣшилъ взять его изъ бурсы и повезъ на свиданіе съ матерью.

Такъ или почти такъ прошли первые четыре года школьной жизни Введенскаго. Онъ учился очень прилежно и особенно охотно занимался латинскимъ языкомъ. Вдругъ на пути схоластическаго образованія, совершенно случайно попадается ему въ руки Карамзинъ и увлекаетъ его за собой неотразимой силой. Отецъ, навѣстивъ своего сына въ половинѣ учебнаго года, привезъ ему двѣ книги: сочиненія Ломоносова и „Письма русскаго путешественника" Карамзина. Показывая на послѣдняго, онъ сказалъ: „это дрянь; пожалуй, и не читай". Но юноша повиновался не столько совѣтамъ отца, сколько собственнымъ инстинктамъ. Съ жадностью перечитывая „Письма русскаго путешественника", онъ пристрастился къ нимъ. „Это первая книга, говорилъ Введенскій,—которую я прочиталъ съ любовью". Въ самомъ дѣлѣ, Карамзинъ долженъ былъ занять высокое мѣсто въ его нравственномъ и умственномъ воспитаніи. Собственно говоря, онъ первый пробудилъ его душу отъ тяжелаго первосонья и въ хаосѣ мертвыхъ знаній озарилъ новымъ свѣтомъ. Передъ взоромъ духовнаго воспитанника, недавно оставившаго бурсу, вдругъ открывается великолѣпная панорама Западной Европы; съ береговъ Суры эта книга переноситъ его на берега Рейна и Женевскаго озера, на вершины Альпійскихъ горъ и въ долины Швейцаріи. Онъ видитъ передъ собой прекраснаго юношу, котораго любознательность ведетъ за предѣлы отечества и знакомитъ съ образованными людьми въ Европѣ. Замѣчательно: за чтеніемъ Карамзина впервые запала въ его душу мысль о путешествіи за границу. Тридцать лѣтъ онъ лелѣялъ эту мечту. Черезъ двадцать лѣтъ послѣ, онъ писалъ къ С.... „Повѣрите-ли, если я скажу, что мысль о путешествіи заронилась въ мою душу еще въ дѣтствѣ? Я былъ двѣнадцати-лѣтнимъ ребенкомъ, когда прочелъ „Письма русскаго путешественника". Этому сочиненію я обязанъ... мыслію о путешествіи, которая съ теченіемъ времени постоянно во мнѣ укоренялась, и когда

исчезли почти всѣ мечты моей молодости, только одна мысль о поѣздкѣ въ чужіе края еще ярко горитъ въ душѣ моей".

Съ этой поры Карамзинъ дѣлается для него любимымъ писателемъ, первымъ учителемъ, за которымъ въ продолженіи семи лѣтъ идетъ умный мальчикъ, какъ за своей ласковой нянькой. Перечитавъ нѣсколько разъ „Письма русскаго путешественника", Введенскій пишетъ къ своему отцу: „Тятинька, не посылай мнѣ лепешекъ, а пришли еще Карамзина; я люблю его; я буду читать его по ночамъ и за то буду хорошо учиться".

Въ этомъ наивно-дѣтскомъ лепетѣ высказалась живая потребность юношеской души. Подъ вліяніемъ Карамзина, Введенскій черезъ годъ началъ изучать французскій языкъ. За неимѣніемъ живого руководителя онъ пріобрѣлъ себѣ самоучитель и выучилъ его весь наизусть. Потомъ съ помощію лексикона приступилъ прямо къ чтенію книгъ. „La nouvelle Héloise", Ж. Ж. Руссо, было первое сочиненіе, прочитанное Введенскимъ на французскомъ языкѣ. Онъ уходилъ съ „Новой Элоизой" на сѣнникъ, забивался въ уголъ сарая, чтобы скрыть отъ зоркаго взгляда начальника „запрещенный плодъ"... Въ послѣдствіи времени онъ точно такъ-же изучалъ нѣмецкій языкъ.

Съ переходомъ Введенскаго изъ духовнаго училища въ семинарію соединяется другое событіе, не лишенное для него значенія: переѣздъ его изъ города Пензы въ Саратовъ.

Въ семинаріи главными предметами ученія были: словесность, философія и богословіе, преподаваемыя на латинскомъ языкѣ. Кромѣ того, было много наукъ дополнительныхъ: древніе языки, всеобщая и церковная исторіи, математика, герменевтика и проч. Руководствами служили старые учебники, бо́льшею частію изданные въ концѣ прошлаго вѣка, во время преобразованія семинарій. По предмету словесности была принята латинская реторика Бургія, піитика Аполлоса, философія преподавалась по книгѣ Баумейстера, теоретическая часть богословія—по трактату Ѳеофилакта: „de credendis et agendis", а практическая—по „Чертамъ дѣятельнаго ученія" Кочетова и т. д.

Введенскій шелъ на ряду съ первыми учениками по всѣмъ классамъ и обращалъ на себя всеобщее вниманіе блистательными способностями. Реторическій классъ ясно опредѣлилъ его будущія стремленія. Введенскій обнаружилъ особенное сочувствіе къ наукамъ историческимъ, древнимъ и новымъ языкамъ. „Исторія государства Россійскаго", подаренная ему отцемъ въ день перехода его въ семинарію, была для него настольной книгой. Введенскій прочиталъ ее отъ доски до доски, сдѣлалъ выписки и все введеніе выучилъ наизусть. „Однажды я такъ изумилъ профессора своими историческими свѣдѣніями, что онъ пришелъ въ неописанный восторгъ. Вечеромъ призвалъ меня къ себѣ и далъ чашку чаю, которую я съ должнымъ благоговѣніемъ пилъ, стоя, и обжегъ себѣ три пальца на правой рукѣ".

Языки были вторымъ предметомъ его любимыхъ занятій. Французскія книги онъ читалъ свободно; съ нѣмецкимъ языкомъ началъ знакомиться въ философскомъ отдѣленіи, а въ богословскомъ классѣ изучалъ еврейскій. „Еврейская грамота, писалъ онъ отцу, идетъ у меня хорошо, едва-ли я не первый знатокъ ея между своими товарищами; мнѣ очень желательно со временемъ прочитать на еврейскомъ языкѣ книгу „Іова“ и „Пѣсни Пѣсней“... времени мало; люблю читать книги“.

Но главнымъ полемъ его работъ были практическія упражненія. Воспитанникамъ философскаго класса вмѣнялось въ непремѣнную обязанность писать разсужденія на темы, въ родѣ слѣдующихъ: „о различіи вѣры и знанія, о превосходствѣ умозрительнаго ученія передъ опытнымъ“... „Диссертаціи, говоритъ онъ,—были для меня, въ нѣкоторомъ смыслѣ, ареной, на которую я выходилъ смѣлымъ борцомъ, увѣреннымъ въ своихъ силахъ“. Понятно, здѣсь онъ находилъ случай примѣнять къ дѣлу заготовленные имъ матеріалы посредствомъ чтенія книгъ, выказывать гибкость своего живого ума и прекраснаго слога, которымъ онъ, безъ сомнѣнія, былъ обязанъ Карамзину. Въ продолженіи шестилѣтняго семинарскаго курса Введенскій написалъ множество разсужденій, которыя и послѣ него долго ходили въ саратовской семинаріи изъ рукъ въ руки учениковъ въ видѣ толстаго фоліанта. Большая часть изъ нихъ написана на латинскомъ языкѣ, а нѣкоторыя — на русскомъ. Всѣ они отличаются стремленіемъ блеснуть оригинальнымъ мнѣніемъ, стройнымъ систематическимъ изложеніемъ и обиліемъ цитатъ изъ французскихъ и латинскихъ писателей. Мы имѣемъ подъ рукой одно изъ его разсужденій— „О значеніи духовнаго сословія въ исторіи русскаго народа“. Содержаніе его свидѣтельствуетъ о необыкновенныхъ трудахъ юноши. Съ карандашемъ въ рукѣ онъ прочиталъ девять томовъ исторіи Карамзина, отмѣтилъ факты, необходимые для его предмета и, сообразивъ относительное ихъ достоинство, сгруппировалъ историческія данныя въ одно громадное сочиненіе.

Одна изъ такихъ диссертацій „О безсмертіи души“ могла стоить ему рѣшительнаго съумасшествія. Употребивъ нѣсколько безсонныхъ ночей на ея разработку, онъ испыталъ отъ напряженной дѣятельности сильный припадокъ въ мозговыхъ óрганахъ. Разстроенному его уму представилось, что онъ живетъ въ новомъ мірѣ, гдѣ нѣтъ ни скорби, ни страданій. Болѣзнь его началась довольно оригинально. Онъ отправился на рынокъ, накупилъ арбузовъ, дынь, яблокъ, уложилъ ихъ въ полу своего длиннаго сюртука и прямо, безъ доклада, вошелъ въ залу своего инспектора. Обратившись къ монаху съ слѣдующими словами: „Вотъ, отецъ, плоды новаго міра“, онъ высыпалъ фрукты нá полъ и юркнулъ изъ комнаты. Это было весной. На другой день утромъ онъ отправился на высокую гору, лежащую на восточной сторонѣ Саратова. Съ этой горы, на которой нѣкогда бывалъ Пугачевъ, открывается величественная картина окрест-

ныхъ мѣстностей. Введенскій вошелъ на самую ея вершину, сталъ на колѣни передъ восходящимъ солнцемъ и произнесъ импровизированную молитву. „Эта минута, какъ онъ самъ говорилъ, была самая поэтическая въ его жизни". Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ чудное лѣтнее утро, торжественную тишину, окружающую поэта; у ногъ его катилась широкая Волга; позади его лежалъ во всей своей пестротѣ многолюдный городъ; слѣва разстилались зеленыя поля, прекрасные сады, а справа, на отдаленномъ горизонтѣ, синѣлась безграничная даль заволжскихъ степей. Впрочемъ, это поэтическое состояніе больного юноши продолжалось не долго: его привели въ больницу и привязали къ постели. Болѣзнь, развиваясь больше и больше, угрожала ему смертью. Къ счастію, пріѣхали его родители. Мать съ горючими слезами подошла къ кровати сына. Слезы матери сильно поразили его болѣзненное воображеніе; въ головѣ Введенскаго мгновенно сверкнула мысль: „неужели и въ новомъ мірѣ есть слезы". Развивая свою мысль далѣе и далѣе, онъ, наконецъ, дошелъ до яснаго сознанія о своемъ лунатическомъ состояніи, и, благодаря нѣжнымъ заботамъ матери, скоро выздоровѣлъ: „Странно, пишетъ онъ;—но съ этой поры я на долго разлюбилъ диссертаціи и писалъ ихъ съ такимъже принужденіемъ, съ какой охотой занимался ими прежде".

Наконецъ, въ 1834 году, 15-го іюля Введенскій окончилъ курсъ наукъ въ семинаріи. Одиннадцать лѣтъ безпрерывныхъ и утомительныхъ трудовъ достигли своей цѣли. Впереди какъ только Введенскій покидалъ школьную скамью, ожидала его мирная доля сельскаго священника, семейная жизнь и существованіе въ какомъ-нибудь уголку Саратовской губерніи. Но юноша, проникнутый страстнымъ желаніемъ идти дальше на пути своего совершенствованія, видѣлъ передъ собой другое призваніе. Онъ рѣшился убѣдить своего отца отпустить его въ Московскую духовную академію. Отецъ согласился. Между тѣмъ, одинъ профессоръ саратовской семинаріи, любившій Введенскаго, совѣтовалъ ему поступить въ университетъ, предугадывая настоящее назначеніе своего даровитаго и пылкаго питомца; съ этой цѣлью ему дано было рекомендательное письмо къ профессору московскаго университета М... Мечта о поступленіи въ университетъ огнемъ охватила душу неопытнаго юноши. „Всю дорогу я только и думалъ о томъ, какъ-бы устроиться въ университетѣ; экзаменовъ я не боялся; одно меня сильно сокрушало: чѣмъ я буду жить, когда я буду студентомъ? Денегъ со мной всего было 100 рублей (ассигнаціями); отъ отца я требовать больше не могъ, потому-что онъ съ величайшимъ трудомъ собралъ кое-какъ и эту сумму. Но будь—что будетъ: я пока видѣлъ во всемъ одну хорошую сторону и заранѣе приходилъ въ восторгъ, какъ буду слушать людей ученыхъ, которые откроютъ мнѣ новый міръ знаній. Черезъ пять лѣтъ пришлось во многомъ разочароваться и повторить: „славны бубны за горами". Добравшись до Москвы въ августѣ 1834 года, Введенскій на первый

разъ всего болѣе нуждался въ руководителѣ. Въ надеждѣ найти его въ профессорѣ М..., онъ отправился къ нему изъ Сергіевской лавры пѣшкомъ, имѣя при себѣ рекомендательное письмо. Запыленный, усталый, загорѣлый, послѣ долгихъ поисковъ онъ, наконецъ, отыскалъ квартиру профессора; вошелъ въ переднюю, отдалъ письмо и ожидалъ отвѣта. Профессоръ обѣдалъ, и вовсе непредставительному челобитчику приказано было подождать на кухнѣ, пока его профессорская милость откушаетъ. Юноша пріютился-было на кухнѣ, но вдругъ ему показалось крайне обиднымъ находиться въ обществѣ лакеевъ и кухарокъ, и онъ, не дождавшись болѣе благосклоннаго пріема, воротился назадъ и черезъ двѣ недѣли поступилъ въ Московскую духовную академію. И профессорской кухнѣ суждено было привести Введенскаго вмѣсто университета въ академію... отнять у него четыре года напрасныхъ трудовъ.

Долго Введенскій не могъ осмотрѣться среди новыхъ товарищей, собравшихся въ академію съ разныхъ сторонъ, долго не могъ привыкнуть къ новому образу жизни. Первая страница его академическаго дневника начинается такъ: „...Уже три мѣсяца я въ академіи; достигъ, повидимому, кое-какой цѣли, но не избѣжалъ непріятностей: тоска грызетъ мое сердце, грусть точитъ мои внутренности". Источникомъ этого грустнаго положенія было противорѣчіе, въ которое онъ сталъ съ окружающимъ его міромъ и которое съ каждымъ днемъ больше и больше увеличивалось. „14-го февраля. Тогда-какъ мои товарищи веселятся, пишетъ онъ,—я въ самомъ дурномъ расположеніи духа; я мраченъ, унылъ и до безконечности печаленъ. Вотъ что значитъ идти наперекоръ самому себѣ".

Дѣйствительно, онъ шелъ наперекоръ своему призванію. Съ одной стороны его волновало неугомонное желаніе перейдти въ университетъ, съ другой—горькая необходимость держала за стѣнами академіи. Отецъ Введенскаго, какъ мы уже сказали, былъ человѣкъ бѣдный; у него было много дочерей, которыхъ онъ долженъ былъ пристроить, за всѣми домашними расходами, онъ въ состояніи былъ удѣлить своему сыну отъ 10 до 20 рублей въ годъ. Могъ-ли студентъ университета прилично содержать себя на эти деньги? Поэтому Введенскій только и могъ мечтать объ университетѣ, не имѣя никакой возможности осуществить на дѣлѣ свою задушевную мечту.

Несмотря на совершенный разладъ съ самимъ собой, на глубокотоскливое свое положеніе, онъ очень усердно занимался. Независимо отъ классныхъ упражненій, которыя шли своимъ обычнымъ порядкомъ, онъ постоянно читалъ книги. „Всѣ товарищи мои готовятся къ экзамену, а я читаю журналы: вѣрно, я слишкомъ уменъ или слишкомъ глупъ". Надобно замѣтить, вообще студенты духовной академіи страстно любили свѣтскую литературу. При всей своей бѣдности, они выписывали почти всѣ журналы, которые, переходя изъ рукъ въ руки,

зачитывались до уничтоженія. Введенскій въ этомъ случаѣ имѣлъ вліяніе на своихъ товарищей; онъ убѣждалъ ихъ учиться англійскому языку, и нѣкоторые изъ нихъ занимались новѣйшими языками единственно въ силу его краснорѣчивыхъ доводовъ. Во время лѣтнихъ каникулъ онъ пользовался книгами богатой академической библіотеки. Знаніе языковъ—греческаго, латинскаго, французскаго, нѣмецкаго и англійскаго (съ послѣдними двумя онъ познакомился въ академіи) открывало ему свободный доступъ въ область пяти знаменитыхъ литературъ, изъ которыхъ онъ могъ брать умственныя сокровища полной рукой. Чтеніе книгъ было для него не только источникомъ наслажденія, но и особенной школой образованія. Выписки изъ Миллота, Монтескьё, Сегюра, Юма, Гиббона, Цицерона и др. показываютъ, что онъ читалъ книги съ величайшимъ вниманіемъ и готовилъ матеріалы для будущихъ работъ. Кромѣ того, онъ переводилъ, вѣроятно, для печати, „Исторію Европейской Цивилизаціи“ Гизо, „Политическую экономію“ Шторха, на третій годъ академическаго курса приступилъ къ изученію итальянскаго языка и въ свободное время уходилъ изъ троицкаго посада въ московскій университетъ слушать лекціи. „Бросая безпристрастный взглядъ на самого себя и не обольщаясь самолюбіемъ, скажу безъ дальнихъ околичностей, что я, будучи одаренъ пламеннымъ воображеніемъ, болѣе способенъ заниматься тѣми науками, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе къ практикѣ, каковы литература, исторія, поэзія, а не философіей“.

Труды и отшельническая жизнь, лишенная всякихъ невинныхъ удовольствій, наконецъ, разстроили его здоровье. Кромѣ временныхъ недуговъ, которымъ онъ часто подвергался, Введенскій рано начинаетъ жаловаться на слабость зрѣнія. На двадцатомъ году онъ въ первый разъ надѣлъ очки, и съ той поры не снималъ ихъ до окончательной потери зрѣнія.

Въ 1836 году онъ получилъ отъ матери печальное извѣстіе о смерти своего отца. „Этотъ годъ, пишетъ онъ,—кровавыми буквами врѣжется въ мою память на всю мою жизнь“. Введенскій лишился въ отцѣ послѣдней опоры жизни. Послѣ этого извѣстія первымъ его дѣломъ было утѣшить свою горюющую мать. Онъ совѣлуетъ ей не убивать себя горемъ, а дѣйствовать, и дѣйствовать такъ, „чтобъ не возмутить вѣчнаго покоя нѣжно-любимаго отца, продать домъ, скотъ и все домашнее заведеніе и переѣхать къ одной изъ замужнихъ дочерей“. Самъ-же онъ съ новымъ жаромъ обратился къ наукѣ. „Теперь, пишетъ онъ,—чтобъ быть честнымъ передъ бѣдной матерью, надобно удвоить свои труды“. И, дѣйствительно, Введенскій сдержалъ свое слово. Черезъ мѣсяцъ, когда грустныя впечатлѣнія, навѣянныя на его душу потерею отца, стали понемногу исчезать, онъ день и ночь занимался чтеніемъ книгъ и переводами. Опредѣленнаго плана въ этихъ занятіяхъ мы не видимъ. Онъ попеременно переходилъ отъ историческаго сочиненія къ филологическому, отъ древне-класси-

ческаго писателя къ современному, отъ стараго фоліанта къ журналу. Но въ этихъ неутомимыхъ трудахъ выражалось одно прекрасное, хоть и мечтательное стремленіе молодой души — охватить какъ можно шире область человѣческаго знанія, познакомиться со всѣми замѣчательными явленіями умственнаго міра. Не имѣя передъ собой никакой практической цѣли, онъ покорно шелъ на голосъ природы, стремился къ тому умственному превосходству, безъ котораго считалъ невозможнымъ „быть честнымъ передъ своею бѣдной матерью". Въ письмѣ къ одному изъ своихъ добрыхъ знакомыхъ, отцу Анастасію, онъ пишетъ: „Среди пріятныхъ занятій и чтенія знаменитыхъ писателей, я начинаю забывать объ университетѣ. Теперь я живу въ древне-языческомъ мірѣ, гуляю по Риму вмѣстѣ съ консуломъ и ораторомъ (Цицерономъ), курю ѳиміамъ Юпитеру и ругаюсь съ Верресомъ. Славная была жизнь! Сколько дѣятельности, ума и познаній!.. Ночью я ухожу въ садъ и тамъ, среди уединенія, вздергивая носъ кверху, начинаю произносить ораторскія рѣчи, подражая Цицерону. Эта потѣха обходится не дешево для моей слабой груди, выдаются мѣста славныя. Иногда воспламенишься не на шутку; рѣчь льется потокомъ, голова горитъ и, кажется, отъ силы моего краснорѣчія трепещутъ звѣзды на небѣ... Многоуважаемый благодѣтель! Все обстоитъ доселѣ хорошо, а денегъ опять ни одной полушки. Въ правомъ карманѣ сочельникъ, а въ лѣвомъ — великій постъ. Сдѣлайте милость, пришлите 25 рублей, и я согласенъ за эту сумму идти къ вамъ въ кабалу. Совѣстно мнѣ просить у васъ, да что-жъ дѣлать? Вы одни принимаете во мнѣ участіе въ этой юдоли слезъ и разныхъ гадостей... Прежде не явлюсь къ вамъ, пока не окончу Цицерона и не познакомлюсь хоть немного съ вашимъ любимцемъ Тертулліаномъ" [1]).

Въ 1837 году Введенскій перешелъ въ четвертое отдѣленіе. Оставалось пять мѣсяцевъ до окончанія курса наукъ въ академіи. Берегъ лежалъ близко, но не суждено было доплыть до него Введенскому. Неотвязчивое желаніе перейдти въ университетъ снова проснулось въ его душѣ. „Скоро, скоро, пишетъ онъ матери, — кончится мое академическое ученіе; но что я буду дѣлать въ духовномъ званіи?.. Я не приготовленъ къ нему; мои наклонности влекутъ меня въ другую сторону. Я обману себя, васъ, людей и Бога, если пойду въ противность голосу своей природы". Въ самомъ дѣлѣ, положеніе было въ высшей степени безотрадное. Съ одной стороны какая-то неотразимая сила вела Введенскаго къ неясной цѣли, олицетворенной въ образѣ университета; съ другой стороны ему представлялось скорое окончаніе курса наукъ и свиданіе съ матерью. Опутанный противорѣчіями, утомленный четырехлѣтней борьбой съ самимъ собой, юноша изнемогъ; ему измѣнили нравственныя его силы и онъ упалъ духомъ...

---

[1]) Письмо это написано на латинскомъ языкѣ; здѣсь оно цитировано въ переводѣ.

Въ половинѣ января 1838 года, Введенскій былъ уволенъ изъ московской духовной академіи, съ правомъ студента семинаріи по первому разряду.

Застигнутый въ расплохъ непредвидѣннымъ событіемъ, лишенный всякихъ средствъ къ существованію, Введенскій сильно заболѣлъ и около шести мѣсяцевъ пролежалъ на госпитальной койкѣ, въ московской Маріинской больницѣ. Продолжительная болѣзнь потрясла весь его организмъ и оставила въ немъ слѣды разрушенія навсегда. Одышка, боль въ груди и шумъ въ ушахъ были постоянными спутниками его жизни. Къ физическимъ страданіямъ присоединилось много нравственныхъ огорченій. Ничто такъ не вредило въ жизни Введенскому, какъ пылкость характера и откровенность, свойственная людямъ, увѣреннымъ въ своихъ силахъ. Откровенность ему наживала въ глупцахъ доносчиковъ, въ хитрецахъ—обманщиковъ, въ людяхъ ничтожныхъ—враговъ и завистниковъ. Онъ, безъ всякаго преувеличенія, могъ повторить о себѣ слова Шекспира: „я отдавалъ вмѣстѣ съ рукою сердце и моимъ-же сердцемъ меня хлестали по лицу“.

Оправившись отъ продолжительной болѣзни, Введенскій поступилъ въ московскій университетъ, въ августѣ 1838 года; въ то-же время мы находимъ его въ домѣ П. Профессоръ любилъ пользоваться трудами молодыхъ людей особенно тамъ, гдѣ дѣло шло о ничтожной платѣ за большой литературный трудъ; П. принялъ къ себѣ бѣднаго студента въ качествѣ дешеваго учителя для своего пансіона. Введенскій работалъ добросовѣстно, иначе онъ работать не умѣлъ: каждый день давалъ уроки воспитанникамъ пансіона, экзаменовалъ ихъ; въ отсутствіе профессора, когда славянофилъ путешествовалъ за границей, Введенскій принималъ тюки высылаемыхъ книгъ, исполнялъ его порученія, писалъ къ нему письма и управлялъ всѣмъ пансіономъ. За все это онъ получалъ отъ П. 600 рублей ассигн. въ годъ, да еще съ какимъ-то вычетомъ. „Отъ ранняго утра, говоритъ онъ,—и до поздняго вечера я не принадлежалъ самому себѣ и рѣдкій день могъ употребить на собственную свою работу“. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ посѣщалъ университетъ, хотя очень рѣдко; потому-что рано утромъ ему приходилось шагать черезъ все Дѣвичье Поле, по крайней мѣрѣ, около пяти верстъ. Притомъ „славны бубны за горами“... Введенскій сѣлъ на университетскую скамью не семьнадцати-лѣтнимъ мальчикомъ, съ кой-какими познаніями; онъ пришелъ слушать „людей ученыхъ“ на 23 году своей жизни, изъ другого высшаго заведенія, гдѣ находился въ ряду отличныхъ учениковъ.

Въ началѣ весны 1840 года онъ оставилъ Москву и перебрался въ Петербургъ. Неизвѣстно, какими побужденіями Введенскій руководствовался при этомъ новомъ переселеніи. Кажется, онъ надѣялся съ перемѣной мѣста обновить свое нравственное существо, стряхнуть съ плечъ

грустныя воспоминанія шестилѣтней жизни въ Москвѣ. Пребываніе его въ пансіонѣ П. окончательно перепутало всѣ его планы, разрушило послѣднія его надежды; измученная грудь юноши требовала свѣжей струи воздуха. „Снова, пишетъ онъ, не задолго передъ отъѣздомъ, — я стою на краю пропасти. Боже мой! что мнѣ дѣлать, когда погасла энергія въ моей душѣ? Что мнѣ дѣлать, когда какая-то непонятная сила давитъ меня на каждомъ шагу? Много образовалось въ головѣ моей плановъ, предпріятій, но всѣ они замирали при самомъ своемъ рожденіи или оставляемы были при самомъ началѣ ихъ существованія. И зачѣмъ Провидѣніе дало мнѣ множество стремленій, порывовъ, которые смѣло могу назвать благородными, когда я лишенъ возможности дѣйствовать? Неужели мои таланты, пусть слабые, но все-же таланты, должны погибнуть при самомъ своемъ развитіи? Неужели со временемъ, продолжая быть безполезнымъ для себя и для другихъ, я долженъ буду вести жизнь свою въ какой-нибудь богадѣльнѣ, нюхая табакъ съ своими собратьями, изъ которыхъ, конечно, я буду самымъ жалкимъ и въ то-же время безполезнѣйшимъ существомъ? Нѣтъ! душа моя проситъ труда, знанія“... Такимъ образомъ, покидая Москву, онъ думалъ разбудить въ себѣ заснувшія силы; Петербургъ казался ему новой планетой, на которой нѣтъ ни слезъ, ни горя, ни разочарованій.

Отправляясь въ Петербургъ, онъ надѣялся застать въ немъ П. и воспользоваться его покровительствомъ; но П. уже не было здѣсь. Не имѣя ни знакомыхъ, ни друзей, ни одного мѣднаго гроша въ карманѣ, молодой человѣкъ оставался въ столицѣ, какъ на необитаемой землѣ. Грустно повторять, но покойный Введенскій самъ разсказывалъ, какъ онъ, за неимѣніемъ квартиры, проводилъ дни кое-гдѣ, ночью засыпалъ въ академической бесѣдкѣ или въ саду подъ деревомъ: однѣ звѣзды лѣтняго неба были свидѣтелями тѣхъ горькихъ слезъ, которыя текли изъ растерзанной души. „Здравствуй, бѣдная книжка, пишетъ онъ въ своихъ запискахъ 25 августа, — имѣю честь рекомендоваться тебѣ голоднымъ жителемъ роскошнаго города. Почти полгода прожилъ я въ Петербургѣ, преданный всѣмъ родамъ униженія, ужасной нищетѣ, брошенный на произволъ судьбы. И вотъ я именно полуживой, полуразрушившійся надъ могилой“.

Несмотря на эти непріятности, онъ не думалъ своротить съ дороги, указанной ему природой; онъ ревностно хлопоталъ о поступленіи въ петербургскій университетъ, и только благодаря своей настойчивости, былъ принятъ въ число казенно-коштныхъ студентовъ.

Замѣченный редакторомъ „Библіотеки для чтенія“, какъ полезный сотрудникъ, Введенскій встрѣтился съ нашимъ извѣстнымъ оріенталистомъ, и въ послѣднихъ числахъ февраля 1841 года переѣхалъ въ его квартиру. Выступая на литературное поприще въ одномъ изъ лучшихъ періодическихъ изданій того времени, подъ руководствомъ весьма да-

ровитаго и образованнаго человѣка, Введенскій отмѣчаетъ въ своемъ дневникѣ: „Боже мой! дай мнѣ волю, твердость характера и терпѣніе. Наконецъ, я встрѣтился съ дѣятельностью, которой такъ давно искалъ: остается оправдать себя". Какъ переводчикъ и критикъ, онъ неутомимо работалъ для этого журнала въ продолженіи всего своего пребыванія въ университетѣ. За 1842 годъ большая часть критическихъ статей „Библіотеки для чтенія" принадлежитъ прекрасному перу Введенскаго.

Близкое столкновеніе съ людьми не совсѣмъ обыкновеннаго разбора имѣетъ огромное значеніе въ общественномъ быту, особенно для воспріимчивыхъ организацій. Знакомство Введенскаго съ С. было, во многихъ отношеніяхъ, благотворнымъ для молодого человѣка; если онъ не могъ занять у своего перваго достойнаго учителя безусловнаго уваженія къ истинѣ, то могъ усвоить правильную методу и превосходные пріемы литературныхъ работъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ и въ нравственномъ характерѣ Введенскаго происходитъ въ это время сильный переломъ. Огненная природа юноши начинаетъ угасать; порывы страстей сдерживаются волей; фантазія покоряется разсудку; практическая жизнь среди эгоистическаго общества даетъ ему нѣсколько новыхъ, отнюдь не ласковыхъ уроковъ, а двадцать-седьмой годъ жизни заставляетъ его зорко взглянуть на свое будущее. Однажды, посѣтивъ Смоленское кладбище, Введенскій задумался передъ памятникомъ несчастной дѣвицы Кульманъ, и надъ гробомъ преждевременно погибшаго таланта написалъ слѣдующія строки: „Прощай, золотая юность; я не зналъ ни твоихъ радостей, ни восторговъ. Для меня существовало только два періода въ жизни—младенчество и старость. Грустно вспоминать прошедшее, еще грустнѣе подумать о будущемъ. Если жизнь измѣряется силою ощущеній, желаній, опытовъ, страданій, я прожилъ не менѣе ста лѣтъ. Сколько благословеній и проклятій я разбросалъ на дорогѣ своего бѣднаго существованія; сколько было стремленій къ добру и славѣ, — и все это брошено даромъ. Прощай, моя юность!"

Что же касается до классныхъ занятій, можно ли сомнѣваться въ блистательныхъ успѣхахъ студента, который могъ съ честію замѣнить редактора журнала. Введенскій, безъ всякаго сомнѣнія, цѣлою головой стоялъ выше своихъ товарищей въ умственномъ и физическомъ отношеніи, а способности и познанія его не всегда могли приходиться по плечу и самого профессора. Университетъ для Введенскаго былъ зданіемъ, черезъ которое онъ долженъ былъ пройдти для полученія ученой степени и формальнаго окончанія курса наукъ, на законномъ основаніи. Достаточно указать на одинъ случай, чтобы видѣть, какъ занимался, Введенскій въ университетѣ. Однажды за нѣсколько дней до экзамена, онъ не могъ достать записокъ по предмету исторіи русской литературы, чтобъ прослѣдить по нимъ рядъ лекцій, читанныхъ профессоромъ въ продолженіи года; вмѣсто записокъ Введенскій взялъ каталогъ Смирдина,

обложилъ себя источниками и, приготовивъ каждый вопросъ съ помощію самостоятельнаго труда, явился на экзаменъ. Само собой разумѣется, что отвѣты его изумили профессора. Во время Введенскаго студенты обязаны были читать свои разсужденія съ каѳедры. Онъ любилъ эти упражненія, и когда всходилъ на каѳедру, вся аудиторія съ истиннымъ восторгомъ его слушала.

Въ концѣ августа 1842 года Введенскій вышелъ изъ с.-петербургскаго университета съ правомъ кандидата, по философскому факультету.

Итакъ, учебное поприще кончилось для И. И. Введенскаго. Питомецъ пяти различныхъ учебныхъ заведеній, наконецъ, на 28 году возраста переступилъ за порогъ школы. Изъ любви къ наукѣ, самой чистой и безкорыстной любви, онъ боролся на каждомъ шагу съ бѣдностью и жертвовалъ здоровьемъ. Наука была путеводной звѣздой всѣхъ его стремленій, надеждъ и мечтаній на пути самыхъ лучшихъ девятьнадцати лѣтъ его жизни. Еслибъ И. И. Введенскій и ничего не сдѣлалъ для русской литературы и тогда мы не вправѣ забыть его благороднаго подвига. Наука требуетъ жертвъ, и тому, кто боится ихъ, она не довѣряетъ своихъ сокровищъ. Нѣсколько недѣль спустя, послѣ окончанія университетскаго курса наукъ, И. И. Введенскій принялъ предложенное ему мѣсто преподавателя русскаго языка и словесности въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. Съ служебными обязанностями онъ постоянно соединялъ литературную дѣятельность и, не упуская изъ виду одной изъ лучшихъ своихъ надеждъ — занять со временемъ профессорскую каѳедру въ университетѣ, готовился, между прочимъ, къ магистерскому экзамену. Труды И. И. Введенскаго были многосложны и утомительны, тѣмъ больше, что они рѣдко согласовались съ его задушевными желаніями, и онъ не могъ сосредоточить своего вниманія на одномъ предметѣ. Силы молодого человѣка были раздроблены между журналомъ и классомъ, спеціальнымъ изученіемъ латинскаго и греческаго языковъ и составленіемъ записокъ по исторіи литературы для воспитанниковъ корпуса. Вечеромъ, возвращаясь изъ аудиторіи усталый, И. И. Введенскій садился за чтеніе Гомера или Тита Ливія, на другой день поутру бѣжалъ онъ къ редактору К...., къ которому надо было явиться, по крайней мѣрѣ, двадцать разъ, чтобъ получить кой-какое вознагражденіе за свой трудъ, потомъ отправлялся давать уроки въ частномъ домѣ, отсюда переходилъ въ публичную библіотеку для прочтенія необходимой книги, которую не на что было купить,—и среди этихъ разнохарактерныхъ хлопотъ улетали дни за днями. И все это дѣлалось положительно ради насущнаго куска хлѣба, отъ котораго И. И. Введенскій долженъ былъ удѣлять нѣсколько крохъ своей бѣдной матери. Многихъ безсонныхъ ночей, многихъ заботъ стоилъ ему этотъ насущный кусокъ хлѣба.

Среди безпрерывныхъ занятій, одинокая жизнь, отчужденіе отъ общества иногда омрачали его душу скукой и недовольствомъ самимъ

собой. „Наконецъ окончилъ я, пишетъ онъ,—курсъ наукъ въ университетѣ; но какую пользу принесло мнѣ это университетское образованіе и несчастная кандидатская степень? Правда, я сдѣлался ученѣе и въ нѣкоторыхъ вещахъ даже слишкомъ ученымъ: но что мнѣ въ этой мертвой эрудиціи, когда я не могу сдѣлать изъ нея никакого употребленія для жизни. Что мнѣ въ ней, когда въ обществѣ я становлюсь какимъ-то страннымъ существомъ, безъ ума, безъ мысли и даже безъ языка? Прежде, по крайней мѣрѣ, принадлежалъ къ извѣстному сословію и могъ занимать въ немъ свое мѣсто, а теперь, удаленный отъ всего свѣта, исключившій себя изъ всѣхъ обществъ, я сталъ особнякомъ, которому нѣтъ названія на человѣческомъ языкѣ. Точно, продолженіе ученыхъ занятій могло-бы расцвѣтить остатокъ моей жизни, но судьба не оставила мнѣ и этого утѣшенія, я не могу располагать ни временемъ, ни своими способностями... Среди вѣчнаго движенія милліона людей, я живу все равно, какъ въ подземельѣ; ничего не знаю, что́ дѣлается вокругъ меня, ни въ чемъ не принимаю никакого участія, ничему не радуюсь, но уже ничѣмъ почти и не печалюсь“...

Такъ прошли первые два года его существованія, по выходѣ изъ университета. За всѣмъ тѣмъ И. И. Введенскій неутомимо трудился, и кабинетная его жизнь, мало-по-малу выясняясь подъ вліяніемъ благопріятныхъ обстоятельствъ, была столько же богата нравственными явленіями, сколько бѣдна внѣшними событіями [1]).

Озаренная тихими радостями семейнаго быта (И. И. Введенскій женился въ 1848 году), она перемѣнила свой бурный потокъ въ ясное и безмятежное теченіе, вся замкнулась въ умственныхъ трудахъ. Отъ письменнаго стола И. И. Введенскій переходилъ въ классы; изъ классовъ онъ опять возвращался за письменный столъ. Работая по 15-ти часовъ въ сутки, не зная свѣта и его шумныхъ удовольствій, труженикъ позволялъ себѣ единственный досугъ, единственное развлеченіе — видѣть у себя друзей одинъ разъ въ недѣлю. Въ лѣтнее время, свободное отъ служебныхъ должностей, онъ предпринималъ путешествія для поправленія своего здоровья. Но гдѣ бы онъ ни былъ, наука повсюду ему сопутствовала: отправлялся-ли онъ въ Ревель, Шекспиръ былъ безотлучнымъ его собесѣдникомъ; находился-ли онъ въ Гельсингфорсѣ, шведскій языкъ былъ предметомъ его изученія; уѣзжалъ-ли онъ въ Саратовъ ни свиданіе съ матерью, онъ вездѣ неизмѣнно былъ преданъ своему дѣлу. Вотъ какъ онъ провелъ почти цѣлое лѣто на родинѣ: „Утро! день прекрасный, пишетъ онъ одному изъ своихъ друзей, К...,— густой лѣсъ и среди его пчельникъ, отгороженный частоколомъ. Среди пчельника шалашъ, защищенный соломою. Черноземный грунтъ шалаша усыпанъ свѣжимъ пескомъ. Среди шалаша поставленъ простой столикъ,

[1]) О литературной и педагогической его дѣятельности мы скажемъ послѣ.

а за этимъ столомъ я работаю (въ это время онъ переводилъ Vicar of Wakefield, съ англійскаго, изданный Гердомъ въ искаженномъ видѣ). Въ двухъ шагахъ отъ меня досчатая кровать, устланная только-что скошеннымъ сѣномъ. Вокругъ меня, со всѣхъ сторонъ, раздаются птичьи концерты; работать мнѣ очень весело. Добрая моя мать ни на секунду не сводитъ съ меня глазъ и теперь стоитъ подлѣ меня съ вѣнкомъ въ рукахъ, которымъ прогоняетъ съ моей головы докучливыхъ мошекъ... Въ Саратовѣ мнѣ наскучили разнаго рода герои, въ родѣ Ноздревыхъ, Собакевичей и, по самой высшей мѣрѣ, Чичиковыхъ; отъ нихъ бѣжалъ я въ безлюдную Грязнуху",—(деревня Саратовской губерніи; здѣсь жила мать И. И. Введенскаго). Наука была всѣмъ для него. На уваженіи къ ней основывались всѣ его убѣжденія, вѣрованія и житейскія отношенія. Молодые любознательные люди, во имя науки, всегда находили въ немъ друга и покровителя; если онъ замѣчалъ бѣднаго юношу, желающаго образовать себя, но не имѣющаго средствъ, онъ готовъ былъ раздѣлить съ нимъ послѣднюю рубашку. Стойкость въ убѣжденіяхъ была для него главнымъ правиломъ въ жизни. Тамъ, гдѣ нужно было сказать правду, явиться защитникомъ добраго дѣла, онъ забывалъ всякіе внѣшніе разсчеты и прямо шелъ къ своей цѣли. Его прямота и рѣзкій тонъ, которымъ онъ обыкновенно выражалъ свои мнѣнія, производили на многихъ непріятное впечатлѣніе, особенно въ первый разъ; но кто узнавалъ И. И. Введенскаго ближе, тотъ скоро убѣждался, что подъ этой жесткой оболочкой таилось самое нѣжное и теплое сердце. Суровая школа жизни, пройденная И. И. Введенскимъ, повидимому, должна была ожесточить его, вооружить противъ людей, какъ это, дѣйствительно, и бываетъ съ характерами не развитыми; напротивъ, онъ вынесъ изъ этой школы пламенную любовь къ добру; испытавъ на себѣ много несправедливостей, онъ тѣмъ съ бо́льшею силой ненавидѣлъ лицемѣріе и ложь. Образованіе, безъ котораго не можетъ быть прочной нравственности ни въ отдѣльномъ лицѣ, ни въ цѣломъ обществѣ, спасло чистоту его души отъ житейской грязи и зла.

Намъ остается пробѣжать послѣднія, болѣе замѣчательныя событія жизни И. И. Введенскаго.

Въ 1851 году ему представился случай искать университетской каѳедры по предмету русской словесности. Онъ смотрѣлъ на профессорское мѣсто, не какъ на отличіе, но какъ на болѣе вѣрное средство — дать своимъ способностямъ твердую опору и не безъ успѣха работать для науки. Изъ программы, въ которой онъ предначерталъ планъ своихъ будущихъ лекцій, мы видимъ что И. И. Введенскій возлагалъ на себя громадный трудъ. Его программа была вопіющимъ протестомъ противъ празднословныхъ литературныхъ теорій. Развивая свой предметъ на основаніи историко-критической методы, онъ соприкасался со всѣми важными явленіями литературъ иностранныхъ. Отличное знаніе древ-

нихъ и трехъ новѣйшихъ языковъ давало ему возможность выполнить свой трудъ добросовѣстно. За его педагогическія способности ручались девять лѣтъ блистательной службы въ военно-учебныхъ заведеніяхъ; свидѣтельствомъ его трудолюбія могли служить десять лѣтъ литературной дѣятельности. Желая вѣрнѣе достигнуть своей цѣли, онъ обрекъ себя на цѣлый годъ самыхъ тяжелыхъ трудовъ. Имѣя 22 учебныхъ часа въ недѣлю, онъ посѣщалъ классы, изучалъ славянскія нарѣчія, составлялъ программу, сдавалъ магистерскій экзаменъ и въ то-же время принужденъ былъ работать для журнала. Въ началѣ 1852 года И. И. Введенскій читалъ съ университетской каѳедры три пробныхъ лекціи, которыя сопровождались блистательнымъ успѣхомъ. И за всѣмъ тѣмъ по какому-то странному стеченію обстоятельствъ, И. И. Введенскій не получилъ профессорскаго мѣста...

Послѣ горькой неудачи, онъ какъ-будто потерялъ вѣру въ самого себя и впалъ въ то убійственное бездѣйствіе, которое можетъ быть только слѣдствіемъ слишкомъ тревожнаго состоянія духа и потери одной изъ лучшихъ надеждъ. Но это апатическое состояніе продолжалось не долго.

Въ половинѣ 1852 года его ожидала новая, прекрасная дѣятельность. „Наставленіе для образованія воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній“, возбудило новые вопросы относительно преподаванія русскаго языка и словесности. Уничтожая старое безплодное и совершенно произвольное направленіе, оно требовало для теоріи языка прочной историко-практической основы, которая отвѣчала бы современнымъ условіямъ науки.

Согласно съ этими требованіями составлены были программы, которыя вводили въ преподаваніе новую методу. Столкновеніе старой и новой школы, какъ двухъ противоположныхъ началъ, неизбѣжно вызвало споры и противорѣчія.

И. И. Введенскій, въ числѣ другихъ дѣятелей, былъ призванъ къ соглашенію и уясненію спорныхъ пунктовъ, раздѣлявшихъ мнѣнія преподавателей. Онъ сталъ на сторонѣ новаго направленія, потому что отъ всей души ему сочувствовалъ. Послѣ его замѣчаній, представленныхъ на программу Галахова, основной вопросъ остался въ прежнемъ видѣ; но частныя примѣненія не выдержали строгаго суда. На общихъ совѣщаніяхъ по этому предмету, происходившихъ подъ предсѣдательствомъ г. начальника штаба военно-учебныхъ заведеній, И. И. Введенскій энергично отстаивалъ полезное нововведеніе. Позволяемъ себѣ въ настоящемъ случаѣ повторить съ Галаховымъ: „онъ не только поддерживалъ новое направленіе, но, можно сказать, вынесъ на своихъ плечахъ“.

Вслѣдъ за тѣмъ И. И. Введенскій былъ назначенъ главнымъ наставникомъ-наблюдателемъ за преподаваніемъ русскаго языка и словесности въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. „Вотъ когда, говорилъ онъ,— пора моей

дѣятельности; теперь мнѣ остается оправдать довѣренность своего добраго начальника".

Дѣйствительно, передъ нимъ открывалась обширная дѣятельность. Вмѣстѣ съ обязанностію главнаго наблюдателя, ему поручено было составить руководства для военно-учебныхъ заведеній по предмету „теоріи прозы и поэзіи". Желая достойнымъ образомъ выполнить возложенный на него трудъ, онъ прекратилъ литературныя занятія.

Между тѣмъ, весной 1853 года И. И. Введенскій предпринялъ путешествіе за границу. Давно онъ мечталъ о путешествіи. Еще въ 1848 г. онъ собирался въ чужіе края; но политическія волненія во Франціи удержали его въ отечествѣ. Серьезныя цѣли вели его въ Западную Европу: онъ желалъ обогатить себя новыми познаніями, собрать матеріалы для будущихъ работъ, а главное — поправить свое разстроенное здоровье.

Въ первыхъ числахъ іюня онъ былъ уже на берегахъ Германіи и по бельгійскимъ желѣзнымъ дорогамъ 9-го числа того-же мѣсяца прибылъ въ Парижъ. Въ Парижѣ, „въ этомъ океанѣ, какъ онъ выражался, всевозможныхъ совершенствъ и мерзостей человѣческихъ", жизнь его была невыносимо скучная. „Печальное и безутѣшное положеніе! пишетъ онъ. — Въ первый-же вечеръ моего прибытія въ Парижъ, я сдѣлался нездоровъ и мое физическое и нравственное нерасположеніе въ самыхъ разнообразныхъ формахъ продолжалось почти цѣлыя пять недѣль, въ продолженіи которыхъ я оставался на берегахъ Сены. По цѣлымъ днямъ я не покидалъ постели, испытывая самыя горькія ощущенія, самыя безотрадныя мысли". За всѣмъ тѣмъ онъ дѣятельно работалъ: собиралъ свѣдѣнія объ общественномъ воспитаніи во Франціи, слушалъ лекціи замѣчательныхъ профессоровъ, посѣщалъ національную библіотеку, осматривалъ зданія и предметы, достойные вниманія, и съ удовольствіемъ гулялъ по чистымъ и свѣжимъ окрестностямъ Парижа. Изъ столицы Франціи онъ спѣшилъ переѣхать въ Лондонъ. Здѣсь онъ былъ совершенно счастливъ. „...Гордъ и недоступенъ англичанинъ, пишетъ И. И. Введенскій, — свысока онъ смотритъ на иностранца, едва удостоиваетъ его своимъ вниманіемъ; услужливъ и любезенъ французъ, внимателенъ, предупредителенъ, готовъ всегда на сердечныя изліянія; довѣрчивъ, ласковъ; при всемъ томъ англичанинъ лучше француза, такъ-же какъ свѣжій и прохладный Лондонъ лучше грязнаго Парижа. На берегахъ Темзы человѣкъ является истиннымъ богатыремъ, по произволу распоряжается силами природы для собственнаго блага, знаетъ цѣну жизни и умѣетъ окружить ее тысячами наслажденій; здѣсь не выступаетъ на сцену шарлатанство, чтобы играть высокими интересами человѣчества, здѣсь умѣютъ любить и ненавидѣть истинно по-человѣчески. Вотъ гдѣ узнаешь наглядно истинное достоинство и колоссальное могущество человѣка. Вотъ гдѣ явственно различаешь разсвѣтъ новой цивилизаціи. Не даромъ англичанинъ съѣдаетъ въ сутки по восьми фунтовъ и выпи-

ваетъ по четыре бутылки крѣпкаго портеру: это имѣетъ свое важное значеніе".

Въ концѣ августа И. И. Введенскій черезъ Францію и Германію возвратился въ Россію. Увеличивъ массу своихъ наблюденій и расширивъ кругъ свѣдѣній, онъ съ новою любовію и свѣжими силами приступилъ къ дѣятельности. Первымъ дѣломъ его было составленіе руководствъ для военно-учебныхъ заведеній; съ этою цѣлью онъ началъ собирать и приводить въ систему матеріалы, необходимые для предстоящаго труда, продолжая вмѣстѣ съ тѣмъ классныя занятія. Но едва только стала проясняться жизнь И. И. Введенскаго, судьба приготовила ему непредвидѣнный и рѣшительный ударъ. Зрѣніе И. И. Введенскаго, постепенно ослабѣвая, наконецъ, совершенно угасло на сорокъ первомъ году его жизни. Ничѣмъ не замѣнимая потеря глазъ была для него самымъ тяжелымъ испытаніемъ: перепробовавъ всѣ медицинскія средства, готовый на всѣ пожертвованія и страданія, онъ истощилъ всѣ усилія и, наконецъ, потерялъ всякую надежду на выздоровленіе. Слѣпецъ, не видя вокругъ себя природы, которую такъ горячо любилъ, не узнавая своихъ дѣтей, принужденный бороться на каждомъ шагу съ невыгодами своего положенія, онъ глубоко упалъ духомъ. Среди этого тягостнаго состоянія, онъ былъ обязанъ ободреніемъ и самымъ искреннимъ участіемъ своему великодушному начальнику Я. И. Ростовцеву. Заранѣе разсчитавшись съ жизнію, страдалецъ печально шелъ къ своей преждевременной могилѣ: единственный лучъ утѣшенія горѣлъ для него въ семейномъ кругу, въ кругу дѣтей-малютокъ.

И. И. Введенскій умеръ 1855 года 14 іюля. Надъ могилой его ясно слышатся четыре слова: онъ чувствовалъ, мыслилъ, боролся и страдалъ.

Педагогическіе труды И. И. Введенскаго продолжались двѣнадцать лѣтъ. Онъ былъ преподавателемъ русской словесности почти во всѣхъ военно-учебныхъ заведеніяхъ; но главная его дѣятельность всегда сосредоточивалась въ Константиновскомъ кадетскомъ корпусѣ: здѣсь онъ ее началъ, здѣсь и окончилъ.

На каѳедрѣ И. И. Введенскій являлся во всемъ блескѣ своихъ богатыхъ способностей. Въ немъ съ рѣдкимъ согласіемъ соединялись дарованія, необходимыя для хорошаго преподавателя: любовь къ наукѣ и юношеству, отличная память, быстрое соображеніе, ясная и выразительная рѣчь.

Даръ слова, которымъ обладалъ И. И. Введенскій, былъ замѣчательнымъ явленіемъ нравственнаго міра, торжествомъ человѣческой мысли. Сила и образъ,—коренныя достоинства русскаго слова, были отличительными чертами его краснорѣчія. Въ каждомъ звукѣ его таилась мысль; каждое выраженіе облекалось въ ясную и живую форму. Соприкасался ли онъ въ своихъ лекціяхъ съ отвлеченнымъ понятіемъ или историческимъ фактомъ, въ душѣ его идея оживала и, переходя во внѣшній міръ, явля-

лась отчетливо обрисованной картиной. Иначе искусный педагогъ и не можетъ дѣйствовать: косность и мертвенность въ языкѣ учителя губятъ юношескія способности, во всемъ любящія жизнь, и превращаютъ аудиторію въ театръ болѣе или менѣе пріятныхъ сновидѣній, но не полезнаго ученія.

Притомъ въ преподаваніи И. И. Введенскаго, строгое логическое развитіе мыслей, среди которыхъ ни на одну минуту не терялась основная нить разсказа, сообщало его рѣчи силу неотразимаго убѣжденія.

Метода его была плодомъ долговременной опытности и обширныхъ познаній. И. И. Введенскій съ раннихъ юношескихъ лѣтъ сталъ знакомиться съ педагогическими пріемами. Прежде чѣмъ выступить на служебное поприще, онъ десять лѣтъ преподавалъ въ частныхъ домахъ, переходя отъ аристократическаго дома къ бѣдному семейству, встрѣчая на пути своихъ учительскихъ обязанностей дѣтей разныхъ сословій, всевозможныхъ возрастовъ и способностей, онъ могъ запастись множествомъ практическихъ наблюденій, безъ которыхъ никакая теорія и ни одинъ хорошій педагогъ не могутъ обойтись. Притомъ И. И. Введенскій самъ пробылъ около двадцати лѣтъ на школьной скамьѣ, и, слѣдовательно, имѣлъ случай убѣдиться на опытѣ, какъ можетъ вредить развитію умственныхъ способностей схоластическая рутина. Поэтому онъ глубоко сознавалъ, что наука и жизнь не должны быть отрываемы другъ отъ друга, нигдѣ, тѣмъ болѣе на каѳедрѣ. Избѣгая праздной игры въ отвлеченные звуки, онъ сообщалъ своимъ лекціямъ историческій способъ изложенія. Раскрывая явленія нашей умственной жизни въ связи съ явленіями литературъ европейскихъ, онъ тѣмъ самымъ спасалъ свою науку отъ произвольныхъ мнѣній и шаткихъ результатовъ.

Наконецъ, онъ любилъ свое призваніе, дорожилъ имъ, какъ только можетъ дорожить человѣкъ, понимающій всю важность юношескаго образованія. Аудиторія была для него не мастерскою ремесленника, но мѣстомъ истиннаго вдохновенія.

Онъ входилъ въ нее съ полнымъ убѣжденіемъ, что юноши, оставившіе родительскій домъ, отдавшіе лучшіе года жизни ученію, въ правѣ ожидать отъ своего наставника знанія полезнаго; съ этимъ знаніемъ многіе изъ нихъ прямо изъ школы выступятъ на служебное поприще и, слѣдовательно, всякую благую мысль внесутъ въ общество, передадутъ своимъ дѣтямъ и внукамъ. Послѣ нѣкоторыхъ лекцій, прочитанныхъ съ особеннымъ одушевленіемъ, И. И. Введенскій возвращался домой полубольнымъ, съ потрясенною грудью. Нѣкоторыя чтенія стоили ему, на его скромной каѳедрѣ, такого серьезнаго приготовленія, какое долженъ принимать на себя только профессоръ университета.

Но нигдѣ и ни въ чемъ такъ могущественно не выражался его духъ, какъ въ умѣньи пробуждать въ юношахъ любознательность и уваженіе къ труду. Въ этомъ отношеніи вліяніе его на массу воспитанниковъ

было самое дѣйствительное. Они дорожили его мнѣніемъ и всегда и вездѣ учились у него превосходно; обращались къ нему за совѣтами и ожидали отъ него одобренія, какъ лучшей своей награды; И. И. Введенскій съ особеннымъ удовольствіемъ подавалъ своимъ ученикамъ и совѣтъ и руку помощи. Для нихъ была открыта его библіотека и домъ. Многіе молодые люди, уже давно оставившіе школу, изъ далекихъ сторонъ, выражали въ письмахъ чувство признательности къ своему наставнику и просили его принять участіе въ ихъ дальнѣйшемъ образованіи. Вотъ нѣсколько строкъ изъ письма одного молодого офицера, К. М..., вышедшаго изъ дворянскаго полка и жившаго въ Усть-Лабинскомъ укрѣпленіи: „Почтеннѣйшій Иринархъ Ивановичъ! Давно я оставилъ Петербургъ и дворянскій полкъ и живу теперь въ глуши, въ такомъ захолустьи, гдѣ нѣтъ ни книгъ, ни общества. Часто и очень часто вспоминаю то счастливое время, когда, бывало, приходите вы въ тотъ классъ, гдѣ я занималъ скромное мѣсто. Читаете-ли вы лекцію, разбираете-ли содержаніе какого-нибудь сочиненія, я всегда заслушивался увлекательной вашей бесѣды съ нами; минуты казались мгновеніями и какъ ни долго тянутся иногда $1^1/_2$ часа, съ вами эти $1^1/_2$ часа проходили очень быстро.

„Признаюсь откровенно, ужь пять лѣтъ прошло, а я и до сихъ поръ съ величайшимъ удовольствіемъ перечитываю ваши записки. Лекціи ваши перевоспитали меня. Благодаря имъ, я бросилъ читать романы, полюбилъ отечественную словесность и сталъ цѣнить образованіе. Зато мы никого изъ своихъ преподавателей такъ не любили, такъ безконечно не уважали, какъ васъ; да и нельзя васъ не любить! Никогда не забуду вашей послѣдней лекціи, на которой вы, обратившись къ намъ, сказали: „помните, господа, что безъ образованія нельзя искренно любить своего отечества и быть полезнымъ членомъ общества. На каждомъ шагу чувствую справедливость этихъ словъ“...

Въ этомъ взаимномъ сочувствіи между наставникомъ и его воспитанниками, въ этомъ общемъ стремленіи къ одной благородной цѣли скрывается лучшій залогъ педагогическихъ успѣховъ. На каѳедрѣ представляетъ науку преподаватель. Его нравственное достоинство служитъ самымъ прочнымъ ручательствомъ за тѣ истины, которыя онъ сообщаетъ своей аудиторіи. Природа не выпускаетъ изъ своихъ рукъ ничего безнравственнаго и злого: юноши всегда способны любить и уважать предметъ своего ученія и того наставника, который не даромъ стоитъ на пути ихъ умственнаго развитія. И. И. Введенскій глубоко былъ уважаемъ и любимъ своими учениками. Отрадно было видѣть, съ какимъ восторгомъ они стекались въ его аудиторію, и когда онъ потерялъ зрѣніе, съ какой предупредительностію они являлись на помощь къ бѣдному слѣпцу, принимали и провожали его изъ классовъ; искренно сочувствуя его несчастію и, какъ-бы, желая утѣшить его своими успѣхами,

въ послѣднее время они особенно ревностно занимались по его предмету и такъ блистательно отвѣчали на экзаменахъ, что онъ не рѣдко со слезами на глазахъ переступалъ за порогъ класса.

Въ послѣдніе два года своей жизни И. И. Введенскій вмѣстѣ съ педагогической дѣятельностью соединялъ обязанность главнаго наблюдателя за преподаваніемъ русскаго языка и словесности.

Первымъ дѣломъ его на поприщѣ новаго назначенія было окончательное приведеніе въ стройную систему новыхъ программъ, составленныхъ для военно-учебныхъ заведеній по предмету русскаго языка и словесности. Принимая въ этомъ дѣлѣ живое участіе, И. И. Введенскій дѣйствовалъ на основаніи общихъ соображеній съ гг. Галаховымъ и Буслаевымъ. Главное стремленіе ихъ состояло въ томъ, чтобы, удовлетворяя требованіямъ „наставленія для преподаванія въ военно-учебныхъ заведеніяхъ", положить въ основу преподаванія новую методу, которая въ одно и то-же время избавила бы отечественную словесность отъ схоластическихъ устарѣлыхъ началъ и устранила одинъ разъ и на всегда произвольныя умозрѣнія въ дѣлѣ науки.

Нѣтъ сомнѣнія, что идея этого нововведенія въ области педагогической дѣятельности не могла возникнуть вдругъ во всей полнотѣ и со всѣми подробностями, доведенными до систематическаго развитія, она неизбѣжно должна была пройдти цѣлый рядъ попытокъ и довольно шаткихъ объясненій; но выясняясь болѣе и болѣе подъ непосредственнымъ вліяніемъ И. И. Введенскаго, окончательно выразилась въ историко-практическомъ направленіи. Онъ надѣялся осуществить свою мысль и дать твердую опору новому направленію въ руководствахъ, къ составленію которыхъ онъ уже приступилъ; но слѣпота отняла у него возможность продолжать работу. И когда ему говорили, почему онъ не составляетъ учебниковъ съ помощію чужихъ глазъ, онъ отвѣчалъ: „Я сорокъ лѣтъ бѣдствовалъ честно: теперь не хочу блаженствовать безчестно". На долю его приходился громадный трудъ — „теорія прозы и поэзіи" въ ея историческомъ развитіи. Планъ его труда требовалъ отъ него, кромѣ заготовленныхъ матеріаловъ, разработки новыхъ источниковъ, по крайней мѣрѣ, на пяти иностранныхъ языкахъ. Притомъ, новое положеніе, на основаніи котораго онъ создавалъ руководства, возлагала на него отвѣтственность передъ судомъ науки. Понятно, почему въ настоящемъ случаѣ никакая чужая помощь не могла замѣнить ему потеряннаго зрѣнія...

Мы не въ состояніи показать другихъ отраслей педагогической дѣятельности И. И. Введенскаго, но смѣемъ увѣрить, что онъ трудился всегда и вездѣ съ одинаковой любовію, которая одушевляла его на всѣхъ стезяхъ жизни.

Независимо отъ педагогическихъ занятій, Введенскій усердно работалъ для литературы въ продолженіи двѣнадцати лѣтъ и только съ по-

терей зрѣнія положилъ перо. Съ 1841 до 1853 года включительно онъ написалъ двадцать-четыре критическихъ разбора, пять самостоятельно разработанныхъ статей и перевелъ восемь первоклассныхъ романовъ съ англійскаго языка. Въ общемъ итогѣ литературный его капиталъ, по объему своему, доходитъ до шести сотъ печатныхъ листовъ. Впрочемъ, эта цифра далеко не обнимаетъ всего, что̀ было написано Введенскимъ. Множество переводовъ съ французскаго и нѣмецкаго языка и мелкія рецензіи, разбросанныя по разнымъ журналамъ, безъ подписи его имени, не вошли въ этотъ перечень [1]).

---

[1]) Критическія статьи Введенскаго, напечатанныя въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, идутъ въ слѣдующемъ хронологическомъ порядкѣ: 1) „Записки о Россіи въ царствованіе Алексѣя Михайловича" Котошихина („Библіотека для чтенія" 1841 г.). 2) „Эленшлегеръ" („Сынъ От." 1841 г.). 3) „Historica Russiae monumenta", А. И. Тургенева („Библіот. для чт." 1842 г.). 4) „Акты историческіе", собранные и изданные археологическою комиссіею (тамъ-же 1842 г.). 5) „Описаніе Олонецкой губерніи", Дашкова (тамъ-же 1842 г.). 6) „Опытъ гражданской медицинской полиціи", К. Гелинга (тамъ-же, 1842 г.). 7) „Сказанія князя Андрея Курбскаго", издан. Устрялова (тамъ-же). 8) „Outlines of english literature", by Th. Shaw (тамъ-же 1847 г.). 9) „Очеркъ исторіи русской поэзіи", А. Милюкова („Современникъ" 1847 г.). 10) „Новые толки о греческомъ эпосѣ" („Библіотека для чт." 1847 г.). 11) „Учебникъ русскаго языка", А. Смирнова („Отечественныя записки", 1848 г.). 12) „Объ особенностяхъ языка русскаго", К. Зеленецкаго (тамъ-же). 13) „Альціона, „Учено-литературный сборникъ", Зеленецкаго (тамъ-же). 14) „Два адмирала", романъ Фенимора Купера (тамъ-же). 15) „Книга для чтеній и упражненій въ словесности" (тамъ-же). 16) „Судьбы церковно-славянскаго языка", П. Билярскаго („От. Зап.", 1849 г.). 17) „Уроки англійскаго языка", И. Гасфельда (тамъ-же). 18) „О публичныхъ курсахъ англійскаго языка, Гасфельда и Турнерелли (тамъ-же). 19) „The history of Egypt from the earliest times till the conquest by the Arabs", by S. Sharpe (тамъ-же). 20) „Narrative of events in Borneo and Celebes", by captain Rodney Munhy тамъ-же). 21) „Narrative of the voyage of H. M. S. Samarang during the years 1843—1846, by captain Beleher (тамъ-же). 22) „The correspondence of Horace Walpole with the countess of Ossori („Современникъ", 1849 г.) 23) „О переводахъ Теккереева романа „Vanity Fair", Письмо къ редактору „От. Записокъ" („Отеч. Зап." 1851 г.). 24) „Руководство къ познанію родовъ, видовъ и формъ поэзіи", Тулова (тамъ-же, 1853 г.).

Оригинальныя статьи: 1) „Іоанна изъ Арка" („Библіот. для чтенія", 1842 г.). 2) „Царь Василій Шуйскій" (неизвѣстно гдѣ напечатана). 3) „Теккерей и его романы" („Отеч. Зап." 1849 г.). 4) „Державинъ" („Сѣверное Обозрѣніе" 1849 г.). 5) „Тредьяковскій" (тамъ-же, 1849 г.).

Переводы: 1) „Элевзинскія тайны", съ французск. С. С. Уварова („Соврем." 1847) 2) „Первый русскій пансіонъ", съ нѣмецкаго изъ автобіографіи А. Шлецера („Библіот. для чт." 1847 г.). 3) „Домби и Сынъ", романъ Диккенса („Соврем." 1848 г.). 4) „Дирслейеръ", ром. Ф. Купера („Отеч. Зап.", 1848 г.). 5) „Договоръ съ привидѣніемъ", пов. Диккенса (тамъ-же 1849 г.). 6) „Дженни Эйръ", романъ Корреръ-Белля (тамъ-же). 7) „Базаръ житейской суеты", ром. Теккерея („От. Зап., 1850 г.). 8) „Замогильныя записки Пиквикскаго клуба", ром. Диккенса (тамъ-же 1851 г.). 9) „Давидъ Копперфильдъ", ром. Диккенса (тамъ-же 1851 г.). 10) „Опекунъ", ром. Каролины Нортонъ (тамъ-же 1852 г.).

Примѣч. Кромѣ того, послѣ покойнаго остались переводныя рукописи: „Политическая экономія" Шторха и романъ „Манонъ Леско", много начатыхъ, но неоконченныхъ статей и, между прочимъ, переводъ введенія къ „Ueber die Kawi-Sprache", Гумбольдта.

Предѣлы настоящаго очерка не позволяютъ намъ войдти въ подробное разсмотрѣніе произведеній Введенскаго; мы ограничимся однимъ общимъ взглядомъ на его разнообразные труды.

Критическая дѣятельность Введенскаго развивалась на ряду съ его спеціальными учеными занятіями. Первоначальныя рецензіи его, помѣщенныя въ „Библіотекѣ для чтенія", не имѣли и не могли имѣть самостоятельнаго характера, потому что неопытный сотрудникъ журнала находился въ совершенной зависимости отъ полновластнаго редактора, не щадившаго ничьихъ авторитетовъ въ своихъ своевольныхъ передѣлкахъ и прибавленіяхъ. Притомъ молодыхъ силъ Введенскаго, при всей ихъ здоровой организаціи, еще не доставало на то, чтобы избрать опредѣленное направленіе и вѣрно его держаться. Съ любовію къ труду, онъ готовъ былъ трудиться надъ всѣмъ, что̀ ни попадалось ему подъ-руку: историческія, статистическія и медицинскія сочиненія безразлично подвергались его критической оцѣнкѣ. За всѣмъ тѣмъ, рецензіи его отличаются рѣдкою добросовѣстностью и свѣтлымъ взглядомъ на вещи. Обходя общія мѣста, какъ совершенно безполезныя въ дѣлѣ науки, и уважая фактическое достоинство мысли, критикъ никогда не выражаетъ своихъ мнѣній безъ достаточнаго основанія. Многотомныя сочиненія онъ внимательно перечитывалъ, и сквозь массу мертвыхъ матеріаловъ старался свѣтить своей собственной идеей. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ обратиться къ разбору „Сказаній Андрея Курбскаго": изложивъ біографію прославленнаго измѣнника и содержаніе его книги, Введенскій превосходно перевелъ на современный языкъ болѣе замѣчательныя мѣста изъ переписки князя Ковельскаго съ Іоанномъ Грознымъ. Съ такою-же основательностію разобраны „Записки" Котошихина, изъ которыхъ нѣсколько главъ, съ небольшими пропусками, переведены вполнѣ. Если станемъ судить о первыхъ литературныхъ опытахъ Введенскаго сравнительно, то не трудно доказать, что его рецензіи стоятъ неизмѣримо выше очень многихъ критическихъ статей, которыя „Библіотека для чтенія", черезъ двѣнадцать лѣтъ послѣ того, предлагала своимъ великодушнымъ читателямъ.

Съ 1843 года, прекративъ на время критическую дѣятельность, Введенскій, въ продолженіи четырехъ лѣтъ, усидчиво занимался изученіемъ англійской литературы и дополненіемъ своихъ свѣдѣній по предмету исторіи русской и древне-классической словесности. Плодомъ его кабинетныхъ трудовъ былъ новый рядъ критическихъ разборовъ. Когда кругозоръ его свѣдѣній расширился и силы окрѣпли подъ вліяніемъ самостоятельныхъ работъ, Введенскій ясно выразилъ въ своихъ воззрѣніяхъ опредѣленное направленіе. Разбирая филологическія сочиненія, онъ, какъ ученикъ покойнаго почтеннаго Прейса и послѣдователь трудолюбиваго А. Х. Востокова, строго держался историко-генетической методы. Убѣжденный въ существенной необходимости исторической грамматики, безъ

которой современная теорія русскаго языка никогда не освободится отъ своихъ мечтательныхъ положеній и не усвоитъ правильную, систематическую форму, Введенскій строго судилъ произвольныя правила нашихъ грамматическихъ учебниковъ. Правда, приговоры его были рѣзкіе, но они всегда подтверждались доказательствами. Если онъ, разсматривая рѣчь г. Зеленецкаго „объ особенностяхъ языка русскаго", называлъ ее жалкой компиляціей, если онъ не находилъ въ рѣчи одесскаго профессора ни одной основательной мысли, и двухъ выраженій, логически связанныхъ между собой, то Введенскій имѣлъ на то полное основаніе. При разборѣ англійскихъ уроковъ Гасфельда, онъ объяснилъ отличительныя свойства превосходной методы Робертсона, сравнивъ ее съ уроками Гасфельда. Путемъ этого сравненія онъ дошелъ до справедливаго результата, что Гасфельдъ исказилъ и обезобразилъ геніальную методу Робертсона и въ то-же время обнаружилъ совершенное отсутствіе теоретическаго знанія англійскаго языка. Въ защиту Гасфельда подалъ голосъ Булгаринъ; какъ обыкновенно, онъ защищалъ всякую литературную неправду; Введенскій, отвѣчая на замѣчаніе редактора „Сѣверной пчелы", подтвердилъ свое мнѣніе новыми доказательствами („Отечественныя Записки" 1848—1849 гг.). Но если критика Введенскаго не умѣла потворствовать слабоумію и шарлатанству, то она искренно сочувствовала отраднымъ явленіямъ нашей науки...

Изъ статей, самостоятельно разработанныхъ Введенскимъ, особенное вниманіе обращаютъ на себя „Державинъ" и „Тредьяковскій". Эти статьи собственно составляютъ отрывки изъ курса „исторіи русской литературы", составленнаго имъ для воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній.

Несмотря на бѣглый обзоръ поэтической дѣятельности Державина, Введенскій бросилъ мѣткій взглядъ на пѣвца „Фелицы" и ясно опредѣлилъ его истинное значеніе.

Главная мысль этой статьи можетъ быть выражена такъ: „Державинъ—поэтъ Екатерины II; ея любви къ просвѣщенію онъ обязанъ своимъ творчествомъ и славой". Изъ отдѣльныхъ монографій о Державинѣ, статья Введенскаго, по нашему мнѣнію, самая лучшая. Главное ея достоинство заключается въ живомъ изложеніи и прекрасномъ слогѣ, какимъ рѣдко говоритъ русская проза. Надобно замѣтить, что Введенскій вообще дорожилъ литературной формой: онъ не разрывалъ связи между мыслію и словомъ, необходимой и законной связи въ литературныхъ произведеніяхъ. Неряшество въ языкѣ и мертвящее косноязычіе были противны его эстетическому чувству, какъ признаки бездарности и невѣжества.

Въ разсужденіи о Тредьяковскомъ, Введенскій первый рѣшился защищать почтеннаго труженика, преданнаго несправедливому униженію. Болѣе полувѣка наша критика безотчетно глумилась надъ переводчикомъ „Телемака"; не принявъ на себя труда прослѣдить сочиненія Тредья-

ковскаго, оцѣнить его академическую и литературную дѣятельность, раскрыть его недостатки, она, между тѣмъ, огласила его имя, какъ предметъ язвительныхъ насмѣшекъ на языкѣ школьника и учителя, въ кругу свѣтскаго и ученаго общества. Введенскій, возвращая неотъемлемую дань уваженія первому русскому профессору, переноситъ на него новую точку зрѣнія. „Критики" и теоріи словесности, говоритъ онъ, — издѣваясь надъ его (Тредьяковскаго) бездарностію, *присвоили себѣ какое-то странное право судить о немъ, какъ о писателѣ современномъ, и въ этомъ заключается коренная причина ихъ неумолимо-строгихъ приговоровъ.* Всего чаще обвиняютъ Тредьяковскаго за его языкъ, будто бы въ высшей степени неправильный и неуклюжій; но предположивъ даже основательность этого обвиненія, мы позволимъ себѣ спросить: могъ-ли онъ въ то время, когда жилъ, и при обстоятельствахъ, сопровождавшихъ его воспитаніе, выражаться языкомъ изящнымъ, чисто-русскимъ. Уроженецъ города (Астрахани), наполненнаго разнообразною смѣсью племенъ и поколѣній, онъ едва-ли могъ получить отъ природы инстинктъ русскаго языка, и притомъ если бы даже твердо былъ въ немъ укорененъ этотъ инстинктъ, онъ неизбѣжно долженъ былъ исказить его въ славяно-греко-латинской школѣ, гдѣ не обращалось ни малѣйшаго вниманія на изученіе русскаго языка. Студентъ Кіева и Москвы былъ даже обязанъ, однимъ изъ пунктовъ академическаго устава, говорить и писать не иначе, какъ по-латини; ему строго запрещалось выражать свои мысли *живою молвой.*

Предметы, входившіе въ составъ изученія, преподавались тоже на варварскомъ латинскомъ языкѣ среднихъ вѣковъ, и этотъ-же языкъ долженъ былъ служить органами поэзіи и краснорѣчія... Всего этого, конечно, было достаточно для того, чтобы молодой человѣкъ, по окончаніи полнаго курса наукъ, утратилъ въ себѣ окончательно чувство материнскаго языка. Далѣе Введенскій доказываетъ, что первая мысль о русскомъ стихосложеніи принадлежитъ Тредьяковскому, который десятью годами предупредилъ въ этомъ дѣлѣ Ломоносова. Наконецъ, перечисливъ произведенія Тредьяковскаго, авторъ заключаетъ свою статью такъ: „Да, онъ былъ труженикъ неутомимый, добросовѣстный и полезный въ самой высокой степени, труженикъ въ благороднѣйшемъ значеніи этого слова. Онъ любилъ науку безкорыстно, съ полнымъ самоотверженіемъ и трудился для нея безъ всякихъ внѣшнихъ интересовъ; 660 рублей годового жалованья служили единственнымъ вознагражденіемъ за его неутомимые труды" („Сѣверное Обозрѣніе", 1849 г.).

Въ основаніи этого воззрѣнія, очевидно, лежитъ историко-критическое начало, единственно-возможное и вѣрное начало въ изслѣдованіи отжившихъ писателей и литературныхъ эпохъ. Статья Введенскаго тѣмъ замѣчательнѣе, что она систематически развиваетъ это начало въ ту пору, когда о немъ существовали у насъ только одни темные намеки, когда эстетическая критика, избравъ себѣ нѣсколько привиллегирован-

ныхъ лицъ, готова была безъ разбора плевать на честныя могилы „старыхъ авторитетовъ“...

Переходимъ къ послѣдней и самой обширной дѣятельности Введенскаго, къ его переводамъ съ англійскаго языка. Какъ переводчику англійскихъ романовъ, ему принадлежитъ неоспоримо первое мѣсто въ числѣ прежнихъ и настоящихъ дѣятелей. Русская литература въ первый разъ приняла геніальнаго Диккенса въ его настоящемъ видѣ изъ рукъ Введенскаго, и англійская повѣсть только съ появленіемъ его переводовъ обратила на себя общее вниманіе публики. Успѣхъ этихъ переводовъ, несмотря на противодѣйствіе журнальной критики, былъ огромный: образованные читатели всѣхъ сословій встрѣтили ихъ съ единодушнымъ восторгомъ; ими восхищались съ одинаковымъ увлеченіемъ и юноша, и старикъ, и дѣловой, и свѣтскій человѣкъ, всѣ, кому доступно пониманіе обаятельнаго русскаго слова и сочувствіе мощному британскому генію. Много лѣтъ прошло съ того времени, когда появился первый переводъ Введенскаго „Домби и Сынъ“; но кто-же не помнитъ лучшихъ страницъ этого романа? Кто можетъ забыть потрясающія сцены смерти Павла и глубокой тоски Домби, лишеннаго имущества и горюющаго въ своемъ опустѣломъ домѣ? Кто не плакалъ надъ послѣдними страницами „Опекуна“, страданіями Элеоры, такъ художественно и вдохновенно переданными Введенскимъ?

Нѣтъ надобности говорить о томъ, что этотъ успѣхъ не былъ дѣломъ случая, что̀ часто бываетъ съ литературными извѣстностями, обязанными своей славой предразсудку или колокольному звону пристрастной критики, нѣтъ, этотъ достойный успѣхъ былъ результатомъ таланта и долговременныхъ приготовительныхъ трудовъ. Ламартинъ замѣтилъ: „De tous les livres à faire, le plus difficile à mon avis, c'est une traduction“—и это совершенно справедливо, что̀ доказывается, между прочимъ, недостаткомъ хорошихъ переводовъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ и въ особенности въ нашей литературѣ, гдѣ укоренилось странное убѣжденіе, что будто всякое грамотное существо можетъ безнаказанно ломать и выворачивать на-изнанку чужого геніальнаго писателя.

Введенскій зналъ цѣну своему труду. Приступая къ нему, онъ запасся всѣми средствами, необходимыми таланту для того, чтобы съ честію выполнить предпринятую имъ работу. Прежде, нежели онъ взялся за Диккенса, одного изъ самыхъ народныхъ авторовъ, слѣдовательно, самыхъ трудныхъ для воспроизведенія на чужомъ языкѣ, Введенскій коротко познакомился вообще съ духомъ англійской литературы, полюбилъ ее до страсти и постоянно слѣдилъ за ея современными явленіями. Поэтому для него Диккенсъ и Теккерей не были отдѣльными личностями, не имѣющими никакой связи съ національною ихъ жизнію и общимъ характеромъ британскаго образованія; они были для него не мертвой буквой, какъ для большей части нашихъ переводчиковъ, а живымъ вы-

раженіемъ англійскаго языка и литературы. Притомъ переводчикъ долженъ сочувствовать своему оригиналу, имѣть съ нимъ, такъ-сказать, нѣкоторую долю нравственной симпатіи и не отстоять отъ него на неизмѣримомъ разстояніи по своей умственной организаціи и степени образованности; иначе борьба пигмея съ великаномъ всегда окончится пораженіемъ карлика, что́ мы и видимъ почти на всѣхъ переводчикахъ Шекспира и В. Скотта. Но это сочувствіе можетъ быть только плодомъ основательнаго и всесторонняго изученія всего, что привязываетъ насъ къ той или къ другой литературѣ, къ тому или къ другому писателю. Кромѣ того, Введенскій совершенно владѣлъ своимъ роднымъ языкомъ. Этотъ языкъ былъ его младенческимъ лепетомъ, не обезображеннымъ обыкновенною „смѣсью нижегородскаго съ французскимъ"; на двѣнадцатомъ году возраста, Введенскій увлекается Карамзинымъ и не отстаетъ отъ него до тѣхъ поръ, пока въ юношѣ не образовалось чувство слога.

Впослѣдствіи времени, какъ добросовѣстный преподаватель русской словесности, онъ изучалъ историческіе акты, пѣсни, пословицы, все, что̀ сохранило на себѣ отпечатокъ творческой силы нашего слова. И всѣ эти разнообразные элементы слились въ одну живую и выразительную рѣчь, подъ вліяніемъ сильнаго природнаго дарованія и яснаго мозга. Наконецъ, самый процессъ работы былъ усвоенъ Введенскимъ гораздо раньше, чѣмъ онъ раскрылъ первую англійскую повѣсть; десять лѣтъ передъ тѣмъ онъ постоянно переводитъ съ французскаго и нѣмецкаго языка.

Методу своихъ переводовъ Введенскій самъ объяснилъ слѣдующимъ образомъ: „При художественномъ возсозданіи писателя даровитый переводчикъ прежде и главнѣе всего обращаетъ вниманіе на духъ этого писателя, сущность его идей и потомъ на соотвѣтствующій образъ этихъ идей. Собираясь переводить, вы должны вчитаться въ своего автора, вдуматься въ него, жить его идеями, мыслить его умомъ, чувствовать его сердцемъ и отказаться на это время отъ своего индивидуальнаго образа мыслей. Перенесите этого писателя подъ то небо, подъ которымъ вы дышете, и въ то общество, среди котораго вы развиваетесь, перенесите и предложите себѣ вопросъ: „какую-бы форму онъ сообщилъ своимъ идеямъ, если-бы жилъ и дѣйствовалъ при одинаковыхъ съ вами обстоятельствахъ?" Это дѣло не легкое и не каждый въ состояніи представить себѣ удовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ. („Отечеств. Зап.", 1851 г. О переводахъ Теккереева романа: „Vanity Fair").

При такихъ и только при такихъ условіяхъ можно вступать въ состязаніе съ классическими писателями Англіи; они въ высшей степени оригинальны. Введенскій не влачился раболѣпно за своими образцами; онъ пересоздавалъ ихъ и нерѣдко становился выше оригинала, такъ, напримѣръ, переводъ „Дженни Эйръ", самый мастерской изъ переводовъ Введенскаго, гораздо лучше подлинника. Каждая личность въ его пере-

водахъ удерживаетъ свои отличительныя черты. Начиная отъ Уэллера, лакея Пикквика, и до лорда Стефена, отъ гувернантки Ребекки и до индійскаго набоба Джозефа, каждый герой является передъ русскимъ читателемъ съ своей собственной физіономіей. Адвокатъ, свѣтскій повѣса, аристократъ и простолюдинъ, всѣ выражаются своимъ собственнымъ говоромъ, котораго самые неуловимые оттѣнки, легко ускользающіе отъ обыкновеннаго вниманія, ярко переданы Введенскимъ на русскій языкъ. Притомъ во всѣхъ патетическихъ сценахъ видимо участвовала душа самого переводчика.

Между прочимъ, критика „Современника" обвиняла сотрудника „Отечественныхъ Записокъ" за употребленіе простонародныхъ выраженій. Можетъ быть, это обвиненіе и имѣло бы какой-нибудь смыслъ, если бы тотъ-же самый „Современникъ" не повторялъ на своихъ листахъ переводовъ Введенскаго и не заимствовалъ изъ нихъ, безъ всякой церемоніи, цѣлыя тирады, принадлежащія собственной фантазіи переводчика, желавшаго спасти болѣе интересныя мѣста отъ литературной расправы. („Отечеств. Зап.", 1851 г.). Общественное мнѣніе судило иначе, и мы доселѣ не имѣемъ достойнаго преемника Введенскому.

Вотъ на чемъ прекратилась литературная дѣятельность Введенскаго. Конечно, отъ его силъ и пламенной любви къ наукѣ можно было ожидать бóльшаго. Но мы видѣли, при какихъ обстоятельствахъ происходило его первоначальное развитіе, какая ожесточенная борьба съ жизнію была его удѣломъ. И за всѣмъ тѣмъ онъ не отступилъ отъ своего благороднаго поприща; онъ сдѣлалъ все, чтó можетъ сдѣлать честный человѣкъ и даровитый писатель.

1857 г.

II

ПО ПОВОДУ ВОСКРЕСНЫХЪ ШКОЛЪ.

Есть двѣ главныя силы, которыя управляютъ ходомъ событій и общественныхъ реформъ—сила матеріальная и сила идеи. Первая господствуетъ во имя всѣхъ средствъ, предоставленныхъ человѣческому произволу, и отмѣчаетъ собой періодъ варварскаго состоянія; она требуетъ войны, убійства, хитрости самовластія и воздвигаетъ свое величіе на разрушеніи и несчастіи всего, что слабѣе или благороднѣе ея. Это — сила дикихъ обществъ, которыя обманомъ, разбоемъ и мечомъ пролагаютъ себѣ дорогу къ исторической жизни. Рабство и насиліе составляютъ непремѣнное условіе ихъ существованія. Въ иномъ свѣтѣ и съ инымъ характеромъ представляется сила идеи: торжество ея, чистое отъ крови и тиранніи тамъ, гдѣ она не встрѣчаетъ на пути своемъ противодѣйствія и упорства, совершается во имя убѣжденія ума и образованія сердца. Къ сожалѣнію, вліяніе идеи доселѣ остается случайнымъ явленіемъ. Замкнутая, въ кругу самого тѣснаго меньшинства, встрѣчаясь на каждомъ шагу съ препятствіями и отраженіемъ противной ей силы, она дѣйствуетъ, подобно лучу, преломленному въ темномъ тѣлѣ. Между тѣмъ, значеніе ея постепенно возрастаетъ; мы начинаемъ чувствовать, что степень умственнаго развитія въ народѣ опредѣляетъ степень его матеріальнаго счастія, соціальнаго прогресса, успѣха его реформъ и болѣе или менѣе быстраго движенія къ своей цѣли. Поэтому образованіе массъ становится однимъ изъ первостепенныхъ вопросовъ нашего времени. Правительства и народы одинаково убѣждаются, что нѣтъ другого болѣе дѣйствительнаго средства для мирнаго выхода изъ современнаго положенія европейскихъ обществъ. „Если хотите, сказалъ одинъ мыслитель, замѣнить господство пушки властію идеи, — образуйте народъ“.

Но съ чего-же начать это образованіе и какъ лучше распространить его между народами? Повидимому, нашъ вѣкъ такъ богатъ разнообраз-

ными органами просвѣщенія, что бо́льшаго желать трудно; на пользу его работаютъ типографскіе станки, телеграфическія проволоки, желѣзные рельсы, ученыя общества, постоянныя изысканія и открытія въ области искусствъ и знанія; но не надо забывать, что сила идеи отнюдь не обусловливается количествомъ свѣдѣній или счетомъ книгъ, а практическимъ смысломъ ея и направленіемъ. Притомъ, въ современномъ образованіи участвуютъ только извѣстныя сословія, для которыхъ оно, бо́льшею частію, составляетъ праздную роскошь, а самый многочисленный и дѣловой классъ, — милліоны земледѣльцевъ и фабричныхъ работниковъ стоятъ внѣ всякаго умственнаго движенія. Передъ ними ихъ-же собственными руками воздвигаются академіи, университеты; музеумы, но они не могутъ даже прочитать надписей на этихъ великолѣпныхъ зданіяхъ, гдѣ остались слѣды ихъ пота и труда. Вслѣдствіе такого односторонняго направленія, образованіе едва коснулось коренныхъ слоевъ человѣчества. Было время, когда серьезно думали, что образованіе необходимо только дворянину или чиновнику, а всѣ прочіе не имѣютъ въ немъ надобности; и доселѣ есть люди, готовые утверждать, что умѣнье читать и писать положительно безполезно и даже вредно извѣстнымъ лицамъ и при извѣстныхъ условіяхъ жизни. Для защитниковъ мрака, рутины и и смерти знаніе—горькій плодъ, не потому, что оно требуетъ усилій и жертвъ, а потому, что нарушаетъ ихъ животное спокойствіе и ту обычную апатію, въ которой они прожили свой сонливый и безплодный вѣкъ. Одни видятъ въ образованіи орудіе смутъ и революцій, какъ-будто для тишины необходимо невѣжество, которое, собственно, всегда было источникомъ внутреннихъ мятежей и кровопролитій; другіе заподозрили въ немъ врага нравственныхъ началъ, какъ-будто истинная нравственность неразлучна только съ предразсудкомъ и суевѣріемъ. Эти софизмы, отчасти прикрытые эгоистическими цѣлями, нѣтъ сомнѣнія, повредили человѣчеству гораздо больше, чѣмъ всѣ войны и эпидеміи вмѣстѣ; невѣжество загородило дорогу лучшимъ стремленіямъ людей; оно разрушило много великихъ предпріятій, плановъ—и долго водило человѣка, съ завязанными глазами, окольными путями лжи и несчастія. Но послѣ продолжительной борьбы тьма начинаетъ уступать свѣту, и опытъ нѣсколькихъ тысячъ лѣтъ убѣждаетъ насъ въ томъ, что знаніе есть дѣйствительная сила, вездѣ и всегда необходимая человѣку. Она особенно необходима тому, кто живетъ трудомъ своихъ рукъ или головы; она необходима пахарю, потому что обработка и плодородіе земли совершенствуются въ прямой пропорціи съ успѣхами образованной агрикультуры; она необходима ремесленнику, потому что знаніе облегчаетъ его трудъ и открываетъ ему новыя стези къ побѣдѣ надъ природой; она необходима каждому, потому что нѣтъ дѣятельности безъ знанія, а гдѣ нѣтъ дѣятельности, тамъ нѣтъ жизни.

Но возможно-ли образованіе, въ нашемъ школьномъ значеніи, для ре-

месленныхъ сословій, при современномъ устройствѣ общества? Есть ли какая-нибудь возможность человѣку, занятому десять часовъ въ сутки механической работой, къ вечеру усталому и часто голодному, ежеминутно встревоженному одной заботой — дневного обезпеченія себя и своего семейства, — есть ли ему возможность не только удѣлить часы досуга умственному занятію, но даже подумать о немъ? При такомъ положеніи вещей, вопросъ народнаго воспитанія, очевидно, переходитъ съ шаткой филантропической на твердую соціальную почву, и становится вопросомъ величайшаго интереса для законодателя, философа и публициста. До сихъ поръ его разсматривали только съ первой точки зрѣнія; въ такомъ видѣ его поняла Западная Европа и, въ числѣ другихъ благотворительныхъ мѣръ, употребила его, какъ палліативное средство для закрытія ранъ, слишкомъ глубоко разъѣдающихъ общественный организмъ. Но время показало, что народное воспитаніе не можетъ ограничиваться одной филантропіей или случайнымъ подаяніемъ его массамъ; оно составляетъ первую и главную обязанность того общества, которое не хочетъ прекратить движеніе своей исторіи и предоставить нищетѣ и невѣжеству милліоны людей, соединенныхъ съ нимъ, если не одинаковымъ соціальнымъ положеніемъ, то равными правами на благосостояніе и образованіе. Теоретически эта идея разработана и принята, но практическое примѣненіе ея еще далеко отъ результата. Какъ обезпечить время и средства для образованія рабочимъ классамъ? — вотъ проблемма, разрѣшеніе которой неизбѣжно соединяется съ общимъ переворотомъ промышленнаго міра, сословнаго антагонизма, организаціи труда и почти всѣхъ общественныхъ учрежденій. Доселѣ въ народномъ воспитаніи предвидится возможность распространенія въ массахъ одной *грамотности*, которой отчасти удовлетворяютъ воскресныя школы.

Грамотность есть первый шагъ, но самый важный шагъ къ умственному развитію. Само собою разумѣется, что и помимо ея есть много путей, ведущихъ къ образованію, — опытъ, наглядное знакомство съ природой, путешествія, бесѣда съ людьми умными и т. п., но всѣ эти средства такъ затруднительны для бѣднаго человѣка, такъ продолжительны въ своемъ процессѣ, что школа и книга пока остаются единственными лучшими проводниками знанія. Онѣ даютъ тотъ-же опытъ жизни, но сокращаютъ его изученіе, и въ системѣ предлагаютъ то, что̀ разбросано въ природѣ между безконечнымъ множествомъ предметовъ. Поэтому, учрежденіе воскресныхъ школъ для ремесленныхъ сословій, въ одно и то-же время, удовлетворяетъ и нравственнымъ и матеріальнымъ потребностямъ народной жизни: онѣ безплатно преподаютъ свои уроки самому бѣдному классу и открываютъ ему способы къ дальнѣйшему совершенству. Положимъ, что изъ пятидесяти воспитанниковъ сорокъ-девять остановятся на одномъ процессѣ чтенія, но одинъ пойдетъ дальше, усвоитъ науку въ полномъ ея развитіи, тогда и этотъ одинъ будетъ величайшимъ пріі-

обрѣтеніемъ для общества. Можетъ быть, въ головѣ этого одного созрѣетъ благотворная мысль, способная дать міру полезное открытіе. Не надо забывать, что мы, русскіе, бѣдны изобрѣтеніями, которыми такъ богатъ нашъ вѣкъ, — бѣдны не потому, чтобъ въ насъ было менѣе любознательности или дарованія, чѣмъ у другихъ народовъ, а потому, что на одну дѣйствующую силу приходятся сотни тысячъ дремлющихъ силъ; мы вообще бѣдны дѣятельностію, и опять не потому, чтобъ лѣнь или пустота жизни были въ нашемъ національномъ характерѣ, а потому, что всякому труду предшествуетъ умственная работа, и чѣмъ она полнѣй и разнообразнѣй, тѣмъ общество дѣлается болѣе занятымъ и довольнымъ. Кажется, пора перестать думать, что образованіе намъ нужно для разныхъ пристяжныхъ цѣлей — для званія чиновника, для отличія отъ крестьянина, для эполетъ офицера, для празднаго изведенія бумаги въ качествѣ литератора, нѣтъ, оно необходимо для подготовленія намъ человѣка и гражданина.

Приступая къ основанію народныхъ школъ, какъ новаго явленія въ нашей исторіи, мы должны помнить, что отъ первыхъ пріемовъ въ организаціи ихъ будетъ зависѣть послѣдующая судьба этихъ учрежденій. Мы кладемъ только сѣмя, а жатвой воспользуются грядущія поколѣнія. Три обстоятельства надо имѣть въ виду въ настоящую минуту: 1) общество должно какъ можно больше взять на себя труда; 2) ученію необходима свобода — какъ воздухъ нашему дыханію, и потому всякое стѣсненіе предварительными программами должно быть удалено; 3) намъ надо проникнуться одной великой мыслью, что такой трудъ, какъ народное образованіе, требуетъ и жертвъ и сочувствія, и потому постараемся поддержать его успѣхъ и съ честію вынести его тягость. Мы поздно начинаемъ учиться, но, по крайней мѣрѣ, будемъ-же учиться небезплодно.

Ноябрь, 1860 г.

О ЗНАЧЕНІИ УНИВЕРСИТЕТОВЪ ВЪ СИСТЕМѢ НАРОДНАГО ВОСПИТАНІЯ.

I.

Давно мы не встрѣчались съ такимъ интереснымъ и живымъ вопросомъ, какъ вопросъ о нашихъ университетахъ. Къ нимъ общественное мнѣніе всегда относилось съ полнымъ сочувствіемъ; на нихъ съ особеннымъ вниманіемъ смотрѣла литература, какъ на единственное звѣно, которое такъ или иначе связываетъ наши умственные интересы съ народною жизнію; отъ университетовъ мы привыкли ожидать лучшихъ дѣятелей и осуществленія нашихъ лучшихъ надеждъ; надежды не всегда сбывались, дѣйствительныя требованія часто улетучивались праздными мечтами, наука вытѣснялась рутиной и фразой, но тѣмъ не менѣе мы любили то юношество, которое стремилось къ высшему образованію, и тѣ учебныя заведенія, откуда оно выносило знаніе и трудъ, обращая ихъ въ общее достояніе жизни. Поэтому, когда заговорили о преобразованіи университетовъ, журналистика подала свой голосъ съ разныхъ сторонъ; откликаясь, обыкновенно, на современные запросы задними числами, на этотъ разъ она разсуждала подъ вліяніемъ событій; на ея мнѣнія отвѣчали самые факты... Въ этихъ мнѣніяхъ выразились противоположные взгляды и цѣли: одни заявили требованіе свободнаго ученія, открытаго всѣмъ, кто желаетъ получить его; другіе вступились за сохраненіе корпораціи, видя въ ней единственное спасеніе университетовъ; нѣкоторые остановились на полдорогѣ своихъ плановъ, а бо̀льшая часть хотѣла высказать что-то, но ничего дѣльнаго не сказала. Въ общемъ итогѣ оказалось такъ мало трезвыхъ и руководящихъ идей, что нельзя не удивляться бѣдности мысли и полнѣйшему отсутствію педагогическихъ соображеній, выработанныхъ литературнымъ мнѣніемъ.

Само собою разумѣется, что мы не можемъ обвинять въ этомъ одну литературу: ея роль скромная и подначальная; для нея есть темы, на которыхъ обрывается ея голосъ не потому, чтобъ нота была не подъ силу, а потому, что камертонъ беретъ невѣрно... Во всякомъ случаѣ, вопросъ былъ поставленъ косо и узко, такъ-что капитальная задача о значеніи и будущей судьбѣ нашихъ университетовъ была обращена въ мелкій и односторонній споръ о побочныхъ предметахъ, о которыхъ можно разсуждать только тогда, когда общая идея представлена удовлетворительно-ясно. Не беру на себя смѣлости поправить этотъ недостатокъ въ настоящей статьѣ, но я убѣжденъ, что университетское ученіе находится въ строгой логической связи съ общимъ ходомъ народной жизни и образованія; а потому считаю необходимымъ: 1) взглянуть на современное положеніе европейскихъ университетовъ, которые послужили образцемъ для устройства нашихъ; 2) показать ту внутреннюю связь, которая соединяетъ общее народное воспитаніе съ высшими учебными заведеніями, и, наконецъ, 3) означить условія, составляющія силу или безсиліе университетскаго ученія.

Нѣтъ сомнѣнія, что болѣе полнымъ и вѣрнымъ выраженіемъ умственной дѣятельности народа всегда были университеты. Историческая судьба ихъ неразрывно связывается со всѣми измѣненіями европейскаго образованія, со всѣми поворотами прогресса; цвѣтущее состояніе университетовъ совпадаетъ съ цвѣтущими эпохами націй, и обратно,—они вездѣ понижаются съ общимъ уровнемъ народной жизни; по нимъ, какъ по біенію пульса, можно судить о степени здоровья того или другого общества... Въ средніе вѣка, когда человѣкъ едва не задыхался подъ свинцовой атмосферой невѣжества, они, подобно дикому и нѣжному растенію, незамѣтно распускаются подъ монастырскими стѣнами, за оградами аббатствъ, по программѣ католическаго монаха. Религіозная пропаганда употребляетъ ихъ орудіемъ своихъ фанатическихъ цѣлей, и студентъ, вооруженный шпагой для защиты себя отъ разбойника-феодала, въ то-же время думаетъ, чувствуетъ и говоритъ, какъ воспитанникъ кельи. Положеніе его въ обществѣ одинокое, смѣшное, а въ школѣ чисто-пассивное. Отъ него требуютъ не развитія человѣческихъ силъ и приложенія ихъ къ дѣлу, а систематической тупости, и онъ безплодно потѣетъ и чахнетъ надъ схоластическимъ ученіемъ. Это ученіе, построенное на строгой дисциплинѣ и мертвой буквѣ, исключало изъ себя все, что̀ могло бы шевелить умъ и давать положительное знаніе: анализъ замѣнялся преданіемъ и индивидуальная свобода мысли — авторитетомъ. Между школой и дѣйствительной жизнью лежало то-же безмѣрное разстояніе, которымъ отдѣлялся монастырь отъ свѣтскаго за́мка; если въ жизни повсюду господствовалъ произволъ, то въ школѣ все подчинялось суровымъ ограниченіямъ; здѣсь предписывались особенныя правила для теологическихъ диспутовъ, для занятій и отдыха,

для пищи и одежды; здѣсь за всѣмъ подсматривалъ глазъ или подслушивало ухо наставника; здѣсь щедро раздавались самыя грубыя наказанія, какихъ не вынесъ бы равнодушно современный альпійскій оселъ, а средневѣковой школьникъ не только самъ терпѣлъ побои и оскорбленія, но потомъ вымѣщалъ ихъ и на другихъ. Само собою разумѣется, что для такой школы не могло найдтись много охотниковъ; чтобъ зазвать въ нее юношу, разлучить его съ семействомъ и привольнымъ воздухомъ полей, необходимо было дать ему особенныя привиллегіи, обѣщать доходное мѣсто аббата или почетное званіе епископа. И, только благодаря этимъ привиллегіямъ, сюда собирались бѣдные молодые люди, которые за долговременныя лишенія и грязную бурсацкую жизнь покупали себѣ насущный кусокъ хлѣба... Пока средневѣковая школа развивалась свободно, не стѣсняемая буллами римской церкви и продажными регламентами синдиковъ, она выработывала замѣчательныхъ людей, подобныхъ Жану Скотту и Абеляру; подъ видимымъ безпорядкомъ ея молодыхъ всходовъ, въ ней кипѣло много жизни, непонятной сухому доктринеру, но въ высшей степени плодотворной по своимъ послѣдствіямъ; ученіе, не разлученное съ общими интересами націи, еще не заглохшее подъ сословными разсчетами, инстинктивно уважалось даже варварской эпохой и собирало на площадяхъ и улицахъ множество любознательныхъ слушателей. Въ это время парижскій университетъ былъ главнымъ центромъ европейскаго преподаванія. „Отъ Сэнъ-Женевьевы до Нотръ-Дамъ, говоритъ историкъ схоластической философіи, по всѣмъ улицамъ, на обоихъ берегахъ Сены и на мостахъ, болѣе или менѣе извѣстные профессора открыли свободное преподаваніе и приглашали, какъ мірянъ, такъ и духовныхъ приходить слушать ихъ... Когда на послѣднихъ границахъ Британніи, въ отдаленныхъ углахъ Калабріи, Испаніи, Германіи и Польши, молодой церковникъ обнаруживалъ наклонность къ высшему ученію и обѣщалъ своимъ начальникамъ хорошаго логика, его тотчасъ посылали въ Парижъ. Онъ отправлялся одинъ, пѣшкомъ, переходя черезъ рѣки и горы, подъ защитой военныхъ людей и даже бродягъ, встрѣчаемыхъ имъ на дорогѣ. Монастырская келья давала ему ночлегъ, кровля хутора закрывала его отъ полуденнаго жара, и чтобы ласково быть принятымъ, стоило только назваться школьникомъ. Школьникъ вездѣ и всегда имѣлъ право убѣжища. (Philosophie Scolast. Hauréau, т. I. стр. 22 и 34). Не то было въ половинѣ XIII вѣка, когда папская власть подобрала къ своимъ рукамъ публичное преподаваніе во всѣхъ странахъ Европы; казалось бы, возраставшая потребность въ грамотныхъ людяхъ, отсутствіе библіотекъ, рѣдкость манускриптовъ, покупаемыхъ цѣной золота, недостатокъ учителей и самыхъ средствъ къ образованію, должны были поднять значеніе школы, а между тѣмъ она, сравнительно, теперь опустѣла; юноша, отдѣленный отъ остальнаго общества формой платья, манеръ и даже

языка, изъ предмета уваженія обратился въ предметъ сарказма и презрѣнія; отъ него отворачивался свѣтскій человѣкъ, какъ отъ пугала, и онъ искалъ удовлетворенія своимъ спертымъ страстямъ въ буйномъ разгулѣ и отвратительныхъ побоищахъ. Къ концу XV вѣка, католическіе университеты, наглухо запертые въ себѣ и не смѣвшіе идти дальше того, что̀ сказалъ „божественный Аристотель", достигли крайняго застоя: они старались остановить ходъ цивилизаціи и загасить возникавшій свѣтъ... Наука до того изсякла въ своихъ жизненныхъ источникахъ, что стояла въ рѣшительной оппозиціи всякому реформаціонному движенію; всѣ лучшія открытія и болѣе яркіе умы этого мрачнаго времени явились помимо школы. Они вышли изъ рядовъ народа и передали послѣдующимъ поколѣніямъ едва мерцавшій факелъ истины черезъ костры и тюрьмы папской инквизиціи. Когда намъ говорятъ о заслугахъ средневѣковыхъ школъ, мы невольно вспоминаемъ американскія плантаціи: пожалуй, и въ нихъ можно отыскать полезную сторону для негровъ... Нѣтъ спору, что старая схоластика распространила грамотность, сберегла отъ дикаго меча и пожара блѣдные остатки классической древности, но чего это стоило человѣчеству?

Реформа Лютера обновила средневѣковые университеты. Разсѣявъ тьму католической ночи, она открыла въ область религіи доступъ анализу и критикѣ. Работа мысли началась съ отрицанія и разрушенія, не приготовивъ себѣ другой, болѣе твердой почвы: преданію былъ противопоставленъ здравый смыслъ; мечтамъ и призракамъ — изученіе природы, аскетизму — живые вопросы общества. Здѣсь мы должны объяснить особенную черту протестантскаго движенія. Замкнувшись въ свои отвлеченныя темы, въ холодные логическіе выводы, оно съ первой-же минуты разошлось съ народными интересами, и тѣмъ уничтожило свою силу и ослабило результаты. Развязавъ совѣсть людей, оно не хотѣло или, лучше, не съумѣло развязать имъ руки; мы даже думаемъ, что оно еще крѣпче затянуло тотъ узелъ, который держало католическое духовенство въ своихъ рукахъ, но затянуло его на противоположномъ концѣ цѣпи... Ни папство, ни реформація не щадили народъ, вооружая попеременно одну націю противъ другой. Избіеніе крестьянъ и мирныхъ жителей городовъ сопровождалось такими циническими тріумфами, такимъ ожесточеннымъ людоѣдствомъ, что Европа, послѣ тридцатилѣтней войны, потеряла около трети народонаселенія и изъ конца въ конецъ была засыпана пепломъ и развалинами. „Какъ скоро лютеранизмъ, говоритъ Сейнгерле, — почувствовалъ себя твердымъ на остаткахъ римской іерархіи, онъ не замедлилъ оказаться узкимъ, педантическимъ и строгимъ. Едва терпимый, онъ самъ сдѣлался невѣротерпимымъ. За поколѣніемъ героевъ послѣдовало поколѣніе мелкихъ, завистливыхъ, честолюбивыхъ и подлыхъ педантовъ, которые задушили свободный порывъ мысли и съ рабской угодливостью продали принципаламъ свободу со-

вѣсти, купленную цѣной крови столькихъ мучениковъ. Надежда на возрожденіе науки изъ реформаціоннаго движенія погибла еще болѣе, чѣмъ на сто лѣтъ; и протестантизмъ, измѣнившій своему ученію, вмѣсто того, чтобы служить эманципаціи отдѣльной личности, превратился въ презрѣнное орудіе политики". (Les Universités Allemandes. Revue German. Juillet. 1861). Такъ изъ бѣдной виттембергской капеллы драма перешла въ королевскіе дворцы и изъ ничтожныхъ десяти богословскихъ тезисовъ сдѣлалась задачей всѣхъ правительствъ. Съ этого времени судьбы Европы раздѣлились между церковью и государствомъ. Воспитаніе юношества, на которомъ католическое духовенство построило теперь свое политическое могущество, съ другой стороны вызвало равномѣрную реакцію и было взято подъ непосредственное наблюденіе свѣтской власти. Цѣли той и другой партіи были различныя, но результаты совершенно одинаковы. И папство и королевство имѣло въ виду спеціальныя соображенія, часто совершенно противныя истинному образованію. Вмѣсто монаха и церковника стали воспитывать солдата, юриста, матроса и т. д., но развитіе *человѣка* еще далеко не было понято такъ, какъ понимаютъ его теперь... Клерикальная система осталась преобладающею на югѣ Европы до послѣднихъ дней. Въ Италіи и Испаніи, въ продолженіи трехъ вѣковъ, она находилась подъ вліяніемъ іезуитовъ, оставившихъ по себѣ на пиренейскомъ и апенинскомъ полуостровѣ болѣе гибельные слѣды, чѣмъ всякое моровое повѣтріе. Римскій дворъ постоянно стремился къ тому, чтобы овладѣть иниціативой воспитанія подъ видомъ охраненія католическихъ интересовъ. Такъ еще въ 1860 году папскій конкордатъ хотѣлъ ввѣрить высшій надзоръ за ученіемъ фрейбургскаго университета епископу; баденское правительство согласилось поддержать эту мѣру, и только энергическая оппозиція профессоровъ и гражданъ отклонила своекорыстное намѣреніе клерикаловъ. Та-же система, но въ союзѣ съ бюрократическими планами, господствуетъ въ Австріи и Франціи. Въ Австріи она простирается даже на запрещеніе національнаго языка въ славянскихъ школахъ. Къ чему-же должна привести такая система? На это отвѣчаетъ намъ одинъ изъ современныхъ писателей такъ: „не удивляйтесь тому, что у насъ нѣтъ въ общественномъ обращеніи ни сильныхъ характеровъ, ни благородныхъ идей. Откуда ихъ взять, когда воспитаніе французскаго юношества стоитъ почти на одной степени съ воспитаніемъ австрійскихъ драгуновъ, — когда ни въ семействѣ, ни въ обществѣ нѣтъ ни одного серьезнаго побужденія къ образованію честнаго и способнаго человѣка, когда успѣхъ въ жизни вовсе не зависитъ отъ степени знанія и добросовѣстной дѣятельности; а отъ болѣе или менѣе ловкой интриги, подкупа деньгами и университетскаго диплома, выдаваемаго даже тѣмъ, кто никогда не видѣлъ профессорской каѳедры. Для хорошо образованныхъ людей необходимы и хорошія соціальныя сферы, гдѣ ихъ трудъ и силы могли бы найдти себѣ достой-

ное примѣненіе. Я нисколько не удивляюсь отсутствію смѣлыхъ, искреннихъ и благородныхъ характеровъ нашей эпохи, но удивляюсь тому, какъ при такомъ воспитаніи мы еще не всѣ обратились въ *черныхъ людей* ордена Лойолы".

На германскихъ университетахъ отразилась другая игра правительственныхъ взглядовъ съ крошечными мѣрками политики Меттерниха; — — — даже университетскія корпораціи, какъ послѣдняя средневѣковая форма, уцѣлѣвшая единственно потому, что протестантизмъ не могъ слить науку и жизнь въ одну стройную силу, даже корпораціи, повидимому, благопріятныя сонливой неподвижности Австріи, были заподозрѣны и кой-гдѣ уничтожены. Но изъ-за чего-же всѣ эти опасенія? Изъ-за того, что умственнаго капитала, собраннаго въ нѣмецкихъ университетахъ, оказалось гораздо больше, чѣмъ сколько было нужно его для самого общества... Онъ отяготилъ собой страну, не имѣвшую великихъ общественныхъ началъ, которые могли бы пробудить умственную дѣятельность и осмыслить ее практическими результатами. Такая разладица между теоретическимъ образованіемъ и его жизненнымъ приложеніемъ, обыкновенно, сопровождается явленіями въ родѣ тѣхъ, какія мы подмѣчаемъ на плодахъ, воспитанныхъ въ парникахъ: эти плоды, созрѣвшіе въ душной атмосферѣ, отличаются всѣми наружными признаками натуральнаго растенія, но не имѣютъ ни вкуса, ни сочности его. И нѣмецкіе университеты, какъ подновленные готическіе соборы, одной половиной принадлежатъ старому времени, а другой—новому: въ нихъ борются двѣ противоположныя стихіи, — одна, заимствованная изъ односторонней и мелкой бюргерской жизни, другая — изъ чистыхъ и глубокихъ родниковъ идеи. Они сохранили свое Lehrfreiheit (право свободно учить) и Lernfreiheit (право свободно учиться), и въ то-же время удержали свою уродливую корпорацію; они обобщили элементарныя знанія между всѣми слоями народа, возвысили семейную нравственность, но, оторвавъ человѣческую мысль отъ положительной почвы, унесли ее въ область сновидѣній и лѣниваго идеализма; изъ ученаго они выработали кабинетнаго Донъ-Кихота, борющагося съ вѣтряными мельницами, и въ лицѣ стараго бурша сберегли нѣкоторыя черты средневѣковаго рыцаря. Поэтому роль ихъ въ развитіи европейской образованности совершенно ничтожная, хотя на первый взглядъ и озадачиваетъ своимъ докторальнымъ тономъ. Въ то время, когда Европа вводила свои умственные матеріалы въ насущную жизнь народа и обогащала его замѣчательными техническими открытіями, германскіе университеты занимались пустыми философскими преніями и раздачей докторскихъ дипломовъ даже тѣмъ, кто никогда не слышалъ имени Лессинга или Канта. Причина этого ложнаго направленія, конечно, заключается не въ университетахъ, а въ самомъ соціальномъ устройствѣ Германіи. Школа, каковы бы ни были ея достоинства, никогда не можетъ измѣнить или переработать общественной

жизни; напротивъ, она лежитъ всѣми своими корнями въ окружающей дѣйствительной обстановкѣ и изъ нея почерпаетъ свою силу и значеніе.

Говоря о педагогическихъ системахъ протестантской Европы, мы должны исключить изъ нея Англію. Постараемся разъяснить это мнѣніе. Въ Англіи народное воспитаніе сложилось помимо правительственныхъ регламентацій и до 1832 года [1]) не имѣло ничего общаго съ ними. Здѣсь общественная иниціатива всегда шла впереди, и только благодаря ей, элементарное образованіе рабочихъ сословій достигло, въ послѣднее время, значительныхъ результатовъ. Въ 1803 году въ Англіи и Валлисѣ насчитывали 524,245 школьниковъ, т. е. грамотное населеніе относилось къ безграмотному, какъ 1 : 17½. Черезъ пятьдесятъ-пять лѣтъ эта цифра возросла почти въ пять разъ болѣе и въ 1858 году, комиссія народнаго воспитанія, представляя общій отчетъ своихъ статистическихъ изслѣдованій, показала число учащихся до 2,535, 462, т. е. въ пропорціи 1 : 7 всего народонаселенія. (Popular Education in England, by Herb. Skeats. 1861. London. Стр. 3—4). Изъ этого факта можно видѣть, что послѣ Америки и Швейцаріи въ первой половинѣ XIX вѣка Англія представляетъ сравнительно лучшіе результаты школьнаго обученія. Развитіе его совершалось двумя путями: во-первыхъ, путемъ филантропическихъ учрежденій, поднятыхъ теоріей Мальтуса, испугавшаго Великобританію предсказаніемъ голодной смерти трудящимся сословіямъ, во-вторыхъ—путемъ ремесленныхъ ассоціацій, наконецъ, догадавшихся, что образованный работникъ гораздо выгоднѣе необразованнаго, особенно при томъ направленіи промышленнаго труда, какое приняла современная Англія. Но величайшее содѣйствіе этому дѣлу оказалъ Робертъ Оуенъ. Въ продолженіи сорока лѣтъ онъ доказывалъ и словомъ и примѣромъ, что безъ раціональнаго воспитанія массъ—невозможны общественныя улучшенія, что только радикальнымъ преобразованіемъ школы можно выйдти изъ того заколдованнаго круга, который Оуенъ называлъ „лазаретомъ больныхъ". Онъ первый провозгласилъ принципъ невмѣняемости преступленія отдѣльному лицу, поглощенному общественной средой, въ которой копошится тьма разныхъ гадовъ, дающихъ тонъ и направленіе нашей жизни. Ученіе Оуена, вмѣстѣ съ его славнымъ Ланаркомъ, пало, потому-что борьба одного геніальнаго человѣка съ цѣлымъ лазаретомъ больныхъ превышала силы благороднаго защитника

---

[1]) Съ этого времени правительство начало принимать участіе въ воспитаніи бѣдныхъ классовъ, вслѣдствіе того убѣжденія, что безъ его содѣйствія третья часть народонаселенія не имѣетъ никакой возможности получить элементарное образованіе. Это содѣйствіе, постепенно возростая, доселѣ ограничивается денежнымъ пособіемъ (2.000,000 ф. опредѣляется на распространеніе и содержаніе народныхъ школъ) и чисто-внѣшнимъ наблюденіемъ за воспитанниками и преподавателями. Вся-же нравственная сторона педагогической дѣятельности попрежнему остается въ свободномъ распоряженіи общества.

народныхъ правъ. За всѣмъ тѣмъ голосъ его не замеръ въ пустынѣ; извѣстная манчестерская лига подхватила и распространила его въ народѣ посредствомъ своихъ многочисленныхъ митинговъ.

Такимъ образомъ, сознаніе необходимости воспитывать народъ привилось въ Англіи; изъ вышеприведенной цифры ясно, что прогрессъ элементарнаго ученія идетъ довольно быстро, общественное мнѣніе поддерживаетъ его энергично. Но иллюзіи изчезаютъ... Изъ 24,563 публичныхъ школъ, всевозможныхъ подраздѣленій, 22,647 учебныхъ заведеній находятся на содержаніи и подъ руководствомъ религіозныхъ сектъ Англіи, такъ-что вполнѣ независимыхъ школъ не болѣе полуторы тысячи, въ которыхъ считается до 80,000 питомцевъ. Точно въ такомъ-же отношеніи стоятъ между собою и предметы ученія: чисто-библейское образованіе сравнительно, напримѣръ, съ преподаваніемъ первыхъ началъ физики находится въ пропорціи 63 : 1. Эта квакерская школа совсѣмъ не соотвѣтствуетъ тому воспитанію, которое необходимо мальчику въ жизни; ему необходимо хорошее физическое здоровье, знаніе ариѳметики и счетоводства, пониманіе того или другого техническаго мастерства, а ему набиваютъ голову теологическими тезисами. Поэтому *общественное* воспитаніе Англіи, которымъ восторгаются наши рутинеры, одно изъ самыхъ узкихъ и одностороннихъ воспитаній бѣдныхъ классовъ, которыхъ только одно образованіе и можетъ спасти отъ ремесла вора, мошенника и уличнаго бродяги.

Что же касается другихъ, болѣе достаточныхъ сословій Англіи, они получаютъ образованіе въ частныхъ пансіонахъ и коллегіяхъ, гдѣ дороговизна платы и то же клерикальное вліяніе парализируютъ хорошія стороны ученія. Самый же цвѣтъ великобританскаго общества дрессируется въ университетахъ, сохранившихъ и духъ и наружную обстановку почти въ томъ видѣ, какъ ихъ описываютъ намъ въ XVI вѣкѣ. Эти привиллегированные центры англійской науки напоминаютъ тѣ феодальные замки, вокругъ которыхъ раскидываются цвѣтущія долины, виднѣется зелень, играетъ веселая и довольная жизнь, а они стоятъ себѣ — ветхіе, мрачные и полуразвалившіеся остатки давно ненужной старины. Ихъ академическое устройство, ихъ три факультета — искусствъ, законовѣдѣнія, медицины, ихъ келейное инспекторство, сенатъ и переклички, ихъ классическая мертвечина доселѣ остаются въ неприкосновенномъ схоластическомъ чинѣ. Въ нихъ все есть — и богатое содержаніе, и роскошныя награды, и превосходные профессора, и даровитые студенты, но одного нѣтъ — свободы ученія, и Англія отъ своихъ университетовъ получаетъ гораздо меньше образованнаго и дѣлового юношества, чѣмъ отъ бѣдныхъ ремесленныхъ школъ.

II.

Въ предъидущемъ очеркѣ мы старались навести читателя на ту основную мысль, что народное воспитаніе вездѣ болѣе или менѣе подчиняется постороннему вліянію, чуждому его главной цѣли; эпоха свободнаго и органическаго развитія для него еще не настала. Кромѣ того, намъ хотѣлось показать, что между университетами и общимъ направленіемъ народной жизни вездѣ есть внутренняя необходимая связь, такъ-что мечтать о преобразованіи первыхъ помимо второй — значитъ строить ниневійскіе сады на воздухѣ; никогда высшее учебное заведеніе не можетъ быть хорошо, если дурны низшія школы, если общество питаетъ его не чистыми растительными, но испорченными соками. Нѣтъ сомнѣнія, что отдѣльныя личности, при всякихъ условіяхъ, могутъ являться въ полномъ блескѣ своихъ силъ, но эти силы не затерялись бы и въ черноземной почвѣ невѣжества, если бы только благопріятныя обстоятельства вызвали ихъ къ какой-нибудь дѣятельности. Поэтому, прежде чѣмъ мы станемъ говорить о значеніи университетовъ въ наше время — скажемъ о значеніи воспитанія вообще, объ отношеніи его къ обществу и къ отдѣльному лицу.

Отношенія человѣка къ природѣ гораздо проще и менѣе искажены, чѣмъ отношенія къ обществу, и потому они съ каждымъ днемъ выясняются лучше. Мы перестаемъ бояться природы, какъ подросшія дѣти перестаютъ дрожать и прижиматься къ нянькѣ при словѣ *бука*, *оборотень* и тому подобнаго вздора; по мѣрѣ того, какъ мы ощупываемъ, разлагаемъ, сравниваемъ и изучаемъ природу, она теряетъ для насъ тотъ мистическій характеръ, который въ младенческія эпохи облекается въ самыя причудливыя формы привидѣній, добрыхъ и злыхъ духовъ: вся эта чепуха укладывается въ нашей головѣ, какъ тѣни въ закрытой камеръ-обскурѣ; если пропустить въ нее немножко свѣту, тѣни исчезаютъ, и дѣйствительныя явленія объясняются очень просто... Въ развитіи народа это — періодъ сгруппировки фактовъ, анализа или знанія. Но человѣкъ не останавливается на одномъ изученіи естественныхъ явленій, онъ инстинктивно идетъ дальше — примѣняетъ ихъ къ своей жизни, желая какъ можно больше обставить ее различными удобствами и наслажденіями. Сначала, когда онъ глупъ и дикъ, этотъ трудъ обходится ему ужасно дорого, такъ-что онъ буквально ѣстъ хлѣбъ въ потѣ лица своего; тамъ, гдѣ впослѣдствіи онъ тратитъ въ десять разъ менѣе силъ и времени, теперь онъ достигаетъ той-же цѣли, кряхтя и насилуя себя до безобразія: нужно-ли ему защитить наготу своего тѣла отъ холода, онъ долженъ отыскать дерево, сломить себѣ дубину, убить ею звѣря, содрать съ него кожу, высушить ее и потомъ одѣться въ нее; нужно-ли

ему утолить голодъ своей семьи, онъ долженъ осушить почву, взрыть на ней борозды, бросить сѣмя, и, дождавшись жатвы, срѣзать зрѣлый колосъ, очистить его и превратить въ муку: за неимѣніемъ мельницы онъ принужденъ перетирать зерно между камнями, но вотъ мало-по-малу этотъ парія окружающихъ его нуждъ догадывается, что вмѣсто собственныхъ рукъ можно употребить силу вѣтра или воды, и онъ добываетъ ту-же муку и отъ того-же камня съ бо́льшей экономіей и меньшими усиліями. Точно также сокращаются для него пространства: теперь давленіе пара на ось локомотива переноситъ его въ одни сутки гораздо дальше, чѣмъ прежде онъ могъ пройдти въ десять или пятнадцать дней. Такимъ образомъ, начиная страдной и мучительной борьбой съ внѣшними препятствіями, человѣкъ оканчиваетъ торжественной побѣдой: превращаетъ лѣса и болота въ великолѣпные сады, на мѣстѣ юрты или землянки строитъ теплые и изящные дома, одѣвается не только удобно, но и красиво, ѣстъ чистую и вкусную пищу, проводитъ желѣзные рельсы, телеграфическія нити, пускаетъ громадные корабли во всѣ концы свѣта, измѣняетъ атмосферу, флору и до безконечности можетъ продолжать свои завоеванія, въ предѣлахъ данныхъ ему средствъ. Но чѣмъ-же онъ совершаетъ эту побѣду надъ природой? Разумѣется, *умомъ*: потому-что у человѣка, сравнительно съ другими животными, такъ мало физическихъ средствъ, что онъ бѣднѣе и безпомощнѣе комара, если отнять у него извѣстную долю мозга; умомъ онъ дошелъ до того, что силу вѣтра приложилъ къ устройству мельницы; умомъ онъ обратилъ паръ въ величайшаго соціальнаго реформатора, умомъ онъ открылъ множество такихъ законовъ природы, которые служатъ ему на пользу по первому его желанію. Слѣдовательно, умъ — сила и притомъ главная сила человѣка. Но всякая сила требуетъ развитія, т. е. полной и разносторонней разработки всѣхъ средствъ, какими только она можетъ располагать въ своей дѣятельности. Для развитія умственныхъ способностей единственнымъ орудіемъ служитъ *знаніе*, въ обширномъ смыслѣ этого слова. Сюда относится вся сумма наблюденій, опытовъ, впечатлѣній, пережитыхъ нами самими или полученныхъ отъ другихъ. Самый выборъ впечатлѣній, обыкновенно, отъ насъ не зависитъ, особенно въ первые годы дѣтства; мы не знаемъ: при какой обстановкѣ намъ суждено родиться, въ курной и полутемной избѣ или въ чистой и опрятной комнатѣ; мы не знаемъ, какая грудь кормилицы будетъ кормить насъ — исхудалая и черствая или здоровая и нѣжная; мы не знаемъ той пѣсни, которая въ первый разъ дойдетъ до нашего слуха, какое небо — голубое или сѣрое — остановитъ на себѣ нашъ взглядъ, какія домашнія сцены — мира и любви или стоновъ и грубой брани потрясутъ наши нервы: все это не зависитъ отъ насъ, но въ высшей степени важно въ первоначальномъ складѣ нашего организма. Физіологически нельзя допустить, чтобы дитя, рожденное въ смрадной лачугѣ, полуголодное, полуодѣтое, забитое и оскорбленное, впослѣдствіи могло также

правильно развиваться, какъ дитя, воспитанное среди всѣхъ домашнихъ удобствъ, подъ вліяніемъ умной и любящей матери. Отчего, напримѣръ, русскій крестьянскій мальчикъ равнодушно смотритъ на страданія животныхъ и, играя, мучитъ ихъ, и отчего швейцарское дитя отвернется отъ подобной сцены? Оттого, что младенчество перваго формируется среди грубаго семейнаго деспотизма, неизвѣстнаго второму. Отчего чувству итальянца свойственна грація и гармонія, которая невольно проглядываетъ въ его голосѣ, движеніяхъ и походкѣ, и отчего этого чувства такъ мало въ жителѣ сѣвера? Оттого, что перваго окружаетъ пластическая природа, а втораго—суровый видъ неба и земли. Всѣ эти обстоятельства и милліоны оттѣнковъ ихъ незамѣтно дѣйствуютъ на воспитаніе человѣка, образуютъ его внутреннюю и внѣшнюю физіономію; къ сожалѣнію, современная педагогика упускаетъ ихъ изъ виду: она занимается преимущественно *душой*, а тѣло удостоиваетъ своего вниманія только въ томъ случаѣ, когда къ нему надо приложить розгу или палку; пора убѣдиться, что безъ надлежащихъ гигіеническихъ условій нечего и думать о хорошемъ воспитаніи.

Послѣ *непосредственныхъ* впечатлѣній, которыя кладетъ на насъ окружающая жизнь, какъ на бѣлую мраморную доску, безъ всякаго участія и желанія съ нашей стороны, начинается самостоятельная работа мысли. Раннее или позднее пробужденіе ея обусловливается врожденными способностями—устройствомъ нервной системы или размѣрами той органической силы, которою пользуется каждая отдѣльная личность. Нѣтъ сомнѣнія, что величина этой силы бываетъ различная,—у одного она составляетъ то, что̀ мы называемъ геніемъ, у другого — умомъ, у третьяго—умишкомъ и т. д. Все это—ни что иное, какъ видоизмѣненія одного и того-же жизненнаго начала, которое мы по привычкѣ схоластическихъ понятій, дробимъ на нѣсколько отдѣльныхъ способностей и подводимъ ихъ подъ извѣстныя психическія категоріи, тогда-какъ на самомъ дѣлѣ они не представляютъ ничего осязательно-раздѣльнаго, а только проявляются различно. Само собою разумѣется, что для всякой индивидуальной силы есть своя форма развитія, далѣе которой идти невозможно; доходя до этой формы, мы истрачиваемъ весь запасъ внутренняго содержанія и останавливаемся на ней инстинктивно Въ этомъ заключается вся разница индивидуальныхъ развитій и дѣятельностей, потому что „человѣкъ можетъ дѣйствовать, какъ справедливо замѣтилъ Бэконъ, только сообразно степени своего знанія“. Знаніе помогаетъ намъ выйдти изъ подъ рабской зависимости отъ природы и ея непріязненныхъ вліяній; знаніе даетъ намъ возможность освободиться отъ тѣхъ призраковъ, которыми наполняетъ нашу голову невѣжество; знаніе эманципируетъ наши руки отъ неблагодарнаго труда и мысль отъ внѣшнихъ ея стѣсненій; внѣ знанія, говоритъ современный человѣкъ,—нѣтъ для насъ спасенія — и это справедливо. Слѣдовательно,

умственная эманципація отдѣльной личности есть высшая человѣческая цѣль, къ которой мы должны стремиться.

Но мы живемъ и дѣйствуемъ въ обществѣ и, какъ общественныя силы, становимся въ новыя отношенія къ окружающему насъ міру. Здѣсь наша роль нѣсколько измѣняется: природа ничѣмъ не обязана намъ, и мы ничего не вправѣ требовать отъ нея помимо нашихъ собственныхъ средствъ; мы пользуемся ея богатствами только по мѣрѣ изученія и обладанія ими; мы наслаждаемся ея сокровищами, потому что у насъ есть способность наслаждаться; мы овладѣваемъ ея силами, пересоздаемъ ея матеріалы, боремся съ ея непріязненными вліяніями и побѣждаемъ ихъ; мы ежеминутно подчиняемъ ее своей волѣ, по мѣрѣ нашихъ потребностей; однимъ словомъ, природа составляетъ для насъ огромную лабораторію, гдѣ свободно можетъ развиваться творческая мысль человѣка. Въ другихъ отношеніяхъ находимся мы къ обществу: здѣсь мы вращаемся въ одномъ кругу съ милліонами равныхъ силъ, передъ которыми отдѣльная личность слишкомъ слаба, чтобы управлять ими и слишкомъ ограничена, чтобы дѣйствовать на нихъ. Поэтому, въ строгомъ смыслѣ, она не можетъ отвѣчать ни за поступки всего общества, ни за свои собственные; въ первомъ случаѣ общественная дѣятельность поглощаетъ индивидуальныя стремленія, располагая ими по своему усмотрѣнію; во второмъ, свобода отдѣльнаго лица постоянно встрѣчается съ условіями и требованіями массы и невольно уступаетъ имъ. Никто не станетъ спорить, что общественное мнѣніе лучше китайскаго произвола, но не надо безусловно увлекаться и его достоинствами; оно также можетъ быть тираномъ, преслѣдующимъ насъ въ самыхъ сокровенныхъ помыслахъ и чувствахъ; ни одно дѣйствіе, ни одно намѣреніе не можетъ ускользнуть отъ его контроля; изъ окна сосѣда, на улицѣ и въ собраніи, въ театрѣ и въ церкви оно будетъ повѣрять насъ и клеймить своими приговорами, въ случаѣ противорѣчія его принятымъ правиламъ. Такъ, обыкновенно, и бываетъ, когда оно сосредоточивается въ узкой сферѣ партіи и служитъ частнымъ ея интересамъ... Какъ бы то ни было, но если общество присвоиваетъ себѣ извѣстныя права надъ отдѣльной личностію, то оно должно принять на себя и извѣстныя обязанности. При современномъ общественномъ порядкѣ, главная его обязанность состоитъ въ томъ, чтобы облегчить средства къ умственному развитію каждаго изъ своихъ членовъ. Если оно присвоиваетъ себѣ власть наказывать преступника, то пусть доставитъ ему и способы избѣжать преступленія, предварительно избавивъ его отъ нищеты и невѣжества, какъ обильнаго источника всевозможныхъ злодѣяній; если оно рѣшается предписывать нравственные законы жизни, то пусть прежде доведетъ до сознанія ихъ; если оно пользуется моими силами, то пусть и развиваетъ ихъ. И въ этомъ—его прямая выгода: народная жизнь тѣмъ скорѣе совершенствуется, чѣмъ

больше въ ней образованныхъ дѣятелей и чѣмъ разнообразнѣе ихъ способности. Представимъ, что среди шестидесяти милліоновъ людей будутъ работать двѣсти или триста умовъ, подобныхъ Ньютону, Франклину, Вашингтону и Гумбольдту: такое общество, конечно, сдѣлаетъ больше, чѣмъ то, въ которомъ не найдется ни одного живого и дѣятельнаго члена. Притомъ для прогресса необходимо разнобразіе силъ и и труда. Гёте сказалъ: „чѣмъ слабѣе существо, тѣмъ отдѣльныя его части болѣе походятъ другъ на друга и тѣмъ больше онѣ имѣютъ сходства съ цѣлымъ; напротивъ, чѣмъ совершеннѣе существо, тѣмъ больше различія въ его органахъ". То-же самое мы замѣчаемъ и въ человѣческихъ обществахъ: дикія племена отличаются поразительнымъ сходствомъ индивидуальныхъ типовъ; Готтентотъ, взятый наудачу, повторяетъ собою милліоны другихъ своихъ ближнихъ; характеристика одного Могикана будетъ характеристикою всѣхъ остальныхъ. Эта безличность показываетъ низшую ступень общественнаго развитія, близкаго къ животному состоянію. Напротивъ, чѣмъ яснѣе выступаетъ историческая физіономія народа, тѣмъ рѣзче обозначается его оригинальность.

Не мѣшаетъ здѣсь замѣтить и то, что самая общественность есть плодъ индивидуальнаго развитія личности. Для соединенія людей въ одинъ стройный и крѣпкій союзъ необходимы извѣстные интересы, около которыхъ группировалась бы общинная жизнь; чѣмъ выше и шире эти интересы, тѣмъ сильнѣе они притягиваютъ къ себѣ наши желанія и страсти. Въ этомъ отношеніи люди походятъ на химическія тѣла: они тѣмъ лучше соединяются въ одно цѣлое, чѣмъ разнообразнѣе ихъ стремленія и взаимныя потребности. Отнимите у человѣка способность чувствовать необходимость соціальной связи съ другими—подобными ему существами, и онъ обратился бы въ жалкаго одиночнаго скота; но чтобы пробудить въ немъ эту способность, недостаточно собрать огромную кучу людей въ одну гражданскую сферу, заставить ихъ говорить однимъ языкомъ, вѣрить одной вѣрой, считать своимъ отечествомъ Францію или Турцію, — нѣтъ, этого мало; такими свойствами можетъ отличаться всякая полукочевая орда, не имѣющая прочной общественной связи. Въ основаніи соціальныхъ инстинктовъ лежитъ глубокое сознаніе того или другого принципа, равно полезнаго всѣмъ, такъ-что каждый индивидуумъ стремится къ нему настолько, насколько сознаетъ его выгоду и чувствуетъ себя безопаснымъ и свободнымъ подъ этой защитой. Безъ этого чувства нѣтъ побужденія къ ассоціаціи и нѣтъ надобности стѣснять свою личную волю. Идти врознь, но независимо, гораздо удобнѣе, чѣмъ напрасно давить себя въ табунѣ.

Но что-же содѣйствуетъ индивидуальному развитію? Разумѣется, образованіе. Оно открываетъ намъ новыя силы, формируетъ ихъ для различныхъ направленій и цѣлей, видоизмѣняетъ нашу дѣятельность и указываетъ ей практическія примѣненія. Поэтому каждое общество, въ

видахъ собственной пользы и самосохраненія, обязано воспитать своего члена, т. е. доставить ему средства быть не мертвой, а живой частью своего организма.

Есть и другая, не менѣе важная черта въ соціальномъ прогрессѣ, это - равномѣрное распредѣленіе умственнаго запаса между всѣми сословіями безъ исключенія; подобно правильному кругообращенію крови въ нашемъ тѣлѣ, образованіе должно проходить по всѣмъ общественнымъ органамъ, сообщая имъ движеніе и жизнь. Если же оно приливаетъ къ одной части народа и не касается другой, тогда общество представляетъ подобіе трупа съ горячей головой и холодными ногами. Такое образованіе положительно вредно... Притомъ, въ экономическомъ отношеніи образованіе находится въ прямой пропорціи съ дѣятельностію и успѣхами ея. Для фабричнаго работника и земледѣльца знаніе — сила, та производительная сила, безъ которой они осуждены работать наравнѣ съ лошадью и быкомъ; у современнаго пролетарія нѣтъ другого источника къ обезпеченію его существованія, кромѣ умственнаго труда. Если мы сравнимъ богатаго собственника съ бѣднякомъ, если взвѣсимъ вопросъ: кому изъ нихъ необходимѣй образованіе, то неоспоримо отдадимъ всѣ преимущества послѣднему. Капиталистъ, обезпеченный въ своихъ нуждахъ, часто не знающій ни труда, ни желанія трудиться, спокойно можетъ остаться въ положеніи недоросля; но ремесленникъ, достающій себѣ насущный кусокъ хлѣба поденной работой, долженъ подумать о своемъ образованіи, потому-что оно облегчаетъ его физическій трудъ, сокращаетъ время труда — и ставитъ его выше той машины, у которой онъ не рѣдко проводитъ цѣлую жизнь. Наконецъ, только воспитаніемъ массъ можно очистить удушливую атмосферу современной цивилизаціи, которая подъ наружнымъ блистательнымъ лоскомъ скрываетъ необозримую пропасть лжи, предразсудковъ и мрачныхъ заблужденій, во всѣхъ—высшихъ и нисшихъ слояхъ человѣчества. Міръ полонъ суевѣрія. Куда ни обратимъ взглядъ, вездѣ видимъ, что массы народа живутъ исключительно воображеніемъ и самыми дикими понятіями. Изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ эти понятія передаются на-вѣру и усвоиваются безъ всякой логической повѣрки. Какъ въ XIII-мъ, такъ и въ половинѣ XIX вѣка китаецъ принимаетъ солнечное затмѣніе за особенный гнѣвъ божества, повелѣвающаго дракону закрыть лапой дневной свѣтъ отъ очей смертныхъ. При этомъ явленіи вся небесная имперія поднимается на ноги, спѣшитъ въ пагоды съ молитвой и умоляетъ своихъ истукановъ о спасеніи. Русскій крестьянинъ доселѣ смотритъ на выпуклыя части луны, какъ на человѣческія фигуры, представляя въ нихъ Каина, несущаго своего брата Авеля. Наши оборотни, ворожеи, могильныя привидѣнія, лѣшіе и домовые составляютъ предметъ страха и чистосердечнаго вѣрованія. Въ западныхъ провинціяхъ Франціи крестьяне думаютъ, что лампа, сдѣ-

ланная изъ дѣтскаго черепа, служитъ невидимкой; еще недавно одинъ ночной воръ былъ осужденъ за убійство восьмимѣсячнаго младенца. Въ Англіи и по сю пору вѣрятъ, что вѣдьмы иногда употребляютъ для своихъ разъѣздовъ вмѣсто метлы хорошую лошадь, и потому кучера съ особеннымъ вниманіемъ стерегутъ стойла и двери конюшенъ. Все это, по мнѣнію любителей старины, доказываетъ жизненность преданія и неистощимые инстинкты народной фантазіи; но что̀ бы оно ни доказывало, а въ практической жизни оно ужасно вредно. Трудно вообразить, какъ дорого расплатилось за эти суевѣрія человѣчество вообще и каждый народъ въ особенности. Изъ нихъ породились средневѣковыя ордаліи и пытки, инквизиціонные костры, истребленіе коддуновъ и постоянное преслѣдованіе евреевъ. „Путь исторіи (сказалъ одинъ писатель) устланъ жертвами человѣческаго безумія". Само собою разумѣется, что воспитаніе не въ состояніи передѣлать нашего воображенія, но оно должно уравновѣсить его разсудкомъ и очистить знаніемъ. Если бы китаецъ и русскій хоть нѣсколько были знакомы съ законами астрономіи, они не обратили бы естественнаго феномена въ миѳъ. Если бы Наполеонъ I не былъ убѣжденъ, что какая-то чудесная звѣзда вела его къ побѣдамъ, вѣроятно, онъ испепелилъ бы меньше городовъ и умеръ въ Парижѣ, а не на островѣ св. Елены. Если бы древній грекъ умѣлъ сообразить, что кровь и страданія человѣка должны быть противны Верховному Существу, онъ не жегъ бы людей на своихъ алтаряхъ. Если бы каждый изъ насъ ясно понималъ, что мертвецъ, зарытый въ землю, не можетъ встать изъ могилы, мы не боялись бы ночью кладбища и не пугали бы дѣтей привидѣніями. Но чтобы дойдти до сознанія всей нелѣпости этихъ понятій, необходима извѣстная степень умственнаго развитія. И, разумѣется, чѣмъ оно чище и выше, тѣмъ мы свободнѣе отъ нихъ. Въ этомъ заключается, въ настоящую эпоху, главная цѣль народнаго воспитанія; между тѣмъ, оно бо̀льшею частію служитъ второстепеннымъ интересамъ, противнымъ его предмету и назначенію. Принимая вездѣ болѣе или менѣе національный характеръ, оно удовлетворяетъ не потребностямъ конкретной истины, а случайнымъ соображеніямъ...

Сообразивъ все, что̀ сказано доселѣ, мы приходимъ къ двумъ главнымъ выводамъ: во-первыхъ, умственное развитіе эманципируетъ человѣка отъ враждебныхъ столкновеній съ природой, даетъ ему въ знаніи силу обращать естественные законы въ свою пользу и открываетъ ему путь къ общественной жизни; во-вторыхъ, образованіе вводитъ человѣка въ общество и, надѣляя его индивидуальными способностями, разнообразитъ его дѣятельность и ускоряетъ прогрессъ [1]).

---

[1]) Въ заключеніе намъ остается опредѣлить самое слово - *воспитаніе*. На современномъ педагогическомъ языкѣ, оно, обыкновенно, означаетъ первоначальное развитіе младенческихъ и отроческихъ силъ, когда еще онѣ не самостоятельно дѣйствуютъ, а

III.

Національное воспитаніе, предоставленное его свободному развитію, складывается подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій страны; на него дѣйствуетъ внѣшняя обстановка природы, характеръ семейной и соціальной жизни, историческія обстоятельства, нравы и обычаи народа, однимъ словомъ, все, что̀ такъ или иначе формируетъ наши вѣрованія, воззрѣнія и расширяетъ горизонтъ свѣдѣній. Человѣкъ одаренъ неутомимымъ инстинктомъ наблюденія; онъ принимаетъ знаніе отвсюду и на всемъ оставляетъ слѣды своей мысли. Предметы, окружающіе его, постоянно производятъ на его мозгъ и нервы различныя впечатлѣнія, какъ солнечный лучъ на фотографическое стекло. Обставьте человѣка дикой природой, нищетой, потрясающими сценами насилія, пытокъ, религіознаго изувѣрства, оскорбленія его личности, собственности, и этотъ человѣкъ обратится въ варвара; но дайте ему благопріятный климатъ, богатую почву, хорошее общество, матеріальное довольство, увѣренность въ своихъ правахъ, свободу дѣятельности, и изъ него образуется честный и умный гражданинъ. Отъ той или другой соціальной среды, въ которой мы вращаемся, главнѣйшимъ образомъ зависитъ наше развитіе... Идея сообщается быстро, если только не заперты каналы для ея свободнаго распространенія; а распространять идею, съ цѣлію народнаго воспитанія, можно самыми разнообразными средствами. Общество не варварское, а нѣсколько образованное, должно открывать народу свободный доступъ въ картинныя галлереи, на художественныя выставки,

---

зависятъ отъ руководства няньки или наставника. Затѣмъ, періодъ умственнаго развитія юноши называютъ *образованіемъ*, разумѣя подъ этимъ словомъ болѣе спеціальное и часто противоположное понятіе *воспитанію*. Человѣкъ *образованный* и *благовоспитанный* доселѣ различаются между собою. Все это—чистѣйшая схоластика, изобрѣтенная для оправданія невѣжества однихъ и пустоты другихъ. Нельзя воспитывать безъ образованія и образовывать безъ воспитанія, точно также, какъ нельзя найдти ни одного кретина благовоспитаннымъ и ни одного благовоспитаннаго юношу необразованнымъ. Это натянутое различіе есть произвольное толкованіе современной педагогической системы, гдѣ иногда простая формальность принимается за что-то существенное. Поэтому мы въ настоящей статьѣ употребляли и то и другое слово безразлично, не придавая имъ особеннаго значенія. Оба они какъ нельзя лучше выражаются однимъ понятіемъ, *развитіе*. Въ самомъ дѣлѣ, какой бы возрастъ, какую бы степень ума ни взяли, съ какой бы способностію мы ни имѣли дѣло, какими бы средствами мы ни дѣйствовали на воспитаніе—цѣль наша одна и та-же—полное и разностороннее развитіе человѣческихъ силъ. Развивать одинъ органъ безъ другого невозможно; развивать одинъ органъ насчетъ другого — значитъ выдѣлывать уродовъ; всякая односторонность въ этомъ случаѣ есть рѣшительное искаженіе человѣческой природы. Подъ такое опредѣленіе, конечно, нельзя подвести современное воспитаніе, но вѣдь мы и не называемъ воспитаніемъ того, что̀ скорѣе представляетъ дрессировку людей, чѣмъ дѣйствительное развитіе.

въ сады, въ собранія и клубы, устроивать въ разныхъ пунктахъ дешевыя публичныя лекціи, театры, облегчать издержки путешествій, словомъ,— вносить какъ можно больше умственнаго капитала въ общее обращеніе. Къ сожалѣнію, современное состояніе Европы еще далеко отъ того времени, когда всѣ сословія могутъ равно воспользоваться этими средствами. Для массъ образованіе почти недоступно: у милліоновъ людей нѣтъ ни времени, ни возможности получить даже элементарное воспитаніе. И это понятно: чтобы дать самое посредственное образованіе юношѣ, въ Россіи оно будетъ стоить не менѣе 150 р. въ годъ, слѣдовательно, въ шесть лѣтъ, полагая этотъ срокъ достаточнымъ для окончанія средняго курса наукъ, надо истратить 900 р. Намъ было бы очень интересно знать сравнительную цифру нашихъ среднихъ состояній, чтобъ утвердительно сказать, сколько можно насчитать семействъ, могущихъ располагать этой суммой для воспитанія своихъ дѣтей; но едва-ли мы преувеличимъ фактъ, если положимъ, что изъ 60 милліоновъ собственно русскаго населенія не болѣе 500,000 семействъ могутъ получить кой-какое образованіе и не болѣе 200,000 индивидуумовъ, способныхъ читать Крылова и Пушкина. Изъ этой цифры едва-ли не двѣ части останавливаются на одномъ процессѣ чтенія, и только третья можетъ понимать народныхъ поэтовъ. Вслѣдствіе этого мы приходимъ къ необходимости — для распространенія систематическаго воспитанія въ массахъ избирать болѣе дешевыя и популярныя средства; этому пока удовлетворяютъ всего лучше *школа и книга*. И та и другая, проводя знаніе посредствомъ изустнаго преподаванія и чтенія, удешевляютъ издержки по воспитанію и сокращаютъ время и опытъ собственнаго саморазвитія. Кажется, нѣтъ надобности говорить, что все достоинство такого образованія зависитъ отъ хорошаго устройства школы и отъ умно-написанной книги; нѣтъ надобности говорить и о томъ, что до сихъ поръ на всемъ земномъ шарѣ глупыхъ книгъ и учителей было гораздо больше, чѣмъ умныхъ.

Въ системѣ народныхъ школъ университеты занимаютъ самое видное мѣсто. Въ нихъ, какъ въ главныхъ учебныхъ центрахъ, собираются лучшія юношескія силы и, если не на дѣлѣ, то по идеѣ, лучшіе представители науки; на всемъ европейскомъ континентѣ они самыя доступныя заведенія, гдѣ бѣднякъ наравнѣ съ богачемъ, мѣщанинъ на одной скамьѣ съ аристократомъ получаютъ одинаковое образованіе. Въ этомъ—сила университетовъ. Воспитанники ихъ, оканчивая курсъ наукъ, разносятъ свои познанія по всѣмъ классамъ общества, по всѣмъ отраслямъ дѣятельности, и тѣмъ оказываютъ величайшую пользу народной жизни. Кто-то сравнилъ университеты съ большими артеріями, которыя, почерпая кровь изъ общаго резервуара и очищая, разливаютъ ее по всему организму. Это совершенно справедливо; но для здоровья организма нужна хорошая кровь, и если ея въ жилахъ общества нѣтъ, то универ-

ситеты не въ состояніи ее дать. У насъ еще спорятъ о преимуществахъ свободнаго ученія, что почти то-же, еслибъ стали спорить о томъ: какимъ воздухомъ лучше дышать—чистымъ или зловоннымъ? Разумѣется, зловоннымъ, если больныя легкія не выносятъ свѣжей атмосферы. Но дѣло въ томъ, что безъ свободы не только не можетъ быть правильной дѣятельности мысли, но и побужденія мыслить. Свяжите мнѣ руки и ноги, вы причините мнѣ одну физическую боль; но свяжите умъ, — вы уничтожите его. Когда мнѣ говорятъ: ходи такъ-то, поворачивай глазами направо, застегивайся крѣпче, я могу исполнить эти приказанія безъ особеннаго вреда для своей жизни, но когда мнѣ говорятъ: учись тому-то и такъ-то, такое вмѣшательство въ мои дѣйствія посягаетъ на все нравственное мое существо, на мое настоящее и будущее. Если никто не можетъ принять на себя отвѣтственности за мои намѣренія, желанія и поступки, то никто не долженъ и распоряжаться выборомъ моего образованія и, безъ моего согласія, навязывать ему постороннія цѣли. Никакія программы и законодательныя мѣры еще не создавали геніальныхъ людей; они ростутъ и зрѣютъ только въ свободныхъ атмосферахъ мысли и искусства. Если человѣкъ еще не изобрѣлъ средства управлять моимъ умомъ, какъ онъ управляетъ паромъ и электричествомъ, то напрасно онъ и старается направить мою мысль въ ту или другую сторону: ее можно остановить, обезобразить, но если она разъ попала на прямую дорогу, тогда никто не въ состояніи втиснуть ее въ произвольно-придуманныя рамки. Притомъ, строгое наблюденіе за развитіемъ идеи положительно невозможно; внутренняя работа ея ускользаетъ отъ постороннихъ глазъ и часто остается невѣдомой для меня самого: я не знаю, откуда она пришла въ мою голову и чѣмъ кончится тамъ; у нея нѣтъ ни національнаго типа, ни географическихъ признаковъ, она не стѣсняется ни заставами, ни каменными стѣнами, ни гоненіемъ... Напротивъ, она является вездѣ, гдѣ ее требуютъ и, какъ всякая жизненная сила, тѣмъ рѣзче пробивается наружу, чѣмъ внѣшнее давленіе тяжелѣе. Напримѣръ, парижскій университетъ шелъ рука объ руку съ французскими республиками, имперіями, конституціонными монархіями, революціями и реакціями. Наполеонъ I обратилъ его въ казарму, соединившую въ себѣ всѣ вѣтви національнаго образованія; университетъ раздавалъ мѣста и привиллегіи ученому сословію, открывалъ пансіоны, собиралъ торговыя пошлины съ каждой школы и съ каждаго воспитанника. И эта монополія ума, самая презрѣнная изъ всѣхъ монополій, болѣе тридцати лѣтъ обременяла Францію. Что́ же было въ результатѣ? Жалкое и малодушное поколѣніе двухъ реставрацій, безсовѣстная продажность министерскихъ мѣстъ и глубокое опошленіе всего общества, внезапно пробужденнаго іюльскою революціей. Потомъ, въ 1852 году Наполеонъ III далъ новую реформу воспитанію Франціи; тогдашній министръ народнаго просвѣщенія, Фортуль, составилъ, по плану президента,

общую программу, въ которой онъ исказилъ все, что̀ было лучшаго въ народномъ образованіи. „Университетъ (такъ выражался Фортуль въ своей незабвенной программѣ), предполагая образовывать *людей*, слишкомъ пренебрегалъ цѣлью готовить изъ нихъ способныхъ *слугъ* для главныхъ государственныхъ должностей". Согласно этой идеѣ введены были слѣдующія перемѣны: выборъ преподавателей Сорбонны и французской коллегіи отдѣльными совѣтами профессоровъ уничтоженъ; генеральными инспекторами среднихъ и низшихъ заведеній назначены были два аббата — Даніель и Нуаро; ректорамъ академій предоставлено полное право смѣнять, перемѣщать и лишать мѣстъ учителей, не относясь къ муниципальнымъ совѣтамъ, какъ это было при Лудовикѣ-Филиппѣ; въ лицеяхъ снова явилась старая наполеоновская дисциплина. Гораздо глубже реформа коснулась самого духа преподаванія. Подъ предлогомъ особеннаго покровительства *ученому* направленію, ограниченъ былъ кругъ литературныхъ занятій; изученіе древне-классическихъ литературъ сократилось до мертвой буквы филологіи; каѳедра исторіи философіи уничтожена, и потомъ замѣнена преподаваніемъ сравнительной грамматики, конституціонное право Франціи — юстиніановскими институтами; диспуты и философскій анализъ сведены на простыя дефиниціи. Фортуль постоянно предписывалъ профессорамъ „держаться не только смысла новыхъ программъ, но и буквы ихъ", и въ то-же время обязалъ ихъ записывать содержаніе каждой лекціи въ особенныя классныя тетради. Такимъ образомъ, личныя воззрѣнія и независимая работа профессора кончились. Въ пансіонахъ и частныхъ заведеніяхъ снова явились іезуиты и темные адепты ихъ. Пользуясь удобнымъ случаемъ и желая возвратить, на-время утраченное, свое вліяніе на воспитаніе народа, они употребляли всѣ происки, чтобъ закрыть нормальныя школы въ провинціяхъ, — и это благодѣтельное учрежденіе болѣе не существуетъ; наконецъ, высшая агрономическая школа въ Версали превращена въ гвардейскую казарму. Вслѣдствіе всего этого мы не видимъ на университетскихъ каѳедрахъ ни одного замѣчательнаго профессора, ни одного достойнаго представителя въ академіяхъ и ученыхъ обществахъ; единственное заведеніе — Jardin des Plantes, гдѣ преемственно работали лучшія головы Франціи, замкнулось въ кругъ мелкихъ интригановъ и безсмысленныхъ доктринеровъ. Литература, драматическое искусство, журналистика и трибуна замолчали, или возвышаютъ голосъ только для новаго остракизма. И что̀ особенно удивительно, всѣ эти перемѣны не вызвали ни малѣйшаго сожалѣнія со стороны общественнаго мнѣнія; какъ-будто такъ и должно быть. Только теперь, черезъ десять лѣтъ, Франція начинаетъ сознавать, чѣмъ она обязана Фортулю — паденіемъ образованія по всѣмъ его направленіямъ и значительной долей своей деморализаціи. Если бы еще два поколѣнія возрасли подъ вліяніемъ этой хитросплетенной системы, то двадцать будущихъ поколѣній не поправили бы зла. Такъ обыкновенно оканчиваются

реформы воспитанія, у котораго отнимаютъ свободу и внутреннее содержаніе, подставляя на мѣсто ихъ бюрократическія формы. Но достигъ-ли Фортуль, по-крайней-мѣрѣ, той цѣли, которую преслѣдовалъ съ такимъ усердіемъ? Нѣтъ. Онъ, подобно Меттерниху, сверху замазывалъ щели, сквозь которыя проходила идея, и оставилъ ей огромныя отверстія снизу. Рано или поздно, а она найдетъ свой естественный исходъ, не въ окно, такъ въ двери...

Вопросъ о нашихъ университетахъ возбужденъ не случайно. Это — вопросъ старый, поставленный передъ нами неизбѣжнымъ ходомъ исторіи и жизни... Мы не можемъ, особенно теперь, говоритъ о русскихъ университетахъ безъ горячаго сочувствія къ нимъ. Они явились у насъ, какъ фантастическіе арабески на черномъ грунтѣ дѣйствительной жизни, разрисованные всевозможными капризами времени и перемѣнчивыхъ событій; у нихъ никогда не было собственной физіономіи; ее слѣпили изъ разныхъ матеріаловъ, собранныхъ кое-гдѣ и кое-какъ; они не успѣли представить намъ ни великихъ дѣятелей мысли, ни великихъ реформъ въ умственномъ движеніи; но они воспитали и сберегли нѣсколько добрыхъ юношескихъ силъ, — и за это мы глубоко уважаемъ ихъ.

Развитію русскихъ университетовъ сильно мѣшало ихъ исключительное положеніе. Основанные по плану правительства, съ цѣлію доставить *образованныхъ чиновниковъ*, они съ самаго начала приняли строго-оффиціальный характеръ, и другого принять не могли. Они возникли безъ народныхъ школъ, среди сплошного безграмотнаго населенія, когда не было ни малѣйшаго понятія о домашнемъ воспитаніи, когда мать провожала сына въ школу съ такимъ-же плачемъ, какъ теперь провожаютъ крестьянскаго парня въ рекруты, когда во мнѣніи однихъ ученіе смѣшивалось съ колдовствомъ, а во мнѣніи другихъ считалось совершенно безполезнымъ. Для кого-же были основаны университеты? Разумѣется, для тѣхъ, кто нуждался въ службѣ, рангахъ и гражданскихъ отличіяхъ. Еще Ломоносовъ жаловался, что въ университетъ никто не идетъ и, указывая на причины этого застоя, онъ, между прочимъ, выражался такъ: „во всѣхъ европейскихъ государствахъ позволено въ академіяхъ обучаться на своемъ коштѣ, а иногда и на жалованьи, всякаго званія людямъ, не выключая посадскихъ и крестьянскихъ дѣтей, хотя тамъ уже и великое множество ученыхъ людей. А у насъ въ Россіи при самомъ наукъ начинаніи уже сей источникъ регламентомъ по 24 пункту запертъ, гдѣ положенныхъ въ подушный окладъ въ университетѣ принимать запрещается. Довольно-бъ и того выключенія, что-бы не принимать дѣтей холопскихъ". Вслѣдствіе этого ограниченія, на первыхъ-же порахъ университетъ оттолкнулъ отъ себя живую силу и предложилъ свои услуги бюрократіи и одному бѣдному дворянству. Но дворянство, современное Ломоносову, или сидѣло праздно въ своихъ захолустьяхъ, воспитываясь по образцу „Недоросля" фонъ-Визина или

искало въ образованіи исполненія чисто-внѣшнихъ усолвій. Впослѣдствіи двери университета были открыты всѣмъ свободнымъ сословіямъ, но большинство юношей шло въ нихъ по-прежнему за дипломами и чинами, большинство профессоровъ искало въ нихъ жалованья и двадцатипятилѣтнихъ пенсій. Горькая посредственность преподавателей и равнодушіе слушателей были неизбѣжными послѣдствіями такого порядка вещей. Притомъ строгость пріемныхъ экзаменовъ и формальность поступленія отбивали охоту и у тѣхъ, кто желалъ учиться. Самое расположеніе высшихъ учебныхъ заведеній не благопріятствовало равномѣрному распространенію образованія во всѣхъ частяхъ Россіи: обширный край Сибири доселѣ остается безъ университета и все многолюдное приволжское побережье примыкаетъ къ одной Казани, между тѣмъ какъ тамъ-то и чувствуется настоятельная потребность въ умственномъ пробужденіи. Сотни бѣдныхъ, но даровитыхъ юношей останавливались на полдорогѣ единственно потому, что боялись рисковать дальнимъ путешествіемъ въ университетскіе города, не имѣя полной увѣренности вступить въ число студентовъ. Но все-таки многіе шли и поступали въ университетъ. Если это были молодые люди, не имѣвшіе впереди себя ни протекціи, ни достаточнаго состоянія, они пополамъ съ горемъ оканчивали курсъ наукъ и спѣшили занять учительскія каѳедры или пристроиться къ сословію литераторовъ; большинство-же, алкавшее министерскихъ канцелярій, записывалось по юридическому факультету и потомъ исчезало въ общемъ круговоротѣ чиновнаго люда.

Но не въ этомъ коренной недостатокъ нашихъ университетовъ; онъ скрывается гораздо глубже. Давно уже высказывается мнѣніе, что образованіе плохо гармонируетъ съ нашими обыденными потребностями, что его не выказываетъ ни жизнь, ни общество. Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что наши университеты находились бы въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, что образованіе, получаемое въ нихъ, самое лучшее, но куда-же съ нимъ идти и на что̀ употребить его? Почва, разработанная нами для образованныхъ людей, еще такъ непрочна и мало привлекательна, что на ней надо держаться съ необыкновенными усиліями. Конечно, можно учиться ради одного ученья, можно отдать десять или двѣнадцать лѣтъ лучшей поры жизни только для того, чтобы стать въ уровень съ вѣкомъ, чтобы не прослыть неучемъ, но вѣдь это героизмъ или донъ-кихотство, — назовите какъ угодно, — но не требуйте его отъ каждаго. Большинство вправѣ разсчитывать на утилитарное примѣненіе своего образованія; оно вправѣ надѣяться, что проведенные имъ годы на школьной скамейкѣ и безсонныя ночи, потраченныя за учебнымъ столомъ, вознаградятся въ жизни достойною дѣятельностью... Но куда-же приложитъ оно свои знанія?.. Куда?.. Промышленность не представляетъ и тѣни ничего похожаго на трудъ, связанный съ серьезнымъ изученіемъ свойственныхъ ей предметовъ. Наши откупщики и гостиннодворскіе лавочники не имѣли

ни малѣйшей надобности въ университетскомъ образованіи; напротивъ, имъ надо было воспитаться подальше отъ университетовъ. Земледѣліе - вотъ обширное поприще для приложенія самыхъ глубокихъ и разнообразныхъ знаній; но кто-же нуждается въ нихъ? У крестьянина нѣтъ средствъ выучиться грамотѣ; помѣщикъ находитъ болѣе удобнымъ собирать оброкъ черезъ своего управляющаго и беззаботно проживать на парижскихъ мостовыхъ и въ кофейняхъ. Литература... но комуже она доставалась легко? Служба, опять служба, и это почти единственная стезя, по которой до сего времени оставалось идти образованному человѣку, но вѣдь служить всѣмъ нельзя: у общества должны быть другія потребности... Потому, нечего и требовать отъ нашихъ университетовъ того, чего они не въ состояніи дать. Можно разглагольствовать объ ихъ радикальномъ преобразованіи, о корпораціяхъ, стипендіяхъ, о томъ какъ бы побольше развести намъ магистровъ и докторовъ, какъ бы соединить университеты съ академіей или академію придѣлать къ университету — о всемъ этомъ, конечно, можно помечтать на досугѣ, но не больше, какъ—помечтать. Настоящая-же реформа высшихъ учебныхъ заведеній требуетъ болѣе широкихъ размѣровъ: каждый изъ насъ долженъ быть искренно убѣжденъ, что нельзя поднять значенія университетовъ до тѣхъ поръ, пока не сольются ихъ интересы съ интересами самой общественной жизни, пока не создадутся потребности образованія не рутинныя и мечтательныя, а дѣйствительныя и живыя.

Можно было бы посмотрѣть на этотъ вопросъ и съ другой стороны. Современное состояніе науки съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе заявляетъ реальныя требованія, удовлетворяющія возможно лучшимъ условіямъ человѣческихъ обществъ. Посмотрите кругомъ — вездѣ производится перестройка ложныхъ системъ, отжившихъ направленій, вездѣ чувствуется новая жизнь идеи, и если вы не замѣчаете ея присутствія среди васъ, то въ этомъ виновата не идея, а ваши отупѣвшія нервы. Вмѣсто того, чтобы напрасно спорить о томъ, нужно-ли отворить или затворить двери университета, не мѣшало бы литературѣ взглянуть на сущность дѣла — на самую организацію факультетовъ, методу преподаванія, отбросить то, что̀ обветшало, и принять то, что̀ могло бы обновить и раздвинуть понятія нашего юношества. Только съ этой точки зрѣнія можно говорить о преобразованіи высшаго воспитанія и вполнѣ сочувствовать ему. Мы не сомнѣваемся, что русскіе университеты со временемъ процвѣтутъ, когда въ каждой крестьянской избѣ будетъ лежать умная книга и циркуль, когда въ каждомъ селѣ на мѣстѣ кабака будетъ стоять библіотека и школа, когда каждая мать почувствуетъ необходимость воспитанія своихъ дѣтей и когда каждый изъ насъ убѣдится, что *знаніе* есть дѣйствительная *сила*. Этотъ день будетъ первымъ днемъ нашей цивилизаціи и великой реформы университетовъ...

1861 г.

КТО СЪ НАМИ?

(„Образованіе человѣческаго характера". Переводъ съ англійскаго. Спб., 1865 г.).

„Кто съ нами?" — этотъ вопросъ назадъ тому лѣтъ пятьдесятъ былъ сдѣланъ однимъ изъ неутомимыхъ бойцовъ за человѣческое счастіе, и остался безъ отвѣта среди огромнаго населенія Англіи. Никто ни полсловомъ не откликнулся на призывъ человѣка, который болѣе двадцати лѣтъ своей жизни посвятилъ осуществленію реформы, долженствовавшей, по его мнѣнію, обновить полусгнившее зданіе стараго общественнаго устройства. „Я несу міру свѣтъ", говорилъ онъ, нисколько не преувеличивая важности своего дѣла, но это былъ слишкомъ ранній свѣтъ, котораго не могло выносить больное зрѣніе современнаго поколѣнія. Человѣкъ этотъ былъ Овенъ, книгу котораго мы разбираемъ теперь, а реформа его состояла въ томъ, чтобы построить личное счастіе каждаго на общественномъ благоденствіи, т. е. дать такое устройство обществу, чтобы всѣ и каждый пользовались одинаковымъ счастіемъ. „Пока большинство, говорилъ онъ, обращаясь къ привиллегированнымъ классамъ Англіи,—будетъ находиться на степени скотскаго состоянія, униженное, ограбленное и невѣжественное, вы не можете спать спокойно, потому что каждая капля пота 12 милліоновъ бѣднаго населенія ложится на вашу совѣсть, требуетъ вашей отвѣтственности. Поэтому или возвратите ему его человѣческое состояніе или держите его еще въ худшемъ состояніи, если можно—ниже всякаго животнаго отупѣнія" (A sketch of some of the errors and evils arising from the past and present state of society, p. 6). Такъ какъ Овенъ полагалъ источникомъ всѣхъ человѣческихъ заблужденій и золъ бѣдность и невѣжество, то задача его распадалась на двѣ главныя части: во-первыхъ, онъ организовалъ рабочую ассоціацію, какъ зародышъ той будущей общечеловѣческой ассоціаціи, ко-

горая, по его мнѣнію, должна была преобразовать весь міръ и распространить матеріальное довольство между низшими слоями общества; во-вторыхъ, чтобы поднять нравственное состояніе массы, онъ составилъ планъ раціональнаго воспитанія, понимая это слово не въ томъ узкомъ и филистерскомъ значеніи, которое мы привыкли придавать ему, а въ самомъ широкомъ и гуманномъ смыслѣ, — какъ измѣненіе всѣхъ тѣхъ общественныхъ условій, которыя доселѣ мѣшали умственному и нравственному развитію массы.

Въ этомъ направленіи шелъ Овенъ цѣлую свою жизнь и, послѣ неудачъ его соціально-экономической реформы, когда рушились всѣ его надежды, онъ сосредоточилъ всю свою дѣятельность на воспитаніи англійскаго рабочаго сословія. Какъ мыслитель и практическій дѣятель, онъ давалъ воспитанію чисто-активный характеръ, т. е. образованіе человѣка не для кабинетной праздной мысли, а для дѣйствительной жизни, которая требуетъ не одного ума, но и силы воли. Потому онъ назвалъ свою систему „Образованіемъ человѣческаго характера" и положилъ въ основаніе ея глубоко-реальную идею. Съ одной стороны, онъ хотѣлъ отстранить отъ воспитанія всю массу старыхъ предразсудковъ и суевѣрій, прививаемыхъ къ народу клерикальной партіей, которая можетъ держаться только до тѣхъ поръ, пока невѣжество не даетъ возможности открыть глаза на ея историческую роль; а съ другой стороны онъ требовалъ отъ школы развитія физическаго здоровья, какъ главнаго условія раціональнаго воспитанія, и привитія тѣхъ соціальныхъ понятій и привычекъ, которыя необходимы при новомъ общественномъ устройствѣ. „Я убѣжденъ, говорилъ Овенъ, — что пока воспитаніе будетъ построено на взаимной враждѣ людей другъ къ другу; пока религія вмѣсто примиренія будетъ поддерживать въ лицѣ клерикальнаго сословія антагонизмъ и лицемѣріе, общественная гармонія невозможна—и всякая попытка создать ее останется тщетной. Моя система уничтожаетъ этотъ вѣчный и непрерывный дуализмъ, и потому я ожидаю отъ нея великихъ послѣдствій".

Враги Овена нашли въ этой идеѣ случай обвинить его передъ всей Англіей въ атеистическихъ стремленіяхъ и въ желаніи ниспровергнуть конституцію. Теперь ясно для каждаго, насколько были правы и какими гнусными побужденіями руководствовались эти ханжи, которые, изгнавъ Овена изъ Нью-Ланарка, первымъ дѣломъ прибавили рабочихъ часовъ на мануфактурѣ и, закрывъ школу, уменьшили задѣльную плату. Все это было сдѣлано во имя той-же христіанской религіи, за которую они позорили и преслѣдовали Овена. Но нашлись и доселѣ находятся такъ-называемые либеральные люди, которымъ кажется, что система Овена, по самой своей сущности, никуда не годится, потому что составляетъ плодъ разстроеннаго воображенія. Порѣшивъ такимъ образомъ, провозгласили самого Овена честолюбивымъ мечтателемъ, искавшимъ

только одной популярности и вниманія знаменитыхъ особъ. Но, во-первыхъ, кто-же изъ противниковъ Овена разобралъ его систему, какъ слѣдуетъ, и что тутъ мечтательнаго и зловреднаго, если человѣкъ желаетъ лучшаго будущаго своимъ ближнимъ? Онъ можетъ ошибаться въ практическомъ примѣненіи своей теоріи, но назвать ее мечтательною только потому, что она противорѣчила интересамъ клерикальной партіи, было бы нелѣпо. Во-вторыхъ, Овенъ доказалъ на самомъ опытѣ, что реформа его не только была примѣнима къ дѣйствительной жизни, но и дала такіе блистательные результаты, какихъ онъ самъ не ожидалъ. Колонія его, состоявшая изъ 2,000 рабочихъ, была радикально перевоспитана въ духѣ его раціональной системы. Нравственное и матеріальное благосостояніе этой колоніи достигло такого высокаго уровня, что Нью-Ланаркъ и организаторъ его, Овенъ, обратили на себя всеобщее вниманіе. Самые враги принуждены были замолчать, разумѣется, до перваго удобнаго случая. Овенъ не замедлилъ подать его. Недовольный слишкомъ тѣсной сферой своей дѣятельности, онъ хотѣлъ распространить свою реформу на всю Англію и отсюда на весь міръ. Но для такого колоссальнаго плана нужны были громадныя средства; одинъ Овенъ, какъ онъ дѣйствовалъ до сихъ поръ, ничего не могъ бы сдѣлать, при всемъ его желаніи пожертвовать самою жизнью ради успѣха своего предпріятія. Потому онъ рѣшился вступить въ открытую борьбу съ своими противниками и искалъ опоры въ лицахъ вліятельныхъ и сильныхъ. Онъ входилъ въ непосредственныя сношенія съ государственными людьми, съ министрами, съ членами парламента, писалъ письма и предлагалъ свои проекты коронованнымъ особамъ,—словомъ, не пренебрегалъ ни однимъ средствомъ, которое бы могло помочь его дѣлу. Онъ не унижался ни предъ кѣмъ, никому не льстилъ и никого не обманывалъ на счетъ своего плана, но хотѣлъ изъ самыхъ враговъ сдѣлать себѣ друзей и найдти въ нихъ подспорье осуществленію реформы. Впослѣдствіи, когда всякое грязное насѣкомое считало долгомъ укусить павшаго бойца, это обстоятельство послужило поводомъ къ обвиненію Овена: его представляли какимъ-то искателемъ отличій и покровительства сильныхъ міра сего, но я думаю, что въ этомъ-то и надо видѣть гуманнѣйшаго дѣятеля, какимъ былъ Овенъ. Для мыслящаго человѣка не можетъ быть болѣе тяжелой жертвы, какъ дѣлать уступки въ своихъ убѣжденіяхъ и стараться примирить ихъ съ образомъ мыслей противной стороны. Но Овенъ принесъ эту жертву въ пользу страстно-любимой имъ идеи, имѣя въ виду ея практическіе результаты. Для него была дорога его идея только въ томъ случаѣ, когда она прямо прилагалась къ счастію людей. Вотъ почему онъ и говорилъ: „кто съ нами?“ но та часть общества, въ пользу которой онъ работалъ, не могла идти за нимъ, потому что не понимала его стремленій, а та часть, которая понимала его, но держалась обѣими руками за свои милые предразсудки и привиллегіи, старалась задушить

его идею разсчитанной клеветой или молчаніемъ. И въ этомъ — все несчастіе такихъ дѣятелей, какъ Овенъ. Какой-нибудь шарлатанъ, какъ, напримѣръ, Жозефъ Смитъ, полуграмотный мистикъ и больной энтузіастъ, выдумываетъ какую-нибудь нелѣпѣйшую легенду, обставляетъ ее разными чудесными фокусами, прикидывается вдохновеннымъ прорицателемъ, увлекаетъ за собой десятки тысячъ бѣдной и невѣжественной толпы и основываетъ новую секту Мормоновъ. Толпа, конечно, тутъ ничѣмъ не виновата: она добросердечно принимаетъ фанатика и сумасброда за своего спасителя, вѣритъ его поддѣльному экстазу, его предсказаніямъ, его великой миссіи, его „новому Сіону“ и, наэлектризованная этимъ фанатизмомъ, провозглашаетъ его основателемъ новой религіи. Никакіе доводы, никакія преслѣдованія не могутъ разубѣдить ее въ томъ, что она обманута хитрымъ плутомъ, что его ученіе и обѣщанія новой жизни ничто иное, какъ плодъ его собственной фантазіи и своекорыстныхъ разсчетовъ; она ничего не видитъ и ничего не хочетъ знать, кромѣ обѣтованныхъ ей благъ, какъ въ этой, такъ и въ будущей жизни. Такимъ образомъ, предпріятіе смѣлаго и энергическаго шарлатана вполнѣ удалось, а планъ честнаго и благороднаго Овена рухнулъ. Тутъ вся разница въ томъ, что одинъ прямо дѣйствовалъ на воображеніе темной массы и потворствовалъ ея инстинктамъ, а другой долженъ былъ идти противъ этихъ инстинктовъ и дѣйствовать прямо на умъ.

Въ основаніи воспитательной системы Овена лежалъ принципъ полной гармоніи между общественною и индивидуальною жизнью человѣка. „Этотъ принципъ, говоритъ Овенъ, — заключается въ стремленіи къ личному счастію и ясно показываетъ, что личнаго счастія можно достигнуть, только способствуя счастію всего общества“. (Образов. челов. характера, стр. 18). Дальше онъ говоритъ, что „съ математической точностью можно обставить человѣка такими условіями, которыя должны постепенно увеличивать его счастіе“ (стр. 25). Изъ этого соціальнаго принципа вытекали всѣ мнѣнія Овена, и къ нему были направлены всѣ его практическія цѣли, такъ что утилитарная теорія была верховнымъ стимуломъ всей его дѣятельности. Основателемъ этой теоріи былъ не онъ, а Бентамъ, примѣнившій ее къ области юридическаго права, но Овенъ примѣнялъ ее гораздо шире, онъ строилъ на ней всю общественную организацію и проводилъ ее въ воспитаніе, считая его главнымъ органомъ соціальной реформы. Въ этомъ—его единственная и главная заслуга. Развивая свой принципъ логически, онъ естественно встрѣчался съ слѣдующимъ вопросомъ: „что мѣшало до сихъ поръ людямъ быть счастливыми? Отъ чего счастіе составляетъ исключеніе, а страданія — общее правило?“ Подобные вопросы такъ естественны и обыкновенны въ жизни человѣка, что, повидимому, задавать ихъ теоретически нѣтъ никакой надобности. Понятно, что съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ начинаетъ себя чувствовать, онъ постоянно, въ силу своего личнаго эгоизма, стремится

къ тому, чтобы быть счастливымъ. Только изуродованные или болѣзненные индивидуумы могутъ обрекать себя на добровольныя лишенія и страданія. Но извѣстнымъ образомъ настроенное воображеніе въ самыхъ страданіяхъ способно видѣть какое-то отдаленное и неосязаемое благополучіе. Факиръ, предаваясь систематическимъ мукамъ, дѣйствуетъ не иначе, какъ подъ вліяніемъ личнаго эгоизма, покупая себѣ временнымъ самоотверженіемъ будущее счастіе. Онъ убѣжденъ, что стояніе на одной ногѣ по нѣскольку часовъ въ сутки или умерщвленіе своей плоти подъ ударами бамбука откроетъ ему двери, ведущія прямо къ величайшему изъ благъ — вѣчному созерцанію Брамы. Такимъ образомъ, представить себѣ человѣка, неруководимаго личнымъ эгоизмомъ во всѣхъ его намѣреніяхъ и поступкахъ то-же самое, что представить себѣ живое существо, способное дышать безъ воздуха. Безсознательно и инстинктивно шло человѣчество къ осуществленію этого величайшаго принципа. Но дѣло въ томъ, что оно искало своего счастія такими длинными окольными путями, что каждый его шагъ впередъ стóилъ ему мучительнаго напряженія всѣхъ его силъ. А это потому, что не ему самому приходилось разрѣшать этотъ жизненный вопросъ о счастіи; онъ разрѣшался за него тѣми, кто, подъ видомъ личныхъ интересовъ, выставлялъ общечеловѣческія и общественныя выгоды. Аскетъ говорилъ, что счастіе человѣка заключается въ абсолютномъ отрицаніи всѣхъ земныхъ наслажденій, и по этой программѣ разыгрывалась историческая роль нѣсколькихъ милліоновъ людей; завоеватель увѣрялъ, что счастіе народа немыслимо безъ того, чтобы онъ не жегъ и не грабилъ своего слабаго сосѣда, и безотвѣтныя толпы жгли и грабили, убѣжденныя, что онѣ, дѣйствительно, достигаютъ этимъ своего собственнаго счастія. Въ такомъ видѣ и съ такими варіяціями слагалась вся прошлая жизнь народовъ, и вопросъ, предложенный Овеномъ, несмотря на его глубокую давность, остается вопросомъ новымъ и неразрѣшеннымъ для современнаго поколѣнія. А, между тѣмъ, для мыслящаго человѣка онъ всегда былъ капитальнымъ вопросомъ, къ которому относиться равнодушно не могъ ни одинъ замѣчательный умъ.

Трудность разрѣшенія этого вопроса — въ томъ, что до сихъ поръ личное счастіе каждаго строилось на индивидуальныхъ интересахъ, противоположныхъ интересамъ большинства или всего общества. Отсюда вытекаетъ эта постоянная борьба, развращающая какъ ту, такъ и другую сторону, т. е. какъ счастливое меньшинство, такъ и несчастное большинство. На эту борьбу доселѣ уходятъ главныя силы человѣчества, и сами себя уничтожаютъ. Можно навѣрное сказать, что если бы тѣ-же самыя силы, такъ безплодно потерянныя для увеличенія дѣйствительнаго благосостоянія людей, были направлены иначе и организованы другимъ порядкомъ, то сумма пріобрѣтеннаго добра была бы неизмѣримо выше. Теперь мы только и заботимся о томъ, чтобы благовиднѣе и ловчѣе съѣсть

своего ближняго, простосердечно думая, что наше личное благосостояніе невозможно безъ взаимнаго самопожиранія. Въ семействѣ и въ обществѣ тотъ-же антагонизмъ, та-же глухая и безпрерывная война за существованіе. А, между тѣмъ, гдѣ-же это воображаемое счастіе, которому приносится въ жертву столько ненависти, вражды, ужасныхъ преступленій и казней, слезъ и пота? Довольны-ли вы, читатель, тѣмъ, что половину, а, можетъ быть, и всю вашу жизнь отдали страшному труду созиданія своего личнаго благосостоянія, выжимая его по каплямъ изъ окружающихъ васъ лицъ? Иначе вы и не могли дѣйствовать, потому-что среда, воспитавшая васъ, основана на этой борьбѣ и эксплуатаціи. А между тѣмъ, согласите эти двѣ, по видимому, противоположныя сферы— личный эгоизмъ съ общественнымъ благосостояніемъ, и гармонія дѣлается не мечтой, а фактомъ. Организуйте ваши отношенія къ обществу такъ, чтобы, не стѣсняя своей личной свободы и развитія, въ то-же время не отдѣлять отъ него своихъ интересовъ, а дѣйствовать съ нимъ въ одномъ направленіи; убѣдитесь, наконецъ, въ той солидарности, которая существуетъ между вашимъ личнымъ и общественнымъ счастіемъ. Само собою разумѣется, что одного убѣжденія тутъ мало, а нужно еще и дѣло, т. е. радикальная перестройка многихъ общественныхъ условій. Къ этому собственно и устремлены всѣ усилія такихъ реформаторовъ, какъ Овенъ.

Онъ былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что лучшая общественная организація возможна, что человѣкъ рожденъ для счастія въ обществѣ и, если страдаетъ, то страданія его создаются самимъ-же обществомъ; что преступленія, совершаемыя бѣдными классами, должны лежать на отвѣтственности того устройства, которое создаетъ преступника. Онъ доказывалъ съ неотразимою убѣдительностью, что общественная гармонія, устроенная на новыхъ началахъ, не только справедлива, но и выгодна тѣмъ, кто ея боится; онъ вычислилъ, что Англія могла бы построить другой громадный флотъ на тѣ суммы, которыя она тратитъ на содержаніе тюремъ и вообще на операціи своего уголовнаго правосудія, что фабриканты, затративъ часть своихъ капиталовъ на образованіе рабочаго класса, удесятерили бы свои выгоды, организовавъ ассоціаціи на тѣхъ началахъ, которыя лежатъ въ основаніи Нью-Ланарка. Однимъ словомъ, Овенъ видѣлъ все зло въ общественномъ и личномъ антагонизмѣ человѣческихъ интересовъ, и развращающему его дѣйствію приписывалъ, съ одной стороны, невѣжество и бѣдность массы, а съ другой — безполезную роскошь и умственный деспотизмъ привиллегированнаго класса. Чтобы срыть эти искусственныя границы разъединенія и пассивной борьбы между членами одной гражданской семьи, онъ предложилъ свою „гармонію нравственнаго міра“, въ которой человѣческія страсти и отношенія устроивались такъ, что счастіе каждаго было бы счастіемъ всѣхъ и обратно. Для достиженія этой гармоніи онъ полагалъ

необходимымъ произвести нравственную реформу въ человѣкѣ, измѣнить его понятія сообразно новому плану соціальной жизни, и такимъ образомъ создать въ полномъ смыслѣ общественный характеръ. Но тутъ открывались передъ нимъ два пути, ведущіе къ одной цѣли, но не съ одинаковымъ успѣхомъ и скоростью. Первый путь — воспитаніе народа, которое Овенъ, какъ мы уже сказали, понималъ въ самомъ широкомъ значеніи этого слова. Сюда относилось вліяніе не одной школы и умственнаго развитія, а всѣхъ обстоятельствъ, окружающихъ человѣка и постоянно дѣйствующихъ на образованіе его характера. Такъ-какъ Овенъ не былъ зараженъ метафизическими бреднями, и такой нелѣпости, какъ врожденныя идеи, не допускалъ, то, по его мнѣнію, человѣкъ родится существомъ, способнымъ воспринимать всевозможныя впечатлѣнія внѣшняго міра. Если эти впечатлѣнія идутъ изъ хорошаго источника и формируютъ добрыя наклонности, то человѣку нѣтъ повода быть существомъ злымъ и порочнымъ, потому что зло и преступленіе не имѣютъ въ себѣ ничего привлекательнаго для человѣка. Напротивъ, если внѣшняя обстановка, среди которой мы развиваемся, не совершенствуетъ, а развращаетъ насъ, то не отъ чего намъ быть образцами добродѣтели и героями чести. Такимъ образомъ, какъ негодяи, такъ и честные люди—обязаны своимъ происхожденіемъ не законамъ природы, а общественнымъ условіямъ. Съ законами природы условная нравственность не имѣетъ ничего общаго—и какъ пороки, такъ и добродѣтели создаются чисто-внѣшними обстоятельствами. Поэтому Овенъ придавалъ особенное значеніе образованію характера, какъ силѣ активной, которая управляетъ человѣческими поступками. Можно быть очень умнымъ и просвѣщеннымъ и не имѣть тѣхъ нравственныхъ качествъ, которыя необходимы для общественной дѣятельности. Слѣдовательно, весь вопросъ для Овена состоялъ въ томъ, чтобы развивать хорошія наклонности въ членахъ общества. Но можетъ-ли одно воспитаніе произвести такую реформу, о которой думалъ Овенъ? Сначала онъ былъ убѣжденъ, что одного нравственнаго преобразованія для устройства хорошаго общественнаго порядка недостаточно; потому что, какъ-бы ни были хороши наклонности человѣка, какъ-бы ни былъ высоко развитъ его индивидуальный характеръ, но если внѣшнія обстоятельства не благопріятствуютъ его жизненнымъ проявленіямъ, то онъ будетъ тѣмъ-же, чѣмъ дѣлается растеніе, перенесенное на несвойственную ему почву. Наши доморощенные моралисты ужасно любятъ трактовать о благодѣтельныхъ послѣдствіяхъ нравственнаго воспитанія, но они никакъ не могутъ сообразить, что ихъ нравственность основана на теоретической рутинѣ, такъ-какъ между условіями дѣйствительной жизни и тѣмъ, что́ мы называемъ нравственностію, существуетъ неразрывная связь. Можно сколько угодно проповѣдывать о своихъ личныхъ добродѣтеляхъ, но въ общемъ итогѣ онѣ будутъ ни выше, ни ниже того уровня, на которомъ стоитъ весь обще-

ственный строй. Овенъ понималъ это, и потому первая половина его преобразовательной дѣятельности была посвящена чисто-практическимъ опытамъ,—изслѣдованію соціальнаго положенія низшихъ классовъ и измѣненію его въ лучшемъ направленіи. Это — тотъ самый второй путь, который предстоялъ Овену. Но онъ впослѣдствіи уклонился отъ него и остался непослѣдовательнымъ своей первоначальной задачѣ. Развивая логически свой принципъ, онъ долженъ былъ начать и окончить преобразованіемъ самаго общества, — его учрежденій, условій жизни оффиціальной и частной, однимъ словомъ, всего, что противорѣчило въ англійской націи образованію новаго соціальнаго характера. Но Овенъ не выдержалъ своей роли и подъ старость всѣ свои надежды возложилъ на воспитаніе посредствомъ школы. Такимъ образомъ, его громадный планъ съузился до самыхъ микроскопическихъ размѣровъ. Провозвѣстникъ будущаго, какъ онъ самъ называлъ себя, взялъ указку школьнаго учителя и видѣлъ въ ней рычагъ Архимеда для общественнаго переворота. Въ этомъ вся ошибка этого неутомимаго дѣятеля.

Что-же касается самой системы воспитанія, то самая живая и глубоко-продуманная сторона ея заключалась въ отрицательномъ направленіи, которое не вездѣ одинаково выдержано, но всегда поучительно. Надо замѣтить, что эпоха, въ которую дѣйствовалъ Овенъ, была высшимъ проявленіемъ промышленныхъ предпріятій Англіи. Изобрѣтеніе Ричарда Аркрайта произвело радикальный переворотъ въ индустріальной дѣятельности ея, отразившись прежде всего на благосостояніи рабочихъ классовъ. Мускульная сила человѣка была вытѣснена изъ сферы мануфактурнаго труда паровымъ механизмомъ, который оставилъ безъ работы и безъ куска хлѣба сотни тысячъ людей. Кто знаетъ, что такое бѣдность англійскаго пролетарія, для котораго существуютъ особенные законы, ограждающіе его отъ голодной смерти, тотъ пойметъ всю тягость положенія работника, оставленнаго безъ работы. Бѣдность возрасла до колоссальныхъ размѣровъ, и цифра преступленій увеличивалась соотвѣтственно матеріальнымъ лишеніямъ. Овенъ лучше другихъ видѣлъ, къ какимъ послѣдствіямъ ведетъ эта возрастающая пропорція нищихъ и преступниковъ. Поэтому онъ и явился главнымъ защитникомъ интересовъ рабочаго класса. Съ другой стороны, онъ очень хорошо видѣлъ и то, что англійская аристократія и духовенство лучше филантропіи не могли ничего придумать и, не надѣясь на это средство, намѣренно держали массу на самой низкой степени матеріальнаго и умственнаго состоянія. Общество, и безъ того страдавшее мистицизмомъ, піитизмомъ и тому подобными галлюцинаціями, по уши завязло въ разныхъ мечтательныхъ системахъ, въ борьбѣ религіозныхъ сектъ и въ схоластическихъ препирательствахъ. Реакція, произведенная французской революціей, еще болѣе содѣйствовала этому мрачному настроенію умовъ. Въ народныхъ школахъ господствовалъ невообразимый обскурантизмъ, поддержи-

ваемый разными представителями сектъ. Назначеніе преподавателей и выборъ предметовъ преподаванія находились подъ непосредственнымъ вліяніемъ духовенства. Страшныя нелѣпости и предразсудки систематически поддерживались сектаторами изъ соревнованія другъ къ другу. Въ какомъ жалкомъ и безвыходномъ положеніи находилось тогдашнее народное воспитаніе, можно судить по слѣдующему отзыву Белля: „Въ англійскихъ школахъ бѣднаго мальчика окончательно притупляютъ, такъ что здравый его смыслъ, принесенный имъ въ школу, здѣсь навсегда и остается зарытымъ. Онъ учитъ все, чего не надо учить, и не учится ничему, что̀ было бы полезно учить. Система страха и варварскихъ наказаній, особенно любимая нашими духовными особами, пріучаетъ его заранѣе смотрѣть на жизнь, не какъ на величайшее благо, а какъ на медленную пытку. Стыдъ и позоръ англійскому обществу, которое хлопочетъ объ эманципаціи негровъ, и не замѣчаетъ ихъ у себя передъ глазами, въ нашихъ школахъ и на нашихъ фабрикахъ. Негры счастливѣе на своихъ плантаціяхъ, чѣмъ эти тысячи дѣтей, которыхъ развращаютъ наши школы, служащіе преддверіемъ тюрьмы и ссылки". (Bell. New Scoul. p. 33).

Точно также смотрѣлъ и Овенъ на воспитаніе народа, и главнымъ недостаткомъ его считалъ вмѣшательство англійской церкви въ эту чуждую ему область. Всю свою жизнь онъ протестовалъ противъ этого вмѣшательства и естественно нажилъ главнаго себѣ врага въ клерикальной партіи. Когда онъ составилъ планъ національнаго воспитанія и рекомендовалъ правительству привести его въ исполненіе, то первые возстали противъ Овена клерикалы: „Церковные сановники и ихъ приверженцы, говоритъ онъ,—предвидятъ, что національная система воспитанія бѣдныхъ, если она не подпадетъ подъ непосредственное вліяніе и завѣдываніе ихъ,—будетъ способствовать быстрому уничтоженію заблужденій не только ихъ самихъ, но и всѣхъ подобныхъ имъ учрежденій". (Образованіе человѣческаго характера, стр. 156). Возстановляя противъ себя эту многочисленную и испытанную въ самыхъ разнообразныхъ интригахъ партію, Овенъ долженъ былъ предвидѣть, что побѣда останется на ея сторонѣ;—что за одно съ ней будетъ преслѣдовать его вся масса населенія, умъ и совѣсть котораго находились въ рукахъ этой партіи. Такъ это и случилось. Планъ Овена не осуществился, и оставилъ по себѣ только теоретическія соображенія, которыми отчасти воспользовались преемники его дѣла.

Второй жизненной чертой системы Овена было отрицаніе самой сущности современнаго ему воспитанія. Подобно Беллю онъ утверждалъ, что бѣдные люди учатся тому, что̀ имъ не нужно или вредно и не учатся тому, что̀ имъ дѣйствительно было бы полезно. При этомъ онъ доказывалъ, что ученіе, основанное на враждѣ и разъединеніи общественныхъ интересовъ, не можетъ вести къ благотворнымъ результатамъ; что всякое

улучшеніе метода такого ученія, всякое усовершенствованіе школы въ этомъ направленіи есть новое зло, которое только изощряетъ орудія для бо́льшаго распространенія лжи и лицемѣрія; что пока система воспитанія не приметъ другихъ противоположныхъ началъ—любви и счастія человѣческаго, до тѣхъ поръ было бы лучше, еслибъ народъ вовсе ничему не учился, потому-что школа можетъ быть проводникомъ какъ нравственнаго усовершенствованія, такъ и послѣдовательнаго разврата, смотря по тому, какъ станутъ пользоваться ея пропагандой. Наконецъ, онъ доказывалъ, что аскетическое воспитаніе, какъ обломокъ среднихъ вѣковъ, пренебрегающее развитіемъ физическихъ силъ человѣка и его здоровья, есть рѣшительное искаженіе человѣческой природы; потому-что раціональное умственное развитіе невозможно въ больномъ изуродованномъ и забитомъ существѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Овенъ былъ очевиднымъ свидѣтелемъ тѣхъ несчастныхъ дѣтей, которыхъ уродовала школа, а доканчивала фабрика. Онъ видѣлъ ихъ тысячами въ большихъ городахъ, онъ самъ воспитывалъ ихъ въ Нью-Ланаркѣ. Блѣдныя, съ потухшими глазами, съ впалой грудью, со всѣми признаками органическаго разложенія—они возмущали его однимъ своимъ видомъ. Поэтому онъ считалъ садъ и чистый воздухъ непремѣннымъ условіемъ всякой школы. Впослѣдствіи эта идея получила примѣненіе въ такъ-называемыхъ training-scools, основавшихъ всю педагогическую систему на гимнастическихъ упражненіяхъ и на устной бесѣдѣ наставниковъ съ своими воспитанниками, и притомъ не иначе, какъ въ саду, и на открытомъ воздухѣ. Только для самыхъ необходимыхъ занятій, для письма и черченія оставлена была классная комната. Само собою разумѣется, что не вездѣ можно осуществить эту систему воспитанія; у насъ, напримѣръ, при нашемъ холодномъ климатѣ и суровыхъ зимахъ нечего и мечтать о садахъ впродолженіи 6 и 7 мѣсяцевъ, но во всякомъ случаѣ филистеры наши рано или поздно должны убѣдиться, что игра въ мячъ на свѣжемъ воздухѣ несравненно полезнѣе мальчику, чѣмъ задалбливаніе латинскихъ и греческихъ глаголовъ въ душной и грязной комнатѣ. Но люди, кажется, еще не скоро это поймутъ — къ несчастью подростающихъ поколѣній... И Овенъ это чувствовалъ, когда, обращаясь къ классикамъ своей страны, сказалъ имъ: „у меня съ трупами нѣтъ ничего общаго, и я былъ бы крайне дерзокъ, еслибъ надѣялся убѣдить такихъ свиней, какъ мои противники“. А все-таки свиньи были сильнѣе его, и онъ ничего не могъ сдѣлать съ планомъ своего раціональнаго воспитанія.

1865 г.

НА ЧТО НАМЪ НУЖНЫ ЖЕНЩИНЫ?

(„The subiection of women". By John Stuart Mill. London. 1869).

Когда русская журналистика встрѣчалась съ этимъ, повидимому, крайне-наивнымъ вопросомъ, она рѣшала его съ развязностью Репетилова. Нѣкоторые наши беллетристы, фельетонисты и уличные ловеласы единогласно отвѣчали, что женщины нужны намъ для того, чтобы родить дѣтей. Репетиловымъ возражали, что эта механическая роль столько-же свойственна женщинѣ, сколько и всякой другой самкѣ обширнаго животнаго класса; что женщина, надѣленная отъ природы такимъ-же умомъ и сердцемъ, какъ и мужчина, имѣетъ право требовать другой дѣятельности и другого назначенія въ обществѣ. Репетиловы обзывали эти возраженія утопіей, а возражавшихъ—мальчишками. Съ ними соглашалось большинство отцовъ и дѣтей, и вопросъ считался навсегда покончеиным.

Но вотъ передъ нами книга такого автора, котораго даже наши Репетиловы постыдятся назвать мальчишкой. Это—Джонъ Стюартъ Милль, человѣкъ лѣтъ пятидесяти, одинъ изъ первыхъ мыслителей Англіи, обладающій громадной эрудиціей и такой силой логики, которая разбиваетъ въ дребезги даже довольно сильныхъ противниковъ его философскихъ доктринъ; никто и никогда еще не обвинялъ Милля въ увлеченіяхъ или въ желаніи порисоваться модными идеями. Онъ—не радикалъ, онъ не памфлетистъ, а умъ спокойный, холодный и послѣдовательный. „Съ тѣхъ поръ, говоритъ онъ,—какъ я составилъ себѣ опредѣленныя мнѣнія о соціальныхъ и политическихъ вопросахъ, мнѣніе (о женскомъ вопросѣ) вмѣсто того, чтобы ослабѣть и измѣниться, постоянно укрѣплялось во мнѣ опытомъ жизни и размышленіемъ. Я былъ убѣжденъ, что принципъ, господствующій надъ соціальными отношеніями между обоими полами — легальнымъ подчиненіемъ одного пола другому — есть зло въ самой сущ-

ности и одно изъ главныхъ препятствій человѣческому усовершенствованію; что этотъ принципъ долженъ быть замѣненъ полнымъ равенствомъ, недопускающимъ никакого преобладанія или привиллегіи съ одной стороны или неспособности съ другой".

Но развѣ не то-же самое говорили русскіе мальчишки, что̀ теперь говоритъ англійскій философъ? Развѣ они имѣли дѣло не съ такими-же близорукими противниками, какъ и Милль, отстаивающій свои идеи, какъ онъ выражается, отъ цѣлаго „сонма идіотовъ?" Мы не можемъ не выразить здѣсь глубочайшей признательности этому писателю за то, что онъ поддержалъ насъ своимъ авторитетомъ и пристыдилъ своей книгой тѣхъ публицистовъ, которые еще сохранили нѣкоторую долю способности стыдиться.

Книжка Милля не заключаетъ въ себѣ ничего новаго; онъ не даетъ ни новыхъ выводовъ, ни новыхъ соображеній по женскому вопросу, но онъ соединилъ въ систему все, что̀ было выработано и высказано современнымъ знаніемъ по этому предмету. У него можно найти тѣ-же идеи, которыя разбросаны въ тысячѣ журнальныхъ статей и отдѣльныхъ изданій. Въ этомъ—и достоинство его новаго сочиненія. Это—настольная книжка каждаго мыслящаго человѣка, доступная по своему ясному и популярному изложенію большинству — не говоримъ русской, но англійской публики. Книжку эту охотно прочитаетъ и бѣдная работница, и праздная аристократка, и человѣкъ образованный, и простой. Для насъ она имѣетъ особенную цѣну по своей общедоступности, потому-что мы только еще начинаемъ знакомиться съ женскимъ вопросомъ, получившимъ у другихъ народовъ, какъ, напримѣръ, у американцевъ, не только высокое теоретическое развитіе, но и практическое широкое примѣненіе.

Если бы люди постарались устроить свою жизнь такъ, чтобы всякая вновь открытая истина немедленно осуществлялась на практикѣ, то женскій вопросъ давно былъ бы разрѣшенъ самымъ удовлетворительнымъ образомъ. Никто искренно не сомнѣвается въ томъ, что рабское положеніе женщины въ семействѣ и въ обществѣ есть уродливая вещь, неоправдываемая ни здравымъ смысломъ, ни требованіями соціальной нравственности. Въ самомъ дѣлѣ, кто, кромѣ идіота, рѣшится въ наше время утверждать, что все земное назначеніе женщины въ томъ, чтобы родить дѣтей и быть въ вѣчномъ и безусловномъ повиновеніи у своего деспота. Теоретически всякій согласенъ, что равенство половъ также справедливо и необходимо, какъ равенство вообще въ человѣческихъ отношеніяхъ. Но, какъ только дѣло доходитъ до практическаго примѣненія этой истины, со всѣхъ сторонъ являются противники ея; цѣлый арсеналъ старыхъ предразсудковъ и избитыхъ мыслишекъ выдвигается впередъ въ защиту statu quo, и вопросъ проводится по всѣмъ ржавымъ шлюзамъ житейской рутины.

Для однихъ онъ кажется предметомъ несвоевременнаго размышленія,

для другихъ — физіологическимъ фактомъ, вытекающимъ изъ неравенства организмовъ женскаго и мужского, для третьихъ — мечтой праздной фантазіи и, наконецъ, для всѣхъ — рѣзкимъ и опаснымъ противорѣчіемъ общепринятому порядку. Въ этомъ послѣднемъ аргументѣ — вся сила логики противниковъ женской эмансипаціи. И надо сознаться, что въ практической жизни это—такой полновѣсный аргументъ, съ которымъ всего труднѣе бороться, потому-что на сторонѣ его всегда огромное большинство, а противъ него только — ничтожная горсть мыслящихъ людей. Борьба, очевидно, не ровная, почти безполезная, потому-что *обычай*, укоренившійся во мнѣніи массы и освященный цѣлыми вѣками безсознательной привычки, обыкновенно, не поддается доводамъ разсудка и остается неподвиженъ въ силу своей инерціи. Кромѣ того, въ женскомъ вопросѣ заинтересована вся остальная половина человѣчества. Отъ низшихъ и до высшихъ общественныхъ сферъ, отъ бѣдняка, смотрящаго на женщину, какъ на свой рабочій скотъ, и до богача, видящаго въ ней самое соблазнительное удовлетвореніе своихъ животныхъ аппетитовъ, всѣ желаютъ по-своему господствовать надъ ней и эксплуатировать ее въ свою пользу. Поэтому соціальная реформа по женскому вопросу, въ сущности, гораздо труднѣе всякой политической реформы. Въ политикѣ дѣло касается интересовъ той или другой партіи, того или другого сословія, а здѣсь — всѣхъ и каждаго. Притомъ, политическая зависимость опирается только на физическую силу и этой силой поддерживается, а подчиненіе женщины мужчинѣ запутывается такими сложными отношеніями, въ которыхъ не знаешь, гдѣ оканчивается грубая сила и начинается свободное нравственное чувство. Намъ часто приходится быть свидѣтелями величайшаго извращенія человѣческихъ отношеній, и мы не знаемъ: какъ объяснить ихъ. Есть много случаевъ, что мужъ, первосортный негодяй, тиранитъ свою жену безпощаднѣе всякой скотины, а она его любитъ и, за оскорбленія и побои, платитъ самыми сердечными ласками. Вѣроятно, потому-то и сложился такой стихъ у нашего поэта:

Чѣмъ меньше женщину мы любимъ,
Тѣмъ больше нравимся мы ей.

Предки наши толковали это такъ, что чѣмъ чаще мы колотимъ женщину, тѣмъ больше заявляемъ ей нашего вниманія и симпатіи, такъ-что плеть и любовь были синонимами въ этомъ варварскомъ лексиконѣ. Все это можно объяснить только деморализаціею во взаимныхъ отношеніяхъ мужчины и женщины, и надо замѣтить, что эта деморализація гораздо грубѣе, чѣмъ въ рабскихъ отношеніяхъ негра къ своему плантатору. „Въ борьбѣ, говоритъ Миль, — за политическую независимость, всякому извѣстно, какъ часто защитники ея подкупаются взятками, или уступаютъ страху. Въ положеніи женщинъ каждая подвластная личность находится подъ вліяніемъ хроническаго подкупа или устрашенія“. „Муж-

чины, продолжаетъ Милль,— требуютъ отъ женщинъ не только повиновенія; они требуютъ отъ нихъ привязанности. Всѣ, за исключеніемъ послѣднихъ пошляковъ, желаютъ видѣть въ женщинахъ, самыхъ близкихъ имъ, не только подневольныхъ субъектовъ, но и искренно преданныхъ имъ, не только рабынь, но и наперсницъ. Поэтому они употребляютъ въ практической жизни все, что можетъ опутать ихъ умъ для этой цѣли. Во всѣхъ другихъ положеніяхъ соціальной зависимости, чтобы удержать субъектъ въ повиновеніи, разсчитываютъ на страхъ, религіозный или личный. Обладатели женщинъ требуютъ больше, чѣмъ простого повиновенія, и всю систему женскаго воспитанія направляютъ къ этой цѣли. Всѣ женщины съ самыхъ раннихъ лѣтъ воспитываются въ томъ убѣжденіи, что идеалъ ихъ характера—діаметрально противоположенъ характеру мужчинъ: не самостоятельная воля и свободное управленіе собой, а покорность и вѣчный контроль другихъ. Вся житейская мораль постоянно напоминаетъ имъ, что подчиненность волѣ другого есть обязанность женщины, что по самой своей природѣ она предназначена жить для другихъ... Такимъ образомъ, сообразивъ три вещи — во-первыхъ, естественное влеченіе между противоположными полами; во-вторыхъ, полную зависимость женщины отъ мужчины, отъ котораго она заимствуетъ все, и счастіе и положеніе; наконецъ, какъ главный предметъ человѣческихъ желаній — уваженіе и соціальное достоинство могутъ быть предметомъ соисканія и обладанія для нея только посредствомъ мужа,— сообразивъ все это, было бы чудомъ, если бы все, что́ нравится мужчинамъ, не было вмѣстѣ съ тѣмъ путеводной звѣздой воспитанія женщины и образованія ея характера. Разъ заручившись такимъ вліяніемъ на развитіе женщины, инстинктъ личнаго эгоизма подсказалъ мужчинѣ, что самая существенная часть половой привлекательности заключается для женщины въ ея безусловномъ повиновеніи, нѣжности, безгласности и въ передачѣ всѣхъ индивидуальныхъ ея желаній въ руки сильнѣйшаго. Нѣтъ сомнѣнія, что ни одно изъ постепенно ниспровергнутыхъ человѣческихъ угнетеній не было бы ниспровергнуто и до сихъ поръ, если бы его поддерживали такими средствами и въ такой обольстительной формѣ". Послѣ этого неудивительно, что женскій вопросъ еще такъ далекъ отъ своего практическаго разрѣшенія и такъ глубоко деморализованъ въ самомъ корнѣ.

А между тѣмъ враги женской независимости выставляютъ эту деморализацію, какъ доказательство нормальнаго положенія. Какихъ перемѣнъ еще желать, если сами женщины не только добровольно, но и съ любовію несутъ свое иго. Если онѣ молчатъ — значитъ, не на что жаловаться. Но такая аргументація отличается крайней недалекостію своихъ представителей. Во-первыхъ, молчаніе вовсе не есть признакъ согласія и никакъ не можетъ быть оправданіемъ какой-бы то ни было нелѣпости. Во время крѣпостного права наши крестьяне также молчали и многіе

изъ нихъ съ любовію относились къ своимъ господамъ. Рабство имѣетъ свои привязанности, точно также, какъ долговременная тюрьма часто дѣлается предметомъ сожалѣнія для арестанта, выпускаемаго на волю. Но было бы ужъ очень глупо изъ этого заключать, что рабство и тюрьма прекрасныя и желательныя вещи. Если женщины не протестуютъ en masse противъ своего безправнаго положенія, то надо помнить, что все ихъ воспитаніе, вся общественная обстановка внушаютъ имъ отъ колыбели и до гроба чувство повиновенія и сознаніе ихъ собственнаго безсилія. Всѣ имъ говорятъ, что онѣ рождены не для гражданской дѣятельности, не для умственнаго труда, а для услажденія часовъ досуга своихъ владыкъ и для украшенія концертныхъ и праздничныхъ залъ. Объ этомъ неустанно повторяютъ имъ наемные педагоги, поэты и романисты; одни дарятъ имъ цѣпи изъ желѣза, а другіе плети изъ цвѣтовъ. Но многіе-ли говорятъ имъ о необходимости самостоятельнаго развитія и общественной ихъ независимости? Загляните въ пансіоны, институты, въ домашнюю систему воспитанія — и отвѣтьте, многіе-ли воспитываютъ дѣвушку для другой жизни и для другихъ цѣлей, кромѣ искусства найдти себѣ поскорѣе мужа и получше приноровиться къ его султанскимъ требованіямъ? Въ такой атмосферѣ не воспитывается чувство независимости и уваженія къ своему личному достоинству. Самый забитый негръ, по обыкновенію, былъ самымъ покорнымъ барономъ. Поэтому, протестующая сила тутъ мертва не потому, чтобы не было причинъ для ея проявленія, а потому, что нѣтъ сознанія своего положенія. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы молчаніе было полное. Напротивъ, каждый день и каждый часъ раздается если не голосъ, то стонъ противъ злоупотребленія власти сильнаго надъ безсильной. Сколько является на скамьѣ подсудимыхъ вопіющихъ протестовъ противъ злоупотребленія отцовской, супружеской и братской власти,—и сколько невидимыхъ и никому неизвѣстныхъ слезъ течетъ въ силу того-же глухого протеста. Сколько изломанныхъ жизней, испорченныхъ характеровъ, надорванныхъ чувствъ и безполезныхъ жертвъ соединяется въ этомъ нескончаемомъ протестѣ. Намъ извѣстна путемъ гласности едва-ли и сотая доля тѣхъ трагическихъ сценъ, которыя совершаются втихомолку развратными самодурами, подъ ихъ семейнымъ кровомъ. Да и то не надо забывать, что у женщинъ отняты почти всѣ средства гласной защиты. Представительныя системы — даже лучшая изъ нихъ американская — лишаютъ ихъ права голоса; всякій полуидіотъ можетъ быть членомъ парламента, и ни одна геніальная женщина не можетъ быть имъ. Въ законодательныхъ собраніяхъ, въ судѣ, въ адвокатурѣ она не принимаетъ никакого участія, и, слѣдовательно, не можетъ отстаивать своихъ интересовъ. Единственная отрасль дѣятельности — почти незамѣтная въ львиномъ дѣлежѣ мужчинъ — это литературная, дозволена женщинѣ, но и то съ какими ограниченіями! Какъ писатель, она должна скрывать свое

имя отъ общественнаго мнѣнія, отъ пересудовъ и разныхъ оскорбительныхъ намековъ своихъ ближайшихъ сосѣдей. Поэтому дѣло не въ томъ, что всѣ молчатъ, а въ томъ, что, за неимѣніемъ открытыхъ органовъ для мирнаго и разумнаго протеста, чувство оппозиціи направляется не туда, куда бы ему слѣдовало. Подъ вліяніемъ домашнихъ дрязгъ и гнета, доведенная до болѣзненнаго раздраженія, женщина, обыкновенно, рѣшается на самые странные поступки. Она вымѣщаетъ свою ненависть на дѣтяхъ, на животныхъ, на себѣ; она не разсуждаетъ, гдѣ именно скрывается причина этого патологическаго состоянія, она не восходитъ до пониманія самаго принципа, а обращаетъ свою разрушительную силу на то, что̀ можно осязать, видѣть и что̀ ближе къ ней находится. Г-жа Умецкая протестовала поджогами ничѣмъ неповиннаго въ ея гнетѣ отцовскаго дома, и такихъ случаевъ безчисленное множество. Такимъ образомъ, защитники афоризма: что молчаніе есть знакъ согласія, — неправы въ самой сущности своего мнѣнія.

Еще хуже, чѣмъ нравственная зависимость, отражается на характерѣ женщины ея экономическая безпомощность. Въ этомъ отношеніи она предоставлена игрѣ такихъ случайностей, которыхъ испугался бы самый отчаянный пролетарій, еслибъ отнять у него надежду на поддержку его мускульной силы. Не обезпеченная въ семействѣ, не вышедшая замужъ, бѣдная женщина считаетъ себя почти потерянной. Мускульный трудъ ея цѣнится вездѣ дешевле мужского, и притомъ она получаетъ его только тамъ, гдѣ въ немъ не нуждается мужчина. Если-же она—мать нѣсколькихъ дѣтей, то она должна прокормить своимъ скуднымъ заработкомъ не только себя, но и своихъ малютокъ. „Вы удивляетесь, господа филантропы и лицемѣрные моралисты, говоритъ Шатлэ,—что проституція, несмотря на ваши громовыя проповѣди и раздаваемыя вами грошовыя подаянія, растетъ въ такой ужасающей пропорціи; вы приписываете это явленіе упадку семейной нравственности, и обвиняете въ этомъ современную цивилизацію. Но я могу убѣдить васъ статистическими неоспоримыми данными, что семейная нравственность XIX вѣка настолько-же выше этой нравственности въ прошломъ столѣтіи — и неизмѣримо выше воспѣваемой вами патріархальной эпохи, — насколько положительное знаніе выше вашихъ догматическихъ словоизверженій. Вспомните только одно, что не только фактически, но и юридически первая ночь новобрачной принадлежала сеньору — въ вашу патріархальную эпоху. Теперь ни одинъ негодяй не требовалъ бы этого во имя закона, и постыдился бы взять силой. Вспомните, что еще недавно въ нашихъ южныхъ захолустьяхъ Прованса молодая дѣвушка не рѣшалась выйдти одна изъ дому даже среди бѣлаго дня; теперь она безопасно можетъ путешествовать по всей Европѣ, не боясь ни оскорбленій, ни насилія. Поэтому, обвинять упадокъ семейной нравственности въ возрастающемъ потокѣ проституціи, по меньшей мѣрѣ, неосновательно. Корень зла ле-

житъ глубже, но вы сквозь ваши зеленые докторскіе очки не можете разсмотрѣть его. Это зло — соціальное, прямо вытекающее изъ экономическаго рабства женщины. Вы постоянно повторяете ей: *трудись!* и когда она съ груднымъ ребенкомъ явится къ вамъ просить труда на фабрикѣ или мѣста домашней прислуги, вы отказываете ей въ трудѣ. Вы говорите ей: *учись!* и когда она съ запасомъ своего знанія явится къ вамъ просить диплома медика, вы просите ее отправиться въ Алжиръ, если ей угодно. Вы ввѣряете ей домашнее воспитаніе дѣтей, но когда она проситъ у васъ оффиціальную обязанность школьнаго преподавателя или профессора университета, вы отвергаете ее. Ваши канцеляріи набиты такой неспособной дрянью, что вы сами недовольны ею, а попросись самая трудолюбивая и умная женщина въ вашу канцелярію, вы откажете ей. Что-же ей остается дѣлать среди вашего общества, когда всѣ отрасли дѣятельности для нея закрыты? Когда она по умственному развитію можетъ стоять неизмѣримо выше многихъ изъ васъ, и все-таки вы не дадите ей мѣста даже между конторщиками. Гдѣ-же ей искать труда и средствъ къ существованію? На улицѣ, и только на улицѣ! Если она не имѣла счастія броситься въ объятія перваго шалопая, предлагавшаго ей руку, если она не получила въ наслѣдство независимаго состоянія, то ей трудно не продать себя на обширномъ рынкѣ современной проституціи. Согласитесь, что голодъ не утоляется вашими проповѣдями и полицейскими строгостями, что чувство самосохраненія—слишкомъ законное чувство, чтобы остановиться передъ позоромъ въ общественномъ мнѣніи; и она продаетъ себя на улицѣ первому встрѣчному, — продаетъ молодость, здоровье, сердце и часто самую жизнь, чтобы не умереть голодной смертью. Вотъ гдѣ источникъ проституціи и ея возрастающей прогрессіи". (La prostitution des femmes, p. 32). Той-же экономической зависимости надо приписать эксплуатацію женскихъ силъ въ промышленномъ мірѣ. Избытокъ женщинъ, желающихъ работать на фабрикѣ или въ домашней прислугѣ, увеличивая спросъ на трудъ, пропорціально этому спросу понижаетъ заработную плату. „Есть женщины и, конечно, не одна тысяча ихъ, которыя въ Лондонѣ и Парижѣ работаютъ, не вставая съ мѣста по 10 часовъ въ сутки и не добываютъ себѣ на скудную пищу и какую-нибудь квартиру. Еще больше, конечно, тѣхъ, которыя знаютъ, что путемъ проституціи онѣ могутъ въ одинъ вечеръ достать на цѣлую недѣлю безбѣднаго существованія. Вотъ къ чему приводитъ неравенство половъ, какъ остатокъ стараго варварскаго времени, какъ наслѣдіе личнаго произвола сильнаго надъ слабымъ".

Изъ того-же принципа, по мнѣнію Милля, вытекаютъ всѣ мѣры англійскаго законодательства, касающіяся брака. Законы эти возникли давно, время опередило ихъ, общественное мнѣніе старается смягчать ихъ прежнюю дикость, но они существуютъ въ полной юридической силѣ. Они построены на чисто-экономической эксплутаціи женской личности

и женскаго труда. „Сначала, говоритъ Милль,—женщины пріобрѣтались силою (умыкались), или отецъ, по заведенному обычаю, продавалъ свою дочь ея будущему мужу. До послѣдняго времени отецъ былъ воленъ распоряжаться дочерью по своему личному произволу и вкусу, безъ всякаго участія ея воли. Правда, церковь, въ своемъ уваженіи къ нравственному принципу, зашла такъ далеко, что требовала формальнаго „да" при совершеніи брачнаго обряда, но и это согласіе, разумѣется, носило совершенно принудительный, подневольный характеръ; для дѣвушки не было никакой физической возможности противиться настоятельнымъ требованіямъ отца, кромѣ, быть можетъ, того исхода, когда она, произнося обѣтъ монашества, становилась подъ непосредственное покровительство религіи. Послѣ совершенія брачнаго обряда мужъ въ древнія времена (въ до-христіанскую эпоху) пріобрѣталъ право жизни и смерти надъ своею женою. На него она не могла аппелировать ни къ какому закону: мужъ былъ для нея единственный судъ и законъ. Долгое время онъ пользовался правомъ давать ей разводъ, но она не пользовалась тѣмъ-же правомъ по отношенію къ нему. Старинные законы Англіи называютъ мужа *лордомъ*, т. е. верховнымъ господиномъ его жены. И, дѣйствительно, мужъ былъ въ буквальномъ смыслѣ ея верховнымъ повелителемъ, и сообразно съ этимъ если жена убивала своего мужа, то это называлось измѣной (petty въ отличіе отъ high treason, государственной измѣны); въ этомъ случаѣ убійцу наказывали съ большей жестокостью, чѣмъ даже за государственную измѣну — именно сожженіемъ. Такъ-какъ эти различныя изувѣрства вышли изъ употребленія (по бо́льшей части они никогда и не были отмѣнены формально, или же отмѣна состоялась, когда они и безъ того давнымъ-давно были изгнаны изъ практики), то многимъ вообразилось, что по отношенію къ брачному союзу все обстоитъ такъ, какъ ему обстоять надлежитъ, и намъ постоянно твердятъ, что цивилизація и христіанство возстановили священныя права женщины. Напротивъ, женщина и въ настоящее время, по европейскимъ законамъ, остается рабою своего мужа; въ смыслѣ легальной подчиненности она также порабощена, какъ и существа, обыкновенно, называемыя невольниками. Жена не можетъ сдѣлать ни одного шага безъ прямого — хотя-бы и нѣмого — на то позволенія мужа. Она можетъ пріобрѣтать собственность только для него; чуть только имущество переходитъ въ ея руки, хотя бы по наслѣдству, мужъ ipso facto становится хозяиномъ ея добра. Въ этомъ отношеніи положеніе жены подъ ферулою общаго закона въ Англіи еще хуже участи невольниковъ во многихъ странахъ; у римлянъ, напр., невольнику позволялось имѣть свою личную собственность (peculium), и законъ до нѣкоторой степени гарантировалъ исключительное пользованіе ею. Подобное-же преимущество высшіе классы предоставили своимъ женщинамъ и въ Англіи, посредствомъ частныхъ контрактовъ, заключаемыхъ помимо закона, посредствомъ заведенія женниныхъ кассъ

(pin-money) и т. д., такъ-какъ родственное чувство отца оказалось сильнѣе чувства солидарности между членами одного пола, и потому отецъ вообще предпочитаетъ свою дочь совершенно постороннему для него зятю. Посредствомъ различныхъ соглашеній богатые стараются оградить все приданое жены, или его часть отъ полноправнаго контроля мужа, но они не могутъ ввѣрить это имущество ея собственному контролю. Все, что́ они могутъ сдѣлать — это не допустить мужа до растраты приданаго, но при этомъ и настоящая собственница не располагаетъ правомъ пользованія. Самое имущество ограждено отъ обоихъ, а что до получаемыхъ съ него доходовъ, то при самой лучшей для жены формѣ соглашенія (когда выговаривается „ея отдѣльное пользованіе") мужъ не можетъ только собирать ихъ вмѣсто нея; доходы должны пройти чрезъ ея руки, но если онъ отниметъ ихъ у жены, когда она ихъ получила, то его нельзя ни наказать, ни принудить къ возвращенію похищеннаго. Вотъ и все покровительство, какое самый могущественный нобльмэнъ Англіи можетъ оказать своей дочери, по отношенію къ мужу, при нынѣ дѣйствующемъ кодексѣ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ дѣло обходится безъ всякихъ соглашеній, и тогда-то происходитъ полнѣйшее поглощеніе всѣхъ правъ, всякой собственности, также какъ и всякой свободы дѣйствій. Мужъ и жена называются „однимъ лицомъ предъ закономъ", для того, чтобы показать, что все, что́ принадлежитъ ей, принадлежитъ также и ему, однако, параллель эта никогда не приводится въ томъ смыслѣ, чтобы все, принадлежащее ему, составляло также и ея собственность; правило это примѣняется къ нему только въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда онъ долженъ отвѣчать за ея поступки, подобно тому, какъ хозяинъ отвѣчаетъ за свою челядь или скотину. Я вовсе не хочу утверждать, что жены вообще пользуются не лучшимъ обращеніемъ сравнительно съ невольниками, но ни одинъ рабъ не порабощенъ такъ всецѣло, въ такомъ полномъ значеніи слова, какъ жена. Едва-ли какой-нибудь рабъ — если только онъ не приставленъ къ личнымъ услугамъ своему господину — порабощенъ во всѣ часы и минуты своей жизни; вообще-же, подобно солдату, онъ имѣетъ какую-нибудь опредѣленную службу, и когда она исполнена, или когда его отъ нея уволили, — онъ въ извѣстныхъ предѣлахъ располагаетъ своимъ собственнымъ временемъ, наслаждается семейной жизнью, въ которую господинъ его вторгается рѣдко. „Дядя Томъ", при своемъ первомъ господинѣ, жилъ своею самостоятельною жизнію въ „хижинѣ" почти совершенно также, какъ это возможно для человѣка, отвлекаемаго изъ-подъ семейнаго крова условіями его труда. Не то бываетъ съ женою. За обыкновенной рабою (въ христіанскихъ странахъ) признается право, на нее возлагается даже нравственный долгъ отказывать своему господину въ послѣдней фамильярности. Жена дѣло иное: къ какому бы звѣрскому тирану ни приковало ее несчастіе — хотя бы она знала, что онъ ее ненавидитъ, хотя бы онъ съ наслажденіемъ мучилъ

ее ежедневно, хотя бы она не могла превозмочь омерзенія къ нему — несмотря на это, онъ можетъ настойчиво требовать отъ нея послѣдняго униженія, какому можетъ подвергнуться человѣческое существо — онъ имѣетъ право заставить ее всегда служить орудіемъ въ животномъ отправленіи, омерзительномъ для ея нравственнаго чувства. Тогда, какъ ея личность подавлена этимъ наихудшимъ видомъ рабства, каково-же положеніе ея относительно дѣтей, въ которыхъ сосредоточенъ обоюдный интересъ ея и мужа-повелителя? По закону они — его дѣти. Онъ одинъ имѣетъ на нихъ какія-бы то ни было легальныя права. Ни съ ними, ни относительно ихъ она ничего не можетъ сдѣлать, не имѣя на то полномочія отъ мужа. Даже послѣ его смерти она не становится ихъ законною опекуншею, если только не была формально назначена въ его духовномъ завѣщаніи. Прежде онъ могъ даже удалить ихъ отъ нея и лишить ее всякихъ средствъ видѣться съ ними или имѣть отъ нихъ извѣстіе, но теперь право это въ нѣкоторой степени ограничено актомъ Тальфорда. Таково легальное положеніе жены. И она не имѣетъ никакихъ способовъ выйти изъ этого положенія. Если ей придетъ желаніе бросить своего мужа — она ничего не можетъ взять съ собою — ни дѣтей, ни чего-бы то ни было, принадлежащаго ей по праву. Если ему заблагоразсудится — онъ можетъ заставить ее возвратиться — закономъ или просто физической силой, можетъ также, если ему угодно, отнять у нея въ свою пользу то, что́ она заработаетъ или что́ дадутъ ей родственники. Только легальный разводъ, состоявшійся по приговору суда, позволяетъ ей жить отдѣльно, не подвергаясь опасности опять попасть подъ надзоръ разъяреннаго тюремщика, — или уполномочиваетъ ее употреблять на собственную пользу плоды трудовъ безъ всякихъ опасеній, что не сегодня — завтра на нее можетъ напасть человѣкъ, котораго она, можетъ быть, не видала лѣтъ двадцать и который отниметъ все, нажитое ею, добро. Но до послѣдняго времени суды предоставляли такую легальную сепарацію только цѣною издержекъ, дѣлавшихъ ее недоступною для людей, не принадлежащихъ къ высшимъ классамъ. Даже въ настоящее время разводъ дается только въ случаяхъ отсутствія или крайней жестокости супруга. А между тѣмъ каждый день слышатся жалобы на чрезмѣрную легкость разводовъ. Если женщинѣ отказывается въ какомъ-бы то ни было иномъ жизненномъ жребіи, кромѣ личной рабской подчиненности деспоту, если все для нея зависитъ отъ счастливаго выбора человѣка, который захочетъ сдѣлать изъ нея фаворитку, а не ломовую скотину, то было бы очень жестоко отягощать ея судьбу еще тѣмъ условіемъ, что она должна испытывать свое счастіе не болѣе одного раза. Такъ какъ всѣ условія ея жизни зависятъ отъ пріисканія добраго господина, то естественнымъ слѣдствіемъ и результатомъ такого порядка вещей было бы то, что она должна имѣть право выбирать еще и еще, пока не нападетъ на удачный выборъ. Я вовсе не говорю, что ей слѣдуетъ предо-

ставить это преимущество. Это совершенно другой вопросъ, и я нисколько не касаюсь развода по отношенію къ праву дальнѣйшаго вступленія въ бракъ. Но я говорю только, что для тѣхъ, кому дозволено одно рабство, свободный выборъ рабства долженъ служить единственнымъ, хотя и совершенно недостаточнымъ облегченіемъ. Устраненіе такого выбора окончательно уподобляетъ жену невольнику — и притомъ далеко не въ самой кроткой формѣ рабства, такъ-какъ въ нѣкоторыхъ кодексахъ рабъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ дурного обращенія, можетъ легально заставить господина продать его. Но въ Англіи никакая мѣра дурного обращенія, безъ уважительнаго резона прелюбодѣянія, не освобождаетъ жену отъ ея мучителя".

Если бы это легальное положеніе, такъ вѣрно нарисованное Миллемъ, не смягчалось въ практической жизни англичанъ, далеко опередившей ихъ уродливую казуистику, то семейная жизнь, по остроумному выраженію Понча, была бы настоящей пенитенціарной тюрьмой, гдѣ вѣчно исправляемая женщина была бы самой скучной жертвой своего еще болѣе скучнаго исправителя — мужа.

Указывая на единственно-вѣрный путь къ выходу изъ этого обоюдно ненормальнаго положенія, Милль считаетъ равенство половъ первой и необходимый ступенью къ этому выходу.

„Равенство супруговъ передъ закономъ есть не только единственная мѣра, которая можетъ согласить подобный союзъ съ справедливостью, по отношенію къ обѣимъ сторонамъ, и вести ихъ къ обоюдному счастью, но это также единственный способъ сдѣлать обыденную жизнь человѣчества школою нравственнаго воспитанія въ высшемъ значеніи этого слова. Только общество между равными можетъ быть питомникомъ дѣйствительнаго нравственнаго чувства, хотя бы истина эта и не была вообще прочувствована и сознана въ интересѣ грядущихъ поколѣній. До сихъ поръ нравственное воспитаніе человѣчества, главнѣйшимъ образомъ, направлялось закономъ силы и приноравливалось къ отношеніямъ, создаваемымъ насиліемъ. Въ мало развитомъ обществѣ люди съ трудомъ допускаютъ какія-бы то ни было связи съ равными. Быть равнымъ — значитъ быть врагомъ. Все общество, отъ самого высокаго до самого низкаго положенія, представляетъ цѣпь или скорѣе лѣстницу, на которой каждое отдѣльное лицо стоитъ выше или ниже своего ближайшаго сосѣда, и кто не приказываетъ, тотъ долженъ повиноваться... Но приказаніе и повиновеніе — вѣдь это только несчастныя необходимости человѣческой жизни; общество равныхъ — вотъ ея идеалъ. Уже теперь, по мѣрѣ облагороженія жизни, господство и повиновеніе болѣе и болѣе дѣлаются исключительными явленіями, тогда какъ ассоціація равныхъ обращается въ общее правило. Мораль первыхъ вѣковъ исторіи основывалась на обязанности подчиняться силѣ; въ послѣдующую затѣмъ эпоху возникло право слабаго на пощаду и защиту сильнаго. Долго-ли еще

[illegible] общественный [illegible] будет [illegible] построенного [illegible] времени. У [illegible] были [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] и [illegible] — теперь [illegible] [illegible] и [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] развитие [illegible] в [illegible] [illegible] — а [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] необходимо и в другой сферѣ — въ общественной дѣятельности. [illegible] женщинѣ доступъ къ тѣмъ [illegible] профессіямъ, которыя теперь составляютъ монополію [illegible] — [illegible] [illegible] общественной дѣятельности [illegible] и [illegible] [illegible] [illegible] до сихъ поръ [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] у женщинъ менѣе [illegible] и способности — [illegible] [illegible] въ [illegible] и [illegible] [illegible]. Если Екатерина II была хорошимъ законодателемъ, то почему-же какая-нибудь Екатерина Великая не можетъ быть хорошимъ великимъ или архитекторомъ? Если въ Италіи въ средніе вѣка нѣсколько женщинъ были знаменитыми профессорами университетовъ и извѣстными [illegible] своего времени, то почему-же въ XIX вѣкѣ женщина не можетъ быть хорошимъ преподавателемъ [illegible] училища? Мы слышимъ отсюда жалобы на недостатокъ способныхъ людей, и закрываемъ цѣлой половинѣ человѣчества дверь въ тѣ, гдѣ нужна полезная общественная дѣятельность. У насъ нѣтъ ни хорошихъ техниковъ, ни наставниковъ, нѣтъ способныхъ судей и множество послѣдней грани въ числѣ адвокатовъ, и все-таки мы не допускаемъ женщину до этихъ профессій.

Наконецъ, въ интересахъ подрастающаго поколѣнія равенство половъ могло бы оказать громадную услугу. Одинъ изъ величайшихъ недостатковъ современнаго воспитанія, это — пренебреженіе къ выработкѣ характера или той активной способности, которая управляетъ всею дѣятельностію человѣка. Безсиліе и тряпичность — обыкновенныя черты нашего паразитнаго образованія. Чтобы поднять уровень характеровъ сильныхъ и энергическихъ, необходимо вліяніе матери на первоначальное воспитаніе дѣтей. Но можетъ-ли мать вліять на сформированіе характера сына или дочери, когда у нея самой нѣтъ никакого. Первую пробу на характеръ человѣка кладетъ независимое положеніе его въ обществѣ, независимый выборъ дѣятельности и свободное преслѣдованіе своихъ цѣлей. Само собою разумѣется, что настоящее подневольное положеніе женщины совершенно противоположно этому порядку вещей. Раба можетъ воспитать только раба. Поэтому, независимость женщины должна радикально преобразовать жалкую систему современнаго воспитанія и облагородить самыя темныя стороны нашей жизни. Только умственная трусость и своекорыстіе могутъ отступать передъ такими идеалами, лучшими и благороднѣйшими идеалами будущаго.

1869 г.

ЖЕНСКІЙ ТРУДЪ И ВОЗНАГРАЖДЕНІЕ ЕГО.

(Think and act, A Series of articles pertaining to men and women, work and wages. By Virginia Penny. Philadelphia. 1869).

Въ концѣ сентября 1869 года американское „Общество женскаго труда", основанное въ 1852 году, устроило громадный митингъ въ городѣ Балтиморѣ. На этомъ митингѣ присутствовали всѣ лучшіе представители американской интеллигенціи, всѣ замѣчательныя женщины, занимающія видное общественное положеніе — медики, натуралисты, астрономы и педагоги; тутъ были многіе вліятельные фабриканты, европейскіе путешественники, простые работники, сидѣвшіе рядомъ съ милліонерами. Обширная зала Балтиморскаго клуба и хоры ея были до того наполнены посѣтителями, что многіе изъ нихъ не находили себѣ мѣста во время вечернихъ засѣданій. Цѣль этого митинга состояла въ томъ, чтобы представить сжатый, но точный обзоръ всей дѣятельности американскаго общества по женскому вопросу со всѣми практическими результатами ея и предложить на обсужденіе слѣдующія задачи: какія отрасли частнаго и общественнаго труда можно обезпечить исключительно за женщинами и какими средствами достичь этого обезпеченія? Какимъ минимумомъ опредѣлить задѣльную плату женщины въ различныхъ мѣстностяхъ и сферахъ труда и, наконецъ, какими дѣйствительными мѣрами замѣнить безполезныя филантропическія учрежденія и уничтожить женскій пауперизмъ въ самомъ источникѣ его? Какъ самая важность вопросовъ, предложенныхъ собранію, такъ и интересъ, возбужденный въ публикѣ стеченіемъ умственныхъ знаменитостей, дали митингу торжественный характеръ. „Мы давно не видѣли, говоритъ балтиморскій „Democrat", — такого блистательнаго соединенія въ одномъ пунктѣ ума, честности, литературныхъ и ученыхъ отличій, такого брат-

скаго согласія между самыми разнообразными общественными дѣятелями и соціальными положеніями. Въ одной залѣ, на одной скамейкѣ сидѣли и бѣдный и богатый, образованный и человѣкъ темный, житель юга и сѣвера, демократъ и республиканецъ, соціалистъ и филантропъ — всѣ они какъ-будто забыли на это время различіе нашихъ мѣстныхъ антипатій, убѣжденій и духа партій. Мы давно не слышали такихъ оживленныхъ дебатовъ, полныхъ энергіи ума, оригинальности идей. Засѣданія часто продолжались отъ 8 часовъ вечера далеко за полночь, и слушатели не уставали, дебаты не прерывались. Благодаря тому, что женщины руководили собраніемъ, никто не нарушалъ спокойствія засѣданій, никто не позволилъ себѣ никакой неприличной выходки, хотя тутъ было много и противниковъ женской эмансипаціи... Все это ясно показываетъ, что женскій вопросъ стоитъ на очереди своего разрѣшенія. Это одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ современной американской культуры, одинъ изъ двигателей нашей будущей цивилизаціи. Что бы ни говорили защитники женскаго рабства, но они не могутъ отрицать одного, что самая лучшая, самая интеллигентная часть общества не на ихъ сторонѣ, не въ пользу ихъ узкаго и своекорыстнаго консерватизма".

Балтиморскій митингъ, однакожъ, не увѣнчался тѣмъ практическимъ успѣхомъ, какого ожидали отъ него. Все, что онъ успѣлъ сдѣлать, — привести въ стройную систему разнообразныя тэмы по женскому вопросу и раздать дальнѣйшую разработку ихъ нѣсколькимъ членамъ общества, спеціально посвятившимъ себя этому дѣлу. Нѣтъ сомнѣнія, что къ будущему собранію явится полный трудъ, какого до сихъ поръ еще не было, и женскій вопросъ будетъ освѣщенъ со всѣхъ сторонъ въ его теоретической разработкѣ. Только тогда и можно ожидать смѣлаго и разумнаго практическаго разрѣшенія его. Хорошія идеи прививаются къ жизни не иначе, какъ укрѣпившись прежде въ сознаніи людей, отъ которыхъ зависитъ ихъ осуществленіе.

На балтиморскомъ митингѣ принимала дѣятельное участіе извѣстная американская писательница, Виргинія Пенни. Работая уже давно по женскому вопросу, она приняла на себя трудъ изслѣдовать практическимъ путемъ положеніе американской работницы и представить со временемъ свою работу на разсмотрѣніе общества. Отдѣльныя главы изъ этого обширнаго труда она недавно напечатала подъ заглавіемъ „Думайте и дѣлайте" (Think and act), которыми мы, между прочимъ, и воспользовались для этой статьи.

II.

„Политическая свобода Америки, говоритъ Виргинія Пенни, — есть, конечно, великое пріобрѣтеніе нашихъ отцовъ, но она не даетъ намъ

права успокоиваться на одномъ этомъ пріобрѣтеніи; напротивъ, она должна служить постояннымъ стимуломъ для дальнѣйшаго нашего прогресса, средствомъ для развитія экономическихъ силъ и того соціальнаго благосостоянія, безъ котораго политическая свобода есть не больше, какъ мертвый капиталъ въ рукахъ голоднаго человѣка. Мы гордимся нашими учрежденіями, но мы часто забываемъ, что на богатой и свободной американской землѣ есть тысячи бѣдныхъ женщинъ, безъ крова, безъ труда и безъ всякаго общественнаго положенія. Если дѣйствительно наши учрежденія вполнѣ совершенны, то такого явленія не должно было бы существовать въ Америкѣ. Одно изъ двухъ — или учрежденія наши дурны — чего я не думаю — или одной политической свободы еще недостаточно для полнаго счастія человѣческихъ обществъ".

Отправляясь отъ этой точки зрѣнія, мистрисъ Пенни думаетъ, что пока рынокъ труда будетъ монополизированъ въ пользу мужчинъ и закрытъ для женщинъ, экономическое благоденствіе Америки невозможно.

„Благодаря многимъ событіямъ, продолжаетъ Пенни, — общественное вниманіе сильно затронуто этимъ предметомъ. Сколько честныхъ и полезныхъ дѣвушекъ осталось безъ дѣла, благодаря послѣдней ужасной войнѣ! Такихъ дѣвушекъ насчитываютъ многими сотнями, даже тысячами. Послѣ страшнаго финансоваго кризиса въ 1857 году многія изъ нихъ остались безъ крова и куска хлѣба. Газета „New-Iork Tribune" по этому поводу говоритъ: „По точнымъ вычисленіямъ болѣе семи тысячъ женщинъ готовятся перекочевать на дальній западъ, такъ-какъ здѣшнее общество не хочетъ протянуть имъ руку помощи. Онѣ должны благодарить судьбу уже и за нищенскую подачку. Женщину можно назвать ни за что ни про что̀ обиженнымъ существомъ, которое получаетъ половинную плату за все, что̀ дѣлаетъ, и должна платить сполна за все, въ чемъ нуждается. Ни въ одной здѣшней гостинницѣ или харчевнѣ (да и нигдѣ, могли бы мы прибавить) для женщины не дѣлаютъ сбавки пятидесяти процентовъ. Мясникъ, хлѣбникъ, продавецъ чая и сахара, всѣхъ возможныхъ съѣстныхъ припасовъ, всякихъ принадлежностей рукодѣльной работы — всѣ берутъ съ нея самую высокую цѣну. Ни одинъ омнибусъ не посадитъ ее за половину назначеннаго со всѣхъ сбора. Она заработываетъ, какъ ребенокъ, а платитъ, какъ взрослый мужчина. Мало того: благодаря своему полу, если не варварскому обычаю, она не можетъ быть принята въ число людей, пользующихся наиболѣе высокимъ заработкомъ. Ея руки, ноги, мозгъ — все связано путами. Предоставляемъ читателю самому поразмыслить, насколько въ этихъ словахъ горькой правды".

„Люди еще не достаточно размышляли о жалкомъ вознагражденіи женскаго труда или хорошенько не знали, ка̀къ пособить горю. Это — грустное наслѣдіе варварскихъ временъ и варварскихъ народовъ. Я вовсе не дѣлаю намека на моихъ соотечественниковъ, я знаю, что многіе

между ними относятся къ дѣлу гуманно и добросовѣстно, отъ души желая, чтобы женщинамъ была оказана справедливость.

„Женщинѣ, для ея содержанія, нужно нисколько не меньше чѣмъ мужчинѣ. Ея костюмъ убыточнѣе.

„Очень часто хворые, изувѣченные родители нуждаются въ ея помощи, или уже въ такомъ положеніи находятся малолѣтнія сироты — братья и сестры. Не будь даже и этой крайности, женщинѣ, не менѣе, чѣмъ мужчинѣ, нужно откладывать что-нибудь на черный день — на случай болѣзни, неимѣнія работы или подъ старость. Заработывать насущный кусокъ хлѣба для женщины несравненно труднѣе, чѣмъ для мужчины. Въ пріисканіи себѣ занятій она не можетъ быть такъ увѣрена, да если и есть работа, то она оплачивается гораздо дешевле.

„Мужчины, по самой природѣ, могутъ обезпечить себя несравненно лучше. Ихъ физическое тѣлосложеніе, условія воспитанія, подготовка къ извѣстной спеціальности — все это ведетъ ихъ къ бо̀льшей матеріальной самостоятельности. Они, повидимому, строго руководствуются тѣмъ удобнымъ правиломъ, что сила есть право. Почему бы честнымъ и нелицепріятнымъ людямъ въ частныхъ правительствахъ штатовъ не взяться за этотъ предметъ и не провести законовъ, гарантирующихъ женщинѣ одинаковое вознагражденіе ея труда на равнѣ съ трудомъ мужчины?...

„Одинъ нѣмецкій джентльменъ сообщилъ мнѣ, что во всѣхъ странахъ, черезъ которыя ему пришлось проѣзжать, суточный трудъ мужчины достаточенъ для покрытія дневныхъ расходовъ и даже небольшого сбереженія. Когда-то можно будетъ сказать то-же и о женскомъ трудѣ!

„Отношеніе между женскимъ и мужскимъ заработкомъ въ различныхъ отрасляхъ промышленности труда составляетъ отъ одной трети до половины. Родъ занятій имѣетъ нѣкоторое вліяніе на эти различія. За одно и то-же дѣло, за которое мужчина выручилъ одинъ долларъ, женщинѣ предлагаютъ только отъ шестьнадцати и двухъ третей до пятидесяти центовъ. Въ среднемъ выводѣ будетъ отъ одной трети до половины.

„Главнѣйшими причинами этихъ различій въ задѣльной платѣ можно считать значительное число женщинъ, прикованныхъ къ труду необходимостью, ограниченный кругъ занятій, къ которымъ допускаются женщины, благодаря предразсудкамъ, протесту рабочихъ-мужчинъ и самой женской подготовкѣ, наконецъ, характеръ занятій, при которыхъ можно обойтись безъ женщинъ, такъ какъ занятія эти, по бо̀льшей части, производятся внѣ дома. На *хлопчатобумажныхъ* фабрикахъ самое высокое вознагражденіе даетъ женщинѣ *ткацкая* работа, сравнительно со всѣми другими отраслями этой индустріи. Но и здѣсь женскій заработокъ рѣдко превышаетъ половину выдаваемой мужчинамъ платы. На фабрикахъ *шерстяныхъ* издѣлій женская задѣльная плата еще выгоднѣе, хотя ткацкая

работа здѣсь труднѣе. На *металлическихъ* заводахъ плата женщинѣ составляетъ отъ одной шестой до одной трети мужскаго заработка.

„Справедливаго вознагражденія женскаго труда мы не видимъ еще ни въ одной странѣ. Мнѣ случилось слышать отъ одного фабриканта, что главная причина недостаточнаго вознагражденія женскаго труда заключается въ томъ, что женщины неспособны достигать такого полнаго навыка и совершенства въ своемъ дѣлѣ, какъ мужчины. Но, тѣмъ не менѣе, онъ соглашался, что женщинамъ платятъ все-таки несоразмѣрно съ приносимою пользою. Другой патронъ сказалъ мнѣ: „мы платимъ мужчинамъ лучше потому, что они умѣютъ справиться съ машинами, когда тѣ приходятъ въ безпорядокъ во время работы. Ну, да вѣдь и женщины съумѣли бы это сдѣлать, если бы были выучены, и я отъ души желаю имъ выучиться. Но вмѣстѣ съ тѣмъ я сильно сомнѣваюсь, чтобы умѣнье приводить въ порядокъ машины — уравняло женскій заработокъ съ мужскимъ“.

„Когда мужчины и женщины работаютъ вмѣстѣ въ одномъ и томъ-же заведеніи, то женщинамъ вовсе не даютъ самую легкую, наименѣе вредную для ихъ здоровья и наиболѣе пріятную работу. Намъ стоитъ только указать на фабрики *хлопчато-бумажныхъ*, *шерстяныхъ* и *шелковыхъ* издѣлій, на *металлическіе* заводы, на *каменноугольныя* копи; нѣтъ, женщинамъ достается всегда *самая тяжелая*, *скаредно оплачиваемая* и *нездоровая* работа. *Домовой трудъ* и *нищенская подачка* — вотъ на что обречены работающія женщины. И пока это будетъ продолжаться, бѣдности и страданіямъ не будетъ конца...

Мы могли бы указать многія причины, почему женщины въ Соединенныхъ Штатахъ не составляютъ, подобно мужчинамъ, рабочихъ стачекъ и не требуютъ увеличенія задѣльной платы: многія изъ этихъ женщинъ еще совершенно невѣжественны, другія не могутъ жертвовать временемъ и деньгами, иныя совершенно отчаяваются въ томъ, что этой мѣрой можно добиться желаемыхъ результатовъ; нѣкоторыя руководятся ложнымъ стыдомъ, полагая, что это неприлично женщинѣ. Но главная причина заключается въ томъ, что между ними нѣтъ никого, кто бы могъ ими руководить и на кого онѣ могли бы положиться. Здѣсь кстати замѣтимъ, что несправедливость въ опредѣленіи задѣльной платы женскаго труда нигдѣ такъ рѣзко не бросается въ глаза, какъ въ женской педагогической дѣятельности. Въ американскихъ сельскихъ школахъ большинство учителей состоитъ изъ женщинъ; фактически доказано, что это самые способные и усердные воспитатели американскаго юношества, и не смотря на то, женщина-учитель получаетъ вдвое меньше мужчины, хотя-бы этотъ послѣдній былъ также вдвое хуже ея. Какое вліяніе оказываетъ эта несправедливость на нравственное состояніе современной женщины — это мы знаемъ изъ отношенія счастливыхъ браковъ къ несчастнымъ. Если многими женщинами, добивающимися замуже-

ства, руководитъ обманъ, то вѣдь тѣмъ-же платитъ имъ и мужчина, назначая половинную плату за ея мускульный и умственный трудъ.

„Если бы женщинамъ платили лучше, то это внушило бы имъ бо́льшее самоуваженіе, а вмѣстѣ съ самоуваженіемъ возникло бы желаніе поселить къ себѣ уваженіе и въ другихъ, и желаніе это могло бы осуществиться для нихъ легче.

Мужчины начинаютъ учиться тому или другому занятію очень рано. Женщины-же, по бо́льшей части, прибѣгаютъ къ нему уже вслѣдствіе необходимости и не имѣютъ времени къ достаточной подготовкѣ. Рѣдко женщины посвящаютъ на изученіе какого-нибудь практическаго дѣла болѣе полугода. Многіе, пожалуй, могутъ замѣтить, что женщины получаютъ плату, соразмѣрную съ ихъ умѣньемъ. До нѣкоторой степени это, можетъ быть, и справедливо, но именно только до нѣкоторой степени. Употребивъ безъ году недѣлю на ознакомленіе съ какимъ-нибудь дѣломъ, и при незначительной на то затратѣ, женщина и не вправѣ ожидать вознагражденія наравнѣ съ тѣмъ, кто убилъ для того цѣлые годы труда, при значительныхъ пожертвованіяхъ. Мнѣ говорили, что женщины, умѣющія шить не хуже мужчинъ, получаютъ почти одинаковую съ ними плату въ нѣкоторыхъ немногихъ отрасляхъ этого мастерства. Но это исключеніе. — Не получать всей честной платы за свой посильный трудъ, конечно, очень грустно, особенно для матери, у которой голодная семья проситъ хлѣба. Женщинамъ не достаетъ моральной и умственной бодрости. Онѣ принимаютъ за свой трудъ то, что́ имъ дадутъ мужчины, нисколько не соображая, достаточное-ли это вознагражденіе. Онѣ чувствуютъ, что требовать увеличенія платы значитъ то-же, что лѣзть противъ непреодолимой стѣны. Въ частныхъ случаяхъ это, быть можетъ, и въ самомъ дѣлѣ невозможно при настоящемъ порядкѣ вещей, но если бы женщины дружно соединились и стали добиваться своей цѣли *серьезно*, *настойчиво* и въ духѣ *общихъ интересовъ*, то неопредолимыя стѣны рушились бы сами собой.

Если бы женщины были лучше подготовлены къ дѣлу, то не чувствовали бы необходимости вступать въ бракъ только ради пристанища, потому-что легче могли бы себѣ найти занятіе и подняли бы уровень своей задѣльной платы.

Какъ благотворно дѣйствуетъ экономическая независимость женщины на семейную жизнь, это мы узнаемъ изъ статистическихъ данныхъ, собранныхъ другою американкою г-жею Брэддонъ въ ея „Очеркахъ женскаго пролетаріата“. На десять семействъ, гдѣ женщина обезпечена въ своей жизни независимо отъ мужа, не болѣе одного приходится такого, гдѣ взаимныя отношенія супруговъ отравлены разными житейскими дрязгами; если въ этихъ семействахъ нѣтъ рая, то нѣтъ и ада. Напротивъ, въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ женщина матеріально вполнѣ зависитъ отъ своего мужа, одна счастливая жизнь приходится на девять несчастныхъ. Такимъ образомъ расширеніе границъ дѣятельности для женщинъ и болѣе

справедливое вознагражденіе ихъ труда должно повліять на нравственное состояніе брака и семейства. Но напрасно филантропы думаютъ, что ихъ проповѣди могутъ такъ растрогать фабрикантовъ и капиталистовъ, что они сами вдругъ поднимутъ задѣльную плату женщинъ и водворятъ гармонію и миръ на земномъ шарѣ. Еслибъ они и захотѣли это сдѣлать, то не могли бы.

Не лишнимъ считаемъ указать нашимъ читателямъ на очень умную французскую книгу, изданную подъ заглавіемъ: „Женщина въ ея соціальномъ положеніи. Женскій трудъ и вознагражденіе". Авторъ этой книги Ж. Бушѐ-де-Пертъ, приводитъ очень важные факты и сообщаетъ многія дѣльныя мысли. „Въ теченіи многихъ лѣтъ, даже вѣковъ, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ,— ошибки и злоупотребленія постоянно накоплялись въ торговлѣ, въ мануфактурной дѣятельности, во всѣхъ сферахъ труда. Простому обычаю придается теперь значеніе права, или скорѣе, никто не хлопочетъ о разслѣдованіи, хорошо-ли то или другое и не можетъ-ли быть измѣнено къ лучшему. Конкурренція между владѣльцами фабрикъ достигла такихъ размѣровъ, что многіе изъ нихъ говорятъ: мы съ полной охотой стали бы платить нашимъ рабочимъ больше, да не можемъ. Другіе продаютъ, положимъ, по такой-то цѣнѣ; если мы будемъ не въ состояніи изготовить товары лучшей доброты по той-же цѣнѣ, или тѣ-же товары за болѣе умѣренную цѣну, то вѣдь и продавать-то намъ будетъ нельзя. Во всякомъ случаѣ мы ужь никакъ не можемъ продавать товары одинаковаго качества дороже нашихъ сосѣдей и потому, безъ убытка самимъ себѣ и совершеннаго раззоренія въ окончательномъ результатѣ, мы не можемъ платить больше нашимъ рабочимъ". Это совершенно резонно. Въ такихъ случаяхъ и въ подобныя времена мы совершенно оправдываемъ вмѣшательство и принудительныя распоряженія правительства. Но такъ-какъ это орудіе обоюдоострое, то о поправленіи дѣла и поднятіи платы должны позаботиться сами рабочіе. Еще лучшею мѣрою, скажемъ мы отъ себя, представляется намъ учрежденіе кооперативныхъ обществъ. Недостаточное вознагражденіе за трудъ составляетъ задачу, быстро разрѣшаемую временемъ и обстоятельствами. Во многихъ европейскихъ странахъ мы видѣли уже грустные и ужасные примѣры такого рѣшенія. Какое терпѣніе, какое обузданіе самого себя, какая выносливая натура нужны для того, чтобы жить подъ систематическимъ угнетеніемъ и несправедливостью! Многіе, находясь въ такомъ положеніи, долго затрудняются выборомъ между нуждою и порокомъ. Между обезпеченными людьми очень немногіе понимаютъ, что̀ значитъ терпѣть недостатокъ въ самомъ необходимомъ, и оттого немногіе способны знать: сколькимъ соблазнамъ подвергаетъ человѣка неумолимая нужда!..

Если бы для женщинъ былъ открытъ болѣе обширный кругъ занятій, то это поставило-бы ихъ самостоятельнѣе въ денежномъ отношеніи, значительно противодѣйствовало бы нищетѣ и невоздержности.

Наконецъ, это служило бы лекарствомъ и противъ другой, еще болѣе ужасной язвы, неизбѣжно ведущей людей къ нравственному банкротству и смерти.

Платить женщинамъ лучше за ихъ трудъ значитъ поднять ихъ въ общественномъ уваженіи. Результатъ будетъ благодѣтеленъ не только для самихъ рабочихъ — въ матеріальномъ и общественномъ отношеніи, но будетъ благодѣтельно отражаться на всемъ обществѣ.

Въ Англіи значительный запросъ на женскій трудъ для фабрикъ и низкій уровень задѣльной платы повели къ жестокому систематическому дѣтоубійству.

Чтобы усыпить ребенка во время отсутствія матери, какой-нибудь недоростокъ, оставленный въ роли кормилицы, или старуха, взявшая этотъ трудъ на себя за нѣсколько фартинговъ, даютъ малюткѣ спиртныя капли (Godfrey's cordial), дѣйствующія, какъ медленная отрава, и ребенокъ дѣлается жертвою такого попеченія или влачитъ грустную и хилую жизнь, убитый женщиной, которая его родила и любитъ его больше своей собственной жизни. Другое, не менѣе возмутительное обыкновеніе, распространенное въ Англіи, заключается въ томъ, что мать, уходя утромъ на работу до вечера, затыкаетъ ребенку ротъ губкою, смоченною наркотической жидкостью. Если ирландскія женщины рождаютъ такое множество мертвыхъ дѣтей, то это приписывается, главнѣйшимъ образомъ, покривленіямъ таза, вслѣдствіе привязыванія дѣвочекъ, въ самомъ раннемъ возрастѣ, къ стульямъ, когда матери находятся на работѣ.

Что-же заставляетъ такъ варварски поступать съ дѣтьми, которыхъ мать все-таки любитъ больше всего на свѣтѣ? Откуда вся эта возмутительная жестокость, это безчеловѣчное дѣтоубійство? Всему виною запросъ на женскій трудъ. Почему-же такъ великъ этотъ запросъ? Потому-что онъ дешевле. Почему дешевле? Неужели потому, что женщины способнѣе къ работѣ, чѣмъ мужчины, одарены большимъ запасомъ силы? Нѣтъ, это просто результатъ несправедливости, которая преслѣдуетъ женщинъ въ западномъ обществѣ. Очень многія женщины попадаютъ въ домъ умалишенныхъ, благодаря матеріальной крайности, изнурительной работѣ, невозможности спискивать пропитаніе или дѣйствіемъ постояннаго страха, что онѣ лишатся этой возможности въ будущемъ.

Въ „Мѣсячномъ отчетѣ" промышленнаго управленія (House of Industry) въ Файвъ-Пойнтѣ за августъ 1859 года говорится, между прочимъ, о посѣщеніи директорюмъ одной бѣдной вдовы. Вотъ это мѣсто: „я засталъ ее за усердной работой, заключавшейся въ изготовленіи холщевыхъ фуражекъ для мальчиковъ — съ околышами, пуговицами, съ кожаной и кисейной подкладкой и патентованными козырьками спереди. За работу и упаковку этихъ фуражекъ она получала два шиллинга съ дюжины или два цента поштучной платы. Мы сначала этому не повѣрили и полюбопытствовали заглянуть въ ея разсчетную книжку. Сомнѣваться было

больше нельзя. „Прежде, сказала старуха, — мнѣ платили обыкновенно три шиллинга и шесть пенсовъ съ дюжины, но теперь цѣна упала“.

Въ Лондонѣ пятьдесятъ тысячъ женщинъ выручаютъ за свою работу менѣе шести пенсовъ, и около сотни тысячъ — менѣе одного шиллинга въ день. „Лондонскія бѣлошвейки поставляютъ дюжину сорочекъ за два шиллинга; работающія для подрядчиковъ, поставляющихъ обмундировку на армію, получаютъ шесть пенсовъ поштучно за куртки и штаны, выработывая всего два шиллинга въ недѣлю. Женщины, заготовляющія кожу для башмаковъ, работая восемьнадцать часовъ въ сутки, выручаютъ одинъ шиллингъ и шесть пенсовъ въ недѣлю. Шитье мантилій, при работѣ отъ девяти часовъ утра до одиннадцати часовъ ночи, даетъ около четырехъ шиллинговъ и восьми пенсовъ въ недѣлю, въ хорошее рабочее время. Обойное ремесло рѣдко можетъ дать четыре шиллинга въ недѣлю; подбираніе мѣховъ выручаетъ женщинамъ столько-же. Золотошвейка получаетъ отъ одного шиллинга до шиллинга и трехъ пенсовъ поштучно; работница, вышивающая подвязки, сидя за работою отъ восьми часовъ утра до девяти вечера, выручаетъ всего-на-всего четыре шиллинга въ недѣлю. Сученіе снурковъ, при готовыхъ свѣчахъ и бумагѣ, даетъ только отъ одного шиллинга до шиллинга и трехъ съ половиною пенсовъ въ недѣлю и, кромѣ того, каждый годъ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ наступаетъ уменьшеніе запроса, и тогда работница выручаетъ около четырехъ съ половиною пенсовъ“. Отсылаемъ читателя въ „Frazer's Magazine“, томъ XLI, откуда отчасти заимствованы сообщаемыя нами свѣдѣнія о цѣнахъ труда въ Лондонѣ. „Двѣ женщины, занимавшіяся тамъ приготовленіемъ шляпокъ, за 18—20-ти-часовую работу въ сутки, включая и воскресные дни, выручали: въ 1842 г. четыре пенса и одинъ фартингъ, въ 1847 г. — три съ половиною пенса, въ 1848—1849 гг. — два съ половиною. Отъ тринадцати до четырнадцати тысячъ женщинъ занимаются въ Лондонѣ шитьемъ грубаго бѣлья, выручая въ среднемъ выводѣ два съ половиною пенса въ день. Около четвертой части изъ этого контингента работницъ, не имѣя ни мужа, ни родственниковъ, которые бы имъ помогали, поставлены въ необходимость выбирать между голодною смертью или проституціей. Переполненное состояніе женскаго рабочаго рынка и дорогая жизнь въ городахъ — вотъ, что̀ дѣлаетъ положеніе женщины невыносимымъ. Какъ недостаточны ихъ заработки для мало мальски удобнаго существованія и для откладыванія трудовой копѣйки на случай болѣзни и въ виду преклонныхъ лѣтъ! Загляните на занимаемые ими чердаки и затхлые подвалы, гдѣ онѣ тѣснятся, какъ рабочая скотина, и скажите мнѣ, цивилизованные мужчины и женщины, неужели это ваши сестры? Неужели онѣ вмѣстѣ съ вами происходятъ отъ одного человѣческаго ребра?...

III.

Переходя къ положенію американской работницы, Виргинія Пенни, говоритъ, что „обязанность, насколько возможно, пособить горю, прямо лежитъ на совѣсти правительствъ различныхъ штатовъ. Они должны были бы заключать свои подрядные контракты съ добросовѣстными и неплутоватыми людьми, которые выдаютъ рабочимъ сходную цѣну и не заваливаютъ ихъ работой сверхъ силъ. Поручать работу слѣдуетъ именно только такимъ подрядчикамъ, которые платятъ употребляемымъ для работы женщинамъ соразмѣрную цѣну, при благопріятномъ барышѣ въ пользу хозяина. Поручать—только такимъ людямъ обмундировку арміи и флота. Вся эта обмундировка, не исключая и обуви, можетъ изготовляться женщинами. Небольшая прибавка въ цѣнѣ, выплачиваемой правительствомъ честнымъ подрядчикамъ, будетъ сравнительно ничтожна, тогда какъ она не только сама по себѣ поведетъ къ хорошимъ результатамъ, но также послужитъ примѣромъ для частныхъ лицъ и обществъ. Когда казенные подрядчики будутъ безобидно платить женщинамъ за ихъ работу, частные предприниматели и торговцы также поневолѣ увеличатъ задѣльную плату, и такимъ образомъ постепенно произойдетъ общая перемѣна къ лучшему. „Нація ничего не можетъ покупать дешевле, не подрывая этимъ развитія своей промышленности". Хорошая плата за работу, достаточная пища, надлежащія заботы объ одеждѣ и помѣщеніи окружатъ рабочій людъ удобствами и сдѣлаютъ его счастливымъ и довольнымъ. Правильное распредѣленіе труда составляетъ предметъ величайшей важности для народа. Сотни, даже тысячи частныхъ лицъ не могутъ располагать такими средствами и капиталами, чтобы каждому гражданину доставить трудъ и плату за него; слѣдовательно, это — дѣло національное, дѣло законодательной власти. Прогрессъ или эмансипація какого-нибудь одного класса, обыкновенно, если не всегда, достигаются усиліями частныхъ лицъ этого класса; также должно быть и въ этомъ случаѣ. Всѣ женщины должны ознакомиться, какъ съ положеніемъ своего пола, такъ и съ своимъ собственнымъ".

Одна француженка замѣтила мнѣ, что во Франціи богатыя женщины не работаютъ на сторону, и оттого женщины-рабочіе получаютъ лучшее вознагражденіе за свой трудъ. Но въ Америкѣ всякій работаетъ. И, однако, эта страна имѣетъ передъ Франціей большое преимущество по отношенію къ бѣдняку. Тамъ нужно взнести огромную плату за право заниматься работой, но здѣсь (въ Америкѣ), этого не требуется. Одна дама, загордившаяся своей литературной репутаціей, на вопросъ мой, почему мужчинамъ надобно платить больше, чѣмъ женщинамъ, отвѣчала: „потому-что на мужчинъ падаютъ всѣ тягости правительства".

Да развѣ женщины-собственницы не платятъ налоговъ на содержаніе правительства? Сравнительно съ гонораріемъ писателей-мужчинъ вознагражденіе этой дамы было не такъ мизерно, какъ во многихъ другихъ отрасляхъ труда. Дѣйствительно, сравнительное оплачиваніе умственнаго труда мужчинъ и женщинъ, повидимому, составляетъ исключеніе. Здѣсь женщинамъ оказывается бо̀льшая справедливость именно потому, что онѣ могутъ настойчивѣе требовать и удерживать за собой то, что̀ имъ принадлежитъ по праву. Нѣкоторыя лэди, правда, заламываютъ ужь черезчуръ безбожныя цѣны за свои произведенія, полагая, безъ сомнѣнія, что это придаетъ имъ большую важность и значеніе. Но вѣдь высокаго вознагражденія имѣютъ право требовать тѣ только женщины, которыя пріобрѣли репутацію хорошихъ писательницъ. Впрочемъ, мнѣ извѣстно изъ достовѣрнаго источника, что если статья присылается для помѣщенія въ газету, и при этомъ окажется извѣстнымъ, что статью писала женщина, то статья эта не легко попадаетъ въ журналъ или газету, и во всякомъ случаѣ за нее заплатятъ менѣе, чѣмъ заплатили бы мужчинѣ.

„Изнурительная работа есть результатъ низкой задѣльной платы", говоритъ Мерикъ. Но откуда явилось самое зло низкой платы? Повидимому, оно было порождено тремя главными причинами: чрезмѣрнымъ избыткомъ рабочихъ рукъ, желаніемъ торговцевъ продавать свои товары какъ можно дешевле, и, наконецъ, безпрепятственно дѣйствовавшимъ закономъ конкурренціи, лежащимъ, впрочемъ, въ основаніи и двухъ первыхъ причинъ.

Когда я думаю о несправедливомъ осужденіи женщинъ на низкое вознагражденіе ихъ труда, о недостаткѣ выгодныхъ для нихъ занятій, о промышленныхъ плутняхъ, о тѣсной сферѣ труда, открытаго для женщинъ, — кровь моя кипитъ негодованіемъ. Если бы женщинамъ платили соразмѣрно съ качествомъ и количествомъ ихъ работы, какъ это дѣлается относительно мужчинъ, то нельзя было бы выставить ни одного логическаго возраженія противъ свободнаго доступа женщинъ ко всякой дѣятельности, къ какой только онѣ захотятъ пристроиться. Нелѣпо и негуманно убавлять плату женщинѣ только потому, что она женщина. Мы полагаемъ, что вмѣсто того, чтобы здоровымъ, сильнымъ мужчинамъ платить дороже, чѣмъ слабымъ женщинамъ, слѣдовало бы скорѣе сдѣлать совершенно наоборотъ. Мужчины могутъ работать долѣе и сдѣлать больше, чѣмъ женщины. На имущество холостыхъ мужчинъ слѣдовало бы сдѣлать налогъ въ пользу незамужнихъ женщинъ, не имѣющихъ собственности, или-же платить этимъ женщинамъ настоящую цѣну ихъ труда и открыть для нихъ болѣе обширный выборъ занятій. Многіе полагаютъ, что задѣльная плата женщинъ не поднимется, пока имъ не будетъ дана полная политическая равноправность съ мужчинами. Вопросъ этотъ давно уже поднятъ среди американскаго общества и недавно въ

территоріи Іомингъ разрѣшенъ путемъ законодательнымъ. Всѣ женщины, имѣющія 21 годъ отъ роду, получили право участвовать въ выборахъ наравнѣ съ мужчинами. Но едва-ли одна политическая равноправность можетъ поднять экономическій уровень женщинъ, пока воспѣваемая экономистами благодѣтельная конкурренція не исчезнетъ съ лица земли и не унесетъ съ собой ту постоянную борьбу, въ которой сильный всегда одолѣваетъ слабаго.

IV.

Конкурренція сдѣлала то, что самый прогрессъ промышленности и современная цивилизація обратились противъ женщины. „Угнетеніе слабыхъ всегда свидѣтельствуетъ о ранней юности или дряхлой старости націи", замѣчаетъ Добіэ [1]).

Эти противоположные періоды, по отношенію къ женскому вопросу какъ-будто сходятся въ современной Европѣ. Условія жизни женщины у древнихъ галловъ были крайне позорны и невыносимы; но съ развитіемъ духа общественности и тѣхъ экономическихъ началъ, которыя лежали въ основѣ древне-германской жизни, положеніе женщины постепенно улучшалось. Во времена Тацита, женщины уже допускались къ рѣшенію всѣхъ важныхъ вопросовъ, въ совѣтъ свободныхъ мужей, ихъ голосъ имѣлъ рѣшающее значеніе; дѣвушки вотировали ранѣе стариковъ, и сенатъ, избранный съ участіемъ женщинъ, диктовалъ законы чужеземцамъ. Феодализмъ окончательно установилъ полную политическую равноправность между женщиною и мужчиною. Женщины были возводимы въ званіе дюшессъ, перовъ, судей, посланницъ, имъ даны были одинаковыя избирательныя права, какъ и мужчинамъ. Когда же, по салическому обычаю, родовыя помѣстья и имѣнія стали переходить въ женскую линію, — мы видимъ женщинъ, облеченныхъ во всѣ права феодальнаго сеньора, со всѣми аттрибутами широкой, политической власти. Современныя хроники свидѣтельствуютъ, что женщины заправляли своими владѣніями съ замѣчательнымъ административнымъ талантомъ. Трогательными красками описываетъ одинъ современникъ скорбь аквитанцевъ по своей сеньоринѣ Элеонорѣ, вышедшей замужъ за Людовика VII; сеньорина была очень милостива къ своимъ подданнымъ, дала мудрые законы городскимъ общинамъ и первая освободила торговлю отъ тяготѣвшихъ на ней пошлинъ, стѣснявшихъ ее монополіями. Анна Бретанская, супруга двухъ французскихъ королей, несмотря на свое званіе, сама лично управляла своимъ герцогствомъ.

---

[1]) Femme pauvre au XIX siècle. Мы воспользуемся этимъ превосходнымъ сочиненіемъ, чтобы представить здѣсь историческій очеркъ постепеннаго упадка женщины, какъ общественнаго дѣятеля, благодаря экономической и промышленной эксплуатаціи.

Такіе примѣры не были единичными явленіями, они вытекали изъ всей соціальной организаціи тогдашняго общества. Общество не признавало тогда различія правъ пола; оно знало одну только классификацію людей: на бѣдныхъ, прикрѣпленныхъ къ землѣ рабовъ, и на богатыхъ — владѣтельныхъ бароновъ и сеньоровъ. Всякій, кто принадлежалъ по праву рожденія къ первой категоріи — была-ли то женщина или былъ то мужчина, — считался вполнѣ *безправнымъ*, безусловно исключался отъ всякаго участія въ политическихъ-дѣлахъ. Напротивъ, всякій, кто принадлежалъ ко второй категоріи, пользовался всѣми правами, всею властію неограниченнаго хозяина безъ различія пола.

Монтань утверждаетъ, что женщины, наслѣдовавшія перства, участвовали въ юрисдикціи перовъ на такихъ-же правахъ, какъ мужчины, такъ—что онѣ засѣдали даже въ парламентахъ, въ качествѣ перовъ, и при торжественныхъ выходахъ играли видныя роли. Напримѣръ, Меганъ — графиня Артуа и Бургони, присутствовала, какъ перъ Франціи, при коронаціи Филиппа V и держала его корону вмѣстѣ съ другими перами-мужчинами; она-же принимала участіе во многихъ знаменитыхъ процессахъ того времени, въ томъ числѣ и въ процессѣ противъ графа Артуа, гдѣ она присутствовала въ качествѣ судьи. Вообще въ средніе вѣка, особенно въ XIII и XIV ст. право суда было однимъ изъ весьма обыкновенныхъ аттрибутовъ не только владѣтельныхъ графинь и герцогинь, но даже и настоятельницъ монастырей. Настоятельницы Ремиремона и ихъ деканиссы творили судъ и расправу во всемъ округѣ своего аббатства и выбирали, вмѣстѣ съ каноницами, депутатовъ въ парламентъ. Хроники свидѣтельствуютъ, что судебная власть переходила, часто по наслѣдству, даже къ молодымъ дѣвушкамъ, и онѣ въ качествѣ феодальныхъ рыцарей, торжественно засѣдали на судейскихъ скамьяхъ, въ судейскомъ платьѣ и въ судейскихъ шляпахъ.

Папы и короли всегда старались утвердить за женщинами ихъ права и привиллегіи, тщательно оберегая ихъ отъ насильственныхъ притязаній властолюбивыхъ сеньоровъ-мужчинъ. Такъ, напримѣръ, когда сосѣдній баронъ сталъ оспаривать у Эрменгарды — норбоннской виконтессы, права суда, король явился къ ней на помощь и строго запретилъ кому-бы то ни было уклоняться отъ ея юрисдикціи. Папа Иннокентій III призналъ полную компетентность юрисдикціи Элеоноры, основываясь, какъ онъ говорилъ, „на древнемъ французскомъ правѣ“.

Пользуясь политическими правами, женщины не уклонялись и отъ обязанностей, налагаемыхъ на нихъ положеніемъ ихъ; когда было нужно, онѣ, не задумываясь, садились на коней, собирали своихъ вассаловъ и, предводительствуя ими, мужественно отражали нападенія какъ внутреннихъ, такъ и внѣшнихъ враговъ. Въ хроникахъ тогдашняго времени безпрестанно встрѣчаются разсказы о геройской храбрости разныхъ виконтессъ, графинь и герцогинь, о ихъ военныхъ талантахъ и ихъ страст-

номъ патріотизмѣ. Объ одной настоятельницѣ хроника отзывается, напримѣръ, такимъ образомъ: „она была отличнымъ полководцемъ, неустрашимымъ солдатомъ и милостивою повелительницею; мужество ея воодушевляло гарнизонъ, ободряло другихъ женщинъ“.

Со временъ Людовика XIV женщина начинаетъ постепенно утрачивать свое политическое значеніе. Власть ея, какъ феодальной сеньорины ограничивается, — она уже болѣе не возводится въ перское достоинство, она болѣе не засѣдаетъ въ парламентахъ, не принимаетъ участія въ судѣ, не предводительствуетъ войсками, не выбираетъ депутатовъ. Правда, она все еще удерживаетъ свое прежнее вліяніе на политическую жизнь націи, она еще не устранила себя отъ общественной дѣятельности, — но, увы! съ феодализмомъ исчезла ея самостоятельная роль; она дѣйствуетъ теперь не въ качествѣ самостоятельной правительницы, пера, судьи, сеньора, но въ качествѣ жены или любовницы вліятельныхъ мужчинъ. Совѣтуя, помогая и управляя королями, министрами и посланниками, она, до нынѣшняго вѣка, имѣла огромное и никѣмъ не оспариваемое вліяніе на политику европейскихъ владыкъ. Самъ Талейранъ былъ въ послѣднее время не болѣе, какъ простое орудіе въ рукахъ своей племянницы, графини Дино; на вѣнскомъ конгрессѣ онъ только переписывалъ письма, которыя она сочиняла отъ его имени къ Людовику XVIII и къ другимъ европейскимъ государямъ.

Но, разумѣется, это тайное, скрытое вліяніе женщинъ не могло быть ни самостоятельнымъ, ни благотворнымъ. Женщина, вытѣсненная изъ политической сферы, удаленная отъ общественныхъ дѣлъ, постепенно замыкалась въ одну семейную сферу, гдѣ тѣсный кругъ ея дѣятельности сковывалъ развитіе ея умственныхъ и физическихъ силъ, и она тупѣла не только какъ общественный дѣятель, но и какъ мать. Теперь стали руководить ею мелкія житейскія дрязги, ребяческія капризы, ребяческое тщеславіе. Не чувствуя надъ собою общественнаго контроля и подчиненная абсолютной власти одного мужа или отца, она въ тишинѣ спальни и будуара, не видѣла надобности сдерживать свои дурныя наклонности, обуздывать свои мелкія страстишки. Понятно, что при такихъ условіяхъ женщинѣ трудно было сохранить свое прежнее политическое значеніе.

Такимъ образомъ, съ возрастающимъ запросомъ на трудъ мужчинъ и съ вліяніемъ ихъ на ходъ событій новѣйшей исторіи, женщина постепенно вытѣснялась даже изъ тѣхъ сферъ общественной дѣятельносте, которыя были свойственны ей. Теперь она признается неспособною принимать участіе въ выборахъ общественныхъ чиновниковъ и депутатовъ въ законодательныя собранія, она не имѣетъ ни малѣйшаго вліянія на составленіе законовъ, которые, однакожъ, для нея также обязательны, какъ и для мужчины: поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что эти законы чужды ея интересамъ, что они даже враждебны имъ, что они не столько гарантируютъ и охраняютъ права женщины, сколько стѣсняютъ

и ограничиваютъ ихъ. Послѣ этого становятся понятными и другія ограниченія, которымъ подвергалась женщина XIX вѣка. Мы укажемъ здѣсь только на главнѣйшія изъ нихъ.

Обратимся прежде всего къ ограниченію женщинъ-занимать общественныя должности и отправлять общественныя обязанности, искони утвержденныя за ними.

Въ XVIII и въ началѣ XIX вѣка женщины допускались во Франціи къ отправленію обязанностей почтмейстеровъ, контролеровъ и ихъ помощниковъ, на равныхъ правахъ съ мужчинами; еще во времена первой имперіи и реставраціи можно было встрѣтить сотни женщинъ, занимавшихъ эти должности въ главныхъ городахъ округовъ, и завѣдывавшихъ не только внутреннею, но даже и иностранною корреспонденціею. Но вотъ уже съ первой четверти нынѣшняго столѣтія женщинъ начинаютъ отодвигать на задній планъ. Къ 1817 году Маршанжи (Marchangy) писалъ: „Въ нашъ не благородный и эгоистическій вѣкъ за женщинами не хотятъ признать никакихъ правъ. Согнаннымъ съ трона, устраненнымъ отъ всякаго участія въ общественныхъ дѣлахъ, признаннымъ неспособными отправлять общественныя должности, имъ только дозволяютъ продавать потерянные билеты, торговать гербовой бумагой и табакомъ! Вотъ все, что́ считаютъ возможнымъ поручить имъ, — вотъ мѣра ихъ способностей! До чего умалились ихъ права!“

Изъ этихъ словъ Маршанжи можно заключать, что ранѣе, въ началѣ XIX вѣка или въ концѣ XVIII женщины имѣли болѣе обширныя права, чѣмъ теперь. Что-же касается до ограниченія женщинъ занимать должности по почтовому вѣдомству, то надо сознаться, что эти ограниченія весьма недавни, и что первое начало положила имъ іюльская монархія. Объявляя, съ одной стороны, полное равенство всѣхъ гражданъ передъ закономъ, она, съ другой стороны, воспретила женщинамъ занимать даже такія должности, которыя онѣ занимали издавна, и на которыхъ онѣ успѣли заявить себя какъ отличныя, въ высшей степени полезныя чиновницы. Правительство Людовика-Филиппа объявило, что „женщины не должны быть назначаемы на мѣста почтмейстеровъ въ главные города округовъ, а также въ тѣ города и селенья, гдѣ засѣдаетъ или судъ первой инстанціи, или коммерческій судъ“. Нынѣшнее правительство не только не отмѣнило этого произвольнаго распоряженія, но даже подтвердило его, воспретивъ женщинамъ занимать почтмейстерскія мѣста съ окладомъ, превышающимъ 1,000 фр., т. е. 250 руб. въ годъ. Средній, окладъ жалованья пониженъ до 850 фр. около 212 руб.; большинство-же женщинъ получаетъ и того менѣе — именно отъ 350 — 250 фр., т. е. $87\frac{1}{2}$ — $62\frac{1}{2}$ руб. Получая такое ничтожное жалованье, онѣ, однако, не освобождены ни отъ одной обязанности, возложенной на мужчину; за малѣйшее упущеніе на службѣ наказываютъ безъ различія пола; женщина, во время эпидеміи оставившая свой постъ, ка-

рается также строго, какъ и мужчина; полъ берется въ разсчетъ только при назначеніи жалованья. Но этимъ не кончаются странныя прижимки французской администраціи, поставившей себѣ задачею вытѣснить женщинъ во что-бы то ни стало изъ сферы общественной дѣятельности. Законъ постановляетъ, что на должности по почтовому вѣдомству имѣютъ право только женщины отъ 25 — 35 лѣтъ, ихъ мужьямъ воспрещается заниматься торговлею или какимъ-нибудь ремесломъ, равно и занимать какую-нибудь общественную должность. Это послѣднее запрещеніе лишаетъ почти всѣхъ замужнихъ женщинъ возможности поступить на службу, потому, во-первыхъ, что почти всѣ мужья ихъ чѣмъ-нибудь заняты, во-вторыхъ, потому, что одного скуднаго жалованья жены, рѣшительно, недостаточно для содержанія семьи. Мало того, женщина, занимающая должность почтмейстера, не имѣетъ права выйдти замужъ безъ особаго дозволенія начальства. Начальство пользуется въ этомъ случаѣ правомъ абсолютнаго veto, безъ объясненія причинъ отказа; политическія соображенія играютъ при этомъ не маловажную роль. Мужу почтмейстерши, говоритъ Добіэ, не дозволяется имѣть ни выходящихъ изъ ряду убѣжденій, ни особенно умной головы; онъ долженъ быть такимъ-же рутинеромъ, какъ всякій чиновникъ почтоваго вѣдомства". Всѣ чиновники мужскаго пола во Франціи получаютъ въ отставкѣ пенсію, соразмѣрно прежнему жалованью, но женщины-чиновницы составляютъ исключеніе изъ этого правила. Администрація, пользуясь ихъ трудами, пока онѣ въ состояніи трудиться, пользуясь за самое скудное и ничтожное вознагражденіе, не считаетъ себя обязанною обезпечивать имъ кусокъ хлѣба, когда силы оставятъ ихъ, и онѣ не будутъ имѣть возможности ни прокормить, ни содержать себя собственною работою.

Такія-же хитросплетенія употребляетъ французская администрація для вытѣсненія женщинъ изъ другихъ общественныхъ сферъ. Такъ, напримѣръ, въ XVIII вѣкѣ и во времена первой имперіи, женщины, обыкновенно, употреблялись въ качествѣ сборщицъ косвенныхъ податей или, правильнѣе, фискальныхъ регалій. Потребленіе нѣкоторыхъ продуктовъ (напр., соли, табаку, гербовой бумаги и т. п.) обложено извѣстнымъ налогомъ въ пользу фиска; чтобы наблюдать за правильнымъ взиманіемъ этого налога, казна имѣетъ своихъ чиновниковъ въ мѣстахъ продажи октроированныхъ товаровъ. Вотъ въ эти-то должности въ прежнее время и назначались женщины, на равныхъ правахъ съ мужчинами. Въ деревняхъ и въ отдаленныхъ городахъ ихъ занимали почти исключительно женщины. Но впослѣдствіи стали отдавать мужчинамъ предпочтеніе передъ женщинами. Уже въ 1815 году на 350 сборщиковъ считалось только 30 женщинъ; въ 1840 году — только три. Этого мало, мѣсто простыхъ продавцевъ обложенныхъ податью товаровъ съ каждымъ годомъ дѣлается все недоступнѣе и недоступнѣе для женщинъ. Прежде, напримѣръ, администрація безъ всякаго труда давала мѣста при табач-

ныхъ складахъ женщинамъ престарѣлымъ, бѣднымъ, не имѣющимъ никакихъ другихъ средствъ къ существованію, теперь-же на эти должности почти исключительно назначаются одни мужчины изъ отставныхъ военныхъ. Только самыя незавидныя изъ нихъ, съ самымъ нищенскимъ окладомъ (отъ 30—40 фр., т. е. отъ $7^1/_2$ до 10 р. въ годъ) великодушно оставлены женщинамъ!

Та-же исторія съ должностями при складахъ и мастерскихъ гербовой бумаги. Прежде онѣ исключительно были заняты женщинами, теперь-же большая часть ихъ предоставлена мужчинамъ.

Мужчины получаютъ отъ 1,000 до 1,700 фр. въ годъ, а женщины отъ 900 до 1,000 фр.

Въ императорской типографіи женщины, сравнительно съ мужчинами получаютъ еще меньше; именно: работница отъ 2 фр. до 2 фр. 50 сант. въ день, работникъ отъ 4 фр. до 6 фр. Декретомъ 24 января 1860 года начальство объявило, что въ случаѣ болѣзни, работникъ имѣетъ право получать, въ видѣ пособія, 1 фр. 50 сант. въ день, работница-же только 80 сант. Вотъ наглядный примѣръ той равноправности половъ, которую такъ торжественно призналъ въ принципѣ нашъ прогрессивный вѣкъ. Законъ обѣщаетъ женщинѣ на ея леченье вдвое менѣе, чѣмъ издерживаетъ мужчина. Отчего-же не предпишетъ онъ аптекарямъ продавать женщинамъ и вдвое дешевле лекарства? Отчего-же не предпишетъ онъ докторамъ брать вдвое дешевле, чѣмъ съ мужчинъ?

Въ прошломъ вѣкѣ должности библіотекарей и архиваріусовъ были доступны для женщинъ въ такой-же мѣрѣ, какъ и для мужчинъ. „И онѣ, говоритъ Добіэ, — оказались весьма способными къ отправленію подобныхъ обязанностей [1]), наши юристы и до сихъ поръ еще съ благодарностью вспоминаютъ о г-жѣ Колоннъ, занимавшей съ 1800 года мѣсто архиваріуса въ архивѣ сенскаго департамента. Она занимала это мѣсто 42 года и составила себѣ извѣстность, благодаря своей удивительной памяти, находчивости и замѣчательному таланту безъ труда отыскивать всякій требуемый документъ среди груды запыленныхъ фоліантовъ. (Стр. 213).

Чтобы вытѣснить женщину изъ этой среды, французская администрація дозволила занимать должности главнаго библіотекаря и архиваріуса только лицамъ, прослушавшимъ трехгодичный курсъ въ Ecole des Chartes, доступъ въ которую строго воспрещенъ женщинамъ. Чтобы занять низшія должности при библіотекахъ и архивахъ, нужно имѣть ученую степень бакалавра словесныхъ наукъ, а какъ такихъ ученыхъ

---

[1]) Въ Америкѣ и въ настоящее время можно встрѣтить множество женщинъ, занимающихъ должности архиваріусовъ. Публика вездѣ ими довольна, а ученые не могутъ нахвалиться ихъ вниманіемъ къ дѣлу.

степеней женщины не получаютъ, то и эта карьера остается для нихъ закрытою.

Вытѣсняя женщину отвсюду, гдѣ только она могла принимать хоть какое-нибудь участіе въ общественной дѣятельности, французы этимъ не ограничились. Они распространили свои притязанія даже и на тѣ сферы труда и общественныхъ обязанностей, которыя издавна были открыты женщинамъ, которыя считались даже какъ-бы *женскими* по преимуществу. Я говорю объ обязанностяхъ общественной филантропіи.

Общественная филантропія осуществляется въ различныхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ, даетъ работу цѣлой арміи чиновниковъ, изъ которыхъ одни служатъ ради отличій или, проще, отъ нечего дѣлать, другіе получаютъ опредѣленное вознагражденіе. Администрація этихъ учрежденій съ великой радостью, обыкновенно, принимаетъ пожертвованія и услуги доброхотныхъ благотворителей, и въ этомъ отношеніи не дѣлаетъ ни малѣйшаго различія между мужчинами и женщинами. Роскошная дама, дѣлающая взносы, собирающая пожертвованія, устраивающая лоттереи, концерты и спектакли съ благотворительною цѣлью, превозносится въ оффиціальныхъ отчетахъ и рѣчахъ; но чуть только бѣдная женщина предложитъ свои услуги и потребуетъ за нихъ вознагражденія, она можетъ быть увѣрена, что ей предпочтутъ мужчину.

На способности и умѣнье обращаться съ благотворительными субъектами никто не смотритъ, смотрятъ только, къ какому полу принадлежитъ соискатель мѣста: если къ мужскому — то мѣсто остается за нимъ, если къ женскому, то онъ его никогда не получитъ. Какъ разъ наоборотъ тому, что̀ было прежде. Прежде, напротивъ, женщина пользовалась почти исключительнымъ предпочтеніемъ въ дѣлахъ общественной филантропіи. „Съ самаго возникновенія христіанства, говоритъ патеръ Лакордеръ, — женщинѣ-христіанкѣ, какъ-бы по особому избранію, вручалось все обширное царство скорбей и печалей, всѣ бѣдные и несчастные, оплакивающіе свои страданія и нищету, всѣ недовольные и обиженные своей судьбой". Но не будемъ заходить въ такія отдаленныя времена. Мы можемъ сослаться на болѣе близкіе къ намъ примѣры; еще не такъ давно государство давало женщинамъ право — если не исключительно, то, по крайней мѣрѣ, наравнѣ съ мужчинами, занимать должности, требующія отъ занимающаго ихъ извѣстной гуманности.

Такъ, въ древней Франціи, начиная съ XV вѣка женщины допускались къ занятію должностей тюремщика и смотрителя тюремъ. Обычай этотъ продолжался до конца XVIII вѣка и еще въ 1789 году, двѣ женщины, по свидѣтельству Бомарше, стояли во главѣ управленія обширною тюрьмою La Force. Но съ начала нынѣшняго вѣка, мужчины почти совершенно вытѣснили женщинъ изъ этого круга занятій. Въ настоящее время во Франціи нѣтъ ни одной тюрьмы, гдѣ-бы смотрителемъ были женщины, ихъ даже не допускаютъ къ должности тюрем-

щика; грубые и невѣжественные солдаты, по преимуществу изъ отставныхъ, считаются теперь болѣе способными отправлять эту въ высшей степени трудную и щекотливую обязанность.

Прежде, во времена старой монархіи, королевскими декретами постоянно утверждалась за женщиною привиллегія занимать должности инспектрисъ и смотрительницъ пріютовъ для найденышей; теперь уже всѣ эти мѣста исключительно заняты мужчинами.

Но всѣ эти ограниченія представляютъ самую легкую степень угнетенія болѣе сильною половиною человѣчества половины слабой. Стѣсненія, о которыхъ мы говорили до сихъ поръ, отражаются, главнымъ образомъ, только на судьбѣ женщины бѣдной и имѣютъ частный характеръ; но есть много и такихъ случаевъ, которые неблагопріятно вліяютъ на все общество; отъ нихъ страдаютъ въ одинаковой степени какъ угнетающіе мужчины, такъ и угнетаемыя женщины.

Исторія свидѣтельствуетъ, что никогда женщина не пользовалась меньшею возможностью помогать человѣчеству, какъ теперь, у нея отнято право лечить, право, изъ котораго она не могла бы сдѣлать никакого другого употребленія, кромѣ полезнаго, и которымъ она пользовалась искони вѣковъ, даже у народовъ несравненно болѣе глупыхъ, чѣмъ мы, у народовъ ничего несмыслившихъ въ нашихъ прогрессивныхъ идеяхъ, и никогда не читавшихъ никакихъ статей объ эмансипаціи.

Въ глубокой древности, въ Греціи, мы встрѣчаемъ женщинъ, изучающихъ медицину и пользующихся славою отличныхъ докторовъ. Такъ, напримѣръ, извѣстно, что очень много женщинъ-докторовъ вышло изъ семейства Асклепидовъ, потомковъ Эскулапа. Аргосъ славился жрицами, въ высшей степени искусными въ медицинѣ. Когда-же медицина вышла изъ-подъ религіозной опеки, когда она перестала составлять часть языческой теологіи, тогда аѳинскіе законодатели дозволили всякой свободной женщинѣ изучать медицину и лечить больныхъ. Въ Римѣ, въ особенности послѣ покоренія Греціи, мы находимъ также множество женщинъ, такъ-называемыхъ medicae, посвятившихъ себя изученію медицины и леченію болѣзней. Потомковъ этихъ женщинъ можно было встрѣтить въ Италіи по покореніи ея варварами.

Въ средніе вѣка также не мало было женщинъ, снискавшихъ себѣ громкую извѣстность своими обширными медицинскими познаніями и необыкновеннымъ искусствомъ въ излеченіи самыхъ трудныхъ болѣзней. Имена ихъ упоминаются рядомъ съ именами главнѣйшихъ докторовъ мужчинъ. Когда *Салернская коллегія* была въ апогѣе своего величія, толпы слушателей стекались въ аудиторію знаменитой женщины-профессора, читавшаго тамъ курсъ медицинскихъ наукъ. Особенно много было женщинъ-докторовъ въ Италіи; въ ея университетахъ еще во вре-

мена Росси можно было встрѣтить женщинъ, изучавшихъ право и медицину [1]).

Точно также въ Галліи и въ древней Франціи женщины занимались медициною. Жены друидовъ такъ искусны были въ этой наукѣ, что друиды приносили къ нимъ самыхъ безнадежныхъ больныхъ, твердо увѣренные, что для нихъ нѣтъ неизлечимыхъ болѣзней.

Когда-же медицину перестали считать божественною наукою, и искусство лечить — сверхъестественнымъ дѣломъ, когда ее стали преподавать въ университетахъ и коллегіяхъ, французскія женщины съ жаромъ принялись изучать ее, и скоро могли соперничать съ итальянскими докторами. До нашихъ дней сохранилась грамота, пожалованная въ 1250 г. одной женщинѣ, служившей домашнимъ докторомъ при Людовикѣ IX, во время крестоваго похода. Грамота превозноситъ великія способности и неподражаемое искусство королевскаго медика, и ассигнуетъ ему въ ознаменованіе его заслугъ пожизненную пенсію.

Въ особенности распространены были медицинскія познанія среди женскаго населенія феодальныхъ зàмковъ; кастелянши весьма основательно знали главнѣйшія свойства наиболѣе употребительныхъ лекарственныхъ травъ, умѣли дѣлать перевязки рыцарямъ, и всегда были готовы служить и помогать своимъ крѣпостнымъ. Эти занятія благородныхъ женщинъ объясняютъ намъ, почему во всѣхъ средневѣковыхъ разсказахъ идеальная женщина непремѣнно рисуется женщиною-медикомъ; такъ рисуютъ ее бретонскія пѣсни; такъ представляетъ ее одинъ знаменитый романъ XII вѣка [2]), героиня котораго знала цѣлительныя свойства всѣхъ травъ и умѣла лечить.

„Всѣ эти женщины, говоритъ Добіэ,—лечили такъ хорошо, что Парацельзій, отвергая ученые медицинскіе трактаты древнихъ и медицину арабовъ, объявилъ, что ему не нужно никакихъ другихъ учителей, кромѣ женщинъ, съ ихъ чисто-опытною медициною. И Франція всегда умѣла цѣнить самоотверженность и способность этихъ друзей народа, уважала и поощряла ихъ опытную науку; зато и не мало можно было встрѣтить старавшихся соперничать съ извѣстною баронессою Рабютенъ-Шанталь, которая безпрестанно ходила изъ хижины въ хижину, отыскивая больныхъ, оказывала имъ всякую помощь и сама перевязывала ихъ раны“.

Не слѣдуетъ, однако, думать, что эти женщины-доктора имѣли нѣ-

[1]) „Я имѣлъ счастье знать, говоритъ Росси,—прелестнѣйшихъ женщинъ, одаренныхъ большими талантами и даже замѣчательнымъ геніемъ; въ университетѣ я сидѣлъ на одной скамейкѣ съ женщинами, изучавшими право и медицину; вмѣстѣ со мною, степень доктора правъ получила одна прехорошенькая дама“ и т. д. (Rossi, „Cours d'economie politique“, vol. 4).

[2]) Партеноній де-Блау (Parthenopeus de Blaus),—напечатанъ въ первый разъ въ Парижѣ въ 1834 г.

что общее съ нашими колдуньями, заговорщиками и повитухами, что онѣ лечили на-обумъ, съ помощью разныхъ таинственныхъ корешковъ и пришептываній. Нисколько. Онѣ изучали медицину и слушали медицинскіе курсы въ университетахъ. До сихъ поръ еще сохарнились имена многихъ спеціалистовъ по медицинской части, прославившихся своею ученостью. Добіэ упоминаетъ, между прочимъ, о г-жѣ Клапіонъ, актрисѣ, извѣстномъ знатокѣ въ медицинѣ, хирургіи, фармацевтикѣ и ботаникѣ.

Наконецъ, какъ послѣднее доказательство того, что эти женщины не имѣли никакой солидарности съ пошлыми шарлатанами, промышляющими на счетъ глупости и легковѣрія толпы, колдовствомъ (хотя право лечить перешло къ нимъ преемственно отъ ворожей и колдуній), я приведу тотъ фактъ, что самъ Вольтеръ, котораго, конечно, никто не заподозритъ въ суевѣріи, лечился у этихъ медиковъ и не могъ нахвалиться ихъ замѣчательнымъ искусствомъ. Въ письмахъ своихъ къ друзьямъ (именно въ письмѣ къ г-жѣ Дю-Дефанъ), онъ заходитъ такъ далеко, что открыто признаетъ превосходство экспериментальной медицины женщинъ, des bonnes femmes, какъ онъ выражается, передъ научными теоріями доктора Троншино. При этомъ Вольтеръ увѣряетъ, что онѣ умѣютъ составлять превосходный глазной порошокъ, благодаря которому онъ самъ нѣсколько разъ вылечивалъ свои глаза, что онѣ выгоняютъ глисты и прививаютъ оспу, несмотря на запрещенія ученыхъ парламентовъ, видѣвшихъ въ оспопрививаніи нѣчто богопротивное. Вникая во внутренній смыслъ этихъ фактовъ, читатель, какъ мнѣ кажется, долженъ придти въ нѣкоторое изумленіе; онъ невольно спроситъ себя: когда-же и кто-же отнялъ у женщинъ это драгоцѣнное право лечить, право, которымъ онѣ пользовались такъ долго и съ такимъ блестящимъ успѣхомъ?

Опредѣлить съ точностью время этой несправедливой узурпаціи довольно трудно. Передъ революціею мы еще встрѣчаемъ, хотя все рѣже и рѣже, женщинъ-медиковъ. Г-жа Роланъ занималась медициной, и по ея собственному свидѣтельству лечила крестьянъ съ большимъ успѣхомъ. Г-жа Жанлисъ также хорошо знала медицину; она была, по мнѣнію Добіэ, однимъ изъ послѣднихъ женщинъ-медиковъ. Но самою послѣднею была г-жа Кастанье. Дипломъ — это былъ послѣдній дипломъ, выданный женщинѣ во Франціи, — она получила еще въ 1794 г. и съ того времени до 1843 г. она постоянно занималась практикою въ Арденскомъ департаментѣ; ея великодушіе и ея всегдашняя готовность помогать бѣднымъ больнымъ, несмотря ни на свои преклонныя лѣта, ни на свою слабость, ни на отдаленность разстоянія, ни на погоду, прославили ея имя среди окрестныхъ жителей, которые считали ее какимъ-то ангеломъ-хранителемъ. Но зато она и поплатилась за свои гуманныя свойства: „Позванная, однажды, куда-то далеко, говоритъ

Добіэ, — она отправилась въ темную ночь и пала жертвою своего неустрашимаго самоотверженія". (La femme pauvre, стр. 345).

Кастанье была, какъ я сказалъ, послѣднею женщиною-докторомъ. Послѣ нея не встрѣчается во Франціи ни одного медика женскаго пола. Да и мудрено бы было встрѣтить: женщинамъ строго-на-строго запрещено теперь заниматься медицинскою практикою и слушать медицинскіе курсы. Медицина объявлена наукою, доступною только для однихъ мужчинъ.

Чѣмъ вызвано это запрещеніе? Быть можетъ, спрашиваетъ себя Добіэ,—требованія современной науки такъ велики, что женщина никогда не въ силахъ удовлетворить имъ, и правительство, дорожа драгоцѣнною жизнію и здоровьемъ своихъ подданныхъ и, не желая довѣрять эти сокровища въ руки людей неумѣлыхъ и не искусныхъ, отказало женщинѣ въ правѣ заниматься медициною? Но несомнѣнные факты доказываютъ, что и это единственно возможное объясненіе никуда не годится.

Елизавета Блэкуелль доказала, что женщина и теперь такъ-же легко можетъ сдѣлаться превосходнымъ медикомъ, какъ и нѣсколько десятковъ, сотенъ лѣтъ тому назадъ. Эта замѣчательная женщина, послѣ долгой и упорной борьбы съ человѣческими предразсудками, достигла, наконецъ, того, что ей дозволили слушать медицинскій курсъ, держать экзаменъ на доктора и сдѣлаться врачемъ. Теперь она уже пріобрѣла себѣ славу талантливаго писателя, краснорѣчиваго профессора и искуснаго медика. Съ ея легкой руки въ Америкѣ оказалось множество охотницъ заниматься медициною. И правительство не рѣшилось на этотъ разъ идти на перекоръ общему желанію. Медицинская академія въ Филадельфіи тотчасъ-же была открыта для женщинъ, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ въ ея аудиторіяхъ насчитывалось болѣе 100 слушательницъ. Вслѣдъ затѣмъ и въ другихъ городахъ Америки открылись медицинскія школы, которыя уже успѣли подготовить и выпустить множество отличнѣйшихъ докторовъ-женщинъ; теперь они разсѣялись по всей Америкѣ, занимаются практикою, читаютъ популярные курсы общественной гигіены, и проводятъ въ народъ здравыя идеи о наивыгоднѣйшихъ условіяхъ матеріальной жизни. Особенно прославилась одна изъ этихъ женщинъ — Гюнтъ, достойная соперница Елизаветы Блэкуелль; она оказываетъ безвозмездную помощь бѣднымъ и въ то-же время читаетъ для женщинъ популярныя лекціи физіологіи.

Въ Европѣ примѣръ Америки мало находитъ себѣ подражателей. Европейскія женщины забыли свое прежнее высокое призваніе. Въ настоящее время, только въ двухъ европейскихъ государствахъ четыре женщины изучаютъ эту науку, съ цѣлью заняться практикою. Эти два государства, — да умилится патріотъ-читатель — Россія и Англія. Въ Англіи, миссъ Гарретъ уже получила дипломъ доктора, а миссъ Коль-

бернъ приготовляется получить. Въ Россіи, г-жа Суслова получила право на врачебную практику и г-жа Кашеварова окончила курсъ наукъ въ здѣшней медицинской академіи, чтобы занять мѣсто врача у оренбургскихъ казаковъ.

Европейскія общества дорого платятъ за произвольное и несправедливое отнятіе у женщины права, въ которомъ ей не отказывали даже друиды, права заниматься медициною и лечить больныхъ. Огромныя массы населенія остаются безъ всякой медицинской помощи; докторовъ-мужчинъ вездѣ оказывается слишкомъ мало для того, чтобы они могли посѣщать убогія хижины деревенскихъ бѣдняковъ; во Франціи по даннымъ, сообщаемымъ медицинскою статистикою, видно, что въ 600 деревняхъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ отъ 2 до 8 тысячъ жителей, нѣтъ ни одного доктора, ни одного апеткаря, т. е. среднимъ числомъ, около 3.000,000 людей лишены всякаго медицинскаго пособія, оставленные на произволъ судьбы — и, притомъ, оставленные среди самыхъ невыгодныхъ общественныхъ условій, способствующихъ развитію разныхъ недуговъ и болѣзней, они дѣлаются жертвою всевозможныхъ заразъ и эпидемій. Круглымъ числомъ, во Франціи 1 докторъ приходится на 2,250 чел. Но если во Франціи одинъ докторъ приходится на двѣ тысячи двѣсти человѣкъ, то на сколько-же десятковъ тысячъ надо считать у насъ одного врача! Наше земство постоянно объявляетъ приглашенія занять должность земскаго врача и не находитъ желающихъ.

Прежде женщина, какъ мы видѣли, пользовалась почти всѣми политическими правами, которыми пользовался и мужчина; она допускалась къ отправленію общественныхъ должностей; на нее возлагались обязанности, требовавшія научныхъ свѣдѣній и спеціальнаго образованія. Поэтому общество не могло съ пренебреженіемъ относиться къ ея воспитанію; оно не могло, — не впадая въ явное противорѣчіе, — закрыть женщинѣ тѣ пути къ развитію и самообразованію, которые оно открыло мужчинѣ. Дѣйствительно, въ средніе вѣка женщина получала въ монастыряхъ точно такое-же солидное и обширное образованіе, какъ и мужчина. Все доступное мужчинѣ — было доступно и женщинѣ. Женщина изучала высшую математику и астрономію, писала на греческомъ языкѣ оды и посланія, сочиняла по-латыни ученые трактаты о сущности вещей, о Богѣ, о вселенной, двигала впередъ медицину, переводила римскихъ юристовъ и писала комментаріи на Аристотеля.

„Среди варваровъ, раздѣлившихъ между собою остатки римской имперіи, говоритъ Добіэ,—женщины сберегли и сохранили въ монастыряхъ традиціи науки первыхъ вѣковъ христіанской эры, и въ нашей полудикой Франціи, у нашихъ грубыхъ Меровинговъ, были открыты для женщинъ знаменитыя школы Арме и Пуатье. Женщины со всею свойственною имъ страстью предались изучать и изслѣдовать все, что́ можно было въ то время изучать и изслѣдовать. Скоро многія изъ нихъ прі-

обрѣли себѣ громкую славу замѣчательныхъ ученыхъ и краснорѣчивыхъ учителей. На лекціи Бертиллы, настоятельницы монастыря Шелле, стекались жители обоего пола не только Галліи, но даже и изъ сосѣднихъ странъ. Знаменитая настоятельница Параклейскаго монастыря, Элоиза, прославилась своею школою, гдѣ она читала геологію, греческій и еврейскій языки. Примѣръ ея нашелъ себѣ много подражательницъ и въ другихъ монастыряхъ. Настоятельницы открывали высшія училища для женщинъ, и здѣсь женщинамъ сообщалась на греческомъ, латинскомъ и еврейскомъ языкахъ вся мудрость того времени. Еще въ XVII вѣкѣ мы встрѣчаемся съ нѣсколькими женщинами, возбуждавшими къ себѣ удивленіе и уваженіе всего образованнаго міра. Сестра Паскаля-Жакмена, помогавшая брату во всѣхъ его работахъ, по своей учености ничѣмъ не уступала этому великому человѣку, сгруппировавшему въ своей головѣ всѣ знанія своего вѣка. Не менѣе ея была замѣчательна настоятельница Фонтеврскаго монастыря, переведшая на французскій языкъ „Пиръ Платона". Переводъ этотъ немногимъ уступаетъ позднѣйшему переводу того-же сочиненія, сдѣланному Расиномъ.

Женщинамъ дозволено было посѣщать высшія школы и университеты вмѣстѣ съ мужчинами. Мы уже упомянули объ экономистѣ Росси, который учился въ одномъ университетѣ и сидѣлъ даже на одной скамейкѣ съ „прелестнѣйшими женщинами, изучавшими право, медицину и греческую словесность". Въ томъ цитированномъ нами отрывкѣ онъ упоминаетъ объ одной женщинѣ, читавшей въ этомъ университетѣ лекціи греческой литературы; Росси слушалъ у нея лекціи и былъ очарованъ ея солиднымъ образованіемъ, ея ученостью, соединенною съ живымъ умомъ и удивительною граціею. И въ другихъ итальянскихъ университетахъ женщины допускались къ профессурѣ; такъ, напримѣръ, докторесса правъ Беттичіо-Казадино читала лекціи въ знаменитомъ Болоньскомъ университетѣ.

Новелла и Безина Кальдерини смѣнили на кафедрѣ права: одна отца, другая — мужа.

Въ Сорбонѣ женщины имѣли право слушать курсы наравнѣ съ мужчинами; при ученыхъ докторскихъ диспутахъ для нихъ устроены были особыя мѣста въ залѣ академіи, — и изъ записокъ Сэнъ-Симона видно, что присутствіе женщины въ этомъ центрѣ французскаго ученаго образованія считалось дѣломъ весьма обыкновеннымъ; никому и въ умъ не приходило видѣть въ этомъ нѣчто скандальное и безнравственное; никто не считалъ этого посягательствомъ на общественную безопасность. И нельзя не сознаться, что древній галлъ и друидъ были въ этомъ отношеніи гораздо прогрессивнѣе нашихъ почтенныхъ публицистовъ.

На этомъ мы можемъ окончить длинный и грустный перечень тѣхъ ограниченій, которыя мало по малу вытѣсняли женщину изъ всѣхъ сферъ общественной дѣятельности на Западѣ и, наконецъ, довели ее до

полнѣйшаго ничтожества въ современномъ общественномъ устройствѣ. Въ рукахъ женщины не осталось ни одного права, которымъ она пользовалась прежде, когда варварскія понятія, повидимому, стирали всякое достоинство съ человѣческой личности. И однакожъ, эти варварскія времена и понятія были гораздо благопріятнѣе для развитія умственной самостоятельности и нравственной свободы женщины, чѣмъ настоящая эпоха. Мы прослѣдили по всѣмъ направленіямъ тотъ наклонный путь, по которому пизводилась женщина на ту жалкую степень, на которой мы видимъ ее теперь; если бы Добіэ представилъ гораздо менѣе фактовъ, то и тогда было бы ясно, что современная цивилизація, подъ вліяніемъ экономической эксплуатаціи человѣческихъ силъ, находится въ непримиримой враждѣ съ положеніемъ женщины.

V.

Но какія же были послѣдствія этой исторической метаморфозы? Полезна-ли она была тому обществу, которое такъ безцеремонно распорядилось судьбами женщины? На эти вопросы всего лучше могутъ отвѣчать статистическія данныя полицейскихъ бюро и репрессивныя мѣры противъ публичнаго разврата. Почти съ математическою точностью можно провести параллель, съ одной стороны между стѣсненіемъ независимаго положенія женщины въ семьѣ, обществѣ и государствѣ, а съ другой, между возрастающею прогрессіею неправильныхъ браковъ, явной и тайной проституціей, дѣтоубійствами и тому подобными явленіями. „Странное дѣло, говоритъ Добіэ,—съ одной стороны видѣть почтеннаго юриста, потѣшающагося надъ изобрѣтеніемъ разныхъ жалкихъ полумѣръ для огражденія общественной нравственности, а съ другой такъ-же усердно работающаго надъ созданіемъ причинъ, вызывающихъ эти полумѣры. Всѣ законодательства, повидимому, покровительствуютъ чистотѣ и прочности семейныхъ узъ, а между тѣмъ, уничтожая женскую независимость, сами же наносятъ этимъ узамъ смертельный ударъ. Не легче-ли было бы возвратить женщинѣ ея нормальное общественное положеніе, чѣмъ придумывать новые законы для реабилитаціи ея падшаго характера? Не честнѣе-ли было бы для общественнаго мнѣнія смотрѣть снисходительно и сочувственно на женщину, разсѣкающую трупъ въ анатомическомъ театрѣ, чѣмъ поощрять своимъ великодушнымъ равнодушіемъ продажу молодыхъ дѣвушекъ дряхлымъ и развратнымъ покупщикамъ женскаго тѣла?“ (Стр. 257) Какъ бы то ни было, но репрессивныя мѣры, ограждающія общественную нравственность, при всѣмъ обиліи своемъ въ европейскихъ законодательствахъ, по отзыву самихъ-же законодателей, не достигаютъ тѣхъ благодѣтельныхъ результатовъ, которые имѣются въ виду; уничтожая и ослабляя зло съ одной стороны,

онѣ открываютъ ему дорогу съ другой, такъ что язва перемѣняетъ свое мѣсто, цвѣтъ и степень болѣзненности, но не прекращаетъ своего зараженія. И было бы очень трудно бороться репрессивными мѣрами съ тѣми причинами, которыя пораждаютъ такія явленія, какъ проституція или извращеніе семейныхъ отношеній. Въ основѣ этихъ причинъ лежитъ всемогущая сила экономической необходимости. Женщина, отстраненная отъ всѣхъ общественныхъ должностей, вытѣсненная даже изъ круга свойственныхъ ей занятій, при одинаковомъ трудѣ съ мужчиной, получающая меньшую задѣльную плату, поставленная подъ непосредственную и тяжелую опеку мужа и отца, неприготовленная воспитаніемъ ни къ какому серьезному занятію, плохо образованная или совершенно необразованная, естественно дѣлается первою жертвою бѣдности и порока. „Въ Ліонѣ, продолжаетъ Добіэ,—каждый день арестуютъ женщинъ, которыя показываютъ, что только нищета заставила ихъ вступить на поприще разврата; по свидѣтельству полицейскихъ инспекторовъ, въ этихъ женщинахъ сохранилось чувство честности и онѣ были бы счастливы, перемѣнивъ свой образъ жизни на трудъ, но недостатокъ средствъ приковываетъ ихъ къ ихъ роковой карьерѣ. Въ нашихъ промышленныхъ городахъ можно видѣть двѣнадцатилѣтнихъ дѣвочекъ, каждый вечеръ предлагающихъ себя на улицѣ, и городъ Реймсъ насчитываетъ болѣе ста индивидуумовъ этого возраста, которые не имѣютъ другихъ средствъ къ жизни, кромѣ публичнаго разврата". (Стр. 255). Если бы мы стали слѣдить за вліяніемъ экономическихъ причинъ въ другихъ, болѣе высшихъ сферахъ общественной жизни, то убѣдились бы, что одинъ и тотъ-же законъ дѣйствуетъ одинаково повсюду; стѣсненіе женскаго труда породило женскій пауперизмъ, а пауперизмъ открылъ свободный доступъ всѣмъ порокамъ.

Еще печальнѣе положеніе женщины въ санитарномъ отношеніи. Врачи Англіи утверждаютъ, что въ женскихъ отдѣленіяхъ съумасшедшихъ домовъ наибольшій контингентъ умалишенныхъ, послѣ гувернантокъ, составляютъ „заработавшіяся" дѣвушки. Причины довольно очевидны: недостатокъ нужнаго сна въ ранніе и поздніе часы, постоянное изнуреніе и хлопоты и — больше, чѣмъ все это — страхъ будущаго, внушаемый ничтожнымъ размѣромъ заработка.

Замѣчательно, что въ переходное время въ Ирландіи, когда страна эта отъ оскудѣнія и всякаго горя стала приближаться къ жизненному комфорту и прогрессу, вся нація была главнѣйшимъ образомъ поддерживаема промышленнымъ трудомъ женщинъ. Въ слѣдующій затѣмъ періодъ и послѣ голода погоня за наиболѣе дешевымъ трудомъ повела къ порученію всѣхъ работъ женщинамъ и дѣтямъ, и тогда-то можно было видѣть странное извращеніе ролей: женщины работали на фермахъ или на пастбищахъ, тогда какъ здоровые, сильные мужчины, оставаясь дома, присматривали за грудными дѣтьми.

„Стоимость какой-бы то ни было части труда", — говоритъ Джонъ-Роскинъ въ своей книгѣ „Time and Tide," — другими словами количество пищи и воздуха, потребляемое человѣкомъ во время этой работы, безъ потери собственнаго мяса и нервной энергіи — есть количество, столько-же строго размѣренное, какъ и вѣсъ пороха, необходимый для бросанія ядра на извѣстное разстояніе. Пусть наиболѣе извѣстные врачи въ Лондонѣ выставятъ въ опредѣленныхъ итогахъ количество и родъ пищи, пространство помѣщенія, словомъ, все, что́, по ихъ мнѣнію, необходимо для здоровой жизни рабочаго на извѣстной фабрикѣ, при указаніи числа рабочихъ часовъ, которые бы не вели къ сокращенію жизни при такомъ содержаніи. И пусть хозяева обяжутся предоставить своимъ рабочимъ на выборъ: именно это количество пищи и помѣщенія или задѣльное вознагражденіе, какое можетъ предложить рынокъ за это число часовъ". Примѣняемыя къ мужчинамъ условія труда одинаково примѣнимы и къ женщинамъ. Если для нуждъ всего цивилизованнаго населенія имѣется достаточно пищи, топлива, убѣжищъ и другихъ существенныхъ рессурсовъ жизни, то очевидно, что неблагоразумная растрата этихъ благъ одними, въ той-же мѣрѣ отнимаетъ ихъ у другихъ гражданъ.

Часто случается намъ слышать, что если бы люди вели себя добропорядочно и трудолюбиво въ молодости, то не терпѣли бы недостатка въ пристанищѣ подъ старость. Это было бы справедливо, если бы каждый человѣкъ на бѣломъ свѣтѣ поступалъ честно. Но очень часто людямъ приходится попадать въ то или въ другое положеніе по грѣхамъ другихъ, вслѣдствіе безпорядочной жизни тѣхъ, съ кѣмъ они соединены узами родства или брака. Кромѣ того, бѣдность часто настигаетъ вслѣдствіе утраты здоровья, вслѣдствіе дѣловыхъ неудачъ, ввѣренія денегъ въ ненадежныя руки и часто тоже вслѣдствіе поручительства за долги другихъ. Надобно благодарить небо за то, что имѣются хоть и немногія убѣжища для призрѣнія неимущей старости — и пожелать, чтобъ ихъ было больше. Мы убѣждены, что если бы было открыто въ очію, на какую жизнь низкая задѣльная плата осуждаетъ значительное большинство работающихъ женщинъ, то человѣчество съ ужасомъ бы содрогнулось. Не порицанія, но только одной жалости достойны женщины. Онѣ могли бы быть счастливыми и полезными гражданками, если бы трудъ ихъ вознаграждался добросовѣстно. Достаточныя средства къ существованію неизбѣжно необходимы, чтобы бороться со всѣми искушеніями зла. Если женщина своимъ кровавымъ трудомъ не можетъ предохранить себя и своихъ малыхъ дѣтей отъ голода и холода, отъ позора и отчаянья, — горе тому обществу, которое называетъ ее своимъ членомъ!

Г-жа Ромье въ своей „Женщинѣ девятнадцатаго столѣтія", какъ на причину проституціи во Франціи, указываетъ на скудную задѣльную плату, которою женщины рѣшительно не въ состояніи себя содержать.

Паранъ-Дюшатле сообщаетъ, что „изъ трехъ тысячъ публичныхъ женщинъ въ Парижѣ только тридцать-пять имѣли занятія, которыя могли содержать ихъ, тогда какъ четырнадцать были вынуждены къ этой ужасной жизни неимѣніемъ никакого пристанища и хлѣба. Одна изъ нихъ, передъ тѣмъ какъ рѣшилась броситься въ бездну, ничего не ѣла впродолженіи трехъ сутокъ".

Милостыня, поданная женщинѣ способной и желающей работать, унижаетъ ея достоинство и развиваетъ въ ней чувство самоуваженія. Необходимость принять милостыню всегда больно коробитъ самолюбивую и свободную натуру. Но если женщина не можетъ содержать себя собственными средствами, что-же ей остается дѣлать? Ровно ничего. Но работая честно, по мѣрѣ силъ и умѣнья, она все-таки должна была бы утѣшать себя вѣрою, что общество и родина не оставятъ ее безъ помощи, на которую она имѣетъ право, и что благоразумное, гуманное и честное правительство приметъ мѣры къ обезпеченію достойныхъ и трудолюбивыхъ женщинъ. Г. Мэйю (Mayhew) о парижскихъ швеяхъ говоритъ слѣдующее: „изъ ихъ единодушныхъ показаній видно, что значительная ихъ часть — вѣроятно, четвертая часть всего числа или половина всѣхъ женщинъ, не имѣвшихъ мужа или родныхъ для своей поддержки — стали рыскать по улицамъ единственно ради куска хлѣба. Нерѣдко проституція порождается весьма честнымъ чувствомъ — желаніемъ поддерживать оставшихся безъ отца дѣтей или больную мать, когда нѣтъ никакого другого исхода — ни одного честнаго занятія, тогда какъ милосердіе затягиваетъ кошелекъ".

„Средняя продолжительность жизни для проститутки въ Нью-Іоркѣ составляетъ только четыре года. Дурное обращеніе родителей и мужей децимируетъ эту армію порока. Но всего грустнѣе, всего хуже нашу „христіанскую" цивилизацію рекомендуетъ тотъ фактъ, что цѣлая четвертая часть публичныхъ женщинъ въ Лондонѣ и Нью-Іоркѣ была выброшена на улицы и въ притоны разврата силою голода. Голодная смерть или адъ — вотъ въ чемъ былъ роковой вопросъ. *Работа за сходное вознагражденіе* скорѣе спасетъ во время несчастныхъ страдалицъ отъ публичныхъ домовъ, чѣмъ всевозможные пріюты кающихся грѣшницъ, потому-что пріюты эти помогаютъ только немногимъ, тогда какъ другая система *предохранитъ* и *обезпечитъ* многихъ".

„Часто насъ удивляютъ пороки бѣдныхъ, говоритъ мистрисъ Гаскелль, — но если бы тайны всѣхъ сердецъ были разоблачены, то мы еще болѣе удивлялись бы добрымъ качествамъ бѣднаго люда".

Люди, повидимому, еще недостаточно изучали причины преступленія и бѣдности, и потому не знаютъ, какими практическими средствами слѣдуетъ предупреждать и лечить эти страшныя язвы общества. Главное усиліе людей, повидимому, направлено только къ тому, чтобы облегчать, а не лечить; все дѣло, обыкновенно, взваливаютъ на милосердіе,

тогда какъ другая еще болѣе высокая добродѣтель — справедливость точно игнорируется. Тому, кто умѣетъ работать, нуженъ благодарный трудъ, а не милостынька. По отношенію къ умѣющимъ и желающимъ работать милостыня есть безполезная потеря, для подающаго — денежная, для принимающаго — трудовая. Надо только изумляться: какая громадная затрата времени, труда и денегъ производится для богоугодныхъ и филантропическихъ цѣлей, — и, однако, безъ всякаго утѣшительнаго результата, потому-что зло далеко превосходитъ эти палліативныя мѣры.

Такимъ образомъ, женскій вопросъ сводится къ вопросу: какимъ образомъ поставить женщину въ такія условія, при которыхъ она могла бы конкуррировать съ мужчиною; какимъ бы образомъ, *реставрировать* трудъ женщины въ тѣхъ сферахъ, откуда онъ былъ вытѣсненъ мужскимъ трудомъ.

Слѣдовательно, дѣло идетъ объ измѣненіи условій экономическаго распредѣленія труда... Явленія практической жизни соединены между собою такою же тѣсною и неразрывною связью, какъ и посылки логическаго силлогизма. Какъ силлогизмъ, такъ и практическую жизнь невозможно измѣнить правильнымъ, разумнымъ образомъ, выбросивъ изъ нихъ то или другое явленіе, тотъ или другой терминъ. Такое произвольное выбрасываніе можетъ произвести только диссонансъ — и ничего другого. Чтобы измѣнить жизнь *гармонически*, т. е. вполнѣ и всецѣло, чтобы измѣнить умозаключеніе *логически*, — для этого надобно доискаться первоначальной, основной, причины въ цѣпи всѣхъ явленій дѣйствительности, или главной посылки въ цѣпи всѣхъ членовъ даннаго предложенія; и только измѣнивъ эту основную причину или главную посылку — мы измѣнимъ умозаключеніе, какъ измѣнимъ самую жизнь. Положеніе это относится, рѣшительно, ко всѣмъ категоріямъ умозаключеній, а также и жизненныхъ явленій, въ томъ числѣ, разумѣется, и къ явленіямъ, составляющимъ, въ своей совокупности, то, что мы называемъ *женскимъ вопросомъ*.

Данное положеніе женщины есть, какъ бы, умозаключеніе, вытекающее изъ извѣстныхъ посылокъ. Кто находитъ умозаключеніе неправильнымъ, тотъ долженъ обратиться къ первой посылкѣ и въ ней искать причины этой неправильности. Исправивъ посылку, онъ исправитъ умозаключеніе. Кто находитъ настоящее положеніе женщинъ неудовлетворительнымъ, тотъ долженъ обратиться прежде всего къ изысканію тѣхъ явленій, которыя обусловили собою это положеніе.

Американское „Общество женскаго труда“ такъ и поступило. Оно обратилось прямо къ изслѣдованію экономическаго положенія женщины, поставленной во всѣхъ отрасляхъ общественной и промышленной дѣятельности лицомъ къ лицу съ конкурренціею и монополіею труда, захваченнаго въ исключительное распоряженіе мужчинъ. Чѣмъ дальше идутъ

изслѣдованія въ этомъ направленіи, чѣмъ больше пріобрѣтается фактическихъ данныхъ, тѣмъ становится яснѣе, что экономическая независимость и равноправность женщины есть единственный вѣрный исходъ ея изъ настоящаго положенія. Поэтому, открыть современной женщинѣ доступъ ко всѣмъ занятіямъ и профессіямъ, которыя теперь составляютъ привиллегію однихъ мужчинъ, уничтожить тѣ преграды, которыя нагромождены вѣками на пути свободнаго умственнаго развитія женщины — значитъ разрѣшить женскій вопросъ самымъ удовлетворительнымъ образомъ.

Единственное вѣское возраженіе, приводимое привиллегированнымъ поломъ противъ безусловной равноправности женщинъ на общественную дѣятельность, есть неспособность ихъ. Но откуда-же взять этой способности, когда нѣтъ ни одной сферы труда, въ которой бы женщина развивала въ себѣ энергію ума и характера. Мы держимъ ее въ такой искусственной и тѣсной житейской сферѣ, она такъ пассивна и безгласна по своему положенію въ семействѣ и обществѣ, что надо удивляться не тому, что она неспособна къ серьезной дѣятельности, а тому, что она не потеряла еще своего послѣдняго человѣческаго достоинства. Физіологическій законъ одинаковъ какъ для развитія физической силы, такъ и силы ума. Если мы не будемъ упражнять извѣстный органъ, то онъ перестаетъ дѣйствовать, дѣлается безполезной и пассивной частью нашего организма. То-же самое можно сказать и объ умственныхъ способностяхъ женщины. Мы видѣли, что въ эпоху болѣе самостоятельнаго положенія женщины, она способна была сдѣлаться и хорошимъ медикомъ, и астрономомъ, и полководцемъ и законодателемъ. Мы видимъ то-же самое и теперь, несмотря на то, что кругъ ея дѣятельности крайне ограниченъ.

Вотъ что говоритъ Виргинія Пенни о „женщинахъ-изобрѣтательницахъ“:

„Исключивъ для женщины всякое механическое воспитаніе, мужчина тѣмъ не менѣе ставитъ ей въ укоръ, что она ничего не изобрѣла собственнымъ умѣньемъ. Но при этомъ выпускается изъ вида одинъ довольно замѣчательный фактъ. Общество ограничиваетъ сферу женскаго труда иглой, ножницами, веретеномъ, прялкой и ведромъ. И преданіе сообщаетъ намъ, что *всѣ эти предметы были изобрѣтены женщиною.* Если она придумала всѣ эти орудія, какъ только почувствовала въ нихъ надобность, чего-же вы отъ нея еще хотите?“

„Newark Advertiser“, говоритъ, что близь Трентона живетъ одна женщина, имѣющая репутацію отличнаго механика. Она сама сфабриковала экипажъ, можетъ сдѣлать скрипку или ружье. Ей всего двадцать-пять лѣтъ отъ роду. Способность женщинъ къ механикѣ никогда не находила достаточнаго упражненія. Она, быть можетъ, остается у нихъ въ бездѣйствіи, но если бы ее возбудить къ дѣятельности и развить, то и

эта способность стала бы работать — если не въ настоящемъ, то въ будущемъ поколѣніи женщинъ.

Воображеніе и вкусъ у женщины развиты больше, чѣмъ у мужчинъ. Женщины съ большимъ искусствомъ умѣютъ составлять узоры для принадлежностей туалета, обоевъ и другихъ подобныхъ предметовъ. Почему же не можетъ развиться въ нихъ механическая изобрѣтательность, если бы она сколько-нибудь была призвана къ работѣ? Впродолженіи многихъ вѣковъ женщина не занималась ничѣмъ подобнымъ. Какъ-же вы хотите, чтобы она *сразу* обнаружила весь изобрѣтательный талантъ мужчины, котораго предки испоконъ вѣковъ занимались этимъ дѣломъ? Такое быстрое развитіе было бы необычайно, чтобы не сказать чудесно.

Впрочемъ, не всегда мужчины, удостоиваемые патентовъ, бываютъ изобрѣтательны на самомъ дѣлѣ: многіе изъ нихъ цѣлые года напрасно ломали голову надъ своей задачей и были обязаны окончательнымъ успѣхомъ догадливости какой-нибудь женщины. Намъ нѣтъ надобности ни укрываться за этимъ общимъ увѣреніемъ, ни прибѣгать къ традиціонному факту, приписывающему женщинѣ изобрѣтеніе веретена, прялки, иглы, ножницъ. Всякій дикарь, приневоленный необходимостью, съумѣлъ бы придумать то-же самое. Но наиболѣе трудные и важные акушерскіе инструменты были изобрѣтены госпожею Буавенъ Госпожа Дюкудрэ изобрѣла manikin; госпожа Бретонъ придумала способъ искусственнаго кормленія грудныхъ дѣтей. Моранди и Бигеронъ примѣнили воскъ къ выполненію медицинскихъ рисунковъ и докторъ Гунтеръ, своими лучшими иллюстрированными сочиненіями, былъ обязанъ замѣчаніямъ дѣвицы Бигеронъ. Онъ всегда былъ ея лучшимъ другомъ, но въ этомъ дѣлѣ она предупредила его семью годами, и впослѣдствіи, быть можетъ, позволила ему присвоить себѣ ея наблюденія. Госпожа Рудэ, въ настоящемъ столѣтіи, придумала трубку для употребленія въ случаѣ удушья. Нетрудно сослаться на всѣ эти факты изъ исторіи медицины, такъ-какъ одинъ честный французскій врачъ потрудился сохранить ихъ. Но слѣдующіе примѣры изобрѣтательности и механической способности женщинъ, можетъ быть, менѣе извѣстны.

Въ 1823 году, госпожа Дютилье получила въ Парижѣ *первый патентъ на изобрѣтеніе* ею способа приготовлять искусственный мраморъ. Патентъ былъ такъ выгоденъ, что она продала его въ 1824 году, и новый владѣлецъ возобновилъ его, присоединивъ дальнѣйшія улучшенія.

Въ 1836 году, англичанинъ Борроу взялъ привиллегію на цементъ. Госпожа Бексъ, проживавшая въ Парижѣ, нашла цементъ этотъ непрочнымъ въ сырыхъ мѣстахъ и опубликовала новый способъ, лучше удовлетворяющій всѣмъ возможнымъ условіямъ, такъ какъ при этомъ для цемента употреблялась горная смола.

Въ 1840 году, госпожѣ Маршалль — прежде жившей въ Манчестерѣ, а теперь находящейся въ Эдинбургѣ — пришла въ голову мысль, что дѣй-

ствіе электричества, развивающагося при гніеніи животныхъ и растительныхъ веществъ, на извѣстковыя тѣла — должно имѣть много общаго съ естественнымъ образованіемъ мрамора. Въ концѣ пяти лѣтъ и послѣ множества опытовъ, она усовершенствовала искусственный мраморъ, котораго составныя части и приготовленіе были подчинены контролю человѣка, такъ-что вещество это можно было дѣлать въ теченіи часовъ или мѣсяцевъ, по желанію техника. Этому цементу она дала простое итальянское названіе intonaco (обмазка). Нельзя не подивиться, какимъ образомъ она могла проникнуть эту тайну, потому-что въ въ патентѣ г-жи Дютилье прямо сказано, что никакія растительныя вещества не должны быть приняты въ составъ, если мы желаемъ получить неразрушимый цементъ. Примѣръ этотъ довольно замѣчателенъ; эти безконечные, непріятные отзывы свидѣтельствуютъ, что женщина, по крайней мѣрѣ, способна къ упрямымъ, настойчивымъ изысканіямъ, къ продолжительному труду, въ чемъ ей такъ часто отказывается. А сколько фактовъ мы могли бы представить изъ исторіи умственнаго развитія въ подтвержденіе того, что геніальные писатели были обязаны вдохновеніемъ и лучшими идеями руководившимъ ихъ женщинамъ. Сколько, можетъ быть, великихъ открытій и благородныхъ идей потеряно человѣчествомъ только потому, что женщины, обладавшія ими, по чувству ложнаго стыда не представили ихъ міру или остановились на половинѣ дороги. Еще доселѣ женщина не всегда рѣшается выступить на литературное поприще подъ собственнымъ именемъ. Поэтому, упрекать женщину въ неспособности — это то-же, что обвинять птицу въ неумѣньи летать безъ воздуха или рыбу въ неумѣньи плавать безъ воды.

Въ заключеніе мы укажемъ на сладенькую теорію идеалистовъ, которые думаютъ, что только возстановленіе нравственнаго характера семьи можетъ преобразовать современную женщину и поставить ее въ лучшія общественныя условія. Но какъ это сдѣлать? Какъ поднять нравственный уровень семейныхъ отношеній, не возвысивъ въ то-же время соціальный характеръ общества? Семья есть только первая ступень общественной жизни, и всегда подчиняется вліянію всего соціальнаго порядка, но никогда не можетъ реформировать собою цѣлаго общества. Еще недавно были въ ходу иллюзіи такого рода, что превосходное общество можно устроить только тогда, когда каждый индивидуумъ, составляющій его, будетъ преобразованъ въ ангела. Но, спрашивается, сколько тысячъ вѣковъ надо трудиться надъ этой работой Данаидъ, и какія чудесныя средства найдены нами для подобной реформы? Если бы сказать садовнику, что для усовершенствованія его сада надо прежде всего усовершенствовать каждую вѣтку и каждый листикъ на деревѣ, то онъ, конечно, засмѣялся бы намъ въ глаза, доказавъ, какъ дважды-два четыре, что такіе пріемы садовнической педагогики никуда не годятся. Точно также наивны и тѣ реформаторы, которые хотятъ обновлять общество

посредствомъ реабилитаціи каждаго индивидуума или каждой семьи. Они, очевидно, отправляются отъ того пункта, къ которому надо было идти съ противоположной стороны. Не реабилитація семьи возстановитъ нравственное положеніе женщины, а, напротивъ, лучшія экономическія условія, въ которыя будетъ поставлена женщина, возстановятъ чистоту брака и семейства. Это такое вѣрное положеніе, противъ котораго нечего возражать.

1870 г.

Политическая экономія для богатыхъ

[illegible] политической экономіи [illegible]

Ни одна изъ современныхъ вѣтвей не представляетъ такого рѣзкаго противорѣчія дѣйствительной жизни народовъ, какъ политическая экономія. Всюду, гдѣ она получила права гражданства, она учитъ богатству и распредѣленію его, а богатство по-прежнему остается привилегіей меньшинства, а бѣдность — удѣломъ большинства. Всѣ одинаково горячо желаютъ увеличить свое матеріальное состояніе, всѣ понимаютъ, что богатство есть одинъ изъ величайшихъ двигателей общественнаго положенія, и никто, однакожъ, не обращается къ политической экономіи за тѣмъ, чтобъ разбогатѣть. [illegible] люди, сложившіе въ своихъ рукахъ огромные капиталы нашей эпохи. — Ротшильды всѣхъ странъ и сословій — никогда не занимались спеціально политической экономіей, многіе изъ нихъ и не слыхали о ней, а представители ея, посвятившіе всю жизнь изученію экономическихъ законовъ, съ небольшимъ исключеніемъ, — всѣ бѣдняки, отъ Адама Смита до Прудона. Первый, закладывая краеугольный камень соціальной науки, принужденъ былъ жить въ рыбачьей хижинѣ *Киркольди*, а второй едва могъ собрать нѣсколько сотъ франковъ, чтобъ спастись отъ преслѣдованія парижской полиціи въ Брюссель. И еслибъ кто-нибудь сталъ доказывать, что только въ школѣ хорошаго соціалиста можно научиться искусству богатѣть, то отъ перваго до послѣдняго министра финансовъ всякій горько улыбнулся бы такой наивной философіи.

Но чѣмъ-же объяснить это странное и крайне-нелогическое явленіе? Чѣмъ оправдать это недовѣріе къ политической экономіи и разрывъ ея съ практическимъ направленіемъ современныхъ обществъ? Отвѣчая на этотъ вопросъ, одни безусловно обвиняютъ самую науку, приписывая ей ту-же жалкую роль, какую играла алхимія или теологія въ средніе вѣка.

Другіе идутъ еще дальше, утверждая, что соціальное ученіе есть смертельный врагъ тишины и благоденствія народовъ. Оно, по мнѣнію ихъ, не только „не прибавляетъ ни одной крупицы въ супъ бѣднаго семейства", но явно враждуетъ со всѣми, такъ или иначе установившимися условіями нашей жизни. Если послѣдніе страдаютъ свѣтобоязнію и умственнымъ столбнякомъ, то съ первыми мы должны во многомъ согласиться.

Недостатокъ практическихъ результатовъ политической экономіи, дѣйствительно, зависитъ отъ самой теоріи ея. Это — ученіе новое, еще далеко не выработавшее полнаго синтеза; за неимѣніемъ точныхъ и обширныхъ наблюденій, оно часто выводитъ общіе законы изъ отрывочныхъ и кое-какъ пойманныхъ фактовъ; его анализъ гораздо бѣднѣе анализа естественныхъ наукъ; его кругозоръ такъ широкъ, что, обнимая всѣ сферы человѣческой жизни, всѣ интересы и страсти, и не имѣя возможности не только провѣрить, но даже вообразить ихъ, оно ограничивается произвольными выводами и догадками тамъ, гдѣ необходимы строго математическія рѣшенія соціальныхъ проблеммъ. Въ самомъ дѣлѣ, какое явленіе общественнаго быта не подлежитъ наблюденію соціальной науки? Какое знаніе не соприкасается съ ней той или другой стороной своихъ изысканій? Химія, физіологія, ботаника, исторія, философія, физика, анатомія, однимъ словомъ, всѣ отрасли умственной работы человѣка должны отвѣчать на запросы политической экономіи; потому-что главной задачей ея служитъ человѣкъ и отношеніе его къ природѣ и обществу, а къ этой задачѣ, въ послѣднемъ результатѣ, стремится наше мышленіе по всѣмъ его направленіямъ и во всѣхъ видахъ. Но какая-же изъ наукъ, кромѣ сухой номенклатуры и нѣсколькихъ данныхъ, можетъ удовлетворить пытливый анализъ экономической мысли и подкрѣпить ея шаткіе принципы? Не обольщаясь академическими фразами о великихъ реформахъ и успѣхахъ въ области ученой дѣятельности, мы должны сознаться, что она только начинается. Болѣе половины истинъ въ ней принимается на вѣру; изъ десяти милліоновъ мыслящихъ силъ, или способныхъ мыслить, едва-ли найдутся двѣ, которыя работаютъ съ успѣхомъ для науки. Все прочее живетъ инстинктами и обще-принятой рутиной.

Затѣмъ, соціальная экономія, бѣдная матеріалами и источниками, часто беретъ на себя трудъ не по силамъ. Недовольная настоящей организаціей европейскихъ обществъ — въ чемъ воззрѣніе ея совершенно справедливо, — она изъ отрицательной сферы критики переходитъ къ реальнымъ планамъ реформъ и построеній. Ей хотѣлось бы по магическому жезлу выдвинуть новое зданіе, не разчистивъ для него мѣста, не приготовивъ ни плана, ни строителя. Въ такомъ видѣ она явилась подъ перомъ нѣкоторыхъ французскихъ соціалистовъ...

Есть другая система. Она образовалась у англійскихъ и американскихъ экономистовъ. Признавая индивидуальную свободу за основаніе общественнаго строя, эта система не стираетъ въ прахъ отдѣль-

ное лицо передъ волей государства, а выдѣляетъ ему полную независимость дѣйствій. Она уважаетъ въ человѣкѣ не только значеніе нравственное, но и политическое. Чѣмъ меньше, по ея мнѣнію, вмѣшивается правительство въ частную дѣятельность, тѣмъ оно больше развиваетъ силы общества и его способность къ самоуправленію. При такомъ порядкѣ вещей обѣ стороны выигрываютъ — власть облегчаетъ свои заботы и отвѣтственность, а народъ лучше понимаетъ свои интересы и не остается равнодушенъ къ своей собственной судьбѣ. Но поставивъ личность на такой высотѣ соціальнаго положенія, политическая экономія, естественно, встрѣчается съ другимъ вопросомъ: какъ далеко простираются силы и вліяніе человѣка на окружающую его природу? Замѣтимъ, что отъ рѣшенія этого вопроса зависитъ основной взглядъ соціальной науки. Если она отдастъ природѣ первенство и безусловно подчинитъ ея законамъ человѣка, тогда гражданская личность его потеряетъ всякій смыслъ и обратится въ слѣпое орудіе фатализма. Это — состояніе самаго ужаснаго рабства, какого не могла придумать ни одна тиранія въ мірѣ. Съ той минуты, когда я становлюсь въ неизбѣжную зависимость отъ внѣшнихъ предметовъ, отъ дождя, холода, огня, отъ тигра и насѣкомаго, отъ звѣзды и камня, отъ урожая картофеля или хлѣба, и завишу отъ нихъ такъ, что не имѣю ни силъ освободиться отъ непріязненнаго вліянія, ни возможности побѣдить его, тогда я не смѣю считать свою жизнь выше пассивнаго прозябанія и безплодной борьбы съ окружающимъ міромъ. Само собою разумѣется, что въ такомъ состояніи человѣкъ находится въ извѣстный періодъ своего развитія, какъ, напримѣръ, дикарь, у котораго, кромѣ мускуловъ, нѣтъ другой силы и, кромѣ животнаго инстинкта, нѣтъ другой умственной способности; но это періодъ случайнаго и ненормальнаго состоянія; въ немъ не можетъ человѣкъ остаться навсегда; онъ постоянно порывается выйдти изъ него, и каждый шагъ его впередъ есть новая побѣда надъ природой, эмансипація отъ ея мертваго гнета. Въ этомъ заключается главная черта соціальнаго прогресса. Но теперь представляется другой вопросъ: гдѣ послѣдній предѣлъ этого торжества надъ природой, т. е. гдѣ лежитъ та грань, за которой оканчивается вліяніе человѣка? Думаемъ, что этой грани нѣтъ, что мы можемъ продолжать свое развитіе до безконечности, иначе безконечная величина не была бы нами мыслима. Судя по современному состоянію человѣчества, оно далеко не оправдываетъ этого закона; роль его въ отношеніи природы чисто страдательная, оно постоянно несетъ на себѣ ея цѣпи, и борется изъ всѣхъ силъ съ внѣшними препятствіями. Это такъ; но современное развитіе человѣка отнюдь нельзя принять за крайній предѣлъ совершенства. Передъ нами лежитъ безграничная перспектива новыхъ открытій, изысканій, бездна новыхъ силъ, доселѣ нетронутыхъ, и богатствъ, доселѣ неизвѣстныхъ. Это мы чувствуемъ и сознаемъ такъ ясно, что нѣтъ на-

добности доказывать. Путь, пройденный человѣчествомъ, поражаетъ насъ огромнымъ разстояніемъ, если мы сравнимъ бытъ кочующаго алеута съ жизнью образованнѣйшаго американца. Кругомъ насъ все измѣнилось, и въ ту самую минуту, когда мы пишемъ эти строки, милліоны новыхъ формъ, какъ волны изъ океана, поднимаются изъ жизни. Въ этомъ вѣчномъ круговоротѣ и видоизмѣненіи — ея могущество и безпрерывная работа. Взгляните на историческую карту Европы, и вы изумитесь преобразованіямъ ея. Гдѣ прежде одна хищная птица свивала свое гнѣздо, теперь тамъ раскинулись великолѣпные сады и желѣзные рельсы; гдѣ въ XIII вѣкѣ гноились болота, свирѣпствовалъ холодъ, земля лежала безплодной пустыней и замкнутые монастыри съ укрѣпленными зàмками едва напоминали о жизни, теперь тамъ выдвинулись роскошныя факторіи и плодоносныя нивы. Но если въ пять вѣковъ мы совершили такой трудъ, то почему же на основаніи аналогіи и опытовъ, не предположить, что черезъ десять будущихъ столѣтій, этотъ трудъ возрастетъ до необъятной величины. Вѣроятно, для послѣдующихъ поколѣній вся наша цивилизація, которой мы гордимся, покажется тѣмъ же варварствомъ, какимъ представляется намъ прошлая жизнь отцовъ. Почемъ знать, можетъ быть, въ томъ же самомъ умѣ, которымъ мы такъ мало пользуемся, со временемъ найдемъ неистощимый источникъ новыхъ идей и чувствъ, такъ что Байроны, Гейне и Гегели нашей эпохи будутъ дѣтьми по сравненію съ грядущими дѣятелями міра. Почемъ знать, можетъ быть, таже планета, теперь покрытая бѣдными племенами, повальными болѣзнями и враждой, залитая слезами и кровью, со временемъ обратится въ земной рай мира и счастія. Все это — возможно и математически вѣрно, если мы допустимъ, что геній человѣка или невидимый процессъ его нервной ткани можетъ развиваться до безконечныхъ формъ. По крайней мѣрѣ, доселѣ мы знаемъ, что результаты нашей умственной силы ростутъ въ геометрической пропорціи, тогда какъ самое развитіе ея идетъ въ ариѳметической. Если изобрѣтеніе компаса увеличило нашу дѣятельность во сто разъ, то примѣненіе пара къ движенію локомотива расширило ее въ тысячу кратъ больше, и такъ далѣе. Изъ всего этого слѣдуетъ, что геній человѣка передъ лицомъ природы находится точно въ такомъ же отношеніи, въ какомъ первоначальная ячейка относительно всего мірозданія. Онъ не въ силахъ творить, но можетъ видоизмѣнять и примѣнять до безконечности.

Признавъ такое могущество за человѣкомъ, мы, по логическому наведенію, должны признать и его безграничное вліяніе на природу. Послѣ этой истины, для современнаго соціалиста возникаетъ множество трудныхъ задачъ, не объяснимыхъ ни наукой, ни опытомъ. Чтобъ опредѣлить степень производительныхъ силъ человѣка и участіе ихъ въ преобразованіи природы, надо прежде взвѣсить каждую изъ его способностей и раскрыть точную связь между внѣшнимъ органомъ и внутрен-

нимъ нервомъ, дѣйствующимъ на него; чтобъ увеличить сумму труда и его успѣховъ, надо прежде угадать, какъ лучше направить и усовершенствовать мой умъ и волю; чтобъ ввести меня не рабомъ, а хозяиномъ въ громадную лабораторію природы, надо познакомить меня съ каждымъ ея феноменомъ и значеніемъ каждой вещи. Между тѣмъ, всѣ эти вопросы политическая экономія или забываетъ или, приступая къ нимъ, становится втупикъ передъ ихъ рѣшеніемъ; а не разрѣшивъ ихъ, она принуждена идти окольными дорогами, и болѣе обѣщать, чѣмъ дѣлать. Въ этомъ вторая слабая сторона ея теоріи.

Наконецъ, независимо отъ внутренняго содержанія, политическая экономія, болѣе другихъ наукъ, страдаетъ подъ давленіемъ чисто-внѣшнихъ обстоятельствъ. Затрогивая жизненные интересы общества, она слишкомъ близко сходится съ духомъ партіи, касты и привиллегіи, и, конечно, дѣйствуетъ вовсе не въ ихъ пользу. Ученіе противъ монополя не можетъ нравиться ни купцу, ни солдату; теорія свободы труда и правильнаго распредѣленія капиталовъ между разными состояніями не можетъ приходиться по вкусу аристократа, банкира или какого нибудь чиновника. Поэтому, соціальная наука встрѣчаетъ множество затрудненій въ разработкѣ и собираніи своихъ матеріаловъ, особенно тамъ, гдѣ правительственная система не имѣетъ достаточно гласности, гдѣ государственный бюджетъ — тайна, число войска — неизвѣстно, гдѣ нельзя доискаться до вѣрной цифры въ счетѣ уголовныхъ преступниковъ и наказаній, гдѣ вообще всякій фактъ, добываемый изслѣдованіемъ, подлежитъ не одной оцѣнкѣ писателя, но и его оффиціальнаго критика. Вслѣдствіе этого политическая экономія часто судитъ и рядитъ на-угадъ; ея статистическія данныя отличаются неточностью; ея теорія противорѣчитъ общему ходу жизни, ея приложеніе прямо или косвенно возстаетъ противъ укоренившихся предразсудковъ. Все это вмѣстѣ лишаетъ ее и прочныхъ началъ и довѣрія въ глазахъ большинства. Въ этомъ ея третья слабая сторона.

Затѣмъ мы перейдемъ къ книгѣ Молинари; но прежде чѣмъ станемъ говорить о ней, опредѣлимъ то мѣсто, которое занимаетъ бельгійскій экономистъ въ ряду европейскихъ ученыхъ. Густавъ Молинари, по убѣжденіямъ, принадлежитъ къ числу ходатаевъ за конституцію, свободу труда и мѣны; но въ то-же время онъ доселѣ боится первой французской революціи, какъ старая баба холоду; онъ нѣкогда возставалъ противъ рабства негровъ, противъ пауперизма ремесленныхъ классовъ, но всегда ненавидѣлъ ученіе соціалистовъ, какъ диссидентовъ экономической науки; ему противна всякая регламентація промышленной дѣятельности, всякое вмѣшательство правительствъ въ частныя распоряженія, но въ то-же время онъ думаетъ согласить безграничную свободу общественной экономіи съ старыми учрежденіями Европы; однимъ словомъ, Молинари — изъ разряда тѣхъ мыслителей, у которыхъ одна поло-

вина мозга постоянно противорѣчитъ другой; если первая говоритъ *да*, то вторая отвѣчаетъ *нѣтъ*. Поэтому во всѣхъ его сочиненіяхъ, лекціяхъ, журнальныхъ статьяхъ и въ настоящей книгѣ, переведенной на русскій языкъ, трудно отыскать конкретную идею или оригинальный взглядъ. Если угодно, у него найдете все, что̀ было сказано и разработано другими, но нельзя найдти ничего, что̀ бы принадлежало ему самому. Бентамъ замѣтилъ, что „не переработанная ученость въ нашей головѣ то-же, что̀ недоваренная пища въ желудкѣ". Молинари сильно страдаетъ несвареніемъ матеріаловъ въ своей головѣ.

Издавая въ свѣтъ „Курсъ политической экономіи", онъ поставилъ главной цѣлью доказать, „что экономическій міръ, въ которомъ соціалисты не замѣчаютъ никакого регулирующаго начала, управляется закономъ равновѣсія, дѣйствующимъ непрерывно и съ неодолимой силой для охраненія необходимой соразмѣрности между различными отраслями и различными дѣятелями производства" (стр. VIII). Въ этомъ законѣ Молинари видитъ величайшее открытіе, рычагъ Архимеда, которымъ можно поворотить весь земной шаръ, нисколько не нарушая его естественнаго теченія; какъ скоро найдено равновѣсіе между производствомъ и потребленіемъ, всѣ затрудненія исчезаютъ, и человѣчеству остается только наслаждаться плодами счастливой идеи бельгійскаго профессора. Но чѣмъ-же онъ объясняетъ свое равновѣсіе? Образованіемъ цѣнъ и рынка. Если извѣстная отрасль промышленности слишкомъ быстро развивается и превышаетъ данную сумму потребленія, цѣна предметовъ ея падаетъ, рынокъ становится выше запроса, и эта отрасль излишней промышленности сама собой приходитъ въ уровень съ другими. Точно также уравновѣшивается трудъ производительныхъ дѣятелей. Положимъ, что число работниковъ возрасло до такой величины, что половина изъ нихъ оказывается вовсе ненужной, тогда эта половина сама собой сокращается, пока не войдетъ въ точную пропорцію съ запросомъ потребителей. Что законъ такого равновѣсія, опредѣляемый общей гармоніей соціальныхъ силъ, дѣйствительно существуетъ, — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; его понималъ А. Смитъ, Сей, Сисмонди и всѣ ученики ихъ. Но возможно-ли осуществленіе его при настоящемъ устройствѣ обществъ? Вотъ вопросъ, на который слѣдовало отвѣтить Молинари. Допустимъ, что равновѣсіе, какъ законъ непремѣннаго тяготѣнія, управляетъ промышленной дѣятельностью, что нарушеніе этого закона само собою возстановляется, тогда мы должны предположить ту же гармонію въ соціальныхъ отношеніяхъ общественной жизни; потому-что промышленный трудъ не только находится въ тѣсной связи, но въ прямой зависимости отъ гражданскихъ и политическихъ условій народнаго быта. Представимъ, что въ Неаполѣ является потребность широкой умственной работы и для удовлетворенія этой потребности основываются типографіи, книжные магазины, заводятся кабинеты для чте-

нія, періодическія изданія, и вдругъ по декрету Франциска II всѣ эти работы прекращаются. Потребность на нихъ попрежнему существуетъ въ обществѣ и даже усиливается вслѣдствіе запрещенія, но промышленность остапавливается. Какъ въ такомъ случаѣ равновѣсіе Молинари согласитъ правильныя отношенія между производствомъ и потребленіемъ, между запросомъ и удовлетвореніемъ его? То-же самое можетъ случиться или лучше постоянно случается съ производительными дѣятелями. Доселѣ мы не знаемъ ни одного общества, гдѣ духъ касты, привиллегіи и монополя, въ бо́льшей или меньшей мѣрѣ, не парализировалъ бы народный трудъ: съ одной стороны развивается паразитизмъ, споліація, не только отсутствіе всякаго участія въ производительныхъ силахъ, но рѣшительное замедленіе ихъ; съ другой — мы видимъ сотни тысячъ ремесленныхъ рукъ, занятыхъ постояннымъ и утомительнымъ до истощенія трудомъ. Съ одной стороны человѣкъ скучаетъ и томится за неимѣніемъ дѣятельности, съ другой онъ не находитъ времени не только для нравственнаго отдыха, но и для возстановленія ослабѣвшихъ физическихъ силъ. Въ царствѣ тунеядцевъ онъ обладаетъ всѣми средствами для разносторонняго образованія, не зная, гдѣ и ка́къ примѣнить его, а въ рядахъ рабочихъ классовъ нѣтъ возможности ни получить образованіе, ни развить свой вкусъ и чувство, а между тѣмъ все это необходимо для успѣха труда, какъ воздухъ для дыханія. Какое-же равновѣсіе можетъ быть въ этомъ хаосѣ соціальныхъ парадоксовъ?

Точно такая-же диспропорція экономическихъ силъ возникаетъ подъ вліяніемъ естественныхъ явленій природы. Планета, населенная нами, далеко не представляетъ той гармоніи, которая необходима для человѣческой дѣятельности. Нѣтъ сомнѣнія, будетъ время, когда она достигнетъ высшаго развитія (ее, конечно, ожидаетъ еще множество геологическихъ и атмосферическихъ переворотовъ), войдетъ въ болѣе правильныя формы и отношенія съ нашими потребностями, но это развитіе еще въ будущемъ; а теперь она представляетъ картину ужасныхъ аномалій, тѣмъ болѣе вредныхъ нашему благосостоянію, чѣмъ менѣе мы способны предвидѣть и предупредить ихъ. Намъ ежеминутно угрожаютъ наводненія, неурожаи, засухи, заразы, хищныя животныя и самый человѣкъ, поставленный въ положеніе вооруженнаго врага своему ближнему. Пока всѣ эти обстоятельства вліяютъ на нашу дѣятельность, мы не смѣемъ и мечтать о гармоніи соціальныхъ или промышленныхъ силъ.

Но намъ возразятъ: Молинари ставитъ законъ своего экономическаго равновѣсія, не какъ строго-практическое правило, а идеалъ науки. Онъ предвидитъ и указываетъ на отклоненія его, но въ то-же время признаетъ его истину. Въ такомъ случаѣ, мы не понимаемъ: зачѣмъ составлять курсъ политической экономіи для будущихъ поколѣній, для того общества, котораго еще нѣтъ на землѣ. Вѣроятно, по прошествіи двухъ или трехъ вѣковъ, люди измѣнятъ свой взглядъ на вещи и, ко-

нечно, обратятся за уроками не къ бельгійскому профессору и его компилятивной книжонкѣ, а къ собственнымъ опытамъ и дѣйствительной соціальной наукѣ. Между тѣмъ, идея экономическаго равновѣсія, очевидно, проходитъ во всемъ сочиненіи Молинари; онъ старается объяснить съ помощію ея весь механизмъ производительнаго труда; нужно-ли оправдать выгоду раздѣленія его или естественное ограниченіе народонаселенія, — все идетъ, какъ по маслу, вслѣдствіе равновѣсія. Но только вотъ въ чемъ маленькая помѣха: чтобъ достигнуть его, надо снять заставы, таможни, уничтожить пошлины, международныя антипатіи, измѣнить землю и перевернуть вверхъ дномъ настоящій порядокъ вещей въ европейскихъ обществахъ. Потомъ, дѣйствительно, все пойдетъ легко и гладко.

Не возвысившись до всеобщихъ началъ въ своей теоріи, Молинари запуталъ ее и въ частныхъ приложеніяхъ. Такъ, опредѣленіе его политической экономіи кажется намъ слишкомъ смѣлой претензіей на всеобъемлющее ученіе, которое не можетъ выполнить и сотой доли изъ своихъ спеціальныхъ задачъ. „Политическая экономія, говоритъ авторъ, есть наука, описывающая *организацію общества*. Какимъ образомъ *общество устраивается, дѣйствуетъ, благоденствуетъ* или *гибнетъ*... Она есть анатомія и физіологія общества“. (Стр. 3). Слѣдовательно, нѣтъ предмета, который бы ускользалъ отъ взгляда г. Молинари, нѣтъ вопроса, на который бы, послѣ такого опредѣленія, не отвѣчала его книга. Повидимому, такъ; но судя по первому тону ея, она далека оттого, чтобъ можно было *устроить* по ней *общество*, а еслибъ кто-нибудь и устроилъ его, то оно столько же походило бы на дѣйствительный міръ, сколько зоологическій кабинетъ походитъ на живое царство птицъ и звѣрей. Положимъ, что я желаю знать: какое отношеніе имѣетъ политическая экономія къ геологіи и этнографіи; какое вліяніе племенныя свойства народа производятъ на его общественную организацію — образъ правленія, религію, понятія, нравы и т. п.; какое отношеніе имѣютъ мои нравственныя силы къ физическимъ, какъ устроить общество такъ, чтобъ въ немъ не было ни поразительной бѣдности, ни гнетущаго труда, а рядомъ съ ними чрезмѣрнаго богатства и совершенной праздности, — на всѣ эти пункты и множество другихъ Молинари, рѣшительно, ничего не отвѣчаетъ. Но если онъ уклоняется отъ проблеммъ новыхъ, то съ избыткомъ раздѣляетъ старые предразсудки. Не зная, на чемъ лучше поставить свою теорію о раздѣленіи труда, онъ положилъ въ основу ея неравенство чоловѣческихъ способностей, — эту нелѣпость, наслѣдованную нами отъ древне-классическихъ поэтовъ. По мнѣнію его, „дарованія людей существенно различны и неравны, такъ что каждый человѣкъ болѣе способенъ совершать однѣ операціи производства и менѣе совершать другія“. (Стр. 40). Переводя эту мысль на простой языкъ, надо думать, что одинъ изъ насъ родился быть кузнецомъ, дру-

гой солдатомъ, третій плантаторомъ, четвертый музыкантомъ и проч. Это неравенство разграничено самой природой, какъ-будто она напередъ предвидѣла, что мы разсортируемъ людей на рабовъ и свободныхъ; для однихъ придумаемъ занятіе палача, для другихъ генерала или статскаго совѣтника, для третьихъ булавочнаго мастера или танцмейстера. Удивляемся: какъ защитникъ свободы труда такъ слѣпо приходитъ къ самому убійственному деспотизму и насилію человѣческой души.

Не желая утомлять читателя безполезнымъ анализомъ второстепенныхъ подробностей теоріи Молинари, мы заключимъ слѣдующимъ вопросомъ: къ чему особенно должна стремиться современная соціальная наука? Доселѣ главной задачей ея было народное богатство или разработка производительныхъ силъ. Въ этомъ отношеніи XIX вѣкъ оказалъ человѣчеству значительную услугу: притокъ новыхъ открытій, изобрѣтеній, политическихъ реформъ и расширенія международныхъ сношеній увеличилъ сумму общественнаго достоянія, оживилъ трудъ и возбудилъ множество доселѣ неизвѣстныхъ потребностей; но съ тѣмъ вмѣстѣ онъ еще больше разоблачилъ старую соціальную язву — неравенство общественныхъ состояній и несообразность ихъ съ трудомъ и способностями. Каналы, по которымъ должно разливаться матеріальное довольство между массами, все еще заперты, и золотой дождь попрежнему падаетъ на нѣсколькихъ капиталистовъ, которые держатъ въ своихъ рукахъ судьбу пролетарія, источники труда и норму вознагражденія его. Быстрота кругообращенія соціальнаго богатства увеличилась, но оно попрежнему приливаетъ къ извѣстнымъ центрамъ общества, какъ кровь больного организма. Когда открывались желѣзныя дороги, всѣ пророчили блистательную будущность рабочимъ сословіямъ; послѣдствія доказали, что прямой выгодой ихъ воспользовались правительства или банкиры, а милліоны работниковъ, которые проливали потъ и кровь на эти колоссальныя предпріятія, или ничего не выиграли, или даже проиграли. Такъ въ Испаніи и Ирландіи желѣзныя дороги явно обратились во вредъ народу. Точно то же надо замѣтить и относительно телеграфическихъ нитей и распространенія пароходства. Кто воспользовался этими великими открытіями? Разумѣется, не матросъ и ремесленникъ. Наблюдая такія явленія въ соціальномъ мірѣ и не видя исхода изъ этой наглухо забитой тюрьмы, многіе экономисты стали защищать застой въ общественномъ положеніи, точку замерзанія на термометрѣ человѣческаго движенія; они испугались самого прогресса, который угрожаетъ разорвать послѣднюю связь въ современныхъ обществахъ и раздѣлить ихъ на два враждебныхъ стана — съ одной стороны нищихъ, съ другой — крезовъ. Ученіе Мальтуса и его послѣдователей непріятно разбудило самые апатичные умы и самый пошлый эгоизмъ подвинуло къ филантропическимъ припаркамъ общественныхъ недуговъ. Но эта боязнь прошла, и опытъ разъяснилъ, что не прогрессъ, а дурное упо-

требленіе его виновато въ ложномъ направленіи человѣческихъ обществъ. Вслѣдствіе этого, капитальнымъ вопросомъ соціальной науки сдѣлалось болѣе правомѣрное распредѣленіе богатства. Въ этомъ случаѣ надо отдать ей справедливость: она глубоко запустила свой критическій зондъ въ зараженныя части общественнаго организма. Теперь стало видно, что сословный антагонизмъ и рабское положеніе женщины служатъ главнымъ препятствіемъ къ эмансипаціи ремесленныхъ классовъ.

„Я не признаю, говоритъ Милль, — ни справедливымъ, ни хорошимъ состояніе того общества, въ которомъ есть *классъ* не работающій, гдѣ есть люди, которые могли бы трудиться и цѣной труда покупать свой отдыхъ, и эти люди не участвуютъ въ трудахъ, обременяющихъ человѣческій родъ". Между тѣмъ, они стоятъ въ головѣ народныхъ движеній, они заправляютъ нашими интересами и дѣлами. Разсматривая настоящее состояніе Европы, мы замѣчаемъ вездѣ преобладаніе средняго сословія. Аристократическія учрежденія среднихъ вѣковъ ослабѣваютъ и рушатся, но наслѣдіе ихъ переходитъ къ другому привиллегированному классу, буржуазіи. Она стоитъ китайской стѣной между народомъ и его правителями. Не трудно предвидѣть, что со временемъ значеніе ея будетъ то же, какое имѣло въ феодальный періодъ, такъ называемое, высшее сословіе, т. е., въ ея распоряженіи сосредоточится капиталъ, власть, образованіе, — и если Европа какимъ нибудь чудомъ не выйдетъ изъ своего труднаго положенія, еще два или три вѣка пройдутъ для народа въ неблагодарномъ и рабскомъ трудѣ.

Другимъ препятствіемъ къ развитію матеріальнаго благосостоянія массъ служитъ ихъ невѣжество и разъединеніе. Доселѣ мы не знаемъ болѣе дѣйствительнаго средства — помочь рабочимъ классамъ, какъ воспитаніе ихъ. Къ сожалѣнію, лучшій проводникъ этой нравственной реформы — женщина доселѣ отдалена отъ общественной дѣятельности. Положеніе ея съ небольшимъ исключеніемъ немногимъ выше простой самки. Въ семействѣ она — игрушка въ рукахъ мужа-деспота, если только не мелкій тиранъ его; въ общественныхъ интересахъ она не принимаетъ никакого участія. Для нея закрыты всѣ поприща, всѣ обязанности, отъ которыхъ исключаетъ ее или положительный законъ или предразсудокъ; она не можетъ подать голоса на выборахъ, защищать себя въ судѣ, выразить мнѣніе въ законодательствѣ, которое рѣшаетъ ея же собственную участь. Между тѣмъ, говорятъ, женщина должна воспитывать своихъ дѣтей. Но какъ же она будетъ воспитывать ихъ, для какихъ цѣлей, когда дѣйствительная жизнь общества ей неизвѣстна, когда она сама не знаетъ, зачѣмъ и почему она вызвана къ жизни и въ чемъ ея собственное призваніе? Какъ матери, ей недостаетъ индивидуальной свободы даже у своего скромнаго очага, какъ у члена общества, у ней отнята всякая личность. И это безличное, пассивное и нѣмое существо хотятъ уполномочить — воспитывать общество. Есть много

[illegible] какъ человѣческимъ достоинствомъ, но болѣе грубой — не [illegible] отверженная жизнь...

Къ задачи, какъ которыми предстоитъ работать соціальной наукѣ. [illegible] ихъ, она не даетъ обществу ни обѣтованнаго счастія, ни [illegible] грозящаго разгрома. Къ сожалѣнію, „политическія [illegible]“, въ родѣ курса Молинари, идутъ къ тѣми съ другой стороны и долго еще будутъ осуждены проповѣдывать богатство въ аудиторіяхъ [illegible] и рабовъ.

1880 г.

СТРАНА ЖИВЫХЪ КОНТРАСТОВЪ.

(Луи-Бланъ. „Письма объ Англіи". Спб. 1866—1870).

Въ 1859 году пишущій эти строки посѣтилъ Лондонъ, въ первый разъ въ своей жизни. Когда въ дали открылись мѣловые берега Англіи — а это было рано утромъ въ одинъ изъ ясныхъ майскихъ дней, — я почувствовалъ тоже, что̀ долженъ чувствовать дикарь, уносимый на европейскомъ кораблѣ отъ родного уголка земли въ неизвѣстную даль. И любопытно, и страшно было. Все, что̀ я слышалъ, читалъ и дополнялъ своимъ собственнымъ воображеніемъ, все, что̀ казалось мнѣ прежде достойнымъ удивленія, но загадочнымъ и полумистическимъ, теперь въ виду этихъ колоссальныхъ доковъ, сплошного лѣса мачтъ, никогда невиданнаго мною движенія людей, экипажей, пароходовъ, сновавшихъ взадъ и впередъ по Темзѣ, и безконечной перспективы храмовъ и дворцовъ, — теперь весь этотъ сонъ являлся на-яву. Меня отдѣляла отъ берега, на которомъ человѣкъ чувствуетъ себя лично свободнымъ, какъ птица, только одна доска, по которой надо было сойдти съ парохода; только нѣсколько минутъ нужно было для того, чтобы находиться въ самомъ центрѣ всемірнаго города, связаннаго своими умственными, политическими и промышленными интересами со всѣми частями свѣта, въ центрѣ великаго человѣческаго труда и неустанно работающаго генія XIX вѣка. Это впечатлѣніе ободрило, возвысило меня въ моихъ собственныхъ глазахъ; но когда я черезъ нѣсколько часовъ послѣ отдыха и одинокаго раздумья вышелъ на одну изъ главныхъ улицъ Лондона, то я почувствовалъ себя до того маленькимъ, до того ничтожнымъ среди этого страшнаго движенія, въ виду этихъ серьезныхъ и холодныхъ британскихъ физіономій, что мнѣ сдѣлалось не на шутку страшно за себя. Какъ будто, я вдругъ очутился въ числѣ лишнихъ зрителей на гладіаторской аренѣ,

гдѣ идетъ отчаянная борьба людей, оспаривающихъ другъ у друга если не жизнь, то весь ея комфортъ и наслажденія. Кто вышелъ изъ этой борьбы побѣдителемъ, того не вѣнчаютъ здѣсь, какъ классическаго героя, лаврами, но награждаютъ гораздо лучше — открываютъ ему всѣ пути къ богатству, къ гражданскимъ почестямъ, къ общественнымъ профессіямъ и называютъ его honorable или джентльменъ для отличія отъ побѣжденнаго, которому нѣтъ другого имени, какъ rascal. Потому-то каждый вступаетъ въ эту борьбу во всеоружіи, запасаясь всею энергіей желѣзной воли и несокрушимаго терпѣнія. Vae victis! этотъ ужасный крикъ плотояднаго Рима, такъ искусно примѣненный въ наше время маіоромъ Бисмаркомъ къ бѣдной Франціи, имѣетъ для англичанина самое осязательное значеніе въ его житейской борьбѣ. Дѣйствительно, кто палъ, тому нѣтъ болѣе пощады; какъ живой трупъ, его принимаютъ въ свои холодные склепы лондонскія трущобы, и до имени его нѣтъ никому болѣе дѣла, о существованіи его никто болѣе не вспомнитъ. Какъ канувшій въ воду, онъ не оставляетъ по себѣ никакого слѣда на поверхности житейскаго моря. Тутъ, дѣйствительно, есть отъ чего призадуматься и почувствовать себя оробѣвшимъ, если не ощущается въ карманѣ того всемогущаго талисмана, который для англичанина олицетворяется въ сотняхъ и тысячахъ гиней. Я увѣренъ, что это чувство овладѣваетъ каждымъ континентальнымъ пролетаріемъ, выходящимъ въ первый разъ на берегъ Англіи.

Всматриваясь въ эту жизнь глубже, замѣчаешь такіе поразительные контрасты, какихъ не представляетъ ни одна страна. Богатство въ 25,000 франковъ ежедневнаго дохода уживается вмѣстѣ съ отвратительной нищетой, низводящей человѣка ниже животнаго; высокая интеллигенція стоитъ рядомъ съ глубочайшимъ невѣжествомъ, почти съ дикостію; широкая и щедрая благотворительность — съ такимъ бездушіемъ, какого не встрѣтишь нигдѣ, кромѣ Лондона; политическія учрежденія, достойныя подражанія другихъ народовъ — съ остатками средневѣковыхъ, давно отжившихъ предразсудковъ. Тутъ есть и аристократическая гордость цивилизованной націи и раболѣпіе индійскаго парія; тутъ есть самыя гуманныя проявленія великодушія, самоотверженія, любви и такіе образчики эгоизма и тупости, которые заставили Брайта сказать передъ всей Англіей: „вамъ, милорды, труднѣе внушить чувство искренняго состраданія къ бѣдности и непосильному труду, чѣмъ этимъ камнямъ, изъ которыхъ построенъ вашъ парламентъ“. Но, спрашивается, что̀ же примиряетъ эти контрасты, что̀ успокоиваетъ эту безпрерывную внутреннюю борьбу, не нарушая и не останавливая прогрессивнаго хода Англіи? На чемъ покоится этотъ удивительный механизмъ англійской конституціи, пережившей столько реформъ безъ всякихъ потрясеній и революцій? Въ чемъ эластичность этого, въ сущности грубаго, аристократическаго аппарата, посредствомъ котораго сдѣлано столько великихъ завоеваній въ

области интеллектуальнаго и матеріальнаго прогресса? Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ объяснить это спокойствіе народа, который, съ одной стороны, пользуется почти безусловной личной свободой, а съ другой — не допускаетъ въ свои дѣла ни малѣйшаго полицейскаго вмѣшательства и позволяетъ своему полисмену носить вмѣсто сабли и револьвера — только фонарь? Страна, незнающая постояннаго войска и въ то же время осаждаемая двѣнадцатимилліонной массой пролетаріата; неимѣющая письменнаго кодекса законовъ и уважающая свои законы гораздо больше, чѣмъ гдѣ ихъ пишутъ каждый день? Если бы вся сила была только въ одномъ механизмѣ конституціи, то почему же этотъ механизмъ, такъ часто примѣняемый другими народами, оказывался никуда негоднымъ? Почему въ Пруссіи, напр., та же конституція равняется казарменному приказу и можетъ быть всегда раздавлена ногой Бисмарка, а въ Англіи никто не смѣетъ прикоснуться къ ея основамъ? На всѣ эти вопросы даетъ намъ самый лучшій отвѣтъ Луи-Бланъ въ своихъ письмахъ объ Англіи. Какъ талантливый публицистъ и человѣкъ мыслящій, Луи-Бланъ имѣлъ и время и средства познакомиться съ духомъ и характеромъ англійской націи очень коротко. Воспользовавшись гостепріимствомъ, всегда доступной для политическаго изгнанника, страны — послѣ coup d'état 2-го декабря, онъ десять лѣтъ прожилъ среди англійскаго общества, отлично изучилъ его языкъ, пріобрѣлъ обширныя знакомства, интересовался и наблюдалъ народную жизнь въ различныхъ ея сферахъ и, несмотря на свое французское предубѣжденіе къ Англіи, съумѣлъ замѣтить въ ней много такихъ явленій, какія желалъ бы видѣть въ самой Франціи. Отдавая справедливость всему хорошему, онъ, однакожъ, не преклоняется съ слѣпымъ фетишизмомъ передъ народомъ, у котораго есть много и дурного; онъ умѣетъ отличить грязь, хотя бы она и блестѣла золотомъ, отъ дѣйствительнаго достоинства англійскихъ учрежденій и нравовъ. А главное — онъ понялъ, въ чемъ именно заключается та внутренняя неодолимая сила націи, передъ которой стушевываются всѣ противорѣчія, нелѣпости и безобразія англійскихъ традицій и мертвящаго эгоизма денежной олигархіи. Эта сила, какъ даетъ чувствовать Луи-Бланъ въ каждомъ своемъ письмѣ, таится въ высоко-развитомъ общественномъ чувствѣ, въ томъ общественномъ тактѣ, который руководитъ англичаниномъ во всѣхъ его поступкахъ. Каждый отдѣльно членъ общества — въ большинствѣ случаевъ тяжелое, туповатое и эгоистичное существо, но, взятые всѣ вмѣстѣ, они составляютъ въ высшей степени цивилизованное и разумное цѣлое. И при анализѣ соціальной жизни каждаго народа надо строго отличать эти двѣ стороны національнаго характера. Мы, русскіе, напримѣръ, если каждаго изъ насъ разсматривать индивидуально, оказываемся народомъ добрымъ, сердечнымъ, способнымъ воспринимать все порядочное; но, какъ общественная личность, мы являемся недорослемъ, которому нужна посторонняя помощь даже въ томъ случаѣ, когда нужно положить каши

въ ротъ. Возьмите, напримѣръ, одно и то же предпріятіе въ Англіи и у насъ — устройство промышленной выставки самимъ обществомъ: какая разница въ умѣньи вести общественное дѣло тамъ и здѣсь. Когда въ 1862 году предпринято было устроить всемірную выставку въ Лондонѣ, общество сейчасъ же поняло, что это дѣло не личнаго интереса, а общаго, національнаго, и, слѣдовательно, должно быть организовано въ этомъ смыслѣ. Открывается подписка, чтобы собрать достаточную сумму на покрытіе расходовъ по этому предпріятію, и не проходитъ мѣсяца, какъ болѣе полутора милліона рублей сер. собраны въ одномъ Лондонѣ. И деньги были даны совершенно безкорыстно, потому что весь барышъ отъ выставки предназначено было употребить на какое нибудь общеполезное дѣло. Одному изъ организаторовъ было предложено за его трудъ 32,000 руб. сер., и онъ отказался принять эту сумму, будучи небогатымъ человѣкомъ. Такъ понимаютъ въ Англіи значеніе общественнаго предпріятія и не смѣшиваютъ его съ своимъ личнымъ дѣломъ. А у насъ прежде всего каждый хлопоталъ не объ общемъ дѣлѣ, а о своемъ собственномъ, и общественная солидарность проявилась только въ общественныхъ обѣдахъ и попойкахъ... Оттого и вышло въ результатѣ все такъ плохо: съѣхались, пообѣдали и разъѣхались. Вотъ и весь результатъ нашей мануфактурной выставки. Точно то-же мы видимъ во время бѣдствія Манчестера и Ланкашира, когда американская война произвела промышленный кризисъ въ Англіи. Чтобы помочь голодающимъ рабочимъ, открыта была національная подписка, и 13.000,000 франковъ были собраны, по первому воззванію о помощи, только въ одномъ Ланкаширскомъ графствѣ; одинъ лордъ Дерби пожертвовалъ 250,000 франковъ; а у насъ во время голода — всей Россіею пожертвовано только съ небольшимъ 4.000,000 франковъ. Мы долго не кончили бы, еслибъ захотѣли проводить эту параллель дальше; но кто-же не знаетъ, что во всѣхъ нашихъ общественныхъ предпріятіяхъ на первомъ планѣ стоитъ не общественное дѣло, а личное, не общая цѣль, а для каждаго своя собственная, и потому-то всякое общеполезное дѣло валится у насъ изъ рукъ, не возбуждая къ себѣ ни сочувствія, ни энергіи. Вѣдь нашлись-же люди, которые во время крымской войны, не постыдились набивать свой карманъ на счетъ сухарей и ранцевъ бѣднаго солдата. И послѣ этого говорятъ еще о какомъ-то общественномъ мнѣніи... Въ Англіи оно есть; тамъ оно выработано исторіей, борьбой партій, постояннымъ вниманіемъ націи къ своимъ правамъ и интересамъ, и въ этомъ общественномъ чувствѣ вся сила англійской конституціи и національнаго величія. Мы не говоримъ, чтобы оно было всегда безкорыстно, справедливо и разумно, чтобы оно выражалось вполнѣ правильно, но въ немъ доля здраваго смысла всегда перевѣшиваетъ долю безумія и личнаго произвола олигархіи. Здѣсь оно представляетъ высшій трибуналъ, послѣднюю инстанцію контроля, передъ которымъ — безсильна власть королевы, министровъ и

членовъ парламента. Вмѣстѣ съ тѣмъ, оно есть верховный судъ страны, который часто переходитъ въ роль кассаціоннаго суда и отмѣняетъ приговоры присяжныхъ, не считая ихъ непогрѣшимыми. „Англичане, говоритъ Луи-Бланъ, предоставивъ королю великую привиллегію — право миловать, оставили за собой право выяснять и направлять его путемъ прессы. Я, не колеблясь, говорю, что это одна изъ великихъ сторонъ ихъ національнаго характера и ихъ исторіи. Ихъ кассаціонный трибуналъ есть общественное мнѣніе, разсуждающее вслухъ. Всякій зрѣлый умъ поздравитъ ихъ съ этимъ“ (т. I, стр. 120 — 121). Какъ зорко слѣдитъ общественное мнѣніе за судебными приговорами, какъ чутко оно прислушивается ко всѣмъ обстоятельствамъ процесса, объ этомъ можно судить по тому, что оно часто вырываетъ жертву изъ рукъ правосудія только съ помощію своего протеста. Вспомнимъ: какихъ усилій и подкуповъ стоили „Черному кабинету“ Наполеона III происки его запутать и обвинить Бернара въ процессѣ Орсини. Пальмерстонъ былъ на сторонѣ Наполеона, все министерство склонялось на его сторону; въ его пользу были и адвокаты, и подкупленные агенты, и вліяніе палаты лордовъ. Съ другой стороны — бѣдный подсудимый, совершенно одинокій, безъ всякихъ связей и общественнаго положенія. И что же? Когда обвиняемый явился въ судъ за своимъ приговоромъ, въ эту минуту весь Лондонъ смотрѣлъ на судей и единодушнымъ голосомъ прессы требовалъ оправданія. И судъ оправдалъ. Этого мало. Общественное мнѣніе, замѣтивъ возрастающее вліяніе Наполеона III на неприкосновенность національной свободы Англіи, низвергло Пальмерстона, потакавшаго этому вліянію, не смотря на громадную популярность „любезнаго Пэма“. Такую-же роль верховнаго защитника приняло общественное мнѣніе въ болѣе комическомъ, но не менѣе скандальномъ процессѣ Виндгама. Читатели, вѣроятно, не забыли этого чудака, родившагося наслѣдникомъ столько-же большаго состоянія, сколько маленькаго мозга своихъ почтенныхъ родителей. Не смотря на великолѣпную обстановку богатаго денди, этому чудаку пришла странная мысль — попробовать на себѣ: что такое бѣдность и мозольный трудъ поденщика. Съ этою цѣлію онъ предпринялъ цѣлый рядъ похожденій, которыя скандализировали всю ливрейную нравственность Лондона: онъ наряжался въ платье лакея и исполнялъ обязанности трактирнаго слуги, привратника, жокея и т. п.; онъ служилъ при желѣзной дорогѣ смотрителемъ багажа и простымъ носильщикомъ, не получая, конечно, ни одного пенни за свой трудъ. Con amore онъ морилъ себя голодомъ и не брезгалъ посѣщать такія трущобы, изъ которыхъ рѣдко кому приходится выходить безъ подбитыхъ глазъ и помятыхъ боковъ; наконецъ, къ довершенію ужаса его аристократическихъ родственниковъ, онъ женился на женщинѣ сомнительной репутаціи, которая не замедлила его обобрать и бросить. Все это происходило на глазахъ всего Лондона; объ этомъ говорилось и писалось во всѣхъ газетахъ. И будь Винд-

гамъ человѣкъ бѣдный, то никто, разумѣется, не обратилъ бы никакого вниманія на его эксцентрическія выходки. Но въ томъ-то и бѣда, что онъ былъ богатъ, даже очень богатъ. Милые родственники его сообразили, что если запустить въ больное тѣло Виндгама острое жало какого-нибудь ловкаго адвоката и при этомъ заплатить ему получше, то легко будетъ у англійскаго правосудія выхлопотать Виндгаму приговоръ съумасшедшаго и потомъ подобрать къ своимъ рукамъ его громадное состояніе. Такъ они и распорядились, и не разъ въ этомъ чудовищномъ процессѣ, стоившемъ Виндгаму около 200,000 р. сер., вѣсы правосудія склонялись на сторону родственниковъ. Но общественное мнѣніе не упускало изъ виду этой жертвы родственной хищности и адвокатскаго пронырства; оно возвысило голосъ въ пользу Виндгама и громко потребовало оправдательнаго вердикта. Оно не безъ основанія подсказывало судьямъ, что если Виндгамъ за его странности будетъ обреченъ Бедламу, то сколько-же найдется подобныхъ чудаковъ въ Англіи, которые должны сопутствовать ему въ домъ умалишенныхъ? Сколько фанатиковъ, одурѣвшихъ отъ скуки и бездѣятельности разныхъ тунеядцевъ, мономановъ-философовъ и т. д. должны быть признаны также не въ своемъ умѣ? И Виндгама оправдали. Если принять во вниманіе духъ партій, неизбѣжно вліяющій на совѣсть судей и присяжныхъ, произволъ въ примѣненіи обычнаго англійскаго права, отвратительную адвокатскую казуистику, разставляющую свои тенета тамъ, гдѣ можно поживиться, наконецъ, отсталость юридическихъ понятій, признанную самими англичанами, то общественное мнѣніе въ роли верховнаго суда есть величайшее благодѣяніе для Англіи.

Но нигдѣ оно не оказываетъ такого плодотворнаго вліянія, какъ въ болѣе важныхъ политическихъ вопросахъ. Въ этомъ случаѣ его здравый смыслъ и прогрессивные инстинкты, рѣшительно, преобладаютъ надъ консервативными стремленіями правительства. Тутъ его сила неотразима. Зарождается оно гдѣ нибудь въ темной мастерской работника, въ клубѣ или на частномъ митингѣ и, согласуясь съ народными симпатіями, быстро распространяется между націей. Отъ хижины и до дворца всѣ начинаютъ думать, говорить и интересоваться общественнымъ дѣломъ, и когда установится опредѣленный взглядъ на него, тогда всѣ преграды, противополагаемыя ему, падаютъ передъ нимъ, какъ передъ напоромъ неудержимой волны. Такъ оно высказалось въ знаменитомъ протестѣ противъ плантанторскихъ замысловъ своего правительства во время войны Сѣвера съ Югомъ Америки. Извѣстно, что на сторонѣ Юга была вся англійская буржуазія, министерство, всѣ промышленные и торговые тузы, ему симпатиравали даже такіе люди, какъ Гладстонъ, Дж. Россель и молчали такіе, какъ Дж. Ст. Милль и Льюисъ. Всѣ болѣе вліятельные органы прессы, подобно Times'у — этому вѣрному прихвостню преобладающаго мнѣнія, изъ какого бы мутнаго источника оно ни выте-

кало, — поддерживали интересы южныхъ штатовъ. Общество долго находилось въ недоумѣніи; его мистифировало правительство, увѣряя, что борьба между Сѣверомъ и Югомъ ведется вовсе не за освобожденіе негровъ, а изъ притязанія сохранить въ цѣлости американскій союзъ; его обманывала пресса, представляя Линкольна честолюбцемъ, готовымъ не сегодня, такъ завтра ринуться съ своимъ броненоснымъ флотомъ на Англію. Но вотъ является прокламація Линкольна, ясно и категорически высказавшаяся за уничтоженіе рабства, неоставлявшая ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что война отличается высоко-гуманнымъ характеромъ. Когда эта прокламація была прочитана Англіей, то вдругъ повязка съ ея глазъ упала, и общественное мнѣніе сдѣлало крутой поворотъ. Въ томъ самомъ Ливерпулѣ, гдѣ болѣе всего симпатизировали плантаторамъ, между тѣми самыми работниками, которые болѣе всѣхъ бѣдствовали отъ недостатка хлопка, раздался первый протестъ противъ Юга и выражено горячее сочувствіе Сѣверу. Но мы не передадимъ лучше, чѣмъ передаетъ намъ эту великую побѣду здраваго смысла надъ глупостью Луи-Бланъ. „На нынѣшней недѣлѣ, пишетъ онъ, — пришла очередь Бристоля, того изъ всѣхъ портовъ Англіи, которому было всего труднѣе отказаться отъ торговли неграми. Что-же въ эту недѣлю дѣлалось въ Бристолѣ? Этотъ городъ еще въ первый разъ видѣлъ у себя такое многочисленное и такое одушевленное собраніе, и оно съ восторгомъ рукоплескало краснорѣчивымъ проклятіямъ Форстера противъ людей, которые на той сторонѣ океана осмѣливаются вести борьбу:

„За право порабощать часть человѣчества;

„За право отнимать жену у мужа и отрывать дитя отъ матери;

„За право мучить и убивать, подъ прикрытіемъ закона, отца, защищающаго честь своей дочери;

„За право, позволяющее отъ бѣлаго племени продавать своего сына, рожденнаго негритянкой;

„За право вмѣнять въ преступленіе воспитаніе, данное рабу, хотя бы дѣло шло только о томъ, чтобы выучить его читать и писать;

„За право, наконецъ, развивать до безконечности ту систему, которая изъ труда дѣлаетъ предметъ проклятія.

„Поворотъ мнѣнія, о которомъ я говорю, выразился особенно блистательно въ Лондонѣ. Въ прошлый четвергъ на Страндѣ, у входа въ Экзетеръ-Голлъ, собралась огромная толпа народа. На всѣхъ лицахъ выражалось не любопытство, а честное, глубокое чувство. Здѣсь готовился митингъ; всѣ знали, что митингъ собирался за тѣмъ, чтобы торжественно протестовать отъ имени англійскаго народа противъ притязанія партизановъ Юга на выраженіе чувствъ цѣлой Англіи.

„Нельзя не поблагодарить людей, руководившихъ этой благородной манифестаціей. Они не могли оказать бо́льшей услуги великому дѣлу свободы, представительницей которой въ XIX вѣкѣ служитъ Англія...

Какъ я обрадовался при видѣ этого множества народа, столпившагося въ четвергъ вечеромъ у дверей Экзетеръ-Голла. Еще за долго до того часа, въ который назначено было открытіе митинга, большое объявленіе возвѣстило, что пройдти въ залу уже невозможно; она была полна.

„И зала, дѣйствительно, была переполнена народомъ. Уже никакая человѣческая сила не могла проложить туда дороги для тѣхъ, которые не позаботились объ этомъ заранѣе. Я знаю даже нѣсколькихъ членовъ комитета, устроившаго этотъ митингъ, для которыхъ доступъ на эстраду оказался такимъ образомъ закрытъ. Народу было такое множество, что пришлось устроить второй митингъ въ залѣ нижняго этажа, а потомъ третій на открытомъ воздухѣ, въ Экзетеръ-стритѣ, при свѣтѣ луны и газовыхъ рожковъ.

„Но, можетъ быть, такое значительное стеченіе народа было привлечено желаніемъ увидѣть какого-нибудь знаменитаго трибуна или услышать извѣстнаго ортаора? Нѣтъ. Всѣ знали, что президентское кресло займетъ Вильямъ Эвансъ, человѣкъ безъ сомнѣнія почтенный и какъ нельзя болѣе достойный быть президентомъ общества эмансипаціи, но человѣкъ, не пользующійся особенной извѣстностью ни по своему общественному положенію, ни по таланту.

„Times, совершенно озадаченная величественнымъ характеромъ этой демонстраціи, которой она не ожидала, поспѣшила замѣтить, что на трибунѣ не было ни одной знаменитости. Это правда. За исключеніемъ Томаса Гюгса, автора одной прекрасной книги, имѣющей теперь большой успѣхъ, никто изъ извѣстныхъ людей не придалъ этой манифестаціи авторитета своего слова; правда, что пришлось пожалѣть объ отсутствіи многихъ любимыхъ публикою лицъ, отсутствіи, происшедшемъ, впрочемъ, по совершенно уважительнымъ причинамъ, напримѣръ, генерала Томпсона, патріарха англійскихъ реформатовъ, перваго изъ мыслителей Англіи Дж. Ст. Милля. Но какъ же Times не поняла, что это придаетъ еще болѣе важности тому факту, значеніе котораго она, къ сожалѣнію, такъ старается ослабить? Да, конечно, на этотъ митингъ шли не ради какого нибудь человѣка; туда шли ради принципа.

„Теперь вы угадываете, чѣмъ долженъ былъ быть этотъ митингъ. Едва только было произнесено имя Линкольна, какъ раздался громъ рукоплесканій, продолжавшійся нѣсколько минутъ; съ такимъ же восторгомъ была встрѣчена рѣчь Томаса Гюгса, описавшаго карьеру Джефферсона Дэвиса, который началъ съ того, что убѣдилъ Штатъ Миссисипи отказаться отъ своего долга, и кончилъ обреченіемъ на убійство всякаго невольника, виновнаго въ стремленіи къ свободѣ“. (Т. II, стр. 353 — 355).

Черезъ мѣсяцъ послѣ этого митинга вся лучшая часть Англіи была вполнѣ на сторонѣ Сѣвера. Такимъ образомъ, общественное мнѣніе побѣдило, и за нимъ послѣдовало все, и правительство, и пресса, и пред-

ставители различныхъ народныхъ фракцій. И это обыкновенный путь, которымъ совершаются всѣ реформы Англіи. Конечно, бываютъ случаи, когда противодѣйствіе общественному мнѣнію парализируетъ его стремленія, но надо помнить, что самый могущественный регуляторъ его — свободная пресса — въ Англіи имѣетъ нѣсколько другое значеніе, чѣмъ на континентѣ. Тамъ она, за исключеніемъ двухъ-трехъ благородныхъ органовъ, бравирующихъ общественное мнѣніе, не руководитъ его, а идетъ за нимъ, поддѣлывается подъ его тонъ и желанія и, такимъ образомъ, теряетъ болѣе половины своего самостоятельнаго голоса.

Обыкновенный упрекъ, дѣлаемый общественному мнѣнію Англіи, тотъ, что оно деспотично, что подъ его незамѣтнымъ гнетомъ погибаютъ таланты, великія идеи и смѣлыя личности; но это — не справедливо. Оно можетъ заблуждаться подъ вліяніемъ дѣйствующихъ на него сверху неблаговидныхъ маневровъ, оно не всегда освобождается отъ глубокозасѣвшихъ въ него предразсудковъ, но нельзя указать ни одного факта, когда бы честный и великій умъ не находилъ доступа къ его совѣсти и здравому смыслу. Овенъ совершенно вѣрно подмѣтилъ эту черту, говоря о своихъ врагахъ: „это не народъ, это не Англія, а нахлѣбники ея, которые отъ малѣйшаго прикосновенія къ нимъ истины трясутся за свои доходныя мѣста и карманы. Совѣсть этихъ людей мирится со всякимъ положеніемъ, было бы оно только выгодно имъ лично". Онъ мѣтилъ этимъ на англійское духовенство, систематически омрачающее народъ, держа въ своихъ рукахъ его образованіе, и это дѣйствительно — величайшая задерживающая сила въ развитіи Англіи. Но и она уступаетъ общественному авторитету, если онъ настоятельно требуетъ реформы. Какъ на живой примѣръ того, какъ свободно можно обращаться съ общественнымъ мнѣніемъ Англіи, мы можемъ указать на Брайта. Это — одна изъ популярнѣйшихъ личностей въ Англіи, одинъ изъ тѣхъ ораторовъ, аудиторія котораго привлекаетъ многочисленную толпу слушателей, а между тѣмъ никто не говоритъ англичанамъ столько горькихъ истинъ, какъ онъ; и его слушаютъ, его уважаютъ. „Онъ стремителенъ въ нападеніи, говоритъ Луи-Бланъ, — запальчивъ, неустрашимъ, — въ особенности неустрашимъ. Видя, какимъ тономъ нападаетъ онъ на аристократію въ классической странѣ аристократизма, чувствуешь, что это — одинъ изъ тѣхъ бойцовъ, для которыхъ нужны великія препятствія и великіе враги. Въ странѣ, гдѣ деспотизмъ общественнаго мнѣнія служитъ противовѣсомъ самой свободѣ, онъ аттакуетъ это мнѣніе такимъ тономъ, въ которомъ слышится, что это говоритъ человѣкъ, сознающій въ себѣ силы властвовать надъ толпой, даже возстановляя ее противъ себя. Въ самый разгаръ патріотическаго энтузіазма, возбужденнаго битвами при Альмѣ и Инкерманѣ, онъ гремѣлъ противъ крымской войны и называлъ ее кровавымъ безуміемъ. Въ минуту самаго сильнаго раздраженія, возбужденнаго дѣломъ о Trent'ѣ, онъ превозно-

силъ Сѣверо-американскую республику, ставилъ ее міру въ образецъ, и когда по этому поводу раздались противъ него обвиненія, что у него не англійское сердце, онъ шелъ прямо на встрѣчу этимъ обвиненіямъ съ какою-то дикою гордостью. Суровый и запальчивый, Брайтъ — истый квакеръ съ подкладкою трибуна. Его краснорѣчіе, всегда пылкое и вмѣстѣ съ тѣмъ столь богатое содержаніемъ, даже самымъ цифрамъ придаетъ какую-то страстность; для него статистика, что дубина въ рукахъ силача. Проповѣдуетъ ли онъ миръ во чтобы то ни стало, въ его словахъ слышится, какъ будто, бой къ аттакѣ. Въ Римѣ онъ былъ бы человѣкомъ форума; въ Англіи онъ, по преимуществу, человѣкъ народнаго собранія, — потому-то онъ и чувствуетъ себя въ палатѣ общинъ, какъ будто, не на своемъ мѣстѣ, онъ не можетъ развернуться здѣсь во всей своей силѣ, — очевидно, атмосфера палаты не соотвѣтствуетъ его суровой натурѣ" (т. II, стр. 43). Да, это въ рукахъ англійскаго народа таранъ, которымъ пробиваются бреши въ самыхъ старыхъ крѣпостяхъ, за которыми спасаются рутина и предразсудки. Въ послѣднія десять лѣтъ голосъ Брайта постоянно поднимался въ пользу прогрессивнаго движенія Англіи, по всѣмъ вопросамъ національной политики. Онъ защищалъ права Ирландіи, свободу негровъ, независимость Іоническихъ острововъ, рабочія ассоціаціи, избирательную реформу, религіозную терпимость и расширеніе земледѣльческихъ правъ; онъ не боялся выводить на свѣтъ тѣ темныя стороны Англіи, которыя она такъ тщательно скрываетъ отъ Европы; ея эгоизмъ, зависть, узкая національная мѣрка, прилагаемая къ общечеловѣческимъ вопросамъ, ея хищность въ отношеніи колоніальныхъ пріобрѣтеній, ея лицемѣрная благотворительность — разоблачались имъ такъ смѣло, что эта самая смѣлость, язвившая національную гордость, заставляла удивляться и рукоплескать ему. Какая же это нетерпимость общественнаго мнѣнія, къ которому можно обратиться съ слѣдующимъ выговоромъ: „Вы кровью и грязью запятнали страницы вашей лѣтописи по управленію Индіей; вы раззорили эту страну хищнической системой завоеванія и еще имѣете дерзость жаловаться на то, что она ненавидитъ васъ, возстаетъ противъ васъ! Но развѣ ваши другія колоніи менѣе враждебно относятся къ вамъ? Вашъ могущественный флагъ несетъ народамъ не вѣтвь мира, а огонь войны, не спокойствіе и счастіе, а внутреннюю вражду и эксплуатацію; подъ покровомъ вашей конституціи совершаются такія преступленія, которыхъ ужаснулось бы всякое варварское правительство, и вы такъ наивны, что требуете уваженія къ себѣ и господства на моряхъ!" (Speeches of Brihgt. т. I стр. 201). Общественное мнѣніе, способное выслушивать такія рѣчи и награждающее оратора высокимъ уваженіемъ, слишкомъ далеко отъ той деспотической нетерпимости, въ которой его упрекаютъ. Надо быть только искреннимъ и протестовать во имя правды, чтобы не быть голосомъ, вопіющимъ въ пустынѣ.

Но если Англія такъ чутко отзывается на политическіе вопросы, такъ ревниво слѣдитъ за своими политическими правами, то настолько же она равнодушна къ своему соціальному прогрессу. Въ этомъ отношеніи ея общественное мнѣніе — мертво; оно не поддержало ни одной соціальной реформы XIX вѣка, даже не поставило ее теоретически на правильную точку зрѣнія; оно дѣлается, какъ будто, глухо и нѣмо, когда коснется вопросъ экономическаго улучшенія ея обезземеленной и закабаленной массы. Кому неизвѣстны, напримѣръ, подкупы въ ея избирательной системѣ, и Англія смотритъ на нихъ хладнокровно; она скандализируется не подкупами, а тѣмъ, что простой работникъ — эта Каріатида ея величія — осмѣливается просить себѣ участія въ представительномъ правленіи. Ея уголовная практика, правда, смягчаемая совѣстью судей, все-же не далеко ушла отъ висѣлицъ и тюремъ XVI вѣка; ея законы о наслѣдствѣ, о дѣтяхъ, прижитыхъ внѣ брака, о правахъ жены и женщины вообще, развѣ немногимъ лучше, чѣмъ у жителей Туниса и Марокко. Ея экономическій строй, представляющій пирамиду, поставленную вверхъ основаніемъ, зиждется на борьбѣ и конкурренціи, создающей рабство труда и власть капитала. Англія расходуетъ громадныя суммы на свои благотворительныя учрежденія, тюрьмы и школы, и постоянно становится лицомъ къ лицу съ грознымъ вопросомъ: что̀ мнѣ дѣлать съ преступниками? „Въ прошлую пятницу, говоритъ Луи-Бланъ, — Рафль Уэльтью, исполняющій должность „коронера“ въ восточной части Мидльсекскаго графства, призванъ былъ въ таверну „Черной лошади“ освидѣтельствовать тѣло ребенка, найденное въ цистернѣ; одно плечо этого ребенка было изъѣдено мышами. Въ тотъ же день, въ той же части города нашли другого ребенка, лежавшаго безъ малѣйшаго признака жизни и совершенно нагого, при входѣ на кладбище св. Леонара. На другой день увидѣли на Темзѣ, передъ Limehouse—Causeway, плывущій трупъ, также дѣтскій, и почти въ то же самое время замѣченъ былъ еще трупъ ребенка, полузавернутый въ тряпье, въ Regents-Canal.

„Святки, какъ вы видите, не на всѣхъ направили свой рогъ изобилія, и есть матери, которымъ не на что было сдѣлать подарокъ своимъ дѣтямъ.

„Въ самомъ дѣлѣ, что̀ говорятъ намъ эти дѣтоубійства, эти припадки помѣшательства, и чѣмъ объяснить это ужасное помѣшательство? Какъ понять, что бы мать когда-нибудь могла дойти до того, чтобы бросить или убить своего ребенка, если бы у нея еще оставалась какая-нибудь надежда прокормить его? Вотъ тутъ-то и обнаруживается во всемъ ея ужасѣ, во всей ея роковой неизбѣжности связь нищеты съ преступленіемъ.

„Сколько ужаснаго въ этой связи — это чувствуетъ каждый; но какъ боятся люди признать то, что̀ въ ней есть фатальнаго, въ томъ ужасномъ смыслѣ, какой придавали этому слову древніе! Нищета — вотъ та

зачумленная одежда, вотъ платье Деяниры, которое необходимо должны сбросить съ себя общества, если желаютъ освободиться отъ преступленія. Пока это не будетъ понято, криминалисты будутъ продолжать писать безполезныя книги, а филантропы истощаться въ безплодныхъ усиліяхъ. Кто сомнѣвается въ этомъ, тотъ пусть изучаетъ системы англійскихъ уголовныхъ законовъ, реформа которыхъ признана необходимой и служитъ въ настоящее время предметомъ всеобщей заботливости.

„Что̀ будемъ мы дѣлать съ нашими преступниками? — вотъ самый важный вопросъ настоящей минуты. Нѣтъ ни одной газеты, которая бы не касалась его, ни одного публициста, который бы не разбиралъ его, ни одного государственнаго человѣка, котораго бы онъ не смущалъ. Каждый предлагаетъ свои способы и свои лекарства. Проектовъ множество. Споры не умолкаютъ. Но чѣмъ больше углубляются они въ этотъ предметъ, тѣмъ больше смущаетъ ихъ крайняя трудность найти или даже предвидѣть выходъ изъ него.

„Было время, когда, чтобы избавиться отъ преступниковъ, ихъ, просто, вѣшали. Самая обыкновенная кража влекла за собой висѣлицу. Это былъ отвратительный способъ рѣшать задачу, но, наконецъ, это былъ хоть какой-нибудь способъ рѣшать ее, если правда, что не оживаютъ одни только мертвые. Но такъ какъ цивилизація не можетъ подвигаться впередъ, не отнимая мѣста у палача, то, наконецъ, должно же было придти время, когда нужно было перестать убивать людей — для того, чтобы научить ихъ жить. Это время наступило, и отдаленныя колоніи, преобразованныя въ лазареты преступленія, принимали всѣхъ зачумленныхъ, какихъ имѣла метрополія для отсылки туда. Но эти колоніи со временемъ разбогатѣли; онѣ пришли въ цвѣтущее состояніе и, наконецъ, рѣшительно закрыли свои порты для грузовъ злодѣевъ, отъ которыхъ такъ хотѣлось отдѣлаться ихъ родинѣ. Тогда представился трагическій вопросъ: „что̀ намъ дѣлать съ нашими преступниками?“.

„Такъ какъ уже отказались отъ мысли убивать ихъ, то предстояла необходимость позаботиться объ ихъ существованіи; и такъ какъ уже невозможно было отсылать ихъ въ отдаленныя страны, то надо было покориться необходимости оставлять ихъ при себѣ. Но какимъ же образомъ смотрѣть за ними? И гдѣ же помѣстить ихъ? Если предположить, что тюрьмы будутъ достаточно обширны, чтобы принять всѣхъ злодѣевъ вчерашняго дня, то будутъ-ли онѣ достаточно обширны, чтобы вмѣстить и тѣхъ преступниковъ, которые появятся завтра и послѣ завтра, и въ слѣдующіе дни, — если не устроить дѣла такимъ образомъ, чтобы для очищенія мѣста однимъ, выпускать отъ времени до времени на свободу другихъ? Но поступать такимъ образомъ — значитъ періодически выпускать на общество хищныхъ людей. Было, правда, одно средство — построить для этихъ дикихъ животныхъ въ достаточномъ количествѣ и достаточно обширные звѣринцы, рѣшетки которыхъ всегда были бы го-

товы принимать и никогда бы не выпускали. Но и тутъ оказалось огромное препятствіе: издержки. Увидѣли, что преступленіе — очень дорогая вещь.

„Съ этихъ поръ задача, рѣшенія которой искали, стала представляться съ новой точки зрѣнія. Вмѣсто того, чтобы спрашивать: что̀ дѣлать съ преступниками, стали спрашивать: нѣтъ-ли какого-нибудь средства пресѣчь преступленія разъ навсегда, нѣтъ-ли средства противъ причинъ того зла, слѣдствія котораго такъ трудно предотвратить? Этимъ уже вышли на настоящую дорогу, и вопросъ не могъ быть поставленъ лучше. Но, къ несчастію, ошиблись въ этихъ причинахъ, и какъ ошиблись! За причину приняли то, что̀ было только слѣдствіемъ.

„Рѣшено было, чтобы въ двухъ шагахъ отъ той лачуги, гдѣ дѣти бѣдняковъ отъ крайней нищеты воспитывались въ порокѣ, были устроены тюрьмы, въ которыхъ поучали добродѣтели и читали библію извергамъ, состарѣвшимся въ преступленіи. Рѣшено было, чтобы, разъ попавши въ тюрьму, преступники находили въ ней хорошее помѣщеніе, хорошую пищу и вообще были хорошо содержимы за одинъ признакъ раскаянія съ ихъ стороны, и въ то-же самое время честный работникъ, то есть тотъ, кто не считалъ справедливымъ пріобрѣтать себѣ общественное покровительство ударами кинжала, предоставленъ былъ тому-же деспотизму нищеты, во сто разъ болѣе свирѣпому, чѣмъ всякій другой человѣческій деспотизмъ“ (т. II, стр. 328 — 331). И вотъ, благодаря этой филантропической щедрости англичанъ, тюрьма, обставленная всѣми удобствами, сдѣлалась лучше мастерской и порокъ болѣе обезпеченнымъ, чѣмъ трудъ. На этомъ и успокоились. Но криминалисты забыли одно маленькое обстоятельство, а именно: они дали все преступнику — и теплое жилье, и фуфайки, и табакъ, и кофе, но отняли у него свободу, и система исправленія превратилась въ систему нравственнаго истязанія. Что-же вышло въ результатѣ? Число преступленій не уменьшилось, напротивъ возрасло, жестокость ихъ сдѣлалась грубѣе, и когда явились ночные гарротеры, нагнавшіе ужасъ на общество, оно громко потребовало усиленія наказаній, новыхъ висѣлицъ и тюремъ. Состраданіе къ преступнику обратилось въ мѣсть и грозило реакціей въ пользу стараго палача. Между этими-то двумя крайностями вращается вся государственная и общественная мудрость Англіи, и задача попрежнему остается неразрѣшимой.

„Но что-же дѣлать? — спрашиваетъ Луи-Бланъ. Надо или содержать преступниковъ или убивать ихъ, или подвергаться опасности самимъ быть убитыми, или ссылать ихъ далеко, чтобы отдѣлялъ ихъ отъ насъ океанъ.

„Ссылать! Этого бы и хотѣли. Но куда ссылать? Колоніи ихъ не принимаютъ. Можетъ быть, и возможно было бы устроить для нихъ особыя каторжныя колоніи гдѣ нибудь на краю свѣта, внѣ всякаго соприкосно-

венія съ другими людьми; но вѣдь пришлось бы издержать громадныя суммы за тѣмъ, чтобы снова открыть путь къ тѣмъ гнуснымъ злодѣяніямъ, одно воспоминаніе о которыхъ вселяетъ ужасъ. И потомъ высылать отъ себя зараженныхъ — очень плохое средство, когда самое гнѣздо заразы остается нетронутымъ. Постарайтесь уничтожить нищету, если можете, и вамъ не нужно будетъ никакихъ предохранительныхъ кордоновъ противъ преступленій" (т. II, стр. 333 — 334). Но къ подобнымъ совѣтамъ Англія относится какъ-то недовѣрчиво, и продолжаетъ лить воду своего милосердія въ старую бочку Данаидъ. Мы указали на эту черту англійской соціальной жизни особенно потому, что безусловные поклонники, также какъ и порицатели ея—постоянно смѣшиваютъ политическій строй Англіи съ соціальнымъ, и впадаютъ въ неисходныя противорѣчія сами съ собою. Это, впрочемъ, общая ошибка нашего времени при оцѣнкѣ народнаго быта той или другой страны. Но кто хочетъ понимать Англію, тотъ не долженъ спутывать двухъ совершенно различныхъ ея началъ — политическаго и соціальнаго. Прогрессъ перваго пропорціоналенъ отсталости второго. Въ разъясненіи этого пункта письма Луи-Блана даютъ намъ превосходный матеріалъ. И если предметы, затронутые имъ, давно уже потеряли свой современный интересъ, то точка зрѣнія, съ которой онъ смотритъ на нихъ, еще долго будетъ для европейской мысли новой и поучительной.

ПОЛИТИЧЕСКІЕ ПРЕДРАЗСУДКИ.

(Дж. Ст. Милль. „Размышленія о представительномъ правленіи". Спб. 1863 г.).

Одинъ изъ самыхъ серьезныхъ предразсудковъ нашего времени — пристрастіе къ политическимъ формамъ, въ которыхъ стараются видѣть непремѣнное условіе благосостоянія той или другой страны. Многимъ кажется, что въ формѣ заключается вся сущность дѣла, что отъ развитія извѣстной политической формы зависитъ весь складъ соціальнаго порядка вещей и вся обстановка народной жизни. Еще недавно существовало убѣжденіе между лучшими умами Европы, что политическія формы можно пересаживать отъ одной націи къ другой и разводить ихъ точно также, какъ разводятся на новой почвѣ лукъ и капуста. Но лукъ и капуста, посѣянные на неудобной землѣ, не прививаются и вымираютъ, не оставляя по себѣ слѣдовъ особеннаго вреда; напротивъ, насильственно прививаемая политическая форма сопровождается страшнымъ потрясеніемъ общественной жизни и отражается на судьбѣ нѣсколькихъ милліоновъ людей. Ложная и произвольная теорія огородника прилагается къ чернозему и потому оканчивается ничѣмъ, а доктрина политика, сочиняющаго свою государственную теорію на человѣческой кожѣ, прямо дѣйствуетъ на живыя существа и даетъ имъ вполнѣ чувствовать свою нелѣпость. Наполеонъ III показалъ на Франціи, что послѣ полувѣковой борьбы за разныя политическія формы, послѣ безчисленныхъ жертвъ, принесенныхъ народомъ для удовлетворенія эгоизма и прихоти партій, можно привести страну къ тому-же нулю, на которомъ стоялъ ея политическій барометръ въ блаженную эпоху Бурбоновъ. И для такого поворота назадъ не требовалось ни особеннаго ума, ни глубокихъ соображеній: достаточно было имѣть ловкость игрока и смѣлость, на случай неудачи. Шансы выигрыша здѣсь зависятъ отъ степени глупости тѣхъ,

кого обыгрываютъ: кто поглупѣй, тотъ проигрываетъ все — до послѣдней нитки; а кто посмышленѣе, тотъ, поймавъ не совсѣмъ чистаго игрока вò-время, не рѣшается въ другой разъ подставить ему кармана. Кажется, нѣтъ надобности доказывать, какъ дорого обошлась человѣчеству эта игра въ политическія формы и какъ долго она мѣшала правильному взгляду на развитіе существенныхъ сторонъ каждаго изъ современныхъ обществъ. Прошло нѣсколько вѣковъ, въ теченіи которыхъ люди натерпѣлись много горя и никакъ не могли догадаться, что они принимали *средство* за *цѣль* и вмѣсто дѣйствительной жизни гонялись за какимъ-то призракомъ.

„Вспомнимъ прежде всего, говоритъ Милль,—что политическія учрежденія (какъ ни забывается по временамъ эта истина) — дѣло людей и одолжены своимъ происхожденіемъ и существованіемъ человѣческому выбору. Люди, проснувшись въ одно прекрасное утро, не нашли ихъ внезапно выросшими. Онѣ не походятъ и на деревья, которыя, разъ посаженныя, *всегда ростутъ*, между тѣмъ какъ люди *спятъ*. Ихъ создаетъ такими, какими онѣ есть во всякую пору ихъ существованія, свободная воля человѣка. Поэтому, какъ все, что дѣлаютъ люди, и онѣ могутъ быть хорошо или дурно созданы; разсудокъ и искусство могли быть употреблены на созданіе ихъ, или вовсе не употреблены. Наконецъ, если народъ не успѣлъ, или, вслѣдствіе внѣшняго давленія, не имѣлъ возможности создать себѣ конституцію постепеннымъ процессомъ устраненія всякаго зла, по мѣрѣ того, какъ оно проявлялось, или по мѣрѣ того, какъ угнетенные набирали силы противодѣйствовать ему, такое замедленіе политическаго прогресса было для него большимъ несчастіемъ“. (Разм. о представ. правленіи, стр. 4 — 5).

Къ сожалѣнію, это несчастіе повторяется нерѣдко, и опыты прожитыхъ вѣковъ какъ нельзя лучше доказываютъ, что немногіе изъ народовъ не проспали своего первоначальнаго политическаго устройства. Когда-же они просыпались, то видѣли, что политическій механизмъ ихъ жизни былъ уже готовъ, что надъ нимъ работали другіе, а вовсе не тѣ, для кого онъ былъ приготовленъ. Нѣтъ сомнѣнія, что религія и духъ партіи, руководимой болѣе или менѣе узкими разсчетами замкнутой касты, оказывали главнѣйшее вліяніе на развитіе первобытной гражданственности. Жрецъ и воинъ вездѣ являются передовыми вождями зарождающихся обществъ: вся власть сосредоточивается въ ихъ рукахъ, вся нравственная сила распредѣляется между тайной алтаря и страхомъ меча, такъ что съ одной стороны могущество авторитета, а съ другой — пассивное повиновеніе составляютъ главный рычагъ несложнаго политическаго механизма. Но съ теченіемъ времени онъ усложняется, увеличиваетъ свой объемъ и значеніе, изощряетъ свою техническую дѣятельность и, наконецъ, начинаетъ управлять всѣмъ ходомъ народной жизни. Удовлетворяя чисто формальной сторонѣ общественнаго организма, и часто противодѣйствуя его живымъ проявленіямъ, этотъ механизмъ поглощаетъ все вниманіе, всѣ заботы правительства и, по закону неизбѣжной инерціи, легко можетъ обратиться въ рутину. И такъ какъ рутина въ высшей степени благопріят-

ствуетъ сохраненію сословныхъ интересовъ, то политическая система, основанная на рутинѣ, становится вразрѣзъ съ общими стремленіями націи. Такова участь всѣхъ государствъ, опирающихся преимущественно на бюрократическія подпоры: неподвижность и педантизмъ — существенныя черты всякой бюрократіи. Вытѣсняя собой оригинальность идей и замѣчательныя личности, замѣняя дѣло формой, принципы — мертвой буквой, бюрократія по самой природѣ своей неспособна къ преобразованіямъ, которыхъ требуетъ каждый день и каждый часъ живая и дѣйствительная сила народа. Австрія, особенно зараженная этимъ недугомъ, не разъ доходила до такого состоянія, когда ея цѣлость висѣла на волоскѣ и когда, повидимому, не оставалось въ ней ни одной капли здоровыхъ соковъ. Въ томъ-же видѣ представляется намъ несчастная исторія восточныхъ государствъ. Всѣ они разрушились или окаменѣли въ своемъ неподвижномъ состояніи отъ неравномѣрнаго распредѣленія жизненныхъ элементовъ въ соціальномъ организмѣ. Исторія человѣчества, отъ первой минуты своего развитія и до послѣдней, съ удивительной точностью проводитъ это начало и постоянную борьбу его съ внѣшними препятствіями; у самыхъ хилыхъ и жалкихъ народовъ жизнь порывалась къ уравненію враждебныхъ силъ, искала разрѣшенія экономической правды, но, не отыскавъ ее или не одолѣвъ случайныхъ преградъ, останавливалась въ своемъ теченіи. Величайшей ошибкой этихъ народовъ было то, что они просыпались слишкомъ поздно или совсѣмъ не просыпались. Упустивъ изъ виду свои ближайшіе интересы, они ловили во снѣ отдаленныя мечты и попадали прямо въ яму метафизики. Вмѣсто того, чтобы начать съ устройства своихъ общественныхъ отношеній, они начинали съ политическихъ формъ, которыя сами по себѣ ничего не значатъ; вмѣсто того, чтобъ поставить свою жизнь въ правильныя экономическія условія и положить ихъ въ основу дальнѣйшаго прогресса, они цѣлыя сотни лѣтъ и тысячи поколѣній потратили надъ обработкой политическаго механизма, т. е. приняли мертвую силу за живую. Впослѣдствіи эта механическая сила сдѣлалась господствующею и поглотила въ себѣ всю дѣятельность народа. Въ этомъ случаѣ древній Римъ представляетъ намъ поучительный примѣръ: по мѣрѣ того, какъ замирала въ немъ дѣйствительная народная жизнь, политическая и юридическая формалистика принимала чудовищные размѣры и, наконецъ, задушила принципы и общественную нравственность въ самомъ сердцѣ громадной имперіи. Въ то время, когда въ оконечностяхъ ея еще текла теплая кровь, напоминавшая о признакахъ жизни, въ самомъ центрѣ цесарскаго Рима ничего не осталось, кромѣ зловонія трупа и безобразія смерти. А между тѣмъ посмотрите, до какихъ артистическихъ тонкостей была доведена тамъ юриспруденція и внутренняя администрація. Дайте душу этому механизму, и онъ устоялъ бы противъ натиска дикарей, въ десять разъ болѣе сильныхъ и воинственныхъ. Но души не было, и рабы своими собственными

цѣпями разгромили колоссальную державу. Это явленіе повторилось въ исторіи всѣхъ тѣхъ народовъ, которые пренебрегли своимъ соціальнымъ устройствомъ въ пользу политической организаціи. „Въ политикѣ, говоритъ Милль, какъ въ механикѣ, надо искать въ машинѣ силу, которая сообщаетъ машинѣ движеніе; а если ея нѣтъ, или она недостаточна, чтобъ преодолѣть могущія оказаться препятствія, то дѣло не пойдетъ на ладъ". Но эта истина до сихъ поръ ускользаетъ отъ пониманія администраторовъ и народовъ, можетъ быть, потому, что вообще понимать сущность дѣла труднѣе, чѣмъ его поверхность.

Въ чемъ же заключается *сущность* хорошаго политическаго устройства? Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ вполнѣ удовлетворительно, нужно слѣдовало бы ясно разграничить тѣ элементы, которые составляютъ политическую жизнь народа, отъ тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ образуется общественная его дѣятельность. Эти двѣ сферы совершенно различны по своимъ направленіямъ и результатамъ. Но современная наука не даетъ никакой возможности провести такое разграниченіе, потому что множество общественныхъ условій и вопросовъ доселѣ стоятъ внѣ всякаго научнаго изслѣдованія. Въ этомъ отношеніи такъ мало собрано положительныхъ фактовъ, такъ мало добыто хорошихъ выводовъ, что воображенію остается полный просторъ въ области такихъ задачъ, которыя должны быть предметомъ самаго строгаго наблюденія и опыта. Поэтому политика и общественная жизнь постоянно смѣшиваются въ нашихъ понятіяхъ, и на практикѣ оспариваютъ другъ у друга свои права и границы. Но если на предложенный нами вопросъ нельзя отвѣчать во всей его подробности, то общая постановка его совершенно удовлетворяетъ нашей цѣли. Не надо забывать одной простой истины, что всякое правленіе есть только *средство* въ рукахъ народа для достиженія его благосостоянія и, слѣдовательно, оно должно существовать для общества, а не общество для него. Обратный этому порядокъ есть аномалія, не имѣющая ничего общаго ни съ здравымъ смысломъ, ни съ наукой. Поэтому, общественная жизнь должна служить основаніемъ политическому устройству, и развитіе ея должно идти впереди всѣхъ политическихъ учрежденій. Это—настоящая соціальная сила, дающая направленіе и смыслъ правительственному механизму. Нѣтъ сомнѣнія, что они оказываютъ постоянное вліяніе другъ на друга, и при самомъ рѣдкомъ гармоническомъ вліяніи могутъ противорѣчить одно другому, но все-таки механическая сторона никогда не можетъ остановить внутренняго движенія народной жизни, лишь только бы эта жизнь дѣйствовала правильно и энергически. Какъ бы ни былъ хорошъ политическій механизмъ, но если отнять отъ него общественную жизнь, то онъ обращается въ негодную вещь; напротивъ, при сильномъ развитіи общественнаго устройства, самая плохая административная машина работаетъ хорошо. Во Франціи пять сотъ тысячъ чиновниковъ ворочаютъ правительственной

машиной, и ничего путнаго не выходитъ ни для народа, ни для самой имперіи, а въ Англіи только двадцать тысячъ человѣкъ орудуютъ законодательнымъ и административнымъ дѣломъ, и результаты относительно добываются самые счастливые. Изъ этого слѣдуетъ, что лучшая норма правленія та, въ которой общественная жизнь болѣе правильно сложилась и развилась: не допуская перевѣса надъ собой чисто-механической рутинѣ, она даетъ движеніе и быстроту всей народной дѣятельности. Это тотъ главный органъ, черезъ который проходятъ всѣ жизненные соки и, очищаясь въ немъ, разливаются свѣжими и здоровыми по остальнымъ частямъ организма.

Такимъ образомъ, намъ необходимо показать, изъ какихъ главныхъ началъ должна состоять общественная жизнь, управляющая политическимъ механизмомъ. Кто мыслитъ въ наше время, тотъ понимаетъ, что экономическая сторона въ народной дѣятельности занимаетъ первое мѣсто. Она рѣшаетъ задачу народнаго благосостоянія и руководитъ всѣми другими интересами нашей жизни. Свобода труда и матеріальное довольство — это два основные столба, на которыхъ покоится все соціальное зданіе. Въ странѣ, гдѣ еще не пробудилось стремленіе къ этимъ двумъ верховнымъ цѣлямъ, нѣтъ общественной жизни и, слѣдовательно, нѣтъ никакого движенія впередъ; эта страна—еще варварская, не вышедшая изъ того первобытнаго покоя, который характеризуетъ деспотическія правительства. Напротивъ, сильное желаніе и практическое осуществленіе свободной дѣятельности общества и его матеріальнаго благосостоянія доказываютъ жизненность народа и называются общимъ именемъ *прогресса*. Итакъ, прогрессъ, какъ совокупность всѣхъ главныхъ потребностей общества и непремѣннаго удовлетворенія ихъ, составляетъ первую и послѣднюю цѣль общественной жизни. Но слово прогрессъ подвержено тѣмъ же произвольнымъ толкованіямъ человѣческаго языка, какъ и всѣ другія слова. Такъ, напримѣръ, для партіи іезуитовъ прогрессъ заключался въ распространеніи того гибельнаго вліянія, которымъ отмѣчены слѣды этой гнусной партіи; для такого правительства, какъ турецкое, прогрессъ заключается въ упроченіи неподвижности и порядка, выгодныхъ для нѣсколькихъ единицъ и крайне вредныхъ для большинства народа. Поэтому, подъ словомъ прогрессъ, въ истинномъ его смыслѣ, надо понимать безпрерывное стремленіе всего общества (т. е. всей массы народа, принимающаго дѣятельное участіе въ общественной жизни), къ усовершенствованію и развитію всѣхъ своихъ силъ. Если только общество не лишено этой активной способности, то оно не допуститъ преобладающаго вліянія надъ собой касты, сословія или партіи; оно не подчинится безусловно и правительственному механизму, а, напротивъ, будетъ распоряжаться имъ совершенно свободно. Бюрократія и замкнутая политическая система останутся тутъ ни при чемъ; иниціатива и веденіе общественныхъ дѣлъ будутъ принадлежать не отдѣльному классу, не исключительнымъ интересамъ, а всему народу.

„Идеально лучшая форма правленія, по мнѣнію Милля, не есть именно та, которая приложима къ обществу на всякой степени его цивилизаціи, но та, которая, будучи приложима, вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ наибольшую сумму хорошихъ слѣдствій. Народное правленіе имѣетъ подобный характеръ какъ въ настоящемъ, такъ и въ будущемъ. Оно превосходно удовлетворяетъ обоимъ необходимымъ условіямъ хорошей конституціи. Оно благопріятно и настоящему хорошему управленію, и развитію въ высшія и лучшія степени національнаго характера".

„Его выгоды, по отношенію къ народному благосостоянію въ настоящемъ, основаны на двухъ началахъ, справедливыхъ и примѣнимыхъ болѣе, чѣмъ всякое другое положеніе человѣческихъ дѣлъ. Первое то, что права и интересы всѣхъ и каждаго тогда только будутъ вполнѣ ограждены, когда само заинтересованное лицо принимаетъ участіе въ ихъ охраненіи. Второе то, что общее благосостояніе достигаетъ высшей степени и распространяется шире соразмѣрно суммѣ и разнообразію отдѣльныхъ личныхъ силъ, работающихъ для этого благосостоянія".

Итакъ, движеніе впередъ есть непремѣнное условіе общественной дѣятельности и хорошей правительственной власти.

Но движеніе впередъ имѣетъ различныя степени; оно можетъ быть медленнымъ или быстрымъ, вялымъ или энергическимъ, безпрерывнымъ или перемежающимся. Всѣ эти степени, конечно, зависятъ отъ тѣхъ средствъ, которыя употребляетъ народъ для своего развитія. Въ первые моменты своего историческаго существованія онъ руководствуется инстинктами, потому что каждому человѣку свойственно внутреннее влеченіе къ улучшенію своего состоянія; потомъ, когда накопляются опыты и усложняется самая жизнь, однихъ инстинктовъ оказывается мало, и общество избираетъ себѣ болѣе дѣйствительныя средства. Выборъ ихъ отчасти опредѣляется мѣстными и историческими обстоятельствами, но главнѣе всего зависитъ отъ силы воли и ума народа. Есть племена, стоявшія прежде на высокой степени гражданскаго развитія, но разъ утратившія его, уже больше не возставали, потому что не находили въ себѣ достаточно энергіи и пониманія для радикальнаго измѣненія своей жизни. Такимъ народамъ, обыкновенно, приходится погибать, если только цѣной необыкновенныхъ усилій они не завоевываютъ себѣ новаго порядка вещей. Но это случается рѣдко, потому что борьба съ рутиной и предразсудками превышаетъ силы общества, развращеннаго его собственнымъ паденіемъ. Къ несчастію, процессъ общественнаго устройства и при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ такъ труденъ, что народу предстоитъ упорная и продолжительная борьба со всевозможными препятствіями. Способностью его одолѣвать непріязненныя встрѣчи обусловливается его первоначальный прогрессъ. Если препятствій мало, а энергіи много, то народъ быстро идетъ къ своему совершенству; и обратно, если силы его уступаютъ внѣшнему давленію, а давленіе значительно, то онъ тащится, какъ червякъ, или совершенно вырождается. Поэтому, первое средство для прогрессивнаго движенія заключается въ энергіи народнаго характера и ума. Но умъ самъ по себѣ еще ничего не значитъ; онъ составляетъ огромную соціальную силу только въ приложеніи

его къ общественному порядку. Здѣсъ важны не отвлеченныя идеи, а практическіе результаты, добываемые человѣческимъ мозгомъ. Качество этихъ результатовъ прежде всего обнаруживается въ умѣньи народа устроить свои экономическія отношенія, изъ которыхъ равновѣсіе труда и капитала составляетъ главное дѣло. Чѣмъ лучше достигается эта цѣль, тѣмъ больше обезпечиваетъ себѣ общество будущее нравственное развитіе и матеріальное счастіе. Для хорошаго соціальнаго устройства возможны и свобода, и высокое умственное развитіе, и политическое могущество; напротивъ, дурно сложившійся экономическій порядокъ ведетъ къ бѣдности массъ, а бѣдность и рабство неразлучны въ исторіи. Слѣдовательно, для обезпеченія возможно лучшаго прогресса прежде всего необходима соціальная сила, уравновѣшивающая экономическія отношенія общества. Въ послѣднія семьдесятъ лѣтъ европейская цивилизація кое-что сдѣлала въ этомъ отношеніи, но полное осуществленіе этого принципа едва предвидится въ отдаленномъ будущемъ.

Другая отличительная черта прогрессивнаго движенія — умственное развитіе народа, прямо вытекающее изъ его матеріальнаго благосостоянія. Потребность образованія, безъ всякихъ понудительныхъ мѣръ, является у человѣка послѣ того, какъ онъ обезпеченъ въ своемъ существованіи. Когда онъ сытъ, одѣтъ и свободенъ, первымъ и естественнымъ желаніемъ его бываетъ нравственное улучшеніе жизни. Рабъ и нищій не думаютъ о развитіи своихъ умственныхъ способностей по тому же закону, по которому заключенный въ тюрьму не мечтаетъ о великолѣпныхъ и живописныхъ мѣстностяхъ природы; ему нужны правильное физическое движеніе и чистый воздухъ, а не роскошные виды горъ и долинъ. На этомъ же законѣ основывается поразительное тупоуміе и апатія бѣдныхъ народовъ, погруженныхъ въ такую тьму невѣжества, что состоянію животныхъ можно позавидовать сравнительно съ ними. Первыя попытки дѣйствительнаго знанія обнаруживаются въ пониманіи окружающаго міра. Въ знаніи не столько важенъ объемъ, сколько направленіе его. Сильное умственное образованіе отличается изобрѣтательностью и оригинальнымъ взглядомъ на вещи; лучше ошибочная оригинальность, чѣмъ никогда неошибающаяся рутина. Умъ ясный, несдавленный нелѣпыми понятіями, привитыми къ нему воспитаніемъ или окружающей его средой, постоянно стремится къ открытію новыхъ истинъ и къ примѣненію ихъ въ самой жизни. Праздное созерцаніе и неприложимость идей также противны мощному уму, какъ раболѣпіе мысли передъ внѣшнимъ стѣсненіемъ. Поэтому, практическое направленіе въ народномъ образованіи доказываетъ его глубокую жизненность. Кромѣ того, хорошее умственное развитіе требуетъ равномѣрнаго распространенія его среди общества. Знаніе, какъ воздухъ, должно быть достояніемъ всѣхъ и каждаго; если же оно накопляется въ одномъ сословіи насчетъ другихъ, тогда общество походитъ на больное тѣло, въ которомъ уси-

сильный жаръ одного члена порождаетъ усиленный холодъ всѣхъ другихъ; тогда образованіе составляетъ одну изъ аристократическихъ привиллегій и позволяетъ нѣсколькихъ дѣятелей въ кругу бездѣятельнаго и неподвижнаго большинства.

„Бездѣятельность, непредпріимчивость отсутствіе желаній, какъ справедливо замѣчаетъ Миллъ, вотъ препятствія, которыя гораздо страшнѣе человѣческому совершенствованію, чѣмъ какое бы то ни было фальшивое направленіе энергіи; они-то если существуютъ въ массѣ, и составляютъ ту страшную силу, которую нѣсколько энергическихъ людей могутъ направить въ какую угодно ложную сторону. Только эта сила и держитъ большую часть человѣчества въ дикомъ или полудикомъ состояніи".

Современныя общества еще не нашли средства распредѣлять поровну знаніе между своими членами, точно такъ же, какъ они не нашли возможности дѣлать всѣхъ сытыми и одѣтыми. Этимъ обстоятельствомъ объясняется та медленность, съ которой человѣчество подвигается впередъ. Для него и за него работаетъ нѣсколько геніальныхъ единицъ, а милліоны такихъ же сильныхъ умовъ, затертые въ рядахъ невѣжественной массы, остаются безъ всякаго дѣйствія. Еслибъ можно было хоть на нѣсколько лѣтъ пробудить всѣ силы какого нибудь народа и указать имъ на плодотворную дѣятельность, тогда этотъ народъ въ одинъ день сдѣлалъ бы больше, чѣмъ онъ дѣлаетъ теперь впродолженіи цѣлаго вѣка... Изъ всего этого слѣдуетъ то, что лучшими средствами для прогресса служитъ соціальное равновѣсіе матеріальныхъ и умственныхъ силъ, составляющихъ общество, т. е. такія начала, которыхъ ни одинъ народъ еще не выработалъ для себя, въ полномъ ихъ составѣ. Для мечтателей, однакожъ, остается то утѣшеніе, что человѣчество, какъ бы ни колесило по разнымъ окольнымъ дорогамъ, но рано или поздно придетъ къ этой цѣли, и если за тысячи лѣтъ своихъ страданій насладится, наконецъ, счастіемъ, то оно можетъ безъ особенной горечи оглянуться на пройденный имъ страдальческій путь.

Разсуждая о прогрессѣ, Миллъ, въ числѣ условій его, ставитъ деспотическую власть правительства, цивилизующаго дикое общество; онъ признаетъ необходимость принудительной силы тамъ, гдѣ еще нѣтъ сознанія своихъ правъ и обязанностей. „Дикій народъ, говоритъ онъ, — надо учить повиновенію, но не такимъ способомъ, чтобъ онъ превратился въ народъ рабовъ". Любопытно было бы знать, какой же есть способъ учить повиновенію такъ, чтобъ не обратить ученика въ олуха или раба? И гдѣ эта золотая середина, на которой деспотическое правительство должно остановиться въ своемъ ученіи повиновенію? Англія, напримѣръ, начала въ Индіи съ того, что жителей ея сперва обратила въ рабовъ, а потомъ уже стала учить ихъ повиновенію. Способы этой педагогической дѣятельности очень хорошо извѣстны самому Миллю: англійскіе солдаты истребляли цѣлыя деревни непокорныхъ индійцевъ и на вѣсъ золота

продавали ихъ черепы благовоспитаннымъ лондонскимъ лордамъ. Почти также училась повиновенію и Ирландія, съ тѣмъ единственнымъ различіемъ, что здѣсь дикая сила тиранніи употребляла менѣе грубыя средства, но зато болѣе медленныя и исподволь отравляющія націю... Повиновеніе есть пассивное состояніе, отрицающее всякое человѣческое достоинство, и неспособное понимать какое бы то ни было ученіе. Научить можно только того, въ комъ возбуждено сознаніе, а сознаніе ни въ какомъ случаѣ не развивается отъ деспотическихъ мѣръ. Чтобы заставить, какъ отдѣльное лицо, такъ и цѣлое общество, уважать законъ и правительственную власть, надо показать ихъ пользу и нравственное значеніе. Никто и никогда не станетъ уважать того, чего онъ не знаетъ или не имѣетъ причинъ любить, но никто, кромѣ съумасшедшаго, не будетъ и сопротивляться тому, что́ для него хорошо и удобно. А для съумасшедшихъ нѣтъ ни законовъ, ни правительствъ... Слѣдовательно, повиновеніе никакъ не можетъ входить, какъ особенный элементъ, въ составъ цивилизующей силы народа, и Милль напрасно облекаетъ деспота такимъ правомъ. Оно совершенно безполезно и во всякомъ случаѣ безнравственно.

Какъ бы то ни было, но въ нормальномъ состояніи общества, развивающаго идею прогресса изъ самого себя, вліяніе общественной силы есть первое и главное вліяніе. Ему подчиняются политическія учрежденія и отъ него они занимаютъ свою прочность и доброкачественность; оно стоитъ неизмѣримо выше всякаго правительственнаго механизма, который самъ по себѣ не можетъ дѣйствовать. Общество, а не механизмъ, сообщаетъ жизнь и движеніе всему соціальному порядку. Оно контролируетъ органы исполнительной власти и даетъ ей честныхъ и умныхъ дѣятелей. Если—общество негодное и раболѣпное, тогда самый лучшій правительственный аппаратъ ничего не можетъ сдѣлать; напротивъ, самая плохая административная машина можетъ превосходно работать, если общество хорошее и уважающее свободу. Поэтому—дѣйствительная сила прогресса лежитъ въ самомъ обществѣ, а не въ той или другой формѣ правленія.

Изъ всѣхъ политическихъ формъ Милль считаетъ представительное правленіе самою лучшей формой. Какъ адвокатъ англійской конституціи, онъ видитъ въ ней тотъ идеалъ устройства, въ которомъ соединяются всѣ достоинства современнаго гражданскаго порядка; правда, онъ не скрываетъ нѣкоторыхъ нелѣпостей этой идеальной системы, знаетъ слабыя стороны ея, которыми злоупотребляетъ господствующее сословіе Англіи, но въ то же время думаетъ, что пока нѣтъ другой политической доктрины, могущей дать лучшіе практическіе результаты.

„Представительное устройство, говоритъ онъ,—есть одно изъ удобнѣйшихъ средствъ свести подъ одно знамя все лучшее, что́ есть въ обществѣ по уму и честности, свести въ одно мѣсто доблестнѣйшихъ его членовъ и дать имъ боль-

[illegible] при всякой другой организаціи, хотя и при [illegible] людей [illegible] такихъ людей есть источникъ всякаго добра [illegible] причина отсутствія въ нихъ [illegible] такихъ качествъ общественный порядокъ, какой [illegible] организованъ, тѣмъ лучше сама организація, тѣмъ лучше [illegible]

[illegible] такъ и въ самомъ дѣлѣ еще ни одна конституція не соединяла въ себѣ такихъ благъ — и, можетъ быть, къ лучшему. Посредственность, какъ общій удѣлъ человѣческихъ стремленій, преобладаетъ въ современныхъ представительныхъ собраніяхъ. Въ англійскомъ парламентѣ, какъ это чувствуетъ самъ Милль, есть такіе депутаты, которые посредствомъ интригъ и подкуповъ добиваются своихъ мѣстъ и которыхъ неспособности и тупое равнодушіе къ общественнымъ интересамъ едва ли могли бы быть терпимы въ какой нибудь французской префектурѣ. Но положимъ, что конституціонное собраніе состоитъ изъ лучшихъ людей страны, изъ цвѣта ума и честности всего населенія, то и тогда оно не представляетъ достаточныхъ гарантій для безпристрастнаго управленія народомъ. Самый талантливый, образованный и честный человѣкъ не можетъ уберечься отъ произвола и личнаго взгляда на вещи тамъ, гдѣ оппозиція всякому злу не возбуждена въ обществѣ: если онъ принадлежитъ къ партіи, то частные интересы дѣлаются его исключительными цѣлями; если онъ стоитъ по своимъ убѣжденіямъ внѣ всякаго кружка и гораздо выше стремленій массы — желанія и дѣйствія его будутъ расходиться съ потребностями большинства; однимъ словомъ, такой представительный органъ народной воли можетъ быть превосходнымъ въ идеѣ, но неудобнымъ на практикѣ: тяготѣніе власти будетъ перевѣшивать на сторону правительства, а извѣстно, что хорошая конституція, въ современномъ ея значеніи, основывается на полномъ равновѣсіи всѣхъ ея составныхъ элементовъ. Когда лучшія силы общества будутъ поглощены правительственной дѣятельностію, тогда самое общество лишится противодѣйствующаго начала и рискуетъ потерять всякое вліяніе на ходъ управленія. Это постоянно случалось съ тѣми неудачными пародіями англійской конституціи, которыя сочиняла Франція: за неимѣніемъ общественной оппозиціи и достойныхъ представителей ея со стороны народа, центральная власть скоро переходила въ руки правительственнаго сословія и отъ него доставалась одному лицу, располагавшему судьбой страны на всей волѣ султанской. Для конституціоннаго правленія, нежелающаго сгнить въ душной и тѣсной сферѣ корпораціи, гораздо полезнѣе оставить побольше лучшихъ дѣятелей внѣ всякой администраціи и дать имъ возможность свободно заявлять свои мнѣнія со стороны общества. Тогда народное мнѣніе, слѣдящее за дѣйствіями правительства, будетъ прозорливѣе. Иначе, кто же будетъ контролировать и отстаивать права общества, когда весь его умъ и честность перейдутъ

на сторону центральной власти? Ришелье въ своемъ „Политическомъ Завѣщаніи“ сказалъ: „когда народъ разжирѣетъ, онъ начинаетъ брыкаться“. Съ народами это было рѣдко, потому что разжирѣть имъ не отъ чего, а съ представительными сословіями случалось почти всегда, когда они вытягивали изъ народа все, что̀ лучшаго выработано имъ и на его счетъ. Поэтому мы убѣждены, что, при общемъ уровнѣ невѣжества и апатіи народа, ему гораздо выгоднѣе управляться посредственнымъ правительствомъ, чѣмъ „геніальнымъ.“ „Геніальное“ непремѣнно разжирѣетъ и будетъ брыкаться.

Опыты конституціонныхъ правительствъ показали, что величайшая опасность для нихъ заключается именно въ перевѣсѣ сословныхъ интересовъ надъ общественными. Вотъ что говоритъ объ этомъ самъ Милль:

„Вообще думаютъ, что большая часть золъ, присущихъ (представительной) монархіи и аристократіи, проистекаетъ отъ этой причины, т. е. отъ преобладанія сословныхъ интересовъ надъ общественными. Интересы власти и аристократіи, коллективные или личные каждаго члена особо, обусловливаются на дѣлѣ или въ воображеніи вельможъ, образомъ дѣйствій, противоположнымъ тому, какого требуетъ благо народа. Выгода правительства, напримѣръ, требуетъ налагать на народъ большія подати; выгода народа, напротивъ, платить какъ можно меньше, насколько это возможно, чтобъ имѣть притомъ хорошее управленіе. Интересъ короля и аристократіи требуетъ, чтобъ располагать народомъ съ неограниченною властью, чтобы народъ въ своей жизни сообразовался съ волею и склонностями правителей. Выгода народа, напротивъ, допускать въ свою жизнь какъ можно менѣе вмѣшательства, именно столько, сколько дѣйствительно нужно для достиженія правительству его законныхъ цѣлей. Выгода явная или воображаемая исполнительной власти и вельможъ состоитъ въ томъ, чтобы не дозволять никакихъ сужденій на ихъ счетъ, по крайней мѣрѣ въ такой формѣ, которая можетъ показаться имъ опасною для ихъ власти или свободы ихъ дѣйствій. Интересъ народа, напротивъ, требуетъ полной свободы сужденій надъ каждымъ общественнымъ дѣятелемъ и надъ каждою общественною мѣрою. Интересъ господствующаго класса въ аристократіи или аристократической монархіи можетъ заключаться въ томъ, чтобы присвоить себѣ какъ можно болѣе всякаго рода привиллегій, съ цѣлью, или наполнить свои карманы народными деньгами, или просто, чтобъ только возвыситься надъ народомъ, или, что̀ выходитъ тоже самое, унизить его передъ собою. Если народъ недоволенъ—(а неудовольствіе при подобномъ образѣ правленія очень возможно), то королю и аристократіи выгоднѣе держать его на низкой степени просвѣщенія, сѣять несогласія между его отдѣльными партіями, и даже не допускать его до слишкомъ большаго матеріальнаго благосостоянія... Все сказанное принадлежитъ къ категоріи чисто-эгоистическихъ интересовъ короля и аристократіи; на практикѣ примѣненіе этой системы ограничивается до извѣстной степени страхомъ вызвать противодѣйствіе. Все это бывало, и многое еще существуетъ и теперь—тамъ именно, гдѣ могущество исполнительной власти и аристократіи поставило ихъ выше общественнаго суда; да при такихъ условіяхъ нѣтъ причины и думать, чтобъ господствующіе элементы добровольно пожелали дѣйствовать инымъ образомъ.

Подобная своекорыстная система дѣйствій слишкомъ очевидна въ представительныхъ монархіяхъ и аристократіяхъ, но напрасно нѣкоторые думаютъ, что демократія отъ нея должна непремѣнно быть изъята. Если мы будемъ подъ сло-

вомъ „демократія“ разумѣть то, что обыкновенно разумѣютъ, то есть правленіе численнаго большинства, то весьма можетъ случиться, что верховная власть будетъ дѣйствовать подъ вліяніемъ частныхъ или сословныхъ интересовъ, заставляющихъ принять образъ дѣйствій, несовмѣстный съ общими выгодами всѣхъ гражданъ. Предположимъ, что большинство составляетъ бѣлое племя, меньшинство черное, или наоборотъ: есть ли вѣроятность думать, чтобы большинство дѣйствовало одинаково справедливо въ отношеніи къ тому и другому? Предположимъ еще, что большинство католики, меньшинство протестанты, или большинство англичане, меньшинство ирландцы, и наоборотъ: опасность во всѣхъ этихъ случаяхъ будетъ та же самая. Во всѣхъ странахъ есть большинство бѣдныхъ и меньшинство, которое сравнительно можно назвать богатымъ. Эти два класса во многихъ случаяхъ раздѣляетъ совершенная противоположность интересовъ. Мы предполагаемъ, что большинство достаточно развито, чтобы понять, что нѣтъ никакой выгоды ослаблять безопасность собственности, и что ея идея ослабляется всякимъ актомъ произвольнаго захвата. Но не явится ли другая значительная опасность: не наложатъ ли представители большинства слишкомъ несоразмѣрной доли, а пожалуй, и всѣ тяжести податей на владѣльцевъ такъ-называемой наличной собственности и на получающихъ большіе доходы? А сдѣлавъ это, въ добавокъ къ безсовѣстной раскладкѣ налоговъ, не начнутъ ли еще и растрачивать доходовъ на то, что, по ихъ мнѣнію, служитъ къ благу рабочаго класса?

Когда мы говоримъ объ интересѣ какой-либо корпораціи или даже отдѣльнаго человѣка, какъ о причинѣ, опредѣляющей ихъ дѣйствія,—личный интересъ, такой, какимъ бы его понималъ безпристрастный человѣкъ, играетъ только самую незначительную роль въ вопросѣ. Кольриджъ замѣчаетъ, что не причина создаетъ человѣка, а человѣкъ причину. Побужденіе, вслѣдствіе котораго человѣкъ рѣшается или удерживается отъ чего нибудь, зависитъ не столько отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, сколько отъ его внутреннихъ качествъ. Если вы хотите знать, какой именно интересъ владѣетъ человѣкомъ въ данномъ случаѣ, то вы должны знать образъ его мыслей и чувствъ въ обыкновенномъ состояніи. У каждаго человѣка есть два рода побужденій: одни онъ старается удовлетворить, о другихъ не заботится. Каждый человѣкъ имѣетъ и корыстныя и безкорыстныя побужденія; эгоистъ, сверхъ того, выросъ въ привычкѣ заботиться о своихъ личныхъ интересахъ и пренебрегать чужими. У каждаго есть ближайшіе и далекіе интересы; и недальновиднымъ человѣкомъ мы называемъ того, кто думаетъ только о близкихъ, пренебрегая далекими; нѣтъ нужды, что простой разсчетъ показываетъ ему важность послѣднихъ въ сравненіи съ первыми; если его умъ привыкъ исключительно останавливаться на томъ, что близко, то и рѣшеніе будетъ въ пользу близкаго. Если человѣкъ бьетъ свою жену и дѣтей, то напрасно мы будемъ убѣждать его въ томъ, что онъ будетъ счастливѣе, когда начнетъ жить въ любви съ ними. Онъ былъ бы счастливѣе, еслибъ былъ изъ рода тѣхъ людей, которые могли бы такъ жить; но онъ не изъ такихъ людей, и по всѣмъ вѣроятіямъ ему уже слишкомъ поздно сдѣлаться такимъ. Наслажденіе своеволіемъ, удовлетвореніе своимъ свирѣпымъ наклонностямъ, кажутся ему бо́льшимъ счастіемъ, чѣмъ любовь домашнихъ, которою онъ будетъ наслаждаться послѣ. Ихъ счастіе—не его счастіе, и онъ не думаетъ объ ихъ любви. Его сосѣдъ, который заботится объ этомъ, вѣроятно, счастливѣе его, но еслибъ онъ убѣдился въ этомъ, то, по всѣму вѣроятію, свирѣпствовалъ бы и ожесточался еще болѣе. Повидимому, человѣкъ, который заботится о счастіи своихъ ближнихъ, своей страны, всего человѣческаго рода, счастливѣе того, кто объ этомъ не думаетъ, но какая польза проповѣдывать объ этомъ человѣку, пекущемуся только о своемъ покоѣ и о своемъ карманѣ. Онъ не могъ бы заботиться о другихъ, еслибъ и хотѣлъ. Это тоже, что разсказывать гу-

сеницѣ, ползущей въ травѣ, что для нѣя было бы лучше, еслибъ она родилась орломъ.

И то и другое зло, т. е., что человѣкъ свои личныя выгоды предпочитаетъ тѣмъ, которыя долженъ раздѣлить съ другими, и свои прямыя и близкія блага — непрямымъ и отдаленнымъ, какъ замѣчено повсюду, особенно рѣзко проявляются, когда человѣкъ принимаетъ участіе во власти: власть вызываетъ и питаетъ въ немъ эти свойства. Добившись ея, человѣкъ или сословіе людей, начинаетъ видѣть въ своихъ отдѣльныхъ интересахъ, личныхъ или сословныхъ, совершенно иную степень важности. Встрѣчая себѣ поклоненія отъ другихъ, они и сами становятся самопоклонниками, и начинаютъ видѣть въ себѣ значеніе во сто разъ большее, чѣмъ другія лица и другія сословія общества; возможность легко приводить въ исполненіе свои желанія притупляетъ въ нихъ способность видѣть послѣдствія, даже и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло касается ихъ лично. Этимъ и объясняется вообще убѣжденіе, основанное, впрочемъ, на всеобщемъ опытѣ, что власть портитъ людей. Всякій знаетъ, что было бы безуміемъ предполагать, чтобы частный человѣкъ, котораго образъ мыслей и дѣйствій мы знаемъ, принявъ участіе во власти, остался бы при томъ же образѣ мыслей и дѣйствій: въ частной жизни всѣ слабости человѣческой природы сдерживаются каждымъ изъ окружающихъ его лицъ, каждымъ обстоятельствомъ; напротивъ, при участіи во власти онъ будетъ имѣть и обстоятельства и лица въ своемъ распоряженіи. Такимъ же безуміемъ было бы питать подобныя надежды и на какое нибудь отдѣльное сословіе, будь это демосъ, или другое. Какъ бы это сословіе ни было умѣренно и благоразумно въ виду сильнѣйшей стихіи, но мы должны ожидать совершенной перемѣны, какъ только ему достанется наиболѣе сильная власть.

Правительство должно быть таково, каковъ народъ, имъ управляемый, или какимъ онъ скоро будетъ. На всякой ступени умственнаго развитія, достигнутаго уже обществомъ или его отдѣльнымъ классомъ, или котораго они стремятся достигнуть, интересы, которыми они будутъ руководиться, думая исключительно о своей собственной пользѣ, будутъ почти всегда тѣ, которые наиболѣе очевидны съ перваго взгляда, и которые дѣйствуютъ въ настоящихъ условіяхъ. Только безкорыстная заботливость о пользахъ другихъ, особенно будущихъ поколѣній, о пользахъ страны или всего человѣчества, будетъ ли эта заботливость основана на безсознательномъ или сознательномъ чувствѣ, заставляетъ общество добиваться отдаленныхъ и пока еще скрытыхъ благъ... Можно смѣло разсчитывать на извѣстную степень сознанія и безкорыстныхъ стремленій въ обществѣ зрѣломъ для представительнаго правленія, но было бы смѣшно предполагать, чтобы онѣ устояли противъ всякой благовидной лжи, стремящейся, въ образѣ общаго блага и безусловной правды, провести свои сословные интересы. Мы всѣ знаемъ, какіе благовидные предлоги можно придумать для прикрытія несправедливости, будто бы необходимой для блага массы. Мы знаемъ, что люди, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ неглупые и небезчестные, считали извинительнымъ отречься отъ національнаго долга. Мы знаемъ многихъ, людей съ умомъ и вліяніемъ, которые думаютъ, что все бремя общественныхъ податей должно лежать на такъ называемой наличной собственности, т. е. на томъ капиталѣ, который образуется изъ личныхъ сбереженій; мыслители эти полагаютъ, вѣроятно, что люди, которыхъ отцы и они сами проживали все получаемое ими не должны ничего платить именно за такое прекрасное поведеніе.

Слѣдовательно, въ демократіи, какъ и въ другихъ формахъ правленія, наибольшія опасности кроются въ зловѣщихъ интересахъ сословія, держащаго высшую власть; эта опасность состоитъ въ томъ, что законодательство и управленіе будутъ стремиться къ осуществленію выгодъ господствующаго сословія въ ущербъ

цѣлому обществу (достигнутъ ли цѣли или нѣтъ — это другое дѣло). Поэтому, при составленіи конституціи, первый вопросъ: какими средствами предупредить это зло? (Размышл. о предст. правл., стр. 107—116).

Это средство находитъ Милль въ той уравновѣшивающей силѣ, которая соглашала бы частныя выгоды съ общими и не допускала бы перевѣса ни одной изъ противодѣйствующихъ сторонъ. Этой уровновѣшивающей силой, по мнѣнію Милля, должно быть образованное меньшинство, „руководимое высшими побужденіями и дальновидными разсчетами". Но мы уже замѣтили, что какъ бы ни были образованы и добросовѣстны отдѣльныя личности правительства, онѣ еще не представляютъ полнаго ручательства за сохраненіе общихъ народныхъ интересовъ. Съ этимъ отчасти соглашается и самъ Милль, когда онъ говоритъ, что власть измѣняетъ индивидуальный характеръ, подчиняя его общему направленію политической системы... Поэтому настоящую точку опоры для хорошей конституціи надо искать въ самомъ обществѣ или, выражаясь яснѣе, въ его соціальной и умственной развитости. Прилагая этотъ принципъ къ британскому представительному правленію, мы находимъ въ немъ вопіющія нелѣпости рядомъ съ великолѣпными гарантіями человѣческой свободы. Прежде всего насъ поражаетъ экономическая несправедливость, примѣненная во всей ея силѣ къ народу, обобранному до нитки аристократическимъ сословіемъ. У народа нѣтъ собственной земли, а у аристократіи ея такъ много, что совершенно отъ ея доброй воли зависитъ уморить голодомъ 18 милліоновъ бѣднаго населенія. „Но вѣдь вы свободны, говорятъ англійскіе филантропы безземельнымъ пролетаріямъ: — идите съ вашей свободой, куда знаете, только не требуйте земли". И они предпочитаютъ идти изъ свободной страны подъ покровительство американскихъ рабовладѣльцевъ. Можетъ ли политическая нравственность допустить такое явленіе, еслибъ народная воля, какъ думаетъ Милль, руководила англійскимъ правительствомъ? Могутъ ли такіе паріи, какъ англійскіе пролетаріи, живущіе чуть не изъ милости на аристократической землѣ, принимать участіе въ дѣлѣ управленія? У нихъ нѣтъ для этого ни особеннаго желанія, ни матеріальной и умственной возможности. Ихъ голоса не слышно въ парламентѣ, который состоитъ изъ людей, болѣе или менѣе заинтересованныхъ именно въ томъ, чтобъ паріи не попросили себѣ земли или прибавки заработной платы. Почтенные лорды отлично понимаютъ, что съ той минуты, какъ народъ завоюетъ себѣ земельную собственность, вліяніе ихъ на конституцію исчезнетъ, и потому они такъ глухи къ этому требованію. Но мы уже сказали, что бѣдность и невѣжество идутъ рядомъ, и англійскій народъ въ этомъ отношеніи представляетъ самый очевидный примѣръ. Правительство не мѣшало ему учиться; свобода мысли, слова и совѣсти, свобода ассоціацій и предпріимчивости всегда благопріятствовали образованію Англіи, а между тѣмъ общій уровень его стоитъ тамъ гораздо ниже,

чѣмъ въ какой нибудь Пруссіи. Гдѣ же тутъ гарантія противъ сословнаго преобладанія, когда нѣсколько милліоновъ людей не только не имѣютъ своихъ представителей въ парламентѣ, но не имѣютъ и собственнаго мнѣнія? При такомъ соціальномъ устройствѣ олигархія есть неизбѣжное зло, будетъ ли эта олигархіи наслѣдственная или денежная, это рѣшительно все равно.

Мы знаемъ, что у насъ есть много приверженцевъ англійской конституціи, которая, разумѣется, при всѣхъ ея несообразностяхъ, неизмѣримо лучше японской автократіи; эти приверженцы, обыкновенно, любятъ указывать на общественное мнѣніе, какъ на ultima ratio всѣхъ благодѣяній представительнаго правленія. Къ сожалѣнію, они не видятъ за громкой фразой самого дѣла. Общественное мнѣніе противодѣйствуетъ злоупотребленіямъ правительства только тогда, когда въ этомъ мнѣніи есть достаточно силы не только думать, но и дѣлать... Никакая гласность не поможетъ произволу, если общество смотритъ на него равнодушно или даже съ нѣкоторою сыновнею нѣжностью. Въ характерѣ англійскаго народа есть прекрасная черта — не гоняться за оффиціальными мѣстами, не искать отличій тамъ, гдѣ на самомъ дѣлѣ ожидаетъ униженіе; этотъ народъ питаетъ глубокую антипатію къ увеличенію бюрократіи и правительственныхъ должностей, но въ то же время онъ привыкъ съ гордостію и самодовольствомъ относиться къ своей аристократіи. Этотъ дикій блескъ и эта роскошь, купленные цѣной продолжительныхъ народныхъ страданій, ослѣпляютъ массу, и она поклоняется тому же кумиру, который гнетъ ее въ дугу. Отъ такого мнѣнія немного выиграетъ общій интересъ страны. Притомъ общественное мнѣніе, при безгласности народа, принадлежитъ одному господствующему сословію. Оно даетъ тонъ и направленіе всей странѣ; оно имѣетъ средства защитить свой образъ мыслей и навязать его обществу; оно всегда съумѣетъ увѣрить, что его идеи — самыя справедливыя, гуманныя, его дѣйствія — самыя благородныя, и если мало простыхъ доводовъ, то оно можетъ подтвердить свое мнѣніе болѣе дѣйствительными аргументами, въ родѣ тѣхъ, какіе Пальмерстонъ употреблялъ противъ безпокойныхъ работниковъ Ланкашира и Манчестера. Сквозь такое мнѣніе еще нельзя видѣть всѣхъ желаній и требованій страны. Оно выгодно для тѣхъ, кто его фабрикуетъ, а не для цѣлаго общества; оно скорѣе вводитъ въ заблужденіе, чѣмъ наводитъ на истину...

1863 г.

ТОКВИЛЬ И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА.

Мы думаемъ, что никогда не поздно говорить о такихъ сочиненіяхъ, въ которыхъ выражается направленіе идей цѣлой эпохи, идей, пережитыхъ нѣсколькими поколѣніями, теперь потерявшихъ свою жизненную силу и переданныхъ въ архивъ, но оставившихъ за собой широкій слѣдъ вліянія на умственное развитіе современныхъ имъ людей. Книга Токвиля имѣла четырнадцать изданій, была прочитана всею образованной Европой и долго пользовалась первостепеннымъ авторитетомъ между публицистами всѣхъ націй. Все это, конечно, не доказываетъ ни особеннаго превосходства идеи, ни истины ея; — мало-ли произведеній и писателей, которые въ свое время были очень популярны, а теперь совсѣмъ забыты; но у хорошей книги всегда есть солидарность съ стремленіями и идеями своего поколѣнія, и этой солидарности она бываетъ обязана своимъ успѣхомъ. Большинство читателей любитъ и сочувствуетъ писателю не за то, что онъ открываетъ много новыхъ и глубокихъ мыслей, а за то, что онъ разъясняетъ наши собственныя понятія, угадываетъ и предупреждаетъ наши симпатіи; большинство требуетъ отъ мнѣнія не внутренней его силы и справедливости, а практическаго удовлетворенія своимъ интересамъ.

Если мы возвратимся къ эпохѣ тридцатыхъ годовъ, когда было издано первое сочиненіе Токвиля — „Демократія въ Америкѣ", если мы захотимъ уловить главную политическую идею этого времени, то увидимъ, что конституціонныя стремленія стояли во Франціи на первомъ планѣ. Ихъ представляло молодое поколѣніе, воспитанное подъ вліяніемъ двухъ реставрацій; за эти стремленія было большинство финансовой и служебной аристократіи; за нихъ держалась королевская власть, ихъ развивали и доктринеры, и либералы съ красными ленточками въ петличкахъ и съ самымъ умѣреннымъ взглядомъ на вещи. Для этихъ либераловъ прави-

тельственныя формы были идеаломъ реформъ; они проектировали хартіи министерства и кодексы также легко, какъ проектируетъ садовникъ аллеи и дорожки въ предполагаемомъ саду. Такіе вопросы, какъ собственность, право труда, право участія народа въ его собственныхъ дѣлахъ, экономическія отношенія сословій и коренныя основанія общественной жизни, мало или вовсе не обращали на себя вниманія этихъ либераловъ. Между тѣмъ, въ рукахъ ихъ была матеріальная сила, направленіе умовъ, всеобщая реакція Европы, вдвинутой Меттернихомъ въ шлюзы австрійской политики, и они принимали эти обстоятельства за непогрѣшимость своей доктрины и ожидаемаго ими прогресса. На противниковъ своихъ, типомъ которыхъ былъ Арманъ Карель, они смотрѣли съ двусмысленной улыбкой и также двусмысленно покачивали головой, когда ихъ враговъ посылали умирать въ застѣнкахъ Шпильберга или на галерахъ неаполитанскаго берега.

Въ конституціонныхъ понятіяхъ этой эпохи была та-же путаница, что̀ и въ самомъ обществѣ. Съ паденіемъ первой имперіи Франція жила двумя преданіями, и постоянно колебалась между революціонной традиціей и умилительною довѣренностью династіи Бурбоновъ. Блескъ и дымъ побѣдъ Наполеона закрыли на время отъ глазъ народа движеніе XVIII вѣка, но не уничтожили внутренней связи между старымъ и новымъ временемъ... Когда Лудовикъ XVIII въѣзжалъ въ Парижъ, въ голубомъ мундирѣ, съ орденомъ подвязки и съ представительнымъ дипломомъ въ рукѣ, онъ принужденъ былъ отказаться отъ половины прерогативъ своихъ предковъ. Ему напомнили, что феодальная монархія Людовика XVI отошла въ область прошедшаго, что двери тюйльерійскаго замка отворятся ему не иначе, какъ подъ условіемъ ограничить его власть. Король покорился, и конституція, наскоро составленная сенаторами наполеоновской школы, между военнымъ лагеремъ союзниковъ и толпой ренегатовъ, торговавшихъ будущей судьбой Франціи, по примѣру Талейрана, была подписана Людовикомъ XVIII очень неохотно. Какъ компиляція худшихъ сторонъ англійской представительной системы, обязанная своимъ происхожденіемъ силѣ и интригѣ, эта скороспѣлая конституція не могла выражать ни воли народа, ни представить достаточныхъ гарантій для національной свободы.

Четырнадцатый параграфъ ея, предоставившій королю безусловное наблюденіе за общественнымъ спокойствіемъ, открывалъ полный произволъ военному деспотизму и полицейской власти. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, когда Франція еще не успѣла близко ознакомиться съ своими новыми правами, въ ея тюрьмахъ уже не было мѣста для политическихъ преступниковъ; семьдесятъ тысячъ гражданъ были арестованы въ послѣдніе мѣсяцы 1815 года. (Hist. des deux Restaurations, par Vaulabelle. T. II, гл. II). Возвратившіеся Бурбоны воспользовались всѣми средствами для ниспроверженія тѣхъ народныхъ правъ, которыя были

вырваны у нихъ силой обстоятельствъ: смутное время, какъ нельзя больше, благопріятствовало ихъ намѣреніямъ. Быстрая смѣна правительствъ и государственныхъ учрежденій, игра страстей, распаленныхъ революціей и сдавленныхъ имперіей, столкновеніе партій, стоявшихъ подъ четырьмя враждебными знаменами — все это ослабило національное чувство и обезсмыслило политическую жизнь. Нація, измученная постоянными конскрипціями, тяжелыми налогами, потерявшая болѣе милліона самыхъ полезныхъ людей на поляхъ битвъ, наконецъ, оскорбленная взятіемъ столицы и завоеванныхъ ею земель, равнодушно смотрѣла на ходъ событій, если только они не отнимали у нея послѣдняго куска хлѣба. При такомъ порядкѣ вещей Людовику XVIII и Карлу X не трудно было обратить конституцію въ мертвую букву. Но пульсъ больного тѣла еще продолжалъ биться. Между тѣмъ, какъ съ одной стороны растетъ реакція, грозящая разрушить послѣднія льготы, такъ дорого купленныя народомъ, съ другой стороны ведется безпрерывный рядъ заговоровъ и тайныхъ обществъ, организованныхъ на разныхъ пунктахъ Франціи. Правда, что въ этихъ заговорахъ играетъ главную роль духъ партіи и личной ненависти сословій, но общая цѣль ихъ обозначалась очень ясно; такъ или иначе они выражали общественное мнѣніе, заключенное въ самыя тѣсныя границы гласности.

Іюльскій переворотъ былъ слѣдствіемъ реставрацій. Опять борьба за конституцію и опять тотъ-же результатъ; двѣсти тысячъ пролетаріевъ, покрывшихъ своими трупами улицы и площади Парижа, черезъ нѣсколько дней были слѣпымъ орудіемъ въ рукахъ ничтожной котеріи, измѣнившей только заглавіе хартіи. Людовикъ-Филиппъ понималъ, что держаться долѣе на прежней почвѣ, подготовленной ему Бурбонами, не было никакой возможности; вмѣсто старой аристократіи, онъ выбралъ опорой буржуазію и обставилъ свой престолъ учеными министрами. Но дѣло попрежнему шло очень плохо.

Живыя силы націи были оставлены въ пренебреженіи и замѣнены кой-какими административными формами. Все, что находило для себя выгоднымъ опекать народъ своимъ участіемъ въ правленіи, бросилось на поискъ мѣстъ, и бюрократія снова заглушила самодѣятельность общества. Людямъ прямыхъ и честныхъ убѣжденій здѣсь нечего было дѣлать — они отошли въ сторону; общіе интересы націи снова были принесены въ жертву привиллегированнымъ классамъ. Если разсматривать эту эпоху относительно политическаго воспитанія Франціи, то она представляется еще хуже реставрацій. Тамъ, по крайней мѣрѣ, деспотизмъ дѣйствовалъ открыто и часто искренно, а здѣсь онъ замаскировалъ себя великими обѣщаніями и фразами, отъ которыхъ черезъ семьнадцать лѣтъ надо было спасаться на берега Англіи; тамъ была ошибочная, но строго проведенная система, а здѣсь трудно было отличить благородный подвигъ гражданина отъ купеческаго плутовства на биржѣ.

Среди этого поколѣнія пришлось дѣйствовать Токвилю. Онъ заимствовалъ отъ него множество недостатковъ, онъ раздѣлялъ его ошибки, впадалъ въ противорѣчія, двоился въ своихъ мнѣніяхъ, но онъ умѣлъ сохранить и достоинства, столь рѣдкія въ дѣятеляхъ его эпохи. Іюльская революція застала Токвиля молодымъ — 25 лѣтъ отъ роду; черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ восшествія на престолъ Людовика-Филиппа, онъ уже плылъ вмѣстѣ съ другомъ своимъ Бомономъ въ Америку для изученія одиночной тюремной системы. Но, приступивъ къ изслѣдованію этого предмета, Токвиль не могъ остановиться на немъ одномъ; отъ его пытливаго взгляда не ускользнули вопросы болѣе интересные и важные — политическіе законы американской республики и приложеніе ихъ къ самой жизни. Желая провѣрить ихъ на самомъ мѣстѣ и убѣдиться въ ихъ дѣйствительной силѣ, онъ проѣхалъ Соединенные Штаты, неутомимо наблюдая разнообразныя явленія этого оригинальнаго общества. Черезъ годъ, съ богатымъ запасомъ свѣдѣній, онъ возвратился во Францію и приступилъ къ составленію книги: „Демократія въ Америкѣ". Свободный отъ служебныхъ обязанностей, полный силъ и энергіи, влюбленный въ миссъ Мотлей, въ свою будущую жену, съ вѣрой въ успѣхъ своего труда, онъ спокойно занимался имъ впродолженіи двухъ лѣтъ. Избѣгая развлеченій и шумной жизни города, Токвиль удалился въ уединенную мансарду и тамъ приводилъ къ концу свое лучшее произведеніе. „Эти два года (1832 — 1834), говоритъ біографъ Токвиля, вѣроятно, были самые счастливые въ его жизни", (Oeuvres et Correspond. de Tocqueville. Par Beaumont. T. I, стр. 37). Первые два тома „Демократіи въ Америкѣ" явились въ началѣ 1835 года. Успѣхъ ихъ былъ огромный. „Не только во Франціи, говоритъ другъ Токвиля, — успѣхъ „Демократіи" былъ блистательный, но и заграницей, гдѣ книга тотчасъ-же была переведена на всѣ языки. Что особенно замѣчательно, это — впечатлѣніе, произведенное ею въ той самой странѣ, о которой она разсуждала, т. е. въ Соединенныхъ Штатахъ. Американцы не могли понять, какимъ образомъ иностранецъ, пробывшій среди нихъ не болѣе года, съ такой удивительной проницательностью могъ схватить ихъ учрежденія и нравы, проникнуть въ самое сердце предмета—и изложить въ такой ясной и логической формѣ то, что представлялось имъ самимъ въ смутномъ видѣ. Нѣтъ ни одного знаменитаго человѣка въ американскомъ союзѣ, который бы не согласился, что конституція Америки и духъ законовъ ея объяснены ему Токвилемъ". (Oeuvres et Corresp., par Beaumont. T. I, стр. 42). Дѣйствительно, это было первое систематическое сочиненіе, бросившее свѣтъ на тѣ внутреннія стороны, которыя управляютъ движеніемъ громаднаго политическаго механизма. Токвиль прежде другихъ попробовалъ разъяснить соціальную связь между отдѣльными штатами, указать на взаимныя отношенія двухъ расъ, встрѣтившихся подъ однимъ государственнымъ горизонтомъ, но съ разными интересами и враждебнымъ по-

кушеніемъ другъ на друга; онъ издали предвидѣлъ, что „самое ужасное изъ всѣхъ золъ, угрожающихъ опасностью будущему состоянію Соединенныхъ Штатовъ, заключается въ присутствіи негровъ на ихъ землѣ“. (Démocr. en Amérique, т. I, стр. 412). Всѣ эти вопросы были поставлены на видъ въ то время, когда европейская публика смотрѣла на Америку съ дѣтскимъ удивленіемъ, измѣряя ея силы своими собственными силами и навязывая ей предразсудки, которыхъ она не имѣла. Въ журналистикѣ поднимались дикіе возгласы противъ американской свободы, которую смѣшивали съ буйнымъ произволомъ единственно потому, что тамъ не было строго-организованной полиціи и правительственнаго вмѣшательства во всѣ поступки частнаго лица. Ультра-католики и защитники государственной теоріи, въ смыслѣ Гоббеса и подобныхъ ему господъ, серьезно доказывали, что въ Америкѣ нельзя сдѣлать ни одного шагу безъ револьвера въ рукѣ или не подставивъ кулака къ самому носу своего ближняго. Къ этому невинному убѣжденію присоединилась преднамѣренная клевета англійскаго торизма, еще живо помнившаго свое пораженіе, нанесенное ему возставшей колоніей. Наконецъ, въ самой Америкѣ, едва вышедшей изъ кровопролитной борьбы за свою независимость, происходило броженіе молодыхъ силъ, оплодотворенныхъ свободными учрежденіями. Въ этомъ броженіи трудно было отличить случайныя событія отъ физіологическихъ явленій исторіи. Элементы, изъ которыхъ слагалось новое общество, еще не успѣли принять опредѣленную форму, а между тѣмъ свободная жизнь, ломая старыя преграды, текла подобно рѣкѣ въ полномъ ея разливѣ. Въ Америку прибывали европейскія эмиграціи, приносившія съ собой отвагу и трудъ людей, которыхъ отдѣлялъ океанъ отъ могилы отцовъ и ставилъ лицомъ къ лицу съ неизвѣстнымъ будущимъ и чужимъ міромъ; въ Америкѣ съ волшебной быстротой заселялись пространныя пустыни, покрывавшіяся городами и фермами; здѣсь строились новые порты, увеличивался купеческій флотъ, разбрасывалась сѣть желѣзныхъ дорогъ, возрастало народонаселеніе каждыя десять лѣтъ въ ариѳметической пропорціи, и во всемъ этомъ кипѣла самая подвижная и разнообразная дѣятельность. Уловить истинную физіономію такого общества было не легко, сгруппировать разбросанныя и едва обозначенныя черты его въ одну полную картину — еще труднѣе, но Токвиль это сдѣлалъ, и этому обстоятельству обязана его книга своей громкой популярностью. О недостаткахъ „Демократіи въ Америкѣ“ я скажу послѣ, а теперь возвращусь къ ея автору.

Рѣдко случается современному писателю такъ счастливо выступить на литературное поприще, какъ выступилъ Токвиль. Первое сочиненіе дало ему европейскую извѣстность, сблизило его съ лучшими людьми, какъ во Франціи, такъ и заграницей, и обезпечило ему на будущее время безбѣдное существованіе. Не прерывая своихъ ученыхъ работъ,

онъ въ то-же время дѣйствовалъ въ палатѣ депутатовъ, избранный представителемъ отъ округа Валона; здѣсь онъ постоянно находился на сторонѣ оппозиціи до послѣдней минуты правленія Людовика-Филиппа. За нѣсколько дней до февральскаго удара онъ произнесъ рѣчь, въ которой предсказалъ, что разгромъ приближается съ той стороны, съ какой всего менѣе ожидало его правительство; онъ упрекалъ министерство Гизо въ апатіи, въ равнодушіи къ опасному положенію страны, въ непонятномъ и слѣпомъ упорствѣ, съ которымъ полусонная министерская власть шла на встрѣчу своему паденію. „Утверждаютъ, говорилъ Токвиль, — что нѣтъ опасности, потому что нѣтъ возстаній, думаютъ, что если нѣтъ наружныхъ взрывовъ на поверхности общества, то революція далеко отстоитъ отъ насъ. Позвольте мнѣ сказать вамъ, господа, что вы ошибаетесь. Нѣтъ сомнѣнія, что опасность угрожаетъ намъ не со стороны фактовъ, а со стороны самихъ умовъ. Посмотрите, что̀ происходитъ среди рабочихъ классовъ, которые, правда, сегодня остаются спокойными. Ихъ волнуютъ собственно не политическія страсти, какъ это было нѣкогда; но развѣ вы не видите, что эти страсти изъ политическихъ обратились въ соціальныя?.. Я думаю, что мы спимъ въ настоящую минуту на вулканѣ — я въ этомъ глубоко убѣжденъ". Эти слова оправдались черезъ три недѣли. Февральская революція, — третья великая революція въ исторіи Франціи, — приняла значительные размѣры по своему внутреннему значенію; изъ конституціонной борьбы она перешла на экономическую почву и коснулась самой щекотливой стороны вопроса — права собственности и труда. Токвиль безъ удивленія, но съ прискорбіемъ смотрѣлъ на вновь импровизированную республику; его душѣ были противны революціонные эффекты и государственный драматизмъ, а положительныхъ результатовъ онъ не ожидалъ отъ этого переворота; онъ видѣлъ, что̀ за люди стояли во главѣ движенія, какимъ пустымъ крикунамъ нація ввѣряла свою жизнь и грядущія событія... За всѣмъ тѣмъ Токвиль не оставилъ сцены дѣйствія. Но чѣмъ дальше онъ слѣдилъ за происшествіями, тѣмъ сильнѣе убѣждался, что реакція возьметъ верхъ, и побѣда опять останется за болѣе ловкимъ и дерзкимъ искателемъ приключеній. Слѣды грустнаго настроенія Токвиля въ эту пору остались въ его письмахъ къ Евгенію Отоффелю и Бомону. Въ одномъ изъ нихъ онъ писалъ такъ: „чувствуется, что старый міръ отходитъ; но какой же будетъ новый? Самые зоркіе умы нашего времени не могутъ отвѣчать на это утвердительно, такъ точно, какъ люди древніе не могли предвидѣть уничтоженія рабства, христіанской реформы, вторженія варваровъ и всѣхъ великихъ вопросовъ, обновившихъ лицо земли. Они чувствовали, что общество ихъ разлагается — вотъ и все, что они чувствовали"... (Correspond, т. I, стр. 491). Наконецъ, среди республиканскихъ формъ и фразъ, незамѣтно подошло 2 декабря 1851 года. Когда Токвиль замѣтилъ приближеніе этого дня, онъ поспѣшилъ оставить неаполитанскій

берегъ, гдѣ намѣренъ былъ провести зиму, и явился въ Парижъ. Въ назначенный день онъ былъ въ числѣ оппонентовъ возникавшему порядку вещей и вмѣстѣ съ другими былъ арестованъ и отведенъ въ казарму. 3 декабря его перевели въ венсенскую тюрьму, гдѣ и окончилась политическая дѣятельность Токвиля; она окончилась съ послѣднимъ вздохомъ умиравшей свободы.

Теперь посмотримъ на самыя убѣжденія Токвиля. Мы ужь замѣтили, что современные ему публицисты не отличались особенно твердыми и ясными воззрѣніями; въ ихъ мнѣніяхъ была замѣтна лихорадочная дрожь, недовѣріе къ собственнымъ силамъ, вялый скептицизмъ, чѣмъ обыкновенно сопровождаются рѣзкіе политическіе кризисы всѣхъ народовъ. Въ поколѣніи Токвиля, если можно такъ выразиться, соединялось нѣсколько различныхъ поколѣній съ разными мнѣніями, предразсудками и вѣрованіями. Въ немъ были люди, еще жившіе воспоминаніями феодальной эпохи, потомъ приверженцы революціоннаго времени, обстрѣленные съ ногъ до головы поклонники имперіи и, наконецъ, защитники представительной формы правленія; въ большей части изъ нихъ всего было понемножку, т. е. отчасти либерализма, отчасти консерватизма, нѣсколько Мирабо и нѣсколько Людовика XVI. Многіе изъ нихъ еще серьезно думали, что, еслибъ взять нѣсколько старыхъ элементовъ, внесенныхъ во Францію средневѣковыми баронами и дюками, затѣмъ нѣсколько стихій изъ монархіи Бурбоновъ, кой-что изъ революціи, и изъ всего этого слѣпить одну націю, то эта нація была бы великой и свободной Франціей. Политическій фатализмъ и ренегатство были обыкновенными явленіями у тогдашнихъ государственныхъ людей. Однимъ словомъ, это поколѣніе походило на пловцовъ, отбитыхъ непредвидѣнной бурей отъ одного берега и неприставшихъ къ другому. Само собою разумѣется, что у народа, заранѣе приготовленнаго къ участію въ своемъ собственномъ управленіи, такой неурядицы не могло бы случиться. Къ сожалѣнію, муниципальныя права его давно были вырваны съ корнемъ въ правленія Людовиковъ XIV и XV; системы выборовъ и провинціальныхъ сеймовъ давно не существовало; парламентскія формы, никогда не имѣвшія дѣйствительнаго значенія, потонули въ общемъ кораблекрушеніи старой монархіи; нація была раззорена и забита, какъ бѣдный школьникъ подъ ферулой учителя. Такимъ образомъ, сфера политическихъ идей была самая узкая; что дѣлалось въ Парижѣ, какъ рѣшали судьбу тридцати трехъ милліоновъ людей, о томъ едва знали за чертой столичныхъ заставъ. Послѣ этого неудивительно, что и Талейранъ въ свое время считался политическимъ мудрецомъ, хотя онъ мнѣнія свои мѣнялъ чаще, чѣмъ бѣлье.

Кромѣ этихъ элементовъ, на убѣжденія Токвиля имѣли вліяніе его личныя обстоятельства. Онъ принадлежалъ по рожденію къ старой дворянской фамиліи, въ которой сохранилось много наслѣдственныхъ понятій;

отецъ его былъ образованный человѣкъ и превосходный писатель, но все еще мечтавшій о возстановленіи древнихъ общинныхъ правъ и не любившій династію Бурбоновъ только за ихъ домашніе пороки. Поэтому многія антипатіи были привиты къ автору „Демократіи въ Америкѣ" его воспитаніемъ и семейными привычками. Юношескіе годы его прошли въ кругу связей, составленныхъ его отцомъ, на половину изъ добродушныхъ либераловъ и на половину изъ королевскихъ чиновниковъ дюжиннаго разбора. Впослѣдствіи онъ былъ владѣтелемъ стариннаго зáмка, сохранившаго всѣ признаки феодальныхъ привиллегій. Такимъ образомъ, внѣшняя обстановка, при которой развивался Токвиль, вовсе не благопріятствовала полному отрѣшенію его отъ наслѣдственныхъ убѣжденій. Онъ выросъ на конституціонной почвѣ и былъ убѣжденъ, что для Франціи въ ея настоящемъ состояніи самою лучшею формою правленія была бы представительная монархія. Изъ этого убѣжденія вытекали его политическія сужденія и поступки. Другимъ его мнѣніемъ, составлявшимъ задачу всей его жизни, была увѣренность, что демократическое равенство безъ свободныхъ учрежденій можетъ угрожать народной тиранніей обществу, что современная Европа должна бояться за свое будущее именно съ этой стороны. Къ этому убѣжденію привела его исторія Франціи, которая со времени первой революціи постоянно боролась противъ сословныхъ привиллегій и феодальнаго господства.

Доселѣ Токвиль былъ правъ; общая и главная идея его неоспоримо вѣрна, но когда онъ приступилъ къ ея приложенію и выводамъ, тогда оказалось построеніе его совершенно ложнымъ. Капитальная ошибка его теоріи состояла въ томъ, что онъ началъ мѣрить своимъ французскимъ аршиномъ всѣ человѣческія общества, какъ будто развитіе ихъ шло по одинаковой программѣ съ французской исторіей. Народы, достигшіе извѣстной степени соціальнаго строя, казались ему чѣмъ-то въ родѣ звѣринца, раздѣленнаго на отдѣльные разряды и клѣтки, подъ управленіемъ одного непремѣннаго закона. Если онъ, напримѣръ, видѣлъ опасность демократическихъ тенденцій во Франціи, не осилившихъ правительственной централизаціи, то такую-же опасность онъ находилъ и въ швейцарской республикѣ, хотя послѣдняя столько-же похожа на первую, сколько Англія XVIII вѣка на Японію XIX-го.

Тотъ-же масштабъ Токвиль приложилъ и къ американскому Союзу, разбирая составныя его части съ извѣстнымъ предвзятымъ воззрѣніемъ. Въ этомъ—главная ошибка его книги. Америка, собственно говоря, послужила Токвилю рамой, въ которую онъ хотѣлъ вставить свою идею, и если рама была коротка для его мѣрки, то онъ вытягивалъ ее произвольно, а если длинна, то онъ укорачивалъ ее, постоянно сообразуясь съ своимъ французскимъ аршиномъ. Такъ католицизмъ представлялся ему новымъ ковчегомъ, въ который со временемъ войдетъ все человѣ-

чество. Изъ этого онъ вывелъ заключеніе, что и въ Америкѣ католическая религія распространяется насчетъ протестантизма (Démocr. en Amérique, т. II, гл. VI). Заглянувъ въ статистику тридцатыхъ годовъ, мы находимъ, что, дѣйствительно, число католиковъ значительно прибыло противъ прежнихъ лѣтъ; но прибыло-ли оно вслѣдствіе обращенія американцевъ, или составляетъ случайный фактъ — это требовало еще повѣрки. Между тѣмъ, Токвиль, остановившись на этомъ явленіи, поспѣшилъ рѣшить его въ пользу своей теоріи и возвести въ общій законъ для всѣхъ народовъ. Но такъ-ли это? Не видимъ-ли мы, напротивъ, что римскій католицизмъ въ послѣднія три столѣтія постепенно падаетъ. Каждое новое событіе, отодвигающее Европу отъ среднихъ вѣковъ, прямо и косвенно наноситъ ему смертельный ударъ. Принципъ уже давно умеръ, но держится католическая каста, и употребляетъ всѣ средства, чтобы продлить свое существованіе. Обставленная полицейской пропагандой — монашескими орденами и миссіями — она разбрасываетъ свои сѣти повсюду, и если ловитъ себѣ прозелитовъ среди полудикихъ народностей, то теряетъ ихъ гораздо больше у себя дома — въ Европѣ. Что же касается Америки, то здѣсь прибыль католиковъ вовсе не зависѣла отъ того, чтобъ Янки питали особенное уваженіе къ римской церкви и предпочитали ее протестантизму; нѣтъ, это явленіе объясняется гораздо проще — притокомъ европейскихъ эмиграцій изъ Ирландіи, Франціи и Италіи. Притомъ распространеніе католицизма было замѣтно особенно на американскомъ югѣ, гдѣ такъ долго господствовала Испанія и гдѣ религіозный абсолютизмъ могъ удовлетворять политическому абсолютизму плантаторовъ. Слѣдовательно, Токвиль принялъ чисто-внѣшній фактъ за органическое явленіе современныхъ обществъ и поторопился заключить, что всѣ демократическія націи склонны къ принятію католицизма. Исторія европейскихъ народовъ представляетъ совершенно противоположные примѣры. Кто путешествовалъ по Швейцаріи, тотъ, вѣроятно, видѣлъ: какая огромная разница въ образѣ жизни протестантскаго и католическаго населенія. При одинаковыхъ условіяхъ климата, почвы и политическихъ учрежденій, католикъ живетъ несравненно хуже протестанта: у перваго вы не найдете ни той чистоты въ домашней обстановкѣ, ни такъ хорошо воздѣланнаго поля, какъ у второго. Точно такую же параллель можно провести вообще между сѣверной и южной Европой.

Другой недостатокъ Токвиля заключается въ его страсти строить произвольные выводы на основаніи отрывочныхъ наблюденій и крайне неудовлетворительныхъ матеріаловъ. Есть особенный разрядъ умственныхъ организацій, которыя никакъ не могутъ ограничиться простымъ анализомъ вещей, а спѣшатъ каждому своему впечатлѣнію придать характеръ общей истины. Это — обыкновенные пріемы такъ называемыхъ идеалистовъ, наслѣдованные ими отъ средневѣковой схоластики. Метода

этого научнаго лунатизма очень незамысловатая; они берутъ наудачу два-три явленія, осмотрятъ ихъ съ той стороны, съ какой имъ болѣе нравится, и потомъ выводятъ непреложный законъ, общій всѣмъ подобнымъ явленіямъ. Иные поступаютъ еще проще и, по нашему мнѣнію, гораздо практичнѣе: положимъ, что мнѣ выгодно, напримѣръ, увѣрить другихъ, что бѣдность лучше богатства, вотъ я и начинаю превозносить нищету со всѣми ея добродѣтелями; между тѣмъ, какъ слушатели будутъ восхищаться моимъ краснорѣчіемъ, я преспокойно стану набивать свои карманы въ силу той вѣчной истины, что бѣдность благороднѣе богатства. Говоря такъ, мы вовсе не думаемъ, чтобъ человѣческій умъ совершенно отказался отъ синтеза и занимался однимъ безцѣльнымъ анализомъ, не формулируя свои наблюденія въ извѣстныя общія нормы, но мы хотимъ сказать, что произвольно построенныя системы гораздо вреднѣе самаго глубокаго невѣжества. А надо согласиться, что строго разработанныхъ истинъ въ нашемъ распоряженіи чрезвычайно мало. Притомъ надо знать, въ какой области предметовъ работаетъ нашъ умъ; такъ въ естественныхъ наукахъ мы можемъ быть смѣлѣе въ своихъ систематическихъ построеніяхъ, потому что наблюденія наши, вооруженныя инструментами и непосредственнымъ анализомъ, имѣютъ гораздо больше твердости и вѣроятія; здѣсь мы имѣемъ дѣло съ предметами, которые можемъ разсѣчь на тончайшія волокна, подвергнуть химическому процессу, разсмотрѣть въ микроскопъ и сравнить съ милліономъ другихъ предметовъ того же рода. Но такъ ли мы наблюдаемъ въ исторіи и политикѣ? И можетъ ли быть здѣсь, хоть на одну минуту, полная увѣренность въ точности факта или нашего воззрѣнія на него? Въ исторіи мы занимаемся міромъ мертвымъ, отъ котораго остались одни слова, знаки и разнообразныя воспоминанія, передаваемыя въ неясныхъ и произвольныхъ образахъ вымысла; здѣсь мы изучаемъ дѣйствія человѣка, въ его внѣшнихъ проявленіяхъ, и только можемъ болѣе или менѣе правдоподобно догадываться о тѣхъ внутреннихъ движеніяхъ воли, которыя управляютъ нашими дѣйствіями; эти движенія, замаскированныя различными оффиціальными формами, доходятъ до потомства въ ложномъ видѣ; при сравненіи историческихъ явленій у насъ нѣтъ главнаго орудія всякой точной науки — опыта, а безъ него можно только предполагать, а не утверждать. Поэтому, почти всѣ историческія теоріи оказываются болѣе или менѣе заманчивыми иллюзіями нашего собственнаго воображенія. Въ политикѣ еще меньше твердой почвы для вѣрныхъ наблюденій; здѣсь настоящія пружины человѣческой дѣятельности совершенно закрыты; передъ нами стоятъ событія съ громкими именами, фразами и обѣщаніями, а, между тѣмъ, источникъ ихъ такъ мелокъ, что становится совѣстно не только за актеровъ, но и за зрителей; въ политическихъ манифестахъ, напримѣръ, XVIII вѣка, мы постоянно читаемъ, что такая-то война предпринимается для блага

народа и славы отечества, а, между тѣмъ, ее предпринимаетъ какая нибудь Помпадуръ единственно для развлеченія Лудовика XV; мы постоянно слышимъ, что такой-то восточный властитель, желая осчастливить своихъ подданныхъ, посылаетъ имъ новаго правителя, а, между тѣмъ, этотъ правитель отправляется для явнаго грабежа и насилія... Поэтому, не видя ни тайныхъ пружинъ, ни внутренняго механизма, управляющаго событіями нашей жизни, мы часто принимаемъ слова за самое дѣло и воздушные миражи—за дѣйствительные предметы.

Точно такъ поступилъ Токвиль въ отношеніи американской демократіи. Основываясь на одномъ какомъ нибудь явленіи или даже сочиняя его въ собственной головѣ, онъ старается обобщить его въ политическій принципъ; построивъ силлогизмъ, онъ разбиваетъ его на нѣсколько отдѣльныхъ заключеній и всѣ сводитъ къ одному итогу. Но силлогизмъ оказывается ложнымъ, слѣдовательно, и всѣ выводы его распадаются въ прахъ. Чтобы выражаться яснѣе, мы возьмемъ нѣсколько примѣровъ. Предложивъ себѣ вопросъ: какого рода деспотизмъ можетъ угрожать демократическимъ націямъ? — Токвиль отвѣчаетъ на него такъ: „Наши современники постоянно находятся подъ вліяніемъ двухъ непріязненныхъ страстей: они чувствуютъ необходимость въ руководителѣ и въ то же время хотятъ остаться свободными. Будучи не въ состояніи одолѣть ни тотъ, ни другой изъ этихъ инстинктовъ, они стараются удовлетворить ихъ вмѣстѣ. Они стремятся къ единой, покровительственной и всемогущей власти, но избранной гражданами. Они соединяютъ централизацію и высшую иниціативу народа. Это даетъ имъ нѣкоторый отдыхъ. Они утѣшаются тѣмъ, что состоятъ подъ опекой, воображая, что они сами избрали своихъ опекуновъ. Каждый позволяетъ привязать себя, видя, что не отдѣльное лицо и не сословіе, а весь народъ держитъ конецъ этой веревки". (Démocr. en Amérique, т. II, стр. 359). Итакъ, по мнѣнію Токвиля, вся бѣда современныхъ обществъ состоитъ въ томъ, что они одновременно ищутъ верховнаго права народа и правительственнаго покровительства. Но изъ чего же видно, что эти діаметрально-противоположныя стремленія составляютъ общую черту всѣхъ современныхъ націй? Неужели то же явленіе находимъ мы въ современной Англіи и Италіи? Но Токвилю нѣтъ никакого дѣла до этихъ вопросовъ; ему надо, во что бы то ни стало, подтвердить свою теорію, и онъ изъ частнаго случая возводитъ ее въ общее правило. А частный случай, подтверждающій его положеніе, представляется ему въ исторіи Франціи. Здѣсь, дѣйствительно, встрѣчается намъ этотъ фактъ, со времени великой революціи. Сбросивъ гнетъ стараго порядка вещей, она повела народъ къ уравненію его состояній, сблизила сословія, уничтожила тысячи тѣхъ преградъ, которыя лежали между народомъ и привиллегированнымъ классомъ, но

не дала этому народу свободныхъ учрежденій. Напротивъ, во время революціи и послѣ нея административная централизація увеличилась. Отчего это? Оттого, что современной Франціи недостаетъ именно тѣхъ началъ, за которыя такъ опасается Токвиль. Всѣ французскіе перевороты были совершены во имя гражданскаго равенства, а не политической свободы, т. е. во имя только одной половины правъ, составляющихъ полную организацію демократіи. Самъ же Токвиль прекрасно очертилъ это явленіе. И это явленіе совершенно понятно: въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ народъ вынесъ феодальный произволъ, и когда пришло время, Франція соединила всѣ усилія на одномъ пунктѣ и съ нимъ однимъ боролась; но когда надо было устроиться и въ другомъ отношеніи, тогда она почувствовала, что у нея нѣтъ достаточно силъ, — нѣтъ ни муниципальной жизни, ни политическаго воспитанія... Но вѣдь все это свойственно одной французской исторіи и отнюдь не можетъ быть принято за норму общечеловѣческаго прогресса, какъ это дѣлаетъ Токвиль.

Развивая свою мысль дальше, онъ приходитъ къ такому результату: „Итакъ, мнѣ кажется, что въ демократическія эпохи особенно надо бояться деспотизма". Да изъ чего же это слѣдуетъ? Опять изъ того же, что Франція, добившись нѣкотораго равенства состояній, въ то же время усложнила свою административную машину. Но Токвиль и на этомъ не останавливается, онъ идетъ гораздо дальше: „въ Соединенныхъ Штатахъ, говоритъ онъ, — всемогущество большинства, покровительствуя легальному деспотизму законодателя, въ тоже время покровительствуетъ произволу исполнительной власти. Большинство, безусловно располагая законодательной силой и наблюденіемъ за исполненіемъ ея, равно контролируя управляемыхъ и управителей, смотритъ на общественныхъ чиновниковъ, какъ на своихъ пассивныхъ агентовъ и охотно возлагаетъ на нихъ заботы содѣйствовать его намѣреніямъ. Тамъ оно не входитъ предварительно въ подробности ихъ обязанностей и не беретъ на себя труда опредѣлять права ихъ. Оно поступаетъ съ ними, какъ поступалъ бы господинъ съ своими слугами, который, видя ихъ постоянно передъ глазами, могъ бы исправлять и руководить ихъ каждую минуту". (Démocr. en Amérique, т. I, стр. 306). Изъ этихъ словъ ясно видно, что Токвиль усматриваетъ будущую тираннію демократическихъ обществъ въ произволѣ большинства. И въ этомъ заключается основная идея его теоріи, около которой онъ группируетъ разнообразные результаты.

Согласимся, что современныя демократическія общества, какъ американское и швейцарское, дѣйствительно, страдаютъ этимъ недостаткомъ нерѣдко покрывая силой общественнаго мнѣнія ужасныя злодѣянія; но имѣемъ-ли мы право заключить изъ этого, что и на будущее время грозитъ человѣчеству та же опасность? Не есть-ли это скорѣе случайный

недостатокъ мало-развитыхъ народныхъ автономій и плохо-образованнаго общественнаго мнѣнія? Извѣстно, что во Франціи всеобщая подача голосовъ сопровождалась самыми отвратительными злоупотребленіями — подкупами представителей народа, угрозами жандармовъ и раболѣпствомъ передъ всякимъ агентомъ правительства: извѣстно, какъ происходила вотировка въ Савоѣ и Ниццѣ, когда присоединяли ихъ къ коронѣ Наполеона III. Но развѣ такіе примѣры можно брать за принципъ? Развѣ невѣжество и политическая неспособность нѣкоторыхъ націй можетъ служить приговоромъ надъ будущими судьбами всего человѣчества? Нѣтъ, мы убѣждены, что ни одна нація еще не достигла того развитія, при которомъ была возможна полная народная самодѣятельность. Въ Англіи тормозитъ ее аристократія, въ Америкѣ — юридическая формалистика и партіи, что въ сущности та же аристократія.

Чтобы восполнить этотъ недостатокъ, обыкновенно, обращаются къ представительной системѣ, къ выбору довѣренныхъ лицъ отъ народа. Положимъ, что эти лица могутъ быть хорошимъ органомъ въ выраженіи національныхъ интересовъ и, при извѣстномъ образованіи и гражданской честности, способны лучше обсуждать общественныя дѣла, чѣмъ самое большинство; но кто-же станетъ серьезно утверждать, что представитель десяти или двадцати тысячъ людей можетъ вполнѣ понимать ихъ интересы и искренно сочувствовать имъ? И кто можетъ поручиться, что этотъ самый представитель, на котораго нынѣ положился народъ, завтра не будетъ подкупленъ какою нибудь партіей, домогающейся своихъ личныхъ выгодъ во вредъ всему обществу? А на что-же контроль общественнаго мнѣнія? возразятъ намъ. Но понятіе, которое мы соединяемъ съ общественнымъ мнѣніемъ, такъ условно и растяжимо, что подъ нимъ можно разумѣть все, что угодно — мнѣніе преобладающаго сословія, правительственныхъ лицъ, нѣсколькихъ купцовъ или журналистовъ, однимъ словомъ, той или другой партіи, у которой найдется побольше силы и ловкости въ управленіи общественными дѣлами. Неужели на вѣсы такого общественнаго мнѣнія можно положить судьбу всего народа? Оно будетъ дѣйствовать пристрастно, своекорыстно, также деспотически, какъ правительство султана, и въ то же время прикрываться народнымъ именемъ, иниціативой своей страны.

Съ такимъ мнѣніемъ дальше своевольной и эксплуатирующей олигархіи уйдти нельзя. Но представимъ, что народная автономія развита въ высшей степени правильно, и общественное мнѣніе заявляетъ себя съ самой лучшей стороны, тогда нѣтъ ни малѣйшей причины бояться демократической тираніи, придуманной Токвилемъ. Странно было бы думать, чтобъ народъ сталъ угнетать самого себя. Поэтому, всѣ споры о

политическихъ формахъ и конституціяхъ, въ послѣднемъ результатѣ, сводятся къ слѣдующему вопросу: насколько народъ уменъ и честенъ, чтобы управлять собой? Въ этомъ вся его сила и счастіе. Слѣдовательно, задача нашего времени состоитъ не въ томъ, чтобы лѣпить разныя теоріи и системы правительствъ, а въ томъ, чтобы возвратить народу его здравый смыслъ, поднять общій уровень умственнаго образованія и нравственнаго достоинства націй.

Высказанныя нами замѣчанія столько-же относятся къ теоріи Токвиля, сколько къ разглагольствованіямъ нашихъ отечественныхъ публицистовъ, которые сочиняютъ намъ самоуправленіе изъ стараго англійскаго тряпья или изъ историческихъ началъ временъ Шемякина суда и подъячаго Котошихина... Сочиняйте—въ добрый часъ! Современная жизнь не къ вамъ обратится за своими уроками и не отъ васъ ей ожидать своего обновленія...

Токвиль также обманулся въ своихъ надеждахъ и пережилъ прочность своей системы. Онъ видѣлъ, какъ она рухнула передъ новыми требованіями народовъ. Теоретическіе принципы изложены въ послѣднихъ двухъ томахъ его книги; что касается двухъ первыхъ, гдѣ авторъ разбираетъ составъ американской конституціи, ея федеративную связь, коммунальныя права, отношенія народа къ своему правительству, внутренній антагонизмъ племенныхъ и экономическихъ началъ — всѣ эти главы превосходны. Когда Токвиль держится чисто фактической стороны и строгаго анализа данныхъ, его взгляды отличаются вѣрной критикой и замѣчательными свѣдѣніями. И еслибъ онъ остановился на первомъ томѣ своего произведенія, книга его выиграла бы, какъ въ стройности изложенія, такъ и въ точности идеи.

Есть одна черта, которою Токвиль рѣзко отдѣляется отъ современныхъ ему мыслителей, это — уваженіе къ человѣческой личности, которую онъ ставитъ выше всѣхъ случайныхъ обстоятельствъ. „Я знаю, говоритъ онъ,— что многіе изъ моихъ современниковъ считаютъ народы рабами какой-то неотразимой фатальной силы, вытекающей изъ предшествующихъ обстоятельствъ, изъ племенныхъ, географическихъ и климатическихъ условій. Это ложное ученіе порождаетъ людей слабыхъ и націи малодушныя“. Такой энергическій взглядъ для своего времени былъ новостью. Фаталистическая школа, подчинявшая свободную дѣятельность человѣка внѣшней необходимости, господствовала въ эпоху Токвиля; она отнимала у общества лучшія его надежды, парализировала самыя благородныя стремленія, ставя его въ зависимость отъ всякаго случайнаго явленія. Авторъ „Демократіи“, напротивъ, отводитъ намъ широкое поле труда и непосредственнаго участія въ нашей собственной участи. Онъ твердо вѣритъ, что сами люди создаютъ себѣ то или другое соціальное положеніе, что совершенно отъ нихъ самихъ зависитъ быть

рабами, подобно китайцамъ, или свободными гражданами, подобно американцамъ. Съ такимъ убѣжденіемъ становится легче, когда посмотришь на историческую Голгофу человѣчества, покрывшаго свой путь слезами и кровью.

III

ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА БОКЛЯ.

(„Исторія цивилизаціи въ Англіи". Переводъ съ англійскаго. 1863 г.).

I.

Рѣдко случается писателю такъ блистательно начать свою литературную дѣятельность, какъ началъ ее Бокль. До появленія его „Исторіи англійской цивилизаціи", имя автора было совершенно неизвѣстно; ни критика, ни публика не имѣли никакого понятія о той умственной силѣ, которая такъ долго работала въ тиши своего кабинета и которую Бокль далъ почувствовать въ себѣ съ перваго-же раза. Не только друзья, но и искренніе враги историка согласились въ томъ, что книга его — произведеніе сильнаго таланта и глубокихъ соображеній, какія только доступны отдѣльному уму современной эпохи. Но кромѣ таланта, у Бокля есть другое достоинство, которымъ не всегда можетъ похвалиться авторская дѣятельность нашего времени; онъ отличается добросовѣстнымъ изученіемъ своего предмета, уваженіемъ къ труду и если не полной, то довольно смѣлой независимостью отъ рутинныхъ мнѣній, съ которыми ему пришлось бороться. Правда, что обширная начитанность Бокля, изумительная по своему разнообразію и неутомимой повѣркѣ статистическихъ и этнографическихъ фактовъ, не всегда говоритъ въ пользу его; впослѣдствіи, мы увидимъ, что онъ часто ошибается въ выборѣ источниковъ, основывая на нихъ свои рѣзкіе выводы; переходя изъ одной сферы знанія въ другую, собирая все, что̀ можетъ бросить свѣтъ на его идею, подтвердить его взгляды, онъ часто не различаетъ прочныхъ и цѣнныхъ матеріаловъ отъ негоднаго мусора, набросаннаго въ науку разными бездарностями; рядомъ съ геніальными людьми, авторитетомъ которыхъ онъ пользуется, въ его пестрыхъ цитатахъ встрѣчаются самыя горькія посредственности въ родѣ именъ Никольса или Канфига; у

тѣхъ и у другихъ онъ беретъ необходимыя для него данныя съ одинаковымъ довѣріемъ. Такая неразборчивость при выборѣ ученаго суррогата вредитъ общему тону книги обременяя ее совершенно излишними ссылками и закрывая отъ читателя подъ чужими мыслями собственную идею Бокля. Все это, впрочемъ, объясняется не столько отсутствіемъ критическаго такта въ авторѣ, сколько громадностью задачи, которую онъ задумалъ разрѣшить въ „Исторіи англійской цивилизаціи". Дѣйствительно, задача Бокля, какъ мы познакомимся съ нею ниже, такъ велика по своимъ внѣшнимъ размѣрамъ, и такъ нова по содержанію, такъ близко касается всѣхъ отраслей знанія, что для выполненія ея у него не было тѣхъ средствъ, какими должна располагать современная историческая наука. Поэтому, для постройки своего зданія онъ не пренебрегалъ ничѣмъ, что мало-мальски подходило подъ его требованія. Чего не давали ему библіотеки и архивы, то дополнялъ онъ личными наблюденіями во время путешествій; онъ умеръ среди изысканій на востокѣ, оставивъ по себѣ едва начатый трудъ, который, при всѣхъ его недостаткахъ, останется въ числѣ лучшихъ оригинальныхъ произведеній настоящей эпохи.

Но оригинальность идеи какъ ни хороша въ теоріи, на практикѣ имѣетъ свои важныя неудобства; она ставитъ писателя въ оппозицію съ общепринятымъ направленіемъ мысли, съ тѣмъ золотымъ тельцомъ, которому обыкновенно поклоняется большинство; она вооружаетъ противъ него и тѣхъ, кто по слабости своихъ умственныхъ силъ не въ состояніи понять и сочувствовать ему, и особенно тѣхъ, кто не находитъ выгодъ раздѣлять новыхъ мнѣній оригинальнаго ума. Ненависть къ человѣческой мысли, при всей своей нелѣпости, была самою серьезною ненавистью въ исторіи народныхъ движеній. Бокль испыталъ это на себѣ. Онъ написалъ и издалъ свою книгу не въ Японіи, не въ папскомъ Римѣ, а въ Англіи, гдѣ терпимость идеи изъ мертваго текста закона перешла въ самую жизнь, и, между тѣмъ, англійская критика давно такъ безсовѣстно не относилась къ автору, какъ она отнеслась къ Боклю. Пишущій эти строки жилъ въ Лондонѣ въ то время, когда первый томъ „Исторіи цивилизаціи въ Англіи" появился съ типографскаго станка. Какъ иностранецъ, отрѣзанный отъ живого общества, и не находя для себя лучшаго удовольствія, какъ прочитать умную книгу, я поспѣшилъ пріобрѣсти ее и съ необыкновеннымъ наслажденіемъ пробѣжалъ въ нѣсколько вечеровъ. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой книгой, было до такой степени полно, такъ хорошо шевельнуло мозгъ, что я рѣшился провѣрить себя новымъ чтеніемъ; перечитавъ во второй разъ, я разочаровался во многихъ подробностяхъ, но главной идеѣ еще больше сталъ сочувствовать. Затѣмъ, мнѣ было интересно знать, что́ скажетъ объ этомъ сочиненіи англійская журналистика, отъ вниманія которой не ускользаютъ ни травля собакъ, ни кулачный бой какихъ-нибудь двухъ здоровыхъ дураковъ; но журналы молчали, какъ

будто произведеніе Бокля не сдѣлало ни малѣйшаго слѣда въ текущей литературѣ, не вызвало ни одну голову на серьезное размышленіе. Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ, и если бы иностранная критика не указала на замѣчательныя стороны книги Бокля, то въ Англіи могли убить ее полнѣйшимъ равнодушіемъ, какого нельзя ожидать даже въ отношеніи дюжиннаго издѣлія. Но прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ, и равнодушіе обратилось въ самыя наглыя нападенія на Бокля. Его стали обвинять въ оскорбленіи патріотическаго чувства, какъ будто и этому британскому козлу онъ долженъ былъ принести жертву изъ своихъ убѣжденій; его заподозрили въ намѣренномъ искаженіи фактовъ и даже въ какомъ-то атеизмѣ, за который въ XVI вѣкѣ тѣ-же клерикальные ханжи преспокойно свели бы его на костеръ. Словомъ, историкъ, поставившій себя внѣ всякой партіи, желавшій откровенно и честно высказать свое мнѣніе, возстановилъ противъ себя всѣ партіи. Однимъ не понравился его трезвый взглядъ на преданія и на ту незавидную роль, какую играло сословіе лордовъ въ историческомъ развитіи страны: другіе обидѣлись тѣмъ, что онъ представилъ Шотландію довольно тупоумною націей въ дѣлѣ религіозной вѣротерпимости и сравнилъ ее въ этомъ отношеніи съ Испаніей; наконецъ, третьи готовы были призвать его къ суду за то, что онъ упрекнулъ англиканскую церковь въ лицемѣріи и въ систематическомъ противодѣйствіи народному прогрессу. За капитальными обвиненіями явились мелкія придирки, и всякое насѣкомое, заползающее въ темную щель отъ свѣжаго воздуха и дневного свѣта, считало въ правѣ показаться наружу и укусить Бокля.

Во всемъ этомъ, впрочемъ, нѣтъ ничего удивительнаго. Новая мысль, въ какой бы формѣ ее ни выражали, никогда не доставалась легко человѣчеству; но только враги ея ошибались насчетъ своего истиннаго характера, когда рѣшались преслѣдовать ее: на самомъ дѣлѣ они были не врагами, а самыми полезными друзьями ея...

Можно ли считать Бокля историкомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы, обыкновенно, привыкли понимать лучшихъ представителей этой науки? Можно-ли сравнить его и поставить рядомъ съ такимъ умнымъ разскащикомъ, какъ Шлоссеръ, или съ такимъ художникомъ, какъ Маколэ? Лучшій отвѣтъ на эти вопросы даетъ намъ самъ авторъ „Исторіи англійской цивилизаціи“:

„Во всѣхъ другихъ великихъ отрасляхъ изслѣдованія, говоритъ онъ, — необходимость обобщенія допускается всѣми и дѣлаются благородныя усилія возвыситься надъ частными фактами съ цѣлію открыть законы, которыми факты эти управляются. Но историки такъ далеки отъ усвоенія себѣ этого воззрѣнія, что между ними преобладаетъ странное понятіе, будто ихъ дѣло только разсказывать факты, по временамъ оживляя

ихъ такими политическими и нравственными разсужденіями, какія имъ кажутся наиболѣе полезными. Но такой теоріи любому писателю, который по лѣности мысли или по врожденной неспособности, не въ силахъ совладать съ высшими отраслями знанія, стóитъ только употребить нѣсколько лѣтъ на прочтеніе извѣстнаго числа книгъ, и онъ сдѣлается историкомъ, и онъ въ состояніи будетъ написать исторію великаго народа, и сочиненіе его примется за авторитетъ по тому предмету, на изложеніе котораго оно будетъ имѣть притязаніе".

Изъ этого видно, что Бокль требуетъ отъ историка не одной болѣе или менѣе удачной группировки фактовъ, не картинной галлереи портретовъ или біографическихъ очерковъ, не художественной обстановки въ изображеніи минувшихъ событій, а философскаго синтеза, т. е. изученія тѣхъ общихъ законовъ, по которымъ совершалось развитіе отдѣльныхъ явленій человѣческой жизни. Съ точки зрѣнія Бокля, главная задача исторіи — не въ томъ, чтобы *разсказать*, какъ жилъ и дѣйствовалъ тотъ или другой народъ, какіе были его подвиги и ошибки, его добродѣтели и преступленія, а въ томъ, чтобы найдти внутреннюю связь всѣхъ этихъ явленій и осмыслить ихъ однимъ общимъ воззрѣніемъ. Такая попытка внести философскій синтезъ въ исторію — вовсе не новая; мы встрѣчаемъ ее у древнеклассическихъ историковъ, какъ, напр., у Фукидида и Тацита; мы находимъ ее у итальянскаго историка Вико, который сообщилъ этому методу самое точное значеніе, выразивъ его въ видѣ сжатыхъ результатовъ, открытыхъ имъ въ изученіи общечеловѣческаго развитія. Послѣ Вико рядъ такихъ историковъ не прерывался въ новѣйшей Европѣ, и XVIII вѣкъ даетъ намъ не мало образцовъ исторіи, обращенной въ философскую пропаганду. Слѣдовательно, относительно способа воззрѣнія на исторію, Бокль не представляетъ намъ ничего новаго и только продолжаетъ ту работу, которую давно начали его предшественники. Но на этомъ и оканчивается его сходство съ прошлыми и настоящими представителями этой науки.

Нельзя не согласиться съ мнѣніемъ Бокля, что доселѣ исторія въ рукахъ метафизической и художественной школы была пустой болтовней, не имѣющей ни серьезной цѣли, ни жизненнаго содержанія. Главная ошибка этихъ школъ состояла въ томъ, что онѣ отдѣляли человѣка отъ общаго состава природы и разсматривали государственную жизнь народовъ независимо отъ тѣхъ естественныхъ явленій, которыя имѣли неотразимое вліяніе на складъ ея. Поэтому, въ оцѣнкѣ событій и характеровъ, въ разграниченіи эпохи и періодовъ, въ отысканіи связи между міровыми переворотами и разрозненными усиліями человѣческаго ума, у этихъ историковъ являлись произвольныя теоріи и самыя странныя натяжки. У однихъ все дѣлалось подъ вліяніемъ таинственныхъ силъ, управлявшихъ судьбами человѣчества — подобно тѣмъ замаскированнымъ проволокамъ, которыми фокусникъ приводитъ въ движеніе маріонетки; у

другихъ, менѣе щедрыхъ на свои собственныя выдумки, тѣ же самыя явленія облекались въ форму болѣе или менѣе правдоподобной легенды и разсказывались для удовлетворенія празднаго любопытства читателей. Въ послѣднемъ выводѣ обѣ школы приходили къ отчаянному фатализму, гдѣ все оправдывалось самымъ безсмысленнымъ словомъ на человѣческомъ языкѣ — *случаемъ*. Вотъ отчего, между прочимъ, у этихъ разсказчиковъ отдѣльныя личности выростали подъ перомъ ихъ до чудовищныхъ размѣровъ, — до всемірныхъ героевъ, богатырей и преобразователей; вмѣсто общаго хода происшествій, слагавшихся изъ цѣлаго ряда причинъ и послѣдствій, у нихъ дѣйствовала единичная воля, творившая все по своему усмотрѣнію и незнавшая границъ своимъ силамъ. Нужно ли было помѣтить великую религіозную реформу, въ воображеніи историка возникалъ какой-нибудь чудесный образъ, въ родѣ Будды или Зороастра; нужно ли было объяснить политическое движеніе народа, виновникомъ его придумывался какой-нибудь необыкновенный человѣкъ, ворочавшій людьми и государствами, какъ ураганъ вертитъ пескомъ и пылью. Все это было очень заманчиво для плохо-развитой фантазіи досужихъ слушателей, но во всемъ этомъ было очень мало правды. Гораздо логичнѣе и несравненно интереснѣе такихъ историковъ оказывались романисты и поэты; они пользовались тѣми же матеріалами, рисовали ту же мертвую жизнь, раскапывали тѣ же забытыя могилы и воспроизводили тѣхъ же людей, но стремились не къ исторической истинѣ, а хотѣли дѣйствовать на воображеніе читателей чисто-художественной обстановкой; и ужь конечно достигали своей цѣли съ бо́льшимъ успѣхомъ, чѣмъ средневѣковые лѣтописцы. Признаемся, что такія произведенія, какъ „Козьма Мининъ“ г. Островскаго и „Князь Серебряный“ графа Толстого имѣютъ для меня больше значенія, чѣмъ историческія характеристики Кайданова или Смарагдова. И „Козьма Мининъ“ и „Князь Серебряный“, по художественному достоинству своему, — чисто-суздальской работы, во всей красѣ нашей родной вохры и московскаго рисунка, но все же они лучше того, что̀, напримѣръ, предлагаютъ намъ, подъ названіемъ исторіи гг. Устряловы и Шульгины. „Но вѣдь читаются, скажутъ намъ, и тѣ и другіе, и читаются охотно“. Совершенно справедливо; но у насъ читаются и „Приключенія англійскаго милорда Георга“, да еще какъ читаются! Изъ этого, однакожъ, ровно ничего не слѣдуетъ для порядочной литературной критики... Такимъ образомъ, исторія, отъ которой требуютъ самой положительной точности и вѣрнаго отраженія минувшей жизни, никогда не удовлетворяла этимъ требованіямъ. Какъ наука, она не имѣетъ тѣхъ качествъ, какія свойственны точному знанію; какъ вымыселъ, она позволяетъ себѣ произвольно искажать факты и обезображивать физіономію эпохъ и народовъ. Переходя изъ одной крайности въ другую, она дѣлалась у метафизиковъ сплетеніемъ ихъ собственныхъ идей, по которымъ они выкраивали историческія событія; у художни-

ковъ и возтовъ она обращалась въ каррикатуру отжившихъ лицъ и характеровъ.

Противъ этого-то произвола вооружается Бокль, желая съ одной стороны возвратить исторіи ея настоящія права, а съ другой раздвинуть ея кругозоръ и найдти ей опору во всѣхъ отрасляхъ современнаго знанія. Для этого онъ разсматриваетъ человѣка не отдѣльно отъ окружающей его природы, не возноситъ его въ заоблачную высоту, подобно нашимъ дряхлымъ моралистамъ, и не унижаетъ его до маріонетки фокусника, какъ это дѣлаютъ поборники предопредѣленія и случая.

„Такъ какъ исторія занимается дѣйствіями людей, замѣчаетъ Бокль—а дѣйствія эти ничто иное, какъ результатъ столкновенія между явленіями внѣшняго и внутренняго міра, то необходимо взвѣсить относительную важность этихъ явленій, узнать, до какой степени извѣстны ихъ законы и удостовѣриться, какими вспомогательными средствами, для будущихъ открытій, обладаютъ два главные класса ученыхъ: изслѣдователи человѣческаго духа и изслѣдователи природы".

Нѣтъ сомнѣнія, что задача, избранная Боклемъ, не легка, и надо признаться, что онъ нерѣдко самъ падаетъ подъ тяжестью своего собственнаго труда. Можетъ быть, черезъ сто или двѣсти лѣтъ человѣческій умъ найдетъ возможность съ успѣхомъ разрѣшить эту задачу, но теперь она, рѣшительно, превышаетъ силы самаго геніальнаго человѣка. Чтобы опредѣлить наши отношенія къ природѣ и степень ея вліянія на наши дѣйствія, на организацію общественныхъ учрежденій, чтобы указать ту роль, какую занимаетъ человѣкъ среди другихъ физическихъ силъ— это значитъ обнять однимъ взглядомъ все, что́ открыто наукой доселѣ и что́ она откроетъ впослѣдствіи. Конечно, Бокль далеко не исчерпываетъ своего предмета, на многихъ пунктахъ оказывается слабымъ, не довѣряющимъ самому себѣ и часто сбивается на тотъ же ложный путь, по которому шли прежніе историки, но самая попытка его заслуживаетъ полной похвалы; она даетъ руководящую нить, съ которой преемники его могутъ смѣло идти по указанной имъ дорогѣ и со временемъ оказать дѣйствительныя услуги не только исторіи, но и другимъ человѣческимъ знаніямъ,

Изъ двухъ томовъ „Исторіи англійской цивилизаціи", на которыхъ прервано сочиненіе Бокля, первый томъ имѣетъ особенную важность, а потому я остановлю на немъ главное вниманіе.

Въ этомъ томѣ проводится параллель между физическими и нравственными законами, подъ вліяніемъ которыхъ складывается общественная жизнь и характеръ отдѣльныхъ лицъ. Разбирая первый разрядъ законовъ, Бокль старается подробно выслѣдить, какими явленіями сопровождается каждый изъ нихъ въ развитіи народной жизни; какія черты кладетъ природа, при извѣстныхъ условіяхъ, на каждое общество и къ чему она приводитъ его своимъ могущественнымъ вліяніемъ. Изъ фи-

зическихъ дѣятелей историкъ выбираетъ четыре главныя силы: *климатъ*, *пищу*, *почву* и *общій видъ природы*. Три первыя силы онъ соединяетъ въ одну общую категорію и разсматриваетъ въ послѣднемъ ихъ примѣненіи — въ накопленіи богатства.

„Хотя успѣхи знанія, говоритъ Бокль, — и содѣйствуютъ притоку богатства, но достовѣрно и то, что при самомъ зарожденіи общества, сперва должно накопиться богатство, а потомъ уже можетъ быть положено начало знанію. До тѣхъ поръ, пока человѣкъ озабоченъ снискиваніемъ того, что́ необходимо для его существованія, не можетъ быть ни охоты, ни времени заниматься болѣе возвышенными предметами, не можетъ быть создана никакая наука, а возможна только развѣ попытка сберечь трудъ примѣненіемъ къ нему тѣхъ грубыхъ и несовершенныхъ орудій, какія въ состояніи изобрѣсть и самый невѣжественный народъ".

Такимъ образомъ, матеріальное обезпеченіе народа, на первой ступени его общественной дѣятельности, составляетъ первый шагъ къ его умственному образованію. Въ накопленіи же богатствъ, по мнѣнію Бокля, дѣйствуютъ чисто-мѣстныя условія страны — жаркій или холодный климатъ, скудная или плодородная почва; но эти условія не играютъ главной роли, и рано или поздно должны уступить труду и энергіи общества. Эти послѣдніе дѣятели со временемъ становятся преобладающими двигателями народнаго благосостоянія. На какомъ бы пунктѣ земнаго шара, при какихъ бы естественныхъ условіяхъ человѣкъ ни началъ дѣйствовать, вездѣ и всегда ему суждено бороться съ окружающими его препятствіями; каждый вершокъ земли, которая его питаетъ и одѣваетъ, онъ долженъ брать съ бою, всякое новое удобство, пріобрѣтаемое имъ, требуетъ отъ него огромныхъ усилій; одну силу за другой онъ вырываетъ изъ рукъ природы, обращая враждебныя ихъ дѣйствія на пользу себѣ. Само собою разумѣется, что единственнымъ средствомъ для одержанія этихъ побѣдъ служитъ человѣку его *умъ*. Чѣмъ невѣжественнѣе и суевѣрнѣе народъ, тѣмъ онъ больше страдаетъ отъ тѣхъ же физическихъ законовъ, которые для образованной націи дѣлаются благодѣтельными средствами жизни. Тѣ же самые разливы рѣкъ, которые теперь на югѣ Америки покрываютъ поля и долины такимъ обильнымъ плодородіемъ, для дикихъ населеній были самыми разрушительными силами, которыя они не умѣли обратить себѣ на добро. Почти съ математическою точностью можно вычислить, что общества грубыя и варварскія вдвое больше теряютъ времени и труда и вдвое меньше имѣютъ вознагражденія за этотъ трудъ по сравненію съ народами, вышедшими изъ дикаго состоянія. Приписывая борьбѣ человѣка съ природой очень важное значеніе, Бокль впадаетъ въ крайность или, лучше сказать, въ противорѣчіе, котораго всего менѣе можно было бы ожидать отъ его строгой логики. Онъ допускаетъ, что силы человѣка неограниченны. „У насъ нѣтъ никакихъ данныхъ, говоритъ онъ, для назначенія даже гада-

тельнаго предѣла, на которомъ умъ человѣческій долженъ былъ бы остановиться". Слѣдовательно, побѣды человѣка надъ природой могутъ простираться такъ далеко, какъ только можетъ вообразить самая смѣлая фантазія; иначе говоря, поле нашей дѣятельности такъ обширно, что въ настоящую эпоху человѣчество, вѣроятно, не предвидитъ и сотой доли тѣхъ открытій и изобрѣтеній, которыя предстоитъ ему совершить. Въ этомъ мы безусловно согласны съ Боклемъ. Но отводя такія широкія границы силамъ человѣка, онъ въ то же время осуждаетъ ихъ на роковую неподвижность, на страшную смерть подъ тѣми географическими мѣстностями, гдѣ борьба людей съ природой оказывается безплодной и подавляется вліяніемъ внѣшняго міра. Такъ онъ вообще думаетъ о народахъ восточныхъ. Всѣ древнія цивилизаціи, по его мнѣнію, не могли совладать съ физическими препятствіями и потому пали. „Насколько мы можемъ судить по опыту прошедшихъ временъ, продолжаетъ Бокль, можно сказать, что во всѣхъ не европейскихъ цивилизаціяхъ физическія преграды къ развитію оказались непреодолимыми, и что, дѣйствительно, ни одинъ народъ еще не преодолѣлъ ихъ". Но какъ-же согласить первое мнѣніе Бокля со вторымъ? Какимъ образомъ ничѣмъ неограниченная сила человѣческаго ума, живая и постоянно развивающаяся, могла подчиниться мертвымъ стихіямъ внѣшней природы и, не выдержавъ ихъ давленія, навсегда погибнуть? И почему лучшая изъ европейскихъ цивилизацій, древне-греческая, распустившаяся при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ роскошной и пластической мѣстности, также быстро исчезла, какъ цивилизація Персіи или Египта? Положимъ, что на востокѣ плодоносныя почвы, слишкомъ щедрыя своими произведеніями, не возбудили въ человѣкѣ достаточно энергіи [1]), а потрясающіе естественные фено-

---

[1]) Чтобы передать читателю взглядъ Бокля во всей его подробности, мы приводимъ его здѣсь буквально: „Вознагражденіе за трудъ опредѣляется плодородіемъ почвы, самое же плодородіе почвы зависитъ частью отъ примѣси въ ней извѣстныхъ химическихъ составныхъ частей, частью отъ степени орошенія ея рѣками или другими естественными средствами, частью, наконецъ, отъ теплоты и влажности атмосферы.

Съ другой стороны, энергія и правильность въ самомъ трудѣ совершенно зависятъ отъ вліянія климата. Вліяніе это проявляется двумя различными путями. Во первыхъ, что́ составляетъ весьма важное обстоятельство, въ сильные жары люди бываютъ нерасположены и до извѣстной степени неспособны къ тѣмъ дѣятельнымъ занятіямъ, которымъ, въ болѣе умѣренномъ климатѣ, они предавались бы съ охотою. Другое-же обстоятельство, менѣе обращавшее на себя вниманіе, но одинаково важное, заключается въ томъ, что климатъ дѣйствуетъ на трудъ не тѣмъ только, что разслабляетъ или укрѣпляетъ трудящагося, но вліяніемъ своимъ на правильность образа жизни этого послѣдняго. Такъ мы находимъ, что ни одинъ народъ, живущій на слишкомъ большой сѣверной широтѣ, никогда не имѣлъ того постояннаго, неослабнаго трудолюбія, которымъ отличаются жители умѣренныхъ поясовъ. Причина этого становится очевидна, когда мы припомнимъ, что въ болѣе сѣверныхъ странахъ суровость погоды, а въ извѣстныя времена года и отсутствіе свѣта, дѣлаетъ невозможнымъ для людей продолжать ихъ обычныя занятія внѣ домовъ. Это имѣетъ то послѣдствіе, что рабочіе классы, вынуждаемые, та-

мены — въ родѣ землетрясеній, вулканическихъ ударовъ и т. п., оковывали младенческій разсудокъ, и потому народонаселенія тропическихъ странъ, уставъ въ безсильной борьбѣ съ природой, замерли среди глу-

---

кимъ образомъ, пріостанавливать свои обычныя занятія, дѣлаются склоннѣе къ неправильному образу жизни; цѣпь ихъ дѣятельности какъ бы разрывается и они теряютъ ту скорость, которая неизбѣжно пріобрѣтается продолжительнымъ, непрерывнымъ упражненіемъ. Вотъ почему въ характерѣ такого народа, замѣчается болѣе причудливости и своенравія, чѣмъ въ характерѣ народа, которому климатъ дозволяетъ правильное отправленіе обычныхъ занятій. И въ самомъ дѣлѣ, законъ этотъ такъ силенъ, что мы можемъ различать дѣйствіе его при самыхъ противоположныхъ обстоятельствахъ. Трудно представить себѣ большее различіе въ правленіи, законахъ, религіи и обычаяхъ, какъ существующее между Швеціею и Норвегіею — съ одной стороны, и Испаніею и Португаліею — съ другой. Между тѣмъ, эти четыре страны имѣютъ одно важное общее свойство. Во всѣхъ одинаково невозможна непрерывная земледѣльческая дѣятельность. Въ двухъ южныхъ странахъ работы прерываются жаромъ, сухостью погоды и происходящимъ оттого состояніемъ почвы; въ двухъ-же сѣверныхъ то-же дѣйствіе производитъ суровость зимы и короткость дней. Вотъ почему эти четыре націи, при всемъ несходствѣ ихъ въ другихъ отношеніяхъ, одинаково отличаются слабостью и непостоянствомъ характера, представляя, въ этомъ отношеніи, разительную противоположность съ болѣе постояннымъ и правильнымъ образомъ жизни, преобладающимъ въ странахъ, гдѣ климатъ не такъ часто заставляетъ рабочіе классы прерывать ихъ занятія и налагаетъ на нихъ въ то же время необходимость болѣе постоянной, неослабной дѣятельности.

Вотъ главныя физическія причины, отъ которыхъ зависитъ производство богатства. Бываютъ, безъ сомнѣнія, и другія обстоятельства, дѣйствующія съ значительною силою и имѣющія, при болѣе развитомъ состояніи общества, такое-же, а иногда и большее вліяніе, но это случается уже позднѣе. Разсматривая-же исторію богатства на его первыхъ ступеняхъ, мы находимъ совершенную зависимость его отъ почвы и климата: почвою обусловливается вознагражденіе, получаемое за данный итогъ труда, а климатомъ — энергія и постоянство самаго труда. Достаточно бросить бѣглый взглядъ на прошедшее, чтобы убѣдиться въ огромной важности этихъ двухъ физическихъ условій. Нѣтъ примѣра въ исторіи, чтобы какая нибудь страна цивилизовалась своими собственными средствами, безъ особенно благопріятнаго развитія въ ней одного изъ этихъ условій. Въ Азіи цивилизація всегда ограничивалась тѣмъ обширнымъ пространствомъ, гдѣ плодородная наносная почва обезпечивала человѣку ту ступень богатства, безъ которой не можетъ начаться умственное развитіе. Эта большая полоса земли простирается, съ немногими перерывами, отъ восточной части южнаго Китая до западныхъ береговъ Малой Азіи, Финикіи и Палестины. Къ сѣверу отъ этого огромнаго пояса тянется длинный рядъ безплодныхъ пространствъ, на которыхъ постоянно селились дикія, кочующія племена, всегда остававшіяся въ бѣдности, вслѣдствіе безплодія почвы, и не выходившія изъ своего нецивилизованнаго состоянія во все время пребыванія въ этихъ мѣстностяхъ. До какой степени это зависѣло отъ причинъ физическихъ, видно изъ того факта, что тѣ же самыя монгольскія и татарскія орды основывали, въ разныя времена, великія монархіи въ Китаѣ, Индіи и Персіи и, во всѣхъ этихъ случаяхъ, достигали цивилизаціи, нисколько не уступавшей цивилизаціи самыхъ цвѣтущихъ изъ древнихъ государствъ. Въ плодородныхъ долинахъ южной Азіи природа доставляла всѣ матеріалы богатства, и тамъ-то варварскія племена впервые дошли до извѣстной степени образованности, создали національную литературу и установили національный образъ правленія, чего не могли сдѣлать на родинѣ. Точно также арабы, въ своей странѣ, благодаря сухости ея почвы, всегда оставались глупымъ и необразованнымъ народомъ; въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, невѣжество было плодомъ крайней бѣдности. Но въ VII столѣтіи

бокаго застоя; но въ древней Греціи другія обстоятельства сопровождали развитіе человѣка: тамъ все подстрекало его къ дѣятельности — и море, и земля, правда, богатая, но требовавшая хорошаго воздѣлыванія; тамъ не

они завоевали Персію, въ VIII — лучшую часть Испаніи, въ IX — Пенджабъ и, наконецъ, почти всю Индію. Едва утверждались они въ своихъ новыхъ осѣдлостяхъ, какъ въ характерѣ ихъ видимо происходила большая перемѣна. Они, которые, на своей родинѣ были чуть-чуть не бродячими дикарями, теперь впервые получали возможность накоплять богатство и потому впервые начинали дѣлать нѣкоторые успѣхи въ искусствахъ, свойственныхъ цивилизаціи. Въ Аравіи они были просто племенемъ кочующихъ пастуховъ, въ новыхъ же осѣдлостяхъ своихъ дѣлались основателями могущественныхъ монархій, строили города, поддерживали школы, составляли библіотеки; слѣды ихъ могущества и теперь еще видны въ Кордовѣ, Багдадѣ и Дели. Точно такой же примѣръ представляетъ прилегающая съ сѣвера къ Аравіи и отдѣляемая отъ нея только узкимъ воднымъ пространствомъ Чермнаго Моря огромная песчаная равнина, которая, покрывая всю Африку, на одной широтѣ, простирается къ западу до самыхъ береговъ Атлантическаго Океана. Это громадное пространство есть, также какъ и Аравія, безплодная пустыня, поэтому и его жители, такъ-же какъ и жители Аравіи, не были цивилизованы и не пріобрѣтали познаній, единственно потому, что не накопляли богатствъ. Но эта обширная пустыня, въ восточной части своей, орошается водами Нила, разлитіе котораго оставляетъ на пескѣ богатый наносный слой земли, дающей самое щедрое, можно сказать, изумительное вознагражденіе за трудъ. Вотъ почему въ мѣстности этой скоро накоплялось богатство, за нимъ быстро слѣдовало пріобрѣтеніе знаній, и эта узкая полоса земли сдѣлалась средоточіемъ египетской цивилизаціи, цивилизаціи, которая, даже за отнесеніемъ многаго на долю преувеличеній, все-таки представляетъ разительную противоположность съ варварствомъ другихъ народовъ Африки, такъ какъ изъ нихъ ни одинъ не могъ самъ выработать своего развитія или выйдти до нѣкоторой степени изъ невѣжества, на которое обрекала его бѣдность природы.

Эти соображенія ясно доказываютъ, что изъ двухъ коренныхъ причинъ цивилизаціи самое большое вліяніе, въ древнемъ мірѣ, имѣло плодородіе почвы. Въ европейской-же цивилизаціи наибольшую силу дѣйствія обнаружила другая важная причина, а именно климатъ; и этотъ послѣдній имѣетъ, какъ мы видѣли, вліяніе частью на способность работника къ работѣ, частью-же на правильность его образа жизни. Различіе дѣйствія замѣчательно соотвѣтствовало различію причинъ. Хотя всякой цивилизаціи должно предшествовать накопленіе богатствъ, но дальнѣйшія послѣдствія накопленія не въ малой мѣрѣ зависятъ отъ условій, при которыхъ оно происходило. Въ Азіи и Африкѣ условіе состоялъ плодородная почва, дававшая щедрое вознагражденіе за трудъ; въ Европѣ — это былъ климатъ, благопріятствовавшій болѣе успѣшному труду. Въ первомъ случаѣ, результатъ зависитъ отъ отношенія между почвою и ея продуктомъ, — другими словами, — отъ простого дѣйствія одной части внѣшней природы на другую. Въ послѣднемъ-же случаѣ, онъ зависитъ отъ отношенія между климатомъ и работникомъ, т. е. отъ дѣйствія внѣшней природы не на самое себя, а на человѣка. Изъ этихъ двухъ родовъ отношеній, первый, какъ менѣе сложный, менѣе подверженъ нарушенію и потому ранѣе возъимѣлъ дѣйствіе. Отсюда произошло, что на пути цивилизаціи первые шаги неоспоримо принадлежатъ самымъ плодороднымъ странамъ Азіи и Африки. Но несмотря на то, что цивилизація этихъ странъ была самою раннею, она далеко не была самою лучшею, ни самою прочною. Въ силу обстоятельствъ, которыя я вскорѣ объясню, единственный, вполнѣ дѣятельный прогрессъ зависитъ не отъ благости природы, а отъ энергіи человѣка. Вотъ почему европейская цивилизація, которая, на своихъ первыхъ ступеняхъ, находилась въ зависимости отъ климата, обнаружила способность къ развитію, неслыханную въ цивилизаціяхъ, возникшихъ подъ вліяніемъ почвы.

было ни грознаго вида природы, ни сильныхъ геологическихъ переворотовъ, которые бы могли запугать эллина и потрясти его мозговые нервы, и за всѣмъ тѣмъ нація безвозвратно погибла. Точно такую же параллель можно провести между другими народами и неопровержимо доказать, что на одной и той же мѣстности, и нерѣдко у одно и того же племени были различныя цивилизаціи, въ одно время цвѣтущія, въ другое — самыя жалкія: исторія представляетъ намъ множество такихъ примѣровъ. Гдѣ находились древняя Финикія и Карфагенъ, на тѣхъ же самыхъ берегахъ, теперь прозябаютъ бѣдныя и угнетенныя племена. Почва и климатъ греческаго полуострова какъ были прежде, такъ остаются и теперь, или измѣнились очень мало, а между тѣмъ какая пропасть различія отдѣляетъ современника Перикла отъ нынѣшняго фанаріота и раба Турціи! Послѣ этого очевидно, что дальнѣйшіе выводы Бокля, построенные на его шаткой теоріи, также не выдержатъ критики; а шаткость его теоріи зависитъ оттого, что онъ не взглянулъ посерьезнѣе на соціальныя отношенія человѣка, или поставилъ ихъ на второмъ планѣ, тогда какъ они-то и разрѣшаютъ историческія судьбы народовъ.

Но намъ могутъ возразить, что авторъ „Исторіи цивилизаціи въ Англіи" разсматриваетъ общества въ первоначальную эпоху ихъ существованія, и только на такія общества допускаетъ всемогущее вліяніе природы. Согласимся, что это такъ; но во первыхъ, почему-же онъ подвелъ подъ общій итогъ своего принципа всѣ древнія цивилизаціи востока и, несмотря на молодость или старческое одряхленіе народовъ, произнесъ надъ ними одинъ неумолимый приговоръ смерти? Во вторыхъ, какъ бы ни была молода общественная организація, соціальный характеръ ея дѣлается гораздо важнѣе всякихъ внѣшнихъ вліяній. Человѣкъ, вступившій въ близкія и неизбѣжныя отношенія съ другими подобными ему людьми, постоянно подчиняется власти ихъ; его повседневные интересы, его дѣятельность и стремленія, вся его жизнь ежеминутно приходитъ въ столкновеніе съ тѣми общественными условіями, которыя онъ создалъ себѣ. Въ отношеніи къ природѣ, гдѣ все дѣйствуетъ съ изумительною правильностью и постоянствомъ, онъ можетъ принять болѣе или менѣе вѣрныя средства для защиты себя; отъ поступковъ его здѣсь не требуется ни особенной дальновидности, ни напряженнаго вниманія, а въ отношеніи къ обществу, съ которымъ связано его существованіе, онъ долженъ употреблять всевозможныя мѣры, чтобы оградить себя отъ насилія и эксплуатаціи, отъ обмана и лицемѣрія; здѣсь ему приходится бороться съ такими-же существами, какъ онъ самъ, надѣленными умомъ и способными видоизмѣнить свою житейскую тактику на тысячи разныхъ ладовъ. И если общественныя отношенія сложились дурно, искажены тѣми или другими историческими обстоятельствами, освободиться отъ нихъ гораздо труднѣе, чѣмъ отъ самой заразительной болѣзни, приносимой зловреднымъ воздухомъ и гніющими болотами. Но почему соціальное положеніе

[illegible] — [illegible]

[illegible] Бокль [illegible]

[illegible] Мальтуса и Рикардо — теоріи [illegible]

[illegible] не въ экономическихъ соображеніяхъ Бокля, а въ [illegible], къ которому онъ приходитъ. И такъ, заработная плата, по [illegible], зависитъ отъ движенія народонаселенія: чѣмъ оно сильнѣе увеличивается, тѣмъ рынокъ труда дѣлается полнѣе, и [illegible] число рабочихъ рукъ превышаетъ запросъ на нихъ; предприниматель и капиталистъ, какъ представители ренты, стараются понизить заработную плату, и дѣйствительно понижаютъ ее пропорціонально приливу нуждающихся въ трудѣ. Но возрастаніе народонаселенія, въ свою очередь, зависитъ отъ изобилія и дешевизны пищи, потребляемой массами: чѣмъ ея больше и чѣмъ легче она пріобрѣтается, тѣмъ люди размножаются скорѣе, — и въ самомъ дѣлѣ обиліе матеріальныхъ средствъ имѣетъ непосредственное вліяніе на возвышеніе цифры браковъ и рожденій, не говоря уже о томъ, что улучшеніе самой породы въ физическомъ отношеніи также зависитъ отъ гигіеническихъ условій общества и въ особенности отъ годности тѣхъ продуктовъ, которыми оно питается. Такимъ образомъ, пища является однимъ изъ главныхъ дѣятелей народнаго застоя или развитія. Вліяніе ея на организмъ человѣка выражается въ двухъ существенныхъ проявленіяхъ: она снабжаетъ его той животной теплотой, которая необходима для поддержанія жизненнаго процесса и восполняетъ постоянную убыль въ тканяхъ нашего тѣла.

„Для каждой изъ этихъ двухъ цѣлей, продолжаетъ Бокль,—служитъ

особая пища. Температура нашего тѣла поддерживается веществами, которыя не заключаютъ въ себѣ азота и называются безазотными; безпрестанная же убыль въ нашемъ организмѣ восполняется веществами, извѣстными подъ именемъ азотистыхъ. Въ первомъ случаѣ углеродъ безазотистой пищи, соединяясь съ вдыхаемымъ нами кислородомъ, производитъ то внутреннее сгараніе, отъ котораго возобновляется наша животная теплота. Во второмъ же случаѣ азотная пища, вслѣдствіе малаго сродства азота съ кислородомъ, будучи предохранена отъ сгаранія, сохраняется и даетъ возможность удовлетворять своему назначенію, т. е. возстановлять ткани и восполнять потери, которымъ подвергается наше тѣло въ ежедневной жизни. Вотъ два главные разряда пищи, и если мы изслѣдуемъ законы, которыми опредѣляется ихъ отношеніе къ человѣку, то найдемъ, что въ обоихъ разрядахъ главнѣйшимъ дѣятелемъ является климатъ. Когда люди живутъ въ жаркой странѣ, то ихъ животная теплота поддерживается легче, чѣмъ поддерживалась бы въ холодной странѣ; поэтому они требуютъ менѣе безазотной пищи, единственное назначеніе которой — поддерживать до извѣстной степени температуру тѣла. Точно также жители жаркихъ странъ требуютъ менѣе азотистой пищи, потому что тѣло ихъ вообще подвергается рѣже напряженіямъ, и потому убыль въ немъ тканей происходитъ медленнѣе. И такъ жители тропическихъ странъ, въ естественномъ, нормальномъ состояніи, потребляютъ менѣе пищи, чѣмъ жители странъ холодныхъ, а изъ этого неизбѣжно слѣдуетъ, что при равенствѣ другихъ условій приращеніе народонаселенія будетъ быстрѣе въ жаркихъ климатахъ, чѣмъ въ холодныхъ".

На основаніи этихъ соображеній Бокль приводитъ читателя къ тому общему заключенію, что распредѣленіе богатства связано съ законами народонаселенія, а самое народонаселеніе зависитъ отъ болѣе или менѣе достаточнаго запаса употребляемой пищи. Сверхъ того, самое свойство питательныхъ веществъ имѣетъ вліяніе на прибыль или убыль народа. По условіямъ климата и физіологическихъ данныхъ въ холодныхъ странахъ человѣкъ питается преимущественно животными веществами, какъ, напримѣръ, населеніе полярныхъ странъ въ большомъ количествѣ истребляетъ китовый жиръ и сало; напротивъ, обитатели тропическихъ мѣстностей питаются преимущественно растительными продуктами, — плодами, рисомъ и другими подобными произведеніями земли. Но животная пища достается человѣку труднѣе, и потому она дороже, а между тѣмъ ея требуется много вслѣдствіе большой потери теплоты въ нашемъ организмѣ и сильной дѣятельности мускуловъ; напротивъ, растительная пища, добываемая, такъ сказать, даромъ, безъ особенныхъ усилій съ нашей стороны, потребляется въ меньшемъ количествѣ, а удовлетворяетъ потребностямъ гораздо большаго числа людей. Поэтому средній запасъ питательныхъ матеріаловъ въ жаркихъ странахъ дости-

гаетъ болѣе крупной цифры, чѣмъ въ странахъ холодныхъ. Слѣдовательно, прибыль народонаселенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и пониженіе задѣльной платы за трудъ, принадлежатъ въ обратной пропорціи тропическимъ климатамъ, а убыль народонаселенія и повышеніе задѣльной платы — полярнымъ. Послѣдній выводъ послѣ этого становится ясенъ; жители жаркихъ поясовъ, получая за свой трудъ меньшее вознагражденіе при меньшей энергіи самой дѣятельности, иначе говоря — распредѣляя свое богатство между членами общества неправильно, впадаютъ въ бѣдность, а бѣдность приводитъ къ рабству. Вотъ почему, между прочимъ, всѣ восточныя государства воздвигали свое картонное величіе на униженіи массъ и, лишивъ себя самой дѣятельной части народа для развитія своей истинной силы, скоро погибали. Къ такому результату приходитъ Бокль относительно всего востока. Мы перескажемъ здѣсь его собственными словами то бѣдственное состояніе, въ которое погрузилась древняя Индія.

„Отъ особенностей климата и пищи произошло въ Индіи то неравномѣрное распредѣленіе богатства, которое всегда должно оказаться въ странахъ, гдѣ рынокъ труда всегда бываетъ переполненъ. Просматривая самыя раннія изъ сохранившихся свѣдѣній объ Индіи — свѣдѣніямъ этимъ отъ двухъ до трехъ тысячъ лѣтъ, — мы находимъ слѣды порядка вещей, подобнаго существующему въ настоящее время; порядка, который, нѣтъ никакого сомнѣнія, всегда существовалъ, съ самаго того времени, какъ началось настоящее накопленіе богатства. Мы находимъ, что высшіе классы непомѣрно богаты, а низшіе жалко-бѣдны; что тѣ, чьимъ трудомъ производится богатство, получаютъ возможно меньшую долю его, остальная же часть поглощается паразитными классами, въ видѣ ренты или прибыли. А какъ богатство составляетъ послѣ ума самый постоянный источникъ силы, то понятно, что такое неравномѣрное распредѣленіе богатства сопровождалось столь же неравномѣрнымъ распредѣленіемъ общественнаго и политическаго вліянія. Неудивительно послѣ этого, что въ Индіи, съ самыхъ раннихъ временъ, къ какимъ восходятъ наши свѣдѣнія о ней, огромное большинство народа, угнетеннаго жесточайшею бѣдностью и перебивающееся, такъ сказать, со дня на день, всегда оставалось въ состояніи безсмысленной апатіи, изнемогая подъ бременемъ безпрерывныхъ несчастій, пресмыкаясь въ гнусной покорности передъ сильнымъ и проявляя способность только къ тому, чтобы или самимъ быть рабами, или служить на войнѣ орудіемъ порабощенія другихъ. Значительной части индійскаго народа присвоено названіе *судрей*. О членахъ этой касты встрѣчаются любопытныя мелкія постановленія въ туземныхъ законахъ. Если членъ этого презрѣннаго класса осмѣливался стать на то же мѣсто, которое занимали высшія лица, то онъ подвергался изгнанію изъ отечества или какому-нибудь мучительному и позорному наказанію; если онъ непочтительно выражался

о нихъ, то ему прижигали ротъ; если же дѣйствительно оскорблялъ ихъ, то разрѣзали языкъ; если онъ причинялъ безпокойство брамину, то его казнили смертью; если садился на одинъ коверъ съ браминомъ, то его изувѣчивали на всю жизнь; если движимый любознательностію, онъ прислушивался къ чтенію священныхъ книгъ, то ему вливали въ уши горячее масло; если же онъ заучивалъ ихъ наизусть, то его убивали. За всякое преступленіе, совершонное имъ, онъ подвергался болѣе строгому наказанію, чѣмъ высшія лица; если его убивали, то отвѣтственность за это была та же, что̀ и за убіеніе кошки, собаки или вороны. Если онъ выдавалъ дочь свою замужъ за брамина, то никакое наказаніе на этомъ свѣтѣ не считалось для него достаточнымъ; поэтому объявлялось, что браминъ долженъ идти въ адъ за то, что потерпѣлъ оскверненіе отъ женщины, стоявшей неизмѣримо ниже его. Даже было опредѣлено, чтобы самое имя работника выражало презрѣніе, — такъ, чтобы можно было прямо узнать, какое ему свойственно мѣсто. А на случай, еслибъ и этого оказалось недостаточно для поддержанія общественной подчиненности, изданъ былъ положительный законъ, воспрещавшій работнику накоплять богатство. Въ то же время другимъ постановленіемъ опредѣлялось, что судра, даже получивъ свободу отъ своего хозяина, на самомъ дѣлѣ продолжаетъ быть рабомъ, *ибо*, говоритъ законодатель, *кто можетъ вывести его изъ состоянія, свойственнаго его природѣ?*"

„И подлинно, кто бы могъ вывести его изъ этого состоянія? Я не представляю себѣ, гдѣ бы могла быть такая сила, которая нашла бы возможность совершить столь великое чудо. Въ Индіи рабство, низкое, вѣчное рабство было естественнымъ состояніемъ значительнаго большинства народа; на это состояніе онъ былъ обреченъ физическими законами, рѣшительно, не допускавшими сопротивленія. И, въ самомъ дѣлѣ, сила этихъ законовъ такъ непреодолима, что вездѣ, гдѣ только проявлялось ихъ дѣйствіе, они держали производительные классы въ постоянномъ подчиненіи. Нѣтъ примѣра въ исторіи, чтобы въ какой-нибудь тропической странѣ, при значительномъ накопленіи богатства, народъ избѣгнулъ такой участи; нѣтъ примѣра, чтобы вслѣдствіе жаркаго климата, не оказалось избытка пищи, и вслѣдствіе избытка пищи — неравномѣрнаго распредѣленія сперва богатства, а за нимъ общественнаго и политическаго вліянія. Въ націяхъ, подчиненныхъ этимъ условіямъ, народъ не считался ничѣмъ; онъ не имѣлъ никакого голоса въ государственномъ управленіи, никакого контроля надъ богатствомъ, плодомъ его же труда. Единственнымъ дѣломъ его было работать, единственною обязанностью — повиноваться. Вотъ гдѣ начало того расположенія къ тихой, раболѣпной покорности, которое, какъ мы знаемъ изъ исторіи, было всегда отличительною чертою такихъ народовъ. То — несомнѣнный фактъ, что лѣтописи этихъ народовъ не представляютъ намъ ни одной борьбы

сословій, ни одного народнаго переворота. Въ этихъ богатыхъ и плодородныхъ странахъ много было перемѣнъ, но всѣ онѣ начинались сверху, а не снизу, Демократическаго элемента въ нихъ, рѣшительно, недоставало. Было множество войнъ царей и династическихъ войнъ, были перевороты въ правительствѣ, перевороты во дворцѣ, перевороты на тронѣ, но ихъ вовсе не было въ народѣ... Только съ зарожденіемъ цивилизаціи въ Европѣ стали дѣйствовать другіе законы, а, слѣдовательно, оказались и другіе результаты. Въ Европѣ былъ сдѣланъ первый шагъ къ уравненію правъ, впервые обнаружилось стремленіе къ ограниченію той несоразмѣрности въ распредѣленіи богатства и вліянія, которыя составляли существенно слабую сторону величайшихъ изъ древнихъ государствъ".

Изъ приведеннаго выше очерка Бокля ясно видно, что убійственный законъ Мальтуса, обрекающій человѣчество на самосъѣденіе, и принятый историкомъ для объясненія его теоріи, діаметрально противорѣчитъ мнѣнію самого же Бокля — о неограниченномъ развитіи человѣческихъ силъ въ измѣненіи и переработкѣ природы. Въ самомъ дѣлѣ, если человѣкъ вслѣдствіе роковой необходимости поставленъ въ зависимость отъ риса и картофеля, на что же ему тогда энергія и умъ, которые даютъ ему неоспоримое превосходство надъ другими животными! Какъ ученіе Мальтуса, такъ и заимствованная у него теорія Бокля рядомъ логическихъ наведеній привели бы насъ къ самому мрачному фатализму, въ которомъ нѣтъ болѣе границъ между пассивной покорностью и свободнымъ выборомъ, между жизнью и смертью. Но на самомъ дѣлѣ Бокль не думаетъ такъ, какъ онъ самъ докажетъ это во второй части своей книги. Капитальная ошибка его анализа, блестящаго по своимъ подробностямъ, но фальшиваго въ примѣненіи его къ самому принципу, заключается въ томъ, что онъ упускаетъ изъ виду чисто-соціальныя отношенія людскихъ обществъ, а изъ нихъ слагается новая и чрезвычайно важная категорія обстоятельствъ, управляющихъ историческими судьбами народовъ. *Человѣкъ страдаетъ гораздо больше отъ подобнаго же ему человѣка, чѣмъ отъ природы* — этими нѣсколькими словами опредѣляется глубокій смыслъ падшихъ и возникающихъ цивилизацій, разсматриваемыхъ Боклемъ съ строго-реальной точки зрѣнія. Смотря на это всемірное кладбище, гдѣ тысячи поколѣній смѣшали свои кости съ прахомъ, не насладившись ни жизнью, ни счастіемъ, становится грустно; но еще грустнѣе подумать, что эти люди и не могли разсчитывать на лучшую долю, еслибъ даже употребили всѣ усилія обезпечить ее себѣ, или, по крайней мѣрѣ, цѣной своихъ страданій и лишеній купить для будущихъ поколѣній менѣе тяжелое существованіе. „Нѣтъ, говоритъ Мальтусъ и за нимъ повторяетъ Бокль, — нѣтъ спасенія и надежды тѣмъ народамъ, которыхъ осудила сама природа на постепенное гніеніе"... Вздоръ, господа фаталисты! (бу-

дете ли вы идеальные или реальные защитники этого жалкаго ученія, — для насъ это все равно); какъ ни безотрадно прошлое въ судьбахъ человѣчества, какъ ни печальна его похоронная процессія впродолженіи нѣсколькихъ вѣковъ, но будущее еще не потеряно для него; спѣшите сбросить съ корабля лишній грузъ и подгнившія мачты, и наше плаваніе сдѣлается быстрѣе, и пристань ближе, чѣмъ мы думаемъ, затертые между подводными камнями и мелями... Нѣтъ надобности увлекаться обманчивыми мечтами; но нѣтъ основанія и отчаяваться за силы человѣка. Бросьте его куда угодно — въ снѣжныя пустыни сѣвера или въ безводныя степи Африки, вездѣ онъ восторжествуетъ надъ природой, дайте ему только новую общественную жизнь, устроенную на раціональныхъ началахъ, безъ внутренней взаимной вражды и систематическаго людоѣдства, прикрытаго разными громкими фразами современнаго прогресса...

Но гдѣ же провести ту пограничную черту, за которой оканчивается всепоглощающее вліяніе внѣшняго міра и начинается самостоятельная умственная дѣятельность человѣка? Говоря проще, когда народъ выходитъ изъ-подъ опеки окружающей его природы и становится полнымъ господиномъ ея? Бокль уклоняется отъ категорическаго рѣшенія этого вопроса, и ограничивается только одной общей оговоркой, что въ періоды *младенческаго возраста* народы сильнѣе подчиняются физическимъ законамъ, чѣмъ въ эпоху ихъ *возмужалости*. Но слова — „младенчество" и „возмужалость", прилагаемыя къ извѣстному обществу, для насъ не имѣютъ никакого смысла, кромѣ пустой метафоры. Общество—не то, что отдѣльное лицо; оно не можетъ ни молодѣть, ни старѣть; его жизни не назначено опредѣленнаго срока лѣтъ, послѣ котораго оно должно непремѣнно умереть; самыя условія его развитія совершенно не таковы, какъ у индивидуума: здѣсь все измѣряется единичной волей, единичнымъ умомъ, единичными цѣлями и средствами, а тамъ, въ силу притяженія всякаго массивнаго тѣла, отдѣльныя личности исчезаютъ въ общей жизни, и на дѣйствіяхъ ихъ отпечатлѣвается характеръ воли, ума, цѣлей и средствъ коллективныхъ. Позвольте объясниться примѣромъ: я вижу передъ собой, положимъ, море, котораго каждая волна, взятая порознь, состоитъ изъ тѣхъ же элементовъ, изъ какихъ состоитъ все море; ея вкусъ, цвѣтъ, жидкость ничѣмъ не отличается отъ остальной массы воды; но развѣ отдѣльная волна управляется тѣми же законами, что и море? Развѣ сила и назначеніе ея одинаковы съ силой и назначеніемъ цѣлаго океана? Точно такое же различіе между единичнымъ лицомъ и обществомъ. Поэтому пора бы оставить историкамъ ихъ избитыя параллели, проводимыя между существованіемъ отдѣльнаго человѣка и цѣлаго народа. По тому же и сравненіе Бокля между молодыми и дряхлыми обществами кажется намъ чистымъ произволомъ діалектическаго искусства. Къ обществу можно приложить только два

главныя свойства: хорошо оно, или дурно? Въ первомъ случаѣ оно способно жить и дѣйствовать, а во второмъ оно обращается въ безполезнаго паразита, напрасно занимающаго мѣсто на земномъ шарѣ. Но когда оно бываетъ хорошо и когда — дурно? Бокль отвѣчаетъ на это такъ: общество слагается хорошо, когда его почва, климатъ и пища благопріятствуютъ его органическому развитію. Никто не станетъ спорить, что эти физическіе дѣятели имѣютъ огромное вліяніе на складъ и характеръ каждаго народа, но ихъ роль оканчивается, когда вступаютъ въ свои права другіе, болѣе сложные и высшіе дѣятели — законы соціальные. Конечно, разбирать и группировать ихъ подъ извѣстную теорію гораздо труднѣе, чѣмъ отдѣлываться простымъ сближеніемъ внѣшней природы и внутренней жизни человѣка, но безъ пониманія и анализа ихъ, современному историку ничего другого не остается, какъ положить перо и откровенно сказать: я ничего не знаю въ своемъ собственномъ дѣлѣ.

Мы отнюдь не смѣемъ сдѣлать этого упрека автору „Исторіи англійской цивилизаціи"; онъ не пренебрегаетъ и соціальными условіями историческихъ народовъ, но отводитъ этимъ условіямъ въ своей превосходной книгѣ, сравнительно съ другими вопросами, такое скромное мѣсто, что невольно изумляешься его равнодушію къ предмету первостепеннаго значенія; часто не знаешь, говоритъ ли Бокль о развитіи отдѣльнаго человѣка или всего общества, рисуетъ ли онъ картину какой-нибудь одной мѣстности, или цѣлаго полушарія нашей планеты. Мнѣніе наше всего лучше подтверждается послѣдними соображеніями Бокля о вліяніи физическихъ законовъ на развитіе человѣчества.

Послѣ климата, почвы и пищи, какъ мы сказали выше, Бокль считаетъ общій видъ природы величайшимъ орудіемъ нашего умственнаго прогресса. „Виды природы, говоритъ онъ, — могутъ быть раздѣлены на два разряда: къ первому мы относимъ тѣ, которые наиболѣе способны возбуждать *воображеніе*, а ко второму тѣ, которые обращаются къ *разсудку*, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, т. е. возбуждаютъ чисто логическую дѣятельность ума". Основываясь на этомъ различіи, Бокль считаетъ тропическія страны враждебными развитію людей, потому что природа ихъ, возбуждая чувство страха и удивленія, погружаетъ человѣка въ мистическое созерцаніе естественныхъ явленій: умъ робѣетъ передъ величіемъ и безусловно покоряется фантазіи; во всемъ, что онъ не понимаетъ и не можетъ объяснить себѣ физическими законами, ему представляется вмѣшательство сверхъестественной силы, которой онъ боится и передъ которой слѣпо благоговѣетъ. Въ такомъ состояніи народа сумма суевѣрій увеличивается и препятствуетъ распространенію знанія. А гдѣ нѣтъ его свѣта, тамъ темная ночь порождаетъ всевозможные призраки, которые воображеніе превращаетъ въ идоловъ, кумировъ и боговъ. Для подтвержденія своего вывода Бокль сравниваетъ

умственную дѣятельность Индіи съ проявленіями той же дѣятельности въ Греціи и находитъ ихъ радикально противоположными. „Въ Индіи, говоритъ онъ, — всѣ окружающія человѣка явленія были направлены къ тому, чтобы внушить ему страхъ, а въ Греціи они внушали ему довѣріе. Въ Индіи человѣкъ былъ запуганъ, а въ Греціи онъ былъ ободряемъ. Въ Индіи препятствія всякаго рода были такъ многочисленны, такъ страшны и, повидимому, такъ необъяснимы, что всякаго рода затрудненія жизни могли быть разрѣшаемы только постояннымъ обращеніемъ къ непосредственному дѣйствію сверхъестественныхъ причинъ — и такъ какъ эти причины выходятъ изъ области разсудка, то всѣ силы воображенія постоянно были заняты изученіемъ ихъ; само воображеніе было чрезмѣрно напряжено, такъ что дѣятельность его стала опасною; она стѣснила дѣятельность разсудка, и общее равновѣсіе умственныхъ силъ было нарушено. Въ Греціи противоположныя условія привели къ противоположнымъ результатамъ. Здѣсь природа менѣе страшила человѣка, менѣе вмѣшивалась въ дѣла его и была менѣе таинственна. Поэтому въ Греціи человѣческій умъ былъ менѣе напуганъ и суевѣренъ, онъ сталъ доискиваться до физическихъ причинъ явленій; развитіе естественныхъ наукъ сдѣлалось возможнымъ, и человѣкъ, доходя постепенно до сознанія своей силы, приступилъ къ изслѣдованію всего окружающаго его съ такою смѣлостью, какой нельзя было бы ожидать въ тѣхъ странахъ, гдѣ давленіе природы нарушало его независимость и возбуждало въ немъ идеи, съ которыми дѣйствительное знаніе несовмѣстимо". Тѣ же черты различія отразились въ индійской и греческой литературахъ; въ первой преобладаютъ преувеличенія, колоссальные и грубые образы, отсутствіе пластической красоты и постоянная тенденція мысли къ таинственному и чудесному, напротивъ, въ эллинской поэзіи все дышетъ граціей и гармоніей, все принимаетъ самые естественные размѣры, начиная отъ боговъ и до обыкновенныхъ людей, во всемъ проглядываетъ стремленіе къ красотѣ и уваженіе къ ней возводится въ общій національный типъ.

Такимъ образомъ Бокль обобщаетъ свою идею въ слѣдующемъ видѣ: всѣ восточныя цивилизаціи, пораженныя величіемъ и ужасомъ природы, приняли совершенно другое направленіе, чѣмъ цивилизаціи европейскія, развившіяся въ умѣренныхъ климатахъ. Въ первыхъ — умъ человѣка оказался безсильнымъ въ пониманіи естественныхъ явленій и запуталъ себя суевѣріями, во вторыхъ — онъ сбросилъ съ себя или, по крайней мѣрѣ, стремится сбросить вредное вліяніе воображенія и свободно освѣщаетъ передъ собой тотъ путь, которымъ идутъ народы къ лучшему своему положенію. Подробности анализа Бокля, его сближенія и параллели, какъ здѣсь, такъ и вездѣ, въ высшей степени мѣткія и для русской публики совершенно новыя; но основная идея грѣшитъ тѣмъ-же натянутымъ обобщеніемъ, въ которомъ Бокль упрекаетъ мета-

физическую школу. Дѣло въ томъ, что всякая напередъ придуманная система никуда не годится въ отношеніи общечеловѣческой жизни. Мѣрить однимъ аршиномъ нѣсколько различныхъ народностей, группировать ихъ подъ одну рубрику по прихоти своей теоріи, — рѣшительно невозможно; а между тѣмъ Бокль старается, во что̀ бы то ни стало, поставить всѣ восточныя цивилизаціи подъ одинъ уровень и закопать ихъ, такъ сказать, въ одну могилу. Возраженій встрѣчается ему очень много; но онъ обходитъ ихъ искусно, хотя не всегда искренно. Согласимся, напримѣръ, съ тѣмъ, что возбужденіе человѣческой мысли происходитъ отъ непосредственныхъ толчковъ со стороны природы и опредѣляется законами, но почему-же жители Сѣверной Америки, окруженные не менѣе грандіозными и поразительными естественными явленіями, чѣмъ обитатели малабарскихъ острововъ, выработали себѣ иную цивилизацію, какой мы не видимъ ни во Франціи, ни въ Германіи? Почему Швейцарія, стиснутая въ самыхъ неблагопріятныхъ физическихъ границахъ, изрѣзанная страшными пропастями, ущеліями, горами и водопадами, гдѣ снѣжные обвалы доселѣ засыпаютъ жилища и людей, гдѣ грозы и землетрясенія такъ-же гибельны, какъ и въ Испаніи, и за всѣмъ тѣмъ швейцарская цивилизація вовсе не походитъ на испанскую. Такихъ примѣровъ можно привести очень много, и всѣ они, очевидно, опровергаютъ крайніе выводы Бокля. Съ другой стороны, самыя лучшія общественныя организаціи принадлежали бы тѣмъ странамъ, гдѣ природа, подобно русской плоскости, не представляетъ ничего похожаго на ужасъ или величіе физическихъ феноменовъ, а между тѣмъ не Богъ знаетъ, какъ мы далеко ушли отъ сѣверной Африки или отъ древняго Индустана. Наконецъ, въ границахъ одной и той-же народности почти постоянно встрѣчаются различныя мѣстности, которыя, по теоріи Бокля, должны были бы дѣйствовать на людей различно — однихъ держать въ безвыходномъ суевѣріи, а другихъ очень быстро развивать, но мы не знаемъ такихъ образчиковъ. Ясно, что между причинами и послѣдствіями, которыя Бокль соединяетъ въ одинъ фокусъ, должно лежать множество другихъ обстоятельствъ, не принятыхъ имъ во вниманіе. Притомъ, какъ матеріалистъ, онъ не всегда послѣдователенъ. Внѣшняя обстановка природы получаетъ у него огромное значеніе, и физіологическіе законы природы, тѣсно связанные съ той же физической обстановкой, не имѣютъ никакого смысла. Если мое воображеніе подчиняется естественнымъ явленіямъ, то прежде всего цвѣтъ моей кожи, кровь, мускулы и вся нервная система должны зависѣть отъ мѣстныхъ условій, и — слѣдовательно, различіе породъ имѣетъ свою историческую важность. Сюда относятся организмы языковъ, безчисленные оттѣнки нарѣчій, темпераменты и весь складъ умственныхъ способностей того или другого народа.

Въ настоящей главѣ я пришелъ къ двумъ главнымъ заключеніямъ въ критической оцѣнкѣ книги Бокля: во-первыхъ, ей недостаетъ полноты

во взглядѣ на исторію человѣческихъ обществъ; между физическими и умственными усиліями народной жизни пропущены чисто соціальныя условія, самыя важныя по своимъ послѣдствіямъ. Во-вторыхъ, методъ обобщенія фактовъ доводитъ Бокля до абсурда и представляетъ въ ложномъ свѣтѣ историческую физіономію народовъ.

Въ слѣдующей главѣ я намѣренъ разобрать другую половину теоріи Бокля — вліяніе нравственныхъ и умственныхъ законовъ на развитіе или отупѣніе человѣческихъ обществъ.

II.

Отношеніе внѣшней природы къ человѣку всегда было одной изъ самыхъ тревожныхъ задачъ для нашего ума. Не умѣя разрѣшить эту задачу на основаніи точнаго знанія естественныхъ законовъ, человѣческое воображеніе, одолѣваемое непонятными вопросами и сомнѣніями, создало множество призраковъ и облекло ихъ въ различныя теоріи и системы. Болѣзненная фантазія фанатика изъ тѣхъ же матеріаловъ, которыми такъ просто располагаетъ современный натуралистъ, построила ученіе о непримиримой враждѣ противоположныхъ началъ (дуализмъ) и въ самыхъ жизненныхъ проявленіяхъ природы заподозрила своего врага. Это воззрѣніе, развившись до отрицанія лучшихъ сторонъ матеріальной жизни, привело своихъ послѣдователей къ тому настроенію, которое у индійскаго факира близко граничитъ съ съумасшествіемъ. Другой дорогой, но почти къ тому же результату пришли и такъ-называемые метафизики, съ тѣмъ единственнымъ различіемъ, что ихъ галлюцинаціи болѣе спокойны и менѣе вредны въ практическомъ отношеніи. Во имя отвлеченной идеи метафизикъ изъ науки сдѣлалъ своего рода капище, гдѣ производится умерщвленіе мысли, оторванной отъ дѣйствительной жизни. Какъ для фанатика, такъ и для метафизика внѣшняя природа, со всѣмъ ея разнообразіемъ и богатствомъ, представляется холоднымъ трупомъ, отъ соприкосновенія съ которымъ замираютъ выспреннія паренія нашего духа. Все, что̀ внѣ человѣка, постоянно враждуетъ съ тѣмъ, что̀ внутри его, и потому онъ долженъ смотрѣть на окружающіе его предметы или съ высоты мистическаго величія, или бояться ихъ, какъ непріязненной силы. На этомъ безотрадномъ дуализмѣ созидалась исторія. Духъ свѣта и духъ тьмы, такъ поэтически выраженные древнимъ миѳомъ, поперемѣнно оспаривали другъ у друга судьбу человѣческихъ обществъ, разрывая на двѣ половины ихъ цѣльный и нераздѣльный организмъ.

Изъ того же мистическаго воззрѣнія, стѣснившаго лучшіе порывы человѣческаго ума, сложилась односторонняя теорія и нравственности, заключившей нашу волю въ самомъ узкомъ кругу дѣятельности. Имѣя

въ виду свои личныя выгоды, разныя политическія партіи старались впослѣдствіи примѣнять эту нравственность къ своимъ удобствамъ, вовсе не заботясь о томъ, на сколько она будетъ хороша и легка для массы. И такъ какъ экономическія соображенія всегда стояли на первомъ планѣ, то богатые классы постоянно стремились къ эксплуатаціи бѣдныхъ; для этого придумывались особенныя правила, наставленія, и гдѣ этого было мало, тамъ употреблялись болѣе дѣйствительныя средства. Вотъ эту-то верхнюю позолоту обществъ, измѣнявшую свой цвѣтъ и яркость на отдѣльныхъ сословіяхъ, и назвали цивилизаціей; несмотря на то, что она, подобно вампиру, сосала сокъ большинства людей, ей приписали небывалыя заслуги. На самомъ же дѣлѣ равновѣсіе нравственныхъ силъ и общественныхъ отношеній, какъ главное условіе всякаго правильнаго развитія, нарушалось больше и больше, такъ что члены одной и той же соціальной семьи оказались непримиримыми врагами другъ другу... Нигдѣ этотъ печальный фактъ не выразился такъ ясно, какъ на исторіи женщины. Дикарь продавалъ ее на рынкѣ, вмѣстѣ съ другими продуктами, удовлетворявшими человѣческую прихоть; цивилизованное общество точно такъ же торгуетъ ею, но подъ другими, болѣе мягкими, формами. Та-же раба, но съ цвѣтами на головѣ, вступаетъ въ гаремъ своего господина. Право сильнаго, опирающееся на законѣ эксплуатаціи, и здѣсь нашло себѣ полное примѣненіе.

Бокль, сколько намъ извѣстно, въ первый разъ затрогиваетъ этотъ вопросъ и довольно ясно разграничиваетъ нравственную и умственную сферы человѣческой жизни. Это разграниченіе очень важно. Доселѣ моралисты присвоивали себѣ огромное вліяніе въ поступательномъ движеніи человѣческихъ обществъ, а между тѣмъ ихъ дидактическая болтовня не имѣла никакихъ серьезныхъ послѣдствій. Ни одна великая реформа не была дѣломъ рукъ ихъ; напротивъ, можно помѣтить множество примѣровъ, подтверждающихъ глубокую ихъ ненависть къ нововведеніямъ и постоянную оппозицію передовымъ людямъ. Бокль выбираетъ изъ богатаго запаса своихъ историческихъ свѣдѣній очень удачный примѣръ; онъ указываетъ на римскихъ императоровъ, изъ которыхъ самые добродѣтельные были ужасными гонителями религіозной совѣсти, и самые развращенные отличались вѣротерпимостію. Иначе и быть не могло. Первые были искренно убѣждены, что истребленіе такой ереси, какъ христіанская вѣра, составляетъ доблестный подвигъ ихъ цесарской власти. Они съ наслажденіемъ преслѣдовали поклонниковъ Христа, бросая ихъ въ огонь и посылая умирать на аренѣ цирка. Напротивъ, такіе императоры, какъ Коммодъ и Геліогабалъ, утопавшіе въ грязи разврата и открыто глумившіеся надъ всякой добродѣтелью, не мѣшались въ общественные интересы, и потому менѣе принесли зла человѣчеству. То же явленіе повторяется и въ новой исторіи. Католическіе фанатики, проливавшіе кровь съ увлеченіемъ и страстью, были люди, въ обыкно-

венномъ смыслѣ, нравственные. На почернѣвшихъ портретахъ античныхъ галлерей мы доселѣ видимъ эти восковыя личности, питавшіяся цѣлую жизнь плодами и кореньями, не знавшія ни женщинъ, ни свѣтскихъ развлеченій, но когда дѣло касалось ихъ убѣжденій, они обращались въ дикихъ звѣрей и не знали границъ жестокости въ преслѣдованіи своихъ враговъ. Поэтому, въ извѣстныхъ случаяхъ отсутствіе строгихъ убѣжденій и равнодушіе къ человѣческимъ дѣламъ составляютъ единственное спасеніе отъ крутыхъ деспотическихъ мѣръ. Еслибъ исторія представляла намъ менѣе добродѣтельныхъ людей, въ родѣ Игнатія Лойолы, то сумма злодѣяній, совершонныхъ человѣчествомъ, была бы гораздо умѣреннѣе. Но вотъ вопросъ, постоянно занимающій вниманіе дидактиковъ и моралистовъ: если главнымъ органомъ нашей умственной дѣятельности служитъ мозгъ, то гдѣ же органъ нашей нравственности? Какая часть нашего живого организма можетъ быть названа тѣмъ фокусомъ, изъ котораго распространяются добрыя или злыя побужденія человѣка? Нельзя же предполагать, чтобы всѣ наши намѣренія и дѣйствія управлялись одними предписаніями закона или принудительными средствами власти; этого быть не можетъ. Ни законъ, ни внѣшняя власть, какъ бы она далеко ни простирала свое вмѣшательство въ частную дѣятельность людей, не имѣютъ на столько проницательности, чтобы слѣдить и контролировать внутреннія движенія человѣка. Пока они не переходятъ во внѣшній актъ воли, зарожденіе и развитіе ихъ едва-ли ясно представляются тому самому лицу, которое носитъ ихъ въ себѣ. По крайней мѣрѣ, есть много такихъ нравственныхъ движеній, которыя происходятъ мгновенно и приводятся въ исполненіе безъ всякаго плана и даже сознанія съ нашей стороны. Поэтому надо было предположить особенную силу, руководящую нравственными поступками человѣка: эту силу психологи назвали совѣстью. Но что это за способность и въ чемъ ея отличительные признаки — никто не отвѣчаетъ на это положительно и никто не можетъ поручиться, чтобъ внѣшнія его дѣйствія были согласны съ внутренними движеніями. Для однихъ совѣсть—одна, для другихъ—другая. Напримѣръ, убійство людей всегда было предметомъ отвращенія для идеалиста-философа, а между тѣмъ никто больше не вдохновлялся и не воспѣвалъ гуртовыхъ убійствъ, называемыхъ войнами, какъ идеалисты-поэты. Еслибъ внутренній голосъ совѣсти одинаково подсказывалъ свои наставленія этимъ людямъ, то они не стали бы противорѣчить въ сочувствіи или антипатіи одному и тому же предмету. Пусть каждый изъ насъ заглянетъ въ себя поглубже и, провѣривъ свои дѣйствія, спроситъ: всегда ли они согласны съ его понятіями о добрѣ и злѣ... Доселѣ изъ всѣхъ нравственныхъ инстинктовъ самымъ сильнымъ и ясно-сознаваемымъ инстинктомъ было чувство самосохраненія. Оно такъ нормально и естественно, что никогда не нуждалось въ юридическихъ предписаніяхъ для того, чтобы мы слѣдовали его вну-

шеніямъ. Поставьте человѣка въ какое угодно положеніе, подъ какой угодно географической широтой, на какомъ угодно горизонтѣ развитія, это благородное чувство постоянно находится съ нимъ. Оно пробуждается ранѣе другихъ чувствъ, въ первый моментъ нашего сознанія. Дикарь, брошенный на пустынномъ островѣ и окруженный со всѣхъ сторонъ непріязненными вліяніями природы, прежде всего позаботится о сбереженіи своей жизни: каждый шагъ и каждое движеніе его руки будутъ направлены къ тому, чтобы обезпечить себѣ возможно лучшее и безопасное существованіе. И это—неудивительно; все живое и органическое, что̀ только носитъ на себѣ наша грязненькая планета, одарено инстинктомъ сбереженія своихъ силъ и развитія ихъ. У человѣка эта потребность должна достигать высшей мѣры, потому что организмъ его отличается необыкновенной сложностью, которая требуетъ огромныхъ усилій для полнаго развитія его и, слѣдовательно, самосохраненія. Когда человѣкъ вступаетъ въ общество и образуетъ новыя отношенія въ своей жизни, онъ вноситъ это чувство во всѣ соціальныя комбинаціи. Религія, гражданскій порядокъ, международныя связи — все это прямо вытекаетъ изъ стремленія людей сохранить и продолжить свою жизнь. Почему не всякому народу удается осуществить это желаніе вполнѣ, почему у одного народа оно проявляется сильнѣе, а у другого слабѣе, — это вопросъ для насъ посторонній; но нельзя представить себѣ ни одного человѣческаго общества, которому бы это стремленіе было совершенно чуждо. Замѣчательно то, что у народовъ хилыхъ, развращенныхъ рабствомъ и войнами, чувство самосохраненія падаетъ на низкую степень, и человѣкъ дѣлаетя равнодушнымъ къ самымъ высокимъ интересамъ своей жизни. Императорскій Римъ, выставляя на свои зрѣлища цѣлыя бойни животныхъ, смѣшивалъ съ ними своихъ рабовъ, часто оцѣнивая ихъ гораздо дешевле, чѣмъ какого-нибудь рѣдкаго звѣря. Напротивъ, націи крѣпкія и свободныя чрезвычайно дорожатъ собой и отстаиваютъ свое достоинство до послѣдней крайности. Здѣсь нельзя обращаться съ человѣкомъ, какъ съ животнымъ, и онъ не позволитъ, хотя бы это стоило ему жизни, унизить себя до безгласнаго существа. И если такое настроеніе общества соединяется съ глубокимъ сознаніемъ его правъ, тогда чувство самосохраненія является высокимъ нравственнымъ чувствомъ, облагораживающимъ человѣка и окрыляющимъ его дѣятельность на всѣхъ поприщахъ. Тогда онъ окажется способнымъ найти и устроить для себя такія соціальныя формы, которыя сами по себѣ избавятъ его отъ злодѣяній, теперь сдерживаемыхъ угрозой карательнаго закона; только тогда человѣкъ пойметъ, что его жизнь и свободное развитіе ея гарантированы отъ насилія и оскорбленія не случайными фактами, а тѣмъ естественнымъ положеніемъ, которое даетъ ему возможность пользоваться своими правами такъ же нормально, какъ птицѣ — летать въ воздухѣ, а рыбѣ — плавать въ водѣ.

Сообразивъ хорошенько все, что сказано выше, легко понять, что нравственный элементъ, какъ одинъ изъ дѣятелей европейскаго прогресса, не внесъ положительныхъ началъ въ развитіе человѣчества. Каждому изъ современныхъ народовъ пришлось пройдти рядомъ непростительныхъ ошибокъ къ своему настоящему состоянію. Представимъ себѣ длинную тюрьму, изъ глубины которой надо пробираться мрачными переходами на свѣжій воздухъ; чѣмъ ближе къ выходу, тѣмъ легче дышется и тѣмъ свѣтлѣе для глазъ. Но на каждомъ переходѣ надо было бороться со множествомъ препятствій, съ различными привидѣніями, порождаемыми темной ночью и еще болѣе темной фантазіей самого узника. Кругомъ него раздавались глухіе стоны, гремѣли цѣпи, поднимались эшафоты, шли похоронныя процессіи; онъ все это слышалъ, но не понималъ: для чего и отъ кого зависятъ эти страданія. Наконецъ, многіе изъ этихъ несчастныхъ узниковъ подходили къ самому порогу, за кототорымъ виднѣлся день, ясная и привольная перспектива жизни; оставалось, кажется, только перешагнуть за ворота смерти и молчанія, но перешагнуть-то и не доставало силъ. Онѣ утомлены, да и не привыкли къ новому мѣсту и воздуху... Зато, говорятъ намъ, сколько великихъ людей, сколько нравственныхъ доблестей, сколько великихъ открытій сдѣлано человѣчествомъ! Да; но кто-же воспользовался ими и чѣмъ они купили себѣ право на величіе?

Переходя изъ нравственной сферы въ умственную и наблюдая за побѣдами человѣческаго знанія, картина нѣсколько измѣняется. Здѣсь мы видимъ положительныя пріобрѣтенія, сдѣланныя общими усиліями людей и обращенныя въ общее достояніе человѣчества. Не легка была и эта дорога, но по ней можно было идти не къ рабству и нищетѣ, не въ глубину тюрьмы, а на просторъ и дѣятельность. Оцѣнивая характеръ этого дѣятеля въ исторіи народовъ, по сравненію съ нравственнымъ движеніемъ, Бокль не видитъ въ послѣднемъ ничего прогрессивнаго и постояннаго; игра страстей, капризы воли, различныя вспышки темпераментовъ, вѣчные приливы и отливы добра и зла — все это такъ перемѣнчиво, что нѣтъ никакой возможности подвести подъ какіе нибудь осязательные законы. Но и надъ всѣмъ этимъ, говоритъ Бокль, — есть гораздо высшее движеніе, и между тѣмъ, какъ теченіе (исторіи) состоитъ изъ приливовъ и отливовъ, между этими безконечными волненіями, одна, и только одна, вещь постоянно живетъ. Злодѣянія людей производятъ лишь временное зло, и добродѣтели лишь временное добро — и добро и зло погружаются въ пропасть, умѣряются послѣдующими поколѣніями и исчезаютъ въ безпрерывномъ движеніи грядущихъ вѣковъ. Но открытія великихъ людей навсегда — съ нами; эти открытія вѣчны, въ нихъ заключаются исконныя истины, переживающія паденія царствъ, борьбу враждебныхъ вѣрованій; одни вѣрованія годятся для одного вѣка, другія — для другого. Подобно снамъ, безслѣдно исчезающимъ

они проходятъ; одни открытія геніальныхъ людей не пропадаютъ. Имъ-то мы и обязаны всѣмъ, что̀ имѣемъ; они—для всѣхъ вѣковъ и поколѣній. Не зная ни молодости, ни старости, они носятъ въ себѣ сѣмена своей собственной жизни". (History of Civilization in England. Hew York. vol. 1. 163). Такимъ образомъ Бокль въ развитіи цивилизацій признаетъ главнѣйшею силою – умственную дѣятельность человѣка. Но человѣческій умъ былъ бы мертвымъ капиталомъ, самой безплодной способностью, еслибъ онъ не обогащался *знаніемъ*. А знаніе по отношенію къ нашему уму то же, что̀ сила по отношенію къ физическимъ органамъ; оно не увеличиваетъ ни вѣса, ни объема мозга, но даетъ ему извѣстную ловкость производить и комбинировать понятія и сужденія. Отъ правильности и быстроты этихъ комбинацій зависитъ умственная дѣятельность человѣка; она тѣмъ лучше, чѣмъ выше и чище тѣ элементы, изъ которыхъ составляется ея внутренній процессъ. Мы видимъ, что въ грубомъ и неразвитомъ состояніи мысль работаетъ медленно, робко и ошибочно; а у человѣка образованнаго она отличается необыкновенной эластичностью и, смотря по кругозору ея, болѣе или менѣе обширнымъ пониманіемъ окружающихъ предметовъ. Еслибъ можно было съ математической точностью измѣрить разстояніе между міросозерцаніемъ Байрона и того наборщика, который набиралъ его драматическія произведенія, то легко могло статься, что въ головѣ второго оказалось бы гораздо больше мозгу, чѣмъ въ головѣ перваго, а между тѣмъ какая бездна различія въ качественномъ достоинствѣ той и другой головы. Но отъ чего-же происходитъ это различіе? Многіе еще доселѣ думаютъ, что мы родимся то геніями, то талантами, то идіотами по волѣ природы и по какому-то невѣдомому распредѣленію ея жребіевъ; мнѣніе это, очень удобное для лѣниваго ума, не выдерживаетъ ни одного серьезнаго возраженія для тѣхъ, кто ясно понимаетъ, что у природы нѣтъ ничего напередъ задуманнаго, что она не дѣлитъ насъ на особенныя касты, что ея творческая сила обусловливается тѣми матеріалами, изъ которыхъ она сама составляется и потомъ производитъ. Всѣ мы родимся геніями, но единицы дѣйствительно дѣлаются ими, а милліоны остаются идіотами единственно потому, что соціальная обстановка не всѣмъ позволяетъ одинаково развиваться. Знаніе такъ же, какъ здоровая пища и чистый воздухъ, обращены въ привиллегію богатыхъ классовъ. Поэтому — когда возникаетъ вопросъ о различіи умственныхъ организацій, то онъ прямо соединяется съ вопросомъ о воспитаніи, въ самомъ широкомъ значеніи этого слова, начиная отъ зачатія ребенка и оканчивая полнымъ развитіемъ его среди тѣхъ или другихъ общественныхъ условій. И такъ какъ знаніе, подобно уму, не имѣетъ въ себѣ ничего количественнаго, что̀ можно было бы наблюдать простымъ глазомъ, или класть подъ микроскопъ, то оно для насъ важно не по обилію фактовъ или свѣдѣній, а по своей способности возбуждать и раскрывать наши мы-

слящія силы. Есть люди, которые очень много знаютъ, очень много видѣли и читали, и все таки остаются людьми, рѣшительно, глупыми; къ сожалѣнію, это всего чаще замѣчается на спеціалистахъ дюжиннаго разбора. Еслибъ поставить рядомъ поэта Лермонтова и историка Касторскаго, то, вѣроятно, послѣдній оказался бы на столько же ученѣе перваго, на сколько первый умнѣе послѣдняго: скрипъ немазанаго колеса и великолѣпный музыкальный аккордъ при совершенно равныхъ условіяхъ дѣйствуютъ на слухъ совершенно различно...

Первымъ отличительнымъ свойствомъ хорошаго развитія служитъ оригинальность ума и его стремленіе къ новымъ открытіямъ. Только рутина и вялое безсиліе любятъ держаться старыхъ понятій и пережевывать ихъ на разные лады, а люди, смотрящіе вдаль, не могутъ останавливаться на точкѣ замерзанія. Ихъ дѣятельность удовлетворяется только тогда, когда имъ предвидится что нибудь новое и лучшее впереди. Но человѣческій умъ идетъ впередъ на пути своихъ изысканій и открытій только посредствомъ сомнѣнія и отрицанія. Сомнѣніе есть первый шагъ къ знанію. Съ той минуты, когда человѣкъ перестаетъ безусловно вѣрить тому, что́ онъ принялъ отъ другихъ учениковъ подъ вліяніемъ авторитета, начинается его самостоятельное образованіе. На этомъ законѣ основываетъ Бокль прогрессивное развитіе народовъ. Онъ параллельно изучаетъ его въ исторіи двухъ націй — Англіи и Франціи, соединяя ихъ въ одну общую картину своего интереснаго изслѣдованія. И тамъ, и здѣсь, по мнѣнію его, человѣческому уму суждено было бороться съ двумя главными врагами: съ тиранніей церкви и съ тиранніей политической системы. Съ тѣхъ поръ, какъ пробудилось въ европейскомъ обществѣ сомнѣніе насчетъ этихъ двухъ авторитетовъ, открывается движеніе народовъ, съ каждымъ столѣтіемъ наносящее новые удары суевѣрію и деспотизму. До одиннадцатаго вѣка Бокль смотритъ на Европу, какъ на бездушный трупъ, въ которомъ на время какъ будто прекратилась всякая жизнь. Это была страшная ночь, среди дремучаго лѣса, наполненная разными привидѣніями и чудовищами. Но съ десятаго или одиннадцатаго вѣка сквозь эту непроглядную тьму пробивается свѣтъ, и „съ этого момента, — продолжаетъ историкъ, — начинается великій расколъ между европейскими націями. До сей поры суевѣріе ихъ было такъ универсально и безконтрольно, что не стоило бы опредѣлять степень ихъ относительнаго варварства. Дѣйствительно, они такъ низко упали, что въ продолженіи перваго періода власть духовенства во многихъ отношеніяхъ была спасеніемъ ихъ; полагая границу между народомъ и его правителями, она въ то же время подавала примѣръ кой-какого уваженія къ умственнымъ занятіямъ. Но когда начался великій поворотъ, когда человѣческій разумъ возмутился, положеніе духовенства немедленно измѣнилось. Оно благопріятствовало мысли, пока мысль была на его сторонѣ; когда знаніе заключалось въ однѣхъ его рукахъ, оно готово было защищать его

интересы. Но теперь оно разлучилось съ ними; свѣтское общество овладѣло умственной жизнью, и потому знаніе сдѣлалось опаснымъ, и подверглось преслѣдованію. Отсюда въ первый разъ являются вездѣ инквизиціи, тюремныя заключенія, пытки, костры и другія преграды, которыми духовенство напрасно старалось остановить потокъ, устремившійся противъ него. Съ этого времени завязывается безпрерывная борьба между двумя главными партіями — защитниками свободнаго мышленія и сторонниками суевѣрія, — борьба, подъ какими бы формами и какъ бы она ни скрывалась, въ сущности все та же, — борьба знанія и суевѣрія, скептицизма и преданія, прогресса и реакціи, стремленій къ будущему, и приверженности къ прошлому. Здѣсь и лежитъ поворотная черта европейской цивилизаціи. Съ этого момента разумъ началъ, хотя и слабо, заявлять свое превосходство, и развитіе каждаго народа стало зависѣть отъ повиновенія предписаніямъ мысли, отъ того успѣха, съ которымъ онъ соглашалъ всѣ свои дѣйствія съ требованіями ума". (History of Civ. in Engl. гл. IX). Но когда умъ одержалъ первую свою побѣду надъ непріязненной ему властію, на мѣстѣ этой власти является другая, вооруженная мечомъ, — власть феодальная. Отсюда борьба усиливается, потому что вмѣсто одного врага являются двое, и чѣмъ оппозиція имъ выступаетъ смѣлѣй, тѣмъ враги смыкаются ближе и употребляютъ всевозможныя средства, чтобы какъ можно долѣе удержать за собой кровавое поле битвы... Такимъ образомъ, идея Бокля формулируется слѣдующимъ образомъ: чѣмъ свободнѣе и лучше была умственная жизнь народа, тѣмъ онъ больше сдѣлалъ для своего счастія, и эта идея, какъ золотая жила, сверкающая между пескомъ и каменьями, проводится имъ среди массы историческихъ событій, революцій и реакцій.

Но достаточно одного поверхностнаго взгляда на европейскую исторію, чтобы видѣть различіе умственнаго уровня народовъ. Одна страна развивается быстрѣе, другая медленнѣе; въ одной странѣ образованіе принимаетъ характеръ религіозный, въ другой чисто-реальный, удовлетворяющій практическимъ требованіямъ общества, въ третьей — преобладаетъ направленіе теоретическое, какъ, напримѣръ, въ Германіи, не имѣющее почти никакой органической связи съ дѣйствительной жизнью и общественными интересами. Поэтому, при оцѣнкѣ умственнаго развитія той или другой націи, необходимо обратить вниманіе на самое *качество* тѣхъ знаній, которыми располагаетъ общество. Въ этомъ случаѣ весьма важно поставить вопросъ слѣдующимъ образомъ: съ какою цѣлью народъ старается образовать себя? Если онъ ищетъ въ образованіи не практическаго приложенія его въ своей жизни, а какого-то пустого аристократическаго отличія по сравненію съ невѣжествомъ, какъ это было съ высшими сословіями Европы, то можетъ ли имѣть какую нибудь цѣну такое образованіе? Разумѣется, никакой. Нельзя сказать,

чтобы въ средніе вѣка не было людей образованныхъ, чтобъ въ гнилыхъ тогдашнихъ школахъ юношество меньше насъ потѣло и зѣвало надъ схоластическими учебниками, но что же путнаго дала схоластика человѣчеству, и къ какому результату привела она Европу? Безплодность и сухость этого знанія только истощили свѣжесть умственныхъ силъ и, навѣрное можно утверждать, что въ концѣ XV вѣка тѣ народы и сословія были глупѣе, у которыхъ схоластическая наука особенно процвѣтала. То же самое явленіе повторилось на французскомъ дворянствѣ XVIII вѣка: это было самое развратное и нелѣпое сословіе, а между тѣмъ по образованію оно стояло неизмѣримо выше другихъ сословій... Слѣдовательно, выборъ предметовъ для нашего умственнаго развитія имѣетъ огромное значеніе; имъ собственно рѣшается судьба дальнѣйшей соціальной дѣятельности народа. Нѣтъ сомнѣнія, что изъ всѣхъ знаній, какія только доступны нашей любознательности, знаніе окружающей насъ природы—болѣе полезное и плодовитое. Вліяніе природы дѣйствуетъ на насъ ежеминутно; съ нимъ мы безпрестанно боремся и отъ него или страдаемъ, или благоденствуемъ; съ феноменами природы тѣсно связывается вся наша общественная жизнь, и потому пониманіе ея есть первая задача въ нашемъ развитіи. А изъ этого слѣдуетъ то, что изученіе естественныхъ наукъ должно стоять на первомъ планѣ всякаго народнаго образованія. Тамъ, гдѣ важность ихъ понята и гдѣ ими занимаются много, тамъ на сторонѣ знанія есть положительное преимущество; по степени ихъ распространенія можно судить о дѣйствительной потребности образованія и о хорошемъ направленіи его. Это такъ вѣрно, что если народъ пренебрегаетъ естественными знаніями, то безошибочно можно изъ этого заключить, что онъ народъ дикій или испорченный историческими обстоятельствами. То же самое мы видимъ и на отдѣльныхъ личностяхъ; у плохихъ лирическихъ поэтовъ, у людей, страдающихъ пошленькимъ идеализмомъ и мечтательностью, есть какое-то инстинктивное отвращеніе къ естественнымъ наукамъ. Все это доказываетъ одно, что всякое положительное знаніе прививается только къ здоровому и нормальному уму, а такого ума въ иномъ обществѣ, пожалуй, не отыщешь и нѣсколькихъ золотниковъ... Дополнимъ наше мнѣніе нѣсколькими мѣткими словами Бокля: „литература, говоритъ онъ, — какъ сокровищница идей, выработанныхъ человѣчествомъ, наполнена не только мудростію, но и нелѣпостями. Поэтому, польза, извлекаемая изъ нея, не столько зависитъ отъ самой литературы, сколько отъ искуснаго изученія и отъ благоразумнаго выбора предметовъ ея. Въ этомъ заключаются первыя условія успѣха; въ противномъ случаѣ— число и достоинство книгъ, находящихся въ странѣ, не имѣетъ никакого значенія. Даже у народовъ высшей цивилизаціи всегда есть стремленіе предпочитать скорѣе тѣ отрасли литературы, которыя льстятъ старымъ предразсудкамъ, чѣмъ тѣ, которыя оппозируютъ имъ. И въ той странѣ,

гдѣ это стремленіе выражается очень сильно, единственнымъ послѣдствіемъ большой учености будетъ увеличеніе матеріаловъ для подкрѣпленія старыхъ заблужденій и суевѣрій. Въ наше время такіе примѣры встрѣчаются не рѣдко; намъ часто попадаются люди, которыхъ ученость служитъ органомъ ихъ невѣжества и которые чѣмъ больше читаютъ, тѣмъ меньше знаютъ. Бываютъ и такіе соціальные періоды, когда это настроеніе до того обобщается, что литература приноситъ больше вреда, чѣмъ пользы". (Hist. of Civil. T. I, стр. 195). Вотъ это-то умное замѣчаніе Бокля не мѣшаетъ принять къ свѣдѣнію нашей публикѣ и юродивымъ просвѣтителямъ ея...

Вторымъ условіемъ хорошаго умственнаго развитія служитъ равномѣрное распредѣленіе знанія между всѣми членами общества. Въ противномъ случаѣ эксплуатація однихъ сословій другими дѣлается неизбѣжной; тѣ классы людей, въ рукахъ которыхъ скопляются всѣ умственные интересы и, слѣдовательно, бо́льшая часть общественной дѣятельности, подчиняютъ своимъ эгоистическимъ разсчетамъ невѣжественную массу и, при дурномъ соціальномъ порядкѣ вещей, не замедлятъ обратить ее въ своихъ паріевъ. Этотъ фактъ съ необыкновенной точностью повторяется исторіей всѣхъ образованныхъ народовъ. Тамъ, гдѣ неравномѣрность умственнаго развитія особенно велика, общество находится въ постоянномъ лихорадочномъ состояніи, какимъ страдаетъ отдѣльное лицо во время воспаленія головы и болѣзненнаго холода въ ногахъ. Еслибъ намъ былъ предоставленъ выборъ между двумя системами — сдѣлаться народомъ очень развитымъ, но только въ извѣстномъ кругу, или ограничиться самымъ низкимъ уровнемъ образованія, но раздѣлить его поровну между всѣми сословіями, то мы охотно предпочли бы послѣдній случай. Нѣсколько геніальныхъ единицъ на нѣсколько милліоновъ идіотовъ — плохая вещь; это—то же, что шелковая заплата на грязномъ сермяжномъ кафтанѣ. Къ сожалѣнію, равновѣсіе умственныхъ силъ въ соціальномъ организмѣ зависитъ отъ чисто-экономическихъ условій; у большинства людей, занятыхъ съ утра и до вечера пріобрѣтеніемъ насущнаго куска хлѣба, не имѣющихъ ни досуга, ни средствъ для умственныхъ занятій, отнята всякая возможность къ образованію. Грубое невѣжество такъ же неразлучно съ ними, какъ дурная пища и зараженная вредными міазмами атмосфера. Кто желаетъ изъ читателей поближе познакомиться съ нашимъ взглядомъ на этотъ предметъ, тотъ можетъ обратиться къ статьѣ, болѣе подробно разбирающей этотъ вопросъ, къ статьѣ подъ заглавіемъ: „О значеніи университетовъ въ системѣ народнаго воспитанія".

Наконецъ, третье условіе умственныхъ успѣховъ народа и соотвѣтственнаго имъ хорошаго соціальнаго развитія состоитъ въ самомъ объемѣ накопляемыхъ знаній. Выражаясь языкомъ арифметики, сумма ума одного народа сравнительно съ суммою ума другого опредѣляется относительной цифрой 1) образованныхъ дѣятелей, 2) открытій и изобрѣте-

ній, которыми обогащаетъ себя общество. Что касается первыхъ, то они являются по мѣрѣ того, какъ чувствуется въ нихъ потребность; у народа дикаго, гдѣ все живетъ одной животной силой и войной, нѣтъ надобности въ умственныхъ занятіяхъ, слѣдовательно, нѣтъ надобности и въ дѣятеляхъ, разработывающихъ науку. Всѣ интересы и нужды дикаря удовлетворяются чисто-физическимъ трудомъ, и потому сила мускуловъ, необузданная отвага въ бою и ловкость въ убійствѣ подобныхъ себѣ людей, цѣнятся выше всего; кто больше принесетъ человѣческихъ череповъ на тризну побѣды, тотъ и считается героемъ. Вокругъ него группируется военная каста, безусловно управляющая подвластной ей толпой. Но какъ скоро эта животная жизнь начинаетъ уступать свои права умственной дѣятельности, вызываемой развитіемъ новыхъ потребностей и инстинктовъ въ обществѣ, сословіе мирныхъ гражданъ, преданныхъ умственному труду, начинаетъ пользоваться уваженіемъ, и общество ожидаетъ отъ него осуществленія своихъ лучшихъ стремленій. На мѣстѣ военнаго лагеря становится школа; вмѣсто дикихъ упражненій войны совершаются спокойныя побѣды соціальнаго труда. Образованіе дѣлается необходимой стихіей, безъ которой общество не можетъ жить. Тамъ, гдѣ прежде работала одна физическая сила, теперь работаетъ умъ; онъ нуженъ каждому — и ремесленнику, стоящему у машины, и механику, изобрѣтающему эту машину; онъ нуженъ матросу на кораблѣ и путешественнику, отправляющемуся въ море для новыхъ открытій. Всѣ соціальныя отношенія такъ складываются, что безъ образованія трудно ступить шагъ, чтобъ не сдѣлать ошибки и не повредить своимъ личнымъ интересамъ. Потребность въ людяхъ образованныхъ съ каждымъ днемъ чувствуется больше, трудъ ихъ дѣлается самымъ благодарнымъ и общественное положеніе самымъ почтеннымъ. Само собою разумѣется, что недостатка въ такихъ дѣятеляхъ не можетъ быть, если только не отнимаютъ у нихъ свободы дѣйствовать и не отравляютъ разными препятствіями и безъ того тяжелаго ихъ труда. Слѣдовательно, увеличеніе числа людей образованныхъ прямо зависитъ отъ развитія общественныхъ потребностей и благопріятныхъ условій самой дѣятельности ихъ. Нѣтъ потребностей и этихъ условій — нѣтъ, или мало, и мыслящихъ людей. А если ихъ мало, то умственный прогрессъ народа долженъ возрастать медленно или находиться въ совершенномъ застоѣ. Самыя худшія реакціи обществъ всегда были реакціями противъ независимости мысли и совѣсти. Но если умственный трудъ вполнѣ обезпеченъ со стороны его благородной свободы, безъ которой ему нельзя и существовать, то онъ естественно стремится къ изысканію новыхъ сторонъ въ жизни, къ такимъ открытіямъ, которыя удовлетворяли бы его смѣлые и пытливые порывы. Оригинальность мысли есть неразлучный спутникъ независимаго ума. Рутина, вялость, посредственность и робость суть свойства крайняго отупѣнія или разсчет-

ливаго шарлатанства. Поэтому, общество, если только оно умѣетъ цѣнить свое мыслящее сословіе, должно всѣми мѣрами поддерживать въ немъ оригинальность ума. Только оригинальный умъ способенъ открывать великія истины и новыя направленія, какъ въ практической, такъ и въ умственной жизни; только оригинальный умъ рѣшается вступить въ борьбу съ предразсудками, питая къ нимъ по своей натурѣ непреодолимое отвращеніе; только у такого ума достаетъ силы для отраженія пошлыхъ насмѣшекъ, оскорбленій, доносовъ и для одолѣнія всевозможныхъ препятствій. Если разъ этотъ умъ пробиваетъ себѣ отверзтіе сквозь заскорузлую общественную кору, то онъ, подобно вулканическому пламени, освѣщаетъ горизонтъ на далекое разстояніе и навсегда покрываетъ горячей лавой—и лягушекъ, и близъ пасущихся ословъ. Но общество тупое, съ узкими понятіями, рутинными привычками, общество запуганное, копѣечное, обыкновенно, боится оригинальнаго ума, отталкиваетъ его отъ себя, и въ этомъ случаѣ оно походитъ на того дровосѣка, который, сидя на суку, рубилъ его подъ собой... Говоря вообще, исторія представляетъ очень мало такихъ эпохъ и обществъ, которыя бы благопріятствовали дѣятельности независимыхъ и оригинальныхъ талантовъ; путь ихъ усѣянъ разными колючками, а розы доставались на долю крѣпкихъ лбомъ. Обижаться тутъ нечѣмъ, а пожалѣть можно о многомъ... — Такимъ образомъ, для хорошаго умственнаго развитія народа необходимо соединеніе возможно большаго числа мыслящихъ людей съ возможно-большею оригинальностью ума. Но и этого мало. Кто близко наблюдалъ за распространеніемъ знанія, тотъ могъ убѣдиться, что идеи, особенно новыя, медленно прививаются къ обществу и часто переживаютъ нѣсколько поколѣній, сотни лѣтъ—прежде, чѣмъ обращаются въ общенародное достояніе. Рѣдкое открытіе, которымъ теперь гордится человѣчество, не рисковало погибнуть отъ недостатка сочувствія и средствъ; рѣдкій изъ геніальныхъ людей не попробовалъ бѣдности, тюрьмы и цѣпей. Это еще ничего; но вотъ что дурно, — рѣдкій изъ нихъ не разочаровался въ своихъ надеждахъ и не усталъ на полдорогѣ. Отчего это? Опять оттого же, что среда, чрезъ которую проводится мысль, или мало сочувствуетъ ей, или такъ глупа, что даже сочувствовать не можетъ. Притомъ, у всѣхъ европейскихъ обществъ, и особенно въ странахъ полуварварскихъ еще слишкомъ мало средствъ для большого распространенія знаній между массами. Книги дороги, школъ мало, и безграмотныхъ людей въ общемъ итогѣ придется едва ли не болѣе 100 человѣкъ на одного грамотнаго. Да и этими средствами не вездѣ располагаетъ общество такъ, какъ слѣдовало бы, безъ посторонняго вмѣшательства. Кромѣ того сословныя перегородки мѣшаютъ обобщенію тѣхъ идей, которыя считаются удобными для высшаго или средняго класса, и вовсе неудобны для большинства народа. Наконецъ, и то надо замѣтить, что еслибъ человѣческая идея распространялась съ быстротой солнечнаго

луча, то и тогда практическій результатъ ея приходилъ бы не скоро. Отъ пониманія какой-нибудь нелѣпости до уничтоженія ея на дѣлѣ лежитъ множество переходовъ. Кто, напримѣръ, изъ людей мыслящихъ не сознавалъ въ XVI или XVII столѣтіи, что пытка — вещь отвратительная, унижающая до ремесла палача и судью, который судитъ, и того, кто утверждаетъ эту пытку? Противъ нея кричали моралисты, возставали философы, ее клеймила всякая порядочная литература, и если собрать всѣ книги, написанныя объ этомъ предметѣ, то онѣ составятъ цѣлую библіотеку, и все-таки людей пытали и другіе люди шли наслаждаться этими грустными зрѣлищами. И что же? Прошло нѣсколько столѣтій, и только въ концѣ XVIII вѣка гуманная идея перешла въ самую жизнь, и пытка была вычеркнута изъ юридическихъ кодексовъ... Но почему въ одной странѣ знаніе распространяется быстрѣе, а въ другой медленнѣе — вопросъ этотъ можетъ быть удовлетворительно разрѣшенъ только послѣ изученія всего соціальнаго организма того или другого народа.

Бокль останавливается на этомъ вопросѣ съ особеннымъ вниманіемъ, онъ посвящаетъ ему двѣ лучшія главы своей книги, сравнивая въ нихъ исторію умственнаго развитія Англіи и Франціи. Изъ этого мастерскаго очерка, исполненнаго мѣткихъ характеристикъ и глубокихъ идей можно видѣть ясно, что англійскій умъ обязанъ своимъ успѣхомъ двумъ счастливымъ обстоятельствамъ — отсутствію правительственнаго вмѣшательства въ умственную дѣятельность народа и сильному скептицизму; напротивъ, французскій умъ, ясный и смѣлый въ отвлеченныхъ теоріяхъ, на практикѣ былъ подавленъ постоянно возраставшимъ вліяніемъ политической власти. Вліяніе это, возведенное Людовикомъ XIV въ идеалъ абсолютнаго произвола и нетерпимости къ свободному мнѣнію, подобно духу зла проникло во всѣ складки французской жизни и остановило ея естественное теченіе. До конца XVII вѣка историческія явленія той и другой страны имѣютъ поразительное сходство; какъ въ Англіи, такъ и во Франціи тотъ же протестъ ума противъ злоупотребленій церкви, тѣ же гражданскія войны, и одинаковый исходъ ихъ, тѣ же стремленія литературы, выразившіяся въ отрицаніи преданія и лицемѣрія среднихъ вѣковъ. Но на Людовикѣ XIV оканчивается это сходство, и судьбы двухъ націй расходятся въ противоположныя стороны. „Различіе это между Франціей и Англіей, говоритъ Бокль, — такъ замѣчательно, что пониманіе причинъ его существенно важно для пониманія европейской исторіи, оно бросаетъ свѣтъ на другія событія косвенно-соединенныя съ нимъ. Кромѣ того, это изслѣдованіе, независимо отъ научнаго интереса, имѣетъ высокую практическую пользу. Оно раскроетъ то, что начинаетъ входить въ сознаніе только въ послѣднее время, — что въ политикѣ, для которой опредѣленные принципы еще не выработались, первыми условіями успѣха служатъ взаимныя уступки, обмѣнъ и терпимость; оно покажетъ крайнюю безпомощность самыхъ искусныхъ правителей, когда

онѣ пытаются парализировать новыя стремленія старыми правилами; оно покажетъ тѣсную связь между знаніемъ и свободой, между возрастающею цивилизаціей и развитіемъ демократіи; оно покажетъ, что для прогрессивнаго народа требуется и прогрессивная политика; что въ извѣстныхъ границахъ духъ обновленія есть единственное средство безопасности; что никакая политическая система не можетъ противиться потоку и движенію общества, если только она не поправляетъ свой механизмъ и не расширяетъ своего содержанія; что даже въ матеріальномъ отношеніи никакая страна не можетъ долго оставаться спокойной и счастливой, если только народъ не увеличиваетъ свои права и преимущества постепенно и, такъ сказать, не поглощаетъ въ себѣ государства. Спокойствіе Англіи и ея свобода послѣ революціи должны быть приписаны признанію этихъ великихъ истинъ, между тѣмъ какъ вслѣдствіе пренебреженія ими другія націи подверглись самымъ ужаснымъ бѣдствіямъ. Только въ одномъ этомъ отношеніи интересно прослѣдить, какъ эти два народа, сравниваемые нами, приняли діаметрально противоположное направленіе въ политикѣ, хотя, въ другихъ отношеніяхъ, мнѣнія ихъ, какъ мы видѣли выше, были сходны. Говоря другими словами, намъ хотѣлось бы показать, какъ случилось, что французы, шедшіе однимъ путемъ съ англичанами въ знаніи, скептицизмѣ, въ религіозной терпимости, такъ рѣзко остановились въ политическомъ развитіи, — какъ случилось, что умъ, понимавшій такія великія вещи, оказался столь тупымъ въ пониманіи свободы, что, несмотря на геройскія усилія фронды, онъ не только палъ подъ гнетомъ Людовика XIV, но никогда не думалъ и сопротивляться ему; наконецъ, сдѣлавшись рабами по душѣ и тѣлу, они выросли въ гордости отъ такого состоянія, которое бы самый плохой англичанинъ оттолкнулъ отъ себя ногой, какъ невыносимое бремя. Причину этого различія надо искать въ томъ протекціонномъ духѣ, который такъ вреденъ и, впрочемъ, такъ очевиденъ. Этотъ духъ всегда былъ сильнѣе во Франціи, чѣмъ въ Англіи. Въ самомъ дѣлѣ, между французами онъ сопровождается даже въ настоящее время самыми дурными результатами; ему они обязаны той наклонностью къ централизаціи, которая отражается въ складѣ ихъ правительства и въ направленіи ихъ литературы".

„Этотъ духъ заставляетъ ихъ удерживать стѣсненія, которыя такъ долго угнетали торговлю, — оберегать монополіи, разрушенныя болѣе свободной системой въ Англіи. Этотъ духъ заставляетъ ихъ мѣшаться въ естественныя отношенія производителя съ потребителемъ, заводить такія мануфактуры, которыхъ бы иначе никогда не существовало и въ которыхъ поэтому никто не имѣлъ бы нужды, нарушать ходъ промышленности и, подъ видомъ покровительства земледѣльческому сословію, уменьшать производительность труда, отвлекая его отъ натуральныхъ каналовъ, по которымъ онъ продолжалъ свое естественное теченіе". (Hist. of Civil., 1 т. 436 — 439 стр.).

Убѣжденный въ томъ, что протекціонная система Франціи надѣлала много зла народной жизни, Бокль вообще думаетъ, что политическая власть тѣмъ больше оказывала услугъ человѣческому развитію, чѣмъ меньше вмѣшивалась въ его интересы. Гдѣ давленіе ея было легче, тамъ жилось лучше и просторнѣе... Теперь посмотримъ на главный выводъ, къ которому приводитъ насъ Бокль и съ которымъ такъ или иначе сцѣпляются его второстепенныя соображенія. Изъ первой нашей статьи читатель могъ видѣть, что Бокль построилъ свою смѣлую теорію на равновѣсіи двухъ силъ — феноменовъ природы и человѣческаго духа. Тамъ, гдѣ физическія явленія взяли перевѣсъ надъ умомъ человѣка, не осилившимъ вліянія ихъ, общественное развитіе остановилось и народъ окаменѣлъ въ неподвижномъ состояніи. Такой участи подверглись всѣ *не европейскія* цивилизаціи, погибшія на полдорогѣ своего восхода, или убитыя въ самомъ зародышѣ. Для нихъ природа была такимъ тираномъ, какого нельзя отыскать въ самыхъ темныхъ лѣтописяхъ человѣческихъ дѣлъ. Другая судьба ожидала цивилизаціи *европейскія*, гдѣ люди побѣдили внѣшнія преграды и силой ума проложили себѣ путь къ безпрерывному развитію, котораго границы трудно предвидѣть въ будущемъ. Мы уже высказали свои возраженія противъ теоріи Бокля, которая грѣшитъ абсолютнымъ принципомъ, насилующимъ частные факты; теперь намъ остается показать недостатки другой половины его философскаго анализа.

Принимая всякое соціальное движеніе за результатъ умственнаго развитія народа, историкъ въ то же время считаетъ образованіе продуктомъ общественныхъ условій. Онъ оговорился прежде, что бѣдный народъ не можетъ образовать себя, потому что все его время и силы употребляются на добываніе хлѣба. Когда онъ голоденъ и раздѣтъ, тогда ему нѣкогда думать о развитіи своихъ высшихъ способностей. Съ другой стороны образованіе—вовсе на такая вещь, чтобы ее нужно было насильно навязывать человѣку. Необходимость образованія чуствуется всякимъ, и какъ скоро представляется возможность получить его, то оно безъ всякихъ постороннихъ побужденій и регламентовъ распространяется въ обществѣ. Есть особенный разрядъ мечтателей, очень умныхъ и благородныхъ, которые думаютъ, что всю общественную жизнь, всю систему ея нравственныхъ и политическихъ началъ можно перестроить съ помощью образованія. Когда народъ на столько разовьется, что въ состояніи будетъ убѣдиться въ нелѣпости своего положенія, тогда, по мнѣнію нашихъ доктринеровъ, онъ пойдетъ быстрыми шагами къ своему прогрессу. — Нѣтъ спору, что образованіе — великое дѣло, но оно только въ соединеніи съ благопріятными общественными условіями оказываетъ народу дѣйствительную пользу. Бокль показалъ намъ это на Франціи, странѣ очень образованной и въ то же время самой отсталой въ гражданскомъ отношеніи. Другой примѣръ мы можемъ взять изъ исторіи

нашего собственнаго развитія. Многіе утверждаютъ не безъ основанія, что грамотность производитъ у насъ совершенно обратное дѣйствіе, какого не предполагаютъ ея жаркіе ревнители. Это нисколько неудивительно. Представьте, что большинство грамотныхъ людей, не имѣя матеріальныхъ средствъ довести своего образованія до болѣе чистыхъ сферъ, остановится на томъ развитіи, какое можетъ дать чтеніе такихъ книгъ, какія пописываютъ для народа, напр., у насъ, или такихъ журналовъ, какъ „Домашная Бесѣда"; — спрашивается, что лучше: полнѣйшее невѣжество или подобное образованіе? Первое мы всегда предпочтемъ второму. Ничего не можетъ быть отвратительнѣе, какъ видѣть человѣка полуобразованнаго и въ то же время испорченнаго ложнымъ направленіемъ знанія. Онъ гораздо скорѣе можетъ сдѣлаться негодяемъ, чѣмъ тотъ, кто никогда не прочиталъ ни одной книги и не слышалъ о существованіи журналовъ. Поэтому есть много случаевъ, когда образованіе положительно вредитъ; но и при самыхъ лучшихъ условіяхъ его, оно только въ гармоніи съ хорошей общественной обстановкой и съ другими прогрессивными силами поправляетъ состояніе народа. Бокль только прикоснулся къ этому вопросу, но не разъяснилъ его удовлетворительно. Потому умственное развитіе играетъ у Бокля двойную роль: у одного народа оно производитъ чудеса, а у другого оказывается совершенно ничтожнымъ. А между тѣмъ, по мнѣнію историка, оно составляетъ рычагъ Архимеда въ европейскихъ цивилизаціяхъ вообще. Самъ же Бокль замѣчаетъ, что теоретически разработанное знаніе—еще далеко отъ непосредственнаго примѣненія его къ жизни: слѣдовательно, въ исторіи какой бы то ни было цивилизаціи намъ не столько интересно знать, какъ велико было образованіе народа, сколько то, какъ онъ распорядился имъ для практическихъ цѣлей, а этотъ-то предметъ и упущенъ изъ вида почтеннымъ реалистомъ.

Другой пунктъ, не удовлетворяющій насъ въ книгѣ Бокля, — это отсутствіе сравнительнаго анализа тѣхъ соціальныхъ условій, которыя доводятъ народъ до нищеты и рабства или до колоссальнаго богатства и свободы. Пониманіе этихъ условій и освѣщеніе ихъ историческимъ взглядомъ чрезвычайно важно, но Бокль поставилъ въ тѣни множество любопытныхъ вопросовъ, прямо относящихся къ его предмету. Такъ, напримѣръ, экономическое состояніе страны, — столь капитальный дѣятель въ народной жизни, совершенно исчезаетъ изъ его кругозора. Онъ на сотнѣ страницъ разсуждаетъ о томъ, какъ запретительная система развратила Францію, и ни слова не говоритъ о матеріальномъ состояніи общества. Вотъ почему мы не видимъ настоящихъ причинъ паденія націй и возвышенія ихъ. По теоріи Бокля выходитъ такъ: если народъ глупъ и не развитъ, то у него не можетъ быть ни хорошей администраціи, ни религіи, ни литературы; но почему же онъ дѣлается глупъ и несообразителенъ, — этого историкъ не раскрываетъ. Поэтому, Бокль

часто изъ реалиста обращается въ идеалиста, и на мѣсто дѣйствительныхъ вещей подставляетъ воображаемыя. Правда, задача его такъ обширна и такъ разнообразна, что нельзя требовать отъ одного человѣка полнаго разрѣшенія ея, но это не можетъ служить извиненіемъ такому блистательному уму, какъ Бокль; онъ поступилъ бы лучше, еслибъ сократилъ внѣшнія границы своего изслѣдованія, но расширилъ внутреннее содержаніе его. Тогда „Исторія англійской цивилизаціи" выиграла бы въ ясности и логической послѣдовательности, хотя рамки ея были бы тѣснѣе и авторскихъ претензій меньше. Впрочемъ, главная заслуга Бокля вовсе не въ томъ, чтобы сказать послѣднее слово объ исторіи: такое желаніе можетъ имѣть только бездарнѣйшій историкъ, для котораго наука — не жизнь, а мертвая формула, не допускающая ни ошибокъ, ни увлеченій; Бокль самъ не разъ признается, что онъ только кладетъ первый камень въ основу того построенія, надъ которымъ придется работать будущимъ поколѣніямъ. Онъ даетъ первый толчокъ идеѣ, въ высшей степени плодовитой и свѣтлой, и въ этомъ мы видимъ первое и послѣднее его превосходство.

Доселѣ мы имѣли дѣло съ Боклемъ, какъ съ отвлеченнымъ мыслителемъ; теперь мы намѣрены посмотрѣть на него, какъ на историка. Доселѣ насъ занимали общія идеи Бокля, теперь онъ займетъ насъ, какъ художникъ, рисующій характеры и событія на основаніи избранной имъ программы. Съ тѣмъ вмѣстѣ мы увидимъ ближе, какъ прилагаетъ Бокль свои принципы къ историческому развитію народовъ.

III.

Въ первыхъ двухъ главахъ я старался объяснить историческіе законы, на основаніи которыхъ разсматриваетъ Бокль развитіе человѣческихъ обществъ, ихъ возвышеніе и паденіе, ихъ жизнь и смерть. Въ силу этихъ законовъ одни народы должны были безвозвратно погибнуть, оставивъ по себѣ кровавые слѣды глухихъ страданій, нищеты и рабства; другіе, достигнувъ условной степени прогресса, остановились въ своемъ движеніи, какъ останавливаются и гніютъ рѣчныя воды, попавшія въ болота; третьи — и эту счастливую долю выдѣляетъ Бокль только европейскимъ народамъ — вышли на торную дорогу цивилизаціи, но такъ мало еще сдѣлали для своего развитія, что доселѣ вся умственная и соціальная ихъ жизнь была постоянной борьбой съ препятствіями и нелѣпостями прошлыхъ вѣковъ. Поэтому, слово *цивилизація*, какъ понимаетъ его Бокль, есть отрицательное начало, вытекающее изъ разрушенія старыхъ ошибокъ и предразсудковъ. Чѣмъ скорѣе одолѣваетъ ихъ нашъ умъ, тѣмъ быстрѣе мы идемъ впередъ, такъ что каждый новый шагъ европейскихъ народовъ есть новый ударъ, наносимый отжившимъ и от-

живающимъ заблужденіямъ. Другого пути для человѣческаго развитія и быть не можетъ. Всякое стремленіе къ творческой дѣятельности есть произволъ отдѣльныхъ личностей, всегда оканчивающійся насиліемъ. Строитъ самая жизнь, поставленная въ хорошія условія, а наше дѣло позаботиться объ этихъ условіяхъ. Это мнѣніе Бокля выражается имъ въ слѣдующихъ четырехъ категоріяхъ: во-первыхъ, развитіе человѣчества зависитъ отъ успѣховъ знанія въ обширномъ значеніи этого слова, — знанія всѣхъ законовъ и средствъ, какими только располагаетъ окружающая насъ природа; во-вторыхъ, этому знанію, основанному на анализѣ, долженъ предшествовать духъ сомнѣнія и отрицанія; въ-третьихъ, по мѣрѣ распространенія умственнаго развитія многіе предразсудки теряютъ свой кредитъ и уступаютъ мѣсто открытіямъ науки; въ-четвертыхъ, великимъ врагомъ человѣческаго движенія Бокль считаетъ покровительственное начало.

Изъ этихъ четырехъ принциповъ, руководящихъ взглядами Бокля, первый составляетъ исходную точку его воззрѣнія на исторію; остальные три, какъ неизбѣжное логическое слѣдствіе, развиваются сами собою изъ основного принципа: умственный застой народа ведетъ за собой отсутствіе скептицизма, т. е. первоначальнаго пробужденія нашихъ мыслительныхъ силъ, вступающихъ въ борьбу съ окружающими явленіями, какъ свѣтъ борется съ тьмой; а тамъ, гдѣ духъ изслѣдованія и сомнѣнія еще спитъ, люди живутъ безотчетнымъ довѣріемъ, которое замѣняетъ для нихъ знаніе и строго выработанныя убѣжденія; иначе говоря, невѣжественный народъ неспособенъ разсуждать о своихъ дѣлахъ, неспособенъ понимать свои интересы. Слѣдовательно, главный пунктъ, около котораго группируетъ Бокль всѣ свои теоретическіе выводы, заключается въ *знаніи*, — въ богатствѣ умственныхъ открытій и въ достоинствѣ самого направленія умственной дѣятельности. Но какъ добывается это знаніе народомъ? Не падаетъ ли оно свыше, подобно небесной маннѣ, какъ думаютъ наши до пошлости скучные доктринеры? Не распространяется ли оно посредствомъ разныхъ проектовъ и поученій, которыми заваливаетъ насъ педагогическая рутина, воспитанная на розгахъ, учебникахъ и христоматіяхъ, которые еще хуже розогъ? Отвѣчая на этотъ вопросъ, Бокль тѣсно связываетъ его съ экономическимъ состояніемъ народа, развитіе котораго предшествуетъ образованію страны и упадокъ котораго сопровождается непремѣннымъ невѣжествомъ и дикостью общества; такъ что бѣдность есть неотразимое условіе другого недостатка — крайней тупости народа. „Хотя прогрессъ знанія, говоритъ Бокль, — и ускоряетъ впослѣдствіи накопленіе богатства, но вѣрно и то, что при самомъ зарожденіи общества, сначала должно накопиться богатство, а потомъ уже можетъ быть положено и начало знанію". Провѣрить этотъ фактъ очень не трудно на исторіи какого угодно народа. Въ Америкѣ, напримѣръ, всѣ усилія распространить грамотность и образованіе въ массахъ до тѣхъ

поръ оставались совершенно безплодными, пока матеріальное состояніе этой страны не улучшилось съ ходомъ такихъ событій, какъ политическая независимость ея и внутренняя свободная дѣятельность. То же самое мы видимъ въ Индіи. Англійская филантропія, не всегда чистая отъ купеческаго барышничества, съ давнихъ поръ употребляетъ разныя средства для привитія образованія этому бѣдному и угнетенному народу; она учреждаетъ для него школы, вводитъ англійскій языкъ въ преподаваніе элементарнаго ученія, раздаетъ награды какъ наставникамъ, такъ и воспитанникамъ за хорошіе успѣхи; но ничто не помогаетъ, и рабы жадной торговой метрополіи находятся въ томъ же дикомъ положеніи, если только не хуже, — въ какомъ они находились за десять вѣковъ раньше. Это совершенно понятно. Только съ матеріальнымъ довольствомъ, когда первыя и существенныя потребности общества удовлетворены, является желаніе умственнаго развитія, которое при современномъ порядкѣ вещей требуетъ много свободнаго времени и обходится очень не дешево. Поэтому, бѣдный житель Сибири — самоѣдъ и киргизъ — вовсе не думаютъ о томъ, какъ бы понабраться разныхъ знаній; главная забота ихъ сосредоточивается исключительно на дневномъ пропитаніи, которое поглощаетъ весь ихъ досугъ и всѣ ихъ способности. Кромѣ того, съ экономическимъ развитіемъ страны, когда она научилась сберегать свой трудъ и производительныя силы, начинается промышленная дѣятельность, имѣющая огромное вліяніе на распространеніе образованія. За плугомъ и бороной еще можетъ не безъ успѣха работать безграмотный и дикій человѣкъ; онъ можетъ взрывать землю и бросать въ нее сѣмя, не учившись арифметикѣ и письму; но на фабрикѣ, въ торговой конторѣ, за механическимъ станкомъ или за счетной книгой банкира ему нечего дѣлать безъ грамотности, съ одной мускульной силой и физической ловкостью.

Но, признавая необходимость матеріальнаго довольства для развитія народнаго образованія, Бокль не представляетъ намъ удовлетворительнаго разрѣшенія этого вопроса при самомъ обзорѣ европейскихъ цивилизацій. Онъ зорко слѣдитъ за всѣми умственными движеніями народовъ, которыхъ онъ успѣлъ коснуться въ своемъ неоконченномъ сочиненіи, но нигдѣ не раскрываетъ взаимной связи, существующей между образованіемъ и экономическимъ бытомъ страны. Я уже замѣтилъ, что это — одинъ изъ важныхъ недостатковъ его историческаго анализа и одинъ изъ самыхъ крупныхъ пробѣловъ его книги. Было бы интересно знать: на сколько именно понижалось умственное образованіе народа, когда онъ дѣлался бѣденъ, и на сколько оно поднималось, когда онъ богатѣлъ. Отыскать точную пропорцію между этими дѣятелями той или другой страны — значитъ разъяснить множество самыхъ любопытныхъ фактовъ. Само собою разумѣется, что не одно богатство играетъ роль въ развитіи умственныхъ силъ народа; здѣсь много замѣшивается причинъ чисто-политическихъ, направленныхъ дурными правительствами прямо къ тому,

[illegible] образование для известных политических целей, и эти причины — случайные и большею частью совершенно неизвестные, так что сильным лицам не стоит преобразований в этом роде. І если историк останется и в стороне, не изучив их во всей полноте и отношении добытых им материалов, то ему открыть лишь только половину своего предмета, и другая половина, и самая важная и интересная, забывается в той же мере, в какой [illegible] не [illegible] писание всего истории человеческой жизни какого-то [illegible] при царе Салтане. Тем невероятнее это для Запада, которого [illegible] заключается именно в этих вопросах, потому что умственное образование, то внешнее [illegible] которые были всегда [illegible] на [illegible] жизнь. Но вместе с тем начинается и [illegible] из [illegible] с [illegible] страны, какие специальные причины задерживают [illegible] и какие способствуют его развитию, чтобы объяснить его постепенные [illegible] и ложные направления, что его хорошие и худые результаты — все это происходит молчанием у Запада.

Англия не существует этого недостатка так много, как в его [illegible] Испании. Это — одна из самых слабых сторон Запада в критическом отношении, но это одна из самых [illegible] в его исторической картине. І остановлюсь на ней как для того, чтобы подтвердить мнение, высказанное выше, так и для того, чтобы поближе познакомиться с Западом, как с художником, рисующим в [illegible] жизнь целых народов, погибшего из своего рабства и [illegible]. Впрочем, надо заметить [illegible] Запада *сумасшедшим*, і вовсе не хочу сравнивать его с тем [illegible], которые рисовали исторические портреты і [illegible] для прежнего удовольствия такого-же художника, как они сами, не имея на виду [illegible] серьезной цѣли, [illegible] или менее глубокой идеи, [illegible] прежде всего [illegible] человѣка, і потому без [illegible] предаваться искусству для искусства і [illegible] не забывать, что в человѣческой жизни, будет ли это жизнь народа или [illegible], есть [illegible] которые управляют [illegible] событиями. Поэтому, [illegible] его исторической [illegible] — все это — [illegible]. [illegible] — идея, [illegible] и во всем [illegible] и [illegible].

Англия, по преимуществу, страна политических и общественных [illegible]. Ее [illegible] воспоминания о прежнем могуществѣ [illegible] с самым живым [illegible] высшей [illegible] роли: ее рыцарские и патриотические [illegible] постоянно соединялись с горьким разочарованием в их [illegible] [illegible]. Испания стремилась [illegible], чего другие [illegible] стремились: ей [illegible] [illegible] составить [illegible] [illegible] как [illegible]

ные народы, она всегда считала себя передовой страной, будучи на самомъ дѣлѣ отсталой и даже не понимающей своей отсталости; ея роскошная южная природа, ея прекрасные берега и долины, способные обогатить вдвое большее населеніе, покрыты бѣдными и грязными массами людей; ея общественная жизнь была странной смѣсью фанатизма съ идеальными стремленіями кроткаго народа, отвратительной нищеты съ желаніемъ казаться богатой, постоянныхъ порывовъ къ славѣ съ дѣйствительнымъ безсиліемъ; Испанія нѣкогда могла располагать судьбой всей Европы, и подъ конецъ не съумѣла справиться съ своей собственной; ея обширныя владѣнія, въ которыхъ „не заходило солнце", съ теченіемъ времени отпали отъ нея и, отпадая, покрыли ее позоромъ страшныхъ злодѣяній. Судьба этой страны — рѣшительное бѣльмо на глазу постепеновцевъ; они смотрятъ на исторію человѣческихъ обществъ, какъ на барабанщика, по приказанію марширующаго впередъ, а между тѣмъ Испанія представляетъ имъ безпрерывный рядъ реакцій, изумительныхъ своей противоположностью. Въ XVI вѣкѣ она отличалась силой, богатствомъ, цвѣтущей промышленной дѣятельностію, вліяніемъ на всемірныя событія; а въ XVII вѣкѣ ея бѣдность и упадокъ всѣхъ общественныхъ силъ были такъ велики, что подобнаго примѣра мы не находимъ ни въ Ирландіи, ни въ Турціи. Какимъ же образомъ эта прежняя царица морей, эта гордая монархія, носившая на своей головѣ три короны, впослѣдствіи обратилась въ кучу нищенскихъ лохмотьевъ, въ толпу католическихъ поповъ, высосавшихъ ея лучшіе соки?

Вотъ надъ этимъ-то явленіемъ и останавливается Бокль, раскрывая причины и послѣдствія его. Съ этою цѣлію онъ прямо обращается къ внѣшней природѣ Испаніи, и въ физическихъ условіяхъ ея видитъ первыя препятствія для соціальнаго развитія этой страны. По мнѣнію его, здѣсь соединились всѣ неблагопріятныя обстоятельства, порождающія въ народѣ суевѣрія и отвращеніе отъ положительнаго знанія — эпидеміи, голодъ, землетрясенія, непостоянство и нездоровость климата. Въ борьбѣ съ этими непріязненными стихіями человѣкъ потерялъ энергію ума и воли, и вмѣсто собственныхъ силъ, сталъ искать спасенія въ сверхъ-естественныхъ силахъ, созданныхъ его напуганнымъ воображеніемъ. „Если мы исключимъ, говоритъ Бокль, — сѣверную оконечность Испаніи, то двѣ характеристическія черты ея климата суть жаръ и сухость, которыя еще болѣе усиливаются необыкновенною естественною трудностью для орошеній, потому что рѣки, пересѣкающія страну, бо́льшею частію текутъ въ глубокихъ ложбинахъ, неудобныхъ для орошенія почвы, которая всегда была замѣчательно безплодна. Благодаря этому и рѣдкости дождей ни одна европейская страна, столь щедро надѣленная въ другихъ отношеніяхъ, не испытывала такихъ серьезныхъ и частыхъ неурожаевъ и, слѣдовательно, голода. Въ то же время климатическія перемѣны, особенно въ центральныхъ провинціяхъ, дѣлаютъ Испанію обыкновенно не-

здоровой. Это общее направленіе, сопровождаемое въ средніе вѣка постоянными случайностями голода, опустошало страну заразительными болѣзнями. Если къ этому мы прибавимъ, что на полуостровѣ, вмѣстѣ съ Португаліей, землетрясенія были чрезвычайно разрушительны и возбуждали всѣ тѣ суевѣрныя чувства, которыя вызываются этимъ бѣдствіемъ, то мы составимъ нѣкоторое понятіе о непрочности жизни и о той ловкости, съ которой честолюбивое духовенство могло обратить это обстоятельство въ орудіе своей власти". (History of Civiliz. in Engl. II т. стр. 3 — 5). Такимъ образомъ физическіе феномены, свойственные вообще тропическимъ мѣстностямъ, сковали умственныя способности испанцевъ и привели ихъ отъ слѣпого суевѣрія къ тому ужасному фанатизму, котораго костры не угасали впродолженіи двухъ съ половиною вѣковъ.

Затѣмъ идутъ событія въ томъ же направленіи, но съ другой—нравственной стороны. Завоеваніе Испаніи маврами, особенно ненавистными христіанской Европѣ ихъ религіей, еще сильнѣе раздуло суевѣріе испанцевъ и завязало восьмивѣковую борьбу между католиками и мохаммеданами. Эта ожесточенная борьба, отравившая жизнь двѣнадцати поколѣній, имѣла характеръ строго католическій; она была ведена фанатиками, подъ вліяніемъ разныхъ чудесъ и небесныхъ явленій, которыми грозили старики и юноши. Духовенство, конечно, не преминуло воспользоваться и этимъ настроеніемъ умовъ. Съ каждымъ годомъ вліяніе его увеличивалось и, наконецъ, достигло почти безусловнаго контроля надъ страной раззоренной, и упавшей духомъ подъ гнетомъ опасности и рабства. Христіанское населеніе, отступившее въ астурійскія горы или на границу Сѣвера, обнищавшее и избитое, унесло съ собой послѣднія остатки возникавшаго общественнаго развитія и мало по малу утратило ихъ совершенно. Наступила повсемѣстная бѣдность, а за нею невѣжество которое, въ свою очередь, увеличило суевѣріе и раболѣпство, такъ рѣзко отмѣтившія исторію испанскаго народа.

Впослѣдствіи, когда ему удалось выгнать мавровъ съ полуострова и возвратить независимость земли и церкви, въ характерѣ націи осталась глубокая черта ненависти ко всему, что́ не носило имени католика. Испанецъ ненавидѣлъ еретика, какъ врага своего по преданію, какъ врага церкви по убѣжденію, и когда дѣло шло о преслѣдованіи *невѣрнаю*, онъ не зналъ границъ чувству своей мести. Духовенство поддерживало въ немъ это чувство. Время и другія равносильныя событія обратили суевѣріе Испаніи въ ея главное національное свойство, такъ что всѣ эти палачи, засѣдавшіе передъ трибуналомъ инквизиціи за столомъ, покрытымъ чернымъ сукномъ и распятіемъ, были выраженіемъ самого народа. Бокль замѣчаетъ, что болѣе свирѣпые изъ королей фанатиковъ были особенно любимы испанцами. Точно также сожженіе еретиковъ на кострахъ, происходившее на площадяхъ въ присутствіи высшаго монашества, доставляло величайшее наслажденіе толпѣ, соби-

равшейся на эти зрѣлища гораздо охотнѣе, чѣмъ на бой быковъ. Эти варварскія сцены до такой степени были въ національномъ характерѣ Испаніи, что въ торжественные праздники или по случаю какого-нибудь счастливаго народнаго событія для удовольствія католиковъ сожигали нѣсколько человѣкъ, обвиненныхъ въ ереси.

Послѣ этого дѣлаются понятными тѣ страшные симптомы фанатизма, который хуже всякаго мороваго повѣтрія губилъ людей за религіозныя убѣжденія. Когда оффиціальная церковь соединилась съ свѣтской властью въ одномъ стремленіи — искоренять еретиковъ, тогда система преслѣдованія вооружилась небывалой дотолѣ силой. Въ правленіе Карла V одни Нидерланды потеряли отъ 50,000 — 100 тысячъ лучшихъ гражданъ, преданныхъ смерти за то, что они не хотѣли быть католиками. При Филиппѣ II, который говорилъ, что „лучше вовсе не царствовать, чѣмъ царствовать надъ еретиками", гоненія за религію были главною цѣлью его внѣшней и внутренней политики. Герцогъ Альба хвалился, что въ пять или шесть лѣтъ его управленія Нидерландами, онъ казнилъ болѣе восемьнадцати тысячъ, не считая тѣхъ, кто погибъ отъ его меча на полѣ битвы. Въ XVII столѣтіи, когда за Филиппомъ II послѣдовалъ рядъ королей слабыхъ, зараженныхъ ханжествомъ и руководимыхъ монахами, безпечныхъ и больныхъ идіотовъ, духовенство предприняло крестовый походъ противъ всѣхъ иновѣрцевъ, населявшихъ Испанію. Положеніе ихъ и безъ того было въ высшей степени тяжелое. Лишенные правъ гражданства, преслѣдуемые на каждомъ шагу инквизиціонной полиціей, принужденные скрывать свой образъ мыслей и чувствъ отъ государственнаго шпіона и церковника, трепетавшіе и день и ночь за жизнь своихъ дѣтей и за цѣлость своего состоянія, они ежеминутно ходили надъ волканомъ; имъ не обезпечено было ни одно естественное право человѣка, ни въ обществѣ ни въ семействѣ. Но этого было мало. Въ 1602 году архіепископъ Валенсіи представилъ испанскому королю (Филиппу III) проектъ для радикальнаго уничтоженія послѣднихъ мавровъ, какіе только еще оставались въ Испаніи. Онъ совѣтовалъ поступить съ ними такъ, какъ Давидъ поступилъ съ филистимлянами и Саулъ съ амаликитянами; онъ доказывалъ, что разрушеніе Армады, посланной противъ Англіи въ 1588 году, и неудачный походъ въ Алжирію были слѣдствіемъ небеснаго гнѣва за то, что Испанія доселѣ не истребляетъ еретиковъ дома. Поэтому онъ убѣждалъ короля изгнать всѣхъ мавровъ, за исключеніемъ только нѣкоторыхъ, кого можно было обратить въ рабство и послать работать на галеры или въ американскіе рудники. Мнѣніе это подкрѣпилъ своимъ голосомъ и другой архіепископъ изъ Толедо, и только въ одномъ отношеніи расходился съ планомъ своего собрата. Первый думалъ, что дѣти семи лѣтъ должны быть освобождены отъ общаго наказанія и, вырванныя изъ семействъ, могутъ быть удержаны въ Испаніи. Но архіепископъ Толедскій не допускалъ и этого смягченія;

изъ опасенія, что чистая христіанская кровь можетъ оскверниться отъ соприкосновенія съ кровью невѣрныхъ: онъ считалъ за лучшее скорѣе избить всѣхъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей, чѣмъ позволить хоть одному еретику заразить испанскую землю. Всѣ эти мнѣнія подтверждались теологическими доводами, примѣрами ветхозавѣтной исторіи и въ заключеніе обѣщалась неувядаемая слава Филиппу III. И нашелся такой идіотъ изъ королевскихъ министровъ, который привелъ въ исполненіе эту варварскую мѣру. „Около одного милліона, говоритъ Бокль, — самыхъ дѣятельныхъ жителей Испаніи были гонимы, подобно дикимъ звѣрямъ, потому что искренность ихъ религіозныхъ убѣжденій была заподозрѣна. Многіе были убиты, когда они приближались къ берегу; многіе были брошены въ море, а большая часть въ самомъ плачевномъ видѣ была высажана на землю Африки. Во время плаванія на многихъ изъ кораблей толпа матросовъ возставала на мавровъ, убивала мужчинъ, похищала женщинъ и топила дѣтей. Кто успѣлъ спастись, тотъ вылѣзъ на варварійскій берегъ, гдѣ Бедуины напали на пришлецовъ и многихъ изъ нихъ истребили мечомъ; другіе бѣжали въ пустыню и погибали отъ голода; мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній о числѣ уничтоженныхъ жизней, но, основываясь на одномъ авторитетномъ показаніи, можно вѣрить, что изъ 140,000 мавровъ, перевезенныхъ въ одну экспедицію къ берегамъ Африки, свыше 100,000 погибли самыми ужасными видами смерти, въ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ ихъ изгнанія изъ Испаніи“. (Hist. of Civil. т. II, стр. 49 — 50). И это называлось на языкѣ современныхъ ханжей полнымъ, великимъ торжествомъ.

И, дѣйствительно, католическое духовенство торжествовало. Его пламенная ненависть къ еретикамъ, наконецъ, потухла въ холодной крови ихъ; его эгоистическое изувѣрство не знало болѣе предѣловъ своему вліянію; во дворцѣ и въ пастушескомъ шалашѣ монахъ былъ главный судья и рѣшитель гражданскихъ помысловъ и чувствъ; его подстерегающій глазъ слѣдилъ за всѣми поступками людей и на всемъ оставлялъ слѣды своего наблюденія. Лицемѣріе и ложь сдѣлались обыкновенными свойствами испанца, который подъ латами рыцаря носилъ сердце и мозгъ Торквемады. Кто хотѣлъ проложить себѣ почетную карьеру и добиться обезпеченнаго положенія, тотъ поступалъ въ сословіе клерикаловъ, такъ что лучшіе испанскіе писатели, какъ, напримѣръ, Сервантесъ и Лопе де-Вега были монахами или прелатами. При такомъ общемъ настроеніи народа правительство въ рукахъ духовенства было игрушкой. Все зависѣло — и совѣсть короля, и распоряженія министровъ, и безгласныя совѣщанія Кортесовъ — отъ тайныхъ или явныхъ внушеній духовнаго сословія. Теперь нечего было и думать о свободѣ мнѣнія или о развитіи образованія. Ночныя тѣни были слишкомъ густы, чтобъ пропустить хоть одинъ лучъ свѣта. Всякая попытка смѣлаго ума преслѣдовалась, какъ ересь; всякая оригинальность идеи выкуривалась изъ общества, какъ

зараза. „Всѣ вѣрили, замѣчаетъ Бокль, — и никто не хотѣлъ размышлять и изслѣдовать". Открытія въ области естественныхъ наукъ, получившія блистательное примѣненіе у другихъ народовъ, въ Испаніи строго запрещались; такъ философія Бэкона была отвергнута обскурантизмомъ профессоровъ, которые по прежнему жевали Аристотеля; великолѣпная теорія Ньютона не допускалась въ университетахъ подъ страхомъ наказанія; кровообращеніе Гарвея только черезъ полтораста лѣтъ сдѣлалось извѣстно Испаніи. Немудрено, что на всемъ полуостровѣ, среди населенія постоянно страдавшаго отъ эпидемическихъ болѣзней, не было ни одного порядочнаго медика и ни одного даже дурного натуралиста. Испанскіе прелаты, подобно нашимъ славянофиламъ, боялись нововведеній и совѣтовали держаться національной старины и почвы въ какія бы вязкія болота ни пришлось зайдти. А что это была за почва, на которой паслись эти ослиныя челюсти? Бокль отзывается о ней слѣдующимъ образомъ: „невѣжество, въ которое сила противныхъ обстоятельствъ, погрузила Испанію и ея бездѣятельность, какъ физическая, тамъ и умственная, были бы невѣроятны, еслибъ не подтверждались очевидными фактами. Грамонъ, лично познакомившійся съ состояніемъ страны, во второй половинѣ семьнадцатаго вѣка, говоритъ, что высшіе испанскіе классы не только не изучали наукъ или литературы, не едва кое-что знали изъ самыхъ общихъ событій, случившихся внѣ ихъ отечества. Нисшія сословія, прибавляетъ Грамонъ, были также лѣнивы и разсчитывали на иностранцевъ, чтобы собрать свою жатву, скосить сѣно и построить жилище. Другой очевидецъ мадридскаго общества въ 1679 году свидѣтельствуетъ, что люди даже высшаго круга вовсе не считали необходимымъ воспитаніе своихъ сыновей... Книги, если только это не были книги душеспасительнаго содержанія, признавались совершенно безполезными; никто не обращался къ нимъ, никто не собиралъ ихъ и до XVIII вѣка въ Мадридѣ не было ни одной публичной библіотеки. Въ другихъ городахъ, гдѣ образованіе оффиціально было введено, преобладало такое же невѣжество. Саламанка была мѣстомъ самаго стариннаго и знаменитаго университета и ужь если гдѣ, то здѣсь слѣдовало бы искать поощренія умственныхъ занятій. Но де-Торресъ, испанецъ, самъ учившійся въ Саламанкѣ въ началѣ XVIII вѣка, говоритъ, что онъ лѣтъ пять провелъ въ этомъ университетѣ—прежде, чѣмъ услыхалъ, что существуютъ какія-то математическія науки". (Hist. of Civil. т. II, стр. 72 — 73).

Къ чему же привели страну испанскіе славянофилы и почвенники? Чего добились эти ослиныя челюсти, на разныя голоса ревѣвшія противъ обще-человѣческихъ открытій, противъ освѣжающаго вліянія другихъ образованныхъ народовъ? Онѣ добились того, что умственная дѣятельность Испаніи, замкнутая въ свою душную и мрачную атмосферу, совершенно прекратилась; но вмѣстѣ съ ней прекратилась и всякая энергія мысли. Способности испанца до того отупѣли, что ни

въ одной отрасли политическихъ, общественныхъ и ученыхъ занятій не видно было способнаго человѣка; всѣ прозябали среди глубокой безпечности и поразительной нищеты. Никто даже не чувствовалъ потребности въ другой, лучшей жизни; никто не сознавалъ, что эти милліоны рукъ и головъ, коснѣвшіе въ лѣности и неподвижности, были способны думать и дѣлать хорошія вещи и быть полезными не только себѣ, но и человѣчеству. Чтобы дорисовать картину испанскаго общества въ это время, я передамъ характеристику его словами самого Бокля:

„Обозначить различныя стези, по которымъ Испанія клонилась къ упадку, едва возможно, особенно когда сами испанцы, стыдясь своей собственной исторіи, не хотѣли сообщить потомству лѣтописи своего позора; такъ что напрасно мы стали бы искать у нихъ подробныхъ разсказовъ о презрѣнномъ правленіи Филиппа IV и Карла II, что составляетъ періодъ почти восьмидесяти лѣтъ. Впрочемъ, нѣкоторые факты мнѣ удалось собрать, и они очень важны. Въ началѣ XVII вѣка народонаселеніе Мадрида простиралось до 400,000 душъ, а въ началѣ XVIII вѣка, менѣе чѣмъ до 200,000. Севилья, одинъ изъ богатѣйшихъ городовъ Испаніи, въ XVI вѣкѣ заключалъ въ себѣ болѣе шестьнадцати тысячъ ткацкихъ станковъ, занимавшихъ сто тридцать тысячъ рабочихъ. Въ правленіе Филиппа V отъ этихъ шестнадцати тысячъ уцѣлѣло менѣе, чѣмъ три тысячи, и въ отчетѣ Кортесовъ, представленномъ Филиппу IV въ 1662 году, говорилось, что въ городѣ уцѣлѣло только четверть прежняго народонаселенія, что даже виноградники и оливы, воздѣлываемые въ окрестностяхъ и приносившіе значительную долю благосостоянія этой странѣ, были почти совершенно брошены. Толедо, въ половинѣ XVI столѣтія, имѣлъ свыше пятидесяти шерстяныхъ мануфактуръ, въ 1665 году ихъ оказалось только тридцать, и все торговое движеніе было перенесено маврами въ Тунисъ. По той же причинѣ искусство мануфактурной обработки шелка, которой славился Толедо, было вполнѣ уничтожено, и около сорока тысячъ людей, жившихъ этимъ ремесломъ, лишились всякихъ средствъ къ существованію. Другія отрасли промышленности испытали ту же участь. Въ XVI и въ началѣ XVII столѣтія Испанія славилась производствомъ перчатокъ, которыя выдѣлывались въ огромномъ количествѣ и развозились по разнымъ частямъ свѣта, даже въ Индію, и особенно цѣнились въ Англіи и Франціи. Но Мартинецъ де-Мата, писавшій въ 1655 году, свидѣтельствуетъ, что въ это время этотъ источникъ богатства совершенно истощился; выдѣлка перчатокъ, прежде существовавшая, по словамъ его, въ каждомъ испанскомъ городѣ, теперь прекратилась повсюду. Въ цвѣтущей провинціи Кастиліи все пришло въ запустѣніе; даже Сеговія закрыла свои фабрики и сохранила одно воспоминаніе о своемъ прежнемъ изобиліи. Паденіе Бургоса совершилось такъ же быстро; торговля этого славнаго города погибла; пустынныя улицы и безлюдные дома его представляли такую картину

опустошенія, что одинъ современникъ, пораженный отсутствіемъ жизни, энергично выразился: Бургосъ потерялъ все, кромѣ своего имени. Въ другихъ мѣстностяхъ результаты были одинаково печальны. Превосходныя провинціи юга, роскошно надѣленныя природой, прежде были такъ богаты, что въ случаѣ нужды однѣ могли своими налогами наполнить императорскую кассу; но теперь онѣ такъ быстро обнищали, что въ 1640 г. едва нашли возможнымъ обложить ихъ податью, которая была бы производительна. Во второй половинѣ XVII вѣка порядокъ вещей сдѣлался еще хуже; нищета и истощеніе народа превзошли всякое описаніе. Въ окрестныхъ селахъ Мадрида жители буквально умирали съ голоду, а земледѣльцы, имѣвшіе хлѣбные запасы, отказывались продавать его, потому что какъ ни нуждались они въ деньгахъ, но имъ было страшно видѣть кругомъ себя гибель своихъ семействъ. Вслѣдствіе этого столица находилась въ опасности остаться безъ хлѣба, и когда обыкновенныя угрозы не произвели своего дѣйствія, тогда нашли необходимымъ, чтобы кастильскій президентъ, сопровождаемый вооруженной силой и публичнымъ палачомъ, обошелъ сосѣднія деревни и принуждалъ ихъ жителей везти свои произведенія на мадридскіе рынки. И это бѣдственное состояніе царило по всей Испаніи. Эта нѣкогда богатая и счастливая страна была покрыта толпой монаховъ и церковниковъ, которыхъ неутолимая хищность пожирала послѣднія крохи народнаго добра. Потому, правительство, несмотря на крайнее безденежье, не могло ничего собрать съ народа. Взиматели податей, принужденные взыскивать недоимки, употребляли самыя отчаянныя продѣлки; они не только захватывали постели и всю домашнюю посуду, но снимали крыши съ домовъ и продавали эти матеріалы, за что̀ попало. Жители обращались въ бѣгство; поля лежали невоздѣланными; множество людей умирало отъ нужды и болѣзней; цѣлыя деревни къ концу семьнадцатаго вѣка были покинуты, и во многихъ городахъ болѣе двухъ третей домовъ лежали въ развалинахъ".

„Среди этого поголовнаго раззора Испанія потеряла свой духъ и энергію. Сила и жизнь прекратились во всѣхъ отправленіяхъ общественнаго организма. Испанскія войска потерпѣли пораженіе при Рокруа въ 1643 году, и нѣкоторые писатели приписываютъ этому пораженію уничтоженіе испанской военной репутаціи. Впрочемъ, эта бѣда была однимъ изъ многихъ болѣзненныхъ симптомовъ. Въ 1656 году было предложено спустить небольшой флотъ, но число прибрежныхъ рыбныхъ ловлей до того упало, что невозможно было найдти матросовъ даже для тѣхъ немногихъ кораблей, которые требовались для флота. Морскія карты, давно извѣстныя въ странѣ, были затеряны или валялись забытыми; невѣжество испанскихъ мореходцевъ было такъ замѣчательно, что никто не хотѣлъ полагаться на нихъ. Что же касается до сухопутнаго войска, то въ одномъ отчетѣ объ Испаніи XVII столѣтія гово-

рятся, что большая часть испанскихъ солдатъ дезертировали изъ подъ своихъ знаменъ, а оставшіеся вѣрными влачились въ лохмотьяхъ и, не получая жалованья, умирали съ голоду. Изъ другихъ свѣдѣній видно, что нѣкогда могущественное королевство упало до беззащитнаго состоянія; пограничные города не имѣли стражи; крѣпости осунулись и развалились; запасныя депо были безъ аммуниціи, арсеналы безъ оружія, мастерскія безъ рабочихъ и даже искусство кораблестроенія исчезло".

„Между тѣмъ, какъ страна мучилась всеобщимъ истощеніемъ, какъ будто пораженная какимъ нибудь смертельнымъ недугомъ, самыя ужасныя сцены разыгрывались въ столицѣ передъ глазами короля. Жители Мадрида голодали, и деспотическія мѣры, принятыя для снабженія города хлѣбомъ, оказывали только временное пособіе. Многіе валялись на улицахъ отъ истощенія и умирали тамъ, гдѣ падали, другіе встрѣчались на большихъ дорогахъ въ полуживомъ состояніи, и никто не хотѣлъ помочь имъ. Наконецъ, народъ дошелъ до отчаянія и снялъ съ себя всякую отвѣтственность. Въ 1680 году не только мадридскіе рабочіе, но и многіе изъ торговыхъ людей составили шайки, громили частные дома, грабили и убивали жителей среди бѣлаго дня. Въ послѣднія двѣнадцать лѣтъ XVII вѣка Мадридъ находился въ состояніи не постояннаго возстанія, а анархіи. Общество распустилось и, казалось, впало въ первоначальную дикость. Выражаясь энергическими словами одного современника — „свобода и стѣсненіе сдѣлались равно неизвѣстными." Обыкновенныя отправленія исполнительной власти прекратились, и мадридская полиція, не получавшая денегъ за свою службу, разбѣжалась и предалась грабительству. Далѣе, казалось, не было никакого средства помочь злу." Дѣйствительно, поправить зло было трудно. Движеніе французской мысли XVII вѣка отозвалось и въ Испаніи; свѣтъ, брошенный Вольтеромъ и энциклопедистами въ средневѣковую тюрьму, въ которой задыхалась Европа, отразился и на пиринейскомъ полуостровѣ; но это были косвенные лучи, скользнувшіе по песчаной землѣ. Правда, реформы Карла III и его открытая борьба съ духовенствомъ многое измѣнили къ лучшему, но всѣ эти преобразованія были для Испаніи не больше, какъ гальваническимъ сотрясеніемъ трупа. Послѣ Карла III наступилъ прежній порядокъ вещей, и Испанія, пробужденная на нѣсколько лѣтъ, снова заснула своимъ полумертвымъ сномъ. Тѣ же іезуиты, только не въ львиной, а въ овечьей шкурѣ, воротились въ свою классическую родину, тотъ же произволъ съ одной стороны и то же раболѣпіе съ другой — господствовали въ обществѣ. Умственные и соціальные перевороты XIX вѣка, коснувшіеся самыхъ отсталыхъ народовъ, почти вовсе не коснулись Испаніи. Ея конституціонныя формы, ея муниципальныя учрежденія, ея свобода печати — все это доселѣ напоминаетъ своей неловкой пародіей лучшіе эпизоды изъ исторіи Донъ-Кихота. Дѣло въ томъ, что усилія отдѣльныхъ лич-

ностей, какъ это было въ 1812, 1820 и 1836 годахъ, были совершенно безсильны преобразовать народную жизнь. Всякая правительственная реформа въ сущности дѣлала гораздо больше вреда, чѣмъ пользы, потому что вызывала реакцію, которая еще глубже укореняла едва затронутое зло. Такъ, инквизиція, нѣсколько разъ отмѣняемая законами, снова возстановлялась тѣми же законами. И что особенно было дурно, — то же самое общество, которое видѣло на себѣ нѣкоторыя хорошія послѣдствія болѣе свободныхъ учрежденій, съ особенной любовью возвращалось къ старому порядку вещей, какъ будто этому обществу только и нужны были іезуитскія проповѣди, тюрьмы, костры инквизиціи и постоянный гнетъ, къ которому отчасти привыкъ народъ, развращенный множествомъ самыхъ пагубныхъ обстоятельствъ. Нѣтъ сомнѣнія, что человѣку, долго носившему цѣпи, не легко разставаться и съ ними, но все же лучше сбросить ихъ поскорѣе, если только онѣ не въѣлись въ живое мясо и не вросли въ самые члены... Разсматривая эту черту испанскаго раболѣпства, Бокль приписываетъ ее отсутствію общественнаго мнѣнія, которое должно было дѣйствовать на улучшенія народной жизни снизу, а не ожидать его только сверху. Говоря о постоянномъ противодѣйствіи законодательному и административному прогрессу, онъ, между прочимъ, выражается такъ: „Все это было въ порядкѣ вещей. Все это было результатомъ длиннаго сцѣпленія причинъ, дѣйствовавшихъ впродолженіе тринадцати вѣковъ со времени открытія Аріанской борьбы. Эти причины довели испанцевъ до суевѣрія, такъ что стараться измѣнить ихъ природу посредствомъ законодательныхъ мѣръ было горькой насмѣшкой. Противъ суевѣрія есть только одно средство — знаніе; ничто другое не въ состояніи очистить эту язву человѣческаго ума. Безъ знанія — гной этой язвы всегда останется, и рабъ не сдѣлается свободнымъ. Только знанію законовъ и отношенію вещей европейская цивилизація обязана своими успѣхами; но этого-то и недоставало Испаніи. И до тѣхъ поръ, пока этотъ недостатокъ не будетъ удаленъ, пока знаніе и его испытующій духъ не пріобрѣтутъ права обсуживать предметы съ своей точки зрѣнія, мы напрасно будемъ надѣяться, что Испанія съ ея литературой, университетами, законодателями и всякаго рода преобразователями можетъ выйдти изъ этого отчаяннаго состоянія, въ которое поставило ее стеченіе обстоятельствъ. Ни одна политическая реформа, какъ бы она, повидимому, ни была благодѣтельна, не можетъ дать зрѣлыхъ плодовъ, если только не предшествуетъ ей общественное мнѣніе, а всякому измѣненію общественнаго мнѣнія должно предшествовать знаніе". (Hist. of Civil. т. II, стр. 112).

Все это совершенно справедливо и понятно. Но какъ же распространить знаніе въ странѣ, гдѣ народное воспитаніе доселѣ находится въ рукахъ самаго темнаго сословія — католическаго монашества? И какъ иначе воспитывать такой народъ, которому нравится получать

свое образованіе изъ рукъ клерикальнаго сословія? Что̀ дѣлать съ такимъ обществомъ, которое между угнетеніемъ и вооруженнымъ возстаніемъ не знало никакой другой свободы; гдѣ между рабомъ и господиномъ нѣтъ другой независимой личности? Но допустимъ, что народное воспитаніе Испаніи перешло бы въ руки самого общества, безъ всякаго вмѣшательства въ его интересы духовной власти, то откуда же возьметъ средства для образованія народъ бѣдный, едва существующій произведеніями своей земли; — народъ, который до сихъ поръ толпами стекается къ воротамъ Мадрида и проситъ милостыни для спасенія отъ голода. Самъ же Бокль утверждаетъ, что образованію должны предшествовать другія соціальныя реформы, дающія возможность націи приступить къ своему умственному развитію. Кромѣ того, напрасно думаетъ историкъ, что хорошее общественное мнѣніе, способное управлять націей въ самомъ лучшемъ видѣ, формируется только однимъ знаніемъ, какъ бы оно ни было обширно. У народа могутъ быть и отличныя школы, и цвѣтущая литература, и множество ученыхъ людей, и все-таки политическая жизнь этого народа не пойдетъ дальше испанской. Положимъ, что общественное мнѣніе какой нибудь страны отлично развито въ извѣстномъ направленіи, напримѣръ, въ пониманіи своихъ промышленныхъ выгодъ, но оно можетъ быть очень тупо и недальновидно въ пониманіи другихъ интересовъ. Это случается часто даже съ народами весьма образованными. Общественная самодѣятельность, о которой у насъ такъ много наговорили всякаго вздору, вовсе не обусловливается тѣмъ, что народъ умѣетъ читать и писать, а другими, болѣе существенными обстоятельствами, самой обстановкой общественной жизни. Если эта жизнь сложилась такъ, что человѣкъ можетъ свободно дѣйствовать и самъ располагать своимъ положеніемъ, то ужь, конечно, онъ не откажется отъ этой свободы и не станетъ учиться ей изъ какой нибудь ариѳметики. Кажется, не много толку надо имѣть на то, чтобы позаботиться о хлѣбѣ, когда я голоденъ и защитить себя, когда меня бьютъ. Чтобы пріобрѣсти такую самодѣятельность, вовсе не нужно ни ораторскихъ рѣчей въ парламентѣ, ни верхнихъ и нижнихъ палатъ, ни математическихъ диссертацій, а надо устроиться въ обществѣ такъ, чтобъ не быть ни голоднымъ, ни битымъ. Странно было бы думать, что мы возстаемъ противъ образованія; совсѣмъ не то; мы готовы горячо защищать его великія права и несомнѣнную пользу, но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобъ мы приписывали ему всеобъемлющее вліяніе и такую силу, какой оно на самомъ дѣлѣ не имѣетъ. Образованіе хорошо дѣйствуетъ и приноситъ огромную пользу тамъ, гдѣ и другія соціальныя условія не худы. А какія эти условія и какъ они добываются народомъ? Это вопросъ вовсе не хитрый.

Обращаюсь къ Испаніи. Оцѣнивая всю безплодность реформъ Карла III и его преемниковъ, Бокль доходитъ до того заключенія, что

пока нація необразованна, лучше не трогать ее реформами и оставить въ томъ же состояніи, въ какомъ она кисла нѣсколько вѣковъ. Но потому, что Карлу III не удалось достигнуть болѣе счастливыхъ результатовъ, никакъ еще нельзя порѣшить, что испанскій народъ отпѣтый и погибшій народъ. Преобразованія Карла III и всѣхъ его послѣдователей были тѣмъ неудачны, что ограничивались полумѣрами тамъ, гдѣ требовались полныя и широкія мѣры. Притомъ реформаціонный темпераментъ XVIII вѣка былъ вообще довольно близорукій; онъ дѣйствовалъ въ кругу чисто-административномъ или законодательномъ, и мало обращалъ вниманія на коренные общественные принципы; онъ улучшалъ и передѣлывалъ самое государство, его механическій составъ, а не понятія и жизнь самаго народа. Поэтому не рѣдко случалось то, что администрація была доведена до совершенства, законы написаны на все и для всѣхъ, полиція превосходная, столица самая богатая, были дороги и каналы, по дорогамъ разъѣзжали щегольскіе экипажи, по каналамъ плавало множество судовъ и лодокъ, а жизнь народа все таки никуда не годилась — была бѣдна и во всемъ ограниченна. Такія реформы, очевидно, не могли коснуться дальше поверхности и измѣнить порядокъ вещей въ самой его сущности. Въ Испаніи особенно онѣ были безполезны, потому что тамъ ничего нельзя было сдѣлать полумѣрами. Народъ страдалъ не временными и случайными недостатками, а искаженъ былъ исторіей тринадцати вѣковъ и безпрерывнымъ рядомъ несчастныхъ событій. Здѣсь нужны были такія же радикальныя средства, какъ радикальна была самая болѣзнь. Но этихъ-то радикальныхъ средствъ не предложили Испаніи ни Карлъ III, ни его преемники. Въ противномъ случаѣ результаты были бы совершенно другіе.

Говоря о натянутости нѣкоторыхъ выводовъ Бокля, я кстати укажу здѣсь и на другой недостатокъ его исторіи, о которомъ я упомянулъ прежде. Сознавая вполнѣ всю важность матеріальнаго благосостоянія народа, тѣсно связывая съ нимъ развитіе умственной и политической стороны общества, Бокль мало или почти вовсе не обращаетъ вниманія на экономическія условія Испаніи. Онъ не даетъ намъ по этому предмету ни статистическихъ цифръ, ни историческихъ данныхъ. Такихъ общихъ показаній, какъ слѣдующія: тогда-то въ Испаніи было столько населенія, столько мануфактуръ и рабочихъ, въ такомъ-то мѣстѣ производились шерстяныя матеріи, а въ такомъ-то шелковыя, — этихъ общихъ показаній слишкомъ мало, чтобы понимать дѣйствительное богатство или бѣдность народа. Читателю было бы интересно войдти вслѣдъ за историкомъ въ самыя подробности будничной жизни каждаго сословія, проникнуть въ хижину земледѣльца, посмотрѣть на его домашнюю обстановку, присутствовать за столомъ во время его обѣда, узнать въ точности, сколько въ его амбарѣ хлѣба для пропитанія семьи и для продажи на рынкѣ, сколько часовъ въ день онъ работаетъ для своего

существованія, почему голодаетъ и на что тратитъ попусту свои силы. Точно такъ же было бы любопытно заглянуть въ лавку купца и въ мастерскую фабриканта, въ кабинетъ ученаго, въ залу аристократа и въ келью монаха, познакомиться съ ихъ образомъ жизни, съ ихъ роскошью и недостатками, и провѣрить, какъ распредѣлялся трудъ и капиталъ между этими сословіями. Когда бы историкъ ввелъ насъ въ эту интимную жизнь испанскаго общества, тогда многія событія объяснились бы сами собою; тогда мы могли бы лучше судить о соціальныхъ причинахъ, задерживавшихъ народное развитіе, какъ умственное, такъ и политическое. Намъ нѣтъ дѣла до побѣдъ, внѣшнихъ завоеваній и административныхъ реформъ — всѣ эти факты случайные, въ которыхъ народъ принимаетъ участіе только пассивной стороной своего быта; онъ несетъ тяжесть войнъ, кормитъ своихъ правителей, и затѣмъ больше ничего не знаетъ. Но онъ живетъ и дѣйствуетъ въ тѣхъ низшихъ и для нашей аристократической учености незамѣтныхъ сферахъ, въ которыхъ происходитъ страдная и безпрерывная работа; тамъ онъ кладетъ свой потъ и свою кровь, свои силы и достояніе. Правда, эти темныя сферы вовсе непривлекательны для наблюдателя, привыкшаго изучать верьхи государственной мудрости; отъ этихъ сферъ несетъ дымомъ курной избы, запахомъ угольной копи, сыростью подземной дороги, вонью мозолистыхъ рукъ, но здѣсь-то и дѣлается все, чѣмъ мы гордимся и наслаждаемся въ своей цивилизаціи. Бокль едва коснулся этой стороны въ жизни народовъ, и тѣмъ отнялъ самый жизненный нервъ въ своемъ сочиненіи. Нѣтъ спору, что историку нашего времени почти невозможно располагать такимъ богатствомъ матеріаловъ, чтобы изучить во всей подробности жизнь какого бы то ни было народа; но въ такомъ случаѣ нельзя произносить и рѣшительныхъ приговоровъ надъ исторической судьбой тѣхъ или другихъ націй.

Въ заключеніе же настоящей статьи не считаю лишнимъ привести здѣсь общее воззрѣніе Бокля на испанскую цивилизацію.

Представивъ анализъ умственнаго состоянія Испаніи, съ которымъ мы познакомились выше, Бокль резюмируетъ его такъ: „теперь читатель можетъ понять настоящее значеніе испанской цивилизаціи. Онъ видитъ, сколько подъ громкими словами преданности и религіи скрывается тайныхъ и смертельныхъ золъ, которыя историкъ долженъ вывести на свѣтъ. Слѣпое повиновеніе, принимающее видъ недостойнаго раболѣпства передъ престоломъ и церковью, есть главный и существенный порокъ испанскаго народа. Это ихъ единственный національный порокъ, но его было достаточно, чтобы сгубить Испанію. Многія націи тяжело страдали имъ и доселѣ страдаютъ, но нигдѣ въ Европѣ онъ такъ долго не господствовалъ, какъ въ Испаніи; поэтому нигдѣ онъ не имѣлъ такихъ поразительныхъ и роковыхъ послѣдствій, какъ здѣсь. Идея свободы, если только въ истинномъ значеніи этого слова она гдѣ нибудь существовала,

въ Испаніи была убита. Были здѣсь взрывы и будутъ впереди; но это скорѣе взрывы анархіи, чѣмъ свободы. У самыхъ образованныхъ народовъ всегда есть стремленіе сообразоваться съ законами, даже несправедливыми, но повинуясь имъ, въ то же время требовать отмѣны ихъ; потому что гораздо лучше отклонять злоупотребленія, чѣмъ противиться имъ. Между тѣмъ какъ мы покоряемся частному неудобству, мы нападаемъ на систему, изъ которой это неудобство вытекаетъ. Чтобы нація стала на такую точку зрѣнія, — для этого необходима извѣстная зрѣлость ума, невозможная въ мрачные періоды европейской исторіи. Поэтому мы видимъ, что въ средніе вѣка хотя и были частныя смуты, но рѣдко случались возстанія. Съ шестьнадцатаго же столѣтія мѣстные безпорядки уменьшаются, но ихъ поглощаютъ большія революціи, которыя уничтожаютъ несправедливость въ самомъ ея источникѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что эта перемѣна благодѣтельна; отчасти потому, что всегда полезно восходить отъ дѣйствій къ самымъ причинамъ и отчасти потому, что революціи случаются рѣже, чѣмъ мѣстные безпорядки, и, слѣдовательно, общественный миръ подвергается меньшимъ потрясеніямъ, если люди ограничиваются широкими преобразованіями. Кромѣ того, мѣстные взрывы почти всегда вредны, а общіе перевороты всегда справедливы"...

„Въ Испаніи никогда не было общаго переворота или великой національной революціи. Народъ хотя часто жилъ безъ закона, но онъ никогда не былъ свободнымъ. Въ немъ еще доселѣ сохранилась эта особенная черта варваровъ, которая заставляетъ ихъ предпочитать случайную анархію систематической свободѣ. Въ Испаніи встрѣчаются чувства, общія нашей природѣ, которыхъ не могло задавить даже раболѣпіе и которыя повременамъ возбуждаютъ народъ къ сопротивленію несправедливости. Къ счастію, эти инстинкты — неотъемлемый удѣлъ человѣчества; они проявляются противъ нашей воли и часто составляютъ послѣднее средство противъ нелѣпостей тиранніи. И все это до сихъ поръ существуетъ въ Испаніи. Поэтому если испанцы возстаютъ противъ зла, то не потому, что они испанцы, а потому, что люди. Но даже въ самомъ сопротивленіи ихъ видно раболѣпіе".

„Въ связи съ этими привычками ума, столь свойственными природѣ испанцевъ, мы находимъ въ нихъ уваженіе къ старинѣ, необыкновенную живучесть старыхъ мнѣній, старыхъ вѣрованій, старыхъ обычаевъ, напоминающихъ о тѣхъ тропическихъ цивилизаціяхъ, которыя нѣкогда процвѣтали. Эти предразсудки нѣкогда были общи всей Европѣ; но съ шестьнадцатаго вѣка они стали умирать и, говоря сравнительно, теперь почти вездѣ исчезли за исключеніемъ Испаніи, гдѣ доселѣ благоденствуютъ. Въ этой странѣ они сохранили первобытную силу и производятъ ихъ естественные результаты. Поддерживая въ себѣ убѣжденіе, что всѣ болѣе важныя истины для нашего знанія уже давно извѣстны, испанцы не стремятся впередъ и не смотрятъ съ надеждой на будущее,

безъ которой ничего великаго нельзя сдѣлать. Народъ, слишкомъ слѣпо преданный своему прошлому, никогда не станетъ заботиться о своемъ внутреннемъ прогрессѣ; онъ едва способенъ вѣрить, что прогрессъ возможенъ. Для такого народа древность служитъ синонимомъ мудрости и всякое улучшеніе считается опаснымъ нововведеніемъ. Въ этомъ состояніи гнила Европа впродолженіи многихъ вѣковъ; въ этомъ состояніи гніетъ Испанія до сихъ поръ. Поэтому испанцы замѣчательны по ихъ неподвижности, по отсутствію стремленій и надеждъ, что̀ въ нашъ дѣловой и предпріимчивый вѣкъ отдѣляетъ ихъ отъ остального образованнаго міра. Думая, что надо дѣлать мало, они не спѣшатъ дѣлать и это малое. Думая, что наслѣдственное ихъ знаніе гораздо выше того, что они могли бы еще прибавить къ нему, они хотятъ сберечь свои умственныя пріобрѣтенія цѣлыми и нетронутыми, какъ будто малѣйшее измѣненіе ихъ можетъ понизить ихъ цѣну"...

„Въ результатѣ всего этого оказывается то, что наперекоръ правительственнымъ усиліямъ, наперекоръ иностранному вліянію и наперекоръ физическимъ улучшеніямъ, касающимся поверхности общества, но неспособнымъ проникнуть въ глубь его, въ Испаніи нѣтъ никакихъ признаковъ національнаго движенія; духовенство скорѣе усилилось, чѣмъ ослабѣло; малѣйшее покушеніе противъ католичества поднимаетъ народъ. Ни развратъ клерикальнаго сословія, ни отвратительные пороки, замаравшіе правительство въ настоящее столѣтіе — ничего не можетъ подорвать суевѣрія и рабскаго чувства, напечатлѣнныхъ вѣками въ умѣ и въѣвшихся въ сердце испанской націи".

1863 г.

КОЛЬБЕРЪ И ЕГО СИСТЕМА.

Вторая половина XVII вѣка была эпохой величайшаго переворота для Франціи. Старая, давнишняя борьба феодальнаго начала съ монархическимъ окончилась полной побѣдой въ пользу абсолютной власти. „L'état c'est moi" — Людовика XIV было послѣднимъ выраженіемъ личнаго произвола короля и окрѣпшей государственной централизаціи. На обломкахъ муниципальныхъ правъ и индивидуальной жизни является политическое *единство*, повитое интригами Ришелье, загрязненное корыстолюбіемъ Мазарини и облитое кровью безчисленныхъ жертвъ, безмолвно погибшихъ въ Бастиліи. Послѣ Фронды, послѣдняго демократическаго движенія среднихъ вѣковъ, какъ будто по мановенію магическаго жезла, встаетъ королевскій авторитетъ, окруженный внѣшнимъ блескомъ силы, побѣдъ, талантовъ, монументальной роскоши и ароматомъ лести. Наука, поэзія, искусство и церковная проповѣдь — все преклоняется передъ кумиромъ новой власти, все ищетъ „ея милости и взгляда". Олицетвореніемъ этой эпохи былъ человѣкъ, любившій деспотизмъ съ какимъ-то религіознымъ чувствомъ. Воспитанный подъ руководствомъ хитраго кардинала, подъ вліяніемъ суевѣрной матери, въ кругу ханжей и придворныхъ лакеевъ, Людовикъ XIV соединяетъ въ себѣ самые рѣзкіе контрасты. Гордый передъ народомъ, надменный передъ иностранными властителями, но смиренный въ кругу друзей и старыхъ аббатовъ, вѣжливый на словахъ съ преданными ему женщинами, но грубый съ ними на дѣлѣ, храбрый внѣ опасности, но трусъ передъ лицомъ ея, хитрый и откровенный, щедрый на обѣщанія и неблагодарный, онъ семьдесятъ лѣтъ держитъ въ своей рукѣ судьбу народа. Характеръ его отпечатлѣвается на всемъ обществѣ. Въ этомъ обществѣ, потрясенномъ гражданскими смутами, съ убитой политической совѣстью, верховнымъ закономъ становится безусловная покорность одной волѣ. Въ немъ бродятъ разнообразные элементы: молодая отвага Донъ-Жуана съ рыцарствомъ Донъ-Кихота, шутовство Ска-

пэна съ лицемѣріемъ Тартюфа; ножъ убійцы, кубокъ яда, клевета и интрига идутъ рядомъ съ великодушіемъ и честью. Дворъ дѣлается центромъ жизни; изъ него, какъ волшебнаго зáмка, разсылаются во всѣ концы Франціи полномочныя приказанія, награды безъ заслугъ, и казни безъ протеста. Отъ одного каприза больной головы или минутнаго раздраженія часто зависитъ участь многихъ семействъ и цѣлыхъ провинцій. Состоянія и люди возникаютъ съ баснословной быстротой или падаютъ отъ одного слова. Чувство законности и даже приличія, какъ будто, забыто. Съ постели грубаго и безобразнаго шута Ментенонъ переходитъ на постель самаго свѣтскаго короля, въ виду его жены и всего Парижа. Изъ ніортской тюрьмы и бѣднаго захолустья латинскаго квартала она является вторымъ лицомъ монархіи. Однимъ словомъ, въ вѣнцѣ Людовика XIV странно переплетаются розы съ репейникомъ, бриллiанты съ слезами угнетенной страны. „Онъ принялъ Францію больную, замѣтилъ Болинброкъ, — а оставилъ — мертвую".

Разсматривая этотъ періодъ съ точки политической силы, основанной на военной и административной системѣ, нельзя не удивляться счастливому соединенію обстоятельствъ. Повидимому, все ростетъ и зрѣетъ съ быстротою весенняго всхода; одно колоссальное предпріятіе смѣняется другимъ, и если не всегда удается, то всегда безмѣрно превозносится. Межъ тѣмъ какъ сухопутныя войска, предводимыя умными полководцами, изумляютъ Европу успѣхомъ побѣдъ, на моряхъ является огромный флотъ, которому завидуютъ Англія и Голландія; Средиземное море сливается съ океаномъ посредствомъ Лангедокскаго канала; отъ Версальскихъ садовъ до колоннады Лувра рѣзецъ скульптора, кисть живописца импровизируютъ чудеса искусствъ; на сценѣ, послѣ пошлаго провинціальнаго фарса, даются произведенія Мольера и Расина, самый языкъ, очищенный бесѣдой литературныхъ кружковъ и общественнымъ вкусомъ, принимаетъ новыя граціозныя формы. Роскошь, доведенная до безстыднаго мотовства, обращается въ непремѣнное условіе свѣтской жизни. Вмѣсто одного маршала, король окружаетъ себя восемью и увеличиваетъ придворный штатъ до восточныхъ размѣровъ. На шеѣ Монтеспанъ тѣмъ ярче горятъ алмазы и перлы, чѣмъ тягостнѣй — общественные налоги. Кругомъ Парижа празднуются аѳинскіе вечера, за которыми нерѣдко обнажаются мечи, и голова врага покупается однимъ взглядомъ королевской любовницы, танцы возводятся въ науку; картежная игра заражаетъ всѣ классы; наслѣдственныя имѣнія и кучи луидоровъ ставятся на карту и, въ нѣсколько минутъ, переходятъ изъ рукъ въ руки ловкихъ спекуляторовъ. Мазарини бросаетъ въ одинъ вечеръ по пятисотъ тысячъ франковъ въ подарокъ своимъ гостямъ, а Фуке, наканунѣ паденія и ареста, даетъ королю обѣдъ, стоившій не менѣе ста двадцати тысячъ ливровъ, — въ загородномъ домѣ, на устройство и обстановку котораго онъ истратилъ болѣе девяти милліоновъ.

Но за этими богатыми декораціями открывается совершенно иная картина. „Въ душѣ народа, по мнѣнію Джемса, незамѣтно происходила реформа, ложная по принципу, и гибельная по результату. Въ его понятіяхъ смѣшали свободу съ безумнымъ своеволіемъ, увѣривъ, что она — врагъ всякаго законнаго авторитета". (The Life and Times of Louis XIV. By James, т. II стр. 286). Въ такой политической школѣ, подъ тѣнью трона, воспитывалась живая Франція, усталая отъ сокрушительныхъ войнъ, бѣдная и раззоренная. Провинціи, одна за другой, теряли прежнія права и привиллегіи. Долѣе всѣхъ боролись Бретань и Провансъ, но и онѣ, наконецъ, замолчали. Прекрасныя письма Севинье служатъ надгробной ихъ эпитафіей. Парламентъ, генеральные штаты и комунальное управленіе, постепенно исчезая въ королевской власти, обратились въ бездушныя корпораціи, не имѣвшія ни уваженія въ общественномъ мнѣніи, ни гражданскаго мужества. „Подавленные всемогущимъ вліяніемъ, дѣйствующіе по приказанію избираемыхъ или губернатора, принуждаемые насильно подавать голосъ за назначенныхъ впередъ кандидатовъ, выборы сдѣлались трудными и безполезными. Ничего не можетъ быть отвратительнѣй въ этой пустой свободѣ, оставляемой деспотизмомъ, какъ справедливое сознаніе лицемѣрнаго употребленія ея. Малодушіе овладѣло всѣми; не хотѣли больше подавать мнѣнія, не имѣвшаго смысла"... (Une province sous Louis XIV. Par A. Thomas, стр. 312). Правда, по временамъ провинціи еще протестовали противъ королевскихъ эдиктовъ и стѣснительныхъ мѣръ, но эта оппозиція была больше эгоистической, чѣмъ народной, и находила, если не предателя, то отпоръ вооруженной силы. На мѣстѣ комунальной администраціи повсюду были введены продажныя должности; цѣной золота покупались самыя святыя обязанности — суда и защиты невиннаго. Число чиновниковъ только по части юстиціи и финансовъ простиралось до 45,780; окладная цѣнность всѣхъ королевскихъ должностей равнялась 459.630,842 ливрамъ, правительство, впрочемъ, получало изъ этой суммы не болѣе 187.276,978 ливровъ; по одному этому можно судить; какое грабительство существовало въ управленіи. Между тѣмъ это былъ одинъ изъ самыхъ обильныхъ источниковъ государственныхъ доходовъ. Вслѣдствіе развитія бюрократіи и упадка чувства справедливости, всякое покушеніе отстоять мѣстныя права или выгоды считалось государственнымъ преступленіемъ, и поборники общественныхъ интересовъ стали называться на оффиціальномъ языкѣ „канальей". Произволъ правительственныхъ органовъ былъ безграничный; воровство — явное. Королю, окруженному гаремомъ любовницъ и множествомъ дѣтей, нужны были деньги. „Подать, говоритъ Сисмонди,—слѣдовала за податью; несостоятельный крестьянинъ подвергался военнымъ наказаніямъ; у него отнимали все земледѣльческое имущество, продавали его, и раззоръ бѣдняка падалъ на его сосѣдей, которые были обязаны платить за него... Каждый приходъ отвѣ-

чалъ за своего неоплатнаго должника, и каждая провинція за свой приходъ". (Histoire des Francais, par Sismondi, т. 25 стр. 328.) И за всѣмъ тѣмъ, „финансовый кризисъ постоянно угрожалъ государству, которое уже давно, говоритъ Форбоне, существовало только кредитомъ, — безъ теплоты и жизни". (Recherches et Considérations sur les finances de France, par Forbonnais, т. 5, стр. 63.) Въ 1715 году, послѣ двадцати лѣтъ почти безпрерывныхъ войнъ, соединенныхъ со всевозможными бѣдствіями — голодомъ, наводненіями, падежомъ скота, неурожаями и убылью народонаселенія, общій заемъ Франціи доходилъ до двухъ милліардовъ. (Forbonnais). Само собой разумѣется, что вся эта тяга падала на самое полезное и дѣятельное сословіе — земледѣльцевъ. Они давали солдатъ и содержали войско. „Народъ, продолжаетъ Сисмонди, былъ еще бѣднѣе казны. Мануфактурная дѣятельность, вмѣстѣ съ изгнанными и замученными протестантами, остановилась; большая часть полей была заброшена; коммерція прекратилась... Не только избытокъ, но самое довольство исчезло... Для бóльшей части французовъ жить — значило удовлетворять господъ. Въ этой суровой борьбѣ съ нищетой всякая національная гордость, всякая любовь къ независимости, всякое благородное чувство изсякли. Въ этихъ людяхъ, столько выстрадавшихъ, осталась одна ненависть къ настоящему порядку вещей и горячее желаніе перемѣны его". (Sismondi. Histoire des Francais, т. 27, стр. 220). До насъ дошли самыя достовѣрныя свидѣтельства о современномъ положеніи Франціи. Локкъ, жившій въ 1671 году на югѣ ея, записывалъ каждый вечеръ, чтó видѣлъ кругомъ себя въ деревняхъ и на фермахъ: при чтеніи его журнала самое холодное сердце не можетъ выносить этихъ страданій. Черезъ сорокъ лѣтъ, Вобанъ, представляя королю проектъ, говоритъ въ немъ откровенно, что „у народа остались одни глаза, чтобы плакать"... „Изъ всѣхъ моихъ многолѣтнихъ изысканій, продолжаетъ онъ, — я хорошо замѣтилъ, что въ послѣднее время почти десятая часть народа доведена до нищенства, и дѣйствительно нищенствуетъ. Изъ другихъ девяти частей — пять не могутъ подать милостыни первой, потому что сами, съ небольшимъ различіемъ, тѣ же нищіе. Изъ остальныхъ четырехъ частей — три обременены и запутаны долгами и процессами; наконецъ, въ послѣдней категоріи, къ которой я отношу всѣхъ людей жалованныхъ, духовныхъ и свѣтскихъ, все дворянское сословіе, всѣхъ чиновниковъ военныхъ и гражданскихъ, — нельзя насчитать на сто тысячъ семействъ и десяти тысячъ такихъ, которыя жили бы въ большомъ довольствѣ". (Projet d'une dîme royale, par Vauban). Подъ конецъ жизни Лудовика XIV, Франція, разочарованная въ военномъ энтузіазмѣ, истощенная въ производительныхъ силахъ, находилась въ состояніи опасно-беременной женщины. И дряхлый деспотъ, съ надорваннымъ сердцемъ, осужденъ былъ смотрѣть на страну, потерявшую всѣ завоеванія, укрѣпленныя мѣста, съ открытыми границами

для внѣшнихъ враговъ, и съ глухимъ, но сильнымъ ропотомъ внутри. Смерть его была принята съ радостью, потому что только въ ней еще мерцала кой-какая надежда на спасеніе.

На сценѣ этого пышнаго и нищаго, веселаго и печальнаго царствованія личность Кольбера занимаетъ самое видное мѣсто. Съ его государственной дѣятельностью совпадаютъ лучшіе дни Людовика XIV; его уму и необыкновенному усердію Франція обязана развитіемъ промышленности и морскихъ силъ. Многія изъ благородныхъ намѣреній его не осуществились, потому что превышали данныя средства или были разрушены его бездарными преемниками; многія ошибки были доведены до крайности, но общая идея его доселѣ лежитъ краеугольнымъ камнемъ въ экономическомъ воспитаніи народовъ. Предметъ настоящей статьи не въ томъ, чтобъ обозрѣть всю дѣятельность Кольбера, а только оцѣнить его систему; для насъ важны не столько фактическія подробности, сколько внутренній смыслъ ея. Мы не оскорбимъ напраснымъ укоромъ славнаго имени, но и не простимъ ему недостатковъ.

Жанъ-Батистъ Кольберъ не былъ геній въ томъ значеніи, въ какомъ мы понимаемъ государственныхъ преобразователей. Его умственный темпераментъ не имѣлъ ничего необыкновеннаго; онъ не отличался ни смѣлостью реформаціонныхъ идей, ни глубокимъ теоретическимъ взглядомъ, ни дальновидными соображеніями выше времени и обстоятельствъ. Ничего подобнаго не было въ характерѣ Кольбера; но это былъ замѣчательный умъ, въ высшей степени реальный, соединенный съ твердой волей и рѣдкимъ трудолюбіемъ. Дѣятельность этого ума могла быть плодовитой только на положительной почвѣ, не лишенной ни благопріятныхъ условій, ни практической цѣли. Работая по шестьнадцати часовъ въ сутки, онъ изучалъ каждое дѣло до мельчайшихъ подробностей, и чѣмъ больше собиралъ данныхъ, тѣмъ вѣрнѣй и шире оглядывалъ предметъ. Знаніе факта, внимательная повѣрка его и систематическое занятіе были также необходимы для этого аналитическаго ума, какъ зоркій взглядъ и общая мысль для генія. Кольберу нужно было терпѣніе, на какое не былъ бы способенъ ни Дантъ, ни Байронъ, и въ этомъ терпѣніи тайна его успѣха. Въ наставленіяхъ сыну онъ главнѣе всего рекомендуетъ прилежаніе; „отъ него, говоритъ онъ, — зависитъ уваженіе и доброе имя“. (Colbert, par Clément, стр. 300). Съ кропотливымъ усердіемъ у него соединялась искренняя любовь къ самой обязанности; и это понятно. Чѣмъ больше мы разработываемъ извѣстный предметъ, чѣмъ глубже вникаемъ въ него, тѣмъ ближе сживаемся съ нимъ. Взгляните на этого натуралиста; просидѣвъ нѣсколько лѣтъ за изученіемъ какой-нибудь козявки, онъ совершенно вправѣ думать, что его дѣло — первое дѣло въ мірѣ, что выше его козявки нѣтъ интересовъ въ человѣческой жизни. Чтобъ пояснить личность Кольбера примѣромъ, мы не

[illegible] Робертъ Пиль. Оба они [illegible] оба [illegible] оба были [illegible]. Пиль также не былъ [illegible] былъ честный и [illegible] [illegible] Англія съ такой [illegible] — не [illegible] лучше и [illegible] [illegible] архивѣ, были собраны и [illegible] самые разнообразные матеріалы. Онъ зналъ до [illegible] каждаго вопроса, [illegible] каждаго члена, каждаго семейства; изъ кабинета [illegible] каждаго города, [illegible] что дѣлается въ Эдинбургѣ и Манчестерѣ, въ Парижѣ и въ Константинополѣ. И съ какою [illegible] онъ перечитывалъ дипломатическія депеши изъ Петербурга, доклады изъ Калькутты, соображенія архитектора, [illegible] раз-[illegible] за чей счетъ [illegible] и т. д. На все отвѣчаетъ немедленно, дѣлаетъ помѣтки, поправки и [illegible], чѣмъ [illegible] маетъ [illegible] или картинку; онъ опредѣляетъ [illegible] или кругосвѣтное путешествіе. Эта быстрота есть слѣдствіе навыка; у Пиля она была плодомъ [illegible] лѣтъ, проведенныхъ между кабинетомъ и канцеляріей. Подобно Кольберу, у него не было собственныхъ убѣжденій; онъ бралъ ихъ готовыми изъ того міра, въ которомъ дѣйствовалъ. Поэтому они оба не имѣли политической вѣры, или измѣняли ее подъ вліяніемъ чисто внѣшнихъ обстоятельствъ. Но на этомъ сходство ихъ и оканчивается. Что касается примѣненія дѣятельности, Кольберъ зависѣлъ отъ воли лица, а Пиль—отъ общественнаго мнѣнія. Первый работалъ по напередъ предписанной программѣ, а второй служилъ точнымъ выраженіемъ народной мысли; Пиль часто отступалъ отъ своего плана, мѣнялъ воззрѣнія, противорѣчилъ себѣ, потому что шелъ вмѣстѣ съ мнѣніемъ партіи, торговой, разсчетливой и эгоистической. Она управляла имъ, какъ своимъ камертономъ. Напротивъ, министръ Людовика XIV, не видя передъ собой другаго закона, кромѣ воли монарха, дѣйствовалъ рѣшительно и часто тиранически. Подъ рукой его гнулось общество, какъ гипсовый слѣпокъ подъ рукой лѣпнаго мастера. Если эта энергія принимала хорошее направленіе, она, разумѣется, была очень полезна; если же онъ ошибался, ошибки его, вмѣстѣ съ деспотизмомъ, носили характеръ поразительной нелѣпости. Поэтому мы замѣчаемъ въ нѣкоторыхъ его распоряженіяхъ упрямство. Обдумавъ предпріятіе наединѣ, самъ съ собой, Кольберъ больше не отступалъ отъ

него; препятсвія и неудачи только возбуждали его энергію; оппозиція или угроза воспламеняли его страсть, и онъ готовъ былъ на несправедливость, жестокость и даже клевету, когда дѣло шло о достиженіи задуманной цѣли. Такихъ примѣровъ въ его жизни было много. Доказательствомъ этого, между прочимъ, служитъ основаніе компаніи въ Западной Индіи. Она была любимой его мечтой, и онъ употребилъ всѣ усилія, чтобъ привить ее къ народной жизни; онъ убѣдилъ короля принять въ ней участіе, почти насильно раздавалъ акціи, составлялъ правила, поощрялъ и наказывалъ; но все напрасно — компанія не удалась; съ первыхъ же дней она потеряла кредитъ и разстроила колоніи. Не смотря на очевидную ошибку, Кольберъ восемь лѣтъ преслѣдовалъ фантомъ, пока не истощилъ послѣдняго средства.

Какъ человѣкъ системы и орудіе неограниченной власти, онъ способенъ былъ увлекаться. Современники не замѣтили въ немъ этой черты, они называли его человѣкомъ „мраморнымъ, безчувственнымъ", судя по наружности. Его морщинистый лобъ, густыя нахмуренныя брови, серьезный взглядъ, молчаливый пріемъ, наконецъ, холодная и нѣсколько рѣзкая манера ставили въ—тупикъ самыхъ неробкихъ посѣтителей. M-me Севинье, при всей своей развязности, стѣснялась и не находила рѣчи въ его присутствіи; но подъ этой жесткой оболочкой скрывалась горячая душа, когда ее волновала страсть или широкая мысль. Онъ поддавался увлеченію медленно, но увлеченный, шелъ гораздо дальше, чѣмъ можно было предположить. Иначе и не могло быть натуры пылкія и раздражительныя принимаютъ впечатлѣнія живо, но не глубоко; темпераменты флегматическіе, въ которыхъ, повидимому, нѣтъ ни одной чувствительной струны для пылкаго ощущенія, увлекаются рѣдко, но опасно. Раскаленная сталь не такъ легко охладѣваетъ, какъ стекло. Подъ вліяніемъ этихъ минутъ, Кольберъ забывалъ личныя отношенія и смѣло высказывалъ королю горькую правду. Однажды, по случаю чрезмѣрныхъ расходовъ, вызванныхъ постройкой Версаля, онъ писалъ Людовику XIV такъ: „я объявляю вамъ, государь, что безполезный обѣдъ въ тысячу ливровъ необычайно оскорбляетъ меня; но еслибъ нужны были милліоны по дѣлу Польши, я продалъ бы все свое имѣніе, заложилъ бы жену и дѣтей и всю жизнь ходилъ бы пѣшкомъ, чтобъ только удовлетворить этой нуждѣ? Надѣюсь, что ваше величество проститъ мнѣ это маленькое одушевленіе... Государь не долженъ забывать, что онъ утроилъ расходы по своимъ конюшнямъ... Если вникнете, вы увидите, что ливреи, содержаніе людей и лошадей, жалованье и покупки — все это съ каждымъ годомъ увеличивается на 200,000 ливровъ. Прибавьте къ этому игру свою и королевы, праздники, обѣды и чрезвычайные балы, вы найдете, что по этому предмету истрачивается болѣе 300,000 ливровъ. Ваши предшественники никогда не имѣли такихъ расходовъ, и они вовсе не составляютъ необходи-

мости". (Colbert, par Clément, стр. 198). Такимъ языкомъ, въ оффиціальномъ рапортѣ, съ Лудовикомъ XIV говорили рѣдко. Рѣшительный, иногда гордый, всегда самоувѣренный тонъ Кольбера поставилъ его въ какое-то исключительное положеніе. „Сознаніе своихъ достоинствъ, говоритъ Ломуаньонъ, — привело его къ убѣжденію, что все несогласное съ его образомъ мнѣній — дурно, что противорѣчить ему только можно по невѣжеству или злонамѣренности; онъ думалъ, что его поступки непогрѣшимы и что кромѣ его никто не можетъ имѣть добрыхъ стремленій, если только они расходятся съ его собственными". (Clément, стр. 151). Эта самоувѣренность, конечно, была отчасти необходима, и ее вправѣ питать личность, подобная Кольберу; но, къ сожалѣнію, она была не столько результатомъ вѣры въ свои силы, сколько — привиллегированнаго положенія. Мы не знаемъ, какъ онъ обращался съ низшими, но можемъ судить по одному случаю, что это обращеніе было деспотическое, по крайней мѣрѣ, до того надменное, что въ соціальныхъ отношеніяхъ Пиля оно положительно невозможно. Мы приводимъ его здѣсь потому, что оно бросаетъ свѣтъ, съ одной стороны, на состояніе общества, съ другой на грубость правительства, раздѣленнаго съ народомъ духомъ касты. Желая посовѣтоваться относительно торговли, Кольберъ приказалъ однажды собраться къ себѣ главнымъ купцамъ Парижа. Засѣданіе началось; но никто изъ нихъ не смѣлъ произнести ни одного звука. „Господа, сказалъ разгнѣванный министръ, — да что вы нѣмые, что ли?" „Нѣтъ, монсеньоръ, отвѣчалъ одинъ орлеанскій негоціантъ; но мы боимся обидѣть ваше превосходительство, если у насъ сорвется слово непріятное для васъ". Это называлось совѣщаніемъ во французской монархіи XVII вѣка!

Намъ остается сказать о нравственномъ характерѣ Кольбера, о чемъ такъ много спорили. Одни старались представить его рыцаремъ безъ пятна и порока; другіе видѣли въ немъ мелкаго интригана, не имѣвшаго ни одного безукоризненнаго достоинства. Когда началась реакція противъ меркантильной системы, враги теоріи его не пощадили и самой жизни. Всякій частный фактъ, всякая семейная тайна были обнажены и подвергнуты уголовному приговору. Къ сожалѣнію, это — обыкновенная участь людей, поставленныхъ на большой дорогѣ историческихъ реформъ. Чтобъ оцѣнить безпристрастно нравственную сторону Кольбера, надо знать его отношенія къ Лудовику XIV и строго отдѣлить искренность его ошибокъ отъ преднамѣренныхъ пороковъ.

Могъ ли онъ претендовать на высоко-нравственный характеръ по своему положенію? Нѣтъ. Мы не можемъ представить истинно-нравственнаго человѣка безъ независимой воли и самостоятельнаго воззрѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ я могу сохранить чистоту мысли, совѣсти и дѣйствія, когда надъ ними постоянно тяготитъ посторонное вліяніе? Положимъ даже, что это вліяніе доброе, но если

оно ежеминутно вторгается въ кругъ моей индивидуальной жизни, оно стѣсняетъ ее и, слѣдовательно, лишаетъ меня перваго и самаго законнаго права — личной свободы, а безъ свободы нѣтъ нравственности ни въ области идей, ни въ области вѣрованій. Если я не отвѣчаю за свое намѣреніе или выполняю его не такъ, какъ хотѣлъ бы — я поступаю безнравственно. Если я жертвую своимъ убѣжденіемъ въ пользу матеріальной силы, гнетущей меня, — я поступаю безнравственно. Если вся моя жизнь, какъ счетная книга банкира, состоитъ изъ чужихъ желаній, мнѣній и поступковъ, въ которыхъ я долженъ искать не истины, а рабскаго угожденія имъ, такая жизнь безнравственна. Таково было положеніе Кольбера.

Онъ жилъ въ то время, когда мѣра человѣческаго достоинства опредѣлялась разстояніемъ подданнаго отъ монарха. Сынъ реймскаго купца и шотландскаго выходца, питомецъ простого нотаріуса, не учившійся даже латинской галиматьѣ, потомъ канцелярскій писецъ у прокурора и комми у казначея Саботье, юноша безъ состоянія, безъ связей, смѣлъ ли онъ мечтать о томъ, чтобъ стать въ ряду „шелковыхъ" интригановъ при дворѣ Анны Австрійской? Конечно, это раннее практическое воспитаніе было необычайно полезно развитію Кольбера: оно спасло его отъ школьной рутины, отъ потери времени на затверживаніе реторики Квинтиліана и іезуитскихъ рѣчей; оно скоро ввело его въ самую жизнь. Но съ тѣмъ вмѣстѣ оно не могло приготовить ему высшаго государственнаго поста. Для этого необходимъ былъ, по духу той эпохи, непремѣнный покровитель, — та переходная и очистительная ступень, съ которой потомокъ мелочнаго лавочника могъ шагнуть къ подножію трона. Покровителемъ Кольбера является Мазарини и, какъ обыкновенно бываетъ въ такихъ обстоятельствахъ, совершенно случайно. Ему нуженъ былъ смѣтливый управитель дома. Летелье, лоренгскій интендантъ и родственникъ кардинала, представилъ ему Кольбера. Молодой кліентъ алчнаго сановника, оцѣнивъ свое настоящее положеніе, старался пріобрѣсть полную довѣренность его, и онъ успѣлъ: сокращеніе расходовъ по домашнему обиходу Мазарини, умѣнье во время польстить и угадать желаніе его, неутомимая дѣятельность и совершенная преданность, по крайней мѣрѣ, съ виду, его интересамъ, вполнѣ расположили къ нему хитраго италіянца. Изъ простаго управителя, Кольберъ скоро дѣлается необходимымъ совѣтникомъ Мазарини; докладывая о покупкѣ дынь и индѣекъ, онъ не упускаетъ случая подать мнѣніе о государственномъ вопросѣ; превознося небывалыя добродѣтели кардинала, онъ въ то же время жалѣетъ о его кротости и совѣтуетъ ему твердую политику Ришельё, открываетъ новые источники къ обогащенію и порицаетъ его враговъ, не стѣсняясь ни правилами чести, ни совѣсти. Иногда онъ даже унижался до роли полицейскаго шпіона, слѣдилъ вмѣстѣ съ аббатомъ Фуке за тѣми лицами, которыя распространяли пасквили насчетъ ненавист-

наго временщика. Съ тѣмъ вмѣстѣ, онъ не терялъ изъ виду своихъ личныхъ интересовъ и, сколько можно догадываться, это было однимъ изъ главныхъ побужденій Кольбера; при всякомъ удобномъ случаѣ, онъ намекалъ кардиналу о своихъ заслугахъ и его великодушіи, увѣряя, что благодѣянія его не упадутъ на „неблагодарную почву". Министръ не оставался въ долгу; онъ дождилъ милостями на любимца, увеличивалъ его доходы, награждалъ новыми выгодными должностями и осторожно, но безопасно прокладывалъ ему дорогу ко двору. Въ 1655 году положеніе Кольбера было блистательное. Братья и родственники его занимали высшіе служебные посты, самъ онъ получалъ не менѣе сорока тысячъ годовой ренты и изъ скромнаго надзирателя за кухней и кладовой былъ назначенъ дипломатическимъ агентомъ къ римскому двору. Съ нимъ совѣтовался король, къ нему обращались сановники съ просьбами, его интриги уронили Фуке и тѣмъ окончательно приготовили ему будущее министерство. Въ то же время, обставивъ себя вліяніемъ и авторитетомъ, онъ не забываетъ извлекать изъ нихъ всякую выгоду, какая только представляется. Такъ, около 1650 года, онъ задумалъ жениться на дочери Жака Шарона, который изъ виннаго торговца пролѣзъ въ чрезвычайнаго военнаго казначея. Шаронъ, обѣщая за дочерью огромное приданое, разсчитывалъ составить ей самую блестящую партію въ столицѣ, и потому готовъ былъ отказать Кольберу. Но женихъ грозилъ будущему тестю значительнымъ налогомъ на его торговыя спекуляціи, и тотъ поневолѣ согласился выдать дочь. Впослѣдствіи онъ также хотѣлъ женить одного изъ сыновей своихъ. Пріискавъ ему богатую невѣсту, маркизу д'Алегръ, наслѣдницу дяди маркиза д'Юрфе, Кольберъ узналъ, что у этого маркиза есть процессъ съ его племянниковъ. Чтобъ помочь выиграть его, онъ поручилъ президенту бордоскаго парламента, уговорить судей его именемъ, чтобъ рѣшеніе процесса было благопріятнымъ д'Юрфе, единственно потому, что сынъ его посватался на родственницѣ маркиза. Все это, впрочемъ, было совершенно въ характерѣ той эпохи. За что настоящій англійскій джюри, вѣроятно, приговорилъ бы Мазарини къ висѣлицѣ, а управителя его къ ссылкѣ въ Ботани-бей, за то современники Кольбера съ спокойной совѣстью называли ихъ людьми *честными*, хорошо знавшими *Savoir-vivre*. Въ самомъ дѣлѣ *Savoir-vivre* была великой и едва ли не главной способностью того времени, той мудрой способностью, по которой кошка уживается въ одномъ углу съ собакой, нисколько не чувствуя взаимной антипатіи другъ къ другу. Savoir-vivre, было тѣмъ общепринятымъ правиломъ, по которому короли позволяли себѣ открыто обманывать подданныхъ, куртизаны подниматься вверхъ въ прямой пропорціи своего раболѣпія и люди разсчетливые, подобные Кольберу, находить себѣ женъ, подъ угрозой тестямъ. И еслибъ онъ этого не сдѣлалъ, навѣрное, нашлись бы милліоны, которые бы чистосердечно назвали его дуракомъ. Когда султанъ, желая

отвязаться отъ какого нибудь паши, посылаетъ ему вмѣсто снурка чашку кофе съ ядомъ — это называется *милостью* на языкѣ турецкой имперіи. Толкуйте, послѣ этого, о незыблемыхъ принципахъ нравственности. Поэтому мы не можемъ оправдать Кольбера, но не смѣемъ и осудить его безусловно. Воспитанный въ школѣ Мазарини, гдѣ все дышало обманомъ и коварствомъ, онъ не могъ идти противъ общаго потока; если онъ рѣшился *служить* ему, то кто же не зналъ какой цѣной покупается эта служба? Объ искренней преданности кардиналу здѣсь не могло быть и рѣчи. Кольберъ любилъ его ни больше, ни меньше, — на сколько онъ былъ нуженъ ему. Когда благодѣтель его умираетъ, назначивъ его опекуномъ своего громаднаго состоянія, Кольберъ спѣшитъ забѣжать къ Людовику XIV и объявить ему, что кардиналъ оставилъ пятьнадцать милліоновъ звонкой монетой, и что, слѣдовательно, этой суммой можно пополнить пустые ящики казначейства.

Другое обстоятельство, которое содѣйствовало возвышенію Кольбера, заключалось въ самыхъ требованіяхъ эпохи. Съ паденіемъ феодализма, французская монархія искала опоры въ людяхъ новаго поколѣнія, враждебныхъ по крови, по духу и по состоянію той родовой аристократіи, которая еще держалась за стѣнами замковъ, не признавая ни власти монарха, ни силы народа. Чтобъ противопоставить ей другую партію, не имѣвшую ничего общаго съ предразсудками и интересами феодальнаго періода, короли приближали къ себѣ или иностранныхъ бродягъ, или людей средняго сословія. Въ этомъ отношеніи Кольберъ былъ, дѣйствительно, даромъ Бога для славы своего короля. Умный, ревностный и, въ извѣстной степени, добросовѣстный, не любившій ни роскоши, ни аристократическаго образа жизни, онъ совершенно отвѣчалъ надеждамъ Людовика XIV.

Съ тѣмъ вмѣстѣ отношенія его къ королю были чище и нравственнѣе, чѣмъ къ Мазарини. Впрочемъ, теперь не было и надобности слишкомъ жертвовать человѣческимъ достоинствомъ въ пользу матеріальныхъ выгодъ. Достигнувъ крайней черты своихъ желаній, удовлетворивъ честолюбію и жаждѣ богатства, оцѣненный и любимый монархомъ, обратившій на себя вниманіе Европы, счастливый въ семьѣ и въ управленіи, теперь онъ могъ подумать о болѣе высшихъ и благородныхъ цѣляхъ. Сынъ реймскаго купца, разумѣется, помнилъ, что онъ вышелъ изъ среды народа, онъ видѣлъ его бѣдность, онъ, можетъ быть, раздѣлялъ его горе и слезы. Это чувство тѣмъ живѣй должно было проснуться въ душѣ Кольбера, что та гордая аристократія, которая подобострастно толпилась въ версальскихъ переднихъ, все еще свысока смотрѣла на этихъ случайныхъ выскочекъ. Она не могла простить, что ея дѣти и внуки, обвѣшенные гербами и титулами герцоговъ, графовъ и маркизовъ, должны были кланяться и дожидаться пріема какого нибудь „слуги Мазарини". Поэтому, между прочимъ, онъ жилъ вдали отъ свѣта и не имѣлъ партіи, безъ ко-

горой было трудно устоять при дворѣ Людовика XIV. Единственное лицо, которое могло поддерживать его, была де-ла-Вальеръ. Обязанная ему сближеніемъ съ королемъ, воспитаніемъ своихъ дѣтей, она естественно дружила Кольберу. Но съ удаленіемъ ея въ монастырь кармелитокъ, онъ остается одинъ и притомъ въ виду своего соперника Лувуа, котораго выдвигаетъ на первый планъ Монтеспанъ. При такомъ шаткомъ положеніи, лучшей опорой его была любовь короля. И онъ ее имѣлъ. Отъ 1661 до 1672, впродолженіи одиннадцати лѣтъ, Людовикъ XIV питалъ безграничную довѣренность къ Кольберу. Декреты, учрежденія, раздача высшихъ должностныхъ мѣстъ — все это дѣлалось не иначе, какъ по совѣту и желанію генералъ-контролера. Этого мало, король довѣрялъ ему задушевныя тайны, конечно, не думая унизить тѣмъ своего министра до роли очень жалкаго посредника: черезъ него онъ интриговалъ Монтеспанъ, черезъ него выгналъ ея мужа изъ Парижа. „Я знаю, писалъ онъ изъ Сенъ-Жермена,—что Монтеспанъ угрожаетъ видѣть свою жену и онъ способенъ на это: такъ какъ за послѣдствія надо бояться, то я опять полагаюсь на васъ, чтобъ предупредить это свиданіе. Не забудьте подробностей этого дѣла, и особенно того, чтобъ немедленно удалить его изъ Парижа". (Oeuvres de Louis XIV, т. V, стр. 389). И это говорилъ Людовикъ *Великій* своему первому министру, у котораго не было праздныхъ минутъ для исполненія и болѣе приличныхъ порученій. И Кольберъ, разумѣется, повиновался. Впослѣдствіи, когда Людовикъ XIV охладѣлъ къ нему и, угорѣлый отъ лести и тщеславія, не зналъ мѣры своеволію, Кольберъ принужденъ былъ сносить оскорбленія. Одно надо замѣтить къ чести его, — онъ иногда отвѣчалъ на нихъ съ полнымъ сознаніемъ своего достоинства. Послѣдніе дни его были омрачены явной неблагодарностью Людовика XIV, отъ которой, говорятъ онъ и умеръ. Въ 1683 году Кольберъ представилъ отчетъ о государственныхъ расходахъ; король, недовольный слишкомъ большими тратами, замѣтилъ министру: „Здѣсь есть плутовство". — „Государь, возразилъ обиженный Кольберъ, надѣюсь, по крайней мѣрѣ, что это не относится ко мнѣ".— „Нѣтъ, прибавилъ онъ,— но надо быть болѣе внимательнымъ", и потомъ заключилъ: „если вы хотите познакомиться съ экономіей, поѣзжайте въ Голландію; вы увидите, какъ дешево стоили тамъ укрѣпленія завоеванныхъ мѣстъ". Этотъ незаслуженный и дерзкій выговоръ поразилъ Кольбера въ самое сердце. Вскорѣ затѣмъ онъ заболѣлъ и умеръ. Умирая, онъ долженъ былъ вспомнить о судьбѣ своего предшественника Фуке и убѣдиться, что „благодарность королей есть наемное чувство". Говоря о Людовикѣ XIV въ послѣдній разъ, Кольберъ произнесъ: „еслибъ я сдѣлалъ для Бога все, что̀ я сдѣлалъ для этого человѣка, я былъ бы вдвойнѣ спасенъ; а теперь не знаю—что̀ со мной будетъ". Но раскаяніе было слишкомъ позднее, потому что разсчетъ съ земнымъ богомъ уже кончался...

Въ минуты такого разочарованія государственному дѣятелю остается одно великое утѣшеніе — сочувствіе народа. Къ сожалѣнію, Кольберъ не пріобрѣлъ его; онъ былъ самымъ непопулярнымъ лицомъ, и сходилъ въ могилу среди неистовой ненависти своихъ враговъ и народа. Эта ненависть была такъ велика, что погребеніе его было совершено ночью, тайкомъ, подъ прикрытіемъ военнаго отряда, изъ опасенія, что жители Парижа наругаются надъ его прахомъ. И едва разнеслась по городу вѣсть о кончинѣ его, повсюду были разсѣяны сатиры, пасквили и памфлеты, очернившіе одно изъ лучшихъ именъ французской исторіи. Впрочемъ, эта ненависть не оскорбляетъ памяти Кольбера. Извѣстно, что самые честные министры, какъ, напримѣръ, Сюлли и Тюрго были также гонимы и оклеветаны въ свое время, какъ будто Франціи суждено боготворить только самыхъ худшихъ изъ вождей своихъ. Какъ ни тяжела эта мысль, но въ ней есть не малая доля правды...

Теперь посмотримъ на самую систему Кольбера. Но прежде, чѣмъ станемъ разбирать ее, пояснимъ экономическое состояніе Франціи въ началѣ его управленія.

Кольберъ принялъ финансовый контроль изъ рукъ Фуке почти въ томъ видѣ, въ какомъ оставилъ его Сюлли. Главнымъ источникомъ государственной экономіи было земледѣліе. Министръ Генриха IV, стоикъ въ душѣ, строгій аристократъ въ жизни, ненавидѣлъ мануфактурную промышленность, какъ орудіе изнѣженности и ослабленія народныхъ нравовъ. Это спартанское воззрѣніе, возведенное въ систематическую бѣдность, перепутало всѣ планы честнаго Сюлли. Онъ преслѣдовалъ ввозъ иностранныхъ произведеній, называя его грабительствомъ Франціи, и выпускъ звонкой монеты считалъ рѣшительнымъ бѣдствіемъ для государства. Такъ, безъ всякаго умысла, онъ явился жаркимъ защитникомъ запретительной системы, „которой, по мнѣнію Бланки, человѣчество обязано бо̀льшей долей слезъ и крови, чѣмъ всѣмъ войнамъ вмѣстѣ". (Histoire de l'économie politique, par Blanqui, т. II, гл. IV). Впрочемъ, ложная теорія Сюлли не была результатомъ его собственной мысли; она господствовала, въ его время, во всей Европѣ, проходя рука-объ-руку съ возразстающей политической централизаціей, колоніальнымъ рабствомъ, международной ненавистью и контрабандой, воспитавшей нѣсколько поколѣній таможенныхъ сыщиковъ и воровъ; — Сюлли только далъ своей идеѣ полное примѣненіе, развивъ ее въ ряду законодательныхъ постановленій. Думая, что „для обогащенія короля надо прежде обогатить народъ", онъ не обогатилъ ни того, ни другого. Правда, онъ погасилъ государственный долгъ въ триста милліоновъ и оставилъ по себѣ четырнадцать милліоновъ сохранной казны въ подвалахъ Бастиліи; онъ сдѣлалъ гораздо больше, освободивъ земледѣльцевъ отъ хищныхъ откупщиковъ, отъ разбоя солдатъ, разсѣянныхъ по деревнямъ, отъ алчности провинціальныхъ губернаторовъ; онъ первый предписалъ, ни въ

какомъ случаѣ, не отнимать у пахаря ни скотъ, ни инструменты, уменьшилъ подати и поправилъ дороги, но народнаго богатства не создалъ. Не создалъ, потому что ложно понималъ его; онъ искалъ его не въ развитіи народныхъ силъ и въ организаціи труда, а въ деньгахъ, т. е., онъ принялъ слѣдствіе за причину и работалъ надъ постройкой пирамиды, поставивъ ее острымъ концомъ внизъ. Слѣдствіе этой ошибки скоро обнаружилось. Въ нѣсколько лѣтъ мануфактурная дѣятельность исчезла, а вмѣстѣ съ ней упала и земледѣльческая производительность. Нищета была повсемѣстная, — удвоенная войнами и внутренними смутами. Правительство, по временамъ просыпаясь отъ стона подданныхъ, ощупывало больную язву, накладывало на нее припарки, но самаго зла уничтожить не хотѣло или не умѣло. Оно попрежнему передѣлывало эдикты, усложняло бюрократическій механизмъ, увеличивало безконечные займы, подати и королевскіе поборы (dons gratuits), строило новыя заставы и карало строгостію закона тамъ, гдѣ всякая возможность нравственной жизни была отнята; однимъ словомъ, оно оправдало на себѣ басню Езопа, „убивая курицу, чтобъ достать изъ нея золотыя яица". Еще въ 1583 году Генрихъ III издалъ постановленіе, по которому „право трудиться" было объявлено неотъемлемымъ королевскимъ правомъ, т. е., въ силу этого закона право жить и дышать сдѣлалось въ нѣкоторомъ смыслѣ, особенной привиллегіей. Между тѣмъ, толпы нищихъ и бродягъ, осаждая главные города и большія дороги, съ каждымъ днемъ прибывали. Чтобъ избавиться отъ нихъ, правительство устроило въ Ліонѣ и Парижѣ общія богадѣльни, и въ то же время подъ угрозой плети и галеры, запретило просить милостыню у церквей, на улицахъ и площадяхъ, днемъ и ночью. Но этого было слишкомъ мало; зло лежало гораздо глубже филантропическихъ мѣръ. Чтобъ составить болѣе наглядное понятіе о современномъ состояніи общества, мы приведемъ здѣсь одинъ фактъ — голодъ во Франціи въ тотъ самый годъ (1662), когда Кольберъ вступилъ въ управленіе. Неурожай и запрещеніе парламента составлять компаніи для продажи хлѣба или собирать зерновые запасы распространили паническій ужасъ среди бѣднаго народа. „Городскіе жители, пишетъ игуменья одного провинціальнаго монастыря, питаются, подобно поросятамъ, мякиной, размоченной въ чистой водѣ, и почли бы себя счастливыми, еслибъ имѣли ее вдоволь. Въ канавахъ и грязи они собираютъ полусгнившіе обрубки капусты, варятъ ихъ съ отрубями и жалобно просятъ тресковой соленой воды, выливаемой на улицахъ, но имъ отказываютъ въ ней. Множество порядочныхъ семействъ страдаютъ отъ голоду и стыдятся говорить о томъ; двѣ дѣвушки, о нищетѣ которыхъ не знали, скрытно ѣли мякину съ молокомъ. Лицо, которое застало ихъ за этой пищей, было такъ тронуто, что заплакало вмѣстѣ съ ними".

„Подумайте о печальныхъ слѣдствіяхъ этой почти общей бѣдности.

Одинъ человѣкъ, послѣ нѣсколькихъ голодныхъ дней, повстрѣчалъ добраго крестьянина, предложившаго ему обѣдъ; но ослабѣвшій и истощенный желудокъ не сварилъ пищи, и онъ немедленно умеръ. Другой не далѣе, какъ вчера зарѣзался съ отчаянія, чтобъ избѣжать мученій голодной смерти... Здѣсь же нашли женщину, умершую отъ голода съ ребенкомъ на груди, которую онъ сосалъ и послѣ смерти, но черезъ три часа скончался. Одинъ человѣкъ, у котораго трое дѣтей, съ слезами на глазахъ, просили хлѣба, убилъ ихъ и потомъ самъ уничтожилъ себя... Другой, котораго умоляла жена подѣлиться съ ней кускомъ хлѣба, сбереженнаго имъ, нанесъ ей шесть ударовъ топоромъ, и скрылся. Коротко, не проходитъ дня, чтобъ не находили мертвецовъ отъ голода въ домахъ, на улицахъ и поляхъ; нашъ мельникъ встрѣтилъ одного бѣдняка, котораго хоронили при дорогѣ".

„Наконецъ, бѣдность и голодъ дѣлаются такъ повсемѣстными, что въ окрестностяхъ, говорятъ, половина крестьянъ кормятся травой, и что мало такихъ дорогъ, гдѣ не валялись бы мертвыя тѣла"... Мы останавливаемся на этой потрясающей картинѣ, отъ которой кровь стынетъ въ жилахъ; не думаемъ, чтобъ она была преувеличена, потому что авторитетъ Вобана вполнѣ подтверждаетъ ее. Между тѣмъ, какъ тысячи этихъ несчастныхъ питались мякиной или умирали съ голоду, въ тотъ же годъ и, можетъ быть, въ то же время, въ Парижѣ, на улицѣ Сэнъ-Жермень, въ домѣ герцога Ришелье былъ данъ великолѣпный вечеръ королевской фамиліи. За столомъ, покрытымъ серебромъ и фарфоромъ, сидѣло пятьсотъ посѣтителей, изъ которыхъ многіе, замѣчаетъ историкъ, прокормили бы нѣсколько семействъ однимъ перстнемъ или ожерельемъ.

Вечеръ стоилъ безславному потомку славнаго предка пятьдесятъ тысячъ ливровъ, изъ которыхъ десять тысячъ было брошено только на плоды и вино. (Colbert, par Clément, гл. II. Histoire de l'économie politique, par Blanqui, т. II, стр. 430—440. Mémoires du règne de Louis XIV, кн. 3, стр. 77, 99 и проч.).

Вотъ та Франція, которую Кольберъ засталъ въ первые дни своего министерства, Мы ужь замѣтили, что онъ лучше, чѣмъ кто-либо могъ понимать нужды народа, и дѣйствительно, онъ обратилъ вниманіе прямо на него. Первымъ дѣломъ Кольбера было уничтоженіе или преобразованіе тѣхъ вопіющихъ злоупотребленій, которыя мѣшали осуществленію его плановъ. Онъ хотѣлъ прежде разчистить почву, потомъ уже сѣять. Реформы его начались съ государственныхъ податей.

Въ 1661 году Франція платила девяносто милліоновъ подати, изъ которыхъ государство получало только около тридцати пяти милліоновъ, то есть немногимъ болѣе третьей части, за исключеніемъ расходовъ по сбору и содержанію чиновниковъ. Изъ этихъ податей самая ненавистная для народа была подушная подать (l'impot sur les tailles); она стѣсняла народъ до невѣроятной степени. „Работникъ, говоритъ Форбоне, — у кото-

раго нѣтъ никакого состоянія въ его округѣ, и который нуждается въ трудѣ, не можетъ идти въ другой округъ, гдѣ онъ находитъ свое существованіе, не заплативъ оклада въ двухъ мѣстахъ, впродолженіе двухъ лѣтъ, и если онъ переходитъ въ другую общину, впродолженіе трехъ". (Forbonnais. 1664 годъ). Не говоря уже о неравенствѣ этой подати, за неимѣніемъ полнаго кадастра, который былъ начатъ Кольберомъ и, къ сожалѣнію, не конченъ, не говоря о тягости ея, которую чувствовали всѣ честные министры, не говоря о произволѣ налоговъ, возникавшихъ по мѣрѣ случайныхъ нуждъ, но потомъ обращаемыхъ въ постоянные, здѣсь были два существенныхъ недостатка: во-первыхъ, подложное изъятіе отъ общественныхъ повинностей и, во-вторыхъ, самое безсовѣстное воровство сборщиковъ податей. Первое обстоятельство было слѣдствіемъ увеличенія должностныхъ лицъ, которыя, въ силу королевской привиллегіи, освобождались отъ всякаго налога. Само собой разумѣется, что каждый старался выйдти изъ податнаго состоянія, чтобъ воспользоваться этимъ правомъ. Между тѣмъ, какъ число плательщиковъ убывало, съ другой стороны количество самой подати съ каждымъ годомъ возрастало, и тягость ея тѣмъ чувствительнѣе падала на комуну. Притомъ, многіе поддѣлывали или пріобрѣтали подкупомъ дворянскія грамоты или выпрашивали такія должности, которыя ставили въ разрядъ привиллегированнаго сословія. Жалобы провинцій были постоянныя, но при отсутствіи правильнаго контроля и совершенномъ равнодушіи къ народнымъ правамъ, масса паразитовъ росла непомѣрно; она плотояднымъ звѣремъ сидѣла на трупѣ народа. И что́ особенно было несправедливо, — это были люди, бо́льшею частію, состоятельные, которые безъ особеннаго обремененія могли нести общественныя повинности. Другое злоупотребленіе зависѣло отъ безсовѣстности самыхъ чиновниковъ, которые завѣдывали сборомъ податей. Низшую степень ихъ занимали сержанты или жандармы; въ извѣстные сроки года они обходили деревни, оставляя за собой слѣды, подобные моровому повѣтрію. У несостоятельнаго работника они имѣли полномочіе отбирать все — одежду, посуду, кровати, скотъ, земледѣльческія орудія, подвергая ихъ въ то же время военнымъ наказаніямъ [1]). Такимъ образомъ собранныя или, вѣрнѣе, выбитыя, суммы переходили черезъ руки другихъ инстанцій и когда достигали королевской казны, въ наличности ихъ было не болѣе трети. Поэтому государство жило долгомъ, забраннымъ впередъ за два года. За то министерству финансовъ было открыто полное раздолье составлять громадныя состоянія въ нѣсколько лѣтъ. Мазарини оставилъ своему потомству пятьдесятъ милліоновъ ливровъ, а Фуке, какъ мы видѣли, могъ бросать по девяти милліоновъ на украшеніе загородныхъ дачъ.

[1]) Сюлли, какъ мы ужь сказали, запретилъ отнимать рабочій скотъ и земледѣльческія орудія; но, вѣроятно, это запрещеніе потеряло силу, потому что Кольберъ, въ 1667 году, повторилъ это новымъ эдиктомъ (Colbert, par Clément, стр. 267).

Какъ ни опасно было мутить грязное болото, въ которомъ купалось самое сильное сословіе, какъ ни трудно было затрогивать вопросъ самаго чувствительнаго свойства, но его надо было поднять, потому что рана слишкомъ наболѣла, и Кольберъ рѣшился — если не истребить, то поправить зло. Въ ноябрѣ 1661 года вышелъ королевскій эдиктъ, который угрожалъ примѣрнымъ наказаніемъ „виновникамъ или соучастникамъ грабительства, которое совершается уже нѣсколько лѣтъ, и необычайнаго воровства, истощившаго наши финансы и раззорившаго наши провинціи" (Clément, страница 68). Вся вина, какъ водится, была отнесена къ войнамъ и неурядицамъ старыхъ временъ. Вслѣдъ затѣмъ была учреждена „палата юстиціи" (Chambre de Justice), которой былъ ввѣренъ главный надзоръ за исполненіемъ финансовыхъ обязанностей. Мѣра была строгая, но доселѣ она не искажала юридическаго характера. Къ сожалѣнію, Кольберъ рѣдко умѣлъ остановиться во время, и почти всегда отъ энергическаго пріема переходилъ къ жестокому деспотизму. Здѣсь именно такъ и было. Самому процессу изслѣдованія преступленій онъ далъ варварскую черту: во имя короля онъ обѣщалъ награды доносчикамъ, которые откроютъ правительству виновнаго, такъ что всякій полицейскій агентъ могъ явиться обвинителемъ, тѣмъ болѣе опаснымъ, что подсудимый не имѣлъ на своей сторонѣ даже гласной защиты. Съ тѣмъ вмѣстѣ Кольберъ предписалъ всѣмъ должностнымъ лицамъ, служившимъ по финансовой части, съ 1635 года представить удовлетворительный отзывъ о состояніяхъ ихъ, какъ наслѣдственныхъ, такъ и пріобрѣтенныхъ. „За недостаткомъ же, говоритъ указъ, такого отзыва, по прошествіи восьми дней имѣніе ихъ будетъ арестовано... а противъ лицъ наряженъ чрезвычайный судъ, какъ противъ виновниковъ казеннаго воровства" (Clément, страница 69). И еслибъ они, послѣ второго срока, впродолженіе одного мѣсяца, не удовлетворили требованіе, все состояніе ихъ будетъ конфисковано безъ возврата. Этого мало; Кольберъ употребилъ самую религію въ пользу своей реформы; онъ приказалъ объявить во всѣхъ церквахъ волю короля и пригласить всѣхъ прихожанъ — участвовать въ доносѣ на виновныхъ. Такое распоряженіе, обставленное религіознымъ церемоніаломъ и страшными угрозами противъ личности и собственности, возбудило громкій ропотъ. „Первыя дѣйствія палаты юстиціи, говоритъ Клеманъ, — распространили ужасъ во многихъ семействахъ, со всѣхъ сторонъ начали остерегаться, чтобъ избѣжать бури. Между замѣшанными лицами, иныя скрывались, иныя прятали драгоцѣнныя вещи и серебро, нѣкоторыя переводили свои имѣнія на другихъ; болѣе же напуганныя спѣшили перебраться за-границу" (Clément, страница 101), За всѣмъ тѣмъ, впродолженіе первыхъ двухъ лѣтъ болѣе семидесяти милліоновъ было конфисковано у обвиненныхъ, нѣкоторые поплатились жизнью, и палата продолжала терроръ до 1669 года. Точно съ такимъ же мужествомъ и упорствомъ генералъ-контролеръ боролся съ париж-

скими мѣщанами за государственные ренты, гдѣ происходилъ тотъ же хаосъ и тотъ же произволъ. Наконецъ, желая раззорить послѣднее гнѣздо „маленькихъ тирановъ народа", онъ уничтожилъ дворянскіе патенты, проданные правительствомъ съ 1634 года. Это распоряженіе было особенно благотворно въ томъ отношеніи, что прекратило поддѣлку и подлоги привиллегированныхъ грамотъ, за которыми укрывались тысячи сановитыхъ воровъ, по всѣмъ угламъ Франціи.

Другая, болѣе важная реформа состояла въ сокращеніи безполезныхъ должностей. Продажа ихъ была одной изъ феодальныхъ привиллегій короля. Такъ, Людовикъ XII, для уплаты долговъ, сдѣланныхъ его предшественникомъ во время итальянскихъ войнъ, принужденъ былъ пустить въ торгъ всѣ административныя и судебныя мѣста. Впослѣдствіи этотъ торгъ постепенно увеличивался, обратившись въ національный обычай. Онъ былъ вызванъ не столько политическимъ разсчетомъ, сколько чисто-финансовой необходимостью, и это самая худшая его сторона. Всякій разъ, какъ король чувствовалъ нужду въ деньгахъ, онъ придумывалъ новыя должности, раздавая ихъ желающимъ за опредѣленную плату. Иногда, на одномъ и томъ же мѣстѣ служили три или четыре чиновника, изъ которыхъ каждый покупалъ себѣ извѣстную долю власти, а съ ней и выгоды. Генрихъ IV хотѣлъ обратить ихъ въ наслѣдственное право, по которому каждое семейство могло передавать свою должность потомству, какъ недвижимую собственность, съ тѣмъ, однакожъ, что каждый годъ оно должно было выдѣлять шестидесятую часть окладной суммы случайнымъ покупщикамъ; но Сюлли, вѣроятно, для болѣе простого и вѣрнаго счета, вернулся къ старой системѣ. При Людовикѣ XIV, когда централизація задушила комунальные выборы, эта продажа возросла до колоссальныхъ размѣровъ. Меръ и староста, прежде назначаемые народомъ, теперь были опредѣляемы королемъ или провинціальными его агентами. Затѣмъ муниципальному совѣту было дано мундирное платье — атласныя мантіи фіолетоваго цвѣта и горностаемъ обшитыя шапки. Народъ роптал за уничтоженіе древнихъ выборовъ, „а королевскіе лакеи, замѣтилъ одинъ сатирикъ, — радовались новому отличію".

Такимъ образомъ была воспитана особенная каста людей, которые, по самому положенію, стали въ сплошномъ заговорѣ противъ народа. Покупая должность на годъ или на два, они смотрѣли на нее, какъ на болѣе или менѣе прибыльную спекуляцію, и старались выжимать изъ націи до послѣдней капли жизненные соки. Съ другой стороны и правительство старалось какъ можно выгоднѣй сбыть мѣсто, а какъ имъ будутъ управлять — этотъ вопросъ былъ для него менѣе, чѣмъ второстепеннымъ. Отъ наемника требовалась не способность и добродѣтель, а толщина кармана и, при случаѣ, покровительство сановника. Растлѣніе нравственнаго характера Франціи, бо́льшей долей, принадлежитъ этой продажной бюрократіи. Не имѣя ни политической совѣсти, ни граждан-

ской чести, раздѣленная съ народомъ глубокой антипатіей, она развращала вмѣстѣ и власть и подданныхъ. Едва ли можно указать во всей Европѣ бюрократію болѣе бездарную, хищную и анти-народную, какъ французская до революціи 1789 года. Она вмѣстѣ съ феодальной аристократіей приготовила націи тѣ кровавые дни, въ которые чувство мести вырвалось изъ ея груди огненнымъ волканомъ.

Въ экономическомъ отношеніи это сословіе было еще болѣе вредно. Въ рукахъ его сосредоточивалось до четырехъ сотъ девятьнадцати милліоновъ мертваго капитала, безполезнаго для земледѣлія и промышленности. (Clément, стр. 263). Само оно, лишенное производительныхъ силъ, не вносило дѣятельныхъ элементовъ въ то общество, на счетъ котораго жило и богатѣло. Кольберъ посмотрѣлъ на него только съ этой точки. Мая 30-го, 1664 года, онъ обнародовалъ эдиктъ, которымъ уничтожилъ множество прежнихъ судебныхъ должностей и двѣсти пятьнадцать секретарскихъ мѣстъ при особѣ короля. Впослѣдствіи онъ опредѣлилъ цѣну каждаго мѣста, возрастъ и способность чиновниковъ, подчинивъ ихъ болѣе строгому контролю. Конечно, эта мѣра только вполовину облегчала зло, но Кольберъ не могъ идти дальше, ни по убѣжденію, ни по обстоятельствамъ. Онъ допускалъ необходимость сложной администраціи, но только требовалъ отъ нея болѣе честной дѣятельности и менѣе тунеядства. Притомъ чрезмѣрные расходы короля часто заставляли его противорѣчить лучшимъ цѣлямъ. Такъ, въ 1672 году, противъ всякаго желанія, онъ долженъ былъ, для пополненія казны, открыть новую продажу должностей, поставивъ въ число королевскихъ чиновниковъ торгашей дичи и свиней, разносщиковъ ликеровъ и проч. и проч. За всѣмъ тѣмъ реформа его принесла свой плодъ: она освободила самую важную государственную отрасль — судебную — отъ аукціоннаго торга.

Наконецъ, мы упомянемъ здѣсь о третьей его реформѣ, — строго экономической и въ высшей степени народной; мы говоримъ объ уничтоженіи внутреннихъ заставъ и таможенъ. Какъ порожденіе феодальнаго самоуправства, внутренняя таможенная система разбросила сѣть безчисленныхъ препятствій и стѣсненій по всей Франціи. Каждый сеньёръ, пользуясь правомъ поземельнаго собственника, опредѣлялъ и собиралъ пошлины за проѣздъ по его владѣніямъ произвольно. И по мѣрѣ того, какъ эти владѣнія дробились, затрудненія коммерческихъ сношеній возрастали. „Купцу, говоритъ Бланки, — положительно нельзя было сдѣлать ни одного шага, чтобъ не заплатить за право проѣзда — онъ платилъ за мосты, за сплавку по рѣкѣ, за проходъ мимо замка, за пыль, которую поднималъ по дорогѣ и за множество другихъ случаевъ". (Histoire de l'économie politique, т. I, стр. 139). Послѣ этого не удивительно, если торговля среднихъ вѣковъ болѣе походила на воровство, чѣмъ на соціальную связь людей и народовъ. Гонимый еврей, для котораго деньги были единствен-

нымъ сокровищемъ въ жизни, — религіей, отечествомъ, правомъ гражданства и властью, поддерживалъ эту связь обманомъ ростовщика. Впослѣдствіи, когда феодальная ограда стала валиться, таможенныя таксы обратились въ мѣстныя права муниципальныхъ обществъ; города и провинціи, ради собственныхъ выгодъ, старались распространить ихъ, какъ можно шире. Пограничныя линіи были повсюду обставлены заставами и сторожками дозорщиковъ. Чтобъ привести, напримѣръ, изъ Анжера въ Марсель, телѣгу хлѣба, надо было заплатить девять разъ пошлину и получить девять квитанцій. Въ одномъ мѣстѣ можно было сплавлять товаръ только водой; въ другомъ — только сухимъ путемъ, тамъ надо было объѣхать охотничій паркъ барина, здѣсь тащиться по ступицу въ грязи, чтобъ не обезпокоить мирную обитель монастыря. Притомъ на каждой границѣ была своя мѣра, своя монета, свой уставъ и своя расправа. Если мы прибавимъ къ этому разбои на проселочныхъ дорогахъ, невѣжество торговаго класса и безнаказанный произволъ таможенныхъ чиновниковъ, обезпеченныхъ наемными судьями на случай жалобы или процесса, мы составимъ приблизительно-вѣрную картину средневѣковой промышленности.

Кольберъ совершенно понималъ, что для успѣха ея необходимо удалить препятствія, отдѣлявшія производителя отъ потребителя и потомъ вырвать ее изъ рукъ паразитовъ. Но вопросъ былъ такъ запутанъ, что разрѣшить его безъ потрясенія множества частныхъ интересовъ было невозможно. При всей его стойкости, онъ не рѣшился на радикальный переломъ и ограничился только полумѣрой. Въ концѣ 1664 года онъ *предложилъ* ввести однообразный тарифъ; двѣнадцать лучшихъ провинцій согласились принять его, а остальныя продолжали упорствовать, и нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напримѣръ, Валансъ, держались старой рутины до самой революціи. Съ тѣмъ вмѣстѣ Кольберъ убавилъ пошлины и уничтожилъ многія права ввоза и вывоза. Несмотря на странное раздвоеніе Франціи на двѣ торговыхъ системы, прогрессъ былъ огромный. Почти половина страны усвоила новую систему тарифа; доставка товаровъ сдѣлалась легче, соціальное движеніе прибыло; обращеніе капиталовъ и дѣятельности оживилось; тысячи пустыхъ и часто пошлыхъ формальностей сами собой исчезли. Это улучшеніе было такъ быстро и очевидно, что нѣкоторые города, безъ всякаго приглашенія, послѣдовали примѣру первыхъ. Жалко одно, что Кольберъ, столь рѣшительный въ другихъ обстоятельствахъ, остановился на полпути своего плана; онъ пожертвовалъ величайшими результатами полной реформы духу партіи, вовсе не опасной, потому что она не имѣла ни ума, ни воли, ни истины, чтобъ остановить исполненіе идеи, на сторонѣ которой было общественное имя и благословеніе народа.

Доселѣ Кольберъ разрушалъ и каралъ; теперь пришло время строить и облегчать; доселѣ онъ былъ преобразователемъ, теперь является за-

конодателемъ. Видя Францію бѣдную, голодную, измученную привиллегированными ворами, опутанную долгами и процессами, онъ хотѣлъ пробудить въ ней народныя силы и дать ей богатство. Онъ зналъ, что всѣ данныя условія улучшенія жизни скрывались въ нѣдрахъ страны, но скрывались, какъ зерно въ заброшенной нивѣ, какъ мощь человѣка въ больномъ тѣлѣ. Географическое положеніе у двухъ морей, плодоносная почва, прекрасный климатъ, разнообразіе естественныхъ произведеній и геній народа — все ручалось за болѣе счастливую судьбу Франціи. Кольберъ понялъ, что источникъ ея бѣдности, между прочимъ, заключался въ одностороннемъ направленіи общественной дѣятельности, ограниченной однимъ земледѣльческимъ трудомъ; что для успѣха этого труда необходимо развитіе мануфактурной промышленности, что равновѣсіе этихъ двухъ силъ есть непремѣнный законъ экономическаго прогресса. Мысль достойная знаменитаго министра! Опыты двухъ-сотъ лѣтъ убѣдили Европу въ ея справедливости, и если она не вездѣ вошла въ совѣты правительствъ, то давно оправдана фактами и и принята наукой.

Пояснимъ эту мысль. Экономія труда, какъ одно изъ главныхъ условій цивилизаціи, основывается на гармоніи между производительными силами природы и человѣческой способностью — употреблять ихъ въ свою пользу. Чѣмъ стройнѣй соединяются эти два начала, то есть, чѣмъ лучше геній человѣка овладѣваетъ разнообразными стихіями природы, тѣмъ выше успѣхъ труда и легче побѣда. Земля вездѣ и всегда служитъ неистощимой кормилицей человѣка, но она отдаетъ сокровища только по мѣрѣ нашего искусства и силы. Цвѣтущее земледѣліе всегда было результатомъ не обилія и богатства почвы, а высокаго гражданскаго развитія; оно требуетъ, кромѣ силы мускуловъ, глубокихъ и разностороннихъ познаній. „Хорошій земледѣлецъ, говоритъ американскій соціалистъ, — постоянно старается объ улучшеніи механическихъ орудій, утилизируя тѣ матеріалы, которые прежде не имѣли никакой цѣны для человѣческаго прогресса; и чѣмъ сумма такого труда больше, тѣмъ вознагражденіе его лучше, а цѣнность земли выше. Запуская плугъ глубже, онъ собираетъ плодъ богаче; осушая почву, онъ споритъ свою жатву... Во всякомъ случаѣ, чѣмъ полнѣй онъ прилагаетъ силы къ ея разработкѣ, тѣмъ трудъ его вознаграждается лучше, если притомъ подъ рукой его находится мѣстный рынокъ". (Princ. of Suc. science. By Carey, т. II, стр, 29). Такъ жизненные нервы земледѣлія невидимо, но тѣсно соединяются съ общественнымъ образованіемъ, съ политической свободой, съ воспитаніемъ массъ, съ семейнымъ и гражданскимъ благосостояніемъ народа. Въ порядкѣ соціальнаго развитія, оно не предшествуетъ, а слѣдуетъ за прогрессомъ промышленности; ему необходимо усовершенствованіе механическихъ искусствъ, открытіе новыхъ способовъ удобренія, разнообразіе въ занятіяхъ и средствахъ жизни. Съ дру-

гой стороны, земледѣліе, возведенное на степень правильнаго труда, помогаетъ успѣху мануфактурной дѣятельности, обогащая ее новыми матеріалами и вызывая новыя потребности. Если только эти два органа народнаго богатства дѣйствуютъ согласно, по направленію къ одной цѣли, если мануфактурный трудъ не стѣсняетъ земледѣльческаго, и обратно, общество представляетъ два капитальныхъ явленія: 1) сближеніе производителя съ потребителемъ, и 2) улучшеніе земледѣльческаго класса, съ повышеніемъ цѣнъ на сырые матеріалы и съ пониженіемъ на фабричныя произведенія.

Всякое противоположное направленіе ведетъ къ односторонней системѣ, вредной развитію народныхъ силъ; если земледѣліе принимаетъ исключительный характеръ, разрывая соотвѣтственную связь съ мануфактурной промышленностью, неизбѣжно является нищета самаго многочисленнаго класса и богатство немногихъ, живущихъ насчетъ чужого труда и состоянія: это — эпоха рабства и централизаціи. Напротивъ, если фабрика и торгъ вытѣсняютъ земледѣльческій трудъ, общество впадаетъ въ другую крайность; оно приноситъ работника въ жертву капиталисту и порождаетъ тотъ соціальный паразитизмъ, съ которымъ идетъ рядомъ бѣдность и развратъ современнаго пролетарія. Во главѣ послѣдней системы стоитъ Англія. Ея коммерческая политика всегда стремилась къ уничтоженію международной солидарности, къ закрытію мѣстныхъ рынковъ и къ разъединенію производителя съ потребителемъ. Это — политика эгоизма и смерти, еслибъ мы отняли у нея великія гражданскія начала. Вслѣдствіе системы, основанной на споліаціи человѣческаго труда и, слѣдовательно, собственности, только одна четвертая часть ея народонаселенія производитъ, а три — остаются праздными или безполезными членами общества. У насъ, говоритъ Стюартъ Милль, — десять лавочниковъ работаютъ надъ такимъ дѣломъ, для котораго было бы довольно одного". (Political Economy. By J. S. Mill, т. II, стр. 311). Нигдѣ, послѣ Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, экономія механическаго труда не достигаетъ такихъ колоссальныхъ размѣровъ, какъ въ Англіи; паровыя машины ея равняются шести стамъ милліонамъ человѣческихъ силъ; въ распоряженіи ея двадцать тысячъ кораблей, въ четыре милліона съ половиной тоннъ; ея желѣзные рельсы покрываютъ девять тысячъ пять сотъ шесть миль, по которымъ, въ 1858 году, проѣхало около ста сорока милліоновъ пассажировъ (Carey, т. I, стр. 385, Times, 1859, octob. 17). При такомъ необыкновенномъ движеніи общества и экономіи труда, повидимому, земледѣлецъ долженъ находиться въ возможно-лучшемъ состояніи. Къ сожалѣнію, вотъ безпристрастная оцѣнка его: „Позвольте спросить, говоритъ Кобденъ, — какимъ образомъ семейство, состоящее изъ пяти лицъ, въ бѣдномъ состояніи, можетъ жить хлѣбомъ по два съ половиною пенса (семь копѣекъ серебромъ) за фунтъ? Никто не можетъ сказать; но посмотрите на крестьянина, когда онъ

положитъ свою косу или кирку и сядетъ за обѣдъ подъ навѣсомъ или на чердакѣ, загляните въ его сумку, или войдите въ его хижину въ двѣнадцать часовъ и спросите, изъ чего приготовленъ обѣдъ его семьи: — изъ хлѣба, — рѣдко изъ чего-нибудь лучшаго, да и того не всегда вдоволь; изъ его платы ему не остается ничего на чай, сахаръ, мыло, свѣчи или одежду, тѣмъ менѣе — на воспитаніе дѣтей; что принесетъ ему жатву будущаго года, то уже истрачено имъ на сапоги. И это участь милліоновъ людей, живущихъ передъ нашими дверями; это большинство земледѣльцевъ, о счастіи которыхъ мы такъ много разглагольствуемъ. Никогда на памяти человѣческой состояніе ихъ не было такъ дурно, какъ въ настоящее время". (What next? By Cobden, стр. 45). Другой ученый экономистъ, долго наблюдавшій соціальное состояніе континента, увѣряетъ насъ, что „ни въ одной странѣ Европы, развѣ за исключеніемъ Турціи, южной Италіи и нѣкоторыхъ частей Австрійской имперіи, нѣтъ невѣжественнѣе, безнравственнѣе, безпомощнѣе и бѣднѣе земледѣльческаго сословія, какъ къ Англіи" [1]). (Social Condition of England and Europe. By Kay, т. I, стр. 70). Теперь спрашиваемъ, на что же истрачивается эта колоссальная работа машинъ, паровъ, судоходства и громадныхъ капиталовъ, сносимыхъ въ Лондонъ со всѣхъ концевъ міра? Въ этомъ вопросѣ вся задача нашего вѣка и будущая реформа Англіи. Она истощила всѣ средства, чтобъ отвести ея грозное приближеніе, но вопросъ слишкомъ созрѣлъ и постоянно становится передъ ней, какъ тѣнь отца Гамлета, преслѣдующая своего убійцу. Увлеченная колоніальной системой, она такъ сжилась съ ея меркантильными интересами, что ни громкій протестъ Адама Смита, ни вопль чартистовъ и филантроповъ, ни благородное негодованіе соціальныхъ вождей не могутъ разсѣять ея летаргическаго сна. Эту систему Робертъ Пиль очертилъ нѣсколькими словами: „покупай на самомъ дешевомъ рынкѣ, а продавай на самомъ дорогомъ; захватывай трудъ какъ можно невыгоднѣй для работника, а сбывай его какъ можно выгоднѣй для себя". По этому правилу древняя британская пословица: „иностранецъ покупаетъ отъ англичанина шкуру лисицы за грошъ, а продаетъ ему одинъ хвостъ ея за шиллингъ", теперь эта пословица обратилась на другихъ народовъ, покоренныхъ Англіей. Она ищетъ богатства не въ трудѣ, а въ деньгахъ, не въ развитіи силъ человѣка, а въ порабощеніи его матеріальнымъ интересамъ дня. Стараясь предупредить вездѣ связь земледѣльца съ

---

[1]) „Англійскій земледѣлецъ, говоритъ Кэри,—страдаетъ оттого, что онъ служитъ простымъ орудіемъ въ рукахъ купца, который пользуется имъ, пока онъ нуженъ, а потомъ бросаетъ его, какъ изношенную шапку или перчатку. Средства жизни его вмѣстѣ съ семействомъ видоизмѣняются отъ 6—9 шиллинговъ ($7^1/_2$ — $^1/_4$ рублей ассигнаціями) въ недѣлю; изъ этого два шиллинга онъ платитъ ренту за хижину, такъ что ему остается не болѣе двадцати копѣекъ ассигнаціями въ день, изъ чего онъ долженъ накормить, одѣть и воспитать своихъ дѣтей". (Carey, т. II, стр. 93).

фабрикантомъ, она устроиваетъ для цѣлаго міра одну центральную лавку. Извѣстно, какъ она довела Ирландію до упадка ея мануфактуръ и до періодическихъ возстаній раздѣтаго и истомленнаго народа. „Ей (т. е. Ирландіи), говоритъ — Кэри, не осталось выбора между переселеніемъ и голодной смертью; мы видимъ, что ирландецъ, покидаетъ домъ отца, и повсюду ищетъ пропитанія, котораго не можетъ дать ему страна, богатая землей и минералами, обильная судоходными рѣками и открытая сообщеніямъ всѣхъ націй" (Carey, т. I., стр. 331 — 332). Съ тѣмъ вмѣстѣ въ послѣднія тридцать лѣтъ (1821 — 1851 г.) убыль народонаселенія достигаетъ здѣсь поразительной цифры — болѣе одного милліона съ половиной. „Чему надо приписать, спрашиваетъ Кэри, — это необыкновенное явленіе? Конечно, не недостатку земли, потому что около одной трети всей географической поверхности — включая сюда милліоны самыхъ плодоносныхъ десятинъ королевства — остаются невоздѣланными. Конечно, не бѣдности этихъ почвъ, потому что онѣ всегда считались самыми лучшими въ предѣлахъ британской имперіи. Конечно, не недостатку минеральныхъ рудъ или угля, потому что желѣзо и камень превосходнаго качества, равно какъ и другіе металлы, находятся здѣсь въ изобиліи. Конечно, не недостатку физическихъ свойствъ ирландца; доказано, что онъ способенъ работать гораздо больше, чѣмъ англичанинъ, французъ или бельгіецъ. Конечно, не отсутствію его умственныхъ дарованій, потому что Ирландія дала Англіи лучшихъ солдатъ и государственныхъ людей — и заявила міру, что она способна къ величайшему нравственному совершенству. И несмотря на всѣ естественныя превосходства, ирландецъ дома — рабъ поземельнаго собственника, окруженный такой бѣдностью и раззоромъ, какого мы не видимъ ни въ одной части образованнаго міра" (Carey, т. I, стр. 331). Бросая взглядъ на эту печальную картину, англійскіе экономисты объясняли ее недостаткомъ мѣстныхъ капиталовъ, чрезмѣрнымъ народонаселеніемъ, образомъ жизни и пищи ирландца, но все это далеко отъ истины; упадокъ земледѣлія здѣсь шелъ въ прямой пропорціи съ уничтоженіемъ мануфактурной промышленности; вывозъ сырыхъ матеріаловъ и отдаленность рынка истощали производительность почвы и сократили кругъ дѣятельности и разнообразіе занятій рабочаго класса. Вслѣдствіе этого, съ одной стороны запросъ на трудъ увеличился, а вознагражденіе уменьшилось, поземельныя ренты поднялись, а средства работника понизились.

Еще ярче выразился этотъ фактъ въ судьбѣ восточной Индіи, которая бѣднѣла по мѣрѣ того, какъ Англія богатѣла. Здѣсь меркантильное зло, подкрѣпленное всѣми жестокостями огня и меча, обратило богатѣйшую страну въ мірѣ въ безгласную жертву нищеты, тиранніи и бунтовъ. Обложенная безчисленными таксами, оцѣпленная таможнями, осажденная военнымъ лагеремъ, ограбленная въ дому, на рынкѣ и на полѣ, Индія, подъ видомъ европейской цивилизаціи, вынесла всѣ бѣдствія

покореннаго народа. „Дурное управленіе англійской компаніи, говоритъ Маколэ,—было доведено здѣсь до такой крайности, что съ нимъ едва было совмѣстно существованіе общества. Она принудила жителей продавать дешево, а покупать дорого; она безнаказанно оскорбляла полицію, судебные трибуналы и туземныя власти. Между тѣмъ, какъ въ Калькуттѣ быстро росли громадныя состоянія, тридцать милліоновъ людей едва не умирали съ голоду. Они привыкли жить подъ ярмомъ деспотизма, но никогда не видѣли деспотизма, подобнаго нашему... Подъ старымъ правленіемъ, по крайней мѣрѣ, у нихъ было одно облегченіе: когда иго становилось невыносимымъ, народъ возставалъ и низвергалъ правительство. Но англійскій гнетъ лежалъ на нихъ крѣпко; это самый жестокій гнетъ варварской тиранніи вооруженный всей силой цивилизаціи. Онъ болѣе походилъ на правленіе злого генія, чѣмъ на правленіе человѣческаго самовластія". (Speeches. By Macaulay. т. II, стр. 27, 1855). Послѣднее возстаніе освободило Индію изъ рукъ компаніи, „отмѣтившей свою исторію всѣми злодѣйствами, какія только могло придумать человѣческое воображеніе", но не измѣнило общаго хода англійской политики. Эта политика, со времени плессейской побѣды, постоянно стремилась къ вытѣсненію мѣстныхъ властей и утвержденію централизаціи. Орудіемъ ея была торговля. Вѣрная споліативному началу, Англія начала съ монополіи труда и произведеній земли. Уничтожая мало-по-малу мануфактурную промышленность, она оставила многочисленному народонаселенію Индіи одну разработку полей. Еще въ концѣ прошлаго вѣка здѣсь процвѣтали богатыя фабрики, съ которыхъ отпускалось шерстяныхъ матерій на 200,000,000 ливровъ; одна Дикка имѣла до 90,000 торговыхъ домовъ. Теперь всѣ эти великолѣпныя заведенія лежатъ въ развалинахъ; Англія перенесла ихъ на бирмингамскія и ливерпульскія факторіи, заставивъ индійца платить не менѣе шиллинга за то же количество хлопчатой бумаги, обращенной въ чулки или рубашки, которое онъ добываетъ съ земли за одно пенни. Фунтъ сахару, пронесенный два раза по океану и прошедшій черезъ руки множества торговыхъ посредниковъ, продается ему въ десять разъ дороже, чѣмъ стоилъ бы на самомъ мѣстѣ. Между тѣмъ, какъ добываніе самыхъ обыкновенныхъ удобствъ жизни сдѣлалось почти невозможнымъ, тысячи работниковъ оставлены безъ дѣла. „Большая часть времени у рабочаго класса въ Индіи, говоритъ Чапмэнъ,—пропадаетъ въ лѣности. Я нисколько не думаю обвинять его въ порокѣ; лишенный возможности отпускать излишекъ своихъ произведеній за-границу, съ ничтожными средствами капитала, знанія и механическаго искусства, онъ не можетъ разработывать на мѣстѣ предметы, доставляющіе народу удобства лучшей соціальной жизни; и онъ, дѣйствительно, не имѣетъ никакого желанія работать свыше того, что необходимо для удовлетворенія насущныхъ и самыхъ ограниченныхъ его потребностей... Вѣроятно, половина вре-

мени и энергіи индійца погибаетъ даромъ; послѣ этого нѣтъ ничего удивительнаго, что страна бѣдная". (Cotton and Commerce of India. By Chapman. стр. 110). Но это не все; отсутствіе путей сообщенія, соединенное съ потерой времени и капитала, съ изнуреніемъ человѣческихъ силъ и страданіями животныхъ, отнимаетъ послѣднія средства для легкаго обмѣна труда и произведеній. Во время неурожаевъ цѣлые округи томятся голодной смертью, тогда какъ въ другихъ частяхъ имперіи земледѣлецъ нуждается въ сбытѣ своего хлѣба. Все это прекратило взаимныя отношенія людей и довело агрикультуру до крайняго запустѣнія. Подобно Ирландіи, почва ея тощала по мѣрѣ уничтоженія фабричнаго труда, пропорціональной нищетѣ, рабству и невѣжеству человѣка. Лучшія пажити, нѣкогда покрытыя роскошнѣйшими жатвами, теперь заброшены; даже долина Гангеса, — эта обѣтованная земля древняго райи, — въ настоящую минуту представляетъ жалкій видъ полудикой пустыни.

Матеріальное несчастіе народа всегда тѣсно соединялось съ его нравственнымъ паденіемъ. По мѣрѣ того, какъ исчезала индивидуальная способность индійца и соціальное движеніе, парализированное изсякшими источниками труда, нравственныя связи страны ослабѣвали. Воровство, коварство и ложь вошли въ обыденный порядокъ вещей. „Чѣмъ долѣе, замѣчаетъ Чапмэнъ,—мы владѣемъ провинціей, тѣмъ обыкновеннѣй и общѣй становится вѣроломство". Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ глубже проникаемъ въ сѣверо-западныя части Индіи, куда англійская система еще не успѣла пронести своего растлѣнія, тамъ общество здоровѣй и нравственнѣй. Въ Пенджабѣ, при всей мѣстной тиранніи, чувство личнаго и общиннаго права, чувство взаимнаго уваженія и отвѣтственности сохранились лучше, чѣмъ въ Бенгалѣ и Мадрасѣ. „Посмотрите, куда угодно, на эту великолѣпную страну, говоритъ Кэри, — вы вездѣ видите упадокъ индивидуальности и силы ассоціаціи, сопровождаемый прогрессивнымъ возвышеніемъ централизаціи; изъ всѣхъ послѣднихъ примѣровъ самымъ разительнымъ служитъ присоединеніе Удской области. Централизація, рабство и смерть всегда идутъ рядомъ, какъ въ матеріальномъ, такъ и въ нравственномъ мірѣ" (Carey, т. 1, стр. 343).

Къ такому результату, обыкновенно, приводитъ система исключительнаго торга, основанная на монополіи труда, на уничтоженіи мѣстной дѣятельности и на развитіи мануфактурной промышленности въ ущербъ земледѣлію. Отъ Смирны до Кантона, отъ Мадраса до Самарканда, Англія поглотила всѣ туземныя фабрики, и тѣмъ приготовила нищету милліонамъ побѣжденныхъ народовъ ради богатства одной метрополіи. Она чувствуетъ, что такая система, какъ выразился Стимэнъ, со временемъ можетъ потопить ее въ слезахъ и крови безпрерывныхъ бунтовъ угнетеннаго Востока...

Возвращаемся къ Кольберу. Главная идея его, какъ сказано выше,

состояла въ томъ, чтобъ ввести Францію въ сферу новой промышленной дѣятельности, соединивъ земледѣліе съ фабричной производительностью. Здѣсь мы должны оправдать министра отъ обвиненія, что будто онъ, открывая новые родники народному богатству, совершенно пренебрегъ капитальной отраслью его — агрикультурой. Какъ человѣкъ системы, онъ, дѣйствительно, увлекся своей преобладающей мыслью, придавая ей гораздо больше значенія, чѣмъ она могла имѣть на самомъ дѣлѣ; но нельзя упрекнуть его въ непониманіи или равнодушіи къ интересамъ земледѣлія. Мы уже видѣли, что онъ сократилъ безполезныя служебныя мѣста, впродолженіе всей жизни старался облегчить общественные налоги, запретилъ отбирать скотъ и орудія у крестьянъ и заботился о введеніи кадастра; мы знаемъ, что онъ употреблялъ всѣ усилія уменьшить или ослабить хищные аппетиты тунеядныхъ сословій, которыя сосали народныя силы, не прибавляя къ нимъ ни одного жизненнаго элемента. Съ этой цѣлью, между прочимъ, онъ убавилъ норму процентовъ съ внутреннихъ займовъ, которыми жили болѣе двухъ третей всего народонаселенія. Видя, что съ одной стороны духъ спекуляціи породилъ множество людей, богатѣвшихъ единственно на-счетъ нуждъ и бѣдности народа, съ другой — нищета сельскихъ работниковъ принуждала ихъ часто обращаться къ заимодавцамъ, онъ ограничилъ выгоды первыхъ и поднялъ значеніе вторыхъ. Убѣжденный, что производительный трудъ есть самое вѣрное средство къ достиженію общественнаго довольства, онъ хотѣлъ уронить стоимость денегъ и тѣмъ возвысить цѣнность земли и человѣка. Наконецъ, онъ возставалъ противъ безумной роскоши двора, раззорительныхъ войнъ и еще болѣе раззорительнаго содержанія огромной арміи, пожиравшей десятую часть государственныхъ доходовъ (Clément, стр. 246 — 269). Изъ всего этого видно, что Кольберъ отнюдь не пренебрегалъ земледѣльческимъ трудомъ и судьбой двадцати милліоновъ Франціи.

Но если нельзя обвинить его въ исключительномъ направленіи его системы, то надо согласиться, что дѣятельность его была односторонней, потому что спеціальная цѣль его состояла въ развитіи мануфактурной промышленности. Сначала онъ только чувствовалъ ея недостатокъ; потомъ, разработывая одну отрасль за другой и угадывая счастливые результаты ихъ, глубже и глубже заходилъ въ область своихъ идей и предпріятій. Малѣйшій признакъ успѣха одушевлялъ его новыми надеждами, и всякое препятствіе возбуждало новую энергію. Съ его деспотическими инстинктами и упрямствомъ систематическаго характера, онъ потратилъ много времени и средствъ единственно на то, чтобъ настоять на своемъ замыслѣ, выполнить его во что бы то ни стало. Поэтому ошибки его также поразительны, какъ велики и смѣлы самые планы. „Я не могу не увлекаться работой, писалъ онъ брату въ 1674 г., потому что кромѣ ея не знаю другого удовольствія въ мірѣ... Передо

мной такъ много новыхъ открытій и соображеній, что еслибъ моя жизнь состояла изъ тысячи жизней, то и тогда я далеко не достигъ бы желаемой цѣли. Чего бы моя рука ни коснулась, все требуетъ или поправки или разрушенія, и чѣмъ дальше развивается мой планъ, тѣмъ больше вызываетъ на мысль, обсужденіе и дѣло; но, взявшись за дѣло, я рѣдко умѣю остановиться, не увидѣвъ послѣдняго результата, какой бы онъ ни былъ". (Correspondance de Colbert. A la bibliotèque du Louvre. N° 12). Это говоритъ дѣйствительный министръ и человѣкъ, вовсе не упругаго характера. Такіе темпераменты способны къ величайшему злу или добру, смотря по обстоятельствамъ. Это тѣ планеты нравственнаго міра, которыя свѣтятъ и жгутъ, живятъ и мертвятъ, по мѣрѣ разстоянія отъ предмета. Упорная и тиранническая воля Кольбера тѣмъ болѣе вредила его свѣтлому настроенію духа, что онъ дѣйствовалъ подъ вліяніемъ другой воли, не менѣе стойкой, и болѣе грубой.

Но не столько личный характеръ, сколько предразсудки вѣка и царствованіе Людовика XIV перепутали лучшіе его замыслы и осудили его систему на величайшія ошибки. Основной принципъ былъ понятъ вѣрно, но примѣненіе его было ложно. Поэтому въ администраціи этого государственнаго человѣка надо строго различать идею отъ факта, теоретическое соображеніе отъ практическаго результата. Иногда самыя чистыя и благородныя намѣренія его оканчивались самыми вредными послѣдствіями. „*Всегда великолѣпный въ идеяхъ*, говоритъ Шуази, *онъ—былъ почти всегда несчастливъ въ исполненіи*... Онъ организовалъ всевозможныя мануфактуры, которыя стоили больше, чѣмъ онѣ приносили; онъ учредилъ компанію восточной Индіи, не имѣя достаточнаго фонда и не сообразивъ, что французы, нетерпѣливые по природѣ и въ этомъ отношеніи вовсе не похожіе на голландцевъ, никогда не могли жертвовать капиталомъ впродолженіи тридцати лѣтъ на такое предпріятіе, изъ котораго они не извлекали никакой выгоды". (Цит. Clément, стр. 229). Разсматривая дѣятельность Кольбера вообще, мы чувствуемъ, что надъ всѣми его планами тяготѣла такая-то внѣшняя разрушающая сила. „Я не знаю, пишетъ онъ, огорченный глухимъ ропотомъ провинцій,—почему мнѣ суждено встрѣчать тысячи препятствій тамъ, гдѣ я вправѣ ожидать полное сочувствіе... *Какъ будто духъ зла нарочно опрокидываетъ то, что я строю*". (Correspondance de Colbert. N° 16). Къ сожалѣнію, Кольберъ не замѣтилъ, что этотъ *духъ зла* скрывался въ немъ самомъ и въ обстоятельствахъ, выше которыхъ онъ не могъ или не умѣлъ стать.

Какъ государственный дѣятель, онъ вполнѣ исповѣдывалъ вѣру своего вѣка. Его политическія убѣжденія были убѣжденіями Ришелье и Людодовика XIV. Централизація Франціи казалась ему идеаломъ совершенства; обманутый ея наружнымъ блескомъ и силой, онъ помогалъ королю затягивать народную жизнь въ пустыя административныя формы, и тѣмъ стѣснять ея естественное теченіе. Гдѣ бы ни проявилась индивидуальная

воля общества, — въ протестѣ парламента или генеральныхъ штатовъ, въ просьбѣ торговой компаніи или цѣлой провинціи, онъ всегда принималъ сторону власти, какъ будто правота неразлучна съ силой. И если общественное мнѣніе противорѣчило интересамъ ея или его личнымъ воззрѣніямъ, онъ не уважалъ, это мало — онъ часто презиралъ его. Онъ думалъ, что чѣмъ больше государство вмѣшивается въ намѣренія, желанія и дѣйствія частнаго лица, не оставляя ему ни свободы совѣсти, ни домашней защиты, тѣмъ счастливѣе народъ. Такое убѣжденіе, естественно, привело Кольбера отъ политическаго принципа къ ложному экономическому воззрѣнію; оно было главнымъ источникомъ всѣхъ его заблужденій и постоянныхъ противорѣчій самому себѣ. Искренно желая разбудить дремавшія силы Франціи, онъ разбудилъ ихъ для того, чтобъ заковать въ новыя цѣпи; предполагая облагородить трудъ и возвысить его цѣну, онъ унизилъ его до непонятнаго рабства. Поэтому творчество идеи его, сила характера и двадцать лѣтъ строго-выдержанной дѣятельности окончились печальными результатами. Онъ оставилъ Франціи двѣсти семьдесятъ шесть морскихъ сооруженій, обогатилъ ее фабриками, далъ возможность королю совершить нѣсколько блистательныхъ походовъ и построить нѣсколько великолѣпныхъ дворцовъ, но народу не далъ ни богатства, ни правильно-организованнаго труда. Послѣ его смерти земледѣльческое сословіе находилось въ худшемъ положеніи, чѣмъ во времена Сюлли. Кто бы могъ подумать, что, послѣ всѣхъ его добрыхъ желаній, народъ могъ такъ бѣдствовать, какъ это видно изъ слѣдующаго отзыва герцога Ледигьера: „Я увѣрился, пишетъ онъ Кольберу въ 1675 году, — и считаю долгомъ извѣстить васъ, что большая часть жителей нашей провинціи (Дофине) — пробивалась впродолженіе зимы пищей изъ жалудей и корней и теперь они ѣдятъ траву и древесную кору". (Clément, стр. 279). Такое положеніе не было исключеніемъ одной или двухъ провинцій; напротивъ, подобныя донесенія приходили къ Кольберу со всѣхъ частей Франціи. Онъ отвѣчалъ на нихъ постояннымъ запрещеніемъ вывозить зерновой хлѣбъ за-границу, но запрещенія если и облегчали зло, то на нѣсколько мѣсяцевъ, и увеличивали его на будущее время. Администрація Кольбера, справедливо замѣчаетъ Клеманъ — представляетъ единственное и грустное зрѣлище министра, который, несмотря на горячее сочувствіе благу народа, сдѣлалъ ему, можетъ быть, болѣе зла". (Clément, стр. 281). Такова участь государственныхъ реформъ, поставленныхъ на ложныхъ основахъ...

Идею централизаціи и неизбѣжнаго съ ней деспотизма, Кольберъ выразилъ во всѣхъ административныхъ актахъ. Онъ, прежде всего, примѣнилъ ее къ ремесленнымъ корпораціямъ, которыя въ его время потеряли смыслъ. Какъ единственная защита противъ феодальнаго самоуправства, онѣ образовались въ средніе вѣка вслѣдствіе того же притязанія на власть и привиллегію, которое господствовало въ замкѣ, мона-

стырѣ и школѣ. Мастерская, подобно кельѣ, допустила іерархію работниковъ, управляемыхъ своимъ уставомъ, своими синдиками, совѣтами и адвокатами. Сложившись въ крѣпко-замкнутую касту при Людовикѣ Святомъ, она постепенно усложняла стѣснительныя правила, пока не довела ихъ до ненавистной монополіи. Не было ни одной, самой ничтожной отрасли труда, которая бы не была обложена налогомъ и не составляла исключительнаго цеха. Такъ, четыре отдѣльныя корпораціи занимались выдѣлкой шляпъ — одна производила только шерстяныя, другая цвѣтныя, третья — съ павлиными перьями, четвертая — суконныя; одна могла дѣлать только ножи, а другая только ножевые черенки. Притомъ каждая стремилась захватить въ свои руки какъ можно болѣе монополіи и привиллегій. Отсюда происходили постоянныя столкновенія между цеховыми сословіями и безконечные процессы, въ свою очередь порождавшіе безконечную бюрократію. Къ концу XVII вѣка судебныя издержки по тяжбамъ ремесленниковъ дошли болѣе чѣмъ до пятисотъ тысячъ франковъ. (Blanqui, т. I, стр. 311). Генрихъ III и его преемники, увеличивая число цеховъ, въ то же время облагали ихъ болѣе и болѣе тяжелыми таксами, такъ что мастеровой только начинавшій свое ремесло, былъ собственностью цеховаго тирана; хозяинъ (maître) имѣлъ право заставлять его работать подъ палочными ударами, и если онъ послѣ семи или восьми лѣтъ добивался званія компаніона въ Бордо или Ліонѣ, съ переходомъ ёго въ Парижъ или Орлеанъ онъ обязанъ былъ начинать снова съ простаго ремесленника. До какихъ нелѣпостей не доводитъ система, враждебная духу свободы. Но если производителю, рабу своего цеха, было тяжело, то потребителю, рабу лавки, было отнюдъ не легче; онъ пріобрѣталъ удобства жизни на условіяхъ, произвольно налагаемыхъ той или другой корпораціей. Злоупотребленія, наконецъ, были такъ очевидны и вредны развитію промышленности, что общество требовало отмѣны ихъ громко. Въ 1614 году генеральные штаты формально протестовали, предполагая уничтожить всѣ цехи, основанные съ 1576 года и предоставить свободный выборъ и занятіе ремесломъ „всѣмъ бѣднымъ подданнымъ короля". (Clément, стр. 220). Но протесты забывались, и купеческій феодализмъ, болѣе ненавистный чѣмъ аристократическій и духовный, продолжалъ угнетать пролетарія и народъ. Кольберъ встрѣтился съ этимъ предразсудкомъ въ то время, когда нелѣпость его вполнѣ разоблачалась: и за всѣмъ тѣмъ, онъ не только не ослабилъ, но укрѣпилъ его новыми распоряженіями. Думая одушевить мануфактурную промышленность и избавить ее отъ соперничества съ англійскими, голландскими и фламандскими фабриками, онъ хотѣлъ образовать способныхъ и дѣятельныхъ работниковъ. Но чтобъ образовать ихъ, онъ избралъ средство, совершенно противоположное цѣли, замѣнивъ послѣднюю свободу труда принужденіемъ, страхомъ и угрозой. Ему казалось, что довольно королевскаго указа, чтобъ пробудить въ работникѣ усердіе и знаніе дѣла

Ему казалось, что чѣмъ больше правительство связываетъ руки мастероваго, тѣмъ онъ будетъ умнѣй и энергичнѣй. Это обыкновенная метода старыхъ педагоговъ, которые учатъ религіи и всякому добру розгой. Слѣдуя этой системѣ, Кольберъ предписалъ „основать цехи тамъ, гдѣ ихъ не было, и дать всѣмъ корпораціямъ статуты, чтобы съ помощію ихъ возвысить качество произведеній" (Clément, стр. 242). Въ 1666 году онъ издалъ эдиктъ, въ которомъ говорилось такъ: „ремесленники, дозволяя себѣ полную свободу производить матерію разной длины и широты, слѣдуютъ собственнымъ капризамъ; *поэтому продажа ихъ значительно уменьшилась, по причинѣ дурного издѣлія*, къ общей невыгодѣ всѣхъ и каждаго". (Clément, стр. 251). Что нужно было, чтобъ возстановить продажу? По мнѣнію Кольбера надо было предписать закономъ — опредѣленную мѣру каждой матеріи, качество и цвѣтъ ея. Далѣе онъ назначилъ возрастъ, когда мастеровой могъ сдѣлаться хозяиномъ, какая работа могла быть отдана мальчикамъ и какая — дѣвушкамъ. Точно такими же правилами опредѣлялась фабрикація суконъ, ковровъ, мебели, стекла и проч. Въ инструкціи, состоявшей изъ 117 пунктовъ, встрѣчаются такія мелочи, которыя скорѣе походятъ на комическій фарсъ, чѣмъ на идею законодателя. Такъ, между прочимъ, было приказано торгашамъ вывѣшивать у своихъ лавокъ *бѣлые* водоемы, чтобъ отличить лавочниковъ отъ лѣкарей, которые выставляли желтые; только брадобрѣямъ парикмахерамъ дозволялось продавать волоса, а всѣмъ другимъ было запрещено, *развѣ только они принесутъ къ первымъ свои собственные*. Весь этотъ административный соръ сваливался въ парламентъ и, за его скрѣпой, разносился по всей Франціи. Составителями регламентовъ были, обыкновенно, привиллегированныя лица, изъ того же цеховаго сословія, которыя, разумѣется, не упускали случая придавить работника въ пользу собственныхъ интересовъ. За исполненіемъ ихъ наблюдали особенные агенты; штрафы и конфискаціи увеличивались по мѣрѣ того, какъ усложнялись предписанія. Все это возмущало общественное мнѣніе; работники не хотѣли повиноваться узаконеніямъ, а хозяева искали случая избѣжать ихъ обманомъ или подкупомъ; повсюду слышался ропотъ, иногда сопровождаемый серьезными оппозиціями. Кольберъ, по обыкновенію, упорствовалъ: гдѣ истощались его увѣщанія и кроткія мѣры, тамъ онъ прибѣгалъ къ тиранніи. Въ статутѣ амьенской мануфактуры было указано: „если въ ткани найдется хоть одна свѣжая и мокрая нитка, — съ цѣлію обмануть вѣсомъ, такую ткань слѣдуетъ сожечь на огнѣ". (Clément, стр. 236 — 239). „Какъ будто, справедливо выражаетъ Клеманъ,—не было другого, болѣе разумнаго средства, высушить нитку, какъ спалить ее на огнѣ". (Тамъ же). Съ тѣмъ вмѣстѣ для всей Франціи было введено въ обычай выставлять товары, выпущенные съ фабрики не въ томъ видѣ, въ какомъ предписывалъ законъ, — выставлять у позорнаго столба на площади, съ именами виновныхъ. Теперь нельзя не изумляться, какимъ образамъ на-

родъ могъ вынесть это драконово законодательство и какимъ образомъ французская промышленность не задохлась подъ этой массой эдиктовъ. „Эта нація, говоритъ Форбоне, обвиняемая въ непостоянствѣ, самая упорная въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно сохранить ложныя мѣры, одинъ разъ принятыя ею". (Recherch. et consider. sur les finances de France, III., стр. 89).

За всѣмъ тѣмъ, благодаря духу времени и прогрессу общества, многіе мануфактуры, созданныя Кольберомъ, процвѣтали. Фабрики шелковыхъ тканей, Гобеленовъ и обоевъ сохранили доселѣ блескъ и всемірную репутацію. Образованіе послѣдующихъ поколѣній сообщило имъ тотъ единственный изящный вкусъ, который составляетъ огромный капиталъ народнаго богатства и отличительную черту французскаго генія. Но надо знать, чего онѣ стоили народу во время Кольбера. Чтобъ перенести во Францію иностранныя мануфактуры, которыхъ еще не было, и поощрить основателей ихъ, государство истрачивало каждый годъ до 12.000,000 ливровъ; отъ 1661—1710 поддержаніе одной фабрики Гобеленовъ и мыла стоило казнѣ 3.945,643 ливра. (Clément, стр. 227). Притомъ вліяніе Кольбера на его преемниковъ было самое вредное въ томъ отношеніи, что они, слѣдуя его фискальному направленію, не имѣли ни его таланта, ни любви, чтобъ уравновѣсить зло гибельной системы. Думая, что прогрессъ промышленности заключается не въ развитіи народа и свободной дѣятельности человѣка, а въ приказаніяхъ правительства и надзорѣ полицейскихъ агентовъ, они приняли призракъ за дѣйствительную силу, и наводнили Францію эдиктами, регламентами и статутами. Эта манія творить на бумагѣ учрежденія, компаніи и разныя отрасли труда, не вызванныя внутреннимъ процессомъ народной жизни, продолжалась до самой революціи, которая обратила въ пыль картонное построеніе десяти вѣковъ. По крайней мѣрѣ, не облегчила ли она работника на счетъ общихъ лишеній? Такой вопросъ походитъ на слѣдующій: „будетъ ли скорѣе ходить пѣшеходъ, если набьютъ ему на ноги колодки". Даже въ настоящую минуту, когда Франція перешла два радикальныхъ финансовыхъ кризиса, три европейскихъ революціи и нѣсколько гражданскихъ войнъ, положеніе ремесленника, по мнѣнію Корбона, ничѣмъ не лучше, если не хуже, бѣлаго негра (De l'enseignement professionnel. Par A. Corbon, стр. 25). Если такъ теперь, то что же должно сказать о его состояніи за двѣсти лѣтъ, когда цѣлыя провинціи часто питались травой и желудями, когда личность человѣка стоила немногимъ больше вьючнаго животнаго, когда нищету считали непремѣннымъ удѣломъ народа, оскверняя этимъ софизмомъ Провидѣніе... Напротивъ, мы готовы думать съ Жюль Симономъ, что именно этой системѣ Франція обязана современнымъ безвыходнымъ положеніемъ рабочихъ сословій и параличнымъ состояніемъ труда. „Намъ предстоитъ одна реформа, говоритъ французскій профессоръ, — не отказываться отъ свободы, а довершить ее. Доселѣ вы только предвидѣли ее. Вы идете,

связанные корпораціями, патентами, монополіями, статутами, привиллегіями, таможнями, запретительными правами и инквизиціей... Работникъ, безъ сомнѣнія, страдаетъ, но развѣ онъ будетъ страдать меньше, еслибъ вы закрыли половину фабрикъ? Вы говорите объ организаціи труда, а организуете лобное мѣсто... Вы хотите реформъ, но развѣ преобразовать человѣка — значитъ опошлять его? Спросите у экономистовъ, они скажутъ, что свобода творитъ ремесленника; спросите у философовъ; они скажутъ, что изъ всѣхъ сихъ первая и творческая сила — талантъ; не душите его!"... (La Liberté, par Jules Simon. 1859. T. II, стр. 162—163).

Еще больше деспотическихъ стремленій выразилъ Кольберъ въ своей запретительной системѣ; она была также результатомъ его любви къ централизаціи и бюрократической маніи. Мы, конечно, не вправѣ обвинять его въ этой системѣ безусловно, потому что она въ ту эпоху господствовала повсюду; мы не можемъ никогда и нигдѣ признать ея справедливости *по принципу*, но есть періоды въ жизни каждаго народа, когда она оправдывается *по факту*. Во второй половинѣ XVII вѣка, при всеобщемъ невѣжествѣ промышленныхъ сословій, при отсутствіи всякой международной солидарности, при злоупотребленіяхъ привиллегированныхъ классовъ, наконецъ, при политической организаціи Франціи подъ правленіемъ Людовика XIV, она была также естественна, какъ настоящая тюрьма и ссылка. Правительства, покровительствуя труду и успѣху торговли, думали, что они, дѣйствительно, покровительствуютъ обществу, нисколько не догадываясь, что ихъ слишкомъ отеческая заботливость предоставила народъ чистому произволу судьбы. Этого мало; не зная, гдѣ остановиться на пути протекціонной системы, они положительно вредили соціальному прогрессу, увеличивая бѣдность рабочихъ классовъ и замедляя совершеннолѣтіе народовъ. Положимъ, что намѣренія ихъ были хороши, но однихъ намѣреній недостаточно, когда практическое осуществленіе ихъ ведетъ къ другимъ результатамъ. Представимъ, еслибъ винные откупщики всего міра согласились уничтожить моря и рѣки, чтобъ отнять у насъ воду для утоленія жажды и тѣмъ поднять значеніе самаго промысла, заставивъ насъ пить одно вино и водку; разумѣется, ихъ торгъ процвѣлъ бы и распространился повсюду. Представимъ, что ламповые мастера, для поощренія своей промышленности, запретили бы солнцу освѣщать насъ; разумѣется, они обогатились бы скоро; но большинство и въ томъ и въ другомъ случаѣ пострадало бы. Въ этомъ—главная ошибка всякой запретительной системы: она удовлетворяетъ минутнымъ интересамъ или извѣстной кучкѣ людей на счетъ общаго зла и въ ущербъ милліонамъ. „Я могу выразить, говоритъ Жюль Симонъ, — предупредительную систему въ двухъ словахъ: это — система недовѣрія къ гражданину и полной довѣренности къ правительству". (La Liberté. J. Simon, т. II, стр. 225).

Кольберъ возвелъ эту фаталистическую систему на степень классическаго авторитета. Онъ приложилъ ее не только къ мануфактурному, но и земледѣльческому труду. Мысль его, какъ всегда, была благородная, но примѣненіе ея нелѣпое. Желая сблизить земледѣльца съ фабричнымъ производителемъ и обезпечить Франціи самое существенное довольство, особенно въ продовольствіи войскъ на зимнихъ квартирахъ, онъ запрещалъ вывозъ зернового хлѣба за границу. Эти запрещенія были тѣмъ раззорительнѣе для народа, что они не имѣли ни опредѣленныхъ періодовъ, ни уважительныхъ причинъ; они врасплохъ заставали купца и земледѣльца, подрывая ихъ кредитъ другъ къ другу. Впродолженіе четырнадцати лѣтъ (1669 — 1683 годъ) вывозъ былъ прекращенъ на пятьдесятъ шесть мѣсяцевъ. Такой произволъ министра, часто основанный на воображаемомъ опасеніи, почти совсѣмъ остановилъ внутреннюю торговлю хлѣбомъ; лучшія поля были брошены, энергія и довѣріе работника упали и напуганное общество каждые три года испытывало непремѣнный голодъ. Состояніе деревни было самое жалкое. За недостаткомъ продуктовъ первой необходимости, и всѣ остальные сильно вздорожали. Буа Гильберъ высчиталъ, что пара чулковъ, стоившая въ началѣ XVII столѣтія пятнадцать су (семьдесятъ пять копѣекъ ассигнаціями), черезъ сто лѣтъ продавалась въ пять разъ дороже, между тѣмъ какъ хлѣбъ оставался при той же цѣнѣ или сравнительно съ прежнимъ временемъ значительно понизился. Такъ отъ 1656—1665 гектолитръ стоилъ восемнадцать ливровъ, а отъ 1666 — 1686 года — десять ливровъ. По мѣрѣ того, какъ производительность земли и добываніе сырыхъ матеріаловъ сократились, большая часть грубыхъ мануфактуръ, которыхъ издѣлія были особенно важны для народа, упали, когда правительство не поддерживало ихъ. Кольберъ разсылалъ приказы, погонялъ одного курьера за другимъ въ провинціи, совѣтовался, сердился, снова запрещалъ и снова дозволялъ, но все было напрасно. Земледѣліе падало, а съ нимъ и благосостояніе всей страны. „Эту ошибку министра, говоритъ Клеманъ, — столь замѣчательнаго во всѣхъ отношеніяхъ, надо считать общественнымъ бѣдствіемъ; послѣдствія ея были самыя печальныя. Грустно сказать, что никогда состояніе сельскихъ жителей не было такъ бѣдно, какъ въ правленіе Людовика XIV и даже во время администраціи Кольбера, то есть, въ самый прекрасный періодъ царствованія и въ началѣ тѣхъ великихъ роковыхъ войнъ, которыя отуманили большую часть его жизни“. (Clément, стр. 278). Теперь понятно, что „злой духъ, который разрушалъ то, что́ строилъ Кольберъ“, заключался въ самомъ характерѣ его дѣятельности. Не угадавъ великой тайны народнаго богатства — свободы труда и индивидуальной независимости, онъ самъ уничтожилъ плоды своей свѣтлой мысли. Это былъ неутомимый строитель грандіознаго зданія на песчаной почвѣ; прежде чѣмъ онъ завершилъ его, увидѣлъ, что основаніе рушилось.

Не могъ ли Кольберъ, въ свое время, если не оцѣнить, то предвидѣть идею свободнаго труда? Разумѣется, могъ. Ее понималъ и выразилъ Локкъ въ Англіи, ее предчувствовали во Франціи [1]), но она была достояніемъ немногихъ передовыхъ умовъ, свѣтившихъ для грядущихъ эпохъ и поколѣній. Для большинства же она была утопіей праздной фантазіи, потому что выходила изъ круга общепринятыхъ понятій. Это обыкновенная судьба великихъ идей, въ ихъ зародышѣ. Онѣ лежатъ безъ дѣйствія до тѣхъ поръ, пока не встрѣтятся съ общимъ сочувствіемъ и благопріятными обстоятельствами. Послѣ этой встрѣчи онѣ дѣлаются практическими истинами, и неотразимо увлекаютъ за собой потокъ матеріальныхъ фактовъ. Мы живемъ въ то время, когда передъ нами совершается радикальный переворотъ въ европейскихъ обществахъ; но немногіе чувствуютъ его движеніе, еще меньше тѣхъ, кто понимаетъ его внутренній смыслъ. Можетъ быть, черезъ сто лѣтъ соціальная наука обратится въ математическую аксіому, доступную уму каждаго ребенка, но теперь большинство считаетъ ее иллюзіей и боится, какъ старыя бабы боятся холоду. Кольберъ, какъ мы уже сказали, вовсе не принадлежитъ къ числу тѣхъ геніальныхъ умовъ, которые далеко видятъ въ будущемъ. Но еслибъ онъ и понялъ высокія требованія соціальной жизни Франціи, то могъ ли онъ осуществить ихъ при Людовикѣ XIV, и въ томъ обществѣ, которое доселѣ не можетъ принять ихъ? Въ этомъ отношеніи онъ стоитъ въ ряду тѣхъ историческихъ дѣятелей, которые осуждены падать подъ ношей своего собственнаго труда. Онъ сдѣлалъ все, что̀ можно было сдѣлать въ эпоху грубаго деспотизма.

Кольберъ представляетъ намъ два лучшихъ урока. Онъ доказалъ собой, что для воспитанія великаго государственнаго человѣка нужны великія гражданскія начала; что безъ политической свободы нѣтъ свободы труда, а безъ свободы труда нѣтъ народнаго богатства.

---

[1]) Еще въ 1623 году, одинъ безъименный авторъ издалъ въ Парижѣ сочиненіе подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „Le nouveau Cynée ou discours des occasions et moyen d'établir une paix générale et la liberté du commerce par tout le monde". Впослѣдствіи Сэнъ-Пьеръ развилъ эту тему вполнѣ. Что особенно замѣчательно въ этомъ произведеніи, — неизвѣстный его авторъ совершенно ясно понималъ многіе соціальные вопросы нашего времени.

1859.

ТЮРГО.

I.

Значеніе XVIII вѣка доселѣ остается вопросомъ исторіи. Не было ни одной эпохи, которая бы такъ широко и глубоко волновала ветхій міръ, такъ была богата великими дѣятелями мысли и результатами ея; по крайней мѣрѣ, никогда любовь къ истинѣ не заявила себя такими благородными жертвами, не возбуждала такого энтузіазма и сочувствія, какъ въ прошломъ столѣтіи. Это былъ вѣкъ умственнаго потрясенія во всѣхъ человѣческихъ вѣрованіяхъ, убѣжденіяхъ и надеждахъ. Его духъ доселѣ живетъ съ нами; его горячее и вдохновенное слово доселѣ раздражаетъ нервы и трогаетъ сердце; его школа была школой всего человѣчества. И за всѣмъ тѣмъ онъ не нашелъ себѣ ни достойнаго критика, ни историка. Его мнѣнія, которыя мы принимаемъ за новость вчерашняго дня, давно обратились въ мертвый капиталъ архива или библіотеки; многіе изъ его бойцевъ, отмѣченныхъ необыкновеннымъ дарованіемъ и энергіей, едва извѣстны по именамъ; изъ его главной идеи, въ высшей степени человѣчной и миролюбивой, одни сдѣлали пугало разрушенія и смерти, другіе — общее мѣсто похвалы или удивленія; но никто не представилъ полной и живой картины; никто не опредѣлилъ ни внутренняго смысла, ни вліянія его.

Впрочемъ, для спокойнаго воззрѣнія на этотъ вѣкъ еще не пришло время. Кто былъ у подошвы Монъ-Блана, тотъ знаетъ, что „великанъ Альпійскихъ горъ" представляется пигмеемъ въ сравненіи съ другими, болѣе отдаленными вершинами. Этотъ обманъ глади, на близкомъ разстояніи, такъ великъ, что кажется, вы видите весь Монъ-Бланъ передъ собой и, въ нѣсколько минутъ, можете подняться на его темя: на самомъ же дѣлѣ мало трехъ дней, чтобъ подойти къ его снѣжному вѣнцу

и надо много силъ, чтобъ одолѣть всѣ препятствія опаснаго пути. Точно то же можно сказать о нашемъ взглядѣ на XVIII вѣкъ. Мы слишкомъ близко стоимъ къ нему, чтобъ вѣрно смотрѣть на него. Колоссальные размѣры его то сокращаются, то раздвигаются, смотря потому, съ какой точки зрѣнія анализируютъ его. Нашъ судъ не можетъ быть безпристрастнымъ, потому что страсти, духъ партій, слава и казни этой эпохи еще не совсѣмъ отдѣлились отъ насъ. Среди нашего поколѣнія еще живутъ дѣти тѣхъ отцовъ, которые погибли на эшафотѣ или затерялись на чужой землѣ, — есть цѣлыя сословія, сохранившія наслѣдственную ненависть другъ къ другу, послѣ революціоннаго разгрома Франціи. Для католическаго попа имя Вольтера, или для политическаго Тартюфа память Руссо и Мирабо еще долго будутъ предметомъ укора, если не проклятія. Съ этимъ эгоистическимъ чувствомъ, самымъ слѣпымъ изъ всѣхъ человѣческихъ чувствъ, соединяется другое обстоятельство. Наши понятія, сбитыя нѣсколькими реакціями, притупились; на сцену исторіи выступили другіе интересы и стремленія; они увлекли за собой усталую и разочарованную Европу, разсѣявъ золотые сны стараго времени. Насъ занимаютъ не общечеловѣческіе вопросы, а разчистка домашней грязи, накопившейся у каждаго: chacun chez soi, chacun pour soi — вотъ правило нашего времени. Поставивъ на мѣсто трибуны мелочную лавку и усадивъ банкира на мѣшкѣ хлопчатой бумаги вождемъ современныхъ событій, мы думаемъ, что лучшаго счастія нельзя желать народамъ. Если же они просыпаются для высшихъ требованій, ихъ укладываютъ снова политическими софизмами. Наша вѣра въ принципы, наша логика событій, такъ слабы, что мы, собственно, ничего не предвидимъ дальше завтрашняго утра и ни къ чему не стремимся, кромѣ матеріальнаго спокойствія. „Осмотритесь, говорилъ Кинендеринъ, — надъ какой бездной вы идете по гнилому мосту, и еще увѣряете, что онъ перенесетъ васъ на другой берегъ, на берегъ живыхъ, а не мертвыхъ“... Сквозь эту мутную атмосферу эгоизма и апатіи, намъ трудно понимать юношескую жизнь, въ которой было много идеальныхъ увлеченій, ошибокъ и пороковъ, но гораздо больше нравственной силы, отваги и благородныхъ дѣяній. Въ состояніи ли мы подняться до тѣхъ высокихъ началъ, которыя въ концѣ прошлаго вѣка одушевляли философа, политика и солдата? Говорятъ, есть эпохи, въ которыя жизнь измѣряется днями, и эти дни стоятъ нѣсколькихъ лѣтъ другого времени. Въ такія эпохи, обыкновенно, совпадающія съ высшимъ индивидуальнымъ развитіемъ, отдѣльныя личности выростаютъ до богатырскаго роста; онѣ способны совершить то, что могутъ выполнить только массы; въ такіе періоды геній и воля идутъ рядомъ съ необыкновенными подвигами, сообщая каждому соціальному явленію характеръ оригинальности. Кто изъ современныхъ женщинъ не испугался бы трагической судьбы Шарлоты Корде? Въ цвѣтѣ юности, она прино-

ситъ себя въ жертву идеи, фанатической, но глубоко обдуманной и строго выдержанной. Кто изъ настоящаго поколѣнія рѣшился бы подражать Б. Сенъ-Пьеру, или, лучше, какой школьникъ не оскорбилъ бы его названіемъ пустого мечтателя? Онъ, дѣйствительно, былъ восторженный идеалистъ: распродавъ послѣднія книги въ Парижѣ, съ шестью франками въ карманѣ, онъ идетъ на берега Аральскаго моря — зачѣмъ вы думаете? затѣмъ, чтобъ основать тамъ новую республику съ новыми законами и нравами. Но кто же не согласится, что въ этой мечтѣ есть пламенная вѣра въ свое убѣжденіе, есть сила, свойственная здоровымъ организаціямъ. Всѣ эти явленія и характеры теперь представляются въ иномъ свѣтѣ; ихъ закрываютъ отъ насъ пространство семидесяти лѣтъ, исполненныхъ убійствъ, измѣны, лжи и обманутыхъ надеждъ. Мы слишкомъ разсчетливы, чтобъ оцѣнить искреннее увлеченіе, слишкомъ мелки, чтобъ стать на высоту идеальнаго чувства, — мы, просто, „изношенное платье съ плечь нашихъ отцовъ", какъ замѣтилъ одинъ комикъ.

Притомъ пониманіе XVIII вѣка, во всѣхъ его направленіяхъ, очень трудно. Это былъ вѣкъ поразительныхъ контрастовъ, въ семейномъ, соціальномъ и политическомъ отношеніи. Въ немъ развивались двѣ параллельныя стихіи, совершенно противоположныя другъ другу. Съ одной стороны передъ вами несется жизнь веселая, пустая, обставленная блескомъ роскоши, искусствъ и циническаго разврата; здѣсь все дышитъ условными приличіями, фразами, все вздыхаетъ о любви и презираетъ истинную любовь, все интригуетъ и всего надѣется отъ интриги; здѣсь съ утра до глубокой ночи даются шумные пиры — grands diners et petits soupers, — за которыми вино, розы, каламбуры и красота смѣшиваются съ безстыдной наглостью куртизановъ и королевскихъ любовницъ, съ клеветой и ябедой ползающихъ льстецовъ; здѣсь семидесятилѣтняя Дюдефанъ серьезно влюбляется въ пятидесятилѣтняго Вальполя, и мѣщанка Помпадуръ даетъ тонъ самому щепетильному парижскому обществу. Съ другой стороны — тянется жизнь бѣднаго народа, съ толпами бродягъ и нищихъ, съ періодическимъ голодомъ по деревнямъ, съ невѣжествомъ и рабствомъ въ городахъ; здѣсь все — угрюмо, безотрадно; ни протеста за свои страданія, ни голоса противъ несправедливости. Но по мѣрѣ того, какъ ростетъ зло, изъ среды народа возникаетъ оппозиція старому порядку вещей; люди всѣхъ націй, состояній и оттѣнковъ мысли, какъ будто сговорившись напередъ, собираются въ одинъ плотный кружокъ; между ними много вражды, зависти, разнорѣчія, но ихъ соединяетъ одно чувство — чувство народнаго добра. Вліяніе ихъ, основанное не на покровительствѣ власти или силы, а на любви къ правдѣ и уваженіи къ человѣку, быстро распространяется. Учениками ихъ дѣлаются короли, министры, простые работники, старики и юноши; въ ученіи этихъ людей тотъ же хаосъ, какъ и въ соціальномъ положеніи. Всевозможныя системы, — отъ Эпикура до Нью-

тона, отъ Платона до Локка, — сливаются въ одну капитальную задачу реформы и обновленія общества. И общество, чувствуя необходимость лучшаго устройства, порывается впередъ, во всемъ ищетъ отвѣта тревожнымъ предчувствіямъ. Въ предчувствіяхъ, какъ обыкновенно бываетъ во всѣ періоды кризисовъ, ничего не было яснаго и опредѣленнаго; никто не предвидитъ, чѣмъ окончится драма нѣсколькихъ поколѣній; самые нѣжные и впечатлительные темпераменты тяжело тоскуютъ, и не догадываются въ чемъ источникъ этой тоски; среди всеобщаго броженія лучшіе умы дѣйствуютъ на-угадъ; впереди ихъ нѣтъ никакой положительной цѣли, или спеціальной и конкретной проблемы; они ясно понимаютъ одно — невозможность продолжать то существованіе, въ которомъ изсякли всѣ жизненныя силы. Отъ практическаго міра, кромѣ отрицанія и ненависти, нечего было взять; но чѣмъ дальше они отходили отъ него, тѣмъ выше уносились въ область идеи и мечты. Поэтому, между прочимъ, мы видимъ въ работѣ ихъ мало творческихъ элементовъ, но много критическихъ. Разбивая пошатнувшееся зданіе, они пользуются всякимъ орудіемъ, какое только служитъ имъ на пользу; философія, исторія, юриспруденція, трагедія, комедія, повѣсть — все направлено къ одному результату. Само собой разумѣется, что въ этомъ раздраженномъ состояніи борьба мнѣній, столкновеніе интересовъ, противорѣчіе идей и поступковъ, плоская лесть и зубоскальство фернейскаго патріарха съ его рѣзкими обличеніями, слезы Ж.-Ж. Руссо съ истерическимъ смѣхомъ Гольбаха, смѣлость Дидро съ его дѣтской трусостью — все это соединяется на одной и той же сценѣ дѣйствія, и часто въ характерѣ однихъ и тѣхъ же людей. Поэтому, уловить истинную физіономію этой подвижной и лихорадочной эпохи чрезвычайно трудно. Ея эклектизмъ обязываетъ изслѣдователя провѣрить нѣсколько вѣковъ умственной работы; ея анализъ заставляетъ собрать громадные матеріалы прежнихъ ученій; пониманіе ея всеобъемлющаго духа требуетъ, кромѣ яркаго ума, симпатичное сердце и художественную фантазію. Кабинетный или академическій педантъ не долженъ подходить къ этому живому, разностороннему и вѣчно измѣняющемуся міру, потому что онъ не пойметъ сухимъ мозгомъ людей чувства.

Дѣятели XVIII вѣка, конечно, были люди умные и образованные; но не въ этомъ ихъ достоинство. Генія ихъ, какъ бы онъ ни былъ вооруженъ размышленіемъ и познаніями, было мало. Это были *люди сердца*, и въ этомъ тайна ихъ огромнаго успѣха. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ объяснить то вліяніе, которое они распространили отъ одного конца Европы до другого, отъ мастерской фабричнаго работника до кабинета Екатерины II? Сочувствіемъ истинѣ? — Нѣтъ сомнѣнія, истина увлекаетъ массы, но чтобъ дѣйствовать на нихъ, ей необходимо внѣшнее выраженіе, тотъ магическій языкъ, которымъ говоритъ мать сыну, братъ своему брату. Истина, переданная Платономъ, осталась навсегда въ

университетской аудиторіи, истина, выраженная Бэкономъ, только черезъ двѣсти лѣтъ обобщилась въ Англіи. Если угодно, у насъ истинъ больше, чѣмъ было у нашихъ предковъ, но почему же онѣ такъ медленно прививаются къ обществу, такъ холодно дѣйствуютъ на насъ? — Литературной формой? но одной формы безъ началъ—для жизни недостаточно. Нѣтъ, это вліяніе объясняется не столько содержаніемъ и языкомъ, сколько симпатіей писателя съ читателемъ, той внутренней связью, которая, подобно электрическому току, идетъ отъ сердца къ сердцу, отъ нерва къ нерву. Въ ихъ идеяхъ, кромѣ популярности, такъ много наивнаго и искренняго чувства, что какой бы предметъ ни былъ затронутъ, въ изложеніи его есть откликъ души, понятной всѣмъ и каждому. Тамъ, гдѣ недоставало имъ зоркаго взгляда или научнаго свѣдѣнія, они угадывали истину инстинктомъ, который часто служилъ имъ лучше самаго солиднаго размышленія. „Если вы хотите говорить съ народомъ и заставить его слушать себя, замѣчаетъ Милль, — говорите о томъ, что̀ ему нужно; говорите отъ души, иначе онъ не повѣритъ вамъ; говорите часто, иначе онъ забудетъ васъ". (Dissert. and disenss., т. II, стр. 105). Только такіе люди способны стоять во главѣ великихъ событій и если не управлять, то начинать реформы. Поставьте на мѣсто ихъ базельскихъ профессоровъ XVI или сорбонскихъ іезуитовъ XVII вѣка, въ ученіи ихъ было бы больше логической строгости, доктрины и фактовъ, но не было бы ни духа, ни сердца; отъ фоліантовъ ихъ вѣяло бы тѣмъ остывшимъ трупомъ, который отталкиваетъ отъ себя живое существо. Оттого же писатели XVIII вѣка были такъ разносторонни; они въ правѣ сказать о себѣ: nil humanum mihi alienum sit (ничто человѣческое мнѣ не чуждо). Кто могъ бы теперь подумать, еслибъ не зналъ авторскихъ именъ, что одна и та же рука писала „Духъ законовъ" и „Персидскія письма"; — что въ одной и той же головѣ созрѣла мысль „Соціальнаго договора" и „Новой Элоизы"? Мы можемъ обвинять этихъ людей въ легкомысліи и аффектаціи, мы можемъ, пожалуй, съ московскими Памелами отъ никитскихъ воротъ и съ петербургскими критиками задняго числа, глумиться надъ ихъ сантиментальностью, но отнюдь не можемъ отказать имъ ни въ искренней любви къ прекрасному, ни въ гражданскомъ мужествѣ, ни въ уваженіи къ народному правому дѣлу. Мы можемъ простить имъ многое, потому что они много любили. Это были люди сердца и, слѣдовательно *дѣйствія*.

Въ числѣ мыслителей XVIII вѣка незамѣтно проходитъ кучка людей, не оцѣненныхъ современниками и почти забытыхъ потомствомъ. Въ другое время, менѣе богатое талантами и умственными интересами, они пользовались бы блистательной репутаціей; теперь же едва обратили на нихъ вниманіе. Работая надъ наукой, дотолѣ неизвѣстной во Франціи и едва сознаваемой въ Европѣ, — работая въ дали отъ свѣта и лите-

ратурнаго ареопага, надъ простыми экономическими вопросами, они не искали ни громкой популярности, ни авторитета. Ихъ трудъ походилъ на келейное занятіе средневѣковыхъ отшельниковъ. Говоря объ одномъ изъ этихъ людей, Мармонтель пишетъ въ своихъ мемуарахъ: „Тогда, какъ бури поднимались и утихали подъ антресолями доктора (Кене), онъ, равнодушный къ придворному вихрю, какъ будто за сто миль отъ него, спокойно сидѣлъ надъ аксіомами и вычисленіями сельской экономіи". (Mémoires. стр. 16). Типическимъ выраженіемъ и послѣднимъ представителемъ этихъ тружениковъ былъ Дюпонъ де-Немуръ. Онъ провелъ всю жизнь среди безпрерывныхъ заботъ о распространеніи ученія; онъ пронесъ чистоту политической вѣры сквозь революціонные фазисы, сохранилъ ее, какъ во Франціи, такъ и въ Америкѣ, какъ въ подвалахъ своего стараго зàмка, такъ и въ обсерваторіи, укрываемый то отъ ножа убійцъ, то отъ нравственнаго униженія реставраціи и, наконецъ, покинувъ отечество, умеръ въ дали отъ него, вѣрный юношескому увлеченію. Когда другіе совѣтовали ему отдохнуть отъ трудовъ, поберечь свое здоровье, онъ отвѣчалъ имъ: „да, я отдохну, но только на другой день послѣ похоронъ своихъ". Между тѣмъ, какъ эти люди, въ тиши и неизвѣстности воздѣлывали идею, жатва ея быстро созрѣла; почти въ одно и то же время въ Англіи, Италіи и Испаніи она даетъ плодъ; послѣдствія ея были такъ важны, что послѣ философіи не было труда болѣе интереснаго и полезнаго. Мы говоримъ о *физіократахъ*.

Родоначальникомъ ихъ былъ Кене. Сынъ провинціальнаго адвоката, воспитанный на фермѣ передъ лицомъ южной природы, среди простого сельскаго класса, онъ до одиннадцати-лѣтняго возраста не умѣлъ ни читать, ни писать; впослѣдствіи совершенно случайно попадается ему въ руки книга „La maison Rustique" (Сельскій домъ); онъ читаетъ ее съ наслажденіемъ и задумывается. Когда ему исполнилось семьнадцать лѣтъ, отецъ, принимая во вниманіе не наклонности юноши, а семейные разсчеты, избираетъ ему карьеру медика. Молодой Кене усердно занимается наукой, проходя отъ званія деревенскаго цирюльника до замѣчательнаго столичнаго доктора. Ничего или очень мало мы знаемъ объ этомъ періодѣ его жизни; одно извѣстно, что онъ рано пріобрѣлъ имя и славу въ парижскомъ обществѣ, принятый ко двору въ качествѣ домашняго лѣкаря Людовика XV. Постоянно обращаясь между королемъ и его любовницей, исполняя прихоти Помпадуръ и поправляя разстроенный желудокъ французскаго султана, онъ не искалъ у нихъ ни покровительства, ни богатства. Его окружали, со всѣхъ сторонъ, роскошь и этикетъ, и онъ навсегда сохранилъ простоту въ образѣ жизни и бѣдность. Однажды семейство Кене упрашивало его выхлопотать сыну доходное мѣсто генерала-фермера, онъ отказался, промолвивъ: „счастіе моихъ дѣтей не должно быть несчастіемъ для другихъ". Съ прямотой характера и совершеннымъ безкорыстіемъ, онъ соединялъ искреннюю

любовь къ народу, „къ которому, во Франціи, нѣтъ ни малѣйшаго уваженія“, какъ замѣтилъ Вобанъ Людовику XIV. Видя, съ одной стороны, необузданное мотовство высшаго класса, съ другой — припоминая бѣдность того сословія, среди котораго онъ родился, Кене сталъ размышлять о неравенствѣ состояній. Разбирая причины его, онъ, естественно, сошелся съ экономическими вопросами, сильно занимавшими его современниковъ. Эти вопросы были извѣстны до него, но они существовали въ видѣ идиллическихъ поэмъ Фенелона или лирическихъ гимновъ Ж. Ж. Руссо; если же появлялись серьезныя сочиненія, то ихъ преслѣдовали, какъ алхимію въ средніе вѣка. Вобанъ первый рѣшился разоблачить бѣдственное состояніе народа и указать средства къ улучшенію его; но его знаменитая „Королевская десятина“ (Dîme Royale) вооружила противъ него короля и была сожжена рукой палача. Буагильберъ за его „Подробности Франціи“ (Detail de la France) былъ сосланъ въ Овернъ, и книга арестована. Кене собираетъ разсѣянныя идеи въ систему, закрѣпляетъ ихъ своимъ собственнымъ взглядомъ и даетъ имъ право на особенную науку. Такимъ образомъ возникла школа экономистовъ; она воспитала величайшаго соціалиста прошлаго столѣтія — Адама Смита и положила начало новому знанію во Франціи.

Въ одно время съ Кене дѣйствовалъ другой физіократъ, Гурне. Сынъ негоціанта и самъ негоціантъ, онъ долго изучалъ коммерцію съ чисто практической точки зрѣнія. Съ этой цѣлью онъ объѣхалъ почти всю Европу, наблюдая разнообразныя явленія національныхъ промышленностей. Вездѣ, въ бо̀льшей или ме́ньшей степени онъ имѣлъ случай убѣдиться, что монополія богача и административныя стѣсненія правительствъ мѣшаютъ успѣху народной дѣятельности. Такъ изъ простого купца образовался горячій защитникъ свободы труда и ремесленника. Переселившись изъ Испаніи во Францію, онъ былъ назначенъ интендантомъ коммерческаго совѣта, гдѣ его умъ и честность были очень полезны. Всякая попытка къ прогрессу находила въ немъ искренняго поборника; всякое угнетеніе — открытаго врага. Въ 1756 году, подъ руководствомъ его, устроилось первое земледѣльческое общество въ Бретани, и составился кругъ людей, связанныхъ общимъ желаніемъ спеціальной реформы. Это были Мирабо, Рейналь, Ларивьеръ, д'Аржансонъ и другіе. Изъ маленькаго клуба, собиравшагося на антресоляхъ Кене, но впослѣдствіи закрытаго, вышла огромная школа учениковъ, которые пронесли идею во всѣ концы Европы. „Около 1750 года, говоритъ Дюпонъ де-Немуръ, — два геніальные человѣка, съ глубокимъ и проницательнымъ наблюденіемъ, съ неутомимымъ вниманіемъ и строгой логикой, одушевленные благородной любовью къ отечеству и міру, Кене и Гурне начали разработывать политическую экономію, желая открыть въ ней науку и опредѣлить ея начала“. (Oeuvres de Turgot, par D. de Nemours. 1811 года. T. I, стр. 158). Само собою разумѣется, что это

ученіе не могло быть совершеннымъ, но при всѣхъ недостаткахъ его, оно, подобно философіи бросило широкій лучъ свѣта на соціальное состояніе Франціи. (См. Economistes au XVIII s., т. 12. Dîme Royale, par Vauban).

Прежде, чѣмъ мы разъяснимъ идею физіократовъ, посмотримъ на самое общество, среди котораго они развились и дѣйствовали.

Лудовикъ XIV умиралъ среди безмолвныхъ проклятій народа и общаго лицемѣрія окружавшихъ его лицъ. Смерть его была предвѣстникомъ будущихъ золъ Франціи. Онъ оставилъ страну, раззоренную войной, измученную религіозными гоненіями, униженную самовластіемъ, опутанную безчисленной бюрократіей, безъ уваженія въ собственномъ мнѣніи и въ глазахъ другихъ націй. Даже артистическій блескъ и монументальное величіе потеряли прежнее обаяніе. Теперь было не до тріумфовъ и пышныхъ драгонадъ; другія, болѣе существенныя нужды занимали правительство. Ему грозило всеобщее банкротство въ казнѣ, промышленности, на фабрикахъ и мануфактурахъ. Болѣе трехъ миліардовъ долгу тяготѣло на самомъ бѣдномъ, рабочемъ сословіи; государство уже давно изворачивалось доходами за два года впередъ; дѣятельность повсюду прекратилась; многія земли лежали заброшенными; лучшіе работники ихъ бѣжали въ чужія земли или сидѣли въ темницахъ со скованными руками; десятая часть народонаселенія обратилась въ нищихъ. Меркантильная система, возведенная Кольберомъ въ идеалъ запретительной рутины, истощила послѣднія средства народнаго труда и довольства.

Въ такомъ видѣ принялъ Францію регентъ, человѣкъ безхарактерный, лѣнивый и алчный до грубыхъ наслажденій. Воспитателемъ его былъ Дюбуа, монахъ безъ вѣры, сынъ нищаго аптекаря, впослѣдствіи кардиналъ и одинъ изъ первыхъ богачей Франціи. Онъ систематически растлѣвалъ умъ и волю своего питомца, основавъ на развратѣ отроческой души свою будущую карьеру. Онъ достигъ ее; во имя герцога Орлеанскаго, Дюбуа безотчетно управлялъ королевствомъ. Въ то время, когда бездарный и безсовѣстный кардиналъ вертѣлъ государственными дѣлами, регентъ пировалъ среди гарема любовницъ и друзей за бутылкой. „Каждый вечеръ, говоритъ Токвиль, — онъ приглашалъ своихъ разгульныхъ товарищей, наложницъ, оперныхъ дѣвчонокъ, часто герцогиню де-Берри, людей темнаго званія, но игриваго ума и славныхъ пороками. За этими ужинами одушевляли собесѣдниковъ превосходныя вина и яства; предметомъ говора были скандалезныя происшествія двора и города. Пили, горячились, вели циническіе споры; наконецъ — утомленіе разлучало гостей; кто былъ покрѣпче, — уходилъ; кто не могъ держаться на ногахъ, — того уносили, и на другой день повторялась та же безумная оргія“. (Histoire du règne de Louis XV, par B. Tocqueville. T. I, стр. 24). Послѣ мрачнаго убожества Лудовика XIV, въ послѣдніе дни правленія его, веселая и буйная жизнь регента прошла заразой по

Парижу. Онъ, и особенно министръ его, искали спокойствія и прочнаго положенія въ омраченіи мозга и усыпленіи благородныхъ страстей общества, и оно слишкомъ мало сознавало себя, чтобъ не поддаться ихъ политикѣ; послѣ долгаго раболѣпія, оно приняло разгулъ за свободу и распущенность нравовъ за снисходительность властителя. Аристократія, а за ней и богатая буржуазія, уже съ политическимъ значеніемъ, пародировали то, что происходило въ Тюльери. Только нѣкоторыя лица, недовольныя регентомъ или не хотѣвшія участвовать въ его грубыхъ удовольствіяхъ, поставили себя въ сторонѣ. Такъ, герцогъ Шартрскій, единственный сынъ его, изъ боязни двора, заключилъ себя въ келью, и коротали скучные часы уединенія изученіемъ теологіи. Старшая дочь его, оскорбленная поведеніемъ отца, и утомленная свѣтскимъ вздоромъ, бросилась въ монастырь, похоронивъ свою молодость подъ черной рясой игуменьи. Старые бароны и графы, еще не утратившіе патріархальнаго характера XVII вѣка, скрылись въ наслѣдственныхъ замкахъ. Между тѣмъ, какъ во дворцѣ все праздновало, и герцогъ Орлеанскій полной рукой награждалъ свой сераль и приверженцевъ, государственная казна чахла, общественный кредитъ падалъ, долги росли и налоги увеличивались. Въ такую критическую эпоху является на помощь шотландскій выходецъ, Лоу. Онъ предлагаетъ финансовую систему, основанную на кредитѣ; „чѣмъ больше денегъ, утверждаетъ онъ,—тѣмъ больше труда и народнаго богатства". Убѣжденный въ успѣхѣ предпріятія, онъ открываетъ частный банкъ съ чисто-коммерческими операціями. Банкъ началъ дѣйствовать 2-го мая 1716 года. Вліяніе этого учрежденія было огромное. Когда негоціанты увѣрились въ обезпеченіи размѣнной кассы и въ дѣйствительной силѣ билетовъ, выдача ихъ быстро возрасла. „Милліоны, говоритъ Левасеръ,— были розданы мануфактуристамъ. Лавки снова открылись; мастерскія, не задолго упавшія, опять огласились ударами молотовъ и фабрики едва поспѣвали удовлетворять запросу покупателей... Лоу даже думалъ обратить въ обширную мастерскую старинный замокъ, Ринкарваль, имъ купленный: это было полное торжество промышленности надъ развалинами феодализма". (Histoire des classes ouvrières, par Levasseur. T. II, стр 344, 1859). Черезъ два года, купеческій банкъ Лоу обратился въ королевскій, и, чтобъ дать общественному кредиту новую опору, его соединили съ компаніей западной Индіи. Отсюда начинается рядъ самыхъ дерзкихъ спекуляцій; пылкому воображенію французовъ обѣщаютъ несмѣтныя сокровища въ Америкѣ; въ Парижѣ распускается слухъ, что у береговъ Мисиссипи открыты неистощимые рудники золота, болѣе чистаго, чѣмъ мексиканское. Путешественники, подкупленные правительствомъ, подтверждаютъ слухи. Съ тѣмъ вмѣстѣ компанія захватываетъ въ свои руки почти всѣ отрасли государственныхъ доходовъ. Въ 1718 году, 4-го сентября ей была отдана монополія табаку и торговля неграми; въ маѣ сливается съ ней китайское и восточно-индійское обще-

ство; затѣмъ къ ней переходитъ самый хищный откупъ генеральныхъ фермъ, съ правомъ управленія ими на десять лѣтъ; далѣе декретомъ совѣта переданы ей всѣ права, обязанности и доходы генеральныхъ сборщиковъ налоговъ, такъ что—не болѣе, какъ въ годъ, сосредоточилась въ ея распоряженіи почти вся финансовая система. Акціи, выпущенныя банкомъ до трехъ милліардовъ, поднялись вдвое, то есть, достигли въ обращеніи до шести милліардовъ трехсотъ тридцати трехъ милліоновъ ливровъ. Типографскіе станки работали день и ночь надъ бумажными деньгами, вызывая тысячи новыхъ потребностей и предпріятій. Желаніе запастись акціями, подобно эпидемической лихорадкѣ, овладѣло всѣми сословіями отъ королевской семьи до трактирнаго лакея. Въ улицѣ Кэнкампуа, (гдѣ находился размѣнный банкъ), съ шести часовъ утра до восьми часовъ вечера, волны народа стекались, и, съ опасностью смертельной давки, ломились къ кассѣ. За неимѣніемъ звонкой монеты для размѣна на ассигнаціи [1]), приносили брилліанты, жемчугъ и серебряные сервизы. Курсъ измѣнялся иногда нѣсколько разъ въ день, и кто сегодня уснулъ богачемъ, тотъ завтра могъ проснуться нищимъ. Лоу и даже его любовница слѣлались предметомъ всеобщаго поклоненія; въ ихъ передней толпились дамы лучшаго общества, ихъ благоволенія заискивали самые гордые аристократы. „Въ эту эпоху, продолжаетъ историкъ Людовика XV,—не было ни одного порока, которому бы не подало примѣра высшее сословіе. Опошленіе души соединилось съ развращеніемъ нравовъ; куртизаны и даже принцы осаждали регента, чтобъ достать отъ него акцій". (Histoire du règne de Louis XV, т. I, стр. 128). Денежный торгъ, основанный на вѣроятности выгодной сдѣлки или спекуляціи, возмутилъ самыя грязныя страсти; ажіотажъ, открывшій подъ ногами Франціи ту бездонную пропасть, которая не менѣе азіятской чумы поглотила силъ, талантовъ и состояній легкомысленныхъ людей,—теперь вошелъ въ общее употребленіе. Каждому лѣнивцу и негодяю хотѣлось разбогатѣть въ нѣсколько часовъ, безъ труда и способностей. И, дѣйствительно, биржевая игра творила чудеса въ превращеніи состояній. Поземельные собственники, не видя особенной выгоды владѣть малодоходными имѣніями, спѣшили продавать ихъ; фермы, замки, сады и парки — все переходило въ акціи; неблагодарный трудъ земледѣльца и фабричнаго работника, и безъ того убитый въ самомъ развитіи, потерялъ послѣднюю цѣну. Роскошь дошла до необычайныхъ размѣровъ; слуги разъѣзжали въ великолѣпныхъ каретахъ по улицамъ столицы; въ магазинахъ не доставало галуновъ для обмундированія новой аристократіи,

---

[1]) Послѣднимъ декретомъ государственнаго совѣта, отъ 1718 года, вмѣнено было въ обязанность уплачивать покупку акцій ассигнаціями. Слѣдовательно, правительство очень рано почувствовало упадокъ своей фантастической системы; но оно пользовалось кредитомъ до послѣдней крайности.

порожденной волшебнымъ жезломъ кредита; мѣщане торопились усвоивать привычки наслѣдственной знати; драгоцѣнные камни блестѣли на рукахъ и шеѣ у дочерей швейцаровъ и дворниковъ; опера, прежде получавшая не болѣе 60,000 ливровъ въ годъ, теперь считала въ своей кассѣ до 740,000. Однимъ словомъ, „Парижъ, говоритъ Токвиль, — походилъ на сборище дураковъ, плясавшихъ на кладбищѣ" (т. I, стр. 158).

Но это былъ сонъ восточной сказки; онъ продолжался только три года, и пробужденіе Франціи было ужасное. Воображаемое богатство, безъ дѣйствительнаго фонда, также скоро разсѣялось, какъ было создано. Въ послѣдніе мѣсяцы 1719 года обнаружились первые симптомы финансоваго кризиса. Звонкая монета, *хлынувшая за границу къ тѣмъ торговымъ центрамъ, гдѣ она была полезнѣй*, изсякла. Чтобъ облегчить размѣнъ денегъ въ самыхъ мелочныхъ сдѣлкахъ между провинціальными жителями, правительство принуждено было выпустить билеты въ сто, пятьдесятъ и десять ливровъ; вслѣдъ затѣмъ оно запретило, при уплатахъ, выдавать болѣе тридцати ливровъ серебромъ и трехсотъ золотомъ. Съ этой минуты начинаются деспотическія мѣры регента и Лоу, которые увидѣли, къ сожалѣнію, поздно, что ихъ картонное богатство, построенное на мечтѣ, не могло долѣе стоять противъ общественнаго недовѣрія; они хотѣли приказать его, забывъ, что кредиту не приказываютъ. Декреты слѣдовали за декретами; за лицемѣріемъ начался обманъ. Въ концѣ 1719 года оффиціально было объявлено, что сумма выпущенныхъ билетовъ не привышаетъ одного милліарда, на самомъ же дѣлѣ ихъ было до трехъ милліардовъ. Когда собственники не хотѣли больше принимать бумажныхъ значковъ, имъ грозили сбавкой процентовъ до двухъ процентовъ; затѣмъ запрещено было нотаріусамъ подъ угрозой тяжкаго штрафа — принимать квитанціи для уплаты звонкой монетой свыше ста ливровъ; далѣе было указано не носить драгоцѣнныхъ камней, не дѣлать серебряной посуды и каждому частному лицу не хранить у себя болѣе пятисотъ ливровъ металлической монетой. Съ тѣмъ вмѣстѣ были назначены спеціальные доносчики, уполномоченные осматривать дома и обыскивать семейства. И что особенно было грубо и произвольно, — по первому доносу полицейскаго агента производились конфискаціи. Но все было напрасно: общественный и частный кредитъ невозвратимо погибъ, и съ нимъ лопнула и система ловкаго шотландца. Полицейскій произволъ усиливалъ подозрѣнія и распространялъ страхъ; угнетеніе вызывало ропотъ и оппозицію; въ 1721 году наступилъ радикальный кризисъ, недалекій отъ всеобщаго взрыва. Въ народномъ мнѣніи поселилась ненависть къ Лоу, который, бросивъ за собой четырнадцать превосходныхъ имѣній, убѣжалъ изъ Франціи и, къ чести его должно сказать, умеръ бѣднякомъ въ Венеціи. Вокругъ Палэ-Ройяля и въ самыхъ комнатахъ регента бунтовала толпа; парламентъ былъ сосланъ въ Понтуазъ и банкъ закрытъ на нѣсколько времени (Histoire du systême de Law, par Levasseur).

При всемъ томъ, что система Лоу перепутала частные интересы, разрушила множество состояній и повлекла за собой повсемѣстное банкротство, она имѣла и хорошія стороны. Она познакомила Францію съ общественнымъ кредитомъ, открывъ въ немъ новый источникъ дѣятельности и богатства; она пробудила духъ частной предпріимчивости и подвинула промышленныя силы. Все зло обрушилось на богатые классы и это, можетъ быть, спасло ее отъ болѣе серьезныхъ послѣдствій. Отрицательная польза ея еще была важнѣе; когда акціи испарились и биржевой ажіотажъ упалъ во мнѣніи общества, производительный трудъ возвратилъ себѣ прежнее значеніе; поземельная собственность сдѣлалась единственной твердой опорой народнаго богатства. Многіе жалѣли о временахъ Кольбера, еще больше было тѣхъ, которые вспоминали Сюлли. Эта реакція въ экономическомъ воспитаніи Франціи была тѣмъ сильнѣе, чѣмъ очевиднѣе обнаружились ошибки и предразсудки прошлаго времени. Мыслящіе умы обратили вниманіе на то сословіе, которое страдало и всего менѣе пользовалось общественнымъ уваженіемъ и пособіями правительства. Философія освѣтила его закрытыя раны и боли, и въ то же время старалась найдти средства залѣчить ихъ. Теперь было недостаточно ни сладкаго демократизма Фенелона, ни классической лести фанатика-попа Боссюета, нужно было серьезное изученіе соціальнаго положенія земледѣльцевъ. По мѣрѣ того, какъ гнила и замирала городская жизнь,— фантазія человѣка искала идеала въ деревнѣ. Здѣсь, кромѣ природы и красоты ея, еще были признаки жизни, были люди, съ надеждой на будущее. Изъ этой реакціи поэты взяли художественную сторону, а экономисты— положительную. Вождями послѣдняго направленія были физіократы.

Но въ ихъ ученіи была и другая сторона; мы постараемся раскрыть ее. Когда система Лоу рухнула, разсѣявъ мечты правительства насчетъ бумажнаго богатства, оно обратилось къ старой методѣ, — къ отягощенію народа постоянно возраставшими податями и къ развитію такихъ отраслей государственнаго дохода, которыя поставили и монархію и подданныхъ въ безвыходное положеніе въ 1789 году. Въ этомъ отношеніи правленіе Людовика XV справедливо сравниваютъ съ самымъ плохимъ водевилемъ французской исторіи. Оно продолжало Людовика XIV, но тамъ, по крайней мѣрѣ, было много внѣшняго блеску и нѣсколько истинно великихъ предпріятій; здѣсь ничего подобнаго не случилось. Напротивъ, раззорительныя войны, предпринимаемыя королевскими любовницами для развлеченія скучавшаго властителя, были не удачны; и Франція, говоритъ Левассеръ,—прогнанная на моряхъ, побитая на сушѣ, униженная на конгрессахъ, заплатила ужасными потерями за ошибки и глупости своихъ правителей". (Histoire des classes ouvrières, т. II, стр. 377). Относительно промышленности это царствованіе было подражаніемъ Кольберу, то есть, всѣмъ недостаткамъ его, не имѣя и тѣни ни его таланта, ни любви къ народу.

Въ характерѣ Людовика XV не было ничего гармонирующаго съ той страной, которою онъ управлялъ, какъ будто нехотя или по ошибкѣ. Воспитаніе его было самое несчастное. Наставникъ его, маршалъ Вильбуа, присяжный льстецъ Людовика XIV, твердилъ молодому принцу: „Смотрите, государь, смотрите, весь этотъ народъ принадлежитъ вамъ; здѣсь нѣтъ ничего, что̀ было бы не ваше". Послѣ того неудивительно, если Людовикъ XV привыкъ смотрѣть на Францію въ двадцать лѣтъ, какъ на родовую вотчину, а въ тридцать, какъ на шахматную доску. Учитель его, Флёри, честолюбивый, но посредственный по уму, старался развить въ юношѣ лѣность и равнодушіе; какъ монахъ и государственный человѣкъ, онъ заставлялъ его думать чужимъ умомъ и чувствовать чужимъ сердцемъ; такъ онъ приготовилъ ему ту гнетущую апатію, которая мучила Людовика XV всю жизнь. И если онъ обязанъ этому монаху нѣсколькими годами спокойнаго и бережливаго царствованія, то ему же онъ обязанъ отсутствіемъ всякихъ нравственныхъ силъ. Странно видѣть въ половинѣ XVIII вѣка, среди всеобщаго возбужденія умовъ, короля, не умѣвшаго найдти себѣ дѣло, а если онъ и находилъ, то не умѣлъ взяться за него. Любимыми занятіями его были охота, загородныя вечернія пирушки и карточная игра. Возвращаясь съ охоты, онъ повѣрялъ до мелочныхъ подробностей замѣтки о гончихъ собакахъ и затравленныхъ звѣряхъ; играя въ карты, онъ не стыдился опустошать карманы сеньоровъ и на другой день снова набивалъ ихъ незаслуженными подарками. Въ то же время король былъ хорошей швеей и любителемъ сплетень; онъ вышивалъ ковры, стряпалъ на кухнѣ, точилъ берестниковыя табакерки и съ жадностью слушалъ анекдоты; посланники его обязаны были присылать ему соблазнительныя хроники отъ иностранныхъ дворовъ. Въ этой холодной и полусонной душѣ одно чувство не совсѣмъ притупѣло — боязнь будущей жизни и страшнаго суда. Окруженный съ юности іезуитами, онъ надолго сохранилъ ихъ вліяніе. Засыпая въ совѣтѣ или подписывая доклады, не читая ихъ, нерѣдко измѣняя свои декреты по одному минутному капризу, онъ вздрагивалъ отъ одного недовольнаго взгляда учениковъ Лойолы. Впрочемъ, эта боязнь загробной жизни не мѣшала ему имѣть наложницами трехъ сестеръ изъ семейства Неля и барышничать мукой насчетъ голодныхъ подданныхъ [1]).

Безхарактерность Людовика XV преслѣдовала его даже въ семейномъ быту. Скоро охладѣвшій къ Маріи Лещинской, онъ сначала тайно,

---

[1]) Извѣстно, что король, посредствомъ своихъ агентовъ, вмѣшивался въ торговлю хлѣбомъ, увеличивая его цѣну произвольно. Народъ простилъ ему многое, но не простилъ этой безстыдной спекуляціи; онъ мстилъ ему слѣдующей эпитафіей:

Français ne faites plus la mine,
Il rend comte sur le charbon
Des vols qu'il fit sur la farine.

потомъ открыто вводилъ любовницъ въ Версаль. Выборъ ихъ былъ возведенъ при немъ въ государственное дѣло. И это понятно. Кромѣ безнравственнаго сердца короля, въ рукахъ ихъ часто находилась судьба всей Франціи. Отъ нихъ иногда зависѣло объявленіе войны, назначеніе и смѣна министровъ, покровительство или гоненіе писателей; передъ ними ползала та аристократія, которая „показывала народу не только ѣдкое презрѣніе, но вызывала всѣ строгости власти, чтобъ удовлетворить своимъ страстямъ или отмстить за оскорбленную гордость". Помпадуръ двадцать лѣтъ держала короля подъ вліяніемъ, и даже послѣ болѣзни уличной развратницы не потеряла его пассивнаго расположенія. Когда онъ казался усталымъ, она, для возбужденія его чувственныхъ инстинктовъ, придумывала сладострастныя забавы и игры и устроила въ одной изъ отдаленныхъ улицъ Версаля Parc-aux-cerfs. Это былъ настоящій восточный гаремъ, составленный изъ молодыхъ дѣвушекъ, покупаемыхъ агентами у бѣдныхъ отцовъ и матерей. Здѣсь готовили ихъ къ разврату постепенно, какъ подготовляли жертвы, заколаемыя на алтарѣ языческаго истукана. И если король останавливалъ внимательный взглядъ на которой-нибудь изъ этихъ отроческихъ жертвъ, она, по приказанію Помпадуръ, немедленно и тайно исчезала изъ парка. Хищность этой женщины не знала границъ; она скопила огромныя богатства, которыя по смерти ея, перешли къ брату, маркизу Мариньи. Придворная роскошь была непремѣннымъ условіемъ жизни куртизановъ, всѣ старались перещеголять другъ друга пышностью экипажей, баловъ и украшеніемъ жилищъ. Въ самомъ искусствѣ отразился характеръ мѣщанскаго вкуса Помпадуръ; классическая и грандіозная простота XVII вѣка уступила мѣсто вычурнымъ работамъ скульптуры и живописи. На потолкахъ домовъ начали рисовать амуровъ, наядъ и венеръ; по стѣнамъ висѣли картины, представлявшія женщинъ съ открытой грудью и въ будуарныхъ позахъ; въ нишахъ стояли бюсты красивыхъ фигуръ, съ завитыми волосами, замѣчательныхъ однимъ мясистымъ лѣпообразіемъ; вездѣ вводились рококо и длинныя зеркальныя перспективы. Угрюмыя, но полныя выраженія лица, исчезли со сцены, какъ подъ рѣзцомъ художника, такъ и въ самой жизни. „Что̀ кажется мнѣ, говоритъ д'Аржансонъ въ своихъ мемуарахъ, признакомъ глубокаго упадка нашей эпохи — это отсутствіе всякаго уваженія къ людямъ честнымъ; между тѣмъ, въ тонкомъ плутѣ видятъ и умъ и дарованіе и даже честность". (Mémoires d'Argenson, т. I, стр. 105). То же самое подтверждаетъ лордъ Честерфильдъ въ письмахъ къ своему сыну: „Ловкость свѣтскихъ манеръ сдѣлалась средствомъ добиваться счастія; отъ фигуры, удачной фразы или ловкаго каламбура зависитъ нерѣдко высшее общественное положеніе". Среди этой толпы привиллегированныхъ фигляровъ, одна личность дофина еще напоминаетъ о человѣческомъ достоинствѣ; но онъ бѣжитъ отъ двора въ уединенные лѣса Фонтенебло и съ радостью умираетъ

тамъ. (Hist. du règne de Louis XV, par Tocqueville, т. I, стр. 238—368, т. II, стр. 53 и проч. Mémoires d'Argenson. Histoires des classes ouvrières, par Levasseur, т. II, стр. 289—311).

Такъ царствованіе Людовика XV дѣлится на два періода; въ первый именемъ короля управляютъ Франціей его бездарные министры; во второй — его развратныя наложницы. Трудно самому раболѣпному историку отыскать въ этой эпохѣ отрадныя явленія или истинно-человѣческій подвигъ. Если же и находимъ ихъ, то они были не столько слѣдствіемъ добрыхъ инстинктовъ или благоразумной политики, сколько дѣломъ случая или необходимости. Въ такое правленіе, какъ обыкновенно бываетъ, злоупотребленія власти должны были особенно рѣзко отразиться на провинціальной жизни.

Провинціи попрежнему раздѣлялись на два разряда — на избирательныя области (pays d'élection) и генеральные штаты (États généraux). Въ первыхъ административнымъ управленіемъ завѣдывали интенданты съ неограниченной властью; здѣсь все зависѣло отъ личнаго достоинства избираемаго начальника; если онъ былъ человѣкъ благонамѣренный, его управленіе, если не облегчало, то и не увеличивало зла; но такіе люди были рѣдкимъ исключеніемъ. Во вторыхъ, было менѣе произвола, потому что они, въ силу актовъ соединенія, сохранили нѣкоторую мѣстную независимость отъ центральнаго правительства. Внутреннее благосостояніе ихъ было гораздо выше, чѣмъ первыхъ. „Здѣсь, говоритъ Вивьянъ, — совершались полезные и важные труды. Дѣйствительное добро представляло разительный контрастъ съ элективными провинціями". (Etudes adminisrat. par Vivien, т. II, стр. 2). Но независимость штатовъ постоянно падала; еще въ 1629 году генеральныя собранія Лангедока обязаны были представлять свои бюджеты на утвержденіе короля и составлять засѣданія только одинъ разъ въ годъ, и не болѣе, какъ на пятнадцать дней. Людовикъ XIV, вырывая съ корнемъ послѣднія остатки муниципальнаго начала, подчинилъ штаты надзору королевскихъ коммиссаровъ. „Въ концѣ его правленія, собранія ихъ, продолжаетъ тотъ же писатель, — были болѣе потѣхой, чѣмъ дѣломъ; сеньоры имѣли случай щеголять здѣсь нарядомъ; королевскіе агенты — расточать угрозы, хитрости, продажность, чтобъ вырвать подарки (dons gratuits), которые власть, не имѣвшая силы установить подати въ свою пользу, принуждена была выпрашивать". (Тамъ же, т. II, стр. 3). Наконецъ, въ 1764 году, при Людовикѣ XV, уничтожили послѣдніе признаки политическаго существованія штатовъ; счетный контроль, займы и контрибуціи были строго подчинены одобренію королевскихъ чиновниковъ; комуны, безъ позволенія ихъ, не могли протестовать, т. е., онѣ не смѣли вмѣшиваться въ свои собственные интересы. Вездѣ сдѣлалось необходимымъ присутствіе королевской власти. Нужно ли было перестроить колокольню или огородить поле, общество испрашивало у интенданта особенное по-

зволеніе государственнаго совѣта. Оффиціальная жизнь повсюду вытѣснила древній обычай самоуправленія, разъединяя сословія и отдаляя ихъ отъ участія въ общественныхъ дѣлахъ. Но чѣмъ шире правительство раздвигало кругъ своей дѣятельности, тѣмъ больше администрація усложнялась и запутывалась. Тамъ, гдѣ прежде было совершенно достаточно одной частной воли, теперь необходимъ былъ спеціальный законъ и неизбѣжныя съ нимъ формы. И такъ какъ духъ времени, особенныя положенія провинцій, смѣсь феодальныхъ началъ съ новыми учрежденіями, постоянное столкновеніе одной власти съ другой, наконецъ, самый произволъ ея — все это вмѣстѣ не могло дать закону прочнаго основанія, то онъ измѣнялся, изворачивался, противорѣчилъ, каралъ и миловалъ въ одно и то же время, въ одномъ и томъ же мѣстѣ. „Одною изъ самыхъ рѣзкихъ чертъ XVIII вѣка, говоритъ А. Токвиль, въ дѣлѣ городскаго управленія не столько было уничтоженіе всякаго общественнаго участія въ дѣлахъ публичныхъ, сколько необыкновенная подвижность самихъ правилъ, которыми руководилась администрація; права то раздавались, то отбирались, то увеличивались, то уменьшались, измѣняясь въ тысячѣ видахъ и безпрерывно. Ничто лучше не обнаруживаетъ глубокаго упадка мѣстной независимости, какъ это вѣчное передѣлываніе законовъ, на которые собственно никто не обращалъ вниманія. Одно это непостоянство разрушало всякую индивидуальную мысль, всякое уваженіе къ воспоминаніямъ и любовь къ отечеству"... (L'Ancien Regime, стр. 380). Такимъ образомъ, муниципальная жизнь, отстоявшая короля противъ феодализма, безслѣдно умираетъ. Съ паденіемъ ея парламенты не могли имѣть дѣйствительной силы; не выражая ни народной воли, ни юридическаго смысла, они обратились въ пустой призракъ конституціоннаго преданія. На чьей сторонѣ и за кого они стояли? Трудно сказать. Нынѣ они дѣйствуютъ за одно съ духовенствомъ, завтра—съ королемъ; въ одномъ случаѣ они защищаютъ вѣротерпимость, въ другомъ являются врагами ея. Отсутствіе принциповъ, самый составъ ихъ изъ привиллегированнаго сословія, не имѣвшаго ничего общаго съ народомъ, лишили ихъ всякаго соціальнаго значенія. Правда, парижскій парламентъ долѣе другихъ сохранилъ первоначальную форму и право демонстрацій противъ королевскихъ эдиктовъ, но въ сущности это была жалкая комедія нѣсколькихъ чиновниковъ. Король могъ разогнать, арестовать непокорныхъ членовъ и закрыть парламентъ, когда ему было угодно, такъ что Людовикъ XV, уничтоживъ его въ 1770 году, не встрѣтилъ никакой оппозиціи въ общественномъ мнѣніи. Вотъ какъ писалъ объ этомъ одинъ изъ самыхъ ясныхъ умовъ своего времени: „Уничтожить продажность должностей, возвратить правосудію неподкупный характеръ, избавить просителей отъ путешествія въ Парижъ, куда они идутъ со всѣхъ концовъ Франціи раззоряться, возложить на короля уплату судебныхъ издержекъ предъ трибуналомъ сеньоровъ,

не есть ли это великая услуга народу? Притомъ неужели эти парламенты не были властью преслѣдующей и варварской? Признаюсь, я удивляюсь тѣмъ сеньорамъ, которые берутъ сторону этихъ надменныхъ и своевольныхъ мѣщанъ. По моему мнѣнію, король справедливъ, а если ужь надо служить, то ужь лучше служить подъ лапой смирнаго льва, который сильнѣе меня, чѣмъ въ когтяхъ у двухсотъ крысъ, подобныхъ мнѣ". (Тамъ же, стр. 253). Все это доказываетъ, что старая французская конституція была сухой вѣтвью на живомъ деревѣ; ей именно не доставало муниципальнаго начала, безъ котораго можно творить тысячи юридическихъ формъ и учрежденій, но если онѣ не вытекаютъ изъ народнаго духа, дѣятельность ихъ чисто-споліативная. Въ этомъ отношеніи Англія представляетъ діаметрально-противоположное явленіе Франціи. Тамъ представительная власть выработывалась тяжело и медленно, но всегда вмѣстѣ съ комуной, по крайней мѣрѣ не въ подрывъ и не во вредъ ей. И чѣмъ сильнѣй становилась комуна, тѣмъ крѣпче — авторитетъ парламента. Въ его организаціи доселѣ много недостатковъ и нелѣпостей, но его сила постепенно ростетъ и конституція совершенствуется. „Въ комунѣ, говоритъ авторъ американской демократіи, — заключается мощь свободныхъ народовъ; комунальныя учрежденія также относятся къ свободѣ, какъ низшія народныя школы—къ наукѣ". (La Démocratie en Amérique, par Tocqueville, т. I, стр. 315). Теперь переверните пирамиду вверхъ дномъ — это будетъ исторія Франціи въ послѣднія двѣсти лѣтъ; между ея правительствомъ и народомъ было много враждебныхъ отношеній, но почти никогда живой связи и единства. „Высшимъ земнымъ желаніемъ образованныхъ умовъ, говорилъ Арнольдъ, — должно быть желаніе — принимать дѣйствительное участіе въ великомъ трудѣ правительства". (On the Constitution, Creasy, London, стр. 5).

Паденіе французской комуны тѣмъ печальнѣе, что оно, въ общемъ результатѣ, было слѣдствіемъ чисто-финансовой или фискальной мѣры, дурно понятой. Въ самомъ дѣлѣ, изъ-за чего Людовикъ XIV враждовалъ съ генеральными штатами? Изъ-за денегъ. Его неограниченной власти было мало добровольныхъ приношеній; она желала безусловнаго контроля. Изъ-за чего преемникъ его тѣснилъ ремесленныя корпораціи? Опять ради денегъ. Изъ-за чего Наполеонъ I обратилъ Францію въ военный лагерь и администрацію ея—въ рекрутскаго наборщика? Опять ради солдатъ и денегъ. Но никто не примѣнилъ эту жалкую политику такъ неловко и грубо, какъ Людовикъ XV. Уничтоживъ послѣднія гарантіи законодательной и судебной власти, онъ придалъ ей турецкій характеръ и хотѣлъ безотчетно располагать сборомъ податей, какъ одной изъ главныхъ прерогативъ монархіи.

Главный источникъ государственныхъ доходовъ составляла личная и поземельная подать, называемая taille. Она была самой обременительной для народа. Кольберъ уменьшилъ ее до тридцати шести милліоновъ, вмѣсто

сорока восьми. Несмотря на то, бѣдность деревень, по увѣренію Буагильбера, утроилась. (Détail de la France, ч. II, гл. III). Почему это? потому, что раскладка этой подати была самая произвольная и несправедливая. „Богатые, замѣчаетъ тотъ же экономистъ, — почти всегда сваливали подать на бѣдныхъ". (Гл. VII). Сборщики, подкупаемые сеньорами и собственниками, дружившіе родственникамъ и пріятелямъ, распредѣляли ее такъ, что приходъ въ 1,500 душъ часто платилъ вдвое противъ прихода въ семьсотъ пятьдесятъ душъ Притомъ это были люди невѣжественные, иногда неумѣвшіе писать, смѣняемые каждый годъ безъ всякаго уваженія къ личной способности или честности и, между тѣмъ, уполномоченные безмѣрнымъ произволомъ; отъ ихъ собственнаго взгляда зависѣло опредѣленіе налога и оцѣнка состоянія. Здѣсь они имѣли случай вымѣщать зло на недругѣ, притѣснять или мстить тому, кто имъ не нравился. И что особенно удивительно, законъ, принимавшій на себя трудъ мѣтить барановъ или голубей, предоставлялъ простому случаю судьбу двадцати милліоновъ людей. Самый процессъ сбора производился съ комической наглостью; сборщики гурьбой обходили дома и не рѣдко не менѣе ста разъ посѣщали одну и ту же семью, чтобъ взыскать деньги. Если бѣдный крестьянинъ отдавалъ ихъ легко, онъ могъ быть увѣренъ, что на слѣдующій годъ налогъ его надбавится; если же онъ продолжалъ упорствовать или, дѣйствительно, не могъ уплатить, тогда призывались отряды гусаръ или сержантовъ, и начиналась военная расправа. Въ бо̀льшей части случаевъ онъ лучше предпочиталъ послѣднюю мѣру, чѣмъ первую; онъ притворялся нищимъ, какъ гонимый еврей XIII вѣка, доносилъ на своего сосѣда, лгалъ и клеветалъ на близкаго родственника, и тѣмъ готовилъ въ своемъ потомкѣ будущаго полицейскаго тирана Наполеону I-му или III-му. „Есть приходы, говоритъ Токвиль, — которые сборщикъ никогда не обходитъ безъ гарнизонной команды". (Стр. 194). Гусара, прежде всего, надо было угостить въ кабакѣ или дать ему взятку, чтобъ спастись отъ побоевъ или отъ заключенія въ отдаленной тюрьмѣ, вмѣсто приходской. Въ случаѣ же несостоятельности нѣсколькихъ лицъ въ деревнѣ, забирали скотъ, домашнюю утварь, не разбирая и тѣхъ, кто уже внесъ свою долю. „Самая кровопролитная война, продолжаетъ Буагильберъ, объявленная народу, была бы не такъ раззорительна для него, какъ безпорядочное собираніе податей"... (Ч. II, гл. III). Небогатые землевладѣльцы, желая избѣжать чрезмѣрныхъ налоговъ и притѣсненій, соединенныхъ съ ними, продавали имѣнія за самую ничтожную сумму дворянамъ [1]), которые были освобождены отъ платежа

[1]) Этимъ словомъ мы переводимъ *gentilhomme* за неимѣніемъ болѣе точнаго, въ нашемъ языкѣ. Извѣстно, что къ этому сословію относился тотъ разрядъ людей, которые пріобрѣтали себѣ привиллегированное положеніе жалованными грамотами, покупаемыми у королей. Зажиточный мѣщанинъ (bourgeois), за нѣсколько сотъ или десятковъ лив-

этихъ податей. При Людовикѣ XV система осталась въ прежнемъ видѣ; но обманъ и насиліе, вслѣдствіе продажной администраціи, увеличились: толпы нищихъ, порождаемыхъ періодическимъ голодомъ и еще больше королевскими коммиссарами, наводнили государство и сдѣлались опасными. Въ 1724 году было издано первое постановленіе противъ уничтоженія нищенства по примѣру poor-laws Англіи; кромѣ строжайшихъ полицейскихъ мѣръ, предположено было устроить богадѣльни, но недостатокъ капитала остановилъ планъ, ограничивъ его одними жандармскими арестами. Аресты нищихъ раздражали народъ; полиція, пользуясь удобнымъ случаемъ, хватала мальчиковъ затѣмъ, чтобъ матери являлись для выкупа ихъ. По этому поводу въ Парижѣ вспыхнулъ бунтъ, стихнувшій только передъ вооруженной силой; въ городѣ ходила молва о кровавыхъ баняхъ, и не было ни одного мнимаго или дѣйствительнаго злодѣянія, въ которомъ не подозрѣвали бы короля. Если эта подать была бѣдствіемъ для народа, то она не представляла особенной выгоды и для казны. Въ нее поступало не болѣе третьей части той суммы, которую платило общество.

Вторымъ источникомъ государственнаго бюджета были налоги съ напитковъ (Les aides), отдаваемыхъ на откупъ частнымъ компаніямъ. Компаніи состояли изъ людей, „у которыхъ, по выраженію Мерсье, совѣсть была не чище болотной грязи". Все, что можно было взять — они брали; чего нельзя — выжимали. Въ 1604 году откупъ на десять лѣтъ былъ проданъ правительствомъ за 510,000 ливровъ, а въ 1684 году акцизная сумма, черезъ надбавку откупщиковъ, доходила до 21.000,000. При Людовикѣ XV она удвоилась; не было ни одного напитка, кромѣ воды и кофе, не обложеннаго пошлиной. Изъ оффиціальнаго документа за 1758 годъ видно, что на заставахъ только однимъ провинціальнымъ сеньорамъ платилось пошлины 2.500,000 ливровъ. Откупщики, по временамъ, захватывали себѣ почти всю финансовую систему королевства; само собой разумѣется, что они не щадили ни денегъ, ни интригъ для пріобрѣтенія покровительства свыше; съ ними участвовали втихомолку принцы, министры, и вообще люди, близкіе къ престолу. Эта котерія была самая ненавистная народу; послѣдній разсчетъ съ ней принадлежалъ гильотинѣ....

Послѣ откуповъ народъ особенно жаловался на соляныя пошлины (Gabelle). Это была подать „платимая, какъ говорилъ Вольтеръ, за право есть супъ съ солью". Она лежала на всемъ народонаселеніи; каждый членъ семейства обязанъ былъ покупать опредѣленное количество соли

ровъ, могъ сдѣлаться дворяниномъ. Филологическое значеніе французскаго gentilhomme и англійскаго *gentleman*, одно и то же; но соціальное различіе—огромное. Достоинство перваго — чисто номинальное, зависѣвшее отъ лоскутка бумаги съ королевской подписью; достоинство второго — болѣе нравственное, оно опредѣляется общественнымъ мнѣніемъ. Первое потеряло свой историческій смыслъ во Франціи; второе—болѣе и болѣе получаетъ силы въ англо-саксонскомъ обществѣ.

изъ государственныхъ магазиновъ; обыкновенно, отпускалось на одно лицо, всякаго пола и возраста, девять и одна шестая ливра, по шестидесяти два ливра за квинталь. За исключеніемъ четырехъ или пяти провинцій, освобожденныхъ отъ этого налога, всѣ прочія были строго подчинены ему. Казна пріобрѣтала чистаго доходу до пятидесяти четырехъ милліоновъ.

Но что̀ особеннно обременяло и притомъ самый бѣдный классъ, это — постройка и содержаніе дорогъ (Corvées). Правительство вмѣнило ихъ, въ видѣ натуральной подати, въ обязанность народу. Каждый крестьянинъ долженъ былъ отдать извѣстное число рабочихъ дней для исполненія этой повинности. Кто не имѣлъ лошадей, быковъ и повозокъ, тотъ принужденъ былъ платить собственнымъ трудомъ, безъ всякаго вознагражденія. Работниковъ, обыкновенно, отдаляли отъ ихъ деревень, такъ что если семейство кормилось трудомъ одного человѣка, оно часто обречено было голоду и нищетѣ за отсутствіемъ его. Строгость приказаній и обращенія, похищеніе скота въ рабочую пору, штрафы и разныя взысканія обратили эту подать въ поголовное бѣдствіе. Невѣжество инженеровъ и воровство начальниковъ вполнѣ вознаграждало себя по̀томъ и кровью народа. И за всѣмъ тѣмъ проселочныя и провинціальныя дороги, подальше отъ столицы, были такъ дурны, что перевозка товаровъ и даже почтовая ѣзда, по временамъ, совершенно прекращалась.

Мы не станемъ говорить о другихъ отрасляхъ этой хитросплетенной финансовой системы, не потому, чтобъ въ нихъ было менѣе злоупотребленій, а потому, что онѣ не такъ были чувствительны для Франціи. Монополія господствовала вездѣ. Государственныя нужды, особенно во время войнъ, требовали чрезвычайныхъ налоговъ, которые потомъ обращались въ постоянные. Наконецъ, дурное управленіе и произволъ въ министерствѣ финансовъ запутали его до того, что Людовикъ XV, смѣнивъ тринадцать генералъ-контролеровъ, не находилъ больше охотника на это мѣсто. Онъ хотѣлъ передать его дю-Бари, подъ именемъ и фирмой канцлера Шуазеля; къ счастію, намѣреніе его не удалось. Портфель былъ отданъ аббату Терэ. „Аббатъ, говорилъ ему канцлеръ, — мѣсто генералъ-контролера свободное; это славное мѣсто, много денегъ дастъ; я хочу вручить его тебѣ". И эта мрачная, сгорбившаяся фигура, смотрѣвшая изъ-подлобья, ложная и вѣроломная, равнодушная къ оскорбленіямъ и насмѣшкамъ, алчная до денегъ и способная на всякую подлость, стала въ головѣ самаго важнаго и роковаго управленія. Терэ, вступая въ должность, прежде всего постарался заискать благоволеніе дю-Бари, и онъ нашелъ его, упрочивъ за ней 200,000 ливровъ годового дохода. Любовница короля не осталась въ долгу у аббата: однажды онъ, отдавая на откупъ порохъ, взялъ съ откупщиковъ 300,000 ливровъ въ подарокъ; эта продѣлка министра дошла до короля. Аббатъ поспѣшилъ отдать всю сумму сполна дю-Бари, и она спасла ему министерство.

Сильный такимъ покровительствомъ, онъ пользовался властью не ограниченно; онъ позволялъ своимъ кліентамъ открытое воровство, своей наложницѣ Лагардъ публичный торгъ должностями; онъ участвовалъ съ барышниками въ продажѣ хлѣба, поднимая цѣны тамъ, гдѣ было выгодно ему и понижая ихъ въ другихъ провинціяхъ. Уваженіе къ собственности потеряло при немъ даже внѣшнее приличіе; онъ произвольно уменьшилъ ренты, дѣлалъ насильственные займы, раззорилъ индійскую компанію, стоившую государству, впродолженіе ста лѣтъ, нѣсколькихъ милліоновъ, возвысилъ старые налоги и распространилъ новые; онъ уполномочилъ сборщиковъ *du vintième* [1]) употреблять коммиссаровъ для справокъ въ домахъ: до какой степени могутъ восходить ихъ наймы; онъ говорилъ королю: „государь, всѣ состоянія гражданъ—ваши, и всѣ долги короля — государственные долги". Аббатъ скопилъ себѣ огромное богатство, но уничтожилъ частный кредитъ и раззорилъ государство. Банкротства, процессы и самоубійства при немъ дошли до необыкновенной цифры; такъ въ 1771 году было двѣсти самоубійствъ. „Такимъ образомъ, говоритъ Брессонъ, — этотъ политическій вампиръ сосалъ кровь Франціи; извлекалъ деньги отъ каждаго и никому не платилъ государственныхъ долговъ". Но если предшественники бездушнаго аббата были лучше его въ нравственномъ отношеніи, то нисколько не выше его по способностямъ. (См. Histoire financière de France, par Bresson. т. I, стр. 18 — 52 и 527 — 562. Histoire du règne de Louis XV, par Tocqueville, т. II, стр. 113 и проч.)

Гораздо глубже правленіе Лудовика XV повредило промышленности. Несмотря на горькіе уроки прежнихъ эпохъ, оно не воспользовалось ни однимъ изъ нихъ. Продолжая ложно-понятую систему Кольбера, оно отяготило ее новыми злоупотребленіями; подобно XVII-му, XVIII вѣкъ наводнилъ монополіями всѣ источники народнаго труда. Ремесленныя корпораціи, уже давно отжившія свой историческій смыслъ, все еще развивались дальше. Съ 1722 года возобновлена продажа цеховыхъ патентовъ (lettres des maîtrises), которые, помимо самой корпораціи, открывали въ нее двери ремесленнику. Эта мѣра была установлена не изъ желанія помочь рабочему классу, а изъ чисто-фискальныхъ видовъ. Министръ Лаверди распространилъ ее по всей Франціи, въ 1767 году, чтобъ пополнить опустѣвшую казну, послѣ семилѣтней войны. Съ тѣмъ вмѣстѣ отдѣльные цехи испрашивали себѣ исключительныя права. Такъ, въ Монпелье купеческая община, по королевскому декрету, получила позволеніе имѣть въ одномъ городѣ не болѣе двѣнадцати мастеровъ золотыхъ дѣлъ; парикмахеры Нима энергически протестовали противъ

---

[1]) Vintième — такъ называлась двадцатая часть, платимая собственниками съ доходовъ, собираемыхъ съ недвижимаго имущества. Эта подать возникла въ 1749 году, и впослѣдствіи была распространена даже на съѣстные припасы.

хирурговъ, которымъ парламентъ далъ право завивать волосы и поправлять парики. „Если королевская власть, говоритъ Левассеръ, — сохранила тотъ же духъ фискальной системы относительно корпорацій, то корпораціи ничего не измѣнили въ духѣ своего эгоизма". (Histoire des classes ouvrières, т. II, стр. 351, 352 и проч.). Дѣйствительно, положеніе ремесленника попрежнему было рабское; при Кольберѣ, правительство, по крайней мѣрѣ, поощряло его, теперь и этого не было; онъ вполнѣ зависѣлъ отъ хозяина, не только въ матеріальномъ, но и въ нравственномъ отношеніи. Старшина цеха опредѣлялъ его способности и поведеніе; онъ не могъ, прежде извѣстнаго времени, выйдти изъ учениковъ или оставить мастерскую, и ни въ какомъ случаѣ не могъ протестовать — de facto — противъ насилія или несправедливости. Впрочемъ, въ 1755 году, каждому французскому подданному позволено было свободно переходить изъ одного города въ другой, но и здѣсь положено ограниченіе: четыре лучшіе города—Парижъ, Ліонъ, Лиль и Руанъ остались на прежнихъ правахъ, т. е., работники ихъ не могли заниматься на фабрикѣ другого города, кромѣ того, гдѣ они были записаны въ цехъ. Но что было особенно вредно, Лудовикъ XV старался подчинить ремесленный классъ дисциплинѣ. Вѣроятно, опасаясь будущаго развитія новыхъ элементовъ, враждебныхъ абсолютной власти, такъ какъ они были нѣкогда враждебны феодальной, онъ предупреждалъ всякую свободную ассоціацію, запрещалъ собранія и тайныя общества; онъ хотѣлъ приковать работника къ мастерской или цеху, какъ американскій плантаторъ приковываетъ негра къ цѣпи. Все это вмѣстѣ не только убило духъ изобрѣтенія и предпріимчивости, но отняло всякую охоту и энергію у индивидуальнаго труда. Французскій ремесленникъ XVIII вѣка не многимъ разнился отъ безличнаго раба древней Спарты или новаго Каира (см. Levasseur. Hist. des classes ouvr., т. II, стр. 419—436).

Закрѣпляя корпорацію, Лудовикъ XV, въ то же время, торговалъ служебными мѣстами. Лоу избавилъ промышленность отъ многихъ стѣснительныхъ узаконеній; онъ открылъ границы и порты свободному ввозу кожи, шелка, угля, хлѣба и пеньки; онъ уничтожилъ много должностей на таможняхъ и рынкахъ, и такъ какъ деньги ничего не стоили ему, то онъ вознаградилъ упраздненныя мѣста очень легко. Людовикъ XV возобновилъ ихъ. Этого мало; онъ придумалъ и распространилъ много новыхъ. Такъ, во всѣхъ ремесленныхъ корпораціяхъ были введены инспекторы, приставные контролеры и смотрителя въ купеческихъ общинахъ; за мѣрой, вѣсами, перевозкой и нагрузкой товаровъ, за складкой ихъ въ магазины, за выставкой на площадяхъ, — вездѣ наблюдали осебенные чиновники. Въ одномъ Парижѣ число ихъ простиралось до 3,200. Съ увеличеніемъ бюрократіи и полицейскаго надзора за частными интересами, по необходимости, усложнялось самое законодательство: къ старымъ статутамъ прибавлялись новые; ихъ по-

правляли, передѣлывали, плодили новыми предписаніями, такъ что въ этомъ хаосѣ регламентовъ терялось всякое чувство законности, и простому купцу, какъ и самому опытному юрисконсульту, не было возможности знать ихъ подробно и точно. Притомъ, когда чувство справедливости существуетъ у народа только на одной бумагѣ, толкованіе и примѣненіе законовъ допускаетъ удивительную эластичность; однимъ и тѣмъ же пунктомъ можно казнить и миловать, обвинять и оправдывать, смотря по тому, какъ взглянетъ судья или „какъ варитъ его желудокъ", выражаясь языкомъ Беккаріи. Но чѣмъ же занималось это законодательство? Цвѣтомъ и формой ткани, качествомъ нитокъ, вкусомъ покупателя и производителя; оно предписывало дѣлать бумагу извѣстнаго формата и запрещало другой; оно обязывало накладывать нѣсколько стемповъ на фабричное произведеніе — прежде, чѣмъ оно поступитъ на рынокъ. И подъ этой мелкой и липкой тиранніей, оно разумѣло нравственное воспитаніе ремесленника. Теперь трудно представить, съ какими препятствіями соединялось введеніе новаго изобрѣтенія, сколько нужно было средствъ и усилій, чтобъ распространить его въ обществѣ. Спрашивается, съ какой цѣлью правительство втиралось въ область индивидуальной дѣятельности? Для уничтоженія обмана. „Законодатель, говоритъ Левассеръ, — повсюду видѣлъ плутовство, и чтобъ предупредить его, онъ осуждалъ самыя невинныя средства для приманки покупателей. Многія постановленія были изданы за тѣмъ, чтобъ запретить купцамъ раздавать у дверей или на улицахъ афиши или объявленія, „потому что, прибавляетъ королевскій указъ, — они не должны употреблять никакой хитрости для обольщенія покупателей". (Levasseur, т. II, стр. 360). По крайней мѣрѣ, достигалъ ли законодатель своей цѣли? Напротивъ, онъ систематически воспитывалъ фабриканта и потребителя для воровства и контрабанды, принимая это слово въ его же собственномъ смыслѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какія средства у него были для того, чтобъ предупредить подлогъ или обманъ? Одна строгость наказанія, т. е., средство палки, опредѣленной въ наставники. И нельзя не удивляться, до какого цинизма простиралась кара законовъ, душившихъ промышленность подъ гнетомъ формальностей. „Вы знаете, пишетъ Гримъ, въ 1755 году, — что всякая цвѣтная матерія запрещена во Франціи. Этимъ запрещеніемъ хотѣли предупредить зло, которое будто бы угрожало нашимъ шелковымъ и льнянымъ мануфактурамъ. Узаконенія эти до того жестоки, что они позволяютъ сторожамъ и коммиссарамъ у заставъ, стаскивать цвѣтныя платья съ женщинъ, еслибъ онѣ показались въ нихъ публично. Контрабанда же этихъ тканей наказывается галерами". (Цит. Levasseur, т. II, стр. 361). Галеры и конфискація поражали самые ничтожные таможенные проступки. Очевидно, позорнаго столба Кольбера уже было недостаточно, но еслибъ эта система просуществовала еще сто лѣтъ, навѣрное можно сказать, что галеръ и кон-

фискацій также было бы мало: такова участь всѣхъ законодательствъ, карающихъ, но не воспитывающихъ. Притомъ, могло ли, дѣйствительно, самое умное правительство, еслибъ оно состояло изъ однихъ Солоновъ, предупредить всевозможные случаи въ обществѣ, гдѣ каждая минута жизни, какъ бы эта жизнь мелка ни была, непремѣнно представляетъ новое явленіе, новую потребность и новую форму? Разумѣется, нѣтъ. Какъ бы ни былъ дальновидѣнъ законодатель, онъ никогда не можетъ предусмотрѣть далѣе того момента, въ который является узаконеніе; онъ отнюдь не можетъ угадать и выразить тѣхъ безчисленныхъ желаній, намѣреній и инстинктовъ, которые постоянно измѣняются и должны измѣняться въ душѣ нѣсколькихъ милліоновъ мыслящихъ существъ. Если же законъ, не обращая вниманія на индивидуальное состояніе и развитіе общества, сочиняетъ свой собственный міръ, тогда онъ не предупреждаетъ, а угнетаетъ; тогда онъ охраняетъ не дѣйствительную жизнь, а лишь правила, какъ бы они ошибочны ни были. Такъ это и было — съ фискальной системой Людовика XV. Она заботилась не объ интересахъ народа, а имѣла въ виду однѣ выгоды привиллегированнаго класса; но и въ этомъ горько заблуждалась. Повидимому, королевская казна должна была богатѣть, потому что не было ни одного обще-необходимаго предмета, свободнаго отъ пошлины, когда подати постоянно росли и сѣть фискальной системы разбросилась по всему королевству. И за всѣмъ тѣмъ Людовикъ XV былъ бѣденъ; для продолженія послѣдней войны онъ принужденъ былъ продать серебряные сервизы, занимать деньги у придворныхъ кучеровъ для уплаты вопіющихъ долговъ и прибѣгать къ самымъ унизительнымъ просьбамъ передъ частными капиталистами. „Съ перваго взгляда кажется, замѣчаетъ Сэй, — что абсолютнымъ правительствамъ гораздо легче собирать деньги для дѣйствительныхъ или воображаемыхъ нуждъ государства, чѣмъ правительствамъ конституціоннымъ: опытъ доказываетъ противное". (Cours complet d'économie politique, т. III, стр. 83).

При такихъ условіяхъ индивидуальнаго труда и промышленности, народъ не могъ наслаждаться счастіемъ. Мы еще разъ повторимъ добросовѣстный отзывъ Вобана, писавшаго королю, что десятая часть Франціи состоитъ изъ нищихъ. (Dîme Royale). Такъ было въ концѣ жизни Людовика XIV. При намѣстникѣ его это состояніе не могло измѣниться. Тотъ же періодическій голодъ, опустошавшій страну, та же запретительная система торговли хлѣбомъ, тѣ же внутреннія заставы и таможни, та же бездарность и хищность въ управленіи финансами, тѣ же гоненія протестантовъ, преслѣдуемыхъ аббатами и „горячей палатой", тѣ же конфискаціи и бѣдность, но обремененная новымъ полицейскимъ произволомъ и насиліемъ, тотъ же глухой и безсильный ропотъ народа, издали предвѣщавшій грядущую бурю. Земледѣльцы и ремесленники, благосостояніе которыхъ могло быть единственнымъ ручательствомъ за

соціальный прогрессъ Франціи, бѣдствовали попрежнему. Такъ въ мемуарахъ д'Аржансона мы читаемъ слѣдующія строки: Въ ту минуту, какъ я пишу это (въ 1736 году), при полномъ мирѣ и, повидимому, если не обильномъ, то удовлетворительномъ урожаѣ, вокругъ меня умираютъ люди, какъ мухи, отъ бѣдности и голода. Провинціи Менъ, Ангумуа, Турень, верхняя Пуату, Перигоръ, Орлеане, Бери — самыя жалкія. Нищета подходитъ къ самому Версалю. Повсюду недостатокъ денегъ и жизненныхъ средствъ; при такой бѣдности зерновый хлѣбъ и съѣстные припасы возвысились въ цѣнѣ; трудъ вездѣ прекратился... Въ послѣднее время герцогъ Орлеанскій принесъ въ государственный совѣтъ кусокъ хлѣба, который мы дали ему. При открытіи засѣданія, положивъ его на столъ короля, онъ сказалъ: „Государь, вотъ чѣмъ питаются ваши подданные". (Mémoires d'Argenson, 1739 годъ).

Къ такому результату неизбѣжно приходятъ всѣ народы, лишенные производительныхъ силъ и свободы труда. Защитниками той и другой задачи во Франціи явились физіократы. Ихъ ученіе не было плодомъ отвлеченной теоріи или капризомъ раздраженнаго чувства; нѣтъ, оно выходило изъ духа самой эпохи, какъ мы это видимъ, и вполнѣ отвѣчало ея практическимъ цѣлямъ. Первая заслуга этого ученія въ томъ, что она, разсматривая человѣка въ связи съ матеріальнымъ міромъ, сняла съ него ложно-теократическій характеръ. До него политическая наука, опредѣливъ одинъ разъ навсегда общественныя нормы, приняла ихъ за аксіомы; въ силу этой теоріи, въ судьбахъ націй играютъ главную роль форма правленія и чисто-внѣшнія обстоятельства. Такъ, напримѣръ, Монтескью создалъ идеалъ воззрѣнія на основаніи греко-римской республики, не подозрѣвая того, что у каждаго народа должна быть своя собственная исторія и норма жизни; Гоббесъ, неудавшійся ученикъ Макіавелли, искалъ его въ безусловной тиранніи. Но почему возникаетъ та или другая политическая форма, почему она срастается съ одной націей и не удовлетворяетъ другой — эти вопросы остались нетронутыми. Физіократы первые взялись объяснить ихъ естественными законами. Для нихъ нѣтъ общества безъ личной собственности, а личная собственность заключается въ свободѣ труда, т. е., въ неограниченномъ правѣ располагать физическими и умственными силами. Отъ этого вопроса они прямо перешли къ соціальной задачѣ, открывшей имъ множество новыхъ соображеній. На первый разъ они старались опредѣлить главный источникъ общественнаго спокойствія и прогресса; они видѣли его въ богатствѣ, а богатство [1]), по ихъ ученію, скрывается въ производительныхъ силахъ земли. Поэтому цвѣтущее земледѣліе для нихъ

[1]) Кене назвалъ его словомъ *produit net*, т. е., чистымъ доходомъ, получаемымъ съ произведеній земли, который остается за уплатой расходовъ на обработку ея — и проценты съ того капитала, котораго требуетъ эта обработка.

было высочайшимъ совершенствомъ государственнаго устройства. Къ нему должны стремиться всѣ человѣческія желанія, ему должны помогать всѣ средства, потому что только имъ можетъ существовать и благоденствовать народъ. На этой идеѣ Кене построилъ свое собственное царство, въ которомъ развитіе и покровительство агрикультуры должно быть первымъ и самымъ важнымъ дѣломъ правительства. „Раздѣленіе обществъ, говоритъ Кене, — на различные классы гражданъ, изъ которыхъ одни господствуютъ надъ другими, уничтожаетъ общій интересъ націи и вводитъ раздоръ въ частные интересы отдѣльныхъ сословій. Это раздѣленіе разрушило бы порядокъ земледѣльческаго правительства, которое главнѣе всего должно заботиться объ одномъ капитальномъ предметѣ — о процвѣтаніи агрикультуры; она служитъ органомъ всѣхъ общественныхъ и государственныхъ богатствъ". (Maximes du gouvernement d'un royaume Agricole, стр. 81. Econom. au XVIII s., т. XII).

Изъ этого видно, что Кене допускалъ одно дѣятельное сословіе — въ общественномъ устройствѣ — земледѣльческое; его онъ называлъ производительнымъ, всѣ же другія — безполезными. Нельзя не замѣтить, что въ этомъ ученіи былъ уже зародышъ будущей школы комунистовъ. И та и другая, по неотразимому закону логики, должна была придти къ отрицанію индивидуальной свободы, убивъ ее фатализмомъ. Но медикъ Людовика XV не умѣлъ развить идеи до яснаго результата; онъ только даетъ предчувствовать, какимъ отвратительнымъ деспотизмомъ могло закончиться его ученіе, по цѣли, въ высшей степени гуманное. Впослѣдствіи ученикъ его, Лемерсье Ларивьеръ, дѣйствительно, впалъ въ эту ошибку. Его „теорія естественнаго порядка политическихъ обществъ", провозгласивъ свободу труда, въ то же время поставила ее въ строгой зависимости отъ внѣшней и случайной силы; онъ и его послѣдователи думали, что для развитія этой свободы надо больше дѣйствовать на королевскую власть, чѣмъ на самый народъ. Мы понимаемъ, что всякая власть, тѣмъ болѣе, абсолютная—способна къ величайшимъ и самымъ крутымъ переворотамъ, но мы не знаемъ ни одного историческаго примѣра, гдѣ бы привиллегированное сословіе охотно поступилось личными выгодами въ пользу противной партіи, мы не знаемъ ни одного случая, гдѣ соціальное возможно-лучшее устройство вытекало бы изъ простого самоотверженія человѣческаго эгоизма. Возьмите самую богатую англійскую аристократію, и спросите: гдѣ и когда она добровольно уступала наслѣдственныя права для облегченія участи нѣсколькихъ милліоновъ пролетаріевъ? Не она ли, напротивъ, образовала изъ колоніальной системы строго-обдуманную споліацію Востока? Не она ли обратила Ирландію, одну изъ прекраснѣйшихъ странъ свѣта, въ синонимъ нищеты и порока? Не она ли, впродолженіе послѣднихъ ста лѣтъ, оставила безъ измѣненія поземельныя подати и поразила таксами самые существенные предметы внѣшней торговли? Не она ли организовала

косвенные налоги такъ, что бѣднякъ, покупая фунтъ чаю за шесть пенсовъ, платитъ ту же пошлину, какую богачъ за тотъ же фунтъ чаю, пріобрѣтая его за два шиллинга. „Тѣ, которые отягощаютъ хлѣбъ народа пошлиной, замѣтилъ Фоксъ въ 1842 году, — обложили бы таксами свѣтъ и воздухъ, еслибъ могли. (La ligue de Cobden, par Bastiat. стр. 109). И когда народъ страдалъ, британская аристократія, съ библіей въ рукѣ, говорила ему: „ты бѣденъ, потому что слишкомъ расплодился; я приготовлю тебѣ обширную систему эмиграціи, т. е., я отниму у тебя могилы отцовъ, родину, семейный очагъ, и тѣмъ спасу тебя отъ голодной смерти; ты умираешь отъ истощенія, я убавлю часы работы и дамъ каждому семейству корову и нѣсколько метровъ сада, но я сохраню монополію труда и обмѣна, потому что онъ связанъ съ моимъ существованіемъ". Такъ дѣйствовала англійская аристократія. Наконецъ, почему физіократы ожидали больше отъ посторонней силы и чистаго случая, чѣмъ отъ сознанія и нравственнаго развитія самихъ массъ? Ясно, что они не поняли человѣческой личности вполнѣ; они свели ее съ богословскихъ ходулей Боссюета, но не умѣли поставить на дѣйствительную почву. Ихъ эмпиризмъ — та же крайность, только съ другимъ, болѣе тѣлеснымъ, угнетающимъ началомъ. Въ этомъ — главная ошибка этой благородной школы.

Притомъ, провозгласивъ превосходство земледѣлія, какъ единственный источникъ производительныхъ силъ, они слишкомъ стѣснили границы человѣческой дѣятельности. Они поставили геній и волю разумнаго существа въ зависимость отъ матеріальной природы, какъ впослѣдствіи Мальтусъ — отъ клочка земли и урожая картофеля. Нѣтъ сомнѣнія, земля самая благородная кормилица человѣка, но она питаетъ его только по мѣрѣ труда и искусства. Вся наша планета, со всѣми ея сокровищами дана намъ, какъ кусокъ мрамора — художнику; изъ этого куска онъ можетъ извлечь большую выгоду и дать ему высокую цѣну, если только обратитъ его, силой ума, въ изящное произведеніе. Мы видимъ въ Турціи, Ирландіи, Италіи и той же Франціи, что однѣхъ плодородныхъ почвъ для богатства общества недостаточно; иногда бываетъ и то, что онѣ, за недостаткомъ средствъ и орудій для воздѣлыванія, скорѣе обременяютъ, чѣмъ облегчаютъ земледѣльца. Лучшія земли въ Индіи брошены. Напротивъ, мы видимъ много скудныхъ земель, но обращенныхъ въ богатыя съ помощью энергіи и руки человѣка. Голландія и Венеція не имѣли никакихъ полей, но въ состояніи были располагать громадными богатствами. Дѣло не въ томъ: земледѣліе или промышленность больше производятъ, — а въ томъ: въ какой степени трудъ человѣка пользуется данными ему средствами, и какъ эти средства распредѣляются между отдѣльными членами общества. Важности этого вопроса физіократы не оцѣнили. Честь открытія его принадлежала геніальному шотландцу, Адаму Смиту. Родившись и образовавшись въ странѣ, гдѣ

индивидуальная свобода всегда была краеугольнымъ камнемъ соціальной жизни, онъ взглянулъ на человѣка, какъ на полнаго хозяина своей судьбы и окружающаго міра; онъ возвратилъ ему достоинство, сказавъ, что „изъ труда истекаетъ всякое богатство". Послѣ этой истины, соціальная наука получила право гражданства у всѣхъ народовъ и измѣнила ходъ европейскихъ обществъ. Ей мы обязаны открытіями и лучшими реформами нашего вѣка. Само собой разумѣется, что на этомъ вопросъ не могъ остановиться. Смитъ только открылъ намъ перистиль, но самое зданіе — впереди. Какимъ образомъ эманципировать трудъ отъ монополіи, какъ уровнять его вознагражденіе между различными сословіями — такъ, чтобъ онъ не былъ проклятіемъ и пóтомъ для однихъ и орудіемъ споліаціи для другихъ, какъ развить его до возможно-лучшихъ результатовъ въ массахъ и найдти въ немъ дѣйствительное счастіе человѣка — вотъ задача настоящаго поколѣнія. Послѣ ученія Смита школа физіократовъ не могла дѣйствовать; ея теорія разсыпалась въ прахъ подъ ударомъ шотландскаго философа, который указалъ міру новый путь развитія изъ рыбачьей хижины Киркгольда.

За всѣмъ тѣмъ мы не вправѣ отказать имъ въ тѣхъ неоспоримыхъ заслугахъ, безъ которыхъ можетъ быть не возможно было бы ученіе Смита. Обвинять ихъ въ томъ, почему они не предупредили его, это значило бы тоже, чтò обвинять предковъ XVII столѣтія, почему они не изобрѣли желѣзныхъ дорогъ, или унижать современниковъ за то, почему они не думаютъ такъ, какъ будутъ думать наши потомки черезъ двѣсти лѣтъ. Не надо забывать: въ какую эпоху физіократы дѣйствовали, въ какомъ положеніи находилась Франція и что такое была ея администрація. Они работали на нивѣ, покрытой, подобно репейнику, предразсудками восьми вѣковъ; они вооружались противъ привиллегіи, когда она господствовала повсюду; они подрывали монополіи и меркантильную систему, когда она душила всѣ отрасли дѣятельности; они преувеличили значеніе земледѣлія, но это неудивительно, потому что они защищали его въ то время, когда всѣ правительства и народы полагали богатство въ деньгахъ; они не поняли сущности труда, но угадали спасительныя дѣйствія его свободы. И въ этомъ—главная ихъ заслуга. Здѣсь они являются передовыми людьми вѣка, наставниками Адама Смита. Притомъ физіократы отнюдь не были такъ односторонни, какъ обыкновенно думаютъ о нихъ; они не требовали никакого исключенія въ пользу своей системы, исключенія вреднаго общему праву. И если личность человѣка не поднята ими на должную высоту, то, по крайней мѣрѣ, они первые положили на нее святую печать любви къ человѣчеству.

Къ этой школѣ принадлежитъ Тюрго. Онъ соединилъ въ себѣ все, чтó выработали его предшественники и о чемъ думали его современники; онъ очистилъ отъ ложной примѣси ученіе физіократовъ, и провелъ въ самую жизнь то, чтó было доказано только теоріей. Какъ мы-

слитель и государственный человѣкъ, онъ первый во Франціи покушается слить науку съ политикой и, во имя знаній и честности, облегчить состояніе бѣдной страны. До него на языкѣ министровъ любовь къ народу была пустой оффиціальной фразой; онъ далъ ей дѣйствительный смыслъ, и доказалъ, какъ возвышеніемъ, такъ и паденіемъ своимъ, что безъ нея нѣтъ ни силы у правительствъ, ни жизни у обществъ. „Я узналъ, пишетъ Вольтеръ въ 1774 году,—что Тюрго, *государственный* министръ, издалъ эдиктъ, по которому, несмотря на самые священные предразсудки, каждому жителю Перигора позволено покупать и продавать хлѣбъ въ Овернѣ и каждому изъ Шампенуа можно ѣсть хлѣбъ, купленый въ Пикардіи. Мнѣ случилось видѣть въ самомъ кантонѣ кучку земледѣльцевъ—моихъ братьевъ, которые читали этотъ эдиктъ подъ липами, называемыми здѣсь *росни*, потому что ихъ посадилъ Росни, герцогъ Сюлли. Какъ! сказалъ умный старикъ, — шестьдесятъ лѣтъ я читалъ указы, которые только лишали насъ естественной свободы, самымъ крючковатымъ языкомъ; но вотъ первый эдиктъ, написанный понятнымъ слогомъ и онъ возвращаетъ намъ свободу. Въ первый разъ король разсуждаетъ съ своимъ народомъ и подписываетъ узаконеніе, составленное человѣческой рукой. Теперь хотѣлось бы пожить, о чемъ я прежде почти незаботился, но особенно желаю здравствовать королю и министру“. (Revue des deux mondes. 1859, decem. 15, стр. 401). Дѣйствительно, въ первый разъ Франція услышала въ словахъ Тюрго—и министра и гражданина, въ одно и то же время.

Но что же это былъ за человѣкъ? Кто внимательно изучалъ внутреннюю физіономію людей XVIII вѣка, тотъ знаетъ, что бо́льшая и лучшая часть изъ нихъ отличалась страстнымъ темпераментомъ; въ ихъ безконечной дѣятельности было что-то тревожное, нервное, юношески-горячее, часто лишавшее ихъ того ровнаго такта, которымъ замѣчательны другія эпохи. Это зависѣло, между прочимъ, оттого, что они работали подъ вліяніемъ политическаго стѣсненія; ихъ раздражали препятствія; ихъ энергію подстрекала та же сила, которая хотѣла заставить замолчать ихъ. Многіе изъ нихъ, вѣроятно, были бы хладнокровнѣе, не подняли бы оппозиціоннаго знамени такъ высоко, еслибъ на этомъ знамени не было слѣдовъ руки палача или тюремной цѣпи. Но раздраженіе души нарушаетъ ея гармонію; оно мѣшаетъ видѣть предметы въ настоящемъ свѣтѣ. Умственная горячка есть особенный родъ лунатизма, въ которомъ фантазія творитъ свой собственный міръ съ своими законами, границами и вещами. Такое состояніе иногда хорошо для поэта, артиста, но не для капитана корабля въ виду подводныхъ скалъ и не для государственнаго человѣка во время реформы. Въ характерѣ Тюрго ничего подобнаго не было. Его спокойный темпераментъ, всегда осторожный взглядъ, какъ нельзя лучше отвѣчали его общественному положенію. Въ его мнѣніяхъ не было ни рѣзкихъ скачковъ, ни запальчивости; въ его поступкахъ замѣтна

строгая выдержанность; онъ оставался вѣренъ самому себѣ во всѣ моменты жизни, что̀ необыкновенно трудно даже въ частномъ быту. Это качество мы могли бы приписать опытности лѣтъ или служебной рутинѣ, которая изъ бездарнаго чиновника легко образуетъ существо, немного похожее на амфибію; но Тюрго былъ еще молодъ, когда получилъ министерскій портфель и никогда не переставалъ быть мыслителемъ, какъ бы мелки ни были его обязанности. Его сдержанность и умѣренный тактъ были слѣдствіемъ той внутренней гармоніи, которую даетъ намъ полное развитіе; когда умъ не противорѣчитъ волѣ, а воля—совѣсти. Такого свойства люди увлекаются рѣдко, но, предположивъ себѣ цѣль, они достигаютъ ее съ бо́льшей твердостью, чѣмъ темпераменты пылкіе. Стойкость и самоувѣренность въ силахъ были главной характеристикой Тюрго. Въ этомъ отношеніи, онъ стоитъ выше многихъ современниковъ, съ болѣе блестящимъ талантомъ и гораздо болѣе громкой извѣстностью. Его любовь къ истинѣ перешла въ потомство, „этому качеству, замѣчаетъ Кондорсе, — напрасно будутъ подражать лицемѣріе или шарлатанство, напрасно будутъ стараться унизить или оклеветать его". (Eloge de Turgot). Эта черта тѣмъ замѣчательнѣе, что она рѣдко встрѣчается въ государственныхъ людяхъ Франціи; въ числѣ ихъ насчитывается много ренегатовъ, предателей, людей, лишенныхъ всякой политической вѣры, но мало искреннихъ друзей народа; они слишкомъ плохо воспитаны, чтобъ удержаться отъ соблазна служебныхъ интересовъ. Послѣ іюльскихъ дней 1830 года, Людовику-Филиппу только стоило пожелать, какъ Гизо, Тьеръ, Кузэнъ, Вильмэнъ, Минье, Барантъ и другіе, оставивъ свои каѳедры или ученый кабинетъ, бросились на чиновничьи мѣста. Только одна прекрасная личность — Арманъ Карель — устоялъ противъ искушенія: онъ не оставилъ рядовъ народа ради „золотой канцеляріи" префекта... Тюрго былъ человѣкъ другой эпохи и школы; его уваженіе къ истинѣ было неразлучно со всѣми убѣжденіями и дѣйствіями. Когда онъ оставилъ должность пріора въ Сорбонѣ, онъ въ то же время рѣшился оставить и ливрею католическаго духовенства; товарищи и друзья, предвидя въ будущемъ епископѣ даровитаго адвоката своихъ интересовъ, упрашивали его продолжать начатую карьеру; они предсказывали ему блестящее положеніе, богатство и почести сановитаго монаха, и на этотъ разъ, конечно, не ошибались. Тюрго, выслушавъ ихъ, отвѣчалъ: „что̀ до меня, я считаю совершенно невозможнымъ всю жизнь *носить маску на лицѣ*", и онъ отбросилъ эту маску. Впослѣдствіи онъ вездѣ искалъ правой стороны и въ каждую обязанность вносилъ духъ безпристрастія. „Я знаю, говорилъ онъ, — что у меня будетъ больше враговъ, чѣмъ друзей, но одинъ честный и умный другъ всегда лучше цѣлой тьмы глупыхъ непріятелей". Поэтому люди, отношенія и связи были для него совершенно постороннимъ дѣломъ, когда надо было поддержать народный вопросъ или отстоять справедливость мнѣнія; онъ попеременно боролся

то съ парижскимъ архіепископомъ за вѣротерпимость, то съ парламентомъ за облегченіе податей, то съ дворомъ за необходимость реформы то съ народомъ за предразсудки, и всегда одинъ, крѣпкій единственно своей собственной совѣстью. Замѣчательно, что онъ не принадлежалъ ни къ одной партіи, когда кругомъ его все замыкалось въ особенныя котеріи. Тюрго презиралъ духъ секты, потому что не былъ *человѣкъ стада* и не терпѣлъ посторонняго вліянія въ дѣлѣ убѣжденій. „Духъ секты, говорилъ онъ часто, — вооружаетъ вражду и преслѣдованія противъ полезныхъ истинъ. Когда независимый человѣкъ скромно предлагаетъ то, что́ кажется ему истиной, — его слушаютъ, если онъ правъ; его забываютъ, если онъ вретъ. Но когда мыслящіе люди заключаются въ корпорацію, и кричатъ *мы*, думая предписать законы общественному мнѣнію, оно справедливо возстаетъ противъ нихъ, потому что для него нѣтъ другихъ законовъ, кромѣ законовъ истины. Всякая партія осуждена рано или поздно видѣть свою ливрею на бездѣльникахъ, дуракахъ и самохвалахъ, изъ которыхъ каждый норовитъ попасть въ знаменитость". (См. Oeuvres de Turgot, par Dupont de Nemours, стр. 47. Oeuvres de Turgot collect. des econom. au XVIII s. т. I, стр. 33 и прочія). Точно съ такой же независимостью Тюрго велъ себя передъ королемъ; онъ облагородилъ званіе министра, который до него служилъ между дворцовой передней и развратной гостинной дю-Бари. Когда Людовикъ XVI, вступая на престолъ, задумался надъ состояніемъ Франціи, Тюрго писалъ самодержавному монарху съ благородной откровенностью: „Государь, причина зла въ томъ, что ваша нація не имѣетъ конституціи. Это общество составлено изъ разныхъ классовъ, дурно соединенныхъ, и изъ народа, коего члены едва связаны кой-какими соціальными нитями; здѣсь каждый занятъ своей личной выгодой, и почти никто не затрудняется исполненіемъ обязанностей или опредѣленіемъ своихъ отношеній къ другимъ. Въ этой хаотической борьбѣ стремленій и предпріятій, не руководимыхъ ни образованіемъ, ни разумомъ, вы обязаны за всѣхъ рѣшать сами собой или посредствомъ своихъ агентовъ. Отъ васъ ожидаютъ особыхъ приказаній даже для того, чтобъ помочь общему благу, чтобъ уважать право другого или воспользоваться своимъ собственнымъ. Вы принуждены судить и рядить все, и очень часто подъ вліяніемъ частныхъ желаній, между тѣмъ, какъ вы гораздо спокойнѣй могли бы управлять общими законами, еслибъ отдѣльныя части вашей имперіи имѣли стройную организацію и опредѣленныя отношенія". (Тамъ же стр. 75). Въ этихъ словахъ, кромѣ откровенности, ясно выраженъ политическій взглядъ Тюрго. Онъ первый заговорилъ о самоуправленіи, недостатокъ котораго доселѣ чувствуется во Франціи; онъ понималъ, что централизація, поглощая частные интересы, препятствуетъ гражданскому воспитанію народовъ; она поступаетъ, какъ дурной опекунъ, желающій продлить несовершеннолѣтіе юноши ради собственнаго интереса. Но если

Тюрго, на высотѣ государственнаго поста, дѣйствовалъ съ достойнымъ мужествомъ, то онъ показалъ его еще больше въ своемъ паденіи. Когда Людовикъ XVI, опутанный интригами тѣхъ, „которые, по выраженію Тальмана, ѣдятъ насъ", удалилъ отъ себя министра и предложилъ увеличить его содержаніе, онъ отвѣчалъ королю такъ: „вы знаете, государь, мое мнѣніе о денежныхъ обстоятельствахъ; ваше доброе расположеніе было для меня дороже всѣхъ наградъ. Я приму жалованье министра, потому что иначе доходы мои были бы почти втрое меньше того, что̀ я получалъ въ качествѣ лиможскаго интенданта. Быть болѣе богатымъ я не имѣю надобности, и не хочу подавать собой примѣра тѣмъ, кто служитъ въ тягость государству" (Тамъ же, стр. 113). Всѣ эти факты ясно освѣщаютъ нравственный характеръ Тюрго; для него мысль и жизнь, слово и дѣло не были тѣмъ двухцвѣтнымъ плащемъ, которымъ драпируются Тартюфы нашей эпохи.

Другимъ отличительнымъ качествомъ Тюрго была разносторонность свѣдѣній, необходимыхъ экономисту и государственному дѣятелю. Говоря вообще, всякое спеціальное знаніе бываетъ полезнымъ знаніемъ только тогда, когда оно построено на широкомъ и прочномъ основаніи общаго образованія. Можно быть хорошимъ химикомъ, лѣкаремъ, инженеромъ, математикомъ, и въ то же время совершеннымъ невѣждой; можно быть превосходнымъ спеціалистомъ и человѣкомъ крайне ограниченнымъ, не имѣющимъ никакого гражданскаго достоинства. Такія личности, столь обыкновенныя въ настоящемъ поколѣніи, развиваются угловато, подобно тѣмъ несчастнымъ уродамъ, у которыхъ спинной горбъ или брюшные наросты поглощаютъ развитіе головы или ногъ. И въ томъ и другомъ случаѣ диспропорція зависитъ оттого, что одинъ органъ живетъ насчетъ другого. Нѣтъ спору, эти люди полезны въ матеріальномъ отношеніи, какъ крѣпкіе молотки въ кузницѣ или острые топоры въ рукахъ плотниковъ; но они безполезны и, если угодно, вредны въ соціальномъ отношеніи. Ихъ человѣческія симпатіи простираются не дальше личнаго успѣха или, по бо́льшей мѣрѣ, своего спеціальнаго интереса; имъ нѣтъ дѣла до того, что̀ происходитъ въ самой жизни, когда ихъ формула, анализъ или операціи хорошо удаются. Кто-то очень мѣтко сравнилъ ихъ съ рыбами, которыя отлично умѣютъ плавать въ водѣ, но внѣ своей природной стихіи не могутъ дышать. Съ эгоизмомъ, какъ признакомъ умственнаго кретинизма, у нихъ соединяется поразительная тупость во всемъ, что̀ выходитъ за черту ихъ ремесла. Въ народныхъ вопросахъ, требующихъ энергіи, нѣкотораго самоотверженія и столько же сердца — сколько ума, общество всего менѣе можетъ разсчитывать на нихъ. Въ такія минуты, обыкновенно, они страдаютъ столбнякомъ. Есть другого рода люди, которые также дѣлаются спеціалистами, но здѣсь спеціальность не есть узкая односторонность или забитость мозга; она не опережаетъ общечеловѣческаго развитія, а на немъ возводится и имъ оплодотворяется. И это очень

важно; если воспитаніе образуетъ въ насъ человѣка, тогда всякое знаніе, какая бы ни была его степень и направленіе, служитъ въ пользу; напротивъ, отнимите у него этотъ жизненный элементъ, оно, пожалуй, прибавитъ нѣсколько новыхъ томовъ къ библіотекѣ, нѣсколько новыхъ фактовъ къ наукѣ, но самому обществу ничего не дастъ. Доктрина, какъ египетская тайна, падаетъ съ той минуты, когда образованіе переходитъ въ самую жизнь. Тогда подъ мундиромъ генерала, химика или профессора вы прежде всего видите не простую опору табели о рангахъ, а дѣйствительное существо. Если это вообще такъ, то тѣмъ болѣе въ отношеніи къ спеціальному дѣятелю; его наука обнимаетъ всѣ общественные интересы, страсти и явленія; онъ непремѣнно долженъ быть энциклопедистъ, съ самымъ разностороннимъ образованіемъ и глубокой симпатіей къ человѣчеству. Въ этомъ отношеніи Тюрго можетъ служить примѣромъ для своихъ соотечественниковъ, даже въ настоящее время. Младшій сынъ небогатаго семейства, датскаго происхожденія, онъ началъ свое ученіе въ школѣ Людовика Великаго, потомъ перешелъ въ коллегію де-Плесси и окончилъ его въ семинаріи св. Сюльпиція. Изъ всѣхъ его учителей только одинъ стоялъ выше обыденной посредственности — это профессоръ Сигорнъ, который ввелъ философію Ньютона въ публичное преподаваніе во Франціи. Монашеская школа, съ закрытыми дверями и іезуитской дисциплиной, разумѣется, не могла воспитать будущаго защитника свободы труда. Все, что она въ состояніи была дать ему — матеріальныя средства, для самостоятельной работы, и Тюрго воспользовался ими превосходно; остальное онъ угадалъ инстинктомъ, благодаря свѣжей умственной атмосферѣ, вѣявшей за оградой католическаго заведенія. Съ необыкновеннымъ трудолюбіемъ онъ соединялъ рѣдкую любознательность; изъ-за стѣнъ полумертвой семинаріи онъ внимательно слѣдилъ за современными событіями вѣка. Ни одна отрасль знанія не охлаждала его молодого пытливаго воображенія. Нельзя не изумляться, съ какимъ терпѣніемъ онъ проводитъ безсонныя ночи за чтеніемъ книгъ, которыя только украдкой могли попасть въ училище св. Сюльпиція; изучаетъ новѣйшіе иностранные языки тамъ, гдѣ ихъ никогда не изучали. Онъ говоритъ на латинскомъ такъ хорошо, „какъ только можно было современному знатоку его", прибавляетъ біографъ Тюрго (Dupont de Nemours, стр. 14), онъ зналъ греческій, еврейскій, англійскій, итальянскій и нѣмецкій. Впослѣдствіи онъ перевелъ съ англійскаго пѣсни Оссіана, исторію Юма и кое-что изъ произведеній Джонсона и Шекспира; съ нѣмецкаго онъ передалъ нѣсколько строфъ изъ Мессіады Клопштока и первую книгу идиллій Геснера; отрывки изъ Цицерона, Овидія, Тацита и пастора Гидо были переведены имъ, какъ пробныя работы. Въ то же время онъ занимался математикой, исторіей, философіей, политической экономіей, и во всемъ успѣвалъ. На двадцать второмъ году возраста Тюрго — въ числѣ сотрудниковъ энциклопедіи, гдѣ онъ опровергаетъ

скептическую систему клойнскаго епископа, Берклея; на двадцать третьемъ году, онъ составляетъ письмо о денежномъ курсѣ (lettre sur la monaie), разрушая послѣднія мечты системы Лоу. Это письмо, составленное подъ вліяніемъ Локка, вѣрно опредѣлило значеніе кредита и бумажныхъ денегъ, такъ вѣрно, какъ впослѣдствіи смотрѣли на тотъ же предметъ Адамъ Смитъ и Сэй; около того же времени, въ качествѣ сорбонскаго пріора онъ произноситъ рѣчь, въ которой предвидитъ судьбу американскихъ колоній. „Колоніи, говоритъ онъ,—подобно плодамъ, держатся на деревѣ только до поры своей зрѣлости; развившись до самостоятельности, онѣ дѣлаются тѣмъ, чѣмъ нѣкогда былъ Карѳагенъ и чѣмъ будетъ Америка“ (Collect. des économ. au XVIII s. Oeuvres de Turgot, т. I, стр. 17). Это было сказано за двадцать лѣтъ до эмансипаціи Американскихъ Штатовъ.

Вотъ то приготовительное развитіе, которое Тюрго заложилъ въ основу своего спеціальнаго образованія. Съ нимъ можно было взяться за рѣшеніе соціальныхъ проблемъ; и все это онъ пріобрѣлъ самъ собой, въ юношескіе годы. По выходѣ изъ Сорбоны, онъ вступилъ въ дѣйствительную жизнь съ отличнымъ образованіемъ, литературнымъ именемъ и благородными инстинктами. При всемъ томъ келейное уединеніе школы не могло не оставить на немъ слѣдовъ своей рутины; въ сочиненіяхъ Тюрго, писанныхъ имъ въ молодости, при всемъ внутреннемъ достоинствѣ ихъ, при всей свѣжести молодаго чувства, есть запахъ „семинарской гнили“. Самыя смѣлыя и яркія идеи часто омрачаются схоластическими воззрѣніями, и любовь къ прогрессу не совсѣмъ свободна отъ аскетическихъ понятій, юношеская рѣчь невольно обличаетъ извнѣ принятую монашескую ложь. Притомъ, онъ вынесъ отсюда какую-то робость, которая потомъ много вредила ему. Обладая даромъ увлекательнаго слова, онъ былъ застѣнчивъ въ присутствіи постороннихъ. Мать смотрѣла на него, какъ на идіота, потому что онъ былъ неловокъ и дикъ въ обществѣ; она не могла простить ему незнанія манеръ и этикета, не понимая, что для этого нужна извѣстная пустота головы и сердца. Можетъ быть, дерзость свѣтскаго нахала утѣшила бы ее больше, чѣмъ наивная скромность въ ея сынѣ. Зато не было болѣе сообщительнаго и симпатическаго собесѣдника, какъ Тюрго, въ кругу своихъ друзей и знакомыхъ.

Послѣдней и лучшей школой его было само общество. Обративъ на себя вниманіе, какъ даровитый сотрудникъ энциклопедіи [1]), онъ былъ принятъ въ литературномъ обществѣ Жофренъ. Салоны ея, послѣ знаменитыхъ собраній Рамбулье, были самые блистательные въ Парижѣ. Въ одномъ изъ лучшихъ кварталовъ города стоялъ великолѣпный отель,

---

[1]) Въ Энциклопедіи были помѣщены слѣдующія его статьи: Existence, Expansibilité, Foires, Fondation и Théorie des valeurs. Послѣдняя статья упрочила за авторомъ литературную репутацію и обратила на него вниманіе лучшихъ писателей этой эпохи.

роскошно обставленный классическими статуями и картинами. Здѣсь каждую недѣлю давались два обѣда — одинъ для артистовъ, на которомъ присутствовали Верне, Ванлоо, Буше, Латуръ, и проч., другой — для литераторовъ, за которымъ были постоянными посѣтителями Даламберъ, Гельвецій, Морелье, Гримъ, Гольбахъ, Сэнъ-Ламберъ и ихъ друзья. Ни одинъ замѣчательный иностранецъ не проѣзжалъ столицей, чтобъ не заглянуть въ домъ Жофренъ; здѣсь провели лучшіе вечера своего путешествія Юмъ, Каричоли и Галіани; здѣсь былъ взаимный и искренній обмѣнъ идей всѣхъ націй и состояній; здѣсь Гибонъ щеголялъ эпикурейскими разсказами объ Италіи, Рюлье читалъ въ первый разъ свои мемуары, Гольбахъ острилъ и Рейналь хмурился. Въ кругу ихъ предсѣдательствовала свѣтская и умная дама, бывшая жена стекольнаго фабриканта, потомъ любовница регента, другъ Станислава Понятовскаго и Екатерины II. Жофренъ, слывшая за патронессу энциклопедистовъ, умѣла расположить ихъ въ свою пользу. Ея мягкій взглядъ, серебристые волосы, всегда простая, но изящная одежда, ея ровный тонъ обхожденія и сдержанныя манеры управляли шумными и горячими спорами геніальныхъ гостей; ея знаніе всѣхъ парижскихъ новостей и обширныя знакомства во всѣхъ слояхъ общества, самая тайна ея прежней жизни интересовали публику. На этихъ вечерахъ Тюрго познакомился съ Монтескью и узналъ Вольтера; эти вечера были для молодого таланта величайшей школой умственнаго и эстетическаго образованія; здѣсь онъ могъ узнать лучше, чѣмъ изъ книгъ, потребности времени и общества; здѣсь прояснѣли многія изъ его идей и очистились инстинкты. Впослѣдствіи, когда онъ уже былъ министромъ, Тюрго съ удовольствіемъ вспоминалъ объ этихъ вечерахъ: „здѣсь я дышалъ, пишетъ онъ, — новымъ воздухомъ, неизвѣстнымъ за желѣзными рѣшетками Сорбоны; у Жофренъ я встрѣтился лицомъ къ лицу съ тѣми людьми, о которыхъ прежде только могъ слышать или мечтать. Ихъ бесѣда, кромѣ наставленія, оживляла меня надеждой и любовью. Только съ этихъ поръ я началъ цѣнить и уважать себя“ (Correspond. de Turgot, l. 16). Какъ много смысла въ послѣднихъ словахъ для юноши, который чувствуетъ въ себѣ какія-то добрыя силы и не находитъ имъ симпатичнаго отклика. Благородная самоувѣренность необычайно полезна тому, кто идетъ въ міръ съ пращей Давида противъ Голіафа.

Наконецъ, около 1755 года, онъ вошелъ въ близкія сношенія съ Кене и Гурне. Онъ особенно полюбилъ послѣдняго. Съ нимъ онъ путешествовалъ по Франціи, ощупавъ рукой общественныя язвы, распространенныя повсюду администраціей и запретительной системой. „Съ этого времени, замѣчаетъ Деръ, — Тюрго не переставалъ говорить и дѣйствовать за свободу труда“ (Econom. au XVIII, s. Turgot, т. I, стр. 33). По смерти Гурне, которая глубоко огорчила любящее сердце Тюрго, онъ отправился въ Монпелье искать утѣшенія близъ Трюдэна, друга и

покровителя его оффиціальной карьеры. Отсюда онъ поѣхалъ въ Швейцарію, посѣтилъ Женеву, взглянулъ на лѣвый берегъ Лемана и Альпы, и возвратился черезъ Базель и Альзасъ во Францію.

Здѣсь ожидало его новое назначеніе — лиможскимъ интендантомъ. Мы не будемъ говорить подробно о служебномъ поприщѣ Тюрго, потому что внѣшняя сторона его не заслуживаетъ особеннаго вниманія, а внутренняя — раскроется изъ анализа самого министерства. Тюрго началъ свою службу съ адвоката; онъ искалъ этого званія, потому что любилъ говорить публично. Въ 1752 году онъ былъ принятъ совѣтникомъ парламента, и вскорѣ затѣмъ секретаремъ въ государственный совѣтъ. Представляя рапорты королю и разбирая самые запутанные процессы онъ отличался яснымъ и строго-логическимъ изложеніемъ дѣла, что̀ было особенно важно при общей темнотѣ двусмысленныхъ законовъ и подъяческомъ языкѣ старой монархіи. Съ тѣмъ вмѣстѣ, имѣя много досужнаго времени, онъ продолжалъ заниматься наукой. Къ этой эпохѣ относится спеціальная разработка тѣхъ аналогическихъ вопросовъ, которые занимали его въ остальной періодъ жизни. Наконецъ, въ 1761 году онъ былъ назначенъ интендантомъ Лиможа.

Доселѣ Тюрго былъ слишкомъ зависимымъ лицомъ, чтобъ дѣйствовать самостоятельно. Только теперь, въ качествѣ полнаго хозяина провинціи, онъ могъ подумать о примѣненіи своихъ задушевныхъ плановъ. Принимая область бѣдную, раззоренную, скудную землей, безъ кадастра и контроля, онъ на всякомъ шагу встрѣчался съ злоупотребленіями и препятствіями. Въ народѣ, привыкшемъ видѣть въ интендантахъ однихъ притѣснителей и людей, совершенно равнодушныхъ къ общественнымъ интересамъ, образовался предразсудокъ относительно его правителей; онъ смотрѣлъ на нихъ, какъ на враговъ, посылаемыхъ въ провинцію для отягощенія его судьбы новыми налогами и формальностями; онъ пересталъ искать въ нихъ помощи и сочувствія, надѣясь единственно на свое терпѣніе и неизвѣстное будущее... Тюрго возвратилъ довѣренность народа, и скоро убѣдилъ его въ искренней любви къ общему дѣлу. Гораздо труднѣй было дѣйствовать на самое правительство: онъ, повидимому, потерялъ всякую вѣру въ прогрессъ, всякую надежду на улучшеніе. Слово *реформа* или *нововведеніе* звучало въ ушахъ короля, министровъ и парламента чѣмъ-то зловѣщимъ, и Людокикъ XV, думая, что „après moi le déluge“ (послѣ меня — потопъ), совсѣмъ забылъ, что кромѣ дю-Бари, онъ обязанъ еще нѣкоторыми заботами двадцати двумъ милліонамъ его подданныхъ. Поэтому Тюрго не только не находилъ содѣйствія своимъ цѣлямъ, но долженъ былъ ссориться, настаивать и, почти насильно, вырывать согласіе короля или парламанта для утвержденія своихъ преобразованій. Его энергіи на все доставало.

Пораженный неравенствомъ и хищнымъ сборомъ поземельныхъ податей, онъ опредѣлилъ норму и лучшій способъ взиманія ихъ. Съ этой

цѣлью онъ закрылъ въ своей провинціи двѣ конторы, вѣдавшія сборомъ налоговъ и состоявшія изъ множества праздныхъ чиновниковъ; на мѣсто ихъ онъ опредѣлилъ коммиссаровъ, изъ которыхъ каждому ввѣрилъ небольшой округъ. Онъ далъ имъ самыя подробныя инструкціи; „не пренебрегайте, писалъ онъ имъ, — свѣдѣніями объ агрикультурѣ въ каждомъ приходѣ, о количествѣ невоздѣланныхъ земель, объ улучшеніяхъ, какія только возможны, о произведеніяхъ природы, о промышленности жителей, о томъ, что можно посовѣтовать имъ, о мѣстахъ, гдѣ лучше сбываются предметы торговли, о состояніи дорогъ, и удобны ли онѣ для проѣзда каретъ или только для прохода вьючныхъ животныхъ... Вы постараетесь, сколько возможно больше, разузнавать о злоупотребленіяхъ всякаго рода, отъ которыхъ страдаетъ народъ; о безпорядкахъ и притѣсненіяхъ администраціи, и о народныхъ предразсудкахъ, вредныхъ спокойствію или здоровью общества". Призывая всѣхъ и каждаго помогать его дѣлу, онъ искалъ честныхъ и способныхъ сотрудниковъ во всѣхъ рядахъ общества. „Если вы встрѣтите, продолжаетъ онъ, — людей замѣчательныхъ талантомъ, или съ любовью къ наукѣ и искусству, вы обяжете меня увѣдомленіемъ о нихъ. Я постараюсь употребить ихъ въ дѣло и не дамъ заглохнуть ихъ дарованіямъ". Въ той же инструкціи онъ рекомендуетъ чиновникамъ кроткое и вѣжливое обхожденіе съ народомъ, вниманіе къ его просьбамъ и жалобамъ, и самъ лично подаетъ примѣръ благороднаго поведенія съ крестьяниномъ. Его оффиціальные приказы писаны языкомъ яснымъ; въ нихъ нѣтъ ни абсолютнаго тона команды, ни угрозъ наказаніями, ни солдатской фразеологіи его предшественниковъ; они не повелѣваютъ, а убѣждаютъ, растолковываютъ и совѣтуютъ. Въ его кабинетъ часто приглашаются простые ремесленники, фермеры и садовники; со всѣми онъ говоритъ, какъ человѣкъ и наставникъ; въ его манерахъ и разговорѣ нѣтъ ни презрѣнія, ни барина передъ низшимъ, ни лакея передъ высшимъ. Облегчая подать — вообще, онъ освободилъ отъ нея шестидесятилѣтнихъ стариковъ и отцовъ, обремененныхъ многочисленными семьями; онъ уничтожилъ налоги съ волноваго скота и ослабилъ тысячи узъ, обременявшихъ промышленность земледѣльца и купца.

Вторымъ главнымъ дѣломъ его было преобразованіе подорожныхъ налоговъ (corvées). Онъ перенесъ этотъ каторжный трудъ на самое государство, обязавъ комуну нанимать подрядчиковъ и уплачивать имъ въ счетъ казначейства; Тюрго улучшилъ внутреннія сообщенія провинцій; старыя дороги были вездѣ поправлены, и сто шестьдесятъ миль новыхъ было построено; бѣдные жители, которыхъ штрафъ и тюрьма заставляли работать безъ вознагражденія, теперь охотно участвовали и помогали этой отрасли труда. Въ то же время онъ старался уволить ихъ отъ военныхъ постоевъ, соединенныхъ съ грабительствомъ и всевозможными притѣсненіями отъ солдатъ. Наконецъ, онъ открылъ свободную

торговлю хлѣбомъ и убѣждалъ рядомъ прекрасныхъ писемъ министра Терэ распространить эту мѣру на всю Францію. Тупой аббатъ возражалъ Тюрго на основаніи общихъ мѣстъ, и если не принялъ совѣта, то долженъ былъ согласиться съ неотразимыми доводами геніальнаго экономиста. Къ сожалѣнію, эта благодѣтельная реформа встрѣтилась съ голоднымъ годомъ въ Лиможской области. Народъ, подобно дѣтямъ, не видя непосредственныхъ плодовъ свободы, приписалъ ей случайное бѣдствіе и, поджигаемый партіей барышниковъ, негодовалъ противъ нововведенія. Тюрго постарался убѣдить его, доказать выгоды реформы и успокоить взволнованные умы... Послѣдствія не замедлили оправдать его мысли, и снова гораздо крѣпче расположили къ нему народное сердце.

Такъ, десять лѣтъ управленія Лиможемъ показали: что́ можетъ сдѣлать человѣкъ, при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, съ горячей любовью къ добру и просвѣщеннымъ умомъ. Сосѣднія провинціи завидовали участи Лиможа, Франція обратила вниманіе на маленькій уголокъ юга, и „народъ, говоритъ Деръ, — благословилъ перваго правителя, который душевно сочувствовалъ его страданіямъ". (Collect. des econom. au XVIII s. Turgot. т. I, стр. 42, 105, 107 и проч.). Долго память Тюрго была свято чтима лиможцами; не одинъ старикъ, подъ тѣнью липъ, пожелалъ ему здоровья; многія матери и отцы, въ кругу утѣшенныхъ дѣтей, отвѣчали ему слезой радости и спокойнымъ вздохомъ. Народъ скорѣе прощаетъ своимъ тиранамъ, чѣмъ забываетъ своихъ друзей и благодѣтелей: въ этомъ — его высокая нравственная сила.

II.

Когда Тюрго управлялъ Лиможемъ, вдругъ по Франціи пронеслась вѣсть о смерти Людовика XV. Зараженный внутренней оспой отъ молодой дѣвушки, подведенной ему дю-Бари въ Тріанонѣ, онъ скончался послѣ трехдневной болѣзни, 10 мая 1774 года. Надъ гробомъ его не видно было ни дѣтски-искреннихъ слезъ народа, утомленнаго позорнымъ правленіемъ, ни даже лицемѣрнаго сожалѣнія придворныхъ слугъ, усталыхъ отъ апатичной власти деспота. Всѣ чувствовали необходимость обновленія, но никто еще не предвидѣлъ, что „старый король похоронилъ въ своей могилѣ старую монархію".

Положеніе преемника его было трудное. Людовикъ XVI, удаленный подозрительнымъ дѣдомъ отъ участія въ государственныхъ дѣлахъ, воспитанный по примѣру своихъ предковъ, пустымъ куртизаномъ и іезуитомъ, всходилъ на престолъ безъ знанія Франціи, безъ опытности и даже безъ силы въ рукѣ двадцатилѣтняго юноши. Онъ смотрѣлъ на

свой вѣнецъ, какъ на достояніе наслѣдства, но не зналъ, что съ нимъ соединялись другія, болѣе справедливыя надежды, — надежды народа на улучшеніе своего состоянія. „Это было чувство, говоритъ Амеде Рене, — новой жизни, жизни политической; ни въ какую эпоху Франція столько не надѣялась. Она ожидала отъ новаго царствованія всего, чего перестала ожидать отъ Людовика XV; она хотѣла снять пятно безславія съ королевской власти; она хотѣла сама себя возстановить". (Louis XVI et sa cour, par Amédée Renée, стр. 2). Въ самомъ дѣлѣ, въ народѣ явилась дотолѣ неизвѣстная сила — общественное мнѣніе; оно было подготовлено писателями, и мало по малу перешло въ массы. Разрывая послѣднія связи съ преданіемъ, оно требовало другихъ началъ, другого порядка; ему не доставало яснаго политическаго взгляда, потому что оно было дурно воспитано и уже давно отвыкло отъ управленія собственными интересами, но въ немъ проглядывала новая мысль, способная понимать поступки правительства и не совсѣмъ равнодушная къ его ошибкамъ или злоупотребленіямъ. Въ немъ, конечно, заключалось больше идеальныхъ, чѣмъ положительныхъ стремленій, но тѣмъ оно было опаснѣе для тѣхъ тридцати интендантовъ, которые, по выраженію Шамфора, вѣдали судьбой „истинно европейской Турціи". Подъ вліяніемъ этого мнѣнія, общество во многомъ измѣнилось; за пятьдесятъ лѣтъ прежде, теряя одно право за другимъ, оно ницъ падало передъ трономъ юнаго короля; а теперь не хотѣло признать даже тѣхъ реформъ, которыя, дѣйствительно, были полезны государству. Вся разница состояла въ томъ, что тогда оно вѣрило въ авторитетъ, а теперь перенесло довѣренность отъ правительства къ его оппозиціи. Такъ, въ одномъ и томъ же соціальномъ организмѣ встрѣтились двѣ враждебныя силы, готовыя оспаривать другъ у друга каждый шагъ развитія. Людовикъ XVI хотѣлъ примирить ихъ, но было поздно. Съ одной стороны слишкомъ много накопилось ненависти, а съ другой — недальновидности и произвола.

Другое обстоятельство, затруднявшее новое правленіе, заключалось въ самой администраціи. Мы ужь сказали, что она сложилась подъ вліяніемъ фискальной системы и на счетъ муниципальной независимости. Во второй половинѣ XVII вѣка Парижъ поглотилъ въ себя всѣ мѣстныя силы; онъ походилъ на чудовищную голову, поставленную на маленькомъ туловищѣ карлика; въ немъ соединилось все, что́ было самаго богатаго, образованнаго и сановитаго въ цѣлой Франціи. Провинціи перестали существовать, какъ живые члены одного политическаго тѣла; единственной связью между ними и столицей была власть интендантовъ, но эта связь, кромѣ оффиціальной формы, не имѣла ничего общаго съ народной жизнью. Должностныя мѣста, бо́льшей частью, занимались людьми средняго состоянія. Потомственные сеньоры, свысока смотрѣвшіе на правительство, поднявшееся на развалинахъ ихъ при-

виллегій, не вмѣшивались въ администрацію. Кой-гдѣ они сохранили судебныя права, ограниченныя предѣлами ихъ ленныхъ владѣній; кой-гдѣ они еще удержали личное рабство надъ своими подданными, со всѣми его грустными послѣдствіями; но они не хотѣли вербовать себя въ число королевскихъ чиновниковъ. Это отвращеніе, впрочемъ, вытекало не изъ самолюбія или самоуваженія; нѣтъ, такое чувство было бы выше ихъ характера; они съ жадностью искали придворныхъ отличій и ливрей, унижались и интриговали вездѣ, гдѣ можно было удовлетворить честолюбію или презрѣнію къ простому разночинцу; нѣтъ, это чувство было плодомъ затаенной ревности къ монархическому блеску и глубокой антипатіи къ неблагодарному труду канцелярскаго работника. Они воспитывались все еще въ преданіяхъ веселыхъ турнировъ, рыцарскихъ похожденій, салонной дрессировки, и потому скорѣе предпочитали занять положеніе Донъ-Кихота, чѣмъ отказаться отъ разгульной и лѣнивой жизни своихъ отцовъ. Притомъ, сами короли не желали вводить въ кругъ своей дѣятельности людей, съ которыми имъ пришлось такъ долго бороться за одни и тѣ же права. Но чѣмъ меньше сеньоры участвовали въ дѣлѣ внутренняго управленія, тѣмъ больше было простора другимъ сословіямъ. Буржуазія [1]), вызванная къ жизни крестовыми походами и освобожденная отъ феодальной тиранніи королевской защитой, постепенно возвышалась въ политическомъ отношеніи; на ея сторонѣ были два огромныя преимущества — трудъ и образованіе, чего, собственно, не имѣли сеньоры. Трудъ поставилъ ее, съ прогрессомъ времени и промышленности, на первомъ планѣ дѣятельныхъ сословій; онъ далъ ей средство для пріобрѣтенія матеріальнаго и нравственнаго благосостоянія. Впродолженіе прошлаго столѣтія этотъ классъ является съ видимымъ перевѣсомъ надъ всѣми другими; изъ его рядовъ выходятъ первые капиталисты, литераторы, художники, министры и, относительно, лучшіе граждане; онъ вноситъ въ общество свои собственные элементы — духъ экономіи и съ необыкновеннымъ терпѣніемъ соединяетъ дѣловую опытность и пронырство. По убѣжденіямъ, буржуазія всегда была консервативнымъ сословіемъ, по чувствамъ и правиламъ, она больше принадлежала народному слою, чѣмъ аристократическому. Выходя изъ мастерскихъ и купеческихъ конторъ или обращаясь постоянно на биржѣ, она не имѣла ни желанія, ни времени, ни свѣтскаго лоска, чтобъ тереться между „шелковыми героями" Версаля; тамъ она была не въ своей тарелкѣ. Но за стѣнами дворца вліяніе ея чувствовалось на каждомъ шагу. Всегда съ поползновеніемъ къ

[1]) Въ исторіи французской буржуазіи различаютъ три періода. Въ первый она только начинаетъ отдѣляться отъ народа; во второй, составляя особенное сословіе, она пріобрѣтаетъ административный характеръ; въ третій, послѣ революціи, сила ея основывается на капиталѣ. Мы говоримъ о буржуазіи второго періода (см. Histoire des classes laborieuses, par F. Cellier. 1859).

власти и привиллегіямъ, она, послѣ денегъ, особенно горячо искала гражданскихъ отличій. И это понятно; они во многомъ сравнивали ее съ феодальнымъ дворянствомъ, соціальному положенію котораго она не могла не завидовать; они открыли ей дорогу къ престолу, и нерѣдко изъ угнетеннаго дѣлали угнетателя. Поэтому администрація, во всѣхъ ея безчисленныхъ видоизмѣненіяхъ, перешла въ ея руки. „Я насчиталъ въ 1750 году, говоритъ Токвиль, — въ одномъ провинціальномъ городѣ средней руки до ста девяти лицъ, занимавшихъ только судебныя мѣста, и сто двадцать шесть, уполномоченныхъ исполненіемъ того, что̀ опредѣляли первые, и всѣ—изъ городскихъ жителей. Жажда мѣщанъ захватывать должности была истинно-безпримѣрная. Едва кто-либо пріобрѣталъ небольшой капиталъ, — вмѣсто того, чтобъ употребить его въ торговлю, спѣшилъ купить себѣ мѣсто. Это жалкое тщеславіе гораздо больше повредило земледѣлію и промышленности Франціи, чѣмъ цехи и даже поземельно-личная подать". (L'ancien Régime, par A. Tocqueville, стр. 142). Мы совершенно согласны съ знаменитымъ публицистомъ, относительно вреда, но должны замѣтить, что онъ смѣшиваетъ дѣйствіе съ причиной. Не тщеславіе повредило труду, а отсутствіе свободнаго труда и уваженія къ нему породило бюрократическую манію. Еслибъ выборъ занятія, вознагражденія его и оцѣнка способности были поставлены въ болѣе выгодныя условія, тогда французскій мѣщанинъ не сталъ бы добиваться должности, и не предпочелъ бы грубую дисциплину чиновника независимому положенію гражданина. Онъ искалъ королевской службы отнюдь не потому, чтобъ она была особенно привлекательна, а потому, что съ ней соединялись разныя привиллегіи; она, въ понятіяхъ то̀го времени, облагороживала осла, и змѣѣ давала видъ ласточки; она давала извѣстную степень вліянія, вѣрный доходъ, и нерѣдко богатство. Могъ ли надѣяться Дюбуа, при его тупости и подлости, получить триста тысячъ годоваго дохода, еслибъ онъ остался въ качествѣ аптекаря? Для ремесленника ничего не могло быть лучше, какъ добраться до оффиціальнаго мѣста; оно освобождало его отъ стѣснительнаго регламента корпорацій, отъ безконечныхъ налоговъ, отъ униженія, соединеннаго съ постояннымъ подчиненіемъ власти, вездѣ его преслѣдующей; оно обезпечивало пролетарію постоянный трудъ, въ которомъ онъ часто нуждался, при всей его готовности трудиться, однимъ словомъ, канцелярія XVIII вѣка спасала его отъ смрадной мастерской, подобно тому, какъ средневѣковой монастырь укрывалъ бѣднаго раба отъ хищнаго за̀мка. Людовикъ XV понималъ это; стѣсняя, съ одной стороны, ремесленный трудъ, съ другой увеличивая продажу мѣстъ, онъ образовалъ изъ бюрократіи притонъ тунеядцевъ и всегда готовыхъ тирановъ народа. Впослѣдствіи изъ нея выработалось особенное сословіе, потерявшее всякое родовое сходство съ мѣщанскимъ классомъ. Притомъ, чиновная буржуазія, наводняя администрацію, имѣла въ виду

охраненіе личныхъ интересовъ. Управляя народомъ, сначала она защищала его отъ разбоевъ и грабежей феодальнаго дворянства, потомъ отъ королевскаго своеволія и, наконецъ, слилась съ правительствомъ въ общемъ неуваженіи къ чисто-народнымъ интересамъ. Посвященная въ тайныя намѣренія политической власти, изучая законы и знакомая съ ихъ крючковатыми формами, обставленная вездѣ покровителями того же класса, она лучше могла отстоять свои выгоды, чѣмъ безпомощный житель деревни. Поэтому, когда король ставилъ на мѣсто ея своихъ собственныхъ агентовъ, она перекупала ихъ должности, чего бы онѣ ни стоили.

Но чѣмъ муниципальная независимость падала ниже, и чѣмъ плотнѣе бюрократія сливалась съ централизаціей, то есть, чѣмъ меньше было въ ней содержанія и больше формы, тѣмъ дальше она отходила отъ народа. Въ XIV или XV вѣкѣ, когда трудно провесть отличительную грань между мѣщаниномъ и поденнымъ работникомъ, она, собственно, жила одной жизнью съ низшимъ сословіемъ; ее сравнивало съ нимъ невѣжество, раболѣпіе, бѣдность и одинаковое желаніе освободиться отъ „медвѣжьей лапы" вассала; въ XVIII вѣкѣ она болѣе не нуждалась въ гражданскихъ правахъ; теперь она сама господствовала и притѣсняла. „Каждый городъ, говоритъ Тюрго, — занятый своими собственными интересами, готовъ жертвовать имъ деревнями и селами своего округа". Иначе и быть не могло. Правительственная система, основанная на разъединеніи и эгоизмѣ, отнюдь не могла покровительствовать единству отдѣльныхъ сословій; повидимому, одно чувство было общимъ чувствомъ — любовь къ отечеству, но истинный патріотизмъ развивается въ прямомъ отношеніи съ народной свободой. Раба подкупаютъ легко, потому что онъ продаетъ легко. По мѣрѣ того, какъ французская буржуазія замыкалась въ касту, ненависть народа къ ней становилась глубже. Онъ увидѣлъ въ ней того же сеньора, но болѣе хитраго и грубаго, съ тѣми же хищными инстинктами, но съ бо́льшей скаредностью. Крестьянинъ чувствовалъ эту зависимость во всѣхъ своихъ движеніяхъ; заводилъ ли онъ тяжбу, искалъ ли онъ труда и хлѣба, занимался ли онъ ремесломъ или торговлей, вездѣ тяготѣло надъ нимъ неотразимое вліяніе мѣщанина. Правительство, столь щедрое на узаконенія всякаго рода, какъ будто забыло, что въ деревняхъ есть также люди, которымъ, кромѣ хлѣба и воды, необходимо гражданское существованіе; оно занималось устройствомъ однихъ городовъ; для нихъ оно придумывало ежедневные декреты, публичныя должности и цехи; здѣсь за всѣмъ наблюдалъ глазъ его полиціи, всѣмъ руководила его воля. Деревня, напротивъ, была заброшена. Конечно, она ничего не теряла бы отъ этой слишкомъ отеческой заботливости; но не надо забывать, что ея нравственныя и матеріальныя средства были ничтожны; сама по себѣ она не могла ничего предпринять и выполнить...

Притомъ королевская власть забывала сельскую комуну только тогда, когда нужно было помочь земледѣлію, облегчить нищету, ввести новое право или усовершенствованіе, но она хорошо помнила, когда наступалъ срокъ сбора податей или требовалась надбавка налоговъ. Такъ, во второй половинѣ прошлаго вѣка, французское село, отрѣзанное отъ всѣхъ другихъ сословій, представляетъ явленіе странное. Въ его нѣдрахъ, какъ въ нетронутыхъ золотыхъ розсыпяхъ, лежитъ вся сила народа; оно работаетъ за всю страну, даетъ лучшихъ дѣтей войску, несетъ всю тяжесть государственныхъ расходовъ, страдаетъ за всю Францію, и никто не хочетъ этого видѣть; мирный житель его находится въ положеніи современнаго индійскаго райи. Его съ презрѣніемъ называютъ *la canaille*, *le vilain*, обращаясь съ нимъ немногимъ лучше ручного животнаго; многіе вполнѣ убѣждены, что онъ, дѣйствительно, созданъ для страданія и нищеты и не имѣетъ права разсчитывать на лучшее будущее. Религія учитъ его смиренію, а политика молчанію. И онъ дикъ, безграмотенъ, мстителенъ отъ огорченія и скрытенъ отъ недовѣрчивости. Все, что̀ выше его, стоитъ къ нему въ положеніи осаждающаго: сеньоръ, его вассалъ, сборщикъ податей, церковникъ и всякая инфузорія, отличенная отъ него мундиромъ, требуетъ покорности, работы и денегъ. „Представьте же, говоритъ Токвиль, — французскаго земледѣльца XVIII вѣка или, лучше, того же самого, котораго вы видите теперь: онъ остался тѣмъ же; положеніе его измѣнилось, но не характеръ. Посмотрите на него такъ, какъ описываютъ его документы, страстно желающаго имѣть землю, на покупку которой онъ жертвуетъ всѣми сбереженными средствами и покупаетъ ее во что̀ бы то ни стало. Чтобъ пріобрѣсть ее, ему, во-первыхъ, надо заплатить за право, не правительству, а другимъ сосѣднимъ собственникамъ, столь же чуждымъ администраціи, какъ и онъ, почти такъ-же безсильнымъ, какъ и онъ. Наконецъ, онъ пріобрѣтаетъ ее здѣсь, онъ закапываетъ сердце вмѣстѣ съ зерномъ. Этотъ клочекъ земли составляющій его собственность въ этой обширной вселенной, наполняетъ его гордостью и независимостью. Впрочемъ, наступаютъ другіе сосѣди и отрываютъ его отъ поля, заставляя идти работать въ другомъ мѣстѣ безъ вознагражденія. Еслибъ онъ сталъ оберегать свое зерно отъ хищной птицы, они мѣшаютъ ему; тѣ же препятствія ожидаютъ его у рѣки, гдѣ онъ платитъ за право переѣзда. Они, т. е., сосѣди, преслѣдуютъ его на рынкѣ, гдѣ онъ покупаетъ право продавать свое собственное добро, и когда, возвратясь домой, онъ захочетъ употребить для себя остатокъ ржи, той ржи, которая выросла передъ его глазами и его стараніями, онъ не можетъ этого сдѣлать, не обратясь снова къ тѣмъ же лицамъ: онъ долженъ молоть ее на ихъ мельницахъ, печь въ ихъ печахъ (Ancien Régime, стр. 71). Чтобы онъ ни дѣлалъ, повсюду встрѣчаетъ своихъ безпокойныхъ сосѣдей, нарушающихъ его удовольствіе, стѣсняющихъ его трудъ, поѣдающихъ его произведенія. И когда онъ

оканчиваетъ съ ними, другіе, одѣтые въ черное платье, являются къ нему и берутъ лучшую долю его жатвы. Представьте же состояніе нужды, характеръ, страсти этого человѣка и сообразите, если можно, какія сокровища ненависти и зависти накопились въ его сердцѣ" (L'Ancien Régime, стр. 46 — 47).

Теперь спросите, да спросите по совѣсти: возможенъ ли былъ прогрессъ въ этомъ сословіи? Могли ли эти двадцать милліоновъ людей, при настоящихъ условіяхъ, — не говоримъ, подняться нравственно, но обезпечить себѣ матеріальное довольство? Мы уже видѣли, какая поразительная бѣдность сокрушала жизнь этого добраго народа. Намъ остается только прибавить, что послѣ Людовика XIV въ немъ развился неизлѣчимый пауперизмъ, т. е., та безвыходная среда всевозможныхъ человѣческихъ лишеній, въ которой нѣтъ не только средствъ, но и возможности выйдти изъ положенія нищаго. Это—ирландское statu quo, которое бьетъ параличемъ соціальное развитіе въ самомъ сердцѣ общества. Между тѣмъ, въ высшихъ сферахъ совершалось движеніе; тамъ была умственная дѣятельность, искусства, удобства жизни, доведенныя до утонченной роскоши; тамъ съ каждымъ поколѣніемъ очищался вкусъ, смягчались нравы и прояснялось человѣческое достоинство; тамъ было не меньше пороковъ и злодѣяній, но ихъ обличала гласность или сдерживало приличіе; тамъ были свои суевѣрія, тѣмъ болѣе вредныя, что ихъ поддерживали политическіе разсчеты, но имъ противодѣйствовала мысль. Если мы возьмемъ два первые класса парижскаго общества въ концѣ жизни Людовика XV, они стояли по образованію неизмѣримо выше всѣхъ европейскихъ націй. Но деревня осталась въ томъ же состояніи, въ какомъ мы видимъ ее въ X или XIII вѣкѣ. Прогрессъ нисколько не коснулся ея, потому что дальше города онъ не проходилъ, за неимѣніемъ органическихъ отношеній между селомъ и столицей. Этого мало; вслѣдствіе такого раздвоенія въ народѣ, самая цивилизація обращалась во вредъ ему. Въ одной и меньшей половинѣ его, съ каждымъ годомъ, увеличивалось число паразитовъ, между тѣмъ—въ другой число работающихъ рукъ оставалось то же; тамъ являлись новыя потребности, страсти и вели за собой новые налоги, а здѣсь производительныя силы попрежнему чахли; когда при Карлѣ VII собиралось поземельной подати до 1.200,000 ливровъ, тогда разрядъ привиллегированныхъ лицъ былъ очень невеликъ; а теперь народъ платилъ 80,000,000, и число свободныхъ отъ платежа подати было огромное; сторожъ аббатства, слуга богатаго буржуа, художникъ, ученый и всякаго цвѣта и званія чиновникъ были исключены изъ списка податныхъ состояній. Самая промышленность обходила сельскаго жителя; она только брала отъ него, но не давала ему. Въ 1716 году внѣшняя торговля Франціи простиралась до 112 милліоновъ, и въ 1787 — до 611 милліоновъ, т. е., въ семьдесятъ лѣтъ она въ пять разъ прибыла, но общій итогъ бѣдности въ деревняхъ

не только не уменьшился, но постепенно увеличивался. Извѣстно, что, по приказанію Шуазеля, хотѣвшаго уничтожить нищенство арестами, было схвачено въ одно время пятьдесятъ тысячъ человѣкъ. Но если образованіе и бросало косвенные лучи въ деревни, лежавшія въ окрестностяхъ большихъ городовъ, то фосфорическій свѣтъ его больше блестѣлъ, чѣмъ согрѣвалъ; оно раскрывало умъ и сердце только для того, чтобъ глубже чувствовать боль, какъ чувствуетъ ее больной, просыпающійся отъ хлороформа подъ ножемъ хирурга.

Точно также администрація разъединила интересы другихъ сословій. Между сеньоромъ и буржуа кромѣ наслѣдственной антипатіи, прекратились всѣ нравственныя отношенія. Съ упадкомъ генеральныхъ штатовъ и съ общимъ разрушеніемъ мѣстныхъ независимостей, мѣщанинъ и дворянинъ болѣе не встрѣчались въ общественной жизни, и чѣмъ необходимѣе было это сближеніе, тѣмъ они дальше отступали другъ отъ друга. Ихъ взаимные интересы такъ разлучились, что не было почти ни одного соціальнаго пункта, на которомъ бы можно было сойдтись имъ. Въ частномъ же быту они дѣйствовали не только какъ соперники, но и какъ враги. Поэтому, когда во время революціи эти два сословія сошлись на одной, довольно узкой политической аренѣ, они столкнулись однѣми наболѣвшими ранами и безпощадно разрывали другъ друга. Еще меньше замѣчается единства между народомъ и духовенствомъ. Сельскій попъ, попрежнему, былъ самымъ близкимъ лицомъ къ крестьянину; помимо религіозныхъ обрядовъ, онъ вліялъ на его судьбу, какъ наставникъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ заступникъ, но, говоря вообще, ни образованіе, ни поведеніе его не внушали къ нему особеннаго уваженія. Кто помнитъ смерть графа Сэнъ-Поля, казненнаго Людовикомъ XI и сцену на эшафотѣ между мученикомъ и его двумя исповѣдниками, когда они оспариваютъ право на нѣсколько золотыхъ монетъ, оставшихся въ карманѣ умирающаго, тотъ знаетъ въ миніатюрѣ исторію католическаго монаха. Одна сторона, кажется, могла бы сблизить духовенство съ націей — его филантропическія учрежденія, основанныя при монастыряхъ для бѣдныхъ и сиротъ, но и здѣсь милостыня не совсѣмъ была чиста отъ корыстныхъ разсчетовъ касты; подъ видомъ дарового куска хлѣба часто скрывались черные замыслы іезуита, вездѣ искавшаго прозелитовъ. Притомъ высшее духовенство, состоявшее, большей частью, изъ младшихъ сыновей потомственнаго дворянства, наравнѣ съ феодальной властью притѣсняло народъ; аббатъ, епископъ имѣли своихъ рабовъ, требовали отъ нихъ тѣхъ же услугъ и налоговъ, и оставили въ душѣ народа столько же грустныя воспоминанія прошлаго. Франція никогда не забывала ни гоненія Абеляра, ни варѳоломеевской ночи, ни инквизиціонной палаты Франциска I, ни желѣзныхъ клѣтокъ Бастиліи, ни преслѣдованій свободы совѣсти при Людовикѣ XIV, и мысли при Людовикѣ XV. Крестъ и мечъ, противоположные по духу, въ политикѣ почти всегда дѣйство-

вали за одно. Вслѣдствіе этого между церковью и обществомъ, съ теченіемъ времени, образовался тотъ непримиримый антагонизмъ, который приготовилъ, между прочимъ, эпоху девяностыхъ годовъ.

Въ такомъ видѣ принялъ Францію Людовикъ XVI. Поставленный, съ одной стороны, въ необходимость прислушиваться къ энергическимъ желаніямъ общественнаго мнѣнія, съ другой — возвратить довѣріе правительству, разрушенное ошибками его предковъ, онъ приступилъ къ реформамъ. Первымъ дѣломъ его была смѣна стараго министерства, которое онъ не могъ оставить при себѣ, не повредивъ популярности своего имени. Надо замѣтить, что въ составѣ его, съ нѣкотораго времени первое мѣсто принадлежало генералъ-контролеру; съ тѣхъ поръ, какъ финансовая система сдѣлалась главнымъ предметомъ правительственныхъ заботъ, въ рукахъ министра ея соединились всѣ отрасли администраціи; онъ управлялъ публичными работами, коммерческими и почти всѣми внутренними дѣлами; отъ него зависѣло назначеніе и смѣна интендантовъ, распредѣленіе податей и смѣта государственнаго бюджета. Терэ, переживъ Людовика XV и заточивъ дю-Бари въ монастырь, все еще надѣялся сохранить портфейль; прикинувшись ненавистникомъ стараго порядка и притворно раздѣляя намѣренія молодого короля, онъ разсчитывалъ найдти въ его личномъ расположеніи опору для продолженія безчестной карьеры; но не было ни одного министра, такъ презираемаго народомъ и рѣдко болѣе пошлая личность занимала государственный постъ, какъ аббатъ,— случайная креатура Шуазеля. Людовикъ XVI это зналъ, и потому, не видя особенной надобности противорѣчить общимъ обѣтамъ, отставилъ Терэ, а съ нимъ и всѣхъ другихъ его товарищей. Этотъ день названъ былъ днемъ св. Варѳоломея министровъ. Едва жители Парижа провѣдали о перемѣнѣ правительства, восторгъ былъ всеобщій. Ночью, подъ арками Сэнъ-Женевьевскаго собора, было повѣшено чучело съ изломанными членами и обезображенной фигурой; оно представляло падшаго аббата. По утру народъ сбѣжался посмотрѣть на зрѣлище, выразившее общее неудовольствіе. Терэ поспѣшилъ убраться изъ столицы, но молва повсюду провожала его; когда онъ переправлялся черезъ рѣку въ свое имѣніе, Ламотъ, жители деревни собрались на берегу и кричали лодочникамъ: „утопите этого м.....“ (Bresson. стр. 584).

Между тѣмъ, при дворѣ шли споры относительно организаціи новаго правительства. Здѣсь былъ тотъ же хаосъ и разложеніе, какъ и въ самомъ обществѣ. Марія Антуанета, тайное орудіе Кауница, держалась австрійской партіи; дофинъ и принцы Конде стояли за военныя привиллегіи и старый абсолютизмъ Людовика XV; графъ д'Артуа и его партія— за нововведенія и философовъ; самъ король колебался между крайностями и болѣе слушалъ, чѣмъ дѣлалъ и рѣшалъ. Изъ трехъ кандидатовъ, онъ назначилъ графа Морепа первымъ министромъ, не потому, чтобъ онъ видѣлъ въ немъ какія нибудь особенныя качества, а потому

что такъ случилось. Въ эту эпоху достаточно было самой невинной интриги, одной удачной фразы, чтобъ поднять или уронить сановника. Впрочемъ, и то надо сказать, что государственныя способности были теперь чрезвычайно рѣдки, потому что для нихъ не было ни школы воспитанія, ни сферы дѣятельности. По крайней мѣрѣ, выборъ Людовика XVI никакъ не оправдывалъ его *искренней* любви къ народу. Морепа былъ ловкій острякъ, въ родѣ придворныхъ шутовъ XVI вѣка; онъ любилъ пописывать легкія пѣсенки и за одну изъ нихъ, очень горькую для репутаціи Помпадуръ, былъ загнанъ въ ссылку; онъ зналъ почти всѣхъ поэтовъ наизусть и ради краснаго словца не щадилъ ничего, даже своего собственнаго самолюбія; но онъ вовсе не имѣлъ ни охоты, ни ума управлять государственными дѣлами. Его страстью было веселое общество, игра въ каламбуры и разсказы анекдотовъ. Отъ этой страсти не излѣчили его ни преклонный возрастъ, ни двадцати-пятилѣтняя ссылка. Ставъ во главѣ министерства, онъ озаботился окружить себя людьми, безопасными его честолюбію или вліянію; между прочимъ, онъ привелъ съ собой въ совѣтъ Мироминиля, человѣка ничтожнаго, успѣвшаго понравиться графу игрой Криспина въ его замкѣ. Только одинъ министръ является съ душой, талантомъ и высокимъ образованіемъ, достойный лучшихъ дней французской исторіи — это былъ Тюрго.

Назначеніе его сблизило правительство съ общественнымъ мнѣніемъ какъ нельзя лучше. Впродолженіе ста лѣтъ Франція привыкла видѣть въ государственныхъ вождяхъ людей, бо́льшей частью, пустыхъ, равнодушныхъ къ народной пользѣ, выдвигаемыхъ на сцену то закулиснымъ покровительствомъ любовницъ, то мелкими разсчетами королей. Съ другимъ правомъ и репутаціей представился Тюрго; десяти-лѣтнее управленіе его Лиможемъ составило ему прекрасное имя; его честность была уважаема даже врагами; его умъ и обширныя экономическія соображенія были извѣстны въ кругу лучшаго парижскаго общества. И за всѣмъ тѣмъ, Тюрго обязанъ былъ назначеніемъ не королю, который, вѣроятно, и не слышалъ о немъ, не Морепа, который вовсе не желалъ имѣть при себѣ соперниковъ, а чистому капризу придворной женщины. Аббатъ Вери, товарищъ Тюрго по Сорбонѣ, имѣлъ вліяніе на старую ханжу, графиню Морепа. Неизвѣстно, съ какой стороны она знала лучше лиможскаго интенданта, но ея ходатайство рѣшило выборъ новаго генералъ-контролера. Впрочемъ, сначала Тюрго былъ опредѣленъ на мѣсто морскаго министра — Гэойна, т. е., на такое мѣсто, гдѣ онъ всего менѣе могъ быть полезенъ управленію, но Людовикъ XVI, приблизивъ его къ себѣ и скоро замѣтивъ въ немъ человѣка, о которомъ онъ впослѣдствіи выражался такъ: „только я и Тюрго любимъ народъ“, возвелъ его въ достоинство министра финансовъ, 24-го августа 1774 года. На другой день поднялся биржевой курсъ и громко заговорили о счастливомъ событіи въ министерствѣ. По этому случаю Вольтеръ, съ его обычнымъ сарказмомъ, писалъ

одному изъ друзей своихъ: „Извините меня, гг. парижане, если я скажу вамъ, что вы счастливы“.

Дѣйствительно, Франція была счастлива, потому что передъ ней открывался новый періодъ государственной жизни. Удачное назначеніе правительственнаго лица гораздо важнѣе въ монархическомъ правленіи, чѣмъ въ конституціонномъ или демократическомъ обществѣ; здѣсь его намѣренія и цѣли, его вліяніе и личныя убѣжденія подчиняются общимъ принципамъ; онъ служитъ только органомъ той невидимой, но живой силы, которая правитъ ходомъ цѣлаго механизма; если онъ встрѣчается съ противоположнымъ потокомъ мнѣнія, его единичная воля слишкомъ слаба, чтобъ одолѣть его; если же онъ идетъ вслѣдъ за нимъ, его направленіе не мѣшаетъ, а содѣйствуетъ общему движенію. Иное дѣло въ монархіи; тамъ личная воля государственнаго дѣятеля имѣетъ огромное значеніе; онъ не вправѣ имѣть свою политическую вѣру, но его дѣятельность, въ извѣстныхъ границахъ, не стѣсняется никакими посторонними препятствіями; имя короля въ его рукахъ можетъ быть всемогущимъ талисманомъ какъ добра, такъ и зла; если положеніе его всегда шаткое, то съ другой стороны и отвѣтственность его сравнительно ничтожная. „Намъ такъ легко, говорилъ Талейранъ за себя и за свою партію, — ставить и рѣшать народные вопросы, что, кромѣ собственной совѣсти и будущаго страшнаго суда, некого бояться; къ сожалѣнію, совѣсть — дѣло привычки, а въ страшномъ судѣ многіе сомнѣваются“... Тюрго совершенно понималъ трудность новаго назначенія; онъ принималъ его съ горячими вѣрованіями, строго-опредѣленной цѣлью и съ рѣшимостью Гамлета: „to be or not to be“; онъ зналъ, что его ожидаетъ тьма враговъ, и ни одного искренняго покровителя; онъ предвидѣлъ, что ему предстоитъ борьба не только съ предразсудками тѣхъ, противъ кого онъ направитъ реформу, но и тѣхъ, за кого онъ будетъ дѣйствовать; онъ былъ увѣренъ и отчасти уже испыталъ, что нельзя „чистить болота, не потревоживъ лягушекъ“. Поэтому, вступая въ должность, онъ говорилъ Людовику XVI, что вполнѣ полагается на него, не какъ на короля, а какъ на человѣка добраго и честнаго. Выслушавъ отъ него въ Компьенѣ свое назначеніе, онъ немедленно написалъ ему письмо, въ которомъ еще чувствуется трепетъ сердца и волненіе крови благороднаго министра. Изъ этого письма видно, на что обрекалъ себя Тюрго ради народнаго блага. „Я знаю, выражался онъ, — что мнѣ придется воевать съ злоупотребленіями всякаго рода, съ упорствомъ тѣхъ людей, которымъ эти злоупотребленія выгодны; бороться съ множествомъ предразсудковъ, враждебныхъ всякой попыткѣ къ прогрессу, и служить цѣлью вѣчной интригѣ людей, находящихъ пользу въ застоѣ. Этого мало; мнѣ придется бороться съ естественной добротой, съ вашимъ личнымъ благородствомъ, государь, и съ тѣми лицами, которыя вамъ всего дороже. Меня будетъ бояться, ненавидѣть большая часть двора, всѣ

тѣ, кто ищетъ вашихъ милостей; меня обвинятъ во всѣхъ отказахъ, представятъ человѣкомъ грубымъ, потому что я стану убѣждать монарха, что онъ не долженъ обогащать даже тѣхъ, кого онъ любитъ, — обогащать на счетъ народнаго состоянія. И этотъ народъ, которому я приношу себя въ жертву, такъ легко поддается обману, что, можетъ быть, я сдѣлаюсь предметомъ его озлобленія, — за тѣ же самыя мѣры, которыя я предприму для облегченія его. Меня покроютъ клеветой"... Рѣдко французскіе короли имѣли счастіе читать такія строки отъ своихъ министровъ, рѣдко государственные люди выражались такъ откровенно, подходя къ престолу. Въ томъ же письмѣ Тюрго представилъ программу своей дѣятельности; онъ изложилъ ее въ трехъ словахъ: „нѣтъ больше банкротства; нѣтъ больше надбавки податей; нѣтъ болѣе займовъ. Чтобъ осуществить эти три пункта, продолжаетъ онъ, — есть одно средство — сократить расходы ниже доходовъ, такъ чтобъ сберечь въ экономіи десятка два милліоновъ и погасить ими старые долги. Безъ этого первый ударъ пушки заставитъ государство обанкротиться... Надо, государь, вооружить васъ противъ доброты вашей же собственной добротой; подумайте, откуда течетъ къ вамъ то золото, которое вы раздаете куртизанамъ, и сравните бѣдность тѣхъ, у кого отнимаютъ его жесточайшими притѣсненіями съ положеніемъ тѣхъ, кого вы награждаете. Можно надѣяться, съ помощію улучшенія земледѣлія, уничтоженія злоупотребленій въ взиманіи податей и болѣе правомѣрной раскладки налоговъ, значительно помочь народу, не многимъ уменьшивъ государственный бюджетъ... Счастіе вашего царствованія, внутреннее спокойствіе, внѣшнее уваженіе, благо народа и вашего семейства — преимущественно зависитъ отъ экономіи". (Economistes au XVIII siècle, т. 8, стр. 167).

Такой планъ предначерталъ Тюрго, и онъ остался ему вѣренъ до конца своего служенія. Между его убѣжденіемъ и дѣломъ вообще не было разногласія; въ этомъ случаѣ, скорѣе можно обвинять его въ слишкомъ строгой выдержанности, чѣмъ въ лицемѣріи или непостоянствѣ. Достигая предположенной цѣли, въ справедливости которой онъ не сомнѣвался, Тюрго часто забывалъ, что онъ работалъ на зыбкой практической почвѣ, что его теорія прилагалась прямо къ человѣческой кожѣ. Разумѣется, истина ничего не проигрывала; напротивъ, нравственный характеръ ея тѣмъ болѣе возвышался, чѣмъ прямѣй и энергичнѣй поступалъ благонамѣренный министръ. Въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ онъ могъ бы оказать Франціи огромныя услуги; но теперь самое благородство его обратилось во вредъ ему. Не обращая вниманія ни на лица, ни на матеріальную силу своихъ враговъ, онъ слишкомъ рѣзко отдѣлился отъ ихъ стана и тѣмъ ослабилъ самого себя. Какъ человѣкъ, съ понятіями выше своей эпохи, онъ легко могъ воспользоваться чужимъ орудіемъ для собственной побѣды; но для этого

нужно было менѣе стойкости за систему и больше примѣняемости къ живому міру. Впрочемъ, мы не можемъ согласиться съ тѣми, кто считаетъ Тюрго фанатикомъ своей идеи, которой онъ будто пожертвовалъ всѣми *практическими результатами*. Замѣчено выше, что онъ, какъ мыслитель, отличался самымъ спокойнымъ темпераментомъ; рѣдко разносторонніе силы души дѣйствуютъ такъ согласно, какъ онѣ дѣйствовали въ немъ; мысль сама по себѣ никогда не затемняла его мозга, не волновала его страстей, но результаты ея, въ высшей степени, занимали его; онъ хотѣлъ видѣть осуществленіе ихъ какъ можно скорѣй, и потому не столько разсчитывалъ на средства, сколько на самое окончаніе задуманнаго дѣла. Въ этомъ—вся ошибка его государственной карьеры. За всѣмъ тѣмъ практическіе результаты его реформъ были очень важны, реакція уничтожила ихъ фактическую сторону, но не нравственную; его протестъ не остался безъ послѣдствій, его примѣръ увлекъ за собой множество поборниковъ той же мысли и труда; умирая, онъ видѣлъ, что Франція скоро должна выйдти на путь экономическихъ преобразованій, начатыхъ имъ, — къ сожалѣнію, выйдти не мирнымъ прогрессомъ, а радикальнымъ переломомъ въ цѣломъ обществѣ.

Въ первые дни управленія онъ пользовался безграничной довѣренностью короля. Послѣ Морепа, потѣшавшаго Людовика XVI сантиментальными анекдотами, между властителемъ и его подданными главнымъ посредникомъ былъ Тюрго. Его совѣты уважались; его вліяніе чувствовалось повсюду. Есть основаніе думать, что по его внушенію король отказался отъ пышнаго коронованія, и самъ Тюрго роздалъ бѣднымъ триста тысячъ франковъ, обыкновенно, подносимыхъ генеральной фермой вновь назначенному министру; онъ предложилъ Людовику XVI выпустить изъ торжественной клятвы, произносимой при вѣнчаніи, слѣдующее выраженіе: „d'exterminer les hérétiques“ и измѣнить фразу „de ne jamais faire grâce aux duellistes“. Духовенство и Морепа успѣли увѣрить безхарактернаго монарха, что генералъ-контролеръ злоумышляетъ противъ религіи и тамъ, гдѣ собственно нѣтъ никакой религіи, легко принимается всякій фантомъ за дѣйствительную опасность... Наконецъ, онъ былъ изъ числа первыхъ противниковъ возстановленія уничтоженнаго парламента. Что бы ни говорили о значеніи этого учрежденія, но оно постоянно было на сторонѣ преданія и тиранніи; отъ Ришелье и до Шуазеля оно систематически мѣшало своимъ *veto* всѣмъ новымъ идеямъ, и если не оказало ни одной дѣйствительной услуги престолу, то безпрерывно вредило народу. Тюрго понималъ, что парламентъ, какъ привиллегированная каста, особенно будетъ противостоять его реформамъ, и онъ не ошибся. Едва Людовикъ XVI отпраздновалъ его возобновленіе въ Парижѣ, 12-го ноября 1774 года, какъ онъ оскорбилъ общественное мнѣніе гордостью и оппозиціей новому прогрессу, „Вы увидите, государь, говорилъ Тюрго, — что онъ свяжетъ

вамъ руки тогда, когда ихъ надо развязать не только вамъ, но и народу". По крайней мѣрѣ, министръ финансовъ старался ослабить его вліяніе не только во мнѣніи короля, но и общества. Людовикъ XVI, успокоивая Тюрго, увѣрялъ его: „не бойтесь, я поддержу васъ". За всѣмъ тѣмъ туча враговъ тѣмъ больше густѣла, чѣмъ шире развивался планъ его реформы. Морепа угадалъ въ немъ своего соперника, особенно опаснаго тѣмъ, что молодой министръ заслонилъ своей репутаціей кой-какую популярность восьмидесяти-лѣтняго балагура; товарищи не любили его, потому что онъ нарушалъ ихъ спокойное бездѣлье и рѣдко обращался къ нимъ за совѣтами; дворянство ненавидѣло его за то, что онъ затронулъ ихъ привиллегіи; парламентъ противорѣчилъ ему по привычкѣ, потому что благоденствіе Франціи, по его мнѣнію, состояло въ томъ, чтобъ она навсегда осталась въ томъ же видѣ, какъ была при Карлѣ Великомъ или Людовикѣ Святомъ. Самая школа физіократовъ разошлась съ нимъ, потому что онъ не во всемъ соглашался съ ней, и не хотѣлъ вносить духа партіи въ общенародное дѣло; „искать истину, говорилъ онъ имъ, — стадомъ не ходятъ". Подъ конецъ, самъ король пересталъ вѣрить Тюрго и боялся за его нововведенія. Только одинъ изъ его друзей и сотрудниковъ во всемъ сочувствовалъ ему; это былъ Малезербъ, котораго благородный голосъ не умолкалъ даже при Людовикѣ XV, когда онъ былъ первымъ президентомъ откупной палаты (de la cour des aides); но Малезербъ, не видя возможности продолжать поприще честнаго правителя, и усталый отъ ссылки и постоянной борьбы съ злоупотребленіями, оставилъ министерство. Затѣмъ, Тюрго былъ одинъ въ совѣтѣ, гдѣ съ каждымъ днемъ положеніе его становилось труднѣе и минута паденія приближалась.

Теперь мы взглянемъ на самый ходъ и содержаніе его реформы. Первымъ актомъ министерской дѣятельности Тюрго было освобожденіе внутренней торговли отъ монополій и разныхъ полицейскихъ узъ. Съ этой цѣлью, 1774 года 13-го сентября былъ изданъ эдиктъ, которымъ призывались всѣ классы, безъ всякаго различія и привиллегій, къ участію въ коммерціи, провинціи были открыты взаимнымъ сообщеніямъ и произволъ частныхъ компаній, составлявшихъ корпораціи, былъ замѣненъ общественной конкурренціей. Только въ этой свободѣ Тюрго видѣлъ самое вѣрное средство возстановить возможно-лучшее равенство въ цѣнахъ на хлѣбъ и предупредить періодическійголодъ во Франціи. „Чѣмъ свобода обмѣна, говоритъ онъ, — будетъ оживленнѣй и обширнѣй, тѣмъ обезпеченіе народнаго продовольствія будетъ скорѣй, дѣйствительнѣй и обильнѣй". Обращаясь къ прежней запретительной системѣ, онъ приписываетъ ей все зло, — недостатокъ пропитанія въ одномъ округѣ и избытокъ его въ другомъ, разъединеніе производителя съ потребителемъ, истощеніе богатыхъ почвъ и повсемѣстную нищету страны; онъ

доказываетъ, что правительство никогда не можетъ предусмотрѣть индивидуальныхъ желаній и цѣлей такъ хорошо, какъ ихъ предусматриваетъ и опредѣляетъ самое общество; дороговизна цѣнъ, возвышаемыхъ произволомъ купца и страхомъ народа, опасающагося воображаемыхъ нуждъ, по его мнѣнію, зависитъ не столько отъ неурожаевъ и недостатка производительности, сколько отъ злоупотребленія самой торговли. „Тогда правители, продолжаетъ министръ, — вводимые въ заблужденіе безпокойствомъ, увеличивающимъ тревогу народа, предаются ужаснымъ обыскамъ въ домахъ гражданъ, позволяютъ себѣ оскорблять право собственности, свободы, чести торговаго и земледѣльческаго сословія, и всѣхъ тѣхъ, кого они подозрѣваютъ въ укрывательствѣ зерна". Оттого коммерція слабѣетъ, колеблется и, теряя довѣріе въ глазахъ націи, больше и больше исчезаетъ. Терроръ достигаетъ апогея, дороговизна безмѣрно увеличивается, и затѣмъ всѣ средства правительства прекращаются". Тонъ этого эдикта, какъ и всѣхъ другихъ, выходившихъ изъ-подъ пера Тюрго, отличается яснымъ и наставительнымъ изложеніемъ предмета; онъ не просто рѣшаетъ вопросъ, не силой королевскаго слова, а разъясняетъ его и убѣждаетъ, во имя разума. Вообще, генералъ-контролеръ считалъ необходимымъ раскрывать народу нелѣпость старыхъ узаконеній, закрѣпленныхъ временемъ и предразсудками. „До тѣхъ поръ, замѣтилъ онъ Людовику XVI, — пока эти правила останутся въ темнотѣ, народъ не перестанетъ кричать, какъ это было во многихъ и многихъ случаяхъ, что они *плодъ мудрости нашихъ отцовъ, просвѣщенныхъ опытомъ*".

Послѣ этого эдикта, въ началѣ ноября, явился новый, относительно торговли хлѣбомъ въ Парижѣ и окрестностяхъ его. Извѣстно, что здѣсь, около полутора вѣка, существовала самая строгая запретительная система. Превотъ и городскіе старосты составляли компанію, которая снабжала столицу хлѣбомъ, на правахъ отвратительнаго монополя; кромѣ ея, никто изъ частныхъ лицъ не могъ выставить на рынкѣ съѣстные припасы, если только она не продавала на то особеннаго права, никто не могъ сберегать зерна въ житницахъ, сверхъ опредѣленнаго количества, — и цѣнность произведеній, сбываемыхъ только въ одномъ мѣстѣ, опредѣлялась по усмотрѣнію самой компаніи. Притомъ покупатель подвергался, на каждомъ шагу, надзору полиціи; онъ не могъ ни взвѣсить, ни перенести, ни уложить своего товара, безъ исполненія той или другой формальности. Чиновникъ преслѣдовалъ его повсюду и, разумѣется, не безъ выгоды для собственнаго кармана. Тюрго рѣшился разорвать и эту плотину. Онъ объявилъ полную и безграничную свободу обмѣна; каждый могъ запасаться зерновыми произведеніями, сколько было угодно, каждый могъ торговать, гдѣ хотѣлъ; норма цѣнъ зависѣла отъ доброй воли купца и потребителя; наконецъ, онъ уничтожилъ всѣ полицейскія формы и распустилъ вовсе ненужныхъ чиновниковъ. Эта реформа, какъ мы увидимъ

впослѣдствіи, вооружила противъ него не только парламентъ, но и всѣ привиллегированныя сословія; полиція, богатое купечество и все, что спокойно ѣло народъ, возстало противъ преобразователя. Но Тюрго не остановился. 22 апрѣля онъ отмѣнилъ пошлины съ хлѣбной промышленности въ четырехъ многолюдныхъ городахъ, потомъ открылъ свободу винной торговлѣ и принялъ подъ особенное покровительство всѣхъ негоціантовъ, которые займутся ввозомъ иностраннаго зерна во Францію; чтобъ облегчить способы существованія и доступъ труда бѣдному классу, онъ организовалъ публичныя работы во многихъ провинціяхъ, и особенно тамъ, гдѣ бѣдность чувствовалась сильнѣй; далѣе, онъ уничтожилъ внутренній таможенный тарифъ на хлѣбъ, привозимый въ предѣлы Бордо сухимъ или водянымъ путемъ, и вслѣдъ затѣмъ распространилъ это право на всѣ главные города. Благодѣтельныя послѣдствія реформы такъ были очевидны, что многіе округи, которыхъ она не коснулась, сами просили о введеніи ея. Наконецъ, въ іюнѣ 1775 года упала послѣдняя преграда свободной торговлѣ; компанія купцовъ въ Руанѣ, состоявшая изъ 112 человѣкъ, присвоила себѣ, подобно парижской, исключительное право продовольствовать хлѣбомъ жителей города. Съ тѣмъ вмѣстѣ въ ея распоряженіи было пять мельницъ, на которыхъ каждый обязанъ былъ молоть свою муку, съ платежемъ извѣстной пошлины. Хищность этихъ монополистовъ была такъ велика, что дороговизна хлѣба въ Руанѣ почти постоянно была вдвое выше сравнительно съ Орлеаномъ или Дижономъ; негодованіе народа иногда прорывалось открытыми бунтами, но полиція, подкупаемая компаніей, поддерживала спокойствіе штыками, и это злоупотребленіе продолжалось около ста лѣтъ. Тюрго положилъ ему конецъ навсегда. Такимъ образомъ, не болѣе, какъ въ годъ, онъ совершилъ то, чего, послѣ Кольбера, не могли сдѣлать преемники его впродолженіе ста лѣтъ. Конечно, корни зла еще оставались; но экономическая идея, такъ блистательно провозглашенная во Франціи, въ первый разъ на пути ея исторической жизни, принесла свой плодъ. Общественное мнѣніе, чуждое пристрастія къ этой реформѣ, убѣдилось въ ея несомнѣнной пользѣ; оно увидѣло, что свобода обмѣна есть величайшій двигатель народнаго богатства. Закоренѣлые предразсудки запретительной системы, выгодные только единицамъ и вредные милліонамъ, слишкомъ ясно разоблачили свою нелѣпость, чтобъ снова возродиться въ умахъ народа. Это—главное дѣло въ преобразованіяхъ. Всякій застой дѣлается невозможнымъ, насильственнымъ съ того момента, когда его несправедливость чувствуетъ общественное мнѣніе; онъ можетъ быть протянутъ или сохраненъ людьми, подобными бездушному Морепа, но не надолго. Матеріальная сила должна вѣсить во сто разъ больше противъ нравственной, чтобъ вырвать у нея побѣду.

Рядомъ съ свободой торговли Тюрго создавалъ другую соціальную свободу; онъ эмансипировалъ человѣческій трудъ, сравнивая его права

между отдѣльными состояніями и освобождая отъ корпорацій. Здѣсь предстояло ему еще больше усилій и борьбы. Свобода торговли была уже вопросомъ поставленнымъ прежде; она давалась по-временамъ въ видѣ исключенія и, слѣдовательно, была извѣстна обществу; ея оковы, потрясенныя рукой Кольбера, постепенно ослабѣвали, и когда рука Тюрго окончательно разорвала ихъ, они упали безъ особеннаго шума. Напротивъ, свобода ремесленнаго труда никогда не представлялась уму государственнаго человѣка; со временъ Генриха III, она болѣе и болѣе ограничивалась, и никто не подалъ голоса въ защиту ея. Притомъ, тамъ реформа касалась одного купеческаго сословія, а здѣсь она отнимала привиллегіи не только у средняго класса, но и высшаго. Сеньоры и духовенство должны были отказаться отъ нѣкоторыхъ правъ въ пользу народа. Тюрго началъ съ уничтоженія Corvées [1]) (подорожныхъ повинностей). Еще въ Лиможѣ онъ задумалъ этотъ планъ, и выполнилъ его въ своей провинціи; теперь онъ рѣшился примѣнить его къ цѣлой Франціи. Мы ужь замѣтили, что это былъ самый обременительный и ненавистный налогъ для народа; онъ падалъ на самые бѣдные ряды земледѣльцевъ, тѣмъ несправедливѣе, что они менѣе другихъ пользовались выгодами хорошихъ путей сообщенія. Тюрго разсматривалъ его именно съ этой точки. Въ эдиктѣ отъ 1776 года, въ февралѣ, онъ объясняетъ подробно, почему дороги во Франціи находятся въ жалкомъ состояніи, и почему этотъ трудъ самый неблагодарный изъ трудовъ націи. „Человѣкъ, говоритъ онъ между прочимъ, — работающій по неволѣ и безъ вознагражденія, работаетъ нехотя и небрежно. Съ тѣмъ вмѣстѣ трудъ его не спорится и дурно выполняется. Рабочіе часто должны являться на мѣсто назначенія за три мили и столько же пройдти, чтобъ возвратиться домой; очевидно, они теряютъ много времени попусту. Частыя отлучки, трудность опредѣлить и раздать работу, предпринимаемую множествомъ лицъ, случайно собранныхъ, также губятъ много времени. Поэтому этотъ трудъ стоитъ государству и народу втрое дороже, чѣмъ онъ стоилъ бы, переведенный на деньги". Но перевести на деньги и обложить новымъ налогомъ народъ, не было никакой физической возможности. Тюрго перевелъ его на поземельныхъ собственниковъ. Такъ какъ изъ этой категоріи не исключались ни сеньоры, ни духовныя лица, то онъ встрѣтилъ общую оппозицію. Парламентъ не хотѣлъ скрѣпить эдикта и публично возражалъ ему. Онъ не посовѣстился сказать въ открытомъ засѣданіи, что „народъ облагается податями и оброками произвольно"; онъ боялся за

---

[1]) *Corvées*, собственно, были оброчныя работы, налагаемыя сеньорами на колонистовъ. Государство наслѣдовало ихъ отъ феодальной власти. Сюда относились различныя отрасли поденнаго труда, какъ, напримѣръ, перевозка военной провизіи, доставка матеріаловъ для постройки крѣпостей и самая постройка ихъ. Но устройство и поправка дорогъ была постоянной и самой тягостной работой.

то, что „этотъ налогъ смѣшаетъ дворянство — твердую опору престола — и духовенство — святаго служителя алтаря — съ народомъ; онъ, не блѣднѣя говорилъ, что „трудъ земледѣльца и ремесленника есть господское право (droit domanial)". На эти пошлые софизмы Тюрго отвѣчалъ, что „право труда есть личное право каждаго человѣка; что же до крѣпкой опоры престола, то счастіе двадцати милліоновъ подданныхъ еще крѣпче". Несмотря на противорѣчіе парламента и общее неудовольствіе привиллегированныхъ людей, эдиктъ получилъ силу. Совѣтъ, не опредѣливъ суммы налога, предоставилъ себѣ право назначать его каждый годъ для каждой провинціи, распредѣляя между поземельными владѣльцами. (Econom. au XVIII s. m. 89. см. Administration).

Наконецъ, 12-го марта 1776 года, вышелъ знаменитый и лучшій эдиктъ Тюрго объ уничтоженіи ремесленныхъ корпорацій. Въ предисловіи министръ ставитъ вопросъ рѣшительно и ясно. „Богъ, давъ человѣку нужды, въ то же время положилъ источникъ труда необходимымъ; онъ образовалъ изъ права трудиться собственность каждаго, и эта собственность есть первое, самое святое и непремѣнное изъ правъ". Такое понятіе, конечно, было новымъ для многихъ, когда парламентскіе чиновники называли трудъ господской привиллегіей. Корпораціи закричали, что *неблагонамѣренный* Тюрго покушается на собственность; они утверждали, что искусство и ремесло могутъ процвѣтать только благодаря цеху. На это онъ отвѣчалъ имъ такъ: „мы отмѣняемъ эти произвольныя учрежденія, потому что они не позволяютъ бѣдняку жить своимъ трудомъ; они исключаютъ женскій полъ [1]), которому слабость дала много нуждъ и мало средствъ, обрекая его неизбѣжной бѣдности и тѣмъ увеличивая соблазнъ и развратъ; они гасятъ соревнованіе въ промышленности и дѣлаютъ безплодными таланты тѣхъ, кого не принимаетъ въ свою среду корпорація; они лишаютъ ремесла образованія, закрывая двери иностранцамъ; они замедляютъ прогрессъ искусствъ, посредствомъ множества затрудненій, встрѣчаемыхъ изобрѣтателями, у которыхъ цехи оспариваютъ права на открытія, не сдѣланныя ими самими". За всѣмъ тѣмъ парламентъ не хотѣлъ утвердить эдикта; Тюрго обратился къ абсолютному рѣшенію короля, и реформа осуществилась. Но придворная партія, руководимая Морепа, изъ которой многіе участвовали въ выгодахъ парижскихъ корпорацій, не хотѣла болѣе простить Тюрго; она выжидала перваго случая, чтобъ низвергнуть его, и въ этомъ успѣла. Не желая, впрочемъ, раздражать умы, министръ опредѣлилъ вознагражденіе, хотя далеко неполное, за потерю уничтоженныхъ привиллегій. Самое же исполненіе эдикта онъ раздѣлилъ на два періода: въ первый и немедленно онъ распустилъ столичныхъ ремесленниковъ, прекратилъ всѣ процессы между

---

[1]) Женщины не допускались въ корпораціи даже для такихъ работъ, какъ, напримѣръ, шитье и вышиванье, которыя особенно свойственны имъ.

отдѣльными цехами и открылъ мастерскую свободной конкурренціи обоихъ половъ и всѣхъ жителей Франціи. Что же касается до провинціальныхъ корпорацій, отмѣна ихъ послѣдовала послѣ. Изъ нихъ только три учрежденія, съ которыми соединилась общественная безопасность, — книгопечатаніе, мастерство золотыхъ дѣлъ и фармація остались на прежнемъ основаніи, впредь до преобразованія ихъ на другихъ началахъ. Послѣдній ударъ нанесенъ былъ этому чудовищному произведенію среднихъ вѣковъ въ 1790 году. (См. Econom. au XVIII s. m. 9. Administration).

Такъ, безъ потрясенія и крови, совершилась величайшая реформа, благодаря уму и твердой волѣ мыслителя-министра. Рабство отъ привиллегіи и рабство отъ монополіи — какъ двѣ неразлучныя формы политическаго угнетенія народовъ — если не были разрушены вполнѣ, то, по крайней мѣрѣ, потеряли прежній варварскій характеръ. Свобода обмѣна и труда, безъ которой нѣтъ никакой соціальной свободы, была предвѣстникомъ новой жизни для Франціи; Тюрго признавалъ неравенство состояній, какъ историческій фактъ, но онъ отвергалъ его въ теоріи. Отсюда вытекала его горячая ненависть къ полицейски-торговымъ стѣсненіямъ, къ привиллегированнымъ компаніямъ и къ порабощенію труда цеховымъ монополемъ. Всѣ гражданскіе его акты, всѣ частныя дѣйствія проникнуты однимъ правиломъ, выраженнымъ Гурне въ двухъ словахъ: „laisser-faire, laisser-passer". Онъ хотѣлъ дать Франціи то, за что она заплатила, впродолженіе послѣднихъ семидесяти лѣтъ, ужасными страданіями; среди гражданскихъ смутъ и политическихъ волненій, никогда не терялся изъ виду одинъ капитальный вопросъ — свобода труда. И что особенно странно, когда мы пишемъ эти строки, передъ нами лежитъ программа Наполеона III, въ которой онъ признаетъ необходимость свободнаго обмѣна и ослабленія запретительной системы. „Съ давнихъ поръ, говоритъ онъ, — провозглашаютъ истину, что для процвѣтанія торговли надо увеличивать средства обмѣна; что безъ конкурренціи промышленность находится въ застоѣ и поддерживаетъ дороговизну цѣнъ, мѣшающую прогрессу потребленія; что безъ промышленности, развивающей капиталы, самое земледѣліе остается въ младенческомъ состояніи. Такъ все связывается въ неразрывную цѣпь въ постепенномъ развитіи элементовъ народнаго довольства". (Lettre au ministre d'état. 1860. 5 января). Въ этомъ нѣтъ ничего новаго, но здѣсь говоритъ за свободу труда человѣкъ, который еще такъ недавно ограничивалъ ее... Слѣдовательно, логика событій становится неотразимой даже для той власти, которая и не хотѣла бы признать ее. Начало солидарности въ международныхъ и общественныхъ отношеніяхъ, съ каждымъ днемъ, принимаетъ болѣе очевидный характеръ; всѣ начинаютъ убѣждаться, что въ этомъ огромномъ мірѣ, раздѣленномъ географическими и соціальными границами, въ этой вѣчной борьбѣ націй,

состояній и страстей, въ этомъ безконечномъ лабиринтѣ частныхъ интересовъ, желаній и цѣлей, есть внутренній законъ гармоніи и связи; мы не видимъ его, но онъ управляетъ судьбами народовъ! По этому закону, все дѣйствуетъ взаимно и все вмѣстѣ другъ на друга. Если страдаетъ Неаполь, съ нимъ страдаетъ и все остальное человѣчество; если житель Константинополя или Пекина бѣденъ и невѣжественъ, эта бѣдность и невѣжество вредитъ не ему одному, а всѣмъ обществамъ на землѣ. Мы не чувствуемъ, этихъ соотношеній, какъ не чувствуемъ во время заразы, что воздухъ вдыхаемый нами, прошелъ черезъ другія больныя легкія и убиваетъ здоровый организмъ, потому, что мы дышимъ одной атмосферой съ зараженнымъ. Такъ, нѣтъ ни одной песчинки, которая бы не соединялась съ общимъ устройствомъ вселенной. Если мы желаемъ вражды, гнета и бѣдности другимъ народамъ, то мы готовимъ ихъ и самимъ себѣ. То же самое явленіе происходитъ въ отдѣльныхъ обществахъ: счастіе каждаго сословія есть непремѣнное условіе общественнаго блага; напрасно мы стали бы искать его въ антагонизмѣ отдѣльныхъ членовъ; какова бы ни была боль моего ближняго, она, непремѣнно, отзывается на мнѣ и на всѣхъ, какъ боль ноги или пальца чувствуется во всемъ тѣлѣ. Надо быть очень недалекимъ, чтобъ не понимать этой истины.

Основной идеей Тюрго было примиреніе различныхъ классовъ Франціи. Онъ хотѣлъ выдѣлить народу, какъ можно больше, мѣстной независимости. Его политическое воззрѣніе ясно раскрывается изъ мемуара: О муниципальныхъ правахъ (sur les municipalités), представленнаго Людовику XVI въ 1775 году. Изъ этого проекта видно, что Тюрго считалъ централизацію и положеніе комуны главнымъ препятствіемъ будущему прогрессу; чтобъ дать странѣ единство и направить ея разорванныя части къ одной цѣли, онъ прежде хотѣлъ удалить междусословныя разграниченія, образовавшія въ одномъ обществѣ нѣсколько особенныхъ обществъ, едва похожихъ другъ на друга. Самымъ дѣйствительнымъ средствомъ этого единства онъ считалъ народное воспитаніе. Какъ ученикъ Кенэ, который говорилъ, что „деспотизмъ невозможенъ тамъ, гдѣ народъ просвѣщенъ“, онъ полагалъ найдти въ образованіи не разрѣшеніе всѣхъ соціальныхъ проблеммъ, какъ нѣкоторые думаютъ, а единственно-лучшее ручательство за умѣнье народа управлять собой. Разумѣется, и до него было кой-какое воспитаніе во Франціи, но односторонность его болѣе вредила, чѣмъ помогала обществу. Единственнымъ учителемъ сельской школы, тамъ, гдѣ она существовала, былъ пасторъ, и единственной книгой, — католическій катехизисъ. Что общаго могло быть между мертвой буквой религіи, преподаваемой болѣе по долгу, чѣмъ по совѣсти и желанію, и притомъ толкуемой въ одномъ мѣстѣ такъ, въ другомъ — иначе, и вездѣ въ видахъ нравственнаго квіетизма? Тюрго понималъ задачу выше. „Первая связь націй, пишетъ онъ, — нравы;

первая основа нравовъ — юношеское образованіе относительно человѣческихъ обязанностей въ обществѣ... Странно, продолжаетъ онъ, что есть школы для воспитанія математикомъ, художниковъ, но нѣтъ школы для воспитанія гражданъ". Поэтому онъ совѣтуетъ королю соединить академіи, университеты, коллегіи и училища подъ однимъ свѣтскимъ авторитетомъ „Совѣта народнаго просвѣщенія" и дать образованію самый широкій планъ. „Въ десять лѣтъ, говорилъ онъ Людовику XVI,—не узнаете своей націи". Относительно внутренняго управленія деревни, онъ предлагалъ замѣнить королевскихъ чиновниковъ выборами мѣстныхъ властей. Впрочемъ, дѣятельность ихъ Тюрго ограничивалъ однимъ внѣшнимъ вліяніемъ, дѣйствительное же участіе въ дѣлахъ онъ предоставлялъ муниципальнымъ сходкамъ. На этихъ сходкахъ допускалась всеобщая подача голосовъ, основанная на правѣ собственности; каждый могъ совѣщаться и рѣшать дѣла своего округа, если ежегодный доходъ его съ земли равнялся 600 ливрамъ. Собственники же, болѣе бѣдные, могли представлять за себя депутатовъ, такъ что два лица, имѣвшія только по 300 ливровъ, избирали за себя одного представителя. Но на какомъ же основаніи Тюрго исключилъ пролетарія изъ своей конституціи? При невѣжествѣ и бѣдности народа, онъ боялся подкуповъ и малодушія въ народныхъ совѣтахъ. Въ этомъ случаѣ онъ былъ правъ. Только при такомъ комунальномъ устройствѣ онъ надѣялся поднять нравственное и матеріальное состояніе земледѣльца; — сблизить ихъ взаимные интересы, развить духъ предпріимчивости и агрикультурный трудъ. Не исключая изъ совѣтовъ ни дворянства, ни духовенства, онъ, однакожъ, допускалъ ихъ только въ томъ случаѣ, когда они владѣли поземельной собственностью. Притомъ, онъ видѣлъ одно важное препятствіе — естественное разногласіе и въ выгодахъ и въ голосахъ двухъ сословій, призванныхъ разсуждать объ общихъ вопросахъ, но раздѣленныхъ привиллегіями. Потому, онъ предполагалъ сравнять подати и налоги между всѣми классами, возможно-справедливѣе, такъ, чтобъ каждый платилъ столько, насколько онъ пользовался выгодами соціальнаго положенія; онъ не разъ представлялъ на видъ королю злоупотребленія духовной касты, которая была уволена отъ всѣхъ податей; правда, она отдавала государству свой добровольный даръ (don gratuit), но съ большими ограниченіями и рѣдко безъ протеста; между тѣмъ въ рукахъ ея было множество земель, людей и независимыхъ учрежденій. Перенести подать на поземельные доходы и распредѣлить ее по-ровну между всѣми гражданами — въ этомъ состояла вся финансовая система Тюрго. За муниципальными совѣтами, онъ предполагалъ устроить провинціальные, съ той же иниціативой и на тѣхъ же началахъ, и потомъ соединить ихъ въ королевскомъ совѣтѣ посредствомъ собранія депутатовъ. Неизвѣстно, или, лучше, не ясно высказано имъ, какъ далеко могла простираться королевская власть въ этомъ политическомъ организмѣ. Неизвѣстно и то, какъ былъ принятъ мему-

аръ Людовикомъ XVI, но большая часть его впослѣдствіи осуществилась. Одной ошибки не избѣжалъ Тюрго въ своемъ планѣ — увлеченія системой физіократовъ; давая обширную степень вліянія землевладѣльцамъ, онъ почти не считалъ гражданами другихъ собственниковъ; хозяинъ дома, фабрики или мастерской, конечно, имѣетъ такое же право разсуждать и представлять свои интересы, какъ и владѣлецъ земли, между тѣмъ Тюрго ставилъ ихъ въ одной категоріи съ пролетаріемъ. Здѣсь гражданская несправедливость не замедлила бы обратиться въ политическій монополь. Очевидно, преобладающей его мыслью было улучшеніе земледѣлія и облегченіе самого бѣднаго сословія, но въ общихъ государственныхъ воззрѣніяхъ всякая односторонность ведетъ къ печальному результату.

Впрочемъ, подробности этой идеи Тюрго обѣщалъ развить впослѣдствіи. Вѣроятно, предлагая ее королю, онъ напередъ хотѣлъ знать, какъ она примется, и потомъ дополнить и заключить ее. Во всякомъ случаѣ, историческое значеніе ея имѣетъ для насъ цѣну; изъ этого мемуара ясно, что Франціи, какъ стараго, такъ и новаго времени, не достаетъ индивидуальной силы, то есть, той способности къ самоуправленію, которою такъ богата англо-саксонская раса.

Кромѣ актовъ государственной дѣятельности, Тюрго оставилъ потомству много сочиненій. Самое замѣчательное изъ нихъ: „Réflexions sur la formation et la distribution des richesses". (Размышленіе объ образованіи и распредѣленіи богатствъ). Оно было первымъ сводомъ экономическихъ понятій XVIII вѣка; оно появилось за десять лѣтъ до книги Смита, и, конечно, лежало подъ рукой шотландскаго соціалиста, когда онъ писалъ свой безсмертный трудъ. Въ общихъ воззрѣніяхъ они совершенно сходятся. Тюрго и Смитъ одинаково горячо защищаютъ свободу труда и обмѣна, но они не согласны въ опредѣленіи произвольныхъ силъ народа. У перваго — земля и разработка ея составляетъ главный и единственный источникъ народнаго богатства; у второго — трудъ; первый не допускалъ косвенныхъ налоговъ, а второй, увлекаясь духомъ англійской аристократіи, возвелъ ихъ въ экономическій законъ...

Едва Тюрго началъ осуществлять реформу, какъ Людовикъ XVI лишаетъ его государственнаго поста. Трудно сказать, насколько былъ искрененъ въ этомъ случаѣ несчастный король — искренность достойна нѣкотораго извиненія — но ошибка его была самая грубая. Главнымъ орудіемъ въ паденіи геніальнаго министра былъ Морепа. Тюрго совершенно точно предсказалъ, что его возненавидитъ придворная партія; такъ это и было. Она ловила каждый удобный случай, чтобъ повредить ему. Когда, послѣ объявленія эдикта о свободной торговлѣ хлѣбомъ, вспыхнулъ мятежъ въ Парижѣ, нельзя было сомнѣваться, что въ этомъ возмущеніи тайными пружинами были парламентъ, принцъ Конти, префектъ Ленуаръ и всѣ барышники города. Дѣло кончилось безъ послѣд-

ствій, но его растолковали королю *такъ, что виновникомъ оказался Тюрго.* Этого мало: Вержень и Сартинь распустили подозрѣніе, будто онъ былъ подкупленъ Англіей. Съ этой поры положеніе его дѣлается шаткимъ; онъ рѣдко видитъ Людовика XVI, неловко чувствуетъ себя въ совѣтѣ, но рѣшается продолжать министерство до тѣхъ поръ, пока ему прикажутъ выйдти. Враги его долго не могли найдти основательнаго предлога, и, вѣроятно, никогда не нашли бы, еслибъ Морепа не рѣшился на подлую клевету; онъ изобрѣлъ подложныя письма, въ которыхъ, будто бы Тюрго рѣзко и неприлично отзывался о Людовикѣ XVI. Эти письма были показаны королю, и онъ, обманутый, не хотѣлъ лично объясниться съ человѣкомъ, оставившимъ лучшую страницу въ его исторіи. 12-го мая 1776 года Тюрго получилъ отставку. „Версаль и парижскіе салоны, говоритъ Деръ,—закричали отъ радости, какъ только пронеслось извѣстіе о паденіи друга общаго блага. Наконецъ, заключенъ былъ миръ съ партіей монополя и привиллегіи; при дворѣ съ безстыдствомъ рукоплескали и торжественно поздравляли другъ друга на улицахъ и гуляньяхъ. Только небольшой кругъ образованныхъ людей трепеталъ за будущее, и перо Вольтера, выражая ихъ общее чувство, возразило противъ низверженія Тюрго". (Économistes au XVIII siècle, т. VIII, стр. 114—115).

Съ паденіемъ его началась реакція. Преемникъ Тюрго, Клюньи, старался разрушить все, что̀ было сдѣлано его предшественникомъ. Черезъ три мѣсяца королевскій декретъ возобновилъ, въ одномъ Парижѣ, шесть купеческихъ корпорацій и сорокъ четыре ремесленныхъ цеха; изъ столицы духъ монополіи быстро распространился по всей Франціи; черезъ годъ, Ліонъ открылъ сорокъ одну корпорацію и девяносто пять другихъ городовъ — по двадцати въ каждомъ. Завсѣмъ тѣмъ Тюрго слишкомъ далеко ступилъ впередъ, чтобъ можно было возвратиться къ прежнему времени; многія злоупотребленія навсегда исчезли, цехи сливались по два и по три въ одну компанію, и законодатель, желая согласить рутину съ новыми требованіями, обратилъ половинную свободу въ смѣшное положеніе, не имѣвшее ни силы, ни смысла. Посвятивъ послѣдніе дни жизни уединенію и спокойнымъ кабинетнымъ занятіямъ, Тюрго съ душевнымъ прискорбіемъ смотрѣлъ на возраставшую бурю кругомъ престола; онъ умеръ за восемъ лѣтъ (въ 1781 году) до открытія національнаго собранія. Людовикъ XVI долженъ былъ вспомнить слова честнаго министра, который нѣкогда сказалъ ему: „Государь, вамъ не останется другого выбора — между мушкетомъ Карла IX или эшафотомъ Карла I". Когда новые преобразователи коснулись свободы труда и обмѣна, имя Тюрго явилось въ блистательномъ свѣтѣ. Депутатъ Диларъ, говоря съ народной трибуны, выразился о немъ такъ: „Покрытые пылью вѣковъ, эти злоупотребленія продолжали гибельное дѣйствіе до того времени, когда явился Тюрго. Онъ просвѣтилъ короля на минуту, и въ эту минуту злоупотребленія прекратились. Они скоро снова возникли;

время еще не созрѣло для принятія идеи министра-философа. Декретъ совѣта уничтожилъ планъ одного изъ прекраснѣйшихъ дѣлъ, какими только могло гордиться царствованіе Людовика XVI"... (Цит. Levasseur. Hist. des classes ouvrières, т. II, стр. 415).

1860 г.

ЗНАЧЕНІЕ ПАРИЖСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

„Воспитатель, а не пушка современемъ будетъ посредникомъ человѣческихъ судебъ".

Лордъ Бругамъ.

„Франція потеряла свои нравы", говоритъ одинъ изъ современныхъ ея авторитетовъ. — „Когда я выражаюсь, продолжаетъ онъ, что Франція утратила свои нравы, я разумѣю, что она перестала вѣрить своимъ принципамъ. Она не имѣетъ больше ни умственнаго, ни нравственнаго сознанія; она даже не понимаетъ: что́ такое *нравы*".

„Подъ вліяніемъ тлетворнаго сомнѣнія, французская нравственность поражена въ самомъ источникѣ. Все сбито съ толку; разрушеніе полное. Никакой мысли о справедливости, никакого уваженія къ свободѣ, ни одной прочной связи между согражданами. Нѣтъ ни одного учрежденія, которое бы чтили, ни одного начала крѣпкаго и святого. Нѣтъ власти ни въ мірѣ духовномъ, ни свѣтскомъ; повсюду овладѣлъ душой невѣжественный и пошлый эгоизмъ. Наша клятва потеряла значеніе; наше слово не имѣетъ вѣса. Съ уничтоженіемъ нравственнаго смысла, кажется, самый инстинктъ самосохраненія угасъ. Общее направленіе увлечено эмпиризмомъ; биржевая аристократія сосетъ общественное благосостояніе; средній классъ дряхлѣетъ среди тупой апатіи; низшее сословіе прозябаетъ среди бѣдности и лицемѣрныхъ утѣшеній. Женщина съ лихорадочной дрожью упивается роскошью и мотовствомъ; юношество безстыдное; младенчество слабое; наконецъ, духовенство, жаждущее мести, безъ вѣры въ себя, едва шевелитъ общественное безмолвіе. Вотъ профиль нашего вѣка!" Съ какимъ ужасомъ Ройэ-Коларъ, взглянувъ на нашъ позоръ, повторилъ бы нѣкогда сказанныя имъ слова: La société est en poussière.

И надъ хаосомъ этой жизни, среди развалинъ прошедшаго и тревожныхъ предчувствій будущаго, отвсюду раздаются мрачныя проро-

чества надъ прекрасной страной въ мірѣ. Одни предсказываютъ ей ту трагическую кончину, среди которой такъ мучительно разлагался древній Римъ; другіе, среди вялаго безсилія, равнодушно смотрятъ на роковое стеченіе обстоятельствъ, предоставивъ капризамъ судьбы править ходомъ корабля, потерявшаго пристань.

Но нѣтъ пророка въ отечествѣ. Отмѣривать, по теоріи, дни народу, преждевременно хоронить его или безплодно плакать надъ его изнеможеніемъ такъ же недостойно серьезнаго мыслителя, какъ закрывать пустоцвѣтомъ хвалебныхъ панегириковъ его недостатки. Человѣкъ слишкомъ дорого купилъ вѣру въ прогрессъ, чтобъ такъ легко отступиться отъ нея; въ самомъ отчаяніи и холодномъ сомнѣніи есть признаки новой жизни, ожидающей своего проявленія. Исторія даетъ много подобныхъ примѣровъ: когда, повидимому, все падаетъ, гніетъ и разрушается, изъ этого пепла незамѣтно восходитъ другая жизнь, тайна возрожденія народовъ — одинъ изъ величайшихъ актовъ исторіи... Кто могъ подумать въ половинѣ XV вѣка, что Европа такъ скоро разсчитается съ средними вѣками и такъ блистательно обновитъ свою исторію? Кто могъ предвидѣть наканунѣ 1789 года, что Франція такъ близко стоитъ передъ лицомъ ужасной революціи и, въ нѣсколько дней, такъ далеко оставитъ за собой прошедшее? Нашъ вѣкъ, по превосходству, вѣкъ реакцій, крутыхъ поворотовъ назадъ и постоянныхъ стремленій впередъ. Въ немъ рѣзко отдѣлились двѣ параллельныя жизни: жизнь наружная, оффиціальная, со всѣми условіями своей охраны, и жизнь внутренняя, затаенная въ массахъ, не успѣвшая развиться, но полная надеждъ и мощи. Первая давно присвоила себѣ характеръ санкціи, основанной на преданіяхъ; у нея есть много защитъ; другая только возникаетъ и не имѣетъ иной обороны, кромѣ мысли и благородно-смѣлаго слова. Эти двѣ жизни, подобно вѣсамъ, находятся въ обратномъ колебаніи: возвышеніе одной есть необходимое пониженіе другой. Отсюда происходитъ противорѣчіе въ нравственныхъ явленіяхъ настоящей эпохи, разрывъ между міромъ идей и фактовъ, борьба духа съ матеріальными преградами, измѣна убѣжденіямъ, позоръ перебѣжчиковъ отъ одного знамени къ другому и всеобщая тоска, — глубокая дума о чемъ-то далекомъ. „Современное общество, говоритъ А. Токвиль, — испытываетъ болѣзненный припадокъ, источникомъ котораго служатъ два обстоятельства; одно — чисто-нравственное: въ умахъ совершается дѣятельность, не имѣющая исхода, присутствуетъ энергія, лишенная пищи и пожирающая общество, за неимѣніемъ другой добычи. Другое обстоятельство чисто-матеріальное: стѣсненіе ремесленныхъ сословій, у которыхъ нѣтъ ни работы, ни хлѣба; развращеніе ихъ начинается среди нищеты и оканчивается въ тюрьмѣ“. Это второй профиль нашего вѣка... При такомъ порядкѣ вещей реакціи неизбѣжны.

Въ девятьнадцатомъ столѣтіи, конечно, ни одна страна не испытала

ихъ въ такой мѣрѣ, какъ Франція. Въ теченіи полувѣка она прошла сквозь огонь двадцати-четырехъ гражданскихъ войнъ, видѣла поля Аустерлица и Ватерлоо, возвышеніе и паденіе колоссальной имперіи, созданной рукой геніальнаго солдата, перемѣну трехъ династій, іюльскіе и февральскіе дни, отозвавшіеся въ сердцѣ всей Европы; однимъ словомъ, она начала радикальной республикой, продолжала мирной конституціонной монархіей и заключила новой имперіей. И при каждомъ вулканическомъ взрывѣ она безъ пощады жертвовала жизнью и кровью своихъ лучшихъ дѣтей. Еслибъ всѣ эти потрясенія, до дна возмутившія ее, были даже логическимъ развитіемъ прогресса, и тогда они не могли пройдти безъ глубокихъ слѣдовъ въ народномъ быту. Вліяніе ихъ прежде всего отразилось на политическихъ убѣжденіяхъ. Въ одномъ и томъ же обществѣ, въ одно и то же время встрѣчаются люди и цѣлыя поколѣнія самаго непримиримаго образа мыслей. Одинъ живетъ и дѣйствуетъ по убѣжденіямъ девяностыхъ годовъ, не желая отказаться отъ ихъ богатаго наслѣдства; другой получилъ воспитаніе въ школѣ Наполеона I, и доселѣ мечтаетъ объ успѣхахъ счастливыхъ побѣдъ и національной славы; третій служилъ Бурбонамъ и, возвратившись съ ними въ Парижъ, послѣ долгаго изгнанія, поклялся не признавать кромѣ ихъ ни чьей власти на землѣ; четвертый выросъ подъ эгоистическимъ правленіемъ Людовика-Филиппа и неизмѣнно полюбилъ Орлеанскую фамилію, — и такъ до безконечности. Эта разнохарактерная смѣсь мнѣній, чувствъ и направленій отнюдь не мѣшала бы общественному единству, еслибъ французъ, подобно англичанину, умѣлъ ставить государство выше своихъ личныхъ разсчетовъ, еслибъ онъ заблаговременно разработалъ въ себѣ хоть сотую долю британской способности къ *Self-government*. Безъ развитія индивидуальной воли и самостоятельной личности, онъ способенъ творить чудеса подъ вліяніемъ энтузіазма и массой, но, какъ отдѣльное существо, онъ равняется, въ серьезныхъ предпріятіяхъ, нулю. Поэтому, въ эпохи кризисовъ, послѣ минутнаго увлеченія, онъ всегда искалъ, какъ единственнаго спасенія, диктатуры, и чѣмъ крѣпче сжимала его посторонняя рука, тѣмъ онъ искреннѣе цѣловалъ ее... Отсюда, между прочимъ, вытекаетъ нетерпимость его къ чужимъ мнѣніямъ, поклоненіе авторитету, хладнокровіе къ истинно-народнымъ интересамъ и поразительное отсутствіе политическаго такта въ государственныхъ людяхъ Франціи. Кто губитъ первую имперію и поднимаетъ изъ праха бурбонскій престолъ? Великій сановникъ Талейранъ, олицетвореніе придворной интриги и личной ненависти къ сенскому герою. Кто опрокидываетъ тронъ Людовика-Филиппа? Гизо, странное соединеніе гордости съ саркастическимъ презрѣніемъ къ людямъ, человѣкъ, „который, по выраженію Прудона, очень низко нагибался, когда говорилъ съ трибуны о королѣ, и вытягивался во весь ростъ, когда отвѣчалъ націи". Кто становится въ головѣ временнаго правительства въ 1848 году? Одинъ

изъ самыхъ невинныхъ, современныхъ поэтовъ, Ламартинъ, „у котораго сердце итальянское, а душа французская", какъ онъ самъ нѣкогда сказалъ о себѣ. Съ французскимъ мозгомъ и итальянскимъ сердцемъ трудно было вести путемъ здраваго разсудка тридцать шесть милліоновъ народа, ввѣрившаго свою участь шести представителямъ. И что особенно замѣчательно, чѣмъ ближе мы подходимъ къ послѣдней развязкѣ, тѣмъ меньше видимъ прозорливости, энергіи и уваженія къ нравственнымъ правиламъ въ „вождяхъ перваго народа". Какъ будто, въ самомъ дѣлѣ, все отдано на произволъ случая.

„Эта нація не имѣетъ началъ", сказалъ Веллингтонъ въ 1815 году. Черезъ сорокъ лѣтъ, сами французы увѣрились въ этой горькой истинѣ: они единодушно пришли къ одному убѣжденію, что не горсть образованныхъ людей, противопоставленная сотнямъ тысячъ обскурантовъ, а воспитаніе массъ, рѣшительный перевѣсъ свѣта надъ тьмой, необходимы для благотворныхъ и зрѣлыхъ реформъ. И это справедливо. Ни лезвеемъ меча, ни блескомъ слова, ни звукомъ пропаганды ничего нельзя сдѣлать тамъ, гдѣ нѣтъ внутренняго сознанія. До тѣхъ поръ, пока народъ не выработалъ результатовъ для своего перерожденія, не приготовилъ себя путемъ строгаго опыта и постепеннаго развитія, всѣ попытки его сбросить съ себя ветхую жизнь остаются безуспѣшны. Франція не одинъ разъ оправдала на себѣ эту государственную проблему. Ея внутренніе перевороты, всегда отмѣченные общечеловѣческимъ характеромъ, гораздо больше принесли пользы Бельгіи и Швейцаріи, чѣмъ ей самой. И это понятно: тамъ они находили положительную почву, заранѣе воздѣланную для принятія новыхъ общественныхъ элементовъ, а здѣсь, большей частью, разрѣшались праздными мечтами, за неимѣніемъ точки опоры. Другой отрицательный примѣръ представляетъ намъ исторія католической церкви. Пламя инквизиціи было брошено въ одно время (при Карлѣ V) и при одинаковыхъ обстоятельствахъ въ Испанію и Нидерланды. Въ первой странѣ оно быстро разлилось по всему полуострову, безъ всякаго сопротивленія со стороны народа; великій инквизиторъ былъ первымъ лицомъ послѣ монарха; сожженіе еретика на площади облечено было въ форму торжественнаго церемоніала и служило любимымъ праздникомъ для суевѣрной толпы. Иначе было въ Нидерландахъ. Счастливый ихъ обитатель XVI вѣка, развитый неизмѣримо выше испанца и въ матеріальномъ и нравственномъ отношеніи, не могъ подчиниться жестокимъ мѣрамъ религіознаго преслѣдованія. Ауто-да-фе встрѣтило здѣсь всеобщую оппозицію и, несмотря на всѣ усилія хитраго деспотизма, не привилось къ народному духу: „оно осталось, по выраженію Прескотта, — больнымъ наростомъ на здоровомъ деревѣ". Испанія расточила и погубила себя инквизиціей; Нидерланды тѣмъ же орудіемъ возвратили свою независимость.

Такъ, историческіе опыты ясно убѣждаютъ насъ въ томъ, что для

истиннаго прогресса народной жизни необходимы не однѣ великія истины, но и способность принять ихъ. Эту способность можно назвать народными *нравами*, разумѣя подъ этимъ словомъ все, что̀ составляетъ нравственную физіономію извѣстной страны и эпохи. Но въ развитіи народныхъ нравовъ, нѣтъ сомнѣнія, играетъ главную роль общественное воспитаніе, то есть, сумма тѣхъ общепринятыхъ понятій, которыя обращаются въ кругу народа. Лучшимъ проводникомъ ихъ служатъ молодыя поколѣнія и должна быть школа. Мы говоримъ „должна быть", потому-что на самомъ дѣлѣ она далеко не отвѣчаетъ современнымъ условіямъ вѣка, и вездѣ расходится съ практическимъ направленіемъ общества. Въ то время, когда цивилизація съ каждымъ днемъ вызываетъ новыя потребности, силы и дѣятельность, школа, съ небольшимъ исключеніемъ, остается на средневѣковыхъ положеніяхъ. Нравственность, которой она учитъ, заключается въ мертвой буквѣ, принимаемой на вѣру; свободное и искреннее убѣжденіе, единственно полезное юношескому сердцу, замѣняется рутиной страха, суровой дисциплиной или лестью; отъ воспитанника требуютъ безусловнаго повиновенія тому, противъ чего постоянно возмущаются его природные инстинкты. „Вы не должны разсуждать, повторяетъ педантъ; ваше дѣло исполнять мои приказанія". Методы преподаванія ограничены формами, напередъ и произвольно предписанными и наставнику и питомцу; истинное развитіе умственныхъ способностей заколдовано предразсудкомъ или принесено въ жертву постороннимъ цѣлямъ. Наконецъ, большая часть учебныхъ заведеній закрыты, то есть, обращены въ фабрики жалкихъ идіотовъ. Эти разсадники гражданскаго кретинизма отрываютъ дѣтей отъ семейства, отъ матери и образуютъ изъ нихъ какое-то особенное сословіе, похожее на скитъ, съ своимъ собственнымъ уставомъ. Мальчикъ, переходя отъ семьи подъ холодный, нерѣдко грубый надзоръ наемной власти, естественно привыкаетъ къ стѣсненію и насилію; онъ никогда не будетъ уважать права, если его такъ рано обрекли быть свидѣтелемъ и участникомъ школьнаго рабства. Съ тѣмъ вмѣстѣ онъ теряетъ здѣсь навсегда личный характеръ и волю, безъ которыхъ можно быть слугой, чиновникомъ, матросомъ, но не человѣкомъ. Еще сокрушительнѣй дѣйствуютъ педагогическіе пріюты на дѣвушекъ. Замѣчено, что онѣ хуже развиваются здѣсь даже въ физическомъ отношеніи, и если выходятъ отсюда безъ чахотки, то, по крайней мѣрѣ, съ полнымъ отвращеніемъ къ ученію. Послѣ этого неудивительно, если для дѣтей садъ, поле составляютъ предметъ наслажденія, а школа равняется душной темницѣ; балаганный фигляръ увлекаетъ ихъ любопытство и воображеніе, а учитель кажется чудовищемъ, тираномъ. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, природа человѣческая такъ зла, что ей суждено ошибаться въ самыхъ простыхъ вещахъ. Положимъ, что дѣти заблуждаются; какъ же мы согласимъ ежедневныя противорѣчія между ученымъ и практическимъ бытомъ? Примѣровъ вокругъ насъ много. Вотъ

юноша, который на университетской скамьѣ горѣлъ самыми чистыми желаніями; едва покинулъ ее, какъ изъ него является грязный взяточникъ, баринъ въ своей деревнѣ и раболѣпный слуга въ городѣ, въ передней своего начальника. Возьмемъ немного повыше: отчего иной профессоръ, столь щедрый на моральные уроки съ каѳедры, за порогомъ аудиторіи превзойдетъ могикана образомъ своихъ дѣйствій? Надо быть слишкомъ ничтожнымъ существомъ, чтобъ мѣнять мнѣнія вмѣстѣ съ мундиромъ, но ихъ мѣняютъ, и дилемма становится ясной: или общество ведетъ насъ другой дорогой, чѣмъ школа, или наука не даетъ солиднаго развитія. Кто наблюдалъ за своимъ воспитаніемъ, тотъ знаетъ, что есть періодъ въ нашемъ образованіи, когда истина такъ глубоко проникаетъ насъ, что мы невольно преклоняемся передъ ней. За предѣломъ этого развитія человѣкъ не въ состояніи унизиться до порока, какъ бы его ни нагибали къ тому внѣшнія обстоятельства. Его умъ, его воля нераздѣльны съ его жизнью, и еслибъ общество потребовало отъ него покорности своему разврату, онъ будетъ отвѣчать, какъ древній стоикъ: „ты можешь отнять у меня домъ, свободу, жизнь, но не возьмешь у меня моего убѣжденія". Если такое развитіе возможно въ нѣкоторыхъ личностяхъ, конечно, очень рѣдкихъ, то почему же оно не передается большинству? Потому, что на такую нравственную высоту современный человѣкъ восходитъ послѣ необыкновенныхъ усилій, съ величайшимъ трудомъ; и этотъ трудъ вовсе не зависитъ оттого, чтобъ мы были неспособны поднять его въ пятьнадцать или пятьдесятъ лѣтъ, при тѣхъ или другихъ общественныхъ условіяхъ; нѣтъ, онъ дѣлается намъ не подъ силу вслѣдствіе вѣчнаго нашего врага — невѣжества; школа, въ настоящемъ своемъ устройствѣ, не столько облегчаетъ его, сколько обременяетъ своими собственными препятствіями. Единственная ея заслуга состоитъ въ томъ, что она учитъ насъ читать книги и раздаетъ дипломы на разныя званія. Какъ бы то ни было, но общественное воспитаніе составляетъ главный органъ въ развитіи народныхъ нравовъ и, слѣдовательно, прогресса. Съ него должно начинаться всякое разумное преобразованіе: къ нему должны стремиться всѣ усилія законодателя, желающаго дѣйствовать не угрозой на совѣсть человѣка, а убѣжденіемъ; въ немъ, и только въ немъ, надо искать залоговъ гражданской силы и доброй воли, какъ настоящихъ, такъ и будущихъ поколѣній. „Дайте намъ хорошо воспитанное юношество, и мы создадимъ вамъ новое общество", говорили другъ за другомъ Бэконъ въ Англіи, Лейбницъ въ Германіи, Фенелонъ и Ж. Ж. Руссо во Франціи.

Мы намѣрены сказать нѣсколько словъ о французскомъ образованіи. Чтобы составить о немъ болѣе точное понятіе, надо познакомиться съ Парижскимъ университетомъ, потому что онъ всегда стоялъ на первомъ планѣ французскихъ учебныхъ заведеній, долго управлялъ ими на пра-

вахъ монополіи и доселѣ сохранилъ надъ ними огромное вліяніе. Исторія его имѣетъ тотъ особенный интересъ, что она представляетъ много типическихъ сторонъ обще-европейской цивилизаціи среднихъ вѣковъ; духъ ученія Парижскаго университета принесенъ во всѣ концы западнаго міра; наконецъ, онъ былъ центромъ развитія схоластической философіи, пять вѣковъ державшей человѣческій умъ въ оковахъ. Джіордани Бруно справедливо замѣтилъ, что „стагирскій философъ гораздо больше принялъ отъ парижскаго университета, чѣмъ могъ дать ему". (Hauréau. De la philosophie scolastique t. I, p. 99).

Ни одинъ европейскій университетъ не имѣлъ такого славнаго назначенія, не пользовался такими обширными правами, какъ Парижскій, но ни одинъ и не злоупотреблялъ ими въ такой мѣрѣ, какъ онъ.

Французская школа обязана своимъ происхожденіемъ генію Карла Великаго и его учителя Алкуина. Любознательный король, кромѣ личнаго уваженія къ образованію, хотѣлъ употребить его орудіемъ своей власти. Онъ нашелъ въ Алкуинѣ достойнаго и ревностнаго исполнителя своихъ плановъ. Знаменитый ученикъ Беды, призванный въ Галлію изъ Іорка, организовалъ „ученыя братства" въ Турѣ, Парижѣ и при дворѣ Карла. Послѣдняя школа, названная *Палатинской*, находилась подъ непосредственнымъ руководствомъ Алкуина. Изъ нея вышло первое поколѣніе образованныхъ юношей и наставниковъ.

Преподаваніе въ школахъ, разумѣется, было направлено исключительно къ религіозной цѣли; такъ грамматика изучалась для объясненія текста и перевода св. книгъ; музыка заключалась въ церковномъ пѣніи; риторика и діалектика служили для диспутовъ съ еретиками. Это было началомъ схоластики.

Ученіе, при всей его бѣдности и односторонности, скоро, однакожъ, заявило свою несомнѣнную пользу. Папа Евгеній II предписалъ буллой распространять школы и учителей. Изобрѣтатель пытки холодной водой, конечно, не предвидѣлъ, что свѣтъ, которому онъ покровительствовалъ, со временемъ потушитъ священную лампу Ватикана.

По смерти Алкуина, дѣло, такъ удачно начатое, продолжалъ другой представитель средневѣковаго знанія, Жанъ-Скотъ (Эригенъ), „Спиноза девятаго вѣка", какъ называетъ его Кревье (Histoire de l'université de Paris, par Crevier, t. I, p. 220). Съ него, съ этого благороднаго ирландца и борца за свои ученыя убѣжденія, начинается рядъ мучениковъ науки, которыхъ сначала преслѣдовалъ духовный, а потомъ свѣтскій деспотизмъ. Папа Николай I обвинилъ его въ ереси и приговорилъ къ изгнанію изъ Франціи. Но сѣмя, брошенное имъ на свѣжую почву, привилось. Черезъ двѣсти лѣтъ оно приноситъ роскошный плодъ подъ рукой Абеляра.

Абеляръ принадлежитъ къ числу тѣхъ замѣчательныхъ личностей, на которыхъ съ любовью останавливается взоръ изслѣдователя среднихъ

вѣковъ. Судьба окружила жизнь этого смѣлаго мыслителя всѣмъ, что̀ вызываетъ къ себѣ уваженіе современниковъ и сочувствіе потомства: его трагическая любовь, его гоненія и несчастія бросаютъ тройной лучъ безсмертія на его имя. Абеляръ, выступивъ на поприще умственной дѣятельности, засталъ двѣ философскія школы, которыя раздѣляли область схоластическаго ученія: школу *реалистовъ* и *номиналистовъ*. Замѣтимъ, что зародышъ этихъ двухъ, діаметрально-противоположныхъ направленій скрывался въ александрійской школѣ, въ которой слились всѣ древне-классическія системы, подъ вліяніемъ восточнаго преподаванія. Какимъ образомъ эти разнородные элементы сплавились въ одно тѣло и послужили основой христіанскаго міра, — это задача, доселѣ не разъясненная наукой, составляетъ единственное явленіе въ литературной исторіи. Впрочемъ, греческая философія не вдругъ уступила новымъ понятіямъ, занесеннымъ въ Александрію съ береговъ Гангеса и Іордана; она триста лѣтъ боролась съ потокомъ чуждыхъ ей вѣрованій, часто наносила имъ смертные удары, и только тогда пала, когда, съ одной стороны, изсякли всѣ жизненныя ея силы, съ другой—побѣда креста надъ язычествомъ охватила все общество. Дѣло въ томъ, что эту побѣду приготовилъ тотъ же Римъ, который хотѣлъ съ помощью казней и палачей задушить ее въ самомъ развитіи. Умы, недовольные дѣйствительностію, съ надорванными усиліями отрѣшиться отъ нея, бросились подъ защиту идеализма, доведеннаго Платономъ до мистическаго созерцанія. Соединеніе отвлеченныхъ идей Греціи съ суевѣріями Востока породило неоплатоническую школу, которую Платонъ возвелъ въ систематическое знаніе. Главное назначеніе этой школы состояло въ томъ, чтобы одушевить мертвую религію и замиравшую цивилизацію. Символъ идеи, аскетическое мышленіе, смѣшанное съ поэтическимъ экстазомъ, громадная эклектическая эрудиція, лишенная творческихъ силъ, смѣнили свѣтлую и живую дѣятельность древняго генія, какъ сумерки смѣняютъ ясный день. Несмотря, однакожъ, на это сліяніе разнородныхъ ученій, мы всегда различаемъ ихъ въ произведеніяхъ александрійцевъ и ихъ послѣдователей: это—двѣ параллельныя рѣки въ одномъ руслѣ, различныя по теченію и цвѣту водъ. Отсюда вытекаетъ дуализмъ среднихъ вѣковъ, вѣчная и непримиримая война философскихъ началъ. Съ одной стороны господствуетъ положительный догматъ и строгое подчиненіе разума откровенію, съ другой — стремленіе къ свободной мысли и пламенное желаніе защитить ее отъ притѣсненій. Реализмъ и номинализмъ, собственно, были выраженіемъ этихъ противоположныхъ направленій. Первый утверждалъ, что „разумъ постигаетъ только то, что̀ существуетъ въ природѣ; дѣйствительность вещей совершенно тожественна понятіямъ нашего ума"; иначе говоря, умъ человѣческій — магическое зеркало, на которомъ природа отражаетъ свои внѣшнія формы съ дагеротипической вѣрностью. Очевидно, реализмъ исчезалъ въ облакахъ пантеизма и уничтожалъ лич-

ность индивидуальнаго существа: это—самое безотрадное изъ философскихъ ученій по своимъ послѣдствіямъ. Иначе разсуждалъ номинализмъ: онъ допускалъ опытъ и анализъ, какъ единственное средство истиннаго знанія, то есть: „хотѣлъ дать свинцовыя крылья человѣческой мысли", по выраженію Бэкона. Реалисты принимали идеи, съ голоса Платона, за самостоятельныя существа (ὄντα); номиналисты, слѣдуя Аристотелю, считали ихъ фантомами.

Такъ Платонъ и въ особенности Аристотель является верховнымъ диктаторомъ схоластики: они снова раздѣляютъ философію на два враждебныхъ стана, которые часто переходили отъ ученой полемики къ доносамъ, ябедѣ и клеветѣ другъ на друга. Впрочемъ, ни тотъ, ни другой изъ этихъ мыслителей не былъ понятъ; оригинальныя сочиненія ихъ едва были извѣстны, а переводы и комментаріи больше запутывали, чѣмъ объясняли дѣло. Платонъ былъ принятъ средними вѣками изъ рукъ александрійской школы, которая измѣнила его во многомъ, такъ точно, какъ Аристотель былъ взятъ отъ Арабовъ, въ многотомныхъ толкованіяхъ Аверроэса. Вслѣдствіе этого, между прочимъ, схоластика, пустая и безтолковая по содержанію, исключительно занималась формой. Ея неуклюжій и тяжелый языкъ, пріемы и метода составляютъ отличительный ея характеръ. Только этимъ можно объяснить ничтожность ея шумныхъ диспутовъ: рогоборцы (Cornificiens), готовы были поднять бурю нескончаемыхъ споровъ, изъ за самыхъ мелочныхъ вопросовъ, надъ которыми теперь умное дитя не можетъ не улыбаться.

Въ такомъ состояніи Абеляръ засталъ умственное движеніе своей эпохи. Какъ ученикъ Росцеллина, главнаго вождя номиналистовъ, онъ сначала слѣдовалъ своему учителю; потомъ отдѣлился отъ него, избралъ свой независимый путь. Онъ видѣлъ крайности двухъ несогласимыхъ ученій, достигшихъ въ это время полнаго разгара въ полемикѣ, и рѣшился разрушить или ослабить ихъ; для этого онъ употребилъ способъ взаимнаго доказательства, т. е., реализмомъ опровергалъ номинализмъ и обратно. Собственная его система, названная Кузэномъ [1]) *консептуализмомъ*, стремилась примирить опытъ съ отвлеченной идеей и опредѣлить психологическую связь между внѣшними предметами и внутренней дѣятельностью нашего духа. Къ сожалѣнію, онъ не развилъ своей системы, потому что на половинѣ дороги былъ остановленъ. Кромѣ силы и оригинальности мышленія, Абеляръ обладалъ необыкновеннымъ даромъ діалектики; онъ положилъ начало скептицизму, столь благотворному въ эпоху фанатическаго ослѣпленія. Въ этомъ отношеніи, по замѣчанію историка, „онъ заставляетъ предчувствовать Канта" (De la philos. scolast. par Hauréau, t. I). Но главная заслуга Абеляра заключается въ его

---

[1]) В. Кузэну первому принадлежитъ честь открытія манускриптовъ Абеляра и критической оцѣнки ихъ (Philosophie scolastique, par Cousin, 1840).

изустномъ преподаваніи; мы не знаемъ въ средніе вѣка ни одного наставника, который бы съ такимъ рѣдкимъ успѣхомъ дѣйствовалъ на каѳедрѣ. Гдѣ бы онъ ни преподавалъ: въ городѣ, или въ пустынѣ, вездѣ окружали его многочисленные слушатели. Первая школа основана имъ близъ Парижа, на Сэнъ-Жерменской горѣ, съ которой онъ господствовалъ надъ современными умами; но послѣ извѣстной катастрофы, разлучившей его съ Элоизой, онъ оставилъ столицу и уединился въ Сэнъ-Денисскій монастырь. Распущенная и невѣжественная братія, съ которой трудно было ужиться человѣку и болѣе хладнокровному, чѣмъ Абеляръ, скоро принудила его искать защиты въ пріорствѣ Месонсель, на землѣ графа Шампанскаго. Здѣсь снова Абеляръ, по просьбѣ своихъ учениковъ, открываетъ философскіе уроки, на которые, говорятъ, собралось до трехъ тысячъ юношей (Abélard, par Rémusat. 1845, t. I, p. 104). Онъ разлученъ былъ съ учениками, пламенно его любившими, Суассонскимъ соборомъ, осудившимъ его, какъ еретика. Вслѣдствіе столь капитальнаго обвиненія, онъ былъ отведенъ плѣнникомъ въ Сэнъ-Медарское аббатство. Оскорбленный въ самыхъ дорогихъ убѣжденіяхъ, униженный врагами до безсильнаго ропота, до безнадежныхъ слезъ, Абеляръ тосковалъ, плакалъ и упалъ духомъ. Но страданія его еще только начинались. Не поладивъ съ Сэнъ-Медарскими монахами, которые, какъ змѣи, обвили его завистью и лицемѣріемъ, онъ убѣжалъ изъ монастыря, гдѣ грозили ему плетью, подъ покровительство своего стараго заступника, графа Шампани. Между тѣмъ, слава геніальнаго учителя и философа прошла по всей Франціи и даже за предѣлами ея. Онъ обратилъ на себя вниманіе короля и его друга, аббата Сугерія. Благодаря имъ, Абеляръ получилъ разрѣшеніе и свободу. Желая защитить себя отъ новыхъ ударовъ, онъ рѣшился вести совершенно отшельническую жизнь въ пустынѣ Ножана, на сѣверномъ берегу Сены. Здѣсь онъ устроилъ небольшую ораторію, подъ именемъ Пираклэ, и снова явился въ кругу своихъ слушателей. Со всѣхъ сторонъ стекались ученики къ Абеляру. Бѣдное и уединенное мѣстечко въ одинъ годъ обогатилось добровольными приношеніями. Новый успѣхъ, новая зависть и гоненія. На этотъ разъ врагомъ Абеляра является человѣкъ мощный, съ репутаціей святого мужа и съ непреклоннымъ характеромъ. Это былъ Сэнъ-Бернаръ. Кто видѣлъ его портретъ въ Версальскихъ галлереяхъ, тотъ, конечно, никогда не забудетъ этой постной, прозрачно-блѣдной фигуры, подъ которой, какъ подъ волканическимъ пепломъ, скрытно горѣли сильныя, заморенныя страсти. Чтобы обезоружить Сэнъ-Бернара, Абеляръ удаляется въ монастырь Сэнъ-Жильда, призванный занять въ немъ мѣсто игумена. Монастырь лежалъ на скалѣ, у самыхъ водъ Атлантическаго океана. Дикая, холодная и туманная природа навѣяла чувство глубокой грусти на поэтическую душу Абеляра; его письма къ Элоизѣ отзываются скорбной меланхоліей. Къ этому присоединились новые происки монаховъ; недовольные строгимъ поведе-

ніемъ Абеляра, его ѣдкой критикой надъ ихъ развращенными нравами — они раздражали, огорчали его и покушались на самую его жизнь. Онъ переселился на другой конецъ Франціи, въ Бретань, но и здѣсь не дали ему покоя. Его призвали къ новому суду, собравшемуся въ Сансѣ, подъ предсѣдательствомъ самого короля и Сэнъ-Бернара. Дѣло опять шло о ереси. Судьи даже не выслушали обвиненнаго, который долженъ былъ безмолвно принять ихъ приговоръ. Есть случаи такого неправосудія, когда ему какъ будто совѣстно или страшно встрѣчаться лицомъ къ лицу съ своей жертвой. Абеляръ былъ осужденъ. Иннокентій II приказалъ сжечь его книги въ Римѣ; школа его была закрыта навсегда, и Абеляръ не имѣлъ болѣе пріюта въ отечествѣ. Беранже, защитникъ его, пишетъ: „Лисицы имѣютъ свои норы, птицы небесныя — свои гнѣзда, а Петръ не знаетъ, гдѣ преклонить голову". (Abélard, Rémusat. t. I, p. 236). Такимъ образомъ кончилась карьера геніальнаго человѣка. Онъ умеръ въ 1142 году.

Мы остановились на этой личности дольше, чѣмъ слѣдовало намъ, потому что мы не можемъ безъ сочувствія проходить мимо могилъ, на которыхъ лежитъ двойной вѣнецъ — славы науки и страданій за нея. Притомъ Абеляръ служитъ доказательствомъ: какимъ неизмѣримымъ разстояніемъ иногда отдѣляется бодрая мысль отъ окружающаго дѣйствительнаго міра, и какой твердости, какихъ усилій она требуетъ отъ своего поборника, чтобы проникнуть въ массы. Абеляръ по уму стоялъ выше толпы, и его преслѣдовала зависть; его правое слово, его живая идея увлекали за собой тысячи людей безпристрастныхъ, покорныхъ одной истинѣ; и наперекоръ этому общему влеченію, его лишаютъ каѳедры, заставляютъ молчать, поражаютъ проклятіемъ... Съ побѣдой надъ Абеляромъ, реалисты и враги всякаго нововведенія одержали побѣду надъ всей школой номиналистовъ. Впродолженіе двухъ вѣковъ она не смѣла поднять голоса среди повсемѣстнаго насилія и невѣжества. Вскорѣ затѣмъ Суассонскій соборъ запретилъ чтеніе произведеній Аристотеля и осудилъ ихъ на сожженіе, какъ источникъ ересей (Histoire et critique de la révolution Cartésienne, par Boullier, p. 3 — 10). Процессъ былъ проигранъ не однимъ Абеляромъ, но вмѣстѣ съ нимъ всѣмъ человѣчествомъ. Впрочемъ, идеи не умираютъ въ тюрьмѣ и не горятъ на кострѣ; запавшія въ душу народа, онѣ живутъ вѣчно, и невидимо переходятъ отъ одного поколѣнія къ другому. Несмотря на пораженіе, Абеляръ остался побѣдителемъ — это лучшая его апоѳеоза. Ученіе его пробудило любознательность въ слушателяхъ, проникло въ среду ихъ, и именно съ этого времени Парижская школа дѣлается центромъ умственнаго движенія средневѣковой Европы. „Отъ Сэнъ-Женевьевы до Нотръ-Дамъ, по всѣмъ улицамъ, на обоихъ берегахъ Сены и на мостахъ, болѣе или менѣе извѣстные профессора открыли свободное преподаваніе и приглашали, какъ мірянъ, такъ и духовныхъ, приходить слушать ихъ...

Когда на послѣднихъ границахъ Британніи, въ отдаленныхъ странахъ Калабріи, Испаніи, Германіи и Польши—молодой церковникъ обнаруживалъ наклонность къ высшему ученію и обѣщалъ своимъ начальникамъ хорошаго логика, его тотчасъ посылали въ Парижъ. Онъ отправлялся одинъ, пѣшкомъ, переходя черезъ рѣки, горы, подъ защитой военныхъ людей и даже разбойниковъ, которыхъ онъ встрѣчалъ на дорогѣ. Монастырская кровля давала ему ночлегъ, хуторъ закрывалъ его отъ полуденнаго жара и чтобы быть ласково принятымъ, стоило только назваться школьникомъ... Школьникъ вездѣ и всегда имѣлъ право убѣжища". (Philos. scolast. Hauréau, t. I, p. 22—34). Очевидно, любознательность юношества была необыкновенная, если мы вспомнимъ, что въ это время не всѣ цари и сановники умѣли читать и писать. Отсутствіе библіотекъ, рѣдкость манускриптовъ, покупаемыхъ на вѣсъ золота, недостатокъ учителей — все это вмѣстѣ должно было увеличить вліяніе школы, помимо которой не было никакихъ источниковъ образованія.

При такихъ условіяхъ является парижскій Университетъ. Ему была приготовлена обширная и ревностная аудиторія, у него были способные наставники, онъ принялъ заранѣе обработанныя философскія системы, наконецъ, онъ приступаетъ къ дѣлу, при всеобщемъ ожиданіи прогресса, когда крестовые походы разбудили Европу отъ тяжелаго сна. Посмотримъ, какъ онъ воспользовался всѣмъ этимъ, какъ онъ отвѣчалъ надеждамъ своей эпохи?

Извѣстный живописецъ Гро нарисовалъ въ куполѣ Сэнъ-Женевьевскаго Пантеона знаменитую картину, въ которой Карлъ представленъ основателемъ Университета. Кисть художника, обманутая историкомъ Дюбулэ, утвердила этотъ ложный фактъ въ народномъ мнѣніи.

Первые слѣды парижскаго университета теряются въ свободномъ преподаваніи наукъ, которое, какъ мы видѣли, существовало во Франціи въ половинѣ XII вѣка. По мѣрѣ того, какъ церковь стягивала къ себѣ умственные интересы Западной Европы, университетъ, мало-по-малу, отдѣлялся отъ общаго состава учебныхъ заведеній, присвоивая себѣ свои собственныя права. Папы скоро замѣтили въ немъ своего помощника, и потому старались увеличить его нравственное значеніе. Королевская власть, отчасти по набожности, отчасти изъ угожденія намѣстникамъ Св. Петра, дарила его своими привиллегіями. Въ 1200 году, мы встрѣчаемъ первое постановленіе, которымъ Филиппъ Августъ, по случаю кровопролитной драки, случившейся между студентами и мѣщанами, предоставилъ ученому сословію право собственнаго суда. Это было основаніемъ той будущей организаціи, вслѣдствіе которой университетъ образовалъ особенную корпорацію въ государствѣ, отдѣльную отъ народа и отъ правительства. Вслѣдъ затѣмъ, онъ освобожденъ былъ отъ общественныхъ податей. Черезъ три года, съ позволенія папы, университетъ назначилъ себѣ Синдика, повѣреннаго по своимъ дѣламъ, ходатая пе-

редъ свѣтскимъ трибуналомъ, посредника между своимъ сословіемъ и обществомъ. Около 1220 года, Иннокентій III скрѣпилъ статуты университета своимъ авторитетомъ, и тѣмъ окончательно упрочилъ за нимъ мѣсто особеннаго гражданскаго общества. Съ этихъ поръ и до первыхъ дней революціи девяностыхъ годовъ, университетъ, ничего не теряя изъ своихъ прежнихъ преимуществъ, постоянно пріобрѣталъ новыя, такъ что къ концу XV вѣка онъ захватилъ все общественное образованіе Франціи. Безъ его иниціативы невозможно было открыть ни королевскаго училища, ни частной школы. Онъ разсылалъ своихъ адептовъ въ провинціи, на вселенскіе соборы, продавалъ дипломы на ученыя степени, принималъ участіе во всѣхъ государственныхъ реформахъ, пользовался правомъ отлученія отъ церкви и, во имя науки, могъ безусловно вязать и разрѣшать совѣсть народа (Hist. de l'Université de Paris, par Crevier, t. I, p. 50—105). Ясно, что парижскій университетъ, съ перваго же шага, сталъ въ самое ложное положеніе. Сложившись въ касту, подобно стаду египетскихъ жрецовъ, онъ разрывалъ навсегда всякую живую связь съ народной жизнію, свободному развитію которой всегда противорѣчитъ духъ корпорацій, въ какомъ бы видѣ онѣ ни выражались. Съ той минуты, когда Сорбона [1]) отдѣлила свои личные интересы отъ общественныхъ, нравственныя цѣли были для нея потеряны. Она тратила все свое вниманіе на расширеніе матеріальныхъ выгодъ, потому что съ ними соединялась ея сила, ея благоденствіе. Удовлетворивъ первой необходимости, она восходила выше, ограждала себя со стороны честолюбія, потворствовала эгоизму, и, если встрѣчала препятствія, употребляла хитрость или насиліе. Таковъ законъ всѣхъ партій, какъ бы ни было благородно ихъ первоначальное назначеніе. Притомъ, въ средніе вѣка, среди всеобщихъ злоупотребленій и животной жизни, каждая корпорація старалась какъ можно больше присвоить себѣ власти, и отъ роли угнетеннаго перейдти, въ свою очередь, къ роли угнетателя. Это мы видимъ на монашескихъ орденахъ, которые начинали христіанскимъ смиреніемъ и оканчивали возмутительнымъ самоуправствомъ. Кто могъ вообразить, что Лойола, полубольной испанскій дворянинъ, подъ такимъ невиннымъ предлогомъ выведетъ на свѣтъ такое сильное и зловѣщее братство, какъ іезуиты, — этотъ недугъ новой исторіи. Парижскій университетъ подпалъ той же участи... Отстранившись отъ народа своимъ исключительнымъ, коллегіальнымъ устройствомъ, онъ лишился довѣрія и уваженія въ его глазахъ, потомъ сдѣлался для него предметомъ отвращенія. Между студентомъ и городскимъ жителемъ не было ничего общаго; пер-

---

[1]) Сорбона была основана въ 1253 году Робером Сорбономъ, исповѣдникомъ Людовика Св., съ цѣлью — облегчить бѣднымъ студентамъ доступъ къ полученію докторской степени. Впослѣдствіи ея лучшій теологическій факультетъ соединился съ общимъ составомъ университета, который съ этого времени сталъ называться Сорбоной.

вый отличался отъ второго костюмомъ, разговоромъ и поведеніемъ; Сорбонистъ, въ своемъ длинномъ платьѣ, съ тяжелыми сандаліями на ногахъ, съ поднятымъ капюшономъ сзади и остроугольной шапкой на головѣ, походилъ на „соломенное чучело" между живыхъ существъ, какъ выразился Дюлоне. Притомъ, за отсутствіемъ всякаго нравственнаго воспитанія, которое сообщается не палкой, а убѣжденіемъ, студенты вели себя внѣ школы чрезвычайно дурно. Разсыпаясь шайками по городу, они заводили споры, по привычкѣ къ теологическимъ диспутамъ, и среди открытаго дня безнаказанно совершали разбои. Столкновенія ихъ съ мирными гражданами почти всегда оканчивались самыми отвратительными сценами. Мы отчасти знаемъ это по Кіевскимъ бурсамъ XVII вѣка. Латинскій кварталъ, который досель не износилъ свой старый типъ, былъ чѣмъ-то въ родѣ зачумленнаго карантина, къ которому боялась подойти честная женщина и безоружный буржуа. Поэтому народъ, въ которомъ антипатія къ студентамъ обратилась въ какое-то наслѣдственное чувство, при всѣхъ внутреннихъ смутахъ, становился противъ Сорбоны. Такъ въ исходѣ XVI вѣка, нѣкто Обріо преслѣдовалъ буйныхъ школьниковъ, загонялъ ихъ въ подвалы и за то, по настоянію университета, былъ осужденъ на вѣчное заключеніе въ тюрьмѣ. Черезъ годъ вспыхнулъ мятежъ, и народъ, освободивъ Обріо, избралъ его своимъ вождемъ. Съ своей стороны Сорбона жестоко мстила городу за оскорбленіе своего привиллегированнаго сословія. Въ 1304 году, студентъ духовнаго званія, Пьеръ ле-Барбье, сознавшись въ убійствѣ, былъ схваченъ Парижскимъ превотомъ, осужденъ и повѣшенъ. Этотъ актъ, столь справедливый въ современномъ юридическомъ смыслѣ, возбудилъ всеобщее негодованіе въ университетѣ. Ректоръ тотчасъ же закрылъ классы; на другой день, въ соборѣ Сэнъ-Бартелеми, собралось духовенство, вооружилось крестами, хоругвями, святой водой и отправилось къ дому превота. Осыпавъ градомъ камней ворота и окна, оно произнесло слѣдующее заклинаніе: „выходи, выходи, проклятый сатана; возврати честь своей матери, святой церкви, которую ты оскорбилъ въ ея привиллегіяхъ; если ты не раскаешься въ своемъ преступленіи, да пожретъ тебя бездна вмѣстѣ съ Дафаномъ и Авирономъ". Это заклинаніе, какъ обыкновенно, сопровождалось отлученіемъ виновнаго отъ церкви. Этого мало; духовенство, не зная мѣры своему гнѣву, потребовало смерти превота. Король принужденъ былъ вступить въ переговоры, желая спасти своего чиновника. Дѣло было улажено такъ: превотъ лишенъ былъ мѣста, долженъ былъ идти пѣшкомъ въ Авиньонъ просить прощенія у папы, торжественно, съ зажженнымъ факеломъ въ рукѣ, босикомъ, извиниться передъ университетомъ, поцѣловать повѣшеннаго студента въ уста и проводить его до могилы. Послѣ такого комическаго обряда, Сорбона снова открыла свои аудиторіи. Подобными примѣрами лѣтописи университетскія очень богаты. (Hist. de Paris. Dulaure. Sorbonne).

Они открываютъ картину варварства, тѣмъ болѣе печальнаго, что ими руководитъ своекорыстное суевѣріе, во имя неба.....

Съ тѣмъ же произволомъ университетъ дѣйствовалъ въ отношеніи къ свѣтской власти. Короли, принимая корону, подтверждали неприкосновенность его матеріальныхъ и нравственныхъ прерогативъ, и часто искали его благоволенія, особенно когда онъ дѣйствовалъ заодно съ парламентомъ. Конечно, для такой неравной борьбы надо было имѣть много силы: эта сила университета заключалась въ его религіозномъ характерѣ и въ фанатическомъ настроеніи умовъ. Какъ „помазанный сынъ" папы, одинъ изъ его вѣрныхъ апостоловъ, онъ гордо смотрѣлъ въ лицо монарха, который цѣловалъ туфлю римскаго владыки. Притомъ въ рукахъ Сорбоны было острое орудіе — церковная трибуна, которою она располагала безусловно. Ея проповѣдь, за неимѣніемъ другихъ органовъ общественнаго мнѣнія, была единственнымъ будильникомъ народныхъ умовъ — и вотъ король склонялся передъ евангельской истиной, которую невѣжество легко могло перетолковать въ свою пользу; и если онъ противорѣчилъ въ своихъ мнѣніяхъ съ докторами Сорбоны, они дерзко преслѣдовали его своимъ словомъ. Такъ, противъ Генриха III они употребляли самыя оскорбительныя выраженія. Король жаловался парламенту; парламентъ протестовалъ, но напрасно. Въ 1589 году, совѣтъ *шестнадцати* сдѣлалъ запросъ Сорбонѣ; имѣютъ ли право французы объявить войну королю для обороны католической вѣры? Теологическій факультетъ, то есть восемь или десять писаришекъ, по словамъ Лепираля, освободили всѣхъ подданныхъ отъ присяги Генриху Валуа, исключили его имя изъ церковныхъ молитвъ и провозгласили, что нисколько не противно совѣсти поднять оружіе противъ „ненавистнаго тирана". Еще больше озлобленія Сорбона обнаружила къ одному изъ самыхъ народныхъ властителей, къ Генриху IV. Университетъ не хотѣлъ признать его королемъ даже въ такомъ случаѣ, когда онъ обратился въ католицизмъ. И дѣйствительно, когда онъ отступилъ отъ протестантскаго догмата, Сорбона объявила обращеніе его комедіей. (Hist. de Paris. Dulaure. Sorb.). Точно также Сорбона противилась парламенту, когда онъ покушался на ограниченіе ея правъ или не уважалъ ея диктаторскихъ требованій. Обыкновенной угрозой ея, въ этомъ случаѣ, было закрытіе школъ, проповѣди и переселеніе изъ Парижа въ другое государство — и это повторялось нерѣдко.

Ришелье, поднявъ неограниченную монархію на развалинахъ феодальной власти, нанесъ первый ударъ независимости университета. Онъ благоволилъ Сорбонѣ, какъ своему сотруднику, подарилъ ей великолѣпную капеллу, награждалъ ея докторовъ, пользовался ихъ совѣтами, но держалъ ихъ, вмѣстѣ съ другими сословіями, въ полной покорности своему деспотизму. Послѣ незабвеннаго кардинала, государство было слишкомъ крѣпко и достаточно образовано, чтобъ бояться старыхъ при-

видѣній. Когда Людовикъ XIV вошелъ въ парламентъ, съ хлыстикомъ въ рукѣ, и произнесъ: „L'état c'est moi", Франція вѣжливо поклонилась, и Сорбона надолго замолчала...

Если Парижскій университетъ гордо и непріязненно стоялъ передъ народомъ и часто передъ королями, то совсѣмъ иначе онъ велъ себя передъ папой. Папа былъ для него верховнымъ судьей; онъ одинъ могъ отлучать его отъ церкви, что̀ равнялось нравственной смерти; онъ одинъ разрѣшалъ его споры съ верховной властью, онъ всегда могъ защитить его отъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ. Университетъ скоро оцѣнилъ свою зависимость отъ Ватикана, и потому унижался до происковъ, чтобъ сохранить его расположеніе къ себѣ. Онъ льстилъ римскимъ легатамъ, посылалъ своихъ депутатовъ въ Римъ, чутко прислушивался къ его пожеланіямъ, внимательно изучалъ характеръ каждаго владыки, какъ куртизанъ изучалъ волю своего новаго повелителя. За такое усердіе папы платили щедрой монетой. Благодѣяніямъ ихъ, расточаемымъ на Сорбону, не было конца. Вотъ какъ, напримѣръ, Григорій IX отстаивалъ университетъ въ одну изъ самыхъ критическихъ его минутъ. Въ началѣ XIII вѣка, во время карнавала, студенты, не заплативъ денегъ содержателю пивной лавки, были избиты жителями Марсельскаго предмѣстья. Не желая остаться въ долгу, они на другой день отправились гурьбой къ мѣсту своего побоища, аттаковали лавку, разлили вино, перебили посуду, и, разбѣжавшись по городу, изранили многихъ женщинъ и дѣтей, ничѣмъ невиноватыхъ въ этомъ дѣлѣ. Весь Парижъ возмутился. Легатъ, парижскій епископъ и превотъ, съ согласія короля, послали отрядъ войска наказать буйныхъ студентовъ. Они были жестоко побиты. Наставники и ученики, оскорбленные въ своемъ достоинствѣ, покинули Парижъ и разсѣялись по разнымъ городамъ. Папа, узнавъ о закрытіи школы, принялъ ея сторону; онъ писалъ королю и королевѣ въ ея пользу; отвѣтомъ медлили. Между тѣмъ члены университета отправили къ папѣ двухъ повѣренныхъ съ жалобой. Григорій IX, выслушавъ ихъ, грянулъ рядомъ буллъ и потребовалъ немедленнаго и блистательнаго удовлетворенія обиженной „матери наукъ". Противники ея смирились; университетъ былъ оправданъ; вмѣстѣ съ тѣмъ папа подтвердилъ его старыя привиллегіи, далъ новыя, устроилъ внутреннюю его полицію, распредѣлилъ время занятій, вакацій, раздѣлилъ на факультеты и, что всего важнѣе, уполномочилъ своимъ позволеніемъ расходиться и впередъ, въ случаѣ обиды или притѣсненія со стороны свѣтскаго начальства. Вскорѣ за тѣмъ Иннокентій III освободилъ его совершенно отъ юрисдикціи парижской церкви и ея епископа. Съ этой поры, университетъ призналъ надъ собой одну верховную волю папы. Впрочемъ, когда положеніе Сорбоны было упрочено, когда она взяла все, что̀ можно было взять отъ римскихъ намѣстниковъ, она сдѣлалась менѣе уступчивой. Такъ, на констанскомъ соборѣ одинъ изъ ея представителей, Герсонъ прямо выска-

залъ, что „авторитетъ собора выше авторитета папы". Въ томъ же году, парижскій университетъ объявилъ себя открытымъ непріятелемъ преемника Петра; онъ ободрилъ письмами базельскую конклаву противиться папѣ, выражаясь на его счетъ не совсѣмъ ласково. Чѣмъ дальше шла реформа и чѣмъ больше ударовъ принимала римская тіара, тѣмъ меньше Сорбона уважала ее.

Теперь посмотримъ: въ какой мѣрѣ парижскій университетъ содѣйствовалъ общему образованію Франціи. Замѣтимъ напередъ, что передъ нимъ лежали два пути, — одинъ велъ къ прогрессу народной жизни, съ помощью истиннаго просвѣщенія; — другой къ омраченію ея, со всѣми его послѣдствіями, нищетой, рабствомъ и упадкомъ всѣхъ нравственныхъ силъ. Эти два направленія, столь противоположныя между собой, шли рядомъ по всѣмъ среднимъ вѣкамъ; вы чувствуете ихъ въ политикѣ, наукѣ, религіи, во всѣхъ проявленіяхъ народнаго быта. Само собой разумѣется, что большинство голосовъ и матеріальная сила перевѣшивали на сторону послѣдняго; при всемъ томъ, въ этомъ полуживомъ трупѣ біеніе жизненнаго пульса, какъ онъ ни былъ слабъ, никогда не прекращалось. Иначе Гуссъ и Галилей, Бэконъ и Декартъ не явились бы такъ рано. Они были послѣднимъ словомъ отжившей эпохи и предвѣстниками новой. Мы видѣли, что передъ самымъ основаніемъ парижскаго университета, ясно обозначивался расколъ въ будущихъ судьбахъ науки и человѣчества. Вопросъ единственно состоялъ въ томъ, къ какому направленію примкнуть и въ какой степени его можно оправдать? Относительно послѣдняго пункта, университетъ находился при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ. Онъ воспитывалъ молодыя поколѣнія, еще не успѣвшія очерствѣть среди предразсудковъ; онъ собиралъ въ свои аудиторіи юношей со всѣхъ сторонъ Европы; у него былъ огромный авторитетъ, хорошія финансовыя средства, у него были образованные люди. Послѣ этого оставалось только дѣйствовать на благо народовъ.

И за всѣмъ тѣмъ университетъ отвернулся отъ прогресса. Это мало. „Онъ старался, говоритъ Дюлоръ, — остановить ходъ цивилизаціи и загасить возникавшій свѣтъ". (11, стр. 236..). Неудивительно; по самому устройству, какъ замѣчено выше, онъ не былъ способенъ выполнить своего благороднаго призванія. Не трудно доказать, что и по самому духу ученія онъ былъ далекъ отъ великихъ цѣлей.

Учебный курсъ университета впродолженіе среднихъ вѣковъ дѣлился на четыре факультета — теологическій, философскій, правъ и искусствъ. Послѣдніе два не имѣли почти никакого значенія. Юриспруденція была ограничена преподаваніемъ одного каноническаго права; гражданскіе же законы были запрещены, въ 1220 году, папой Гонаріемъ III затѣмъ, какъ онъ сказалъ въ буллѣ, чтобъ воспитанники больше занимались богословіемъ. И только Людовикъ XIV, декретомъ

отъ 1679 года, возстановилъ эту каѳедру, столь важную для среднихъ вѣковъ, когда судья — практикъ, не робѣя, произносилъ самые жестокіе приговоры, по внушенію желудка, какъ замѣтилъ Беккаріа. Что же касается до искусствъ (les arts libereaux), къ нимъ относились словесныя науки, грамматика, риторика и элементарная логика. Впослѣдствіи діалектика, старшая изъ наукъ, вытѣснила краснорѣчіе, которое доктора считали врожденнымъ даромъ человѣка, и потому думали, что изучать его безполезно. Вмѣстѣ съ риторикой было отмѣнено чтеніе древнихъ писателей. Впрочемъ, къ концу XIV вѣка, она опять вводится университетомъ. Извѣстно, что Квинтиліанъ былъ единственнымъ образцомъ и учителемъ риторовъ. Онъ доселѣ не потерялъ рутиннаго значенія для Франціи: мы встрѣчаемъ его, къ крайнему нашему удивленію, въ программѣ одного изъ лучшихъ заведеній — нормальной школы. Первенствующимъ факультетомъ былъ, безъ сомнѣнія, теологическій, въ которомъ, собственно, сосредоточилась вся ученость среднихъ вѣковъ. Аудиторія его была самая многочисленная: молодой человѣкъ, желавшій занять выгодное общественное положеніе, шелъ въ духовное званіе, какъ самое прибыточное; здѣсь ожидало его богатство, почести, спокойная, чтобъ не сказать — лѣнивая жизнь, и верхомъ его мечтаній была кардинальская шапка. Кромѣ того, теологія находила примѣненіе во всѣхъ главныхъ случаяхъ житейскаго быта; на основаніи ея предпринимались войны, производился судъ, искоренялась ересь; короче, во имя ея человѣкъ боялся своего прошедшаго, скорбѣлъ о настоящемъ и трепеталъ за будущее. Преподаваніе этой науки въ парижскомъ университетѣ было болѣе схоластическимъ, чѣмъ гдѣ-либо. Сначала оно состояло изъ отрывочныхъ компиляцій и сокращеній, изъ буквальнаго толкованія библіи и св. отцовъ. Поднять новый вопросъ, дозволить себѣ сомнѣніе было невозможно. Во время Абеляра границы этого ученія были раздвинуты шире. Авторъ книги Opus clarum ввелъ въ свое преподаваніе проблематическую методу, то есть, объясненіе текста pro и contra, но его метода была осуждена. Ее смѣнилъ строгій силлогизмъ — самый ржавый винтъ въ механизмѣ схоластики. Эта безопасная форма доказательствъ довела теологовъ до самыхъ нелѣпыхъ результатовъ; она обезобразила ихъ языкъ, и безъ того бѣдный ясными понятіями, и заковала мысль въ такія узкія рамы, что всякая новая идея, выходившая изъ обыкновеннаго круга вѣрованій, казалась бунтомъ, покушеніемъ на жизнь всего человѣчества. Отсюда возникъ тотъ неподвижный квіетизмъ, въ которомъ, какъ въ стоячемъ болотѣ, все замирало и разрушалось. Если же теологъ покидалъ эту дикую почву, онъ запутывался въ безполезныхъ тонкостяхъ; за неимѣніемъ живаго духа, работалъ надъ словами и фразами, ломалъ и перетолковывалъ ихъ на разные лады и послѣ всѣхъ трудовъ и фоліантовъ, оканчивалъ ничѣмъ. Бэконъ замѣтилъ, что истинной религіи въ средніе вѣка не существовало. Это спра-

ведливо; теологія исказила ея простой и общедоступный смыслъ, она обратила ее въ праздную игру школы, навязавъ ей свои собственныя умствованія, какъ плодъ келейнаго грубаго воображенія. А между тѣмъ, подъ предлогомъ чистоты ученія, наполняли темницы отступниками, уничтожали на кострахъ геніальныхъ людей, предпринимали альбигойскіе походы, праздновали варфоломеевскія ночи. Надо отдать справедливость человѣческому уму, по крайней мѣрѣ въ томъ отношеніи, что противъ схоластическаго преподаванія теологіи постоянно возставали болѣе здоровые умы. Такъ, Жерсонъ въ концѣ XIV вѣка рѣзко обвинялъ методу богословскаго ученія, съ одной стороны за его метафизическую пустоту, съ другой за его діалектическія мелочи (De reformatione theologiae). Но реформа коснулась только нѣкоторыхъ частностей, общее же направленіе осталось въ прежнемъ видѣ.

Еще безплоднѣе было преподаваніе философіи, которая замыкалась въ одной діалектикѣ. Органонъ Аристотеля былъ единственнымъ руководствомъ, дозволеннымъ въ школахъ. Его метафизика и натуральная исторія находились подъ опалой католицизма. Всѣ вопросы схоластической философіи вертѣлись около разсужденія о *родахъ* и *видахъ*. Кто желаетъ подробно познакомиться съ этимъ ученіемъ, впрочемъ, въ высшей степени сухимъ и педантическимъ, тому рекомендуемъ прекрасный трудъ Hauréau. (Histoire de la philosophie scolastique 2 v. 1850). Торжествомъ средневѣковой діалектики были диспуты. Предметомъ ихъ служили, большей частью, теологическія темы. Эти ученыя состязанія имѣли дурное вліяніе на характеръ народа; они разжигали нетерпимость мнѣній, и безъ того слишкомъ вредную. Привычка спорить о предметахъ часто опасныхъ, говоритъ Дюверпэ, — не мало содѣйствовала распространенію въ націи строптиваго духа, который, замедляя воцареніе истины, столько разъ возмущалъ общественное спокойствіе; онъ же вызвалъ множество заблужденій, для искорененія которыхъ неловкая и варварская политика сочла себя вправѣ ставить висѣлицы, рыть подземелья и изъ самаго кроткаго народа образовала племя каннибаловъ". (Hist. de la Sorbonne II v. p. 44—45. par Duvernet). И надо признаться, что первыми каннибалами были сановитые наставники Сорбоны, тѣ „ученые колпаки", надъ которыми такъ удачно глумился Вольтеръ. Соединяя съ фанатизмомъ науки презрѣніе къ дѣйствительной жизни, съ непомѣрнымъ чванствомъ совершенную дикость, они самымъ образомъ жизни разоблачали ложь своего ученія. Даже теперь, безъ сердечнаго трепета, нельзя представить себѣ той жестокости, съ которой они гнали своихъ противниковъ.

Такъ, парижскій университетъ, вмѣсто того, чтобы быть другомъ и вождемъ прогресса, явился однимъ изъ самыхъ суровыхъ враговъ, на всѣхъ стезяхъ его развитія. „Надо ослѣплять народъ, чтобъ обманывать его" — вотъ девизъ шестисотлѣтней дѣятельности Сорбоны. Мы не

говоримъ, что она вездѣ поступала съ сознаніемъ, но разъ увлеченная ложными началами, она осталась вѣрна имъ навсегда.

Прежде всего вражда сія выразилась въ отношеніи къ самому просвѣщенію, котораго она была всемірнымъ представителемъ, если вспомнимъ, что изъ двадцати тысячъ студентовъ ея (при Генрихѣ II) третья часть была иностранцевъ. Сорбона преслѣдовала книгопечатаніе — прежде, чѣмъ приняла его; она запрещала переводить священныя книги на языкъ народный; стѣсняла философію, когда она перешла изъ ея аудиторіи въ самое общество; жгла сочиненія, которыя теперь составляютъ національную славу Франціи; она выгнала Декарта изъ отечества, и онъ умеръ на чужой землѣ; да и кто изъ геніальныхъ писателей, истинныхъ друзей человѣчества, не былъ ея жертвой и мученикомъ? Она мѣшала каждому благотворному нововведенію; на ея совѣсти лежитъ кровавая память французской инквизиціи; одного этого пятна нельзя смыть никакими заслугами, еслибъ они и оказались. И ни въ чемъ Соборна не выказала такой непріязни прогрессу, какъ въ угнетеніи свободы совѣсти, этого краеугольнаго камня всякой цивилизаціи, всякаго разумнаго общества. Послѣ Испаніи, религіозная реформа нигдѣ не встрѣтила такого вѣроломства, іезуитизма въ своемъ гоненіи, какъ во Франціи. Университетъ прямо или косвенно участвовалъ во всѣхъ потрясающихъ драмахъ этихъ безчеловѣчныхъ бойнь, гдѣ тысячи людей, за различіе мнѣній, шли, подобно стадамъ, подъ топоръ палача. Правда, Сорбона сперва сама помогала появленію протестантизма; на констанскомъ и базельскомъ соборахъ она не щадила папскихъ злоупотребленій; но здѣсь дѣло шло только объ улучшеніи нравственной жизни духовенства и объ ограниченіи власти римской іерархіи: иго ея чувствовала на себѣ сама Сорбона. Когда же народы потребовали болѣе полной независимости своихъ религіозныхъ убѣжденій, университетъ измѣнилъ тактику; изъ преобразователя онъ обратился въ консерватора. Онъ началъ осужденіемъ Лютера, который, впрочемъ, глубоко презиралъ своихъ судей. Францискъ I учредилъ въ парламентѣ инквизиціонную комиссію, подъ названіемъ „огненной палаты", доктора Сорбоны были главными ея членами. Казни „еретиковъ" были повседневнымъ зрѣлищемъ; одно неосторожное слово губило отца со всѣмъ его семействомъ, отнимало сына у матери, разлучало брата съ сестрой. Имя Гугенота сдѣлалось предметомъ народнаго ужаса. Осужденные подвергались самымъ свирѣпымъ истязаніямъ; прежде, чѣмъ выводили ихъ изъ тюрьмы для выслушанія приговора, имъ отрѣзывали языкъ, чтобы они не бросили мимоходомъ слово ереси народу. Извѣстно, чего стоили Франціи избіенія послѣ амбуазскаго заговора, кровопролитіе Васси и ночь св. Варфоломея, и во всѣхъ этихъ случаяхъ Сорбона участвовала и совѣтомъ и дѣломъ. Она сравняла съ землей портъ-ройяльскій монастырь, въ которомъ воспитывались Леметръ и Расинъ; она превозносила Людовика XIV за его нантскій

эдиктъ; въ ея конференціяхъ составились тѣ уголовные законы, по которымъ, Вольтеръ, Дидро и многіе другіе были лишены должнаго погребенія, и тысячи семействъ не имѣли никакихъ гражданскихъ правъ.

Невѣротерпимость составляетъ самую черную страницу въ исторіи Сорбоны. И мы нисколько не преувеличимъ истины, если скажемъ, что все это было слѣдствіемъ средневѣковой схоластики. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему могло привесть ученіе, котораго отличительными чертами были: 1) отсутствіе умственнаго развитія, и 2) отчужденіе отъ всѣхъ практическихъ цѣлей общества.

Капитальнымъ недостаткомъ парижскаго университета, какъ и всѣхъ средневѣковыхъ школъ, была односторонность ученія. Естественныя науки были гонимы вмѣстѣ съ магіей; чтеніе древнихъ писателей — также; преподаваніе математическихъ наукъ сводилось къ одной ариѳметикѣ и первымъ проблемамъ геометріи, логика изучалась по категоріямъ Аристотеля; для философскихъ разсужденій были свои непремѣнныя формы, свои избитыя задачи; наконецъ, студенты обязаны были употреблять латинскій говоръ, что̀ уничтожало инстинкты ихъ материнскаго языка. И надъ всѣмъ этимъ тяготѣлъ авторитетъ доктрины: „такъ сказалъ божественный Аристотель", а дальше этого умъ человѣческій не смѣлъ идти. Отъ воспитанника требовалась не самостоятельная работа мысли, а запоминаніе цитатъ, текстовъ и безусловная вѣра въ то, что̀ сказано тѣмъ или другимъ учителемъ. Вслѣдствіе этой методы, изъ всѣхъ способностей души развивалась одна память, это огромное лукошко всякаго стараго хлама. Нельзя не изумляться, какой богатый запасъ эрудиціи былъ въ головахъ нѣкоторыхъ схоластиковъ, но эти головы походили на темный чуланъ съ книгами, изъ которыхъ хозяинъ не съумѣлъ сдѣлать никакого употребленія. Притомъ самое устройство школъ — сырыхъ и затхлыхъ, варварское обращеніе съ юношами, недостатокъ книгъ, все это противорѣчило нормальному развитію умственныхъ силъ. Потому, не удивительно, если по выходѣ изъ школы надо было стараться забыть все, что̀ было усвоено тамъ, и начать свое воспитаніе вновь. Декартъ именно такъ поступилъ. Въ разговорѣ о методѣ (Discours de la méthode) онъ разсказываетъ намъ, что на семьнадцатомъ году возраста, когда онъ взвѣсилъ мѣру своихъ знаній, то покраснѣлъ за свое невѣжество, и рѣшился перевоспитать себя. Необыкновенное терпѣніе побѣдило школьныя привычки и предразсудки; сомнѣніе и зоркость ума привели его къ великимъ открытіямъ. Конечно, не одинъ Декартъ чувствовалъ на себѣ эти учебныя кандалы, но многіе ли могли послѣдовать за нимъ? Бэконъ также вынесъ изъ школы полное отвращеніе къ ней; сама же схоластика вооружила его противъ себя.

Такое ученіе не могло имѣть ничего общаго съ практической жизнью. Оно не обработывало ни воли, ни нравственнаго чувства, ни даже здраваго смысла. Между тѣмъ, что̀ дѣлалось въ школѣ, и тѣмъ, что̀ проис-

ходило за стѣнами ея, лежала непроходимая бездна. Студентъ, пробывшій десять или двѣнадцать лучшихъ своихъ лѣтъ подъ схоластической ферулой, какъ свекла подъ прессомъ, становился страннымъ особнякомъ въ обществѣ. Школа удаляла его отъ наблюденій дѣйствительнаго міра и въ замѣнъ этого ничего не давала ему. Знанія своего онъ не могъ примѣнить къ самымъ обыкновеннымъ вещамъ. Оттого, между прочимъ, средніе вѣка были такъ бѣдны изобрѣтеніями, оттого наука не имѣла довѣрія въ глазахъ народа. Умный отецъ посылалъ своего сына въ университетъ не затѣмъ, чтобы онъ надѣялся видѣть его, дѣйствительно, образованнымъ, нѣтъ! а затѣмъ, чтобы исполнить форму, расквитаться съ общепринятымъ обычаемъ. И его сынъ возвращался домой тѣмъ педантомъ, котораго обезсмертилъ Мольеръ въ своихъ комедіяхъ. Тартюфы XVII вѣка были порожденіемъ Сорбоны.

Въ такомъ состояніи парижскій университетъ не могъ оставаться долго. Когда станокъ Гутенберга уничтожилъ монополію науки, открылъ ей двери въ самое общество, когда образованіе сдѣлалось возможнымъ внѣ школы, и реформація потрясла цѣпи умственнаго міра, Сорбона вдругъ падаетъ. Движеніе впередъ для нея было трудно, отступленіе назадъ невозможно. Потому со временъ Жерсона постоянно подаются проекты для преобразованія ея. Мы остановимъ вниманіе читателя на одной реформѣ, какъ болѣе радикальной и поучительной. Эта реформа была предпринята, въ половинѣ XVI вѣка, Рамусомъ или Рамэ.

Рамэ вышелъ изъ послѣднихъ рядовъ народа; онъ былъ слугой въ Наварской коллегіи, изъ милости допущенный къ урокамъ профессоровъ, потомъ самъ профессоръ, то жалуемый, то гонимый, то изгоняемый, то призываемый, всегда преслѣдуемый подозрѣніемъ, повсюду окруженный врагами, онъ наконецъ погибаетъ въ варфоломеевскую ночь, какъ протестантъ, и какъ защитникъ Платона.

Рамэ былъ старшимъ наставникомъ прельской школы и преподавателемъ во французской коллегіи, только-что основанной королемъ. Огромная зала этой коллегіи всегда была полна слушателей, когда Рамэ читалъ свои лекціи. „Послѣ Абелара, говоритъ Бидингтонъ, — никогда не видѣли столь блистательнаго и выдержаннаго успѣха“ (Ramus, par Waddington 107). Здравый профессоръ занималъ каѳедру по факультету искусствъ. Одаренный реформаціонными способностями, одушевленный благородными инстинктами своей эпохи, онъ рѣшился, говоритъ его біографъ, „освободить умъ человѣческій отъ игъ Аристотеля и отъ схоластической тьмы, упростить изученіе наукъ, популяризировать ихъ, излагая на языкѣ народномъ, поощрять во Франціи занятіе математикой, оградить свободу мысли благородными и полезными трудами, указать, наконецъ, философіи ея настоящій путь, предписавъ ей наблюденіе человѣческой природы“ (Ramus, par Waddington, p. 389). Изученіе Платона и собственныя его опыты убѣждали Рамэ, что корень зла лежитъ

въ схоластикѣ; поэтому онъ направилъ первый ударъ противъ Аристотеля и его перетолкованной логики. Но что значило въ эту пору возстать противъ Аристотеля? Значило объявить себя врагомъ среднихъ вѣковъ, всего ученаго сословія Европы, отдѣлиться отъ всѣхъ системъ, одному бороться съ тьмой всевозможныхъ тартюфовъ науки. Рамэ понималъ всю важность своего предпріятія. „Такъ какъ для пользы истины, писалъ онъ, — мы завели борьбу съ софистами, то есть, врагами истины, то не только трудамъ и всѣмъ опасностямъ мы подвергаемъ себя, чтобъ до послѣдняго камня разрушить эти вертепы лжецовъ, но еслибъ было нужно, мы готовы принять неустрашимую и славную смерть". Пророчество его сбылось. Еще на двадцать первомъ году жизни, по случаю университетскаго диспута, онъ представилъ разсужденіе, въ которомъ хотѣлъ доказать, что „сочиненія Аристотеля подложны и — что все, чему онъ учитъ — вздоръ". Эта смѣлая и слишкомъ рѣзкая выходка молодаго студента привела въ замѣшательство его наставниковъ. Дѣло было замято, но Рамэ не останавливался. Въ 1543 году вышли въ свѣтъ два лучшія его сочиненія (Institutiones dialecticae и Animadversiones in dialecticam Aristotelis), въ которыхъ онъ дальше развилъ свои прежнія положенія. Неумолимая критика схоластики разбудила Сорбону; доктора гвалтомъ поднялись противъ автора. Не только во Франціи, но и по ту сторону Альпъ и Пиреней явились противники Рамэ. Полемика приняла такой серьезный характеръ, что король счелъ нужнымъ нарядить особенную комиссію изъ пяти человѣкъ для рѣшенія ученаго спора; составленъ былъ протоколъ, по которому „покровитель наукъ", Францискъ I, обвинилъ Рамуса и заставилъ его замолчать. Университетъ былъ недоволенъ рѣшеніемъ, онъ хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, сослать на галеры бунтовщика. За всѣмъ тѣмъ, сорбонисты неистово возрадовались своей побѣдѣ, „какъ будто, замѣчаетъ Паскье, — былъ завоеванъ большой городъ"; вездѣ были прибиты афиши на латинскомъ и французскомъ языкахъ, для всеобщаго свѣдѣнія о пораженіи Рамэ; въ коллегіяхъ выставили его сочиненія на показъ и покрыли его оскорбительными насмѣшками; одинъ фанатикъ, если не ошибаемся, Данесъ, сжегъ обвиненныя книги передъ камбрейской школой, и человѣкъ, котораго имя съ уваженіемъ теперь произноситъ образованный французъ, былъ обозванъ врагомъ религіи и общественнаго спокойствія. При всемъ томъ, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, Рамэ выигралъ свой процессъ; его поддержало своей горячей симпатіей молодое поколѣніе и помогли внѣшнія обстоятельства. Аристотель невозвратно упалъ въ общественномъ мнѣніи. И этому паденію особенно содѣйствовалъ Платонъ; изученіе греческаго языка, начатое въ Италіи, и знакомство съ философіей ученика Сократа, перенесенной изъ Константинополя [1]) въ великолѣпные сады

[1]) Платонъ почти вовсе не былъ извѣстенъ въ средніе вѣка на Западѣ; напротивъ,

Косьмы Медичиса, наконецъ, общее настроеніе умовъ, жаждавшихъ живаго знанія, все это вмѣстѣ подорвало кредитъ перипатетика и его школы.

Такъ Сорбона встрѣтила одну изъ самыхъ благотворныхъ реформъ. Впослѣдствіи, съ тѣмъ же непостижимымъ упорствомъ, она старалась забить всѣ щели, чрезъ которыя проходилъ въ нее новый свѣтъ. Чрезъ восемдесятъ лѣтъ послѣ Рамэ, она выхлопотала у парламента государственный декретъ, по которому, подъ угрозой смертной казни, было запрещено дотрогиваться до Аристотеля. (Idem. p. 54). Но законъ—пустой звукъ, если онъ идетъ наперекоръ потребностямъ народнаго духа. Авторитетъ Сорбоны — съ каждымъ днемъ больше и больше ослабѣвалъ, и голосъ ея часто вопіялъ въ пустынѣ.

Метода Рамэ была принята другими учебными заведеніями, которыя въ это время быстро распространялись и существовали независимо отъ университета. Іезуиты, уволенные папой Юліемъ III отъ университетскаго надзора, разбросили свои тенеты изъ клермонской коллегіи по всей Франціи. Они употребили ученіе орудіемъ своей пропаганды, и потому не щадили никакихъ средствъ для привлеченія юношества; дѣйствуя на его фантазію и чувство, они нравились своимъ питомцамъ, которые охотно сосали медленный ядъ подъ розовой оболочкой. Въ то же время начала дѣйствовать французская коллегія; она первая ввела методу Рамэ, и тому была обязана своимъ превосходствомъ надъ Сорбоной, которая остается за ней и до настоящей минуты.

Послѣ Рамэ и до конца прошлаго вѣка мы видимъ рядъ новыхъ попытокъ преобразовать ученіе парижскаго университета. Такъ, при Генрихѣ IV изданъ былъ особенный регламентъ, по которому введено было преподаваніе древнихъ классиковъ: Гомера, Гезіода, Пиндара, Платона и Демосѳена; при Ролланѣ, который былъ двадцать лѣтъ ректоромъ Сорбоны и подъ руководствомъ котораго учился нашъ „піита“ Тредьяковскій, былъ данъ толчекъ историческимъ наукамъ; въ 1712 году потребовали для университета *національнаго образованія*, которое бы отвѣчало условіямъ народной жизни. Ролланъ (Rolland) доказывалъ необходимость спеціальныхъ заведеній, морскихъ, коммерческихъ и ремесленныхъ школъ и равномѣрнаго образованія во всѣхъ классахъ и сословіяхъ. Но всѣ эти улучшенія и попытки или не осуществились или были такъ слабы, что самый духъ ученія остался неприкосновеннымъ. Впрочемъ, это — обыкновенный удѣлъ полумѣръ и частныхъ измѣненій, когда учебное заведеніе поставлено на ложномъ основаніи: сколько ни украшай и какъ ни перестроивай больницу, безъ лекарствъ и хорошихъ медиковъ — она отсылаетъ прямо на кладбище....

на Востокѣ, въ византійской имперіи, онъ господствовалъ въ наукѣ. Этой чертой, между прочимъ, опредѣляется различіе умственныхъ направленій того и другого міра. Вліяніе Платона отразилось и на древней русской литературѣ, для которой этотъ вопросъ чрезвычайно важенъ.

Мы именно пришли къ кладбищу старой Франціи. Ураганъ революціи унесъ съ собой Сорбону и вмѣстѣ съ ней двадцать два другихъ французскихъ университета. Отсюда начинается новый періодъ въ исторіи общественнаго образованія Франціи.

Эпоха девяностыхъ годовъ открыла доступъ общественному мнѣнію, и потому была богата и дѣятелями и идеями. Среди радикальнаго перелома въ государственномъ организмѣ, вопросъ о воспитаніи не могъ остаться незатронутымъ; онъ обратилъ на себя особенное вниманіе гораздо раньше [1]), но съ 1790 года онъ получаетъ оффиціальное значеніе. Со всѣхъ сторонъ раздались голоса въ его пользу. Первый и самый полный проектъ, который обнималъ реформу отъ нисшихъ школъ и до французскаго института, былъ представленъ Талейраномъ. Будущій дипломатъ предлагалъ отдѣлить гражданское образованіе отъ католической церкви и дать стройное развитіе всѣмъ силамъ человѣка — физическимъ, умственнымъ и нравственнымъ. Вслѣдъ за Талейраномъ, Кондорсе предложилъ законодательному собранію новый планъ. Авторъ „Картины прогресса ума человѣческаго" (Tableau des progrès de l'esprit humain) вооружался противъ безполезнаго и слишкомъ долгаго изученія древнихъ языковъ, совѣтовалъ замѣнить ихъ иностранными и вообще предметами, болѣе полезными въ жизни. Впослѣдствіи эта теорія возбудила жаркіе споры въ педагогикѣ и перешла въ знаменитую полемику романтиковъ съ классиками. Конвентъ потребовалъ отъ родителей спартанской жертвы — воспитывать дѣтей до двѣнадцатилѣтняго возраста вмѣстѣ и на счетъ республики. Наконецъ, Дону организовалъ національный институтъ, подалъ мнѣніе объ основаніи нисшихъ школъ и защищалъ не только свободу домашняго и общественнаго воспитанія, но и свободу методъ. „Въ искусствѣ развивать умственныя способности, говорилъ онъ, — есть бездна неуловимыхъ тайнъ, такихъ подробностей, которыя нельзя подвести ни подъ какія опредѣленныя правила. Притомъ нѣтъ надобности стѣснять частную дѣятельность опытныхъ преподавателей".

Извѣстно, что отличительнымъ характеромъ этой эпохи было преобладаніе теоріи надъ практикой. Умы, раздраженные философіей XVIII вѣка, создали воображаемый міръ, которому они хотѣли дать, въ нѣсколько дней, дѣйствительную жизнь; но дѣйствительность не приняла его, и многіе замыслы, несмотря на свое прекрасное начало, остались праздными мечтами. Этотъ фактъ отразился и въ реформахъ воспитанія. Когда возникли центральныя школы, по одной въ каждомъ департаментѣ, математическія науки были поставлены на первомъ мѣстѣ въ преподаваніи; исторія была исключена, какъ масса предразсудковъ, вредныхъ

[1]) Изгнаніе іезуитовъ изъ Франціи, конфискація ихъ имѣній и закрытіе школъ, ими основанныхъ, составляетъ важную перемѣну въ исторіи французскаго образованія, не только въ парижскомъ университетѣ, но вообще въ учебныхъ заведеніяхъ Франціи. (Etudes sur l'instruction secondaire. Par Gasc).

юношеству; вознагражденіе учителей было увеличено, такъ что профессоръ центральной школы долженъ былъ получать наравнѣ съ управителемъ департамента; но когда дѣло дошло до осуществленія этого плана, онъ встрѣтилъ такъ много непобѣдимыхъ препятствій, что самъ собой рушился. И послѣ всѣхъ бурь и разрушеній, сохранили свое существованіе только два заведенія, основанныя среди самаго разгара революціи — политехническая и нормальная школы.

Главная цѣль первой состояла въ томъ, чтобы „образовать инженеровъ всѣхъ родовъ и возстановить преподаваніе точныхъ наукъ", которыя прекратились вслѣдствіе общественныхъ бѣдствій. Эта школа блистательно начала свою карьеру. Стеченіе рѣдкихъ талантовъ на ея каѳедрахъ, братскій союзъ учениковъ, доселѣ вѣрныхъ своимъ преданіямъ, возвели ее на степень образцоваго заведенія. Послѣ люневильскаго мира (въ 1801 г.), она была предметомъ общаго любопытства для иностранцевъ. Къ сожалѣнію, Наполеонъ скоро измѣнилъ ея устройство; въ 1804 г., онъ обратилъ ее въ военную и казарменную школу. Заведеніе надолго упало; въ немъ форма замѣнила духъ. За всѣмъ тѣмъ, оно оказало существенныя заслуги математическимъ наукамъ Франціи и разработкѣ ученыхъ методовъ. (Hist. de l'école polytéchn. par Fourcy).

Еще блистательнѣй начала свою дѣятельность нормальная школа, получившая значеніе высшаго педагогическаго института. Пятьсотъ воспитанниковъ, самыхъ способныхъ и испытанныхъ, были собраны въ нее со всѣхъ концовъ республики. Аудиторія ея была прославлена профессорами Лагранжемъ, Лапласомъ, Вольнеемъ, Бертолэ и Гира, которымъ французская наука остается признательной до настоящей минуты. Впослѣдствіи, нормальная школа, за-урядъ съ другими учрежденіями, ослабла и въ 1824 году была закрыта однимъ аббатомъ, возведеннымъ, за погашеніе французскаго образованія, въ званіе министра народнаго просвѣщенія. (Tableau histor. de l'instruction secondaire en France, par Kilian, p. 163). Открытая вновь, она окончательно сложилась во время министерства Вильмэня, который далъ ей полное административное и учебное устройство. Такимъ образомъ она доселѣ сохранила свое педагогическое назначеніе, приготовляя наставниковъ по всѣмъ факультетамъ парижскаго университета. Курсъ ея дѣлится на два главные отдѣла — литературный (des lettres) и чисто-ученый (des sciences) [1]), восходя постепенно отъ общихъ знаній къ строго спеціальнымъ. Эта спеціальность распредѣлена слѣдующимъ образомъ: въ первомъ или низшемъ классѣ, (каждый ограничивается однимъ годомъ) воспитанники проходятъ, въ болѣе обширномъ объемѣ то, что они изучали въ школахъ второго разряда, равныхъ нашимъ гимназіямъ. Въ слѣдующемъ классѣ преподается

[1]) Въ первомъ преподается литература, исторія и философія; во второмъ — математическія, физическія и естественныя науки.

философія и литература въ историческомъ ихъ развитіи; древняя исторія смѣняется исторіей среднихъ и новыхъ временъ. Наконецъ, третій годъ посвященъ однимъ спеціальнымъ предметамъ. Доселѣ ученики слѣдовали вмѣстѣ; теперь, сообразно своему призванію и успѣхамъ, они раздѣляются на двѣ группы, — одни идутъ по отдѣленію наукъ, другіе — по отдѣленію литературы. Профессоры, при изложеніи своихъ системъ, особенное вниманіе обращаютъ на методъ и критическую оцѣнку знанія, воспитывая будущихъ себѣ преемниковъ.

Въ 1855 году, по декрету министра народнаго просвѣщенія, въ нормальной школѣ прибавлено два высшіе класса, предназначенныхъ, какъ говорится въ этомъ оффиціальномъ документѣ, „для образованія докторовъ литературы (es lettres) и наукъ (es sciences). Студенты избираются изъ того же самаго заведенія, и ихъ можетъ быть не болѣе двѣнадцати. (Réglement. 1855. §§ 1 и 6).

Если разсматривать нормальную школу въ современномъ ея состояніи, она далеко недостигаетъ своего главнаго назначенія. Какъ единственное педагогическое учрежденіе Франціи, она даетъ каждогодно только двѣнадцать воспитанниковъ для занятія профессорскихъ каѳедръ. Этого слишкомъ недостаточно для восьмидесяти тысячь учащагося юношества. Конечно, университетъ отчасти восполняетъ этотъ недостатокъ; но онъ не занимается педагогикой и, слѣдовательно, отклоняетъ отъ себя всякую отвѣтственность въ приготовленіи способныхъ наставниковъ. Его дѣло учить, но не воспитывать. Послѣ этого понятно, почему въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, тамъ, гдѣ должны быть особенно опытные преподаватели, теперь бо̀льшей частью находятся церковники, которымъ учительская карьера служитъ временнымъ переходомъ къ полученію приходскихъ должностей. Кромѣ того, самый составъ ученія нормальной школы поражаетъ насъ своей нескладицей. Такъ, напримѣръ, при вступительномъ экзаменѣ требуется отъ ученика, чтобы онъ написалъ латинскіе стихи въ присутствіи самой комиссіи. Писать стихи по заказу — это значитъ молиться Богу по приказанію. Притомъ, греческому и латинскому языку опредѣлены четыре часа въ недѣлю, а своему родному — одинъ; такъ, что баккалавръ литературы очень часто выходитъ изъ заведенія, не умѣя правильно писать по-французски. Наконецъ, замѣтимъ, что нормальная, какъ и политехническая школы — закрытыя, что̀, по выраженію Брума, равняется желѣзнымъ клѣткамъ съ ручными попугаями. Въ закрытой школѣ, если угодно, можно получить кой-какое научное образованіе, но никогда воспитанія; его даетъ только мать и общество; а безъ воспитанія самый мудрый педагогъ — не больше, какъ ловкій репетиторъ чужихъ мыслей и затверженыхъ страницъ.

Есть, впрочемъ, двѣ хорошія стороны въ нормальной школѣ, которыя уцѣлѣли отъ ея прошлыхъ лучшихъ дней. Такъ какъ иностранные языки не преподаются въ ней, то ученикамъ дана свобода собираться,

[illegible] руки [illegible] и [illegible] [illegible] своимъ [illegible]. [illegible] научаетъ [illegible] къ [illegible] труду и [illegible]. Затѣмъ, воспитанникамъ предоставлено право, съ позволенія министра, предпринимать [illegible] путешествія для изслѣдованія и разработки избранныхъ [illegible]. ([illegible] 1858, § [illegible]). Но [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] Платона [illegible] школу; [illegible] [illegible] одного [illegible]; поставьте [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] до [illegible].

Мы [illegible] этихъ двухъ заведеній, потому что они тѣсно связываются съ университетомъ. Нормальная школа — правая рука его. Возвратимся [illegible] назадъ...

Съ паденіемъ центральныхъ школъ, консульское правленіе приступило къ новой реформѣ общественнаго воспитанія, сосредоточивъ особенное вниманіе на среднихъ учебныхъ заведеніяхъ (les écoles secondaires), которыя и по сю пору живутъ подъ вліяніемъ этихъ постановленій. Въ 1802 году, 1 мая, былъ изданъ законъ, по которому возникли 40 лицеевъ, 378 коммунальныхъ и 361 частная школа, — всего 785 заведеній втораго разряда. Высшее управленіе надъ ними было ввѣрено тремъ генеральнымъ инспекторамъ. Главными предметами лицейскаго ученія были латинскій языкъ и математика. Изящная литература, воспитавшая Францію XVIII вѣка, была отодвинута на заднiй планъ; исторія и философія были совершенно отмѣнены. Мысль перваго консула, котораго только четыре года отдѣляли отъ императорской короны, ясно проглядывала въ этомъ планѣ. Ему нужны были прежде всего солдаты, а потомъ граждане... Такимъ образомъ, по волѣ Наполеона, народное образованіе приняло строго военный характеръ. „Въ лицеяхъ, говоритъ Гаске, учили нравственности подъ барабанъ". (Etudes sur l'instr. second., par [illegible], p. 30). Въ основу ея, однакожъ, авторъ „Конкордата" положилъ католическую религію, и снова допустилъ духовенство къ участію въ общественномъ воспитаніи.

Поколѣніе, образованное въ духѣ этихъ одностороннихъ школъ, всего меньше дало Франціи замѣчательныхъ людей, которыми былъ такъ богатъ періодъ консульства. Гениальный вождь собиралъ побѣдные лавры съ помощью питомцевъ [illegible] Руссо и Даламбера, а выдалъ былъ врагамъ [illegible] учениками. Такова участь государственныхъ [illegible]!

Съ [illegible] другой мыслью Наполеона было учрежденіе университета, который [illegible] съ старой монархіей и поднялся съ новой имперіей. [illegible] силы въ одинъ центръ верховной [illegible] императора [illegible] университету его прежнее зна-[illegible] Въ 1808 году, государственный совѣтъ, въ которомъ присутство-

валъ самъ Наполеонъ, двумя параграфами опредѣлилъ цѣль и направленіе будущаго учрежденія. Декреты отъ 1808 — 1811 года окончательно устроили его. Университетъ образовалъ обширное и независимое сословіе, послѣ государства и церкви самое сильное, въ рукахъ котораго сосредоточились всѣ отдѣльныя отрасли общественнаго образованія и воспитанія. Ему же былъ ввѣренъ высшій контроль надъ умственнымъ и нравственнымъ состояніемъ всѣхъ учебныхъ заведеній; безъ предварительнаго дозволенія его нельзя было открыть ни одной школы; онъ назначалъ наставниковъ и инспекторовъ, раздавалъ ученыя степени и награды, наблюдалъ за частными пансіонами, однимъ словомъ, безусловно распоряжался головой и сердцемъ Франціи. Такъ, свобода воспитанія, дорого купленная предъидущей эпохой, исчезла. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ систему университетской администраціи закралось финансовое злоупотребленіе, которое со временемъ достигло колоссальныхъ размѣровъ и въ тридцатыхъ годахъ вызвало противъ себя негодованіе всей страны. Злоупотребленіе состояло въ установленіи денежной пошлины, которую получалъ университетъ отъ содержателей частныхъ школъ за право открытія ихъ, отъ воспитанниковъ — за право образованія ихъ. (Les lois relatives à l'université. 1806 — 1811). Вся тяжесть этихъ произвольныхъ налоговъ, разумѣется, падала на бѣдныя сословія, которымъ особенно было необходимо просвѣщеніе, потому что для богача и аристократа оно составляетъ роскошь, для земледѣльца и ремесленника — честный насущный кусокъ хлѣба. „Университетская монополія, писалъ Гаскъ въ 1844 году, — поражаетъ всѣ учебныя заведенія и семейства; она душитъ всякое благородное соревнованіе подъ эгоистической и хищной рукой, которая достаетъ даже книгопечатаніе и книжную торговлю. Нарушая самые святые законы справедливости, она отнимаетъ всякое средство къ усовершенствованію у посредственныхъ состояній, образуя аристократію — денежную, прикрывая это имя пышнымъ названіемъ „аристократіи умственной".

Такимъ образомъ наполеоновскій университетъ сдѣлался въ одно и то же время учрежденіемъ деспотическимъ и продажнымъ. Его монополія не только загородила дорогу многимъ талантамъ, но она развратила сословіе самихъ профессоровъ. Желая извлечь большую выгоду изъ продажи дипломовъ, они обезпечивали свой годовой доходъ снисходительностью и потворствомъ на экзаменахъ, и тѣмъ обратили Сорбону въ мастерскую докторскихъ и бакалаврскихъ пергаментовъ.

Чтобы явиться въ полномъ прежнемъ видѣ, съ физіономіей XV вѣка, университету не доставало одного — духовно-католическаго контроля. Реставрація не замедлила сравнять его съ старой Сорбоной и въ этомъ отношеніи.

За отреченіемъ Наполеона и завоеваніемъ Парижа союзными войсками, настаетъ государственная реакція — эпоха колебаній, жалкихъ полумѣръ, страха, соединеннаго съ подозрѣніемъ и подозрѣнія, нечуж-

даго подлости. Общественное образованіе подпало общей участи. Доселѣ оно было орудіемъ военнаго деспотизма, теперь становится органомъ католической партіи.

Реформа началась уничтоженіемъ лицеевъ, обращенныхъ въ „королевскія коллегіи"; учрежденіемъ семьнадцати новыхъ мѣстныхъ университетовъ, подчиненныхъ епископамъ; семинаріи освобождены отъ гражданской власти, низшія школы отданы подъ непосредственный надзоръ духовныхъ лицъ, наконецъ, высшее управленіе народнымъ образованіемъ ввѣрено аббату Фрейсину (Frayssinous), впослѣдствіи епископу Гермополису. Фрейсину, іезуитъ въ душѣ, ловкій куртизанъ по наружности, человѣкъ, для котораго политика Макіавелли была бы слишкомъ слабымъ выраженіемъ вѣроломства, заподозрилъ науку, какъ врага вѣры. Онъ желалъ дать Франціи чисто-религіозное воспитаніе; съ этой цѣлью онъ уничтожилъ „нормальную школу", которую считалъ гнѣздомъ вреднаго либерализма, присоединилъ совѣтъ епископовъ къ университету, для наблюденія за направленіемъ учебныхъ заведеній, и возстановилъ прежнюю цензуру для литературы. Эта реформа уронила Францію въ ея собственномъ мнѣніи; въ десять лѣтъ, не больше, она отступила назадъ цѣлымъ вѣкомъ. Въ воспитаніи насталъ произволъ необузданный; многіе достойные профессора лишились каѳедръ; ихъ замѣнили церковники, не имѣвшіе даже обыкновенныхъ ученыхъ степеней; 1,500 ланкастерскихъ училищъ (взаимнаго обученія), обязанныя своимъ развитіемъ частной предпріимчивости, исчезли; іезуиты снова разсыпали по Франціи свои школы и миссіи; молодое поколѣніе съ жадностью искало однихъ чиновническихъ мѣстъ, забывъ серьезные интересы жизни. Система обскурантизма такъ далеко простиралась, что королевскому совѣту былъ представленъ проектъ, въ силу котораго требовали: 1) высшаго образованія для однихъ аристократовъ, подъ руководствомъ церкви и 2) совершеннаго невѣжества низшихъ сословій. Франція стояла недалеко отъ того нравственнаго убійства, которымъ австрійцы поразили Ломбардію въ наше время. (Les lois relat. á l'univ. 1818 — 1828. Tableau hist. de l'instr. secon. par Kilian. p. 80 — 119).

Но къ какимъ результатамъ привела эта реформа? Іюльскіе дни 1830 года отвѣчаютъ на этотъ вопросъ. Когда Карлъ X плылъ къ берегамъ Англіи, а Людовикъ Филиппъ всходилъ на ступени пошатнувшагося трона, Франція ввела новую конституцію, съ новой хартіей.

Съ перемѣной правленія, естественно, должна была измѣниться и система общественнаго воспитанія. Трибуна, журналистика, народный голосъ и даже церковная каѳедра возстали противъ старой учебной системы. Ее немедленно вырвали изъ рукъ католическаго духовенства и передали свѣтской власти королевскаго совѣта, въ которомъ засѣдали первые умы Франціи — Кювье и Тенаръ. Преобразованіе началось возстановленіемъ „нормальной школы", введеніемъ философскихъ и исто-

рическихъ наукъ, въ преподаваніи первыхъ латинскій языкъ замѣченъ французскимъ, — и обявленіемъ свободы ученія.

Замѣтимъ, что господствующимъ направленіемъ въ литературѣ этого времени была школа Сэнъ-Симона. Возбудивъ соціальные вопросы о собственности, трудѣ и отношеніи работника къ обществу, она обратила общее вниманіе на средніе и нисшіе классы, воспитаніе которыхъ сдѣлалось главной задачей. Политическая экономія поставила аксіомой ту истину, что „увеличеніе народнаго богатства всегда идетъ въ прямомъ отношеніи съ развитіемъ умственныхъ силъ народа". Между тѣмъ, недостатокъ элементарнаго образованія среди ремесленныхъ сословій былъ такъ ощутителенъ, что ему приписывали всѣ несчастія государственныхъ кризисовъ. Вслѣдствіе того, дальнѣйшія реформы направлены были преимущественно къ распространенію и улучшенію народныхъ школъ.

Въ исторіи французской монархіи не было ни одной эпохи, столь благопріятной народному воспитанію, какъ правленіе Людовика-Филиппа, если смотрѣть на него со стороны внѣшнихъ фактовъ. Въ самомъ дѣлѣ, какое рѣдкое стеченіе блистательныхъ талантовъ на поприщѣ умственной дѣятельности. Отъ 1832 — 1848 года, министрами общественнаго образованія являются знаменитые ученые, писатели, извѣстные всей Европѣ: Гизо, Сальванди, Вильмэнь, Кузенъ и снова Сальванди. Кто могъ подумать, что они обманутъ надежды народа, изъ сферы котораго они вышли? Кто могъ сомнѣваться въ ихъ способности править дѣломъ, на которое они, кажется, были призваны природой, испытанной любовью къ наукѣ, всѣми нравственными инстинктами души. И между тѣмъ, если сдѣлаемъ нѣкоторое исключеніе въ пользу Сальванди, дѣятельность послѣднихъ равняется, немногимъ больше, чѣмъ нулю. Гизо (1832 — 1837), совѣтуя королю употребить трудъ, какъ самую прочную узду для народа, считалъ образованіе его не нужнымъ, и въ то же время, по какому-то странному софизму, хотѣлъ привесть его „въ гармонію съ прогрессомъ современнаго общества". Онъ поступилъ въ этомъ случаѣ хуже, чѣмъ эгоистъ. Потому всѣ его предположенія относительно организаціи нисшихъ школъ и университетскаго ученія носятъ характеръ двойственности и противорѣчій (Projet de loi sur l'instr. publ. 1853. февр.). Неужели авторъ „Цивилизаціи Европы" могъ искренно думать, что невѣжество массъ можетъ быть когда-либо полезно обществу? Не оно ли парализировало лучшія стремленія предыдущихъ вѣковъ! Не оно ли было источникомъ бѣдствій той страны, которая швейцарскому выходцу дала имя, славу и богатство? Неужели нужно было сдѣлаться министромъ вялаго короля, чтобъ измѣнить самымъ задушевнымъ убѣжденіямъ. Но Гизо былъ понятъ, и, конечно, никто и не падалъ такъ низко въ общественномъ мнѣніи, какъ онъ. Вильмэнь (1839—1840) отличался столько же безпечностью, сколько недальновидностью въ своей высокой обязанности. Все, что онъ могъ сдѣлать впродолженіе одного года, — измѣнить нѣкоторые курсы, раз-

граничить отдѣлы наукъ, выразить особенную симпатію къ классическому образованію, которое онъ полагалъ существенной формой національнаго воспитанія, и перенесть „Нормальную школу“ изъ одной улицы въ другую. Министерство его назвали *министерствомъ фразъ*; это названіе можно примѣнить и ко всей ученой дѣятельности Вильмэня. Изъ рукъ его былъ принятъ портфель В. Кузэномъ. Воспитанникъ нѣмецкаго университета, ученикъ Гегеля, изучавшій различныя системы воспитанія въ Германіи и Бельгіи, оказался рѣшительнымъ противникомъ прогресса. Въ палатѣ перовъ онъ защищалъ университетъ, оправдывалъ его монополіи и старыя ошибки, называлъ Сорбону образомъ всей Франціи. Какъ профессоръ философіи, онъ хотѣлъ навязать свою эклектическую систему всѣмъ коллегіямъ и увеличить курсъ ея въ университетѣ. Извѣстно, что эта философія, фантасмагорія всевозможныхъ ученій, перепутала послѣднія здравыя понятія въ юношескихъ головахъ. Кузэнъ былъ вдвойнѣ побѣжденъ и временемъ и критикой. Какъ ученый и какъ министръ, онъ никогда не поднимался выше чужихъ мнѣній (Défense de l'univers. et de la philos. par Cousin, 1845). Гораздо полезнѣй и оригинальнѣй была дѣятельность Сальванди (1837—1839). Ему обязано народное образованіе изученіемъ новѣйшихъ языковъ, которые доселѣ находились въ крайнемъ пренебреженіи, болѣе равномѣрнымъ распредѣленіемъ казенныхъ суммъ между коллегіями, устройствомъ конкурсовъ, щедрой наградой даровитымъ воспитанникамъ и личнымъ его покровительствомъ молодымъ талантамъ; а главное — горячей и благородной защитой свободы воспитанія (Tableau histor. de l'inst. second, par Kilian. Min. de Salv.).

Впрочемъ, во всѣхъ этихъ преобразованіяхъ, университетъ былъ обойденъ. До его коренныхъ основъ не коснулся ни духъ времени, ни общественныя реформы. Несмотря на вопіющій протестъ, онъ удержалъ за собой привиллегіи монополій до 1849 года; ихъ не уничтожили ни хартія, ни послѣдующія министерства. Франція пріобрѣла, говоритъ французскій педагогъ,—независимость промышленности, независимость книгопечатанія, независимость индивидуальную, свободу религіозную, но главную основную свободу общественнаго образованія забыла, — забыла первую національную свободу... Она давно чувствовалась во Франціи, она составляетъ естественное и необходимое слѣдствіе всѣхъ прочихъ политическихъ и религіозныхъ реформъ (Etudes hist. et crit. sur l'instr. second, par Gasc. p. 411).

Между тѣмъ, какъ духъ университетскаго ученія впродолженіе сорока лѣтъ противился всѣмъ нововведеніямъ, или, справедливѣе сказать, отстаивалъ свою рутину изъ корыстныхъ разсчетовъ, преподаваніе его было обременяемо различными формами, большей частью мелочными и безплодными; такъ вводили новые пріемы экзаменовъ, перемѣщали факультеты, сокращали или увеличивали курсы, предписывали методы, руководства и программы. Мы не говоримъ, чтобъ все это было безпо-

лезно; напротивъ, чѣмъ подробнѣй опредѣляется учебная дѣятельность, тѣмъ правильнѣй она идетъ; но заниматься формой исключительно и упускать изъ виду главныя и существенныя части заведенія — это значитъ не преобразовывать, а запутывать дѣло. Представьте себѣ умную мать, которая воспитываетъ своихъ дѣтей: она не составляетъ программъ, не назначаетъ курсовъ и уроковъ, а вліяніе ея на дѣтяхъ замѣтно во всемъ; ея взглядъ, слово, движеніе — все переходитъ въ нравственное существо дитяти, потому что между имъ и его матерью есть внутренняя связь, сила ума и воли. Въ образованіи, какъ въ религіи, всякое насиліе, всякое стѣсненіе, ведетъ къ лицемѣрію и лжи. Въ этомъ убѣждаютъ насъ ежеминутные педагогическіе опыты: самый плохой наставникъ, обыкновенно, бываетъ тотъ, который привязывается ко всѣмъ мелочамъ въ своемъ питомцѣ, и самый бездарный питомецъ тотъ, кто съ ослинымъ терпѣніемъ все это переноситъ. Парижскій университетъ всегда обвиняли въ двухъ недостаткахъ: — въ однообразіи ученія его, не отвѣчающаго новымъ потребностямъ времени. Если студентъ не избираетъ медицинскаго или юридическаго факультета, онъ не выноситъ почти никакихъ познаній, приложимыхъ къ жизни. Въ этомъ, между прочимъ, скрывается зародышъ празднаго пролетаріата... Другой недостатокъ, какъ слѣдствіе долговременной монополіи, меркантильный духъ профессоровъ, которые часто смотрятъ на каѳедру, какъ на болѣе или менѣе выгодную аренду.

Въ такомъ видѣ, университетъ по слѣдамъ новой Имперіи вошелъ въ общую систему министерства народнаго просвѣщенія. Правда, его освободили отъ постыднаго сбора налоговъ съ ума человѣческаго, но ему не дали новой жизни.

Мы застали его въ самомъ жалкомъ состояніи. Аудиторія, то есть, слушатели попрежнему любознательны. Въ этомъ случаѣ нельзя обвинять французское юношество; съ энтузіазмомъ, съ слезами на глазахъ, оно встрѣчаетъ всякую благородную мысль профессора; оно ободряетъ его труды полнымъ сочувствіемъ и громкими рукоплесканіями. Старики, отроки, женщины, люди всѣхъ состояній спѣшатъ въ залу хорошаго преподавателя. И объявите сегодня, что Мишлэ или Кине взойдетъ на каѳедру Сорбоны, весь латинскій кварталъ соберется у дверей аудиторіи. Къ сожалѣнію, мы не видимъ теперь истинно даровитыхъ профессоровъ; они отказались отъ своихъ должностей изъ уваженія къ своему достоинству или удалены отъ нихъ, подъ разными предлогами. Молодые же преемники ихъ или стѣснены предупредительными условіями или, за неимѣніемъ солидныхъ знаній, ищутъ популярности на счетъ внѣшняго лоска, обращая аудиторію въ театръ пустыхъ звуковъ. Рядомъ съ ними стоятъ уцѣлѣвшіе старики, для которыхъ наука — жалованье, лекція — ремесло. Ихъ никто или рѣдко кто посѣщаетъ, но они продолжаютъ читать — по привычкѣ.

Парижскій университетъ имѣетъ одно драгоцѣнное качество — публичность ученія. Двери его, подобно храму, отворены всѣмъ безъ всякаго различія и ограниченія, но публичное ученіе, во всякомъ случаѣ благодѣтельное, обладаетъ дѣйствительной силой только тогда, когда наставникъ дорожитъ честью науки и, образуя общественное мнѣніе, самъ первый принимаетъ его судъ. Для успѣховъ этого ученія необходимъ и превосходный профессоръ и развитая публика; иначе одинъ будетъ лгать, а другой — его повторять.

Въ настоящемъ общественномъ образованіи Франціи, насколько это можно разсмотрѣть сквозь замаску оффиціальныхъ документовъ, происходитъ поворотъ къ временамъ реставраціи. Число безграмотныхъ юношей въ послѣднее время увеличилось; воспитаніе въ женскихъ заведеніяхъ почти все перешло въ руки монахинь; питомицы іезуитовъ готовятъ будущихъ матерей и женъ. Недавно Арраскій епископъ предлагалъ не принимать въ школы дѣтей различныхъ вѣроисповѣданій (Presse 1866, 8 авг.), точно такъ же, какъ въ „Нормальной школѣ" иногда отказываютъ юношамъ, не способнымъ служить въ строю. Вездѣ снова барабанъ сзываетъ въ классы, на молитву и ко сну. Снова іезуитъ, во имя религіи, гонитъ свободу совѣсти и омрачаетъ мысль. Все это особенно прискорбно видѣть въ странѣ, измученной тяжкими опытами, въ Парижѣ, гдѣ есть женщина, но нѣтъ матери, гдѣ шестилѣтнихъ малютокъ отсылаютъ въ пансіоны, чтобъ избавиться отъ нихъ ради баловъ и визитовъ, гдѣ нравственные интересы подавлены грубо-матеріальной жизнью, гдѣ человѣкъ за рѣшеткой биржи не находитъ для себя ни вѣры, ни надеждъ, ни радости, ни горя...

1859 г.

ИМПЕРІЯ ДЕКАБРЬСКОЙ НОЧИ.

(„Парижъ и провинціи 2 декабря 1851 года", Эженя Тэно. „Разсказъ о переворотѣ 2 декабря" (изъ исторіи Крымской войны), А. В. Кинглэка. Спб. 1869 г.).

I.

Изъ всѣхъ реакцій, которыми такъ обиленъ девятьнадцатый вѣкъ, реакція, созданная переворотомъ во Франціи 2 декабря, была самая тяжелая по своимъ послѣдствіямъ для Европы. И кто же былъ виновникомъ ея? По мнѣнію Кинглэка, главнымъ дѣйствующимъ лицомъ переворота 2 декабря 1851 г. былъ „прокутившійся адъютантъ президента республики, полковникъ Флери, которому нужны были деньги, и кромѣ денегъ и хорошихъ лошадей ничего не было нужно отъ Франціи". Если принцъ Луи-Наполеонъ, говоритъ Кинглэкъ, былъ смѣлъ и изобрѣтателенъ въ придумываніи, то Флери былъ человѣкъ дѣйствія. Принцъ былъ ловокъ на то, чтобы подвести мину и начинить ее, а Флери — храбрецъ, готовый стоять у мины съ зажженнымъ фитилемъ и приложить его къ пороху, какъ слѣдуетъ... Онъ и Луи-Наполеонъ дополняли другъ друга и, будучи вмѣстѣ, они составляли чету съ такими отличными способностями для произведенія неожиданнаго взрыва, что, имѣя въ своемъ распоряженіи всѣ правительственныя средства, очень легко могли обратить странную грезу въ дѣйствительность" (стр. 345. Парижъ и провинціи). Такимъ образомъ громадный переворотъ, какой только видѣла Европа въ XIX вѣкѣ, по мнѣнію англійскаго историка, былъ совершонъ, въ сущности, человѣкомъ ничтожнымъ, способнымъ только рискнуть своею жизнію, какъ онъ рисковалъ прежде своимъ наслѣдственнымъ состояніемъ. Кромѣ отваги и дерзости, свойственной людямъ, неспособнымъ холодно разсуждать о послѣдствіяхъ своихъ поступковъ, у Флери не было за душою ни одного качества, которое могло бы поставить его

выше азартнаго игрока. Но для рѣшительной минуты, когда все было обдумано, взвѣшено, приготовлено — и нуженъ былъ только послѣдній ударъ, Флери составлялъ истинную находку для Луи-Наполеона. Въ критическіе моменты именно такіе люди и рѣшаютъ борьбу, и въ этомъ отношеніи Флери, дѣйствительно, былъ самымъ удачнымъ дополненіемъ Бонапарта.

Но прежде, чѣмъ сдѣлалась необходимой отважная рука, нужна было голова; прежде, чѣмъ произвести взрывъ, надо было устроить мину и собрать горючіе матеріалы для этого взрыва. Въ этомъ заключалась главная задача виновниковъ декабрьскаго переворота, и успѣхъ результата прямо зависѣлъ отъ приготовительной работы. Какъ Тэно, такъ и Кинглэкъ считаютъ исполнителемъ этой трудной роли самого президента республики; по мнѣнію Тэно, Луи-Наполеонъ съ первыхъ же дней своего вступленія въ должность президента сталъ обдумывать планъ декабрьскаго coup d'état и готовить средства для его исполненія. Когда онъ клялся въ вѣрности конституціи и въ преданности Франціи, въ душѣ его не было ни малѣйшаго искренняго желанія оставаться вѣрнымъ республикѣ и народу. Точно также думаетъ и Кинглэкъ; идея переворота и главныя нити этой обширной и искусно сотканной сѣти принадлежали Луи-Наполеону. „Когда онъ, говоритъ Кинглэкъ,—не нашелъ ни одного государственнаго человѣка, готоваго помогать ему, ни одного генерала, отвѣчающаго на его настоянія иначе, какъ словами: „я долженъ имѣть приказаніе отъ военнаго министра", онъ рѣшился „замѣнить этотъ планъ замысломъ совершенно иного рода и, наконецъ, попалъ въ руки такихъ людей, какъ Персиньи, Морни и Флери. Онъ сталъ обдумывать свои замыслы съ ними и, по случайности довольно странной, — характеръ и денежныя нужды его сообщниковъ дали энергію и опредѣленный видъ планамъ, которые безъ этой подталкивающей силы могли бы долго оставаться мечтами. Президентъ былъ щедръ на деньги для своихъ компаньоновъ и давалъ все, сколько могъ. Но конституція республики такъ успѣшно связала произволъ въ распоряженіи казною, что президентъ не могъ располагать никакими государственными деньгами, кромѣ суммы, выдаваемой ему закономъ... Въ началѣ 1851 года онъ очень просилъ законодательное собраніе увеличить суммы, назначенныя на его надобности. Ему отказали. Послѣ этого слѣдовало ждать, что еслибъ онъ самъ и удержался запустить руку въ казну, то сообщники, становясь съ каждымъ днемъ нетерпѣливѣе въ добываніи себѣ денегъ и съ каждымъ днемъ практичнѣе въ своихъ видахъ, скоро заставятъ своего *предводителя* дѣйствовать" (стр. 341). Такимъ образомъ и Тэно, и Кинглэкъ приписываютъ Луи-Наполеону руководящую роль въ подготовленіи переворота. Можетъ быть, онъ не рѣшился бы самъ на многія жестокости, сопровождавшія возстановленіе второй имперіи, можетъ быть, онъ отсрочилъ бы его, но во всякомъ случаѣ онъ былъ творцомъ знаменитой декабрьской ночи.

Но чтобы создать эту ночь и овладѣть всѣмъ ходомъ событій, рѣшившихъ судьбу всей Франціи, необходимо предположить въ Луи-Наполеонѣ или геніальнаго человѣка, который былъ бы въ состояніи поворотить исторію народа назадъ, или такого дѣятеля, который опирался бы на сочувствіе лучшей части французскаго общества. Въ первомъ случаѣ онъ могъ произвести переворотъ, подобно дядѣ своему, въ силу необыкновенныхъ личныхъ заслугъ, давшихъ ему авторитетъ и славу во мнѣніи массы; во второмъ — онъ могъ быть только орудіемъ преобладающей партіи и выразителемъ ея стремленій. Но ни Тэно, ни Кинглэкъ не придаютъ этого значенія Луи-Наполеону. Даже панегиристы его не видятъ въ немъ ничего выходящаго за обыкновенный уровень человѣческихъ характеровъ. Кинглэкъ зналъ его лично, долго жилъ съ нимъ вмѣстѣ въ Лондонѣ, видѣлъ его въ различныхъ положеніяхъ и пользовался нѣкоторымъ его довѣріемъ; поэтому характеристика Луи-Наполеона, сдѣланная Кинглэкомъ, имѣетъ для насъ особенную цѣну. Вотъ между прочимъ, что онъ сообщаетъ о личномъ характерѣ Луи-Наполеона. „Во Франціи вообще считали его человѣкомъ тупымъ. Когда онъ говорилъ, ходъ его мыслей былъ вялъ; черты его лица были пошлы; онъ много учился и думалъ, но его сочиненія не выказывали въ немъ свѣтлаго ума, хотя онъ очень усердно обработывалъ ихъ. Даже его приключенія не придали ему интересности, какую, обыкновенно, пріобрѣтаютъ авантюристы. Когда онъ жилъ въ Лондонѣ, тѣ лондонцы, которые любили собирать у себя людей съ извѣстностью, никогда не представляли его своимъ друзьямъ, какъ серьезнаго претендента на престолъ, а смотрѣли на него, какъ на какого-нибудь аэронавта, который два раза падалъ съ своего воздушнаго шара и все-таки остался, хотя до нѣкоторой степени, живъ и здоровъ. Онъ полюбилъ англійскія привычки, сталъ хорошимъ псовымъ охотникомъ и любителемъ конскихъ скачекъ. Онъ былъ любезенъ, общителенъ, мягокъ и веселъ и довольно охотно говорилъ о своихъ надеждахъ и видахъ на французскій престолъ... Долго, постоянно изучая сочиненія Наполеона I, онъ пріобрѣлъ манеру и привычку своего дяди смотрѣть съ-высока на французскій народъ, считать его просто матеріаломъ, изученіемъ и управленіемъ котораго занимается чужой этому матеріалу умъ. Въ долгіе годы его тюремнаго заключенія и изгнанія, отношеніе между нимъ и Франціею, которую онъ изучалъ, были очень похожи на отношенія между анатомомъ и трупомъ. Онъ читалъ лекціи о немъ, онъ разсѣкалъ его по суставамъ, онъ объяснялъ его отправленія, онъ показывалъ, какъ дивно природа, въ своей безконечной мудрости, приспособила это тѣло на службу династіи Бонапарта, и какъ безъ попечительности этихъ Бонапартовъ оно истлѣетъ и исчезнетъ съ лица земли".

„Если его умъ былъ менѣе, чѣмъ какой предполагали въ немъ во время англо-французскаго союза, то онъ былъ гораздо выше той тупой

ограниченности, какую приписывали ему въ прежнее время, начиная съ 1836 и до конца 1851 года. Люди долго не могли признать ловкости этого ума потому, что наука, надъ которою онъ работалъ, имѣла отталкивающій характеръ. И до него было много людей, унижавшихъ себя до внесенія обмана въ политику; еще больше людей, трудившихся на менѣе возвышенномъ поприщѣ, прилагавшихъ свою ловкость къ дѣламъ, занимающимъ собою суды исправительной полиціи и уголовные; но едва-ли кто-нибудь изъ людей нашего поколѣнія, кромѣ принца Луи-Бонапарта, проводилъ въ трудолюбивой юности и въ серьезной молодости цѣлые дни и часы, придумывая, какъ примѣнить стратагему къ юридической наукѣ... А когда онъ рѣшилъ быть претендентомъ на императорскій престолъ, то, разумѣется, ему нужно было обдумывать, какимъ же образомъ грубое бонапартовское иго 1804 года можетъ быть передѣлано такъ, чтобы мягко легло на шею Франціи. Франція — европейская держава; а иго въ сущности было такое, какое монголы наложили на китайцевъ, — изъ этого слѣдовало, что требуемая передѣлка должна быть просто поддѣлкою, коварствомъ".

„Итакъ, скорѣе отъ требованія своего наслѣдственнаго притязанія, чѣмъ отъ врожденной испорченности своего сердца, принцъ Луи-Наполеонъ сдѣлался обманщикомъ; требовать отъ него, чтобы онъ былъ не вѣроломенъ передъ Франціею, не отказавшись совершенно отъ своихъ претензій, было рѣшительною несообразностью. Цѣлые годы онъ изучалъ это странное ремесло и, усердно занимаясь, сталъ очень искусенъ въ немъ. Задолго передъ тѣмъ, когда открылась ему возможность примѣнить къ дѣлу его крючковатое мастерство, онъ уже научился тому: по какимъ правиламъ составляется конституція, которая на словахъ устанавливала бы одно, а на дѣлѣ другое. Онъ научился: какъ употреблять, напримѣръ, слово „судъ присяжныхъ" въ законахъ, отмѣняющихъ его, умѣлъ дѣлать ловушку изъ слова „вотированіе безъ ценза" (suffrage universel), зналъ, какъ отнять у націи свободу ночью посредствомъ вещи, которую онъ называлъ „плебисцитомъ"...

„Его постояннымъ желаніемъ было привлечь на себя удивленное вниманіе свѣта, а случайность рожденія указала ему на престолъ Наполеона I, какъ на предметъ, къ которому онъ можетъ прикрѣпить свою надежду; поэтому его жажда извѣстности начала казаться честолюбіемъ, хотя корень ея былъ просто въ тщеславіи. Но умственное уединеніе, въ которое онъ былъ поставленъ странностью той науки, надъ которою работалъ, кажущаяся бѣдность его ума, его деревянный взглядъ, а болѣе всего видимая отдаленность успѣха, всѣ эти сомнительныя обстоятельства, страннымъ своимъ контрастомъ съ громадностью его цѣли, заставляли людей видѣть въ его претензіи только комическую глупость. Съ страстнымъ желаніемъ взобраться на такую высоту, чтобы всѣ смотрѣли на него, въ немъ было соединено сильное, почти эксцентрическое

пристрастіе къ тѣмъ фокусамъ, которыми производитъ свои мелодраматическія продѣлки плохой драматургъ или актеръ. Такимъ образомъ, пристрастіе и фантазія влекли его придумывать сценическіе эффекты и сюрпризы, героемъ которыхъ онъ всегда ставилъ самого себя. Эта наклонность такъ сильно владычествовала надъ нимъ, что скорѣе можно видѣть въ ней искреннее расположеніе, а не просто страсть театральничать. Если бы она была одинока, то, вѣроятно, только придала бы особый характеръ его развлеченіямъ; но, по случайности, такой человѣкъ родился претендентомъ на французскій престолъ; его желаніе подражать Наполеону I и воспроизвести его имперію связало его фокусничество съ тѣмъ, что̀ можно назвать солиднымъ его честолюбіемъ; поэтому, когда онъ былъ изгнанникомъ, онъ постоянно былъ занятъ мыслію скопировать возвращеніе Наполеона съ Эльбы и разыграть это представленіе въ дѣйствительности, а не на сценѣ, и притомъ собственною персоною". (Стр. 325 — 333).

Изъ этой характеристики, основанной отчасти на личныхъ наблюденіяхъ Кинглэка, ясно видно, къ какому разряду характеровъ относится творецъ декабрьскаго переворота. Отъ геніальнаго человѣка, способнаго давать тонъ и направленіе историческимъ событіямъ, возвышаться надъ окружающими его обстоятельствами, — Луи-Наполеонъ былъ очень далекъ. Онъ могъ только пародировать своего дядю, замѣнивъ отвагу великаго полководца изворотливостью мелкаго адвокатскаго ума. А такого ума было слишкомъ мало не только для такого дѣла, какъ возстановленіе второй имперіи на развалинахъ республики, но и для такого комическаго предпріятія, какъ его страсбургскій заговоръ. Въ самомъ дѣлѣ, какому геніальному человѣку придетъ въ голову нарядиться въ мундиръ маренгскаго вождя, надѣть его извѣстную трехугольную шляпу, выставить поддѣльное знамя Наполеона I, и въ этомъ полушутовскомъ костюмѣ явиться передъ отрядомъ солдатъ, чтобы увлечь ихъ за собою нѣкогда любимымъ именемъ знаменитаго полководца. Положимъ, что эта попытка была сдѣлана Луи-Наполеономъ въ молодости, когда ему было только 28 лѣтъ; положимъ, что это былъ первый опытъ въ искусствѣ переодѣвать себя и другихъ изъ одного мундира въ другой и производить coup d'état съ помощью картонныхъ декорацій, но во всякомъ случаѣ этотъ фарсъ ниже всякой критики. Достаточно было имѣть нѣсколько здраваго смысла и вѣрнаго пониманія тогдашняго состоянія Франціи, чтобы удержаться отъ подобнаго предпріятія. Но Луи-Наполеонъ не остановился на первомъ опытѣ, какъ онъ ни былъ смѣшонъ и вреденъ для его репутаціи; онъ повторилъ его въ Булони, гдѣ онъ хотѣлъ разыграть новое возвращеніе съ Эльбы, но только въ новыхъ костюмахъ и съ новымы декораціями. „Пока онъ готовилъ, говоритъ Кинглэкъ, — поддѣльные флаги и поддѣльныхъ солдатъ, мундиры для его сообщниковъ были сшиты по образцу 42-го полка, квартировавшаго въ Булони,

и пуговицы съ этихъ нумеровъ были заказаны въ Бирмингамѣ; пока онъ училъ несчастнаго орла играть роль императорской птицы — предвѣщательницы успѣха, онъ занимался дѣломъ, въ которомъ былъ искусникъ; мастеръ онъ также былъ въ сочиненіи прокламацій и плебисцитовъ, составлявшихъ значительную долю груза, съ которомъ онъ поѣхалъ черезъ море во Францію, но онъ долженъ былъ знать, что если ему удастся пробраться, куда онъ задумалъ, то вѣдь онъ увидитъ себя поутру на дворѣ булонскихъ казармъ, окруженнаго толпою вооруженныхъ спутниковъ, поддерживаемаго однимъ изъ офицеровъ гарнизона, обѣщавшихся помогать ему; но что тутъ же будетъ стоять толпа солдатъ, изъ которыхъ одни будутъ за него, другіе противъ него, а третьи не будутъ знать, что имъ дѣлать. Такъ и случилось. Онъ устроилъ дѣло такъ ловко и счастливо, что куда хотѣлъ придти, туда и пришелъ; и вотъ онъ стоялъ, наконецъ, въ томъ самомъ положеніи, къ которому заботливо проложилъ себѣ дорогу. Но тутъ его характеръ выдалъ его. Онъ взволновался, растерялся — такъ онъ самъ говорилъ передъ палатою перовъ; по словамъ его, онъ былъ въ такомъ волненіи, что безъ всякаго съ его стороны намѣренія пистолетъ его выстрѣлилъ и ранилъ солдата, который былъ не противъ него; мысли его не сладили съ опасностью, смѣшались; въ немъ не было ни пылкости, ни удальства, которыя дѣлаютъ людей воинственными въ критическія минуты, и натурально, что онъ не годился управлять разгоряченными солдатами. Поэтому, когда, наконецъ, успѣлъ ворваться на дворъ казармы твердый и сердитый офицеръ, подполковникъ Пюижелье, — онъ почти въ одинъ мигъ уничтожилъ принца силою болѣе твердаго характера и выгналъ его на улицу, со всѣми его 50 вооруженными спутниками, и съ знаменемъ, и съ орломъ, и съ поддѣльнымъ императорскимъ штабомъ, — будто погналъ труппу бродячихъ актеровъ". (Стр. 339).

Таковы были первыя попытки Луи-Наполеона въ государственныхъ переворотахъ, которые онъ съ совершенно инымъ успѣхомъ увѣнчалъ декабрьскимъ ударомъ. Очевидно, что тамъ, гдѣ приходилось ему дѣйствовать одному, въ силу своего ума и характера, онъ представлялся въ жалкомъ и смѣшномъ видѣ. Роль авантюриста довольно странно смѣшивалась съ ролью политическаго агитатора, прикрывавшагося знаменитой тѣнью своего дяди. Къ этому нечего прибавлять, что геніальные люди могутъ дѣлать величайшія ошибки, но никогда не могутъ быть въ своихъ предпріятіяхъ смѣшными. Поэтому, ни теперь, ни послѣ, ни въ Булони, ни въ Страсбургѣ, тѣмъ болѣе въ Парижѣ, не по силамъ Луи-Наполеона была такая громадная политическая катастрофа, какъ декабрьскій coup d'état.

Но что же могло создать этотъ переворотъ и самого Наполеона III? Въ политическихъ катаклизмахъ очень часто случается, что человѣкъ самыхъ ограниченныхъ способностей, только благодаря ошибкамъ дру-

гихъ и чисто случайному стеченію обстоятельствъ, возвышается надъ всѣми и, удовлетворяя извѣстнымъ стремленіямъ господствующаго класса, упрочиваетъ свое положеніе. Франція уже не разъ видѣла во главѣ своего правительства подобныя личности, и какъ страна, лишенная твердаго политическаго воспитанія, легко относилась къ подобнымъ фактамъ. Мы увидимъ дальше, что Наполеонъ III былъ произведеніемъ именно такого порядка вещей. Поэтому странно слышать, что будто опорой его возвышенія было сочувствіе большинства лучшей части французскаго общества. Напротивъ, какъ мы видѣли выше, никто изъ людей, пользовавшихся народнымъ довѣріемъ, не хотѣлъ его слушать, и только ничтожная кучка авантюристовъ, въ родѣ промотавшагося берейтора Флери, примкнула къ его кружку, извѣстному подъ названіемъ „елисейской компаніи". Національное собраніе на первыхъ же порахъ стало сомнѣваться въ искренности президента республики, говорившаго одно, а дѣлавшаго другое. „Несмотря на ясныя завѣренія въ уваженіи къ конституціи, говоритъ Тэно, — и въ преданности республикѣ, Луи-Наполеонъ всегда былъ подозрѣваемъ многими въ желаніи возстановить имперію; не хотѣли думать, чтобы онъ, имѣя въ рукахъ такія могучія средства для захвата диктатуры, могъ устоять противъ соблазна повторить 18 брюмера" (стр. 33). И чѣмъ ближе подходила катастрофа, чѣмъ прозрачнѣе стали высказываться затаенныя намѣренія президента, тѣмъ больше онъ отталкивалъ отъ себя лучшихъ людей Франціи. Притомъ, три года его политической дѣятельности были такъ бѣдны сколько нибудь замѣчательными распоряженіями, такъ безцвѣтны по своимъ событіямъ, что общество стало смотрѣть на главу націи, какъ на самаго ограниченнаго правителя. „Изъ тысячи людей, говоритъ Кинглэкъ, — искренно желавшихъ, чтобы на мѣсто республики явилась власть диктатора, какого бы то ни было, лишь бы способнаго, почти никто не могъ повѣрить, что президентъ республики годится быть такимъ человѣкомъ" (стр. 340). Какъ мало вѣрили въ блестящую звѣзду Луи-Бонапарта даже парижскіе банкиры — объ этомъ можно судить по тому, что когда нужно было снабдить деньгами Флери, отправлявшагося въ Алжиръ „дѣлать генераловъ", то президенту никто не хотѣлъ дать 100,000 франковъ подъ вексель. Такъ низко стояли денежные фонды президента, пока онъ не овладѣлъ въ ночь на 3 декабря кассой государственнаго банка. Даже либеральная буржуазія, обыкновенно, преданная всякому порядку вещей, лишь бы онъ не понижалъ биржеваго курса, — и та была не на сторонѣ „елисейской братіи". Если она съ одной стороны боялась крайнихъ республиканцевъ, которыхъ роялисты представляли ей въ видѣ „краснаго призрака" разрушенія и смутъ, то съ другой — она вовсе не желала и второй имперіи, зная по опыту, что имперія также не обойдется безъ войнъ и раззоренія. Съ именемъ Бонапартовъ въ ея мнѣніи давно соединялись военный деспотизмъ и опу-

стошенія буржуазныхъ кармановъ. Только между самыми нисшими слоями этого класса, невѣжественнаго и тупого были партизаны Луи-Наполеона, потому что его могущество обѣщало имъ въ будущемъ прежнія побѣды, соединенныя съ легкой наживой на чужой землѣ и съ почетнымъ легіономъ за храбрость. Но эти подонки городского населенія, въ особенности парижскаго, не имѣли никакого соціальнаго значенія. Такимъ образомъ, буквально говоря, Луи-Наполеонъ былъ одинокъ и никто не хотѣлъ вѣрить въ успѣхъ замышленнаго переворота; всѣ думали, что если онъ и случится, то кончится какой нибудь комической фанфаронадой, въ родѣ страсбургскаго или булонскаго спектакля.

А между тѣмъ вышло совсѣмъ иначе. Три года подземной работы, веденной систематически, съ упорнымъ и холоднымъ разсчетомъ, три года постояннаго и сосредоточеннаго обдумыванія второй имперіи и ниспроверженія республики, три года униженія и скрытности, наконецъ, увѣнчались такимъ торжествомъ, какого не ожидала самая смѣлая фантазія. Въ три дня весь конституціонный механизмъ рухнулъ безслѣдно, и на мѣстѣ его явился вовсе не театральный абсолютизмъ Наполеона I, не съ поддѣльными орлами и мундирами, а съ настоящими, какъ слѣдуетъ быть. Реставрація была произведена такъ быстро, что Парижъ не успѣлъ опомниться отъ кровопролитныхъ сценъ 4 декабря, какъ „имперія, по выраженію Тьера, была готова". Въ три дня Франція обезлюдѣла: тысячи гражданъ ея были отправлены въ Кайену, другіе бѣжали заграницу, третьи сидѣли въ тюрьмахъ, и цѣлыя тысячи были убиты на улицахъ, на дворѣ префектуры или растрѣляны по приказанію Сентъ-Арно. На самый живой и веселый городъ въ мірѣ вдругъ налегъ такой мрачный видъ, такой паническій ужасъ, что никто не могъ поручиться за свою жизнь и цѣлость впродолженіи нѣсколькихъ дней. Ниже мы изложимъ подробно факты этого переворота и ближайшія послѣдствія его для Франціи, а теперь обратимся къ вопросу: кто же собственно приготовилъ эту катастрофу и чѣмъ былъ силенъ Луи-Наполеонъ въ выполненіи ея? Кому онъ обязанъ императорскимъ трономъ, котораго такъ неудачно добивался въ Страсбургѣ и Булони? Спустя семьнадцать лѣтъ, когда какъ личныя черты Наполеона III достаточно выяснились, такъ и факты, сопровождавшіе основаніе второй имперіи, очистились отъ фальшивой позолоты, намъ нетрудно посмотрѣть на дѣло прямо. Французскіе историки, изъ уваженія къ своему національному достоинству, стараются обходить этотъ вопросъ молчаніемъ а между тѣмъ въ немъ вся сущность и развязка этого запутаннаго дѣла. Тэно коснулся его мимоходомъ и всю вину, какъ водится, свалилъ на Наполеона III, какъ Кинглэкъ чуть не преобразилъ Флери въ творца міроваго событія, не отрицая, однакожъ, что способностей Флери могло хватить только на отчаянную выходку жаднаго до денегъ спекулянта. Мы видѣли, что Тэно и Кинглэкъ не признаютъ за Луи-Наполеономъ

ни генія, ни сочувствія его плану со стороны лучшей части французскаго общества, и все-таки онъ является у нихъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ. Но это противорѣчіе такъ очевидно, что повторять его крайне невыгодно даже для національнаго самолюбія Франціи. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ мы должны считать народъ, состоящій изъ 37 милліоновъ населенія, народъ, прошедшій черезъ долгіе и горькіе опыты своего политическаго роста — чѣмъ онъ долженъ показаться тому, кто серьезно спроситъ: неужели всѣ эти тридцать семь милліоновъ были въ рукахъ самаго посредственнаго президента именно тѣмъ трупомъ, за который его принимали, по мнѣнію Кинглэка, Бонапарты? Мы не думаемъ такъ, потому что не хотимъ наносить глубочайшаго оскорбленія Франціи. Народъ былъ обманутъ своими представителями, которые вырыли ту пропасть, въ которую упали сами и съ собою увлекли неопытную и довѣрчивую массу. Они цѣлымъ рядомъ своихъ ошибокъ и недобросовѣстныхъ отношеній къ своимъ обязанностямъ создали переворотъ 2 декабря. Теперь мы знаемъ: что̀ это были за люди, называвшіе себя либеральной партіей, которая преобладала въ законодательномъ собраніи республики. Кинглэкъ довольно удачно сравнилъ ихъ съ тѣми насѣкомыми, отъ которыхъ арабъ избавляетъ свой бурнусъ — если ужь ихъ разводится слишкомъ много, — бросая его на муравьиную кучу. Луи-Наполеонъ поступилъ совершенно по правиламъ араба. Въ самомъ дѣлѣ, для какого народнаго представительства и вообще для какого серьезнаго дѣла могли быть способны люди, которыхъ весь умъ, логика и совѣсть заключались только въ красивыхъ фразахъ? Чего можно было ожидать, кромѣ напудренныхъ рѣчей и бездушнаго эгоизма отъ такихъ господъ, какъ Ламартинъ, Монталамберъ, Бенуа Дази, Беррье, Тьеръ, Одилонъ Баро и т. п. А, между тѣмъ, эти люди были довѣренные вожди народа, органы его воли и хранители его интересовъ. На нихъ положилась Франція, и отъ нихъ въ правѣ была требовать ручательства за свое благосостояніе. Посмотримъ же, какъ они оправдали ея довѣріе.

Предполагаемъ, что читатели наши знаютъ, при какихъ соціальныхъ условіяхъ пала мѣщанская монархія Луи-Филиппа, и потому мы не будемъ останавливаться на подробностяхъ этой эпохи. Луи-Бланъ въ „Исторіи 1848 года“ очень вѣрно замѣчаетъ, что „экономическое положеніе Франціи, съ ея возраставшимъ пролетаріатомъ, съ ея бѣднымъ, отупѣвшимъ сельскимъ населеніемъ, дало первый толчекъ февральской революціи“. Послѣдующія событія развивались въ этомъ направленіи. На первомъ планѣ стоялъ рабочій вопросъ и разрѣшеніе его законодательнымъ порядкомъ. Этого требовали логика фактовъ, общественная совѣсть и настоятельныя нужды страны, въ которой четыре милліона работниковъ имѣли одно неотъемлемое право — быть во всякое время голодными и обобранными своими патронами. Сначала либеральная партія, во главѣ съ медоточивымъ Ламартиномъ, невольно обратила вни-

маніе въ эту сторону, но, какъ извѣстно, кромѣ краснорѣчія и обѣщаній она ничего не дала людямъ, просившимъ труда и хлѣба. Рѣчи, дѣйствительно, лились неудержимымъ потокомъ съ балконовъ дворцовъ, съ національной трибуны, на всѣхъ улицахъ и площадяхъ, но дѣло не подвигалось ни на одинъ вершокъ впередъ. Та *подлая чернь*, которую совѣтовалъ либеральный Гизо держалъ въ бѣдности, какъ на привязи, вдругъ превратилась въ предметъ самого нѣжнаго обожанія; вмѣсто canaille ей стали говорить cytoyens и на первое время отворили ей двери національнаго собранія. Но эти шутовскія выходки, когда потребовались не слова, а примѣненіе ихъ къ жизни, наконецъ, наскучили либераламъ и они отодвинули экономическій вопросъ на задній планъ. Во время составленія республиканской конституціи въ концѣ 1848 года, о немъ не было и помину, какъ будто весь февральскій переворотъ только для того и былъ совершонъ, чтобы толковать въ общихъ фразахъ о свободѣ. „Труда и хлѣба!“ раздавалось во всѣхъ концахъ Франціи, а краснорѣчивые либералы отвѣчали на этотъ крикъ: „да здравствуетъ республика и Луи-Наполеонъ!“ Это тупоуміе, наконецъ, дошло до того, что люди, искренно желавшіе дать событіямъ того времени мирный исходъ и утвердить республику на прочныхъ народныхъ началахъ, были оглашены ретроградной и либеральный прессой опасными соціалистами, врагами всякаго мира и порядка. Реакція, наконецъ, собралась съ силами, и бѣдные cytoyens опять обратились въ нѣмую и подлую чернь. Луи-Наполеонъ — какимъ ограниченнымъ ни считали его либералы — лучше ихъ понималъ духъ времени и потребности народа. При всякомъ удобномъ случаѣ онъ ясно выражался, что всѣ его заботы устремлены къ улучшенію положенія массы, но пока у него будутъ связаны руки національнымъ собраніемъ, онъ ничего не можетъ сдѣлать. Такъ, въ Дижонѣ, при открытіи желѣзной дороги, онъ обратился къ народу съ слѣдующими словами: „Если мое правительство не могло осуществить всѣхъ улучшеній, какія оно имѣло въ виду, то причиною этого были происки партій... Въ теченіи трехъ лѣтъ можно было замѣтить, что національное собраніе всегда содѣйствовало мнѣ, когда нужно было подавлять безпорядокъ мѣрами строгости. *Но когда я хотѣлъ дѣлать добро, улучшать судьбу населенія, оно отказывало мнѣ въ своемъ содѣйствіи*“. На сколько было правды въ этихъ словахъ — это сдѣлалось яснымъ только впослѣдствіи; но тогда впечатлѣніе, произведенное ими, было громадное. Рабочее населеніе должно было согласиться, что національное собраніе, дѣйствительно, ничего не сдѣлало въ пользу его и даже не подумало о томъ. Въ этомъ случаѣ президентъ былъ совершенно правъ. Поэтому, передъ самымъ декабрьскимъ переворотомъ рабочее населеніе съ недовѣріемъ смотрѣло на своихъ представителей; оно понимало, что интересы его и интересы депутатовъ, представлявшихъ не націю, а парижскую буржуазію, совершенно противоположны. Вотъ почему оно оставалось равнодушнымъ и

безучастнымъ къ тѣмъ крикамъ либеральной партіи, которыми она призывала его къ сопротивленію государственной измѣнѣ. „Неужели вы думаете, говорилъ одинъ работникъ, — что мы пойдемъ умирать изъ-за вашихъ 25 франковъ дневнаго содержанія?“ Такъ думало большинство рабочаго класса въ Парижѣ,—и за это нельзя его обвинять. Оно не могло предвидѣть, что́ ожидаетъ его впереди послѣ переворота, но оно знало очень хорошо, что въ прошломъ національное собраніе ни на одну іоту не улучшило его положенія, что оно отыгрывалось только красивыми фразами и либеральными обѣщаніями; и потому естественно было думать ему по русской поговоркѣ: кто ни попъ, тотъ батька. И вотъ оно, сложивъ руки, апатично смотрѣло на открывшуюся борьбу между парламентомъ и президентомъ.

Такимъ образомъ, потерявъ подъ своими ногами почву, либеральная партія превратила конституцію въ мертвую букву и обезсмыслила ходъ событій, вытекавшихъ изъ февральской революціи. Кто-то изъ англичанъ, послѣ іюньскихъ дней, остроумно замѣтилъ, что французы еще не пробовали императорской республики, и непремѣнно попробуютъ ее. Послѣ охлажденія къ національному собранію массы, послѣ рѣшительныхъ протестовъ ея по поводу нѣкоторыхъ ретроградныхъ мѣръ, какъ, напр., учрежденія выборнаго ценза, главное орудіе, которымъ національное собраніе могло бороться съ деспотизмомъ, было у него отнято, и оно осталось безъ всякихъ матеріальныхъ и нравственныхъ средствъ,—съ одной конституціей въ 10 листовъ бумаги. Этимъ-то оружіемъ оно и хотѣло побѣдить 60 тысячъ штыковъ и сорокъ пушекъ, разставленныхъ въ Парижѣ до перваго сигнала разгромить городъ, если этого потребуютъ обстоятельства. Тѣ же самые либералы, которые подсмѣивались надъ Луи-Наполеономъ, когда онъ пародировалъ дядю съ поддѣльными солдатами въ Страсбургѣ, теперь находились въ болѣе смѣшномъ положеніи. Не имѣя въ своемъ распоряженіи ни войска, ни силъ народа, они вышли на борьбу съ депутатскими шарфами черезъ плечо и съ тирадами изъ конституціоннаго кодекса. Въ нихъ стрѣляютъ пулями и картечью, а они отстрѣливаются восклицаніями о драгоцѣнной народной свободѣ и о чести націи. Между такимъ героизмомъ и донъ-кихотствомъ трудно провести черту различія.

Точно такая же недальновидность выказывается изъ самой сущности конституціи, сочиненной либералами. Такъ какъ они всегда были крайне бѣдны послѣдовательными и логическими мыслями—и всегда пристрастны къ красивымъ словамъ, то и конституція вышла изъ ихъ рукъ такой безтолковой, что на основаніи ея можно было управлять Франціей и Луи-Блану, и Наполеону I. Самые ретроградные и прогрессивные элементы французской имперіи соединялись тутъ съ непонятною странностью. „Основной Законъ республики, говоритъ Тэно,—окончательно принятый и утвержденный учредительнымъ собраніемъ 4 ноября 1843 года, былъ компромиссомъ между демократическими стремленіями Франціи и ея мо-

нархическими преданіями. Ловко эксплуатируя впечатлѣніе, произведенное печальными іюньскими днями, реакціонеры собранія (т. е. вся либеральная партія) успѣли ввести въ конституцію республики возможно больше ретрограднаго элемента. Предразсудки нѣкоторыхъ республиканцевъ въ ихъ представленіяхъ о власти также сильно содѣйствовали этому результату".

„Эта конституція сохранила весь свой деспотическій организмъ, устроенный Бонапартомъ послѣ 18 брюмера".

„Она удержала абсолютную централизацію, которая подавляетъ всякую независимость, всякую мѣстную жизнь, развиваетъ чиновничество въ ужасающихъ размѣрахъ, парализируетъ свободную иниціативу гражданъ, вдѣваетъ всю Францію въ петли громадной сѣти, главная затягивающая веревка которой находится въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ".

„Она подтвердила для католической церкви уродливое положеніе, созданное конкордатомъ; духовенство, врагъ демократической свободы, получало отъ республики пособія, очень часто употребляемыя на борьбу противъ самой же республики".

„Она сохранила несмѣняемую магистратуру, выбираемую исполнительною властью, которая держала ее въ зависимости надеждой на повышенія и на почетныя отличія; кромѣ того, магистратура состояла изъ людей, по самой должности своей враждебныхъ утвержденію демократической республики".

„Наконецъ, было удержано учрежденіе самое несовмѣстное съ существованіемъ свободной республики — это постоянная армія, вербуемая посредствомъ конскрипціи. Пятьсотъ тысячъ солдатъ, имѣвшіе только одинъ догматъ — пассивное повиновеніе, знавшіе только одинъ законъ — приказаніе іерархическаго начальника, продолжали существовать среди полнаго мира, вооруженные въ средѣ безоружной націи".

„Но это не все. Конституція 1848 года отдавала всю исполнительную власть президенту, избираемому всеобщей подачей голосовъ. Она облекала его весьма обширными полномочіями и правами, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, даже высшими противъ тѣхъ, которыми располагаютъ государи многихъ конституціонныхъ монархій. Президенту принадлежала верховная власть надъ двумя большими организованными силами, посредствомъ которыхъ можно держать въ рукахъ всю Францію — надъ арміею административною и арміею въ собственномъ смыслѣ, надъ пятью стами тысячъ чиновниковъ и пятью стами тысячъ солдатъ. Кромѣ того, способъ его избранія сообщалъ ему значительный авторитетъ и величіе. Только одинъ президентъ былъ неоспоримо выбраннымъ большинствомъ народа; тогда какъ каждый членъ собранія былъ на дѣлѣ представителемъ нѣсколькихъ тысячъ избирателей, его назначившихъ,—президентъ получалъ свою инвеституру отъ милліоновъ гражданъ".

„Подлѣ президента конституція ставила національное собраніе, имѣвшее

верховную власть въ дѣлахъ финансовъ, налоговъ и законодательства, и такую же власть, по крайней мѣрѣ, теоретически, въ управленіи внѣшней политикой страны. Въ принципѣ, президентъ былъ мозгомъ, который мыслитъ и приказываетъ, а національное собраніе — рукою, которая повинуется и исполняетъ".

„Случай отказа въ повиновеніи со стороны президента рѣшеніямъ собранія былъ заботливо предусмотрѣнъ конституціей. Національное собраніе имѣло право обвинять президента и его министровъ и предавать ихъ верховному суду".

„Конечно, собраніе не имѣло никакого матеріальнаго средства принудить къ повиновенію непокорнаго президента. *Оно оставило за собою только моральную силу, которая вытекаетъ изъ права, написаннаго въ текстѣ закона; но вся матеріальная сила находилась въ рукахъ президента республики*".

Очевидно, что непослѣдовательнѣе трудно быть конституціонному акту, и эта сумбурность идей и результатовъ, теоріи и практики вполнѣ выражаетъ характеръ той либеральной партіи, которая сочинила эту конституцію. Объявивъ ее народу, она и успокоилась на ней. Дальнѣйшее развитіе и примѣненіе къ жизни теоретически выработанныхъ правъ какъ будто и не составляло обязанностей національнаго собранія. До какой степени оно недальновидно дѣйствовало по отношенію къ рабочему населенію — это мы видѣли выше. Точно также оно поступало и въ отношеніи президента. Находя его человѣкомъ тупымъ, фанатически преданнымъ своей династической идеѣ, оно открыло ему доступъ къ кандидатурѣ на президентское кресло. Подозрѣвая его въ стремленіи ниспровергнуть республику, слушая его рѣчи съ ясными намеками на необходимость диктатуры, видя наглые аресты людей, искренно преданныхъ народу, зная, что Флери отправляется въ Африку „дѣлать генераловъ" и ведетъ дѣятельную интригу, оно не позаботилось предотвратить грозящую опасность ни однимъ декретомъ, ни одной своевременной мѣрой. Оно допустило созрѣть и укорениться заговору, и не обезопасило себя и Францію ни однимъ энергическимъ актомъ. Однимъ словомъ, нельзя было дѣйствовать глупѣе и никто лучше не могъ подготовить злосчастный декабрьскій переворотъ, какъ это сдѣлала либеральная партія, которой Франція имѣла несчастіе ввѣрить свою судьбу.

Въ слѣдующей главѣ мы посмотримъ, какъ легко могъ воспользоваться ошибками такихъ людей самый обыкновенный смертный.

II.

Великіе политическіе кризисы кладутъ особенный отпечатокъ на людей, дѣйствующихъ на сценѣ исторіи. Они ясно разоблачаютъ какъ достоинство человѣческаго характера, такъ и недостатки его. Въ обык-

новенное спокойное время все сливается съ общимъ уровнемъ ничѣмъ ненарушаемой посредственности. Геній остается незамѣтнымъ среди обыденной жизни, не требующей ни особеннаго ума и воли, ни энергіи страстей; глупецъ можетъ казаться совсѣмъ не глупымъ въ толпѣ мелкихъ людей и событій. Честность и подлость легко обмѣниваются своими ролями, и подъ маской безцвѣтнаго общественнаго положенія могутъ носить совершенно не тѣ физіономіи, какія мы приписываемъ имъ. Надо не мало имѣть проницательности и критическихъ инстинктовъ, чтобы распознавать въ это время настоящее золото отъ фольги и задорнаго крикуна отличать отъ мыслящаго человѣка. Въ другомъ свѣтѣ и съ другими очертаніями являются люди въ эпохи великихъ событій, когда сила вещей выводитъ изъ апатіи общество и волнуетъ его страсти, удвоиваетъ его энергію и даетъ его жизни ускоренный ходъ. Боязнь за будущее и неизвѣстность настоящаго приводятъ въ броженіе самыя сонныя и вялыя натуры и заставляютъ ихъ принимать участіе въ общемъ теченіи событій. Что прежде казалось вѣчнымъ и неизмѣннымъ, невозбуждавшимъ ни мысли, ни чувства, теперь вдругъ дѣлается предметомъ размышленія и заботы. Все просыпается и рвется къ свѣту. Какъ хорошія, такъ и дурныя стороны общественнаго строя и общественныхъ дѣятелей проявляются рѣзче, чѣмъ въ обыкновенное время. Дарованіе и тупость, искренность и лицемѣріе, отвага и трусость становятся лицомъ къ лицу въ такое ясное и рѣшительное положеніе, что никто больше не ошибается насчетъ ихъ дѣйствительнаго значенія и никто не смѣшиваетъ одно съ другимъ. Борьба противоположныхъ интересовъ и убѣжденій, столкновеніе партій, быстрый и энергическій обмѣнъ мнѣній — все это снимаетъ поддѣльное клеймо какъ съ человѣческихъ дѣлъ, такъ и съ личностей. Однимъ словомъ, политическіе перевороты, подобные февральской революціи и декабрьскому Coup d'état во Франціи, служатъ настоящимъ пробнымъ камнемъ для оцѣнки ихъ дѣятелей.

А главными дѣятелями въ подготовленіи декабрьскаго переворота, со всѣми его печальными послѣдствіями, были представители либеральной партіи. Теперь ясно, какъ Божій день, что не консерваторы, не наемные друзья Луи-Наполеона, не „Сэнъ-жерменскіе поддонки", оставшіеся отъ прежнихъ реакцій, устроили для Франціи декабрьскую бойню, изъ которой президентъ республики вышелъ побѣдителемъ и диктаторомъ, а либералы, которыхъ мы и доселѣ видимъ на оппозиціонной скамьѣ законодательнаго собранія. Семьнадцать лѣтъ прошло послѣ Coup d'état, семьнадцать тяжелыхъ лѣтъ, обильныхъ всевозможными опытами и уроками, но эти фразеры остаются съ тѣми же пустыми, но громкими фразами на языкѣ и съ тѣмъ же тупымъ непониманіемъ духа времени и исторіи французскаго народа. Ничто не могло вразумить ихъ — ни деспотизмъ второй имперіи, ни упадокъ нравственныхъ силъ націи, ни каенскія ссылки, ни раззорительныя войны, стоившія Франціи милліоновъ

франковъ и людей. Въ составъ этой партіи входили самые разнообразные элементы — ученые, литераторы, адвокаты, чиновники высшихъ административныхъ сферъ, генералы, болѣе солидные рантье, публицисты, готовые продать Богомъ данныя имъ способности за первое доходное мѣсто, и пессимисты впредь до полученія хорошаго денежнаго куша, — коротко, самая отборная часть буржуазіи, воспитанной подъ вліяніемъ растлѣвающей политики Людовика-Филиппа. Типъ этой партіи долго ускользалъ отъ всякаго опредѣленнаго очерка, отчасти потому, что быстро смѣнявшіяся политическія катастрофы породили хаосъ въ понятіяхъ и убѣжденіяхъ націи, — хаосъ, мѣшавшій разсмотрѣть лицевую сторону дѣйствующихъ партій и отчасти потому, что эпоха Людовика-Филиппа все сглаживала и обезцвѣчивала съ изумительнымъ искусствомъ. Это было время полнаго торжества мѣщанской философіи, которой послѣдняя формула выражается словами: *каждый для себя, каждый про себя*. Индивидуальный и чисто-личный эгоизмъ душилъ всякое живое проявленіе общественнаго принципа. Всѣ лучшія черты французскаго характера исчезли въ этой мелкой и безпрерывной борьбѣ каждаго противъ всѣхъ и всѣхъ противъ каждаго отдѣльно. Страсть къ легкой наживѣ, жажда тепленькихъ мѣстъ и спекуляція господствовали надъ всѣмъ и всему давали тонъ и направленіе. Никогда ничего подобнаго, говоритъ историкъ февральскихъ дней, не было видано въ исторіи. Страсть къ деньгамъ овладѣла всѣми грязными душонками до такой степени, что общество впало въ самый грубый, животный матеріализмъ. Наживѣ были посвящены всѣ силы—умъ, талантъ, краснорѣчіе, геній и, въ случаѣ нужды, самая добродѣтель. Извлекали золото даже изъ репутаціи, пріобрѣтаемой съ помощію того же золота. Все было оцѣнено, все запродано, на самую славу былъ наложенъ извѣстный тарифъ. О незабвенный развратъ той благородной страны, которая доставила прежнимъ временамъ столько великихъ дѣятелей и новѣйшимъ — самыхъ безкорыстныхъ мучениковъ! Торговали всѣмъ — подачей голосовъ, продажною совѣстью: покупали честь и продавали законъ... Изъ этого вышло то, что впродолженіе почти 18 лѣтъ ядъ капалъ на насъ сверху, капля по каплѣ, но постоянно и отъ руки опытной". Вотъ та нравственная атмосфера, въ которой воспитывалось буржуазно-либеральное поколѣніе, встрѣтившее рожденіе февральской республики и похоронившее ее въ могилѣ 3 декабря. Какими особенными качествами могли запастись на этомъ толкучемъ рынкѣ люди, призванные вести націю въ трудныя времена внезапнаго переворота? Гдѣ было взять тѣхъ силъ, той твердой воли, той чистоты характера и того зоркаго ума, которые соотвѣтствовали бы важности и грандіозности наступившихъ событій? Откуда могла явиться та неподкупная честность, которая такъ необходима въ смутныя эпохи народныхъ движеній? Пока дѣло ограничивалось пустозвонными фразами, парламентскими рѣчами и трагическими жестами, которыми ораторы тѣ-

шили только самихъ себя, пока все обстояло благополучно и вся мудрость либеральной партіи заключалась въ искусствѣ продавать свои красивыя фразы, какъ можно прибыльнѣе, — никто не замѣчалъ, что подъ этой вылощенной оболочкой скрывается гниль и труха. Даже сами обладатели этого внѣшняго лоска не сознавали всей пустоты своего внутренняго содержанія. Они такъ привыкли къ самодовольному созерцанію своего картоннаго величія, такъ долго занимались только самими собою, что искренно стали принимать актера за дѣйствительное лицо и декорацію за живую картину. Они были такъ далеки отъ общественныхъ стремленій и интересовъ, такъ горячо влюблены въ свои личныя цѣли и поползновенія, что когда пришлось помѣряться съ другими фактами и требованіями жизни, болѣе серьезными, чѣмъ набиваніе своего кармана втихомолку, то вдругъ оказалось, что это — не дѣятели, а риторы, не великаны, а пигмеи. Событія 1848 года на первыхъ же порахъ обнаружили крайнюю несостоятельность либеральной партіи. Совершившійся переворотъ выдвинулъ на первый планъ такіе важные общечеловѣческіе и соціальные вопросы, предъявилъ такъ много новыхъ задачъ временному правительству, что всякая полезная мысль, всякая честная сила могла найдти себѣ доступъ къ дѣятельности и оказать странѣ дѣйствительныя услуги. Теперь требовались не фразы, а дѣло, не платоническая любовь къ народу, а реальное и сознательное сочувствіе его нуждамъ и страданіямъ. Реорганизація конституціи, коснувшись коренныхъ основъ ея, обнимала всѣ вѣтви внутренняго управленія Франціи и ея международныхъ отношеній. Начиная отъ сельской школы и до высшей администраціи, отъ мелкаго чиновника и до президента республики — требовало органическихъ положеній, глубокаго обдумыванья и быстраго исполненія? Задача еще болѣе усложнялась тѣмъ, что въ основаніи переворота лежала экономическая идея, стоявшая впереди всѣхъ политическихъ соображеній. Рабочій вопросъ, созрѣвшій незамѣтно въ мастерскихъ и бѣдныхъ мансардахъ, выступилъ на сцену, въ лицѣ двухъ сотъ тысячъ парижскихъ работниковъ, въ полномъ всеоружіи. Трудъ требовалъ ассоціаціи, капиталъ примиренія съ общественною совѣстью, и все угнетенное и обиженное — возстановленія своихъ человѣческихъ правъ. Обнять всю массу возникшихъ вопросовъ, согласить самые противоположные интересы сословій и партій, дать направленіе всему ходу событій, ввести новый механизмъ жизни, не разрушая вполнѣ стараго, — все это составляло колоссальную работу, требовало колоссальныхъ людей по уму, искренности и добросовѣстному отношенію къ дѣлу. Но могла ли либеральная партія, какъ господствующая сила страны, дать изъ среды своей достойнаго вождя Франціи? На этотъ вопросъ всего лучше отвѣчало избраніе Ламартина президентомъ республики.

Онъ и Одилонъ Баро были самыя популярныя личности передъ фев-

ральской революціей. Адвокатъ, человѣкъ по самой профессіи своей неимѣющій никакихъ за душою убѣжденій, и поэтъ, воспѣвавшій нѣкогда Реставрацію и Людовика XVIII, явились главными дѣйствующими лицами переворота. Ламартинъ, обязанный своею популярностью „Исторіи жирондистовъ", книгѣ, написанной увлекательно, но безъ всякаго опредѣленнаго взгляда, безъ всякой ясно обозначенной цѣли, былъ героемъ дня. Такіе же барабанщики либеральныхъ фразъ, какъ онъ самъ, бѣдный и недалекій поэтъ, приняли его за человѣка серьезнаго и способнаго держать въ своихъ рукахъ судьбу Франціи. И это было ослѣпленіе не партіи, не сословія, а всего поколѣнія, выросшаго въ буржуазной атмосферѣ Людовика-Филиппа. Люди, разучившіеся думать, биржевые игроки, занятые всю жизнь преслѣдованіемъ своихъ личныхъ интересовъ, продажные публицисты и самодовольные спекуляторы,—такіе люди не могли отличить пустого краснобая отъ настоящаго политическаго дѣятеля; красивая фраза казалась имъ красивымъ содержаніемъ, отсутствіе логики и силы ума замѣнялось для нихъ поэтическимъ энтузіазмомъ и торжественными воззваніями къ богинѣ свободы. Были люди другого закала, неизмѣримо болѣе умные и способные стоять во главѣ правительства, но у нихъ не было ни громкой популярности, ни общественнаго высокаго положенія. Они терялись въ массѣ народа, и ужъ, разумѣется, не имъ либеральная партія могла довѣрить свои интересы. Такимъ образомъ Ламартинъ дѣлается главою республики и вождемъ Франціи.

Мы не будемъ останавливаться на подробной характеристикѣ Ламартина, — и только покажемъ здѣсь, какими обсужденіями руководствовался этотъ жалкій президентъ въ своей политической карьерѣ? Понималъ ли онъ сколько нибудь всю важность событій, которыхъ нить находилась въ его рукахъ? И чего могла ожидать демократическая республика отъ этого параднаго поэта?

Въ первые дни, въ медовые дни народнаго энтузіазма, слѣдовавшаго за побѣдой, Ламартинъ былъ не безполезенъ. Его имя, его восторженныя рѣчи, его вліяніе на парижское живое и впечатлительное населеніе имѣли благотворное дѣйствіе. Когда онъ являлся на трибунѣ, облеченный высшею административною властію, толпы невольно покорялись его горячему слову. Въ искренности его честныхъ стремленій никто не сомнѣвался, и даже нельзя было отказать ему въ извѣстной долѣ гражданскаго мужества. Онъ первый заговорилъ о республикѣ; онъ впереди всѣхъ поднялъ ея трехцвѣтное знамя. По рожденію, по связямъ и по богатству онъ принадлежалъ къ старой французской аристократіи, но когда нужно было стать на сторонѣ народной партіи—онъ не побоялся разорвать старыя отношенія и ринуться въ бурный потокъ революціоннаго движенія. Но все это было хорошо только на нѣсколько дней, когда нужна была не трудная и холодная работа законодателя и правителя,

а пропаганда публичнаго оратора и, если угодно, актера. Когда же эти дни прошли и надо было сосредоточиться въ себѣ, отдать всего себя скромной и кропотливой кабинетной работѣ, изучить до мельчайшихъ подробностей существенныя части управленія и административнаго механизма, пожертвовать ради общественнаго блага самолюбіемъ и популярностью, — для такого труда Ламартинъ былъ совершенно неспособенъ. Какъ поэтъ, и притомъ зараженный аристократическимъ тщеславіемъ, онъ не могъ забыть свою личность ни на одну минуту. Ему нужны были аплодисменты и шумъ толпы, ласкающій его ухо хвалебными восклицаніями; его мелкому самолюбію дорогъ былъ не успѣхъ общаго дѣла, а внѣшній эффектъ, производимый его особой на публику. Онъ боялся не за то, что каждая ошибка его можетъ впослѣдствіи повести къ страшнымъ результатамъ, — нѣтъ, онъ боялся, чтобы въ его краснорѣчіе не вкралась какая нибудь анти-музыкальная фраза и не нарушила гармоніи его рѣчи. Онъ любовался только самимъ собою, только въ самомъ себѣ видѣлъ Францію. Изъ блестящихъ гостинныхъ онъ спѣшилъ въ демократическіе клубы, и постоянно былъ занятъ одною мыслію, чтобы имя его не было произнесено съ укоромъ или оскорбленіемъ. Желая стать центромъ примиренія между враждебными элементами общества, онъ льстилъ однимъ и угождалъ другимъ, онъ хотѣлъ нравиться радикаламъ и любезничалъ съ консерваторами. Въ душѣ онъ былъ всегда орлеанистомъ, и вдругъ, по какому-то вдохновенію свыше, сдѣлался республиканцемъ. Въ концѣ концевъ онъ игралъ роль самой безцвѣтной правительственной личности, самого безхарактернаго президента республики и, не понявъ ни смысла событій, ни значенія своего высокаго призванія, далъ новорожденной республикѣ такое ложное направленіе, которое логически должно было привести ее къ декабрьскому перевороту. А между тѣмъ Ламартинъ могъ считаться самымъ лучшимъ выразителемъ либеральной партіи, самымъ полнымъ воплощеніемъ ея умственнаго и нравственнаго безсилія. Такимъ образомъ, благодаря ему, іюньскіе дни быстро подходили и реакція была неизбѣжна.

Послѣ Ламартина во главѣ правительства становится Кавеньякъ; послѣ медоточиваго поэта является суровый алжирскій солдатъ. Диктатура Кавеньяка была естественнымъ результатомъ всѣхъ предшествовавшихъ ошибокъ либеральной партіи. Послѣ переворота масса парижскаго рабочаго населенія находилась въ бѣдственномъ положеніи, въ еще болѣе худшемъ, чѣмъ при Людовикѣ-Филиппѣ. Тысячи людей буквально были выброшены на улицу, съ закрытіемъ нѣкоторыхъ мастерскихъ; тысячи бѣдныхъ семействъ не имѣли ни крова, ни куска хлѣба впродолженіи нѣсколькихъ дней, пока временное правительство не распорядилось устроить единовременную выдачу пособій. Луи-Бланъ въ своихъ статистическихъ матеріалахъ для изученія соціальнаго положенія Парижа

въ это время, между прочимъ, приводитъ слѣдующія цифры: 10,000 семействъ жили въ душныхъ и зловонныхъ подвалахъ или мансардахъ, имѣя дневнаго содержанія на каждаго индивидуума только 2 су (т. е. $2^1/_2$ коп.); 16,000 безсемейныхъ работниковъ существовали въ сутки на 5 су, т. е. могли жить впроголодь и спать гдѣ Богъ послалъ; наконецъ, 33,000 человѣкъ всевозможныхъ рабочихъ категорій могли заработывать только отъ 1—$1^1/_2$ фр. въ сутки. Въ числѣ ихъ были преимущественно бѣдныя швеи и каменьщики. (См. Statistique Sociale de Paris Louis Blanc. 1848).

Съ нуждой и голодомъ рука объ руку шли и другія народныя бѣдствія. Цифра смертности увеличилась на 5% больше противъ обыкновеннаго времени. Уныніе, отчаяніе, нервная раздражительность стали сопровождаться болѣзненными симптомами мозга и припадками холеры, которая впослѣдствіи разразилась страшнымъ опустошеніемъ города. Зло росло съ удивительной быстротой. „2 марта, говоритъ Делоръ, — по приблизительному разсчету, сдѣланному въ Городской думѣ, въ Парижѣ, насчитывалось не болѣе 17,000 работниковъ, оставшихся безъ работы и, слѣдовательно, безъ всякихъ средствъ: къ 15 марта эта цифра возрасла до 49,000, а 20 іюня она превышала 107,000". (Histoire du Seconde Empire par T. Delord. 1869, t. I, p. 92). Такъ увеличивалась масса людей недовольныхъ, наконецъ, увидѣвшихъ, что плоды побѣды, такъ дорого купленной народомъ, достались не ему, что великіе обѣты республики не осуществились и что настоящее еще хуже прошлаго. Гдѣ же эта обѣтованная земля, текущая медомъ и млекомъ, которую обѣщали народу либеральные ораторы, подобные Ламартину? Гдѣ же это равенство передъ закономъ, это евангельское братство, которымъ такъ заманчиво увлекали толпу, просившую гораздо меньше — только насущнаго хлѣба? Гдѣ же, наконецъ, та гармонія общественныхъ отношеній и организація труда, которая должна была облегчить участь бѣднаго? На всѣ эти вопросы временное правительство, какъ бы нехотя, отвѣчало устройствомъ національныхъ мастерскихъ, по образцу наполеоновскихъ казармъ. Это была какая-то странная, безсмысленная амальгама полу-благотворительнаго и полу-карательнаго учрежденія, гдѣ рабочій былъ и безпомощнымъ пролетаріемъ, получающимъ кусокъ хлѣба на счетъ государства, и рабомъ чужой воли. Вступая въ это заведеніе, онъ терялъ всякую личную самостоятельность и въ то же время не принадлежалъ никакому обществу. А между тѣмъ положеніе этихъ 107,000 людей обязывало временное правительство взглянуть на экономическій вопросъ посерьезнѣе; въ разрѣшеніи его и заключалась вся сила правительственной власти и все будущее республики. Пойми эту задачу Ламартинъ съ компаніей, разрѣши ее удовлетворительно и неотлагаемо, и тогда не было бы ни іюньскихъ дней, ни декабрьскаго переворота. Но Ламартинъ не только не понималъ всей важности этого капитальнаго

вопроса, — онъ даже противодѣйствовалъ его разрѣшенію, отдѣливъ работы Луи-Блана отъ работъ временнаго правительства. Этого мало; онъ допустилъ самую безумную мѣру, послѣ которой и его политическая карьера, и республика могли считаться безвозвратно погибшими. Какъ ни были жалки и мизерны по своему устройству національныя мастерскія, но онѣ, какъ всякая богадѣльня, по крайней мѣрѣ, обезпечивали рабочему населенію Парижа трудъ и вѣрный заработокъ. Онѣ парализировали народное раздраженіе, которое каждый день угрожало обратиться въ междуусобную войну. Но близорукость Ламартина была неизмѣримо хуже того злого генія, на который онъ жаловался впослѣдствіи, какъ несчастный поэтъ. Онъ какъ будто боялся заглянуть въ будущее завтрашняго дня и взвѣсить послѣдствія своихъ распоряженій. Его попрежнему занимали торжественныя манифестаціи, оффиціальные обѣды, цвѣтъ и выкройка республиканскаго знамени; онъ все свое время посвящалъ шлифовкѣ красивыхъ фразъ, расточаемыхъ съ трибуны, и никакъ не могъ догадаться, что сторожившая его исподтишка, пока еще слабая и темная, но опасная по своему іезуитскому характеру, партія авантюристовъ, игравшихъ именемъ Наполеона, роетъ ему яму, подъ самымъ его носомъ. Но и либеральные друзья Ламартина не особенно далеко ушли отъ своего Орфея по дальновидности. Они обратили общественное дѣло въ мелочную лавочку своихъ личныхъ выгодъ; они клеветали другъ на друга съ безкорыстною наглостію, за что впослѣдствіи Миркуръ, по крайней мѣрѣ, довольно щедро оплачивался парижской префектурой; они искали богатства и отличій и, вѣрные тактикѣ своихъ отцовъ, перебѣгали отъ одной партіи къ другой; они вносили раздоръ и ненависть въ самыя интимныя отношенія близкихъ по убѣжденіямъ людей и свободную прессу сдѣлали органомъ личныхъ перебранокъ и закулисныхъ откровенностей! Никогда не чувствовалось болѣе настоятельной надобности въ руководящемъ умѣ и сильномъ характерѣ, какъ въ эту роковую минуту, и никто не явился этимъ спасителемъ, никто даже не подумалъ о немъ. А между тѣмъ надъ Парижемъ, наканунѣ 22 іюня, висѣла мрачная туча, и никто не зналъ, куда подуетъ вѣтеръ и понесетъ тучу. Только всѣми ясно сознавалось, что еще одинъ ошибочный шагъ, еще одна оскорбительная мѣра противъ народа, и междуусобная война неминуемо проснется. Такъ и случилось. Правительство издало декретъ, не прямо, но косвенно закрывшій національныя мастерскія; оно постановило, что рабочіе отъ 18—20-лѣтняго возраста должны рѣшиться на переселеніе изъ Парижа для производства земляныхъ работъ въ провинцію или записаться въ армію. „Эта мѣра, говоритъ Делоръ, — одновременно оскорбляла справедливость и политику. По какому праву правительство изгоняло изъ Парижа тысячи гражданъ и заставляло ихъ выбирать между добровольной ссылкой и солдатчиной". (Стр. 93). Это понимали и рабочіе, отъ которыхъ депутаты явились къ министру публичныхъ работъ,

г. Мари для объясненія. Послѣ довольно горячаго спора, депутаты объявили, что они не оставятъ Парижа. Министръ отвѣчалъ имъ: „если рабочіе не хотятъ отправиться изъ Парижа въ провинцію, то мы заставимъ ихъ силой; силой — слышите ли вы? — Силой, — хорошо; по крайней мѣрѣ, мы теперь знаемъ то, что̀ хотѣли знать. — А что вы хотѣли знать? — Что правительство никогда не желало искренно организаціи труда". (Стр. 94). Изъ этого объясненія двѣсти тысячъ парижскихъ рабочихъ ясно увидѣли, что они обмануты временнымъ правительствомъ, что они загребли жаръ своими руками для удовольствія другихъ. Теперь стало ясно, что объ участи ихъ всего менѣе заботились люди, избранные ими въ представители народнаго правленія. Раздраженіе было всеобщее, и на слѣдующій день началось возстаніе.

Временное правительство, чувствуя себя неспособнымъ удерживать дольше накопившееся народное негодованіе, лишившись всякаго довѣрія со стороны рабочихъ классовъ, по необходимости стало думать о военной диктатурѣ. Оно призвало на помощь себѣ противъ народа войско, ту самую вооруженную силу, которая во время декабрьскаго переворота оказала такую существенную услугу измѣнникамъ конституціи, и выбрало генерала Кавеньяка диктаторомъ. Диктатура, воздвигнутая на трупахъ, давала чувствовать, что между Франціей и ея правительствомъ нѣтъ болѣе никакой нравственной солидарности, что страна раздѣлилась на два лагеря — побѣдителей и побѣжденныхъ. Столица была объявлена на военномъ положеніи, и все темное и грязное, что̀ до сихъ поръ лежало на днѣ, низверженное революціей, опять всплыло на верхъ и сдѣлалось господствующимъ элементомъ террора. „Началась, говоритъ Луи-Бланъ,—безграничная паника, возобновился старый порядокъ подозрѣній и яростныхъ доносовъ, какихъ прежде никогда не было и никогда не будетъ. Нужно ли было раззорить соперника, погубить недруга, удовлетворить личное мщеніе — достаточно сказать о своемъ врагѣ, что „онъ былъ на баррикадахъ", и дѣло считалось конченнымъ". „Въ первые дни осаднаго положенія, толпы вооруженныхъ буржуа наполняли городъ, и Парижъ представлялъ сплошную массу живыхъ баррикадъ. Когда торговый людъ съ пѣной у рта вытребовалъ себѣ свободный проѣздъ по городу, начали тотчасъ преслѣдовать тѣхъ, которыхъ не могли схватить на дорогѣ. Напуганные всѣмъ, и опьянѣлые отъ злобы, повсюду бѣгали стражи, съ словами угрозы и мщенія. Неприкосновенность многихъ спокойныхъ жилищъ была наглымъ образомъ нарушена агентами какого-то новаго и никому неизвѣстнаго тирана. Они останавливали общественныя кареты, и обыскивали въ нихъ остатки успокоившагося возстанія; они запускали въ нихъ подозрительные взгляды и ощупывали ихъ штыками. Въ это смутное время журналистика, спекулировавшая насчетъ напуганнаго воображенія публики, распускала нелѣпые слухи и возбуждала преслѣдованія и доносы. Горе тѣмъ, кто произно-

силъ слова сожалѣнія! Оплакивать заблужденіе инсургентовъ, сказать, что многіе изъ нихъ были увлечены на баррикады голодомъ — это значило дать поводъ подозрѣвать себя въ соучастіи съ ними. Даже родственники, друзья ихъ не смѣли плакать надъ своими покойниками. Трауръ побѣжденной партіи во время многочисленныхъ похоронъ считался преступленіемъ. Одну молодую женщину разстрѣляли только за то, что она приготовляла корпію для своего мужа, или любовника, или отца, лежавшаго въ больницѣ вмѣстѣ съ инсургентами. Недоставало только того, чтобы, подобно магдебургскому кровопролитію Тилли или кремонскимъ убійствамъ когортъ Антонія, дома были преданы грабежу и дѣти разбивались о камни; но чего недоставало военной свирѣпости, то замѣнялось безчестіемъ. Шпіонство сдѣлалось гражданскимъ подвигомъ; выдать друга — значило услужить отечеству, убить — значило выказать храбрость... О позоръ моей родины! Были минуты, когда Парижъ, казалось, принадлежалъ бѣшенымъ дуракамъ". (La Revol. de fevrier par Louis Blanc. 1848, p. 184). Такимъ образомъ началась полная реакція, та предсмертная агонія республики, которую однимъ ударомъ прекратилъ Луи-Наполеонъ съ компаніей. Для людей болѣе дальновидныхъ теперь стало ясно, что пораженіе, нанесенное народу, оскорбленіе, сдѣланное всѣмъ лучшимъ правамъ конституціи, было въ то же время пораженіемъ и оскорбленіемъ всей Франціи. Теперь судьба ея принадлежала той или другой партіи, тому или другому авантюристу, но не ей самой. Теперь все зависѣло отъ того: кто лучше воспользуется ошибками тупоумнаго временнаго правительства и у кого будетъ болѣе наглости захватить въ свои руки власть и вліяніе.

Самой способной въ этомъ отношеніи оказалась партія бонапартистовъ. Собственно говоря, этой партіи ни передъ февральскимъ переворотомъ, ни вскорѣ послѣ него не существовало во Франціи. Мы видѣли уже, какими комическими пародіями оканчивалъ свои попытки принцъ Наполеонъ, желавшій именемъ своего дяди воскресить въ арміи энтузіазмъ къ своей особѣ. Мы знаемъ также, что во время іюльской революціи бонапартисты, мечтавшіе о возстановленіи своего прежняго величія, потерпѣли полнѣйшее фіаско. Въ 1848 году, когда Луи-Наполеонъ, послѣ 24 февраля явился изъ Лондона въ Парижъ засвидѣтельствовать свою искреннюю преданность республикѣ и представиться членамъ временнаго правительства, его попросили немедленно возвратиться вспять и не показываться больше на территоріи Франціи. Наконецъ, на апрѣльскихъ выборахъ ни одинъ голосъ не былъ поданъ за него и даже никто не вспомнилъ о немъ. Это былъ несчастный авантюристъ, упавшій духомъ, скитавшійся внѣ Франціи безъ цѣли и дѣятельности, потерявшій всякую цѣну для своихъ друзей и почти забытый ими. И надо было совершить чудо, чтобы эту личность выдвинуть на первый планъ въ глазахъ Франціи. Чудо это совершила либеральная партія. Приготовивъ

постепенно іюньскую реакцію, она въ то же время приготовила Франціи будущую вторую имперію. Этотъ фактъ превосходно объясняетъ намъ историкъ второй имперіи г. Делоръ. Когда либеральные буржуа дѣлали ошибку за ошибкой, когда каждый день и каждый часъ какъ будто обдуманно были употреблены на то, чтобы погубить новый порядокъ вещей, Луи-Наполеонъ невидимо и неслышимо подвигался къ своей цѣли. Онъ, какъ ночь, неизбѣжно слѣдовалъ за днемъ. Но не столько онъ самъ понималъ это, сколько та кучка людей, которые видѣли въ немъ орудіе своего возвышенія и наживы. Эта кучка состояла изъ разнаго рода искателей приключеній, промотавшихся прожектеровъ, неудавшихся либераловъ, старыхъ поклонниковъ первой имперіи, однимъ словомъ, изъ людей, привыкшихъ смотрѣть на Францію, какъ на игорный домъ, гдѣ можно поставить мѣдный грошъ и выиграть тысячу. Для нихъ все равно было, кто бы ни представлялъ фамилію Бонапартовъ — булонскій актеръ въ старомъ мундирѣ Наполеона I или какой нибудь капралъ, — имъ нужно было имя Наполеона, и больше ничего. Сначала они сами не вѣрили въ успѣхъ своего предпріятія и, конечно, никогда не осуществили бы его, еслибъ имъ не помогла либеральная партія, но вѣдь какой же игрокъ вѣритъ, что, подойдя къ рулеткѣ съ гривенникомъ, онъ отойдетъ отъ нея съ сотнею тысячъ. Все дѣло — въ случаѣ, и случай вмѣстѣ съ глупостью либераловъ помогъ бонапартистамъ. Нельзя, однакожъ, сказать, чтобы они вовсе ничего не дѣлали для успѣха своего замысла. Главные изъ нихъ — Персиньи и Мокаръ постоянно слѣдили за всѣми перипетіями республиканской партіи, и давали обо всемъ знать принцу Наполеону въ Лондонъ. Они ободряли его, совѣтовали ему, предлагали разные проекты и убѣждали вѣрить въ его счастливую звѣзду. Луи-Наполеонъ, какъ человѣкъ крайне безхарактерный, созданный именно для такой пассивной роли, слушалъ и повиновался. Между тѣмъ, авантюристы не плошали и въ самомъ Парижѣ. Мало-по-малу они плели свою паутину и заманивали въ нее любителей азартной игры. У нихъ были свои наемные публицисты, клеветавшіе на честныхъ людей, искренно преданныхъ республикѣ, и воспѣвавшіе славныя побѣды Бонапарта; у нихъ были свои банкиры, которымъ представлялся въ перспективѣ министерскій портфейль или баронское достоинство; съ ними были іезуиты, посвящавшіе на исповѣди старыхъ грѣшницъ въ тайну будущей имперіи; наконецъ, за нихъ было все, что желало случайнаго обогащенія и случайно-пріобрѣтенныхъ почестей. Къ іюньскимъ днямъ эта интрига раскинула свои сѣти довольно широко, и имя Луи-Наполеона стало все чаще и чаще произноситься какъ въ консервативныхъ салонахъ, такъ и въ толпѣ народа. Съ его именемъ соединилась идея спасенія отъ анархіи и возстановленія правъ угнетеннаго рабочаго класса. И надо замѣтить, что Луи-Наполеону въ этомъ случаѣ сильно помогла самая неизвѣстность его среди парижскаго населенія. Оно знало очень хорошо

полнѣйшую неспособность другихъ кандидатовъ на управленіе Франціею, но не знало: что̀ такое этотъ таинственный принцъ. Въ массахъ французскаго народа, необразованнаго и полнаго всяческихъ предразсудковъ, этому имени давали особенный вѣсъ еще живыя воспоминанія объ аустерлицкомъ героѣ и врагѣ бурбоновъ. Такимъ образомъ, когда наполеоновская пропаганда, пущенная въ ходъ ничтожной горстью ловкихъ игроковъ, получила силу, къ Луи-Наполеону стали присоединяться толпы либеральныхъ буржуа. Первымъ перебѣжчикомъ явился Тьеръ, ранѣе другихъ догадавшійся, какому богу выгоднѣе молиться. Онъ по утрамъ лебезилъ передъ республиканцами, а по вечерамъ преподавалъ свои мудрые совѣты бонапартистамъ. Повидимому, все благопріятствовало Луи-Наполеону. Либералы отворяютъ ему ворота Парижа, и онъ является во Францію съ самыми задушевными завѣреніями въ своей любви къ народу. Консерваторы видятъ въ немъ свое лучшее орудіе и направляютъ его къ извѣстнымъ цѣлямъ. Около него группируются всѣ фракціи партій, враждебныхъ республикѣ — и легитимисты, и клерикалы, и орлеанисты, и ультра-ретрограды. Такимъ образомъ, когда открылись декабрьскіе выборы 1849 года, онъ былъ поставленъ въ числѣ кандидатовъ на президентское кресло республики и получилъ пять съ половиною милліоновъ голосовъ въ свою пользу. Теперь было ясно, что Луи-Наполеонъ также возвысился, какъ упалъ Ламартинъ, за котораго было только 8000 голосовъ. Едва ли кто нибудь такъ быстро терялъ свою популярность, какъ Ламартинъ, и едва ли кто такъ легко пріобрѣталъ ее, какъ Луи-Наполеонъ. Друзья его торжествовали и одинъ изъ нихъ въ восторгѣ, сказалъ: „Итакъ, Франція теперь наша!“ Дѣйствительно, ставка удалась, и выигрышъ 36.000,000 французовъ достался гг. Персиньи, Мокарамъ, Флери, Морни и tutti quanti.

Сдѣлавшись президентомъ республики, Луи-Наполеонъ понималъ свою роль — или, лучше сказать, искусно съигралъ ее до самаго конца. Всѣ существенные и главные шаги его политической карьеры были подсказаны ему его наставниками и сторонниками, но зато вся театральная часть, всѣ декораціи въ исполненіи ея неотъемлемо принадлежали ему. И надо отдать справедливость, съ одной стороны, необыкновенной близорукости Жака-Дурачка, а съ другой искусству великолѣпнаго актера. Поставленный между условіями республиканскаго правленія и своими собственными симпатіями къ деспотизму, онъ мастерски служилъ богу и мамону. Когда онъ клялся въ вѣрности республикѣ, въ душѣ его не было ни малѣйшей увѣренности въ ней; когда онъ обѣщалъ хранить свято „великіе принципы 1789 года“, онъ зналъ, что эти принципы никуда негодятся для его цѣлей; когда онъ заигрывалъ съ свободой Франціи и ставилъ ее финаломъ всѣхъ своихъ стремленій, на губахъ его замирала другая фраза: хороша ты, прекрасная свобода, только до тѣхъ поръ, пока я не положу тебя въ свой карманъ. Къ рабочимъ онъ обра-

щался съ такими рѣчами: „Видите ли, говорилъ онъ имъ, раздавая записныя книжки сберегательной кассы, — самые искренніе и преданные мои друзья живутъ не въ дворцахъ, а подъ соломенными крышами, не среди вызолоченной обстановки, а въ мастерскихъ, на площадяхъ и на поляхъ. Я знаю, какъ сказалъ императоръ, что мои фибры отвѣчаютъ вашимъ и что у насъ тѣже интересы и тѣже инстинкты". (Delord, p. 130). Но не прошло и года, какъ эти *самые искренніе и преданные друзья* тысячами ссылались въ Каену и, какъ быки, убивались на заднемъ дворѣ префектуры. Однимъ словомъ, это была отлично-изученная казуистика, которая, по мнѣнію Кинглэка, умѣла сочинять такія конституціи, въ которыхъ на словахъ давалось все, но на дѣлѣ не исполнялось ничего. Отсюда съ перваго же дня своей карьеры, Луи-Наполеонъ велъ рядомъ двѣ противоположныя политики — политику явную, которая, повидимому, созидала республику, и политику тайную, которая разрушала ее. Съ одной стороны, президентъ постоянно давалъ чувствовать многочисленному французскому пролетаріату, что законодательная власть поощряетъ его только въ репрессіяхъ народа, но связываетъ ему руки каждый разъ, когда онъ думаетъ облегчить его и помочь ему. Съ одной стороны, онъ увѣрялъ, что Франція немыслима безъ народной иниціативы, безъ всеобщей подачи голосовъ, а съ другой — онъ по секрету *дѣлалъ генераловъ* въ Кабиліи и готовилъ изъ нихъ будущихъ исполнителей декабрьскаго удара. Не разъ онъ намекалъ на необходимость *сильной руки, твердой воли*, и когда до слуха его доходили восклицанія Vive l'empereur! — онъ почтительно снималъ свою республиканскую шляпу и раздавалъ награды своимъ преданнымъ слугамъ. Подкапывая день за днемъ еле державшееся зданіе республики, онъ не переставалъ увѣрять, что республика дѣлается крѣпче и сильнѣе. И такъ онъ вошелъ въ эту лицемѣрную роль, такъ изучилъ ея пріемы, что предпринимая походъ въ Римъ противъ республики и тѣмъ совершая самоубійство надъ своей собственной республикой, онъ говорилъ передъ цѣлой Европой, что этого требуетъ истинная свобода Франціи и достоинство націи. Даже послѣ декабрьскаго переворота у него достало смѣлости увѣрять, что на трупахъ и въ лужахъ крови онъ основываетъ великое зданіе свободнаго государства, съ принципами 1789 года.

Но кто же научилъ Луи-Наполеона этой роли, какъ не либеральная партія? Въ царствованіе Людовика-Филиппа она не знала другой системы управленія, какъ говорить одно, а дѣлать другое. Двадцать лѣтъ фразеологія была ея душою, совѣстью, добродѣтелью и общественнымъ отличіемъ. Фразеологія лишила ее пониманія самыхъ простыхъ вещей и всякой способности мыслить. На какое же серьезное общественное дѣло могли быть способны эти политическіе кастраты, эти безсердечные филистеры и парадные фразеры? Ни на какое! Ламартинъ продалъ республику бонапартистамъ за чечевичную похлебку своей популярности. Кавеньякъ

говорилъ рабочимъ: „придите въ объятія республики", и когда они приходили, онъ ихъ разстрѣливалъ и ссылалъ. Что же удивительнаго, если Луи-Наполеонъ, слѣдуя правиламъ этой школы, дѣйствовалъ въ ея духѣ и направленіи. Онъ только довелъ ее до послѣднихъ границъ послѣдовательности и, въ свою очередь, научилъ ей многихъ либераловъ Европы.

Маскируя передъ Франціей свои намѣренія и цѣли, Луи-Наполеонъ или, лучше, его партія не упускала ни одного благопріятнаго случая реставрировать старую имперію Наполеона I. Гораздо раньше декабрьскаго переворота она обратила вниманіе на двѣ отрасли общественной дѣятельности, считая ихъ болѣе необходимыми союзниками для себя — на образованіе и журналистику. Конституція отвела довольно широкія границы свободному преподаванію въ школѣ; она предоставила способностямъ и совѣсти каждаго преподавателя выборъ программъ, методы ученія, и главный надзоръ какъ за успѣхами образованія, такъ и за его направленіемъ оставила на отвѣтственности самого общества. Правительство обязано было только содѣйствовать распространенію народныхъ школъ и помогать имъ матеріальными средствами, не вмѣшиваясь во внутреннюю ихъ жизнь. Луи-Наполеону, конечно, не нравилась эта свобода, и онъ началъ ограничивать ее съ военныхъ школъ. Политехническая школа, какъ высшее и лучшее учебное зоведеніе, давно уже была бѣльмомъ на глазу бонапартистской партіи. Подъ вліяніемъ реакціи, друзья президента, особенно либеральный католикъ Монталамберъ, считали удобнымъ возбудить вопросъ о преобразованіи этой школы. Составлена была особенная комиссія для пересмотра устава и для выработки новаго проекта организаціи. Докладчикомъ этой комиссіи былъ извѣстный астрономъ Леверье, совершеннѣйшая дрянь въ политическомъ смыслѣ, примазавшійся въ это время къ партіи Луи-Наполеона. Онъ предложилъ не только уничтожить даровое образованіе въ политехнической школѣ, но и перенести ее изъ Парижа въ Медонъ, подъ тѣмъ будто бы предлогомъ, что спокойствіе ученія не должно быть нарушаемо волненіемъ политическихъ страстей. Большинство не осмѣлилось утвердить перенесенія школы, но уничтожило даровое образованіе въ ней, и тѣмъ сократило значительно число ея воспитанниковъ. Вслѣдъ затѣмъ президентъ назначилъ новаго министра народнаго просвѣщенія Ипполита-Фортула, — человѣка, подобно Леверье, бывшаго нѣкогда защитникомъ конституціи, а теперь преданнаго слугу Луи-Наполеона. Этотъ бездарный ренегатъ началъ съ того, что далъ католическому элементу преобладаніе въ общественномъ образованіи. Впослѣдствіи — это онъ оскопилъ парижскій университетъ и поставилъ народныя школы подъ непосредственный контроль іезуитовъ, такъ что не только совѣсть, но и умъ Франціи были отданы имъ подъ опеку католическаго духовенства. Заручившись такимъ министромъ, Луи-Наполеонъ былъ спокоенъ съ этой стороны.

Затѣмъ началась подпольная война противъ прессы. Нельзя сказать, чтобы пресса особенно возвысила себя въ глазахъ общества во время своей полной свободы, но все таки она обезпечивала независимость слова тѣмъ изъ писателей, которые дорожили своимъ достоинствомъ. Реакція, дѣйствуя въ интересахъ президента, ограничила эту независимость закономъ, установившимъ, какъ непремѣнное условіе журналиста, подпись имени автора. Въ спокойное время эта мѣра не могла имѣть ощутительныхъ неудобствъ для писателя-публициста, но теперь, среди самаго разгара преслѣдованій и борьбы партій, она была *закономъ ненависти*, какъ выражались тогда. Преслѣдованіямъ личности и его убѣжденій открывалось обширное поле. Въ то же время партія Луи-Наполеона усилила свою пропаганду, раздавая тайныя субсидіи продажнымъ писакамъ и основывая свои органы. За исключеніемъ двухъ-трехъ газетъ, съ независимымъ направленіемъ, вся остальная журналистика распредѣлялась между интересами консервативныхъ партій и стремленіями елисейскаго дворца. Были даже платоническіе лакеи, которые являлись сами къ президенту республики и предлагали ему свои услуги для возстановленія императорской Франціи. Къ числу этихъ публицистовъ принадлежалъ и Монталамберъ.

Обезпечивъ себя со стороны народнаго образованія и прессы, елисейская компанія легко могла справиться съ третьей и самой главной силой — съ арміей. По положенію конституціи армія находилась въ распоряженіи исполнительной власти, т. е. президента республики и, слѣдовательно, не было особеннаго труда склонить ее на свою сторону, тѣмъ болѣе, что послѣ іюньскихъ дней между народомъ и войскомъ легла цѣлая пропасть антипатій и ненависти. Для Луи-Наполеона, при строгой французской дисциплинѣ, опасность была не въ рядовой массѣ, — она безусловно повинуется своимъ начальникамъ, — а въ высшихъ военныхъ чинахъ. Удалить людей опасныхъ его замыслу и поставить на мѣсто ихъ своихъ сообщниковъ было главной заботой президента. Исполненіе этой задачи онъ поручилъ одному изъ своитъ адъютантовъ — полковнику Флери. Тотъ отправился въ Алжиръ *дѣлать генераловъ* и приготовилъ тамъ Луи-Наполеону Сентъ-Арно и Маньяна. Передъ декабрьскимъ переворотомъ всѣ высшіе военные посты занимались людьми, вполнѣ посвященными въ тайну предстоящаго Coup d'état.

Такимъ образомъ переворотъ былъ готовъ гораздо раньше декабрьскихъ дней. Оставалось только осуществить его въ болѣе удобную минуту. Кому принадлежитъ самая программа исполненія — Морни или Луи-Наполеону — это пока остается дѣломъ темнымъ, но послѣ Сицилійскихъ вечерень и Варфоломеевской ночи декабрьскіе дни должны занимать первое мѣсто въ исторіи. Почему съ безоружнымъ городомъ понадобилось такое кровопролитное насиліе, почему на *самыхъ искреннихъ и преданныхъ друзей* Луи-Наполеона, какъ онъ называлъ рабочихъ, выпущена была страшная облава генераломъ Сентъ-Арно — это пока извѣстно только одной совѣсти

Наполеона III. Можно предположить, что творцы декабрьскаго переворота хотѣли навести на Францію паническій страхъ, столь же заразительный, какъ и народный энтузіазмъ, и разомъ отнять всякую нравственную силу у оппозиціи. Такъ дѣйствительно и было. Ужасъ, объявшій столицу послѣ свирѣпой бойни 4 декабря, сковалъ Францію на долго. Въ подробности этого факта посвящаетъ насъ очевидецъ англійскій капитанъ Джессъ, наблюдавшій съ балкона за движеніемъ войскъ на бульварѣ.

„Отъ улицы Ришелье на востокъ, разсказываетъ онъ, — на протяженіи 1,000 ярдовъ (почти цѣлой версты) линія бульварная была усѣяна трупами, а по мѣстамъ они лежали грудами: раненые ползли нѣсколько шаговъ, пока подползали къ трупу, черезъ который не могли перебраться, и умирали на немъ; вотъ, вѣроятно, причина, почему многіе трупы лежали одинъ на другомъ. Передъ одною изъ лавокъ было насчитано 33 трупа. На мирной маленькой площадкѣ дворика, открытаго на бульварѣ, и называемаго Cité Bergére, насчитано 37 труповъ. Число солдатъ было — тысячи; число убитыхъ навсегда останется неизвѣстно; но изъ этихъ солдатъ и этихъ убитыхъ не было ни одного сражающагося, битвы не было, не было даже ссоры, даже спора (я говорю о бульварѣ на протяженіи отъ Rue du Sentier до западнаго конца Бульвара Монмартръ), — нѣтъ, солдаты просто убивали безоружныхъ мужчинъ, убивали женщинъ и дѣтей. Каждый трупъ свидѣтельствовалъ, что это было просто убійство. Трупы, лежавшіе нѣсколько поодаль отъ другихъ, врѣзались въ памяти людей глубже, чѣмъ трупы, лежавшіе кучами. У нѣкоторыхъ остался передъ глазами видъ убитаго старика, сѣдого, зонтикъ лежалъ подлѣ него — его оружіе. Другіе съ ужасомъ вспоминали о щегольски-одѣтомъ человѣкѣ, вышедшемъ, какъ видно, погулять, — онъ сидѣлъ мертвый, прислонившись спиною къ стѣнѣ; у ногъ его лежала шляпа, выпавшая изъ руки. У третьихъ остался въ памяти ребенокъ, мертвый припавшій къ стѣнѣ, — это былъ типографскій ученикъ: въ его рукѣ замерли корректуры, которыя онъ несъ куда-то, залитыя его кровью, листы ихъ колебались вѣтеркомъ... Кровь убитыхъ стояла свернувшись въ ямкахъ у деревьевъ, когда мы проходили по бульварамъ на другой день, въ 12-мъ часу утра... Солдаты вламывались во многіе дома, гнались за жившими въ нихъ изъ этажа въ этажъ, наконецъ, ловили ихъ и убивали. Такъ было съ ковровымъ магазиномъ Салландруза. 14 человѣкъ, бывшихъ тамъ, думали было укрѣпиться за тюками ковровъ. Солдаты перебили ихъ, лежавшихъ на полу“.

„Огромныя толпы плѣнниковъ, продолжаетъ Кинглэкъ,—были приводимы въ префектуру полиціи; но главные начальники разсудили, что неудобно было бы, если бы изъ внутри этого зданія слышались на улицахъ ружейныя залпы разстрѣливанія. Конечно, только по этому соображенію и былъ принятъ другой способъ расправы съ плѣнными. Этотъ

способъ — вещь изумительная, но вотъ что засвидѣтельствовано однимъ изъ депутатовъ законодательнаго собранія, который самъ видѣлъ это своими глазами: плѣнные, которыхъ рѣшено было убить, были постепенно приводимы по нѣскольку человѣкъ на одинъ изъ дворовъ префектуры; руки у нихъ были связаны на спинѣ; агенты Мопа подходили къ нимъ и били ихъ по головѣ палками съ большою свинцовою шишкою и убивали. Это — способъ, принятый на парижскихъ бойняхъ для битья быковъ. Это изумительно, но именно такъ разсказываетъ Ксавье Дюрье, депутатъ, видѣвшій это изъ окна комнаты, въ которой онъ сидѣлъ подъ арестомъ".

„Едва ли есть на землѣ городъ съ такимъ воинственнымъ населеніемъ, какъ Парижъ. Его жители менѣе всѣхъ другихъ столицъ Европы расположены трусливо преувеличивать цѣну жизни и своей, и чужой. У нихъ любовь къ борьбѣ беретъ верхъ надъ боязнью и жалостью, и они — люди привычные къ великимъ битвамъ на улицахъ. Но они не были привычны видѣть, что убиваютъ массу безоружныхъ, беззащитныхъ людей. Видъ того, что совершилось 4-го декабря, поразилъ столицу Франціи, какъ появленіе чумы. Англичанинъ, зоркій наблюдатель, бывшій тутъ, говоритъ, что у людей, удалявшихся съ мѣстъ убійства, лица были мертвенно-посинѣлыя, позеленѣлыя, какихъ онъ никогда не видывалъ. Конечно, никогда; потому что онъ никогда прежде не видывалъ людей, только что бывшихъ зрителями такихъ убійствъ. Говорятъ, что видъ этой сцены, стонъ убитыхъ потрясли крѣпость нервовъ у многихъ мужчинъ, такъ что они рыдали, какъ маленькія дѣти".

„Къ разсвѣту 5-го декабря вооруженное возстаніе прекратилось. Оно и съ самого начала было слабо. Но нравственное сопротивленіе дѣйствіямъ президента и его сообщниковъ быстро усиливалось въ первые дни, и становилось уже очень грозно, когда вечеромъ 4-го декабря начались убійства. Эти убійства навели ужасъ, и вооруженное возстаніе уронило своимъ паденіемъ всѣ надежды людей, думавшихъ, что одною силою общественнаго мнѣнія и смѣха заговорщики будутъ сведены изъ елисейскаго дворца въ тюрьму". (См. „Парижъ и провинція 2-го декабря 1851 года". Тэно. Стр. 382 — 383, 384, 387, 395).

Тотъ же паническій ужасъ, наведенный новымъ Аустерлицомъ Наполеона III, объялъ и провинціи. Тамъ разыгрывалась, въ дали отъ свѣта, та же кровавая драма, съ такими же отвратительными сценами насилія. Читатель можетъ найти ихъ въ разсказѣ Тэно „Провинція 2-го декабря 1851 года".

„Таковы были дѣла, заключаетъ Кинглэкъ,—совершонныя принцемъ Луи-Бонапартомъ. То, что̀ клятвою обязался онъ сдѣлать, извѣстно всѣмъ; онъ публично далъ эту клятву 20-го декабря 1848 года. Онъ стоялъ въ національномъ собраніи, поднявъ руку къ небу, и произносилъ слова президентской присяги: „Предъ лицомъ Бога и предъ фран-

цузскимъ народомъ, въ собраніи его представителей, клянусь остаться вѣренъ единой и нераздѣльной демократической республикѣ и исполнять всѣ обязанности, возлагаемыя на меня конституціею". Онъ далъ эту присягу, какъ правитель. Какъ частный человѣкъ, онъ поручился за ея исполненіе своею личною честью въ тѣхъ словахъ, которыми добровольно дополнилъ ее тутъ же: по запискѣ, предварительно составленной, онъ прочелъ собранію: „Воля націи и присяга, данная теперь мною, опредѣляютъ мои обязанности. Они ясны; я буду исполнять ихъ, какъ честный человѣкъ. Я буду считать врагомъ Франціи всякаго, кто захотѣлъ бы незаконными средствами измѣнить учрежденія, которыя установила для себя Франція".

„Въ Европѣ были тогда сотни тысячъ мужчинъ и милліоны женщинъ, искренно убѣжденныхъ, что опредѣлять границу, раздѣляющую добро отъ зла, есть дѣло духовенства, что то хорошо, что благословляетъ оно. Теперь утромъ, на тридцатый день послѣ 2-го декабря, лучи 12,000 свѣчъ пробивались сквозь густой зимній туманъ, висѣвшій въ воздухѣ, и разливали блѣдный свѣтъ свой по громадному пространству церкви, служащей памятникомъ вѣковъ. Въ этой церкви собрался сонмъ епископовъ, священниковъ и діаконовъ католической церкви. Этотъ сонмъ епископовъ, священниковъ и діаконовъ собрался, стоялъ и ждалъ прибытія человѣка, давшаго присягу 20-го декабря 1848 года: имъ, по ихъ мнѣнію, принадлежало право установлять отношенія между человѣкомъ и Богомъ, и человѣкъ, дававшій тогда присягу, благоволилъ теперь увѣдомить ихъ, что вновь явится „предъ лицо Божіе", и на этотъ разъ при ихъ содѣйствіи. И вотъ онъ прибылъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ преклоняли колѣни короли Франціи, стоялъ теперь непремѣнный режиссеръ труппы, дававшей спектакли въ Страсбургѣ и Булони, и подлѣ него, какъ и слѣдуетъ, Морни, съ пріятностью размышляющій о величинѣ своего выигрыша, и Маньянъ, основательно претендующій теперь на сумму уже гораздо побольше 100,000 франковъ, и Мопа, уже возставшій отъ недуга, и Сентъ-Арно, урожденный ле-Руа, и Фіаленъ, чаще называемый „Персиньи", и двигатель всего дѣла Флери, которому, вѣроятно, хотѣлось поскорѣе отдѣлаться отъ скучной церемоніи, чтобы заняться кутежомъ на нынѣшнія богатыя средства, а пока, во время скучной церемоніи, вѣроятно, размышлявшій съ зѣвотою о томъ, какъ странно это случилось, что онъ сталъ владыкою судьбы великой націи, благодаря своему пламенному пристрастію къ кутежу. Когда духовенство увидѣло, что присягатель и его компаньоны готовы, оно начало обрядъ. Надѣвъ ризы, во всю длину обшитыя знаками креста, и принявъ черезъ это видъ возвысившихся надъ всякою земною суетою и боязнью, епископы и священники пошли къ алтарю, воскурили кадила ѳиміама, колѣнопреклонялись и вставали и снова колѣнопреклонялись и воздвиглись, наконецъ, и передъ тысячами свидѣтелей воспѣли гимнъ славословія, из-

древле служащій выраженіемъ благодарной хвалы Всевышнему Богу за великія милости, оказываемыя Его десницею: хвала Богу воспѣвалась теперь въ Notre-Dame за то, что̀ совершено было принцемъ Луи-Бонапартомъ въ эти тридцать дней, начиная съ половины декабря. И пропѣвъ „Te Deum", епископы и весь сонмъ духовенства возвысили голоса и воскликнули: „Domine, salvum fac Ludovicum Napoleonem" („Боже, храни Луи-Наполеона").

„Что̀ же такое зло, что̀ добро? И кто заслуживаетъ того, чтобы за него молилась вся нація? Если совѣстливые и набожные люди во Франціи, возмущенные декабрьскими дѣяніями, обращались съ этими вопросами къ французской церкви, она имъ дала отвѣтъ въ этотъ день въ каѳедральномъ соборѣ столицы". (Тэно. Стр. 423—425).

Такъ совершился декабрьскій переворотъ; изъ такихъ дѣлъ и людей составилась вторая имперія!

1869 г.

ОРАТОРСКАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ МАКОЛЭ.

Два обстоятельства особенно содѣйствуютъ развитію англійскаго генія — общественное мнѣніе и практическая дѣятельность писателя.

Общественный голосъ — высшій трибуналъ Англіи. Его судъ — послѣдній судъ, передъ которымъ становится министръ, полководецъ, джюри, фабрикантъ, работникъ и литературный талантъ. Въ какой-бы области ни дѣйствовало отдѣльное лице, за нимъ зорко слѣдитъ невидимый, но испытующій взглядъ, повѣряетъ его поступки, опредѣляетъ ему доброе имя или клеймитъ презрѣніемъ. Этотъ органъ возможно высшей справедливости на землѣ, конечно, можетъ ошибаться, но самыя ошибки его носятъ печать глубокаго смысла и искренняго убѣжденія. Что особенно даетъ высокое значеніе общественному мнѣнію — это нравственный его инстинктъ. Прежде и главнѣе всего оно ищетъ въ нашихъ дѣлахъ и намѣреніяхъ правой стороны, движенія къ человѣческому достоинству,— совѣсти. Какъ-бы ни были блистательны заслуги извѣстнаго дѣятеля,— но если онѣ лишены нравственнаго характера, цѣна ихъ сомнительна, награда невѣрна. Оно скорѣе проститъ недостатку ума, воли, энергіи, но никогда не пощадитъ злой и развратной жизни, рано или поздно сниметъ съ головы вѣнецъ, покрытый грязными пятнами. Такихъ примѣровъ Англія представляетъ много; ея парламентскія лѣтописи очень богаты наставленіемъ и для государственнаго человѣка и для частнаго гражданина. Кто, напримѣръ, могъ предвидѣть, чтобъ Пальмерстонъ, послѣ тридцатилѣтней дѣятельности, такъ быстро и низко упадетъ въ народномъ мнѣніи? Его дипломатическій тактъ, его лицемѣрный либерализмъ, его сильная партія, его правительственная опытность и даже самый недостатокъ болѣе способнаго преемника, — все, повидимому, ручалось за его авторитетъ и твердое положеніе, но съ той минуты, когда ясно обнаружились эгоистическія цѣли его, когда онъ такъ некстати

протянулъ дружескую руку по ту сторону канала — по всему острову пронесся крикъ негодованія, и первый министръ немедленно лишился своего мѣста. Другая и болѣе благородная личность представляетъ намъ иное явленіе: мы говоримъ о Каннингѣ. Когда, въ 1827 году, онъ сталъ въ главѣ министерства, для британской политики началась новая эра. Вліяніе гнилаго австрійскаго кабинета было отброшено; бездарная и своекорыстная оппозиція, пораженная его правительственнымъ умомъ и убѣдительнымъ словомъ, замолкла, его добросовѣстность пріобрѣла ему общее сочувствіе страны. Народъ съ гордостью смотрѣлъ на плебея, правившаго рулемъ государства. Аристократическая партія понимала, что уронить человѣка открыто не было возможности; „она скорѣе могла поворотить воды Темзы противъ теченія, чѣмъ заставить Каннинга идти противъ своихъ убѣжденій". Но ненависть, какъ любовь, находчива; торіи истощили все искусство тайной интриги, чтобъ отвязаться отъ своего мощнаго врага; они „въ нѣсколько мѣсяцевъ загнали его въ гробъ". „Но британская нація, говоритъ Грегъ, инстинктивно презирающая явное неблагородство и недопускающая преслѣдованія человѣка, желающаго быть честнымъ, отдала полную справедливость его памяти и никогда отъ сердца не простила его гонителямъ". (Essays on political and social science. By W. Greg. T. II, стр. 306).

Съ этимъ нравственнымъ инстиктомъ соединяется въ массахъ другое чувство — чувство безпристрастной оцѣнки таланта и его заслугъ. Въ этомъ отношеніи онѣ видятъ гораздо дальше, чѣмъ мы думаемъ. И это понятно. Наши сужденія, перепутанныя личными отношеніями, часто сбитыя съ толку затверженными теоріями, или отуманенныя самолюбіемъ и завистью, гораздо чаще способны ошибаться, чѣмъ общій смыслъ. Спросите мнѣніе артиста о его собратѣ, и вы изъ тысячи отзывовъ навѣрное не услышите десяти справедливыхъ. Обратитесь къ современнымъ критикамъ геніальныхъ людей, и вы не узнаете отъ нихъ ничего, кромѣ двусмысленныхъ похвалъ или безчувственнаго равнодушія. О Шекспирѣ въ свое время никто изъ литературныхъ судей не сказалъ теплаго слова; а между тѣмъ толпы съ восторгомъ шли смотрѣть на его трагедіи. Въ то время, когда критика разбирала по буквамъ вдохновенный стихъ Пушкина, глумилась надъ грамматическими его ошибками, и если не доставало ума, унижала и клеветала на поэта, имъ наслаждалась вся грамотная Россія. Необразованное большинство дорожило каждымъ звукомъ его, а образованное меньшинство постаралось преждевременно уложить его въ могилу. Конечно, общественному мнѣнію, особенно не развитому опытомъ и воспитаніемъ, часто недостаетъ яснаго пониманія, тонкаго анализа, но оно сердцемъ чуетъ то, чего не постигаетъ разумъ. Оно измѣряетъ цѣну умственной силы біеніемъ пульса, раздраженіемъ нервовъ, тѣмъ глубокимъ внутреннимъ ощущеніемъ, которое мы, обыкновенно, замѣняемъ безжизненной рутиной. Во всякомъ случаѣ,

оно безпристрастнѣе нашего близорукаго суда. Для него геній — святыня; для насъ — предметъ холоднаго удивленія, если только не преслѣдованія.

Въ Англіи писатель — передовой вождь общественной мысли. Онъ служитъ самымъ нѣжнымъ органомъ выраженія потребностей, желаній и стремленій своего народа. Онъ — дѣйствительная сила страны. Послѣ парламента, типографскому станку принадлежитъ главное вліяніе въ народной жизни. Онъ съ быстротой молніи, обобщаетъ взаимные интересы, ежеминутно поддерживаетъ умственное движеніе, возбуждаетъ и удовлетворяетъ самой разнообразной любознательности, которая растетъ въ прямой пропорціи съ національнымъ образованіемъ. Даже есть моменты, когда отъ него прямо зависитъ законодательная дѣятельность парламента, который своими преобразованіями, улучшеніемъ и зрѣлостью, съ нѣкотораго времени, гораздо болѣе обязанъ печати, чѣмъ отдѣльнымъ и оффиціальнымъ политикамъ. Этимъ обстоятельствомъ, между прочимъ, объясняется необыкновенное развитіе британскаго журнализма. Въ одномъ Лондонѣ не менѣе трехъ-сотъ періодическихъ изданій расходится каждый день между читателями всѣхъ классовъ — отъ угольщика до королевы Викторіи. И если одинъ „Times" имѣетъ до пятидесяти-тысячъ подписчиковъ (въ одной Англіи), то легко представить — до какой огромной цифры должно доходить число читающей публики. Эта цифра опредѣляетъ одинъ положительный фактъ — потребность гласности. Съ тѣмъ вмѣстѣ, она выражаетъ довѣренность народа своему писателю: и въ этомъ заключается главное его превосходство. Съ одной стороны, онъ пользуется безграничной свободой, съ другой — на немъ лежитъ тяжелая отвѣтственность передъ судомъ общества. Если онъ рѣшается служить интересамъ касты и частнымъ цѣлямъ во вредъ общему дѣлу, однимъ словомъ, если онъ безсовѣстно лжетъ, его не слушаютъ или презираютъ. Когда Дизраэли, по случаю вопроса о свободной торговлѣ, вдругъ оставилъ свою партію и перешелъ на сторону противниковъ, ему громко замѣтили: „почтенный серъ, мы въ первый разъ видимъ васъ на этой сторонѣ, и потому не вѣримъ вамъ". (Disraeli and his political life. London. 1852 г., стр. 19). Слово *не вѣримъ* — разрушаетъ всю нравственную иниціативу писателя или оратора, оно бросило въ потъ Дизраэли передъ лицемъ всего парламента. Въ жизни Роберта Пиля было много подобныхъ скачковъ; въ послѣдніе годы онъ рѣшительно отрекся отъ своихъ первоначальныхъ мнѣній. Защитникъ католической эмансипаціи съ 1829 года, прежде онъ былъ жаркимъ антагонистомъ ея. Въ искренности убѣжденій его никто не сомнѣвался, и это спасло его славу; за всѣмъ тѣмъ на памяти его остался горькій упрекъ въ несостоятельности политическаго характера. Было время, когда великому Пилю не совсѣмъ удобно было быть въ Англіи или на многолюдной улицѣ.

При такомъ порядкѣ вещей, репутація писателя зависитъ не отъ

случая, не отъ маленькаго кружка журнальныхъ сплетниковъ, а отъ сочувствія всего общества; его авторитетъ упрочивается по мѣрѣ содѣйствія народному дѣлу, искренней любви къ прогрессу. Но одной любви недостаточно, однѣхъ фразъ мало. Если онъ хочетъ дать стремленіямъ дѣйствительное значеніе, заявить свое имя въ числѣ уважаемыхъ именъ, онъ долженъ изучить національную жизнь, ея требованія и характеръ. Въ этомъ заключается вторая задача его авторскаго призванія.

Англійская наука и литература всегда отличались практическимъ направленіемъ, тѣмъ стройнымъ союзомъ мысли и факта, теоріи и приложенія ея, которымъ мы ничего подобнаго не видимъ на континентѣ. Это направленіе есть слѣдствіе самой жизни и преобладающихъ способностей народа. Англо-саксонская порода — въ высшей степени реальная порода. Ея геній, въ какой-бы сферѣ, въ какой бы моментъ развитія мы ни стали слѣдить за нимъ, вездѣ является геніемъ *опыта*, работа его была трудная и продолжительная, за то прочная и плодовитая. Отрѣзанный океаномъ отъ остального европейскаго міра, развившагося на древне-классической почвѣ, онъ не искалъ источниковъ внѣ, а умѣлъ открыть и разработать ихъ въ самомъ себѣ. Мы можемъ сравнить его съ тѣмъ вѣковымъ шотландскимъ дубомъ, который почерпая жизненные соки въ корняхъ, глубоко заходящихъ въ землю, растетъ и крѣпнетъ самобытно. Отсюда вытекаетъ оригинальность этого генія, которая озадачиваетъ поверхностнаго наблюдателя какимъ-то китайскимъ своеобразіемъ; отсюда — строгая послѣдовательность историческаго прогресса, уваженіе къ преданію и удивительная способность самоуправленія (Selfgovernement). Эта одна способность избавила англичанина отъ величайшихъ внутреннихъ золъ — отъ внѣшняго деспотизма и полицейскихъ насилій. Его домъ остался неприкосновенной святыней; его семейный очагъ — источникомъ тихаго, но вѣрнаго счастія. Съ перваго взгляда кажется непонятнымъ, какимъ образомъ страна, достигшая высшей степени цивилизаціи, съ такими многосложными національными интересами, управляется безъ систематическаго свода законовъ, и управляется, конечно, лучше Франціи съ ея наполеоновскимъ кодексомъ. Дѣло въ томъ, что для француза законъ всегда облекался въ лицѣ внѣшней власти, а для англичанина онъ былъ потребностью чувства справедливости, или обычаемъ. Первому совершенно неизвѣстно чувство личной отвѣтственности и индивидуальнаго достоинства, для второго оно составляетъ главный актъ человѣческой жизни. У перваго жажда формъ и отличій доходитъ до какой-то лихорадочной страсти; отъ ребенка и до министра она кружитъ голову всей націи. Сталь нѣкогда сказала: „Французы будутъ довольны только тогда, когда имъ провозгласятъ конституцію, которой единственнымъ пунктомъ будетъ слѣдующій: „всѣ французы — чиновники!“ Въ самомъ дѣлѣ, во Франціи болѣе пятидесяти-тысячъ разныхъ долж-

ностныхъ лицъ, и администрація имѣетъ въ два раза меньше дѣлъ и въ десять разъ совершается хуже, чѣмъ въ Англіи, гдѣ только двадцать-три тысячи чиновниковъ. Было время, когда французъ безъ позволенія главнаго префекта не могъ огородить дома заборомъ, построить чердакъ, а англичанинъ, безъ всякихъ справокъ, заселялъ цѣлыя колоніи, основывалъ города. Отсутствіе излишней бюрократіи, нѣтъ сомненія, доказываетъ высокое развитіе законности въ народномъ быту, и обратно. По этому, между прочимъ, англичанинъ тяжелъ и остороженъ въ своихъ реформахъ, а французъ, не задумываясь, возьмется сочинить конституцію, республику, не только себѣ, но и предписать ее цѣлому міру. Въ „воспоминаніяхъ Мирабо" Дюмонъ очень мѣтко замѣтилъ: „еслибъ вы остановили на улицахъ Лондона и Парижа сто человѣкъ безъ различія и предложили имъ создать правительство, девяносто-девять англичанъ откажутся, а девяносто-девять французовъ возьмутся. Первые откажутся потому, что для нихъ правительственная перемѣна событіе важное, а для вторыхъ — не многимъ больше, чѣмъ ребяческая шалость". Но нигдѣ діаметральная противоположность этихъ народовъ не поражаетъ такъ рѣзко, какъ въ сравненіи ихъ историческихъ судебъ. Исторія Англіи развивается въ ряду постепенныхъ и строго-логическихъ реформъ; тамъ, гдѣ прекращается жизнь одного государственнаго установленія, возникаетъ другое, болѣе сообразное съ духомъ времени и состояніемъ общества. Притомъ каждый благотворный переворотъ идетъ исподоволь: прежде, чѣмъ онъ совершится, общественное мнѣніе обсудитъ, приготовится къ принятію его. Иногда пятьдесятъ лѣтъ нужно на то, чтобъ дать вопросу оффиціальное значеніе. Злоупотребленія избирательной системы, какъ извѣстно, чувствовались еще во времена Борка, но отмѣна ихъ послѣдовала только въ 1832 году. И съ этой поры до настоящей минуты парламентская реформа не останавливается въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи; не надо быть пророкомъ, чтобъ предсказать ей полное осуществленіе черезъ пятьдесятъ лѣтъ. Наконецъ, въ минуты роковыхъ кризисовъ здѣсь дѣйствуютъ люди умные и опытные. Отъ лорда Чатама до Роберта Пиля мы видимъ преемственную генерацію геніальныхъ государственныхъ мужей. Все на-оборотъ — во Франціи. Ея исторія, особенно въ послѣднее полустолѣтіе, состоитъ изъ постоянныхъ реакцій, приливовъ и отливовъ. Въ этомъ хаосѣ республикъ, конституцій и имперій, вы не можете различить ни прошедшаго, ни будущаго ея. Не имѣя здороваго политическаго воспитанія, она бралась рѣшать самыя капитальныя задачи въ соціальной жизни. Двѣнадцать милліоновъ ея народонаселенія не умѣютъ подписать свое имя, и рядомъ съ этимъ фактомъ провозглашается всеобщая подача голосовъ. Проникнутая самыми страстными военными инстинктами, всегда готовая воевать, она во имя мира объявила новый порядокъ вещей. Исторія этой страны прекрасно выражена на тріумфальныхъ воротахъ, замыкающихъ Елисейскія

поля: правая арка носитъ барельефъ народной Немизеды, съ мечомъ въ рукѣ и съ огненнымъ взглядомъ; сова эту арку окончила. На другой необходимо было представить Наполеона I въ лавровомъ вѣнкѣ и порфирѣ. Девизомъ ея государственныхъ людей можно принять извѣстное выраженіе одного историка. „Ils ne savaient faire que deux choses — bien parler et bien mourir (они умѣли только говорить и умирать)". Но и этотъ девизъ былъ-бы слишкомъ лестной похвалой ея послѣднимъ представителямъ — Гизо, Тьеру и Ламартину. Они не умѣли стать ни выше интриги, ни выше личныхъ разсчетовъ, когда дѣло шло о счастіи всей Франціи, когда покоились на нихъ лучшія надежды народа.

Еслибъ мы стали приводить эту параллель дальше, мы нашли бы въ наукѣ, воспитаніи, семейной жизни, въ нравахъ и обычаяхъ тоже различіе, мы убѣдились бы въ одной истинѣ, что глубокая международная ненависть Гальскаго и Англосаксонскаго племени лежитъ не въ одной исторіи, но въ самомъ нравственномъ ихъ существѣ. Вотъ какъ одинъ изъ превосходныхъ публицистовъ выражается объ этомъ: „Французъ — самолюбивъ, безпеченъ, раздражителенъ, всегда мечтающій о совершенствѣ, ищущій неизвѣстнаго и склонный къ абсолютнымъ идеямъ, — онъ постоянно разрушаетъ свое настоящее добро въ нетерпѣливой надеждѣ на лучшее. Англичанинъ точенъ; онъ въ политикѣ знаетъ не болѣе, чѣмъ сколько ему нужно; цѣли его опредѣленныя; онъ не признаетъ то, что́ устарѣло, отмѣняетъ дурное и не отказывается отъ прошлаго, если оно достойно уваженія. Француза волнуетъ темное желаніе чего-нибудь новаго, необыкновеннаго и великаго; онъ лучше соглашается сносить неизвѣстное зло, чѣмъ примиряться съ тѣмъ, которое онъ знаетъ. Золотой вѣкъ его — въ несбыточномъ, идеальномъ будущемъ; наше счастіе лежитъ ниже, но менѣе безопасно — оно заключается въ прошедшемъ. Французъ любитъ ученыя опредѣленія, теоріи въ политикѣ; англичанинъ смотритъ на все это съ недовѣріемъ и улыбкой. Первый произноситъ формальныя опредѣленія человѣческихъ правъ, но свои собственныя плохо понимаетъ; второй никогда не толкуетъ о нихъ, но ежедневно исполняетъ и твердо стоитъ, когда касаются ихъ. Первый вполнѣ довѣряетъ своему мнѣнію, хотя бы никто другой не раздѣлялъ его; второй всегда сомнѣвается, въ правѣ ли онъ не согласиться съ большинствомъ". (Princ. of social Science. By Greg. т. II. стр. 75 — 76).

Изъ всего этого ясно видно, на чьей сторонѣ преобладаетъ практическій тактъ и вѣрный взглядъ на вещи. Очевидно также и то, что опытъ, противополагая его отвлеченному мышленію, былъ главнымъ орудіемъ въ образованіи англійскаго генія. Къ нему никогда не прививалась метафизика, несмотря на всѣ попытки ввести ее въ систему университетскаго ученія. Первый великій европейскій философъ былъ лордъ Бэконъ; разгоняя средневѣковыя тѣни, онъ хотѣлъ дать „свинцовыя крылья человѣческой мысли". Онъ ихъ далъ, поставивъ анализъ

и наблюденіе природы единственнымъ правильнымъ методомъ науки. Онъ первый сказалъ: „знаніе — сила", и можетъ быть великой силой, если оно основывается на опытѣ и свѣтитъ на массы. Послѣ Бэкона Англія не сбивалась съ дороги, имъ указанной; не только въ сочиненіяхъ ея ученыхъ, но у поэтовъ мы встрѣчаемъ множество практическихъ истинъ, перемѣшанныхъ съ вымысломъ. Главное достоинство Шекспира заключается не въ высотѣ чувствъ и оригинальности образовъ, а въ дѣйствительной живописи нашихъ страстей и жизни. Въ романахъ Вальтеръ-Скотта есть страницы, съ которыми не мѣшаетъ познакомиться агроному и политику. Въ повѣстяхъ Диккенса современная Англія воспроизводится точнѣе, чѣмъ въ историческихъ мемуарахъ Сенъ-Симона вѣкъ Людовика XIV. Даже у Байрона и Шелли, самыхъ идеальныхъ поэтовъ, можно найдти гораздо больше положительныхъ элементовъ, чѣмъ у всѣхъ французскихъ поэтовъ вмѣстѣ.

У такого народа писатель не можетъ дѣйствовать съ успѣхомъ внѣ практическаго круга жизни, безъ знанія ея національныхъ потребностей. Если онъ хочетъ заставить слушать и раздѣлять свои мнѣнія, его убѣжденія, чувства и вѣрованія должны быть чувствами, убѣжденіями и вѣрованіями всего народа. Согласно съ тѣмъ, воспитаніе съ перваго шага вводитъ его въ дѣятельную жизнь: въ программахъ школьнаго преподаванія англійскій языкъ и исторія составляютъ главные предметы; развитіе воли и характера не разрывается съ образованіемъ ума; мальчикъ со временемъ можетъ сдѣлаться матросомъ, солдатомъ, посланникомъ, чѣмъ бы то ни было, но въ немъ прежде всего готовится будущій человѣкъ. Въ университетахъ онъ изучаетъ древне-классическую литературу въ обширномъ объемѣ; изъ нея онъ беретъ тѣ общечеловѣческія начала, безъ которыхъ мы не находимъ смысла въ преподаваніи греческаго и латинскаго языковъ. Въ нашихъ университетахъ эти начала убиты нѣмецкой рутиной, и мы знаемъ всѣ, какъ безплодна для насъ древняя наука. Далѣе, оставляя школьную скамью, англійскій юноша, съ рѣдкими исключеніями, запасается наглядными наблюденіями посредствомъ путешествій. Если онъ обнаружитъ особенное дарованіе, рано или поздно его призываютъ къ общественному служенію, на поприщѣ парламентской дѣятельности. Здѣсь онъ окончательно расправляетъ умственныя мышцы и прилагаетъ къ дѣлу запасъ готовыхъ свѣдѣній. Поэтому, рѣдкій изъ первыхъ министровъ Англіи не оставилъ по себѣ авторской извѣстности; всѣ лучшіе члены настоящаго Уестминстера — замѣчательные писатели. Гладстонъ, Джонъ Россель, Бульверъ, Гренвилль, Ребёкъ, Дизраели, Уильсонъ, Брайтъ и прочіе столько-же знакомы намъ въ политическомъ мірѣ, сколько въ ученомъ или литературномъ. Эта благородная связь таланта съ народнымъ дѣломъ, это справедливое признаніе и довѣріе отличному дарованію возвышаетъ цѣну писателя, а въ лицѣ писателя служитъ пробой государственнаго человѣка.

Маколэ въ высшей степени національный писатель. Его литературная дѣятельность началась почти въ одно время съ общественной. На тридцатомъ году жизни онъ былъ введенъ въ парламентъ партіей Виговъ. Его имя, какъ отличнаго питомца Кэмбриджскаго университета, какъ превосходнаго сотрудника „Эдинбургскаго Обозрѣнія", было уже знакомо публикѣ. Кромѣ литературной репутаціи, онъ имѣлъ право на вниманіе, какъ сынъ Захарія Маколэ и другъ Уильбельфорса — защитниковъ свободы негровъ. Въ юности будучи свидѣтелемъ жестокаго обращенія съ невольниками, позорнаго торга „человѣческимъ мясомъ", онъ сохранилъ навсегда глубокое отвращеніе къ рабству. Основательное классическое образованіе укрѣпило его гуманныя чувства. Съ надеждой на успѣхъ, съ жаждой славы, въ цвѣтѣ силъ и таланта, онъ явился на политической сценѣ...

Время было самое благопріятное. Парламентская реформа (Reform-Bill), такъ давно ожидаемая, наконецъ вступила въ очередь государственныхъ вопросовъ. Вопросъ былъ очень популярный и сложный: онъ за живое задѣвалъ старыя аристократическія привиллегіи, измѣнялъ систему древняго парламента и касался основныхъ началъ конституціи. Дѣло шло о разсмотрѣніи представительныхъ правъ и о сравненіи участія отдѣльныхъ состояній въ законодательной власти. Какъ, обыкновенно, бываетъ со всѣми великими реформами, никто не предвидѣлъ, какими благодѣтельными послѣдствіями она увѣнчается для Англіи и какой серьезный характеръ приметъ на первый разъ. Дряхлый Торизмъ вполнѣ былъ увѣренъ, что она разрушитъ конституцію, погубитъ соединенныя королевства. Иначе думало образованное и умное большинство. Общественное мнѣніе встрѣтило реформу съ энтузіазмомъ; повсюду заговорили о справедливости и необходимости предложенной мѣры, повсюду собирались митинги, изъ которыхъ одинъ въ 60,000 человѣкъ видѣлъ изгнанный Карлъ X въ Голигудѣ; отвсюду подавались королю жалобы, просьбы, въ которыхъ умоляли его склонить гордую аристократію на уступку общему дѣлу, времени и обстоятельствамъ. Биль прошелъ парламентъ, принятый большинствомъ 109 голосовъ. Когда эта вѣсть разнеслась по городу, Лондонъ озарился великолѣпной иллюминаціей и весело пировалъ цѣлую ночь. Радость народа скоро достигла послѣднихъ предѣловъ Англіи, которая, послѣ Ватерлоской побѣды, никогда не испытывала такого искреннаго и общаго восторга. Но эта радость скоро перемѣнилась на слезы. Палата лордовъ остановила движеніе биля. Это былъ одинъ изъ самыхъ опрометчивыхъ и неблагоразумныхъ поступковъ наслѣдственныхъ законодателей; онъ угрожалъ радикальнымъ потрясеніемъ всей страны. Есть минуты въ народной жизни, когда нельзя поворотить назадъ ея естественнаго хода, такъ точно, какъ нельзя велѣть юношѣ быть ребенкомъ или ребенку старикомъ. Вслѣдъ за оппозиціей верхней палаты и борьбой ея съ низшей, поднялись смуты въ

главныхъ городахъ, запылали старинные замки и на смутномъ горизонтѣ собиралась страшная буря. Еще одна ошибка, еще одинъ шагъ къ сопротивленію и трудно сказать, чѣмъ бы кончилась эта единственная драма. Старый герцогъ Грей потерялъ свою популярность и король изъ „отца страны" обратился въ личность, отъ которой ничего не ожидали, которой ни въ чемъ не вѣрили. Наконецъ, съ одной стороны началась сдача, съ другой ограниченія реформы, и дѣло кончилось въ пользу народа. Парламентъ, уравновѣсивъ интересы противоположныхъ партій, вошелъ въ новый періодъ дѣятельности. Съ этой поры онъ сдѣлался, если далеко неполнымъ, то болѣе вѣрнымъ выразителемъ общественнаго мнѣнія; теперь онъ не могъ оставаться глухимъ, по крайней мѣрѣ, къ его настоятельнымъ требованіямъ. Прежде онъ былъ ареной, гдѣ въ четырехъ стѣнахъ, съ закрытыми дверями, обсуживались и рѣшались національные вопросы; теперь онъ растворилъ свои двери и вмѣсто 94 впустилъ 159 членовъ. Средніе классы получили доступъ подавать голосъ и охранять свои права съ помощью болѣе безпристрастныхъ и опытныхъ представителей. Наконецъ Виги, побѣдившіе Торіевъ, стали въ головѣ правительства. (History of England. By Martineau. т. II, стр. 42 и др.)

Маколэ — Вигъ. Торжество его партіи было его собственнымъ торжествомъ. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ защитниковъ реформы. Нигдѣ и никогда онъ такъ искренно не былъ одушевленъ любовью къ истинѣ, нигдѣ и никогда его познанія, прелесть языка, энергія характера не проявлялись съ такой силой, какъ въ эту критическую эпоху. Едва заговорилъ тридцати-лѣтній молодой человѣкъ, сѣдые лорды обратили на него удивленный взоръ, и соперники почувствовали свѣжаго и мощнаго бойца. Отсюда начинается ораторская его дѣятельность, которая съ небольшими промежутками продолжалась болѣе двадцати лѣтъ.

„Краснорѣчіе въ этой имперіи — власть, говоритъ Фрэнсисъ. Дайте человѣку талантъ, ясное увлекательное и восторженное слово, и его политическая карьера блистательно составлена и упрочена въ нѣсколько мѣсяцевъ". (Orators of the age. By H. Francis. стр. 2). Но неужели, въ самомъ дѣлѣ, одного таланта и счастливаго дара слова довольно для истиннаго оратора нашего времени вообще и для оратора Англіи въ особенности? Изъ 658 членовъ парламента, конечно, много людей способныхъ, многіе говорятъ хорошо, но очень немногіе выступаютъ за черту посредственности, еще меньше тѣхъ, которые составляютъ себѣ блестящую репутацію въ общественномъ мнѣніи. Первостепеннымъ качествомъ политическаго оратора должна быть искренность убѣжденій. Въ Англіи это тѣмъ необходимѣе, что въ историческомъ воспитаніи ея было много лицемѣрія и правительственной лжи. Въ ея народѣ сохранилось глубокое недовѣріе къ его предводителямъ, которые подъ маской друзей иногда оказывались злѣйшими врагами. У нея были свои государственные Тартюфы, и Вальполи встрѣчаются чаще, чѣмъ Гэмпдены и Чатамы.

Разсматривая Маколэ съ этой точки зрѣнія, мы въ правѣ потребовать отъ него отчета въ убѣжденіяхъ, въ правѣ спросить его, въ чемъ заключается его политическая вѣра? Перечитывая его рѣчи отъ первой до послѣдней, мы убѣждаемся, что онъ искренно и пламенно сочувствуетъ прогрессу; онъ лучше, чѣмъ кто нибудь, понимаетъ, что человѣчество не можетъ вертѣться на одной точкѣ, что его органическая жизнь предполагаетъ непремѣнное развитіе, стремленіе впередъ. Но кто же изъ насъ можетъ сомнѣваться въ этой истинѣ, кромѣ развѣ тѣхъ, для кого исторія отъ Сарданапала до Вашингтона — бѣлая страница, безъ опыта, безъ наставленій, кто дальше своего носа неспособенъ различать ничего въ будущемъ. Любовь къ прогрессу въ душѣ Маколэ не можетъ быть мертвымъ и празднымъ чувствомъ; она должна выражаться въ его мысли, словѣ и дѣлѣ; она должна проникать всю нравственную его жизнь. Притомъ значеніе прогресса принимаетъ множество разнообразныхъ оттѣнковъ въ современныхъ понятіяхъ. Для однихъ онъ составляетъ конкретную истину, ту райскую мечту, во всей прелести восточной поэзіи, которую бы они хотѣли осуществить разомъ, помимо прошлыхъ уроковъ и будущихъ послѣдствій. Для нихъ нѣтъ ни преданія, ни тѣхъ систематическихъ препятствій, о которыя ежедневно разлетаются ихъ грезы. Типомъ этихъ людей могъ бы служить Фурье. Въ то время, когда онъ боролся съ гнетущей бѣдностью, тяжелымъ трудомъ едва пріобрѣталъ насущный кусокъ хлѣба, въ его воображеніи разцвѣталъ новый міръ, полный счастія и гармоніи. Онъ жилъ въ своей фаланстерѣ, какъ мы живемъ въ сновидѣніи. Нельзя не уважать благороднаго желанія этихъ друзей общества, но нельзя и не улыбнуться ихъ увлекательнымъ, но слишкомъ раннимъ мечтамъ. Есть другой родъ прогрессистовъ, болѣе практичныхъ, и менѣе взыскательныхъ по осуществленію своихъ плановъ. Для нихъ въ народной жизни, какъ въ часовомъ механизмѣ, все располагается симметрически, все движется съ математической точностью; каждое колесо, каждый винтъ есть необходимая принадлежность общаго устройства, и стрѣлка не иначе, какъ шестьдесятъ минутъ должна отмѣривать въ часъ. Слишкомъ крутые повороты въ историческомъ мірѣ кажутся имъ насильственными переломами, бѣдствіями. По мысли ихъ все должно развиваться постепенно и правильно, какъ будто нравственная природа человѣка и ариѳметическая таблица — одно и то же. Свѣтлыя головы изъ этого разряда умѣютъ воспользоваться прошедшими опытами и, на случай нужды, примѣнить ихъ къ будущему; тупые же доктринеры вѣчно остаются на половинѣ дороги, среди сухихъ формулъ и хронологическихъ списковъ: они легко дѣлаются слѣпымъ орудіемъ произвола... Типомъ этого класса реформаторовъ служитъ Гизо. Но гораздо больше тѣхъ послѣдователей прогресса, которые подъ этимъ словомъ понимаютъ какое-то приказаніе идти впередъ: куда и зачѣмъ идти, — имъ это все равно. Стадо охотно бредетъ всюду по звонку и за попутнымъ вѣтромъ.

Теперь посмотримъ, къ какому разряду людей принадлежитъ Маколэ? Замѣтимъ, что преобладающій темпераментъ умственной организаціи его — историческій. Какъ историкъ, и притомъ первый историкъ нашего вѣка, Маколэ соединяетъ въ себѣ всѣ качества, необходимыя дѣеписателю. Его громадная начитанность, освѣщенная геніальнымъ умомъ, его пламенное воображеніе, разливающее жизнь на мертвые матеріалы, его неистощимая память и спокойный характеръ, какъ нельзя лучше отвѣчаютъ его историческимъ наклонностямъ. Онъ весь живетъ въ прошедшемъ; но не безъ основанія упрекаютъ его въ равнодушіи къ современной жизни, къ тѣмъ обыденнымъ предметамъ, которые окружаютъ его. Неудивительно; въ людяхъ этого рода напряженная кабинетная работа, отчужденіе отъ текущихъ общественныхъ интересовъ, притупляетъ чувство воспріимчивости впечатлѣній новыхъ. Постоянно, присутствуя на всемірномъ кладбищѣ человѣчества, разбирая кости и бренные останки старыхъ дѣятелей, они, какъ гробовщики Гамлета, привыкаютъ смотрѣть съ холодной ироніей на эту погребальную процессію, которую называютъ исторіей народовъ. Менѣе счастливыя и симпатичныя натуры, подобно египетскимъ муміямъ, обращаются въ совершенныхъ мертвецовъ, на которыхъ не видно тлѣнія, но нѣтъ и духа жизни. Имъ непонятны наши настоящіе стоны и слезы, потому что они слышали ихъ много въ минувшія эпохи; имъ чужды наши восторги и смѣхъ, потому что они не понимаютъ ихъ причины. И если ихъ вниманіе нѣсколько лѣтъ было сосредоточено на одномъ пунктѣ прошедшаго, этотъ пунктъ, естественно, дѣлается любимымъ предметомъ ихъ мысли, исключительной идеей. Имъ кажется, что только на Римской площади или въ Аѳинскомъ ареопагѣ происходила полная драма человѣческаго существованія. Позади и впереди — все глухо и бѣдно. Если къ этой односторонности присоединяется, на бѣду, рабское желаніе подслужиться патріотизму, они готовы возвести въ поэзію удары татарской плети и прожитое варварство.

Относительно Маколэ отнюдь нельзя сказать этого: геній и живая фантазія не дали ему очерствѣть въ кругу нѣмыхъ собесѣдниковъ, которыхъ онъ, впрочемъ, предпочитаетъ живымъ; кабинетное его уединеніе освѣжалось общественной дѣятельностью: изъ библіотеки онъ переходилъ въ парламентъ, гдѣ жаркая полемика раздражала нервы и согрѣвала его сердце; съ береговъ Англіи онъ переплывалъ на берега Индіи, дышалъ воздухомъ прекраснаго Прованса и бродилъ среди классическихъ памятниковъ Италіи. Наконецъ, мы знаемъ личное отвращеніе Маколэ къ средневѣковой затхлой кельѣ, гдѣ такъ стоически и безплодно трудился бѣдный монахъ, при свѣтѣ мерцающей лампы, среди пыльныхъ хартій. За всѣмъ тѣмъ, въ его ораторскихъ рѣчахъ, говоритъ историкъ. За какую бы тему онъ ни взялся, его взглядъ невольно обращается къ прошедшему. Никто лучше его не умѣетъ объяснить смысла

старинныхъ установленій и законовъ, никто яснѣе его не видитъ той тайной нити, которая соединяетъ настоящее съ прошлымъ. И какое неисчерпаемое богатство историческихъ примѣровъ, которые онъ цитируетъ до мельчайшихъ подробностей; какая мѣткость въ сравненіяхъ, проводимыхъ между современными и отжившими формами жизни. Повидимому, нѣтъ вопроса, который бы онъ не подтвердилъ прежнимъ опытомъ. Эта способность историческаго возсозданія въ немъ одномъ развита до такой степени, въ какой она была свойственна Авг. Тьери и В. Скотту. Мы объяснимъ наше мнѣніе примѣрами. Такъ, разсуждая о современныхъ бѣдствіяхъ Ирландіи, Маколэ объясняетъ ихъ историческими фактами. „Нѣтъ надобности говорить, что состояніе Ирландіи должно возбуждать сильное безпокойство. Я увѣренъ, что въ этомъ согласны обѣ стороны парламента. Эта страна по обширности своей занимаетъ четвертую часть соединеннаго королевства, и по народонаселенію болѣе, чѣмъ четвертую; плодородіе ея, вѣроятно, превосходитъ всякій равный участокъ въ Европѣ; положеніе ея представляетъ величайшія удобства для торговли, по крайней мѣрѣ, ничѣмъ не хуже одинаковыхъ съ ней странъ міра; она неистощимая кормилица прекраснѣйшихъ солдатъ, — страна, внѣ всякаго сомнѣнія, гораздо болѣе полезная величію и счастію британской имперіи, чѣмъ всѣ другія, болѣе отдаленныя владѣнія, еслибъ даже мы увеличили ихъ въ четыре или пять разъ, — страна, болѣе выгодная для насъ, чѣмъ Канада съ Западной Индіей, чѣмъ всѣ наши колоніи на мысѣ Надежды и въ Австраліи, со всѣми обширными землями Могола, и эту страну вы довели до такого состоянія, что она вмѣсто источника силы и спокойствія, представляетъ сцену смутъ и безсилія. Какъ вы управляете ею? Не во имя любви, а во имя страха, не такъ, какъ вы управляете великой Британіей, а какъ вновь завоеваннымъ Сциндомъ; — не въ силу довѣренности народа въ законы и уваженія его къ конституціи, а вооруженной рукой и укрѣпленнымъ станомъ. Еслибъ кромѣ этого факта вы ничего другого не знали, то и тогда парламентъ долженъ войдти въ изслѣдованіе такого порядка вещей... Главная причина золъ Ирландіи, безъ сомнѣнія, заключается въ ея насильственномъ присоединеніи къ Англіи. Она была жертвой побѣды, и побѣды особеннаго рода. Простой союзъ земли съ британской монархіей отнюдь не повредилъ бы Ирландіи; онъ могъ быть даже благодѣяніемъ для обѣихъ странъ; но эта побѣда не походитъ на тѣ завоеванія, которыя мы привыкли видѣть въ новой Европѣ. Она не походитъ на соединеніе Лорана съ Франціей или Силезіи съ Пруссіей. Она была побѣдой особеннаго рода, извѣстной въ древнія времена и практикуемой до нашихъ дней грубыми и полу-варварскими народами, — побѣдой одного племени надъ другимъ, побѣдой, утвердившей господство испанцевъ надъ американскими индѣйцами и маратовъ — въ Гваліорѣ. По моему мнѣнію, въ этомъ заключается коренная причина ея бѣдствій.

Думаю, что нѣтъ хуже тиранніи, какъ тираннія одного племени надъ другимъ. Я полагаю, что нѣтъ вражды между націями, раздѣленными морями и горами, какъ-бы она ни была укрѣплена долговременнымъ антагонизмомъ, вражды, которая бы равнялась внутренней затаенной антипатіи между народами, соединенными географическимъ положеніемъ, но никогда не сливавшимися нравственно. Не вы ли своимъ тщеславіемъ и надменными выходками возбудили въ бо́льшей части англійскаго народа къ ихъ ирландскимъ братьямъ чувство, подобное тому, какое одушевляло испанцевъ и маратовъ къ ихъ побѣжденнымъ рабамъ? Можно было надѣяться, что время и цивилизація залечатъ первоначальное зло, какъ это было въ нашемъ собственномъ отечествѣ. Кельтъ и саксонецъ, датчанинъ и норманъ, здѣсь сплавились въ одно цѣлое и образовали одинъ англійскій народъ".

„Можно было надѣяться, что подобное соединеніе произойдетъ въ Ирландіи; и я думаю, что оно произошло бы, еслибъ не встрѣтились обстоятельства, которыми сопровождалось введеніе реформаціи въ этой странѣ. Они внесли новые раздоры, растравившіе старыя язвы. Англійскіе колонисты, по примѣру своихъ соотечественниковъ, приняли новое ученіе, а ирландцы остались вѣрны своей старой вѣрѣ, — одни между всѣми народами европейскаго сѣвера. Тогда прибавилась новая грань разъединенія; теологическія антипитіи увеличили прежнюю вражду и одушевили замиравшую племенную ненависть, продолживъ и закрѣпивъ ее до нашихъ дней... Къ несчастію, духъ англійской свободы былъ тѣсно связанъ съ свободой теологіи, которую ревностно противопоставили католической церкви. И тѣ люди, которые впродолженіе XVII вѣка желали свободнаго правительства, стали на сторонѣ поборниковъ древней религіи, а не противниковъ ея. Съ одной стороны такіе борцы, какъ Пимъ, Гэмпденъ и Мильтонъ, при всемъ томъ, что они были знаменитые защитники свободы диспута и религіи, допускали въ своей вѣротерпимости одно исключеніе — въ пользу католической церкви. Съ другой стороны, короли, никогда не уважавшіе правъ совѣсти въ протестантскихъ диссидентахъ, всегда готовы были покровительствовать католическимъ подданнымъ. Яковъ I былъ доброжелателемъ ихъ, Карлъ I заступникомъ и приверженцемъ; Карлъ II — тайнымъ, Яковъ II явнымъ католикомъ".

„Вслѣдствіе всѣхъ этихъ событій, продолжавшихся цѣлый вѣкъ, наше рабство и свобода ихъ обратились въ синонимы; все, что въ умѣ англичанина соединялось съ воспоминаніемъ славы и благосостоянія его страны, въ умѣ ирландца было воспоминаніемъ разрушенія и униженія его отечества... Въ теченіи этого столѣтія, католическое народонаселеніе два раза поднималось противъ протестантовъ и дважды было побѣждено,— оба раза съ потерей земли, конфискаціей собственности и жестокими наказаніями. Первое возстаніе было укрощено Кромвелемъ, второе коро-

лемъ Вильгельмомъ. Каждый изъ этихъ славныхъ вождей, послѣ побѣды, старался ввести свою собственную систему. Система Кромвеля была простая, сильная, строгая и ненавистная; она заключалась въ одномъ словѣ, которое, какъ говоритъ Кларендонъ, постоянно повторялось англійскимъ войскомъ — „Истребленіе". Что было бы, еслибъ онъ долѣе жилъ— трудно сказать, но цѣль его состояла въ томъ, чтобъ истребить въ Ирландіи до послѣдней національной черты. Кромвель умеръ и планы его были остановлены; политика его исчезла. Мѣры Вильгельма III и его совѣтниковъ, повидимому, были менѣе жестокія, но я сомнѣваюсь, чтобъ онѣ, дѣйствительно, были болѣе кроткія. Ирландскіе католики продолжали жить, множиться и населять землю; но они жили какъ спартанскіе илоты, какъ греки подъ игомъ оттоманскимъ, или какъ люди чернаго племени въ Пенсильваніи. Католикъ былъ удаленъ отъ всѣхъ общественныхъ почестей и выгодъ; каждый шагъ его на пути жизни былъ запутанъ какимъ-нибудь стѣсненіемъ. Если онъ желалъ военной славы — ему говорили: иди и добывай ее въ Австріи или Франціи; если онъ чувствовалъ наклонность къ политической дѣятельности, онъ искалъ ее въ Италіи или Испаніи; но если онъ оставался дома, то могъ быть только — „дровосѣкомъ или водовозомъ".

„Дурные законы, съ дурной-администраціей, воспитали и увеличили чувство ненависти. Къ этому періоду и къ этимъ законамъ надо отнести несчастныя отношенія между землевладѣльцемъ и фермеромъ, которыя искажаютъ соціальное состояніе Ирландіи до настоящей минуты. Союзу помѣстныхъ тирановъ была противопоставлена заклятая злоба сельскихъ разбойниковъ, которые подъ разными именами являлись въ продолженіе всего прошлаго столѣтія. Суды и законы существовали только для господствующей касты".

„Вѣкъ прошелъ; французская революція повѣяла новымъ духомъ по всей Европѣ. Партія якобинцевъ вовсе не была союзницей католицизма, но угнетенія и бѣдность производятъ страшныя коалиціи, и коалиція составилась. Третья борьба противъ протестантскаго преобладанія была низложена мечомъ; теперь было долгомъ людей, стоявшихъ въ головѣ правительства, подумать, чѣмъ можно помочь въ первый разъ истерзанной Ирландіи. Какъ я ни мало уважаю память Питта, но если его планъ сравнить съ политикой Кромвеля и Вильгельма, онъ достоинъ похвалы за свою мудрость и благонамѣренность. Соединеніе Ирландіи съ великой Британіей, — было частію этого плана, превосходной и существенной, но все-же только частію. Не надо забывать, что предметомъ его была болѣе обширная задача, но она осталась безъ исполненія. Питтъ хотѣлъ соединить не только королевства, но сердца и симпатіи народа". (Speeches. By Macaulay. T. II, стр. 58—63).

Раскрывъ, въ этой рѣчи, исторически враждебныя отношенія Англіи къ ирландскому народу, Маколэ упрекаетъ правительство въ современ-

ныхъ злоупотребленіяхъ власти. Оно, по мнѣнію его, особенно виновато въ томъ, что не только не старалось ослабить эту наслѣдственную племенную ненависть, но разжигало ее своими деспотическими мѣрами. Замѣтимъ, что ни одинъ изъ англійскихъ ораторовъ не защищалъ Ирландію, въ послѣднее время, такъ откровенно и мужественно, какъ Маколэ. Въ другой рѣчи, отстаивая гражданскія права евреевъ и необходимость признанія этихъ правъ, онъ говоритъ: „я согласенъ, что евреи не имѣютъ никакого законнаго права на власть; но за 300 лѣтъ прежде они не имѣли никакого законнаго права находиться въ Англіи, а за 600 у нихъ не было даже права на собственные свои зубы; но если мы представимъ другое, нравственное право, то я говорю, что на основаніи всѣхъ началъ его, еврей имѣетъ право на политическую власть". (Speech. T. I, стр. 6).

Вслѣдствіе этого историческаго взгляда и живой симпатіи съ прошедшимъ, Маколэ отличается тѣмъ благороднымъ консерватизмомъ, который составляетъ характеристическую черту всѣхъ геніальныхъ англійскихъ писателей. Для него нѣтъ ни одной реформы, ни одного государственнаго учрежденія, котораго бы корни не лежали въ глубинѣ исторической почвы. Поэтому, основа политическихъ его убѣжденій заключается въ британской конституціи. „Я не вѣрю, говоритъ онъ, — общимъ теоріямъ правительства". (Speech. T. I, стр. 12). Но онъ въ то же время убѣжденъ, что законъ, какъ бы хорошъ ни былъ, безъ народнаго духа — мертвая буква, что его внѣшнія предписанія и внутренняя сила должны совершенствоваться вмѣстѣ съ общественной цивилизаціей. „Если противники реформы, продолжаетъ онъ, — приписываютъ конституціи національное величіе, то пусть они отнесутъ къ ней же всѣ народныя несчастія. Конечно, конституція возвысила общественное мнѣніе, распространила торговлю, обратила варварскія орды, кочевавшія на предѣлахъ Шотландіи, въ лучшихъ земледѣльцевъ міра; конституція улучшила наши механическія искусства; мы обязаны ей величественными торговыми домами Манчестера и колоссальными доками Ливерпуля; но, съ другой стороны, мы должны въ строгомъ смыслѣ обвинить ее же въ тяжелыхъ налогахъ, обременяющихъ народъ, который подъ гнетомъ ихъ борется съ застоемъ торговли, промышленности и мануфактуръ, въ ужасномъ положеніи тѣхъ частей государства, гдѣ вознагражденіе работника едва достаточно для поддержанія животной жизни; гдѣ раззоренный и голодный земледѣлецъ едва существуетъ обыденнымъ трудомъ, гдѣ люди возятъ плугъ, подобно вьючнымъ скотамъ, гдѣ полночныя зарева и опустошенія пожаровъ часто заявляли нищету и отчаяніе, голодъ и дерзкую безпечность. Почтенные наши противники довольствуются только одной стороной картины, они останавливаются только на внѣшнихъ признакахъ народнаго благосостоянія, и отсюда заключаютъ, что настоящая система въ высшей степени благотворная.

Но есть также другіе преобразователи, которые видятъ въ современномъ положеніи имперіи одно бѣдствіе и зло". (Speech. Т. I, стр. 93 — 94). Маколэ не согласенъ ни съ тѣми, ни съ другими. Онъ признаетъ живую силу конституціи только въ той мѣрѣ, въ какой она содѣйствуетъ дѣйствительному благу страны и не противорѣчитъ народному смыслу. „Я знаю, говоритъ ораторъ, — только два способа управленія народомъ — посредствомъ меча или общественнаго мнѣнія". (Т. I, стр. 58). Послѣднее, по его мнѣнію, составляетъ лучшій критеріумъ прогресса: правительство и общество должны другъ другу помогать, другъ друга поддерживать. „Исторія учитъ насъ, что всѣ великія революціи были слѣдствіемъ разногласія между государствомъ и обществомъ, когда общество возрастало, государство находилось въ застоѣ, не отвѣчало его усовершенствованію". (Т. I, стр. 30). Поэтому, Маколэ всѣ насильственные перевороты считаетъ неизбѣжными реакціями и однѣ побѣды разума и опыта — вѣчными пріобрѣтеніями.

Ясно, что для него нѣтъ безусловнаго идеала въ политикѣ. Для него всякая форма правленія можетъ быть доброй и злой, смотря по обстоятельствамъ. Самый грубый тиранъ Италіи можетъ быть кроткимъ властителемъ Персіи или Марокко; самая жестокая мѣра въ Америкѣ можетъ быть благодѣтельнымъ учрежденіемъ въ Турціи. Такой, повидимому, равнодушный и безутѣшный взглядъ на прогрессъ человѣческихъ обществъ близокъ къ лѣнивому и холодному скептицизму его знаменитаго предшественника Гиббона. Иногда, кажется, мы слушаемъ новаго Макіавелли, готоваго утверждать, что въ нашей жизни все зависитъ отъ игры случая и перевѣса силы. Но мы были бы неправы въ этомъ обвиненіи противъ Маколэ. Его скептицизмъ въ религіозныхъ и политическихъ вопросахъ не лишенъ нравственной опоры, на которой мыслитель твердо стоитъ; онъ раздѣляетъ съ нами вѣру въ истины, признанныя вѣками и народами; онъ признаетъ справедливость не въ отвлеченномъ ея значеніи, а въ самомъ положительномъ смыслѣ. Эта справедливость олицетворяется для него въ счастіи народа. Онъ неумолимо преслѣдуетъ враговъ его, разрываетъ всякую связь съ партіей, если она противорѣчитъ прогрессу, рѣзко и даже колко отзывается объ аристократической оппозиціи, и мы нерѣдко въ словахъ вига замѣчаемъ радикала. Есть вопросы, въ которыхъ Маколэ не допускаетъ ни малѣйшей уступки въ пользу времени или обстоятельствъ. Тогда онъ восходитъ на высоту практическаго философа и рѣшаетъ задачу безусловно. Когда парламентъ возобновилъ билль объ уничтоженіи рабства колоніальныхъ негровъ и когда нашлись защитники его, Маколэ отвѣчалъ имъ: „Рабство не было такимъ систематическимъ учрежденіемъ, которое допускало бы переходныя мѣры; оно должно быть уничтожено. Начало его, какъ замѣтилъ Монтескью, — было чистымъ, несмѣшаннымъ зломъ. На раба можно дѣйствовать однимъ страхомъ... Плантаторы и государ-

ство были участниками въ преступленіи, поэтому было бы несправедливо и жестоко возлагать выкупъ невольниковъ на одну изъ этихъ партій, но еще было бы несправедливѣй отяготить имъ третью, оскорбленную сторону". (Т. I, стр. 204). Эта любовь къ справедливости народнаго дѣла отнюдь не простирается до обоготворенія толпы, до плоской лести демократическимъ вождямъ. „Я скорѣе готовъ, говоритъ онъ, — сдѣлаться жертвой народной несправедливости, чѣмъ обратиться въ льстеца ея". (Т. I, стр. 150). Когда дѣло коснулось всеобщей подачи голосовъ и ирландскихъ клубовъ, Маколэ подалъ голосъ противъ; но когда возразили, что парламентское преобразованіе уничтожитъ перство Англіи, онъ отвѣчалъ такъ: „главное доказательство нашихъ оппонентовъ — въ томъ, что реформа разстроитъ сословіе перовъ. Почтенный и ученый членъ стороны Раи ясно призываетъ бароновъ Англіи спасти свой орденъ отъ демократическихъ покушеній, отвергнувъ билль. Всѣ эти воззванія и доводы можно истолковать слѣдующимъ образомъ: „объявите своимъ соотечественникамъ, что вы не имѣете съ ними никакихъ общихъ интересовъ, никакой симпатіи; что вы можете быть сильны только на счетъ ихъ слабости и возвышены на счетъ ихъ униженія, что развращеніе и угнетеніе ихъ необходимо для вашей власти, что свобода и чистота выбора несовмѣстна съ существованіемъ вашей палаты. Растолкуйте имъ, что вашъ авторитетъ опирается не на разумное убѣжденіе, не на обычное ихъ уваженіе, или на право вашей огромной собственности, а на систему общественныхъ золъ, несправедливостей, которыя начинаютъ сознаваться. Отстаивайте привиллегіи своего сословія на счетъ нашихъ несчастій; скажите народу, что наслѣдственное перство и представительное собраніе могутъ существовать вмѣстѣ, только по имени; что если онъ желаетъ имѣть палату перовъ, съ него довольно одной насмѣшки, вмѣсто парламента".

„Вотъ совѣтъ, который нашептывается лордамъ такъ называемыми друзьями аристократіи. Я увѣренъ, что она не послѣдуетъ этому совѣту, но я не могу слушать его равнодушно. Я не могу не удивляться, что онъ сходитъ съ языка тѣхъ же людей, которые постоянно отсылаютъ насъ къ исторіи за урокомъ и опытомъ. Слышали ли они когда нибудь, какими послѣдствіями сопровождались подобные совѣты прежде? Посѣщали ли они ту сосѣднюю страну, гдѣ даже отъ глазъ прохожаго иностранца не скрывается великая распущенность общества? Ходили ли они по развалинамъ тѣхъ колоссальныхъ дворцовъ, которые тянутся по безмолвнымъ улицамъ Сэнъ-жерменскаго фобурга? Видѣли ли они остатки замковъ, которыхъ терасы и сады покрываютъ берега Луары? Неужели они не знаютъ, что аристократія, обитавшая въ этихъ великолѣпныхъ домахъ и замкахъ, гордая, храбрая и роскошная, какую только видѣла Европа, потомъ блуждала въ изгнаніи, просила милости у враждебныхъ правительствъ, рубила дрова въ лѣсахъ Америки или учила француз-

скому языку въ лондонскихъ школахъ. Но почему она пала? Почему она разсѣялась по всему лицу земли, потеряла свои гербы и титулы, оставила парки и дворцы среди опустошенія, передала свое наслѣдіе иностранцамъ? Потому что у нея не было никакой симпатіи съ народомъ, никакого вниманія къ признакамъ времени; потому что, съ надменнымъ и черствымъ сердцемъ, она называла людей, которыхъ совѣты могли бы спасти ее, мечтателями и утопистами; потому что она не хотѣла дозволить никакой уступки до той минуты, когда всякая уступка была безполезна". (Т. I, стр. 49—50).

Такимъ образомъ, Маколэ, освѣщая путь ораторской дѣятельности съ одной стороны преданіями Англіи, съ другой — яснымъ пониманіемъ современныхъ интересовъ, представляется намъ въ высшей степени практическимъ мыслителемъ. Онъ убѣждаетъ своихъ слушателей съ такой силой, что рѣдкій изъ его противниковъ возражаетъ ему другой разъ: это неотразимое вліяніе таится не столько въ его умственной логикѣ, энергіи мысли, сколько въ глубокомъ знаніи своей страны. На этомъ полѣ онъ непобѣдимъ. Притомъ не надо забывать, что англичанинъ легко поддается обаянію своей старины; онъ любитъ ее, потому что дорого купилъ лучшія воспоминанія. Завѣтъ его предковъ — не духовное завѣщаніе нищаго, не оставляющаго потомку ничего, кромѣ сумы и неизвѣстнаго будущаго. Въ этомъ завѣщаніи есть много сокровищъ, которыми могутъ воспользоваться не только настоящія, но и грядущія поколѣнія. Наконецъ, убѣдительному слову Маколэ много помогаетъ поразительная ясность въ постановкѣ вопроса и выраженіи его. Кристальная чистота рѣчи, блескъ и богатство ея, гармонія періода, въ самомъ демократическомъ языкѣ, не имѣющемъ ни грамматики, ни риторики, удивляютъ совершенствомъ. Авторъ „исторіи Англіи" въ правѣ сказать о себѣ: „что́ не ясно въ моемъ словѣ, то не мое".

Но рядомъ съ этимъ неоспоримымъ достоинствомъ, въ ораторѣ есть очень важный недостатокъ — отсутствіе сердца. Онъ не волнуетъ ни одной страсти, не трогаетъ чувства: онъ холоденъ, какъ присланный судья, спокойно читающій смертный приговоръ надъ преступникомъ. Въ этомъ отношеніи онъ напоминаетъ намъ французскаго оратора — Гизо, съ тѣмъ различіемъ, что авторъ „Цивилизаціи Европы", по выраженію Прудона, вытягивался во весь ростъ на каѳедрѣ, когда обращался къ народу, и пригибался чуть не до земли, когда говорилъ королю. Маколэ неспособенъ, да и не смѣлъ бы показать неумѣстную сардоническую улыбку или тонъ презрѣнія тому обществу, среди котораго онъ живетъ и дѣйствуетъ. Недостатокъ патетическаго элемента въ его рѣчахъ тѣмъ ощутительнѣе, что содержаніемъ ихъ были самыя народныя темы. Массы живутъ чувствомъ и воображеніемъ. Умственное развитіе, доставшееся въ удѣлъ высшимъ и въ нѣкоторой степени среднимъ классамъ, недоступно имъ. Осужденныя бороться всю жизнь изъ за днев-

наго пропитанія, лишенныя эстетическихъ наслажденій и оцѣпленныя всевозможными предразсудками, онѣ не имѣютъ ни средствъ, ни времени запасаться даже элементарными познаніями. Кругъ ихъ свѣдѣній ограничивается тѣми насущными предметами, которые крайне необходимы для матеріальнаго ихъ существованія, и то не всегда. Но по законамъ природы, чѣмъ меньше работаетъ нашъ умъ, тѣмъ больше дѣйствуетъ воображеніе: это мы видимъ на дѣтяхъ и на всѣхъ младенческихъ обществахъ. Не сдержанное размышленіемъ, предоставленное полному произволу своихъ творческихъ инстинктовъ, оно населяетъ міръ тѣми фантастическими явленіями, которыя обращаетъ въ свою пользу жрецъ, поэтъ и обскурантъ. Оно держитъ невѣжественные классы въ пропасти тѣхъ заблужденій и ошибокъ, за которыя Платонъ выгналъ Гомеровъ изъ своей республики. — Поэтому, чтобъ дѣйствовать на массы словомъ, мы должны разсчитывать не столько на холодное убѣжденіе ихъ ума, сколько на возбужденіе чувственныхъ способностей. Нашъ отвлеченный языкъ понятенъ имъ только тогда, когда облекается въ образы; онъ увлекаетъ ихъ, когда говоритъ чувству или страсти. Въ этомъ отношеніи Маколэ далеко не народный ораторъ, и еслибъ онъ явился на мѣстѣ Брайта въ многочисленной аудиторіи, наполненной работниками, его рѣчь не имѣла бы и половины того успѣха, которымъ пользуется бирмингамскій представитель. Между тѣмъ Брайтъ не имѣетъ и третьей доли классическаго образованія и умственной силы Маколэ. Но первый, обращаясь къ народу, говоритъ его языкомъ, будитъ его инстинкты, воспламеняетъ энтузіазмъ, въ одно и то же время заставляетъ мыслить и наслаждаться, и народъ отъ души ему рукоплещетъ. Безстрастіе Маколэ, независимо отъ его природы, объясняется тѣмъ, что онъ — ораторъ старой англійской школы, воспитанный подъ вліяніемъ Чатама, Борка, Фокса и Шеридана. Это были гордые парламентскіе бойцы, дѣятели великаго вѣка; они входили въ парламентъ, какъ гладіаторы въ амфитеатръ или актеры на сцену. Ихъ напудренные парики, батистовые манжеты, ловкіе жесты и умѣнье владѣть собой въ обществѣ, придавали имъ изящный внѣшній видъ; аудиторіи ихъ состояли изъ лучшихъ, избранныхъ умовъ своего времени; предметами ихъ совѣщаній были общечеловѣческіе вопросы, которые занимали вниманіе всего образованнаго міра; дебаты ихъ были самые драматическіе, оживленные личной полемикой и веселымъ юморомъ. Послѣ парламентской реформы все это измѣнилось. На одной скамейкѣ уестминстерскаго сената съ потомкомъ герцога Бедфорда усѣлся потомокъ вульвичскаго мясника; въ одной залѣ собрались представители тѣхъ сословій, которыя еще такъ недавно чистосердечно презирали другъ друга; духъ дѣловой и разсчетливой буржуазіи внесенъ въ парламентъ; интересы разсужденій приняли болѣе національный, но съ тѣмъ вмѣстѣ и болѣе узкій характеръ. Многіе изъ настоящихъ членовъ не имѣютъ понятія ни о философіи, ни о внѣшнихъ потребностяхъ человѣчества; они предпо-

читаютъ ариѳметическія фигуры риторическимъ, фунты, шиллинги и пенсы — цвѣтамъ поэзіи; они цѣлую жизнь обращались между биржей и пристанью, между конторой и лавочкой, а не между великолѣпнымъ британскимъ музеумомъ и ученымъ кабинетомъ. Впрочемъ, послѣднія тридцать лѣтъ въ умахъ всей Европы совершился переворотъ: вмѣсто оратора и поэта воспитывается смышленый государственный человѣкъ и банкиръ. Среди этого новаго поколѣнія пришлось дѣйствовать Маколэ. Можетъ быть, многіе его не понимали, многимъ художественная рѣчь, его безпрерывныя цитаты, его философскіе взгляды казались странными. Не встрѣтивъ полнаго сочувствія въ своемъ собраніи, видя себя въ кругу людей съ другими понятіями и наклонностями, имѣя дѣло большею частью съ предметами, неспособными одушевить геніальнаго человѣка, онъ, естественно, могъ охладѣть къ своему призванію. По крайней мѣрѣ, первыя его рѣчи лучше послѣднихъ. Притомъ, сколько мы знаемъ, у Маколэ нѣтъ ни терпѣнія, ни способности къ администраціи, которая такъ нужна парламентскому дѣятелю; онъ съ величайшимъ удовольствіемъ перечитаетъ до послѣдней буквы Аристотеля, но неохотно займется какимъ нибудь министерскимъ отчетомъ о современномъ состояніи Индіи. Мы увѣрены, что изъ него вышелъ бы самый плохой чиновникъ нашей казенной палаты. Но намъ могутъ возразить: какое дѣло парламентскому оратору до народа, когда онъ говоритъ въ аудиторіи людей, большею частью образованныхъ и умныхъ? Онъ произноситъ свои рѣчи не на форумѣ, не передъ толпой, а передъ трибуной спикера, подъ сводами монументальной залы. Это — такъ; но его рѣчь, иногда прежде, чѣмъ онъ окончитъ ее, читается всѣмъ Лондономъ; черезъ нѣсколько дней повторяетъ ее вся Англія. Рѣчи Маколэ именно такого рода, и ихъ будетъ читать не одно поколѣніе. Къ сожалѣнію, онѣ будутъ настольной книгой одного образованнаго класса, но никогда не вызовутъ сочувствія въ низшихъ рядахъ, гдѣ слово замѣчательнаго мыслителя всегда приноситъ двойной плодъ. Наконецъ, замѣтимъ, что въ ораторскихъ способностяхъ Маколэ не достаетъ внѣшнихъ качествъ, не лишенныхъ вліянія. Его голосъ отличается монотонностію, столь рѣдкой у его сѣверныхъ соотечественниковъ Твида, тѣмъ же безстрастіемъ, которое отнимаетъ жизнь у его чувства. Онъ низкаго роста, круглой осанки, и вовсе непривлекательной манеры. Голова торчитъ на его плечахъ прямо и неподвижно... Но всѣ эти диспропорціи искупаются прелестью глазъ, полныхъ глубокаго выраженія мысли и знанія; на его открытомъ и широкомъ лбу вы останавливаете глазъ съ удовольствіемъ. Еслибъ Пальмерстона и Маколэ заставили говорить передъ собраніемъ американскихъ дикарей, они непремѣнно предпочли бы перваго, потому что онъ въ физическомъ размѣрѣ цѣлой головой выше второго.

Но что гораздо важнѣе, у Маколэ нѣтъ дара импровизаціи. Привыкнувъ постоянно работать въ кабинетѣ размышленіемъ, всегда сосре-

доточенный въ себѣ, онъ не находитъ готовой рѣчи во всякую минуту, по крайней мѣрѣ, она не повинуется ему такъ легко, не выражается такъ изящно, какъ послѣ приготовленія. Впрочемъ, кто же можетъ требовать, чтобъ ораторъ, какого бы таланта онъ ни былъ, могъ во всякое время, на каждую тему, такъ блистательно говорить, какъ Маколэ. Въ этомъ случаѣ гораздо выше его, маленькій Джонъ Россель.

За всѣмъ тѣмъ парламентское краснорѣчіе Маколэ надолго останется памятникомъ англійскаго слова.—„Народный голосъ, говоритъ Фрэнсисъ, ставитъ Маколэ въ числѣ первостепенныхъ нашихъ ораторовъ". Когда онъ присутствовалъ въ парламентѣ, его рѣчи были праздникомъ для старыхъ лордовъ, слышавшихъ Каннинга и помнившихъ Фокса. „Когда проносился слухъ, говоритъ очевидецъ, — что Маколэ будетъ говорить объ особенномъ вопросѣ, эта новость, какъ талисманъ, дѣйствуетъ на членовъ. Кто не участвуетъ въ самомъ парламентскомъ засѣданіи, тотъ приходитъ на хоры, въ галлереи или библіотеку, боясь опоздать и утратить необыкновенное умственное наслажденіе; и какъ только встаетъ ораторъ, парламентъ, какъ будто по магическому жезлу наполняется множествомъ людей, не сходящихъ съ мѣста до тѣхъ поръ, пока слышится его голосъ... Если онъ приготовится къ рѣчи, тогда является раньше, чѣмъ обыкновенно, стараясь говорить до обѣда, когда его память свѣжа, когда жаркая атмосфера залы, поздній вечерній часъ и одушевленные споры еще не утомили его. Въ это время, собраніе членовъ обыкновенно бываетъ многочисленнѣе. Открываются дебаты, Маколэ встаетъ или лучше вскакиваетъ съ лавки, и прямо, безъ предисловія, заходитъ въ самое сердце предмета. Нѣсколько минутъ вы слышите тонкое альто, съ необыкновенной быстротой звенящее словами, и вы скоро догадываетесь, что говоритъ человѣкъ вовсе недюжиннаго разбора. Еще нѣсколько минутъ, и весь парламентъ оживляется, со всѣхъ сторонъ слышатся одобренія, — и вы неутомимо слѣдите за его неистощимой рѣчью, въ которой онъ, кажется, никогда не остановится, даже на главныхъ пунктахъ. Онъ спѣшитъ и спѣшитъ, никогда не нуждаясь въ словахъ, не останавливаясь за мыслями, даже не переводя духа; и чѣмъ дальше, тѣмъ больше—сила его мысли, тѣмъ полнѣе развивается предметъ со всѣми возможными доводами и поясненіями, тѣмъ ярче освѣщается путь, проходимый этимъ гигантомъ, пока, наконецъ, онъ не доходитъ до заключенія, — столь яснаго, удивительно ловко вѣнчающаго всю его рѣчь, и если удивленіе начало ослабѣвать, подъ конецъ оно снова возбуждается, и слушатель остается побѣжденнымъ и уничтоженнымъ этимъ потопомъ идей и движеній, которыя властвовали надъ нимъ". (Orators of the age. Macaulay. By Francis).

Такой талантъ не могъ остаться незамѣченнымъ въ Англіи. Общественное мнѣніе рано увидѣло его и открыло ему блестящую государственную и громкую литературную извѣстность. Помимо партій и ари-

стократическихъ связей, единственно въ силу своихъ заслугъ и дарованій, Маколэ былъ представителемъ второй британской метрополіи и недавно возведенъ въ достоинство лорда. Но не имя лорда должно быть дорого геніальному человѣку: оно блѣднѣетъ передъ той обще-европейской славой, которую онъ раздѣляетъ съ В. Скоттомъ и Диккенсомъ. Его читаетъ, имъ наслаждается не одна Англія, но весь образованный міръ; вдвойнѣ завидный удѣлъ высокаго ума: онъ дѣлаетъ честь своему народу и служитъ на пользу всему человѣчеству.

1859 г.

МАКОЛЭ — ИСТОРИКЪ.

(Маколэ. Полное собраніе сочиненій. Т. I. Спб. 1860).

Когда появились первые томы „Исторіи Англіи“ Маколэ, одинъ честный англичанинъ откровенно замѣтилъ: „теперь я понимаю, что у насъ есть исторія, и притомъ въ высшей степени интересная исторія“. Въ самомъ дѣлѣ, Маколэ какъ будто открылъ новую жизнь въ мертвыхъ лѣтописяхъ своей страны, жизнь со всѣми подробностями домашней и общественной обстановки; до тѣхъ поръ, пока не коснулась его геніальная рука одной изъ самыхъ смутныхъ и вялыхъ по интересу эпохъ, многія событія, достойныя вниманія, едва были извѣстны, многіе дѣятели были представлены въ ложномъ и искаженномъ свѣтѣ и благороднѣйшіе изъ борцовъ стояли въ полутѣни передъ взоромъ потомства или оклеветаны пристрастнымъ судомъ партіи. Маколэ возстановилъ память несправедливо забытыхъ именъ и разрушилъ не одинъ изъ тѣхъ мраморныхъ пьедесталовъ, на которые тупая сила времени и еще болѣе тупой предразсудокъ поставилъ ничтожныя личности, не отмѣтившія своего существованія ни умнымъ словомъ, ни добрымъ дѣломъ. Но не въ этомъ главная заслуга знаменитаго историка. Рано или поздно ученая критика возвратила бы историческую правду умершимъ героямъ и воспроизвела бы факты въ ихъ настоящемъ видѣ: для такого труда могло бы пригодиться и меньшее дарованіе и не такой зоркій взглядъ, какимъ обладалъ Маколэ. Лучшая сторона этого писателя заключается въ идеѣ, которую онъ такъ ясно выразилъ въ своихъ произведеніяхъ и такъ неизмѣнно отстаивалъ въ парламентѣ и въ литературѣ. Какъ защитникъ политической свободы своей страны, онъ имѣетъ особенное право на наше вниманіе. Въ этомъ отношеніи никто изъ современныхъ писателей Англіи не дѣйствовалъ такъ сильно на общественное мнѣніе Европы и не обставилъ свою мысль такими блистательными уроками,

какъ Маколэ. Кромѣ умственнаго наслажденія, какого только можно желать отъ ученаго труда новѣйшихъ литературъ, онъ обобщилъ множество истинъ, также интересныхъ для Англіи, какъ для Италіи и Венгріи. Только прочитавъ его сочиненіе, мы стали понимать настоящее значеніе и смыслъ британской конституціи, ея успѣхи и недостатки; только онъ распуталъ и разъяснилъ борьбу отдѣльныхъ сословій и означилъ степень участія каждаго изъ нихъ въ общественномъ прогрессѣ; только онъ познакомилъ насъ съ такими драматическими характерами, какъ Мильтонъ, Оливеръ Кромвель и Вильгельмъ Оранскій. Конечно, у него, какъ и у всякаго историка, можно найдти важные промахи; такъ, напримѣръ, онъ не съумѣлъ оцѣнить ни строгой роли пуританъ, ни наивнаго характера кавалеровъ, воплотившихъ въ себѣ духъ и форму временъ Карла I; но Маколэ никогда и не думалъ хвалиться историческимъ безпристрастіемъ, которое скорѣе составляетъ черту бездушнаго доктринера, чѣмъ живаго и воспріимчиваго дарованія. Симпатіи критика Бэкона и Гастингса очень ясны: все, что содѣйствовало успѣхамъ народной жизни, принимаетъ подъ его перомъ особенно свѣтлые очерки, и все, что мѣшало и душило ея развитіе, выставляется имъ на позоръ, во всей наготѣ отвратительнаго порока и лицѣмѣрія.

Но въ чемъ же политическая вѣра Маколэ? Къ какому разряду мыслящихъ людей мы должны отнести его и какъ назвать его убѣжденія? Намъ говорятъ, что онъ былъ вигъ и тѣмъ хотятъ опредѣлить характеръ его литературной дѣятельности; но такое опредѣленіе не имѣетъ ровно никакого смысла на современномъ языкѣ Англіи. Съ того времени, какъ вѣковая борьба за конституціонныя права ея перешла отъ парламента на общественное мнѣніе, какъ между королевской властью съ одной стороны и палатами съ другой прекратились взаимные споры и чашки вѣсовъ совершенно уравновѣсились, духъ партій потерялъ прежнюю силу: имена тори и виги еще звучатъ кой-какимъ значеніемъ въ правительственной системѣ, но ничего реальнаго не выражаютъ въ общественномъ отношеніи. Прежде это были дѣятели двухъ различныхъ и ясно-означенныхъ направленій, каждое съ своимъ знаменемъ и наслѣдственными принципами. Теперь они не имѣютъ ни твердой почвы подъ ногами, ни предметовъ для своего антагонизма. Ихъ власть и вліяніе поглощены другой, болѣе дѣйствительной силой, которая во сто разъ вѣситъ тяжелѣе и въ тысячу разъ дальновиднѣе, — силой общественнаго участія въ управленіи. Правда, это участіе не облечено ни въ какую оффиціальную форму, не вооружено ни статутами, ни торжественными собраніями въ монументальныхъ залахъ, ни сѣдыми париками спикэровъ, ни длиннополыми мантіями перовъ; не менѣе того оно постоянно даетъ себя чувствовать, когда правительственная корпорація судитъ и рядитъ интересы націи; оно невидимо присутствуетъ во всѣхъ углахъ королевства, и отъ улицы до семейнаго

очага слѣдить за каждымъ поворотомъ государственнаго руля. Поэтому, еслибъ тори и виги въ настоящую минуту подняли какой нибудь капитальный вопросъ и стали рѣшать его, какъ было прежде, на основаніи своихъ личныхъ убѣжденій и подъ вліяніемъ своей старой вражды, рѣшеніе ихъ осталось бы мертвой буквой на бумагѣ, еслибъ только общественный голосъ не согласился съ нимъ. Тори хотѣли дать итальянскому вопросу австрійское направленіе, но нація думала иначе, и министерство упало; виги хотѣли повѣсить доктора Сметгурста за мнимую отраву жены, но жители Лондона взглянули на поведеніе обвиненнаго съ другой точки зрѣнія, и Сметгурстъ былъ освобожденъ отъ смертной казни. Такимъ образомъ, общественный уровень сгладилъ тѣ различія правительственныхъ органовъ, какія раздѣляли ихъ прежде. Поэтому переходъ отъ одной политической партіи къ другой теперь вовсе не такъ труденъ, какъ въ былыя времена. Робертъ Пиль большую половину жизни стоялъ за консервативныя начала, и, вдругъ оставивъ ихъ, принялъ сторону противнаго стана, и такой поступокъ вовсе не показался презрѣнной измѣной или коварнымъ отступничествомъ, какъ приняли бы его въ XVII или XVIII вѣкѣ, а благоразумной уступкой силѣ обстоятельствъ и высшимъ требованіямъ, чѣмъ воображаемой чести его партіи. Точно такое же смѣшеніе мнѣній, понятій и стремленій замѣчается въ членахъ современнаго парламента. На одномъ пунктѣ Брайтъ является радикаломъ, на другомъ онъ уступаетъ въ своемъ либерализмѣ Джону Росселю, который, при всей дѣвственной скромности, иногда идетъ гораздо дальше, чѣмъ можно ожидать отъ его умственной малости. Изъ всего этого мы должны заключить, что когда рѣчь идетъ объ убѣжденіяхъ такого писателя, какъ Маколэ, помѣчать ихъ именемъ вига или тори — значитъ то же, что по цвѣту металла опредѣлять его достоинство или по величинѣ сапога судить о способности головы.

Притомъ не надо забывать, что въ Англіи болѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, писатель и правительственный дѣятель часто расходятся другъ съ другомъ. Мнѣніе одного можетъ быть оригинальнымъ и превосходнымъ на страницѣ журнала и въ то же время никуда негоднымъ въ административной сферѣ. Еслибъ Гиббонъ или Байронъ стали поддерживать свои убѣжденія въ парламентѣ такъ, какъ они передали ихъ публикѣ въ своихъ произведеніяхъ, то, вѣроятно, ихъ сочли бы за умалишенныхъ, случайно попавшихъ изъ Бедлама въ Уэстминстеръ. Точно также сдѣлайте Кобдена первымъ министромъ Англіи, и онъ, нѣтъ сомнѣнія, откажется отъ половины тѣхъ идей, за которыя такъ горячо воевалъ во главѣ соціальной лиги. Это — недостатокъ и, конечно, величайшій недостатокъ общественной логики, разбиваемой въ прахъ отъ малѣйшаго прикосновенія къ оффиціальной сторонѣ жизни. Идея, какъ бы она ни была справедлива и очевидно полезна, можетъ идти своимъ путемъ развитія и никогда не сходиться на одной линіи съ такъ-называемой практикой. Ма-

колэ, какъ администраторъ, отнюдь не составляетъ исключенія изъ общаго правила. Само собою разумѣется, что онъ не кривилъ душой, подобно восточному рабу-бюрократу, не замѣшивалъ ни чести, ни совѣсти въ правительственные интересы; онъ не способенъ былъ прикинуться на словахъ демократомъ, а на дѣлѣ стащить у своего пріятеля нѣсколько тысячъ рублей и потомъ послать свою креатуру ходатайствовать за снисхожденіе къ своей подлости. Такой радикальной безнравственности не могъ допустить въ себѣ ни дѣломъ, ни помысломъ благородный историкъ; но онъ часто подчинялся тѣмъ внѣшнимъ условіямъ жизни, которыя нагибали его не съ той стороны, съ какой онъ склонился бы добровольно. Мы могли бы указать много противорѣчій въ сужденіяхъ Маколэ, какъ сотрудника Эдинбургскаго Обозрѣнія и какъ члена парламента. Вотъ, напримѣръ, какъ онъ выразился въ своей статьѣ о Мильтонѣ: „многіе политики нашего времени имѣютъ обыкновеніе выдавать за аксіому, что ни одинъ народъ не долженъ быть свободнымъ, пока не достигнетъ умѣнья пользоваться своей свободой. Правило это достойно того глупца въ старинной сказкѣ, который рѣшилъ не ходить въ воду, пока не выучится плавать“ (т. I стр. 27). Но не такъ говорилъ онъ съ парламентской трибуны, гдѣ, какъ извѣстно, его пугала свобода бѣднаго ремесленника, призваннаго къ подачѣ голоса за свои собственные интересы. Какъ согласить это высокое уваженіе къ личности человѣка, которымъ отличаются лучшія страницы его исторіи, съ холоднымъ равнодушіемъ къ судьбѣ Ирландіи, съ его приговоромъ надъ ея невинными клубами и справедливѣйшими народными демонстраціями. Онъ рѣшительно утверждалъ, что „есть только два способа управленія націей — посредствомъ меча и общественнаго мнѣнія“ (т. I, стр. 31) и въ то же время признавалъ законной силу меча, завоевавшаго Индію и Австралію. Очевидно, въ первомъ случаѣ говорилъ кабинетный мыслитель, свободный отъ вліянія окружающей его жизни; а во второмъ — чиновникъ Англіи, подчиненный другой, болѣе настоятельной власти, чѣмъ власть его ума и сердца. Мы не станемъ подвергать оцѣнкѣ административную дѣятельность Маколэ; послѣ защиты Reforme Bill, когда онъ вышелъ на арену парламента, въ цвѣтѣ лѣтъ и таланта, она не представляетъ ничего замѣчательнаго; и если въ ней были свои достоинства и недостатки, то они стояли ни выше, ни ниже общей правительственной системы.

Гораздо интереснѣе посмотрѣть на Маколэ, съ другой стороны, въ его ученомъ кабинетѣ, въ кругу тѣхъ мертвыхъ друзей (Платона, Данта, Мильтона и пр.), которымъ онъ вѣрилъ и сочувствовалъ больше, чѣмъ живымъ, — гораздо интереснѣе взглянуть на него, какъ на писателя, независимаго отъ тѣхъ commoda vitae, въ которыхъ заключается вся практическая философія его. Маколэ обвиняли въ безстрастномъ темпераментѣ, въ отсталости отъ современныхъ интересовъ жизни и въ отсутствіи тео-

ретическихъ воззрѣній, т. е. его обвиняли въ недостаткѣ общественныхъ симпатій и метафизическаго образованія. Такія обвиненія походятъ на слѣдующіе наивные вопросы, еслибъ кто нибудь серьезно предложилъ ихъ вамъ: почему Ньютонъ, вмѣсто „Математическихъ началъ натуральной философіи", не писалъ фельетона для „Лондонской газеты", или почему Вашингтонъ не былъ журналистомъ, поставляющимъ по заказу извѣстное число листовъ для каждой мѣсячной книжки? Мы не признаемъ тѣхъ или другихъ врожденныхъ способностей, которыми природа будто надѣляетъ насъ съ той геометрической точностью, какъ журавлей длинными ногами или поросятъ — щитиной; но мы не думаемъ также, чтобъ человѣкъ, всю жизнь занимавшійся однимъ переплетомъ книгъ, подъ старость могъ сдѣлаться замѣчательнымъ литераторомъ. Дѣло въ томъ, что Маколэ, — вслѣдствіе воспитанія или случайной обстановки его жизни, — сдѣлался историкомъ; его рефлективный умъ, превосходно изощренная память, его любознательность и терпѣніе въ разчисткѣ историческаго мусора, набросаннаго вѣками и отжившими поколѣніями — все это обусловливало и впослѣдствіи опредѣлило то мѣсто, которое онъ долженъ былъ занять въ ряду дѣятелей XIX столѣтія. Увлеченный своей колоссальной работой, онъ жилъ въ другой эпохѣ и въ другомъ обществѣ, отчасти не похожемъ на его современниковъ; анализируя прошлыя дѣла людей и поднимая изъ праха одно звено за другимъ въ этой длинной цѣпи намѣреній, желаній и поступковъ зарытаго въ землю міра, онъ естественно сжился съ нимъ, чувствовалъ его чувствами и говорилъ его языкомъ. Здѣсь были его симпатіи и антипатіи, его враги и пріятели, и если историкъ съ меньшею любовью и увлеченіемъ относился къ живому обществу, то въ этомъ мы не видимъ ничего удивительнаго. Мы готовы утверждать, что Маколэ зналъ лучше какого-нибудь придворнаго скомороха Якова II, чѣмъ ближайшаго своего сосѣда, жившаго съ нимъ на одной улицѣ и въ одномъ скверѣ. Притомъ, на всякій добросовѣстный трудъ нужно время. Просиживая дни и ночи надъ старыми фоліантами, группируя и удерживая въ своей головѣ имена, цифры, года, цитаты и бездну мелкихъ, но необходимыхъ подробностей, онъ не имѣлъ времени, подобно Роберту Пилю, изучать съ кропотливой усидчивостью современные интересы; вѣроятно, у него не достало бы, послѣ его работъ, ни досуга, ни охоты перечитывать каждый день по нѣскольку депешъ посланниковъ, агентовъ, консуловъ и потомъ изъ всего этого составлять министерскіе отчеты. Такъ, намъ кажется, что нельзя требовать отъ Маколэ той же воспріимчивости и вниманія къ обыденнымъ событіямъ жизни, того же отчетливаго знанія ихъ, съ какими онъ занимался историческими фактами. Къ однимъ онъ долженъ былъ питать, по самому свойству его труда и способностей, больше расположенія и сочувствія, чѣмъ къ другимъ. Это очень понятно.

Но если онъ былъ равнодушенъ къ современнымъ интересамъ, то не имѣемъ ли мы право отказать ему въ общественныхъ симпатіяхъ? Чтобъ подтвердить совершенно противное, намъ стоитъ наудачу выписать нѣсколько строкъ изъ сочиненій Маколэ; возьмемъ, напримѣръ, хоть слѣдующее мѣсто, въ которомъ обрисована не отдѣльная личность, не единичное событіе, а цѣлая эпоха, вставленная великимъ художникомъ въ одну узкую раму: „Ни одинъ англичанинъ, говоритъ Маколэ, внимательно изучившій царствованіе Карла II, не почтетъ себя въ правѣ предаваться чувству національной гордости передъ „Dictionnaire des Girouettes". Шефтсбери былъ, конечно, гораздо менѣе достоинъ уваженія, чѣмъ Талейранъ, и было бы даже несправедливо относительно Фуше сравнивать его съ Лодерделемъ. Ничто не доказываетъ такъ ясно, до какой степени упало тогда въ нашей странѣ мѣрило политической совѣсти, какъ судьба названныхъ нами государственныхъ людей Англіи. Правительству нуженъ былъ злодѣй, чтобы дать ходъ самой грустной системѣ управленія, какая когда-либо падала проклятіемъ на народъ, — и чтобъ искоренить пресвитеріанство огнемъ и мечомъ, потопленіемъ женщинъ и страшной пыткой сапога, оно нашло такого человѣка между предводителями возстанія и лицами, подписавшими ковенантъ. Оппозиція искала начальника, который руководилъ бы самыми неистовыми нападеніями, какія были только возможны подъ прикрытіемъ формъ конституціи, и для этого избрала министра, принимавшаго болѣе дѣятельное участіе въ самыхъ вредныхъ распоряженіяхъ двора, человѣка, бывшаго душою кабалы, совѣтника, который заперъ казначейство и настаивалъ на войнѣ съ Голландіей. Вся политическая драма имѣла такой же характеръ. Въ этой дикой и чудовищной арлекинадѣ нельзя было найдти ни единства плана, ни пристойной естественности характеровъ и костюмовъ. Вся она состояла изъ странныхъ превращеній и дикихъ противоположностей: атеисты превращаются въ пуританъ, пуритане — въ атеистовъ; республиканцы защищаютъ божественное право королей и развратные царедворцы громко требуютъ свободы народа; судьи воспламеняютъ ярость черни; патріоты набиваютъ карманы взятками, получаемыми отъ иностранныхъ государствъ; въ одной части острова папистскій государь пыткой принуждаетъ пресвитеріанъ присоединиться къ епископальной церкви, а въ другой пресвитеріане рѣжутъ головы папистскимъ дворянамъ и джентльменамъ. Общественное мнѣніе имѣетъ свои приливы и отливы. Послѣ сильнаго взрыва, обыкновенно, слѣдуетъ реакція. Но такія необыкновенныя превращенія, какъ тѣ, которыя ознаменовали царствованіе Карла II, можно объяснить только совершеннымъ отсутствіемъ твердыхъ правилъ въ политическомъ мірѣ... Уже къ концу протекторства, по многимъ признакамъ можно было предвидѣть близкій упадокъ нравственности. Реставрація же Карла II ускорила и увеличила силу перемѣны. Распутство стало доказательствомъ правовѣрности и преданности

престолу, условіемъ для достиженія почестей и должностей. Глубокое и всеобщее растлѣніе поразило совѣсть самыхъ вліятельныхъ классовъ общества и распространилось на всѣ отрасли литературы. Поэзія разжигала страсти; философія подрывала правила; самая теологія внушала низкое благоговѣніе къ двору, усиливая вліяніе его дурного примѣра. Мы напрасно ищемъ тѣхъ качествъ, которыя придаютъ прелесть заблужденіямъ возвышенныхъ и пылкихъ натуръ; того великодушія, той нѣжности, рыцарской утонченности чувства, которыя, облагороживая похоти, возвышаютъ ихъ до страсти и сообщаютъ самому пороку извѣстную долю красоты, свойственной добродѣтели. Кутежи этого вѣка напоминаютъ намъ остроумныя выходки какой нибудь шайки разбойниковъ, пирующихъ въ кабакѣ съ развратницами. Въ шалостяхъ высшаго круга проявляется какое-то грубое, холодное звѣрство, какое-то безстыдство, низость и пошлость, какія можно встрѣтить развѣ въ герояхъ и героиняхъ грязной литературы, поощрявшей подобныя свойства. Одинъ дворянинъ, одаренный большими способностями, шатается вездѣ, какъ фокусникъ; другой держитъ рѣчь передъ толпой, высунувшись изъ окна совершенно голый: третій устроиваетъ засаду, чтобъ поколотить человѣка, обидѣвшаго его. Кружокъ знатной молодежи, людей съ вліяніемъ, сговаривается проложить себѣ путь при дворѣ посредствомъ разсказовъ, имѣющихъ цѣлью погубить невинную дѣвушку, разсказовъ, основанныхъ на одной клеветѣ, на какую не повернулся бы языкъ честнаго человѣка. Во дворцѣ находятъ мертваго ребенка, плодъ любви какой нибудь фрейлины и кого нибудь изъ придворныхъ, а быть можетъ, и самаго короля. Вся стая сводниковъ и шутовъ бросается на трупъ младенца и несетъ его съ тріумфомъ въ королевскую лабораторію, гдѣ его величество, послѣ грубой шутки, приказываетъ разрѣзать тѣло ребенка, къ удовольствію собранія и, по всей вѣроятности, въ числѣ другихъ и отца этого дитяти. Герцогиня-фаворитка ходитъ по вайтгольскому дворцу, топая ногами и произнося проклятія и брань. Министры, засѣдая въ совѣтѣ, проводятъ время въ гримасахъ и передразниваніи другъ друга на потѣху королю. Перы, при одной конференціи, начинаютъ драться и срывать другъ у друга воротники и парики. Одинъ спикеръ въ нижней палатѣ возбуждаетъ неудовольствіе двора; толпа буяновъ подстерегаетъ его и отрѣзываетъ ему носъ до самой кости. Эти постыдныя выходки или, называя ихъ единственнымъ, собственнымъ ихъ именемъ, это холопство чувствъ и манеръ не могло не перейдти изъ частной жизни въ общественную. Циническія шутки, эпикурейскіе софизмы, изгнавъ честь и достоинство изъ одной стороны характера, распространили ихъ и на всѣ другія. Второе поколѣніе государственныхъ людей этого царствованія представляетъ достойныхъ учениковъ школъ, воспитавшихъ ихъ — игорнаго стола Граммона и уборной Нелли. Ни въ какомъ другомъ вѣкѣ такой пустой человѣкъ, какъ Бокингамъ, не могъ бы имѣть политиче-

скаго вліянія; ни въ какомъ другомъ вѣкѣ не могъ бы открыть себѣ путь къ могуществу и славѣ передъ всѣми мерзостями такой человѣкъ, какъ Чорчилль" (Т. I изд. Тибл., стр. 189 — 193). Теперь мы спросимъ, неужели въ самомъ дѣлѣ, сухой доктринеръ, не имѣющій ни капли теплой крови для сочувствія обществу и ни одного порыва для негодованія или укора, могъ написать такую страницу, еслибъ эта страница была единственной, какую оставилъ намъ Маколэ? Но изъ такихъ страницъ состоятъ едва ли не двѣ трети его сочиненій. Скажемъ больше, мы не знаемъ историка, который бы такъ горячо преслѣдовалъ свою идею, въ отношеніи къ общественнымъ интересамъ, какъ Маколэ. Увлекаясь этой идеей, онъ иногда преувеличиваетъ фактъ или, по крайней мѣрѣ, кладетъ на него такія густыя краски, что достовѣрность дѣлается сомнительной. Его критика является неумолимой сатирой надъ тѣми политическими тартюфами, которые на самомъ дѣлѣ были просто бездѣльниками, но не злодѣями.

Вслѣдствіе той же общественной симпатіи, въ которой нельзя отказать Маколэ, онъ не былъ метафизикомъ. Отвлеченное мышленіе, говоря вообще, не въ характерѣ историческаго дѣятеля. Теорія, доведенная до глубокаго и самостоятельнаго развитія, въ томъ видѣ, какъ понимаетъ ее философскій синтезъ, всегда обращается въ своего рода idée fixe; къ ней бываютъ направлены всѣ наши изслѣдованія, и изъ нея вытекаютъ всѣ наши воззрѣнія. Въ ней есть тотъ умственный деспотизмъ, который готовъ ломать и уничтожать все, что́ становится поперекъ ея прямолинейнаго стремленія. Въ организаціяхъ здоровыхъ, съ мощными силами, она уравновѣшивается участіемъ сердца въ холодномъ анализѣ разсудка и достигаетъ самыхъ смѣлыхъ результатовъ въ области науки или искусства; но въ людяхъ рядовыхъ она часто принимаетъ видъ столбняка, въ которомъ они замерзаютъ, какъ грибы на голыхъ пняхъ, захваченные быстрымъ морозомъ. Ничего не можетъ быть опаснѣе или скучнѣе, какъ стать въ это положеніе историку. Главная задача его въ томъ, чтобъ воспроизвести факты такъ, какъ они дѣйствительно случились, при извѣстномъ стеченіи обстоятельствъ, мнѣній и общаго хода народной жизни; ему необходимо измѣнять свои взгляды и убѣжденія вслѣдъ за перемѣной ихъ въ разныя эпохи и въ разныхъ поколѣніяхъ; онъ долженъ пережить мыслію и чувствомъ нѣсколько отдѣльныхъ направленій, системъ, вѣрованій и общественныхъ переворотовъ; во всемъ этомъ онъ долженъ найдти не оправданіе своего задушевнаго идеала, а ту вѣрную точку зрѣнія, которая преобладала въ соціальномъ движеніи эпохи. Что же до выводовъ изъ этихъ фактовъ, они могутъ быть предоставлены самому читателю, и, вѣроятно, каждый изъ нихъ составитъ свое собственное умозаключеніе, потому что для каждой головы есть своя мѣра мышленія и свое воззрѣніе. Напротивъ, если историкъ приступаетъ къ своему труду съ напередъ придуманной теоріей, съ тѣмъ или дру-

гимъ идеаломъ своего пониманія, тогда онъ обезобразитъ историческую истину, сдѣлаетъ изъ нея что-нибудь въ родѣ всеобщей исторіи или, пожалуй, конскаго лечебника нашего простака Кайданова. Въ эту ошибку впалъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ умовъ — шотландецъ Юмъ. Онъ распорядился съ исторической Англіей точно такъ, какъ распорядился одинъ директоръ въ ботаническомъ кабинетѣ, приказавъ разставить растенія, не по свойству ихъ родовой классификаціи, а по ранжиру, какъ подбираютъ молодыхъ рекрутъ по условной мѣркѣ. Положительно можно сказать, что Маколэ, избравъ метафизическій методъ въ исторіи, переломалъ бы ея живые члены и лишилъ бы книгу той огромной популярности, какою она пользуется въ ея настоящемъ видѣ; тогда художественная сторона ея погибла бы подъ грудой безплодныхъ разсужденій, натянутыхъ доказательствъ и все это ради двухъ или трехъ нравоученій, въ сущности никому не нужныхъ; ея мѣткія и классически обработанныя характеристики обратились бы въ ученые допросы о томъ, почему Генрихъ VIII сошелъ съума прежде, чѣмъ сдѣлался королемъ. Книгу прочитали бы нѣсколько спеціалистовъ, да школьныхъ учителей, изъ секты квакеровъ и пуританъ, которымъ положительно не нравится кристальная ясность изложенія въ исторіи Маколэ, какъ ночнымъ мухамъ не нравится утренній свѣтъ.

Независимо отъ историческихъ способностей, Маколэ не могъ остаться въ сферѣ отвлеченнаго мышленія по самому свойству національнаго характера. Мы часто спрашиваемъ: почему Англія никогда не отличалась теоретическимъ образованіемъ или наклонностью къ чисто умозрительнымъ направленіямъ? И почему Германія сильна именно тѣмъ, чѣмъ слаба Великобританія? Обыкновенно объясняютъ это воспитаніемъ и системой университетскаго ученія. Но воспитаніе, какъ бы оно ни сложилось у народа, опредѣляется именно тѣми потребностями, которыя чувствуются въ нѣдрахъ самого общества. Если нація не имѣетъ надобности, положимъ, въ распространеніи теоріи невольничества, она не введетъ ее, подобно южно-американскимъ проповѣдникамъ, въ систему школьнаго преподаванія. Притомъ общенародные инстинкты проявляются гораздо раньше, чѣмъ воспитаніе вступаетъ въ права общественнаго авторитета. Мы не знаемъ, напримѣръ, гдѣ больше занимались теологическими предметами, чѣмъ въ испанскихъ университетахъ, но, если забыть правительство и касту католическихъ поповъ, то въ самомъ народѣ встрѣчается полное равнодушіе къ религіознымъ вопросамъ. Тотъ же контрастъ поражаетъ насъ въ Италіи: здѣсь средневѣковыя коллегіи особенно щеголяли юридическими факультетами, и, можетъ быть, нигдѣ не было такихъ плохихъ юристовъ и, главное, такого рѣшительнаго отвращенія къ юридическимъ формамъ и неразлучной съ ними тунеядной бюрократіи, какъ въ итальянской націи. Все это доказываетъ, что университетское образованіе нельзя принять за точное выраженіе народной

мысли и ея потребностей. Не менѣе того, фактъ остается въ полной силѣ: къ Англіи не привилась абстрактная идея, встрѣтивъ перваго противника себѣ въ ея великомъ мыслителѣ — Бэконѣ. Остается искать объясненіе такому явленію, повторившемуся въ той же народности и по ту сторону океана, — въ Америкѣ, — въ физіологическихъ законахъ націи и соціальномъ ея устройствѣ. Относительно перваго условія, вопросъ остается загадкой для нашего времени. Есть мнѣніе, что самыя формы правленія и вся историческая судьба народовъ слагаются подъ вліяніемъ физіологическихъ данныхъ, что складъ черепа и расположеніе нервной системы, можетъ быть, играютъ главную роль въ національныхъ конституціяхъ, что пассивная жизнь негра и относительно лучшее положеніе европейца, торгующаго мясомъ африканскаго племени, заключается въ самой ихъ природѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ мнѣніи есть своя доля справедливости, но оно не имѣетъ ни строго-фактическаго основанія, ни логической силы. Гораздо основательнѣе, по крайней мѣрѣ, ближе къ нашему пониманію другая причина — вліяніе историческихъ обстоятельствъ на образованіе племенныхъ и общественныхъ типовъ. Что одинъ типъ рѣзко отличается отъ другого — это мы ясно видимъ; но насколько исторія одного общества, выдѣливъ его изъ общечеловѣческой семьи, по праву меча или договора, и отбросивъ отъ другихъ обществъ, — участвуетъ въ этомъ раздѣлѣ — опять рѣшить трудно. Въ этомъ хаосѣ всевозможныхъ случайностей, движенія впередъ и отступленія назадъ, благороднѣйшихъ порывовъ и пошлыхъ результатовъ, въ этомъ постоянномъ круговоротѣ паденія и возвышенія, въ этой незамѣтной зависимости нашей жизни отъ тысячи чисто внѣшнихъ обстоятельствъ, — отъ голода, мора, наводненія, — въ этомъ необъятномъ хаосѣ теряется всякая цѣльная мысль, всякое конкретное воззрѣніе. Но какъ бы то ни было, а нѣтъ явленія безъ причины, и если Англія не представляетъ намъ, въ своей умственной жизни, метафизическаго образованія, то мы должны согласиться съ тѣмъ, что отсутствіе его не зависитъ отъ кембриджскаго или оксфордскаго университета, а отъ недостатка элементовъ его въ самой народной жизни: для него нѣтъ почвы, на которой бы оно могло взойдти и дать плодъ. Но почему же нѣтъ почвы? — возразятъ намъ; это требуетъ нѣкотораго объясненія. Англія — страна индивидуальныхъ стремленій и положительной дѣятельности, нелишенной довольно полнаго содержанія. Здѣсь у каждаго отдѣльнаго лица есть своя спеціальная цѣль, которую оно преслѣдуетъ въ жизни; за исключеніемъ ста тысячъ поземельныхъ собственниковъ, обезпеченныхъ правомъ твердаго владѣнія, всѣ прочіе члены общества должны искать своего счастія и возможности существованія въ своихъ личныхъ способностяхъ и, разумѣется, каждый избираетъ свою карьеру по собственному желанію и усмотрѣнію: для одного кажется лучшимъ поприщемъ трудъ моряка, и онъ охотно принимаетъ его; другому ду-

мается, что торговать выгоднѣй, и онъ дѣлается купцомъ. Но какъ бы онъ ни распорядился своимъ выборомъ, англичанинъ напередъ убѣжденъ, что вся отвѣтственность за его будущее добро или зло лежитъ на немъ одномъ, что ему ни чинъ, ни протекція, ни сословная рѣшетка не помѣшаютъ идти впередъ, если только на то станетъ его доброй воли и ума. При такомъ направленіи, практическій результатъ составляетъ первое усиліе всякой дѣятельности, безъ чего она не имѣла бы смысла. Работаю ли я въ парламентѣ, или на биржѣ, пишу ли я книгу или копаю землю, — первая мысль моя — для чего я дѣлаю это и въ какой степени оно мнѣ полезно. Поэтому для англичанина — the time is money (время — деньги) имѣетъ дѣйствительное значеніе, потому что каждая минута труда есть личное его благосостояніе. И онъ увѣренъ въ своемъ трудѣ; пріобрѣтеніе его прочно; его не отниметъ ни взяточникъ, ни произволъ судьи, ни интрига сановника; въ его домъ войдетъ буря, но не заглянетъ безъ спросу королева; съ другой стороны, онъ видитъ кругомъ себя безчисленное множество другихъ дѣятелей, столь же свободныхъ и усердныхъ, какъ и онъ: ему предстоитъ постоянная борьба, во первыхъ, съ подобными ему людьми и, во вторыхъ, съ природой; его вниманіе должно слѣдить за множествомъ самыхъ мелкихъ обстоятельствъ; онъ долженъ соображать вѣроятность будущаго и ежеминутно быть готовымъ отразить неблагопріятную встрѣчу. Это — дѣятельность огромная, требующая ума живого, подвижнаго и разносторонне-развитаго. Но она совершенно противоположна глубокому теоретическому образованію. Кто-то замѣтилъ, что для философіи необходимъ досугъ и, кромѣ того, сосредоточенность; это — вѣрно, потому что теоретическое мышленіе требуетъ особеннаго напряженія мозга и уединенія; ему, собственно, нѣтъ дѣла до того, что̀ совершается вокругъ насъ, но чрезвычайно важно знать, что̀ произошло въ самомъ умѣ и насколько расширился тотъ внутренній міръ, въ которомъ работаетъ идея, по собственному произволу. Для англичанина такая работа нѣсколько походила бы на размышленіе метафизика въ баснѣ Крылова: ему некогда доискиваться начала всѣхъ началъ, когда дѣйствительная жизнь, съ ея осязаемыми интересами и нуждами, со всѣхъ сторонъ волнуется передъ нимъ, и уноситъ его на волнахъ своихъ противъ его воли и желанія. Да и было бы странно ему мечтать надъ праздными формулами или спорить о томъ, что̀ сильнѣе — воображеніе или фантазія, когда передъ нимъ лежитъ такая бездна практическихъ вопросовъ, прямо приложимыхъ къ общественному благу. Наконецъ, замѣтимъ, что теорія для теоріи, или искусство для искусства есть праздная роскошь, терпимая только тѣми народами, которымъ истинное образованіе недоступно. Чистая теорія, какъ старая придворная поэзія, нарочно покровительствуется тамъ, гдѣ отъ науки требуется не дѣйствительная сила знанія, а одинъ наружный блескъ; здѣсь она разводится въ академическихъ парникахъ, подобно тропическому растенію въ хо-

лодномъ климатѣ, не затѣмъ, чтобъ питать своимъ плодомъ, а давать только цвѣтъ и запахъ. И все это ради *чести*, какъ замѣтилъ Монтескью, т. е. ради того, чтобъ образованіе било въ глаза лоскомъ, но не заходило слишкомъ глубоко въ народную душу: потому что когда оно не только свѣтитъ, но и грѣетъ, тогда патріархальнаго покровительства для націи становится мало.

Такъ и по историческому характеру, преобладавшему въ умственной организаціи Маколэ, и по національнымъ свойствамъ его страны, онъ не могъ остановиться на одномъ теоретическомъ образованіи. Оно было бы для него и тѣсно и безплодно. И еслибъ мы пріобрѣли въ немъ какого-нибудь философа съ эклектическимъ направленіемъ, самымъ жалкимъ изъ всѣхъ направленій, то навѣрное потеряли бы превосходнаго историка-художника.

Всего, что̀ сказано выше, мы коснулись единственно потому, чтобъ оправдать Маколэ отъ тѣхъ обвиненій, которыми плевала невѣжественная критика на свѣжій мраморъ его могилы. У него были и будутъ свои комары, которые тѣмъ охотнѣе язвили его, чѣмъ меньше онъ обращалъ на нихъ вниманіе. Одни, разсматривая его произведенія, отступали передъ ихъ блескомъ, не видя за нимъ той колоссальной работы, которая совершенно отвѣчала полнотой содержанія артистической формѣ. Они, какъ дѣти, не съумѣли оцѣнить величайшаго умственнаго труда, остановившись на одномъ наружномъ его выраженіи, и не простили ему за то, что̀ составляетъ прелесть и непремѣнное условіе истиннаго дарованія. Другіе старались подмѣтить въ немъ мелкіе недостатки, столь неразлучные съ карьерой писателя, почти сорокъ лѣтъ не выпускавшаго пера изъ своихъ рукъ, и при всѣхъ усиліяхъ злой критики, они могли отыскать такъ мало фактическихъ ошибокъ, что внушили самымъ врагамъ его уваженіе къ нему.

Не возвратимся къ нашему прежнему вопросу: въ чемъ заключается политическая вѣра Маколэ, или та основная идея, которая проходитъ по всѣмъ его сочиненіямъ и составляетъ коренное убѣжденіе его жизни? Какъ публицистъ и какъ историкъ, онъ вѣренъ своему принципу; онъ не былъ ни политическимъ фанатикомъ, ни утопистомъ. Относительно Англіи политическій идеалъ его заключался въ ея конституціи; онъ лучше, чѣмъ кто нибудь, понималъ недостатки ея; онъ лично вооружался противъ нихъ во время парламентской реформы тридцатыхъ годовъ, но онъ былъ убѣжденъ и въ ея достоинствахъ: онъ замѣтилъ гдѣ-то, что всякая конституція можетъ быть хорошей и дурной, смотря потому, насколько она поддерживается сознаніемъ и нравственнымъ характеромъ той націи, которая принимаетъ ее. Въ этомъ — вся тайна твердыхъ и разумныхъ правительственныхъ системъ. Онѣ только тогда находятъ опору въ національномъ духѣ, когда имъ живутъ и дѣйствуютъ. Поэтому Маколэ смотрѣлъ на длинный рядъ англійскихъ реформъ, какъ на развитіе одной и той же кон-

ституціонной мысли, возраставшей по мѣрѣ вліянія общественнаго мнѣнія и народной самодѣятельности. Обращая взоръ къ будущему, онъ предвидѣлъ, что эта идея испытаетъ еще множество перемѣнъ, представитъ много новыхъ сторонъ, но успѣхъ ея развитія долженъ идти вмѣстѣ съ народнымъ образованіемъ и помимо насильственныхъ разгромовъ. Въ этомъ консервативномъ убѣжденіи Маколэ не было ничего антипатичнаго политической свободѣ; напротивъ, всякій восходъ ея, какъ на континентѣ, такъ и въ Англіи, онъ привѣтствовалъ съ восторгомъ; но только, благодаря своей опытности и историческому такту, онъ смотрѣлъ на нее болѣе положительнымъ взглядомъ, чѣмъ другіе. Онъ зналъ, какъ трудно выработывается общечеловѣческій прогрессъ, какихъ страшныхъ усилій и жертвъ, какого пота и крови стоитъ народамъ каждый шагъ ихъ движенія впередъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ, его гуманному чувству были противны тѣ безсмысленныя политическія драмы, которыя оканчивались передъ его глазами безумными реакціями и упадкомъ нравственныхъ силъ народа.

1861 г.

НАДЕЖДЫ ИТАЛІИ.

(1. „Delle Speranze d'Italia" di Cesare Balbo. 1855. 2. „Napoleon III et l'Italie". 1859).

При взглядѣ на картину Микель-Анджело „Послѣдній Судъ" насъ поражаетъ ужасъ „плачущаго города"; но среди всеобщаго страха и смерти великій художникъ освѣтилъ колоссальныя группы — надеждой. Вы видите въ одно и то же время гибель и спасеніе, отчаяніе и любовь къ жизни. На картинѣ, по какому-то странному случаю, отразился современный періодъ Микель-Анджело. Онъ рисовалъ ее въ то время, когда передъ нимъ закрывалась ночь среднихъ вѣковъ и поднималась утренняя звѣзда новой Европы, когда съ одной стороны входила инквизиція, съ другой вѣялъ духъ германской реформы на одряхлѣвшій католицизмъ. Эта картина служила предвѣстникомъ умиравшей страны и будущихъ ея надеждъ; она выразила всю судьбу Италіи.

Въ самомъ дѣлѣ, что́ такое прошедшее Италіи? Это — ужасная политическая драма безъ развязки, это — дѣйствительный „Адъ" Данта, полный самыхъ печальныхъ событій. Всѣ народы шли историческимъ путемъ болѣе или менѣе труднымъ и несчастнымъ; но ни одинъ европейскій народъ не вынесъ такъ много внутреннихъ бурь, не означилъ своего развитія такимъ разрушеніемъ, страданіями и казнями, какъ Италія. Въ ту пору, когда во всей Европѣ пульсъ народной жизни какъ будто прекратился, на итальянскомъ полуостровѣ сто семьдесятъ два соціальныхъ центра вращаются въ кругу постоянной борьбы; въ продолженіе девяти вѣковъ въ нихъ происходитъ не менѣе семи тысячъ революцій, въ которыхъ убійства ядомъ и кинжаломъ, убійства въ храмахъ, на улицахъ и въ домахъ, убійства среди бѣлаго дня и ночи, изъ-за угла и на площади, совершаются съ какимъ-то непонятнымъ хладнокровіемъ такъ, что „желтыя воды Тибра, по выраженію поэта, струились на по-

ловину кровью брошенныхъ въ него жертвъ". Каждый городъ, каждое сословіе прошло крещеніемъ огня и меча, видоизмѣняя его реформы до безконечности. Правительства возникаютъ и падаютъ, какъ волны Адріатическаго моря подъ шкваломъ порывистаго вѣтра. Графскій феодализмъ уступаетъ мѣсто епископскому покровительству, епископы смѣняются консулами, консулы — подестами; потомъ начинается борьба Гвельфовъ и Гибеллиновъ, вѣчная борьба двухъ партій, раздѣленныхъ преданіемъ и взаимной ненавистью; затѣмъ, слѣдуютъ тираны, сеньоры, кондотьери и мертвящій испанскій протекторатъ. Въ Генуѣ и Флоренціи, — въ городѣ цвѣтовъ и отравы, случается по три переворота въ день, по нѣсколько битвъ въ каждой улицѣ, и гдѣ нѣкогда цвѣла прекрасная Комачина, теперь лежитъ простая нива на озерѣ Комо. Неудивительно, что въ Италіи нѣкоторыя злодѣянія получили типическое выраженіе, которому ничего равнаго нигдѣ не находимъ. Нельзя, напримѣръ, не изумляться, съ какимъ разсчитаннымъ тактомъ Александръ VI Борджіа губитъ лучшія фамиліи, затягивая ихъ въ свои змѣиныя кольца и истребляя ядомъ, веревкой и мечомъ, не забывъ въ то же время воспитать въ своемъ сынѣ одного изъ самыхъ дерзкихъ злодѣевъ. Изгнанія и ссылки, случайное бѣдствіе у другихъ народовъ, здѣсь обращаются въ систематическое наказаніе. Геніальные люди плачутъ или проклинаютъ отечество внѣ предѣловъ его; рѣдкій изъ нихъ не носитъ на себѣ слѣдовъ желѣза или темницы. Дантъ, подъ угрозой смерти, оставляетъ Флоренцію и скитается среди скалъ Аппенинскихъ горъ. Дикая Воклюза, съ ея угрюмой природой, хищными птицами и глубокими разсѣлинами, даетъ пріютъ юношѣ Петраркѣ; Савонарола, Палеаріо и Джордано Бруно погибаютъ на кострѣ; Кампанелла терпитъ пытку и двадцать семь лѣтъ проводитъ въ тюрьмѣ; Тассъ сидитъ въ домѣ умалишенныхъ, и такъ далѣе — до австрійскаго Шпильберга, прославленнаго записками Сильвіо Пеллико. Въ этомъ хаосѣ политическаго движенія и общественныхъ неурядицъ трудно уловить ясную идею, еще труднѣй опредѣлить положительный результатъ. Историки, примѣняя къ Италіи обыкновенную мѣрку, снятую съ другихъ государствъ, доходятъ до рѣшительнаго фатализма. Такъ Феррари, запуганный противорѣчіями итальянскихъ коммунъ, не видитъ въ нихъ ничего, кромѣ случайной игры обстоятельствъ: „здѣсь коммунальная, феодальная, въ Сициліи норманская, въ Венеціи византійская, въ Римѣ теократическая, въ Павіи королевская, Италія творитъ царства, республики, сеньорства, независимые округи, свободные города, обширныя церковныя и императорскія вассальства — феномены странные, контрасты постоянные, фантасмагорія безконечная... Какой бы ни былъ внѣшній блескъ фактовъ, побѣды ея были безъ цѣли, пораженія безъ причины, революціи безъ идей, войны безъ конца". (Histoire des révol. d'Italie. Par Ferrari. 1858 г., т. I, стр. 10 и 11). Тоже фаталистическое воззрѣніе замѣчается и у другихъ

итальянскихъ историковъ. Философская теорія Вико, основанная на вѣчномъ круговоротѣ народовъ, могла родиться только въ головѣ неаполитанца. Но никто изъ нихъ не доходитъ до такого холоднаго скептицизма и грустнаго взгляда на судьбу своей страны, какъ Маккіавелли. Самая жизнь этого геніальнаго человѣка состояла изъ рѣзкихъ контрастовъ между его поступками и ученіемъ. Гибкій и всеобъемлющій умъ, онъ постоянно живетъ въ разладѣ съ самимъ собой. Онъ даетъ правила правительствамъ, и раболѣпствуетъ передъ ними; онъ служитъ Флорентійской республикѣ, импровизированной Карломъ VIII; онъ помогаетъ реставраціи Медичисовъ, которые предаютъ его пыткѣ, и великій мыслитель, окованный цѣпями, шутитъ и забавляетъ своихъ гонителей; онъ комментируетъ Тита Ливія среди кабинетнаго уединенія и въ то же время ухаживаетъ за молодой сеньорой; онъ въ душѣ ненавидитъ папскую власть, и посвящаетъ свою исторію Клименту VII; онъ начинаетъ поприще дипломатомъ и оканчиваетъ солдатомъ; поэтъ, ученый, полководецъ, плебей и аристократъ, онъ былъ всѣмъ, что соединялось въ милліонахъ его современниковъ, всѣмъ, чѣмъ жила, мыслила и чувствовала его эпоха. Маккіавелли по преимуществу итальянецъ, со всѣми недостатками и совершенствами своей націи.

Но гдѣ же скрывается причина глубокаго антагонизма, разъѣдающаго Италію въ средніе вѣка? Обыкновенно, объясняютъ ее преданіемъ. Кине видитъ ее въ католическомъ принципѣ. „Тайна этихъ противорѣчій, говоритъ онъ, — заключается въ самомъ темпераментѣ римской церкви, которая преобразилась въ темпераментъ политической Италіи. То же самое униженіе, съ которымъ монахъ готовъ былъ все выносить въ надеждѣ надъ всѣмъ господствовать, составляетъ главную черту въ политическомъ воспитаніи средневѣковыхъ итальянцевъ". (Oeuvres complètes d'Edgar Quinet. 1857 г., т. IV, стр. 26). Разумѣется, римская область — не монастырь, не келья, чтобъ для полнаго управленія ею было достаточно одной священной коллегіи. Между тѣмъ, это преданіе гроба и смерти, основанное на теократической іерархіи и обставленное всѣми аттрибутами неподвижности, продолжало питаться какимъ-то фантастическимъ чувствомъ. Для папы Италія съ ея народомъ была второстепеннымъ дѣломъ, а главнымъ — сохраненіе своего религіознаго авторитета. Пій IX въ 1848 году, въ минуту народнаго энтузіазма, сказалъ, что онъ отвѣчаетъ за цѣлость католическаго начала не передъ однимъ Римомъ, а передъ всѣмъ человѣчествомъ. Такимъ образомъ намѣстникъ св. Петра, поставленный выше всякой національности, переживаетъ всѣ партіи реформы и правленія, передаваясь на сторону всѣхъ, кто только могъ защитить его въ случаѣ нужды. Отсюда вытекаетъ безпрерывная измѣна своему знамени и политическое коварство. Папы звали на помощь иностранныя войска, раздавали вѣнцы и области единственно затѣмъ, чтобъ поддержать свое значеніе; они переходили то на сторону Гвель-

фовъ, то Гибеллиновъ, смотря по обстоятельствамъ; они пользовались силой всѣхъ враговъ и раздирали отечество издали — изъ Авиньона, Германіи и Испаніи; въ XIV вѣкѣ они подавили, съ помощью иноземцевъ, возраставшее могущество сеньоровъ, обвинивъ ихъ передъ суевѣрной толпой въ некромантіи. При такомъ направленіи папская власть, естественно, должна была стать въ противорѣчіе съ прогрессомъ остальной Европы, особенно въ послѣдніе три вѣка. Когда Лютеръ разбудилъ свободу совѣсти на сѣверѣ и ударъ за ударомъ наносилъ католической церкви, Италія, подобно восковой свѣчкѣ, потухаетъ передъ новой зарей; она медленно и постепенно замираетъ, какъ трупъ, опускаемый дожами въ венеціанскія лагуны. Съ этой минуты передъ ней лежало два пути — ринуться въ самый потокъ реформы и овладѣть ея интересами, или отступить назадъ. Папы, вѣрные реакціонному духу, въ одно XVI столѣтіе отступили дальше, чѣмъ на пять вѣковъ. Когда испанскія пушки сдѣлались дѣйствительнѣй буллъ и угрозъ Ватикана во имя религіи, когда старая дисциплина потеряла вѣсъ, — они измѣняютъ свою политику; они дѣйствуютъ часто полицейскими мѣрами тамъ, гдѣ прежде дѣйствовали въ силу нравственныхъ началъ. Инквизиція, столь противная народному чувству, подъ предлогомъ ереси преслѣдуетъ и казнитъ все, что̀ чувствуетъ и мыслитъ не по уставу каноническаго права. Ученики Лойолы, этого неудавшагося Донъ-Кихота въ молодости, строятся въ авангардѣ римской конклавы; они разносятъ тлѣніе и мракъ повсюду, гдѣ находятъ невѣжество и готовность ихъ слушать. Тассъ, воспитанный въ лучшія времена, еще застаетъ эту годину; въ его послѣднихъ стансахъ грустно отзываются стоны современниковъ, и благородный поэтъ, какъ замогильная тѣнь, проходитъ между чужими лицами и событіями. Съ послѣднимъ геніемъ свободы отъ Италіи отлетаетъ геній жизни въ самый чудный моментъ ея развитія. Возрожденіе искусствъ и наукъ было въ полномъ ходу; счастливое соединеніе творческихъ силъ, собраніе богатыхъ матеріаловъ, два вѣка приготовительныхъ работъ, общее одушевленіе и желаніе идти впередъ, — все это обѣщало роскошные плоды, и такъ непредвидѣнно кончилось немногимъ больше пустоцвѣта. „Мы остановились, сказалъ Пульчи, — на половинѣ дороги, какъ путешественники, застигнутые нечаянной грозой; у насъ не достало отваги продолжать путь и не было возможности воротиться назадъ". Реакція, начатая Леономъ X, все, что̀ было задумано и сдѣлано хорошаго, претворила въ свою пользу. Потомки Медичисовъ, основавшихъ школу Платона въ великолѣпныхъ садахъ, открывшихъ праздники въ въ честь аѳинскаго философа, не щадившихъ ради образованія ни средствъ, ни трудовъ, потомки этихъ коронованныхъ негоціантовъ, спѣшили уничтожить дѣло предковъ; артисты не могли болѣе дышать атмосферой рабскаго общества; поэзія съ ея пластическими и граціозными формами Петрарки обратилась въ какой-то дѣтскій лепетъ при-

дворныхъ шутовъ. И кто бы могъ думать, что для Италіи XV вѣкъ будетъ блистательнымъ періодомъ талантовъ, а XVII сдѣлается синонимомъ бездарности и тупоумія?

Съ католическимъ преданіемъ для Италіи всегда соединялось преданіе классическое. Между Римомъ цесарей и Римомъ папъ, не смотря на видимую противоположность ихъ, никогда не было полнаго разрыва. Что̀ такое паденіе западной римской имперіи? Разложеніе на ея конфедеративныя національности, отпаденія провинціи отъ метрополіи. Когда централизація ея, поглотившая полміра, достигла крайней степени, когда безумная тираннія и правительственныя формы утратили всякую связь съ дѣйствительнымъ бытомъ, началось броженіе въ отдѣльныхъ областяхъ; провинціи требовали труда и хлѣба, а имъ посылали приказанія молчать и повиноваться. Побѣжденные народы ничего не ожидали отъ стараго Рима, кромѣ тяжелыхъ налоговъ, грабежа чиновниковъ и поголовнаго истребленія, въ случаѣ вынужденнаго возстанія. При такомъ порядкѣ вещей всякая новая идея, всякая перемѣна, къ чему бы она ни вела, казалась спасеніемъ. Являлась ли она въ видѣ евангельскаго братства изъ Іудеи, или въ видѣ истребленія стараго міра толпами варваровъ, наступавшихъ съ сѣвера, — во всякомъ случаѣ новая жизнь казалась лучше старой. Вторженіе варваровъ, говоритъ Феррари,—было легче для Италіи, чѣмъ мучительная агонія подъ правленіемъ цесарей; лучше пожары и убійства, чѣмъ бѣдность, голодъ и неизвѣстная смерть, расточаемая рукою Нероновъ и Калигулъ". (Histoire des révolutions de l'Italie par Ferrari). Поэтому, „Теодорикъ, какъ замѣчаетъ Кассіодоръ,—былъ призванъ по желанію всѣхъ". Какъ скоро полудикія орды разрываютъ на части утомленную „собственными пороками" имперію, повсюду обнаруживается стремленіе къ независимости и индивидуальному состоянію. Съ Лонгобардами центръ политической дѣятельности переходитъ въ Миланъ; изъ него распространяется католицизмъ, черезъ него проходятъ толпы варваровъ, въ немъ строится и рушится новое королевство. Послѣ Милана возникаетъ Венеція, защищенная отъ враговъ островами и моремъ; не стѣсняемая постороннимъ вліяніемъ, она слагается въ республику и быстро богатѣетъ. Между тѣмъ, какъ въ центральной Италіи идутъ кровопролитные споры за папскую тіару, въ южной — Неаполь и Амальфи удерживаютъ старинныя учрежденія. Такъ, на одной и той-же территоріи, подъ однимъ и тѣмъ же историческимъ горизонтомъ, являются самые разнообразные элементы политической организаціи. Оттѣнки въ національностяхъ, въ образѣ правленія, въ народныхъ вѣрованіяхъ и инстинктахъ, раздробляютъ Италію на мелкія и, повидимому, діаметрально противоположныя части. Правительственная централизація болѣе невозможна, потому что военный деспотизмъ смѣненъ безоружной властью. Но все это въ сущности было только измѣненіемъ административныхъ формъ, внѣшнимъ наплывомъ на коренныхъ основахъ народнаго духа. Отъ юга и до сѣвера вездѣ го-

сподствуетъ одинъ языкъ, преобладаетъ одна римская порода, одни воспоминанія. И эти воспоминанія, очищенныя временемъ и новыми бѣдствіями, получаютъ особенную прелесть для народной фантазіи. „Вѣчный городъ" съ его побѣдами и тріумфами, шумными совѣщаніями форума и вселенскими законами сената, героями Т. Ливія и мучениками Тацита — городъ славы и блистательнаго позора, дѣлается предметомъ обоготворенія. Къ нему, какъ къ путеводному свѣтилу, обращаются взоры всѣхъ то съ гордостью, то съ надеждой. Это — Мекка христіанскаго и языческаго міра. Здѣсь все одушевляетъ любовью прошедшаго; капитолій, цирки, уцѣлѣвшіе дворцы, обелиски и памятники на каждомъ шагу говорятъ о быломъ величіи. Самыя развалины и полуистлѣвшіе остатки старины, принимая мистическій характеръ, возбуждаютъ особенный интересъ. Человѣческое воображеніе въ отношеніи къ прошлому дѣйствуетъ, какъ призма въ отношеніи къ солнечному лучу: оно разлагаетъ и украшаетъ минувшій фактъ новыми цвѣтами, которыхъ въ дѣйствительности нѣтъ. Притомъ, чтобъ забыть прошедшее надо вполнѣ насладиться настоящимъ. Но что же могли дать Италіи папы, нѣмецкій императоръ и Лонгобарды, въ замѣнъ ея классическихъ преданій? Тѣ же войны, но безъ успѣха; тѣ же законы, но безъ чести слова и вѣры; тѣхъ же Верресовъ, но безъ протеста Цицероновъ; тѣ же цѣпи, но съ другимъ, болѣе тяжелымъ замкомъ католическаго смиренія. И такъ какъ настоящее зло оскорбляетъ насъ больше прошлаго, то средневѣковой итальянецъ тѣмъ охотнѣй обращался къ своей исторической судьбѣ. Поэты, художники и юристы ищутъ въ древнемъ Римѣ вдохновенія и мысли. Античныя республиканскія формы съ теократическимъ абсолютизмомъ, философія Аристотеля съ проповѣдями св. Августина, поэтическія картины Виргилія съ библейскими образами рядомъ укладываются въ ихъ головахъ. На куполахъ и стѣнахъ церквей, на фрескахъ и монументальныхъ зданіяхъ, близь христіанской Мадонны стоитъ милосская Венера, вездѣ смѣсь политеизма съ евангеліемъ, народной площади съ уединенной кельей, монаха съ гражданиномъ. Нельзя не удивляться, съ какимъ усидчивымъ терпѣніемъ занимаются собраніемъ и разработкой древнихъ манускриптовъ Боккачіо и Петрарка. Послѣдній превосходно пишетъ на латинскомъ языкѣ, напоминая чистоту гораціева стиха. Ріенци, сынъ прачки и водоноса, съ ранней юности мечтаетъ Цицерономъ, подражаетъ ему на трибунѣ и пользуется древне-классической литературой, какъ средствомъ для возбужденія чувства независимости. Рафаель и Микель-Анджело въ той же школѣ образуютъ свой геній; въ произведеніяхъ ихъ дышетъ эллинская красота съ католическимъ мистицизмомъ. Помпоній Лета идетъ дальше: онъ даже покушается возстановить язычество.

Еслибъ мы хотѣли оцѣнить вліяніе классическаго преданія на умственныя силы Италіи, то, конечно, должны были бы признать его благодѣтельныя послѣдствія. Здѣсь оно было народнымъ, строго-историческимъ,

далеко не той забавной безсмыслицей, какъ во Франціи или Испаніи. За всѣмъ тѣмъ, могло ли оно, какъ обыкновенно думаютъ, оплодотворить итальянскій геній полнымъ и живымъ содержаніемъ? — нѣтъ. Классическое образованіе потеряло значеніе вмѣстѣ съ греко-римской жизнью. Оно было выраженіемъ потребностей другого вѣка, другихъ обстоятельствъ и другого ума; возстановить духъ и овладѣть логическими результатами его также было невозможно, какъ поднять грековъ и римлянъ изъ ихъ могилъ. Вслѣдствіе этого Италія беретъ отъ него однѣ формы и на этомъ пробномъ камнѣ воспитываетъ свое эстетическое чувство. И, дѣйствительно, формы развились до удивительнаго совершенства; кисть, рѣзецъ, стихъ и музыкальная серія, кажется, вполнѣ исчерпали идеальный міръ гармоніи и граціи. И только въ силу этой внѣшней прелести Италія сдѣлалась наставницей другихъ народовъ, художественной студіей Европы. „Писатели XV вѣка, говоритъ Маффеи, — бѣдны идеями, но необыкновенно богаты изящными формами". (Storia della litteratura italiana di Maffei. T. II, стр. 73). Въ этомъ замѣчаніи заключается вся исторія итальянской литературы. Здѣсь, впрочемъ, есть и другая причина; въ странѣ юридической безгласности и ограниченнаго книгопечатанія, мысль не могла дѣйствовать безусловно: если церковная власть находила ее опасной своему ученію, она подавляла ее въ самомъ зародышѣ, и страстный геній южнаго племени, лишенный положительной почвы, тѣмъ глубже уносился въ область мечты и фантазіи. Итальянская поэзія горитъ яркимъ, но холоднымъ солнцемъ на мрачномъ небосклонѣ среднихъ вѣковъ.

Совершенно инымъ послѣдствіемъ сопровождалось преданіе въ политическомъ воспитаніи Италіи. Здѣсь оно необычайно повредило народному духу, перепутавъ его ложными понятіями о соціальной жизни. Когда идетъ рѣчь о средневѣковыхъ итальянскихъ республикахъ, обыкновенно, преувеличиваютъ ихъ значеніе. Сисмонди драпировалъ ихъ плащемъ восемьнадцатаго вѣка. „Если только, говоритъ итальянскій историкъ, — мы сохранимъ этимологическое и общепринятое названіе республики (respublica), т. е. государства независимаго, съ публичной администраціей, то ясно, что изъ всѣхъ итальянскихъ республикъ среднихъ вѣковъ, это названіе идетъ одной Венеціи... Всѣ другіе наши города остались коммунами и небольше того, коммунами, зависимыми по праву навсегда, по факту всякій разъ, какъ только императоръ хотѣлъ дать силу этому праву. И это было главнымъ недостаткомъ, помѣшавшимъ сложиться самымъ разнообразнымъ конституціямъ и внутренней цивилизаціи этихъ коммунъ". (Delle Speranze d'Italia di C. Balbo. 1855 г., стр. 54). Но почему же германская имперія дѣлается какимъ-то духомъ зла для Италіи? Почему она въ Швейцаріи, у народа менѣе мощнаго и также конфедеративнаго, встрѣтила крѣпкій отпоръ, натолкнувшись на Вильгельмовъ Телей, а по ту сторону Альпъ нашла себѣ и покорность и

союзъ. Это можно объяснить только преданіемъ. Тамъ не было наслѣдства цесарей и побѣдоносныхъ ихъ когортъ, а здѣсь они оставили глубокіе слѣды. И когда несчастія и преступленія ихъ изгладились вмѣстѣ съ могилами, ихъ власть и блескъ тѣмъ обаятельнѣй дѣйствовали на потомство. Въ борьбѣ Гвельфовъ и Гибеллиновъ ни на одну минуту не теряется вѣра въ цесаря; ее принимаетъ Дантъ, паписть и плебей въ юности. Она раздвоила Италію, поселивъ чувство ненависти въ каждой деревнѣ, въ каждомъ семействѣ, раздѣливъ отца съ сыномъ, брата съ сестрой. Съ половины XIV вѣка, когда междоусобица кончилась, идея ея не исчезаетъ; она закрадывается во всѣ внутреннія убѣжденія итальянца и проходитъ по всей его исторіи. Даже теперь, послѣ всѣхъ горькихъ уроковъ вѣнскаго своеволія, послѣ всеобщаго отвращенія къ іезуитской политикѣ Меттерниха, есть приверженцы австрійскихъ орловъ. Такимъ образомъ, Италія папская и императорская, составивъ два враждебныхъ стана, одинъ съ нравственной иниціативой, другой съ оружіемъ въ рукѣ, разъединили народную жизнь и запутали соціальное развитіе ея. Стремленіе ихъ, собственно, не въ томъ состояло, чтобъ понять и оградить интересы страны, а подчинить ихъ своимъ цѣлямъ, — не въ томъ, чтобъ устроить ея счастіе, а спокойно *управлять*. И народъ, какъ слѣпое орудіе, переходя изъ однѣхъ рукъ въ другія, нравственно изнемогъ; онъ привыкъ искать спасенія не въ самомъ себѣ, а извнѣ, онъ готовъ былъ принять отъ посторонней власти все, но не могъ создать собственными интересами ничего. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя не изумляться богатству жизненныхъ силъ, волнующихъ средневѣковую Италію, и бѣдности результатовъ. Какая бы реформа ни началась, она непремѣнно окончится терроромъ, какое бы сословіе ни выступило впередъ, въ головѣ его явится тиранъ. Прослѣдите, напримѣръ, нескончаемую борьбу жирныхъ гражданъ (popolani grassi) съ тощими (popolo minuto), борьбу чисто-коммунальную, и вы увидите, что едва возникла община на развалинахъ феодальной касты, какъ она уже разрываетъ всякую связь съ народомъ, разставляетъ ему самыя хитрыя сѣти — бѣдность, наслѣдственный трудъ, и потомъ перерождается въ финансовую аристократію. Семейство Медичисовъ было типомъ итальянской меркантильной, пронырливой и честолюбивой буржуазіи. Что испытываетъ Франція въ настоящую минуту, то провѣрила на себѣ Флоренція въ XV вѣкѣ. Съ тѣмъ вмѣстѣ, въ этихъ республикахъ господствуетъ какая-то грубая нетерпимость къ политическимъ убѣжденіямъ; вопросы, требовавшіе холоднаго размышленія и совѣщаній, рѣшаются мгновенными вспышками и драками. Эта нетерпимость, столь противная истинно-республиканскому характеру, конечно, была слѣдствіемъ общей невѣротерпимости среднихъ вѣковъ; но она зависѣла также и отъ гражданской невоспитанности. „Всѣ эти католическія республики, говоритъ Кине, — превращаются въ республики княжескія; изъ республикъ кня-

жескихъ переходятъ въ абсолютныя государства. И какъ скоро перестаетъ царить страхъ, начинается рабство". (Quinet. T. IV, стр. 194).

Точно также преданіе дѣйствовало на національное чувство Италіи. Оно не могло уничтожить его, потому что народная жизнь невозможна безъ него, но оно ослабило и растлило его. Любовь къ родинѣ всегда была пламенной страстью итальянца. „Когда дѣло касается спасенія отечества, не можетъ быть рѣчи о справедливости или несправедливости, о страданіи или жестокости, о похвалахъ или урокахъ. Забывъ все, надо спасти его во что́ бы то ни стало — со славой или безславіемъ". Это говорилъ Маккіавелли наканунѣ паденія Италіи и, кажется, выше этого любить свою страну невозможно. Но въ этомъ чувствѣ вообще много идеальнаго, и для лицемѣрной преданности не можетъ быть лучшей маски. Мы нѣсколько знаемъ это на нашихъ славянофилахъ, которыхъ любовь къ Россіи — сладкая до сладости вяземскаго пряника, иногда хуже всякой ненависти. — Въ итальянскомъ патріотизмѣ было мало практическихъ сторонъ и много космополитическихъ предразсудковъ; они часто думали о счастіи Италіи также, какъ Кавеньякъ думалъ о немъ въ 1848 году. Его солдатской проницательности казалось, что спасеніе Рима и спокойствіе всего полуострова зависитъ именно отъ того, чтобъ перевести Пія IX изъ Гаэты въ Ватиканъ. Вотъ, напримѣръ, личность, очень замѣчательная по уму и сердцу, Цесарь Балбо, котораго книгу мы поставили въ началѣ нашей статьи. Онъ въ лучшія минуты Италіи служилъ ей искренне и благородно. На берегахъ Адижа, при встрѣчѣ австрійцевъ съ піемонтцами, мы видимъ въ самомъ жару битвы шестидесятилѣтняго старика, окруженнаго пятью сыновьями. Это былъ Балбо, доблестный воинъ и практикъ; но когда онъ выражалъ свой патріотизмъ не подъ непріятельскимъ огнемъ, а на бумагѣ, онъ заблуждался, какъ юноша, только-что вышедшій изъ школы. Онъ серьезно думалъ, что центромъ не только итальянскаго прогресса, но цивилизаціи всего міра, служитъ папская власть, и потому любить католицизмъ для него значило любить всю Италію. Съ нимъ и его другомъ, Джоберти, эта дѣтская мечта умираетъ; но она была мечтой не одного піемонтскаго министра, а многихъ геніальныхъ людей. Преданіе заслоняло отъ нихъ лицевую сторону Италіи, и эта фантастическая любовь часто преслѣдовала тѣнь и упускала изъ виду дѣйствительное благо. Очень странно, никто и никогда не оспаривалъ права вторженія иностранцевъ въ сердце Италіи, и каждый отвергалъ своего соотечественника, какъ судью или владыку. Исторія полна предательскихъ сценъ. Въ 1494 году, когда пробила послѣдняя минута Италіи, Карлъ VIII Валуа спускается въ нее по призыву миланскаго властителя, Людовика Мора. Французскаго короля повсюду встрѣчаютъ торжественно, провозглашаютъ защитникомъ дамъ, дарятъ деньгами и одинъ городъ за другимъ, принимая отъ него цѣпи, цѣлуютъ его руку.

„Онъ поразилъ Италію, говоритъ Балбо, — въ тотъ самый моментъ, когда она, освободившись отъ иностранцевъ и сложившись въ конфедерацію, была ближе, чѣмъ когда нибудь къ состоянію истинной и великой націи". (Delle sper. d'Italia, стр. 59). Грустными предчувствіями встрѣтилъ народъ эту эпоху; ходило повѣрье, что церковныя статуи точились кровью, привидѣнія вставали изъ гробовъ, войска носились въ облакахъ и Пикъ-де-Мирандола съ ужасомъ слышалъ въ флорентійскомъ соборѣ предсказаніе роковой минуты. Послѣ Карла VIII, Италія дѣлается ареной французскихъ драгонадъ; по слѣдамъ его идутъ Людовикъ XII и Францискъ I. Французы покоряютъ Неаполь; лига иностранцевъ, руководимыхъ папой, губитъ Венецію; папа и императоръ уничтожаютъ Флоренцію. „Такимъ образомъ, говоритъ Кине, — ограбивъ, опустошивъ Италію въ продолженіе полувѣка, безъ цѣли, безъ права, безъ системы, безъ принциповъ, проклинаемые Гвельфами, проклинаемые Гибеллинами, французы выгнаны съ пустыми руками, они снова бросаются въ эту бездну, чтобъ снова погибнуть въ ней. И въ наше время возобновилась та же метода судить и рядить дѣла Италіи; но теперь съ легкомысліемъ соединилось лицемѣріе, съ лицемѣріемъ обманъ, съ обманомъ безчестіе. И если такъ какъ три вѣка опытовъ не могли разбудить совѣсти монархической Франціи на этомъ пунктѣ, то, можетъ быть, къ лучшему, она осуждена медленно почувствовать позоръ своего послѣдняго коварства, чтобъ вылѣчиться отъ маніи — вмѣшиваться, безъ вѣры, въ дѣла, за которыя она ничего иного не заслужила, кромѣ проклятій Италіи и насмѣшки остального міра". (Quinet. T. IV, стр. 332).

Такъ подъ ударами французскаго штыка и подъ вліяніемъ испанскаго фанатизма кончилась судьба прекраснѣйшей страны въ мірѣ. Три вѣка политической агоніи проходятъ для нея какимъ-то страннымъ, тяжелымъ и мучительнымъ сномъ. Она стоитъ передъ судомъ народовъ, какъ „гордая королева, съ розовой гирляндой на головѣ и съ босыми скованными ногами". Мы любимъ Италію, но любимъ ее, какъ падшую красавицу; мы сочувствуемъ ей, но сочувствуемъ, какъ нищему, у большой дороги; мы поклоняемся ея артистическому генію, но поклоняемся, какъ античной развалинѣ. Сосѣди обратили ее въ предметъ какого-то ложнаго состраданія; дипломатія пользуется ею, какъ любимымъ софизмомъ; Австрія гнететъ безнаказанно сѣверныя ея провинціи, заражая эпидемическимъ повѣтріемъ своего насилія остальныя ея части. Меттернихъ назвалъ ее не больше, какъ „географическимъ выраженіемъ", и государственные люди послѣ 1831 года въ одинъ голосъ повторили: „Италія умерла".

Но можно ли, въ самомъ дѣлѣ, отчаяваться за будущее ея? Вотъ вопросъ, на который всего лучше отвѣчаетъ ея прошедшее и который постоянно занимаетъ общественное мнѣніе Европы. Какъ бы онъ ни былъ рѣшенъ, но для Италіи, очевидно, наступаетъ эпоха сознанія и

политической совѣсти; въ какомъ бы видѣ и какими бы средствами она ни возродилась, но ея возрожденіе не подлежитъ сомнѣнію. Постоянные симптомы въ ея общественной жизни, громкіе протесты противъ злоупотребленій, геройская отвага въ опасностяхъ и самыя страданія ея мучениковъ, разбросанныхъ по всѣмъ частямъ міра, — отъ Коленью и до Поэріо, все это доказываетъ необыкновенную живучесть народа. Еслибъ у него послѣ Уго Басси, съ котораго австрійцы (какъ говорятъ) содрали кожу и безъ суда предали страшной казни, еслибъ у него послѣ этого благороднаго воина и храбрѣйшаго изъ кондотьеровъ — Гарибальди не было ни одного достойнаго защитника, и тогда мы не могли бы не признать той истины, что Италія живетъ. Она живетъ тѣмъ внутреннимъ, сосредоточеннымъ и затаеннымъ существованіемъ, которое трудно различить сквозь австрійскую казарму, но оно само въ себѣ полно силы и надежды. „Съ 1848 года, говоритъ Балбо, начинается новый вѣкъ въ этой великой и печальной исторіи". (Delle speranze d'Italia, стр. 187). Дѣйствительно, съ этого времени мы примиряемся съ Италіей и перестаемъ сомнѣваться въ ней. „Нельзя отрицать, пишетъ англійскій публицистъ, — что характеръ итальянцевъ съ 1848 года поднимается въ глазахъ Европы гораздо выше, чѣмъ это было прежде. Полуостровъ послѣ жестокаго испытанія удивляетъ насъ мужествомъ, выдержаннымъ энтузіазмомъ, высокимъ патріотизмомъ и способностью къ самоуправленію (self-governement), чего мы не знали за нимъ до этого дня. Если мы сравнимъ 1848 годъ съ 1821, между ними лежитъ цѣлое столѣтіе прогресса; съ этой минуты мы вѣримъ, что, несмотря на всю безнадежность нашего времени, окончательное освобожденіе Италіи недалеко". Событія этого года уже принадлежатъ исторіи; мы напомнимъ ихъ, чтобъ пояснить самыми фактами нашу идею.

Послѣднее возстаніе за независимость Италіи происходило въ двухъ главныхъ центрахъ — въ Римѣ и Піемонтѣ. Всѣ другія происшествія были отдѣльными эпизодами, проникнутыми, впрочемъ, однимъ и тѣмъ же духомъ. Пій IX, восходя на престолъ въ 1846 г. 16 іюня, былъ встрѣченъ общимъ ожиданіемъ реформы, вызванной народной ненавистью къ іезуитамъ и австрійскому деспотизму. Григорій XVI, окруженный безсовѣстной сбирократіей и смѣшавшій либеральную партію съ ворами и убійцами, умеръ среди глухого ропота своихъ подданныхъ. Отъ преемника его, избраннаго именно съ той цѣлью, чтобъ облегчить положеніе римской области, прежде всего потребовали амнистіи. Папа долго колебался; наконецъ, 16 іюля отворилъ темницы. Минута была торжественная! Народъ съ восторгомъ сбѣжался на площадь Квиринала, освѣщенную тысячами фонарей подъ яснымъ южнымъ небомъ. Намѣстникъ св. Петра явился на балконѣ, одѣтый въ бѣлую тунику и благословилъ безчисленное множество людей, упавшихъ на колѣна. „Тогда, говоритъ Монтанелли, — сердца всѣхъ соединились въ одинъ океанъ любви; всѣ выразили на

лицѣ глубокое ощущеніе и въ первый разъ раздался тотъ крикъ, который поднимаетъ народы: „Да здравствуетъ Пій IX!“ (Memorie di G. Montanelli. Гл. XX). Это былъ первый шагъ, которымъ папа вступилъ на путь внутреннихъ преобразованій; необходимость ихъ онъ самъ признавалъ, но съ перваго же шага велъ себя, по выраженію своего родственника и министра — Піетро Ферети, какъ „непостоянная женщина, на слово которой отнюдь нельзя положиться“. Общественное мнѣніе раздраженное лестными обѣщаніями и неисполненіемъ ихъ, стало подозрѣвать властителя, если не въ лицемѣріи, то въ слабости характера. Прошелъ годъ, и вожделѣнныя перемѣны не сбылись, всѣ надѣялись на эмансипацію евреевъ, на учрежденіе политико-экономическихъ школъ, итальянскую лигу, свободу книгопечатанія, публичное судопроизводство, уничтоженіе лотереи и даже удаленіе іезуитовъ. Но все это далеко превышало планы самого Пія IX; онъ отвѣчалъ учрежденіемъ государственной консульты, состоявшей на половину изъ людей грегоріанской партіи, позволеніемъ составить національную гвардію и постоянной смѣной министровъ; и на томъ онъ думалъ остановиться. „Я сдѣлалъ все, что̀ могъ, сказалъ папа муниципальнымъ членамъ; и дальше не пойду“. Но обстоятельства заставили идти дальше. Народъ, напуганный правленіемъ іезуитовъ, требовалъ удаленія ихъ изъ новаго министерства, во главѣ котораго стоялъ кардиналъ Бафонти. Пій IX, скрѣпя сердце, назначилъ особенную комиссію для соображенія и приготовленія новыхъ реформъ. Между тѣмъ, романцы, которымъ нельзя отказать ни въ благоразумномъ поведеніи относительно правительства, ни въ искренней признательности за каждый намекъ на прогрессъ, ни въ сочувствіи и любви истиннымъ друзьямъ реформы, — романцы продолжали надѣяться и вѣрить. Собираясь въ отдаленныхъ кварталахъ, каждая часть подъ своимъ знаменемъ, они ходили каждый вечеръ, при свѣтѣ фонарей и съ музыкой къ Квириналу привѣтствовать владыку изъявленіемъ благодарности. Римъ представлялъ самую одушевленную картину; улица Кирео, по которой, обыкновенно, шла веселая процессія, была усыпана цвѣтами и озарена иллюминаціей; все, что̀ было въ городѣ юнаго, живого и прекраснаго — все бѣжало на встрѣчу или провожало народное собраніе. Оно подходило къ дворцу и строилось въ ряды; едва папа являлся на балконѣ, зажигались бенгальскіе огни и народъ, принимая съ колѣнопреклоненіемъ благословеніе, тихо и безмолвно расходился по домамъ. Пій IX, видя эту стройную и мощную силу, волновавшую грудь каждаго изъ его подданныхъ, говорилъ: „Italia fa da sè“ (Италія дѣйствуетъ сама по себѣ). Да, она глубоко чувствовала необходимость обновленія и готова была принять его цѣною необыкновенныхъ жертвъ... Но не то происходило въ кабинетѣ Ватикана; тамъ все было полно нерѣшимости и двусмыслія; наглухо и въ молчанку составлялась конституція, самая странная изъ всѣхъ конституцій; она учредила совѣщательныя палаты, и оставило

абсолютное Veto главѣ церкви во всѣхъ духовныхъ дѣлахъ, (но что-же можно назвать не духовнымъ дѣломъ въ папской области?); она допускала избирательную систему членовъ и ограничивала ее одними католиками; она облегчала цензуру, но запрещала говорить о самомъ важнѣйшемъ вопросѣ — о свободѣ совѣсти.

Между тѣмъ, на сѣверѣ Италіи происходила другая сцена. Тамъ по склонамъ Альпъ, спускались австрійскія войска, подъ предводительствомъ Радецкаго. Карлъ-Альбертъ, обѣщавшій немедленно сѣсть на коня, вмѣстѣ съ сыновьями, сдержалъ свое слово; провозгласивъ конституціонный статутъ (30-го сентября 1847 г.), что́ отозвалось во всѣхъ концахъ Италіи, — онъ спѣшилъ вступить въ борьбу, трудную и неравную съ истинно-рыцарской отвагой. Миланское дѣло послужило достаточнымъ предлогомъ для открытія войны. Вотъ, какъ разсказываетъ о немъ Монтанелли въ своихъ мемуарахъ: „Австрія имѣла въ Италіи шестьдесятъ тысячъ человѣкъ, чуждыхъ ломбардо-венеціанскимъ владѣніямъ; къ этому надо прибавить сорокъ тысячъ итальянцевъ, военныхъ, полицейскихъ и таможенныхъ, подчиненныхъ офицерамъ, большею частью говорившимъ на другомъ языкѣ — и сдерживаемымъ на службѣ угнетателю интересомъ или страхомъ. Эта армія занимала три главные пункта — Мантую, Верону, Венецію и кругомъ однихъ этихъ городовъ насчитывала до семидесяти двухъ мѣстъ, снабженныхъ артиллеріей и кораблями; на правой сторонѣ По, она занимала крѣпости Комакіо, Феррару, Бресчелло и Піаченцу; на лѣвой — Питцигетоне, Анфо, Пескіеру, Леньано, Каорту, Осопо и Палмануову; кромѣ-того — укрѣпленія, исключительно предназначенныя для защиты Милана, Павіи, Бергамо, Бресчіи, Реджіо, Модены, Рубіеры и многихъ другихъ городовъ; сверхъ крѣпостной артиллеріи, Австрія владѣла двѣнадцатью линейными батареями, въ полномъ своемъ распоряженіи.

„И весь этотъ ужасный призракъ силы не стоилъ и навозной кучи передъ общимъ національнымъ возстаніемъ... Народъ горѣлъ нетерпѣніемъ взяться за оружіе. Молодые миланскіе демократы первые увлекли его къ войнѣ.

„Утромъ, 18-го марта, въ Миланѣ огромная безоружная толпа двинулась къ правительственному дому. Одинъ изъ австрійскихъ солдатъ выстрѣлилъ по народу; молодой аббатъ тотчасъ же далъ по немъ выстрѣлъ изъ пистолета и положилъ его на мѣстѣ: двери были выломаны; народъ бросился въ комнаты, вломился въ канцеляріи и выбросилъ въ окна бумаги, которыя были прочитаны или разорваны въ клочки стоявшими внѣ дома. Среди этой свалки явился графъ Казати, котораго насильно тащилъ одинъ миланецъ, прочищая дорогу зонтикомъ...

„Радецкій, узнавъ о народномъ возстаніи, вскрикнулъ отъ дикой радости. Суматоха Милана возвращала ему военную диктатуру. Онъ съ такимъ нетерпѣніемъ желалъ приступить къ оружію, что прежде, чѣмъ

вѣстовая пушка сдѣлала три выстрѣла, кровопролитіе уже началось на разныхъ пунктахъ города.

„Въ то же время кровь полилась въ Венеціи. Тамъ, 18-го марта, народъ наводняетъ съ шумомъ площадь св. Марка, разбираетъ мостовую для защиты и, закричавъ: *къ оружію, къ оружію!* развѣваетъ трехцвѣтное итальянское знамя. Австрійцы стрѣляютъ въ толпу, убиваютъ пять человѣкъ и множество ранятъ. Губернаторъ Пальфи, принужденный муниципальнымъ совѣтомъ, раздаетъ гражданамъ оружіе... Между тѣмъ, мгновенно разносится слухъ, что конституція объявлена въ Вѣнѣ; народъ, какъ-будто по магическому жезлу, останавливается и ждетъ съ спокойнымъ довѣріемъ.

„Въ Мантуѣ, 18-го марта, былъ праздникъ св. Ансельма, патрона города. Когда жители узнали о вѣнскихъ происшествіяхъ, на улицахъ явилась прокламація, которая говорила о единствѣ Италіи и славила Пія IX. Торжественная месса была пропѣта въ соборѣ, а вечеромъ, въ театрѣ, огромнымъ хоромъ, провозгласили виватъ Италіи, Пію IX, Карлу-Альберту и вѣнской конституціи.

„Верона волновалась. На стѣнахъ крѣпости сіяли жерла наведенныхъ пушекъ; подулъ сильный вѣтеръ, и буря разсѣяла толпу; голосъ одного итальянца пригласилъ народъ собираться снова на другой день.

„Бресчіа, освобожденная отъ іезуитовъ и снабженная національной гвардіей, провозгласила: да здравствуетъ Италія! да здравствуетъ Пій IX!“ Среди общественнаго восторга одинъ итальянскій гренадеръ убитъ и стража національной гвардіи аттакована.

„Жители Комо рвутъ прокламаціи, которыми была объявлена реформа. Они требовали полной республики. Среди глубокой ночи, при свѣтѣ фонарей, они опустошаютъ арсеналы, окружаютъ городскую ратушу и строятся въ національную гвардію.

„Муниципальная власть города овладѣваетъ ключами отъ колоколенъ, задерживаетъ въ городѣ провіантъ, приготовленный для австрійской арміи и посылаетъ вдоль озера лодки для собиранія людей и оружія.

„Между тѣмъ, Радецкій приказалъ депутатамъ миланской комуны, собравшимся въ *Бролето*, немедленно обезоружить народъ, обѣщавъ, въ случаѣ неповиновенія, передать городъ на другое утро огню и крови. Муниципалъ отвѣчалъ ему, что онъ долженъ сначала прекратить битву и что, съ своей стороны, отъ воспользуется ночью, чтобъ успокоить умы.

„Среди этихъ переговоровъ раздается крикъ: „намъ измѣняютъ“. Одинъ изъ гражданъ, раненный и поднятый на руки, умираетъ въ кругу своихъ товарищей, на дворцовой площади. Кучка молодыхъ людей, вооруженная охотничьими ружьями и старыми алебардами, отражаетъ венгерцевъ, которые хотѣли вломиться въ залы. Къ нимъ присоединяются

двѣ тысячи — кроатовъ и богемцевъ, и нѣсколько городскихъ жителей, имѣя въ распоряженіи какую-нибудь сотню ружей и немного пороха, защищаютъ противъ столь неравныхъ силъ осажденное Бролето отъ 7 — 9 часовъ вечера.

„Нападающіе занимаютъ окружныя улицы; колоколъ на городской ратушѣ не перестаетъ звонить; австрійскія пушки, разставленныя внутри лавокъ передъ дворцомъ, громятъ укрѣпленныя ворота; дворецъ дрожитъ, какъ отъ землетрясенія; по крышамъ сосѣднихъ домовъ градомъ сыплется картечь. Осажденные, истощивъ порохъ, защищаются черепками, всѣмъ, что ни попалось подъ-руку. Генералъ Теодоръ Лекки совѣтуетъ сдаться; но они сопротивляются геройски.

„Въ ту же минуту австрійцы вторгаются во дворецъ, опьянѣлые отъ ярости; свирѣпости ихъ не было предѣла; они поражаютъ безоружныхъ людей, выбрасываютъ на каменную мостовую дѣтей, найденныхъ на крышахъ, обыскиваютъ и грабятъ раненныхъ, глумятся надъ умирающими, оскорбляютъ священника, который подаетъ имъ послѣднее утѣшеніе. Плѣнники отводятся въ крѣпость; на дорогѣ ихъ осмѣиваютъ, бьютъ и угрожаютъ висѣлицей.

„И какъ хорошъ былъ Миланъ, когда, на другое утро, взошло солнце, надъ его героями-защитниками! Это былъ день праздника (19-е марта), и никто бы не сказалъ, что городъ пробуждается для новой битвы, а не для торжества: такъ были ясны лица его сыновей подъ яснымъ безоблачнымъ небомъ.

„Когда австрійцы громили Бролето, день былъ мрачный и дождливый. За темной ночью наступило блестящее, весеннее утро, какое только можно видѣть въ Италіи. Мужчины, женщины, старики, юноши, дѣти, литераторы, попы, работники, купцы, патриціи — все народонаселеніе было на ногахъ, работало на баррикадахъ и готовилось драться. Матрасъ ремесленника, карета маркиза, конторка семинариста, церковная скамья, театральная декорація — все сносилось на защиту, все было полезно этимъ благороднымъ сынамъ Италіи...

„Противъ шестнадцати тысячъ австрійскаго войска миланцы едва располагали шестью стами ружей. Но народъ, кипѣвшій желаніемъ борьбы, все обращаетъ въ оружіе, — столовые и кухонные ножи, острыя полосы отъ желѣзныхъ перегородокъ, посохи съ гвоздями, драгоцѣнные антики изъ музеума Убальдо, ружья и шпаги изъ театровъ. Съ громомъ артиллеріи смѣшивается звонъ колоколовъ и эти печальные звуки, поражающіе врага страхомъ, веселятъ сердце народа". (Memorie Sull' Italia di G. Montanelli, т. 2, гл. XXXVII).

За всѣмъ тѣмъ миланцы не могли одни побѣдить въ пять разъ сильнѣйшаго непріятеля, грозившаго городу всеобщимъ истребленіемъ. Вечеромъ, 19-го марта, они отправили графа Ареса въ Туринъ, просить помощи у Піемонтцевъ. Туринское юношество радостно встрѣтило своихъ

миланскихъ братьевъ и требовало немедленнаго похода противъ австрійцевъ. Карлъ-Альбертъ сначала задумался и поколебался, но, наконецъ, принялъ депутацію и обѣщалъ свое содѣйствіе. Онъ понималъ всю тяжесть и отвѣтственность предпріятія: Австрія, кромѣ собственныхъ громадныхъ силъ, соединенная родственными связями съ неаполитанскимъ Дворомъ, могла противопоставить горсти Піемонтцевъ полчища Тамерлана; она могла потерять двѣ-три арміи и за всѣмъ тѣмъ удержать Ломбардію. Но король, не безъ основанія, разсчитывалъ на энтузіазмъ народный и общенаціональное возстаніе; и, дѣйствительно, война за независимость разбудила всю Италію. „Не было ни одного сердца", говоритъ Балбо, „въ которомъ бы это слово не отозвалось священнымъ звукомъ". Подъ трехцвѣтное знамя, съ савойскимъ крестомъ, стекались отвсюду молодые люди, покинувшіе школьную скамью, старики, способные носить оружіе, жители всѣхъ городовъ и иностранцы всѣхъ націй. Карлъ-Альбертъ особенно разсчитывалъ на папу и ожидалъ отъ него и войска, и благословенія, потому что дѣло шло о спасеніи всей страны. Пій IX, больше вынужденный настойчивымъ требованіемъ, чѣмъ по доброй волѣ, послалъ семьнадцать тысячъ на берега По, назначивъ главнокомандующимъ Дурандо, человѣка вялаго, о которомъ самъ папа выразился такъ: „съ этимъ взглядомъ простака-монаха онъ не безпокоитъ меня". Ему было приказано стать на пограничной линіи и не вступать въ битву впредь до особеннаго распоряженія „безоружнаго владыки". Солдаты томились неопредѣленнымъ положеніемъ и, видя вокругъ себя всеобщее движеніе своихъ братьевъ, просили похода и войны. Дурандо отнесся въ Римъ о позволеніи снять лагерь. Но Пій IX отвѣчалъ двусмысленно и, наконецъ, рѣшительно сказалъ, что онъ не пойдетъ противъ своихъ единовѣрныхъ католиковъ. Народъ изумился и зароптал. Затѣмъ еще нѣсколько очень неловкихъ попытокъ со стороны папы, очевидно не хотѣвшаго потерять покровительства Австріи, и Римъ поддается вліянію демократическихъ вождей, а Пій IX задумываетъ свое бѣгство въ Гаэту. 25-го ноября вечеромъ, переодѣтый въ простого аббата, онъ сѣлъ въ карету съ m-me Спауръ и тайно оставилъ столицу. Отсюда начинается новый періодъ римской реформы; министерство падаетъ, іезуиты прячутся, на сцену выходятъ новые дѣятели и составляется тріумвиратъ, съ объявленіемъ республики.

Въ то время, когда на ломбардскихъ долинахъ рѣшалась участь Италіи, когда новарская побѣда разрушила послѣднюю надежду Піемонта, когда Карлъ-Альбертъ, усталый отъ трудовъ, униженный и оскорбленный несчастіемъ, грустно и одиноко умиралъ въ Опорто, передъ Чивитта-Веккіа стояло двадцать пять тысячъ французскаго войска. Всѣ были увѣрены, что оно послано національнымъ собраніемъ на помощь римлянамъ; но эта увѣренность скоро исчезла. Удино, принятый на чужой территоріи союзникомъ, немедленно объявилъ себя вооруженнымъ врагомъ почти

беззащитнаго города. Это коварство, приправленное всѣми дипломатическими тонкостями, въ свое время изумило не только Италію, но всю Европу. Французскій генералъ, послѣ обычныхъ фанфаронадъ, свойственныхъ его соотечественникамъ, торопился подойти къ Риму. Онъ надѣялся вступить въ него безъ выстрѣла, „потому что итальянцы", какъ онъ думалъ, „не дерутся". Но когда Гарибальди, вышедъ изъ города, встрѣтилъ непріятеля фланговымъ огнемъ и заставилъ его съ значительной потерей отступить къ замку ди-Гидо, тогда Удино догадался, что итальянцы также дерутся и иногда лучше, чѣмъ французы. За всѣмъ тѣмъ надѣяться на послѣднюю побѣду было невозможно. Австрія заняла Флоренцію, Испанія отправляла армію, Неаполь тронулся. „Фердинандъ II", говоритъ Перанъ, „ознаменовалъ свое вступленіе въ Римскую область не битвами, а арестами республиканскихъ чиновниковъ, мирныхъ путешественниковъ и честныхъ гражданъ, которыхъ онъ бросалъ въ тюрьмы вмѣстѣ съ бродягами и мошенниками". (Deux ans de révolut. en Italie. Par. Perrens. 1857, стр. 187). Послѣдній изъ бурбоновъ, окруженный наемными швейцарцами, нарушилъ клятву передъ своимъ народомъ и шелъ защищать вѣроломство другихъ. Затѣмъ началась самая осада Рима. Между тѣмъ, въ Капитоліи собирается совѣтъ для окончательнаго рѣшенія вопроса: „что остается дѣлать"? Одинъ изъ тріумвировъ сказалъ: „намъ остается три средства — сдаться, или возобновить геройскую жертву Сарагоссы, или оставить Римъ и продолжать войну въ провинціяхъ. Первое средство недостойно насъ; два другія самыя честныя". Но въ собраніе входитъ Гарибальди, покрытый пылью, потомъ и кровью, и на вопросъ членовъ отвѣчаетъ откровенно, что дальнѣйшее сопротивленіе невозможно. Такимъ образомъ Римъ сдался и Пій IX, подъ прикрытіемъ французскаго знамени, могъ спокойно переѣхать изъ Гаэты въ столицу. 17-го іюля Удино передалъ военную диктатуру города кардиналамъ Делла Дженга, Ваничелли и Альтіери. Особенно страннымъ показалось назначеніе перваго, который еще такъ недавно вотировалъ въ конклавѣ противъ папы и не хотѣлъ преклонить передъ нимъ колѣно, какъ передъ реформаторомъ. Началась рѣзкая реакція не только въ людяхъ, но и въ мнѣніяхъ; царство красныхъ смѣнилось царствомъ черныхъ. „Папская область", говоритъ Монтанелли, „въ это время представляла странное вавилонское смѣшеніе. Въ ней не было ни правительства духовнаго, ни свѣтскаго, ни монархіи самодержавной, ни конституціонной, ни республики. Кардиналы, одушевленные радостью при извѣстіи о побѣдахъ австрійцевъ, приготовились къ свирѣпой мести". (Memorie di G. Montanelli, гл. XLIV).

Разсматривая этотъ фактъ съ полнымъ историческимъ хладнокровіемъ, нельзя не видѣть, что это движеніе не было порывомъ одного города или провинціи, но общимъ подъемомъ всей Италіи; оно не было дѣломъ партіи, воспитанной въ Піемонтѣ, „въ этомъ гнѣздѣ итальян-

скаго либерализма", какъ называлъ его Меттернихъ; нѣтъ, оно было высокимъ и благороднымъ протестомъ всего полуострова противъ австрійскаго угнетенія; оно доказало, что Италія, эта плачущая Магдалина у креста своихъ мучениковъ, способна мстить за кровныя обиды дѣтей. И Австрія поняла, что можно разстрѣливать, бить палками и хоронить мучениковъ, но нельзя закопать въ землю народнаго духа. „Повсюду", говоритъ бывшій тріумвиръ Флоренціи, „гдѣ находятся Австрійцы, народъ начинаетъ битву; повсюду, гдѣ ихъ нѣтъ, народъ помогаетъ возстанію. И нападеніе и помощь носятъ характеръ демократическій, потому что вызваны однимъ и тѣмъ же національнымъ духомъ: *въ Италіи національное и демократическое чувство нераздѣльны*". (Memorie di Montanelli, т. II, стр. 183).

Въ послѣднемъ замѣчаніи итальянскаго мыслителя заключается объясненіе труднаго положенія современной Италіи. Въ исторіи побѣжденныхъ народовъ всегда была особеннымъ бѣдствіемъ противоположность національныхъ интересовъ. Если завоеватель и завоеванный не имѣютъ между собой ничего общаго, они, обыкновенно, вытѣсняютъ другъ друга и никогда не сливаются въ одно стройное политическое существо. Съ одной стороны можетъ дѣйствовать чисто матеріальная сила, съ другой подчиненіе этой силѣ, но никогда — полной нравственной гармоніи. Глубокій и раздирающій антагонизмъ есть неизбѣжное слѣдствіе этого ненормальнаго состоянія. Въ такомъ уродливомъ отношеніи находится Ирландія къ Англіи. Противоположность племенная и религіозная поставили ихъ въ то враждебное состояніе, которое, къ сожалѣнію, такъ тяжело для первой и такъ позорно для второй; но Ирландія, по крайней мѣрѣ, соединилась съ страной свободной и если не пользуется всѣми выгодами соціальнаго развитія ея, то всегда находитъ сочувствіе въ общественномъ мнѣніи и облегченіе въ постепенныхъ реформахъ. Точно въ такомъ отношеніи — Италія къ Австріи, съ тѣмъ, однакожъ, различіемъ, что здѣсь представительная система замѣняется военнымъ деспотизмомъ. Между имперіей и Ломбардо-Венеціанскимъ королевствомъ нѣтъ и не можетъ быть единства. Ихъ раздѣляетъ различіе языка, племени и политическихъ инстинктовъ. Правда, Италія не разработала, не воспитала въ себѣ достаточно демократическія начала; но они всегда были ей свойственны и никогда не терялись. Она приняла ихъ вмѣстѣ съ исторіей десяти вѣковъ и сохранила для всѣхъ внутреннихъ и внѣшнихъ потрясеній. Въ слѣдствіе этого, столкнувшись съ Австріей, совершенно случайно, чтобъ не сказать произвольно, на одной исторической почвѣ, она не можетъ свободно и естественно слиться съ своимъ побѣдителемъ; напротивъ, съ 1815 года она постоянно чувствовала возраставшую антипатію къ австрійской монархіи; по закону взаимнаго оттолкновенія эти два тѣла чѣмъ ближе, повидимому, соприкасались, тѣмъ дальше расходились. Между ними, какъ крайними полюсами, вмѣсто экватора, лежитъ бездонная пропасть.

Политика Австріи каждому извѣстна; она вообще основывалась на агломераціи самыхъ разнородныхъ элементовъ, изъ которыхъ составилась ея мозаическая организація. Вольтеръ, если не ошибаюсь, очень умно опредѣлилъ эту политику, замѣтивъ, что, если Австрія пріобрѣтаетъ какое-нибудь владѣніе, она ужь больше не теряетъ его и если хоть двадцать четыре часа подержитъ его въ своихъ рукахъ, кладетъ на него никогда нестираемое пятно. — Относительно Италіи она дѣйствовала именно въ этомъ духѣ. Когда новарская побѣда съ одной стороны такъ дорого ей стоила, съ другой — открыла широкое поле ея внутреннему вмѣшательству, она, какъ паукъ, раскинула тонкія сѣти по всему полуострову, запутавъ въ нихъ почти всѣхъ отдѣльныхъ владѣтелей. Обративъ Ломбардію и Венецію въ военный лагерь и увеличивъ число крѣпостей, она заняла Тоскану семнадцати-тысячнымъ корпусомъ. Сначала этотъ корпусъ былъ введенъ въ Ливорно, потомъ мало-по-малу разсѣялся по всему герцогству. Военные начальники захватили себѣ управленіе внутренней администраціей, вмѣшиваясь въ самыя обыкновенныя дѣла. „Даже въ самой Флоренціи, говоритъ Мазидъ,— австрійская палка рѣшаетъ гражданскія дѣла города". Кромѣ того, Австрія успѣла заключить тайные договоры съ разными итальянскими правительствами, обязавъ ихъ дѣйствовать согласно съ политикой вѣнскаго кабинета. Такъ, въ силу третьяго параграфа конвенціи 1815 г. 24-го апрѣля, Неаполь долженъ былъ заключить съ Австріей взаимный союзъ „для упроченія внутренняго и внѣшняго мира и спокойствія обѣихъ Сицилій и Италіи вообще". Что̀ Австрія иногда понимаетъ подъ словомъ „внутреннее спокойствіе"—это можно видѣть изъ письма Гладстона къ лорду Абердину о государственныхъ преслѣдованіяхъ неаполитанскаго правительства и изъ прекрасныхъ записокъ Фарини [1]), писанныхъ лорду Джону Росселю. Надъ Пармой, подобно Неаполю и Тосканѣ, тяготѣетъ то-же вліяніе. Герцогъ Моденскій, — преданный лейтенантъ нѣмецкой имперіи, — въ 1847 году звалъ австрійцевъ противъ національнаго движенія Рима. Въ томъ-же году, 24-го декабря, онъ заключилъ трактатъ, по которому предоставлено Австріи право „ввести свои войска на моденскую территорію и занять ими укрѣпленныя мѣста всякій разъ, какъ этого потребуетъ интересъ общей защиты и военныхъ предосторожностей". Наконецъ, самъ папа, забывая преданія Гвельфовъ и Гибеллиновъ, соединилъ крестъ Св. Петра съ мечомъ габсбургскаго дома. Такимъ образомъ, вездѣ между народомъ Италіи и его правительствомъ лежитъ австрійская сабля; вездѣ политика Вѣны руководитъ внутреннимъ управленіемъ и внѣшними отношеніями ея. Еслибъ эта политика была и болѣе человѣчной, то и тогда національное чув-

---

[1]) См. Two letters to the Carl Aberdeen on the statepersecutions of the neapolitan governement, и La questione italiano di L. C. Farini.

ство Италіи не могло бы не оскорбляться присутствіемъ иностраннаго самоуправства. Современные публицисты единодушно убѣждены въ томъ, что Италія въ такомъ насильственномъ состояніи находиться не можетъ. Лордъ Пальмерстонъ, рѣдко говорившій искренно, но часто говорившій правду, въ 1849 году сказалъ: „Для Австріи нѣтъ возможности сохранить верхнюю Италію съ пользой и навсегда".

Ровно черезъ десять лѣтъ послѣ знаменитаго 1848 года, Италія опять дѣлается вопросомъ всей Европы, вопросомъ въ высшей степени популярнымъ и интереснымъ. За нее протестуетъ общественное мнѣніе, за нее снова вооружается Піемонтъ; въ защиту ея слышатся благородные голоса отъ Петербурга до Мадрита. Вопросъ, по какому-то странному противорѣчію нашей эпохи, возникаетъ въ Парижѣ. Какія-бы ни были цѣли Тюильрійскаго кабинета и кто-бы ни подалъ руку помощи несчастной странѣ, нѣтъ сомнѣнія, Италія приметъ ее горячо и радушно. И Франція, если только она съумѣетъ остановиться во-время, сдѣлаетъ не больше, какъ заплатитъ старый долгъ. Она, конечно, не забыла, что всегда и подъ всѣми предлогами она стѣсняла итальянскую національность. Франція, по первому знаку, данному изъ Рима преслѣдовала людей, желавшихъ независимости Италіи; Франція низвергла венеціанскую республику, унизила Геную и предала Флоренцію тиранамъ. Дымъ пушекъ ея еще не стерся на виллахъ Памфили, Корсини, Валентини и на стѣнахъ самаго Ватикана. И если Франція спасетъ Италію, это будетъ одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ и, можетъ-быть, доблестныхъ фактовъ нашего вѣка.

Но мы живемъ не въ то наивное время, когда вѣрили, что народамъ можно подавать реформы на концѣ штыка и возрождать ихъ войнами. Эта феодальная метода творить царства, импровизировать границы, дарить области въ приданое принцамъ и принцессамъ, въ настоящую эпоху положительно невозможна. Военный шовинизмъ уступаетъ мѣсто болѣе существеннымъ потребностямъ человѣчества; слава завоевателей, въ родѣ Карломана и Наполеона I, становится горькой сатирой на то общество, которое ими гордится. Народы ищутъ мира и внутренняго развитія силъ. Вездѣ чувствуется необходимость народнаго воспитанія, экономическихъ преобразованій, болѣе разумнаго обезпеченія труда и индивидуальной способности. Мы начинаемъ ясно сознавать, что истинная цивилизація состоитъ не въ счетѣ побѣдъ, а въ общественномъ богатствѣ и умѣ.

Тѣмъ удивительнѣе, что современная французская литература смотритъ также ложно на Италію, какъ она смотрѣла на нее въ XVI вѣкѣ. Среди общаго наводненія журнальныхъ статей и монографій, очень рѣдко встрѣчается искренняя и ясная мысль. Вотъ, напримѣръ, передъ нами одно изъ лучшихъ изданій (Napoléon III et l'Italie), которое разошлось быстро и въ огромномъ количествѣ экземпляровъ среди париж-

ской публики; если только можно принять его за выраженіе общественнаго мнѣнія, — явленіе жалкое. Неизвѣстный авторъ, очевидно, находится подъ вліяніемъ средневѣковыхъ понятій. Восторгаясь политической дальновидностью Наполеона I, онъ видитъ особенную мудрость въ слѣдующемъ выраженіи его: „одной изъ величайшихъ моихъ идей (говорилъ Наполеонъ I) была агломерація, сосредоточеніе народовъ одного географическаго положенія, которыхъ раздробили политика и революціи. Въ Европѣ насчитываютъ болѣе 30 милліоновъ французовъ, 15 милліоновъ испанцевъ, 15 милл. италіянцевъ и 30 милл. нѣмцевъ. *Я хотѣлъ бы сдѣлать изъ каждаго изъ этихъ народовъ одно національное тѣло*" (стр. 16). Вѣроятно, Наполеонъ I, еслибъ онъ дожилъ до нашего времени, былъ бы болѣе скроменъ въ своихъ желаніяхъ. *Дѣлать народы* и надосугѣ въ кабинетѣ сочинять національности ихъ — чистѣйшая иллюзія въ половинѣ XIX вѣка, и едва-ли осуществить ее легче, чѣмъ переставить нашу планету на мѣсто Сатурна, а Сатурна замѣнить солнцемъ. Италія всего лучше доказываетъ, что маренгскій герой только могъ мечтать о ея національности, даже на островѣ Св. Елены, но не болѣе, какъ мечтать. Въ то время, когда онъ какъ-будто желалъ единства и независимости Италіи, это не мѣшало ему присоединить къ Франціи Піемонтъ, Парму, Тоскану и Римъ и разсадить на престолахъ своихъ коронованныхъ чиновниковъ. И все это, въ былое время, выдавалось на дипломатическомъ языкѣ за цѣлость, спасеніе и свободу Италіи. Авторъ разбираемой нами книги, если не ошибаемся, искренно думаетъ, что „Наполеонъ I прежде обязанъ былъ завоевать національности, чтобъ потомъ освободить ихъ" (стр. 23). Эту роль принимали на себя только Сезострисы и Магометы, и то по невѣжеству восточныхъ рабовъ. Теперь она кажется не совсѣмъ удобной и слишкомъ произвольной. Притомъ, не каждому геніальному дядѣ суждено оставить по себѣ геніальнаго племянника... Но что особенно озадачиваетъ насъ какимъ-то неловкимъ парадоксомъ въ этой книгѣ— это слѣдующее выраженіе: „Національность италіянская никогда не будетъ результатомъ реформы и не можетъ обойтись безъ помощи посторонней"—(вѣроятно, безъ помощи французской?—стр. 29). Исторія двѣнадцати вѣковъ убѣждаетъ насъ, что главнымъ врагомъ ея была именно посторонняя помощь. Она обязана своимъ паденіемъ постоянному вмѣшательству сосѣднихъ народовъ и противорѣчію ихъ политическихъ принциповъ ея собственнымъ. Страна, нѣкогда достигшая высокаго индивидуальнаго развитія, столкнулась на географической картѣ съ сильными монархіями Испаніи, Австріи и Франціи; онѣ задавили ее своими массами, но задавили на-время. И какъ скоро XIX вѣкъ ослабилъ централизацію военныхъ державъ и далъ болѣе простора народамъ, Италія снова выступаетъ на чреду живыхъ и дѣятельныхъ націй. Нѣтъ, не посторонняя помощь, не покровительство ей нужно, а внутренняя реформа. Ка-

кимъ-бы путемъ, — конфедераціей или конституціей, — она ни возродилась, возрожденіе ея зависитъ отъ нея самой. Италія обладаетъ всѣми элементами, необходимыми для самостоятельной жизни. Превосходная природа, плодородіе земель, умное и страстное народонаселеніе, положеніе среди лучшаго изъ морей и множества прекрасныхъ островъ, защита на сѣверѣ Альпами и въ центрѣ Аппенинами, отличные порты и живописныя озера, наконецъ, самая исторія, такъ дорого и такими тяжелыми опытами купленная,—все это даетъ ей неоспоримое право на то первенство, о которомъ мечтали Балбо и Джоберти. Но чего-же не достаетъ этой странѣ для независимой и счастливой жизни? Внутренняго духа, воли и ума. Ей необходимо возстановить свою политическую совѣсть, отдѣлить свѣтскую власть отъ церковной, забыть старыя преданія, собрать разбросанныя силы и закрѣпить ихъ полнымъ внутреннимъ преобразованіемъ. Вотъ лучшія и благородныя надежды Италіи! Онѣ одушевляли Данта, Петрарку, Маккіавелли, Сарпи, Бруно, Савонаролу и Ванини; онѣ одушевляютъ въ настоящую минуту всѣхъ современныхъ ея мыслителей. И если эти надежды сбудутся, Италія представитъ міру истинно-великую націю.

1859 г.

РЕФОРМА ИТАЛИИ,

КАКЪ ПОНИМАЛЪ ЕЕ МОНТАНЕЛЛИ.

Ровно черезъ десять лѣтъ послѣ новарской битвы итальянскій вопросъ опять вызвалъ борьбу на долинахъ Ломбардіи; не разрѣшенный мечомъ и запутанный дипломатической канцеляріей, онъ снова обратилъ на себя общественное вниманіе Европы. За него самыя лучшія симпатіи, самые свѣтлые и безпристрастные умы нашей эпохи; ему горячо сочувствуютъ вездѣ, гдѣ осталось уваженіе къ справедливости и вниманіе къ борьбѣ идеи съ грубой матеріальной силой. Въ то время, когда мы пишемъ эти строки, взоръ человѣчества обращенъ на маленькій уголокъ земного шара, гдѣ разыгрывается величайшая драма, какую только видѣлъ XIX вѣкъ. Кучка людей, предводимыхъ отважнымъ героемъ Рима, ночью высаживается на берега Сициліи, и едва успѣла развернуть святое знамя, подъ нимъ соединяется весь островъ. Гарибальди, со своимъ сыномъ, торжественно идетъ отъ побѣды къ побѣдѣ, изъ города въ городъ. Не болѣе, какъ въ пятьнадцать дней, онъ рѣшаетъ судьбу страны, освободивъ ее отъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ. Въ самомъ торжествѣ этого благороднаго вождя есть что-то необыкновенное; въ первый день, послѣ своей высадки, онъ былъ въ виду многочисленнаго непріятеля, безъ денегъ и провизіи; черезъ недѣлю, онъ имѣлъ все, и на сторонѣ его, въ улицахъ Палермо, дрались дѣти, женщины и старики. Самое имя его сдѣлалось символомъ спасенія для угнетеннаго и страхомъ для тиранніи.

Но въ чемъ же тайна этого удивительнаго успѣха? Разумѣется, не въ одномъ геніѣ Гарибальди и его личномъ мужествѣ. Въ наше время, индивидуальная сила, какъ бы ни были ея размѣры колоссальны, не можетъ удачно дѣйствовать внѣ благопріятныхъ обстоятельствъ и неза-

висимо отъ тѣхъ или другихъ условій окружающаго міра. Гарибальди крѣпокъ не собственной силой, но всѣми силами Италіи; понимая ея потребности глубже, и выражая ихъ вѣрнѣй, чѣмъ кто нибудь изъ его современниковъ, онъ служитъ представителемъ итальянской народности и ея затаенныхъ, но живыхъ инстинктовъ. Такому Давиду легко идти съ одной пращей противъ всякаго Голіафа. Пояснимъ свою мысль историческими фактами.

Послѣ геройскаго паденія Венеціи 22 августа 1849 года, повидимому, всякая надежда для Италіи была потеряна. Она соединила въ эту пору всѣ усилія, собрала всѣ средства, рванулась съ необыкновенной энергіей, и осталась побѣжденной, покрытой развалинами лучшихъ городовъ, кровью лучшихъ сыновей, безмолвнымъ свидѣтелемъ нищеты и стоновъ ея жителей. Австрійская палка не щадила ни нравственной, ни физической ея боли. Но роковой ударъ, поразивъ Италію съ внѣшней стороны, увеличилъ ея внутреннюю силу. Онъ подѣйствовалъ на нее, какъ гроза дѣйствуетъ на засохшее поле. „Итальянской націи, говоритъ Ричарди,—надорванной вѣковымъ рабствомъ, нужно было глубокое потрясеніе; ей въ особенности необходимо было снова привыкнуть къ оружію и закалить себя въ боевомъ огнѣ. И она услышала звуки пушки по всему полуострову, увидѣла пламенное юношество, отвсюду стекавшееся на театръ борьбы. Ея регулярныя войска и волонтеры, со всѣхъ частей Италіи, собрались, на нѣкоторое время, подъ однимъ и тѣмъ же знаменемъ, великимъ національнымъ знаменемъ, которое освятило ихъ братство на полѣ битвы, подъ австрійскими пулями. Эти славныя воспоминанія никогда не изгладятся изъ народной памяти, и никакія средства вѣнскаго кабинета не уничтожатъ живого сѣмени, брошеннаго въ сердце италіянцевъ нѣсколькими мѣсяцами свободы, которою они воспользовались въ 1848 и 1849 годахъ. Открытыя трибуны, сохранившія болѣе или менѣе времени гласность въ Палермо, Неаполѣ, Римѣ, Флоренціи, Венеціи и Туринѣ, заговорили въ одинъ голосъ съ свободнымъ книгопечатаніемъ отъ Альпъ до Этны. Прибавьте къ этому около восьмидесяти тысячъ изгнанниковъ, породнившихся и сердцемъ и умомъ на чужой землѣ; большую часть изъ нихъ пріютила Сардинія, гордо и мужественно поднявшая знамя національной независимости противъ Австріи. Такъ, несмотря на прошлыя и настоящія несчастія, Италія далека отъ отчаянія; одно обстоятельство можетъ безпокоить ее, именно то, что она должна быть готова на новые и болѣе тяжкіе опыты, потому что независимость и свобода составляютъ то верховное благо, которое можно завоевать только цѣной долговременныхъ усилій и величайшихъ жертвъ". (Histoire de l'Italie, par J. Ricciardi, гл. IX).

Кромѣ нравственнаго единства и увѣренности въ своихъ силахъ, Италія въ это смутное время пріобрѣла политическую опытность, которой ей особенно не доставало. Она слишкомъ дорого заплатила за свои

ошибки, чтобъ не воспользоваться ихъ уроками, чтобъ не осмотрѣть своего положенія внимательно. Съ 1830 года до восшествія Пія IX на престолъ въ ней глухо, но дѣятельно совершалась подземная работа партій, которыя, за неимѣніемъ юридической гласности и общественнаго мнѣнія, принуждены были соединяться въ тайныя общества. Сѣть ихъ разбрасывалась отъ Абруццо до Лондона. На поверхности этого волкана по временамъ происходили огненные взрывы, падали мученики, подобные братьямъ Бандіера, наполнялись темницы и галеры поборниками національной независимости, но идея жила и политическій термометръ поднимался выше. Въ 1848 году онъ дошелъ до послѣдней точки жара. Повсюду заговорили о свободѣ и внутреннихъ реформахъ, вездѣ появились энергическія демонстраціи, и крикъ „да здравствуетъ Пій IX!" былъ общимъ сигналомъ итальянскаго движенія. — Это былъ африканскій ураганъ послѣ пятьнадцати лѣтъ душнаго затишья. Все, что доселѣ замыкалось въ тѣсномъ кругу образованныхъ людей и отдѣльныхъ партій, все, что думала и чувствовала Италія втихомолку подъ вліяніемъ паническаго страха, теперь все это открыто выражалось передъ правительствами. Когда явился протестъ Сетембрини, разоблачившій бѣдственное положеніе Обѣихъ Сицилій, онъ обошелъ сотни тысячъ читателей. Въ немъ высказалось горе не одного Неаполя, но всего полуострова: онъ былъ отголоскомъ народнаго мнѣнія отъ Палермо до Венеціи. Вотъ главныя черты этого историческаго акта: „Иностранцы, посѣщающіе нашу страну, удивляются свѣтлому небу и плодородію полей; пробѣгая сводъ законовъ, они, пожалуй, подумаютъ, что жители Обѣихъ Сицилій наслаждаются счастьемъ, небывалымъ у другихъ народовъ. И между тѣмъ ни одно европейское государство не находится въ болѣе жалкомъ состояніи, какъ наше, не исключая даже Турціи. Османлисовъ, по крайней мѣрѣ, считаютъ варварами, не имѣющими другой воли, кромѣ воли деспота. Коранъ повелѣваетъ имъ безусловно склоняться передъ слѣпымъ, фатализмомъ и, при всемъ томъ, положеніе ихъ улучшается съ каждымъ днемъ. Но въ королевствѣ Обѣихъ Сицилій, въ странѣ, названной садомъ Европы, изъ четырехъ трое умираютъ съ голоду и живутъ хуже скотовъ. Капризъ служитъ закономъ, прогрессъ замѣненъ упорной неподвижностью и, во имя религіи, христіане страдаютъ. О, еслибъ каждый городъ, каждая деревня, каждая хижина Пуильи, Абруццо, Калабріи, прекрасной и бѣдной Сициліи могли разсказать неслыханныя жестокости, обиды и притѣсненія личности и собственности! Но и то, что я скажу, должно вызвать трепетъ и слезы и послужить достаточнымъ доказательствомъ, что мнимыя преобразованія нашего правительства — безстыдная ложь, новое и болѣе разсчитанное насиліе. Неаполитанское правительство походитъ на колоссальную пирамиду, которой основаніе состоитъ изъ сбировъ и поповъ, а вершина покрывается королемъ. Каждый чиновникъ, начиная отъ гусара до министра,

отъ рядового солдата до генерала, отъ жандарма до шефа полиціи, отъ простого церковника до королевскаго исповѣдника, представляетъ маленькаго деспота и, угнетая подчиненныхъ, въ то же время ползаетъ передъ своимъ начальникомъ. Кто не въ ряду притѣснителей, того со всѣхъ сторонъ язвятъ жаломъ безчисленнаго множества бюрократическихъ піявокъ. Свобода, состояніе, миръ и самая жизнь честныхъ гражданъ зависятъ отъ чистаго случая, — я не говорю, — отъ государя или министра, но отъ самаго ничтожнаго чиновника, куртизана, шпіона, сбира или іезуита. Двадцать семь лѣтъ Сицилія терпитъ такой безумный порядокъ вещей, унизившій насъ до животнаго состоянія и, можетъ быть, допускаемый Провидѣніемъ за тѣмъ, чтобъ путемъ крайней бѣдности и страданій довести насъ до послѣдней степени терпѣнія и потомъ приготовить намъ лучшее будущее"... Этотъ вопль одного изъ благороднѣйшихъ патріотовъ былъ понятенъ каждому итальянцу, потому что внутренняя жизнь народа, съ небольшимъ различіемъ, вездѣ была одинаково печальна.

Чтобъ составить о ней нѣкоторое понятіе, мы взглянемъ на общій ходъ событій, подготовившихъ 1848 годъ. Ихъ форма измѣнилась, но духъ остался тотъ же до настоящей минуты. Тѣмъ интереснѣе напомнить читателю, что въ этихъ событіяхъ дѣйствующимъ лицомъ является Монтанелли.

Въ Римѣ, по смерти Пія VIII, Григорій XVI принималъ тіару среди поголовнаго возстанія Болоньи и сдавленнаго ропота остальныхъ подданныхъ. Италія, фактически доведенная до революціоннаго состоянія, находилась точно въ такомъ отношеніи къ Европѣ, въ какомъ она находится теперь. Ея внутреннія потрясенія ежеминутно угрожали всеобщимъ нарушеніемъ мира, такъ что иностранные кабинеты, еще въ 1831 году, представили папѣ *меморандумъ*, требуя отъ него реформъ и улучшеній, сообразныхъ духу вѣка и цивилизаціи. Намѣстникъ св. Петра молчалъ, а кардиналъ его Бернети истощилъ всѣ тонкости софизмовъ, чтобъ успокоить сильныя державы и остановить всякое покушеніе на реформу. Двуличный монахъ достигъ цѣли. Англія, занятая парламентскимъ кризисомъ, и Франція, смѣнившая іюльскіе дни правленіемъ короля-эгоиста, ограничились одними пустыми обѣщаніями Ватикана. Этого мало; они рукоплескали ложному великодушію папы, поощряя его вынудить немедленную и безусловную покорность отложившихся провинцій. Григорій XVI, ободренный увѣреніемъ четырехъ пословъ, отправилъ генерала Альбани усмирять непокорную область. Папское войско, набранное изъ разныхъ бродягъ и ссыльныхъ, моровымъ повѣтріемъ прошло по раззоренной странѣ.

Кровопролитія въ Чезенѣ и Форли, подобныя свѣжимъ событіямъ въ Перузѣ, довели Романью до отчаяннаго положенія; деревни вооружились, повсюду составились импровизированныя арміи, готовыя на

самые жестокіе поступки. Жажда мести загорѣлась въ сердцѣ каждаго. Альбани не только не думалъ успокоить взволнованную страну, но онъ далъ полную волю наемнымъ солдатамъ безоружнаго владыки. Затѣмъ начались безнаказанныя убійства въ храмахъ, грабежи церквей и истребленіе беззащитныхъ жителей. Австрійцы, разставленные на границѣ, по первому зову кардинала сбѣжались на помощь ему, и довершили общее разрушеніе Романьи. Такъ Григорій XVI началъ свое царствіе. Потерявъ, на первой ступени трона, народное довѣріе, онъ больше и не заботился о немъ. Окруживъ себя швейцарцами и раболѣпными сбирами, онъ продолжалъ управлять областью во имя страха и невѣжества. Всю жизнь его пугала свобода совѣсти и слова, какъ будто правленіе его не могло устоять даже противъ бумажнаго листа.

Тоскана, сравнительно съ церковной областью, пользовалась болѣе кроткимъ и разумнымъ правительствомъ; но общая реакція увлекла и Леопольда II. Выдача Ренци римской коллегіи и возстановленіе іезуитской конгрегаціи въ Пизѣ уронили его въ общественномъ мнѣніи. Модена, послѣ казни Менотти и Цербини, увидѣла въ Франсуа IV подозрительнаго и жестокаго герцога. Безпрерывныя полицейскія преслѣдованія, лишенныя декретомъ отъ 1832 г., самыхъ обыкновенныхъ юридическихъ формъ, угрожали смертію по одному тайному доносу. Такъ невинный Ричи погибъ на эшафотѣ единственно потому, что жизнь его нужна была одному безсовѣстному куртизану. Несчастное семейство обвиненнаго или, лучше, оклеветаннаго, не могло выпросить у герцога другой милости, кромѣ позволенія совершить казнь, вмѣсто веревки, желѣзомъ. Франсуа V, наслѣдовавъ своему отцу въ 1846 году, смѣнилъ стараго, всѣмъ ненавистнаго министра Ричини, и тѣмъ заключилъ преобразованіе. Когда ему намекали о неизбѣжномъ государственномъ кризисѣ и совѣтовали предупредить его добровольными уступками, онъ отвѣчалъ, что въ его распоряженіи, кромѣ собственныхъ силъ, есть триста тысячъ штыковъ австрійскаго императора. Точно въ такомъ же состояніи находилось Луккское герцогство, съ тѣмъ, однакожъ, важнымъ различіемъ, что правитель его, занятый частными развлеченіями, почти вовсе не вмѣшивался въ общественныя дѣла. Вмѣсто него управлялъ бывшій англійскій конюхъ, назначенный министромъ финансовъ, Уардъ, дерзкій и своенравный до бѣшенства. Карлъ-Людовикъ Бурбонъ, передавъ власть любимцу, пользовался одними плодами ея, какъ они ни были зелены и горьки. Въ молодости онъ много путешествовалъ и все, что ни встрѣтилось ему на большихъ дорогахъ европейскихъ столицъ самаго пустого и безнравственнаго, все это онъ захватилъ съ собой въ качествѣ своихъ собесѣдниковъ и товарищей удовольствій. Господствующей маніей его были теологическіе диспуты, которыми онъ гордился, какъ схоластическій докторъ среднихъ вѣковъ. Изъ любви къ теоріи, онъ сначала предпочелъ Лютера папѣ, потомъ увлекся Фотіемъ, завелъ

въ придворной капеллѣ обряды греческой вѣры и, наконецъ, опять обратился въ католика. Всѣ эти шалости ученаго герцога стоили его микроскопическому царству необычайно тягостныхъ налоговъ. Въ 1847 г., одушевленные примѣромъ Тосканы и Рима, жители Лукки попросили его облегчить положеніе страны и дать ей конституцію. Маркизъ Мацароса представилъ народное воззваніе, на которое испуганный Бурбонъ отвѣчалъ такъ: „я подписываю все; дайте мнѣ эту бумагу, но только пусть эти господа не входятъ сюда". (Memorie di G. Montanelli, гл. XXXIII). Въ самомъ дѣлѣ, герцогъ утвердилъ прокламацію, начавъ ее слѣдующими словами: „мы хотимъ управлять вами не во имя террора, а любви, не во имя силы, а благодѣяній. Потому и открываемъ вамъ свое отеческое сердце. Немедленно мы намѣрены заняться всѣмъ, что̀ касается вашего блага, желая идти по слѣдамъ нашихъ сосѣдей, тосканцевъ, которые благоразумнымъ и вѣрнымъ шагомъ выступили на дорогу реформъ". (Memorie di G. Montanelli, гл. XXXIII). Вслѣдствіе этого акта была учреждена національная милиція, но когда дѣло дошло до объявленія полной конституціи, Карлъ-Людовикъ, удалившись въ Массу и „дохнувъ болѣе свободнымъ воздухомъ", отказался отъ исполненія даннаго слова. Обремененный долгами, одолѣваемый банкирами и либералами, онъ рѣшился отказаться отъ Луккскаго герцогства, раздѣливъ его территорію между Тосканскимъ и Моденскимъ монархами. Первый вознаградилъ Карла-Людовика значительнымъ пенсіономъ, а второй назначилъ ему двѣнадцать тысячъ піастровъ въ годъ. Этотъ промѣнъ народовъ, тайно условленный въ 1844 г., состоялся на основаніи вѣнскаго конгресса 1815 года. Такимъ образомъ, Италія сократилась однимъ государствомъ.

Ломбардо-Венеціянское королевство, раззоренное налогами и внутренней хищной администраціей, содержалось, съ небольшимъ различіемъ, въ осадномъ положеніи. Спокойствіе его было той цесарской тишиной, которую Радецкій опредѣлилъ слѣдующей фразой: „Дайте сорокъ дней рѣзни; они дадутъ вамъ сорокъ лѣтъ мира". И этотъ красный миръ, какъ его назвалъ д'Азеліо, дѣйствительно, былъ данъ покоренному народу. Политика вѣнскаго кабинета постоянно стремилась къ уничтоженію завоеванныхъ національностей; къ счастію, она принималась за это дѣло такъ неловко и грубо, что жестокость ея всегда встрѣчала упорное сопротивленіе. Разрушая вполнѣ коммунальное начало, и на мѣсто его вводя многосложную администрацію, обыкновенно, нѣмецкую, презирая обычаи и преданія страны, она принуждена была сдерживать ее многочисленными гарнизонами и полицейскимъ терроромъ. Эта система, одна изъ самыхъ близорукихъ системъ въ государственныхъ организаціяхъ обходилась ей чрезвычайно дорого. Такъ, въ Венгріи за одиннадцать лѣтъ прежде не было ни одного гроша долгу, а теперь онъ выросъ до трехъ милліардовъ. Въ Ломбардіи, для попол-

ненія чахлой королевской казны, они употребляли всѣ мѣры, дозволенныя побѣдителю надъ побѣжденнымъ. Убивая политически, они старались убить итальянскую націю и нравственно. Народное воспитаніе было главнымъ проводникомъ ея іезуитскихъ началъ. Читая катихизисъ, введенный въ низшія школы для дѣтей (теперь онъ остается въ одной Венеціи), мы не можемъ не удивляться странности и лжи ученія; такъ, на вопросъ: „что̀ надо понимать подъ словомъ отечество?" предлагается слѣдующій отвѣтъ: „подъ словомъ отечество надо разумѣть не только ту страну, гдѣ мы родились, *но и ту, съ которой мы соединились*". И далѣе: „почему подданные должны смотрѣть на своего повелителя, какъ на государя?" „Потому что онъ имѣетъ полную власть надъ ихъ собственностью и личностью". — „Что должны дѣлать подданные, чтобъ не быть подозрительными?" — жители городовъ и деревень должны спокойно жить въ своихъ домахъ и остерегаться того, что̀ они дѣлаютъ (Budare ai futti loro), и проч. и проч. Въ этомъ дѣтскомъ учебникѣ религія и полиція идутъ рядомъ, подкрѣпляя другъ друга, и гдѣ не доставало пассивнаго повиновенія, тамъ являлась стѣснительная мѣра. Чтобъ представить нагляднѣй, до какой степени Австрія боялась національнаго возбужденія, намъ достаточно разсказать исторію Конфалоніери: мы передадимъ ее, съ полнымъ сочувствіемъ къ этому знаменитому страдальцу Шпильберга, словами его друга. „Заключенный сюда, говоритъ онъ, — въ 1823 году, въ цвѣтѣ силъ и здоровья, Конфалоніери вышелъ изъ тюрьмы черезъ тринадцать лѣтъ, съ роковой болѣзнью, которая чрезъ десять лѣтъ свела его въ могилу. Его желѣзное здоровье сломилось въ *carcere duro;* неволя и цѣпи такъ измѣнили его, что одинъ изъ друзей, встрѣтившись съ нимъ въ Брюсселѣ въ 1837 г., не могъ не заплакать, увидѣвъ полуживой остовъ человѣка, нѣкогда кипѣвшаго всей силой юности. Одно качество осталось въ немъ неизмѣннымъ — та крѣпость характера, которую не побѣдили ни угрозы судей, ни пытки палачей. Я не стану разсказывать тысячи несправедливостей этого ломбардскаго процесса, который продолжался два года и покрылъ трауромъ столько семействъ; я не стану говорить и о томъ, какъ Конфалоніери былъ осужденъ на смерть (измѣненную на медленное замираніе въ Шпильбергѣ) за письмо, которое должно было бы оправдать его; но я упомяну о томъ несокрушимомъ мужествѣ, съ которымъ славный арестантъ вынесъ долговременное заключеніе. Нѣтъ надобности говорить о жестокости тюрьмы, столь извѣстной всякому. Въ отношеніи къ Конфалоніери примѣнили самое утонченное варварство, по приказанію императора, особенно мучившаго тѣ жертвы, которыя, казалось, тверже стояли. Я разскажу по этому случаю одинъ фактъ: извѣстно что Конфалоніери имѣлъ жену-героиню; исторгнувъ его изъ рукъ смерти, она постоянно думала о томъ, чтобъ освободить его изъ Шпильберга. Трудъ былъ необыкновенно тяжелый. Не смотря на то, подку-

пивъ одного изъ тюремщиковъ, она почти достигла цѣли своихъ долговременныхъ работъ и самыхъ лучшихъ надеждъ, и вдругъ полиція предупреждаетъ ее: планъ Люціи не удался. Это событіе произвело на нее такое потрясающее впечатлѣніе, что она вскорѣ умерла. И кто бы могъ подумать, что Францискъ, доселѣ запрещавшій передавать всякое внѣшнее извѣстіе Конфалоніери, теперь нарочно приказалъ сообщить ему о кончинѣ его жены, въ то же время не дозволивъ говорить о ней подробно. Это грубое приказаніе было исполнено буквально: директоръ темницы, призвавъ къ себѣ Конфалоніери, обратился къ нему такъ: „нумеръ четырнадцатый (въ Шпильбергѣ человѣкъ теряетъ даже имя), его величество, государь, приказалъ объявить вамъ, что жена ваша умерла". Едва онъ окончилъ фразу, какъ часовые, подхвативъ узника, потащили его назадъ. Послѣ подобнаго факта неудивительно, что онъ изможженный вышелъ изъ Шпильберга; удивительно то, что онъ до послѣдней минуты сохранилъ энергію души, безпримѣрную въ кругу его соотечественниковъ. Имя Фридерика Конфалоніери не умретъ въ исторіи нашихъ несчастій. Сынъ благороднаго и богатаго семейства, воспитанный среди роскоши и удовольствій, онъ, однакожъ, не видѣлъ вокругъ себя ничего иного, кромѣ ненавистнаго иностранца, попиравшаго національную землю; рѣшившись отдать себя всецѣло народному дѣлу, онъ съумѣлъ предпочесть праздной и безпечной жизни золотыхъ юношескихъ дней — жизнь, полную трудовъ и лишеній, которыя въ Италіи ведутъ прямо къ темницѣ, къ эшафоту. Честь великому мученику! Вспомнимъ, что люди умираютъ, но примѣры твердости и самоотверженія живутъ и приносятъ плодъ. Эта мысль должна утѣшить тѣхъ, кто, подобно мнѣ, не сомнѣвается, что послѣднимъ біеніемъ его сердца было желаніе свободы Италіи, въ которой ему даже не суждено было умереть". (National. 1846 г. 21 декабря). Въ странѣ, лишенной всякихъ политическихъ интересовъ, событіе, подобно смерти Конфалоніери, составляетъ эпоху. Онъ одиноко скончался въ маленькой швейцарской деревнѣ. Миланъ почтилъ его торжественнымъ погребеніемъ; безчисленное множество народа присутствовало въ соборѣ. Затѣмъ была составлена подписка, для сооруженія памятника въ Госпенталѣ, гдѣ скончался Конфалоніери. Австрія поняла, что въ этомъ народномъ торжествѣ выражалась не одна любовь къ великой жертвѣ, но и громкій протестъ къ ея мелкимъ гонителямъ". Послѣ столькихъ усилій, говоритъ Ричарди, — и послѣ столькихъ преступленій, совершонныхъ въ Италіи для уничтоженія національнаго чувства и всякой свободной идеи, Австрія была осуждена увидѣть тотъ же духъ независимости, проявившійся сильнѣе, чѣмъ когда нибудь". (Histoire de l'Italie, par Ricciardi, гл. IV). Самый невинный праздникъ окончился тайными полицейскими арестами. Такія оскорбленія святого народнаго чувства не остаются безъ кровной мести, на страницахъ исторіи.

По сравненію съ Ломбардо-Венеціанской областью Піемонтъ былъ счастливѣйшей страной. Если злоупотребленіямъ аристократіи и духовенства не было границъ, то, по крайней мѣрѣ, налоги были довольно сносные, въ головѣ администраціи являлись люди благонамѣренные. Изданіе „Альбертинскаго Кодекса" при всѣхъ его недостаткахъ, — при аристократической исключительности и невѣротерпимости относительно іудеевъ и протестантовъ, было гораздо выше стараго законодательства. Къ сожалѣнію, характеръ Карла-Альберта былъ одинъ изъ самыхъ странныхъ характеровъ. Не проходило и двухъ дней, чтобъ онъ слѣдовалъ одному направленію въ своей политикѣ; нынче либералъ, завтра абсолютистъ, онъ плавалъ между двумя берегами, не приставая ни къ одному изъ нихъ. Впрочемъ, нѣкоторыя темныя черты этой загадочной личности поясняются самыми обстоятельствами жизни.

Карлъ-Альбертъ родился въ 1798 году, когда его отечество было театромъ кровопролитныхъ войнъ. Не надѣясь носить савойскую корону, онъ былъ воспитанъ матерью въ идеяхъ XVIII вѣка. Всасывая съ молокомъ ученіе французскихъ энциклопедистовъ и въ то же время дыша воздухомъ монашескаго дворца, онъ навсегда сохранилъ покорность іезуитскаго адепта и гордость королевскаго сына, холодный скептицизмъ мыслителя съ келейнымъ убожествомъ отшельника. Съ ранней юности сближаясь съ народомъ, онъ въ двадцать лѣтъ горячо сочувствовалъ ему; братаясь съ молодыми артиллеристами и находясь въ постоянномъ обществѣ съ Коленьо и Санта-Роза, онъ усвоилъ юношескую отвагу и мечталъ только — сдѣлаться спасителемъ Италіи. Но для осуществленія этой надежды было мало одной храбрости солдата; нужно было нравственное мужество и искренняя любовь къ Италіи, чего ему не доставало.

Событія 1821 года представили ему случай оправдать юношескія мечты; но онъ испугался самого дѣла, о которомъ такъ долго раздумывалъ въ тиши кабинета. Не желая рисковать династическими интересами, онъ измѣнилъ друзьямъ и выдалъ націю. Преслѣдуемый горькой насмѣшкой побѣдителей и проклятіями побѣжденныхъ, гонимый тревожной совѣстью, онъ бѣжалъ изъ одной столицы въ другую, выпрашивая покровительства, какъ милости, у королей, великихъ герцоговъ и посланниковъ. Гордость савойскаго принца, оскорбленная униженіемъ куртизана, зародила въ его душѣ ту внутреннюю борьбу, которая преслѣдовала его такъ долго. Какъ подданный, онъ чувствовалъ тягостное положеніе только вполовину; но когда взошелъ на престолъ, онъ вполнѣ измѣрилъ бездну золъ, приготовленныхъ ему 1821 годомъ. Страшная пустота окружила тронъ молодого монарха. „И вотъ осужденный, говоритъ Монтанелли, подозрѣвать каждаго и въ то же время быть предметомъ всеобщаго недовѣрія, въ которомъ соединились противъ него самыя непримиримыя партіи; ненавидимый аристократами, не простив-

шими ему связи съ революціей, презираемый либералами, знамени которыхъ онъ измѣнилъ, среди лицемѣрныхъ выраженій любви; покинутый всѣми, онъ жилъ въ мірѣ, какъ въ безмолвной пустынѣ, не имѣя даже послѣдняго утѣшенія — въ своей собственной совѣсти".

„Одинъ на единѣ могъ ли онъ безъ стыда припомнить противорѣчія своей жизни, союзъ съ Конфалоніери, бѣжавшимъ изъ Піемонта въ Миланъ... какъ бывшаго регента, провозгласившаго въ Туринѣ испанскую конституцію, и какъ волонтера французскаго войска, которое подъ предводительствомъ герцога ангулемскаго, билось противъ защитниковъ испанской конституціи, — какъ итальянскаго энтузіаста 1821 г., поразившаго итальянскихъ энтузіастовъ 1833 года". Не находя болѣе жизни въ дѣйствительномъ мірѣ, онъ бросается въ химерическій міръ аскетизма... Дворецъ Карла-Альберта походилъ на богадѣльню, гдѣ все было мрачно, строго и угрюмо, при видѣ короля-затворника. Послѣ обычной молитвы, онъ рано скрывался въ уединеніе и часто, среди глубокой ночи, при мерцаніи лампы, вставалъ и молился. Онъ каждый день слушалъ мессу, постился даже въ обыкновенное время, истощая себя до потери здоровья".

„За придворными обѣдами, по правую и по лѣвую сторону короля, часто сидѣли два іезуита. Но эта монашеская жизнь не спасла его отъ заботъ и скорбей этой юдоли. Съ его средневѣковымъ мистицизмомъ соединялся скептицизмъ ученика Вольтера, и Карлъ-Альбертъ иногда проговаривался, что тѣ же самые іезуиты, которыхъ онъ уполномочилъ полной властью надъ своими подданными, способны отравить его. Когда герцогъ д'Омаль, посѣтившій его въ 1842 году, совѣтовалъ ему приступить къ реформамъ, Карлъ-Альберъ отвѣчалъ: „Я живу между кинжаломъ карбонаріевъ и шоколатомъ іезуитовъ". (Memorie di G. Montanelli, гл. XXXIII). Впрочемъ, на этой костлявой и сухой фигурѣ есть свѣтлыя черты героя Гоито, подъ которыми исчезаютъ пятна измѣнника Трокадеро. Когда снова развернулось знамя итальянской независимости, Карлъ-Альбертъ первый сѣлъ на коня вмѣстѣ съ сыновьями. Подъ градомъ пуль онъ неподвижно стоялъ впереди войска; „идемъ, мои дѣти!" — говорилъ онъ піемонтцамъ, и въ этой флегматической храбрости вполнѣ обрисовался отважный герцогъ Савои, но не спаситель Италіи, какъ назвали его придворные льстецы.

Двойственная и шаткая политика Карла-Альберта, вѣрная наслѣдственнымъ преданіямъ его предковъ, особенно повредила Піемонту въ нравственномъ отношеніи. Она породила и въ людяхъ, и въ государственномъ устройствѣ двусмысленный характеръ. *Mezzano* въ дѣлѣ политики то же, что полипъ въ животномъ царствѣ. Всматриваясь въ это правленіе глубже, мы видимъ постоянное противорѣчіе между внѣшнимъ фактомъ и его послѣдствіями, между правительственнымъ поведеніемъ и его обѣтами. Въ Піемонтѣ существовали муниципальные

совѣты и не было никакихъ признаковъ соціальной жизни; повидимому, феодальныя злоупотребленія давно отжили свой вѣкъ, и между тѣмъ привиллегированное сословіе тяготѣло надъ другими классами народа; между городомъ и деревней лежала пропасть, разъединявшая ихъ множествомъ административныхъ и судебныхъ безполезныхъ формъ; уголовное право отмѣнило истязаніе горячимъ желѣзомъ и клещами, но сохранило конфискацію; коммерческіе законы положили начало болѣе правильной торговлѣ, а трибуналы, основанные для исполненія ихъ, были признаны опасными и черезъ нѣсколько дней закрыты. Карлъ-Альберти хотѣлъ образовать сильное войско, но не хотѣлъ имѣть образованныхъ офицеровъ: онъ думалъ воспитать свободнаго итальянскаго гражданина, и обратилъ школы въ наглухо-запертые монастыри; съ студентами обращались какъ съ школьниками, и кто не имѣлъ двадцати тысячъ франковъ наслѣдственнаго состоянія, тому были затворены двери лицея или университета. Однажды, говоритъ итальянскій историкъ,—туринскіе студенты согласились не говорить на другомъ языкѣ, кромѣ итальянскаго; и этотъ заговоръ противъ мѣстнаго нарѣчія былъ принятъ за государственное преступленіе; виновныхъ призвали, разбранили и грозили жестокимъ наказаніемъ, если они еще рѣшатся на подобное беззаконіе". (Memorie di Montanelli: XXXIII.) Наконецъ, надъ всѣмъ царили іезуиты; голова юноши, сердце матери, семейная тайна и государственная мысль, находились подъ вліяніемъ, всюду проникающихъ и все подслушивающихъ, агентовъ ордена Лойолы.

Само собою разумѣется, что въ такое правленіе трудно было дѣйствовать людямъ прямого и открытаго характера съ тѣмъ благороднымъ сердцемъ, которое неспособно, подобно маятнику, качаться между честной идеей и безчестнымъ поступкомъ. Но зато въ этой мутной водѣ было привольно плавать тѣмъ гражданскимъ амфибіямъ, для которыхъ столько же нуженъ солнечный лучъ, сколько болотная тина.

Но по мѣрѣ того, какъ съ одного конца поднималась буря, съ другого прояснялся горизонтъ. Когда Карлъ-Альбертъ предвидѣлъ, что столкновеніе съ Австріей было неизбѣжно, забывая преданіе своей фамиліи и политику семьнадцатилѣтняго царствованія, онъ рѣшился дать Піемонту конституцію (1847 г. 1-го ноября). Это было единственное оружіе, которымъ онъ, не обнажая меча, наносилъ смертельный ударъ вѣнскому кабинету. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ соединялъ простыми узами народъ съ правительствомъ. Вырвавшись изъ рукъ обскурантовъ и іезуитовъ, онъ становился вождемъ всего полуострова и другомъ европейскаго прогресса. И еслибъ цѣной конституціонной хартіи онъ могъ загладить прошлые дни и возвратить довѣріе Италіи, новарское сраженіе, вѣроятно, украсило бы его корону вмѣсто мученическаго терна блистательнымъ побѣднымъ лавромъ.

Для полноты этого историческаго очерка, намъ необходимо остано-

вить вниманіе на противоположной и самой важной части Италіи,—посмотрѣть, въ какомъ состояніи 1848 годъ засталъ Неаполитанское королевство. Изъ протеста Сетембрини мы уже видѣли его; намъ остается указать на самые факты.

Извѣстіе объ іюльской революціи въ Парижѣ увеличило опасную болѣзнь Неаполитанскаго короля, Франсуа I; онъ умеръ 8 ноября 1830 года. Ему наслѣдовалъ Фердинандъ II. Обнародовавъ прокламацію, которая въ сущности была язвительной сатирой на правленіе его отца, онъ обѣщалъ „залечить раны королевства". Дѣйствительно, первые акты его предвѣщали лучшіе дни „Обѣимъ Сициліямъ". Молодой властитель объявилъ амнистію политическимъ преступникамъ, сбавилъ налоги, назначилъ своего брата, графа сиракузскаго, вице-королемъ Сициліи и прогналъ изъ дворца Виліа, безграмотнаго лакея, облеченнаго полнымъ довѣріемъ покойнаго короля и бывшаго орудіемъ самыхъ безчестныхъ поборовъ въ рукахъ министра финансовъ, Медичи. Эти мѣры и слухъ, распространившійся о желаніи Фердинанда II—дать конституцію королевству, успокоили народъ, въ которомъ парижскія событія произвели сильное волненіе. Но реакція Франціи и Рима, послѣ сраженія при Римини и капитуляціи Анконы, измѣнили планы короля. Увидѣвъ себя внѣ опасности, онъ сбросилъ маску и призвалъ генерала Делькаретто въ министерство полиціи. Затѣмъ полилась кровь одиннадцати жертвъ, растрѣлянныхъ въ Палермо.

Делькаретто около восьмнадцати лѣтъ расточалъ ужасъ и смерть, распоряжаясь почти неограниченной властью. Какъ политическій ренегатъ, онъ не имѣлъ другихъ цѣлей въ жизни, кромѣ личнаго интереса. По душѣ, глубоко пассивной, это былъ эвнухъ чужой воли, тотъ восточный рабъ, который изъ преданности повелителю съ улыбкой надѣнетъ петлю на собственную шею. Соединяя пронырливость лаццарони, съ корыстолюбіемъ откупщика, грубость солдата съ отвратительной гибкостью льстеца, онъ обладалъ всѣми свойствами, необходимыми его служенію. Всякій миролюбивый народный порывъ къ лучшему положенію въ его глазахъ былъ сигналомъ революціи, всякое неосторожное слово казалось заговоромъ. И если исторія Неаполя отъ 1830 — 1848 года состояла изъ постоянныхъ возмущеній, то большая доля ихъ должна упасть на безмозглаго министра. Когда въ 1837 году холера опустошала Сицилію, въ массахъ прошла молва, что эпидемія есть слѣдствіе отравы. Эта нелѣпая басня, питаемая раздраженнымъ воображеніемъ толпы, тѣмъ больше находила себѣ вѣры, чѣмъ больше правительство заботилось о помощи тысячамъ погибавшихъ людей. Страна была покинута на произволъ судьбы. Въ ней не было ни госпиталей, ни достаточнаго числа медиковъ, ни лекарствъ, ни даже хлѣба. Вмѣсто столь необходимыхъ пособій, неаполитанское правительство послало отрядъ галерныхъ ссыльныхъ для очищенія городовъ отъ полусгнившихъ тру-

повъ и одинъ корабль съ пшеницей. Этого мало; оно прекратило всякія сообщенія палермскихъ провинцій съ метрополіей и тѣмъ лишило бѣдныхъ жителей послѣдней надежды — избѣжать голода, соединеннаго съ заразой. Главные начальники, которыхъ присутствіе могло ободрить унывшее народонаселеніе, первые бѣжали изъ города. Вице-король, князь Кампофранко, директоръ Санъ-Мартино, префектъ Терабруна, генералы Тскуди, Віоль и множество нисшихъ чиновниковъ, поспѣшили выбраться на континентъ. Между тѣмъ эпидемія свирѣпствовала съ необычайной силой; въ продолженіе двухъ недѣль въ одномъ Палермо погибло около двадцати тысячъ человѣкъ. Сомнѣніе народа, оставленнаго правительствомъ, перешло въ ропотъ, а ропотъ разразился мятежомъ, скоро принявшимъ характеръ спокойной реформы. Іюля 24-го поднялась Катана. Делькаретто, уполномоченный чрезвычайною властью, прибылъ съ отрядомъ войскъ къ стѣнамъ Мессины, и немедленно приступилъ къ казнямъ. Все зло онъ выместилъ на Катанѣ, которой преступленіе, собственно, состояло въ томъ, что она развернула трехцвѣтное знамя; оцѣнивъ сто шестьдесятъ головъ, онъ требовалъ ихъ выдачи, положивъ заплатить за каждую голову отъ 300 — 1,200 дукатовъ. Благодаря еще не совсѣмъ убитой совѣсти сицилійцевъ, никто не явился за позорной добычей къ полицейскому шефу. Затѣмъ начались кровопролитія, достойныя дней Тамерлана: онъ приказывалъ разстрѣливать даже дѣтей; заподозрѣнные или обвиненные въ возстаніи были брошены въ самыя грязныя подземелья, повѣшены за руки на деревьяхъ или преданы безстыднымъ и ужаснымъ пыткамъ. Одинъ изъ несчастныхъ былъ разстрѣлянъ именно за то, что осмѣлился считать холеру дѣломъ правительства; одна женщина была осуждена на двадцатилѣтнее заключеніе за то, что ударила въ колоколъ въ какой-то деревнѣ. Казни совершались церемоніально—подъ звуки военной музыки. И среди этихъ страшныхъ сценъ голода, заразы и смерти, Делькаретто приказалъ устроить балъ и явиться на него женамъ и дочерямъ только-что зарытыхъ покойниковъ. Ему же приписываютъ основаніе столь извѣстной *коммиссіи палокъ* (Commissione delle Mezzate), которая завершила славу неаполитанской полиціи. Чтобъ не возвращаться еще разъ къ этому черному клейму на итальянскомъ имени, мы должны замѣтить, что въ 1848 году Делькаретто былъ выгнанъ изъ Неаполя тѣмъ же королемъ, которому онъ слишкомъ усердно служилъ. Онъ садился на пароходъ среди всеобщаго негодованія, былъ встрѣченъ камнями въ Ливорнской гавани, насмѣшками и бранью въ Генуѣ и только, подъ прикрытіемъ жандармовъ, могъ найти себѣ вовсе не ласковый пріемъ въ окрестностяхъ Монпелье. Онъ могъ найдти по себѣ достойнаго преемника только въ одномъ Манискалькони. (Memorie di Montanelli, гл. XXXIV. Hist. de l'Italie, par Ricciardi, гл. III и IV).

Вслѣдствіе полицейскаго самоуправства, возведеннаго на степень си-

стематическихъ преслѣдованій, соединенныхъ съ нищетой, невѣжествомъ и отсутствіемъ всякаго уваженія къ справедливости, спокойствіе страны постоянно нарушалось частными возстаніями городовъ и цѣлыхъ провинцій. Въ 1841 году произошло смятеніе въ Аквилѣ, въ 1844 — въ Калабріи, потомъ слѣдуетъ трагическая смерть братьевъ Бандіера, съ ихъ семью товарищами и, наконецъ, заговоръ Доминика Ромео. Всѣ эти насильственныя мѣры, разумѣется, не имѣли успѣха; но онѣ были тѣмъ болѣе печальны, что главная причина ихъ лежала не въ духѣ кроткаго народа, а въ ошибкахъ самого правительства; отвергая потребность мирныхъ реформъ, оно вызывало вооруженные протесты угнетенной страны.

Разсматривая внутреннюю политику Фердинанда II, вся Европа особенно изумлялась упадку экономическихъ силъ въ одной изъ самыхъ богатѣйшихъ странъ. Отсутствіе умственнаго образованія и общественной жизни неизбѣжно повело за собой бѣдность и развратъ. Неаполитанскій лаццарони — явленіе, совершенно понятное тамъ, гдѣ Делькаретты занимаютъ министерскія мѣста. Біанки, одинъ изъ тѣхъ историковъ, къ числу которыхъ принадлежатъ наши гг. Кайдановы, Лоренцы и компанія, отзывается о матеріальномъ положеніи Сициліи такъ: „Публичныя работы на счетъ провинцій и коммунъ, въ это послѣднее время, находились въ такомъ жалкомъ состояніи, что Сицилія въ настоящее время находится въ томъ же видѣ, какъ четыре или пять вѣковъ тому назадъ; за исключеніемъ очень немногихъ дорогъ, весьма худо построенныхъ и содержимыхъ, другіе пути сообщенія между разными мѣстностями такъ трудны, что по нимъ можно путешествовать только на мулѣ, а иногда, съ величайшей опасностью, карабкаться по узкимъ тропинкамъ, обставленнымъ пропастями... Собственность не имѣетъ въ Сициліи той цѣнности и употребленія, какихъ можно было бы ожидать отъ превосходной почвы и климата ея. Безмѣрныя поля лежатъ безплодными пустынями и доказываютъ не столько лѣность человѣка, сколько недостатокъ и безпечность гражданскихъ и политическихъ законовъ. Потоки водъ столь обильныхъ и прозрачныхъ отнюдь не употреблены въ пользу земледѣльческаго труда или промышленности, что̀ же касается мануфактурной дѣятельности, она едва существуетъ и вовсе неизвѣстна въ нѣкоторыхъ мѣстахъ“. (Hist, de l'Italie, гл. III). Такимъ, образомъ Сицилія, старая житница Европы, была доведена до того, что въ 1839 году она не только не выпустила ни одного мѣшка хлѣба за границу, но принуждена была купить его изъ иностранныхъ рукъ на огромную сумму. Параллельно этому матеріальному нищенству шло народное образованіе. Низшія сословія оставались въ полудикомъ состояніи; воспитаніе высшаго класса было ввѣрено іезуитамъ; ввозъ иностранныхъ книгъ и журналовъ почти вовсе былъ запрещенъ. Делькаретто находилъ даже цензуру іезуитовъ слишкомъ снисходительной относительно литературныхъ произведеній. Нѣкоторыя сочиненія допускались въ одномъ городѣ и запрещались въ

другомъ. Такъ „Исторія Италіи“ Ботты, напечатанная въ Неаполѣ, была арестована въ Мессинѣ. Профессоры пармскаго, катанскаго и мессинскаго университетовъ получали по два франка и пятидесяти сантимовъ въ день, то есть, гораздо меньше, чѣмъ англійскій или американскій матросъ получаетъ на частномъ кораблѣ.

Среди этой тьмы и безмолвія, до слуха Европы едва доходили классическія пѣсни Леонарди, полныя глубокой тоски и вдохновеннаго гнѣва. Въ его гармоническомъ стансѣ отразилась прелесть сапфирнаго неба и голубыхъ водъ моря съ глубокимъ паденіемъ человѣка. Публичность юридическихъ дебатовъ, обязанная славой краснорѣчивымъ импровизаціямъ Іосифа Поэріо, была единственнымъ убѣжищемъ гласности; но Le leggi son, ma chi pon mano ad essi? говоритъ Дантъ...

Въ такомъ состояніи Италія встрѣтила 1848 годъ. Униженная извнѣ, раззоренная внутри, запутанная австрійской политикой, она грозно и единодушно встала противъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ. Съ высотъ Квиринала началась политическая драма, обошедшая полъ-Европы; на голосъ римской реформы отвѣчали пятьнадцать народныхъ реформъ. Для Италіи занялась новая заря національной жизни, которую Монтанелли такъ поэтично сравнивалъ съ утренней пѣснью. „На разсвѣтѣ, говоритъ онъ,—есть неуловимый и неопредѣленный моментъ между исчезающей тьмой и возникающимъ свѣтомъ, — тотъ моментъ, котораго дѣвственной красотѣ нѣтъ ничего равнаго въ продолженіе остального дня. Тихо поднимается съ безмолвнаго поля одинокое чириканье птицъ; ему немедленно отвѣчаетъ новый свистъ на другомъ пунктѣ, и мало по малу отдѣльныя пѣсни, дѣлаясь яснѣй и громче, сливаются въ одинъ безмѣрный и стройный концертъ, привѣтствующій восходящее солнце; — моментъ торжественный, напоминающій, во всей своей простотѣ, миролюбивое пробужденіе Италіи. Среди печальнаго мрака и гробовой тишины, подъ покровомъ тиранніи, вдругъ раздается съ одного конца братское привѣтствіе, и этому національному зову отвѣчаютъ отвсюду тысячи откликовъ. Да, это также были аккорды великолѣпнаго концерта; это былъ одинъ изъ тѣхъ утреннихъ часовъ, полныхъ свѣжести и красоты, которые изрѣдка появляются въ жизни народовъ и предвѣщаютъ имъ блистательный день“. (Memorie sull' Italia. т. I, гл. XXI).

Какъ обыкновенно бываетъ въ такія эпохи историческихъ переломовъ, силы народа проявляются въ полномъ блескѣ и съ необычайной энергіей. Великіе дѣятели, незамѣтные прежде, выступаютъ на первый планъ; ихъ геній и отвага идутъ впереди. Прошлое національное возстаніе Италіи было особенно богато замѣчательными личностями; ихъ умъ и волю не побѣдили ни общій погромъ отечества, ни крутая реакція послѣдующихъ дней, ни печальное изгнаніе. Они вынесли до послѣдней минуты тяжесть несчастія и сохранили святость убѣжденій. Къ числу этихъ дѣятелей принадлежитъ Монтанелли.

Іосифъ Монтанелли одаренъ той богатой нѣжной природой, которыя такъ часто встрѣчаются въ средневѣковой Италіи. Въ этой природѣ, въ высшей степени поэтической, повидимому, соединяются самые противоположные элементы — глубокая мысль съ живымъ воображеніемъ, даръ импровизаціи съ напряженнымъ кабинетнымъ трудомъ. Такая разносторонность вовсе не рѣдкость въ итальянцахъ высшаго развитія. Дантъ, Микель-Анджело и Макіавелли удивляютъ насъ тѣмъ всеобъемлющимъ дарованіемъ, которое кладетъ рѣзкую печать на всемъ, чего бы оно ни коснулось. Затѣмъ отличительной чертой итальянскаго темперамента служитъ страстное увлеченіе идеей, если она проходитъ въ его умъ черезъ сердце; ему необходимо вдохновеніе въ самыхъ обыкновенныхъ случаяхъ; оно часто замѣняетъ ему практическій смыслъ англо-саксонца или тяжелое соображеніе нѣмца. „Я знаю итальянцевъ, сказалъ однажды Д. Манини,—имъ нужно поэтическое наитіе даже для того, чтобъ мѣтко выстрѣлить изъ ружья. Дайте имъ одинъ день энтузіазма, и они въ этотъ день сдѣлаютъ больше, чѣмъ въ нѣсколько лѣтъ съ помощію холоднаго размышленія". Поэтому, можетъ быть, въ исторіи итальянской мысли и фантазіи, съ перваго взгляда поражаетъ странная безсистемность, неуловимые капризы въ развитіи талантовъ и произведеній. Это—хаосъ титаническихъ работъ, смѣло начатыхъ юнымъ художникомъ и нечаянно прерванныхъ на половинѣ труда. За эпохой чудной дѣятельности вдругъ наступаетъ полное бездѣйствіе. Но если въ инстинктахъ этой фантазіи часто недостаетъ мѣры, выдержанности и такта, то съ другой стороны творчество ея такъ неистощимо и разнообразно, что, кажется, въ идеальномъ мірѣ для него нѣтъ границъ.

Монтанелли — типъ флорентійскаго итальянца. Въ его умственномъ темпераментѣ главную черту составляетъ художественный элементъ, такъ ярко отмѣтившій исторію его отечества. Соединяя пламенное воображеніе съ классически-образованнымъ умомъ, дипломатическую разсчетливость съ увлеченіемъ поэта, онъ дѣйствовалъ на разныхъ поприщахъ, и вездѣ съ одинаковымъ одушевленіемъ, если не съ одинаковымъ успѣхомъ. Профессоръ, публицистъ, солдатъ, министръ, писатель и посланникъ, онъ честно выполнилъ каждое изъ этихъ занятій, и запечатлѣлъ свои мнѣнія кровью. Патріотическое чувство его никогда не было праздной мечтой, какъ оно бываетъ у бо̀льшей части итальянцевъ, у тѣхъ толстыхъ mezzani мелочной лавочки и профессорской каѳедры, которые такъ любятъ золотую средину въ политикѣ и еще больше въ собственномъ карманѣ.

Мы удѣлимъ нѣсколько строкъ біографіи этого человѣка. Она пояснитъ личный характеръ и политическую дѣятельность его.

Монтанелли родился въ 1813 году, близъ Флоренціи, въ мѣстечкѣ Фучекіо. Отецъ его — музыкантъ — готовилъ своему сыну карьеру артиста. Но на девятомъ году, одинъ изъ его дядей, бывшій директоромъ

пизанской коллегіи, взялъ племянника подъ свое покровительство; отсюда мальчикъ поступилъ въ университетъ, по юридическому факультету. Развитіе даровитаго юноши началось подъ вліяніемъ французской литературы XVIII вѣка и новыхъ идей Сэнъ-Симона. Интересно прослѣдить, какъ психологическій фактъ, первоначальное образованіе Монтанелли изъ собственнаго его разсказа. „Едва исполнилось мнѣ тринадцать лѣтъ, когда я поступилъ въ университетъ, нѣкоторые товарищи, постарше меня, дали мнѣ прочитать Ruines de Volney и Systéme de la nature, приписываемую Гольбаху, увѣряя, что эти книги раскрываютъ обманы (католическихъ) поповъ. Немного нужно было, чтобъ изгладить изъ молодого ума религію, не имѣвшую корней въ сердцѣ, религію, по имени христіанскую, но на самомъ дѣлѣ чисто языческую; — религію однихъ внѣшнихъ обрядовъ, съ колѣнопреклоненіемъ передъ иконами, съ шапочными поклонами прелатамъ, съ мессами, вечернями, и напоминавшую намъ, молодымъ людямъ, домашнія притѣсненія, соединенныя съ варварской системой монашескаго воспитанія, которое такъ деспотически господствуетъ въ нашихъ школахъ и такъ-называемыхъ набожныхъ семействахъ. Достаточно было одного замѣчанія Гольбаха или Вольнея, чтобъ убѣдить насъ въ томъ, что съ истиннымъ достоинствомъ человѣка несовмѣстна слѣпая вѣра во многое, чему учитъ католицизмъ. Принужденные скрывать эти чувства въ семейномъ кругу и притворяться въ уваженіи къ предметамъ, которые потеряли для насъ всякое значеніе, мы привыкали лгать; трудно сказать, какъ это притворство было гибельно для лучшихъ натуръ, особенно въ тотъ періодъ возраста, которому нужна искренность. Въ то время, когда философія разрушала въ насъ теплоту сердца, мы стали задумываться надъ вопросами соціальной жизни; и это было счастіемъ, потому что политика питала нашъ юношескій энтузіазмъ, предохранивъ его отъ печальныхъ послѣдствій грубаго матеріализма".

„За всѣмъ тѣмъ я не замѣтилъ, какъ моя мысль унизилась до животнаго сенсуализма, и всякое нравственное чувство обратилось въ простой эгоизмъ. Это продолжалось до 1831 года, когда я увидѣлъ паденіе итальянской революціи и обманутыя надежды Франціи. Съ этой минуты за первыми восторгами юношескаго одушевленія — наступило горькое разочарованіе и глубокая дума передъ зрѣлищемъ человѣческой нищеты. Къ счастью, въ началѣ 1832 года, я напалъ на книги соціальной школы, еще свободной отъ ребячески-теократическихъ нелѣпостей отца Анфантэна. Это ученіе примирило насъ съ религіей, отвергнутой матеріалистами; оно приписывало бѣдственное состояніе современнаго общества отсутствію всякаго религіознаго синтеза и, раздѣливъ исторію прогресса на двѣ эпохи — эпоху критики и творчества, обѣщало скорый періодъ организаціи, когда должна воцариться гармонія между духомъ и матеріей, индивидуальностью и ассоціаціей, свободой и властью, консерва-

тизмомъ и прогрессомъ: это новое ученіе, исторгнувъ меня изъ тины матеріализма, унесло въ область болѣе чистыхъ идей. Думая, что я также могу содѣйствовать религіозному синтезу будущаго, я присоединился къ маленькому братству Сэнъ-Симона, составившемуся въ 1832 году въ пизанскомъ университетѣ: отселѣ я слѣдилъ съ нѣкоторыми товарищами за развитіемъ соціальныхъ вопросовъ. Извѣстно, что новыя системы, введенныя во Франціи при Людовикѣ-Филиппѣ, вытекли изъ нѣмецкаго пантеизма; главнымъ органомъ распространенія ихъ было періодическое изданіе „Revue Independante". Едва ли въ Тосканѣ, не я одинъ выписывалъ этотъ журналъ. Въ этой смѣлой теоріи былъ блистательный идеализмъ, котораго поэтической сторонѣ я отъ всей души сочувствовалъ... Но вникая глубже, я нашелъ важныя возраженія противъ пантеизма. Человѣкъ, разсуждалъ я самъ съ собой, существо разумное и дѣятельное; я не могу допустить философію безъ приложенія". (Memorie di Montanelli, гл. XII). Остановившись на этой мысли, Монтанелли испугался безнадежнаго и холоднаго фатализма, столь противнаго реальной природѣ. Неудовлетворенный логическими результатами пантеизма и его отвлеченными теоріями, онъ примкнулъ къ ново-католической школѣ Джоберти и Манцони; съ первымъ онъ сошелся въ демократическихъ идеяхъ, вторымъ увлекся, какъ поэтомъ. Эта школа, названная католическимъ либерализмомъ и отнюдь не новая, признавала католицизмъ точкой опоры возрожденія Италіи, католицизмъ, очищенный реформой. Собственно говоря, она допускала въ христіанскомъ ученіи однѣ конкретныя истины, понятныя сердцу народовъ и близкія общественнымъ интересамъ, но отвергала его внѣшнюю примѣсь, честолюбіе духовной іерархіи и весь ея наружный формализмъ. Соединившись съ этой школой, Монтанелли, повидимому, долженъ былъ на всегда остановиться на ней; она вполнѣ удовлетворяла его соціальное воззрѣніе и поэтическое чувство. „Годы, проведенные въ этомъ стремленіи къ истинѣ, говоритъ онъ, — были самыми счастливыми въ моей жизни; не смотря на обязанности профессора и адвоката, которыя поглощали почти все мое время и не позволяли писать стиховъ, — поэзія лилась изъ сердца; она вызывала воспоминанія о первыхъ христіанахъ и гремѣла упреками противъ философіи, обѣщавшей свѣтъ и оставившей меня среди мрака; она возвышалась до созерцанія вселенной, требуя отъ нея разъясненія великой тайны жизни". (Memorie. гл. XII). Впрочемъ, тревожное чувство Монтанелли отступилось и отъ этого ученія. Сначала онъ былъ одинъ изъ первыхъ защитниковъ Пія IX, когда папа провозгласилъ новый порядокъ вещей. Около этого времени, онъ писалъ Матцини въ Лондонъ: „что же касается религіозной идеи, вы говорите въ своемъ послѣднемъ сочиненіи о братьяхъ Бандіера, что католицизмъ умеръ; думаю и чувствую, что онъ полонъ жизни. По моему мнѣнію, всѣ необходимыя реформы могутъ совершиться въ самыхъ нѣдрахъ церкви съ помощью

протеста... Не знаю, какъ вы понимаете папу, но мы любимъ его и вѣримъ, что надо помочь ему. Пій IX — душа кроткая и милостивая; у него нѣтъ другого желанія, кромѣ желанія добра, и онъ ужь сдѣлалъ его много". (Memor. гл. XXVI). Такъ говорилъ Монтанелли, когда, дѣйствительно, вся Италія съ надеждой смотрѣла на римскаго владыку. Этимъ обольщеніемъ былъ обманутъ не онъ одинъ; но онъ ранѣе другихъ проснулся. Событія шли быстро; Пій IX суетился, давалъ обѣщанія, смѣнялъ кардиналовъ, одно говорилъ народу, другое — министрамъ, сердился и плакалъ, а вожделѣнное преобразованіе не подвигалось впередъ. Монтанелли призадумался... Какъ будто желая успокоить себя отъ сомнѣній и забыться въ уединеніи, онъ въ 1847 году осенью отправился въ Римъ. „Я пришелъ сюда, говоритъ онъ, не за тѣмъ, чтобъ рыться въ пыли прошедшаго или наслаждаться поэзіей при взглядѣ на Колизей, озаренный луной, не за тѣмъ, чтобъ удивляться чудесамъ Рафаэля и Микель-Анджело. Съ Ватикана засвѣтила звѣзда надежды для Италіи, и я пришелъ въ Римъ Пія IX затѣмъ, чтобъ удостовѣриться, дѣйствительно ли этотъ свѣтъ былъ солнечнымъ восходомъ или мерцаніемъ погребальныхъ факеловъ"... (Memor. гл. XXX). Наконецъ, 2-го ноября, онъ увидѣлъ папу, который вмѣсто туфли дружески подалъ ему руку. Аудіенція продолжалась около двухъ часовъ; разговоръ былъ чисто-политическій, которому Монтанелли старался придать самый живой интересъ, но Пій IX, уклончиво обѣгая щекотливые вопросы, по обыкновенію, не высказалъ ни одной рѣшительной мысли. „Вышедъ отъ папы, продолжаетъ онъ,—я остановился на площади Квиринала; здѣсь среди торжественно-спокойной ночи, которую нарушалъ только монотонный шумъ фонтановъ, я представилъ себѣ священный восторгъ народа, когда Пій IX, выходя на балконъ съ яснымъ взглядомъ, благословлялъ его и возбуждалъ въ немъ надежды. Никогда я не считалъ папу великимъ умомъ; но съ той минуты, какъ увидѣлъ этотъ потухшій взоръ, услышалъ этотъ голосъ безъ симпатическихъ звуковъ, эту рѣчь, скорѣе ироническую, чѣмъ теплую, мое сновидѣніе исчезло; не смотря на его ласковый пріемъ, на его поцѣлуи въ замкѣ св. Ангела, когда была объявлена амнистія, не смотря на его дружеское обхожденіе съ народомъ, на открытую борьбу съ злоупотребленіями, на его посѣщенія больныхъ и всѣ добрыя мѣры первыхъ дней его правленія, я убѣдился, что онъ не способенъ стать въ уровень съ вѣкомъ. Отъ Пія IX для меня остался простой священникъ, одушевленный добрыми желаніями, болѣе чувствительный, чѣмъ притворный, брошенный въ міръ, въ которомъ онъ не узнавалъ себя... такъ я вышелъ изъ Квиринала, какъ выходятъ изъ палермскаго подземелья Campo-Santo, съ душой переполненной самыхъ мрачныхъ думъ... День моего посѣщенія Пія IX былъ днемъ погребенія, днемъ мертвыхъ". (Memor. гл. XXX). Съ этого времени Монтанелли перестаетъ вѣрить въ папскую власть, какъ источникъ будущаго вели-

чія Италіи. Озираясь кругомъ, онъ съ каждымъ днемъ больше убѣждался, что католическое начало, по самому существу, неспособно къ реформѣ, сообразной съ духомъ современной цивилизаціи; онъ увидѣлъ, что до тѣхъ поръ, пока намѣстникъ галилейскаго рыбака будетъ верховнымъ хранителемъ религіознаго преданія, политическое возрожденіе Рима невозможно. Такимъ образомъ, одна изъ самыхъ поэтическихъ иллюзій, десять лѣтъ лелѣянная Монтанелли, умираетъ. Для мыслящаго существа не можетъ быть болѣе тяжкаго удара по душѣ, какъ разочарованіе въ горячемъ вѣрованіи, свято и долго носимомъ въ сердцѣ. Монтанелли испыталъ это. Говоря о смерти одного итальянскаго изгнанника, онъ, между прочимъ, замѣтилъ: „ссылка, темница и эшафотъ не составляютъ единственныхъ страданій, соединенныхъ съ планами искупленія; есть другая раздирающая боль, скрытая въ насъ, неизвѣстная міру, непонятная исторіи и вѣдомая только одному провидѣнію; эта, внутренняя рана сердца — разочарованіе"... Впрочемъ, у Монтанелли достало силъ побѣдить его; покинувъ прежнюю мечту и освободившись отъ мистицизма, онъ тѣмъ искреннѣе увѣровалъ въ необходимость не католической, а національной реформы. Изыскивая болѣе вѣрныя средства для осуществленія ея, онъ остановился на идеѣ *конституціоннаго единства* Италіи. Впослѣдствіи мы раскроемъ ея сущность и ошибки а теперь возвратимся къ его жизни.

По выходѣ изъ университета, Монтанелли открылъ себѣ литературныя занятія. Участвуя въ превосходномъ журналѣ во Флоренціи „Antologia", онъ обратилъ на себя вниманіе изящнымъ изложеніемъ статей и смѣлыми пріемами юношескаго пера. Вслѣдъ затѣмъ онъ издалъ томъ лирическихъ стихотвореній, въ которыхъ мистическія грезы поэта одушевлялись демократическими чувствами. Ободренный первымъ успѣхомъ, столь лестнымъ для молодого самолюбія, онъ не желалъ лучшей карьеры. Но иначе судилъ отецъ его; онъ вызвалъ сына въ глухой и маленькій городишко Фучекіо, заставивъ его работать въ качествѣ адвоката. Какъ ни противна была судейская трибуна симпатической душѣ его, Монтанелли страстно принялся за дѣло. Его блестящій талантъ не могъ остаться не замѣченнымъ въ толпѣ бездарностей, которыми отличаются всевозможныя бюрократіи въ мірѣ. Въ 1840 году ему была предложена каѳедра коммерческаго тосканскаго права, только-что основанная въ пизанскомъ университетѣ. Профессорская дѣятельность его шла рядомъ съ кабинетными учеными трудами. Лекціи Монтанелли собственно были патріотической пропагандой, какъ нѣкогда уроки Кине и Мишлэ въ французской коллегіи. Въ связи съ исторіей права, онъ развивалъ передъ слушателями исторію политической жизни Италіи, и тѣмъ имѣлъ огромное нравственное вліяніе на аудиторію. Юношество чуяло дыханіе свѣжей идеи, съ наслажденіемъ слушало наставника, глубоко уважало его и приготовило ему громкую популярность въ Тосканѣ. Монтанелли

вполнѣ оправдалъ ее. Гдѣ бы ни показалось движеніе къ прогрессу, онъ становился впереди и руководилъ дѣломъ. Такъ, въ 1846 году, тосканскій герцогъ дозволилъ іезуитамъ захватить въ руки воспитаніе юношества въ Пизѣ. Эта мѣра, антипатичная всему обществу, возбудила говоръ; составился протестъ подъ редакціей Монтанелли и былъ представленъ министру. Правительство немедленно отмѣнило свое позволеніе; между тѣмъ народъ, окруживъ домъ Делла Фантеріа, настоятеля іезуитскаго монастыря, выбилъ окна и грозилъ монаху непріятной уличной сценой... Полиція смолчала; но дѣло тѣмъ не кончилось. Протестъ разошелся въ рукописяхъ по всей Тосканѣ, былъ напечатанъ въ парижскихъ журналахъ; граждане, студенты, все, что́ было честнаго и образованнаго въ Пизѣ, поздравляли другъ друга съ успѣхомъ побѣды. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ этомъ дѣлѣ былъ Монтанелли. Съ тѣмъ же мужествомъ онъ является въ народномъ протестѣ противъ выдачи Ренци. Ренци былъ вождь оппозиціонной партіи при Римини, человѣкъ любимый всей Италіей. Послѣ многихъ лѣтъ изгнанія, онъ тайно вошелъ въ Тоскану, которая давала убѣжище несчастнымъ эмигрантамъ. Римская полиція, руководимая австрійскими шпіонами, узнавъ о пребываніи Ренци въ Флоренціи, потребовала его выдачи. Буанаротти, потомокъ Микель-Анджело и сынъ знаменитаго итальянскаго Мирабо, подалъ голосъ въ пользу папскаго нунція. Такой поступокъ, унижавшій достоинство тосканскаго правительства и святость народной вѣры, тѣмъ болѣе оскорбилъ общественное мнѣніе, что въ этомъ процессѣ замѣшалась австрійская полиція. Оно, съ свойственной ему прозорливостью, предвидѣло въ этомъ актѣ союзъ съ іезуитской партіей и вѣнскимъ кабинетомъ. Не смотря на жаркую и ловкую защиту адвоката Сальванколи, Ренци былъ арестованъ. Жена его, мать троихъ дѣтей, обратилась къ великому герцогу съ просьбой: „Одно ваше слово, писала она, — спасаетъ пятерыхъ несчастныхъ". Леопольдъ II, читая это письмо, заплакалъ; но слезы матери не тронули совѣсти министровъ, и они хладнокровно выдали Ренци римскимъ жандармамъ. Флоренція зароптала. Монтанелли, овладѣвъ общественнымъ настроеніемъ, далъ дѣлу полную гласность. Примѣръ его послужилъ ободреніемъ для всей Тосканы, онъ былъ предвѣстникомъ общаго національнаго пробужденія.

Такимъ образомъ, взявъ сторону мирной оппозиціи, Монтанелли съ перомъ въ рукѣ, изустной бесѣдой на каѳедрѣ и трибунѣ, а главное гражданской отвагой шевелилъ народное чувство, въ ту пору, когда Италіи нуженъ былъ національный энтузіазмъ; когда съ одной стороны на вершинахъ Альпъ показались австрійскіе штыки, а съ другой — открылась римская реформа.

Между тѣмъ Ломбардія и Венеція, какъ-будто по магическому жезлу, дружно возстаютъ противъ Австріи. Не болѣе, какъ въ двадцать четыре часа, на тринадцати различныхъ пунктахъ загорается народная месть,

скоро охватившая весь сѣверъ Италіи. Радецкій, застигнутый въ-расплохъ, послѣ безполезныхъ кровавыхъ сценъ въ Миланѣ, принужденъ былъ отступить съ разстроеннымъ, побитымъ и голоднымъ войскомъ. Отъ Венеціи до Неаполя раздался единодушный крикъ войны: „въ Ломбардію, въ Ломбардію, на помощь братьямъ!“ повторялъ народъ, и правительства не могли остановить этого громового крика, вырвавшагося изъ наболѣвшей груди Италіи. Тоскана первая послала волонтеровъ на подмогу миланцамъ. Монтанелли, оставивъ университетъ и положивъ перо, взялъ ружье и присоединился къ тосканскимъ ратникамъ. „Мы отправились, говоритъ онъ, — двумя колоннами: одна изъ Пизы по дорогѣ въ Массу, другая изъ Флоренціи по дорогѣ въ Модену... хотя меня избрали капитаномъ въ студенческомъ батальонѣ, но я сталъ въ числѣ рядовыхъ солдатъ, думая, что намъ, людямъ мысли и на-виду, особенно должно подавать примѣръ самоотверженія, что̀ очень важно въ народныхъ предпріятіяхъ“.

„Славный былъ видъ этихъ импровизированныхъ легіоновъ, гдѣ медикъ, адвокатъ, работникъ, патрицій, богачъ, бѣднякъ, священникъ, учитель и слуга шли рядомъ за свободу Италіи... Походъ нашъ былъ гражданскимъ праздникомъ; все народонаселеніе поднялось на ноги; безчисленная толпа, окружавшая насъ на улицахъ, пожимала намъ руки и привѣтствовала добрымъ желаніемъ; женщины, стоявшія на балконахъ, махали платками; ихъ сердце забыло разлуку изъ любви къ отечеству; матери, сестры и жены сквозь прощальныя слезы подавали улыбку надежды и славы. Кто остался въ городѣ, тотъ обѣщалъ помощь бѣднымъ ремесленникамъ, съ которыми война у̀носила послѣднюю опору семейства. По дорогѣ, къ нашему отряду со всѣхъ сторонъ сбѣгались волонтеры изъ деревень. Когда мы проходили селами, насъ встрѣчалъ колокольный звонъ и цвѣты сыпались на штыки, блестѣвшіе подъ лучами весенняго солнца“. (Memor. гл. XXXVIII). Но когда войско достигло Каррары, его остановили въ бездѣйствіи. Монтанелли, „не желая играть роль герцогскаго жандарма на границѣ Модены“ и стоять празднымъ зрителемъ, отдѣлился отъ волонтеровъ и отправился въ Тироль съ тѣмъ, чтобы поднять народонаселеніе его противъ общаго врага. Вечеромъ пѣшкомъ онъ вошелъ въ Трентъ, надѣясь ускользнуть отъ наблюденія полиціи. Но едва онъ показался въ городѣ, съ карманами, набитыми прокламаціями, у него потребовали паспортъ; за неимѣніемъ его, онъ былъ переданъ національной гвардіи. Нѣтъ сомнѣнія, послѣ перваго осмотра, его ожидала смерть. Но часовой, которому поручили отвести Монтанелли въ военную комиссію, услышавъ это имя и узнавъ, въ чемъ дѣло, рѣшился спасти его; онъ далъ ему случай избѣжать ареста и выбраться въ горы. Собравъ по деревнямъ до 3,000 войска, Монтанелли явился съ нимъ въ крѣпости Толбино. Здѣсь завязались первыя стычки съ непріятелемъ, отраженнымъ на всѣхъ пунктахъ. Но въ лагерѣ тирольскихъ волонте-

ровъ поселился раздоръ и недовѣріе, что̀ ослабило силы возставшихъ провинцій. Угрожаемые вновь подходившими толпами кроатовъ и нѣмцевъ, они послали Монтанелли въ Миланъ просить о помощи. Но въ ломбардской столицѣ уже началась реакція. Титулованныя ничтожности, въ родѣ графа Дурини, маленькаго Макіавелли аристократической партіи, испугались той народной Немезиды, которой многіе изъ нихъ за нѣсколько дней рукоплескали. Монтанелли безъ успѣха явился къ своему посту. (Memor. гл. XXXVIII).

Между тѣмъ Карлъ-Альбертъ, въ главѣ пятидесятитысячнаго войска, уже расположился на берегу Минчіо, и тосканскіе волонтеры перешли ломбардскую границу. Монтанелли спѣшилъ соединиться съ ними. Потомъ мы видимъ его въ жаркомъ бою при Куртатоне и Монтанарѣ. Эта встрѣча тридцати двухъ тысячнаго корпуса Радецкаго съ горстью піемонтскихъ ратниковъ, замѣчательна, какъ образецъ итальянской храбрости, оправдавшей выраженіе Петрарки, что въ сердцѣ итальянцевъ древнее мужество не изсякло. Мы разскажемъ эту битву словами самого историка: „29-го мая, утромъ, толпа непріятеля бросилась на насъ... мы выстроились подъ ружьемъ около девяти часовъ. День былъ блистательный. Здѣсь мы простояли около часу въ ожиданіи перваго выстрѣла изъ пушки; полковникъ Кампіа, начальникъ куртатинской милиціи, спросилъ меня, охотно ли пойдетъ нашъ отрядъ на рекогносцировку непріятеля. Маленкини беретъ съ собой десять или двѣнадцать человѣкъ и бросается за траншею. Менѣе, чѣмъ въ десять минутъ завязывается перестрѣлка. Дарко Феррари не хотѣлъ истреблять поле, изъ уваженія къ земледѣльцамъ, такъ что австрійкіе стрѣлки, укрываясь въ колосьяхъ, подходили подъ самые парапеты. Въ одно время началась битва при Куртатонѣ и Монтанарѣ“...

„Австрійцы нѣсколько разъ аттаковали и всегда были отражены. Небольшой отрядъ, подъ предводительствомъ капитана Контри, отправился изъ Куртатоне развлекать лѣвое крыло непріятеля. Онъ бросается на густыя колонны и производитъ въ нихъ страшное опустошеніе. На него нападаютъ два батальона и заставляютъ его отступить. Но одушевленный словами Ложье и подкрѣпленный новымъ отрядомъ волонтеровъ, онъ снова приступаетъ къ дѣлу и обращаетъ врага въ бѣгство“.

„Батальонъ студентовъ былъ оставленъ въ аріергардѣ при Граціѣ, едва онъ услышалъ боевой шумъ и увидѣлъ первыхъ раненыхъ, переносимыхъ въ деревню, имъ овладѣваетъ пламенное желаніе сразиться, когда генералъ Ложье хотѣлъ ввести его въ дѣло, онъ былъ уже въ самомъ пылу сраженія. И вотъ этотъ избранный легіонъ на мосту Озаны!.. Что потеряетъ человѣчество, если одинъ изъ этихъ толстыхъ нѣмецкихъ барановъ погибнетъ на полѣ битвы? Но въ этомъ умственномъ сокровищѣ Тосканы, въ этомъ святомъ легіонѣ, каждая австрійская пуля угрожала намъ незамѣнимой потерей.

„Это было лучшее юношество — цвѣтъ знанія и цивилизаціи; здѣсь былъ Массоти, Пиріа, Пилла и Бурчи; тамъ, на мосту пушечное ядро отнимаетъ у міра великаго геолога Леопольда Пиллу, который, умирая, произнесъ: „я мало сдѣлалъ для Италіи". Около него падаетъ Торквато Тоти, мой любимый ученикъ, юноша, полный прекрасныхъ надеждъ.

„Наши двѣ пушки, съ которыми лейтенантъ Николини поражалъ австрійцевъ мѣткимъ смертельнымъ огнемъ, наконецъ, замолчали. Ракета, упавшая на пороховой ящикъ, взрываетъ его и ранитъ или убиваетъ почти всѣхъ артиллеристовъ. Николини раненъ. Я дрался около самой артиллеріи, и видѣлъ эту адскую сцену; безоблачное небо задернулось дымомъ, одинъ домъ и мельница запылали, воздухъ раскалился, громъ канонады, свистъ пуль, взрывы бомбъ, свалка артиллеристовъ, бѣгавшихъ во всѣ стороны, изъ которыхъ одни срывали съ себя одежду, другіе тушили загорѣвшееся платье... и завсѣмъ тѣмъ на этой ужасной картинѣ вы видите веселыхъ ратниковъ; дѣти дерутся львами и одинъ крикъ „да здравствуетъ Италія!" одушевляетъ энтузіазмомъ утомленныхъ бойцовъ, и они съ новыми силами летятъ на поле сраженія".

Но эта кучка героевъ итальянскихъ Термопилъ, подавленная массами непріятеля, принуждена была уступить. Поле битвы осталось за австрійцами. Когда была потеряна всякая надежда вырвать побѣду у непріятеля, Монтанелли собираетъ вокругъ себя лучшихъ товарищей для послѣдней и роковой защиты. Онъ укрывается съ ними на мельницѣ, со стороны озера, къ которому направились австрійцы.

„Когда мы прибыли сюда, продолжаетъ онъ, — насъ было отъ тридцати до сорока человѣкъ, рѣшившихся сопротивляться до послѣдней капли крови... Близь меня находился Піетро Порра, мой лучшій другъ и неразлучный товарищъ по оружію. Я перебросилъ ему нѣсколько словъ, прежде чѣмъ выстрѣлилъ. Потомъ обращаюсь опять къ нему... и вижу его мертвымъ у моихъ ногъ. Эта непредвидѣнная потеря друга, столь любезнаго мнѣ, повергаетъ меня въ отчаяніе. Я выставилъ грудь противъ стѣны, на которую дождили непріятельскія пули; онѣ свистѣли у моихъ ушей, и я въ этомъ свистѣ слышалъ пріятную гармонію. Я желалъ соединенія съ своимъ убитымъ другомъ. Но, вспомнивъ о своемъ призваніи, я оправился; Италія призвала меня на битву, а не на плачъ, и я снова сталъ въ боевомъ ряду. Ружье мое испортилось; я взялъ, какъ драгоцѣнное наслѣдіе, карабинъ моего Піетро. Въ ту минуту, какъ я готовился выстрѣлить, пуля пробиваетъ мнѣ лѣвое плечо, подобно удару тяжелой дубины; я наклонился, но не упалъ".

„Спрашиваю у своего сосѣда, гдѣ я раненъ; замѣтивъ небольшую ранку, черезъ которую вылетѣла пуля, онъ отвѣчаетъ мнѣ — „въ спину". Маленкини бѣжитъ на помощь, и хочетъ унести меня подальше отъ этого мѣста; но я, чувствуя себя еще въ силахъ продолжать сраженіе, противлюсь. Между тѣмъ, глаза смыкаются, холодный потъ

выступаетъ на тѣлѣ, я думалъ, что это былъ послѣдній мой часъ". (Memor. гл. XL).

Послѣ взятія Куртатоне и Монтанары, Монтанелли остался въ рукахъ непріятеля. Когда онъ раненый и плѣнный лежалъ въ мантуанскомъ госпиталѣ, по Италіи разнесся слухъ о его смерти. Тоскана надѣла трауръ въ честь „лучшаго изъ своихъ гражданъ". Флоренція и Миланъ совершили панихиду по немъ въ своихъ роскошныхъ базиликахъ. Но больной выздоровѣлъ, и снова явился на политической сценѣ. Съ этой поры имя Монтанелли сдѣлалось народнымъ именемъ Италіи. И надо отдать справедливость итальянцамъ: они умѣютъ почтить своихъ героевъ тѣмъ нѣжнымъ и граціознымъ уваженіемъ, въ которомъ видна глубокая признательность къ защитникамъ національной свободы. Вспомнимъ, что голова Гарибальди дорого была оцѣнена австрійцами, когда онъ бросился съ кучкой вѣрныхъ товарищей въ Аппенины. Никто не позволилъ себѣ и подумать объ измѣнѣ великому воину нашего времени; напротивъ, онъ вездѣ находилъ и дружескую руку, и гостепріимный ночлегъ, и полную готовность служить ему всѣми средствами. Въ этомъ сочувствіи, кромѣ антипатіи къ иностранной тиранніи, проявляется живучесть народныхъ силъ; а это служитъ лучшимъ доказательствомъ, что такія націи могутъ изнемогать, падать, но не умирать. Съ другой стороны Италія должна гордиться своими вождями; нигдѣ и никогда, они не дѣйствовали съ такимъ самоотверженіемъ и энергіей, нигдѣ путь политической Голгофы не былъ покрытъ такой чистой и обильно-пролитой кровью. Здѣсь встрѣчаются цѣлыя семейства и поколѣнія, сохранившія одну вѣру въ отечество, одну безпредѣльную преданность его интересамъ. Заранѣе обреченныя судьбой страданіямъ или гибели, они идутъ на встрѣчу ея съ яснымъ взоромъ, какъ будто не зная на землѣ муки, которая могла бы испугать или сломить ихъ. Чтобъ научиться такой любви и ненависти, надо было сорокъ лѣтъ проносить цѣпи, приготовленныя Австрійской имперіей. „Еслибъ въ Италіи, сказалъ одинъ изъ ея поэтовъ, не осталось ничего, кромѣ скалъ и пепла, то и тогда изъ этихъ скалъ и пепла не перестанетъ раздаваться голосъ за свободу ея".

Монтанелли, воротившись въ Тоскану, былъ принятъ съ восторгомъ. Избранный депутатомъ отъ Фучекіо, онъ вошелъ въ флорентійскій парламентъ 1848 года 27-го сентября. Черезъ мѣсяцъ, Леопольдъ II, принужденный общественнымъ мнѣніемъ смѣнить министерство, поручилъ Монтанелли составить его и управлять совѣтомъ въ качествѣ президента. Положеніе Тосканы было самое смутное. „Новая соціальная жизнь, говорятъ мемуары, — упала съ высоты благородныхъ началъ въ грязь самыхъ пошлыхъ страстей; мелкія самолюбія спорили изъ-за портфейлей; правительство было безъ авторитета; партіи безъ знаменъ; журнализмъ унизился до кумовства, и отцы отечества забавлялись дѣтскими играми". (Memor. гл. XLIII). Чтобъ понять это положеніе, надо помнить, что ве-

ликій герцогъ, съ самаго начала реформы, игралъ двоедушную роль. Не желая терять покровительства австрійцевъ и въ то же время увлеченный общимъ движеніемъ Тосканы, онъ выжидалъ удобнаго случая, чтобъ взять сторону послѣдняго побѣдителя, кто бы онъ ни былъ. Онъ столько же радовался успѣху Радецкаго, сколько боялся революціоннаго разгара. Такъ, при первомъ извѣстіи о миланскомъ возстаніи, Леопольдъ II выразился звучнымъ дифирамбомъ: „Часъ итальянскаго возрожденія насталъ; кто искренно любитъ отечество, тотъ не можетъ отказать ему въ помощи. Я обѣщалъ содѣйствовать всей своей властью порыву вашего сердца, и *вотъ я готовъ сдержать свое слово* (Memor. гл. XXXVIII). Такъ было сказано 21-го марта; 23-го же языкъ прокламаціи совершенно измѣнился. Вмѣсто того, чтобъ поддержать военное одушевленіе Тосканы, его старались охладить; вмѣсто того, чтобъ послать волонтеровъ прямо въ Ломбардію, ихъ задержали въ Массѣ и Каррарѣ безъ всякаго дѣла. Тайной пружиной этого двоедушія Тосканской монархіи былъ министръ Балдассерони. Неутомимый и пронырливый администраторъ, онъ былъ типомъ мелкаго чиновника; невозмутимое хладнокровіе и педантическая точность въ исполненіи обязанностей замѣняли въ немъ умъ и чувство. Неспособный къ широкому взгляду на вещи, враждебный всему новому и гуманному, онъ считалъ службу чѣмъ-то въ родѣ религіознаго культа. Успѣху ея онъ готовъ былъ жертвовать всѣмъ — личнымъ самолюбіемъ, связями и даже почестями. Для него форма составляла — все; въ исполненіи ея онъ находилъ единственное удовольствіе и, если угодно, нѣкоторую поэзію. Обратившись подъ старость въ канцелярскую машину, которой ворочала одна привычка, онъ сдѣлалъ изъ своего министерства какой-то пассивный автоматъ, гдѣ все дѣйствовало или, лучше, двигалось по снурку, какъ двигаются полишинели. Балдассерони не требовалъ ни особеннаго образованія, тѣмъ менѣе самостоятельнаго ума и воли; подчиненный его долженъ былъ слѣпо исполнять то, что́ принято или приказано. Это — обыкновенная участь бездарныхъ администраторовъ; изъ нихъ образуется какая-то особенная порода, столько же похожая на человѣка, сколько на палку, столько же способная гнуться и кланяться за милость, сколько за брань и выговоръ. Притомъ Балдассерони былъ ханжа, воспитанный въ правилахъ іезуитизма. Въ религіи онъ также наблюдалъ одну внѣшнюю сторону; онъ посѣщалъ монастыри, капеллы, считалъ особеннымъ счастіемъ принадлежать къ францисканскому братству, и хотѣлъ бы управлять міромъ посредствомъ монаха, солдата и полицейскаго доносчика. Естественно, тосканскіе іезуиты были какъ нельзя больше довольны выборомъ такого человѣка во главу министерства. Когда началась реформа, Балдассерони немедленно прикинулся партизаномъ ея; съ свойственной хитростью ученика Лойолы, онъ также заговорилъ о преобразованіяхъ и улучшеніяхъ, думая свести ихъ на простыя слова. Такъ это и было. Повидимому, отстаивая всякое нововведеніе, онъ тайно

подрывалъ его. Эти раки реакціоннаго темперамента необычайно вредны правительству, когда имъ дается вѣра и вліяніе въ эпохи государственныхъ кризисовъ. Лицемѣріе ихъ тѣмъ опаснѣе, что въ темной душонкѣ ихъ нельзя разсмотрѣть ни одного признака истины. Этого-то человѣка Леопольдъ II приблизилъ къ себѣ, вполнѣ положился на него и прислушивался къ шопоту его даже тогда, когда Балдассерони уже былъ удаленъ изъ министерства. Кромѣ того, какъ въ Тосканѣ, такъ и въ Ломбардіи, въ пользу реакціи работала финансовая партія, та плутократія, которую вполнѣ опредѣляетъ современная парижская буржуазія. Безъ политической совѣсти, безъ вѣры въ нравственные интересы, безъ идей и даже изящнаго вкуса, плотоядная по аппетитамъ, жадная до грубыхъ матеріальныхъ удовольствій и всего болѣе до денегъ, она желала бы царить надъ обществомъ во имя серебрянаго рубля. Тупой консерватизмъ составляетъ первую ея заповѣдь. Не желая лишиться завтрашняго барыша, она боится государственной реформы, какъ биржевой игрокъ — пониженія курса. Ей нѣтъ дѣла до нищеты другихъ; она равнодушно смотритъ на злоупотребленія власти и готова помочь общественному злу, лишь бы извлечь изъ всего этого проценты. Она скорѣе согласится вынесть диктатуру Делькаретто, чѣмъ, съ перемѣной стараго порядка вещей, закрыть лавочку или потерять нѣсколько сотъ дукатовъ. Въ старой, родовой аристократіи, по крайней мѣрѣ, была рыцарская гордость, какая-то наивная отвага, любовь къ блеску и роскоши; для этой новой аристократіи, воспитанной подъ доками и въ корридорахъ биржи, засаленной снаружи, грязной внутри, разсчетливой до скаредности Плюшкина, фальшивой до цинической лжи Фальстафа, гражданская честь состоитъ въ томъ, чтобъ обмѣрить и ускользнуть отъ полиціи, — поскорѣй разбогатѣть и потомъ — со сцены долой. Къ этой плутократіи во Флоренціи и Ливорно принадлежала извѣстная толпа журналистовъ, гуртовщиковъ литературныхъ издѣлій. Это тѣ же лавочники, но торгующіе вмѣсто сахару, пеньки и спирта лучшими человѣческими силами. Ихъ вѣра — также въ барышѣ, но они достигаютъ грязныхъ цѣлей съ помощью прекраснаго орудія. Общественное мнѣніе для нихъ — рынокъ, на которомъ продаются мысль и убѣжденіе по первому запросу и оптомъ. Они преклоняются передъ большинствомъ, какъ египетскіе жрецы передъ коровой; они боятся перечить ему, хотя бы и понимали несправедливость его, боятся потому, чтобъ не лишиться двухъ или трехъ подписчиковъ. Они, обыкновенно, прикидываются либералами, если выгодно; и умѣютъ извлекать свою пользу не только изъ болтовни, но даже изъ молчанія... Но кто же изъ насъ не знаетъ этихъ купцовъ въ литературныхъ рядахъ нашего міра? Они вездѣ одинаковы; будьте увѣрены, что они унижаютъ честь молодой идеи, въ Италіи и Россіи, хуже, чѣмъ канцелярскіе Балдассерони и австрійскіе сбиры.

Реакціонная партія взяла рѣшительный перевѣсъ въ Тосканѣ, когда

Монтанелли началъ управлять министерствомъ. Онъ хотѣлъ возстановить реформу и дать ей демократическое значеніе; но было поздно. Общественное мнѣніе, обманутое реакціей, извѣрилось. Притомъ въ самыхъ надежныхъ людяхъ, избранныхъ имъ въ министерство, онъ нашелъ измѣнниковъ. Таковъ былъ Гверацци, ученикъ Макіавелли, человѣкъ высокаго ума и классическаго характера, но холодный скептикъ, вѣрившій въ одну силу, какими бы средствами она ни достигалась. Въ Ливорно онъ казался демократомъ, въ Флоренціи — ройялистомъ, на площади — республиканцемъ, а въ кабинетѣ Леопольда II — другомъ Австріи. Приготовивъ реставрацію, онъ первый расплатился за нее; выданный партіей великаго герцога, онъ заключенъ былъ въ крѣпость Белведеръ, наканунѣ паденія Флоренціи и капитуляціи Ливорно.

Такимъ образомъ, не видя возможности поставить внутреннюю реформу на твердую ногу, Монтанелли тѣмъ ревностнѣе сталъ заниматься одной изъ задушевныхъ идей — всеобщей конституціей Италіи. Онъ былъ убѣжденъ, что одна Тоскана не можетъ сохранить свободы, пока Австрійское правительство держится въ ломбардо-венеціанскомъ королевствѣ; только общее итальянское освобожденіе можетъ поручиться за независимость Флоренціи. Потому президентъ ея, поставивъ главнымъ вопросомъ изгнаніе австрійцевъ, хотѣлъ соединить въ этомъ предпріятіи всѣ силы Италіи. Понимая, впрочемъ, трудность политической комбинаціи, онъ раздѣлилъ ее на два періода: въ первый онъ предполагалъ собрать разрозненныя силы народовъ и приготовить войну за независимость; во второй — составить итальянскій статутъ и образовать одну центральную власть надъ всѣмъ полуостровомъ, подчинивъ ее народной иниціативѣ.

Въ то время, когда Монтанелли такъ искренно и неутомимо работалъ надъ своей идеей, внѣшнія событія разрушаютъ ее окончательно. Вѣнскій кабинетъ вздохнулъ свободнѣй; Леопольдъ II, повинуясь совѣту австрійскихъ агентовъ, тайно оставилъ Флоренцію и удалился въ Сіену. Радецкій успокоилъ его письмомъ: „какъ только, говорилъ онъ, — я усмирю сардинскихъ демагоговъ, прилечу къ вамъ на помощь съ тридцатью тысячами моихъ удальцовъ и возстановлю ваше высочество на тронѣ". Между тѣмъ, Флоренція, снова взволнованная анархіей и потерявшая надежду видѣть великаго герцога, провозгласила диктаторское правленіе, въ лицѣ Монтанелли, Манцони и Гверацци. Почти въ то же время Римъ, покинутый Піемъ IX, объявилъ въ Капитоліѣ республику; Венеція продолжала защищаться противъ Австріи; Сицилія еще боролась съ Неаполемъ; Піемонтъ собиралъ новыя войска на берегахъ Тессино, однимъ словомъ, вся Италія была въ огнѣ, какъ вдругъ поражаетъ ее извѣстіе о наварской побѣдѣ. Затѣмъ началась общая реставрація.

Монтанелли еще разъ увлекся надеждой, и послѣдней надеждой на Францію. Передавъ полную диктатуру Гверацци, онъ оставилъ Тоскану

и, въ качествѣ чрезвычайнаго посла, прибылъ въ Парижъ. Здѣсь онъ думалъ набрать новыхъ волонтеровъ и расположить національное собраніе въ пользу Италіи; но паденіе Рима, послѣ приступа Удино, всего лучше отвѣчало ему, что онъ ошибался въ намѣреніяхъ Франціи. Капитуляція Флоренціи и Ливорно застали его въ этомъ положеніи: онъ поселился въ Парижѣ, какъ бѣдный изгнанникъ...

Послѣ десяти лѣтъ эмиграціи, въ 1859 г. мы видимъ его опять въ Тосканѣ, опять въ рядахъ аппенинскихъ стрѣлковъ противъ Австріи и вмѣстѣ съ нимъ стараго друга его, Маленкини. Теперь Италія была счастливѣй, чѣмъ въ 1848 г. и Монтанелли, напомнивъ намъ дни Куртатоне и Монтанары, возвратился не въ рабскую, а свободную Флоренцію: это — лучшая награда, какую только могъ ожидать благородный ратникъ Тосканы, во второй разъ жертвовавшій и жизнію, и талантомъ своему отечеству.

II.

Въ исторіи Италіи, конечно, не было ни одного періода столь богатаго надеждами и столь бѣднаго осуществленіемъ ихъ, столь счастливаго въ началѣ и столь несчастнаго въ концѣ, какъ 1848 годъ. Война за независимость открылась при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ; повидимому, все ручалось за успѣхъ ея. Съ одной стороны, общее одушевленіе страны, дохнувшей нѣсколькими днями свободы, народный энтузіазмъ, глубоко взволновавшій полуостровъ, побѣдоносное вступленіе Карла-Альберта въ Ломбардію, соединившаго подъ ружьемъ болѣе ста тысячъ войска, никогда небывалаго въ Италіи и, наконецъ, сочувствіе общественнаго мнѣнія Европы—все это обѣщало вѣрную побѣду. Съ другой стороны, невыгодное положеніе врага, какъ нельзя больше, отвѣчало ей: революція въ Вѣнѣ, гроза, собиравшаяся на горизонтѣ Венгріи, отступленіе Радецкаго изъ Милана до Вероны, упадокъ духа въ австрійскомъ войскѣ, поставленномъ между ненавистью угнетенныхъ народовъ и страхомъ его вождей, недостатокъ денегъ и распущенность администраціи—приготовили Австріи одну изъ тѣхъ роковыхъ минутъ, которыя рѣшаютъ судьбы имперій. Всѣ были увѣрены, что Италія выиграетъ великій процессъ. Вѣнскій кабинетъ, не надѣясь удержать Ломбардію, готовъ былъ отступиться отъ нея на условіяхъ денежнаго вознагражденія, дать Венеціи конституцію и національное правительство. Дипломатическіе переговоры были открыты англійскому и французскому министерствамъ, но Пальмерстонъ и Ламартинъ не съумѣли воспользоваться ни случаемъ, ни временемъ. Сардинскій король, убѣжденный въ превосходствѣ силъ, отвергъ всякое перемиріе, „пока, сказалъ онъ,—хоть одинъ австрійскій солдатъ останется на итальянской

землѣ". (D. Manin, par H. Martin, 1859, стр. 121 — 127). Между тѣмъ игра обстоятельствъ измѣнила ходъ дѣла; сраженіе при Санта-Лючіа далеко не удовлетворило желанія Карла-Альберта, паденіе Виченцы, а съ ней и всей Венеціанской области, за исключеніемъ столицы, неудачная осада Мантуи, пораженіе тосканскихъ волонтеровъ при Куртатоне, затѣмъ отступленіе піемонтцевъ за Минчіо и скорое появленіе Радецкаго подъ стѣнами Милана — всѣ эти событія дали явный перевѣсъ Австріи и, если не довели Италію до отчаянія, то охладили ея первый порывъ. И кто бы могъ подумать, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ судьба Ломбардо-Венеціи опять будетъ въ рукахъ Австріи? Но капитуляція Милана, подписанная 9 августа, громко возвѣстила Италіи бѣдственный фактъ. Съ этой минуты не трудно было опредѣлить наварскую битву съ ея печальнымъ результатомъ.

Разсматривая это событіе со всѣми его логическими послѣдствіями, нельзя вполнѣ согласиться съ обвинителями сардинскаго короля. Конечно, личныя ошибки его во многомъ повредили вопросу итальянской независимости, но не онѣ были главной причиной. Рыцарское хладнокровіе Карла-Альберта, его необыкновенная отвага, съ которой онъ бросился въ это трудное предпріятіе и искренняя готовность жертвовать свободѣ Италіи „послѣднимъ дукатомъ и послѣднимъ человѣкомъ Піемонта" — отнюдь не искупали другихъ недостатковъ несчастнаго короля. Потерявъ національное довѣріе, столь драгоцѣнное въ минуту народныхъ реформъ, онъ лишился главной опоры въ борьбѣ; нерѣшительный и зыбкій въ своихъ планахъ даже подъ непріятельскимъ огнемъ, онъ не могъ одушевить войско истиннымъ мужествомъ. О немъ можно сказать то же, что́ сказалъ Вольтеръ о Карлѣ XII: „онъ не былъ Александръ, но былъ бы первый его солдатъ". Въ самомъ дѣлѣ, личная храбрость потомка Эмануила Желѣзной-Головы изумила его враговъ. Во время наварскаго сраженія онъ цѣлый день провелъ на конѣ, въ пылу жаркой битвы; онъ неподвижно стоялъ среди пушекъ, когда австрійцы громили городъ съ высотъ Бикока. Дурандо, взявъ короля за руку, хотѣлъ отвести его въ сторону: „оставьте меня, генералъ, сказалъ король,—это мой послѣдній день: дайте мнѣ умереть". (Campagnes d'Italie, par Schoenhals, стр. 104). Дѣйствительно, онъ искалъ смерти, потому что не хотѣлъ пережить того глубоко-скорбнаго дня, который ему стоилъ трона, отечества и, можетъ быть, жизни. Но этой стоической твердости было мало для вождя піемонтской арміи; кромѣ ея, нуженъ былъ военный талантъ и стратегическія соображенія, тѣмъ больше, что онъ имѣлъ дѣло съ восьмидесятилѣтнимъ фельдмаршаломъ, хитрымъ и осторожнымъ, какъ лиса. Затѣмъ, необходимо было довѣріе войска, умѣнье окружить себя способными людьми. Всего этого не доставало Карлу-Альберту. Упадокъ дисциплины, отсутствіе хорошей военной администраціи и выборъ главнокомандующимъ человѣка, подобнаго

Кржановскому—все это доказываетъ, что Карлъ-Альбертъ не измѣрилъ всей важности начатаго имъ дѣла; онъ вышелъ въ поле, какъ выходили средневѣковые витязи, разсчитывая не столько на искусство, сколько на силу руки и крѣпость копья. Притомъ странное чувство подозрѣнія, мучившее безпокойнаго короля во дворцѣ и въ кругу его подданныхъ, перешло и въ его внѣшнюю политику. Онъ не хотѣлъ видѣть французское войско по ту сторону Альпъ, и рѣшился лучше погибнуть одинъ, чѣмъ призвать на помощь союзника, котораго онъ опасался. *Italia fa da sè*—скоро обратилось въ пустой призракъ самоувѣреннаго властителя.

За всѣмъ тѣмъ не Карлъ-Альбертъ погубилъ итальянскую независимость 1848 года. Радецкій, поразивъ Піемонтъ и выигравъ десять новыхъ сраженій, подобныхъ наварскому, легко могъ потерять самую Ломбардію. Главнымъ и несокрушимымъ противникомъ Австріи былъ народный духъ, та внутренняя сила Италіи, которая показала себя въ блистательной защитѣ Венеціи. Но чтобъ дать дѣйствительное значеніе этой силѣ, необходимо было вооружить ее единствомъ. Еслибъ отъ перваго до послѣдняго итальянца всѣ были проникнуты однимъ благороднымъ желаніемъ національной свободы, тогда матеріальная масса, какъ бы велика ни была, не сломила бы народъ. Къ сожалѣнію, Италія дѣйствовала врознь. Мы ужь видѣли, что въ самыхъ нѣдрахъ общества скрывались зародыши внутреннихъ раздоровъ. Реакціонная партія Тосканы, состоявшая изъ тупыхъ mezzano, имѣла друзей повсюду; ей сочувствовалъ неаполитанскій лаццарони, римскій нищій, воспитанный тунеядной милостыней полиціи и піемонтскій іезуитъ. Это разъединеніе тѣмъ опаснѣе было въ странѣ, гдѣ политическое воспитаніе прошло мрачнымъ путемъ взаимныхъ ненавистей, интригъ и систематическаго разврата, — гдѣ оттѣнки стараго соціальнаго антагонизма, закрѣпленнаго преданіемъ, сохранились доселѣ. „Мы повторимъ всѣ ошибки, говоритъ Монтанелли,—которыя разрушали наши покушенія на возрожденіе въ средніе вѣка; — отвлеченныя теоріи и политику безъ идей, единство, воспѣваемое поэтами и раздѣленія, питаемыя страстями, — удивительную реторику, но совершенное отсутствіе логики, той логики, которая управляетъ развитіемъ обществъ и которая возвела римлянъ, нашихъ отцовъ, на степень великой націи: эта логика ничто иное, какъ здравый смыслъ, прилагаемый къ управленію народами. Опытъ доказалъ, что выгнать австрійцевъ изъ Ломбардіи невозможно, не соединивъ всѣхъ силъ Италіи; а военный союзъ ея невозможенъ безъ политическаго, а политическій — безъ воззванія къ націи“ (гл. XLIV). Но если не было единства въ народѣ, то еще глубже распадались правительственныя системы. За исключеніемъ Піемонта, всѣ другія части полуострова были связаны съ австрійскимъ дворомъ или родственными отношеніями, или тайными договорами, или взаимнымъ ручательствомъ за политическое statu quo.

Поэтому Тоскана, Римъ и Неаполь, увлеченные общимъ движеніемъ, сначала объявили себя врагами вѣнскаго двора, но едва смолкъ первый народный крикъ: „къ оружію, къ оружію!“ и оппозиціонная партія усилилась, они тайно приняли сторону Радецкаго, и подъ предлогомъ революціонныхъ смутъ, тушили патріотическій энтузіазмъ. Пій IX не хотѣлъ идти противъ Австріи, какъ православный пастырь противъ единовѣрнаго стада; Леопольдъ II — вслѣдствіе династическихъ интересовъ; Фердинандъ II, пославъ флотъ и войско на помощь Венеціи, послѣ катастрофы 15 мая, немедленно отозвалъ ихъ назадъ. Адмиралъ Кòса воротился въ неаполитанскій портъ, а гедералъ Пепе, старый другъ свободы, удержалъ въ своемъ повиновеніи изъ четырнадцати — двѣ тысячи человѣкъ, и бѣжалъ съ ними въ Венецію. Модена и Парма слѣдовали за Австріей, какъ тѣни за живымъ тѣломъ. Такъ въ Италіи образовались два враждебныхъ стана — демократическій и правительственный: первый требовалъ войны и реформы, второй желалъ мира и стараго порядка вещей. Это внутреннее разложеніе силъ сопровождалось самыми грустными явленіями; оно обнаружило лицемѣріе оффиціальной политики, поставивъ ее въ противорѣчіе съ народными обѣтами и надеждами, оно ослабило энергію и породило множество частныхъ и мѣстныхъ вопросовъ, вмѣсто того, чтобъ соединить и направить всѣ усилія къ одной цѣли. Австрія ловко воспользовалась этимъ положеніемъ; она съ каждымъ днемъ крѣпла, а Италія изнемогала. Съ одной стороны подходили новыя войска, а съ другой бѣжали измѣнники и малодушные бойцы трехцвѣтнаго знамени. Духъ крамолы прошелъ по всему полуострову и снова повергъ его безжизненнымъ трупомъ къ ногамъ австрійскаго солдата.

Понятно, почему Монтанелли считалъ послѣднимъ спасеніемъ страны единство ея, въ какой бы формѣ оно ни выразилось. Извѣстно, что эта идея была любимой мечтой всѣхъ великихъ мыслителей Италіи. Дантъ развиваетъ ее въ своей „Монархіи“; Макіавелли ради ея создаетъ въ своемъ „Принцѣ“ идеальнаго тирана; поэты, историки и публицисты искали ее или въ величіи католическаго Рима или просили ее изъ рукъ внѣшняго побѣдителя, — то отъ цесаря, то отъ папы, но мечта осталась мечтой, и въ Италіи политическаго единства никогда не было. Возможно ли оно, на самомъ дѣлѣ — вотъ вопросъ, на который многіе отвѣчаютъ отрицательно.

Чтобъ рѣшить его, надо знать, есть ли данныя въ самыхъ условіяхъ народной жизни для соединенія разрозненныхъ членовъ въ одно политическое тѣло? Мы думаемъ, что Италія обладаетъ всѣми естественными средствами для достиженія своего политическаго единства. Двадцать пять милліоновъ ея жителей составляютъ одно племя, говорящее однимъ языкомъ, воспитанное подъ вліяніемъ однихъ преданій, съ однимъ родовымъ типомъ. Разумѣется, здѣсь есть множество мѣстныхъ оттѣнковъ въ нарѣчіяхъ, нравахъ, въ степени развитія и мате-

ріальнаго благосостоянія, но эти оттѣнки, какъ слѣды чисто внѣшнихъ историческихъ обстоятельствъ, нисколько ни нарушаютъ гармоніи цѣлаго. Они вездѣ есть; мы не знаемъ ни одного народа, который бы сохранилъ свое племенное происхожденіе въ первоначальномъ видѣ. Но въ итальянской націи нѣтъ тѣхъ рѣзкихъ и діаметрально-противоположныхъ элементовъ, какіе мы видимъ, напримѣръ въ австрійской или турецкой имперіи. Самая природа, замыкающая Италію со всѣхъ сторонъ великолѣпными границами — Альпами и моремъ, сообщила ей характеръ отдѣльной политической личности, предназначенной для полнаго самобытнаго развитія. Въ ней нѣтъ тѣхъ географическихъ преградъ, которыя бы осуждали ее на разъединеніе; Аппенины, съ ихъ покатыми отлогостями, отнюдь не полагаютъ строгаго рубежа между итальянцами Адріатическаго и Средиземнаго берега; ея рѣки и долины, самыя плодоносныя изъ долинъ земнаго шара, служатъ естественной связью между разными ея частями, какъ нервы въ человѣческомъ организмѣ; ея флора, столь богатая и разнообразная — отъ альпійскаго дуба до восточной пальмы — покрываетъ почву въ самой правильной симметріи, незамѣтно переходя отъ одного горизонта къ другому: здѣсь нѣтъ тѣхъ колоссальныхъ раздѣловъ, которые отбрасываютъ каменистую Аравію отъ счастливой или ледяныя пустыни Сѣверной Америки отъ огненныхъ степей ея юга.

Но какъ же этотъ народъ, предназначенный физически и нравственно составлять одну семью, утратилъ свое политическое единство? Конечно, онъ этого не искалъ, и это зависѣло отъ чисто-случайныхъ обстоятельствъ, порожденныхъ варварствомъ среднихъ вѣковъ, или произволомъ дипломатіи, измѣняющей жизнь народовъ однимъ почеркомъ пера. Взгляните на географическое положеніе папской области, и вы убѣдитесь, что предѣлы ея самые фантастическіе. Съ сѣверо-запада отдѣляетъ ее отъ Тосканы и Модены какая-то воображаемая линія, неимѣющая ничего опредѣленнаго; южная полоса заходитъ въ неаполитанскія владѣнія; Беневентъ лежитъ на чужой территоріи, а Санъ-Марино, какъ орлиное гнѣздо, пріютилось въ горныхъ скалахъ, въ самомъ сердцѣ Романьи. Эта черезполосная смѣсь могла образоваться только вслѣдствіе капризовъ исторіи, какъ плодъ доброхотныхъ уступокъ, или подаяніе, брошенное на дорогѣ щедрой рукой. Та же служебная размежовка территорій замѣчается въ раздѣлѣ Пармы съ Моденой и Модены съ Луккой. Поэтому мы вправѣ заключить, что раздробленіе Италіи не было результатомъ народныхъ антипатій или внутреннихъ переворотовъ; напротивъ, основной кряжъ націи остался въ первобытной цѣлости, и только поверхность его покрылась разнообразными слоями, трудно сказать откуда и какъ занесенными. Въ этомъ отношеніи Италію сравниваютъ съ мраморнымъ дворцомъ, поставленнымъ на большой дорогѣ; всякій досужій путникъ, посѣтившій этотъ заброшенный домъ,

не встрѣчая ни хозяина, ни сторожа, измѣняетъ и перестроиваетъ его по своему вкусу. Меттернихъ двадцать лѣтъ трудился надъ тѣмъ, чтобъ обратить его въ конюшню. Послѣ этого неудивительно, что мы на одной и той же землѣ, у одного и того же народа, находимъ самую странную смѣсь гражданскихъ учрежденій; демократическія начала уживаются съ абсолютнымъ правленіемъ, монархіи съ конституціей, конституція съ теократической властью, и республика съ безграничнымъ деспотизмомъ. При такомъ разнохарактерномъ устройствѣ, политическіе интересы отдѣльныхъ центровъ не могутъ имѣть ничего общаго; на пространствѣ 180 тысячъ квадратныхъ километровъ, видоизмѣняясь до всевозможныхъ формъ, они представляютъ разительный контрастъ по направленію и цѣлямъ. Еще разъ повторимъ, что всѣ эти различія чисто-политическія и, не измѣняя коренныхъ основъ Италіи, уживаются въ ней, какъ административныя формы. Мы не можемъ сказать, чтобъ житель Болоньи, переселившись въ Венецію, пересталъ быть итальянцемъ или неаполитанцемъ, терялъ свое національное имя въ Генуѣ или въ Пизѣ. Притомъ, какъ ни противоположны эти формы съ перваго взгляда, но народная жизнь всей Италіи, развиваясь помимо правительственной опеки, постоянно стремится къ равновѣсію; тамъ, гдѣ форма слишкомъ грубо противорѣчитъ народному духу, общество тревожно ищетъ лучшаго состоянія и, если не находитъ его съ помощью мирныхъ средствъ, вынуждаетъ силой. Въ такомъ видѣ представляется исторія полуострова въ послѣднія тридцать лѣтъ. Поэтому главная задача, думаемъ, состоитъ не въ томъ, возможно ли единство Италіи — въ немъ нѣтъ никакого сомнѣнія, — а въ томъ, какими средствами оно можетъ осуществиться?

Есть двѣ спеціальныя системы, совершенно противоположныя одна другой — англосаксонская и французская. Первая стремится къ единству, посредствомъ индивидуальныхъ силъ, дѣйствуя отъ окружности къ центру. Здѣсь каждая личность — существо дѣятельное; у каждой воли есть своя собственная сфера. Гармонія этой системы опредѣляется нравственнымъ развитіемъ народа, и потому воспитаніе его составляетъ главное условіе общественнаго прогресса; оно замѣняетъ полицію, строгость уголовнаго законодательства, оно ограждаетъ домъ отъ ночного вора и правительство отъ гражданскихъ смутъ. Другая система также образуетъ единство, но дѣйствуетъ обратно — отъ центра къ окружности. Здѣсь частная личность исчезаетъ передъ государственной, индивидуальная воля поглощается общественнымъ авторитетомъ. Сила власти, собирая къ себѣ жизненные источники, опирается на войско, и внутренній порядокъ поддерживается полицейскимъ строемъ. Мы не говоримъ о превосходствѣ той или другой системы, а указываемъ на нихъ, какъ на факты, и спрашиваемъ: какая изъ нихъ можетъ быть лучше примѣнена къ итальянскому единству? Монтанелли отвѣчаетъ на это такъ: дѣло не въ томъ, какая власть — монархическая или республи-

канская, король или свобода, парламентъ или военный вождь — совершаетъ подвигъ итальянскаго единства... Въ настоящій вѣкъ, что касается до права, мы живемъ въ полной эпохѣ варварства; умственная сила еще находится въ младенческомъ состояніи, и потому было бы глупо не воспользоваться, еслибъ сильный монархъ обнажилъ свой мечъ въ пользу прекраснѣйшаго и въ высшей степени гуманнаго предпріятія — соединенія Италіи". (Гл. XXXIII). Слѣдовательно, Монтанелли не затрудняется въ выборѣ средствъ для итальянскаго единства; онъ готовъ принять его даже отъ вооруженной руки диктатора. Увлекаясь мечтой такого случайнаго соединенія, онъ, естественно, впалъ въ ошибку, такъ долго ослѣплявшую его соотечественниковъ, что будто Римъ долженъ быть центромъ итальянскаго союза и папская власть орудіемъ возрожденія всей страны. Это одна изъ тѣхъ иллюзій, которая наслѣдована отъ среднихъ вѣковъ вмѣстѣ съ патріотическими предразсудками и преданіями всемірнаго города. Пора убѣдиться, что папская власть по самому началу не способна къ такому радикальному преобразованію. Вооруженная крестомъ въ одной рукѣ и мечомъ въ другой она возникла, подобно всѣмъ другимъ учрежденіямъ варварской эпохи, въ силу побѣды, не безъ хитрости и обмана. По духу и преданію, она носитъ въ себѣ рѣзкое противорѣчіе, болѣе десяти вѣковъ раздирающее Италію антагонизмомъ. Какъ власть космополитическая, она необходимо отрицаетъ всякое національное чувство, говоря: „мое царство не отъ міра сего". Какъ авторитетъ католическій, основанный на строгомъ абсолютизмѣ, она исключаетъ всякое живое требованіе народовъ. Считая себя непогрѣшимой, и потому не признавая ни законовъ разума, ни логики событій, она въ то же время держитъ политическую иниціативу. Папа, управляя двумя стами милліонами католическаго стада, какъ духовный пастырь, съ тѣмъ вмѣстѣ управляетъ тремя милліонами римской области, какъ свѣтскій владыка. Возможно ли это соединеніе двухъ авторитетовъ царя и епископа — въ одномъ и томъ же лицѣ? Согласимся, что оно существуетъ, какъ историческій фактъ, какъ аномалія; даже больше, согласимся съ тѣмъ, что въ средніе вѣка, когда вся Европа представляла одинъ огромный монастырь, подъ гнетомъ теократическаго устава, когда между зáмкомъ и кельей не было никакихъ признаковъ жизни, когда насиліе считалось силой и право кулака — закономъ, эта власть не только была возможна, но и необходима; она заносила руку какъ для ударовъ, такъ и для благословеній, и если многому вредила, то многое и спасала. Но теперь, въ половинѣ XIX вѣка, когда повсюду чувствуется необходимость матеріальныхъ и нравственныхъ улучшеній, удовлетворяетъ ли она духу времени? Конечно, нѣтъ. Католицизмъ давно потерялъ первоначальный характеръ Болѣе трехъ вѣковъ, опираясь на іезуитскую партію и религіозную пропаганду, онъ существуетъ, какъ чисто-полицейское учрежденіе. Стра-

ницы его исторіи самыя печальныя страницы, послѣ лѣтописей Тацита. Папская тіара, часто переходя изъ рукъ въ руки честолюбцевъ, людей ничтожныхъ, готовыхъ на измѣну, коварство и отраву, оспориваемая въ продолженіе пятидесяти лѣтъ двумя развратными женщинами Теодорой и Моросіей, въ пользу ихъ любовниковъ, — не разъ падала въ грязь. Время и преступленія Римской Куріи не оставили въ ней ни одного чистаго терна Голгофы. Ватиканъ, основанный во имя рожденнаго въ вифлеемскихъ ясляхъ, всегда искалъ блеска, роскоши, отличій и видѣлъ въ стѣнахъ своихъ такія сцены, какія, по выраженію Ламне́, „удивили бы своей дерзостью Калигулъ и Нероновъ". Могла ли истинная религія съ ея братствомъ и равенствомъ найдти здѣсь уваженіе и вѣру? Сомнѣваемся. Притомъ, какъ положительный догматъ, выработанный и перетолкованный подъ вліяніемъ касты, католицизмъ, съ первыхъ же дней, принялъ направленіе, противоположное народнымъ интересамъ. Его система состояла изъ однихъ отрицаній языческаго культа, но она не внесла ничего реальнаго въ положительную жизнь человѣка. Она учила систематической бѣдности, отчужденію собственности, аскетизму, невѣротерпимости, подъ видомъ смиренія проповѣдовала униженіе, подъ видомъ порабощенія плоти — рабство. Такое ученіе, въ послѣднемъ результатѣ, должно было привести къ застою и угнетенію. Дѣйствительная жизнь народа, съ ея насущными потребностями, заботами, семейной радостью и горемъ, не могла быть понятна монашескому сердцу папъ; они смотрѣли на нее равнодушно, потому что отреклись отъ нея добровольно. Мы не знаемъ ни одного историческаго примѣра, когда бы они искали своего величія въ національной силѣ, въ счастіи самой Италіи; но мы знаемъ, что они часто были врагами ея. Когда имъ нужна была помощь, которой они не находили у своихъ подданныхъ, они не пренебрегали ни однимъ средствомъ; поддерживалъ ли ихъ испанскій фанатизмъ или вѣроломная рука Австріи — всякій союзъ казался имъ дозволеннымъ и законнымъ. Увлеченные эгоистическими цѣлями, папы, наконецъ, разорвали всякую нравственную связь съ управляемой ими страной. Она сдѣлалась для нихъ чѣмъ-то въ родѣ временнаго пріюта, ночлега на постояломъ дворѣ. Въ такомъ состояніи мы видимъ Италію въ XVI вѣкѣ и въ настоящую минуту. Между тѣмъ, какъ у другихъ народовъ росло богатство, строились желѣзныя дороги, развивались торговля и производительныя силы, она, какъ будто пораженная параличемъ, не выходила изъ прежняго положенія, и даже многое потеряла изъ того, что́ уже имѣла. Ея превосходныя долины доселѣ лежатъ не воздѣланными, ея поля не приносятъ и третьей доли того, что́ они приносили бы при лучшихъ условіяхъ труда; ея благодатный климатъ, положеніе у двухъ морей, ея порты, рѣки и острова остаются мертвымъ капиталомъ въ общественной экономіи, гдѣ споліація и воровство ведутъ къ богатству, а трудъ къ истощенію и бѣдно-

сти. У нея гораздо больше лакеевъ, чѣмъ ремесленниковъ; на ея землѣ разсѣяно двадцать двѣ тысячи прелатовъ, которые, какъ птицы небесныя, не пашутъ и не сѣютъ, а сыты бываютъ и, конечно, лучше тѣхъ, кто въ потѣ лица и пашетъ и сѣетъ. И чѣмъ ближе мы подходимъ къ Риму, замѣчаетъ Абу въ своей книгѣ (la Question Romaine), тѣмъ запустеніе и нищета поражаютъ рѣзче. И все это въ характерѣ власти, утвержденной на квіетизмѣ и полномъ отрицаніи житейскихъ интересовъ; они неизбѣжно стоятъ въ постоянной борьбѣ съ прогрессомъ народнаго богатства и процвѣтанія матеріальныхъ силъ.

Отъ такой системы, неимѣющей и тѣни національнаго характера, дозволяющей кровопролитіе Перузы и насиліе Мортары, во имя религіи; отъ такой системы ожидать всеобщей реформы Италіи — болѣе, чѣмъ жалкій обманъ. Католицизмъ, подобно греческому пантеизму, можетъ пасть, но не возродиться и въ лучшіе годы своей жизни.

Къ сожалѣнію, Монтанелли долго провелъ подъ вліяніемъ этого заблужденія. Но мы уже сказали, что онъ, отрѣшившись отъ него, перешелъ къ другой теоріи, болѣе справедливой, но опять далеко не практической. Разсмотримъ ее.

Разочаровавшись въ политическихъ надеждахъ на римско-католическую власть, тосканскій публицистъ построилъ свой планъ итальянскаго единства на *всеобщей конституціи*, т. е. на томъ центральномъ управленіи, въ которомъ, по мнѣнію его, должны участвовать всѣ итальянскія правительства. Но здѣсь мѣняется вопросъ: кто же поручится, что отдѣльныя власти полуострова, каждая по себѣ и для себя, согласится принять охотно и единодушно эту реформу. Чтобъ возвыситься до такого безкорыстнаго подвига и великаго національнаго чувства, надо отказаться отъ прошедшаго, отъ всѣхъ личныхъ и эгоистическихъ побужденій и слиться за одно съ интересами народа. Еслибъ итальянскія правительства и были менѣе разнохарактерны по своимъ принципамъ, то и тогда такого миролюбиваго соглашенія чаять отъ нихъ невозможно. Но положимъ, что они рѣшились бы признать за собой одну центральную власть, то гдѣ же гарантія ея твердости? И кто можетъ поручиться, что не завтра, такъ послѣ завтра эта идеальная конфедерація не рушится подъ мечемъ болѣе дерзкаго или счастливаго завоевателя. Во всякомъ случаѣ единство, основанное на политической факціи, безъ прочныхъ началъ въ своей организаціи, съ однимъ внѣшнимъ статутомъ, не есть національное единство, а насильственное сплоченіе. Такія конфедераціи, обыкновенно, поддерживаются побѣдой или споліаціей, какъ это мы видимъ въ Ирландіи и у славянскихъ племенъ, подвластныхъ Турецкой имперіи.

Единственное вѣрное средство для упроченія итальянскаго союза, помимо кровопролитныхъ катаплазмовъ и государственнаго драматизма,

заключается въ соціальномъ воспитаніи Италіи. Пока драматическіе инстинкты ея не пройдутъ школой строгаго образованія, пока политическая совѣсть ея не будетъ возстановлена, всякое покушеніе ея къ полному конфедеративному сліянію, останется мечтой поэтовъ и празднымъ желаніемъ патріотическаго чувства. Мы ужь замѣтили, что причины разъединенія лежатъ не въ самомъ составѣ націи, не въ физіологическихъ или племенныхъ чертахъ ея, а въ чисто-внѣшнихъ обстоятельствахъ. Чтобъ удалить ихъ, нація должна стать выше мелкихъ антипатій, развитыхъ въ ней макіавелевской политикой, почувствовать и оцѣнить сокровища тѣхъ невидимыхъ силъ, передъ которыми не устоятъ полусгнившія преграды оффиціальной жизни. Матцини совершенно справедливо совѣтовалъ Виктору-Эммануилу искать опоры не въ иностранной помощи, не въ великодушіи французскаго войска, а въ самомъ народѣ Италіи.

Но готова ли она, въ настоящую минуту, совершить это дѣло преобразованія, сама по себѣ и своими собственными силами? Мы знаемъ, что въ ней — бездна демократическихъ стремленій, что она давно была знакома съ свободными учрежденіями и великолѣпными плодами ихъ, что народъ ея такъ дорого заплатилъ за свою независимость, какъ ни одинъ народъ въ мірѣ, за всѣмъ тѣмъ мы не можемъ не признать ея нравственнаго изнеможенія. Наша мысль далека отъ того, чтобъ обвинить въ этомъ самую націю: массы вездѣ несутъ первую жертву въ своихъ несчастіяхъ, но послѣднія участвуютъ въ ихъ источникѣ. Не менѣе того, фактъ существуетъ, и намъ остается повѣрить его нѣсколькими данными. Среднимъ терминомъ характеристики современнаго состоянія Италіи можно взять Романцевъ.

Папская область, на пространствѣ четырехъ милліоновъ гектаровъ, заключаетъ 3.124,668 жителей. Богатая естественными произведеніями, она составляетъ лучшую часть Италіи; ея пажити необыкновенно плодородны; пшеничное зерно на хорошей почвѣ даетъ 15, на посредственной 9 процентовъ. Земледѣльческая собственность, оцѣненная въ 1847 году министромъ коммерціи и публичныхъ работъ въ 870 милліоновъ франковъ, могла бы утроить эту сумму, еслибъ промышленность и трудъ не были поражены застоемъ; ея превосходная долина, рѣка Тибръ, нѣкогда судоходная до Перузы, теперь едва до Рима, ея острова, обильные растительностью, ея стада, не оставляющія цѣлый годъ пастбищъ, самое положеніе ея у береговъ двухъ морей, даютъ ей всѣ средства, необходимыя для матеріальнаго благосостоянія. За всѣмъ тѣмъ римская область — одна изъ самыхъ бѣдныхъ областей. Отсутствіе дѣятельности въ странѣ, гдѣ всякое новое предпріятіе встрѣчаетъ множество препятствій со стороны безпечной и своекорыстной администраціи, гдѣ нѣтъ ни хорошихъ путей сообщенія, ни портовъ, ни свободы труда, ни торговли, гдѣ успѣхъ и счастіе земледѣльца, какъ и все хорошее,

по замѣчанію Абу, возрастаетъ въ геометрической пропорціи, по мѣрѣ удаленія отъ столицы, гдѣ человѣкъ дышетъ и работаетъ тѣмъ лучше, чѣмъ онъ дальше отъ Ватикана, — въ такой странѣ запустѣніе и нищета не есть дѣло природы, а общественнаго устройства. Когда Абу спросилъ о причинѣ такого явленія у одного римскаго монаха, тотъ отвѣчалъ ему: „земля не лишена обработки, но еслибъ это и было такъ, виноваты въ томъ папскіе подданные. Это — народъ лѣнивый по природѣ, хотя 21,415 поповъ проповѣдуютъ ему трудъ". (Question Romaine par About 1859 года, стр. 30). Но одной проповѣди, еслибъ она и не состояла изъ пустыхъ общихъ мѣстъ, мало, когда полиція покровительствуетъ воровству и нищенству, когда тридцать одна тысяча прелатовъ и четырнадцать тысячъ чиновниковъ служатъ отрицательной величиной въ общественной экономіи. Кто не знаетъ несмѣтныхъ богатствъ кардинала Антонелли, но, можетъ быть, немногіе знаютъ, какъ онъ пріобрѣлъ ихъ. Эта личность такъ точно опредѣляетъ римскаго бюрократа, что мы не считаемъ лишнимъ удѣлить ей нѣсколько строкъ. Антонелли, сынъ бѣднаго семейства, родился въ деревнѣ Сонино, знаменитомъ убѣжищѣ бандитовъ. Ее окружаетъ мрачная и дикая природа—темные лѣса, глубокія пещеры и горы, оглашаемыя зловѣщимъ крикомъ коршуновъ. Младенчество ребенка протекло среди ужасныхъ сценъ—разбоя сосѣдей и полицейскихъ преслѣдованій. Когда ему было только четыре года (онъ родился въ 1806 году) французская армія разстрѣливала бандитовъ въ окрестностяхъ Сонино; онъ былъ свидѣтелемъ казней при Піѣ VII и Леонѣ XII; на воротахъ св. Петра, около самого дома Антонелли, торчали отрубленныя головы преступниковъ: всѣ эти уроки, первые уроки жизни, не могли смягчить ни души, ни нервовъ будущаго римскаго министра. Поступивъ на службу, онъ не жалѣлъ ни шеи, ни совѣсти, чтобъ проложить себѣ дорогу поближе къ престолу. Угаданный Григоріемъ XVI и любимый имъ за безусловную покорность чужимъ желаніямъ, не всегда чистымъ и безукоризненнымъ, онъ быстро возвысился при дворѣ. Сначала онъ былъ открытымъ врагомъ прогресса, но когда Пій IX провозгласилъ реформу, Антонелли прикинулся горячимъ либераломъ. „Наградой за эти новыя мнѣнія была красная шапка и портфейль; они доказали Сонино, что либерализмъ иногда выгоднѣе разбоя". (Quest. Romaine, стр. 140 — 142). Со времени отъѣзда папы въ Гаету, Антонелли пріобрѣлъ совершенную довѣренность его и, во имя католическаго владыки, если не безусловно, то полномочно — правилъ Квириналомъ, а изъ него и всѣми римскими владѣніями. Его братья занимаютъ самыя выгодныя мѣста, его вліянія боятся родовые аристократы, потомки тѣхъ графовъ и князей, которые ведутъ свою генеалогію отъ Сципіоновъ и Цинциннатовъ, его ненавидитъ народъ, но власть его тверда и не болѣе, какъ въ десять лѣтъ Сонинскій бѣднякъ сдѣлался однимъ изъ первыхъ богачей Италіи. По-

слѣ такого примѣра, едва ли проповѣдь можетъ исправить лѣнивца и внушить уваженіе къ честному труду...

Народонаселеніе римской области отличается превосходнымъ физическимъ здоровьемъ, атлетической силой и рѣдкими способностями души. Эстетическое чувство, воспитанное великой школой художниковъ, даетъ ему неоспоримое превосходство надъ другими націями. Его обвиняютъ въ недостаткѣ энергіи, но это обвиненіе едва ли справедливо: исторія Рима и живучесть племени доказываютъ противное. Къ сожалѣнію, эта энергія, не находя правильныхъ исходовъ, прорывается въ порокахъ, какъ это обыкновенно бываетъ у народовъ, лишенныхъ гражданскаго развитія. Этотъ упадокъ римскаго народа объясняется его воспитаніемъ. „Плебеи вѣчнаго города, продолжаетъ Эдмондъ Абу, — большія дѣти, дурно воспитанныя и разными средствами развращенныя. Правительство, живущее среди нихъ и боящееся ихъ, обращается съ ними кротко. Оно требуетъ отъ нихъ небольшихъ налоговъ, забавляетъ ихъ зрѣлищами и даетъ имъ хлѣба... Оно не учитъ ихъ читать, но не запрещаетъ имъ просить милостыни; оно посылаетъ къ нимъ капуцина на домъ; капуцинъ даетъ лотерейные билеты женѣ, пьетъ съ мужемъ, учитъ дѣтей, а иногда и производитъ ихъ. Римскій плебей увѣренъ, что онъ не умретъ съ голоду, если нѣтъ хлѣба у него дома, онъ беретъ его изъ корзины булочника: законъ позволяетъ. Все, что требуется отъ нихъ,—быть добрыми христіанами, кланяться духовенству, унижаться передъ богатыми, ползать передъ патриціями и не бунтовать. Ихъ строго наказываютъ, если они не являются на исповѣдь и причастіе передъ Пасхой или выражаются о святыхъ не съ должнымъ уваженіемъ. Церковный трибуналъ не допускаетъ въ этомъ случаѣ никакихъ возраженій, надъ всѣмъ прочимъ царитъ полиція. Имъ прощаютъ преступленія, поощряютъ къ подлости, но не дозволяютъ одной вещи — желанія свободы, крика противъ злоупотребленій и гордости— быть человѣкомъ... Что особенно удивляетъ меня, что послѣ такого воспитанія они еще сохранили что-то человѣческое... Не судите ихъ слишкомъ строго: подумайте, что они ничего не читали, никогда не выходили изъ Рима, гдѣ примѣръ блеска подается имъ кардиналами, примѣръ разврата — прелатами, примѣръ взяточничества — чиновниками, примѣръ грабительства — министромъ финансовъ. Вспомните, что изъ ихъ сердца постарались вырвать, какъ дурную траву, всякое чувство человѣческаго достоинства, что служитъ основаніемъ всѣхъ добродѣтелей". (Question Romaine, стр. 40—50).

Но если въ массахъ такъ низко падаетъ воспитаніе, принимая это слово въ обширномъ значеніи, то едва ли оно лучше въ высшемъ сословіи. Образованіе римскаго юноши-аристократа не имѣетъ никакой положительной цѣли. Онъ ростетъ между монастыремъ и передней Квиринала. Еслибъ онъ не чувствовалъ призванія сдѣлаться прелатомъ

или честолюбія носить кардинальскую рясу, для него остается такъ мало желаній въ жизни, что воспитаніе его кромѣ наружной роскоши не можетъ удовлетворять другимъ, высшимъ потребностямъ человѣка. Кто-то сравнилъ римлянъ „съ лошадью благородной породы, осужденной кружиться въ манежѣ и жевать хлѣбъ съ повязкой на глазахъ". Это сравненіе, нѣсколько грубое, но едва ли преувеличенное въ отношеніи римскаго патриція. Въ двадцать пять лѣтъ отъ роду онъ едва открываетъ взглядъ на жизнь, и, не понимая ея интересовъ, продолжаетъ прозябать до конца дней своихъ, переходя отъ опеки няньки подъ опеку монаха.

Въ этомъ очеркѣ народнаго воспитанія узнается не одинъ Римъ, но съ большимъ или меньшимъ различіемъ вся Италія. Въ Сардиніи оно, конечно, лучше, зато въ Неаполѣ и Венеціи еще хуже. Чтобъ дополнить эту картину общимъ взглядомъ, обратимся къ мемуарамъ Монтанелли; онъ говоритъ о нравственномъ состояніи самаго лучшаго общества—тосканскаго. Въ послѣднія сорокъ лѣтъ оно шло впереди умственнаго движенія Италіи; изъ него, какъ изъ центра, ниспадали лучи свѣта на прочія части; оно первое возстало за независимость въ 1848 году и послѣднее вышло изъ борьбы. Но вотъ отзывъ самаго безпристрастнаго судьи о характерѣ современныхъ тосканцевъ: „Если справедливо, что величіе націй зависитъ отъ ихъ нравственной силы и что онѣ падаютъ, когда въ нѣдрахъ ихъ замираютъ мощные характеры, то какъ же назвать ту разрушающую политику, которая растлила удивительныя способности тосканскаго народа".

„Равнина Арно чаруетъ взоръ чудесной гармоніей своего цѣлаго; здѣсь не видно печальныхъ контрастовъ — ни монотонныхъ долинъ, рѣзко замыкаемыхъ вершинами Альпъ, — въ сѣверной Италіи, ни развалинъ древнихъ открытыхъ городовъ, окаймленныхъ апельсинными лѣсами, ни виноградниковъ, зрѣющихъ около почвы, засыпанной чернымъ пепломъ лавы — Южной Италіи. Долина и холмъ, холмъ и гора, бѣлый домикъ земледѣльца, красиво стоящій среди фермы, деревенская колокольня, село и городъ такъ стройно сливаются въ одну картину, что разнообразіе не уничтожаетъ единства, а единство не утомляетъ монотонностью. Та же самая гармонія царствуетъ въ нравственной природѣ тосканца: соединеніе здраваго практическаго смысла съ творческой фантазіей, силы съ мягкостью, великихъ художественныхъ способностей съ великими государственными талантами, типа Данта съ типомъ Макіавелли. Понятно, почему Тоскана была фокусомъ Европейской цивилизаціи; понятно, почему средневѣковая Тоскана, когда ея маленькія республики участвовали въ безмѣрной дѣятельности христіанскаго міра и когда идея господствовала надъ матеріальной силой, — Тоскана представляетъ колоссальные типы характеровъ, невозможныхъ въ нашу бездушную и меркантильную эпоху;—типы купцовъ, великихъ гражданъ и поэтовъ во всѣхъ родахъ.

Негоціанты Пизы, возвращаясь съ Востока, привозили съ собой порфировыя колонны и драгоцѣнные мавзолеи, предназначенные для тѣхъ громадныхъ памятниковъ, которые, возвышаясь въ уединенномъ углу города, между зеленью полей и лазурью неба, должны были согласить идею жизни съ идеей смерти, апоѳеозу религіи съ патріотизмомъ. Флорентинскіе купцы-сеньоры, задумавъ построить Santa-Maria del Fiore, приказали архитектору воздвигнуть прекраснѣйшій храмъ въ мірѣ. Какая сила энтузіазма! Какой страстный порывъ къ безконечному! Одно поколѣніе завѣщало другому гигантскія предпріятія и, довольное идеей, оно не заботилось о годахъ или вѣкахъ, въ которые должно исполниться предпріятіе. Оно не спрашивало, подобно намъ, мелкимъ торгашамъ, увидитъ ли и соберетъ ли оно плоды своихъ усилій".

„Эта высота характера пережила гражданскія смуты, волновавшія тосканскую демократію въ средніе вѣка; такъ что видя геройскіе подвиги послѣднихъ дней Пизы, Флоренціи и Сіены, принимаешь народную агонію за разсвѣтъ жизни. Какая безмѣрная любовь къ отечеству и какое величіе въ этихъ богатыряхъ Пизы! Послѣ отчаяннаго сопротивленія, впродолженіе четырнадцати лѣтъ и семи мѣсяцевъ, среди всевозможныхъ мукъ и лишеній, принужденные сдаться отъ голоду, они не хотятъ видѣть порабощеннаго отечества и, не смотря на великодушное поведеніе враговъ, вызванное удивленіемъ къ ихъ храбрости, предпочитаютъ вѣчное изгнаніе неволи. И вотъ они покидаютъ землю, покрытую гробами ихъ отцовъ и ищутъ убѣжища — одни въ Сициліи, другіе въ южной Франціи или Швейцаріи, оставивъ за собой пустынное отечество. А Флоренція! осаждаемая императорскими и папскими войсками, она знаетъ, что сила сломитъ ее. Но не думайте, чтобъ она не сопротивлялась; она борется за преданія, и передаетъ потомству грандіозный и вдохновенный образъ Франческо Феручи. Я не могу оторвать взора отъ этой народной Голгофы, не упавъ ницъ передъ вами, послѣдніе благородные бойцы Сіены, которые, подъ тиранніей Медичисовъ, доказали, какая жизнь таится въ груди тосканскаго народа; съ восторгомъ я смотрю на васъ, какъ вы выходите изъ побѣжденнаго города и, обремененные ношей вашихъ республиканскихъ пенатовъ, взбираетесь на утесистыя вершины Монталчино и, въ этомъ горномъ пріютѣ, подъ защитой природы, снова дышете воздухомъ свободы".

„Но характеръ тосканца выродился подъ правленіемъ принцевъ. Прежде всего надо замѣтить, что это правленіе, начатое обманомъ, даже не завоеванное отличіемъ на полѣ битвы, не могло внушить къ себѣ того искренняго уваженія, которое было первомъ феодальной власти. Аристократы, которыми оно окружило себя, были сыновья купцовъ, преображенныхъ въ графовъ, маркизовъ и рыцарей. Народъ не могъ смотрѣть на нихъ безъ смѣха и отказаться въ пользу ихъ отъ своего величія; вслѣдствіе этого тосканская демократія, въ существѣ,

осталась республиканской и не склонилась безусловно передъ гордой и новой властью. Тосканецъ могъ любить и уважать того или другого властителя за его личныя качества, но самое начало никогда не восторжествовало надъ нимъ; отъ перваго министра и до послѣдняго чиновника на всѣхъ своихъ правителей онъ смотрѣлъ съ неудовольствіемъ и оскорблялъ ихъ презрѣніемъ; но демократическое чувство его не имѣло сознанія той соціальной силы, которая возвышаетъ республики. Выродившійся тосканецъ за спиной своего начальника смѣялся надъ нимъ, а передъ лицомъ его казался раболѣпнымъ и покорнымъ; онъ не стыдился унижаться передъ самымъ ничтожнымъ чиновникомъ, когда это униженіе служило на пользу ему и пріобрѣтало милость презираемой имъ власти. И что всего хуже, та же артистическая способность, которая, въ горнилѣ великихъ и благородныхъ страстей, отлила доблестные характеры средневѣковой Тосканы, теперь, за отсутствіемъ хорошихъ чувствъ, исказила всѣ нравственные типы, украсила эгоизмъ всѣми лестными качествами и животную огрубѣлость назвала изящнымъ тономъ общества; она произвела столь же отвратительные характеры, сколько они были прекрасны въ прежнее время. На языкѣ падшаго тосканца образовался цѣлый кодексъ правилъ, учтивыхъ подлостей; черствый эгоистъ считался умникомъ, а благородный человѣкъ, преданный благу другихъ, слылъ за дурака и мечтателя; по этому кодексу порядочный человѣкъ долженъ былъ исключительно заниматься своими собственными дѣлами и не мѣшаться въ общественныя, оставить міръ такъ, какъ онъ есть, каждому улыбаться, къ каждому прилизываться, и никому не довѣрять. Когда среди этого ада нравственнаго растлѣнія совѣсть заснула, каждый заключился въ свою собственную презрѣнную страсть, за которой для него не было никакихъ заботъ, хоть бы провалилась вселенная. Юношество получило самое іезуитское воспитаніе; атеисты являлись къ обѣднѣ, чтобъ не быть замѣченными; другъ не имѣлъ духа защищать своего друга, и ханжи смѣялись надъ ближнимъ; въ дѣйствительности, эта гибкость характера, эта сговорчивость, мягкость манеръ, которыя пріобрѣли современнымъ тосканцамъ репутацію добраго, вѣжливаго и благосклоннаго народа, въ дѣйствительности эти свойства были плодомъ отсутствія убѣжденій, всякаго чувства достоинства и энергическихъ страстей".

„Флорентійскій плебей, въ періодъ своего паденія, сохранилъ одни отрицательныя качества демократіи. Stenterello — народная маска Флоренціи — представляетъ слугу, который не любитъ и не уважаетъ своего господина; онъ льститъ ему, хвалитъ и забавляетъ его; потомъ, повернувшись къ нему, смѣется и передразниваетъ его всѣми гримасами злого дурака. Хитрый и пронырливый, онъ сознаетъ свое гадкое положеніе; онъ грязенъ и нисколько не думаетъ скрывать своей грязи; онъ бѣденъ, и хохочетъ или воспѣваетъ свою бѣдность; онъ глухъ, когда

не находитъ выгоды слушать; онъ другъ всѣхъ и на самомъ дѣлѣ никого не любитъ; хорошій кусокъ хлѣба, горсть серебра и эпиграмма — вотъ высшее счастіе этого падшаго артиста". (Memor. di G. Montanelli, гл. IV).

Изъ этой характеристики римскаго и тосканскаго общества можно видѣть, на какой степени нравственнаго развитія стоитъ современная демократія Италіи. Мы могли бы еще прибавить портретъ — неаполитанскаго лаццарони, еслибъ онъ былъ менѣе извѣстенъ, и потомъ спросить: „дѣйствительно ли народъ, предоставленный самому себѣ, способенъ не только создать, но даже чувствовать потребность національной реформы". Мы живемъ въ тотъ вѣкъ, когда государственныя утопіи теряютъ кредитъ; мы видимъ, что великіе перевороты прежде зрѣютъ въ умѣ и волѣ, потомъ выражаются на дѣлѣ; мы убѣждаемся каждый день, какъ медленно и трудно выработываются самые простые и общедоступные вопросы въ народной жизни. Чтобъ избавить еврея отъ незаслуженнаго униженія въ христіанской Европѣ, при усиліяхъ философіи и цивилизаціи, въ триста лѣтъ религіозной вѣротерпимости, едва дано ему право безнаказанно пройдти столичной улицей или открыть синагогу не въ грязныхъ кварталахъ нѣсколькихъ городовъ. Мы не думаемъ, чтобъ благородныя желанія были чужды человѣческой природѣ или великіе акты прогресса упорно отвергались ею, — это значило бы клеветать, — но эти желанія остаются удѣломъ немногихъ и эти акты противорѣчатъ общему ходу жизни. Кто не понимаетъ истины, — что каждый долженъ быть вознагражденъ по его способностямъ и каждая способность по мѣрѣ ея трудовъ; но возьмитесь примѣнить это правило къ работнику въ мастерской, къ художнику въ студіи, къ ученому въ кабинетѣ, и вамъ придется перевернуть вверхъ дномъ весь существующій порядокъ вещей. За всѣмъ тѣмъ, для Италіи есть вѣра въ будущее. Въ исторіи не рѣдко встрѣчаются такія эпохи, когда, повидимому, все падаетъ и разлагается, но въ самомъ разрушеніи таится новая жизнь. Бываетъ, что сухая и самая тощая нива даетъ обильный плодъ, если падаетъ на нее доброе сѣмя и дождь во-время. Наблюдая послѣднія явленія итальянской народности, мы не можемъ не удивиться богатству ея силъ и неистощимой энергіи. Послѣ всѣхъ бѣдствій и горькихъ опытовъ, она сохранила всю свѣжесть любви къ независимости и полную ненависть къ ея гонителямъ. Всякое новое событіе, коснувшись одной части, волнуетъ весь полуостровъ; гдѣ бы ни появился смѣлый голосъ въ защиту ея правъ, онъ вездѣ находитъ откликъ, — вездѣ отъ сѣвера до юга слышится общій ропотъ противъ неаполитанскаго деспотизма и австрійской казармы, управляющей царицей Адріатики. Все это доказываетъ, что національное чувство, не смотря на искаженіе и попраніе его, никогда въ Италіи не умирало.

Въ развитіи его главнымъ и единственнымъ орудіемъ была литера-

тура. И это понятно. Въ странѣ, обреченной на политическое безмолвіе, она, обыкновенно, овладѣваетъ всѣми интересами современной эпохи. Романъ, сатира и драма проводятъ въ общество тѣ понятія, которыя, собственно, не принадлежатъ имъ. Съ идеальнымъ творчествомъ они соединяютъ предметы судебной трибуны, или политическихъ дебатовъ. Такое направленіе вредитъ чистотѣ литературнаго генія, лишая его спокойнаго наблюденія; оно доказываетъ болѣзненность эпохи; но виноватъ въ этомъ не писатель; онъ служитъ нѣжнымъ органомъ потребностей самого общества; онъ такъ или иначе отвѣчаетъ на его запросы. Если произведенія Альфіери, столь бѣдныя драматическимъ дѣйствіемъ, но столь богатыя отвлеченными истинами и желчнымъ негодованіемъ противъ тиранніи, часто переходятъ изъ области искусства въ область политическихъ памфлетовъ, — вина не его; это — недостатокъ всего піемонтскаго общества, въ концѣ XVIII вѣка. Викторъ Альфіери, этотъ удивительный и безпокойный умъ, явился въ ту пору, когда Италія просыпалась отъ долгаго мертвящаго сна, которымъ усыпилъ ее испанскій деспотизмъ. На нее упала искра новой философіи, возбудившей вниманіе всей Европы; за неимѣніемъ политической литературы, философскими вопросами овладѣла трагедія; она обратила сцену въ парламентскую трибуну и распространяла соціальныя истины языкомъ актера. Поэтъ не столько заботился о сценическихъ эффектахъ и оригинальности характеровъ, сколько о страстныхъ монологахъ противъ рабства. Съ Альфіери проявляется въ итальянской литературѣ народное чувство. Доселѣ она служила игрушкой въ рукахъ аристократическаго *e far niente*, отселѣ она начинаетъ говорить языкомъ всей націи, говорить сердцу всей Италіи. Съ тѣмъ вмѣстѣ, она усвоиваетъ практическія цѣли. Если мы обратимся къ произведеніямъ XVII вѣка, мы не найдемъ въ нихъ никакой связи съ общественными интересами, какъ будто мысль писателя жила внѣ Италіи и своей эпохи. Это холодное отчужденіе отъ живого міра объясняется совершеннымъ отсутствіемъ не однихъ талантовъ, но и самого чувства націи. Напротивъ, съ половины XVIII вѣка, послѣ сатиръ Парини литература сближается съ дѣйствительной жизнью, передавая тайны ея народу. Впослѣдствіи, съ каждымъ новымъ періодомъ соціальный нервъ бился живѣй. Послѣ Альфіери, Уго Фосколо идетъ дальше. Онъ принимаетъ въ себя всѣ нравственныя болѣзни вѣка, и примѣромъ жизни оправдываетъ свои убѣжденія. Чтобъ остаться вѣрнымъ направленію, онъ отказывается отъ наслѣдства старой матери, родины и даже любимой имъ науки. Чтобъ не дать слово подданства австрійскому коммисару, онъ рѣшается лучше убѣжать въ швейцарскія горы, вынесть лишенія крайней бѣдности и умереть въ дали отъ Италіи, на берегахъ Темзы. Такая высокая жертва не могла быть забыта его соотечественниками; они простили ему всѣ недостатки изъ уваженія къ трагической борьбѣ за святость идеи. Въ Альфіери еще видѣнъ человѣкъ стараго

времени, заклятый врагъ французской революціи и гордый аристократъ Савои; въ Уго Фосколо эти черты совершенно исчезаютъ; онъ любитъ народъ не въ одной идеѣ, но доказываетъ свою любовь цѣлой жизнью. Въ произведеніяхъ Альфіери иногда сквозь слезы проглядываетъ надменная улыбка надъ человѣчествомъ, вмѣстѣ съ сожалѣніемъ и презрѣніемъ къ его слабостямъ; Уго Фосколо плачетъ безъ насмѣшки и страдаетъ безъ гримасъ. Въ его „Jacopo Ortis" собраны жалобы, упреки и проклятія всей Италіи; въ его трагедіи „Ricciardi" на картинѣ средневѣковыхъ междоусобицъ раздается плачъ о единствѣ Италіи. Эта драма, представленная на Болоньскомъ театрѣ, имѣла огромный успѣхъ въ публикѣ. Послѣ Уго Фосколо итальянская литература, отряхнувъ монастырскую пыль и лѣнивый педантизмъ пятидесяти академій, окончательно слилась съ народной жизнью. Онъ умеръ не задолго до появленія „Юной Италіи".

Въ послѣднія тридцать лѣтъ „Юная Италія" была свѣточемъ для народа. Она будила въ немъ мужество и одушевляла его въ страданіяхъ. Ей обязано воспитаніемъ то молодое поколѣніе, которое появилось въ рядахъ Гарибальди.

Съ ея судьбой столь странной и блистательной, соединяется судьба всѣхъ партій и тайныхъ обществъ Италіи. Къ сожалѣнію, она дѣйствовала извнѣ, среди постоянныхъ препятствій и опасностей. Исторія и значеніе ея здѣсь не могутъ быть раскрыты...

Послѣ неутомимаго и геніальнаго представителя „Юной Италіи", особенной популярностью пользовались Манцони и Джоберти. Мы остановимся на этихъ личностяхъ, чтобъ означить именами ихъ два господствующихъ направленія современной итальянской литературы.

Александръ Манцони, внукъ знаменитаго юриста Беккаріа, ученикъ Виргилія, Данта и писателей XVI вѣка, началъ литературную дѣятельность съ оды, какъ большая часть итальянскихъ поэтовъ. Но молодой талантъ, воспитанный въ серьезной школѣ путешествій и усидчивыхъ кабинетныхъ трудовъ, постепенно росъ. Въ 1820 году вышла въ свѣтъ первая трагедія его „Графъ Карманьола". Она открыла, въ одно и то же время, два новыхъ направленія — романтическое и историческое. Въ первомъ отношеніи онъ освободилъ творчество отъ древне-классической рутины такъ называемыхъ единствъ; во второмъ — онъ оказалъ значительную услугу національному чувству, обративъ его къ печальному прошедшему Италіи. Въ обоихъ случаяхъ онъ угадалъ потребности вѣка, потому что эта реакція обнаружилась во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Черезъ семь лѣтъ послѣ „Карманьолы", явился знаменитый романъ его „Promessi Sposi". Онъ далъ громкую извѣстность автору и былъ принятъ Италіей съ необыкновеннымъ энтузіазмомъ. Эта книга затронула самыя живыя стороны Миланскаго общества. Разсказавъ приключеніе двухъ сельскихъ любовниковъ, Манцони нарисовалъ полную

картину Ломбардіи XVII вѣка. Передъ читателемъ проходятъ на историческомъ фонѣ всѣ состоянія, со всѣми бѣдствіями — голодомъ, бунтомъ, осадой и заразой. Общій тонъ разсказа, нѣсколько запутаннаго подробностями, утомляетъ; зато эпизоды великолѣпные. Но что особенно нравилось итальянцамъ въ этомъ романѣ — это политическіе намеки; они просвѣчиваютъ не только въ отдѣльныхъ образахъ, какъ, напримѣръ, въ неподражаемомъ Innominato, но и въ самой идеѣ, проникающей повѣсть. Гдѣ авторъ ставитъ испанца, тамъ надо разумѣть австрійца.

Какъ драматическій писатель, Манцони имѣетъ ближайшее сходство съ Викторомъ Гюго; они оба отличаются огромной начитанностью, уваженіемъ къ исторіи, иногда доводимымъ до педантизма, и мастерскимъ воспроизведеніемъ отжившаго міра. Недостатки ихъ также общіе — они оба холодны. Передавая смыслъ старыхъ хроникъ съ рабскимъ подражаніемъ, они часто жертвуютъ точности факта художественнымъ интересомъ. Въ нихъ нѣтъ той драматической страсти, которая въ Шекспирѣ уноситъ зрителя, какъ море на своихъ волнахъ. Сравнивая Манцони съ Вальтеръ-Скоттомъ, не трудно угадать различіе между шотландскимъ и итальянскимъ романистомъ. Въ первомъ господствуетъ спокойный разсказъ наблюдателя и превосходнаго знатока британской старины; онъ ясно и вѣрно, но безъ всякой напередъ заданной мысли, отражаетъ въ своемъ произведеніи историческій фактъ, стараясь оживить его блестящей живописью античныхъ подробностей; у Манцони эта любовь къ прошлому, этотъ удивительный тактъ наблюденія соединяется съ соціальными симпатіями. Первый не вздыхаетъ о свободѣ, потому что Англія имѣетъ ее; второй плачетъ вмѣстѣ съ Миланомъ о потерѣ ея. Характеры у того и другого одинаково ярки и типичны, но Вальтеръ-Скоттъ любитъ въ нихъ больше свѣтлую, чѣмъ мрачную сторону; его лорды — весельчаки, его кланы — пріятные застольные собесѣдники; напротивъ, Манцони, какъ пламенный питомецъ Данта, требуетъ отъ своихъ героевъ терпѣнія, страданій, позволяя имъ одно утѣшеніе — надежду.

Но есть черта, которая сообщаетъ автору „Promessi Sposi“ особенное, ему одному свойственное качество: онъ ревностный католикъ. Женившись въ 1808 году на женевской протестанткѣ, поэтъ круто повернулъ отъ религіознаго индифферентизма къ положительному вѣрованію. Преданіе Рима обратилось для него въ источникъ вдохновенія, такъ точно, какъ для Цесаря Балбо — величіе папской власти. Впрочемъ, католицизмъ Манцони не надо смѣшивать съ слѣпой преданностью внѣшнему догмату. Евангеліе для него — народная книга, высокаго демократическаго характера, какъ для Савонаролы она была оружіемъ противъ пороковъ римскаго духовенства и честолюбія Ватикана. Манцони, подобно миланскому монаху, думалъ, что политическое паденіе Италіи есть слѣдствіе нравственнаго паденія; поэтому, чтобъ преобра-

зовать общество надо сперва преобразовать каждое отдѣльное лицо, что возможно, по его мнѣнію, только съ помощью Евангелія. Такимъ образомъ, старая католическая школа, смѣшанная съ новыми соціальными понятіями, была возобновлена Манцони въ XIX вѣкѣ. „Она, говоритъ Монтанелли, — породила философію Росмини, легенды и романы Гросси д'Азеліо, піемонтца происхожденіемъ, ломбардца по воспитанію, историческіе сборники Кантю, разсказы Ахилла Маури и произведенія во всѣхъ родахъ и всегда интересныхъ Никколо Томассео. (Гл. XXXV). Эту школу упрекаютъ въ томъ, что она проповѣдуетъ покорность угнетеннымъ, отнимаетъ послѣднюю энергію у слабыхъ и питаетъ преданіе, съ которымъ прогрессъ Италіи никогда невозможенъ. Но еслибъ это и было такъ, то едва ли какая нибудь современная школа способна такъ сильно дѣйствовать на массы, для которыхъ отвлеченныя истины понятны только тогда, когда онѣ говорятъ ихъ чувству и воображенію. Притомъ, католическое начало, если принять его въ смыслѣ первобытнаго христіанства, открываетъ мыслителю широкое поле соціальныхъ выводовъ: тѣ же принципы, которые обратились въ орудіе угнетенія народовъ, могутъ и должны быть направлены въ пользу ихъ. Такъ, Томассео изъ евангельскаго братства образовалъ теорію гражданскаго коммунизма, и дань цесарю назвалъ данью народовъ... Замѣчательно, впрочемъ, что большая часть послѣдователей Манцони оказались вялыми и апатичными дѣятелями 1848 года.

Гораздо больше вліянія имѣлъ на Италію Джоберти. Онъ возвелъ романтическую школу Манцони на степень философскаго синтеза. Изгнанный изъ Піемонта Карломъ-Альбертомъ за участіе въ „Юной Италіи", Джоберти удалился во Францію, потомъ въ Бельгію, гдѣ онъ занялъ философскую каѳедру въ частномъ институтѣ. Увлеченный страстной проповѣдью Ламне, въ то время новой и оригинальной, онъ занялъ у него точку зрѣнія, методу и самый языкъ. Въ 1839 году піемонтскій изгнанникъ издалъ свое „Введеніе къ изученію философіи". Цѣль книги состояла въ томъ, чтобъ примирить католическое начало съ свободнымъ мышленіемъ и папскую власть съ живыми интересами вѣка. Вслѣдъ за тѣмъ вышло его сочиненіе: „о нравственномъ и политическомъ превосходствѣ (Primato) итальянцевъ". Это былъ панегирикъ намѣстнику св. Петра, полный аскетизма и мистическихъ иллюзій, изумившихъ самыхъ невзыскательныхъ судей въ дѣлѣ философіи. „Цивилизація, по мнѣнію Джоберти, состоитъ не въ матеріальномъ счастіи, которымъ гордятся народы; Италія сохранила тѣ абсолютныя начала, въ которыхъ заключается истинная цивилизація; и въ этомъ — нравственное превосходство Италіи; оно должно привесть ее къ соціальному первенству въ Европѣ, когда падшая духовная власть, обративъ взоръ къ идеалу своего призванія, убѣдится въ своемъ настоящемъ паденіи и возвысится до тѣхъ истинъ, которыя ей ввѣрены". Очевидно, молодой аббатъ приложилъ

къ итальянскому возрожденію средневѣковой дуализмъ: духъ и мечъ, солдатъ и священникъ должны раздѣлить будущія судьбы міра. Эта книга надѣлала много шуму и вооружила противъ Джоберти всѣ литературныя партіи Италіи, за исключеніемъ, разумѣется, іезуитовъ, которые провозгласили его вождемъ XIX вѣка. Но радость ихъ продолжалась не долго. Джоберти, какъ ловкій тактикъ, хотѣлъ ударить на своихъ противниковъ въ ту минуту, когда они всего меньше думали о томъ. Желая внести духъ реформы въ самое сердце Италіи, собрать себѣ послѣдователей въ семинаріяхъ и монастыряхъ, заставить себя слушать кардиналовъ и монсиньоровъ, онъ не желалъ, на первый разъ, расходиться съ римскимъ духовенствомъ; еслибъ онъ рѣшительно пошелъ противъ всѣхъ злоупотребленій папской власти, объявивъ себя врагомъ самой сильной касты, ученіе его, пораженное проклятіемъ церкви, не имѣло бы ни вѣры, ни ходу среди итальянской публики. Такимъ образомъ, обезпечивъ себѣ вліяніе и довѣріе, онъ могъ открыто посмотрѣть въ лицо католическаго фарисейства. Мы не оправдываемъ этой методы; она недостойна открытаго и благороднаго ума; но хорошія цѣли часто оправдываютъ дурныя средства. Съ этимъ намѣреніемъ Джоберти издалъ въ 1845 году „Пролегомены", великолѣпное разсужденіе, говоритъ Монтанелли, гдѣ онъ изображаетъ іезуитизмъ классической рукой, — разоблачаетъ тотъ пронырливый, цѣпкій и всезаражающій геній, который старается растлить мощную религію Назарея". Теперь старые друзья Торквемады подняли общій крикъ противъ Джоберти; они съ ужасомъ отступились отъ своего адвоката; но было поздно. За нимъ была слава писателя, ими же приготовленная, покровительство Ватикана и сочувствіе той части духовенства, которая сознавала нелѣпости санфедистовъ. Станъ Джоберти съ каждымъ днемъ увеличивался, тѣмъ больше, что бюрократія Григорія XVI вовсе не внушала къ себѣ народнаго уваженія. „Чтобъ понять всю важность этой реформы, надо знать, что въ Италіи со времени упадка всѣхъ другихъ соціальныхъ учрежденій, народъ не сохранилъ другого синтеза, кромѣ синтеза церкви. Слово священника осталось единственнымъ правиломъ массъ, въ которыхъ имя Италіи не возбуждало больше никакихъ воспоминаній объ общемъ величіи, такъ что національное чувство, безъ посредства духовенства, не могло проникнуть въ народъ. Безъ его содѣйствія мы могли бы принять свободу извнѣ, какъ это было въ концѣ прошлаго вѣка, могли бы воспользоваться ею подъ вліяніемъ партій, какъ въ 1821 и 1831 годахъ, но реформы, возникшей изъ самыхъ нѣдръ націи, какъ въ 1848 году, мы никогда не имѣли бы". (Гл. XI).

Такъ философія Джоберти, начатая обскурантизмомъ и окончившаяся величайшимъ движеніемъ въ умахъ, соединяла въ одномъ національномъ чувствѣ, такъ долго разъединенные, народъ и духовенство. Это соединеніе, во имя демократическихъ началъ, было новымъ и необы-

чайно счастливымъ явленіемъ для Италіи. Оно уже принесло свой цвѣтъ, и не замедлитъ дать плодъ. Джоберти, кромѣ юношества, преобразилъ многихъ кардиналовъ, епископовъ и молодыхъ монаховъ.

Кромѣ этихъ двухъ школъ, умственная дѣятельность, сдавленная извнѣ, но тѣмъ больше сосредоточенная внутри, развивалась отдѣльными вѣтвями въ каждомъ политическомъ центрѣ полуострова. Въ Неаполѣ, Римѣ, Венеціи, Туринѣ, Пизѣ и Флоренціи были свои представители прогресса, свои друзья народа. Здѣсь смѣшивались всѣ партіи, всѣ ученія, — отъ соціальной философіи Лампреди до политической ненависти къ Австріи карбонаріевъ, отъ педагогическихъ наставленій бѣднаго Романьози до французскихъ теорій Феррари, отъ революціоннаго погрома Матцини до протестантскихъ совѣтовъ Никколини; но всѣ они сходились въ одномъ нераздѣльномъ желаніи — итальянской независимости и радикальнаго преобразованія римской власти. И если Росси справедливо замѣтилъ, что „нація, подобно отдѣльному существу, готовитъ себѣ блистательные успѣхи въ тотъ день, когда она сосредоточиваетъ всѣ силы ума на одномъ пунктѣ", то Италія, благодаря общимъ усиліямъ своего ученаго и литературнаго сословія, не долго будетъ ожидать этого дня. Народное воспитаніе ея начато; оно куплено необыкновенными жертвами, — остается продолжать его. Съ помощью его Италія создастъ себѣ національное единство и независимое будущее. Это — лучшее средство для возрожденія народовъ; оно не обѣщаетъ ни громкихъ побѣдъ, ни яркихъ тріумфовъ; зато оно не требуетъ ни раззоренія, ни бѣдности, ни смерти, расточаемыхъ войной; оно совершается тихо и незамѣтно — у домашняго очага, подъ вліяніемъ матери, въ школѣ подъ руководствомъ наставника, въ кабинетѣ ученаго, но совершается прочно. За побѣдами слѣдуютъ пораженія, за революціями реакціи, но за народнымъ образованіемъ никогда не возвращается варварство. Идеи медленно проникаютъ въ массы, но разъ занесенныя въ сердце ихъ, онѣ приносятъ десятеричный плодъ за трудъ и потъ сѣятеля. Когда Италія приметъ свое единство не отъ руки диктатора, не отъ случайной конституціи, не какъ милостыню изъ тюльерійскаго кабинета, а воспитаетъ его въ себѣ самой, тогда его не разорветъ никакая внѣшняя сила.

1860 г.

ГАРИБАЛЬДИ.

(Очеркъ).

Мы не знаемъ изъ современныхъ жизней болѣе драматичной и разнообразной, какъ жизнь Гарибальди. Съ его именемъ соединяется воспоминаніе о замѣчательныхъ событіяхъ нашего вѣка; его мечъ, болѣе тридцати лѣтъ неизмѣнно служитъ... особенно свободѣ его отечества. Въ Италіи или въ Америкѣ, въ Генуѣ или въ Римѣ, гдѣ бы ни былъ поданъ голосъ за правое дѣло, Гарибальди является борцомъ или вождемъ народной партіи. Его простое и честное слово внушаетъ безграничное довѣріе массамъ; его отвага одушевляетъ примѣромъ воина и гражданина. Неудивительно, если имя его обратилось для итальянцевъ въ классическую легенду, украшенную самыми смѣлыми вымыслами южной фантазіи; о живой личности, которую мы знаемъ, слышимъ и ни на минуту не упускаемъ изъ виду, ходятъ разсказы, похожіе на эпическія пѣсни. Гдѣ бы онъ ни находился — въ Альпійскихъ горахъ съ оружіемъ въ рукѣ, или на островѣ Капрера за плугомъ и сохой, вездѣ слѣдитъ за нимъ общественное вниманіе, желая проникнуть до самаго сокровеннаго помысла его души. Все это доказываетъ, что въ дѣйствительной жизни Гарибальди есть много симпатичныхъ сторонъ для человѣчества и великихъ фактовъ — для Италіи.

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть интереснѣе отдѣльной личности, на которой покоится надежда цѣлой страны? Что можетъ быть выше и чище этой безпокойной и неутомимой жизни, безусловно отданной на пользу благородной идеи? Здоровье, семейство, состояніе, все что̀ есть для человѣка самаго дорогого и близкаго, все это Гарибальди принесъ въ жертву своему безкорыстному стремленію. Его покойная жена, Анита, не разлучалась съ нимъ ни во время трудныхъ походовъ, ни въ огнѣ

опасныхъ битвъ; постоянно на конѣ, она шла съ своимъ мужемъ всюду, гдѣ бы знамя его ни развѣвалось. Его сынъ вмѣстѣ съ отцомъ, и въ рядахъ сицилійскихъ волонтеровъ. Его домъ и ферма отданы подъ залогъ тѣхъ кораблей, которые онъ сжегъ ради спасенія Сициліи. Безъ преувеличенія можно сказать, что для него нѣтъ богатства — кромѣ стараго меча, нѣтъ ничего завѣтнаго въ мірѣ—кромѣ свободы Италіи. И еслибъ Гарибальди не былъ политическимъ дѣятелемъ, то и тогда жизнь его была бы въ высшей степени замѣчательной.

По характеру, онъ принадлежитъ къ числу самыхъ дѣятельныхъ темпераментовъ нашего времени. Неспособный ограничиться кабинетнымъ размышленіемъ или праздными теоріями публициста, онъ всю свою жизнь провелъ въ постоянныхъ заботахъ, предпріятіяхъ и опасностяхъ. Два раза онъ переплывалъ Атлантическій океанъ; два раза онъ избѣгалъ преслѣдованія враговъ, укрываясь отъ нихъ, въ одеждѣ пастуха или подъ плащемъ кондотьера, въ горахъ или болотахъ; нѣсколько разъ голова его была оцѣнена австрійскимъ вѣроломствомъ, и всякій разъ спасался отъ рукъ своихъ палачей. Такая жизнь, полная трудовъ, лишеній и постоянныхъ тревогъ, закалила силы Гарибальди въ суровой школѣ практическихъ опытовъ. Для него тихая сфера поэта, художника и ученаго была бы слишкомъ тѣсной и невыносимой; ему нужно море, горное ущелье, нападеніе въ-расплохъ, ночная высадка на непріятельскій берегъ, и борьба со всѣми ея перемѣнами и случайными развязками. И для такой дѣятельности Гарибальди обладаетъ всѣми необходимыми условіями; необыкновеннымъ тактомъ наблюденія, быстрымъ соображеніемъ, дальновидностью въ планахъ и твердостью въ исполненіи ихъ, хладнокровіемъ въ неудачахъ и великодушіемъ въ побѣдѣ — однимъ словомъ, это — человѣкъ дѣйствія и воли. Какъ одинъ изъ передовыхъ застрѣльщиковъ вѣка, онъ проводитъ идею въ практическую жизнь народовъ, осуществляетъ на самомъ дѣлѣ то, что думаютъ и чего добиваются кабинетные мыслители. Въ этомъ отношеніи Гарибальди — полное олицетвореніе итальянской демократіи.

Мы передадимъ здѣсь лишь главныя черты изъ его жизни и тѣмъ дополнимъ его характеристику...

Въ тотъ день, когда Сѣверо-Американскіе Штаты празднуютъ торжество своей независимости, 4-го іюля (1807 года), въ Ниццѣ родился Іосифъ Гарибальди.

Отецъ его, старый честный рыбакъ воспитывалъ сына въ трудахъ и правилахъ своего скромнаго положенія. По цѣлымъ днямъ проводилъ мальчикъ на морѣ, и свободная стихія съ ея бурями и прелестью темноголубыхъ водъ образовала характеръ будущаго героя Италіи. Проходилъ день, наступалъ вечеръ, и маленькій Гарибальди садился за книгу. Ученіе, какъ мы имѣемъ право догадываться по нѣкоторымъ даннымъ, вовсе не привлекало его. На другое утро онъ охотно выходилъ

въ заливъ, и первые лучшіе уроки бралъ у самой природы. Отецъ радовался любви къ морю молодого Іосифа, и со временемъ хотѣлъ приготовить изъ него хорошаго пловца и ловкаго матроса. Съ этой цѣлью онъ отдалъ его юнгой въ сардинскій королевскій флотъ.

Отсюда начинается дѣятельная жизнь и подвиги Гарибальди.

Разсказываютъ, что во время крейсерства фрегата, на которомъ онъ служилъ, на этотъ фрегатъ напали пираты; завязалась драка, разбойники смѣло лѣзли на абордажъ — вдругъ мѣткій выстрѣлъ повалилъ ихъ атамана. Враги смѣшались и съ большимъ урономъ отступили. Виновникомъ побѣды былъ Гарибальди; ему принадлежалъ счастливый выстрѣлъ; — но участіе юнгъ въ сраженіи было запрещено, — и капитанъ корабля предалъ его военному суду. Молодого человѣка осудили, но король не только помиловалъ его, но еще помѣстилъ въ военное морское училище въ Ниццѣ.

Между тѣмъ австрійская цѣпь, надѣтая на Италію священнымъ союзомъ, крѣпче и крѣпче стягивала ея члены. Система Меттерниха, поставившая страну между безсмѣнной революціей и невыносимымъ угнетеніемъ, породила рядъ тѣхъ несчастій, которыя проводятъ кровавый слѣдъ въ исторіи XIX вѣка. Вѣнскому деспотизму отвѣчали постоянные заговоры и періодическія возстанія полуострова. Послѣ неаполитанской революціи двадцатыхъ годовъ, охватившей всѣ части Италіи, глубокая ненависть къ Австріи и къ измѣнникамъ народнаго дѣла сосредоточилась внутри партій. Тайныя общества работали съ необыкновенной энергіей, и въ тридцатыхъ годахъ достигли колоссальныхъ размѣровъ. Въ головѣ ихъ сталъ пылкій, образованный и неутомимый юноша, котораго судьба такъ блистательна внѣшними фактами и такъ бѣдна результатами. Вокругъ Матцини собралось юное поколѣніе, названное „Юной Италіей", и образовало центръ политическаго движенія страны.

Когда Карлъ-Альбертъ разстрѣливалъ въ Генуѣ и Шамбери людей, съ которыми прежде мечталъ о той же независимости Италіи, Матцини и Ромарино направили ударъ противъ Піемонта изъ Швейцаріи и Савои. Гарибальди участвовалъ въ этомъ предпріятіи, такъ неудачно оконченномъ не столько изъ-за личныхъ недостатковъ вождей и импровизированной арміи, сколько изъ-за общаго разочарованія Италіи послѣ ея рокового пораженія. Оставивъ Савою, Гарибальди поселился въ Марсели. Здѣсь онъ провелъ два года, занимаясь математическими науками и зорко наблюдая за политическимъ движеніемъ своего отечества. Новыя покушенія его были также безуспѣшны и, когда, повидимому, исчезла всякая надежда, онъ удалился въ Черногорію. Здѣсь, въ этомъ послѣднемъ убѣжищѣ свободы, защищаемой Альпійскими горами, онъ съ перемѣннымъ счастіемъ велъ войну противъ сильнѣйшаго непріятеля, но, не видя возможности долѣе сопротивляться, оставилъ Ев-

ропу и поселился въ Тунисѣ. Трудно сказать, что призвало его на полудикій берегъ Африки, и еще труднѣе рѣшить, что заставило его поступить на службу тунисскаго дея. Не долго, впрочемъ, Гарибальди служилъ деспоту; самоуправство его, ежедневныя потрясающія сцены раболѣпнаго двора и, наконецъ, интрига съ одной изъ любовницъ въ гаремѣ восточнаго повелителя заставили его искать новой дѣятельности и другого общества.

Южная Америка призывала его. Тамъ вспыхнула борьба между Монтевидео и диктаторомъ Розасомъ. Гарибальди, съ кучкой итальянскихъ ратниковъ и старыхъ друзей по оружію явился на защиту менѣе сильныхъ, но болѣе правыхъ. Мы не станемъ слѣдить за всѣми дѣйствіями этихъ героевъ;—они затрудняли и поражали непріятеля въ десять разъ превосходившаго ихъ числомъ. Однажды дѣлая рекогносцировку съ двѣнадцатью матросами, Гарибальди очутился среди непріятельскаго флота въ ту минуту, когда туманъ разсѣялся. Лодка его едва успѣла скрыться подъ вечеръ въ маленькій заливъ. Шести-пушечный галеттъ сталъ у выхода и разсчитывалъ по-утру кончить дѣло; но Гарибальди перетащилъ ночью свою шлюпку черезъ перешеекъ и самъ аттаковалъ непріятеля съ другой стороны. Галеттъ сдѣлался его призомъ.

Наконецъ, счастіе измѣнило Гарибальди, и онъ попался въ плѣнъ. Розасъ приказалъ обращаться съ нимъ, какъ можно хуже, въ надеждѣ сломить его энергію. Когда, по мнѣнію его, плѣнникъ довольно выстрадалъ, онъ призвалъ его къ себѣ въ палатку и предложилъ мѣсто дивизіоннаго генерала съ жалованьемъ въ десять тысячъ піастровъ; но Гарибальди презрительно отказался. Раздраженный диктаторъ угрожалъ ему дать почувствовать всю тяжесть своей власти, — Гарибальди не уступилъ. Розасъ приказалъ держать его еще строже и обходиться съ нимъ, какъ съ простымъ солдатомъ; его заставили пѣшкомъ идти за войскомъ.

Однажды послѣ форсированнаго перехода, когда уставшіе часовые задремали, Гарибальди быстро бросился на лошадь, спустился съ горы и исчезъ въ кустарникахъ прежде, чѣмъ очнувшіеся солдаты стали его преслѣдовать. Къ несчастью, бѣглецъ встрѣтился съ партіей, возвращавшейся въ лагерь, и былъ приведенъ обратно. Жестокими насмѣшками встрѣтилъ Розасъ плѣнника и приказалъ смотрѣть за нимъ еще строже прежняго.

Дочь полковника, которому онъ порученъ былъ подъ надзоръ, Анита, любовница Розаса, увидѣла Гарибальди и полюбила его всей силой южной страсти.

Она доставила ему средства избѣжать неволи и сама сопутствовала ему. Радостно встрѣтили товарищи своего вернувшагося начальника, и война загорѣлась съ новымъ удвоеннымъ жаромъ. На сушѣ и на водѣ мстилъ Гарибальди за свой плѣнъ. Анита, вооруженная саблей и пистолетами, была съ нимъ неразлучна.

Между тѣмъ войска Лавале начали сосредоточиваться у Монтевидео. Надо было дать имъ время собраться и для этого остановить Розаса. Съ тремя судами противъ десяти Гарибальди совершилъ это дѣло. Нѣсколько часовъ продолжалась битва; наконецъ, онъ увидѣлъ, что противиться боьше невозможно, и зажегъ свои корабли. Пользуясь мелководіемъ рѣки, солдаты перешли ее въ бродъ, а раненыхъ снесли на плечахъ.

Новая борьба ожидала ихъ на сушѣ, надо было пробиться сквозь непріятеля, и они пробились, — но Анита попалась въ плѣнъ. Женское притворство помогло ей помириться съ Розасомъ — и убѣжать снова...

По окончаніи войны, Уругвайская республика предложила Гарибальди и его легіону денежное вознагражденіе за его услуги; но онъ отвергъ предложеніе, не желая унижать цѣной золота чистой крови, пролитой его соратниками.

Наступилъ 1848 годъ, годъ величайшаго кризиса для всей Европы. Италія подала примѣръ политическаго возрожденія угнетеннымъ народамъ, и на голосъ ея явился Гарибальди.

2-го іюля онъ былъ въ Генуѣ.

Услуги, предложенныя имъ Сардиніи, не были приняты. Онъ поспѣшилъ въ Миланъ, но городъ уже капитулировалъ. Тогда Гарибальди перенесъ войну въ горы. Рядъ изумительныхъ военныхъ предпріятій заявилъ силу его оружія; не смотря, однакожъ, на побѣды и симпатію населенія, онъ не могъ удержаться; превосходныя силы австрійцевъ тѣснили его со всѣхъ сторонъ; голова его была оцѣнена. Окруженный врагами въ ущельи, онъ обратился къ своимъ волонтерамъ съ слѣдующими словами: „Товарищи, кажется, надо умереть здѣсь. Пусть такъ, но убьемъ какъ можно больше Кроатовъ, Кроатомъ меньше — меньше непріятелемъ для Италіи. Впередъ!“ Австрійцы разступились передъ этимъ живымъ ураганомъ, и Гарибальди успѣлъ укрыться въ Швейцарію.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ снова явился на сценѣ дѣйствія, подъ стѣнами Рима, съ 2,000 волонтеровъ.

Съ одной стороны французы, съ другой неаполитанцы угрожали Риму на второмъ планѣ стояли австрійцы.

Отбивъ первые приступы Удино, Гарибальди воспользовался перемиріемъ, заключеннымъ съ нимъ, и обратился противъ неаполитанцевъ. Не смотря на значительное превосходство въ силахъ, войско Фердинанда было разбито въ нѣсколькихъ стычкахъ, а при взятіи Веллетри самъ король едва не попался въ плѣнъ.

Въ то время, какъ Бомба бѣжалъ по направленію къ Беневенту отъ гарибальдійцевъ, въ столицѣ Пія IX была провозглашена республика, въ виду французскихъ штыковъ. Гарибальди былъ призванъ для спасенія осажденнаго города. Чудеса храбрости оказалъ онъ при защитѣ виллы Памфили: съ 400-ми человѣкъ онъ поддерживалъ бой втеченіи 16-ти часовъ противъ двухъ бригадъ; но сила опять превозмогла...

Когда народное собраніе увидѣло невозможность защищаться, Маццини предложилъ три средства: сдаться, возобновить геройскую защиту Сарагоссы или продолжать войну въ провинціи. Тогда генералъ Бартолючи объявилъ, что онъ получилъ письмо отъ Гарибальди, который объявляетъ дальнѣйшую защиту невозможной. Собраніе послало просить главнокомандующаго: онъ явился въ Капитолій, покрытый пòтомъ, пылью и кровью. Узнавъ въ чемъ дѣло, онъ предложилъ оставить половину Рима и укрѣпить другую. „На сколько же времени мы спасемъ эту другую половину?" спросили его. „На нѣсколько дней", отвѣчалъ онъ — и тогда рѣшились вступить въ переговоры. Гарибальди не хотѣлъ и слышать объ этомъ и рѣшился продолжать войну въ провинціяхъ. Собравъ своихъ солдатъ на площади св. Петра, онъ сказалъ имъ: „Товарищи, вотъ что ожидаетъ васъ: жаръ и жажда днемъ; холодъ ночью; ни жалованья, ни покоя, ни убѣжища; но въ замѣнъ того — нищета, тревоги, безпрестанные переходы, сраженія на каждомъ шагу. Кто любитъ Италію — за мной!" Пять тысячъ человѣкъ послѣдовало за нимъ.

2-го іюля выступилъ онъ изъ Рима; Анита, не смотря на то, что была на шестомъ мѣсяцѣ беременности, рѣшилась раздѣлить судьбу мужа. Преслѣдуемый тремя французскими отрядами, угрожаемый на югѣ неаполитанцами, въ Тосканѣ и легатствахъ австрійцами, онъ умѣлъ пройдти между ними, раздѣливъ свою колонну на маленькіе отряды.

Наконецъ, стѣсняемый на всякомъ шагу болѣе и болѣе, онъ достигъ республики Санъ-Марино. Президентъ позволилъ запастись съѣстными припасами, но не далъ разрѣшенія пройдти черезъ республику. Между тѣмъ, генералъ Горцковскій, прибывъ изъ Болоньи, успѣлъ окружить небольшой отрядъ Гарибальди... Переговоры между президентомъ и австрійскимъ генераломъ кончились слѣдующими условіями: Горцковскій предложилъ волонтерамъ Гарибальди положить оружіе, а самому предводителю ихъ взять австрійскій паспортъ и удалиться въ Америку.

Когда эти условія были принесены Гарибальди, маленькая армія спала на площади Санъ-Марино и въ сосѣднихъ улицахъ. Тѣ, которые не спали, объявили генералу, что не согласны на эти условія, и готовы открыть дорогу съ оружіемъ въ рукахъ.

Чтобы безпрепятственно исполнить свое отступленіе, Гарибальди рѣшился воспользоваться послѣдними минутами ночи. Грустныя думы отразились на его лицѣ, когда онъ взглянулъ на спящихъ друзей, но долгъ генерала заглушилъ въ немъ чувство человѣка, и онъ приказалъ желающимъ слѣдовать за нимъ — приготовиться немедленно къ отступленію. Двѣсти человѣкъ согласились идти за нимъ, — „новыя страданія ожидаютъ насъ, сказалъ вождь, изгнаніе или смерть, но не сдѣлка съ непріятелемъ". Идемъ!.. Идемъ! повторили волонтеры — и Гарибальди, бросивъ прощальный взглядъ на покинутыхъ товарищей, быстро удалился. Можно ли обвинять его? Отрядъ его получилъ разрѣшеніе отъ

присяги на границѣ Санъ-Марино; излишняя медленность могла погубить всѣхъ; да и врядъ-ли многіе согласились бы слѣдовать за нимъ; они, утомленные прошлыми опасностями и лишеніями, слышали приготовленія къ походу, но не хотѣли подвергаться дальнѣйшимъ опасностямъ, довольные принятой капитуляціей.

Въ ночь съ 1-го на 2-е августа Гарибальди достигъ берега; тринадцать рыбачьихъ лодокъ приняли его отрядъ. Венеція была уже въ виду, но австрійскій бригъ „Орестъ" перерѣзалъ дорогу... изъ тринадцати — пять барокъ достигли Мезолы. Гарибальди понялъ, что единственное спасеніе въ бѣгствѣ. Только одинъ изъ товарищей, который помогалъ нести Аниту, не оставилъ его. Бѣглецы направились къ Равенѣ. Три дня продолжались страданія Аниты, наконецъ, она потеряла сознаніе. Къ счастью, не далеко была одна бѣдная хижина; въ нее перенесли умирающую. Гарибальди преклонился у смертнаго ложа жены и съ трепетомъ сердца подстерегалъ всякое движеніе кончавшейся жизни. Нѣсколько минутъ спустя, одинъ крестьянинъ принесъ извѣстіе, что австрійцы приближаются.

Гарибальди взялъ жену на руки и понесъ ее, пока достало силъ. Истощенный, онъ готовъ былъ упасть подъ драгоцѣнной ношей, какъ вдругъ встрѣтилась имъ деревенская повозка; едва дышавшую мученицу положили въ нее и довезли до фермы маркиза Гвичіоли (Guiccioli). На другой день Анита скончалась.

Надъ этимъ прахомъ Гарибальди поклялся быть непримиримымъ врагомъ Австріи и сдержалъ свое слово.

Похоронивъ жену въ уголку равнины подъ тѣнью деревьевъ, онъ отправился переодѣтый въ Равену. Тысячи опасностей угрожали ему: его голова снова была отдана на откупъ; Горцковскій подъ страхомъ смерти запретилъ давать ему пищу и пріютъ, — и не смотря на все это, народная любовь охранила его отъ руки предателя и шпіона, давъ ему возможность достигнуть Піемонта.

Послѣдняя надежда Италіи съ паденіемъ Венеціи исчезла. Гарибальди не видѣлъ болѣе спасенія на родномъ берегу. За нимъ лежала пустыня, изрытая копытами австрійской конницы и покрытая развалинами городовъ; его преслѣдовали воспоминанія о друзьяхъ, потерянныхъ на полѣ битвы или погибшихъ отъ руки палача; за нимъ былъ гробъ его жены и похороны римской республики, убитой республикой французской. Гарибальди рѣшился опять оставить отечество и удалиться въ Америку.

Онъ поселился въ Нью-Іоркѣ и занялся здѣсь фабричнымъ производствомъ; мирная дѣятельность купца скоро наскучила ему и онъ поступилъ капитаномъ купеческаго корабля къ одному богатому американцу. Эта дѣятельность дала ему возможность объѣхать полсвѣта; онъ былъ въ Калифорніи, Китаѣ, Перу и опять принялъ начальство надъ

войсками въ Монтевидео. Но эта новая война скоро прекратилась, благодаря посредничеству Франціи. Тогда Гарибальди возвратился въ Ниццу и затѣмъ переѣхалъ вмѣстѣ съ сыновьями на островъ Капреру, гдѣ занялся сельскими работами.

Въ этомъ положеніи засталъ его 1859 годъ. Борьба за свободу снова взволновала Италію; снова дѣти ея собрались подъ трехцвѣтное знамя Сардиніи. Теперь призванный сыномъ Карла-Альберта къ оружію и уполномоченный властью вождя альпійскихъ стрѣлковъ, Гарибальди внесъ партизанскую войну въ савойскія горы. Первый выстрѣлъ и первая побѣда надъ австрійцами принадлежали ему. Дѣйствуя во флангъ непріятельской арміи и нанося ей одно пораженіе за другимъ, онъ отвлекалъ огромныя силы отъ центральнаго войска. Событія этой войны еще такъ свѣжи въ нашей памяти, что мы считаемъ лишнимъ говорить о нихъ подробно. Кто не знаетъ этого лихорадочнаго нетерпѣнія, съ какимъ ожидала вся Европа извѣстій о подвигахъ Гарибальди; кого не изумляли его смѣлые переходы и нечаянныя нападенія на врага? Кому неизвѣстно блистательное варезское дѣло, гдѣ онъ съ пятью тысячами волонтеровъ разбилъ тринадцати-тысячный корпусъ Урбана? Наконецъ, послѣ взятія Комо и Лавено, кто не былъ увѣренъ, что съ именемъ Гарибальди неразлучна побѣда, что одно присутствіе его ручалось за успѣхъ предпріятія, какъ бы оно ни было сомнительно. Но виллафранкское перемиріе остановило мечъ Гарибальди.

Затѣмъ для Гарибальди наступило новое бездѣйствіе. Положивъ мечъ, онъ снова удалился подъ тихую кровлю своей фермы, и едва Сицилія обнаружила первые симптомы возстанія, какъ онъ явился на берегу ея. Его знамя — народное знамя, соединило разбросанныя силы острова. Ни происки неаполитанскаго правительства, ни варварскія прокламаціи, ни ложныя обѣщанія, ни подкупы, ни вандальская жестокость съ жителями Палермо не ослабили ни энергіи, ни мужества Гарибальди. Въ пятьнадцать дней онъ довелъ королевскія войска до безвыходнаго положенія, заставилъ трепетать неаполитанскій дворъ и сдѣлался представителемъ судьбы двухъ-милліоннаго населенія.

Послѣдняя высадка Гарибальди сначала изумила Европу. Въ ней видѣли какое-то безумное предпріятіе человѣка, который рисковалъ погубить свою славу, жизнь и, можетъ быть, парализовать весь ходъ сицилійскаго дѣла. Въ самомъ дѣлѣ, съ горстью людей, безъ оружія и средствъ, онъ выходитъ на берегъ, въ виду многочисленнаго войска, укрѣпленій и строго-организованной полиціи. Отрѣзанный отъ континента моремъ, безъ флота и вѣрной помощи, на что онъ могъ разсчитывать въ случаѣ неудачи или ошибки? Но здѣсь-то и показалъ Гарибальди, что его дарованія достаетъ не для одной войны, но и для глубокихъ политическихъ соображеній. Только теперь мы увидѣли, что это одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ государственныхъ умовъ нашего

времени, что отъ его дальновиднаго взгляда не скрываются самые неуловимые результаты народныхъ реформъ. Что онъ понимаетъ современныя потребности и инстинкты Италіи — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; сицилійскій же походъ его, такъ разумно обдуманный, какъ его не обдумали бы въ лучшемъ дипломатическомъ кабинетѣ, убѣждаетъ насъ въ томъ, что Гарибальди не только геніальный кондотьери, но и политикъ, что онъ знаетъ настоящее положеніе не одного итальянскаго общества, но всей Европы. Во всѣхъ его распоряженіяхъ, переговорахъ и планахъ видѣнъ хорошій дипломатъ и превосходный администраторъ. Руководила ли имъ ловкая и находчивая мысль Кавура, или Гарибальди руководилъ Кавуромъ — это пока остается тайной; по крайней мѣрѣ, во всѣхъ дѣйствіяхъ диктатора Сициліи проглядываетъ и самостоятельный умъ и единственная, только ему одному свойственная энергія.

Что касается политической вѣры Гарибальди, онъ не измѣнилъ ей съ тѣхъ поръ, какъ защищалъ ее подъ стѣнами Рима. Эта вѣра никогда не имѣла того исключительнаго и узкаго характера, какой, обыкновенно, навязываютъ такимъ дѣятелямъ, какъ Гарибальди. Для него нѣтъ ни республиканскихъ, ни конституціонныхъ стремленій; онъ слишкомъ высоко развитъ, чтобъ привязываться къ той или другой формѣ правленія, чтобъ предпочитать Виктора-Эммануила папѣ или папу неаполитанскому Бурбону; думаемъ, что всѣ эти альфы въ народной жизни — для него омеги. Притомъ, политическія убѣжденія въ такой странѣ, какъ Италія, не могутъ быть убѣжденіями строго выработанными и опредѣленными; до нихъ выростаютъ только націи свободныя, воспитанныя въ школѣ долговременныхъ и мощныхъ соціальныхъ реформъ; для нихъ нужны извѣстныя условія политическаго существованія. Въ иномъ положеніи находилась Италія въ послѣднія шестьдесятъ лѣтъ. Всѣ ея усилія сосредоточены были на томъ, чтобъ избавиться отъ того гнетущаго ига, которое заперло всѣ поры ея нравственнаго дыханія. Такіе народы, къ несчастью, живутъ отрицательной жизнью. Ихъ надежда — прежде всего въ свободѣ; ихъ вѣра — въ лучшемъ будущемъ, откуда бы оно ни пришло и какъ бы ни устроилось. Эта неопредѣленность принциповъ и шаткость тенденцій отразилась на всѣхъ политичесихъ вождяхъ современной Италіи. „Когда дѣло идетъ о спасеніи страны, замѣтилъ Макіавелли, — тогда не спорятъ о средствахъ". Къ этому совѣту въ послѣднемъ результатѣ, примѣняется политика каждаго геніальнаго итальянца.

Наконецъ, что особенно отличаетъ Гарибальди между современными характерами, — это одно изъ самыхъ рѣдкихъ качествъ нашей бездушной эпохи. Выше всѣхъ системъ, направленій и вѣрованій для него стоитъ имя человѣка. Сынъ рыбака сохранилъ это достоинство на всѣхъ поприщахъ жизни. Соединяя съ классической простотой высокое нравственное чувство, онъ всегда оставался вѣренъ своимъ первоначальнымъ правиламъ;

его не увлекла ни громкая популярность, ни народная лесть, его не измѣнили ни счастіе, ни страданія. Въ его поступкахъ, манерахъ и словахъ нѣтъ ни малѣйшей эффектаціи, въ которой обвиняютъ его соотечественниковъ. Онъ такъ же просто возвращается къ своему плугу, какъ идетъ на поле битвы, онъ такъ же откровенно говоритъ съ королемъ, какъ съ простымъ волонтеромъ. „Я видѣлъ Гарибальди, пишетъ очевидецъ, въ первый разъ въ Лондонѣ, когда онъ сходилъ съ корабля на свободную землю Англіи. О пріѣздѣ его городъ зналъ заранѣе, и народъ волнами притекалъ къ той набережной, гдѣ долженъ былъ остановиться знаменитый путешественникъ. Тысячи любопытныхъ глазъ были устремлены на эту классическую фигуру, и каждый хотѣлъ изучить ее до послѣдней тонкости. Воображеніе мое, подготовленное разсказами о дѣлахъ Гарибальди, общимъ вниманіемъ къ его судьбѣ и, наконецъ, самымъ пріемомъ — составило о немъ какое-то чудесное понятіе. И какъ удивила меня простота его костюма, мягкость взгляда, умнаго и глубокаго, но до того симпатичнаго, что, кажется, этотъ взглядъ никогда не видѣлъ ни труповъ, ни крови, ни бурь. Въ строгихъ и нѣсколько рѣзкихъ чертахъ лица его выражалась вмѣстѣ съ энергіей какая-то юношеская прелесть; въ его походкѣ, поклонахъ и обращеніи замѣтна была наивность геніальнаго человѣка. Онъ шелъ между рядами народа, среди гула привѣтствій такъ спокойно, какъ будто всѣ эти люди были давнишніе друзья его и онъ находился дома. Потомъ я видѣлъ Гарибальди на митингахъ, въ клубахъ, въ большихъ обществахъ, и всегда находилъ его до того искреннимъ въ обхожденіи, что, говоря съ нимъ, забывалось различіе возраста, положенія и авторитета. Вообще онъ — молчаливъ и задумчивъ, но если предметъ вызываетъ его на размышленіе и разговоръ, рѣчь его увлекательная и страстная. Повидимому, нѣтъ предмета, котораго бы онъ не зналъ. Тихій голосъ его, одушевляясь, переходитъ въ звонкое альто и глаза загораются огнемъ сильной сосредоточенной мысли“... Вотъ — человѣкъ, которому исторія готовитъ такую славную страницу въ судьбахъ Италіи и нашего вѣка.

1860 г.

IV

УЧЕНОЕ САМООБОЛЬЩЕНІЕ.

(„Объ историческомъ значеніи царствованія Бориса Годунова“, соч. *П. Павлова*. Спб. 1863 г. — „Тысячелѣтіе Россіи“, краткій очеркъ отечественной исторіи, соч. *П. Павлова*. Спб. 1863 г.).

„Исторія есть *зерцало* бытія и дѣятельности народовъ“, сказалъ Карамзинъ, и съ легкой руки его наши историки приняли эту стереотипную метафору за положительную цѣль своихъ ученыхъ изслѣдованій. Каждый изъ нихъ хотѣлъ представить намъ изъ исторіи *зерцало*, а въ зерцалѣ этомъ изобразить не столько историческую физіономію народа, сколько свою собственную; у каждаго изъ нихъ была своя напередъ придуманная теорія, подъ которую они подгоняли факты, отражая ихъ въ своихъ зерцалахъ сообразно личнымъ вкусамъ и требованіямъ времени. Такъ, Карамзинъ, желая плѣнить воображеніе россіянъ описаніемъ „великановъ сумрака“ и поразительными картинами московскаго величія, собралъ въ своей исторіи огромную коллекцію отдѣльныхъ портретовъ, развѣсивъ ихъ въ хронологическомъ порядкѣ. Между этими портретами помѣщены живописные ландшафты, военные шатры, походы, битвы и осады, паденія городовъ, потомъ опять походы и сраженія, снова побѣды и пораженія, а тамъ, позади „великановъ сумрака“, въ далекомъ неизвѣстномъ виднѣется народъ, который для зеркальнаго достоинства исторіи считался слишкомъ ничтожнымъ предметомъ, такимъ карликомъ, котораго не стоило и показывать въ „зерцалѣ его бытія и дѣятельности“. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему было пачкать отечественное зерцало неумытой, потной и загорѣлой физіономіей массы, которая, однакожъ, принимала участіе во всѣхъ событіяхъ и на своихъ плечахъ несла судьбу Россіи... Поэтому, исторію Карамзина можно сравнить съ огромнымъ калейдоскопомъ, въ которомъ снуютъ разноцвѣтныя фигуры и всевозможные фокусы, но того, что́ составляетъ дѣйствительную исторію, какъ науку,

осмысливающую внѣшнія явленія, вовсе не видно въ карамзинской картинной галлереѣ. Ничего нельзя понять, откуда берутся эти Святославы, Олеги, Всеволоды, Иваны, и зачѣмъ они наполняютъ историческую сцену такимъ шумомъ и постоянными драками? Гдѣ же общіе законы, управляющіе ходомъ событій и лицъ, играющихъ роль въ качествѣ добродѣтельнѣйшихъ героевъ или отчаянныхъ трусовъ? Гдѣ же этотъ главнѣйшій двигатель всякой народной исторіи — экономическая жизнь, дающая направленіе всѣмъ другимъ событіямъ? Въ зерцалѣ Карамзина не видно ни логической связи между причинами и послѣдствіями, ни вліянія окружающей природы на развитіе умственныхъ и матеріальныхъ силъ народа, ни борьбы его съ физическими преградами и незамѣтныхъ, но великихъ побѣдъ надъ ними. Всему этому на заднемъ планѣ отводится нѣсколько страничекъ, украшенныхъ общими мѣстами и краснорѣчивыми вздохами, а между тѣмъ описанію разныхъ побоищъ посвящаются цѣлые десятки главъ. Можетъ ли такое зерцало вѣрно отражать полный народный типъ и представлять дѣятельность и бытіе исторической жизни? Давно уже рѣшено,—что нѣтъ. Но Карамзинъ вовсе и не думалъ объ этомъ; для его программы достаточно было однихъ внѣшнихъ фактовъ, озадачивающимъ своимъ зеркальнымъ блескомъ, и нѣсколькихъ богатырей, внушающихъ къ себѣ удивленіе дѣтей-потомковъ. Такъ, обыкновенно, распоряжаются съ исторіей художники, для которыхъ прошедшее служитъ болѣе или менѣе изящной выставкой настоящаго.

Нѣсколько иначе смотрѣли на дѣло историки-славянофилы. Для нихъ исторія служила подтвержденіемъ ихъ псевдо-патріотической теоріи, требующей во что бы то ни стало своего славянскаго ума, славянской добродѣтели, славянской почвы, и такъ какъ эти сокровища не всегда оказывались въ наличности, то надо было всячески открыть ихъ и показать въ зерцалѣ. Съ этой цѣлью предпринимались довольно трудныя экспедиціи въ такія историческія дебри и пустыни, куда прежде никто изъ людей съ здравымъ смысломъ не рѣшался заходить. Но эти ученыя экспедиціи оканчивались ничѣмъ; золотыя горы, райскія птицы и кисельные берега не обрѣтались на обѣтованной землѣ славянскаго эдема, а между тѣмъ для славянофиловъ все это было необходимо и напередъ доказано. И вотъ представился полный разгулъ фантазіи, заселявшей брынскіе лѣса чудесами тропической природы и видѣвшей въ эпохѣ Домостроя настоящій эдемъ русскаго міра. Тутъ начинались превращенія, какихъ и въ сказкѣ не разсказать. Соловей-разбойникъ казался чуть не Вашингтономъ, грубая мускульная сила, развивавшаяся на счетъ умственныхъ способностей, представлялась идеаломъ человѣческаго совершенства, а Иванъ Грозный выходилъ необыкновеннымъ художникомъ; нищета, голодъ и страданія, вынесенныя народомъ въ его тяжелыя годины, въ глазахъ славянофиловъ вовсе не были нищетой, голодомъ и страданіями, а тѣми отвлеченными понятіями, которыми можно доказать

мужество и выносливость нашихъ почтенныхъ предковъ. Однимъ словомъ, сказка объ Ерусланѣ Лазаревичѣ и Чурилѣ Пленковичѣ передавалась за дѣйствительную быль, и умиленный читатель почти готовъ былъ плакать надъ тѣмъ, что̀ погибло изъ прошлаго подъ вліяніемъ тлетворной европейской цивилизаціи. Ученые этого сорта выдѣлывали съ исторіей то же самое, что̀ выдѣлываютъ реставраторы съ поддѣльными антиками; они подкрашиваютъ простой копѣечный камень, поднятый на улицѣ, подъ драгоцѣнную рѣдкость древности и первому глупцу сбываютъ его за высокую цѣну. Исторія, какъ наука, ничего путнаго не могла пріобрѣсти отъ этихъ патріотическихъ иллюзій и поддѣлокъ; напротивъ, ее завалили разнымъ ненужнымъ соромъ, который придется вычищать, когда наступитъ время раціональнаго труда на этомъ поприщѣ.

Между этими двумя разрядами есть еще одинъ классъ ученыхъ, которыхъ мы для ясности назовемъ историками-протоколистами. Лучшіе изъ нихъ относятся къ категоріи послѣдователей Гегеля, для котораго мертвая историческая форма послужила идеаломъ народной жизни. Эти господа далѣе оффиціальнаго быта ничего не могутъ разсмотрѣть и когда оставляютъ сырые подвалы архивовъ, то имъ кажется, что человѣкъ и вся природа — ничто иное, какъ старые манускрипты, попавшіе не на свое мѣсто. Если извѣстное историческое явленіе не подходитъ подъ ихъ мѣрку, историки относятся къ нему такъ же, какъ протоколистъ, у котораго на форменной бумагѣ не полагается новаго параграфа; такое явленіе, какъ бы оно ни было громадно по своему значенію, эти ученые или игнорируютъ или перекраиваютъ на свой аршинъ. Всякое уклоненіе историческаго движенія отъ ихъ канцелярской точки зрѣнія становится нарушеніемъ порядка и, слѣдовательно, пагубной революціей. Представителями такого рода исторіи служатъ въ нашей литературѣ гг. Соловьевъ, Устряловъ и Щебальскій. Для нихъ не существуетъ ни новѣйшихъ открытій науки, ни анализа живыхъ явленій въ человѣческихъ обществахъ, но они перечитали множество старинныхъ актовъ и оффиціальныхъ бумагъ, и по этой архивной пыли составили себѣ одинъ разъ и навсегда неизмѣнный историческій принципъ.

Только въ послѣднее время начинаютъ являться у насъ новые дѣятели, съ другимъ взглядомъ на исторію, съ другими требованіями ея научной разработки. Старое рутинное направленіе, искавшее въ исторіи какого-то уголовнаго суда, передъ которымъ одни оказывались страшными злодѣями, а другіе величайшими благодѣтелями человѣчества, — это направленіе должно неминуемо рухнуть. Исторія, какъ наука, изучаетъ явленія человѣческой жизни съ цѣлью строго практическою, а вовсе не для того, чтобъ предаваться безплоднымъ осужденіямъ или восторгамъ. Ей нѣтъ никакого дѣла до того, кто былъ виноватъ — Иванъ или Борисъ, точно такъ, какъ Ивану и Борису ни тепло, ни холодно въ могилѣ отъ того, что потомство будетъ обвинять или превозносить ихъ поступки. Не даромъ

римская пословица говоритъ: de mortuis aut bene, aut nihil (о мертвыхъ надо говорить или хорошо или ничего). Въ самомъ дѣлѣ, съ эстетической точки зрѣнія, преобладающей въ полицейски-историческихъ приговорахъ, гораздо лучше хвалить все и всѣхъ, чѣмъ приходить въ негодованіе и ломать стулья потому, что Александръ Македонскій былъ великій человѣкъ. Похвала, какъ чувство пріятное, по крайней мѣрѣ, должна сопровождаться хорошими гигіеническими послѣдствіями, а негодованіе положительно вредно для печени историка. И этотъ вредъ, уже вовсе не эстетическій, не вознаграждается ни одной іотой относительной пользы. Положимъ, что потомство заклеймило Разина названіемъ ужаснѣйшаго разбойника, а Юлія Цезаря, какъ страшнѣйшаго честолюбца; но что же изъ этого слѣдуетъ? Кому отъ этого легче? И какой смыслъ можетъ имѣть подобный судъ, когда позорный столбъ для обвиняемаго существуетъ только въ праздномъ воображеніи историка, когда въ дѣйствительности нѣтъ никакого суда и никакого наказанія, а все это—пустыя метафоры, не дающія никакого положительнаго вывода. А наука,—будетъ ли то исторія или химія,—безъ положительныхъ результатовъ существовать не можетъ. Если она занимается изслѣдованіемъ прошлой человѣческой жизни, въ ея обширномъ историческомъ объемѣ, то главная задача ея состоитъ въ томъ, чтобы найти законы, по которымъ эта жизнь развивалась такъ или иначе. А чтобы доискаться до этихъ законовъ, надо подвергнуть самому строгому анализу всю совокупность явленій, подъ вліяніемъ которыхъ сложилась историческая жизнь того или другого народа. Изучать же человѣка, какъ что-то особенное, не имѣющее никакой связи съ окружающими его явленіями—значитъ выдѣлять его изъ числа предметовъ, доступныхъ наблюденію науки. До сихъ поръ исторія такъ и поступала; изъ всей массы естественныхъ фактовъ, дѣйствовавшихъ на развитіе народа, она брала одно человѣческое общество, а изъ цѣлаго общества однѣ отдѣльныя личности, и на нихъ строила свои уголовные кодексы. Понятно, что при такомъ воззрѣніи на исторію, отъ нея нечего было и ожидать, кромѣ эстетическихъ негодованій или похвалъ, извлекаемыхъ изъ оффиціальныхъ архивовъ; понятно, что идеализація ея должна была дойти до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, что трудно сказать, гдѣ собственно оканчивается иллюзія историка и начинается полное его помѣшательство.

Но вотъ нашелся добрый человѣкъ, англичанинъ Бокль, который возвращаетъ исторіи ея настоящія права и придаетъ ей значеніе, какъ дѣйствительной наукѣ [1]). Смерть помѣшала этому великому ученому окончить свой превосходный трудъ, на исполненіе котораго нужны были,

---

[1]) *Объ Исторіи Цивилизаціи въ Англіи*—Бокля подробно говорится въ статьѣ подъ заглавіемъ: „Историческая школа Бокля".

кромѣ огромнаго ума, необыкновенное терпѣніе и долгое приготовительное образованіе; но Бокль успѣлъ въ первыхъ двухъ томахъ положить тотъ основной камень, на которомъ преемники его могутъ строить великолѣпное зданіе исторіи, какъ будущей науки, по готовому уже плану. Вся заслуга Бокля состоитъ въ томъ, что онъ первый указалъ на тѣ дѣйствующія силы, подъ вліяніемъ которыхъ создается историческая жизнь народовъ. Эти силы заключаются, съ одной стороны, во внѣшней природѣ, пробуждающей первыя понятія человѣка и дающей ему тѣ или другія матеріальныя средства къ жизни; а съ другой стороны, эти силы скрываются въ самомъ человѣческомъ организмѣ, или точнѣе, въ лучшей части его — въ мозгу. Изъ отношенія этихъ двухъ дѣятелей вытекаетъ и развивается та или другая народная жизнь. Тамъ, гдѣ человѣкъ не могъ осилить окружающей его природы, онъ палъ передъ ней жалкимъ рабомъ, и осужденъ влачить это рабство до послѣдней минуты своего существованія. Къ этой категоріи Бокль относитъ всѣ восточныя цивилизаціи. Напротивъ, тамъ, гдѣ природа уступила умственнымъ силамъ человѣка, и гдѣ онъ оказался полнымъ господиномъ ея, исторія выработала другую жизнь, способную пользоваться свободой, чувствовать ея благодѣянія и идти впередъ. Эта участь досталась на долю народамъ европейскимъ и американскому сѣверу. Такимъ образомъ, по мнѣнію Бокля, выходитъ, что не отдѣльныя личности творятъ исторію народовъ и не воля человѣка прокладываетъ пути къ тому или другому порядку вещей, а взаимное дѣйствіе физическихъ явленій и умственныхъ способностей націи. Нѣтъ сомнѣнія, что у Бокля осталось множество недосказанныхъ вещей и, можетъ быть, сдѣланы слишкомъ поспѣшные выводы изъ нѣкоторыхъ фактовъ, но послѣ него становится ясно, какъ день, что безъ знанія естественныхъ наукъ добросовѣстному историку не надо браться за свое дѣло, что для пониманія отдѣльнаго организма необходимо знать всѣ мѣстныя физическія условія, подъ которыми онъ развивался; что, наконецъ, тѣ таинственныя пружины человѣческой дѣятельности, которыя у идеалистовъ играютъ роль невидимыхъ закулисныхъ снурковъ, суть ничто иное, какъ простые, естественные дѣятели природы.

Благодаря переводу книги Бокля на русскій языкъ, она сдѣлалась доступной большинству нашей публики и нашимъ молодымъ историкамъ. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напримѣръ, гг. Щаповъ и Павловъ, немедленно присоединились къ послѣдователямъ Бокля. Изъ послѣднихъ статей перваго видно, что онъ рано или поздно — смотря по обстоятельствамъ его дальнѣйшей дѣятельности — остановится именно на томъ методѣ изученія русской исторіи, который представленъ Боклемъ. Что же касается г. Павлова, то онъ нигдѣ въ печати не заявилъ своего новаго взгляда на исторію, но мы слышали его лекціи, въ которыхъ онъ прямо выражалъ свое сочувствіе Боклю и набрасывалъ планъ сво-

ихъ будущихъ работъ, совершенно согласно съ направленіемъ англійскаго историка. Все это даетъ намъ право надѣяться, что молодые люди, не забитые до тупоумія и не желающіе дѣлать изъ исторіи пустѣйшую фразеологію, возьмутся серьезно за свой трудъ и, покинувъ Смарагдовыхъ, Кайдановыхъ, Устряловыхъ и Соловьевыхъ, пойдутъ правильнымъ и въ высшей степени увлекательнымъ путемъ историческихъ занятій. У кого умъ еще не покрылся плѣсенью рутины, того мы умоляемъ, какъ можно скорѣе, оставить прежнее направленіе и вдуматься поглубже въ Бокля. Нечего и говорить, что разработка исторіи на тѣхъ широкихъ началахъ и въ связи со всѣми современными открытіями въ области естественныхъ наукъ представляетъ трудъ громадный, но кто же изъ насъ испугается труда, особенно такого, который вознаградитъ полнѣйшимъ наслажденіемъ трезвой мысли и величайшими успѣхами плодотворнаго знанія? Надо бояться и бѣжать только отъ мертваго труда, который унесетъ время, силы, и кромѣ красивыхъ мыльныхъ пузырей, не оставитъ по себѣ никакого живого слѣда. Пусть же мертвые хоронятъ мертвыхъ, а вы, русскія свѣжія силы, дорожите значеніемъ вашей дѣятельности и обратите ее на пользу общую!

Лучшимъ доказательствомъ того, что Бокль не остался у насъ безъ вліянія, можетъ служить г. Павловъ, котораго монографіи поставлены въ заглавіи этой статьи. Кто бы могъ подумать, что одинъ и тотъ же историкъ написалъ разсужденіе *Объ историческомъ значеніи царствованія Бориса Годунова* въ 1849 году, и послѣ выхода въ свѣтъ книги Бокля читалъ лекціи объ историко-физіологическомъ строеніи общества? Разница между г. Павловымъ 1849 года и г. Павловымъ 1862 г. почти такая же, какая между Боклемъ и г. Касторскимъ. Само собою разумѣется, что время тутъ ничего не значитъ, потому что степень умственнаго развитія всего меньше обусловливается временемъ; но здѣсь много значитъ вліяніе той школы, которой слѣдовалъ г. Павловъ. Въ предисловіи къ своему разсужденію онъ говоритъ, что руководителями его въ то время были гг. Кавелинъ и Соловьевъ, и для читателя, мало-мальски знакомаго съ образомъ мыслей этихъ почтенныхъ ученыхъ, совершенно достаточно одной этой оговорки, чтобы напередъ знать, какъ будетъ разсуждать г. Павловъ о Борисѣ Годуновѣ. Я даже думаю, что г. Павловъ поступилъ бы очень благоразумно, еслибъ вовсе ничего не написалъ о Борисѣ Годуновѣ, а предупредилъ бы только, что онъ намѣренъ разсуждать о немъ въ духѣ гг. Кавелина и Соловьева, и, слѣдовательно, разсуждать такъ, какъ этого требуетъ извѣстная теорія, къ которой можно прибавить нѣсколько новыхъ фактовъ или переставить старые съ одного мѣста на другое, но сущность дѣла останется та же. Поэтому собственно и разсуждать было не о чемъ. Но нѣтъ, нельзя было не увлечься такой трагической личностью, надъ которой историки и поэты пролили столько слезъ или расточили столько проклятій. Стоитъ только

вспомнить, что весь драматизмъ нашей исторіи сосредоточивается около Бориса Годунова, который у Пушкина говоритъ о себѣ такъ:

Напрасно мнѣ кудесники сулятъ
Дни долгіе, дни власти безмятежной;
Ни власть, ни жизнь меня не веселятъ;
Предчувствую небесный громъ и горе.
Мнѣ счастья нѣтъ. Я думалъ свой народъ
Въ довольствіи, во славѣ успокоить,
Щедротами любовь его снискать;
Но отложилъ пустое попеченье...
. . . . . .
Ахъ, чувствую: ничто не можетъ насъ
Среди мірскихъ печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина развѣ совѣсть.
Такъ, здравая, она восторжествуетъ
Надъ злобою, надъ темной клеветою;
Но если въ ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда бѣда: какъ язвой моровой
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ стучитъ въ ушахъ упрекомъ,
И все тошнитъ, и голова кружится,
И мальчики кровавые въ глазахъ...
И радъ бѣжать, да некуда .. Ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть не чиста...

Вотъ эта загадочная, темная и драматическая личность, надъ которой наши ученые историки производили всевозможныя операціи уголовнаго суда, не пренебрегая ни одной уликой противъ такого ужаснаго преступника. „Обагрилъ ли Борисъ Годуновъ свои руки въ крови невиннаго младенца, Дмитрія Углицкаго? спрашивали одни, и рѣшали вопросъ утвердительно. — Нѣтъ, не обагрилъ, говорили другіе, и завязывался нескончаемый споръ между оппонентами. При этомъ удобномъ случаѣ исписывалось пропасть бумаги, перерывались кучи архивной ветоши, противники горячились и ругались, а дѣло все-таки оставалось не рѣшеннымъ. Затѣмъ начинались розысканія личныхъ свойствъ и характера Бориса Годунова; одни видѣли въ немъ дальновиднаго и опытнаго правителя, который цѣлымъ столѣтіемъ предупреждалъ реформы Петра I; другимъ, напротивъ, казалось страннымъ, какимъ образомъ этотъ дальновидный умъ не предвидитъ самыхъ обыкновенныхъ событій и передъ всякимъ новымъ бѣдствіемъ отступаетъ съ непостижимой трусостью самаго малодушнаго человѣка. Вступая на престолъ, онъ заставляетъ своихъ подданныхъ цѣловать крестъ, что никто изъ нихъ ни колдовствомъ, ни отравой, ни наговорами не учинитъ надъ государемъ своимъ никакого лиха. Это мелкое подозрѣніе, впослѣдствіи развившееся въ болѣзненную мнительность, преслѣдуетъ *изряднаго правителя* во дворцѣ и въ кельѣ, днемъ и ночью. Онъ не вѣритъ тому же народу, съ кото-

рымъ клялся раздѣлить послѣднюю рубашку; онъ подкупаетъ тѣхъ же самыхъ людей, которыхъ обѣщалъ осчастливить; онъ окружаетъ себя доносчиками и шпіонами, и одного изъ нихъ Воинка, оклеветавшаго своего господина, жалуетъ своимъ великимъ жалованьемъ, даетъ ему помѣстье и велитъ служить въ боярскихъ дѣтяхъ. „Милость, оказанная Воинку, говоритъ Павловъ, — послужила знакомъ къ доносамъ, наушничеству неслыханному". Самая подлая измѣна и клевета находили себѣ оправданіе. „И бысть, горюетъ лѣтописецъ, въ царствѣ великая смута, яко же другъ на друга доводяху, и попы, и черницы, и пономари, и проскурницы; да не только сіи прежереченные людіе, но и жены на мужей своихъ доводиша, а дѣти на отцовъ своихъ, яко отъ такія ужасти мужіе отъ женъ своихъ таяхусь; и въ тѣхъ окаянныхъ доводѣхъ многія крови пролишася неповинныя, многіе отъ пытокъ помроша, иныхъ казняху, и иныхъ по темницамъ разсылаху, со всѣми домы разоряху, яко же ни при которомъ государѣ такихъ бѣдъ никто не видя". Вотъ къ чему пришелъ дальновидный Борисъ Годуновъ; онъ былъ тотъ же Иванъ Грозный, съ тѣми же опричниками и наушниками, но менѣе рѣшительный, болѣе трусливый, обратившій открытыя орудія угнетенія въ тайныя и подкупомъ развращенныя. Лицемѣріемъ онъ начинаетъ свое царствованіе, лицемѣріемъ его и оканчиваетъ. Онъ интригуетъ сестру, митрополита, задабриваетъ дворянъ и боярскихъ дѣтей, распускаетъ ложные слухи о нападеніи враговъ и въ то же время притворяется нежелающимъ принять власть, которой онъ добивался съ такимъ неусыпнымъ усердіемъ. Имъ раскинуты сѣти вездѣ, даже подъ ногами его родственниковъ, а онъ надѣваетъ на себя личину невинной жертвы народной воли, будто бы избравшей его на престолъ. И что это за странная комедія, разыгрываемая безъ всякой надобности, при избраніи его на царство. Торжественное шествіе въ Новодѣвичій монастырь, плачъ и вопли, заранѣе приготовленныя, перемѣшиваются съ слѣдующими сценами: „Народъ неволею былъ пригнанъ приставами, нехотящихъ идти велѣно было и бить; пристава понуждали людей, чтобъ съ великимъ кричаніемъ вопили и слезы точили. Смѣху достойно! Какъ слезамъ быть, когда сердце дерзновенія не имѣетъ? Вмѣсто слезъ глаза слюнями мочили. Тѣ, которые пошли просить царицу въ келью, наказали приставамъ: когда царица подойдетъ къ окну, то они дадутъ имъ знакъ, и чтобы въ ту же минуту весь народъ падалъ на колѣни; не хотящихъ били безъ милости". Все это было извѣстно *изрядному правителю* и заранѣе условлено съ людьми, ему преданными. Что же касается правительственной его дѣятельности, то и здѣсь немного выказано дальновидности и рѣшительнаго такта. Въ сношеніяхъ съ иноземцами Борисъ Годуновъ былъ робокъ и уступчивъ; такъ онъ не съумѣлъ воспользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ въ борьбѣ между Польшею и Швеціею, напрасно пытался вовлечь Австрію въ войну съ Сигизмун-

домъ, уступалъ крымскому хану и потерялъ всякое вліяніе на Кавказѣ. И здѣсь, какъ и во внутреннихъ дѣлахъ, Годуновъ дѣйствовалъ посредствомъ хитрости, иногда до того наивной, что даже въ то время она могла показаться болѣе смѣшной, чѣмъ серьезной. Покровительство ливонскимъ нѣмцамъ и почетный пріемъ ихъ въ Россіи не имѣли никакого практическаго результата; прежняя мечта о пріобрѣтеніи балтійскаго берега такъ и осталась мечтой. Единственнымъ фактомъ, говорящимъ въ пользу правительственныхъ соображеній Годунова, могло бы послужить его стремленіе къ сближенію Россіи съ западной Европой, откуда онъ думалъ пересадить умственное образованіе. Но и тутъ попытки его окончились полумѣрами, неимѣвшими ясно опредѣленнаго характера. Когда Годуновъ намѣревался вызвать европейскихъ ученыхъ, то духовенство заговорило, что возстанетъ смута по землѣ, называло царя „потаковникомъ" иноземцевъ, а старикъ Іовъ, „видя сѣмена лукавствія, сѣемыя въ винограде Христовомъ... ниву ту не добрую обливалъ слезами". Годуновъ уступилъ и этому сопротивленію; онъ ограничился только иностранными докторами, необходимыми ему при его мнительномъ характерѣ. Настоялъ онъ еще на томъ, чтобы отправить 18 молодыхъ людей въ чужіе края — учиться языкамъ, но изъ нихъ воротился домой только одинъ, а другіе остались навсегда за-границей... Поэтому можно судить, какъ съ одной стороны было велико желаніе въ молодомъ поколѣніи усвоивать плоды европейскаго образованія, а съ другой, какъ этому желанію противодѣйствовало закоренѣлое невѣжество общества. Слѣпая и рабская приверженность къ старинѣ была такъ безсмысленна, что бритье бороды, дозволенное Годуновымъ, возбуждало ропотъ въ почтенныхъ отцахъ и считалось зловредной ересью. Народъ, разумѣется, былъ равнодушнымъ зрителемъ этихъ нововведеній, насаждаемыхъ въ благочестивомъ вертоградѣ, но духовенство и свѣтскіе сторонники стараго порядка ненавидѣли и подозрительно смотрѣли на всякую перемѣну. Ясно, что при такомъ настроеніи умовъ, нельзя было дѣйствовать полумѣрами для распространенія дѣйствительно полезнаго образованія. И не съ характеромъ Бориса Годунова долженъ былъ стоять человѣкъ во главѣ этого новаго движенія, котораго необходимость давно чувствовалась самимъ правительствомъ.

Но ни въ чемъ не выразилась такъ рѣзко близорукая политика Бориса Годунова, какъ въ закрѣпленіи крестьянъ. Г. Павловъ видитъ въ этомъ распоряженіи такую глубину годуновской мысли, такую прозорливую сообразительность, что какъ будто этимъ рѣшалась величайшая задача исторіи, насущная потребность времени. Отмѣна юрьева дня, по мнѣнію г. Павлова, была неминуемымъ вопросомъ тогдашней эпохи и согласовалась съ финансовыми интересами государства; только при осѣдломъ состояніи податное сословіе могло выплачивать правильно налоги. Но еслибъ дѣйствительно и были такія соображенія у Бориса Го-

дунова, то ужъ никакъ нельзя назвать ихъ дальновидными; потому что правительство, рѣшившееся на такой громадный переворотъ, или дѣйствовало безъ всякихъ соображеній или не имѣло никакого понятія о тѣхъ экономическихъ затрудненіяхъ, въ которыя оно ставило и себя и послѣдующія поколѣнія. Отдать производительные классы въ зависимость отъ большихъ и мелкопомѣстныхъ владѣтелей — значило оставить на долго развитіе промышленныхъ силъ и оказать очень дурную услугу государственнымъ финансамъ. Свободный трудъ, при самыхъ плохихъ условіяхъ, всегда лучше крѣпостного труда: это понималъ и Борисъ Годуновъ. Отмѣняя пошлины и облегчая доступъ иностраннымъ купцамъ въ предѣлы Россіи, онъ тѣмъ самымъ показалъ, что сознаніе о свободной дѣятельности существовало и въ его время. Но какъ же согласить эту мѣру съ закрѣпленіемъ многочисленнаго сословія русскихъ работниковъ и производителей? Въ одномъ случаѣ Годуновъ освобождаетъ, а въ другомъ закрѣпляетъ: гдѣ же тутъ государственная логика, на которую такъ любятъ ссылаться наши историки? Самая осѣдлость земледѣльческаго класса не достигалась этой насильственной мѣрой, которая впослѣдствіи вызвала бурную реакцію въ самозванцахъ, въ бродячихъ толпахъ, селившихся на украйнахъ, въ періодическихъ нашествіяхъ голода и мора. Нищенство и разбои сдѣлались послѣ Годунова обыкновенными явленіями нашей исторіи, и государственная казна при его преемникахъ вовсе не обогатилась отъ закрѣпленія. Если же Годуновъ имѣлъ въ виду только одни личные интересы,—пріобрѣтеніе преданнаго ему сословія въ служилыхъ людяхъ, надѣленныхъ крѣпостными работниками, то зачѣмъ же этимъ интересамъ придавать дальновидныя государственныя цѣли?

Такимъ образомъ, въ характерѣ и въ дѣятельности Годунова напрасно станемъ искать самостоятельности и дальнозоркости, которыя навязываютъ ему нѣкоторые историки. Онъ былъ вполнѣ произведеніемъ Ивана Грознаго и только имѣлъ несчастіе жить въ то время, когда наступила расплата за угнетеніе его предшественника; Годуновъ, воспитанный среди боярскихъ крамолъ, среди неслыханныхъ злодѣяній, совершавшихся на его глазахъ, не могъ возвыситься до безкорыстнаго взгляда на ту землю, которая пріютила его предка-татарина; не могъ онъ спокойно и увѣренно всходить на ступени престола, окруженный ненавистью старинныхъ княжескихъ и родовыхъ семействъ, смотрѣвшихъ на него, какъ на убійцу послѣдняго Рюриковича и какъ на выскочку. Отсюда—и всѣ противорѣчія этого темнаго характера и постоянная боязнь за свою жизнь и за свою власть. Намъ нѣтъ дѣла до внутреннихъ побужденій Бориса, хотя бы они были самыми лучшими; но если поступки не оправдывали ихъ, то исторія не можетъ оправдать и самого дѣятеля. Благія начинанія еще не много значатъ, когда въ результатѣ ихъ остается нуль. Но чтобы удовлетворительно объ

яснить характеръ Бориса Годунова, надо обращаться не къ личнымъ его свойствамъ, а къ основательному и подробному изученію той эпохи, созданіемъ которой онъ былъ; надо знать, какіе люди и какія обстоятельства вліяли на судьбу Годунова и приготовили ему извѣстное историческое положеніе. Къ сожалѣнію, наши историки не сдѣлали даже попытки въ этомъ отношеніи. У нихъ выходитъ, что Годуновъ создалъ свое время и тогдашнюю Россію, а не время и Россія создали Бориса Годунова. „Такимъ образомъ, говоритъ г. Соловьевъ,—въ характерѣ человѣка, возсѣвшаго на престолѣ Рюриковичей, заключалась возможность начала смуты". Выходитъ, что одинъ человѣкъ взбаломутилъ всю русскую землю. Выходитъ, что такіе историки смотрятъ на историческую жизнь, какъ на сборникъ біографическихъ очерковъ и занимаются больше отдѣльными личностями, чѣмъ общими событіями, выдвигающими на сцену тѣхъ или другихъ дѣятелей. Чтеніе — легкое и пріятное, но совершенно безполезное, потому что ровно ничего не объясняетъ въ исторической жизни народа. Можно было надѣяться, что г. Соловьевъ представитъ намъ эпоху Годунова, одну изъ самыхъ драматическихъ и интересныхъ эпохъ, въ болѣе ясномъ свѣтѣ, чѣмъ это было до него, но увы! та же рутина, тотъ же взглядъ протоколиста, какъ и у его собратій. Есть множество фактовъ, большая начитанность, есть и связь между разсказываемыми событіями, но нѣтъ той критической мысли, которая одушевляла бы разсказъ историка и доказывала бы, что въ жизни русскаго народа, кромѣ отвлеченной государственной идеи, есть и другія дѣятельныя силы. Послѣ этого очевидно, что главнѣйшій недостатокъ нашей исторической науки заключается въ самомъ методѣ ея изученія, въ самомъ воззрѣніи на собранные уже матеріалы. Обновленія этого труда мы можемъ ожидать только отъ нашихъ молодыхъ историковъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что „Тысячелѣтіе Россіи" г. Павлова значительно разнится по взгляду на предметъ отъ его вышеприведенной книжки. Здѣсь мы уже не видимъ прозорливаго и благодѣтельнаго Бориса Годунова, но *чрезвычайно мелочнаго* и *подозрительнаго*, оставляющаго Россію въ виду кровавыхъ событій, среди повсемѣстнаго раззора и голода. По всему замѣтно, что г. Павловъ разочаровался во многомъ и готовъ отступиться отъ своей прежней теоріи, съ высоты которой онъ посмотрѣлъ на исторію въ его разсужденіи о Борисѣ Годуновѣ.

1864 г.

МОСКВА И НОВГОРОДЪ.

(„Сѣверно-русскія народоправства во времена удѣльно-вѣчевого уклада“, соч. Н. Костомарова. 1863 года).

Въ послѣднее время наша критика осуждена на самое жалкое бездѣйствіе; за неимѣніемъ капитальныхъ произведеній, она роется среди разнаго печатнаго мусора, въ которомъ не знаешь, чего меньше — ума или добросовѣстности. Литература, при всемъ видимомъ развитіи своей дѣятельности, поражена такимъ безсиліемъ, какого она уже давно не испытывала; въ ней замѣтно даже отсутствіе того честнаго такта, которымъ она, кажется, больше всего дорожила. Между полемикой и доносомъ почти потеряно всякое различіе; между литературной приживалкой, въ родѣ Ап. Григорьева или Вс. Крестовскаго, и писателемъ съ убѣжденіями едва замѣчаешь нравственную границу. Среди литературныхъ именъ встрѣчаются люди, которымъ удивляешься, какъ они могли попасть не въ свое мѣсто. Въ нестройномъ гулѣ словъ и разныхъ неприличныхъ выходокъ живая мысль какъ будто замерла.

Въ такое время появленіе хорошей книги должно радовать критику. Хорошая книга заставляетъ думать, производитъ болѣе или менѣе цѣльное впечатлѣніе и возвышаетъ интересъ самой критики. Человѣческая мысль живетъ и освѣжается раздраженіемъ отъ окружающихъ явленій, и если разбираемый авторъ выводитъ читателя и критика изъ обыкновенной умственной апатіи, — этой неизлечимой болѣзни нашего общества, — то такой писатель имѣетъ полное право на вниманіе.

Талантъ г. Костомарова всегда имѣлъ нѣкоторую долю этого оживляющаго вліянія, особенно въ его первыхъ произведеніяхъ. Когда онъ былъ молодъ и силенъ своими стремленіями, когда его художественная натура брала верхъ надъ ремесломъ ученаго, его читали съ наслажде-

ніемъ. Какъ художникъ, г. Костомаровъ никогда не ошибался въ своихъ симпатіяхъ и былъ очень счастливъ въ выборѣ предметовъ; онъ особенно сочувствовалъ тѣмъ эпохамъ и дѣятелямъ, въ которыхъ сильнѣе и ярче выразились черты народной жизни. И въ этомъ отношеніи русская исторія многимъ обязана ему.

Вступая на профессорскую каѳедру, г. Костомаровъ заявилъ свое profession de foi въ слѣдующемъ обѣщаніи: „При чтеніи исторіи русскаго народа, говорилъ онъ,—мы будемъ обращать вниманіе на такія явленія, которыя откроютъ намъ нравственное бытіе народа и его духовную дѣятельность. Мы не станемъ слѣдовать за утомительнымъ рядомъ княжескихъ усобицъ и войнъ съ иноземцами, но выберемъ изъ нихъ только то, что̀ укажетъ намъ степень народнаго участія въ нихъ, народный взглядъ на нихъ и вліяніе ихъ на жизнь народную. Мы не остановимся даже на какомъ нибудь громкомъ государственномъ событіи болѣе того, сколько требовать этого будетъ уразумѣніе воздѣйствія его на народный бытъ и воспитаніе; мы не станемъ преклоняться предъ біографіею лицъ, выходящихъ изъ массы: для насъ они будутъ важны единственно потому, что̀ они принесли съ собою изъ массы и что̀ сообщили массѣ ихъ дарованія. Намъ не будетъ важенъ никакой законъ, никакое учрежденіе сами по себѣ, а только приложеніе ихъ къ народному быту; насъ не займетъ никакой литературный памятникъ, если мы не будемъ видѣть въ немъ ни выраженія народной мысли, ни той силы, которая пробуждаетъ эту мысль; въ такомъ случаѣ для насъ гораздо важнѣе народная пѣсня, даже полная анахронизмовъ въ изложеніи внѣшняго событія. Если мое чтеніе приметъ образъ непрерывнаго повѣствованія, то преимущественно въ тѣхъ эпохахъ, когда проявляется народная самодѣятельность. Что для историка, имѣющаго на первомъ планѣ государственную жизнь, составляетъ неважныя черты, у насъ будетъ предметомъ первой важности. Такъ, напримѣръ, повѣствованія нашихъ лѣтописцевъ о неурожаяхъ, наводненіяхъ, пожарахъ и разныхъ бѣдствіяхъ, заставлявшихъ народъ страдать, о затмѣніяхъ и кометахъ, пугавшихъ его воображеніе, для нашего способа изложенія будутъ гораздо важнѣе многаго другого“. (Вступит. лекція. „Рус. Слово“. 1859 г. кн. XII).

Такой взглядъ на исторію, какъ замѣчаетъ самъ г. Костомаровъ, не заключаетъ въ себѣ ничего новаго; онъ давно примѣненъ къ изученію историческихъ народовъ и вездѣ оказался плохимъ въ своемъ исполненіи, потому что для массъ еще не наступила исторія въ томъ смыслѣ, какъ понимаютъ ее въ наше время. Историкъ изучаетъ дѣйствія людей, какъ свободное проявленіе ихъ воли и ума, а такой дѣятельности отжившіе народы не имѣли. За нихъ и насчетъ ихъ дѣйствовали различныя партіи, выдѣлявшіяся изъ массы и болѣе или менѣе безусловно распоряжавшіяся массами. Нѣтъ сомнѣнія, что между народомъ и его правителями всегда можно отыскать извѣстную нравственную солидар-

ность, взаимное ручательство за прочность отношеній обѣихъ сторон; но эта солидарность часто бываетъ слѣдствіемъ необходимости и, з искусственной обстановкой общественныхъ формъ, скрываетъ полнѣйше отсутствіе свободной дѣятельности. А тамъ, гдѣ нѣтъ ея, не можетъ быть и исторіи. Древніе юристы, разсматривая пассивное положеніе раба, какъ существа безличнаго и безгласнаго, считали его простой вещью и цѣнили наравнѣ съ рабочимъ скотомъ. Само собою разумѣется, что съ такимъ сословіемъ исторіи нечего дѣлать. Но въ такомъ положеніи иногда находятся цѣлые народы, какъ, напримѣръ, почти всѣ восточныя племена, у которыхъ народная самодѣятельность была убита въ самомъ источникѣ ея зарожденія. У такихъ племенъ, какъ у древнихъ рабовъ, могутъ существовать преданія, сказки, преувеличенныя и искаженныя воспоминанія о прошлыхъ поколѣніяхъ, занимавшихъ сцену историческаго дѣйствія, но не можетъ быть исторіи въ точномъ значеніи этого слова. Даже у народовъ европейскихъ самодѣятельность массъ проявлялась только спазматически, въ эпохи великихъ переворотовъ или общенародныхъ бѣдствій, но постепеннаго развитія и здѣсь она не имѣла. Поэтому историку, съ самымъ проницательнымъ взглядомъ на вещи и съ самымъ богатымъ запасомъ матеріаловъ, нѣтъ возможности представить полную и удовлетворительную исторію какого бы то ни было народа. Такая задача, какъ она ни привлекательна съ перваго взгляда, оказывается очень интересной, но совершенно безполезной мечтой.

Есть, впрочемъ, одна сторона въ жизни современныхъ народовъ, сторона чисто-нравственная, которую историкъ можетъ изучать помимо общественныхъ условій той или другой страны. Это — извѣстный складъ умственной дѣятельности народа, развитіе его понятій, вѣрованій и воззрѣній на окружающіе предметы; но и здѣсь массы недалеко ушли отъ своего допотопнаго состоянія, и я затруднился бы указать различіе между смердомъ, современнымъ Рюрику, и крѣпостнымъ человѣкомъ, современнымъ историку Костомарову. Говоря вообще, привиллегіи ума всегда принадлежали отдѣльнымъ классамъ и не были доступны бѣдной и самой многочисленной части народа. Притомъ въ умственной жизни перемѣны происходятъ медленно, гораздо медленнѣе, чѣмъ въ соціальныхъ и гражданскихъ отношеніяхъ. Извѣстныя вѣрованія переживаютъ вѣка и, когда кругомъ ихъ все падаетъ и разрушается, они одни остаются цѣлыми. Эта живучесть старыхъ понятій объясняется не столько ихъ внутреннимъ достоинствомъ, сколько недостаткомъ средствъ, возбуждающихъ нашу мысль къ правильной работѣ и трудностью пріобрѣтенія новыхъ идей. Поэтому и здѣсь историкъ долженъ остановиться на явленіяхъ отдѣльныхъ, часто не имѣющихъ никакой органической связи съ жизнью самаго народа. Кромѣ того, событія умственной жизни такъ неуловимы, слагаются такъ незамѣтно, что изученіе ихъ требуетъ отъ историка необыкновенныхъ усилій. Когда онъ занимается политическими

фактами и оцѣниваетъ ихъ критически, у него есть много данныхъ, сохранившихся въ письменныхъ и изустныхъ сказаніяхъ; но когда онъ начинаетъ слѣдить за умственнымъ движеніемъ народа и разными проявленіями его мысли, тогда подъ рукой его оказывается очень мало положительныхъ источниковъ. Литературные памятники не даютъ вѣрнаго и полнаго понятія о томъ, что̀ думалъ и чувствовалъ народъ во время составленія ихъ. Они подставляютъ уже искаженныя понятія, свойственныя извѣстному кружку, отдѣлившемуся отъ массы. Такъ, напримѣръ, историкъ впалъ бы въ страшную ошибку, еслибъ сталъ судить объ умственномъ состояніи всей древней Россіи по тѣмъ монашескимъ лѣтописямъ, которыя дошли до насъ. Точно также было бы ошибочно, еслибъ будущій историкъ XX вѣка, на основаніи нашей настоящей литературы, вывелъ общее заключеніе объ умственной жизни всего народа. Литературныя идеи могутъ составляться совершенно независимо отъ большинства народа и даже во вредъ ему; онѣ выработываются такъ называемымъ образованнымъ обществомъ и ему же предлагаются. Мы не знаемъ на земномъ шарѣ ни одной литературы, которая бы могла служить мѣрой народнаго развитія; напротивъ, самыя цвѣтущія, аристократическія литературы почти вездѣ доказываютъ крайнюю отсталость и глубокое невѣжество массы. Это понятно: усиленная умственная дѣятельность отдѣльныхъ сословій, при настоящемъ экономическомъ порядкѣ, слишкомъ далекомъ отъ правильнаго распредѣленія какъ матеріальныхъ, такъ и нравственныхъ силъ, идетъ прямо въ-разрѣзъ съ образованіемъ большинства... Поэтому историкъ народной жизни напрасно сталъ бы искать въ литературныхъ произведеніяхъ точнаго масштаба для оцѣнки умственныхъ силъ массы. Понятія и вѣрованія ея, находясь внѣ всякаго вліянія искусственной цивилизаціи, формируются на основаніи тѣхъ впечатлѣній, которыя производитъ окружающая природа на мозгъ человѣка. Отъ разнообразія и годности этихъ впечатлѣній и отъ большей или меньшей способности воспринимать ихъ зависитъ направленіе и качество умственной дѣятельности народа. Притомъ развитіе человѣческаго организма и непремѣнно связанныя съ нимъ мыслительныя силы обусловливаются мѣстными свойствами страны — климатомъ, обиліемъ или недостаткомъ водъ, хорошей или дурной пищей, плодородіемъ или нищетой почвы и т. п. Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ естественныхъ дѣятелей, складываются племенные типы и разнообразныя формы общественныхъ конституцій. Для историка нашего времени, желающаго представить дѣйствительную народную жизнь, изученіе ея должно начинаться прямо съ физическихъ условій страны; прежде, чѣмъ онъ станетъ разсказывать намъ о ходѣ событій и объ участіи въ нихъ народнаго ума и воли, ему необходимо обратиться къ самому источнику этихъ событій — къ способности человѣка понимать свое положеніе и устроивать его въ свою пользу; а такъ какъ эта способность образуется

подъ вліяніемъ физическихъ условій, постоянно дѣйствующихъ на развитіе народа, то историкъ долженъ быть прежде всего хорошимъ натуралистомъ. Знаніе природы и отношеній ея къ дѣйствіямъ человѣка составляетъ главную задачу современной исторической науки. Къ сожалѣнію, въ этомъ отношеніи сдѣлано такъ мало, что исторія попрежнему остается не наукой въ строгомъ смыслѣ, а собраніемъ произвольныхъ гипотезъ и фантастическихъ легендъ. Поэтому всѣ попытки, предпринятыя доселѣ для изученія народной жизни той или другой страны, не привели ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. Наши историки даже не сдѣлали и попытокъ, остановившись на томъ методѣ изученія русскаго народа, который былъ годенъ лѣтъ за тридцать прежде.

Авторъ „Сѣвернорусскихъ народоправствъ" вполнѣ раздѣляетъ недостатки той исторической школы, къ которой онъ принадлежитъ. Придавая серьезное значеніе народнымъ вымысламъ и небеснымъ знаменіямъ, созданнымъ мистической фантазіей лѣтописцевъ, онъ въ то же время пренебрегаетъ такими данными, безъ которыхъ можно заблудиться въ историческомъ изученіи, какъ въ дремучемъ лѣсу. Такъ, объясняя первоначальное заселеніе новгородскаго края, г. Костомаровъ прибѣгаетъ къ сказкѣ, наполненной очевидными нелѣпостями, и почти ничего не говоритъ о мѣстномъ характерѣ страны, занятой новгородскими поселенцами. Изъ разсказа историка не видно, почему на берегахъ Ильменя начинается раньше общественная жизнь, чѣмъ, напримѣръ, на берегахъ Волги, и почему эта жизнь принимаетъ совершенно иной характеръ, чѣмъ въ остальныхъ федераціяхъ славянскаго племени. Вообще г. Костомаровъ, придерживаясь внѣшнихъ фактовъ такъ, какъ передаютъ ихъ лѣтописи, не освѣщаетъ ихъ своими критическими соображеніями и многое оставляетъ догадкамъ самого читателя. Но мы уже сказали, что г. Костомаровъ преимущественно художникъ и, слѣдовательно, строго относиться къ его ученымъ выводамъ нельзя. Какъ знатокъ фактическихъ подробностей, какъ добросовѣстный собиратель историческихъ данныхъ, онъ стоитъ гораздо выше своихъ собратій по наукѣ, но ему одинаково съ ними недостаетъ полнаго и новаго взгляда на исторію человѣческихъ обществъ. Поэтому онъ остается полнымъ хозяиномъ собранныхъ имъ матеріаловъ только до тѣхъ поръ, пока надо связать ихъ въ одно цѣлое, расположить по готовому плану, — но дать своему построенію оригинальный характеръ онъ не можетъ. Кромѣ того, мы не вправѣ требовать отъ разбираемой нами книги строго ученаго труда; г. Костомаровъ предлагаетъ публикѣ исторію Новгорода, Пскова и Вятки подъ скромнымъ названіемъ лекцій, читанныхъ имъ студентамъ университета. Само собою разумѣется, что профессоръ долженъ былъ въ своихъ чтеніяхъ примѣняться къ степени развитія своихъ молодыхъ слушателей и, вѣроятно, многимъ жертвовалъ въ пользу аудиторіи. По крайней мѣрѣ такъ кажется намъ; многое можно было бы

выбросить изъ книги, безъ особеннаго вреда достоинству ея, и многое можно было бы прибавить. Такъ, бытовая сторона Новгорода и отношенія его къ остальнымъ русскимъ городамъ представлены историкомъ гораздо подробнѣе, чѣмъ внутренняя организація республики. На сотнѣ страницъ мы читаемъ, что великій Новгородъ поссорился съ такимъ-то княземъ за то-то, прогналъ отъ себя такого-то князя за лихоимство, одному предложилъ такія-то условія, а другому другія, а между тѣмъ мы не видимъ, какія обстоятельства подорвали независимость Новгорода внутри его, когда Москва приготовилась нанести ему послѣдній, смертельный ударъ извнѣ; мы также ничего не узнаемъ о вліяніи иностранныхъ націй на развитіе новгородскаго общества, а что это вліяніе было довольно значительно — въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Цѣлую главу г. Костомаровъ отводитъ описанію церковныхъ дѣлъ и монастырскаго устройства, и ни одной страницы не удѣлилъ на то, чтобы сказать объ умственномъ состояніи новгородскаго общества, а между тѣмъ это общество находилось въ постоянныхъ сношеніяхъ съ европейскими народами, отличалось гостепріимствомъ съ иностранцами и, когда жители другихъ городовъ едва ли имѣли понятіе о томъ, что за предѣлами Россіи живутъ такіе же люди, новгородцы свободно путешествовали за границей и проживали тамъ, какъ дома. Нѣтъ сомнѣнія, что кромѣ торговыхъ дѣлъ между Новгородомъ и Европой могъ образоваться обмѣнъ другихъ интересовъ, обмѣнъ идей и цивилизаціи. Существованіе этой нравственной связи подтверждается тѣмъ, что новгородцы любили иностранцевъ и вовсе не чуждались ихъ, подобно москвитянамъ. Герберштейнъ, говоря о характерѣ послѣднихъ, отзывается о нихъ въ самыхъ нелестныхъ выраженіяхъ, а первыхъ называетъ народомъ честнымъ и гуманнымъ. Откуда же могла взяться честность и гуманность новгородскаго общества, еслибъ оно стояло на одинаковомъ уровнѣ образованія съ московской Россіей? Но г. Костомаровъ, такъ тщательно перебирающій разныя археологическія мелочи, какъ будто съ намѣреніемъ умалчиваетъ о такомъ фактѣ, какъ образованіе промышленнаго и торговаго края.

Не менѣе того удивляетъ насъ крайняя близорукость историка въ самыхъ простыхъ соображеніяхъ, которыя такъ необходимы для разъясненія событій, лишенныхъ всякаго смысла, если оставить ихъ въ голомъ перечнѣ историческаго разсказа. Касаясь, напримѣръ, состава военныхъ силъ Новгорода, г. Костомаровъ замѣчаетъ, что „новгородцы сражались мечами, сѣкирами, палицами, сулицами и стрѣлами. Въ XV вѣкѣ *стали употреблять пушки*, но по старой привычкѣ не оставляли стрѣлъ и лука“. Вотъ и все, что нашелся сказать историкъ объ употребленіи огнестрѣльнаго оружія въ оборонѣ новгородской земли; а между тѣмъ, этотъ, повидимому, ничтожный фактъ имѣетъ громадное значеніе въ судьбѣ новгородской свободы. Какъ бы ни усилилась Москва, какъ

враждебная стихія великому Новгороду, какъ бы далеко ни простирались самодержавныя цѣли Іоанна III, но не случись изобрѣтенія пороха, борьба двухъ непріязненныхъ народностей не кончилась бы такъ скоро и такъ гибельно для новгородцевъ. Введеніе огнестрѣльнаго оружія, измѣнивъ систему войны, привело къ необходимости имѣть постоянныя войска, которыя, въ свою очередь, содѣйствовали развитію политической централизаціи и дали явный перевѣсъ абсолютизму европейскихъ правительствъ. Отсюда начинается поглощеніе слабыхъ народовъ болѣе сильными, и на всемъ европейскомъ пространствѣ только одна Англія уцѣлѣла отъ военнаго деспотизма, измѣнившаго географическую карту по его личному произволу. Какъ скоро Москва обзавелась пушками и постоянной ратью, послѣдній часъ новгородской независимости безвозвратно пробилъ, и можно было только отсрочить минуту ея паденія, но не избѣжать его. Новгородъ, какъ страна промышленная, вниманіе которой было поглощено совершенно другими интересами, чѣмъ военныя упражненія, никогда не могъ поравняться съ Москвой въ этомъ отношеніи, и рано или поздно долженъ былъ ожидать рѣшительнаго пораженія со стороны московскихъ князей. Въ виду этой опасности онъ даже не позаботился организовать постоянное войско и укрѣпить свои пограничныя линіи. Съ равнодушіемъ, понятнымъ только среди чисто гражданскаго общества, занятаго своими внутренними дѣлами, онъ смотрѣлъ на возраставшаго врага и попрежнему думалъ, что въ случаѣ бѣды можно откупиться деньгами, зная по опыту лихоимство русскихъ князей. Но этого было мало, когда сдѣлалось возможнымъ взять больше. Притомъ Новгородъ такъ недальновидно дѣйствовалъ по отношенію къ своимъ союзникамъ, что не съумѣлъ заинтересовать ихъ въ свою пользу и, когда пришло время побороться съ московской силой, онъ былъ одинъ и никто не явился къ нему на помощь. Онъ даже не поддержалъ дружественныхъ отношеній съ такимъ естественнымъ союзникомъ, какъ Псковъ, измѣнившимъ своему брату въ самую критическую минуту. Можно было еще разсчитывать на старыя антипатіи удѣльныхъ князей и въ случаѣ надобности найдти между ними своихъ сторонниковъ; но эти антипатіи со временемъ ослабѣли и отъ самостоятельности удѣловъ осталась одна тѣнь ихъ прежняго могущества. Такимъ образомъ, оставалось положиться на самого себя и, собравъ нестройныя толпы своихъ *рубленыхъ* и *охочихъ* ратниковъ, выставить ихъ противъ московскаго войска. Нетрудно было предвидѣть, на чьей сторонѣ останется побѣда. Это обстоятельство такъ важно, что читатель вправѣ ожидать отъ г. Костомарова хоть нѣкотораго вниманія къ нему, но историкъ разсудилъ за лучшее разсказать намъ сказку о Гостомыслѣ, чѣмъ взвѣсить вліяніе огнестрѣльнаго оружія на судьбу Новгорода.

Точно также мало удовлетворяютъ наше историческое чувство и другіе предметы, затронутые г. Костомаровымъ, и затронутые тѣмъ легче,

чѣмъ они серьезнѣе. Коснувшись „общественныхъ бѣдствій", опустошавшихъ Новгородъ, историкъ представляетъ довольно подробную таблицу пожаровъ. Въ такомъ-то году, повѣствуетъ онъ, сгорѣло столько-то церквей, а въ такомъ-то выгорѣла цѣлая улица такая-то, а въ такомъ-то столѣтіи было столько-то пожаровъ и т. д. Но отъ подобныхъ подробностей историкъ могъ бы легко освободить себя. Намъ извѣстно его знаніе лѣтописей и добросовѣстное обращеніе съ ними, мы повѣрили бы ему и на слово, что Новгородъ горѣлъ часто и сильно. Не повѣрить этому нельзя, потому что всякій знаетъ, что бродячее народонаселеніе древней Руси не заботилось о солидной постройкѣ своихъ жилищъ, что оно ставило свои избенки „на курьихъ ножкахъ", болѣе отъ дождя и холода, чѣмъ для постояннаго жилья, и готово было во всякое время бросить ихъ и перебраться изъ одной мѣстности въ другую; всякій знаетъ и то, что деревянная Россія, не защищенная отъ крѣпкихъ вѣтровъ, почти сплошь покрытая соломой и хворостомъ, всегда была подвержена страшнымъ опустошеніямъ огня, и что Новгородъ въ этомъ случаѣ не составлялъ исключенія изъ общаго правила. Кромѣ пожаровъ Новгородскій край испытывалъ и другія бѣдствія — повальныя болѣзни, неурожаи и наводненія. При описаніи этихъ золъ, поражавшихъ воображеніе тогдашняго суевѣрнаго люда мистическимъ страхомъ, лѣтописцы впадаютъ въ религіозный экстазъ и въ физическихъ явленіяхъ природы видятъ участіе сверхъестественныхъ силъ. Историкъ нашего времени, при взглядѣ на эти событія, долженъ осмыслить ихъ причины и значеніе; современная наука даетъ ему нѣкоторыя данныя для объясненія фактовъ, которые казались прежде необъяснимыми; онъ долженъ показать ихъ вліяніе на общій ходъ происшествій,— не только на тѣхъ людей, которые подвергались этимъ бѣдствіямъ, но и на послѣдующія поколѣнія, которыя для мыслящаго историка не прерываютъ своей связи съ прожитыми эпохами. И такъ какъ вліяніе это можно разсматривать съ двухъ сторонъ — съ нравственной и экономической, то историкъ обязанъ представить и ту и другую сторону: его дѣло освѣтить передъ читателемъ тѣ послѣдствія, которыми отражались напримѣръ, моровыя повѣтрія на умственномъ состояніи общества; — какъ они дѣйствовали на его образъ мыслей и чувствъ и какіе слѣды оставляли въ его моральномъ быту. Точно также интересно знать, на сколько общее благосостояніе страны зависѣло отъ тѣхъ непредвидѣнныхъ и случайныхъ препятствій, съ которыми суждено было человѣку бороться. Немного я прибавлю къ своимъ свѣдѣніямъ, если узнаю отъ историка, что Новгородъ въ XIII или XIV вѣкѣ потерпѣлъ нѣсколько неурожаевъ и голодныхъ моровъ; въ этомъ едва ли кто сомнѣвается. Всякій также знаетъ, что новгородская почва, покрытая густыми лѣсами и болотами, плохо воздѣлываемая бѣднымъ и грубымъ населеніемъ, не отличалась особеннымъ плодородіемъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ хотѣлось

бы знать, какое направленіе сообщила эта почва экономическимъ силамъ народа и къ какому роду дѣятельности расположила его съ теченіемъ времени. Лѣтописецъ говоритъ, что льготная грамота Ярослава дала Новгороду гражданскую автономію и политическую свободу; но грамота сама по себѣ мертвая буква, которою надо было воспользоваться живому обществу. Подобныя грамоты давались и другимъ городамъ, гдѣ также были свой судъ и свои вѣча; но эти города утратили свою вольность прежде, чѣмъ оцѣнили ея хорошіе результаты, а Новгородъ утвердилъ ее за собой и долго отстаивалъ; слѣдовательно, здѣсь Ярославова грамота нашла общество готовымъ и способнымъ удержать за собой данныя права. А для этого нужны были особенныя условія, которыхъ не доставало другимъ городамъ. Въ числѣ этихъ условій играетъ важную роль географическое положеніе Новгородскаго края, соединеннаго своими водами съ моремъ и поставленнаго въ близкое соприкосновеніе съ Европой. Это обстоятельство должно было пробудить въ новгородцахъ духъ предпріимчивости и торговаго риска, а скудость произведеній, получаемыхъ отъ земли, отвлекла народную дѣятельность къ промышленнымъ занятіямъ, что, въ связи съ другими условіями, привело Новгородъ къ его политической свободѣ. Такимъ образомъ, за голымъ фактомъ, помѣченнымъ лѣтописью, для мыслящаго историка скрывается цѣлый рядъ другихъ фактовъ, проливающихъ новый свѣтъ на историческую судьбу народа. Къ сожалѣнію, г. Костомаровъ не даетъ отвѣта на всѣ эти вопросы и держится въ сферѣ простого разсказчика даже тамъ, гдѣ фактъ невольно напрашивается на его критическій взглядъ. Мы, конечно, не поставили бы этого въ упрекъ такимъ цеховымъ историкамъ, какъ гг. Устряловъ или Соловьевъ, но талантъ автора „Сѣвернорусскихъ народоправствъ" далеко выходитъ изъ рядовъ нашего ученаго цеха.

Такимъ образомъ книга г. Костомарова, при всемъ интересѣ главнаго предмета ея, — исторіи Новгорода — читается вяло, и если передаетъ много фактовъ, за то не вноситъ въ нихъ никакой новой идеи. Матеріалы, собранные историкомъ, остаются въ сыромъ состояніи, не переработанные въ его собственной головѣ. Оттого картина выходитъ довольно пестрая, гдѣ все есть, что относится до внѣшней жизни Новгорода, но самаго Новгорода не видно. Лицевая сторона его исчезаетъ за мелкими подробностями, которыя хороши были бы въ историческомъ сборникѣ, а не въ книгѣ г. Костомарова. Поэтому, еслибъ авторъ сократилъ ее на половину, то нисколько не повредилъ бы достоинству другой половины.

Лучшія страницы въ „Сѣвернорусскихъ народоправствахъ" заключаются въ X главѣ, описывающей агонію Новгорода и его паденіе. Эта глава напоминаетъ намъ въ г. Костомаровѣ того художника, котораго

мы знаемъ по его прежнимъ историческимъ монографіямъ. Она живо и наглядно представляетъ, какъ эта свободная жизнь постепенно замирала подъ вліяніемъ московскаго деспотизма, стиравшаго одну за другой мѣстныя черты русской федераціи. Но не въ одномъ самовластіи московскихъ князей надо видѣть причину паденія Новгорода; отчасти онъ самъ приготовилъ его себѣ тѣмъ ложнымъ положеніемъ, изъ котораго не съумѣлъ выдти, когда было можно. Онъ постоянно и до конца своей независимости двоился между стремленіемъ къ внутренней самостоятельности и къ внѣшней связи съ остальными частями Россіи. „Въ Новгородѣ, говоритъ г. Костомаровъ,—не ослаблялось чувство народнаго единства съ другими землями; голосъ церкви напоминалъ новгородцамъ о духовномъ братствѣ съ русскимъ міромъ и, кромѣ того, внѣдрялъ въ умы монархическія понятія, препятствовавшія новгородцамъ совершенно отрѣшиться отъ идеи имѣть надъ собою одно верховное лицо; необходимость торговыхъ сношеній съ остальною Русью, которыя прекращались въ случаѣ вражды, страхъ за свои двинскія волости, къ которымъ подбирались великіе князья, и наконецъ, боязнь татаръ, съ помощію которыхъ князья могли бы искать власти надъ отпавшимъ Новгородомъ — всѣ эти обстоятельства разомъ не дозволяли Новгороду дать перевѣсъ своей областной самостоятельности предъ федеративною связью съ остальною Русью, и потому Новгородъ признавалъ сильнѣйшаго. Въ Новгородѣ была борьба двоевластія: съ одной стороны народоправленіе, выражавшееся формою вѣча, сознаніе государственной цѣльности новгородской земли; съ другой — великій князь; признавалась его власть, а между тѣмъ принимались всевозможнѣйшія мѣры, чтобъ ограничить эту власть и допустить ей какъ можно меньше вмѣшательства въ дѣла республики". Такимъ образомъ племенная связь прикрѣпляла Новгородъ къ массѣ славянскаго народа, а политическое устройство тянуло его въ другую сторону. Это обстоятельство породило много путаницы въ самой внутренней жизни „господина" Великаго Новгорода; впослѣдствіи мы видимъ въ немъ двѣ противоположныя партіи, изъ которыхъ одна дружила Москвѣ, а другая враждовала съ ней, и когда дѣло доходило до серьезнаго столкновенія этихъ партій, становилось очевидно, что Новгородъ былъ нравственно разорванъ на двѣ одинаково живыя части. Сверхъ того, въ самомъ экономическомъ складѣ его таилась глубокая пропасть, раздѣлявшая членовъ одной и той же общественной семьи. Г. Костомаровъ упускаетъ изъ виду этотъ внутренній антагонизмъ, но онъ такъ важенъ по своимъ послѣдствіямъ, что мы должны приписать ему главнѣйшее вліяніе на упадокъ Новгорода. Какъ въ республикѣ средневѣковаго характера, въ немъ было два непріязненныхъ сословія — богатое барство и бѣдная чернь. По недостатку историческихъ источниковъ, нельзя судить о взаимномъ отношеніи этихъ сословій, о степени развитія пролетаріата среди промышленнаго города, но на основаніи нѣко-

[illegible]

Началася сваляк: „бане и губленіе. повѣствуетъ лѣтописецъ, — [illegible] стукъ отъ оружія. Блеска же мертвые, [illegible] на рати, и отъ гр[illegible] страшна и отъ возмущенія того великаго встряслася весь градъ [illegible] страхъ на обѣ стронѣ“. Конечно, такія кровопролитныя стол[illegible]енія сословій были рѣдки, но одинъ этотъ случай ясно показываетъ, ч[illegible] поводы къ внутреннему раздору существовали. Нѣтъ сомнѣнія, что въ ми[illegible] общей опасности, угрожавшей извнѣ, эти домашнія смуты должны бы[illegible] утихать, и народъ единодушно обращалъ свое вниманіе на врага. [illegible] здѣсь работали подкупы, столь соблазнительные среди города, знавша[illegible] цѣну деньгамъ. Московская партія не дремала, когда надо было дѣ[illegible] ствовать въ пользу своихъ честолюбивыхъ замысловъ. А что больши[illegible] ство бояръ тянуло на сторону Москвы — это очень понятно. Прені[illegible] щные родовыми и должностными отличіями, на что они могли надѣяться отъ Новгорода? Тогда какъ Москва готова была вполнѣ удовлетв[illegible]рить ихъ желанія, раздавая имъ почетныя мѣста и служебныя приви[illegible]легіи. И это обстоятельство вносило духъ крамолы и разрыва въ но[illegible]городское общество. Всѣ эти элементы, накопившіеся съ вѣками исподово[illegible] подготовляли Новгородъ къ его паденію, тѣмъ болѣе, что свободн[illegible]

учрежденія его не такъ сложились, чтобы парализировать зло, закравшееся въ самое сердце новгородской республики. Съ другой стороны окрѣпшее московское государство не могло не столкнуться на дорогѣ своего развитія съ самостоятельнымъ и гордымъ Великимъ Новгородомъ. Время было дикаго произвола и кулачнаго права. Если поднималась ожесточенная война за то, что одинъ посадникъ выругалъ литовскаго князя Ольгерда псомъ, и оскорбленный Ольгердъ послалъ свою рать выжечь и вырѣзать новгородскія волости, то чего же можно было ожидать при явномъ противорѣчіи двухъ политическихъ системъ? Смертный бой ихъ долженъ былъ завязаться рано или поздно и окончиться уничтоженіемъ той или другой системы. Мы уже сказали, что матеріальный перевѣсъ былъ со стороны Москвы: разрозненныя силы удѣловъ, исчезая подъ однимъ великокняжескимъ управленіемъ, быстро увеличивали собою московскую централизацію; тамъ было огромное войско, испытанное въ борьбѣ съ ханской ордой; тамъ образовалась, въ суровой школѣ татарской тиранніи, хитрая, осторожная, выжидающая и выглядывающая политика, которая тѣмъ болѣе дорожила самовластіемъ, чѣмъ сильнѣе испытала на себѣ послѣдствія рабства; тамъ было, наконецъ, наслѣдственное предубѣжденіе противъ Новгорода, который часто ссорился съ своими наемными князьями и не добромъ прогонялъ ихъ отъ себя. Между тѣмъ, какъ въ Москвѣ постепенно и незамѣтно росла враждебная сила Новгороду, торговая республика, погруженная въ свои денежные интересы, ничего не предпринимала для охраны своего независимаго положенія. Въ этомъ видѣ застаетъ Новгородъ его предсмертная агонія.

При такомъ ходѣ дѣлъ новгородская катастрофа была логическимъ слѣдствіемъ самой исторіи его; и намъ кажется, что напрасно г. Костомаровъ выставляетъ Іоанна III главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ паденіи Новгорода. Въ такихъ громадныхъ событіяхъ, какъ уничтоженіе самостоятельнаго народа, отдѣльная воля человѣка ничего не значитъ; она слишкомъ слаба для того, чтобы измѣнить направленіе самыхъ событій или передѣлать ихъ роковую необходимость. Историку слѣдовало поглубже взглянуть на внутреннее состояніе новгородскаго общества и поискать въ немъ самомъ и въ его ложныхъ отношеніяхъ къ великокняжеской Руси главные мотивы его паденія. Тогда г. Костомаровъ посмотрѣлъ бы на Ивана, какъ на орудіе неизбѣжнаго приговора самой исторіи, какъ на исполнителя того, что заранѣе приготовили ему обстоятельства. „Ясно было, говоритъ г. Костомаровъ, — что Великій Новгородъ не въ силахъ оградить своей свободы самъ собою. Еще великій князь московскій молчалъ, но молча укрѣплялся и готовился задушить ее въ удобное время". Мы думаемъ, что вовсе не было ясно, когда новгородцы до послѣдней минуты все еще надѣялись, что откупятся отъ своего притѣснителя деньгами и, уступая ему одно право за другимъ, были увѣрены, что время поправитъ дѣло. Еслибъ ясно было Новгороду,

какая гроза собиралась надъ нимъ, онъ не сталъ бы такъ наивно д
вѣрять вкрадчивой политикѣ великаго князя, который хладнокров
шелъ къ своей цѣли. Когда онъ совѣтовалъ новгородцамъ „жить
старинѣ", они гордо отвѣчали посламъ его, что «Новгородъ не отчи
великаго князя, а самъ себѣ господинъ, и долженъ управляться нез
висимо самъ собою", и между тѣмъ ничего не дѣлали для дѣйст
тельнаго обезпеченія своей свободы.

Такъ прошло нѣсколько лѣтъ. Партія патріотовъ, руководимая Марф
Борецкой, завела переговоры съ литовскимъ княземъ, и завела ихъ та
неосторожно, что извѣстіе о нихъ не замедлило дойти до ушей Іоанна II
Явились отъ него новые послы съ грамотой митрополита, въ которой о
усовѣщевалъ новгородцевъ не измѣнять старинѣ и великому князю м
сковскому. Но и на этотъ разъ вѣче рѣшило не сдаваться на совѣ
пословъ: „Великій Новгородъ, кричалъ народъ, — самъ себѣ государь! Х
тимъ за короля Казимира!" Послѣ этого московская власть, не упуск
удобной минуты для нападенія, рѣшилась дѣйствовать. Иванъ Васил
вичъ послалъ двѣ рати — одну на двинскія колоніи Новгорода, а друг
къ самой метрополіи. „Ступайте каждый съ своими полками, говор
онъ воеводамъ, — ступайте разными дорогами къ Великому Новгоро
жгите, убивайте, въ плѣнъ людей загоняйте". Судя по приготовлени
московскаго великаго князя къ этой войнѣ, за успѣхъ которой онъ м
лился у гробовъ предковъ и св. угодниковъ, судя по приказанію его
ничего не щадить на землѣ враговъ, намѣреніе Іоанна III было рѣш
тельное; онъ хотѣлъ не только наказать строптивыхъ новгородцевъ,
до тла разрушить ихъ старыя льготы. Впослѣдствіи онъ такъ и пос
пилъ. А теперь московская рать моровымъ повѣтріемъ прошла по н
городской землѣ; разгромъ былъ страшный, какого давно не бывало
исторіи. „Вся волость новгородская, продолжаетъ г. Костомаровъ, — бы
опустошена; хлѣбъ на поляхъ сожженъ или вытравленъ лошадьми; хлѣ
въ стогахъ и амбарахъ сожженъ вмѣстѣ съ сельскими строеніями; м
добитые поселяне, потерявши имущество, спасали жизнь въ болотахъ
лѣсахъ, и множество ихъ потомъ умирало съ голоду отъ всеобщей с
дости; и къ пущей тягости Великій Новгородъ долженъ былъ плати
великому князю копейное; а это копейное приходилось добыть отъ тру
этихъ раззоренныхъ, лишенныхъ пристанища, одежды, скота, утвар
орудій — поселянъ, оплакивающихъ своихъ кровныхъ, умерщвленны
или сожженныхъ живьемъ ратниками; — своихъ младенцевъ, избитыхъ
пни или брошенныхъ въ пылающія избы; своихъ женъ, изнасилованны
поруганныхъ и замученныхъ; — свою горькую судьбу, доставшуюся
удѣлъ бѣдному труженику — страдать за какой-то Великій Новгород
который хотѣлъ свободно жить на счетъ трудовъ его, — въ угоду вел
кому князю, домогавшемуся овладѣть этими трудами, чтобъ отдать и
другимъ господамъ — своимъ слугамъ! Участь новгородской земли бы

неотрадна въ исторіи; много терпѣла эта страна, бѣдно надѣленная природой; и отъ голода, и отъ мора, и отъ огня, и отъ нашествія непріятелей; но такой бѣды, по замѣчанію современныхъ лѣтописцевъ, не было отъ нихъ отъ вѣка, какъ и земля ихъ стала. Московскіе философы утѣшались тѣмъ, что все это совершилось отъ ихъ же людей — измѣнниковъ, за ихъ отступленіе къ латинству, и людская кровь и вся земская бѣда будетъ взыскана на нихъ отъ Господа Вседержителя, а пострадавшіе получатъ награду въ будущемъ вѣкѣ!"..

Послѣ Шелонской битвы, нанесшей чувствительный ударъ Новгороду, войска его разбѣжались въ разбродъ, народъ упалъ духомъ и партія патріотовъ потеряла довѣріе къ себѣ... До какой степени мало былъ выработанъ политическій смыслъ новгородцевъ — это можно видѣть изъ того, что тѣ же самые люди, которые за нѣсколько недѣль прежде держались стороны Борецкихъ, теперь называли ихъ обманщиками и раболѣпно просили прощенія—у побѣдителя. Впрочемъ, это — общая черта всѣхъ средневѣковыхъ республикъ, основанныхъ болѣе на внѣшнихъ формахъ народнаго правленія, чѣмъ на внутреннихъ условіяхъ общественной свободы. Но жители Новгорода не обезпечили себѣ даже обыкновенной защиты на случай войны; они не запаслись хлѣбомъ для продовольствія города во время осады, они не досмотрѣли, какъ пріятели Москвы заклепали у нихъ пушки. Торжество Іоанна III было полное, тѣмъ болѣе пріятное для него, что онъ увидѣлъ близкую возможность поразить Новгородъ навсегда. И это было рѣшено, но великій князь хотѣлъ сначала истощить страну и потомъ уже разомъ уложить ее подъ свою власть. Поэтому Шелонская побѣда, какъ она ни была рѣшительна, ограничилась примиреніемъ, заключеннымъ, правда, на тяжелыхъ условіяхъ для Новгорода, но ему еще оставалась кой-какая надежда возвратить потерянное. Прошелъ годъ, жгучая боль отъ нанесенныхъ ранъ понемногу стихла, партія патріотовъ снова ожила. „Нѣсколько лѣтъ придавленная противною партіею, говоритъ авторъ,— она опять взяла верхъ; масса народа группировалась около ея представителей; новгородскимъ посадникомъ былъ выбранъ одинъ изъ заклятыхъ враговъ московскаго самовластія — Василій Ананьинъ. Подобные ему патріоты заняли должности. Они не могли не питать злобы къ своимъ противникамъ въ Новгородѣ; плачевный исходъ борьбы 1471 года они приписывали ихъ измѣнѣ, двоедушію и трусости. Начались ссоры, драки, безладица. Афанасьевы, Селезневы, сынъ Марфы Борецкой — Федоръ, староста федоровской улицы Панфилъ, ѣздившій къ Казимиру, и другіе главные представители бывшей литовской партіи сдѣлали набѣгъ на Славкову и Никитину улицу, приколотили нѣкоторыхъ изъ своихъ противниковъ и ограбили ихъ достояніе... Люди московской партіи не могли нигдѣ найдти себѣ управы: терпѣли насилія, поруганія и обратились къ великому князю просить защиты. Этого и нужно было Ивану".

Да, только этого и нужно было. Великій князь зорко, ястребинымъ взглядомъ, слѣдилъ за Новгородомъ; онъ видѣлъ, что въ четыре года послѣ Шелонской битвы сами новгородцы дѣятельно работали на своимъ паденіемъ. Горькіе опыты не научили ихъ ничему путному. Они не приняли никакихъ серьезныхъ мѣръ для болѣе счастливаго исхода изъ новой борьбы. Внутреннія усобицы повторялись все чаще и чаще, раззоренный народъ роптал, и новгородское правительство не позаботилось облегчить его положеніе; надежда на союзъ съ Литвой осталась попрежнему одной надеждой. Іоаннъ III все это видѣлъ, и исподтишка собирался сравнять Новгородъ съ другими городами московскаго государства. Въ 1475 году онъ посѣтилъ Новгородъ и потребовалъ къ себѣ на судъ людей, обвиняемыхъ въ оскорбленіи сторонниковъ Москвы. Судъ былъ торжественный, гдѣ великій князь явился главнымъ рѣшителемъ и карателемъ виновныхъ. Этимъ онъ хотѣлъ показать, что суда народнаго, независимаго, болѣе не существуетъ для новгородцевъ; причемъ онъ не упустилъ случая выставить преступниковъ врагами народа, заискивая его расположеніе на будущее время. И дѣйствительно, новыя столкновенія новгородскихъ партій привели къ тому, что нѣкоторые изъ обиженныхъ стали отправляться прямо въ Москву просить управы и суда. „27 февраля 1477 года между такими челобитчиками, говоритъ г. Костомаровъ, — пріѣхали въ Москву Подвойскій Назаръ, да дьякъ Захаръ. Въ Москвѣ разумѣли ихъ послами отъ владыки и всего Великаго Новгорода. Вмѣсто того, чтобъ великаго князя и его сына, котораго имя поставлено въ договорѣ, вмѣстѣ съ отцовскимъ въ значеніи соправителя, назвать господами, они назвали ихъ государями. Съ утвержденіемъ самодержавнаго начала получили важное значеніе титулы, которые впослѣдствіи играли такую значительную роль въ нашей государственной исторіи, и не одинъ разъ служили предлогомъ къ войнамъ. Великій князь тотчасъ придрался къ этому, и на вопросъ о титулѣ связалъ рѣшительное дѣло о судьбѣ Великаго Новгорода". Придирка эта, конечно, была не болѣе, какъ поводомъ для открытія новой войны, исходъ которой былъ заранѣе разсчитанъ. Иванъ не дурно сообразилъ, что гордость новгородцевъ не снесетъ равнодушно новаго притязанія московскаго властителя и что они, въ свою очередь, сообразятъ, что на одной формальности дѣло не можетъ остановиться. И дѣйствительно, когда прибыли въ Новгородъ московскіе послы, то они потребовали не одного почетнаго титула, а полной гражданской подчиненности великому князю; они сказали на вѣчѣ: „Коли вы назвали его государемъ, значитъ—вы за него задались, и слѣдуетъ быть суду его въ Великомъ Новгородѣ и по всѣмъ улицамъ сидѣть его тіунамъ, и ярославово дворище великому князю отдать, и въ суды его не вступаться". Было понятно, что у Новгорода требуютъ лучшее народное право, съ утратою котораго погибала послѣдняя его самостоятельность. При неразвитости

тогдашнихъ общественныхъ формъ и при жестокости личнаго произвола, правомъ суда дорожили болѣе всего; съ нимъ соединялась безопасность жизни, имущества, доброе имя гражданина не только для подсудимаго, но иногда и для всего семейства его. Московскій судъ, обставленный подъяческими аттрибутами и позорными наказаніями, отчасти перенятыми у татаръ, не могъ приходиться по вкусу Новгорода. Немудрено, что народъ, услыхавъ объ этомъ притязаніи, пришелъ въ сильное раздраженіе и потребовалъ на сцену дѣйствія тѣхъ, кто ѣздилъ въ Москву судиться. Виновниковъ притащили на Вѣче и побили каменьями. Городъ снова взволновался, и бояре, замаравшіе рыльце пушкомъ въ этомъ дѣлѣ, поспѣшили улизнуть въ Москву и просили Ивана наказать непокорную отчину.

Опять собралась многолюдная рать и потянулась разными путями жечь и избивать новгородскую страну. Не встрѣтивъ сопротивленія, московскій князь спокойно подошелъ къ стѣнамъ самой столицы и началъ предписывать свои условія. Между тѣмъ, какъ шли переговоры и волненія среди Новгорода, поставленнаго въ осадное положеніе, московское войско опустошало окрестныя волости и забирало плѣнныхъ. Наконецъ, новгородцы, истомленные внутренними междоусобіями, терпѣвшіе голодъ и застой въ торговыхъ дѣлахъ, подстрекаемые надеждами и обманутые ими, унижаемые и оскорбляемые, приняли отъ побѣдителя всѣ условія, какія ему угодно было предписать: они передали ему право суда, т. е. право жизни и смерти, уступили лучшія свои владѣнія, присягнули въ безусловномъ подданствѣ, и со слезами на глазахъ проводили вѣчевой колоколъ, снятый москвичами и отправленный въ великокняжескій станъ. Затѣмъ отворились ворота Новгорода, и Іоаннъ III вошелъ въ него полнымъ хозяиномъ... Началась расправа, вырывавшая съ корнемъ все, что̀ напоминало о прежнемъ сопротивленіи или о прежней вольности Новгорода. Явились доносы, замѣнившіе открытую рѣчь, и судъ обратился въ тайную молчанку. „У Ивана, продолжаетъ г. Костомаровъ, — былъ уже списокъ главныхъ заговорщиковъ, сообщенный ему предателями. По этому списку онъ велѣлъ схватить пятьдесятъ человѣкъ. Ихъ начали пытать. Въ мукахъ они стали говорить на другихъ и указали, что владыка Феофилъ былъ въ согласіи. Московскій государь не долго разбиралъ дѣйствительность вины владыки: 19-го января, по его приказанію, архіепископа схватили безъ церковнаго суда, отвезли въ Москву и заточили въ Чудовомъ монастырѣ. Его имѣніе, состоявшее во множествѣ жемчуга, золота, серебра, камней, взялъ московскій великій князь себѣ. Обвиненныхъ казнили. Передъ смертью многіе вопили, что они въ безпамятствѣ, подъ пытками, наговорили напраслину; но на это не обратили вниманія. Схватили еще болѣе ста человѣкъ и начали пытать. И эти подъ муками наговорили на себя; и этихъ казнили. Все имѣніе казненныхъ взято было въ пользу госу-

даря. Вслѣдъ за тѣмъ, по подозрѣнію въ нерасположеніи къ московской власти, болѣе тысячи семей купеческихъ и дѣтей боярскихъ, выслали изъ Новгорода и поселили въ Переяславлѣ, Владимирѣ, Юрьевѣ, Муромѣ, Ростовѣ, Костромѣ и Нижнемъ-Новгородѣ. Все ихъ имѣніе было взято въ пользу государя. Черезъ нѣсколько дней московское войско погнало болѣе семи тысячъ семействъ въ московщину, зимою, по морозу, не давъ имъ собраться, не позволивъ ничего взять съ собою; ихъ дома, ихъ недвижимое и движимое имущество — все сдѣлалось достояніемъ великаго князя. Послѣ такой расправы, уѣхалъ Иванъ, февраля 3-го, услыхавши, что идетъ на него ханъ Золотой Орды".

„Многіе изъ сосланныхъ умерли на дорогѣ; оставшихся разселили по разнымъ городамъ, посадамъ и селамъ московской земли; дѣтямъ боярскимъ давали помѣстья на низу, а вмѣсто ихъ въ новгородскую землю посылали для поселенія москвичей. Такъ и вмѣсто купцовъ, сосланныхъ въ Московщину, въ Новгородъ отправили новыхъ купцовъ изъ московщины".

„Этимъ не окончилась расправа. Въ 1484 г. великій князь посѣтилъ Новгородъ и пробылъ въ немъ девять недѣль. Онъ жилъ тогда въ самомъ городѣ — въ Славенскомъ концѣ. Тогда онъ приказалъ похватать бояръ и боярынь Великаго Новгорода, имѣвшихъ имѣнія въ новгородской землѣ; нѣкоторыхъ, по подозрѣнію, заточилъ въ тюрьму, другимъ подавалъ помѣстья въ южныхъ и приволжскихъ краяхъ. Въ то время — по замѣчанію лѣтописца — схвачена и разграблена была богатая Настасья Григоровичева, у которой нѣкогда пировалъ великій князь, когда пріѣхалъ въ Новгородъ. Въ 1487 г., по доносу Якова Захарьича, намѣстника, Иванъ вывелъ изъ Новгорода пятьдесятъ семей лучшихъ гостей и привелъ ихъ во Владимиръ. Въ слѣдующемъ году ненавистный для новгородцевъ намѣстникъ открылъ заговоръ — будто бы хотѣли убить его; многихъ тогда же намѣстникъ перерубилъ и перевѣшалъ; а Иванъ приказалъ выселить еще болѣе семи тысячъ житыхъ людей въ Москву и разселилъ ихъ по разнымъ городамъ и селамъ. Имѣнія владычнія и боярскія были раздаваемы московскимъ дѣтямъ боярскимъ. Въ слѣдующемъ году Иванъ перевелъ всѣхъ остальныхъ житыхъ людей (хозяевъ) въ Нижній Новгородъ, а многихъ изъ нихъ приказалъ умертвить въ Москвѣ: они жаловались на намѣстниковъ, а имъ поставили это въ вину, выводя изъ того, что они хотѣли убить намѣстника".

„Такъ добилъ московскій государь Новгородъ, и почти стеръ съ земли отдѣльную сѣверную народность. Большая часть народа по волостямъ была выгублена во время двухъ опустошительныхъ походовъ. Весь городъ былъ выселенъ. Мѣсто изгнанныхъ старожиловъ заняли новые поселенцы изъ московской и низовой земли. Владѣльцы земель, которые не погибли во время опустошенія, были также почти всѣ вы-

селены; другіе убѣжали въ Литву. Остатки прежней народности, въ сельскомъ классѣ, смѣшались съ новою, наплывшею къ нимъ, московскою: — неудивительно послѣ этого, что Новгородъ, какъ кажется, скоро примирился съ своей судьбою, и забылъ о своей старинѣ. Потомство вольныхъ людей, разселенное въ чужихъ земляхъ, не имѣло корней для воспоминаній о старинѣ и должно было по необходимости распуститься въ массѣ преобладающей московской народности; а потомство новосельцевъ въ Новгородской волости и въ самомъ городѣ не имѣло ничего общаго съ прежнею стариною. Вотъ почему и теперь напрасно-бы мы искали на мѣстѣ памяти о древней областной независимости и свободѣ. Отъ старины осталась только земля; но старую душу нельзя было вложить въ чуждое ей новое тѣло!"

„Уничтоживъ самобытность гражданскую, Иванъ поразилъ также и церковкую. Злополучный Ѳеофилъ, добрякъ и простякъ, котораго судьба некстати бросила въ политическій водоворотъ, долженъ былъ въ угожденіе побѣдителю подписать добровольное отреченіе отъ своего достоинства. „Познаваю — написалъ онъ — убожество моего ума и великое смятеніе моего неразумія".

Такъ кончилась независимая новгородская жизнь, стертая съ лица русской земли государственнымъ началомъ Москвы, похоронившей въ одной могилѣ и удѣльную систему и мѣстную автономію отдѣльныхъ городовъ. Москва торжествовала вмѣстѣ съ великимъ княземъ и вѣчевой колоколъ Новгорода, по возраженію лѣтописца, „вознесли на колокольницу на площади — съ прочими колоколы звонити".

Разсматривая эту катастрофу, какъ неотразимый приговоръ исторіи, мы съ перваго взгляда изумляемся его дикому капризу. По какой логической необходимости долженъ былъ совершиться фактъ, оставившій по себѣ глубокіе слѣды матеріальнаго вреда въ народной жизни. Новгородъ былъ центромъ торговой дѣятельности всей древней Руси, звѣномъ, соединявшимъ русскій народъ съ европейскими націями, способный гораздо лучше и естественнѣе выполнить ту роль, которую Петръ I навязалъ силой своей личной воли Петербургу. У Новгорода было гораздо больше средствъ для введенія насъ въ европейскую жизнь, для передачи тѣхъ освѣжающихъ элементовъ, которые выводятъ изъ мертвящаго застоя замкнутыя и объединенныя націи, — и Новгородъ палъ. А Петербургъ, основанный въ нѣсколько лѣтъ, наперекоръ исторіи и народнымъ желаніямъ, дѣйствительно, соединилъ насъ съ Европой. Новгородъ имѣлъ уже готовую промышленную жизнь, былъ богатъ и пользовался значительной извѣстностью заграницей, и все это потерялъ вмѣстѣ съ своей свободой; а Петербургъ ничего этого не имѣлъ и занялъ въ нашемъ развитіи первое мѣсто... Повидимому, это такая безсмыслица, отъ которой никакого толку не допросишься. Но если вникнуть въ ходъ событій, то дѣлается ясно, что иначе и быть не могло. Исторія имѣетъ свои де-

спотическія условія, которымъ подчиняется народная совѣсть и справедливость. Іоаннъ III, занося руку на Новгородъ, вовсе не думалъ, да и не былъ способенъ думать о томъ, что онъ убиваетъ живую часть народа, въ которой будутъ нуждаться послѣдующія поколѣнія. Онъ выполнялъ задачу своего времени и, сколачивая разбитую страну, рубилъ все, что не подходило подъ мѣрку его понятій и цѣлей. Его занимала господствующая идея единовластія, передъ которой исчезали всѣ другіе интересы и стремленія. Новгородъ стоялъ поперекъ его дороги, и онъ уничтожилъ его, какъ помѣху своему самовластію. Но почему самъ Новгородъ не выдержалъ этого напора и помогалъ своему паденію? Это — другой вопросъ, за неумѣлое рѣшеніе котораго исторія обрекаетъ народы рабству и смерти. Причины разложенія новгородскаго общества заключались въ немъ самомъ. Не развивъ самостоятельности своихъ учрежденій до конца, не закрѣпивъ ихъ прочнымъ соціальнымъ союзомъ, не выработавъ себѣ ни политическаго смысла, ни международныхъ отношеній, онъ, подобно всѣмъ средневѣковымъ республикамъ, носилъ въ себѣ все, что противоположно истинному республиканскому принципу... Вино было новое, а мѣхи старые. Онъ колебался между Востокомъ и Западомъ, между идеей свободы и предразсудками рабства. Онъ двоился во всѣхъ своихъ движеніяхъ, а кто двоится, тотъ скоро погибаетъ.

1863 г.

ОДИНЪ ИЗЪ НАШИХЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ.

(„Жизнь графа Сперанскаго". 2 т. С.-Петерб. 1861 года).

I.

Странная судьба нашихъ историческихъ дѣятелей! При жизни они составляютъ себѣ чуть не баснословную карьеру, въ нѣсколько дней выростаютъ выше обыкновеннаго человѣческаго роста, шумно проходятъ свое поприще, но едва закрывается за ними могила, какъ къ нимъ чувствуютъ полное равнодушіе. На ихъ дѣла и намѣренія еще скорѣе ложится забвеніе, чѣмъ на ихъ портреты — пыль и паутина. Первое поколѣніе послѣ ихъ смерти, относится къ нимъ хладнокровно, второе ставитъ ихъ, какъ обветшалые кумиры, на задній планъ, а третье едва удерживаетъ въ памяти ихъ имена и нѣсколько анекдотовъ о ихъ жизни. Отчего это? Такое явленіе можетъ быть слѣдствіемъ необыкновенно быстраго развитія народа, когда каждыя десять лѣтъ становятся для него новой эпохой, когда онъ, переходя изъ одного положенія въ другое — лучшее, оставляетъ за собой прошлыя вѣрованія и воззрѣнія, какъ отжившій матеріалъ, совершившій свое назначеніе и ни къ чему болѣе негодный; для такихъ народовъ преданіе теряетъ обаятельную силу; они спѣшатъ воспользоваться настоящимъ, живутъ его интересами и заботами, мало обращая вниманія на свое прошедшее. Есть и другое обстоятельство, по которому мы дѣлаемся равнодушными къ своей исторіи: чѣмъ блѣднѣе ея внутреннее содержаніе, чѣмъ менѣе отрадныхъ явленій представляетъ она нашему воспоминанію, тѣмъ неохотнѣе мы обращаемся къ ней; за неимѣніемъ жизненнаго значенія, она не даетъ намъ ни великихъ опытовъ, ни великихъ людей; здѣсь нечѣмъ интересоваться, потому что все

пусто и мертво. Мы не знаемъ, какая изъ этихъ двухъ причинъ охлаждаетъ для насъ интересъ нашего прошедшаго, но мы никакъ не можемъ похвалиться особенными симпатіями къ его судьбамъ...

Могила Сперанскаго еще свѣжа, а между тѣмъ имя его почти забыто. Съ этимъ именемъ соединяется громадная административная дѣятельность, паденіе и ссылка человѣка, такъ высоко поднятаго въ государственной іерархіи; на этомъ имени отразились событія самой интересной эпохи, игра страстей и партій, характеръ общеевропейскаго движенія, и за всѣмъ тѣмъ Сперанскій стоитъ передъ нами въ полутѣни. Общія и внѣшнія черты его личности обозначаются довольно ясно, но внутренняя физіономія ускользаетъ отъ наблюденія; мы не знаемъ бо́льшей части тѣхъ нравственныхъ побужденій, которыя управляли поступками Сперанскаго; лучшіе и самые драматическіе моменты его жизни остаются темными. Что, напримѣръ, сблизило его такъ тѣсно съ Александромъ I? Что говорилось между ними въ томъ кабинетѣ, изъ котораго Сперанскій вышелъ разстроенный, съ слезами на глазахъ и прямо долженъ былъ отправиться въ изгнаніе, подъ присмотромъ полицейскаго чиновника? Какими подземными путями клевета и завистливое тупоуміе приготовили ему паденіе? Кто и какъ старался убѣдить общественное мнѣніе, что Сперанскій — измѣнникъ и врагъ Россіи? Что̀ заставило его потомъ унижаться передъ грубымъ временщиковъ, графомъ Аракчеевымъ, и заискивать милости у людей, которыхъ онъ въ душѣ презиралъ? — Всѣ эти вопросы остаются нерѣшенными. Сперанскій самъ по себѣ былъ человѣкъ скрытный и уклончивый, особенно во второй половинѣ своей жизни; когда несчастіе надломило этотъ характеръ, а оскорбленное честолюбіе набросило тѣнь на его помыслы и желанія, онъ потерялъ довѣріе къ людямъ и, что хуже всего, пересталъ вѣрить въ самого себя. Онъ двоился въ своихъ мнѣніяхъ, избѣгалъ откровенности даже съ любимой дочерью; у него были тайны, которыхъ онъ не открылъ никому, и графъ Капо-д'Истріа имѣлъ основаніе замѣтить о Сперанскомъ такъ: „мы толковали и о политикѣ, и о наукахъ, и о литературѣ, и объ искусствахъ, въ особенности же о принципахъ, и ни на чемъ я не могъ его поймать. Онъ— точно древніе оракулы; такъ все въ немъ загадочно, осторожно, однословно; не помню во всю мою жизнь ни одной такой трудной бесѣды, которую мнѣ пришлось кончить все-таки ничѣмъ, т. е. нисколько не разгадавъ эту непроницаемую личность“ (Жизнь Сперанскаго, т. I, стр. 57). Ту же черту мы находимъ и въ автобіографіи Сперанскаго; здѣсь онъ говорилъ уже не съ современниками, а съ потомками; здѣсь онъ отдавалъ себя на судъ не враговъ и завистниковъ, а своей собственной совѣсти и, слѣдовательно, могъ безопасно передавать впечатлѣнія, думы, надежды, огорченія и радости такъ, какъ они волновали его въ извѣстныя минуты; но Сперанскій и здѣсь осторожно обходитъ болѣе щекотливые пункты и многаго касается только слегка. Конечно, мы не

вправѣ требовать отъ него, какъ отъ дѣловаго человѣка, съ утра и до вечера занятаго самыми разносторонними соображеніями, — болтливаго разсказчика, но все же онъ могъ быть болѣе сообщительнымъ и менѣе осторожнымъ. Поэтому, съ голоса самого Сперанскаго, напрасно мы стали бы изучать его: по отрывочнымъ и часто недосказаннымъ замѣткамъ его собственныхъ записокъ намъ приходится только угадывать и предполагать о томъ, чѣмъ онъ былъ дѣйствительно у себя дома и въ кругу людей, окружавшихъ его. Еще менѣе можно ожидать безпристрастныхъ и прямыхъ показаній отъ его современниковъ. Какъ свидѣтели, болѣе или менѣе близко знавшіе его, они раздѣлялись на двѣ противоположныя категоріи — на друзей, безусловно ему преданныхъ, съ удивленіемъ смотрѣвшихъ на его талантъ и дѣятельность, или на враговъ, также искренно ненавидѣвшихъ его, какъ любили первые. Само собою разумѣется, что одни превозносили его до небесъ, увлекаясь въ своемъ поклоненіи самыми недостатками Сперанскаго; другіе, напротивъ, желая затоптать его въ грязь, старались обнажить его до костей и представить въ самомъ ложномъ свѣтѣ; они не хотѣли простить ему даже его несчастія... Ни тѣ, ни другіе не могли судить о Сперанскомъ съ тѣмъ хладнокровіемъ и яснымъ взглядомъ, которые такъ необходимы для истинной оцѣнки „непроницаемой личности"...

Книга, поставленная въ заглавіи нашей статьи, повидимому, должна была вполнѣ раскрыть и обрисовать Сперанскаго. И на это были у біографа его всѣ средства. Располагая богатыми и только ему одному доступными матеріалами, баронъ Корфъ, какъ онъ самъ говоритъ, болѣе пятьнадцати лѣтъ обдумывалъ свой трудъ и приводилъ его въ порядокъ. Нельзя отказать этому труду ни въ добросовѣстномъ изслѣдованіи предмета, ни въ усердіи, съ которымъ авторъ собралъ все, что̀ могло разъяснить нѣкоторыя подробности въ жизни Сперанскаго; въ этомъ отношеніи баронъ Корфъ не щадилъ ни времени, ни труда: онъ обращался за свѣдѣніями къ разнымъ лицамъ, знавшимъ Сперанскаго лично или находившимся въ служебныхъ отношеніяхъ съ нимъ; онъ прислушивался къ разсказамъ и преданіямъ; онъ прочелъ все, что̀ было написано о Сперанскомъ въ иностранной и въ русской литературѣ. Такъ, напримѣръ, остановившись на дѣтскихъ годахъ бѣднаго поповича, онъ замѣчаетъ: „Собираніе этихъ свѣдѣній, сперва на мѣстѣ его родины, потомъ на тѣхъ разрозненныхъ и отдаленныхъ пунктахъ, гдѣ протекло мрачное четырехлѣтіе его жизни, стоило намъ сравнительно едва ли не болѣе всего трудовъ". (Жизнь Сперанскаго. Т. I, стр. IX). Послѣ изысканій о мѣстѣ рожденія Гомера, едва ли кто нибудь изъ біографовъ такъ ревностно занимался метрическимъ свидѣтельствомъ своего героя. И мы ничего не могли бы сказать противъ такой исторической кропотливости, еслибъ авторъ съ тѣмъ же неутомимымъ вниманіемъ прослѣдилъ и болѣе важные факты. Къ сожалѣнію, онъ этого не сдѣлалъ. Отношеніе Сперанскаго къ современной

ему эпохѣ очерчено мало, такъ мало, что мы положительно не видимъ, въ чемъ состояли политическія убѣжденія государственнаго секретаря и были ли они плодомъ его собственнаго ума или только подраженіемъ чужимъ образцамъ? Авторъ утверждаетъ, что Сперанскій увлекался *наполеоновскими идеями*, но что это были за идеи и къ чему онѣ стремились въ соціальномъ устройствѣ народовъ, мы опять этого не видимъ: въ книгѣ барона Корфа постоянно встрѣчается выраженіе, что Сперанскій мечталъ *обновить* Россію, но въ чемъ же заключалось это обновленіе — трудно объяснить себѣ. Неужели организація государственнаго совѣта и *выборное* начало, предполагаемое Сперанскимъ въ судебномъ сенатѣ, могли назваться обновленіемъ Россіи?.. Разбирая организаціонный проектъ, единственный памятникъ, по которому можно судить о политическихъ убѣжденіяхъ и замыслахъ Сперанскаго, авторъ коснулся только второстепенныхъ частей и ничего не сказалъ о главной его идеѣ. Вмѣсто того, чтобъ рѣшать вопросъ: какое имя носилъ Сперанскій до поступленія въ семинарію — Грамотина или Уткина, былъ ли онъ въ домѣ Куракина учителемъ его сына или просто секретаремъ, — читателю было бы гораздо интереснѣе знать: что такъ сильно измѣнило общее направленіе Сперанскаго послѣ опалы его? Почему этотъ свѣтлый и чрезвычайно дѣятельный умъ впадаетъ въ мистическое настроеніе, близкое къ ханжеству старой бабы! Однимъ словомъ, баронъ Корфъ не бросилъ на свой трудъ критическаго свѣта и многое, что особенно важно для біографа Сперанскаго, предоставилъ произвольнымъ выводамъ и догадкамъ своихъ читателей. Впрочемъ, онъ самъ предупреждаетъ насъ, чтобъ мы не требовали отъ его книги *философской* оцѣнки фактовъ и окончательнаго приговора надъ Сперанскимъ. „Ей (исторіи), говоритъ авторъ, — а не намъ, — близкимъ современникамъ, слѣдовательно, судьямъ не безстрастнымъ, — принадлежать будетъ опредѣленіе истиннаго мѣста, которое долженъ занять Сперанскій въ лѣтописяхъ русской государственной жизни, его вліянія на нашъ общественный организмъ и степени его участія въ развитіи нашихъ политическихъ идей". (Жизнь Сперанскаго. Т. I, IX). Но въ этихъ словахъ выражается больше авторской скромности, чѣмъ дѣйствительнаго значенія. Если баронъ Корфъ далъ строгую систему изложенію своего сочиненія, назвалъ его жизнію Сперанскаго, критически отнесся къ источникамъ, дополнилъ ихъ собственными соображеніями и анализомъ, если онъ въ концѣ второго тома представилъ сжатую, но полную характеристику бывшаго воспитанника семинаріи, опочившаго отъ дѣлъ своихъ графомъ, если онъ не оставилъ безъ оцѣнки законодательныя и административныя его работы, то такую книгу мы уже не вправѣ назвать простымъ сборникомъ матеріаловъ, а настоящей біографіей Сперанскаго. Но съ другой стороны, если мы примемъ во вниманіе недостатокъ исторической откровенности и болѣе яркаго взгляда на эпоху и самую личность Сперанскаго, то произведеніе трудолюби-

ваго барона Корфа, дѣйствительно, остается одной разработкой матеріаловъ, ожидающихъ другого талантливаго пера и болѣе смѣлаго воззрѣнія...

Сперанскій оставилъ по себѣ память *государственнаго* дѣятеля, котораго баронъ Корфъ опредѣляетъ такъ: „Но уже и теперь, кажется, позволительно, безъ всякаго преувеличенія, утверждать, что по таланту, по массѣ глубокихъ и многостороннихъ знаній, ученыхъ и, что̀ называется, дѣловыхъ, по силѣ воображенія, по всеобъемлющей производительности, наконецъ, по духу и цѣли своихъ стремленій, когда они не преклонялись предъ сторонними вліяніями, *едва ли кто либо изъ предшественниковъ у насъ Сперанскаго болѣе его соединялъ въ себѣ качества истиннаго государственнаго человѣка*". (Т. II, стр. 371). Въ этомъ лестномъ отзывѣ такъ много собрано достоинствъ для отдѣльной личности, что Сперанскій могъ бы стать на ряду съ лучшими государственными людьми не только у насъ, но и во всей Европѣ. Въ Англіи, которую считаютъ лучшей школой для образованія государственныхъ умовъ, въ XIX столѣтіи только два человѣка могутъ подходить подъ это опредѣленіе — Каннингъ и Робертъ Пиль, да и то не вполнѣ; первому недоставало всеобъемлющей производительности, а второй не имѣлъ не только глубокихъ, но и посредственныхъ ученыхъ знаній. Поэтому намъ необходимо условиться въ болѣе точномъ опредѣленіи государственнаго человѣка и тѣхъ свойствъ, которыя должны отличать его.

Въ кочевомъ состояніи, когда еще нѣтъ никакихъ признаковъ административной системы и положительнаго законодательства, нѣтъ ни министерствъ, ни полиціи, извѣстная группа людей уже подчиняется тому или другому управленію, признаетъ надъ собой силу матеріальнаго вліянія или нравственныхъ условій, но эта группа людей еще не составляетъ государства; у нея нѣтъ ни правильно организованной власти, ни постепенно выработаннаго повиновенія. Слѣдуя естественнымъ инстинктамъ человѣческой природы, она живетъ внѣ всякой зависимости отъ лица или письменнаго постановленія. Впослѣдствіи, когда этотъ союзъ окрѣпнетъ подъ рукой завоевателя или особенной партіи, отдѣлившейся отъ массы, начинаетъ слагаться государственный порядокъ. Подъ какимъ бы политическимъ горизонтомъ онъ ни сложился, общество по отношенію къ правительственному сословію находится въ качествѣ довѣрителя своихъ интересовъ. Религіозныя свои заботы оно поручаетъ духовенству, которое, въ случаѣ злоупотребленія, извѣстнаго намъ въ Испаніи, не только молится за народъ, но и старается думать за него; соціальные свои интересы оно передаетъ другой власти, которая опекаетъ націю. Такъ или иначе составляется политическая система. Въ ней, какъ и во всякой другой системѣ, дѣйствуютъ два различные элемента — содержаніе и форма; только при гармоническомъ соединеніи этихъ двухъ элементовъ — чисто-механическаго и жизненнаго,

отправленія государственнаго организма бываютъ нормальны и не страдаютъ той болѣзненной односторонностью, которую мы замѣчаемъ, напримѣръ, въ современной Австріи; если же форма развивается насчетъ содержанія, или принципъ уступаетъ мѣсто внѣшнимъ политическимъ обрядамъ, тогда, обыкновенно, внѣшняя сторона парализируетъ внутреннее развитіе общества; тогда государство можетъ существовать само по себѣ, а народъ самъ по себѣ. Въ такомъ случаѣ, дѣятельность государственнаго человѣка ограничивается простымъ формализмомъ, и мы не знаемъ, чѣмъ можно отличить ее отъ бездѣятельности всякаго рядоваго чиновника. Кромѣ того между политической системой и народной жизнью должна находиться взаимная связь, круговая порука, безъ которой трудно представить себѣ здоровое состояніе общества; если оно не вноситъ своихъ живыхъ силъ въ государственное устройство, тогда это послѣднее походитъ на машину, не имѣющую для своего движенія ни масла, ни огня. Но и этой связи мало; кромѣ своихъ народныхъ потребностей, у политическаго организма есть внѣшнія отношенія, извѣстная солидарность съ другими человѣческими обществами. Предполагать, что та или другая народность, замкнутая въ свои заставы, границы и таможни, можетъ держаться совершеннымъ особнякомъ, независимо отъ другихъ націй, было бы странно. Увлеченные этой теоріей, наши славянофилы въ оправданіе своего ученія еще доселѣ ничего не нашли, кромѣ торжковскихъ сапоговъ и областнаго словаря Даля.

Стать на высоту всѣхъ этихъ соображеній есть первая обязанность государственнаго человѣка. Въ немъ должны соединяться всѣ лучшія современныя идеи, стремленія и цѣли; его пониманію должны быть доступны всѣ вопросы, занимающіе его эпоху; въ его головѣ должны укладываться не только самые разносторонніе матеріалы знаній, но и послѣдніе результаты ихъ. Однимъ словомъ, какъ кормчему корабля, ему необходимо знать не одну поверхность моря, по которой онъ плыветъ, но и дно его, на которомъ онъ можетъ сѣсть на мель. Въ образованіи государственнаго дѣятеля есть своя особенность: ему нестолько важно быть спеціалистомъ или приверженцемъ той или другой доктрины, сколько человѣкомъ современно развитымъ. Трудно вообразить, чтобъ онъ могъ слѣдить самъ за всѣми мелкими подробностями управляемой имъ жизни, — да это и не его дѣло, — но онъ долженъ дать всему направленіе и на все положить свой собственный ясный взглядъ. Если онъ не имѣетъ этихъ качествъ, столь неразлучныхъ съ его карьерой, то ему остается сосредоточить весь свой трудъ на одномъ государственномъ формализмѣ, на ловкости придворной интриги или партіи, т. е. обратиться въ свой прототипъ — Талейрана и Меттерниха, которыхъ, при извѣстной обстановкѣ, всегда можно замѣнить, кѣмъ угодно. Такимъ образомъ, съ призваніемъ государственнаго человѣка неизбѣжно

соединяется понятіе о преобразователѣ и вождѣ. Поставленный у самаго источника мірового движенія, близко знакомый съ требованіями вѣка и своего народа, онъ не можетъ не раздѣлять этого движенія; онъ лучше другихъ понимаетъ, что жизнь, не пораженная застоемъ, ежеминутно вызываетъ измѣненія и улучшенія. Положимъ, что прогрессъ совершается медленно и незамѣтно для глазъ, но онъ совершается постоянно въ каждомъ обществѣ, неокаменѣвшемъ въ своихъ устарѣлыхъ формахъ; — прогрессу содѣйствуетъ умная мать у колыбели своего ребенка, наставникъ — въ аудиторіи, литераторъ за письменнымъ столомъ, морякъ—новыми открытіями, ремесленникъ—своимъ тяжелымъ трудомъ; ему содѣйствуютъ, противъ воли, даже тѣ, кто желалъ бы его остановить. Противиться этому движенію государственный человѣкъ рѣшительно не можетъ.

Но чтобъ быть преобразователемъ, надо имѣть извѣстную руководящую идею или принципъ. Безъ принципа нѣтъ у человѣка цѣли, а безъ цѣли нельзя представить себѣ государственнаго дѣятеля. Лишенный самостоятельнаго взгляда и строго проводимой имъ идеи въ жизнь,— онъ не можетъ имѣть ни энергіи, ни опредѣленнаго характера. Положеніе, конечно, незавидное! Но не завидно положеніе и государственнаго преобразователя: ему приходится воздѣлывать поле въ потѣ и трудѣ, а плодами его воспользуется другое поколѣніе; расчищая дорогу своимъ планамъ и идеямъ, онъ долженъ бороться съ тьмой предразсудковъ, упорнаго самолюбія, невѣжества и вражды; при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, его ожидаетъ и тайная и явная непріязнь, пошлая клевета, происки, и въ томъ же народѣ, для котораго онъ создаетъ будущее счастіе, часто находитъ себѣ перваго врага; каждый шагъ его впередъ встрѣчается съ препятствіемъ, которое онъ долженъ или побѣдить, или обратить въ свою пользу. Понятно, что для такого дѣла нужна желѣзная воля, полная независимость ума и твердая рѣшимость идти къ своей цѣли напроломъ всѣхъ неудачъ и разочарованій. И эти послѣднія свойства составляютъ главныя черты въ характерѣ государственнаго человѣка.

Теперь посмотримъ, какъ близко подходитъ Сперанскій къ этому типу.

Умственная организація Михаила Михайловича Сперанскаго была превосходная. Сынъ бѣднаго сельскаго священника, онъ не имѣлъ возможности получить хорошаго образованія; навѣрное можно сказать, что до двадцати лѣтъ ему не попадалась въ руки ни одна порядочная книга, не встрѣтился ни одинъ человѣкъ, который бы могъ заронить въ душу юноши свѣтлую мысль или благородное чувство. Родители его были люди простые, жившіе почти по правиламъ „Домостроя", домашняя обстановка, среди которой онъ росъ, была въ полномъ смыслѣ аскетическая; мальчикъ не зналъ ни веселыхъ дѣтскихъ игръ, ни материнскихъ

нѣжныхъ ласкъ; въ то время, когда другія дѣти рѣзвятся и наслаждаются правами своего беззаботнаго возраста, онъ, слабый здоровьемъ и задумчивый, „сидитъ себѣ, какъ говорила его мать, — на чердакѣ, да все что-то читаетъ или пишетъ". Подъ одной кровлей съ нимъ жила его бабушка-святоша. Эта костлявая, обтянутая какимъ-то подобіемъ человѣческой кожи, постная и угрюмая фигура непріятно дѣйствовала на нервы Миши. Впослѣдствіи онъ выражался о ней такъ: „этотъ призракъ моего дѣтства исчезъ изъ нашего дому спустя годъ послѣ того, какъ меня отдали въ семинарію; но я какъ будто бы еще и теперь его вижу". На восьмомъ году Миша былъ отданъ въ духовное училище, и отсель начинается его суровое школьное поприще, обставленное новыми потрясающими призраками... Бѣдность, грязь, схоластическое ученіе, неимѣвшее въ основѣ ничего реальнаго и освѣжающаго, сопровождали до конца юношеское воспитаніе Сперанскаго.

Но тѣмъ-то оно и оказало существенную услугу ему: всякая нелѣпость, доведенная до крайности, перестаетъ быть вредной. Сперанскій легко могъ поправить недостатки прежняго воспитанія, потому что силы его были выше увлеченія обыкновенной школьной рутиной. А между тѣмъ нѣкоторыя обстоятельства въ его первоначальной жизни благопріятствовали ему. Во-первыхъ, онъ выросъ среди народа, что въ высшей степени было полезно его государственной дѣятельности. Родись онъ въ барской колыбели, въ кружевахъ и батистѣ, среди толпы крѣпостныхъ людей и наемныхъ воспитателей, вѣроятно, онъ не могъ бы впослѣдствіи работать по 18-ти часовъ въ сутки и перенести тѣ удары, которые такъ непредвидѣнно посыпались на него. Во-вторыхъ, первые годы, проведенные имъ въ деревнѣ, въ виду полей и подъ чистымъ воздухомъ, вдали отъ городского разврата и болѣзненной атмосферы, надѣлили его здоровьемъ на всю послѣдующую жизнь. Замѣчательно, что Сперанскій, несмотря на сильныя потрясенія, необычайные труды и долговременную сидячую жизнь, рѣдко былъ болѣнъ и прожилъ почти семьдесять лѣтъ, сохранивъ до послѣднихъ дней полную энергію памяти и соображенія. Послѣ такой дѣятельности, какой отдавался Сперанскій — это не шутка!

И вотъ съ избыткомъ физическихъ силъ, но при недостаткѣ нравственнаго ихъ удовлетворенія, монастырская ограда и сухая профессорская карьера дѣлаются для него тѣсны. Его гордый и самостоятельный умъ ищетъ болѣе широкой сферы, болѣе свободнаго труда, и Сперанскій рѣшается оставить духовную академію, чтобъ перейдти въ свѣтское званіе. Можетъ быть, одной изъ побудительныхъ причинъ къ этой перемѣнѣ было затаенное честолюбіе молодого человѣка, который могъ удовлетворить его только подъ монашеской рясой, но никакъ не на педагогическомъ семинарскомъ поприщѣ. Совершенно случайно онъ попалъ въ домъ князя Б. Куракина, въ качествѣ частнаго секретаря. Здѣсь,

какъ и вездѣ, Сперанскій съ перваго же дня успѣлъ обратить на себя особенное вниманіе. Куракинъ, желая испытать его, поручилъ ему написать одиннадцать писемъ къ разнымъ лицамъ; работа была окончена быстро и хорошо. „Князь, говоритъ баронъ Корфъ, — сперва не хотѣлъ вѣрить своимъ глазамъ, что дѣло уже выполнено, а потомъ, прочитавъ письма и видя, какъ они мастерски изложены, еще болѣе изумился, разцѣловалъ Иванова [1]) за пріисканный ему кладъ и тотчасъ принялъ къ себѣ Сперанскаго". Сначала жизнь молодого секретаря, попавшаго въ аристократическое семейство, не представляетъ особенной разницы отъ обыкновенной прислуги князя; Сперанскій, стѣснясь присутствіемъ за столомъ хозяина, предпочелъ обѣдать съ его камердинерами, помѣщался въ одной комнатѣ съ двумя своими товарищами и, какъ видно, вообще былъ не замѣтенъ въ домѣ, затертый въ толпѣ его челяди. Мы не думаемъ, чтобъ это могло унизить Сперанскаго; напротивъ, такая патріархальная скромность возвышаетъ его въ нашихъ глазахъ. Если онъ не хотѣлъ *рисоваться* и заискивать особенной благосклонности между людьми, отдѣленными отъ него, по духу того времени, цѣлой пропастью ложнопривитыхъ понятій, то такое поведеніе заслуживаетъ полной похвалы. Къ сожалѣнію, эта нравственная черта въ характерѣ Сперанскаго стиралась тѣмъ больше, чѣмъ ближе онъ соприкасался съ самымъ обществомъ. Обѣдая съ камердинерами и играя съ ними въ *ламуши*, онъ положительно ничего не проигрывалъ изъ своего личнаго достоинства; но выигрывалъ уже тѣмъ, что избавлялъ себя отъ двусмысленныхъ взглядовъ и явнаго пренебреженія, которыя не рѣдко ожидали его въ гостинной или за столомъ Куракина.

Относительно чистоты его намѣреній въ это время мы также не сомнѣваемся. Покидая духовное званіе, Сперанскій, конечно, не разсчитывалъ на блестящую карьеру государственнаго секретаря; такія мечты былибы слишкомъ смѣлы для его воображенія и слишкомъ далеки отъ дѣйствительности... Его манило, какъ и всѣхъ поставленныхъ въ положеніе Сперанскаго, неопредѣленное желаніе выйдти изъ тѣсной сферы существованія, а тамъ что́ бы ни было, — онъ ничего не терялъ за собой; притомъ, умственныя силы его требовали лучшаго и болѣе просторнаго развитія, требовали также естественно, какъ извѣстнаго устройства легкія требуютъ свѣжаго воздуха. „Жажда ученія, говорилъ Сперанскій впослѣдствіи,—побудила меня перейдти изъ духовнаго званія въ свѣтское. Я надѣялся ѣхать за-границу и усовершенствовать себя въ нѣмецкихъ университетахъ. („Жизнь Сперанскаго. Т I, стр. 45). Мы совершенно вѣримъ этимъ словамъ; неудовлетворенная любознательность — одно изъ мучительныхъ и тревожныхъ чувствъ нашей природы. Что предполагалъ онъ сдѣлать изъ своего университетскаго образованія, куда и зачѣмъ

[1]) Ивановъ рекомендовалъ Сперанскаго Куракину.

идти дальше, — вѣроятно, онъ самъ всего менѣе объ этомъ думалъ. Н
когда рука Куракина выдвинула его въ нѣсколько мѣсяцевъ въ перв
ряды тогдашняго чиновнаго міра, когда Сперанскій попробовалъ вмѣст
жажды ученія другой жажды — чиновъ, отличій и власти, онъ перестал
мечтать объ университетѣ, а со всѣмъ пыломъ молодыхъ силъ бросил
на указанную ему дорогу. Такъ, обыкновенно, въ его время рѣшала
участь бѣднаго, но даровитаго человѣка: чтобъ вывести его, какъ гов
рилось тогда, изъ грязи, необходимо было покровительство какого-нибу
придворнаго Голіафа и чистая случайность обстоятельствъ. Не угада
и не пріюти Куракинъ Сперанскаго, — вся жизнь послѣдняго могла б
сгинуть за самымъ неблагодарнымъ канцелярскимъ трудомъ.

Получивъ увольненіе изъ академіи и поступивъ въ дѣйствительну
службу, Сперанскій скоро вошелъ въ свою новую роль, и менѣе, чѣмъ в
два года, онъ занялъ довольно видное положеніе въ административном
управленіи. Покровитель его, Куракинъ, упалъ, за нимъ упали еще д
генералъ-прокурора, а Сперанскій все оставался на прежнемъ мѣст
Работая день и ночь, примѣняясь до кокетства къ различнымъ хара
терамъ и требованіямъ своихъ начальниковъ, необходимый всѣмъ, но
не всѣми любимый, онъ, черезъ четыре года, съ восшествіемъ на пр
столъ Александра I, былъ назначенъ статсъ-секретаремъ при тайном
совѣтникѣ Трощинскомъ. Отсюда открывается Сперанскому широк
поле дѣятельности.

По смерти Павла, новое правительство увидѣло необходимость нача
рядъ преобразованій, подготовленныхъ временемъ и умами. Какъ внѣшн
событія, такъ и внутреннее состояніе Россіи требовали обновленія гос
дарственной машины и той органической жизни, которая невольн
чувствовалась передъ собиравшейся грозой на европейскомъ горизонт
Страшный образъ Наполеона I уже поднимался во всемъ величіи е
генія и во всемъ ужасѣ его разрушительныхъ войнъ. Вездѣ спѣшил
укрѣпить себя не только каменными крѣпостями, но и сочувствіемъ н
рода; вездѣ заговорили о политическихъ реформахъ, которыя, такъ ск
зать, носились въ воздухѣ. Александръ I приблизилъ къ себѣ тре
людей — Кочубея, Новосильцова и Чарторижскаго, людей, „набитых
по выраженію Державина, французскимъ и польскимъ конституціонным
духомъ". Преобразованія, какъ и слѣдовало ожидать, начались съ гот
выхъ европейскихъ формъ, съ учрежденія министерствъ, по образц
французской администраціи. Сперанскій явился жаркимъ поклонником
нововведеній и, можетъ быть, никто изъ его современниковъ не отв
чалъ такъ вѣрно требованіямъ эпохи, какъ онъ. Живой, впечатлительны
трудолюбивый, обладавшій даромъ убѣжденія и гибкимъ умомъ, он
не замедлилъ стать во главѣ движенія. Приглашенный Кочубеемъ к
устройству министерства внутреннихъ дѣлъ, онъ составилъ его план
и довелъ до окончательной организаціи. Баронъ Корфъ отзывается об

этихъ работахъ такъ: „И онъ (т. е. Сперанскій) и его министръ прежде ничѣмъ не управляли: обоимъ приходилось учиться на самыхъ своихъ реформахъ; оба дѣйствовали какъ бы въ чаду, ощупью, не умѣя дать себѣ достаточнаго отчета въ томъ, что́ изъ всего ими дѣлаемаго выйдетъ. Сперанскій *по наслышкѣ*, а отчасти уже и по собственнымъ наблюденіямъ, понималъ, что многое у насъ не хорошо и пытался замѣнить худое лучшимъ, но безъ всякой идеи: въ чемъ и гдѣ искать это лучшее и что́ поставить на мѣсто стараго". (Т. I, стр. 98). Мы были бы совершенно согласны съ этимъ приговоромъ, еслибъ въ судьбѣ такихъ реформъ можно было обвинять отдѣльное лицо или случайныя обстоятельства, а не самый принципъ, изъ котораго развивалось преобразованіе. Строить, съ яснымъ и глубокимъ сознаніемъ того, что́ мы строимъ, можно только на положительной почвѣ, предварительно разработанной народными силами; а вѣдь это зданіе, какъ и думаетъ баронъ Корфъ, выводилось на основаніи чистой теоріи, которой самое изобрѣтеніе не принадлежало Сперанскому; притомъ кто же изъ государственныхъ людей того времени дѣйствовалъ не въ чаду и ощупью, когда сочинялись цѣлыя конституціи въ нѣсколько дней и вбивались въ народную жизнь насильно. Припомнимъ хартію Людовика XVIII, данную Франціи, при въѣздѣ его въ Парижъ. Наконецъ, передъ Сперанскимъ были готовыя инструкціи, общее распредѣленіе работъ, которыми онъ управлялъ, какъ исполнитель, а не какъ хозяинъ.

Какъ бы то ни было, но министерство, устроенное подъ вліяніемъ его, было лучшее изъ всѣхъ подобныхъ учрежденій. Въ то же время Государь давалъ ему личныя порученія и окончательно сблизился съ нимъ, во время эрфуртскаго свиданія, въ 1808 году. Съ этихъ поръ Сперанскій сдѣлался довѣреннымъ лицомъ у Александра I и одинъ, безъ соперниковъ, соединилъ въ себѣ всѣ обязанности перваго министра. Теперь онъ могъ, не стѣсняясь, располагать всѣми своими силами въ кругу тѣхъ преобразованій, каторыя доселѣ раздѣлялъ вмѣстѣ съ другими. Возвратившись изъ за-границы съ убѣжденіемъ, что „у насъ люди лучше, а учрежденія хуже", что въ дѣлѣ предпринятыхъ реформъ— il faut trancher dans le vif, tailler en plein drap, онъ отважно принялся ломать старыя государственныя формы. Нѣтъ сомнѣнія, что его самоувѣренность нашла себѣ ободреніе въ личномъ сочувствіи императора; иначе онъ не сталъ бы дѣйствовать такъ смѣло. Надо отдать ему полную справедливость въ одномъ отношеніи — въ необыкновенной энергіи, съ которой онъ велъ свою реформу и отстаивалъ ее отъ враждебныхъ нападеній, впродолженіи четырехъ лѣтъ.

Но какимъ же принципомъ руководился Сперанскій въ своихъ реформахъ? Доселѣ онъ не имѣлъ особенной надобности въ твердыхъ убѣжденіяхъ, потому что канцелярская дѣятельность его не представляла ничего самостоятельнаго. Теперь, напротивъ, весь успѣхъ его на-

чинаній, всѣ лучшіе результаты ихъ зависѣли отъ вѣрнаго взгляда и строгой политической вѣры. Послѣ свиданія съ Наполеономъ, Сперанскій, какъ увѣряетъ баронъ Корфъ, былъ очарованъ не только императоромъ Франціи, но и политической ея системой. Что онъ былъ увлеченъ умомъ и громкой популярностью Наполеона — это для насъ еще понятно; имъ увлекались почти всѣ современники, ослѣпленные блескомъ и дымомъ побѣдъ счастливаго корсиканца; имъ увлекся и Александръ I; ему изумлялись самые враги его. Но мы не понимаемъ, какъ Сперанскій могъ очароваться политической системой Франціи? Что онъ нашелъ въ ней особенно замѣчательнаго, кромѣ бюрократической рутины и господствовавшаго тогда военнаго деспотизма? Правда, въ то время наполеоновскій кодексъ сводилъ всѣхъ съума своимъ совершенствомъ, но онъ былъ написанъ для Франціи и, слѣдовательно, не могъ послужить идеаломъ для русскаго законодателя. Намъ кажется, что увлеченіе Сперанскаго французской политической системой вовсе не вытекало изъ его собственныхъ убѣжденій, а было подражаніемъ: это была дань общему мнѣнію, а не зрѣлая мысль дѣйствительнаго государственнаго человѣка. Можетъ быть, потому-то онъ легко и оставилъ эту систему, когда она потеряла свой насущный кредитъ. Притомъ въ дѣятельности Сперанскаго было много противорѣчій, на которыя мы обратили вниманіе читателя послѣ, и такихъ противорѣчій, которыя ясно доказываютъ, что основнаго принципа у него не было. Положимъ, что этихъ противорѣчій онъ не могъ избѣжать, потому что вполнѣ независимаго положенія у него никогда не было, но въ такомъ случаѣ нечего было и говорить: il faut trancher dans le vif.

Для самостоятельной государственной дѣятельности у Сперанскаго прежде всего не доставало образованія, соотвѣтственнаго его общественному положенію. По выходѣ изъ академіи, ему не было ни времени, ни особеннаго побужденія дополнить и расширить сферу познаній, пріобрѣтенныхъ имъ до поступленія въ домъ Куракина. Двѣнадцать лѣтъ онъ провелъ въ постоянныхъ служебныхъ занятіяхъ, поглотившихъ лучшіе его годы и силы. Правда, въ это время онъ выучился англійскому языку, конечно, для пламенно любимой имъ жены англичанки, но это едва ли не все, что́ онъ прибавилъ къ своимъ семинарскимъ свѣдѣніямъ. Только въ періодъ ссылки, въ Перми, онъ познакомился съ нѣмецкимъ языкомъ, и только теперь, среди деревенскаго уединенія въ своемъ Великопольѣ, могъ подумать о томъ, что́ за нѣсколько лѣтъ раньше заставило его мечтать о нѣмецкомъ университетѣ. Но на что же теперь истощалась его страстная любознательность? На переводы сочиненій Ѳомы Кемпійскаго, Таулера и изученіе патристики, т. е. на то же самое, надъ чѣмъ онъ трудился еще въ семинаріи. По этому одному можно заключить, что двадцать лѣтъ жизни Сперанскаго были нулемъ для его умственнаго развитія; иначе государственный человѣкъ, вѣроятно, не сталъ бы

сидѣть за чтеніемъ книгъ, неимѣвшихъ никакого отношенія ни къ его прошлымъ, ни къ настоящимъ трудамъ. Съ такими познаніями трудно было составить себѣ какой-либо государственный принципъ и сдѣлаться представителемъ его на политическомъ поприщѣ. Да и то сказать: поколѣніе современное Сперанскому, смотрѣло на серьезное образованіе, какъ на роскошь, а не какъ на необходимое условіе всякой добросовѣстной общественной дѣятельности; когда многіе, по замѣчанію самого же Сперанскаго, добивались министерской должности, какъ иные добивались аренды или пожалованнаго имѣнія, тогда было бы странно и требовать отъ государственнаго секретаря многосторонне-развитаго Борка или ученаго Гизо. Вспомнимъ, что въ одно время съ Сперанскимъ жилъ Карамзинъ, который разсуждалъ о предметахъ внутренней политики не многимъ лучше, чѣмъ теперь позволилъ бы себѣ — умный воспитанникъ гимназіи. Почтенный исторіографъ, нападая на административныя нововведенія Сперанскаго, серьезно думалъ, что скрытныя дѣйствія монарха лучше явныхъ и доступныхъ сознанію народа.

За всѣмъ тѣмъ нельзя не удивляться организаціоннымъ работамъ Сперанскаго. Обнимая всѣ отрасли государственнаго управленія, отъ мельчайшихъ канцелярскихъ подробностей до высшаго проявленія ихъ, возводя все къ одной общей идеѣ, ограничивая произволъ и разрушая устарѣлыя подъяческія западни, онъ велъ рядомъ нѣсколько преобразованій, развивая ихъ не столько на основаніи практическихъ соображеній, сколько изъ теоріи. Быстрота дѣйствій была изумительная. Что прежде обдумывалось и оставалось подъ сомнѣніемъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, то подъ рукой Сперанскаго достигало оконченнаго результата въ нѣсколько дней. Государственный совѣтъ, сенатъ, министерства, законодательные проекты, финансовыя и экономическія измѣненія, редакція отдѣльныхъ постановленій и рѣшеніе множества частныхъ вопросовъ — все это вытекало изъ головы Сперанскаго и отмѣчалось его талантомъ. Онъ не былъ творцомъ своего дѣла, но былъ главнымъ и единственнымъ организаторомъ его: умри онъ въ 1809 году, новая машина, начатая имъ, прекратила бы свое движеніе, и едва ли кто былъ бы въ состояніи послѣ него повести ее дальше. Коренная идея его плана неизвѣстна намъ или, лучше, она осталась только въ его умѣ, но мы приблизительно можемъ судить о томъ, что̀ главнѣе всего занимало Сперанскаго въ его реформахъ. „Изъ всѣхъ сихъ упражненій, писалъ онъ изъ заточенія Александру I,—изъ стократныхъ, можетъ быть, разговоровъ и разсужденій Вашего Величества, надлежало, наконецъ, составить одно цѣлое. Отсюда произошелъ планъ всеобщаго государственнаго образованія. Въ существѣ своемъ онъ не содержалъ ничего новаго, но идеямъ, съ 1801 года занимавшимъ Ваше вниманіе, дано въ немъ систематическое расположеніе. Весь разумъ сего плана состоитъ въ томъ, чтобъ посредствомъ законовъ утвердить власть правительства на нача-

лахъ постоянныхъ и тѣмъ самымъ сообщить дѣйствію сей власти болѣе достоинства и истинной силы". Еще раньше, въ 1811 году, въ докладной запискѣ Государю, говоря о значеніи государственнаго совѣта, Сперанскій выражался такъ: „излишне было бы изображать здѣсь пользу сего установленія. Приводя ее въ движеніе и поддерживая личнымъ Вашимъ дѣйствіемъ, Вы лучше другихъ можете обнять все его вліяніе на общее благоустройство. Совѣтъ учрежденъ, чтобы власти законодательной, дотолѣ разсѣянной и разнообразной, дать первый видъ, первое очертаніе правильности, постоянства, твердости и единообразія". Въ семъ отношеніи онъ исполнилъ свое предназначеніе. Никогда въ Россіи законы не были разсматриваемы съ бо́льшею зрѣлостью, какъ нынѣ; никогда Государю самодержавному не представляли истины съ бо́льшею свободою, такъ какъ и никогда, должно правду сказать, самодержецъ не внималъ ей съ большимъ терпѣніемъ. Однимъ симъ учрежденіемъ сдѣланъ уже безмѣрный шагъ отъ самовластія къ истиннымъ формамъ монархическимъ. Два года тому назадъ умы самые смѣлые едва представляли возможнымъ, чтобы россійскій императоръ могъ съ приличіемъ сказать въ своемъ указѣ: „внявъ мнѣнію совѣта"; два года тому назадъ сіе показалось бы оскорбленіемъ Величества. Слѣдовательно, пользу сего учрежденія должно измѣрять не столько по настоящему, сколько по будущему его дѣйствію. Тѣ, кои не знаютъ связи и истиннаго мѣста, какое совѣтъ занимаетъ въ намѣреніяхъ вашихъ, не могутъ чувствовать его важности. Они ищутъ тамъ конца, гдѣ полагается еще только начало; они судятъ объ огромномъ зданіи по одному краеугольному камню". (Жизнь Сперанскаго. Т. I, стр. 110 и 120).

Изъ этого оффиціальнаго отзыва видно, что Сперанскій строилъ сверху, а не снизу, выводилъ свое зданіе болѣе въ ширину, чѣмъ въ глубину, не столько заботился о его внутреннихъ удобствахъ, сколько о внѣшнемъ расположеніи и стройности наружныхъ частей. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобъ Сперанскій не имѣлъ достаточно силъ для болѣе серьезнаго труда, чтобъ онъ не могъ провести идею и глубже и дальше, но онъ остановился именно тамъ, гдѣ оканчивалась чисто-механическая постройка и начиналась работа по принципу и мощному убѣжденію... Сперанскій не былъ безусловный поклонникъ бюрократическихъ формъ, а между тѣмъ почти всѣ его предпріятія окончились ничтожнымъ результатомъ—бумажнаго формализма. Поэтому намъ, потомкамъ передъ которыми совершившійся фактъ освѣщенъ и нѣкоторыми изъ послѣдствій его, надо строго различать то, что́ *могъ* сдѣлать и что́ *дѣйствительно* сдѣлалъ Сперанскій. Мы, конечно, вправѣ были бы ожидать отъ него гораздо бо́льшихъ заслугъ, чѣмъ онъ успѣлъ оказать Россіи...

Но не такъ думали его современники. Нововведенія Сперанскаго, какъ они ни были скромны и умѣренны, испугали даже друзей его

Когда, наконецъ, пришло время осуществить и вдохнуть ихъ въ самую жизнь, „тутъ начались, замѣчаетъ баронъ Корфъ,—колебанія. Свѣтлый умъ Александра постигъ, что неизмѣримо легче было написать, чѣмъ осуществить написанное, и что во всякомъ случаѣ необходимы сперва разныя переходныя мѣры". (Т. I, стр. 103). Сомнѣніе, говорятъ, первый шагъ къ отрицанію. Дѣло Сперанскаго было проиграно съ той минуты, когда существенная часть его плана была отложена въ сторону, а побочныя учрежденія стали развиваться помимо основной идеи:—машина была пущена въ ходъ прежде, чѣмъ подложили подъ нее прочныя рельсы. Враги Сперанскаго только этого и ждали; пьедесталъ пошатнулся, оставалось уронить его. Ненависть и озлобленіе противъ государственнаго секретаря росли постепенно, распространяясь, подобно морской волнѣ, тѣмъ шире, чѣмъ были дальше отъ своего источника. Ему не простила служебная аристократія за то, что онъ бѣдный *поповичъ* сталъ поперекъ дороги многимъ изъ тѣхъ шелковыхъ героевъ, которые считали себя во всемъ выше его,—кромѣ ума и личнаго достоинства; противъ него поднялась густая и пестрая масса невѣжественныхъ подъячихъ, въ силу одной инерціи, переходившихъ къ повышеніямъ и наградамъ, — поднялась за то, что Сперанскій указомъ объ экзаменахъ сдѣлалъ образованіе обязательнымъ для каждаго чиновника, противъ него возстало дворянство за то, что камергеры и камеръ-юнкеры были принуждены соединить съ этимъ званіемъ и дѣйствительную службу, между тѣмъ, какъ прежде они пользовались этимъ правомъ безусловно. „Послѣ такой неслыханной наглости, прибавляетъ баронъ Корфъ,—конечно, нельзя было не признать его человѣкомъ самымъ опаснымъ, стремящимся къ уравненію всѣхъ состояній, къ демократіи и, оттуда, къ ниспроверженію всѣхъ основъ имперіи". (Т. I, стр. 174). Наконецъ, противъ Сперанскаго возсталъ и народъ, взволнованный смутными предчувствіями наступавшей войны и тяжелыми налогами 1812 года. Но всѣмъ этимъ воспользовалась та партія, которой паденіе Сперанскаго было особенно нужно; она, разумѣется, помогла оклеветать его измѣнникомъ въ общественномъ мнѣніи, т. е. во мнѣніи толпы, готовой вѣрить, со словъ наемнаго сплетника, всему, что питаетъ необузданную фантазію темнаго міра... Стать одному противъ всѣхъ было невозможно, и Сперанскій, оставленный Александромъ I, заключилъ свою политическую карьеру заточеніемъ. Мы не имѣемъ основанія заподозрить Сперанскаго въ прямомъ и честномъ желаніи—служить благу своей страны, но намъ кажется, что ему не доставало гражданскаго мужества для выполненія своихъ цѣлей, тѣмъ болѣе для хладнокровной встрѣчи своего несчастія...

Здѣсь мы разстаемся съ этой благородной и симпатичной личностью. Слѣдить подробно за годами его ссылки, говорить о лишеніяхъ и оскорбленіяхъ его во время опалы, раздѣлять съ нимъ его дѣтскія

надежды на возвращеніе прежняго значенія и роли — во всемъ этомъ нѣтъ ни особеннаго интереса, ни богатыхъ матеріаловъ для изученія самого Сперанскаго. Томительно и безплодно тянется жизнь его въ Перми, Великопольѣ и Пензѣ; время понемногу уноситъ дни и силы его, а вмѣстѣ съ силами и твердость характера. Послѣ 1812 года мы видимъ *другого* Сперанскаго, упавшаго духомъ, надломленнаго во всѣхъ его помыслахъ и стремленіяхъ. Онъ со слезами проситъ о *свободѣ и забвеніи*, и въ то же время ищетъ милости у Аракчеева, льститъ его „военнымъ поселеніемъ", навязывается на расположеніе людей, которыхъ ничтожность была ему извѣстна, притворяется въ чувствахъ и поступкахъ и, наконецъ, отступается отъ лучшихъ вѣрованій своей молодости. Одному изъ друзей своихъ онъ говорилъ: „признайся, Ѳедоръ Петровичъ, что во время оно, еще не знавъ Россіи и мѣряя все по одному петербургскому аршину, мы надѣлали тьму глупостей". Это былъ уже не энергическій преобразователь, не человѣкъ открытой оппозиціи и смѣлый защитникъ человѣческихъ правъ, а осторожный строго-оффиціальный чиновникъ, живо помнившій слѣды нанесеннаго ему удара; однимъ словомъ, здѣсь мы видимъ сухой остовъ Сперанскаго отъ его великолѣпнаго прежняго организма.

II.

Я уже старался представить личную характеристику Сперанскаго, опредѣлить тѣ силы, которыми онъ былъ надѣленъ для государственной дѣятельности и тѣ средства, которыми онъ располагалъ на своей шаткой карьерѣ. Чѣмъ внимательнѣе я всматривался въ нравственныя черты этого человѣка, тѣмъ болѣе изумлялся крайнимъ противорѣчіямъ его характера: при огромныхъ дарованіяхъ онъ не имѣлъ и сотой доли соотвѣтственнаго имъ развитія; съ холоднымъ и всегда строго-обдуманнымъ планомъ дѣйствій онъ соединялъ юношескія увлеченія несбыточными цѣлями; его умѣреннымъ желаніямъ и твердой волѣ въ частномъ быту противополагаются заносчивыя требованія и робкое малодушіе на служебномъ поприщѣ; онъ начинаетъ строить, какъ титанъ,— не щадитъ ни силъ, ни времени, ни матеріаловъ, но къ концу постройки замѣчаетъ, что выведенная имъ пирамида стоитъ острымъ угломъ внизъ и рушится на него всею своею тяжестью: онъ работаетъ всю жизнь съ тревожными условіями и неутомимой энергіей, онъ берется за все, и во всемъ оканчиваетъ сравнительно малыми результатами; онъ мечтаетъ „обновить Россію", на мѣсто механическаго и чисто-инертнаго движенія поставить принципъ, и заключаетъ тѣмъ, что запутывается въ однѣхъ бюрократическихъ формахъ.

Но вправѣ ли мы обвинять Сперанскаго за то, что онъ останавливается на полдорогѣ своихъ стремленій и, круто поворачивая въ дру-

гую сторону, оканчиваетъ совершенно не тѣмъ, чѣмъ началъ? Самая непріятная, почти полицейская обязанность критика состоитъ въ томъ, что ему часто приходится произносить приговоры надъ дѣятелемъ, котораго ложныя воззрѣнія, ошибки и отвѣтственность за нихъ падаютъ не столько на него лично, сколько на самыя обстоятельства его жизни. Кого осуждать—отдѣльное лицо, увлеченное ложной системой, или общество, приготовившее эту систему? По обыкновенію, мы сваливаемъ всю вину на единичную силу, когда рѣшаемъ этотъ вопросъ человѣческихъ отношеній къ окружающей насъ жизни; намъ нѣтъ дѣла до того, что́ и какъ подготовило фактъ, мы не разбираемъ ни постепеннаго развитія его, ни того внутренняго источника, изъ котораго онъ вытекаетъ, а смотримъ на него такъ, какъ онъ есть, и поражаемъ его своимъ судомъ. Въ этомъ величайшая несправедливость современныхъ обществъ. Въ большей части случаевъ индивидуумъ является рабомъ той внѣшней обстановки, которая, подобно паутинѣ, состоитъ изъ сплетенія едва уловимыхъ нитей, опутывающихъ насъ со всѣхъ сторонъ; разорвать эту паутину мы не можемъ, потому что какъ она ни тонка, но все же крѣпче каждаго отдѣльнаго усилія: слѣдовательно, остается или помириться съ своимъ положеніемъ, или задушить себя въ напрасной борьбѣ съ нимъ. Само-собою разумѣется, что личности съ высокимъ умственнымъ развитіемъ, съ независимымъ характеромъ и непреклонными силами, рѣшаются лучше бороться до послѣдней крайности, чѣмъ поддаваться нелѣпому увлеченію, хотя бы на сторонѣ его и было большинство. Но между людьми, къ сожалѣнію, мало героевъ и еще меньше вполнѣ независимыхъ характеровъ; массы пока живутъ стадами и, не разсуждая, слѣдуютъ тому, что́ дѣлается впереди. Поэтому нельзя быть слишкомъ строгимъ къ тѣмъ, кто безсознательно плыветъ за общимъ потокомъ жизни, или не можетъ одолѣть противную силу, которая давитъ его своимъ напоромъ.

На исторической почвѣ ясно выдѣляются изъ массы только дѣятели свободные и самостоятельные. Управляя общимъ ходомъ человѣческихъ дѣлъ, они оставляютъ по себѣ глубокіе слѣды добра или зла, смотря по тому направленію, которое проводили въ жизни; ихъ воля, убѣжденія и даже слава ложатся тяжелымъ грузомъ на современной имъ эпохѣ и взвѣшиваются громадными послѣдствіями; они пролагаютъ новые пути, создаютъ новыя системы или, противодѣйствуя реформамъ, окружаютъ чертою неподвижности и смерти все, что́ подчиняется ихъ вліянію. Въ обоихъ случаяхъ имъ принадлежитъ главная историческая роль. Что́ же касается дѣятелей второстепенныхъ, исторія, въ строгомъ смыслѣ, не имѣетъ къ нимъ близкаго отношенія; она оцѣниваетъ и заноситъ ихъ имена на свои страницы для украшенія своихъ картинныхъ галлерей. Для насъ важно знать не наружныя оболочки принципа, а самый принципъ.

Какъ въ жизни, такъ и въ дѣятельности Сперанскаго есть двѣ различныя эпохи, мало похожія другъ на друга. Никогда онъ не выходилъ изъ ряда подначальныхъ дѣятелей, но до удаленія своего онъ дѣйствовалъ прямѣй и свободнѣй. Имѣя непосредственное сношеніе съ Государемъ, соединяя въ своихъ рукахъ почти всѣ органы административной машины, онъ сообщилъ ей движеніе по своей мысли и желанію; не было ни одного государственнаго постановленія, ни одной болѣе значительной мѣры, въ которой бы Сперанскій не принималъ участія и не положилъ своей иниціативы; онъ является попеременно и часто въ одно и то же время законодателемъ, дипломатомъ, канцлеромъ университета, организаторомъ духовныхъ семинарій, государственнаго совѣта и военныхъ поселеній, преобразователемъ финансовой системы и составителемъ самыхъ мелкихъ и ничтожныхъ инструкцій, однимъ словомъ, первымъ министромъ и первымъ писаремъ имперіи. Съ перваго взгляда кажется, что на все это не могло достать силъ одного человѣка, какъ бы ни были геніальны его способности и разносторонни познанія: такъ, дѣйствительно, кажется. Но если посмотрѣть на дѣло ближе и холоднѣе, то оно представляется далеко не въ томъ колоссальномъ видѣ, какъ понимаетъ наша критика. Нѣтъ сомнѣнія, что Сперанскій, занимавшій различныя должности, вполнѣ былъ знакомъ съ технической стороной администраціи или, выражаясь языкомъ барона Корфа, со всѣми „таинствами нашей юриспруденціи"; Сперанскій, въ качествѣ статсъ-секретаря, находился у самого источника государственнаго управленія и почти каждый день лично бесѣдуя съ монархомъ, конечно, лучше другихъ зналъ о его намѣреніяхъ и планахъ. Поэтому вся исполнительная часть не стоила Сперанскому ни особеннаго труда, ни особенно серьезныхъ соображеній: такъ называемый внѣшній порядокъ дѣлъ, искони заведенный по извѣстной программѣ, можно было сохранить при очень ограниченныхъ способностяхъ администратора. Притомъ самый составъ управленія этой эпохи не имѣлъ ничего замысловатаго и глубоко разработаннаго; онъ сложился большею частію подъ вліяніемъ случайныхъ обстоятельствъ и минутныхъ взглядовъ прежнихъ государственныхъ людей. „Напитанный наполеоновскими идеями, говоритъ баронъ Корфъ, онъ (т. е. Сперанскій) не давалъ никакой цѣны отечественному законодательству, называлъ его варварскимъ и находилъ совершенно безполезнымъ и лишнимъ обращаться къ его пособію". (Т. I, стр. 155). Если самъ Сперанскій такъ думалъ въ то время, когда работалъ надъ общимъ преобразованіемъ министерствъ, то, разумѣется, ему не трудно было импровизировать новые уставы, положенія и самый сводъ законовъ; къ тому же онъ импровизировалъ ихъ для „народа, по его собственному мнѣнію, самаго кроткаго и добродушнаго, для подданныхъ, привыкшихъ повиноваться самой малѣйшей власти". Наконецъ, государственные *мужи*, современные Сперанскому,

какъ видно изъ его безпристрастныхъ отзывовъ, не отличались тѣми столбовыми достоинствами, которые сосчиталъ за ними Бантышъ-Каменскій въ своемъ „словарѣ достопамятныхъ Россіянъ". Говоря о государственномъ совѣтѣ, имъ же самимъ устроенномъ, Сперанскій выражался такъ: „Всѣ разсужденія въ совѣтѣ — одна формальность. Эти господа ничего тутъ не понимаютъ. Вы (обращаясь къ Н. И. Тургеневу) да я обработаемъ дѣло, какъ найдемъ лучше". (Т. II, стр. 278). Главнымъ недостаткомъ этого поколѣнія было, разумѣется, рутинерство, мелочность взглядовъ и наслѣдственная боязнь нововведеній. Передавая эти черты, Оленинъ, между прочимъ, пишетъ о томъ, какъ вообще смотрѣли на реформы Сперанскаго его современники: „Сіи опытные люди, устрашенные частію и не безъ причины превратностію и дерзновеніемъ мыслей и замысловъ людей нынѣшняго времени, опасаются встрѣтить даже и въ самыхъ искреннихъ желаніяхъ лучшаго въ управленіи устройства какія-нибудь тайныя намѣренія, клонящіяся, по ихъ мнѣнію, къ ниспроверженію стараго порядка. Сей страхъ дѣйствуетъ въ нихъ такъ сильно, что они въ существующемъ порядкѣ никакихъ недостатковъ не видятъ, хотя оный уже давно, отъ времени и отъ разныхъ обстоятельствъ, пришелъ въ совершенный упадокъ и запутанность. Въ семъ-то именно видѣ—ниспроверженія *коренныхъ нашихъ законовъ и замѣненія оныхъ совершенно новыми* принятъ былъ нѣкоторыми изъ членовъ совѣта и проектъ гражданскаго уложенія. Малый форматъ книги, въ коей сей проектъ заключается, показался имъ весьма сомнительнымъ. Люди, привыкшіе, съ самыхъ юныхъ лѣтъ, видѣть, что даже и не полное собраніе существующихъ у насъ гражданскихъ законовъ составляетъ не маловажное число бумажныхъ рукописныхъ книгъ, или десятокъ и болѣе печатныхъ томовъ въ листъ и четвертку, крайне были удивлены и даже, такъ сказать, испуганы, когда объявлено было, что вся масса сихъ законовъ заключается въ одной книжкѣ, напечатанной въ восьмушку и довольно крупнымъ шрифтомъ на 248 страницахъ". (Т. I. стр. 170). Итакъ, если форматъ книги приводитъ въ такое замѣшательство и ужасъ *сихъ мужей* — если тупой лифляндскій дворянинъ, баронъ Розенкампфъ, не знавшій ни языка, ни исторіи той страны, для которой онъ взялся составлять законы, занималъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ администраціи, то кто же не могъ прослыть за опаснаго реформатора во вниманіи этихъ людей? Съ другой стороны при самомъ рутинномъ взглядѣ на вещи, но при смѣлыхъ и энергическихъ замыслахъ, легко было назваться величайшимъ геніемъ въ административныхъ сферахъ. Сперанскій, конечно, цѣлой головой стоялъ выше этой среды по уму и личнымъ достоинствамъ; но величина его роста много выигрываетъ уже и оттого, что окружавшіе его люди были самыхъ скромныхъ размѣровъ.

Послѣ этого неудивительно, если всякое нововведеніе Сперанскаго

казалось имъ возмущеніемъ противъ общественнаго спокойствія и коренныхъ началъ жизни, но неудивительно также и то, что во всякомъ измѣненіи старой формы, въ самыхъ мелочныхъ канцелярскихъ преобразованіяхъ они видѣли геркулесовскіе подвиги государственнаго секретаря.

Мы замѣтили прежде, что, не зная въ полномъ объемѣ органическаго плана Сперанскаго, трудно судить о его политическихъ убѣжденіяхъ, о силѣ и характерѣ его государственнаго таланта, но приблизительное понятіе можно составить по второстепеннымъ его распоряженіямъ; для насъ интересно прослѣдить не подробности его энциклопедической дѣятельности, а самый смыслъ и внутреннее достоинство ея. Съ этой цѣлью мы возьмемъ два лучшіе момента изъ его правительственныхъ работъ—реформу финансовой системы и управленіе сибирскимъ краемъ. Въ первомъ случаѣ отъ Сперанскаго требовалась особенная гибкость государственнаго ума, ясность практическаго взгляда и вѣрное пониманіе народныхъ интересовъ; во второмъ случаѣ онъ могъ проявить высшія административныя соображенія, заложить основу новой жизни въ странѣ, заброшенной въ самый темный уголъ Азіи, неимѣвшей ни тѣни правильнаго общественнаго быта и представлявшей tabula rasa для правительственныхъ реформъ.

Въ 1810 году печальное состояніе финансовъ обратило на себя вниманіе правительства. Безпрерывный рядъ прошлыхъ войнъ, общее потрясеніе европейскаго кредита и наступавшая опасность страшной борьбы съ Наполеономъ I, угрожали государственной кассѣ неизбѣжнымъ кризисомъ, тѣмъ болѣе роковымъ, что впереди предстояли чрезвычайные расходы. „Безпокойство, говоритъ книга барона Корфа, — должно было возрасти до высшей степени, когда, при предварительномъ обозрѣніи финансоваго положенія на 1810 г., открылся дефицитъ въ 105.000,000 р., а къ его покрытію не оказывалось никакихъ другихъ способовъ. Поступило множество разнородныхъ проектовъ, но всѣ они представляли облегченія минутныя и притомъ вредныя въ своихъ послѣдствіяхъ. 125.000,000 дохода, 230.000,000 расхода, 577.000,000 долга, ни малѣйшаго запаснаго фонда, ни одного готоваго источника, управленіе казначейства самое нестройное — вотъ какою была исходная точка, отъ которой надо было идти къ исправленію нашихъ финансовъ, къ открытію корня зла и къ возможному уничтоженію его“. (Т. I, стр. 189). Чтобы уничтожить этотъ корень зла, правительство перемѣнило слабоумнаго Голубцева на Гурьева и поручило Сперанскому отыскать „надлежащіе способы къ преобразованію финансовъ“. Государственный секретарь, стоявшій въ это время на верху своего значенія и силы, создававшій людей и учрежденія также легко, какъ онъ поправлялъ регламенты и уставы, немедленно приступилъ къ сочиненію новаго плана. Не имѣя никакихъ научныхъ свѣдѣній о финансахъ и на этотъ разъ не совсѣмъ довѣрявшій своему здравому смыслу, онъ обратился къ профессору Болугьян-

скому, единственному финансисту, какой только могъ найдтись тогда во всей Россіи; профессоръ, совершенно незнакомый съ мѣстными и политическими условіями казны, о которой онъ разсуждалъ, но хорошо помнившій теорію Адама Смита, и государственный секретарь, никогда не читавшій англійскаго экономиста, общими усиліями приготовили финансовый проектъ, въ нѣсколько сотъ рукописныхъ листовъ; его обсуждали за обѣдами у графа Потоцкаго, пересмотрѣли въ государственномъ совѣтѣ и съ 1810 года, 1 января, обратили въ оффиціальный правительственный актъ. „Чтобы вывесть Россію, говорилъ Сперанскій въ своей запискѣ,—изъ несчастнаго ея финансоваго положенія, нужны *сильныя мѣры* и важныя пожертвованія". Читая эти слова, такъ и думаешь, что рѣчь идетъ о сооруженіи большаго купеческаго флота въ нѣсколько мѣсяцевъ или о превращеніи сибирскихъ тундръ въ золотыя розсыпи; но на самомъ дѣлѣ эти *сильныя мѣры* ограничивались слѣдующими операціями: 1, *всевозможнымъ сокращеніемъ расходовъ* и 2, *пріумноженіемъ ихъ въ существующихъ податяхъ и налогахъ*. Система, очевидно, предлагалась самая обыкновенная, за которой не было ни малѣйшей надобности прибѣгать къ совѣтамъ Адама Смита; подробное же развитіе ея формулировалось такъ: для погашенія государственнаго долга прекращался на будущее время выпускъ ассигнацій, признанныхъ внутреннимъ займомъ, обезпеченнымъ „на всѣхъ богатствахъ имперіи"; для равновѣсія расходовъ съ доходами сокращенъ экономическими мѣрами бюджетъ на 20 милліоновъ; наконецъ, для пополненія казны новыми суммами увеличены налоги и открыты дотолѣ небывалые источники ихъ; между прочимъ, для покрытія долга въ 286 милліоновъ предписывалось обратить въ продажу ненаселенныя государственныя имущества, оцѣненныя въ общей смѣтѣ до 183 милліоновъ рублей. Результаты этой постройки оказались крайне неудачными: народъ, обремененный надбавкой податей среди всеобщаго застоя промышленности и сильно упавшаго сбыта сырыхъ матеріаловъ за-границу вслѣдствіе блокады портовъ, среди повсемѣстнаго недовѣрія, порожденнаго смутными событіями военнаго времени, „самый кроткій и добродушный" народъ зароптал; что же касается экономическихъ средствъ, они остались только на бумагѣ: въ слѣдующемъ же году вмѣсто сбереженія предполагаемыхъ 20 милліоновъ истрачено было сверхъ обыкновенной росписи 56 милліоновъ на чрезвычайныя потребности: вмѣсто объявленныхъ въ продажу государственныхъ имуществъ на 4.429,000 (въ первый годъ) всего продано только на сумму около 300,000 р. Такимъ образомъ, изъ проекта Сперанскаго уцѣлѣлъ въ живыхъ одинъ финансовый пунктъ — увеличеніе податей налоговъ. Но у какого же министра не хватило бы ума для такой мѣры? Послѣ системы Сюлли, прятавшаго металлическіе слитки въ подвалахъ Бастиліи и вѣрившаго, что отъ этого богатѣетъ государство, исторія финансовъ мало представляетъ такихъ воззрѣній, какъ

проектъ Сперанскаго. Никто, разумѣется, не станетъ обвинять его за то, что онъ, современникъ меркантильной теоріи, вмѣстѣ съ другими ошибался въ значеніи капитала, полагая его въ деньгахъ; никто не будет упрекать его и за то, что онъ въ нѣсколько мѣсяцевъ не разработал *дѣйствительные* источники народнаго богатства, не увеличилъ сум общественнаго труда, не вызвалъ въ немъ новой энергіи и умѣнья, не удобрилъ песчаныхъ полей, не обратилъ Ледовитаго моря въ крымск сады или не предупредилъ Стефэнсона открытіемъ желѣзныхъ дорог: все это было, конечно, выше силъ *единственнаго русскаго финансист* Болугьянскаго и государственнаго секретаря. Но какъ они не могл понять самыхъ простыхъ и толковыхъ вещей, разжеванныхъ и наук и опытомъ; какъ имъ не пришло въ голову, что увеличивать налоги и подати въ такую трудную пору — значило еще болѣе ослаблять народныя силы, покупать воображаемое богатство цѣной дѣйствительной бы ности. Такой финансовый палліативъ не имѣлъ даже практическ оправданія наканунѣ 1812 года; еще страннѣе было думать, что общественный кредитъ могъ подняться вслѣдствіе размѣна ассигнацій в звонкую монету... Точно также создавалъ Сперанскій нашу промышленную систему. Желая распространить фабричную дѣятельность въ стран не имѣвшей къ тому ни историческихъ, ни соціальныхъ условій, желя дать движеніе деньгамъ среди общества, страдавшаго не мертвыми капиталами, а мертвыми силами, онъ пустилъ въ ходъ запретительну машину, насильно искореняющую общественныя потребности и удобств жизни. Чтобъ заставить выдѣлывать *свои* сукна и войлоки, хоть дурные, надо было остановить зоркимъ таможеннымъ надзоромъ и тяжелым тарифомъ привозъ иностранныхъ предметовъ роскоши; чтобъ обществу не хотѣлось ни сицилійскихъ плодовъ, ни ліонскихъ шелковыхъ тканей, надо было заставить его покупать ихъ въ десять разъ дороже, чѣм онѣ стоили. Послѣдствія, конечно, были жалкія: вяземскіе пряники не сдѣлались лучше парижскихъ конфектъ. Въ этомъ отношеніи самые логичные экономисты — наши московскіе славянофилы; тѣ прямо гонят насъ отъ иностранной заразы въ семьнадцатый вѣкъ, со всей его обстановкой. Но что смѣшно у Аксакова, то грустно встрѣчать у людей подобныхъ Сперанскому. Финансовый планъ его рухнулъ вмѣстѣ съ нимъ противъ него поднялись сарказмы и критика даже тѣхъ господъ, которые боялись формата книги. Главная ошибка Сперанскаго состоял въ томъ, что онъ увлекался одной формальной стороной предмета, спѣшилъ создавать на бумагѣ то, что создаетъ самая жизнь; въ его воображеніи были готовыя нормы для всѣхъ явленій народнаго быта, и он соглашалъ эти нормы не съ дѣйствительными требованіями общества а самое общество втискивалъ въ нихъ, какъ игрушку подъ стеклянны колпакъ: онъ долго не задумывался ни надъ чѣмъ — поручаютъ ли ему устроить духовныя школы или финляндскій сеймъ, дать правила абос

кому университету или Бѣлостокской области, составить рескриптъ главнокомандующему арміей или инструкцію законодательной комиссіи,— онъ собираетъ комитетъ, дѣлаетъ за всѣхъ одинъ, исписываетъ цѣлыя стопы листовъ собственной рукой, тамъ ставитъ пять сотъ параграфовъ, здѣсь тысячу, и немедленно приводитъ ихъ въ исполненіе. Какъ чиновникъ, привыкшій все регламентировать, во всемъ видѣть необходимость административнаго порядка, и только въ этомъ порядкѣ находившій благосостояніе страны, онъ принялъ искусственную систему за дѣйствительную жизнь...

Двухлѣтнее управленіе Сибирью представляло Сперанскому полное раздолье осуществить лучшія изъ государственныхъ цѣлей. Онъ былъ посланъ туда генералъ-губернаторомъ, съ огромнымъ уполномочіемъ судьи и правителя, съ властію уничтожить злоупотребленія края, болѣе ста лѣтъ преданнаго произволу и открытому воровству мрачнаго подъячества; съ тѣмъ вмѣстѣ ему поручалось сообразить и приготовить положеніе для будущаго устройства и управленія этой обширной колоніей. Онъ, не стѣсняясь, могъ перемѣнять людей и творить служебныя инстанціи; отводить границы, карать и миловать по усмотрѣнію. Въ его распоряженіи были значительныя средства для всѣхъ преобразованій, какія только могъ проектировать Сперанскій. Народонаселеніе ожидало его съ восторгомъ; оно видѣло въ немъ своего спасителя отъ людей, въ родѣ слѣдующаго образчика, — исправника Лоскутова. Лоскутовъ не пріѣзжалъ въ селеніе иначе, какъ съ казаками, которые везли по нѣскольку возовъ прутьевъ; тутъ онъ приступалъ къ осмотру жилищъ, кухонь и всего скарба и за всякую неисправность безжалостно сѣкъ и мужчинъ и женщинъ. Всѣ трепетали его взгляда, и терроризмъ, карающій смертію, не могъ бы внушить большаго страха. Передъ прибытіемъ Сперанскаго онъ отобралъ въ цѣломъ уѣздѣ чернила, перья и бумагу и сложилъ ихъ въ волостныхъ правленіяхъ. Не смотря, однакожъ, на всѣ эти предосторожности, просьбы были написаны и вручены для поданія двумъ сѣдымъ старикамъ. Неизобразимъ былъ ужасъ послѣднихъ, когда, переправясь черезъ Канъ, навстрѣчу генералъ-губернатору, они увидѣли возлѣ него самого Лоскутова. Оба упали почти безъ чувствъ на колѣни, держа свои просьбы на головѣ. Сперанскій, принявъ эти просьбы, велѣлъ Рѣпинскому читать ихъ вслухъ. Тогда просители растянулись на землѣ. Немедленно по выслушаніи просьбъ, подтверждавшихъ всѣ уже прежде полученныя свѣдѣнія о своеволіи и поборахъ Лоскутова, Сперанскій тутъ же на мѣстѣ отрѣшилъ его и арестовалъ. Когда старики были приведены въ чувство и имъ объявили, что ихъ исправникъ удаленъ отъ должности, то они, трясясь всѣмъ тѣломъ, схватили Сперанскаго за полу и, едва сами помня что говорятъ, зашептали ему: „батюшка, вѣдь это Лоскутовъ, что ты это баешь; чтобъ тебѣ за насъ чего худого не было: вѣрно ты не знаешь Лоскутова!“ (т. 11, стр. 201). Такъ

и среди такихъ сценъ и людей началъ Сперанскій свою дѣятельнос
и началъ ее гуманно. Стараясь открыть болѣе удобный доступъ къ се
всѣмъ жалобамъ и просьбамъ угнетенныхъ жителей, онъ выслушива
ихъ лично, отбиралъ показанія на мѣстѣ, учреждалъ слѣдственныя
миссіи и произносилъ приговоры. Но чѣмъ далѣе онъ углублялся
этотъ омутъ административнаго произвола, тѣмъ болѣе энергія его ос
бѣвала: онъ жаловался на отсутствіе порядочныхъ людей и, видя
отчаявался поправить зло. „Если бы успѣхъ порученнаго мнѣ дѣ
писалъ онъ, должно было измѣрять количествомъ обнаруженныхъ з
употребленій, то было бы чѣмъ утѣшаться; но какое же утѣшеніе п
слѣдовать толпу мелкихъ исполнителей, увлеченныхъ примѣромъ и
пущеніемъ главнаго ихъ начальства?" Отложивъ надежду починить
шину внутри, онъ и здѣсь сосредоточилъ все свое вниманіе на исп
вленія ея внѣшнихъ аттрибутовъ, — сталъ развивать административ
формы, придавая имъ какое-то жизненное значеніе. Я не знаю, какъ
поступилъ, на мѣстѣ Сперанскаго, другой государственный умъ, но
много проницательности надо было имѣть для того, чтобъ убѣдиться въ
вершенной безполезности самыхъ лучшихъ *учрежденій* безъ *людей*.
воспитывать людей вообще гораздо труднѣе. Онъ, конечно, лучше д
гихъ понималъ, что самые мудрые законы въ рукахъ Лоскутовыхъ
гутъ быть всѣмъ — и орудіемъ палача и крючкомъ взяточника. Т
легче это могло случиться въ Сибири, гдѣ разнородныя племена от
лены другъ отъ друга различными національными условіями: степен
развитія, — отъ азіятской дикости до европейской полуобразованнос
отъ городской осѣдлости до степного кочевья, — гдѣ смѣсь языковъ,
лигій и народныхъ антипатій носитъ всевозможные оттѣнки; — въ та
странѣ нетолько было трудно, но положительно невозможно привить од
родную администрацію, выработанную въ Москвѣ, подъ другими ис
рическими обстоятельствами, съ другими требованіями... А между тѣ
какъ предшественники Сперанскаго, такъ отчасти и онъ самъ являл
сюда съ правительственными взглядами другого міра и, не разбир
мѣстныхъ и спеціальныхъ особенностей, спѣшили подводить все и вс
подъ одинъ гражданскій уровень. Сперанскій, проѣзжая къ Иркутс
на опытѣ удостовѣрился, что гдѣ было меньше административныхъ зат
тамъ жизнь шла правильнѣй. Такъ, посѣтивъ и осмотрѣвъ Енисейс
генералъ-губернаторъ отмѣчаетъ въ своемъ дневникѣ: „Нравы жите
отмѣнно чистые и простые. Въ теченіи десяти лѣтъ не было въ уѣ
номъ судѣ ни одного подсудимаго изъ всѣхъ обывателей уѣзда". Сп
никъ Сперанскаго, Батеньковъ, подтверждаетъ то же самое: „Стран
пишетъ онъ,—теперь вспомнить о Енисейскомъ уѣздѣ и самомъ горо
Мы застали тамъ рѣшительно патріархальную простоту; жители вы
дили смотрѣть на наши лица, одежды, экипажи, какъ на чудо. Не
шлось въ разсмотрѣніи ни одного уголовнаго дѣла". Затѣмъ, чѣмъ бл

подвигался Сперанскій къ Иркутску, къ центру сибирскаго управленія, тѣмъ гуще становилось болото злоупотребленій; бѣдный Цейеръ, назначенный предсѣдателемъ слѣдственной комиссіи надъ провинившимися чиновниками, едва съума не сошелъ отъ тягостныхъ впечатлѣній, вынесенныхъ имъ изъ этой тины плутовства и мелкаго каннибальства. Самъ Сперанскій, утомленный потрясающими фактами и преслѣдованіемъ ихъ, потерялъ всякую надежду на излеченіе ранъ, растравленныхъ временемъ и людьми; онъ отдыхалъ на чтеніи Исторіи Литературы Шлегеля, Мессіады Клопштока и на изученіи нѣмецкаго языка.

Несмотря, однакожъ, на полную увѣренность въ безплодномъ размноженіи учрежденій безъ людей, на рѣзкіе опыты, ясно открывавшіе ему, съ какой стороны надо было идти къ улучшенію Сибири, онъ не отказался отъ бюрократическихъ привычекъ... Путешествуя по сибирскимъ пустынямъ, среди торжественныхъ встрѣчъ и праздниковъ, онъ вездѣ отдаетъ главное свое вниманіе осмотру присутственныхъ мѣстъ, посѣщенію и разспросу оффиціальныхъ лицъ, усложняетъ судебныя и гражданскія учрежденія; въ одномъ мѣстѣ онъ отставляетъ губернатора, въ другомъ предаетъ суду всѣхъ чиновниковъ; обозрѣвъ Кяхту, онъ записываетъ въ памятной книжкѣ свои наблюденія такъ: „17. Вторникъ. Пріемъ Бухарцовъ и назначеніе чиновниковъ для трактованія о ревенѣ. Они на колѣняхъ предстали и откланялись. Дары обыкновенные: двѣ черныя канфы, яблоки, виноградъ и два коврика. Обозрѣніе канцеляріи. Архивъ драгоцѣнный — анбарѣ; таможня — развалины; милліоны на открытомъ дворѣ. Ратуша; въ ней два учрежденія. Установленіе хлѣбнаго запаснаго магазина въ Усть-Кяхтѣ и обученіе мѣщанскихъ дѣтей мастерствамъ слесарному и пр. на счетъ бургомистра“ и т. д. Осмотрѣвъ Нерчинскіе заводы, въ одномъ письмѣ онъ отзывается въ такихъ словахъ: „не жалѣю, однакожъ, ни трудовъ, ни усталости; ибо я видѣлъ бѣдствія человѣческія, кажется, на послѣдней ихъ линіи“, а въ другомъ письмѣ говоритъ: „Отъ черты сихъ заводовъ, на всемъ протяженіи заводскаго вѣдомства, не слыхалъ я ни одной личной жалобы на начальство, — случай рѣдкій и, можетъ быть, единственный, особливо въ Иркутской губерніи“. Надо замѣтить, что первое письмо было послано его дочери, а второе министру финансовъ, въ вѣдѣніи котораго находились эти заводы. Точно также *осторожно* онъ доносилъ о своихъ розысканіяхъ и другимъ лицамъ, сообразуясь съ тѣмъ, кому и что̀ можно говорить.

Такимъ образомъ, обревизовавъ всю Сибирь, ощупавъ по краямъ всѣ ея раны, только мимоходомъ коснувшись ея внутренняго, неоффиціальнаго состоянія, онъ присѣлъ за начертаніе проектовъ; менѣе, чѣмъ въ два года подъ его плодовитымъ перомъ явились десять плановъ, въ три тысячи параграфовъ. Масса творчества, дѣйствительно, изумительная, но вѣдь и не трудная. Результаты этихъ плановъ были слѣдующіе: 680 человѣкъ, обвиненныхъ въ разныхъ злоупотребленіяхъ, раздѣленіе

Сибири на восточную и западную въ административномъ отно
особенный уставъ для управленія киргизами, особенное положе
ясашныхъ инородцевъ, особенныя правила для сибирскихъ горо
казаковъ и проч. и проч. Всѣ эти проекты были привезены Сперан
въ Петербургъ и почти безусловно приняты Сибирскимъ комите
„Корабль спущенъ, писалъ генералъ-губернаторъ, — дай Богъ ему с
ливаго плаванія". Ну, корабль, разумѣется, и поплылъ...

Здѣсь мы не можемъ не указать на одно обстоятельство, очень
ное для пониманія дѣятельности Сперанскаго. Управленіе Сибир
носится ко второму періоду его жизни, когда онъ находился под
лой; а этотъ періодъ сильно измѣнилъ, или, лучше, изломалъ
прежнія стремленія, его характеръ и силы. Упавшій съ высоты,
еще мечталъ взойдти на нее снова, но не такъ откровенно и б
какъ прежде, а потихоньку, оглядываясь на всѣ стороны, чтобъ н
цѣпить кого нибудь своимъ неловкимъ соприкосновеніемъ. Тепер
притворялся до самоуниженія, чтобъ только не навлечь на себя н
подозрѣній, чтобъ не разбудить задремавшую ненависть враговъ
провалиться еще ниже.. Въ частномъ, семейномъ кругу онъ стон
охалъ, уязвленный въ самое чувствительное мѣсто своего сердца
честолюбіе; въ оффиціальной сферѣ онъ примѣнялся къ окружавше
обстановкѣ, однимъ словомъ, онъ боялся того, чтобъ о немъ опя
заговорили громко, а между тѣмъ не хотѣлъ и успокоиться въ не
симомъ, но глухомъ положеніи. Такъ, во время его пензенскаго
наторства, принятаго изъ рукъ Аракчеева, Сперанскій не сдѣлал
чего замѣчательнаго, особенно важнаго, но пріобрѣлъ всеобщую
лярность въ губерніи; онъ велъ себя такъ, чтобъ водой не зам
какъ выражаются на нашемъ оффиціальномъ языкѣ, а между тѣм
всюду вносилъ свое гуманное чувство, но вносилъ его въ мелкія
денныя дѣла; какъ въ Сибири, такъ и въ Пензѣ онъ былъ
доступный начальникъ, безкорыстный исполнитель своего *долга*;
каждое воскресенье посѣщалъ тюрьму и вмѣстѣ съ заключенным
лился Богу; онъ щедро награждалъ молодыхъ и усердныхъ чиновн
заступался за крестьянъ, притѣсняемыхъ помѣщиками, лечилъ зубы
самимъ изобрѣтенными каплями, и оставилъ по себѣ въ Пензѣ
благодарное воспоминаніе. Ни одной рѣшительной мѣры, ни о
горячаго протеста — въ его трехлѣтнемъ управленіи, а все вмѣст
ставляетъ много хорошаго. Та же уклончивость закралась въ пр
и чистыя убѣжденія прежняго Сперанскаго. Когда онъ создавалъ
общаго государственнаго преобразованія и составлялъ для него за
всѣ историческія данныя ему казались чистымъ вздоромъ, отечес
ныя уложенія никуда не годнымъ хламомъ, а потомъ онъ неуто
работалъ надъ собраніемъ и компиляціей старыхъ указовъ. Тогда
отзывался о тѣхъ господахъ, которые боялись маленькаго фор

ıги, очень мѣтко: „Эдакіе чудаки! — ничего не понимаютъ", а те-
ь и самъ хлопоталъ о томъ, чтобъ сводъ законовъ вышелъ потолще.
:да онъ думалъ совершить все одинъ, силой своего таланта и смѣ-
къ реформъ, а теперь заговорилъ о недостаткѣ людей: „Тутъ корень
., писалъ онъ, — о семъ прежде должно было помыслить тѣмъ юнымъ
:онодателямъ, которые, мечтая о конституціяхъ, думаютъ, что это
ювизобрѣтенная какая-то машина, которая можетъ идти сама собою
дѣ, гдѣ ее пустятъ". (Т. I, стр. 253). И вотъ, этотъ благородный и
:ргичный умъ, изъ лести Аракчееву, написалъ панегирикъ „Военнымъ
:еленіямъ". Ничего не можетъ быть оскорбительнѣе для человѣка,
:ъ растоптать свои искреннія и честныя убѣжденія, и кто хоть нѣ-
лько дорожитъ ими, тому больно за Сперанскаго во второмъ періодѣ
ı дѣятельности...

1861 г.

V

ИЗЪ ПУТЕШЕСТВІЯ ПО ШВЕЙЦАРІИ *).

(Посвящается В. П. Попову).

I.

Первое и послѣднее впечатлѣніе при взглядѣ на Щвейцарію.

Лѣтомъ, Швейцарія представляетъ самую оживленную и разнообразную картину на темномъ фонѣ европейскаго материка. Великолѣпная природа, подъ лучами южнаго солнца, является во всемъ блескѣ величія и прелести. Грозныя Альпы, коронованныя вѣчными снѣгами,

*) Находясь въ Швейцаріи, я старался познакомиться съ нѣкоторыми явленіями ея жизни, путемъ опыта и теоріи. Женевская и Лозанская кантональныя библіотеки, богатыя драгоцѣнными рукописями, дали мнѣ средства, независимо отъ моихъ спеціальныхъ работъ, перечитать многое, что́ неизвѣстно въ печати. Между прочимъ, съ особеннымъ удовольствіемъ могу упомянуть здѣсь о мемуарахъ и перепискѣ Ф. Ц. Лагарпа съ его вѣнценоснымъ воспитанникомъ, Александромъ I. Лагарпъ, сначала полковникъ русской службы, уважаемый Екатериною II, потомъ президентъ леманской директоріи, любимый Наполеономъ I, изгнанникъ изъ отечества и неизмѣнный другъ его, былъ изъ передовыхъ дѣятелей великой эпохи. Манускрипты его, освѣщая важнѣйшій періодъ швейцарской исторіи, имѣютъ отношеніе и къ Россіи. Они хранятся въ историческомъ отдѣленіи лозанской библіотеки подъ № 913. Считаю пріятнымъ для себя долгомъ выразить, въ настоящемъ случаѣ, искреннюю мою признательность лицамъ, завѣдывающимъ этой библіотекой: я нашелъ въ нихъ полное сочувствіе интересамъ науки и совершенную готовность удовлетворить любознательность иностранца, который могъ представить въ залогъ благородной довѣренности къ нему одно человѣческое имя и глубокое уваженіе къ знанію...

Чтобы взглянуть на природу Швейцаріи, я прошелъ пѣшкомъ по ея территоріи болѣе семидесяти миль, объѣхалъ двѣнадцать лучшихъ ея кантоновъ, преимущественно сосредоточивая вниманіе на тѣхъ предметахъ, которые казались новыми русскому глазу и почти вовсе неизвѣстными въ нашей литературѣ. Это послѣднее обстоятель-

одѣтыя зеленью лѣсовъ и травъ и опирающіяся на гранитныя, первоначальныя основы земли — на каждомъ шагу поражаютъ путешественника чудесными явленіями. Здѣсь, среди недоступныхъ—крайнихъ предѣловъ нашей планеты—совершается тайна своей собственной жизни, о которой жители долинъ не имѣютъ понятія. Наблюдателю стоит подняться на десять тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря, чтобы быт свидѣтелемъ самой грандіозной сцены; удивленный взоръ его, на безпредѣльномъ пространствѣ, обнимаетъ безконечныя гряды пирамидальныхъ вершинъ, сотни городовъ и деревень съ ихъ живописными окрестностями; подъ ногами его образуются облака, нерѣдко возникаютъ бури, освѣщаемыя огнями молній, а надъ головой свѣтитъ чистое и ясное небо. Сцена ежеминутно измѣняется. Тамъ „Море льдовъ", подобное океану, охваченному мгновеннымъ холодомъ въ минуту страшнаго урагана и отмѣченное печатью смерти и безмолвія, покрываетъ глубокое ущелье, а надъ нимъ разцвѣтаетъ одинокая альпійская роза; тамъ по чернымъ склонамъ Молассовыхъ горъ тянутся потоки, какъ серебряныя нити; водопады, срываясь съ покатыхъ плоскостей, нависшихъ надъ безднами, бьютъ своими быстрыми волнами въ неподвижныя скалы, эти каменные титаны, поставленные подъ холодную душь на нѣсколько тысячъ лѣтъ, болѣзненно стонутъ подъ тяжестію водяныхъ ударовъ; двойныя и тройныя радуги разноцвѣтными вѣнцами обвиваютъ водопады, и вслѣдъ за вами переносятъ свои горизонты. Иногда торжественное спокойствіе горъ нарушается паденіемъ лавинъ, уничтожающихъ по дорогѣ цѣлыя дубравы и засыпающихъ снѣгомъ обширныя равнины. И около этихъ предметовъ разрушенія и гибели человѣкъ спокойно ставитъ свою хижину, пастухъ беззаботно поетъ пѣсню, которая, сливаясь со звономъ колокольчиковъ, навязанныхъ стадамъ, далеко эхомъ проносится между горъ. Народное преданіе приписываетъ Гельвеціи первые моменты творческихъ работъ въ мірозданіи: дѣйствительно, ее можно назвать тою колоссальной лабораторіей, изъ которой природы черпалъ неистощимый запасъ матеріаловъ для образованія вселенной.

ство побудило меня сообщить въ ряду отдѣльныхъ писемъ нѣкоторыя изъ моихъ наблюденій.

Отнюдь не придаю никакой особенной важности своимъ бѣглымъ замѣткамъ. Убѣдившись на опытѣ, какъ трудно изучить чужую народность, достигшую всесторонняго развитія, какъ много нужно употребить и силъ и времени, чтобы быть зоркимъ и пристрастнымъ ея судьей, чтобы не оскорбить напрасно національной гордости, и снимать покорно шапки передъ порокомъ, я рѣшился передать здѣсь только тѣ впечатлѣнія, которыя провѣрены болѣе или менѣе основательнымъ соображеніемъ. Читатель не найдетъ въ нихъ ни строгой системы, ни глубокаго и оригинальнаго взгляда на вещи; онъ не долженъ забывать, что это — „Часы досуга, плодъ свободной минуты, воспоминаніе о томъ, что́ не успѣло изгладаться изъ души.

Авторъ.

Въ глубинѣ амфитеатра Альпійскихъ горъ лежатъ узкія долины, обставленныя безпрерывными рядами холмовъ и пересѣкаемыя двумя главными рѣками Рейномъ и Роною. Швейцарскія долины составляютъ роскошное украшеніе южной природы. Физическая жизнь, полная гармоніи, граціи и энергіи, проявляется здѣсь въ безчисленномъ множествѣ явленій, достойныхъ сочувствія и изученія, восторга и изумленія. Ботаникъ, пейзажистъ, поэтъ и мыслитель могутъ собирать на нихъ равно богатую жатву. Рѣки, пробивая себѣ путь сквозь гранитныя массы, извиваясь въ тысячѣ неуловимыхъ направленій, то теряясь подъ облаками, то низвергаясь въ пропасти, быстро несутся въ своихъ ложбинахъ, источники и ключи со всѣхъ сторонъ льютъ въ нихъ свѣжія и прозрачныя струи; милліоны цвѣтовъ наполняютъ атмосферу своимъ ароматическимъ дыханіемъ; обильные и питательные луга повсюду перемежаются садами и огородами; опрятные и красивые сельскіе домики, выраженіе почтеннаго труда и довольства, раскидываются по полямъ, тонутъ въ зелени фруктовыхъ деревьевъ и гостепріимно зовутъ подъ свою тѣнь усталаго путника. Но ничего нельзя представить себѣ прекраснѣе швейцарскихъ озеръ: голубыя воды ихъ, оттѣняемыя изумруднымъ цвѣтомъ, отражаютъ на своей поверхности всевозможныя краски. При восходѣ солнца, въ тихую погоду, они принимаютъ видъ невозмутимой небесной лазури; но вдругъ пролетитъ надъ ними розовое облако, и они кажутся моремъ расплавленнаго золота; туманы и вечерняя заря набрасываютъ на нихъ тотъ таинственный мракъ, съ которымъ просыпается въ душѣ такъ много смѣлыхъ думъ и печальныхъ чувствъ... На открытыхъ берегахъ этихъ озеръ сосредоточивается главная современная дѣятельность Швейцаріи; на нихъ же обнаружились и первые признаки ея историческаго существованія. Развалины старинныхъ замковъ, окруженныхъ зрѣющими виноградниками, такъ рѣзко сближаютъ прошедшее съ настоящимъ, буйство меча съ правомъ гражданскаго мира, отжившіе памятники невѣжества и рабства съ плодами независимости и образованія.

Но природа безъ человѣка, какъ бы она богата ни была, — дикая пустыня. Его геній одушевляетъ мертвыя ея стихіи, возвышаетъ цѣну естественной красоты и даетъ послѣднюю, совершеннѣйшую форму ея развитію. Въ этомъ отношеніи, Швейцарія представляетъ наблюдателю еще болѣе интересныхъ сторонъ. Въ пятьдесятъ лѣтъ она совершила истинно-чудесный подвигъ на пути своей организаціи. Въ концѣ прошлаго столѣтія, подъ гнетомъ бернской олигархіи, опутанная теократическими узами, она была жалкой, покоренной страной, преданной на жертву „великолѣпнымъ сеньорамъ". Лучшія, самыя даровитыя дѣти ея скитались вдали отечества, поступая въ иностранную службу; юношество покидало родительскій кровъ, искало образованія въ чужихъ университетахъ, народныя школы и высшія учебныя заведенія были закол-

дованнымъ кругомъ, въ который легко вступали люди съ продажным образомъ мыслей, но рѣдко проникала свѣтлая идея. „Грустное пе дантство господствуетъ въ лозанской академіи, пишетъ Лагаръ своем другу въ 1781 году; тамъ умѣютъ только производить экзамены, ди путы, увеличивать объемъ теологіи и разжигать невѣротерпимость; ни одного слова о полезныхъ наукахъ, ни одного звука изъ того, что на зываютъ мышленіемъ и философіей". (Etrennes nationales, par Lahar Правосудіе — эта коренная опора народнаго благоденствія — было от дано на откупъ привиллегированному сословію; темницы были напол нены преступниками: города и цѣлыя области соединялись съ общей конфедераціей однимъ паническимъ страхомъ и, при первомъ удобном случаѣ, переходили на сторону враговъ, отъ Берна и до Парижа тя нулись аристократическіе обозы съ модными драгоцѣнными вещами, и отъ Сіона до Цюриха бродили толпы голодныхъ нищихъ. Но мѣра на переполнилась... „Медвѣжья лапа" олигархіи уступила силѣ француз скихъ пушекъ; водуазскій кантонъ, принятый подъ покровительств первымъ консуломъ Франціи, сталъ во главѣ реформы. Новая конст туція, уравновѣсивъ народныя права, была признана вѣнскимъ конгре сомъ и послужила краеугольнымъ камнемъ блистательнаго возрожден Гельвеціи. Съ этой поры все измѣнилось. Старыя раны скоро зажил народонаселеніе стало быстро увеличиваться; грамотность сдѣлалась не премѣннымъ условіемъ каждаго гражданина; высшее образованіе, при нявъ свободный полетъ, открыло новые источники матеріальнаго богат ства, — и менѣе чѣмъ трехъ-милліонная нація не болѣе, какъ въ пол вѣка, опередила своимъ нравственнымъ развитіемъ сильныя сосѣдн державы.

И на дружелюбный зовъ ея, на праздникъ дивной природы собир раются гости со всѣхъ концовъ міра. Отъ іюня до сентября болѣе ст тысячъ иностранцевъ проходятъ по швейцарской почвѣ. Различіе гов ровъ, костюмовъ, состояній, цѣлей и желаній — все это сливается в одну живую и неутомимо-дѣятельную массу. Рядомъ съ богатымъ ан глійскимъ лордомъ проходитъ бѣдный нѣмецкій студентъ, съ котомко за плечами и съ посохомъ въ рукѣ; рядомъ съ европейскимъ купцом въ которомъ животная, плотоядная жадность денегъ задушила всѣ лу шіе инстинкты человѣческой природы, встрѣчается итальянскій юнош съ восторженной и благородно-откровенной рѣчью, и среди этой пес рой сходки никому нѣтъ дѣла до вашего имени, еще менѣе до в шихъ отличій. Одни приходятъ сюда за тѣмъ, чтобы взглянуть на Ал пы, другіе подышать цѣлительнымъ нагорнымъ воздухомъ, третьи ищу на чужой землѣ радушнаго пріема и спокойной могилы, въ которой о казало имъ отечество, — и всѣхъ болѣе или менѣе подстрекаетъ люб знательность, такъ или иначе понятое желаніе запастись новыми опы тами и наблюденіями.

Въ наше время путешествія составляютъ высшую школу образованія, всесторонняго и нагляднаго. Чѣмъ чаще и ближе сходятся между собой отдѣльныя національности, тѣмъ больше ослабѣваютъ племенныя антипатіи, вѣками прижитые предразсудки и суевѣрія. Въ этомъ взаимномъ столкновеніи народовъ, въ постоянномъ обмѣнѣ чувствъ и мыслей скрывается лучшій залогъ будущаго ихъ примиренія и братства... Всякая исключительность, холодное отрицаніе отъ общечеловѣческой семьи, и въ настоящую эпоху, можетъ быть только слѣдствіемъ умственнаго эгоизма, не способнаго стать выше собственной корысти и видѣть дальше завтрашняго дня. Кто боится утратить свой національный характеръ чрезъ соприкосновеніе съ другими народами, тотъ не имѣетъ его или дурно думаетъ о немъ. Это мнѣніе всего лучше подтверждаетъ Швейцарія: поставленная въ центрѣ Западной Европы, она всегда была открытой землей, доступной благотворному вліянію другихъ народовъ: съ юга свѣтила на нее заря восходившей цивилизаціи; сѣверъ внесъ въ нее религіозную реформу; съ запада она принимала къ себѣ гонимыхъ братьевъ, которые платили ей, за ея благородное гостепріимство, своими умственными сокровищами. Потому-то, можетъ быть, Швейцарія и смотритъ съ особеннымъ уваженіемъ на иностранца. Собирая къ себѣ дѣятелей отвсюду, усвоивая элементы чужихъ народностей, Гельвеція никогда, однакожъ, не отступалась отъ своей національной личности, и когда возмужали ея нравственныя мышцы, она претворила все заимствованное въ свое собственное благо. Въ этомъ состояла основная задача ея исторіи: Альпы стояли на стражѣ ея внѣшней охраны, и здравый смыслъ народа устраивалъ внутреннее благосостояніе.

„Съ перемѣной всякаго горизонта, говоритъ одинъ писатель, измѣняется образъ нашихъ мыслей". Совершенно справедливо. Путешествія спасаютъ мысль отъ апатическаго застоя и обогащаютъ фантазію живыми образами. На чемъ бы ни остановилось наше вниманіе, дѣятельный умъ непремѣнно найдетъ себѣ пищу. Притокъ разнообразныхъ впечатлѣній незамѣтно и безъ вѣдома нашего расширяетъ его кругозоръ; шаткія понятія, непровѣренныя опытомъ, крѣпнутъ подъ вліяніемъ осязательныхъ наблюденій; ложныя убѣжденія, принятыя съ молокомъ матери, исчезаютъ передъ новымъ свѣтомъ знанія; воля, характеръ, чувство, всѣ силы души дѣйствуютъ — на пути сравнительнаго изученія и безпрерывнаго анализа, съ которыми мы проходимъ сферы незнакомаго намъ міра.

Впрочемъ, для дѣйствительно-полезнаго путешествія необходимы многія условія. Прежде всего неизбѣжно основательное приготовительное образованіе и молодые годы, полные юношеской воспріимчивости, вѣры въ свою нравственную природу, и чуждые тѣхъ окостенѣвшихъ предубѣжденій и привычекъ, которыя такъ часто закрываютъ отъ насъ своей грязной пеленой все, достойное нашего вниманія. Въ противномъ

случаѣ, едва ли стоитъ труда глотать воздухъ по большимъ дорогам или зѣвать въ художественныхъ галлереяхъ...

Перейду къ личнымъ наблюденіямъ.

Рейнская долина привела меня къ предѣламъ Швейцаріи. Покин за собой Германію, эту цѣломудренную дѣву въ профессорскомъ ко пакѣ и протестантской рясѣ, — я съ истиннымъ удовольствіемъ вспом налъ о берегахъ Рейна. Имъ я былъ обязанъ самыми отрадными впе чатлѣніями, лучшими днями моего путешестія, съ той минуты, когд на Балтійскомъ морѣ исчезъ за мной послѣдній маякъ родимой земли,— золотой куполъ исаакіевскаго собора... Утро было удивительное, на дум ясно, когда я сѣлъ на пароходъ, плывшій изъ Кельна до Майнца. Да но уже не видно было набережной, остроконечныя крыши разнообр ныхъ домовъ, всевозможныхъ архитектуръ и украшеній, чуть обозна лись въ полупрозрачной дали, а кельнскій соборъ, господствующій на всѣмъ городомъ, только начиналъ разоблачать свои гигантскіе разм ры. Его готическія башни и тонкія стрѣлки, убранныя всѣми прит дами новѣйшей скульптуры, стройно возносились къ небу.

Странная судьба этого славнаго храма,—„монументальной Иліад какъ назвалъ его В. Гюго. Первый камень въ основаніи этой церк положилъ набожный архіепископъ Энгебертъ, въ половинѣ XIII вѣк и она доселѣ остается неоконченной. Шесть вѣковъ постоянныхъ р рушеній и возобновленій, различіе школъ и плановъ въ ея худож ственной обстановкѣ все это сообщило ей глубоко-мистическій хар теръ. Я посѣтилъ соборъ рано утромъ; когда я вошелъ въ него, всѣхъ сторонъ окружили меня густые ряды колоннъ рошфорскаго ка ня, на которые опирались высокіе своды и галлереи. Матовый утре ній свѣтъ, проходившій сквозь цвѣтныя стекла, игралъ на золотыхъ р махъ иконъ и озарялъ громадную внутренность базилики. На стекла рисовалась полная процессія среднихъ вѣковъ; здѣсь были короли рыцари, съ строгимъ вѣраженіемъ лица, съ развѣвающимися перья на каскахъ, вооруженные тяжелыми мечами, какъ слѣдуетъ благор нымъ паладинамъ на турнирѣ, или палачамъ на площади; по сто намъ ихъ печально выглядывали женскія физіономіи, съ чудовищ длинными профилями. На одномъ окнѣ была представлена библейск генеалогія, Давидъ съ арфой въ рукѣ и Соломонъ съ угрюмой дум на челѣ... Солнечные лучи разливали жизнь на эти античныя вели выя фигуры. На стѣнахъ боковыхъ капеллъ висѣли картины всѣ эпохъ и стилей; кругомъ величественнаго хора, обставленнаго рѣзны дубовыми каѳедрами, въ разнообразныхъ положеніяхъ размѣщались гр ницы кельнскихъ епископовъ, вылитыхъ изъ бронзы, изсѣченныхъ и камня, мрамора и гранита. Одинъ изъ нихъ лежитъ за просто на по другой на постели, третій склонялся передъ алтаремъ; у ногъ одн сидѣли двѣ крысы, съ отбитыми хвостами:—это извѣстная исторія е

скопа Гаттона, съѣденнаго мышами, въ которыхъ превратились его голодные подданные;—у изголовья другого, облокотившись, плакали генералъ-лейтенанты Людовика XIV. Къ сожалѣнію, многія статуи обезображены царапинами и осколками и всѣ покрыты страшною пылью. Какое грустное противорѣчіе! могучіе пастыри, при жизни, однимъ словомъ уничтожали властителей на престолахъ, а теперь... не въ состояніи даже сорвать паутины съ своего лица. Возвращаясь назадъ, я наступилъ на черную мраморную плиту: „Это — могила Маріи Медичисъ!“ замѣтилъ мнѣ проводникъ. Такъ вотъ конецъ-концовъ несчастной королевы, супруги Генриха IV.

Мужу суждено было погибнуть подъ ударомъ убійцы и, можетъ быть, не безъ вѣдома своей жены, а бѣдной, всѣми оставленной и изгнанной вдовѣ сложить свое сердце подъ каменной плитой, на грязномъ помостѣ. Наконецъ, я взобрался по узкой винтовой лѣстницѣ на внѣшнюю галлерею собора, съ которой открывается очаровательный видъ на окрестныя поля и желтыя воды Рейна.

Въ заключеніе оставалось пожелать кельнскому собору побольше чистоты и поменьше любви къ крейцерамъ. Послѣ индульгенцій Льва X едва ли гдѣ и когда нибудь такъ хладнокровно торговалъ нѣмецъ своей святыней, какъ въ колоніи Агриппы. Положительно, нельзя сдѣлать ни одного шага, чтобы не заплатить за него особенной пошлины... Вмѣстѣ съ тѣмъ жалко видѣть это великолѣпное зданіе въ центрѣ города, заваленнаго кучами сора, изрѣзаннаго тѣсными и смрадными улицами. Это неряшество тѣмъ непростительнѣе знаменитому Колону, который разсылаетъ до 450,000 стклянокъ своей благовонной воды на всѣ европейскіе рынки.

Обращаюсь къ пароходу. Подъ флагомъ Прусскаго Орла, онъ быстро уходилъ отъ Кельна, застилая столбомъ дыма послѣдніе его очерки. Я сталъ наблюдать, тѣмъ спокойнѣе, что никто не развлекалъ меня. Общество, среди котораго я находился, исключительно состояло изъ нѣмцевъ средней руки, съ огромными сапогами на ногахъ и съ толстыми сигарами во рту. Мужчины упивались блаженствомъ дешеваго табаку и пива, а женщины, подъ прикрытіемъ соломенныхъ шляпъ, съ широкими полями, погружались въ благоговѣйное созерцаніе своихъ обладателей. Всѣ молчали, какъ будто оглушенные внезапнымъ ударомъ грозы, и этотъ лунатическій сонъ только изрѣдка прерывался одногласными частицами *да* или *нѣтъ*. Ни одного живого и выразительнаго взгляда; ни одного оживленнаго звука — все было тихо и однообразно до непонятной душевной лѣни. Давно замѣчено, что нѣмцы не умѣютъ говорить; они постоянно думаютъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда не о чемъ думать. Это признакъ крѣпкаго саксонскаго черепа и не совсѣмъ благодарной мысли... Между тѣмъ, берега Рейна постепенно раскрывали свою ненаглядную красу, и какъ будто хотѣли сказать этому нѣ-

мому обществу: „смотри, человѣкъ, какъ выше и нравственнѣе
бездушная природа".

Сначала Рейнъ далеко не оправдываетъ своей всемірной сла
ожидаете отъ него, на первый разъ, чего-то необыкновеннаго,
ныя воды его, кругомъ поля, засѣянныя хлѣбомъ и картофелемъ,
брежные домики и дороги, отѣненныя молодой ивой и елью, не
ставляютъ ничего особеннаго. Но чѣмъ ближе вы плывете къ Кобле
тѣмъ шире раздвигается панорама горъ, тѣмъ свѣжѣе становится
сфера, тѣмъ болѣе пробуждается жизнь. Отъ Кобленца до Бингена
четъ истинный Рейнъ, дикій и прелестный въ одно и то же
Рейнъ мечтательный, какъ Германія, и веселый, какъ Франція.
дѣлъ его у подножія Сэнъ-Готара, при его впаденіи въ Боденское
и въ равнинахъ Шафгаузена, и вездѣ останавливался передъ
изумленіемъ. Гордо несется бѣлая волна его съ долинъ Италіи
встрѣчу Атлантическаго океана; весело смотрѣть на его прибрежье.
одной сторонѣ, обращенной къ полуденному солнцу, сплошнымъ
нымъ ковромъ раскидываются виноградники, вьющіеся вокругъ
чески-расположенныхъ тычинокъ; на другой — поднимаются непроглядн
дубовые лѣса. Направо и налѣво тянется безпрерывная вереница
и городовъ, съ высокими колокольнями, пристанями, террасами,
садниками и бесѣдками; повсюду видны слѣды неутомимой дѣя
ности и честнаго труда; человѣкъ побѣдоносно овладѣлъ окружа
его природой; онъ не пренебрегъ ни однимъ клочкомъ земли, возд
каменистую почву, оросилъ ее водопроводами, засыпалъ болота
и возрастилъ на нихъ плодоносное сѣмя. Это — Рейнъ современный,
мышленный, со всѣми обыденными заботами и неутомимымъ движе
его народонаселенія. Выше начинается Рейнъ феодальный, безмол
какъ давно забытая могила и страшный, какъ старая германская
генда. На неприступныхъ скалахъ его, среди черныхъ базальто
сѣрой вулканической лавы, какъ вороньи гнѣзда висятъ средневѣк
замки. Полуразвалившіяся ихъ стѣны, бойницы и ограды грозно
няются надъ водами. Лишь змѣя, да хищная птица посѣщаютъ
лины тѣхъ залъ, которыя нѣкогда оглашались пѣснями минестрел
звономъ бокаловъ разгульнаго рыцарскаго общества. При взглядѣ на
заброшенное кладбище нѣсколькихъ вѣковъ и поколѣній, нельз
чувствовать уваженія къ Рейну: онъ отмѣтилъ на своихъ гранит
холмахъ всю исторію европейской цивилизаціи, былъ свидѣтелем
участникомъ ея измѣненій, горькихъ ошибокъ, страданій, славы и
славія. Лѣвый берегъ его, нѣкогда покрытый ужасными крѣпост
служилъ оплотомъ противъ варваровъ; здѣсь лицомъ къ лицу сто
двѣ противоположныя жизни — дряхлый императорскій Римъ, въ
блестящихъ доспѣхахъ, и — полунагія дѣти сѣвера. Мечъ дикаря разб
цѣпи замиравшаго народа, и смылъ съ лица земли позорное его

цествованіе его же собственною кровью... Древнеклассическій день угасъ; настали сумерки, полныя фантастическихъ видѣній, и воинственный Рейнъ обратился въ область поэтическихъ фантомовъ. Младенческое воображеніе новыхъ племенъ населило его дубравы, воды и горныя выси миѳическими существами, — вѣдьмами, русалками, карликами, чертями и феями, и надъ этимъ мечтательнымъ, безплотнымъ міромъ поставило два героическихъ образа — Карла и Роланда. Въ то же время рейнскіе берега покрываются монастырями, аббатствами, подземными пещерами, гдѣ творится горячая молитва и совершается ужасный судъ съ пытками и истязаніями... Но пробилъ часъ умственнаго пробужденія, сновидѣнія исчезаютъ, феодальные бароны снимаютъ съ себя желѣзную броню и одѣваются въ придворную ливрею, и Рейнъ снова дѣлается театромъ всѣхъ главныхъ событій новой исторіи. Онъ бросаетъ яблоко раздора между двумя враждующими племенами и возбуждаетъ горячіе политическіе вопросы; на немъ попеременно рѣшается участь то того, то другого государства; недалеко отъ него, въ Нюрембергѣ, является артиллерія; въ Страсбургѣ — книгопечатаніе — двѣ основныя силы современной Европы; пушка и мысль управляютъ ходомъ дальнѣйшихъ судебъ человѣчества... Не даромъ близь него, во Франкфуртѣ, стоитъ бронзовый памятникъ Гете, съ лавровымъ вѣнкомъ въ рукѣ, и повсюду носятся кровавыя тѣни двухъ геніальныхъ полководцевъ, Юлія Цезаря и Наполеона. Послѣ этого какая же рѣка можетъ соперничать съ Рейномъ своими преданіями, военными подвигами, политическимъ значеніемъ и красотой природы?

Простившись съ Рейномъ въ Касселѣ, я мимоходомъ посѣтилъ Франкфуртъ, одинъ изъ самыхъ нарядныхъ городовъ Германіи, отдохнулъ въ ученомъ Гейдельбергѣ и, наконецъ, переступилъ за границу Швейцаріи. Синяя полоса Юрскихъ холмовъ, вечерніе туманы, лежавшіе въ долинахъ, свѣжесть нагорнаго воздуха, здоровый цвѣтъ лица, орлиный взглядъ и атлетическія манеры другой человѣческой породы, все напомнило мнѣ, что я нахожусь въ странѣ горъ, недалеко отъ Альпъ. „Базель!“ закричалъ кондукторъ черезъ нѣсколько минутъ; я взялъ свои omnia mecum porto и пошелъ въ гостинницу.

Черезъ часъ я сидѣлъ на высокой террасѣ, близь каѳедральнаго собора, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ за полторы тысячи лѣтъ стоялъ дворецъ Валентиніана I, среди укрѣпленнаго замка. Ночь быстро упала на окрестности Базеля; вѣтеръ стихъ, облака разсѣялись и луна торжественно поднялась на горизонтѣ. Вокругъ меня все было спокойно и угрюмо. Каштаны, накрытые своими густыми вѣтвями, какъ черными шапками, бросали широкую тѣнь на красныя стѣны церкви, внизу дремалъ городъ; кой-гдѣ на безлюдныхъ улицахъ трепетали тусклые огни, кой-гдѣ раздавался гулъ экипажей; вдали слышались частые звуки пѣсни съ сильнымъ горловымъ напѣвомъ; налѣво, въ полумракѣ виднѣлись

Вогезы и „черная дубрава" рѣзко отдѣлялась отъ голубого свода; вни
катился Рейнъ, облитый серебрянымъ луннымъ блескомъ. Въ эту н
путу Базель былъ безукоризненно хорошъ.

Внѣшній обликъ его, какъ всѣхъ старыхъ европейскихъ городовъ, н
ситъ на себѣ отпечатокъ двухъ различныхъ физіономій, историческ
современной, рыцарски-монашеской и мѣщанской Европы. Вы ясно сл
дите за развитіемъ этихъ началъ по архитектурнымъ памятникамъ, уц
лѣвшимъ отъ землетрясеній, пожаровъ и военныхъ грабежей. Въ Б
зелѣ, который пятью вѣками старше сановитой Москвы, лицомъ къ ли
встрѣчаются эти два типа: лѣвая половина города загромождена т
ными улицами и такими узкими переулками, что изъ противоположны
домовъ сосѣди, безъ затрудненія, могутъ цѣловаться. Зданія, почернѣв
и сгорбившіяся подъ рукой единственнаго деспота — времени, плотно пр
жимаются другъ къ другу, какъ будто бѣдные обитатели ихъ случай
заходили въ нихъ, постоянно опасаясь набѣга и притѣсненія. Сл
окна, съ желѣзными рѣшетками, придаютъ имъ видъ тюремныхъ ост
говъ. Человѣкъ, убитый въ своемъ нравственномъ развитіи, не люб
чистоты и свѣта... И среди этой разнохарактерной массы черепка и гл
торчатъ готическія колокольни, замки съ потаенными ходами и подъ
ными мостами и дворцы, окруженные тайной, невѣдомой народу. Это
Европа средневѣковая, монументальная, надъ которой исторія произнес
свой послѣдній приговоръ. На другой сторонѣ — другая картина; зд
возникаетъ новая жизнь, полная борьбы, сомнѣній и отчаянія, смѣш
наго съ неясными и зыбкими надеждами, жизнь, съ однимъ пылки
убѣжденіемъ въ необходимость насущнаго куска хлѣба и безусловны
поклоненіемъ золотому идолу. Впередъ выступаетъ промышленная сл
банкиръ правитъ рулемъ того разснащеннаго корабля, съ оборванны
парусами, на которомъ сотни поколѣній напрасно искали обѣтован
пристани. Куда ни посмотрите, повсюду лежатъ желѣзные рельсы,
всюду рынки и купеческія конторы; на первомъ планѣ стоятъ вел
лѣпныя гостинницы, съ превосходными видами, съ роскошной обстанов
и, нельзя не прибавить, со всей грязью мелочнаго мѣщанскаго плут
ства. Всѣ наши желанія и прихоти исчерпаны до дна; горсть чер
цевъ отворитъ вамъ двери въ самые завѣтные тайники. Дарованіе, че
красота, искусство и мысль — все суетится около биржи и, по перв
голосу, продаетъ себя съ аукціоннаго торга. Только небольшой, избран
кружокъ людей отошелъ въ сторону и, въ качествѣ празднаго зрит
ожидаетъ развязки... Въ такомъ видѣ представился мнѣ Базель, од
изъ самыхъ торговыхъ городовъ Швейцаріи. Географическое полож
его у верховьевъ судоходнаго Рейна, на границѣ Германіи и Фран
рано развило въ немъ коммуніальный духъ и утвердило за нимъ к
мерческое превосходство. На двадцать восемъ тысячъ народонаселе
его насчитывается до 1,200 торговыхъ домовъ, въ которыхъ обращае

капиталъ въ сто двадцать милліоновъ франковъ. Спеціальная отрасль его фабричной производительности заключается въ лентахъ, которыхъ, каждый годъ, вывозится за границу на четыре милліона рублей сер.

Купцу некогда мыслить. По мѣрѣ развитія матеріальныхъ выгодъ и ремесленныхъ сословій Базеля, умственное движеніе его болѣе и болѣе сокращалось. Было время, когда университетъ его, основанный въ 1460 году и поставленный буллой Пія II на одну степень съ болоньской академіей, считался, въ числѣ другихъ семи европейскихъ университетовъ, истиннымъ свѣтиломъ своей эпохи. Самая цвѣтущая пора его относится къ концу XV и началу XVI вѣка. На каѳедрахъ его, послѣдовательно, работали Эразмъ Роттердамскій, Парацельсъ, Бернульи и Эйлеръ. Но слава этого знаменитаго университета давно угасла. Реформація нанесла ему первый ударъ, а религіозная „дисциплина" довершила его паденіе. Педагогическая гимназія обратилась въ фабрику юношеской *дрессировки*, извѣстной подъ именемъ теоретическаго воспитанія, и одинъ институтъ миссіонеровъ, предназначенныхъ нести слово евангельское въ отдаленные края язычниковъ, пережилъ эпоху всеобщаго умственнаго разрушенія... Относительно изящныхъ искусствъ, Базель еще менѣе представляетъ интереса. Извѣстно, съ какимъ ожесточеніемъ преслѣдовала ихъ пуританская партія. Духъ Кальвина тлетворнымъ повѣтріемъ пронесся надъ художественными созданіями Швейцаріи; его сухой, схоластической душѣ не было доступно пониманіе эстетическихъ потребностей человѣка; пламенный полемикъ въ университетской аудиторіи, безпощадный судья въ консисторномъ совѣтѣ, неумолимый тиранъ передъ костромъ Серве и многихъ, подобныхъ ему жертвъ, онъ выгналъ живопись и скульптуру изъ протестантскихъ храмовъ, и тѣмъ сорвалъ поэтическій покровъ съ религіи. Послѣ Кальвина Швейцарское духовенство, подъ предлогомъ чистоты нравовъ, постоянно воевало съ геніемъ искусства, въ чѣмъ бы ни проявила его народная жизнь; оно запрещало театры и въ особенности комедію, пѣсни, пляску, всѣ невинныя удовольствія поселянъ, наказывало тюрьмой и денежнымъ штрафомъ того, кто надѣвалъ парикъ не по формѣ, щеголялъ кружевами или учился танцовать. Вслѣдствіе этого въ характерѣ народа доселѣ остались слѣды пуританской суровости, отразившейся на языкѣ, семейномъ и общественномъ быту. „Намъ недешево досталась наша старая нравственность, говоритъ одинъ швейцарскій историкъ; потому что ее внушали палкой; но такая нравственность, лишенная убѣжденія и народной санкціи, хуже всякой безнравственности". (Canton de Vaud, par Olivier. t. 1. p. 183).

На другой день моего пребыванія въ Базелѣ, въ воскресенье, я вышелъ за городскую заставу, по слѣдамъ многочисленной толпы народа, который собирался около памятника Сэнъ Жака. На правомъ берегу Бирсы, впадающей въ Рейнъ, среди прекрасной равнины, подъ тѣнью дуба и вяза, стоитъ готическая чугунная колонна: на мраморной доскѣ

ея есть надпись: „души наши Богу, а тѣло врагамъ". Эти слова (как
произнесены вождемъ той горсти храбрыхъ швейцарцевъ, которые в
1444 году такъ великодушно рѣшились умереть за отечество. Тысяч
пятьсотъ юношей, по зову осажденнаго Базеля, спѣшили заслонить р
рогу двадцатитысячному французскому войску, предводимому сыном
Карла VII. Въ виду многочисленныхъ враговъ, подъ огнемъ артиллері
они бросились на другую сторону рѣки и, разрѣзанные на двѣ част
конницей графа Арманьяка, всѣ погибли, исключая десяти бѣглецов
которые не нашли себѣ пріюта ни подъ одной родимой кровлей. Этот
день, день гельветійскихъ термопилъ, заставилъ французовъ уважат
Швейцарію; онъ спасъ ея независимость, покрылъ ее славой и прибав
вилъ новое пятно позора на австрійскомъ знамени, всегда зловѣщемъ дл
человѣческаго прогресса. Народная память свято бережетъ преданіе
сэнъ-жакскомъ побоищѣ: она любитъ героевъ-защитниковъ слабаго и н
навидитъ притѣснителей.

Близь этого памятника, подъ открытымъ небомъ, играла музыка, в
присутствіи довольно большого общества. Сначала Базельцы вели себ
какъ-то не ловко, слишкомъ чинно и до утомленія скучно, но вдруг
послѣ продолжительной паузы, загремѣла арія изъ Вильгельма Тел
всѣ встрепенулись. Говоръ оживился, общее самодовольствіе засіяло в
лицахъ; многіе встали съ своихъ мѣстъ и подошли къ оркестру, друг
скорыми шагами заходили взадъ и впередъ, какъ бы желая дать б
лѣе простора своему восторгу. Арія, видимо, приходилась всѣмъ
душѣ.

Для швейцарца нѣтъ имени болѣе народнаго, болѣе патріотическа
какъ имя Вильгельма Теля. Оно у всѣхъ на языкѣ, у всѣхъ отзывает
въ сердцѣ. Въ честь его поется колыбельная пѣсня, учреждают
сельскіе праздники, воздвигаются капеллы; именемъ его провожаетъ оте
своего сына на поле битвы, и по всей Швейцаріи ходитъ о немъ
смѣтное множество разсказовъ. А между тѣмъ исторія отвергаетъ дѣ
ствительность этого загадочнаго лица; современные лѣтописцы не уп
минаютъ о немъ; въ приходскихъ архивахъ, при всѣхъ трудолюбивы
изысканіяхъ, не могли открыть ни малѣйшаго намека, ни одного пол
жительнаго слѣда, подтверждающаго достовѣрность В. Теля. Но отку
же происходитъ это пристрастіе къ нему народнаго мнѣнія! Шилле
угадалъ тайну великаго вымысла и рѣшилъ ее въ своей трагедіи. Дѣ
въ томъ, что исторія врага Геслера въ высшей степени человѣческа
она затрогиваетъ самый живой нервъ души, она развиваетъ картину бл
городнѣйшей борьбы *права* съ *насиліемъ*...

Въ настоящую минуту все напоминало о гельветійскомъ героѣ. См
чокъ музыканта передавалъ его имя слуху, сэнъ-жакская могила, схор
нившая достойныхъ учениковъ „стараго Теля", говорила о немъ взор
Въ сторонѣ возвышалась деревянная эстрада, на которой развѣвал

красный флагъ и въ трехъ или четырехъ стахъ шагахъ стояла мѣта съ черными точками на бѣлыхъ кругахъ. По эстрадѣ бродили юноши, одѣтые очень просто, но мило. Короткіе суконные казакины, опоясанные широкимъ ременнымъ поясомъ, стройно охватывали гибкіе, молодые ихъ члены, не стѣсняя ни груди, ни горла; на головѣ красиво лежалъ легкій киверъ съ краснымъ шишакомъ и бронзовой чешуйкой; бѣлые просторные пантолоны и тонкіе башмаки, застегнутые шелковымъ чернымъ бантомъ, дополняли собой этотъ ловкій и свободный костюмъ. Я дивился свѣжести юношескихъ лицъ, горѣвшихъ яркимъ румянцемъ, живому и осмысленному выраженію глазъ. Здѣсь были и богатые и бѣдные, но я не замѣтилъ ни одного оскорбительнаго взгляда, ни тѣни того грубаго чванства, которое невольно пробивается между дѣтьми, воспитанными не въ духѣ уваженія къ достоинству человѣка, а къ его чину и другимъ внѣшнимъ наростамъ. Это былъ братскій кружокъ, соединенный общимъ чувствомъ долга и взаимнаго вниманія другъ къ другу. У нѣкоторыхъ мальчиковъ торчали стрѣлы изъ-за казакиновъ: у другихъ, болѣе взрослыхъ, висѣли за плечами карабины. Въ кругу молодого поколѣнія, веселаго и говорливаго, были наставники, съ которыми питомцы обращались вѣжливо, но развязно, безъ рабскаго трепета и его двоюродной сестры, презрѣнной лести. Эти юноши были воспитанники базельскихъ учебныхъ заведеній, собравшіеся сюда для упражненія въ стрѣльбѣ.

Швейцарія давно славится своими превосходными стрѣлками, которые въ составѣ конфедеративнаго войска всегда занимали первое мѣсто, и громко заявили свое искусство въ военныхъ лѣтописяхъ. Первоначальной школой образованія ихъ, нѣтъ сомнѣнія, были Альпы и охота на горныхъ ланей, которая доселѣ составляетъ непобѣдимую страсть жителя Оберланда. Истинный охотникъ, завидѣвъ добычу, болѣе не принадлежитъ себѣ; онъ покидаетъ жену и дѣтей и беретъ съ собой ружье и овсяный кусокъ хлѣба и пускается въ горы на цѣлыя недѣли. Преслѣдуя осторожнаго звѣря между скалъ, снѣговъ и пропастей, онъ ежеминутно борется съ опасностями и смертью; одинъ ложный шагъ, одно невѣрное движеніе часто рѣшаетъ его участь. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обрекаетъ себя всевозможнымъ лишеніямъ; его томитъ жажда, изнуряетъ голодъ, застигаетъ буря, ему угрожаетъ летаргическій сонъ, послѣ котораго онъ нерѣдко просыпается съ отмороженными руками и ногами. И не смотря на все это, онъ не отступаетъ отъ своего предпріятія, если видитъ впереди себя добычу; онъ покидаетъ ее только тогда, когда гибнетъ самъ, или поражаетъ усталое животное своей мѣткой пулей. Въ этомъ богатырскомъ состязаніи съ природой, охотникъ пріобрѣтаетъ всѣ условія, необходимыя хорошему стрѣлку: твердость руки, мѣткость взгляда, привыкающаго измѣрять разстояніе среди самыхъ обманчивыхъ явленій горной атмосферы и навыкъ владѣть оружіемъ во всѣхъ положеніяхъ... Вѣрный прицѣлъ швейцарскаго пищальника

характеристически выраженъ въ повѣсти В. Теля, сбивающаго яблоко по приказанію Геслера, съ головы своего сына.

Гельвеція благоразумно воспользовалась своими охотниками; она образовала изъ нихъ особенное сословіе, стараясь поддержать въ нихъ ревнованіе къ своему дѣлу и возвысить званіе стрѣлка въ общественномнѣніи. Съ этою цѣлью, она учредила народный праздникъ, извѣстный подъ именемъ „федеральнаго тира" (tire fédérale) и принадлежащій глубокой древности. Такъ, въ 1485 году, Сэнъ-Галь, въ одинъ день видѣлъ на своихъ поляхъ около трехъ тысячъ молодыхъ стрѣлковъ. Впослѣдствіи каждый городъ установилъ у себя подобныя игры, желая придать имъ какъ можно больше серьезнаго смысла. Теперь каждый кантонъ имѣетъ у себя свою собственную федеральную стрѣльбу; кромѣ того, назначается общее торжество, на которое собираются лучшіе стрѣлки округовъ, и въ присутствіи многочисленнаго общества и иностранныхъ депутацій соперничаютъ другъ съ другомъ. Этотъ праздникъ, праздникъ единства, дружбы, силы и ловкости, принимаетъ характеръ классическихъ олимпійскихъ игръ. Вообще, надо замѣтить, швейцарскіе праздники отличаются практическимъ толкомъ, разумнымъ значеніемъ, потому что они прямо вытекаютъ изъ народной жизни.

Черезъ три дня я оставилъ Базель, отправляясь на берега Женевскаго озера. Чѣмъ дальше я углублялся въ Швейцарію, тѣмъ больше начиналъ уважать ея обитателей, тѣмъ сильнѣе привязывался къ ея природѣ. Изъ Базеля въ Бернъ идетъ новая, не совсѣмъ оконченная желѣзная дорога, по которой я ѣхалъ до Герцогенбуха, гдѣ она, въ началѣ прошлаго іюля, прекращалась. Эта дорога — одно изъ колоссальныхъ произведеній человѣческаго труда — возвышаетъ васъ въ вашемъ собственномъ мнѣніи, заставляетъ любить страну, которая произвела ее на своей землѣ. На пространствѣ тридцати миль, вагоны несли среди поразительной мѣстности, то взлетая на вершины горъ, то опускаясь въ глубокія равнины; то вдругъ скрывались въ темномъ проходѣ, прорѣзанномъ сквозь скалу, то скользили на краю пропасти, въ которую страшно заглянуть. И при каждомъ поворотѣ локомотива видъ окружающихъ предметовъ измѣнялся: вверху мелькали съ быстротою молніи деревни, фермы и сады, внизу блестѣли рѣки и источники; а по сторонамъ производились работы, утверждались новые рельсы и обкладывались камнемъ земляные обвалы. И все это дѣлается не кое-какъ, но добросовѣстно, умно, изящно и, что главнѣе всего, необыкновенно дешево.

Въ восемь часовъ вечера я былъ въ Бернѣ. О немъ рѣчь впереди. На этотъ разъ я пробылъ въ „столицѣ Швейцаріи" недолго и потому не успѣлъ замѣтить ничего, кромѣ медвѣдей. Проходя главной улицей города, куда я ни поворачивалъ взоръ, вездѣ попадалъ на медвѣдя. На воротахъ Аарберга, въ качествѣ городскихъ стражей, стоятъ два гранитныхъ медвѣдя; вокругъ памятника Рудольфа Эрлаха, поставленнаго

на каѳедральной площади, сидятъ четыре чугунныхъ медвѣдя; на вывѣскахъ, флагахъ, на дверяхъ домовъ, за стеклами магазиновъ, даже на пряникахъ,—повсюду и со всѣхъ сторонъ привѣтствовалъ меня косолапый мишка. Озадаченный этой встрѣчей, я призадумался; но скоро вспомнилъ, что „благородный Бернъ" вскормленъ медвѣдицей, подобно Риму, воспитанному волчицей. Впослѣдствіи времени я убѣдился, что жители бернскаго кантона, кромѣ историческаго родства, имѣютъ много и нравственныхъ симпатій съ медвѣжьей натурой...

Дорога отъ Берна до Ивердёна довольно однообразна. Проторенная по обширной плоской возвышенности, между восточными склонами Юры и западнымъ Оберландомъ, она захватываетъ отлогіе берега Моратскаго и Невшательскаго озеръ, которыя служатъ единственнымъ ея украшеніемъ. Подъѣзжая къ Мора, я увидѣлъ на высокомъ холмѣ мраморный обелискъ, воздвигнутый на томъ мѣстѣ, гдѣ до 1822 г. лежала пирамида костей, собранныхъ послѣ пораженія бургундцевъ въ 1476 году—памятникъ, достойный Тамерлана. Справа обелискъ господствуетъ надъ озеромъ, слѣва примыкаетъ къ необозримому полю, къ тому роковому полю, на которомъ Карлъ Безразсудный погубилъ лучшее свое войско и цѣлую страну Лемана, предавъ ее грабежу и разрушенію кровожадныхъ бернскихъ солдатъ. Нигдѣ такъ рѣзко не обнаружилась ненависть нѣмецкаго племени къ романскому, какъ на берегу Мората. Поразивъ герцога бургундскаго, бернское мѣщанство, закованное въ стальныя латы, мстило его союзникамъ, своимъ соотечественникамъ: огненнымъ потокомъ оно прошло по водуазской землѣ. „Семьнадцать городовъ, сорокъ три замка, говоритъ Жэнженъ, — множество деревень и жилищъ были истреблены пламенемъ. Беззащитные люди, женщины, дѣти, падали подъ мечомъ у домашняго ихъ очага. Кѣмъ овладѣвалъ паническій страхъ, наводимый свирѣпымъ врагомъ, тотъ покидалъ свое жилье и скрывался въ лѣсахъ; ужасъ, сопровождавшій варварское нѣмецкое знамя, былъ такъ великъ, что бѣглецы впродолженіе четверти вѣка не хотѣли возвратиться домой, предпочитая дикую жизнь въ дубравахъ и пещерахъ близкому сосѣдству съ нѣмцами. Водуазская страна, лишенная вслѣдствіе смерти и переселенія трети своего народонаселенія, оставила воздѣлываніе виноградниковъ и полей и подверглась страшному голоду (Lettres de Gingins 24 p.). Съ этого времени Бернъ сталъ въ главѣ гельветійской конфедераціи, Савоя потеряла свое вліяніе на сѣверномъ берегу Лемана, герцогъ бургундскій лишился прежняго политическаго значенія на югѣ Франціи, и вандальская побѣда надолго и глубоко поселила антипатію между французскимъ и нѣмецкимъ народонаселеніемъ Швейцаріи. Незавидная доля подобныхъ памятниковъ!

Иверденъ, когда вы приближаетесь къ нему съ сѣверо-восточной стороны, рекомендуетъ себя путешественнику развалинами замка, который заплатилъ каждому вѣку должную дань. Въ пятьнадцатомъ столѣ-

тіи онъ былъ собственностью знатнаго барона Эставайера; въ шестнадцатомъ, когда сынъ саксонскаго рудокопа, Лютеръ, волновалъ Европу своимъ ученіемъ, въ этомъ замкѣ происходили шумные богословскіе споры; въ семьнадцатомъ онъ обратился въ солдатскую казарму; въ восемьнадцатомъ, возобновленный г-жей Коломбье, онъ видѣлъ въ стѣнахъ блестящій литературный кругъ, соединенный прелестью и умомъ этой замѣчательной женщины; и, наконецъ, въ началѣ нашего вѣка онъ былъ школой знаменитаго педагога Песталоцци.

Въ Ивердёнѣ все напоминаетъ о Песталоцци, какъ въ Базелѣ Эразмѣ и Гольбейнѣ и какъ въ Женевѣ о Ж. Ж. Руссо. Песталоцци провелъ здѣсь лучшее время своей жизни (1805 — 1815 г.). Въ его институтѣ, основанномъ по его методѣ, заключалось 137 воспитанниковъ, въ числѣ которыхъ были русскіе, итальянцы, нѣмцы, испанцы, англичане и французы. Осуществленію своей педагогической мечты онъ пожертвовалъ всемъ, — состояніемъ, здоровьемъ, трудами безсонныхъ ночей и при всемъ томъ, не успѣлъ ее осуществить; онъ даже пережилъ слишкомъ своего заведенія, которое рушилось въ 1816 г. отъ недостатка средствъ и административныхъ способностей, которыя постоянно вредили благороднымъ порывамъ его души. Сынъ бѣднаго отца, современникъ бѣдственнаго состоянія Швейцаріи, Песталоцци былъ убѣжденъ въ томъ, что матеріальная нищета народа есть слѣдствіе его умственной нищеты: „онъ горячо вѣрилъ тому, что хорошее воспитаніе юношества пересоздаетъ всю жизнь народа, что оно есть первое и послѣднее слово благоустроеннаго общества, и потому хотѣлъ „все разрушить и возобновить". Первымъ воспитателемъ ребенка онъ считалъ мать, образованную и нравственную женщину; школьное преподаваніе онъ старался освободить отъ педантическаго сора и возвести его на степень мощнаго и стройнаго развитія умственныхъ силъ дитяти и, наконецъ, распространить знаніе на всѣ классы народа. Если Песталоцци не могъ дать своему многосложному плану такого практическаго примѣненія, по крайней мѣрѣ, онъ, съ помощью Стапфера и Лагарпа, достигъ того, что въ Швейцаріи теперь нѣтъ безграмотнаго юноши.

Наконецъ, 11 іюня, вечеромъ, я прибылъ въ Лозанну. Въ городѣ была уже ночь, а на темени Савойскихъ Альпъ только догорала вечерняя заря, трепетавшая въ водахъ Лемана. Этотъ вечеръ былъ добрымъ привѣтствіемъ для меня, вѣтвью голубя, принесенною въ мой странническій ковчегъ...

II.

Леманъ и его берега.

„Прозрачный Леманъ! спокойное зеркало твоихъ водъ, столь противоположное тому бурному міру, въ которомъ я жилъ, заставило меня покинуть земныя волны ради твоей чистѣйшей влаги. Парусъ лодки, на которой я скользилъ по твоей зеркальной поверхности, казался таинственнымъ крыломъ, уносящимъ меня отъ мятежной жизни. Я любилъ нѣкогда вой свирѣпаго океана; но твой нѣжный голосъ умилялъ меня, какъ голосъ сестры, которая роптала бы на меня за излишнюю любовь мою къ опаснымъ удовольствіямъ".

„Горы, волны и небеса, — составляютъ ли они часть моей души, какъ я составляю частицу ихъ самихъ? Любовь, которой они вдохновляютъ меня, не чиста ли въ моемъ сердцѣ? Какой предметъ я сравню съ этими высокими созданіями? И не лучше ли принять на свою грудь удары всѣхъ золъ, чѣмъ отказаться отъ этихъ чувствъ въ пользу холодной апатіи людей, которые пресмыкаются на землѣ и въ которыхъ мысль никогда не горѣла благороднымъ огнемъ". (Child Harold ch. III).

Такъ пѣлъ Байронъ въ Чайльдъ-Гарольдѣ, воспоминая подъ небомъ Италіи о берегахъ Лемана, и пѣснь его — глубокая, какъ воды Женевскаго озера, мрачная, какъ, подземелье шильонскаго замка—и безнадежная, какъ ледяныя вершины Альпъ, осталась лучшимъ памятникомъ гостепріимной страны. Третье поколѣніе приходитъ сюда взглянуть на темные своды тюрьмы, гдѣ страданія Бонивара вдохновили поэта, гдѣ природа облегчила тоску геніальнаго изгнанника и дала его фантазіи новый полетъ.

Но прежде, чѣмъ Байронъ посѣтилъ воды Лемана, другой, подобный ему мученикъ, гордый и негодующій, искалъ здѣсь уединенія и защиты отъ людей, которыхъ онъ слишкомъ пламенно любилъ. Здѣсь все напоминаетъ присутствіе Ж. Ж. Руссо: окрестности Мельери и Кларанса были колыбелью его поэтическихъ сновидѣній, предметомъ торжественнаго гимна природѣ. На одномъ концѣ озера стоитъ его бронзовый памятникъ, угрюмый, какъ послѣднія страницы „Новой Элоизы", на другомъ повсюду встрѣчается образъ „Юліи и Сэнъ-Прё".

Съ именемъ Руссо дружно соединяется судьба Лемана. Даже берега его, всегда прекрасные, оставались неизвѣстными міру. Завоеватели подъ разными знаменами—съ римскимъ орломъ и вензелемъ Атиллы, приходили сюда рѣшать участь того или другого народа; феодальные бароны строили неприступные замки, крестоносцы и пилигримы шли къ стѣнамъ Іерусалима, но никто не обратилъ вниманія на красоту природы, никто

не сказалъ о ней ни одного слова. Дету, столько же знаменитый, сколь несчастный историкъ XVI вѣка, путешествуя по Швейцаріи, восхищается комментаріями Прокла въ базельскомъ архивѣ, но ничего не говоритъ о физическомъ состояніи страны. Черезъ сто лѣтъ, бенедиктинскій монахъ Мабильонъ изучаетъ здѣсь монастырскія древности, читаетъ Алкуина и остается совершенно равнодушнымъ къ естественнымъ явленіямъ. Кальвинъ, Фарель, Т. Бэзъ и ихъ суровые ученики оставили по себѣ огромныя библіотеки сочиненій, и ни однимъ звукомъ не удостоили великолѣпной, окружавшей ихъ природы. Положимъ, что это были схоластики, въ душѣ которыхъ мертвая буква Аристотеля задушила всякій свободный порывъ; изъ-за груды пыльныхъ фоліантовъ, сквозь тусклый свѣтъ кабинетной лампы, они не видѣли ничего, достойнаго удивленія, въ своей труженической кельи; но то же холодное отчужденіе отъ природы мы находимъ у средневѣковыхъ поэтовъ и романистовъ: съ дѣтской словоохотливостью они разсказывали о придворной сплетнѣ, о подвигѣ странствующаго Паладина, о рыцарскихъ праздникахъ и турнирахъ, и когда физическій міръ будилъ ихъ воображеніе, первые рабски повторяли Виргилія, вторые видоизмѣняли Дафниса и Хлою. За черту этого заколдованнаго круга выходили рѣдкіе, болѣе оригинальные умы, но они терялись въ общей массѣ, какъ капля въ морѣ. Люди среднихъ вѣковъ были слишкомъ развращены для того, чтобы любить природу...

Восемьнадцатый вѣкъ поднялъ человѣка для новой дѣятельности; между прочимъ, онъ указалъ ему на природу, какъ на неизчерпаемый источникъ мысли и вдохновенія, вооруживъ ученаго анализомъ въ изслѣдованіи ея истинъ, поэта — энтузіазмомъ въ поклоненіи ея красотѣ. Общество отрицательнымъ путемъ содѣйствовало успѣху этого энтузіазма. Сдавленное ложно-искусственными формами, вялое и дряхлое во всѣхъ нравственныхъ побужденіяхъ, оно искало наслажденій въ самозабвеніи въ сценическомъ развратѣ, какъ гладіаторъ наканунѣ смерти. Съ одной стороны надменное и роскошное, съ другой — нищее и голодное, оно презирало или ненавидѣло. Между этими крайними полюсами лежало безплодное поле мелкихъ страстей, подавленныхъ безсильнымъ ропотомъ. Самыя благородныя чувства потеряли свое значеніе, самыя простыя понятія обратились въ софизмы, лучшія вѣрованія изсякли. Человѣку было душно среди этой больничной атмосферы, но онъ не видѣлъ передъ собой исхода, и слѣпо шелъ, куда вела его неотразимая сила обстоятельствъ... Люди, одаренные зоркимъ взглядомъ, горячимъ сердцемъ, отвернулись отъ этого общества, не желая участвовать ни въ его лоснномъ блескѣ, ни въ его позорѣ. „Я бѣгу отъ людей, писалъ Ж. Ж. Руссо Малезербу,—потому что люблю ихъ, я менѣе страдаю за ихъ несчастія когда не вижу ихъ“. (Lett. à M. de Malesh). Въ этомъ одномъ выраженіи заключается весь смыслъ философіи женевскаго мыслителя. И когда онъ явился въ одной рукѣ съ „Эмилемъ“, въ другой съ „Ново

Элоизой", современники привѣтствовали его единодушнымъ восторгомъ. Первая книга заставила матерей допустить къ своимъ сосцамъ дѣтей, брошенныхъ подъ надзоръ наемныхъ кормилицъ; она воспитала цѣлое поколѣніе героевъ; вторая разбудила чувство любви къ природѣ, освятила имя женщины, которая, какъ мать, даетъ міру жизнь, какъ яркое звѣно, соединяющее семейство съ обществомъ, разливаетъ незамѣтное, но мощное вліяніе вокругъ себя. И если нѣтъ ничего случайнаго въ судьбахъ человѣчества, именно съ этой поры сердце Франціи сильно забилось. Чувствительность, вызванная сантиментальной школой Руссо, сдѣлалась символомъ таланта, послѣднимъ словомъ королевскаго указа, необходимымъ условіемъ поэзіи, юношеской мечтой, болѣзненнымъ припадкомъ эпохи. И чѣмъ меньше общественная жизнь представляла человѣку отрадныхъ сторонъ, тѣмъ охотнѣе онъ вѣрилъ своему идеалу, тѣмъ искреннѣе желалъ осуществить его... Замѣчательно, что во всѣ литературные періоды, любовь къ идилліи совпадаетъ съ упадкомъ общественныхъ силъ. Аѳины читали Ѳеокрита въ послѣдніе дни своего политическаго существованія. Едва оковы коснулись римской тоги, Виргилій заговорилъ о прелести сельскихъ полей. Та же потребность вызвала краснорѣчивый протестъ Руссо, образовала изъ него неутомимаго противника лжи и лицемѣрія, безусловнаго поклонника природы, „которая, по его мнѣнію, не выпускаетъ изъ своихъ нѣдръ ничего развратнаго и злого". Когда „Новая Элоиза" обошла всѣ европейскіе народы, всѣ возрасты и состоянія, берега Лемана, какъ главная сцена романтическаго разсказа, стали привлекать къ себѣ толпы любопытныхъ путешественниковъ, сдѣлались мѣстомъ свиданія лучшихъ дарованій, центромъ литературнаго движенія. Здѣсь Гиббонъ, задумавшій свою исторію на развалинахъ римскаго колизея, окончилъ ее въ лозанскомъ саду, гдѣ теперь возвышается гостинница съ его именемъ. Здѣсь провелъ большую часть своей дѣятельной жизни Вольтеръ, обязанный, какъ онъ выражается, счастливѣйшими днями Лозаннѣ; въ виду Монъ-Блана, среди фернейскихъ полей, на границѣ двухъ національностей, онъ поставилъ свой восхитительный замокъ, окружилъ себя многочисленнымъ кругомъ ученыхъ, свѣтскихъ людей, сановниковъ, надъ всѣми смѣялся и всѣхъ очаровывалъ. Здѣсь трудился славный натуралистъ Соссюръ, первый добросовѣстный изслѣдователь альпійскихъ горъ; онъ прошелъ ихъ четырнадцать разъ пѣшкомъ, съ молотомъ въ рукѣ, не упуская изъ виду ни одного замѣчательнаго явленія на пути своихъ изысканій. Леманъ вдохновилъ г-жу Сталь „Коринной", а г-жу Крюднеръ „Валеріей": тщеславная ливонянка, дочь откупщика, жена посланника, ревностная иллюминатка, обманутая блестящими призраками жизни, приходила сюда съ сѣвера „учиться мыслить и любить". Наконецъ, на берегахъ женевскаго озера, маренгскій герой, возвращаясь изъ Италіи, принялъ первый побѣдный вѣнокъ изъ рукъ лозанскихъ красавицъ. Наполеонъ никогда не забывалъ этой блистательной встрѣчи; онъ не разъ

подавалъ руку помощи водуазской странѣ и такъ великодушно отвел отъ нея роковой ударъ бернскаго мщенія.

Такимъ образомъ, Леманъ собираетъ вокругъ себя все, что было ц ровитаго и славнаго въ прошломъ вѣкѣ. Счастливая природа его, с единенная съ кроткими соціальными учрежденіями, покровительствова генію, одушевляла его. Но не въ историческихъ воспоминаніяхъ заключается истинная слава Лемана: его воды, Альпы, его ненаглядные берег даютъ ему неотъемлемое право на всемірную извѣстность.

Чтобы окинуть однимъ взглядомъ обширную панораму Лемана, н добно подняться на вершину горы Жаманъ (Dent de Jaman), лежащ на сѣверо-востокѣ отъ Вевэ и господствующей надъ самою граціозн частію праваго берега. Съ трехугольной площади этого гиганта откр вается грандіозный видъ: на восточной сторонѣ, между параллельны цѣпями горъ, лежитъ глубокая долина, съ которой рѣка Рона падает въ Леманъ. Принимая въ себя по дорогѣ своего бурнаго теченія, восем десятъ источниковъ, Рона шумно подходитъ къ озеру; желтыя волны ее какъ бы не желая мутить голубую лазурь Лемана, отступаютъ назад прежде чѣмъ соединяются съ нимъ. При юго-западномъ вѣтрѣ межд рѣкой и озеромъ завязывается упорная борьба: воды первой, встрѣчает съ напоромъ противоположнаго потока, останавливаются на мгновеніе, потомъ поднимаются, снова рвутся впередъ и снова падаютъ; наконец побѣжденный Леманъ уступаетъ, и Рона, разсѣкая его спокойную зыбь сливается съ нимъ на пространствѣ шестьнадцати миль, до самой Женевы, гдѣ покидая его и поворачивая на югъ, съ новой быстротой несется къ Средиземному морю. Начиная отъ долины, по всему протяженію южнаго берега, идетъ безпрерывная линія савойскихъ альпъ съ их пирамидальными разноцвѣтными верхами; у подножія ихъ едва замѣтными точками мерещутся города и деревни, а въ углубленіи, на отдаленномъ горизонтѣ, ярко блеститъ снѣжная корона Монъ-Блана.

Грустно смотрѣть на бѣднаго жителя Савои, и тѣмъ грустнѣе, что природа, окружающая его, скрываетъ въ себѣ неистощимыя богатства а обладатель ея убитъ нищетой и раболѣпствомъ. На блѣдномъ, полу искаженномъ лицѣ его выражается вся тягость глухихъ внутренних страданій, затаенныхъ въ душѣ несчастнаго народа. Только полтора мили отдѣляютъ Савою отъ Швейцаріи, но какая бездна различія в нравственномъ состояніи человѣка! Здѣсь все кипитъ дѣятельностію, тру домъ и довольствомъ; а тамъ все носитъ на себѣ печать апатіи, не подвижности и разрушенія: швейцарецъ весело смотритъ въ глаза ин странцу, вѣжливо, но безъ униженія, привѣтствуетъ его на своей землѣ савояръ, согнувшись въ три погибели, подобострастно подходитъ къ нем единственно затѣмъ, чтобы протянуть руку для принятія милостыни Одинъ, что бы онъ ни дѣлалъ, сообщаетъ своей работѣ характеръ смысл и твердости: онъ, видимо, бережетъ свое неотъемлемое добро для по

гомка, другой лѣниво и кое-какъ ставитъ свою хижину и небрежно возделываетъ ниву, какъ будто думая про себя: „Зачѣмъ напрасно тратить усилія; не буря, такъ полицейскій чиновникъ или іезуитъ расхититъ мою собственность". Первый любитъ свое отечество, не на словахъ и на бумагѣ, а въ глубинѣ души; онъ гордится имъ, потому что съ нимъ соединяется его счастіе; другой охотно бѣжитъ отъ своего родного крова, вѣшая за плечо назойливую шарманку и разнося по міру пѣснь домашняго унынія и горя... Но какимъ же образомъ эти близкіе сосѣди такъ далеко разошлись въ своемъ общественномъ положеніи? Исторія отвѣчаетъ на этотъ вопросъ очень просто: на сторонѣ Швейцаріи всегда была живучая сила прогресса; на сторонѣ Савои тупое отрицаніе всякаго движенія впередъ...

Обратимся къ Леману. Перенося взоръ съ Жаманскаго конуса на западъ, наблюдатель теряется въ разнообразіи новыхъ предметовъ, менѣе дикихъ и поразительныхъ, чѣмъ савойскія Альпы, но болѣе оживленныхъ: передъ нимъ раскидываются волнообразные холмы Юры, свѣтлыя поля Фрибурга, прибрежные виноградники Монтрё, старинные замки, и на концѣ этой безконечной перспективы ясно обозначается, подъ лучами утренняго солнца, серебряная поверхность Невшательскаго и Моратскаго озеръ.

Но истинная прелесть этой картины принадлежитъ самому Леману. Широко разливаясь между высокими берегами, онъ омываетъ на сѣверной сторонѣ, отъ Женевы до Вильнева, девять лучшихъ городовъ водуазскаго кантона. На отлогихъ и плодоносныхъ склонахъ этого берега, обращеннаго къ солнцу, сосредоточивается самое дѣятельное народонаселеніе, самая богатая флора Швейцаріи. По озеру ежеминутно снуютъ пароходы, нагруженныя барки и небольшія лодки, съ тонкими бѣлыми парусами, похожими на птичьи крылья. Пристани безсмѣнно оживляются множествомъ пассажировъ; города соединяются между собой просторной и опрятной шоссейной дорогой или нитью желѣзныхъ рельсовъ. Внизу прибрежья, до самыхъ водъ, спускаются виноградники, надъ которыми каждый годъ работаетъ двадцать тысячъ рукъ; выше поднимаются красныя сосны, съ ихъ стройными вершинами, нерѣдко достигающими ста пятидесяти футовъ вышины; на нихъ падаютъ первые удары грозы и вѣтра; въ теплыхъ равнинахъ, подъ защитою горъ и окрестныхъ лѣсовъ, распускаются кедры и лавры; вокругъ деревень и загородныхъ дачъ ростутъ итальянскіе тополи и тѣнистые каштаны, и еще выше, на самомъ краю горъ, темнѣютъ дубовыя и буковыя рощи. И среди этой разнообразной сцены величаво лежитъ изумрудное зеркало Лемана. Съ восходомъ солнца, воды его принимаютъ чистый, лазуревый блескъ; краски и тѣни ихъ постоянно мѣняются подъ вліяніемъ безчисленныхъ атмосферическихъ явленій; но наступаетъ ночь, и Леманъ покрывается торжественной тѣнью; вокругъ него все безмолвно и темно;

одни звѣзды голубого южнаго неба сообщаютъ ему свой таинственный свѣтъ.

Первымъ предметомъ моего наблюденія на берегахъ Женевск озера былъ Шильонскій замокъ, прославленный Байрономъ и доведенн до свѣдѣнія русскихъ читателей прекраснымъ переводомъ Жуковск. Мѣстоположеніе этого замка достойно его знаменитости. Недалеко от него влѣво находится долина Роны; вправо — цвѣтущія поля Монтре и Кларанса; позади висятъ надъ нимъ перпендикулярныя массы гор составляющихъ послѣднюю отрасль Дьяблеретовъ [1]), а у подножія его простирается Леманъ. Природа, окружающая Шильонъ, совершенно гар монируетъ съ его мрачной и печальной судьбой: кругомъ лежитъ дик почва, покрытая густымъ кустарникомъ; въ трехъ стахъ шагахъ шум ручей, вытекающій изъ горной разсѣлины, и повсюду громоздятся б лыя скалы.

За десять вѣковъ до нашего времени, на томъ мѣстѣ, гдѣ стои шильонскій замокъ, возвышалась громадная башня, со всѣхъ сторо омываемая водами. Недоступныя стѣны ея служили политической тюр мой. Въ 835 г. приведенъ былъ сюда плѣнникомъ славный вождь Кар Великаго, дядя императора Людовика, графъ Вала. Вала принадлежа къ числу тѣхъ государственныхъ характеровъ, которые не могутъ ра нодушно смотрѣть на бѣдствія своего отечества. Когда, по смер Карла, слабый преемникъ его, опутанный интригами льстецовъ и ни тожныхъ поклонниковъ верховной воли, разогналъ отъ себя умныхъ вѣтниковъ и полководцевъ, воспитанныхъ въ мудрой школѣ отца, Ва добровольно удалился отъ двора и похоронилъ себя въ корбійскомъ б батствѣ, гдѣ онъ былъ избранъ игуменомъ. Но монастырскія стѣны укрыли отшельника отъ ударовъ судьбы. Жена Людовика, Юдиѳь, оз зорившая королевское ложе развратомъ, и раболѣпный министръ Бернаръ, продиктовали императору повелѣніе, въ силу котораго Ва былъ брошенъ въ шильонскую тюрьму. Грустно тянулись темничные д узника. „Никто не навѣстилъ его здѣсь, говоритъ хроника, — тол однажды постучался у дверей Валы старый другъ его, Родберъ; онъ принесъ ему не утѣшеніе, а новую скорбь. Онъ уговаривалъ счастнаго графа отказаться отъ прежнихъ убѣжденій, склониться редъ властителемъ; „тебѣ стоитъ, прибавилъ онъ, — одного слова, что получить прощеніе“... „И ты, мой другъ, возразилъ благородн

[1]) Въ Швейцаріи—много горъ, называемыхъ этимъ именемъ. Дьяблереты, о котор мы говоримъ, составляютъ отрасль Сэнъ-Готарской цѣпи. Въ 1714 году, въ два ч по полудни, коническія ихъ вершины обрушились и завалили сорокъ пять хижинъ, жавшихъ у подножія ихъ. Доселѣ пастухи постоянно слышатъ, днемъ и ночью, ш камней, отрывающихся отъ общей массы Дьяблеретовъ. Вѣроятно вслѣдствіе эт образовалось народное повѣрье, что эти горы служатъ пріютомъ адскаго духа; отс происходитъ ихъ названіе.

Вала, — ободряешь меня произнести это слово, ты, который читалъ въ глубинѣ моей совѣсти. Слѣдовательно, ты сомнѣваешься въ моей правотѣ. Я думалъ, что твой приходъ подкрѣпитъ меня въ борьбѣ за справедливость, но никакъ не могъ вообразить, чтобы ты посовѣтовалъ пасть, смѣшаться съ порокомъ и признаться въ томъ, что осуждаетъ честь... Въ продолженіи нашего разговора, продолжаетъ біографъ, воды Лемана бились о стѣны темницы. Вала внимательно смотрѣлъ на потокъ волнъ. Приливъ и отливъ ихъ напоминалъ ему о зыбкомъ ходѣ человѣческихъ дѣлъ, неподвижная скала, въ которую врѣзывался Шильонъ, представляла безопасность человѣка, поставленнаго Провидѣніемъ внѣ житейскихъ бурь. Полный раздумья, со спокойнымъ взглядомъ и яснымъ челомъ, обратившись къ волновавшемуся озеру, онъ сказалъ ему: ты подойдешь сюда и разобьешь свои гордые валы о твердыню стѣнъ моихъ". (Gregorius Turunensis, стр. 31—525). Вала сдержалъ свое аллегорическое слово: ни угроза, ни лукавыя обольщенія не сломили его. Впослѣдствіи времени онъ былъ выведенъ изъ Шильона и заключенъ простымъ монахомъ въ корбійскій монастырь; но имя его всегда было памятно друзьямъ народнаго счастія. Еще разъ, на закатѣ дней своихъ, вызванный изъ кельи на сцену государственной дѣятельности, какъ посредникъ между враждовавшими королями, онъ спѣшилъ явиться ко двору Лотаря; но едва переступилъ за Альпы, эпидемическая болѣзнь прекратила жизнь его, на границѣ Италіи, наканунѣ исполненія задушевныхъ его надеждъ.

Семь вѣковъ прошло послѣ заключенія корбійскаго аббата и шильонскій замокъ, переходившій изъ рукъ въ руки различныхъ завоевателей, принялъ за свои желѣзныя рѣшетки другого не менѣе знаменитаго, но болѣе полезнаго человѣчеству узника. Это былъ Франсуа Бониваръ, урожденный Савоецъ, питомецъ туринскаго университета, женевскій пріоръ и „гражданинъ всего міра", какъ онъ называлъ себя въ укоръ неблагодарной отчизнѣ. Когда, въ началѣ XVI вѣка, на голосъ сына саксонскаго рудокопа, Лютера, раздались отвсюду отклики угнетенной совѣсти, когда религіозная реформа проникла въ Швейцарію, Бониваръ сталъ подъ знаменемъ новаго ученія. Съ этой минуты для него не было болѣе покоя. Мысль освободить Женеву отъ католическихъ цѣпей, соединить ее съ протестантской Европой, огнемъ охватило нравственное его существо. Онъ видѣлъ впереди себя много опасностей, трудовъ и лишеній, но жребій былъ брошенъ, и Бониваръ смѣло пошелъ на встрѣчу своему несчастію и славѣ. Въ цвѣтѣ лѣтъ, одаренный геніальными способностями, онъ жаждалъ дѣятельности. Эпоха возрожденія умственныхъ силъ, броженія новыхъ религіозныхъ и политическихъ идей, открывала ему широкій путь, и онъ ринулся въ него съ увлеченіемъ пылкаго юноши. Но едва пріоръ Сэнъ-Виктора перешелъ на сторону „истинныхъ дѣтей Женевы", тьма враговъ окружила его. Суевѣрные братья возненавидѣли въ

немъ измѣнника своему старому ученію; савойскій герцогъ, Карлъ заподозрилъ въ немъ личнаго недруга, противника его честолюб замысловъ. Онъ искалъ его головы, какъ залога своего невозмут благоденствія: монахъ коварно выдалъ Бонивара озлобленному ге который держалъ его три года въ плѣну. Благодаря ходатайству с швейцарскихъ друзей, онъ былъ освобожденъ, но не надолго. П тяжкаго урока, Бониваръ не думалъ отступать отъ своихъ первона ныхъ стремленій; принужденный бороться съ бѣдностью, враждой варствомъ, онъ тѣмъ крѣпче держался своихъ намѣреній, чѣмъ бо встрѣчалъ противорѣчій. Гоненія нравственныхъ началъ всегда и разжигали самыя невинныя страсти въ необузданный фанатизм отнюдь не успокоивали ихъ. Чѣмъ успѣшнѣе совершалась реформ швейцарскихъ кантонахъ, чѣмъ больше содѣйствовалъ ей Бониваръ, страшнѣе гроза собиралась надъ его головой. Герцогъ выжидалъ п случая схватить „еретика" и лишить его свободы. Этотъ случай представился. Бониваръ, провѣдавъ о болѣзни своей матери, живше Сейсселѣ, во владѣніяхъ Карла III, рѣшился посѣтить ее. Съ цѣлью онъ выхлопоталъ себѣ открытый листъ для свободнаго пр въ Савою; но едва вступилъ въ предѣлы ея, какъ по тайному прика герцога былъ схваченъ, скованъ и заточенъ въ шильонскій замокъ теченіи первыхъ двухъ лѣтъ заключеніе Бонивара было довольно снымъ: онъ пользовался снисходительностью и даже уваженіемъ т наго смотрителя, онъ могъ читать книги и дышать свѣжимъ возду Но Карлъ III отказалъ ему и въ этой милости; по его слову, онъ отведенъ въ сырое подземелье и прикованъ къ тому столбу, на кот мы читаемъ теперь, между другими извѣстными именами, имена поэтовъ нашего вѣка: Байрона, В. Гюго и Ламартина. „Тогда, р зываетъ намъ самъ Бониваръ въ своихъ мемуарахъ, капитанъ пос меня въ подвалъ ниже озера, гдѣ я пробылъ четыре года... У было такъ много досуга прогуливаться, что я отпечатлѣлъ на слѣдъ, какъ будто выбитый молотомъ". Дѣйствительно, доселѣ уц кольцо, за которое былъ прикованъ мученикъ мысли, и около ко остались слѣды, вдавленные тяжелою цѣпью, висѣвшей на ногах нивара.

Вотъ та личность, которая такъ рѣзко поразила воображеніе Ба Поэтъ показалъ историческій фактъ, превративъ его въ произво вымыселъ своей собственной фантазіи; но не надобно забывать, чт составилъ планъ и написалъ большую часть поэмы подъ вліяніемъ ваго вдохновенія, выслушавъ легенду узника изъ устъ пьянаго ка (Letters to Murray. 1816). Притомъ авторъ „Манфреда" предст намъ въ Бониварѣ только одну черту его замѣчательной жизни — даніе его въ тюрьмѣ. Между тѣмъ, Бониваръ соединялъ въ себѣ р стороннія качества; онъ былъ пріоръ и солдатъ, поэтъ и мыслите

его стихахъ, полныхъ энергіи и сатиры, просвѣчиваетъ мощный талантъ; въ его политическихъ трактатахъ видна обширная начитанность: закрывая Библію, онъ переходилъ къ Виргилію; отъ Виргилія къ Платону, и знакомый съ древними языками, говорившій на различныхъ идіомахъ, онъ обнималъ орлинымъ взглядомъ умственное движеніе современной эпохи.

Въ 1536 году, бернское войско, осадивъ шильонскій замокъ, вырвало его изъ рукъ савойскаго герцога и первымъ долгомъ поставило освободить Бонивара. Съ другой стороны, отъ береговъ Женевы, на помощь этому войску плыла флотилія, и народъ, провожая ее, единодушно кричалъ: „идите и спасите Бонивара". „Говорятъ, что впродолженіе нѣкотораго времени", пишетъ швейцарскій историкъ, „освобожденный плѣнникъ не могъ понять, что происходило вокругъ него; онъ равнодушно принялъ свою свободу; переступая за порогъ тюрьмы, онъ обратился къ ней со слезами на глазахъ и тяжело вздохнулъ. Казалось, что онъ уходилъ отъ родного крова. Привычка сдружила его съ тѣнью, и лучи солнца оскорбляли его зрѣніе, отвыкшее отъ дневнаго свѣта" (Chillon, par L. Vielliemin, стр. 178). Эта поэтическая молва, основанная на преданіи, художественно передана Байрономъ.

Послѣ Бонивара было много другихъ узниковъ, стонавшихъ въ холодныхъ склепахъ Шильона. Первыя искры французской революціи, какъ извѣстно, упали на берега Лемана, и шильонскій замокъ сдѣлался швейцарской Бастиліей... Въ эту пору „медвѣжья лапа" Берна держала судьбу водуазскаго кантона; она давила всякій благородный порывъ истинныхъ патріотовъ. Темница была загромождена мнимыми преступниками, въ числѣ которыхъ были: Россетъ, Миллеръ де-ла-Мотъ и Малезербъ.

Кромѣ нравственнаго интереса, шильонскій замокъ имѣетъ право на наше вниманіе, какъ монументальное зданіе среднихъ вѣковъ, какъ типъ феодальной архитектуры. Цвѣтущая эпоха его, въ этомъ отношеніи, совпадаетъ съ XIII столѣтіемъ. Савойскій Петръ III, „Маленькій Карлъ", какъ его зовутъ историки, избралъ Шильонъ мѣстомъ своей разиденціи, главнымъ пунктомъ, откуда онъ направлялъ свои удачные набѣги во всѣ стороны окрестныхъ владѣній. Здѣсь онъ искалъ отдохновенія отъ своихъ трудовъ, здѣсь онъ пировалъ въ кругу покорныхъ ему вассаловъ, отсюда онъ господствовалъ надъ обоими берегами Лемана. Любя Шильонъ и его мѣстоположеніе, герцогъ укрѣпилъ его, обстроилъ новыми башнями, украсилъ внутреннія стѣны живописью и скульптурой. Къ сожалѣнію, все это, большею частью, погибло подъ рукою времени и военныхъ грабежей; за всѣмъ тѣмъ замокъ сохранилъ доселѣ всѣ главныя черты своей архитектурной древности.

Онъ покрываетъ своимъ основаніемъ колоссальную скалу, подъ кото-

рой глубина озера равняется восьмистамъ футамъ. Отъ берега отдѣл его ровъ, черезъ который перебрасывался подъемный мостъ. Внутри и сивныхъ зубчатыхъ стѣнъ, обставленныхъ по угламъ бойницами, на дятся три двора, отдѣляемые другъ отъ друга широкими воротами. В центрѣ зданій, расположенныхъ полукругомъ, помѣщается квадрат высокая башня, на которой сохранился колоколъ, возвѣщавшій трев Съ этой башни можно видѣть почти всю поверхность Лемана.

Корпусъ жилыхъ покоевъ состоитъ изъ двухъ этажей и подземел Лучшая комната въ верхнемъ этажѣ — кавалерская зала, раздѣлен посрединѣ тремя колоннами. На лѣвой сторонѣ ея вы видите огром каминъ, напоминающій средневѣковыя повѣсти В. Скотта: въ длин зимніе вечера, около грѣющаго огня, здѣсь нѣкогда собирались рыц слушать чудесные разсказы трубадуровъ. Между залой и герцог спальней находится просторная передняя, въ которой зѣвала празд толпа слугъ. Въ сторонѣ, противъ савойскихъ альпъ, надъ водами оз одиноко пріютились комната герцогини; изъ нея ведетъ потаенная дв въ кабинетъ герцога, обращенный окнами во внутренность двора. стѣнахъ кабинета видны остатки старой живописи, вѣроятно, предст лявшей охоту: очерки медвѣдей, ланей и собакъ еще не совсѣмъ исче подъ новѣйшей замазкой, на черномъ фонѣ потолка художникъ раз салъ полевыя розы, и на красныхъ матицахъ — савойскіе кресты. В сколько ступеней ниже приводятъ въ небольшую капеллу, съ дуг разными сводами, обставленную дубовой рѣзной мебелью.

Нижній этажъ заключаетъ въ себѣ кухню, длинную столовую, широкимъ каминомъ и четырьмя скульптурными колоннами. Дальше казываютъ „залу суда", съ орудіемъ пытки, на которомъ истязали об неннаго. На концѣ, между арсеналомъ и запасными магазинами, устро знаменитая *„ублієтъ"* — пропасть въ девяносто футовъ глубины. Н ней опускаются пять узкихъ ступеней; съ послѣдней палачъ брос преступника въ бездну, гдѣ онъ разбивался объ острые камни или у ралъ на острыхъ ножахъ.

Основаніемъ феодальной крѣпости служитъ подземелье, выдолблен въ гранитной скалѣ. Оно раздѣляется на нѣсколько помѣщеній раз величины, изъ которыхъ каждое отдѣляется отъ смежной комнаты т нымъ углубленіемъ. Въ послѣднемъ, примыкаетъ къ стѣнѣ скала, — менная постель, на которой осужденный проводилъ послѣднюю н безъ сомнѣнія, страшную ночь, полную бреда и ужасныхъ видѣн здѣсь же замѣчается окно, закладенное кирпичами, въ которое, бу бы, выбрасывали мертвое тѣло казненнаго. Наконецъ, вы входите главное подземелье. Прежде всего вамъ представляются семь масс ныхъ колоннъ, византійскаго стиля, на нихъ лежатъ тяжелые полукр лые своды. При входѣ брежжетъ тусклый свѣтъ, проходящій скв

узкія отверзтія, подъ которыми слышится плескъ волны, замирающей у подножія замка. Еще нѣсколько шаговъ впередъ—и вы не видите низги: могильная темь царствуетъ въ этомъ обширномъ гробу; ночь и день встрѣчаются здѣсь лицомъ къ лицу. Борьба свѣта съ тѣнью производитъ тысячи неуловимо-быстрыхъ формъ и странныхъ оптическихъ явленій. Утромъ, солнечный лучъ, единственный другъ бывшихъ узниковъ и свидѣтель ихъ страданій, отражаясь на стеклѣ озера, бросаетъ оранжевый свѣтъ на противоположную стѣну. Въ этомъ-то печальномъ склепѣ Бониваръ четыре года ходилъ на цѣпи, около столба теперь изрѣзаннаго безчисленнымъ множествомъ надписей, въ числѣ которыхъ я не прочиталъ ни одного русскаго имени...

Вообще, видъ Шильона, если смотрѣть на него со стороны озера, непріятно дѣйствуетъ на нравственное чувство. Впрочемъ, это неизбѣжное впечатлѣніе всѣхъ памятниковъ, обязанныхъ своей славой кровавымъ воспоминаніямъ... Вечеромъ сосѣдняя гора одѣваетъ замокъ мракомъ; въ эту минуту онъ представляется развалиной, огромной могилой, пережившей тысячу лѣтъ. Вороха костей человѣческихъ давно смѣшались съ прахомъ; не слышно болѣе ни стоновъ жертвъ, ни безумныхъ пировъ бароновъ, ни крика палачей; все измѣнилось; одна природа цвѣтетъ кругомъ въ полномъ блескѣ своей юности...

Былъ полдень осьмого іюня. Осмотрѣвъ шильонскій замокъ, я пошелъ пѣшкомъ по направленію къ Монтре. Дорога, лежавшая передо мной, развѣтвлялась на двѣ отрасли; одна поднималась въ горы, другая извивалась по берегу, между виноградниками. Я избралъ первую, желая укрыться подъ тѣнью ивы и вяза отъ сильнаго жара. Въ нижнихъ слояхъ воздуха было душно; но чѣмъ я выше восходилъ, тѣмъ атмосфера становилась чище; съ ближнихъ холмовъ иногда навѣщала меня прохладная струя вѣтра, растворенная пахучимъ запахомъ цвѣтовъ; повсюду звенѣли ключи, то перебѣгая дорогу, то исчезая подъ густой травой, то скатываясь съ вершины скалъ, они разсыпались мелкой серебряной пылью. Въ деревняхъ все было тихо и мертво; ставни на глухо закрывали окна; на улицахъ не видно было никакого движенія; люди прятались по домамъ отъ полуденнаго солнца. Вся жизнь со всѣмъ шумомъ и разнообразіемъ ея, перешла на поля: здѣсь все жужжало, пѣло, шевелилось и зеленѣло; несмѣтные рои насѣкомыхъ перелетали взадъ и впередъ; птицы весело щебетали на вѣтвяхъ, соединяя свой концертъ съ пискомъ и трескомъ насѣкомыхъ. Я отдыхалъ подъ тѣнью клена. Вокругъ меня разливалось море свѣта и жизни; озеро было покрыто фіолетовыми оттѣнками; синева водъ его незамѣтно сливалась съ краями небеснаго полога. Внизу виднѣлась долина, осыпанная бѣлыми нарцисами, какъ снѣжнымъ пухомъ,—кладбище Кларанса, оттѣненное кипарисами, съ могилой защитника свободы совѣсти, Вине; на

нижнихъ уступахъ берега цвѣли мирты и гранаты, окруженны
градомъ. Это — окрестности Монтре, самаго лучшаго уголка швей
ской земли.

Монтре славится своими виноградниками. Теплая температура
тремя градусами выше другихъ прибрежныхъ городовъ Лемана, — п
томъ даетъ его почвѣ болѣе растительной энергіи, зимой — сообщ
климату особенную мягкость. Эта благодать природы отпечатлѣв
на человѣкѣ. Жители Монтре отличаются высокимъ ростомъ и
ственными чертами лица, женщины — свѣжестью, красотой и
писнымъ костюмомъ; соломенная шляпа, легко наклоненная на го
и обшитая кружевами, черный корсетъ, ловко охватывающій талію,
саются въ глаза иностранцевъ своей оригинальностью. Но ничем
такъ не завидовалъ въ Монтре и вообще на швейцарскомъ берегу
невскаго озера, какъ удивительному здоровью дѣтей. Дѣти служ
лучшей нормой общественнаго состоянія, на нихъ ясно отраж
степень народной нравственности и пороковъ, нищеты и богатства,
и глупости; въ ихъ нѣжныхъ чертахъ, по которымъ еще не ус
пройти житейское зло, вѣрно передаются племенные недостатки
достоинства. Сравните англійское дитя съ ребенкомъ алеута и вы
дете имѣть мѣру между дикимъ бытомъ человѣка и условіями обр
ванной жизни. Еще ближе — взгляните на дѣтей европейскихъ выс
сословій и на десятилѣтняго работника фабрики, рожденнаго въ г
ной лачугѣ и сосавшаго исхудалую грудь матери, и вы почувств
какъ далеко расходятся люди подъ вліяніемъ обстоятельствъ, ими
самими созданныхъ. Проѣзжая Савоей по направленію къ Шамуни
встрѣтилъ на пути необыкновенное множество уродовъ: бѣлые стек
ные глаза, юношеское лицо, покрытое морщинами, вмѣсто волос
головѣ какія-то мочала, узкій, насупившійся лобъ, кривыя ноги; от
тительные горбы и зобы оскорбляютъ человѣческую природу. Это —
тины. Изъ нихъ образовалась особенная порода, менѣе похожая на
ловѣка, чѣмъ обезьяна на свой первообразъ. Кретинизмъ проявл
въ различныхъ видахъ, смотря по возрасту, мѣстности, организм
образу народной жизни. Въ полномъ своемъ развитіи, онъ сопро
дается рѣшительнымъ отсутствіемъ умственныхъ силъ, парализиро
ныхъ вслѣдствіе ненормальнаго развитія физическихъ органовъ.
тина, въ строгомъ значеніи, надобно отличать отъ идіота; послѣ
обыкновенно, пользуется полнымъ здоровьемъ, бодростью, живот
аппетитомъ, но у него нѣтъ душевной энергіи, способности мысли.
идіотовъ, какъ справедливо замѣтилъ Госсенъ, брюшныя части ра
ваются въ совершенно обратномъ смыслѣ съ мозговыми органа
(Cretinisme by Gaussen). Медики приписываютъ эту болѣзнь вод
удушливому воздуху, стѣсненному между горами въ узкихъ долин

но это — не главная причина: ее надобно искать глубже. Разительнымъ опроверженіемъ этого односторонняго мнѣнія можетъ быть долина Валэ. Въ концѣ прошлаго вѣка она была главнымъ пріютомъ кретинизма; но съ 1798 года, когда французы овладѣли этимъ клочкомъ земли, ввели болѣе кроткое правленіе и полицейскія мѣры, озаботились воспитаніемъ народа, физическіе и нравственные уроды стали постепенно исчезать, и теперь очень рѣдко встрѣчаются тамъ, гдѣ нельзя было шагнуть, чтобы не наткнуться на идіота... Одинъ англійскій путешественникъ, проѣзжая Савоей, на вопросъ своего спутника: „отчего здѣсь такъ гадокъ человѣкъ?“ отвѣчалъ очень мѣтко: „чего же лучшаго ожидать въ странѣ, гдѣ не даютъ возможности даже совершить зачатіе съ спокойнымъ духомъ и чистою совѣстью“.

Говоря о кретинизмѣ, я не могу обойти молчаніемъ знаменитаго Абендбергскаго института. Признаюсь, я подходилъ къ нему съ чувствомъ непобѣдимаго отвращенія, но вышелъ изъ него подъ вліяніемъ самыхъ отрадныхъ впечатлѣній. Не считаю лишнимъ описать мой визитъ этому заведенію съ нѣкоторыми подробностями.

Проходя Оберландомъ, я остановился отдохнуть въ Интерлакенѣ. На другой день утромъ (это было 6 августа), взявъ проводника и мула, я отправился на Абендбергъ, гдѣ устроенъ институтъ, предназначенный для леченія и воспитанія кретиновъ. Полтора часа вела меня въ гору узкая тропинка, проложенная между букомъ и елью, у подножія развалинъ романическаго замка Унштунненъ. Подъѣхавъ къ заведенію, я послалъ своего вожатаго попросить позволенія войти въ институтъ. Черезъ нѣсколько минутъ, явился ко мнѣ молодой человѣкъ, невысокаго роста, съ кроткимъ и симпатическимъ выраженіемъ на лицѣ. Это былъ докторъ Гюгенгюбель. Онъ принялъ меня очень ласково и повелъ въ главную комнату, гдѣ находились бѣдныя дѣти. Я пораженъ былъ видомъ двадцати двухъ кретиновъ, соединенныхъ подъ однимъ кровомъ. Кто видѣлъ госпиталь раненыхъ, умирающихъ подъ ножемъ медика-шарлатана или брошенныхъ на произволъ судьбы, тотъ вполовину чувствовалъ то, что можно чувствовать при взглядѣ на дѣтей, обреченныхъ съ колыбели до гроба носить на себѣ печать отверженія и нравственной смерти. Передо мной были всевозможные образцы кретинизма: у нѣкоторыхъ мальчиковъ были длинныя головы, у другихъ плоское безобразное лицо; у одной дѣвочки я замѣтилъ сухія ноги; рядомъ съ ней сидѣла двѣнадцатилѣтняя испанка, съ пиренейскихъ долинъ, нѣмая, съ кривымъ, пѣнившимся ртомъ, но съ черными яркими глазами, въ которыхъ еще остался проблескъ медленно потухавшей жизни.

— И вы, докторъ, находите возможность возвращать этимъ живымъ мертвецамъ нравственную жизнь?

— Почти всѣ дѣти, отвѣчалъ Гюгенгюбель,—принятыя въ мой инсти-

тутъ съ младенчества — выздоравливаютъ. Чѣмъ старѣе болѣзнь, т
большихъ усилій стоитъ достигнуть благопріятнаго результата. В
дѣти, которыя за пять лѣтъ были полные кретины, теперь они здор
и достаточно развиты. — Онъ подвелъ меня къ особенному столу, за к
рымъ сидѣла сестра милосердія, окруженная юношами отъ 14—16 л
няго возраста; передъ ними лежали книги и карты. На вопросъ
одинъ мальчикъ отмѣтилъ всѣ главные города Европы, обозначилъ
ченіе Волги; другой отчетливо пересказалъ исторію юности Петра
ликаго. „Это — самый умный воспитанникъ нашего института", прибав
гувернантка. Со мной была печать горнаго хрусталя: подавая ее м
чику я сказалъ: „возьмите эту вещь на память отъ русскаго, кото
пришелъ посѣтить васъ издалека". „Благодарю, отвѣчалъ питом
первое письмо, которое я напишу матери о своемъ выздоровленіи, з
чатаю вашей печатью". Судя по одному отвѣту, можно предста
тотъ блистательный успѣхъ, съ которымъ Гюгенгюбель доводитъ
тей отъ чисто-животнаго состоянія до полнаго отправленія умствен
силъ.

И неудивительно! Онъ отдалъ всего себя своему дѣлу. Онъ бе
ходно живетъ лѣто и зиму на высотѣ тысячи двухъ сотъ метровъ
уровнемъ моря, среди своей невыносимо скучной семьи; онъ прово
безсонныя ночи надъ постелью больнаго, сторожитъ всякое измѣ
въ организмѣ, постоянно ищетъ новыхъ средствъ для улучшенія
системы. Я удивился его терпѣнію, съ которымъ онъ самъ препо
азбуку своимъ питомцамъ; чтобы сосредоточить вниманіе ихъ во в
ученія, онъ чертитъ фосфорическимъ карандашемъ, на черной д
въ темной комнатѣ каждую букву: игра свѣта удивляетъ дѣтей, но
сообщаетъ имъ первоначальныя знанія. Оставляя классную залу, он
реходитъ въ ученый кабинетъ, обставленный богатой библіотеко
трехъ языкахъ; здѣсь его ожидаютъ новые труды, извѣстные свѣту
нимъ словомъ, это — герой науки, соединяющій съ благороднымъ серд
высоко образованный умъ, это — филантропъ не по модѣ и отъ нечег
лать, но настоящій другъ человѣчества.

— Когда дѣти начинаютъ васъ понимать, какой методы вы де
тесь въ ихъ воспитаніи, спросилъ я доктора.

— Прежде всего стараюсь передать нѣкоторыя нравственныя
вила.

— Но возможна ли истинная нравственность безъ достаточнаго
ственнаго развитія. Человѣкъ только тогда способенъ противостоять
року, когда его волю ведетъ озаренный разумъ, когда онъ ясно созн
отвратительную сторону зла. Освѣтите разомъ, еслибъ это было
можно, все народонаселеніе Европы въ одинаковой степени просв
ніемъ, мгновенно падутъ милліоны заблужденій, суевѣрій, темн

эшафоты, пытки... Ничего не можетъ быть опаснѣе нравственности *по привычкѣ* или *на вѣру*; правда, эта нравственность дешевая и спокойная, но она служитъ только до перваго житейскаго толчка, который выбиваетъ человѣка изъ обыкновенной колеи. Лейбницъ сказалъ справедливо: „въ мірѣ истинъ много, но онѣ остаются безъ примѣненія". Какъ привить ихъ къ положительной почвѣ, ввести въ практическую жизнь человѣка — въ этомъ состоитъ первая задача современнаго воспитанія; вторая — какъ устранить предразсудокъ, на которомъ развивается ткань нашихъ первоначальныхъ понятій... — Докторъ со многимъ согласился. Потомъ онъ провелъ меня по своему заведенію; оно очень просто и даже бѣдно; въ немъ нѣтъ ни паркетныхъ половъ ни монументальныхъ лѣстницъ, но есть тотъ духъ, въ которомъ и заключается вся сила благотворнаго учрежденія.

Въ заключеніе Гюгенгюбель, возвратившись въ прежнюю залу, приказалъ дѣтямъ пропѣть патріотическій гимнъ. Пѣсня въ честь свободы и счастія Швейцаріи звучно раздалась въ нагорномъ воздухѣ, въ виду красавицы Юнгфрау, бріенцскаго озера, и Аарской долины, лежащей у подошвы Абендберга.

Я радушно простился съ дѣтьми, искренно пожалъ руку гостепріимному Гюгенгюбелю и возвратился на своемъ ослѣ въ безнравственный городишко Интерлакенъ [1]).

Но мы далеко отошли отъ своего предмета; возвращаемся на берега Лемана. Цвѣтущему состоянію молодого поколѣнія ихъ особенно содѣйствуетъ чистота и правильность семейнаго быта, охраняемаго общественнымъ мнѣніемъ. Здѣсь нѣтъ той великосвѣтской и великопустой жизни, которая губитъ такъ много человѣческихъ силъ. Отсутствіе аристократическихъ прихотей и большихъ городовъ, съ неизбѣжнымъ въ нихъ развратомъ—удаляютъ женщину отъ тѣхъ скользкихъ путей, на которыхъ она теряетъ свое высокое призваніе. Здѣсь она стыдится бросить своего грудного ребенка на руки няньки, чтобы поспѣшить на балъ; она принадлежитъ домашнему очагу; вмѣстѣ съ молокомъ даетъ она своему сыну первыя понятія, и дитя изъ рукъ матери прямо переходитъ въ хорошо устроенную школу, а изъ школы—на поприще общественной дѣятельности... Женщина не должна забывать, что лучшія надежды нашей дряхлой эпохи покоятся на ней. Она въ своихъ теплыхъ объятіяхъ должна отогрѣть холодные наши члены, возвратить намъ силу и искренность убѣжденій, вдохновить насъ своимъ геніемъ и примирить насъ съ человѣ-

---

[1]) Кто желаетъ ближе познакомиться съ методой леченія Гюгенгюбеля, тотъ можетъ обратиться къ двумъ лучшимъ его сочиненіямъ: 1) Le christianisme et l'humanite en face d'en face du crétinisme en Suisse. 2) Die Heilung und Verhütung des cretinismus и пр. 1853. Bern.

чествомъ во имя своей глубокой любви. Тогда она, дѣйствительно, чуднымъ перломъ созданія; въ противномъ случаѣ, гдѣ же то ство, которое бы ставило ее выше плотояднаго существа?..

Лозанна. 1857 г.

КОНЕЦЪ.

С. Р.

Тел. [illegible]